



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

THE SLAVIC COLLECTION



Harvard College Library

BOUGHT WITH THE GIFT OF

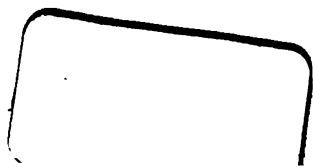
Archibald Cary Coolidge, Ph.D.

(Class of 1887)

ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY

Received *31 Oct. 1895.*





ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ЭТНОГРАФИИ

ТОМЪ I

ОБЩИЙ ОБЗОРЪ ИЗУЧЕНІЙ НАРОДНОСТИ

И

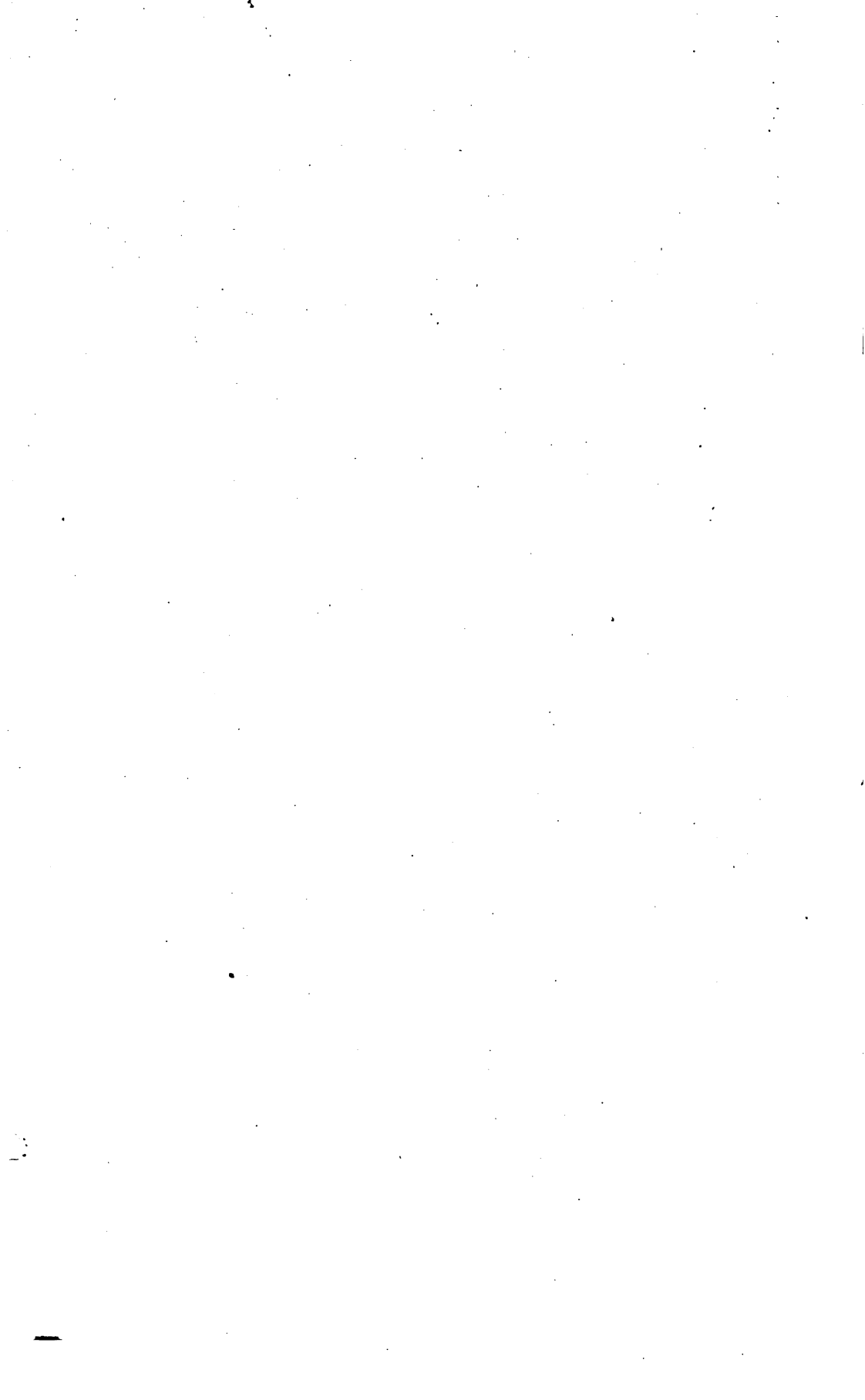
ЭТНОГРАФІЯ ВЕЛИКОРУССКАЯ

А. Н. Пыпина
А. Н. ПЫПИНА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 лив., № 7.

1890.



ИСТОРИЯ
РУССКОЙ ЭТНОГРАФИИ

ТОМЪ I

ОБЩІЙ ОБЗОРЪ ИЗУЧЕНІЙ НАРОДНОСТИ
И
ЭТНОГРАФІЯ ВЕЛИКОРУССКАЯ

Alexandre Nikolaevitch Pypin

А. Н. ПЫПИНА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 лин., № 7.

1890.



Въ настоящей книгѣ собраны многолѣтнія работы по исторіи изученій русской народности, первоначально помѣщавшіяся въ „Вѣстникѣ Европы“ (1881—1888). Объединенныя здѣсь въ одно цѣлое, онѣ были вновь пересмотрѣны и въ различныхъ мѣстахъ болѣе или менѣе значительно дополнены.

Русская этнографія только въ послѣднія десятилѣтія, почти только съ сороковыхъ годовъ, получила характеръ настоящей научной дисциплины: до тѣхъ поръ мы можемъ слѣдить только ея зародыши, первыя попытки, которыя, однако, во-первыхъ сохранили иногда и донныя цѣнности научнаго матеріала и во-вторыхъ имѣютъ несомнѣнный историческій интересъ какъ ступени общественнаго самосознанія, приводившаго постепенно къ болѣе и болѣе глубокому пониманію собственнаго народа и его жизни и наконецъ подготовлявшаго самую возможность точной, правильно постановленной науки. Въ эту прежнюю пору еще не было этнографіи какъ науки, но было несомнѣнное, часто глубоко серьезное стремленіе къ изученію народности, отражавшееся и на другихъ отрасляхъ знанія, какъ исторія, и на развитіи литературы поэтической, имѣвшей для русскаго общества великую воспитательную силу. Исторія этихъ стремленій должна составить необходимое начало исторіи самой науки: въ этомъ смыслѣ исторія русской этнографіи должна быть начата съ первыхъ десятилѣтій XVIII вѣка, съ Петровской реформы и съ первыхъ изученій русской территоріи и населенія; здѣсь вообще впервые возникаетъ сознательная мысль объ изученіи народа и народности, развившаяся позднѣе въ общественную дѣятельность для народа и въ правильную науку.

Въ своемъ изложеніи мы останавливаемся на главнѣйшихъ фактахъ этой исторіи, именно на основныхъ явленіяхъ самой науки и на сопредѣльныхъ явленіяхъ литературы, вліявшихъ на ея движеніе: большія подробности, увеличивъ объемъ книги, сдѣлали бы ее менѣе доступной, — но мы желали бы распространенія историческихъ знаній о предметѣ, столь близкомъ интересамъ каждаго просвѣщеннаго человѣка, въ возможно болѣе широкомъ кругу читателей, а не въ одномъ тѣсномъ кругу кабинетныхъ специалистовъ. Эти подробности необходимы, однако, для специалиста и для каждаго приступающаго впервые къ изученію предмета, и онѣ собраны въ другомъ трудѣ, приготовляемомъ мною къ печати: это — систематическое обзорнѣе русской этнографической литературы, въ формѣ библиографическаго указателя. Это обзорнѣе, какъ я надѣюсь, доставитъ изслѣдователямъ небезполезный подборъ фактовъ и справокъ, какового не могла бы дать собственная исторія науки, а для приступающихъ къ изученію предмета послужитъ руководителемъ въ обширной массѣ разнороднаго матеріала, въ которомъ начинающій обыкновенно только съ трудомъ можетъ осмотрѣться, долго не имѣя возможности составить себѣ отчетливаго понятія о цѣломъ составѣ избранной имъ и полюбившейся науки.

Изданіе всѣхъ четырехъ томовъ настоящей книги я надѣюсь окончить въ теченіе года, и затѣмъ предполагаю приступить къ окончательной редакціи и изданію систематическаго обзорнѣя.

А. Пыпинъ.

Мартъ, 1890.

СОДЕРЖАНИЕ.

Предисловіе.

Введеніе. Стр. 1—15.

Глава I.—Общій обзоръ изученій народности и результатъ ихъ въ современныхъ понятіяхъ. Стр. 17—50.

Стремленіе къ изученію народности, стр. 17.

Первыя проблески критическаго отношенія къ народной жизни: Котошнинъ, Крижаничъ, Посомшковъ, стр. 19.

Значеніе Академіи наукъ, 19. Дѣятельность Гер. Фр. Миллера, 20.

Московскій университетъ, 21.

Татищевъ, 22.

Времена имп. Екатерины II, 23. Новиковъ и Радищевъ, 25.

«Исторія Государства Россійскаго», Карамзина, 27.

Разысканія археографическія, 29.

Первыя этнографическія работы: Снегиревъ, Сахаровъ, Терещенко; Цертелевъ, Срезневскій, Максимовичъ и пр., 30.

Изученіе славянства, 31.

Новая историческая школа, Соловьевъ и пр., 33.

Основаніе Географическаго Общества; Второе Отдѣленіе Академіи; наибѣйшее развитіе филологій и этнографіи, 34.

Изученіе раскола, 36.

Результаты изученій — сближеніе общества съ интересами народа, 38.

Глава II.—Понятія о народности въ XVIII вѣкѣ. Стр. 51—77.

Поворотъ въ русской жизни послѣ реформы; два склада нравовъ и двѣ литературы, стр. 51.

Отношеніе новаго образованія къ народности, 57.

Псевдо-классицизмъ, пренебрегающій народностью, 59.

Другое теченіе, исходящее изъ живого бытового преданія, стр. 60, поддержаннаго литературными вліяніями, 64.

Чулковъ, 65. Собраніе народной пѣсенной музыки, Прача, 70.

Народныя оперы, 71.

Народныя обычаи, мнѣологія: Поповъ, Чулковъ, Глянка, Кайсаровъ и пр. 72.

Записи п'ясець, 75.

Начало исторического знания, 76.

Глава III.—XVIII вѣкъ. Научныя изслѣдованія Россіи.
Стр. 78—112.

Забытая дѣятельность XVIII-го вѣка, стр. 78.

Труды Петра В., относящіеся къ введенію науки и къ научному изслѣдованію Россіи, 79.

Вліяніе западной науки; географическія изысканія; труды Мессершмидта, стр. 82, Штраленберга, 84.

Расширеніе научнаго интереса къ Россіи въ Европѣ, 85.

Откуда набирались дѣятели русской науки? 87.

Поѣздки для обученія за границу, 88. Десницкій, 91.

Какъ прививалась наука? 92.

Дальнѣйшее расширеніе географическаго знанія: Кириловъ, Бюшингъ, Бакмейстеръ, Сергій Плещеевъ и пр., 95.

Географическіе словари: Полунинъ, Щекатовъ, 98.

Ученныя экспедиціи XVIII-го вѣка и трудности ихъ исполненія, 99.

Камчатская экспедиція: Берингъ, Стеллеръ, 101.

Сибирская экспедиція Миллера и Гмелина старшаго, 103.

Гмелинъ младшій, Фалькъ, Георги, Гильденштедтъ, 105.

Палласъ, 106.

Кириловъ, Крашенниковъ, Лепехинъ, Озерецковскій, Иноходцовъ, Соколовъ, Зуевъ, Севергинъ, 108.

Глава IV.—XVIII вѣкъ. Наука и народность. Стр. 113—160.

Отношеніе науки къ жизни: рационалистическое и утилитарное; «Духовный Регламентъ»; Ломоносовъ, 113.

Обзоръ русскихъ ученыхъ путешествій. «Дневныя Записки» Лепехина, 119.

Озерецковскій, 124. Иноходцовъ, Севергинъ, 126.

Мѣстныя описанія. Рычковъ, 127. Крестининъ, Өомиль, 128. Рубанъ, 129.

Значеніе ученыхъ экспедицій и вліяніе науки на развитіе національнаго самосознанія, 131.

Исторіографія прошлаго вѣка, 134. Татищевъ, 135. Историческіе труды Миллера, 142. Болтинъ, 147.

Глава V.—XVIII вѣкъ. Наука и народность: языкъ народный и литературный. Стр. 161—202.

Переворотъ въ литературномъ языкѣ со времени реформы, 161.

Ломоносовъ, 165; Тредьяковскій, 168.

Ученныя общества для рѣшенія вопроса о языкѣ; Россійское собраніе при Академіи наукъ; Переводческій департаментъ; Вольное Россійское собраніе, 172.

Протоіерей Петръ Алексѣевъ, 174.

Россійская академія, 177—192.

Княгиня Дашкова, 178.

Руновскій, Лепехинъ, Озерецковскій, и пр., 180; Болтинъ, 185.

Отношеніе къ народному языку; языкъ областной, 186.

«Словарь всѣхъ извѣстныхъ языковъ», имп. Екатерины, 190.

Начало исторіи литературы: Коль, 192; Дамаскинъ Рудневъ, 194; Базе, 196.

Образовательные результаты реформы, 196.

Глава VI.—Александровскія времена. Стр. 203—232.

Вопросъ о крѣпостномъ правѣ въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка; отрицаніе его у Радищева и консервативная идиллія Карамзина, 203.

«Исторія Государства Россійскаго», 215.

Романтизмъ; этнографическіе интересы въ поэзи: Жуковскій, 218.

Научное движеніе; исторія и археологія; меценатство графа Румянцева, 222.

Кирша Даниловъ и Калайдовичъ, 226.

Славянскіе интересы, 230.

Глава VII.—Н. И. Надеждинъ. Стр. 233—275.

Официальная народность, 233.

Биографія Надеждина, 234.

Литературные взгляды Надеждина: классицизмъ и романтизмъ, 237; исторія и романъ, 241; состояніе русской поэзи, 247; европеизмъ и народность, 248; историческая судьба русской литературы, 250; ея общественное положеніе, 256; литературная обработка малороссійскаго нарѣчія, 260; литературная народность, 261.

Прекращеніе журнала «Телескопъ», ссылка и новые труды Надеждина, 268.

Дѣятельность въ Географическомъ Обществѣ, 266.

Работы по расколу, 269.

Ходъ развитія, 271.

Глава VIII.—И. П. Сахаровъ. Стр. 276—313.

Биографія Сахарова, 276.

Историческія мнѣнія Сахарова, въ его «Воспоминаніяхъ», 283.

Понятія о народности, 288.

«Сказанія русскаго народа», 292—311.

«Мнеологія», 293; чернокнижіе, 296.

«Пѣсни русскаго народа», 300. Былны, 305. Сказки, 306.

Характеръ этнографическихъ работъ Сахарова, 311.

Глава IX.—Снегиревъ. Пассекъ. Даль. Стр. 314—355.

Официальная народность, 314.

Біографія Снегирева, 316.

Ученія работы: «Русскіе въ своихъ пословицахъ», 321. «Русскіе простонародные праздники и суевѣрные обряды», 323. Лубочныя картинки, 325. Труды археологическіе, 326.

Вадимъ Пассекъ. Біографія, 329. «Путевныя записки», 332. «Очерки Россіи», 339.

Даль. Біографія, 340.

Труды по этнографіи, 343.

«Толковый Словарь», 345.

Пословицы, 341.

Повѣрья, 354.

Глава X.—Археологическое народолюбіе.—Начало малорусской этнографіи.—Внѣшнее положеніе народныхъ изученій. Стр. 356—389.

Журналъ «Маякъ» 1840—45 г., стр. 356.

Савельевъ-Ростиславичъ, 362.

Морошкинъ, 367.

Изученія малорусскія: кн. Цертелевъ, Максимовичъ, Срезневскій; отношеніе Бѣлинскаго къ малорусской литературѣ, 372.

Внѣшнее положеніе этнографіи: недостатокъ правильной школы съ одной стороны, и съ другой стѣсненія цензурныя; взгляды гр. Уварова; положеніе Сахарова, Кирѣевскаго, Бодянскаго и пр., 376.

Глава XI.—Этнографическіе элементы въ литературѣ отъ Пушкина до 50-хъ годовъ. Стр. 390—424.

Вопросъ о національномъ значеніи Пушкина, 390.

Частное значеніе его произведеній для изученій народныхъ: труды историческіе, 399; отношеніе къ этнографіи, 402.

Теоретическія понятія того времени объ искомой народности: Плетневъ, Рѣчь о народности, 410; Терещенко, 413.

Загоскинъ и Лажечниковъ, 414.

Даль, 416.

Лермонтовъ, Гоголь, 419.

Литература послѣ Гоголя; наступающій поворотъ въ изученіяхъ народности, 423.

ВВЕДЕНИЕ.

Имя *народа* теперь у всѣхъ на устахъ. Люди совершенно противоположныхъ возрѣній говорятъ о немъ, ссылаются на него въ подтвержденіе своихъ идей, выставляютъ заботу о „народѣ“ основаніемъ своихъ общественно-политическихъ мнѣній и плановъ. Въ то же время литература наполняется массой равнообразныхъ изученій народнаго быта, научныхъ и беллетристическихъ.

Какъ ни отраднo, повидимому, это обращеніе къ народу, оно и прежде могло иной разъ возбуждать недоумѣнія, а въ послѣднее время особенно наводитъ на печальныя размышленія *). Подъ видомъ любви къ народу слишкомъ часто прячется полное безучастіе къ его самымъ основнымъ интересамъ; мнимыми заботами о его благосостояніи прикрывается пренебреженіе къ нему, или прямо вѣрнопостыдныя вождѣнія къ его экономическому и общественному порабощенію; или, даже при искреннемъ желаніи народнаго блага, это благо понимается нерѣдко самымъ превратнымъ образомъ, что опять можетъ кончатся только вредомъ для народа. Тѣмъ не менѣе, при всей отвратительности лицемѣрнаго злоупотребленія именемъ народа, при множествѣ злоупотребленія невѣжественнаго, въ этомъ распространеніи интереса къ народу есть однако другая, глубоко-искренняя и серьезная сторона, которая даетъ свѣтлыя надежды хотя на будущее. Несомнѣнно, въ этой лучшей сторонѣ сказывается, хотя бы въ начаткахъ, народно-общественное самосознаніе, предчувствуется великая историческая задача, подлежащая обществу—и безъ рѣшенія которой грозитъ бѣдствіе самому національному существованію: сознается нравственный долгъ образованнаго меньшинства къ народной массѣ и отсюда необходимость серьезнаго изученія.

*) Писано въ 1881 г.

Историческая задача общества ясна: это — стремиться къ тому, чтобы народъ избавился, наконецъ, хотя отъ крупнѣйшихъ тягостей своего нынѣшняго существованія; получилъ возможность правильнаго развитія своихъ матеріальныхъ и нравственныхъ силъ и возможность выйти изъ умственного младенчества; сознать и осуществить свои общественные и политическіе идеалы.

Въ томъ смѣшеніи и противорѣчій понятій, о какомъ мы упоминали, фальшивое употребленіе имени народа не есть только результатъ политической злонамѣренности обскурантизма, но бываетъ и просто слѣдствіемъ недостаточнаго знанія. При множествѣ сдѣланныхъ изученій, онѣ далеко не усвоены обществомъ настолько, чтобы повліять на ходячія представленія, и до сихъ поръ не только въ массѣ такъ-называемаго образованнаго общества, но и въ литературѣ держится много старыхъ понятій временъ крѣпостныхъ и полицейскихъ, много предрасудковъ, недодуманныхъ положеній, или вообще нежеланія, или неспособности къ критикѣ, и этимъ пользуются обскуранты для тенденціозныхъ цѣлей. Съ другой стороны незнаніе народной жизни, недостатокъ изученій по нѣкоторымъ сторонамъ народнаго быта, или слабое вниманіе къ тому, что уже нѣсколько изучено, составляютъ источникъ ошибокъ и въ средѣ людей добросовѣстныхъ. Послѣдній идеализмъ, идущій изъ естественнаго желанія создать полное теоретическое и поэтическое воззрѣніе, представляетъ свою долю ошибокъ.

Въ числѣ подобныхъ предрасудковъ и заблужденій въ послѣднее время съ особенною назойливостью повторяется, въ искаженномъ видѣ, старая славянофильская теорія о совершенной исключительности русской народности, о зловредности Петровской реформы, будто-бы оторвавшей нашу исторію отъ народа и ему измѣнившей, о происшедшей отсюда „измѣнѣ“ народу всей нашей послѣ-петровской образованности, и т. д. Крайности старой теоріи были давно указаны и она потеряла убѣдительность для тѣхъ, кто способенъ къ здоровой исторической критикѣ. Но и до сихъ поръ эта точка зрѣнія находитъ себѣ приверженцевъ или подражателей заявленіями объ ея будто бы чисто „русскомъ“ направленіи, о представляемомъ ею „истинномъ“ патриотизмѣ, и спутываетъ понятія у многихъ, которые не умѣютъ отдать себѣ яснаго отчета въ ея смыслѣ.

Наши взгляды прямо противоположны этому ученію. Мы не думаемъ, чтобы съ Петровской реформой въ русской исторіи происходилъ перерывъ и измѣна, а напротивъ думаемъ, что въ ней совершалось прямое продолженіе и развитіе нашей исторіи; принятіе европейской образованности было не ошибкой, а необходимостью. Отдаленіе образованныхъ классовъ отъ народа, которое дѣйствительно

было и есть, во-первыхъ, происходило не столько отъ образованія высшихъ классовъ, сколько отъ подавленія низшихъ крѣпостнымъ и канцелярскимъ угнетеніемъ: образованіе, конечно, проводило извѣстную черту между народными слоями, но такая черта вездѣ и всегда неизбѣжна между людьми сословіями, прошедшими школу и не имѣвшими ея; такой черты не можетъ не быть между людьми, которые отличаются всѣмъ складомъ теоретическихъ понятій; во-вторыхъ, это отдаленіе началось даже раньше Петровской реформы, именно, когда начали пробиваться первые признаки науки (европейской, потому что другой не было и пока еще нѣтъ).

Было много говорено о томъ, что при всѣхъ тягостяхъ, которыхъ стоила реформа, именно къ ней сводится все, что въ послѣдніе два вѣка было сдѣлано цѣннаго для національнаго существованія и развитія: громадное расширеніе территоріи, приобрѣтенной для расселенія и дѣятельности русскаго народа; распространеніе практическихъ званій, которое помогало этой дѣятельности; политическое значеніе Россіи въ средѣ европейскаго и азіатскаго сосѣдства; развитіе науки и литературы и проч.; было замѣчено и то, что многое бѣдственное въ нашей жизни оставалось отъ неполноты реформы, отъ реакціоннаго застоя и невѣжества, питавшихся воспоминаніями „самобытной“ старины XVII вѣка. Но одно историческое явленіе, великой важности, мало обращало на себя вниманіе,—что *новѣйшая образованность* и была именно могущественнымъ побужденіемъ и средствомъ къ достиженію того національнаго *самосознанія*, которое одно можетъ обѣщать полноту народнаго развитія—и представителями котораго покушаются теперь выставить себя тѣ самые, кто отрицается отъ Петровской реформы и клянетъ принесенную ею образованность.

Изученія *національныя*, именно изученія народа и народности, съ цѣлью научнымъ образомъ постичь характеръ и жизнь народа, какъ основу національности и государства, и указать истекающія изъ нихъ начала, особенности и современныя потребности общественнаго развитія—стали предметомъ вниманія ученыхъ и политиковъ только въ новѣйшія времена европейской образованности; національно-политическія движенія съ конца прошлаго вѣка сдѣлали теперь эти изученія и предметомъ общаго интереса, и вопросомъ науки.

Исторія новѣйшихъ вѣковъ стала тѣснѣе и чаще сталкивать народы въ дружескихъ и враждебныхъ встрѣчахъ; политическая мысль государственныхъ практиковъ и теоретиковъ выходила за предѣлы своего народа, искала общихъ принциповъ и усматривала племенные особенности; въ исторической наукѣ мало-по-малу выростала потребность дать раціональное объясненіе разбросаннымъ фактамъ исторіи. Въ XVII-мъ вѣкѣ уже ставится вопросъ о философіи исторіи.

Восемнадцатый вѣкъ, при всемъ отвлеченномъ и космополитическомъ складѣ его общественныхъ теорій, встрѣтилъ въ исторіи вопросъ о „правахъ“, т.-е. другими словами, о племенныхъ отличіяхъ, о народности. Полигисторы, которыхъ было такъ много въ XVIII столѣтіи, стали обращать вниманіе на бытовыя черты, на народную старину, и дали начало тому археологическому и этнографическому собиранію, которое слагается въ нашемъ вѣкѣ въ правильную науку. Вниманіе къ народнымъ массамъ выросло и изъ научнаго интереса, и изъ либерально-филантропическихъ теорій вѣка и предшествій романтизма, и изъ возникавшаго внутренняго политическаго броженія европейскаго запада. Усилившіеся протесты противъ стараго феодализма, укрьпивъ политическое сознаніе въ „третьемъ“ сословіи, пролагали путь и для „четвертаго“, для идеи цѣлаго народа, свободнаго и равноправнаго. Европейскія событія нашего вѣка дали этому движенію еще болѣе крѣпкое основаніе и расширили его идею до господствующаго принципа,—съ одной стороны національно-политическаго, съ другой демократическаго. Быстрое развитіе культуры и экономической дѣятельности, сильныя столкновенія политическія потребовали вездѣ напряженія національныхъ силъ, которое еще ускорило ростъ общественнаго мнѣнія и съ нимъ демократическихъ стремленій: требовалось возвысить производительность народныхъ силъ и по необходимости расширить народныя свободы и просвѣщеніе. Косвенное, но несомнѣнное вліяніе этого процесса оказалось у насъ въ освобожденіи крестьянъ. Параллельно съ движеніемъ демократическимъ, шло движеніе національностей, которое обнаруживалось возбужденіемъ національныхъ стремленій даже у такихъ племенъ (какъ многія славянскія), которыя уже не считались между живыми.

Это обращеніе къ идеѣ народа въ области политической и общественной сопровождалось въ литературѣ необычнымъ оживленіемъ, цѣлымъ переворотомъ, который создалъ новыя направленія въ поэзіи и рядъ новыхъ специальныхъ отраслей въ наукѣ. Такъ называемый романтизмъ былъ, въ извѣстномъ смыслѣ, демократической реакціей противъ аристократическаго псевдо-классицизма и велъ къ тому, чтобы дать въ литературѣ мѣсто почти вѣтерпимой дотолѣ народной жизни и народному творчеству. Романтическое движеніе, въ разныхъ отгнѣнахъ, охватило всю Европу. Литература измѣнилась въ содержаніи и въ формѣ; преобразовывался самый языкъ—въ богатыхъ, обработанныхъ литературахъ въ книгу проникали не только народный языкъ, но даже провинціальныя нарѣчія. Въ сознаніе общества входили этимъ путемъ представленія, прежде незнакомныя литературѣ, элементы еще недавно презираемые; общество знакомилось съ народною жизнью лицомъ къ лицу, въ ея самыхъ

скрытыхъ слояхъ и закоулкахъ; поэзія находила здѣсь богатія темы для мягкой, увлекающей идилліи и для потрясающей драмы и романа, питала общественное чувство благороднѣйшими внушеніями любви къ народу. Въ области науки интересъ къ народу произвелъ множество въ высокой степени любопытныхъ и поучительныхъ изысканій, которыя давали новый видъ исторіи и вносили новое пониманіе народной жизни въ общественное сознаніе. Таковы были изысканія въ области исторіи, филологіи, этнографіи, антропологіи, міеологіи, языка,—какъ въ единичныхъ народностяхъ, такъ и сравнительно. Послѣднія десятилѣтія нынѣшняго вѣка принесли богатый научный матеріалъ, съ которымъ впервые становится доступнымъ внутренній смыслъ народной исторіи. Работа теперь въ полномъ разгарѣ, и новѣйшая наука ставитъ уже вопросъ о „народной психологіи“.

Таково было европейское движеніе, какъ видимъ, еще весьма недавнее.

Съ извѣстнымъ различіемъ въ частныхъ условіяхъ, параллельное движеніе къ освободительно-народнымъ идеямъ представляетъ и исторія нашей образованности со временъ реформы. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ реформа открывала новыя средства для внѣшняго государственнаго развитія силъ русскаго народа и, покинувъ старую національную исключительность (въ чемъ и видятъ мнимую „измѣну“ народу), расширила (хотя часто только съ своими тѣсно утилитарными цѣлями) притокъ образованія,—съ тѣхъ поръ въ средѣ *общественной* возникаетъ, въ дополненіе, а иногда и въ противоположность или исправленіе внѣшне-государственныхъ мѣръ, и постоянно растетъ самостоятельное стремленіе къ внутреннему національному сознанію, стремленіе усвоить и переработать новыя пріобрѣтенія науки къ пользамъ народной массы, къ ея возвышенію умственному, нравственному и общественному. Какъ только образованность начала устанавливаться, она старается освободиться отъ тѣсныхъ утилитарныхъ рамокъ, какія ей обыкновенно ставились, изъ книжной схоластики направляется къ жизни и къ народнымъ интересамъ. Литература XVIII-го вѣка, построенная заново на иностранныхъ образцахъ, съ каждымъ шагомъ однако все болѣе и болѣе входитъ въ жизнь, становится выраженіемъ ея лучшихъ движеній, преобразовываетъ старый искусственный книжный языкъ вліяніями живой народной рѣчи и т. д.

Эта образованность прошлаго вѣка, которую съ такимъ легкомысліемъ обвиняли въ отступничествѣ отъ народа, напротивъ, своими лучшими силами стремилась служить его просвѣщенію, матеріальному и нравственному освобожденію. Это была несомнѣнная *истори-*

ческая заслуга нашей образованности съ XVIII вѣка и донинѣ. Обвиненіе въ измѣнѣ, вводимое на нее, есть историческая клевета. И слѣдуетъ еще замѣтить, что эта задача, которую наша образованность прошлаго столѣтія ставила себѣ, была совершенно новая, гдѣ не было передъ ней стараго опыта и руководства. Московская Русь не дѣлала этого дѣла. Иной разъ приходилось встрѣчать и самыя серьезныя препятствія этому дѣлу, когда сама правительственная власть объ этомъ думала мало или прямо этому противодѣйствовала. Образованность XVIII вѣка начинала совершенно новое дѣло, всего чаще предоставленная самой себѣ, подъ Дамокловымъ мечомъ произвола.

Насъ прервутъ иные негодующимъ замѣчаніемъ: какъ, древняя Русь не имѣла самосознанія, Русь, носившая въ себѣ ту глубину христіанской мысли, ради остатковъ которой только и существуетъ новая Россія; Русь, создавшая своей „національной“ политикой единство народа и сильное государство, самобытное и не слушавшееся Запада; Русь, не знавшая „средостѣній“; Русь, чувствовавшая себя какъ одинъ человѣкъ противъ всякаго недруга, политическаго и религіознаго, противъ католичества и „культуры“ Запада (вѣроятно уже тогда начавшаго прогнивать)? и т. д.

Да, дѣйствительно, древняя Русь и старая московская Россія не имѣли того самосознанія, о которомъ мы говоримъ. Старая, до-Петровская Россія относительно Россіи новой представляетъ то же различіе, какъ Европа среднихъ вѣковъ относительно новой Европы. Средневѣковая Европа также имѣла свое самосознаніе, какъ и древняя Россія, но это было самосознаніе совсѣмъ иного рода—инстинктивное, не доконченное, какъ сознаніе ребенка или юноши сравнительно съ сознаніемъ человѣка зрѣлаго или приходящаго въ зрѣлость.

Начать съ того, что средневѣковая Европа, какъ и московская Русь, не были способны къ понятію народной *цѣльности*, вслѣдствіе феодальнаго, или подобнаго, порабощенія и безправности народныхъ массъ. Эти массы были рабочая сила, которая считалась только какъ сила матеріальная, но пренебрегалась въ общественномъ смыслѣ, точно низшая раса: о нравственномъ ихъ правѣ не могло быть рѣчи; онѣ шли туда, куда ихъ вели, дѣлали то, что приказывалось. То, что можно было назвать національною идеею, могло относиться только къ классамъ привилегированнымъ. Въ средніе вѣка и въ Европѣ, и у насъ національность была гораздо меньше сознаніемъ, нежели чувствомъ и инстинктомъ. Въ цвѣтущія времена католицизма едва ли не выше всего стояло въ этомъ представленіи чувство религіозное: западная Европа къ чужому ей міру относилась какъ „христіанство“

(chrétienté) къ не-христіанству, именно къ византійской „схизмѣ“ и къ азіатскому магометанству; ея короли были „христіаннѣйшіе“ и „апостолическіе“. Древняя Русь такимъ же образомъ всего рѣзче противоположала свое истинное православіе „поганой латыни“ и „не-вѣрному бусурманству“. Народность эмпирически опредѣлялась языкомъ; но близость или даже полное единство народностей по языку не связывала ихъ, не внушала имъ политическаго стремленія другъ къ другу, какъ части стремятся къ объединенію въ цѣлое,—выше этого чувства стояло не только религіозное соображеніе (русскіе католики или униаты считались какъ будто совсѣмъ не русскими, — даже и не въ средніе вѣка католики французы истребляли своихъ протестантовъ, какъ враговъ), но даже просто политическая граница (западный русскій, хотя и православный, былъ для москвича „Литвой“, а южные русскіе „черкасами“). Въ Руси до-татарской національное сознаніе цѣлаго въ этомъ отношеніи было, пожалуй, яснѣе, тѣмъ во времена московскаго царства.

Другая черта неполноты національнаго сознанія была въ томъ, что національность сознавала себя въ тѣ вѣка лишь въ одиночествѣ, въ своихъ исключительныхъ предѣлахъ. Знали и противоположали себя только ближайшему сосѣдству — всего чаще враждебно, вслѣдствіе старыхъ и новыхъ военныхъ столкновеній, религіознаго различія; международное знакомство ограничивалось, кромѣ дипломатическихъ сношеній, вѣдомыхъ только власти, слабо развитыми торговыми связями, и при ограниченности или полномъ отсутствіи сношеній культурныхъ и образовательныхъ, народы мало знали другъ друга и не опредѣляли своей особенности въ этомъ отношеніи, или опредѣляли ее только голымъ отрицаніемъ всего чужого... Для старой Россіи все западно-европейское было безразлично „нѣмецкимъ“ или „фряжскимъ“: этотъ послѣдній терминъ дожилъ отъ далекой древности до самаго конца XVII вѣка, не получивъ ближайшаго опредѣленія! Изъ этого „нѣмецкаго“ и „фряжскаго“ извѣстны были лишь случайныя черты, и неизвѣстны — главнѣйшія; понятно, что старая національность не могла сознать себя относительно этого чуждаго міра, гдѣ однако совершались великія созданія мысли и художественнаго творчества, — которыя она должна была для своего собственнаго развитія (и послѣ чувствовала сама потребность) себѣ усвоивать...

Народное сознаніе или представленіе народа о своей жизни не оставались неизмѣнными или тождественными и относительно быта политическаго и общественнаго.

Обыкновенно говорится, что народъ самъ создаетъ формы своей государственности, и такимъ самымъ подлиннымъ и характеристиче-

скимъ созданіемъ русскаго народа считается въ славянофильской школѣ московское царство. Въ извѣстномъ смыслѣ эта теорія справедлива, но лишь въ цѣломъ и широкомъ, а не въ частномъ смыслѣ: англичанамъ отвѣчаетъ ихъ свободная конституція, туркамъ ихъ безобразная деспотія и т. п.; но, что, напр., соответствуетъ французамъ,—республиканское ли правленіе, которое они имѣютъ теперь; наполеоновская ли имперія, орлеанская или бурбопская монархія и т. д.? Дѣло въ томъ, что у народовъ, мало или совсѣмъ не развивающихся, государственныя формы могутъ оставаться неподвижны цѣлыми вѣками и поэтому считаются отвѣчающими народному характеру и потребностямъ,—такъ неподвижна турецкая деспотія; но формы европейскихъ государствъ не отличались вовсе этою неподвижностью, и сама англійская конституція, — очень прочная потому, что еще съ среднихъ вѣковъ обеспечивала удачно нѣкоторыя общественныя свободы,—постоянно, однако, развивалась и донинѣ развивается по возрастающимъ требованіямъ времени. Европейскія общества пережили нѣсколько весьма несходныхъ государственныхъ состояній; въ данное время, каждую временную форму государства приверженцы ея считали, конечно, единственной соответствующей характеру страны и народа. Въ наше время мы видимъ, что формы самыя естественныя, какихъ слѣдовало бы ждать по здравому смыслу, какъ объединеніе Италіи, достигаются только теперь послѣ тысячелѣтней исторіи, — между тѣмъ тридцать лѣтъ назадъ, не далѣе, считались совершенно естественными безсмысленный деспотизмъ въ Неаполѣ, папа съ французскими войсками въ Римѣ, австрійцы въ Миланѣ и Венеціи, и т. д. Наша исторія знаетъ не одну форму государственнаго быта: быть федеративныхъ земель, вѣчевыя народоправства, великія княженія, московское единовластительство по образцамъ византійскому и ордынскому, одно время съ полу-независимой іерархіей, имперію съ бюрократическимъ управленіемъ и крѣпостнымъ народомъ, имперію съ поставленными задачами широкой общественной реформы... Это была историческій процессъ, гдѣ отдѣльный моментъ выражалъ только наиболѣе настоятельныя потребности данной эпохи или преобладаніе того или другого общественнаго слоя,—и могъ бы считаться выраженіемъ цѣлой національной бытовой идеи лишь настолько, насколько удовлетворялъ потребностямъ *цѣлаго* народа. Могла ли считаться такой окончательной формой та, которая правила восточнымъ деспотизмомъ и основала крѣпостное рабство народа? Очевидно, что московская форма государства и общественнаго быта была форма историческая и тѣмъ самымъ временная; *возвращеніе* къ ней можетъ быть мечтой или необузданнаго политическаго фанатизма, или простаго невѣжества. Эта бытовая форма не можетъ слѣдовательно счи-

таться и самымъ подлиннымъ выраженіемъ русскаго народнаго характера, русской національности. Притомъ бытовья и политическія формы создаются не однимъ исконнымъ характеромъ и волей народа,—предполагая, что они остаются неизмѣнны,—но вмѣстѣ и принудительными внѣшними условіями, противъ которыхъ народъ иногда физически безсиленъ. Эти принудительныя условія являются не только отъ столкновений съ другими племенами (какъ у насъ татарское иго и т. п.), но и въ самой внутренней жизни народа; извѣстная дѣятельная доля племени, предприимчивые князья съ завоевательной дружиной бывали, конечно, порожденіемъ народа, и масса, принявшая созданный ими порядокъ, подтверждала этимъ, что въ данную минуту не могла бы создать лучшаго порядка; съ теченіемъ времени, при этой невозможности, масса покорно привыкаетъ къ возникшей формѣ и, въ ограниченномъ горизонтѣ своихъ понятій, смотритъ на нее фаталистически; сама она и ея теоретики наконецъ принимаютъ ее какъ идеаль. Но и это теоретическое представленіе не совсѣмъ вѣрно съ фактами: созданіе государствъ не обходится безъ насилія. Нѣкоторые изъ нашихъ историковъ похвалялись, что когда европейскія государства основывались завоеваніемъ, наше было основано призваніемъ; они забывали только, что преемники призваннаго на сѣверѣ Рюрика *завоевывали* (и даже „примучивали“) остальную русскую землю. Насиліе, вѣроятно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ было необходимо, для того, чтобы, хотя противъ воли извѣстныхъ частей племени, объединить его для внѣшней охраны цѣлаго; вѣроятно также, что въ другихъ случаяхъ насиліе было произвольно, т.-е. не нужно; но въ концѣ концовъ оно всегда укрѣпляетъ особые эгоистическіе интересы, династій, привилегированныхъ классовъ. Тѣ же историки похвалялись, что у насъ не было западныхъ сословій; западныхъ феодаловъ дѣйствительно не было, но съ первыхъ шаговъ нашей исторіи было привилегированное боярство, служилый классъ, который сталъ наконецъ для народа такимъ же землевладѣльцемъ и рабовладѣльцемъ, какъ западный феодалъ... Искать въ подобныхъ явленіяхъ выраженій подлиннаго народнаго духа, обязательныхъ притомъ и для дальнѣйшей исторіи народа, было бы странно.

Татарское нашествіе было громаднымъ фактомъ въ исторіи русской народности. Многіе изъ нашихъ историковъ (славянофилы, Соловьевъ) утверждали, что оно было только внѣшнимъ игомъ, которое не коснулось глубины народнаго существа; теперь, кажется, начинаютъ думать, что коснулось. Татары не вмѣшивались во внутреннія дѣла, не трогали, даже ограждали церкви; русскій человекъ не переставалъ считать татарина „поганимъ“ по преимуществу; но не даромъ обошлись поѣздки князей въ орду, присматриванье татар-

скихъ нравовъ и порядковъ; потомъ московскіе князья въ союзѣ съ татарами, и подкупая ихъ, дѣлали первые опыты знаменитаго „собиранія“; эти союзы и потомъ покореніе татарскихъ царствъ ввели въ русскій высшій классъ цѣликомъ настоящихъ татаръ, князей и царевичей: стали входить даже иные татарскіе обычаи. Московское единодержавіе было—деспотія съ очевидно восточнымъ характеромъ, полу-византійскимъ, полу-татарскимъ.

Московская форма, русская въ XV—XVII вѣкахъ, была несколько не похожа на до-татарскую форму, которая въ свое время, до XV вѣка, была также самою русскою. Способъ объединенія государства былъ насильственный, и было бы чрезмѣрнымъ оптимизмомъ думать, что это насиліе уничтожило въ присоединяемыхъ земляхъ только одно негодное, исторически отжившее, и вводило только одно превосходное, исторически благодѣтельное. Довольно указать двѣ черты московской формы.

Она истребляла преданія и обычаи народнаго самоуправленія: государство было выстроено на настоящемъ крѣпостномъ правѣ, и подданный не даромъ назывался „холопомъ“—онъ былъ имъ въ дѣйствительности; московское управленіе было „московской волоки-той“; церковь XVII-го вѣка примѣнила тоже деспотическое начало къ дѣламъ народной вѣры. Понятіе о единомъ царствѣ покупалось дорогою цѣною. Порабощеніе личности было полное; необходимымъ слѣдствіемъ была порча нравственная, упадокъ личнаго достоинства, въ приказномъ людѣ—всеобщая подкупность, самоуправство со всѣми низшими, униженность передъ высшими и т. п. Но и „дѣльность“ не была достигнута вполне: народъ протестовалъ противъ насилія бѣгствомъ отъ государства на окраины въ казачество, разбойничество, которое дошло до эпическихъ размѣровъ въ дѣяніяхъ Стеньки Разина, составившихъ, вмѣстѣ съ другими подобными, цѣлый особый циклъ народной поэзіи, которая здѣсь очень расходилась съ государственными идеями Москвы. Въ то же время расколъ отрекся отъ государственной церкви, бѣжалъ въ лѣсныя дебри и въ теченіе двухъ вѣковъ велъ свою отдѣльную жизнь, не сообщаясь съ государствомъ.

То просвѣщеніе, хотя скромное, какимъ владѣла древняя Русь, въ Москвѣ упало. Писатель, котораго мудрено упрекнуть въ недостаткѣ любви къ русской старинѣ, посвятившей труды всей жизни на ея изслѣдованіе, г. Буслаевъ, нарисовалъ мало привлекательную картину московскихъ нравовъ съ большою примѣсью татарщины, и московской бѣдной книжности въ сравненіи съ той оживленной дѣятельностью, какая еще жила и развивалась въ старобитномъ Новгородѣ. Но дни Новгорода были сочтены... Скудость знаній заставила Москву еще въ XVI столѣтіи, даже для дѣлъ церковнаго ученія.

обратиться къ помощи православнаго иноземца, грека Максима, какъ позднѣе понадобились для капитальнаго, предпринятаго тогда дѣла,—исправленія искаженныхъ невѣжествомъ книгъ,—силы малорусской кievской школы. Для прикладнаго научнаго знанія всякаго рода пришлось еще съ XV вѣка прибѣгать къ усиленному вызову иноземцевъ, населившихъ въ Москвѣ цѣлую нѣмецкую слободу. Не то, чтобы въ высшемъ классѣ и въ самомъ народѣ не было влеченія къ книжному ученію, но государство и іерархія, присвоившія себѣ право думать за всѣхъ, не считали нужнымъ позаботиться о правильной школѣ (до основанія славяно-греко-латинской академіи, которая сама была исключительно схоластической); своихъ людей ученыхъ или образованныхъ (кромѣ вызываемыхъ малоруссовъ) не было,—были только книжные начетчики, самоучки, бывалые люди. Мысль до того отвыкла работать, что само религіозное ученіе сводилось на вѣншее благочестіе, и народно-церковный расколъ не умѣлъ иначе опредѣлить своихъ желаній, какъ защитой буквы.

Московская форма, слагавшаяся въ XV—XVII столѣтіи, наконецъ возобладала въ различныхъ сторонахъ народной жизни; но видѣтъ въ ней законченное политическое выраженіе русской народности, полагать, чтобы даже въ тѣ вѣка и въ этой формѣ народъ вполне высказалъ свое самосознаніе,—есть историческая ошибка. Напротивъ, какъ мы замѣчали, это была временная, переходная форма народной жизни, и столь грубая, что пришлось бы отчаяться во всякой способности русскаго народа къ историческому развитію, еслибы приведенное мнѣніе оказывалось правдой. Московская форма, напротивъ, подавляла исконныя черты бытового русскаго склада, начала народнаго самоуправленія, первая связала народную жизнь приказнымъ чиновничествомъ, крѣпостнымъ правомъ, отсутствіемъ всякой заботы о школѣ. Высшіе классы были вѣрными слугами той формулы, которая должна была выражать національную сущность (и на дѣлѣ вовсе ея не обнимала), потому что этой службой охраняли свой собственный интересъ и свое господство надъ поработченными народными массами; но люди независимые и просвѣщенные бѣжали изъ отечества, какъ кн. Курбскій. Народъ подчинялся и жилъ въ умственной дремотѣ, мѣшая христіанскую религіозность съ воспоминаніями стараго языческаго преданія, создавалъ себѣ фантастическое представленіе о библейскомъ властителѣ, подкрѣпляя его реальнымъ, но весьма неточнымъ соображеніемъ, что этотъ властитель—единственная гроза на его угнетателей, и рядомъ съ этимъ въ своей собственной поэзіи идеализируя Стеньку Разина, превращая древняго Илью Муромца въ казачьяго атамана. Эти два слоя были раздѣлены почти не меньше, чѣмъ позднѣе общество XVIII вѣка отдѣлялось

отъ народа; старый высшій классъ имѣлъ, правда, съ народомъ одну почву въ понятіяхъ церковныхъ (исключая раскола) и почти одно невѣжество, но въ общественномъ смыслѣ точно также считалъ народъ за безправную и служебную массу. Довольно единодушно было — подь конецъ московскаго періода, кажется, одно отрицательное представленіе: недовѣріе, даже ненависть ко всему иноземному, которыя развиваются у всѣхъ народовъ, принудительно отрываемыхъ своимъ режимомъ отъ общенія съ другими народами и отъ науки. Эта крайняя исключительность, эта суевѣрная боязнь всего иноземнаго, эта подозрительность къ наукѣ, какъ дѣлу сомнительному и едва ли не бѣсовскому, была вовсе не вѣнцомъ чисто русской самобытности, — а только прискорбнымъ наслѣдіемъ тяжелой исторіи, слѣдствіемъ и вмѣстѣ новой причиной невѣжества.

Если такимъ образомъ формы не остаются неизмѣнны, подвергаясь влиянію многообразныхъ историческихъ условій, и въ извѣстныхъ случаяхъ перестаютъ удовлетворять потребностямъ *цѣлаго*, то съ другой стороны не остается неизмѣненнымъ и такъ-называемый „исконный“ народный характеръ, изъ котораго ихъ производятъ. Какъ въ одну данную минуту народъ въ разныхъ областяхъ, съ мѣстными и историческими особенностями, представляетъ различныя, иногда чрезвычайно рѣзкія варіаціи типа, такъ вѣка исторіи, счастливые или бѣдственные, спокойные или бурные, свободные или рабскіе, просвѣщенные или невѣжественные, налагаютъ на народность свой отпечатокъ, болѣе или менѣе глубокой, или совершенствуя ее, или нанося ей порчу, во всякомъ случаѣ видоизмѣняя, давая новыя черты характера, новыя понятія и потребности. Отсюда и необходимость развитія новыхъ формъ... Лучшее, здоровое можетъ пережить, но можетъ и не пережить историческихъ испытаній, и если оно бывало заглушено, не высказывалось потомъ, это не значитъ, чтобы его не было прежде, и что оно не могло бы ожить при новыхъ условіяхъ.

Что московская государственная и бытовая форма не была ни полнымъ и правильнымъ выраженіемъ русской народности, ни окончательнымъ плодомъ народнаго самосознанія, объ этомъ самымъ знаменательнымъ образомъ свидѣтельствовала Петровская реформа. Что Петръ не былъ, какъ иные думали, выродкомъ изъ своего народа, а былъ именно его характернымъ и гениальнымъ дѣтищемъ, въ этомъ не сомнѣвается никто, не потерявшій историческаго смысла. Его дѣятельность стала энергической реформой, часто безогляднымъ отрицаніемъ старыхъ идей и порядковъ, именно потому, что онъ, воплощая и сосредоточивая въ себѣ исторически созрѣвшія потребности *цѣлой* народности, вооружался противъ тѣхъ сторонъ преж-

няго быта, которыя связывали матеріальныя и умственныя силы народа, останавливали ихъ развитіе,—и чѣмъ упорнѣе были старыя преданія, тѣмъ упорнѣе онъ шелъ противъ нихъ. Съ него начинается новѣйшій періодъ русскаго національнаго самосознанія.

Задачи были громадны. Народъ долженъ былъ прежде всего установить свое внѣшнее политическое бытіе, и этой задачѣ Петръ Великій отдалъ большую долю своей дѣятельности. Другой заботой его было водворить въ Россіи европейскія знанія, но, какъ ни высоко цѣнили онъ самое знаніе, какъ силу, поднимающую людей изъ тьмы невѣжества, эта забота руководима была прежде всего утилитарными цѣлями государства. Непосредственно, положеніе самого народа не облегчилось при Петрѣ, напротивъ, тягости еще возросли, крѣпостное право усилилось,—то время вообще не задавало себѣ этого вопроса, даже къ концу столѣтія освободительная французская философія считала еще народную массу грубой служебной силой;—но, несмотря на то, нравственному вліянію Петровской реформы слѣдуетъ приписать одинъ изъ главныхъ толчковъ къ тому внутреннему общественному—и уже гораздо шире *сознательному*—движенію умовъ, которое развивало понятіе нравственной обязанности служенія обществу, и къ концу XVIII вѣка пришло къ убѣжденію о необходимости освобожденія. „Работникъ на тронѣ“; царь, пишущій и печатающій книги для образованія народа; царь, рѣзко отрицающій отжившія преданія,—это было нѣчто невиданное. Образованность, начинавшаяся подъ такими впечатлѣніями, получила опору въ могущественномъ примѣрѣ, и при всѣхъ, часто непреодолимыхъ, трудностяхъ она не отступала и продолжала дѣло Петра. Государственная задача велась правительственною властью; образованность бросила корни въ самомъ обществѣ и уже съ первыхъ шаговъ поставила вопросъ—о народѣ.

Образованность XVIII вѣка начинала совсѣмъ новое дѣло, котораго не готовила московская Россія. Дѣйствительно, то, что можно было назвать въ XVII-мъ вѣкѣ подготовленіемъ реформы, было отрывочно и безсвязно; въ литературѣ, нѣкоторыя новыя стремленія, навѣяныя кіевскими учеными, были слишкомъ случайныя и слишкомъ схоластическія. Первая свѣтская школа является съ XVIII вѣка и съ ней первыя начала настоящей не-схоластической науки; непосредственныя, хотя на первое время и нечастыя, связи съ западнымъ образованіемъ положили прочныя основанія научному интересу. Движеніе было еще въ зародышѣ, но шло уже по совсѣмъ иному пути: вмѣсто богословскаго направленія прежнихъ книжниковъ, вмѣсто первобытно-эпическаго міровоззрѣнія народной массы, новая образованность принимаетъ—и не могла не

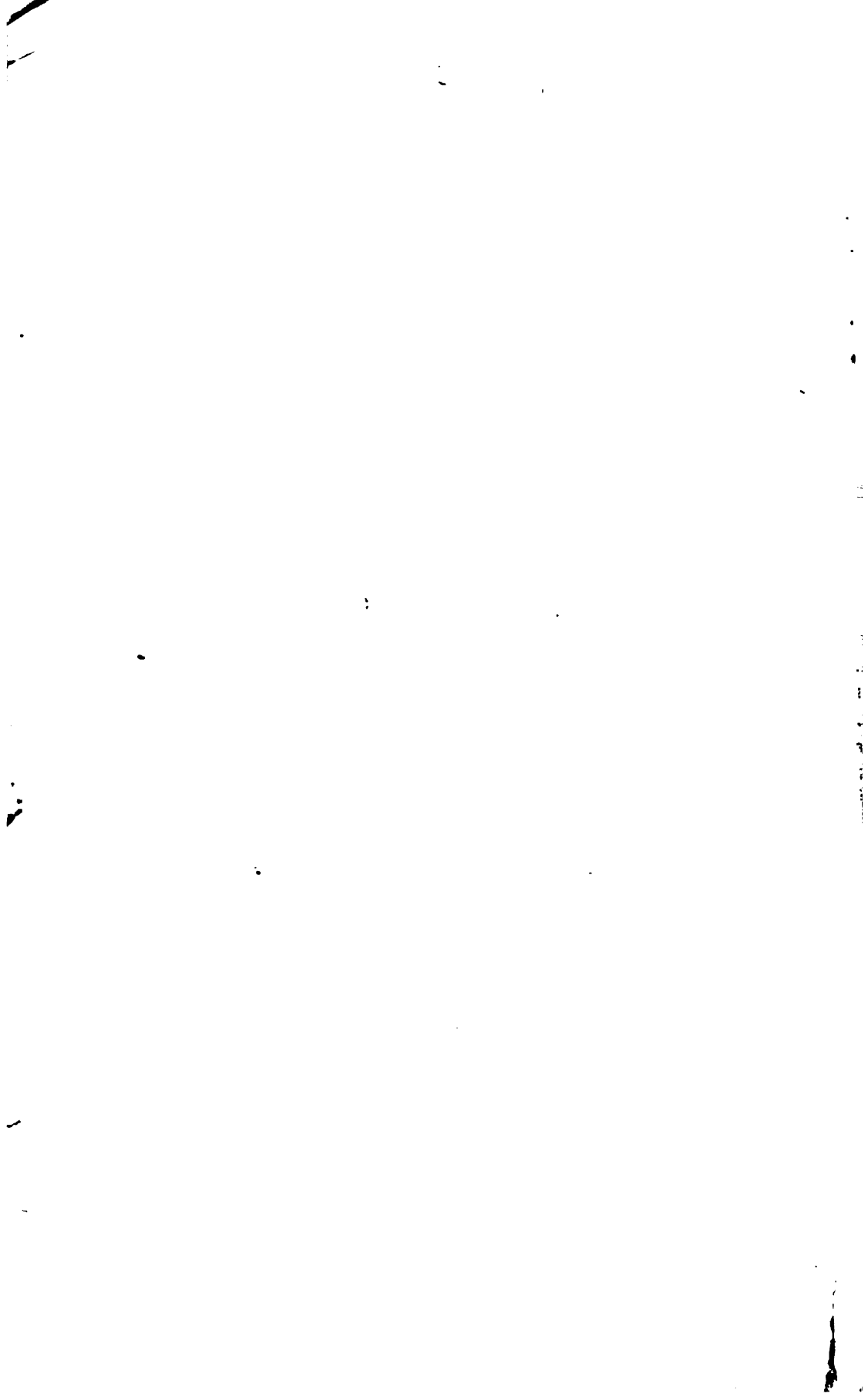
принять—направленіе научнаго рціоналізма и критики. Литература получает совсѣмъ иной видъ и характеръ содержанія. Старая литература, официально признанная ученость и книжность, состояла почти исключительно изъ церковной письменности и арханческой лѣтописи и велась на искусственномъ языкѣ, который давно уже становился народу чуждымъ; письменность на живомъ языкѣ народа, или болѣе близкомъ къ народному, состояла въ легендѣ и повѣсти, попадавшихъ на бумагу только въ качествѣ развлечения и забавы для любителей; поэзія чисто народная преслѣдовалась со времени введенія христіанства, сначала проклинаясь какъ поганое язычество, позднѣе осуждаемая какъ грубая потѣха, недостойная книжнаго человѣка, и до конца XVII-го вѣка не дала почти никакихъ ростковъ личнаго творчества. Новая литература, подъ гнѣснѣйшимъ вліяніемъ западно-европейскимъ, вносила новое содержаніе съ новыми формами и заговорила новымъ языкомъ. Ея содержаніемъ стало, во-первыхъ, усвоеніе идей европейской образованности въ переводахъ и собственныхъ произведеніяхъ; во-вторыхъ, изображеніе русской дѣйствительности съ точки зрѣнія новыхъ приобретенныхъ знаній. Послѣ стараго періода, который зналъ почти только одну народную поэзію, не получавшую мѣста въ книгѣ, и одни сухіе зачатки школьнаго стихотворства, въ новой литературѣ впервые является художественное личное творчество, которому предстояло потомъ такое быстрое и блестящее развитіе; съ другой стороны, также почти впервые возникаетъ критическій взглядъ—необходимое орудіе, которымъ можетъ быть достигнуто дѣйствительное самосознаніе и отдѣльной личности, и общества. Этими двумя данными будущность литературы была опредѣлена. Въ языкѣ новая литература такимъ же образомъ оставила старый условный, полу-церковный языкъ, и все больше приближалась къ живой рѣчи общества и народа.

Съ этого времени идетъ совсѣмъ новый рядъ явленій внутренней національной жизни. Характеръ власти и положеніе подданныхъ не измѣнились: монархія Петра Великаго была деспотія, въ суровости не уступавшая XVI—XVII вѣку (отъ которыхъ эта суровость и была унаслѣдована), но она была своего рода просвѣщенной деспотіей, и это имѣло громадное нравственное вліяніе. Петръ Великій требовалъ ученья и службы отъ лѣниваго и тунеяднаго боярства; давалъ къ этому средства; объяснял свои взгляды и планы, отбросилъ условный языкъ прежняго времени и говорилъ реальнымъ и нагляднымъ языкомъ дѣла, и у него тотчасъ явились *убѣжденные* приверженцы. Умственный горизонтъ общества чрезвычайно расширился; съ устраненіемъ прежней національной исключительности, съ притокомъ иностранныхъ ученыхъ людей и книгъ, съ увеличеніемъ знаній,

явилась возможность сравненія и критики; успѣхи внѣшней политики, блестящее подтвержденіе заботъ о флотѣ и арміи, торжество надъ Карломъ XII дали удовлетвореніе національной гордости; передъ обществомъ открывались, какъ никогда прежде, внѣшнія и внутреннія дѣла государства, и впервые съ московскихъ временъ возникаетъ дѣйствительное національное самосознаніе, опирающееся на знаніи, — правда, еще въ зачаточной степени, но опредѣленное.

Новая образованность, поставленная подобнымъ образомъ, не могла не возвысить своихъ интересовъ до интересовъ всенародныхъ. И дѣйствительно, какъ мы выше замѣчали, она отрелится къ распространенію знаній въ обществѣ, къ изученію страны и народа, болѣе и болѣе сближается съ интересами народной массы, наконецъ, является защитницей ея человѣческихъ и общественныхъ правъ. Если въ наше время потребность въ изученіи народа, стремленіе къ распространенію просвѣщенія въ его средѣ, къ его матеріальному, нравственному и умственному освобожденію, становятся сознательной обязанностью всякаго серьезно мыслящаго человѣка, и во имя этой цѣли ведется столько ревностной и плодотворной работы, — то въ этомъ сказывается только послѣдній результатъ тѣхъ началъ, которыя положены были реформой, и тѣхъ трудовъ, которые предприняты были впервые образованностью XVIII вѣка и съ тѣхъ поръ непрерывно продолжались.

Матеріалъ этнографіи — народно-поэтическія воззрѣнія и обрядовый бытъ. Изученіе ея — путь къ опредѣленію „народности“. Обзоръ ея исторіи, къ которому приступаемъ, есть вмѣстѣ обзоръ успѣховъ народнаго самосознанія.



ГЛАВА I.

ОБЩІЙ ОБЗОРЪ ИЗУЧЕНІЯ НАРОДНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЪ ИХЪ ВЪ СОВРЕМЕННЫХЪ ПОНЯТІЯХЪ.

Факты, въ которыхъ сказалось стремленіе новаго образованія къ изученію народности и вмѣстѣ къ поднятію положенія народной массы,—словомъ, къ достиженію дѣйствительно цѣльной, сознательной національной жизни, къ тому, что называется народнымъ самосознаніемъ,—эти факты разсѣяны по всей исторіи нашего просвѣщенія послѣднихъ двухъ столѣтій. Мы не будемъ останавливаться на тѣхъ внѣшне-политическихъ и внутреннихъ государственныхъ событіяхъ, которыя возбуждали національный инстинктъ и тѣмъ прямо или косвенно дѣйствовали и на это образовательное движеніе, и соберемъ только указанія о томъ специальномъ научно-литературномъ стремленіи къ изученію и возвышенію народности, которое до сихъ поръ слишкомъ мало оцѣняли въ нашей исторіи прошлаго вѣка, да и нынѣшняго.

Это движеніе шло изъ одного источника, въ двухъ отдѣльных, но близкихъ направленіяхъ: во-первыхъ, въ постоянно расширявшемся фактическомъ изученіи народа въ разныхъ отношеніяхъ— историческомъ, этнографическомъ, экономическомъ, нравственно-общественномъ; во-вторыхъ, въ также постоянно возраставшемъ стремленіи приблизить литературу къ непосредственной дѣйствительности, примѣнить приобретаемыя отъ западной науки и литературы знанія и нравственныя идеи къ русской жизни, дать литературному языку, дотолѣ искусственно-книжному, болѣе живой народный характеръ, ввести въ литературу самую жизнь народа и ея интересы.

Если мы будемъ искать стимулъ, который возбуждалъ это движеніе, то найдемъ, что онъ былъ не иной какъ накопившаяся въ

русскомъ народѣ (и высказавшаяся въ извѣстномъ его словѣ) потребность просвѣщенія, анализа, совершенствованія, тотъ инстинктъ цивилизаціи, который былъ свойственъ русскому народу, какъ европейскому, а не азиатскому, и который въ теченіе многихъ вѣковъ или находилъ только скудную пищу и принималъ слишкомъ одностороннее и узкое направленіе, или даже совсѣмъ заглушался, а съ конца XVII-го и начала XVIII-го вѣка нашелъ себѣ прочную опору въ *европейской наукѣ*. Понятіе науки было совершенно неизвѣстно старой русской жизни, мысль которой строилась исключительно на авторитетѣ и преданіи: бывали и тогда столкновенія мнѣній, споры политическіе, церковныя, но только въ предѣлахъ этого авторитета; у насъ „не было инквизиціи“, но еретиковъ жгли точно также, если они выходили изъ этихъ предѣловъ; вѣроятно, жгли бы и ученыхъ, еслибы только они были. И теперь наука не явилась вполне свободною; но она была названа, за нею признано было право существованія, подѣ извѣстными условіями она восхвалялась какъ образованіе человѣческаго разума и какъ государственная потребность, и дѣйствительно уже на первыхъ порахъ вносила въ умственную жизнь новую, неизвѣстную прежде силу—критическій анализъ. Разъ допущенный и воспринятый, онъ долженъ былъ развиваться самъ собою и все сильнѣе; это была, съ одной стороны, разлагающая, но съ другой великая *созидающая* сила.

Въ спорахъ о значеніи Петровской реформы (то, что они еще тянутся донинѣ, не говоритъ объ особыхъ успѣхахъ нашего просвѣщенія и показываетъ, что начала, выставленныя реформой, еще не закончили своего примѣненія въ русской жизни), обвиняемой въ измѣнѣ „народнымъ началамъ“, часто забывалось это обстоятельство, а оно весьма существенно. Приходятъ въ негодованіе отъ нарушенія стародавнихъ обычаевъ (которые, по справедливости, нерѣдко были въ самомъ дѣлѣ олицетвореніемъ застоя и невѣжества, пріобрѣтенныхъ изъ Азіи), но надо было, наконецъ, подумать объ удовлетвореніи потребностей ума и здраваго смысла русскаго народа. Вновь появившаяся наука не могла не произвести внутренняго и внѣшняго, бытового разлада; она разлагала много старыхъ понятій, но давала основанія для новыхъ, логически болѣе сильныхъ. Проклинаютъ отдѣленіе образованныхъ классовъ отъ народа,—но социальное оно началось давно, и степень отдѣленія увеличивалась приниженымъ положеніемъ народа и невѣжествомъ, которое даже до послѣдняго времени намѣренно поддерживалось, конечно, не въ духѣ просвѣщенія, на которое указывала реформа. Недостатокъ образованія, доходящій до полнаго невѣжества въ обыденныхъ предметахъ знанія,—отъ чего бы ни происходилъ,—*не можетъ* мириться съ поня-

тіями научнаго происхожденія, было ли оно близкое или отдаленное. Вопросъ объ уничтоженіи этого раздѣленія рѣшается тѣмъ, что не должно оставлять народъ въ состояніи полу-дикаго невѣжества; и только выйдя изъ этого состоянія хоть нѣсколько, народъ можетъ подать свой голосъ въ этомъ дѣлѣ, и раздѣленію, какъ оно есть дониндѣ, можетъ быть положенъ конецъ.

Исторія нашего общества съ XVIII вѣка представляетъ постоянный ростъ образованности и по содержанію, и по распространенію; вмѣстѣ съ тѣмъ—ростъ народныхъ изученій.

Первые проблески сознательнаго критическаго отношенія къ государственной и народной жизни встрѣчаются въ еще XVII вѣкѣ у писателей, которымъ болѣе или менѣе были близки интересы просвѣщенія. Таковъ былъ Котошихинъ въ своей книгѣ о Россіи; полурусскій Крижаничъ, ужасавшійся господствующаго въ Россіи невѣжества; человекъ изъ народа, Посошковъ, который, не выходя изъ преданій, чувствовалъ, однако, необходимость науки. При Петрѣ, вопросъ науки, хотя всего больше въ утилитарныхъ примѣненіяхъ, поставленъ былъ прямо, и основаніе Академіи наукъ въ Петербургѣ было въ этомъ отношеніи фактомъ великаго значенія. Академія была вмѣстѣ ученымъ и учебнымъ учрежденіемъ; такъ какъ своихъ ученыхъ еще не было, то для основанія дѣла приглашаемы были ученые иностранцы, въ числѣ которыхъ были знаменитыя европейскія имена (Эйлеръ, Бернулли, Делиль, Байеръ, Шлѣцеръ и друг.), и это имѣло свое вліяніе въ обществѣ, которому нужно было учиться уважать научное знаніе. Позднѣе, Академія стала черезъ мѣру нѣмецкой, но и при этомъ не осталась безъ великаго благотворнаго вліянія на русское просвѣщеніе,—она приняла и образовала многихъ русскихъ ученыхъ: въ средѣ ея дѣйствовали Ломоносовъ, въ ея кругѣ воспитались Крашенинниковъ, Лепехинъ, Озерецковскій, Румовскій и пр.; къ ней примыкали и находили въ ней опору люди съ научными интересами, но къ ней не принадлежавшіе (Рычковъ, Татищевъ, Крестининъ и пр.); вообще она была представительствомъ науки, и для грубыхъ нравовъ прошлаго вѣка „де-сіансъ академія“ была по крайней мѣрѣ „вѣдомствомъ“, гдѣ наука имѣла свое официальное мѣсто и право.

Дѣятельность Академіи въ той области, о которой говоримъ, обнаружилась различными способами. Въ академіи началась первая строго научная разработка русской исторіи—могущественное орудіе національнаго самосознанія. Коль, Байеръ, Миллеръ, Шлѣцеръ, Стриттеръ, позднѣе Кругъ, Лербергъ.—и особенно Шлѣцеръ,—несомнѣнно приготовили дорогу Карамзину, не только непосредственными результатами своихъ изслѣдованій, но и еще болѣе своей исторической

критикой: ихъ методъ изслѣдованія приносилъ къ намъ прямо тѣ приемы, которые европейская наука выработывала долгими вѣками критическаго труда. Шлёцеръ и въ своей собственной литературѣ былъ однимъ изъ первостепенныхъ представителей исторической критики; въ той же мѣрѣ его научная сила сказала въ примѣненіи къ русской исторіи. По выраженію Погодина, вызовъ Шлёцера былъ „настоящее событіе въ русской исторіи или, по крайней мѣрѣ, въ ея критикѣ: Шлёцеръ, какъ Цезарь, пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ!“ Его восторгъ передъ Несторомъ, восторгъ, какового до тѣхъ поръ не высказалъ никто изъ самихъ русскихъ, безъ сомнѣнія многимъ внушилъ интересъ и уваженіе къ своей древности.

Въ связи съ этимъ шла другая работа, въ высокой степени важная для нашей исторіографіи—собираніе лѣтописей и вообще историческихъ источниковъ. Здѣсь глубокаго уваженія заслуживаетъ неустанная дѣятельность Герарда Фридриха Миллера, который былъ въ этомъ отношеніи предшественникомъ Новикова и Археографической экспедиціи. Это была опять работа совершенно новая. Старая московская Россія по-своему заботилась о русской исторіи, но у людей того времени выходила только огромная, но грубая компиляція: такіе труды, какъ Никоновская лѣтопись, составлялись механически, въ томъ же родѣ, какъ дѣлались лѣтописные своды въ XI—XII столѣтіи. Теперь самая задача историческаго знанія была поставлена совершенно иначе и рядомъ съ критической разработкой древней русской исторіи шла собираніе и изданіе историческаго матеріала, лѣтописей, актовъ и т. д. Работа опять начата была при Академіи: еще въ 60-хъ годахъ прошлаго вѣка изданъ былъ Радзивилловскій или Кенигсбергскій списокъ Нестора (принадлежавшій нѣкогда кн. Радзивиллу и находившійся въ Кенигсбергѣ, откуда былъ вывезенъ въ Семилѣтнюю войну), до изданій Археографической Комиссіи служившій главнымъ источникомъ для древняго періода; издана была Шлёцеромъ „Русская Правда“; изданы памятники старой исторической работы, какъ Никоновская лѣтопись, Степенная книга и проч. Многочисленные акты, собранные Миллеромъ, онъ помѣщалъ въ своихъ изданіяхъ, въ „Вивлюэикѣ“ Новикова, въ изданіяхъ „Московскаго Вольнаго Собранія“, и даже до послѣдняго времени матеріалы, собранные имъ во время 10-лѣтнаго пребыванія въ Сибири (1733—1743), печатались въ изданіяхъ Археографической Комиссіи. Заботами Академіи, именно Миллера, изданы были прежніе историческіе труды, напримѣръ, „Россійская исторія“ Татищева, его же „Судебникъ царя Іоанна Васильевича“—уже послѣ смерти автора; „Ядро Россійской исторіи“ Манкіева (Хилкова), „Географическій Лексиконъ Россійскаго государства“ Полунина и др. Дѣятельный

Миллеръ, потрудившійся какъ немногіе и послѣ него для русской исторіи, обратилъ вниманіе на мѣстную исторію: кромѣ „Сибирской исторіи“, имъ начатой и по его матеріаламъ конченной академикомъ Фишеромъ, онъ сдѣлалъ нѣсколько описаній подмосковныхъ городовъ и монастырей, и т. п.

Отъ Академіи идетъ въ прошломъ столѣтіи рядъ другихъ ученыхъ предпріятій—путешествій для изученія Россіи въ естественно-историческомъ и этнографическомъ отношеніи. Это были опять первые въ своемъ родѣ труды, богатые результатами и по прямымъ полезнымъ указаніямъ о характерѣ и экономическихъ средствахъ разныхъ краевъ Россіи, и потому, что они опять возбуждали научные интересы по отношенію къ государству и народу и воспитывали общественное самосознаніе. Съ описаніями страны, ея естественныхъ произведеній, являются здѣсь начатки этнографическихъ наблюденій о русскомъ народѣ и инородцахъ, сообщаются указанія археологическія и т. п. Назовемъ имена Гмелиновъ, Крашенинникова, Палласа, Лепехина, Озерецковскаго, Георги, Фалька, Гильденштедта и пр.

Къ дѣятельности Академіи относится и основаніе перваго журнала („Ежемѣсячныя Сочиненія“, Миллера).

Все это возбуждало интересъ къ наукѣ, указывало необходимость изученія страны и народа, отрывало въ исторіи вмѣсто безсвязнаго ряда событій, какимъ она представлялась прежде, послѣдовательный ростъ государства въ его отношеніяхъ съ другими народами, въ событіяхъ научало замѣчать проявленія національнаго характера.

Вліаніе европейской науки, ея точечъ зрѣнія и приемовъ очевидно; оно шло и отъ дѣйствовавшихъ въ Россіи нѣмецкихъ ученыхъ, и отъ путешествій русскихъ за границу, и отъ европейской литературы. Новымъ сильнымъ проводникомъ европейскаго знанія сталъ (съ 1755) Московскій Университетъ. Здѣсь, какъ и въ Академіи, недостатокъ людей заставилъ въ первыя десятилѣтія прибѣгнуть къ приглашенію иностранныхъ ученыхъ, опять по преимуществу нѣмцевъ. Притокъ свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ науки, особенно гуманистическимъ и государственнымъ, и здѣсь оказывалъ свое дѣйствіе, возвышая уровень нравственно-общественныхъ понятій; но кромѣ того, въ средѣ самихъ иностранныхъ ученыхъ находились люди, дававшіе благотворныя указанія для изученія русской старины и народности,—люди, находившіе въ Россіи второе отечество и полагавшіе усердный трудъ на его изученіе. Назовемъ Маттеи, описавшаго древнія греческія рукописи Синодальной бібліотеки; многосторонняго ученаго Буле; профессора Баузе, который составилъ съ знаніемъ дѣла замѣчательное собраніе рукописей и древнихъ предметовъ,—это собраніе, сгорѣвшее въ пожарѣ 1812 года, заключало въ себѣ

настоящія драгоценности, по отзыву знающихъ археологовъ, которые его видѣли ¹⁾. Модныя теперь нападки на „европейничанье“ (котораго именно въ XVIII вѣкѣ было гораздо больше, чѣмъ въ нашемъ) забываютъ, что среди нескладныхъ примѣровъ, какіе были неизбежны при полу-образованности (а для настоящей образованности государство дѣлало слишкомъ мало), дѣятели европейской науки сдѣлали тогда много самаго настоящаго добра, полагали благороднѣйшія усилія на пользу призывавшей или усмысливавшей ихъ страны, и могли сдѣлать это только въ силу своего европейскаго образованія. Результатъ, полученный изъ этой дѣятельности иноземцевъ въ Россіи или вообще изъ европейской литературы,—было благотворное возбужденіе умственной жизни въ русскомъ обществѣ, и только на этомъ пути возможно было достигнуть здраваго развитія государственнаго и народнаго.

Время Петра произвело сильное впечатлѣніе на умы, и уже вскорѣ это характеристически выразилось въ дѣятельности Ломоносова, который послѣ Петра былъ, вѣроятно, величайшимъ русскимъ умомъ XVIII-го столѣтія. Къ Ломоносову не осмѣливались касаться клеветы на наше подчиненіе европейской образованности; между тѣмъ Ломоносовъ былъ именно полнѣйшимъ представителемъ европейскихъ вліяній,—какъ нарочно, человекъ изъ самой подлинной народной среды, но великій почитатель реформы и европейскаго знанія. Онъ равно былъ дѣятелемъ чистой науки, и старался въ разныхъ отрасляхъ примѣнять ее къ русской жизни; образованіе его было чрезвычайно разносторонне,—въ философіи ученикъ Вольфа, естествоиспытатель, онъ ищетъ и законовъ русскаго языка, пишетъ русскую исторію и заботится объ „изученіи нѣдръ нашего отечества“, о „размноженіи и сохраненіи російскаго народа“. Эти заботы были естественнымъ внушеніемъ образованія, которое именно вооружало умъ просвѣщеннаго человека средствами разумнаго служенія своему отечеству и народу: это образованіе не казалось Ломоносову „чужимъ“, а такимъ, къ какому долженъ бы былъ стремиться каждый разумный человекъ, желающій своему отечеству пользы.

Старшій современникъ Ломоносова, Татищевъ, имѣетъ заслуженное имя въ исторіи нашей литературы и образованія, какъ авторъ „Исторіи Россійской“, перваго опыта цѣльной (впрочемъ, недоконченной) исторіи, писанной до Миллера и Шлёцера, но подъ вліяніемъ новыхъ понятій,—плода тридцатилѣтнихъ трудовъ. Его ученіе пришлось въ разгаръ реформы и было, по обычаю, специально-

¹⁾ Нѣкоторыя цитаты изъ него въ „Исторіи“ Карамзина; теперь извѣстенъ только каталогъ этого собранія.

техническое; два года онъ учился въ Германіи; не бывши гуманистомъ, онъ зналъ славнѣйшія произведенія философско-политической литературы, тогдашней и болѣе ранней, отъ Макиавели и Пуффендорфа до Гоббса, Бэйля, Локка, Фонтенеля, и хотя отвергалъ ихъ крайнія мнѣнія и называлъ ихъ вреднымъ, но въ своихъ взглядахъ религиозно-бытовыхъ и историческихъ обнаружилъ немалую долю рационализма. Его „Исторія“ еще носитъ отчасти характеръ лѣтописнаго свода, но уже совсѣмъ не похожа на старыя произведенія этого рода, потому что сопровождается факты прагматическимъ толкованіемъ. Въ своихъ новыхъ мысляхъ онъ былъ очень остороженъ, но взглядъ на народную жизнь былъ явно критическій... У приверженцевъ старины онъ прослылъ за безбожника.

Времена Екатерины II были въ прошломъ вѣкѣ по преимуществу временемъ „европейничанья“, доходившаго до размѣровъ, которые становились странными; но въ эти же времена наиболѣе ярко высказалось стремленіе къ изученію народа и къ сближенію съ его жизнью и интересами. Странно, въ самомъ дѣлѣ, что императрица російской имперіи, обладательница абсолютнѣйшей власти, чрезвычайно къ ней ревнивая, державшая Шешковскихъ для нѣкоторыхъ отправленій этой власти,—обнаруживаетъ рядомъ съ этимъ великія сочувствія къ французскому литературно-философскому движенію, практическій смыслъ котораго былъ, между прочимъ, отрицаніе абсолютизма. Эти сочувствія были увлеченіемъ живого ума, который искалъ новизны и оригинальности, понималъ и не могъ не цѣнить блестящіе и глубокіе таланты Вольтера, Дидро, д'Аламбера, который самъ хотѣлъ блеснуть примѣненіемъ идей, обходившихъ тогда всю Европу. Нѣтъ сомнѣнія, что въ этихъ сочувствіяхъ бывала настоящая искренность, но едва ли сомнительно также, что былъ и холодный расчетъ: этотъ живой умъ былъ также достаточно трезвъ и холоденъ, чтобы идеи не могли переступить той границы, за которою стоялъ ревнивый абсолютизмъ,—здѣсь онъ самымъ недвусмысленнымъ образомъ отвергалъ тѣ самыя идеи, которыя прежде превозносилъ. Думаютъ обыкновенно, что Екатерина II только въ концѣ царствованія отступила въ реакцію; но подобныя настроенія не трудно видѣть и въ первое десятилѣтіе ея правленія. Но какъ бы ни было съ ея личными взглядами и политикой, идеи, разъ заявленныя изъ самаго средоточія власти (какъ было въ „Наказѣ“), уже не могли быть остановлены и производили свое дѣйствіе. Вліанія европейской литературы (говоря относительно, по тогдашнему числу образованнаго класса) были сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Онѣ шли черезъ книги, черезъ путешествія и личныя встрѣчи; съ начала французской революціи Россію стали наводнять эмигранты, между которыми

бывали люди высокаго образованія и нравственнаго характера. Задолго до наплыва эмиграціи, патриотическіе писатели жаловались на галломанію, бранили и осмѣивали людей, забывавшихъ отечественное для поверхностнаго подражанія, „отрывавшихся отъ народа“; но теперь „галломанія“ еще возрасла главнымъ образомъ, конечно, отъ недостатковъ самой русской общественности и отъ слабаго развитія школы. И позднѣе, знаменитый патриотъ 12-го года, Ростопчинъ (кажется, первый основатель „кваснаго“ патриотизма), не могъ быть безъ французскаго языка; величайшій русскій поэтъ сказалъ однажды, что ему французскій языкъ ближе (*plus familière*), чѣмъ русскій. Нѣтъ сомнѣнія, что было въ галломаніи много явленій каррикатурныхъ и нелѣпныхъ,—какъ въ извѣстномъ классѣ они есть до сей минуты,—но въ лучшемъ меньшинствѣ образованнаго класса (между прочимъ, дѣйствовавшемъ и въ литературѣ) прочно утвердились ученія французской литературы „просвѣщенія“: ученія о нравственномъ достоинствѣ личности, о гражданской обязанности, о человеколюбивомъ отношеніи къ народу, объ общественной справедливости. „Наказъ“, составленный подъ явнымъ вліяніемъ философіи „просвѣщенія“, съ буквальными заимствованіями изъ ея писателей,—при всемъ историческомъ недоумѣніи, какое возбуждаетъ теперь,—въ свое время, какъ правительственное заявленіе, поддержанное на дѣлѣ созывомъ депутатовъ, произвелъ впечатлѣніе на умы и долженъ былъ внушить или поддержать здоровыя общественныя понятія. „Наказъ“ служилъ имъ опорой и позднѣе, когда правительственная погода измѣнилась и объ идеяхъ „Наказа“ уже не было помину... Въ началѣ царствованія Екатерины поднятъ былъ вопросъ о справедливости и возможности освобожденія крестьянъ; въ концѣ необходимость освобожденія стала для многихъ убѣжденіемъ (хотя сама власть въ этомъ же періодѣ закрѣпостила сотни тысячъ свободаго крестьянскаго населенія).

Большинство изъ упомянутыхъ выше ученыхъ историковъ и путешественниковъ дѣйствовали въ царствованіе Екатерины: изданіе лѣтописей, описанія Россіи увеличивали горизонтъ историческихъ и этнографическихъ свѣдѣній; вырославшее политическое могущество Россіи расширяло національный патриотизмъ до степени, изображаемой поэзіею Державина; этотъ патриотизмъ заставлялъ оглядываться на славныя дѣянія прошедшаго, на доблести русскаго народа и на его настоящее. Къ послѣднимъ десятилѣтіямъ прошлаго вѣка возникаютъ изученія народнаго характера и этнографической старины.

Сама Екатерина занялась исторіей; въ эти изученія она внесла тотъ рассчитанный оптимизмъ, съ какимъ вообще говорила о русскомъ народѣ и російской имперіи и который долженъ былъ быть

ей политикой. Въ древней Россіи она видитъ уже правильную самодержавную монархію и, конечно, при этомъ взглядѣ очень свободно распоряжается фактами. Но исторически важно въ разсматриваемомъ нами предметѣ было то, что исторія получала здѣсь публицистическое примѣненіе, что въ ней искали связей съ настоящимъ, въ ней видѣлась провѣрка національной жизни. Рядомъ съ тенденціознымъ оптимизмомъ были и другія мнѣнія, не менѣе патріотическія, но болѣе правдивыя и строгия.

Самыми знаменательными представителями той стороны общественнаго мнѣнія, которая старалась критически выяснить положеніе вещей, были Новиковъ и Радищевъ. Первому посвящено было въ наше время много изслѣдованій, явилось нѣсколько новыхъ свѣдѣній о второмъ; но значеніе обоихъ все еще опредѣлено не вполне. Новиковъ, послѣ Ломоносова, едва ли не замѣчательнѣйшій представитель умственныхъ стремленій общества прошлаго вѣка какъ по настойчивости своихъ исканій и труда, такъ и по своей судьбѣ: сатирической публицистъ въ началѣ своей дѣятельности, неутомимый издатель книгъ, историкъ и археологъ, мистическій философъ, онъ въ основѣ всего былъ горячій патріотъ, искавшій просвѣщенія для блага народа, подавленное состояніе котораго ему было видно. Его критическое отношеніе къ жизни касается уже самыхъ серьезныхъ предметовъ общественнаго и народнаго быта, какъ крѣпостное право, недостатки въ церковной жизни, испорченность чиновничества; его историческіе труды, „Визлѣсика“ и проч., надолго остались однимъ изъ капитальныхъ источниковъ для нашихъ историковъ; предполагали не безъ основанія, что вліяніе Новикова сказалось на комедіи Фонъ-Визина и на „Исторіи“ Карамзина ¹⁾.

Дѣятельность Радищева была подорвана катастрофой безжалостнаго преслѣдованія; нѣсколько печальныхъ истинъ, необдуманно высказанныхъ предъ людьми, неспособными признать ихъ, навлекли гоненіе, отъ котораго онъ уже не могъ оправиться. Позднѣйшіе критики бросили въ него еще нѣсколько камней. Но каковы бы ни были частныя недостатки его книги, она осталась памятникомъ таковаго пониманія самой тяжелой народной бѣды, на которое съ отраднымъ чувствомъ можетъ указать историкъ, какъ на честный голосъ среди льстивыхъ и низкопоклонныхъ днѣирамбовъ. Нѣсколько страницъ въ его книгѣ—первая ясно поставленная картина крестьянскаго быта, которой продолженіе явилось только въ сороковыхъ годахъ, съ несмысленными осужденіями крѣпостнаго права въ литературѣ, и затѣмъ уже съ открытыми осужденіями съ конца пятидесятихъ годовъ.

¹⁾ Незамянова, „Н. И. Новиковъ“, стр. 419—443.

Въ послѣднихъ двухъ десятилѣтїяхъ прошлаго вѣка возникаетъ, въ первыхъ, иногда замѣчательныхъ пробахъ, изученіе народныхъ обычаевъ, преданій, собраніе народныхъ пѣсенъ: это было не случайное дѣло простого любопытства, а именно опредѣленное, хотя часто еще весьма неумѣлое желаніе розыскать народную старину, какъ исторически поучительный остатокъ древнихъ временъ. Таковы были въ особенности труды Чулкова, Новикова, Прача. Остатки древности возбуждали все больше историческое любопытство; еще во времена Татищева, въ кругу людей новаго образованія были любители старыхъ рукописей, теперь они являются чаще и съ большимъ пониманіемъ историческаго значенія памятниковъ старины. Однимъ изъ такихъ любителей былъ гр. А. И. Мусинъ-Пушкинъ, по мысли котораго были собираемы лѣтописи изъ монастырскихъ библіотекъ. Цѣлый рядъ лѣтописей древнихъ и среднихъ временъ изданъ былъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Вопросы исторїи уже связываются съ современностью; между ними чувствуется тѣсная связь; сравнивается старое и новое, разыскиваются причины общественныхъ явленій, указываются ошибки, заявляются идеалы. Таковы слѣдующіе за Татищевымъ и Ломоносовымъ труды кн. Щербатова и Болтина, въ которыхъ видятъ зародыши славянофильства: ихъ смущали въ новомъ русскомъ обществѣ равныя неблагопрїятныя явленія, которыя были отчасти неизбѣжнымъ слѣдствіемъ броженія, наступившаго послѣ реформы, отчасти дѣломъ неудачныхъ преемниковъ Петра, и возникала мысль, что виновата была самая реформа. Съ другой стороны вѣрнѣе дѣлалъ это сравненіе стараго и новаго молодой Карамзинъ (въ „Письмахъ русскаго путешественника“) и другіе защитники новой Россїи, и развивается культъ Петра Великаго, начатый его современными приверженцами.

Оглянувшись назадъ на это историческое изученіе и на результаты его, нѣсколько опредѣлившіеся къ концу вѣка, мы видимъ, что уже и въ этомъ несовершенномъ видѣ историческое знаніе того времени было такимъ фактомъ общественной мысли, о которомъ не имѣло понятія общество до-Петровское. Это была настоящая реставрація исторїи, впервые сознаваемая. Въ первый разъ является мысль опредѣлить съ извѣстною точностью начала нашей исторїи, устанавливались факты ея внѣшняго и внутренняго теченія; научная критика выясняла ихъ связь и значеніе, давала истолкованіе древнимъ связаніямъ, которыя старыми книжниками только механически повторялись и компилировались. Особая важность этихъ изысканій обнаруживается въ томъ, что многое изъ исторической старины, забытое въ московской книжности, являлось вновь на свѣтъ какъ настоящее *открытіе*. Такъ, открытіемъ была сама Несторова лѣтопись, когда ея высокое національно-историческое значеніе было объяснено Шлё-

церовъ; такими открытіями были столь важныя памятники, какъ Русская Правда, завѣщаніе Владимира Мономаха, Слово о полку Игоревѣ; открытіемъ были собранныя теперь акты, впервые подвергнутыя критическому изученію; открытіемъ были многіе вновь приобретенные факты этнографіи и археологіи; неслышанной прежде новостью было вниманіе къ произведеніямъ народной поэзіи; новостью были сопоставленія русскихъ событій съ исторіею иноземныхъ народовъ и т. д. Никогда прежде исторія не понималась въ такой цѣлости и причинной связи стараго съ новымъ и прошлаго съ настоящимъ, не ставились вопросы о дальнѣйшемъ пути государственной и народной жизни; или никогда прежде эти вопросы не занимали умовъ въ такой мѣрѣ, какъ теперь, когда они становились близки большому числу образованныхъ людей. Словомъ, уже въ этомъ несовершенномъ видѣ историческихъ и общественныхъ изученій несомнѣнно совершался процессъ національнаго самосознанія, которому предстояло развиваться далѣе, все шире охватывая явленія народной жизни и яснѣе освѣщая ихъ средствами науки и возрастающаго общественнаго чувства.

Времена импер. Павла не были удобны для литературы; за то со вступленіемъ на престолъ Александра I возникаетъ усиленное движеніе по разнымъ отраслямъ историческихъ и народныхъ изученій, монументальнымъ и характеристическимъ завершеніемъ которыхъ была „Исторія государства Россійскаго“. Не будемъ исчислять научныхъ работъ, которыя шли одновременно съ трудомъ Карамзина и не мало ему содѣйствовали. Довольно припомнить имена трудолюбиваго митрополита Евгенія, Успенскаго, Тимковскаго, талантливаго и несчастнаго Калайдовича, Ермолаева, начинавшаго свое знаменательное поприще филолога Востокова, архивныхъ знатоковъ Бантышъ-Каменскаго и Малиновскаго и проч., наконецъ, знаменитаго графа Румянцова, который, вынесши изъ „западной“ образованности прошлаго вѣка страстную любовь къ русской исторіи, оказалъ ей разработку великія услуги своимъ покровительствомъ ученому труду, своими великолѣпными изданіями, богатой библіотекой, послѣ его смерти поступившей по его завѣщанію въ общественную собственность „на благо просвѣщеніе“, и который донынѣ не имѣлъ себѣ достойнаго преемника въ нашей аристократіи. „Исторія“ Карамзина была первое широкое научное предпріятіе, которое на десяти лѣтъ стало руководствомъ въ дальнѣйшей разработкѣ и богатымъ запасомъ фактовъ, матеріаловъ и критическихъ разъясненій. Она была и сводомъ всего прежняго труда, и богатымъ складомъ новыхъ фактовъ, и программой. Карамзинъ завершилъ предъидущій періодъ историографіи, воспользовался всѣмъ его матеріаломъ, прибавилъ множество новаго

и, главное, поставилъ историческій вопросъ такъ широко, какъ до него еще не было сдѣлано: программа обнимала всѣ стороны исторической жизни—государство, церковь, народный обычай, преданія; въ эту программу уже легко приурочивались дальнѣйшія изысканія и связывались ею тѣ, какія уже были сдѣланы и въ ту минуту дѣлались.

Въ понятіяхъ общества, за немногими исключеніями, трудъ Карамзина сталъ первой національной исторіей. Таковъ онъ былъ въ глазахъ императора Николая, въ глазахъ Пушкина и общественной массы.

Но если „Исторія государства Россійскаго“ была явленіемъ высокой важности для развитія исторіографіи, то во многихъ частностяхъ она осталась произведеніемъ своего времени. Многія положенія ея не были приняты послѣдующей критикой; изображеніе „государства“ въ древнѣйшемъ періодѣ было невѣрно; въ изложеніи, легкомъ и привлекавшемъ читателей (что было чрезвычайно важно), еще слышался авторъ „Бѣдной Лизы“, и сантиментальное, мелодраматическое изображеніе древнихъ „россіянь“ не совсѣмъ отвѣчало исторической дѣйствительности. Съ этой стороны, отражавшей также общественныя теоріи Карамзина, трудъ его рано вызвалъ возраженія и меньше выдерживалъ критику, чѣмъ въ спеціально-историческихъ и археологическихъ изысканіяхъ, гдѣ онъ припоминается и донынѣ.—„Исторія“ стала выраженіемъ и опорой „официальной народности“ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Съ другой стороны, противорѣчіе, которое она встрѣтила при первомъ появленіи (въ мнѣніяхъ декабристовъ), не имѣло возможности высказаться правильно въ литературѣ, но не было лишено справедливости и осталось причиной предубѣжденія, сохранившагося надолго. Сущность противорѣчія была въ томъ, что Карамзинъ слишкомъ идеализировалъ государственность и, напротивъ, мало выяснилъ значеніе и положеніе народа.

Движеніе, начавшееся въ нашей исторіографіи послѣ выхода „Исторіи“, было чрезвычайно плодотворное. Изученіе исторіи, послѣ труда Карамзина, стало уже дѣломъ не патріотическаго любопытства, а обязанности для каждаго образованнаго человѣка: нужно было понимать свою исторію, чтобы можно было служить своему народу и обществу сознательно. Но труда предстояло множество, по разнымъ направленіямъ.

Размножаются ученые изслѣдователи, уже подготовленные школой Шлёцера и Карамзина къ строгой исторической критикѣ. Мы называли выше его ближайшихъ современниковъ. Отчасти при немъ же, и особенно послѣ него, работали—его противникъ Каченовскій, его критикъ и послѣ ревностный поклонникъ Погодинъ, Арцыбашевъ,

Д. Языковъ, Устряловъ, М. Соловьевъ, Бутковъ, Куникъ; нѣмецкій юристъ Эверсъ; ориенталисты: Френъ, Шармуа, позднѣе Савельевъ, Григорьевъ; финнологи Шѣгрень, Кастрень; въ противовѣсъ и дополненіе къ исторіи государства Полевой задумалъ, хотя не въ силахъ былъ исполнить, „Исторію русскаго народа“; въ тридцатыхъ годахъ начались историческіе труды Надеждина... Кромѣ исторіи собственно, оживленное движеніе начинается въ сопредѣльныхъ изученіяхъ старины и народности.

Существенною необходимостью было болѣе внимательное изученіе древнихъ памятниковъ письменности. Мы назвали выше Тимковскаго, Калайдовича, Малиновскаго, графа Н. П. Румянцова. Богатое собраніе рукописей Румянцова, составившее (съ другими коллекціями) Румянцовскій музей, находящійся нынѣ въ Москвѣ, было открыто для науки въ знаменитомъ „Описаніи“ Востокова, которое послужило сильнымъ толчкомъ къ изслѣдованіямъ древней русской литературы. Не менѣе богатое собраніе графа Ѳ. А. Толстого послужило главнымъ основаніемъ рукописныхъ богатствъ Публичной Библиотеки въ Петербургѣ. Собираніе рукописей стало привлекать больше и больше любителей и изъ людей богатыхъ, и изъ небогатыхъ ученыхъ, и послѣднимъ удавалось на скромныя средства собирать драгоценныя въ научномъ отношеніи бібліотеки рукописей: назовемъ собранія Дубровскаго и Фролова (въ Публичной Библиотекѣ) купца Царскаго (потомъ перешедшее къ гр. А. С. Уварову); Сахарова, Погодина („древлехранилище“, проданное имъ въ Публичную Библиотеку), Ундольскаго (нынѣ въ Московскомъ Музеѣ), Григоровича (тамъ же), Гильфердинга (позднѣе у Хлудова); въ новѣйшее время—гр. Уварова (въ Порѣчьѣ), вн. Вяземскаго (въ Обществѣ любителей древней письменности), купца Хлудова, Тихонравова, Забѣлина, Барсова, А. Титова, Вахрамѣева и друг.

Но замѣчательнѣйшимъ предпріятіемъ относительно приведенія въ извѣстность и изданія историческихъ источниковъ была знаменитая археографическая экспедиція, устроенная въ тридцатыхъ годахъ по мысли Павла Строева, въ тѣ времена лучшаго бібліографическаго знатока книжной старины. Масса лѣтописей и всякаго рода историческихъ актовъ, собранныхъ въ официальномъ путешествіи Строева, послужила матеріаломъ для изданій Археографической Комиссіи, которыя стали въ сороковыхъ годахъ новымъ, послѣ Карамзина, поворотомъ въ нашей исторіографіи, раскрывши громадный неизвѣстный прежде матеріалъ; въ тоже время, какъ увидимъ, самыя изслѣдованія принимали новое направленіе съ развитіемъ новыхъ требованій историческаго знанія.

Одновременно съ успѣхами политической исторіи, устанавливав-

шейся Карамзинымъ, возникла отрасль изысканій, обѣщавшая пролить свѣтъ на исторію племени. Это были изысканія филологическія, впервые съ научной точностью поставленныя Востоковымъ. Небольшое изслѣдованіе его (1820 г.) стало эпохой въ славяно-русской филологіи, такъ какъ онъ первый, почти въ одно время съ Гриммомъ, выставилъ историческое начало въ развитіи языка и указалъ основные звуковыя пункты, отъ которыхъ идетъ различіе славянскихъ нарѣчій между собою, и подлинныя древнія особенности языка церковно-славянскаго. Филологическая школа развилась уже позднѣе, въ сороковыхъ годахъ, но основанія положены здѣсь.

Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ появляются первые труды по собственно-этнографическому изученію русскаго народа, имѣвшіе научное достоинство: собранія пѣсенъ, сказокъ, пословицъ, преданій, описанія нравовъ и обычаевъ, старинныя, народнаго искусства и т. д. Это были въ особенности труды Снегирева, Сахарова, Терещенка; множество пѣсеннаго и иного этнографическаго матеріала стало появляться въ журналахъ. Съ тридцатыхъ годовъ начались другія собранія, изданныя только впоследствии, какъ сборникъ П. Кирѣевскаго, предпріятіемъ котораго былъ заинтересованъ Пушкинъ; какъ собранія пословицъ и сказокъ Даля, какъ его „Толковый Словарь“, изданный имъ въ шестидесятыхъ годовъ, въ концѣ жизни.

Въ эту пору этнографическія изслѣдованія исходятъ уже изъ сознательнаго намѣренія изучить въ содержаніи народной поэзіи и преданій старинны истинный характеръ народа, въ его подлинныхъ выраженіяхъ—съ послѣдней цѣлью воспринять народную стихію въ складъ и интересы общественной жизни. Правда, чувствовалось это смутно, выражалось часто съ натянутою сантиментальностью въ мнимо-народномъ вкусѣ тогдашней официальной народности (особливо у Сахарова), съ недостаткомъ критики, но иногда съ немалымъ знаніемъ и искуснымъ объясненіемъ древности (особенно у Снегирева). Вообще, это были еще первыя попытки собиранія, внушенныя развитіемъ исторической науки, романтическимъ интересомъ къ старинѣ и росту общественаго сознания. Настоящая научная точка зрѣнія на предметъ и приемы изслѣдованія еще далеко не выработана (въ этомъ послѣдъ помогла западная, особливо нѣмецкая наука); у ревнителей этнографіи попадались поддѣльныя, будто бы народныя произведенія (у Сахарова, въ „Запорожской Старинѣ“ Срезневскаго), разоблаченныя только въ послѣднее время, хотя вообще понималась уже и объяснялась необходимость изучать произведенія народной поэзіи въ ихъ подлинномъ видѣ. Но несмотря на молодость дѣла, въ нѣкоторыхъ случаяхъ оно велось съ замѣчательнымъ

увѣнъемъ и на подкладкѣ цѣлой обдуманной теоріи (труды Петра Кирѣвскаго).

Къ изученію народа великорусскаго присоединялось ревностное изученіе малорусской старины и народности патриотами южнорусскими. Еще около 1820 г. издано было кн. Цертелевымъ первое собраніе малорусскихъ народныхъ пѣсенъ; затѣмъ слѣдовали болѣе или менѣе богатые и оригинальные сборники Максимовича, Срезневскаго, Метлинскаго; въ сороковыхъ годахъ явилось замѣчательное по своему времени сочиненіе Костомарова „Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи“ (1843; главнымъ образомъ, однако, малорусской).

Этнографическіе интересы особенно были усилены новымъ научнымъ движеніемъ, идущимъ также съ тридцатыхъ годовъ, — начавшимся изученіемъ славянскаго міра, западнаго и южнаго. Учрежденіемъ въ университетахъ каедръ славянскихъ нарѣчій правительство императора Николая, — какъ ни сурово вообще относилось оно къ умственной жизни общества, — оказало общественной образованности великую услугу, какъ подобную услугу оказало учрежденіе Археографической экспедиціи и комиссіи. Та и другая мѣра отвѣтила на возникшую потребность; дѣло объ археографической экспедиціи началось по частной иниціативѣ, славянскія изученія также начались раньше официальнаго признанія ихъ необходимости (Шинковъ, Востоковъ, Каченовскій, Калайдовичъ, Венелинъ, Срезневскій, Бодянский). Для основанія славянскихъ каедръ въ университетахъ, въ концѣ 30-хъ годовъ послано было въ славянскія земли нѣсколько молодыхъ ученыхъ, которые уже дома были отчасти приготовлены къ этому поприщу упомянутымъ этнографическимъ романтизмомъ. Путешествіе развило у нашихъ первыхъ славистовъ этотъ романтизмъ до цѣлой теоріи, гдѣ первобытная архаическая, наивная народность какъ-бы противопоставалась искусственной цивилизаціи и ставилась для нея примѣромъ и руководствомъ. Эта теорія, отчасти близкая къ славянофильству, но во многомъ съ нимъ несогласная, внушена была зрѣлищемъ возрожденія славянскихъ народностей; никогда достаточно не объясненная этими первыми славистами въ примѣненіи къ общественной практикѣ, она была туманна, но принесла свою долю пользы: внушала любовь къ народу, учила цѣнить народную личность, хотя бы дѣйствительное примѣненіе этого поученія дало и не тотъ результатъ, какой предполагали бы первые слависты. Съ этими изученіями, въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ въ русской литературѣ впервые точно были опредѣлены *этнографическія* отношенія русскаго народа къ остальному *славянству*. Эти отношенія, какъ извѣстно, обратили на себя вниманіе уже давно; еще съ

XVII-го вѣка у Крижанича высказана была политическая славянская теорія: онъ помышлялъ о возможности славянскаго союза, даже единства подъ главенствомъ Россіи. Эта политическая идея, оставшаяся у Крижанича одинокою и неясно мелькавшая потомъ въ теченіе XVIII-го вѣка, въ новѣйшее время, въ новой окраскѣ, повторилась у одного кружка декабристовъ; о ней напоминали политическія событія (какъ освобожденіе Сербіи); въ тридцатыхъ годахъ возникали цѣлыя панславистическіе планы (у Погодина). Другіе могли не дѣлать этихъ мечтаній, по крайней мѣрѣ откладывали ихъ на далекое будущее и руководились только интересомъ къ единоплеменнымъ народамъ и помышляли о нравственномъ союзѣ; но во всякомъ случаѣ было очевидно, что какое-нибудь здоровое слѣдованіе по этому пути возможно было бы только при ближайшемъ знакомствѣ съ этнографическими и историческими отношеніями: непосредственныхъ связей не было, мысль возникала изъ племенныхъ инстинктовъ; освѣтить ее могло только научное знаніе.

Изученіе славянства чрезвычайно благопріятно подѣйствовало и на разработку самой русской этнографіи, — собственно говоря, оно впервые дало ей настоящее основаніе, указавъ для древнѣйшей поры народности ея общеславянскую основу. Явилась возможность сравненія языка; сравненія мѣровъ, преданій, поэзій; сравненія бытовыхъ учрежденій и обычаевъ и, въ концѣ концовъ, опредѣленія общеславянскихъ свойствъ русской народности и ея исключительныхъ особенностей. Съ другой стороны, знакомство съ славянскимъ возрожденіемъ указало примѣръ того благотворнаго дѣйствія, какое забота о народности можетъ оказать на національное самосознаніе племенъ, раскрывая для нихъ дорогу просвѣщенія, поднимая и матеріальныя, и нравственныя ихъ силы. Наконецъ, оно открывало для нашихъ ученыхъ литературы западнаго славянства, до тѣхъ поръ почти совершенно у насъ неизвѣстныя, но представлявшія уже немало замѣчательныхъ трудовъ по славянской древности и этнографіи (Добровскій, Шафарикъ, Копитаръ, Палацкій, Караджичъ и пр.).

Такимъ образомъ, расширеніе научной области все больше разширяло интересы народности въ общественномъ сознаніи; все болѣе раздвигался горизонтъ наблюденій, размножался матеріалъ фактовъ, увеличивалось разнообразіе точекъ зрѣнія, съ которыхъ должно быть изучаемо явленіе столь великое и сложное, какъ народная жизнь и народная сущность. Съ тридцатыхъ годовъ, когда такъ возросла масса историческаго матеріала, возникаютъ первые признаки научнаго движенія, которое развилось позднѣе, въ сороковыхъ годахъ, и ввело новые способы историческаго изслѣдованія. Въ передовыхъ кружкахъ недолгое вліяніе Шеллинговой философіи смѣняется господ-

ствомъ гегеліанства: это философское направленіе—при всѣхъ односторонностяхъ, въ какія впадало у насъ, какъ въ Германіи—имѣло то благотворное вліяніе, что заставляло искать общихъ основаній въ исторіи народа или руководящей идеи, объяснять событія народной жизни не одними толкованіями тѣснаго прагматизма, но цѣлымъ складомъ основной народной сущности. Исторія переставала быть массой случайныхъ лицъ и событій, исполняющихъ ближайшія цѣли, а послѣдовательнымъ развитіемъ національной идеи. Къ той же эпохѣ относятся новый непосредственный притокъ европейской, по преимуществу нѣмецкой науки, какъ путемъ литературы, такъ и путемъ прямого вліянія, черезъ новый рядъ молодыхъ ученыхъ, посланныхъ за границу готовиться къ занятію кафедръ, въ особенности права и наукъ гуманитарныхъ.

Въ самой Германіи, то было время богатаго развитія историческихъ изученій, и наши ученые усвоивали научные методы или прямо изъ нѣмецкаго университетскаго источника, или изъ открывавшейся передъ ними литературы. Савиньи—въ исторіи права, Риттеръ—въ географіи, Раумеръ, Гервинусъ, Ранке, Лео и пр.—въ политической исторіи, Гриммъ—въ исторіи языка, въ народной миеологіи и поэзіи, въ археологіи права, Боппъ—въ сравнительномъ языкознаніи, имѣли у насъ своихъ, иногда непосредственныхъ учениковъ. Свое значительное вліяніе имѣла научная литература французская, англійская,—и весь этотъ запасъ новаго знанія отразился на русскихъ изученіяхъ. Историческое пониманіе стало многостороннѣе, чѣмъ когда-нибудь прежде, критика источниковъ достигала замѣчательной тонкости, методъ изслѣдованія пріобрѣталъ точность логической формулы; къ изученію русской старины и народности примѣнены были тогда только-что прочно утверждавшіяся новыя науки—сравнительное языкознание и сравнительная этнографія.

Появленіе новой школы, опредѣленно заявившей себя въ сороковыхъ годахъ и развивавшейся до сихъ поръ, стало эпохой въ изученіи русской народности. Это были прежде всего труды Соловьева, Кавелина, Забѣлина, Калачова, Неволина, К. Аксакова, Бѣляева, Костомарова; въ области языка, миеологіи, народной поэзіи—Срезневскаго, Билярскаго, Кяткова; Буслаева, Афанасьева и пр.

Собираніе этнографическаго матеріала приняло въ послѣднія десятилѣтія размѣры по истинѣ грандіозные. Здѣсь благотворное вліяніе имѣло основаніе Русскаго Географическаго Общества; разрѣшеніе его было еще заслугой правительства имп. Николая для общественнаго образованія, какихъ не представили послѣдующія времена. Въ устройствѣ Географическаго Общества главнымъ дѣятелемъ былъ Литке, и особливо Надеждинъ; Надеждинъ и его сотоварищи сумѣли

возбудить интересъ въ Обществу, которое вслѣдствіе этого и могло установиться въ широко дѣйствующее предпріятіе. Общество разослало программы для собиранія всякаго рода этнографическихъ свѣдѣній, получило массу матеріала, который появлялся въ „Этнографическомъ Сборникѣ“ и въ періодическихъ изданіяхъ Общества. Рядъ учебныхъ экспедицій, устроенныхъ Обществомъ, далъ замѣчательные географическіе результаты относительно разныхъ краевъ нашего отечества; дѣльная географія Россіи собрана въ богатомъ „Географическомъ Словарѣ“ П. П. Семенова и его сотрудниковъ, и пр. За послѣдніе годы замѣчательнымъ трудомъ, обязаннымъ Географическому Обществу, были „Труды этнографической экспедиціи въ юго-западный край“, Чубинскаго, гдѣ собранъ богатѣйшій этнографическій матеріалъ. Общество стало наконецъ развѣтвляться: явился Кіевскій, Сибирскій (восточный и западный), Кавказскій, Оренбургскій отдѣлы, которые вели полезную мѣстную дѣятельность. Изъ нихъ, Кіевскій былъ закрытъ правительствомъ въ послѣдніе годы минувшаго царствованія, успѣвъ въ короткое время заявить себя важными этнографическими трудами.

Въ частности, собранія народныхъ пѣсенъ явились въ рядѣ замѣчательныхъ изданій. Таковы—обширный старый сборникъ Кирѣевскаго, съ дополненіями, изданный Безсоновымъ; сборники Шейна, пѣсенъ великорусскихъ и бѣлорусскихъ; небольшіе, но любопытные сборники Якушкина, Варенцова; обширный галицко-русскій сборникъ Головацкаго; малорусскія пѣсни у Чубинскаго, Рудченка, Антоновича и Драгоманова. Множество небольшихъ мѣстныхъ собраній появлялось въ изданіяхъ Второго отдѣленія Академіи и (еще съ сороковыхъ годовъ) въ журналахъ; дѣтскія пѣсни, Безсонова. Новѣйшее время ознаменовано открытіемъ богатаго запаса еще живого и свѣжаго народнаго эпоса въ олонецкомъ краѣ; это—сборникъ Рыбникова, и въ особенности „Онежскія былины“, послѣдній, по истинѣ монументальный и драгоцѣнный трудъ Гильфердинга. Сказки были изданы Аванасьевымъ, Худяковымъ и др.; пословицы собраны Снегиревымъ, Буслаевымъ, Далемъ. Литература народныхъ картинокъ была излагаема Снегиревымъ и недавно замѣчательнымъ образомъ изучена Д. А. Ровинскимъ.

Въ послѣднія десятилѣтія всѣ указанныя и другія изученія сдѣлали новые обширные успѣхи. Мы можемъ здѣсь только отмѣтить труды—по археографіи: Срезневскаго, Бодянскаго, Горскаго, Бычкова, Андрея Попова, Тихонравова, Викторова и др.; по языку: Срезневскаго, который между прочимъ составилъ обширный, нынѣ издаваемый по его бумагамъ, словарь древняго русскаго языка; Буслаева (историческая грамматика русскаго языка), П. Житецкаго

(труды по исторіи языка южно-русскаго), Соболевскаго, и въ особенности замѣчательныя грамматическія изслѣдованія Потебни; по объясненію средневѣковой поэзіи: Буслаева, Тихонова, Кирпичникова, но въ особенности Веселовскаго и Ягича; по исторіи литературы и образованія: Тихонова, Галахова, Порфирьева, Сухомлинова, Стоюнина, Миллера, Ефремова, Незеленова и др.; по исторіи церкви: Филарета Черниговскаго, митр. Макарія, Знаменскаго, Голубинскаго. Большое развитіе приобрѣла исторія бытовыхъ учреждений, гдѣ должно назвать, кромѣ многихъ изъ упомянутыхъ, имена Бѣляева, К. Аксакова, Тюриня, Кавелина, Калачова, Сергѣевича, Пахмана, Чичерина, Ф. Дмитріева и др.; особенное вниманіе изслѣдователей привлекла сельская община и вообще обычное право, обширная литература котораго была описана въ замѣчательномъ трудѣ Евг. Якушкина и пр.

Съ 1850-хъ годовъ въ интересахъ народовѣдѣнія, особливо по языку и народной поэзіи, много работало Второе отдѣленіе Академіи наукъ, когда въ это Отдѣленіе, образованное изъ бывшей Россійской Академіи, вступилъ Срезневскій. Съ тѣхъ поръ и донинѣ въ изданіяхъ Второго Отдѣленія явилось множество работъ по русской этнографіи, и въ послѣднее время въ особенности труды Александра Веселовскаго, составляющіе эпоху въ нашихъ изученіяхъ народной поэзіи, мифологіи, древней письменной и живой народной легенды.

Одновременно со Вторымъ отдѣленіемъ Академіи большую массу матеріала и этнографическихъ изслѣдованій доставило Московское Общество исторіи и древностей, руководимое до второй половины 1870-хъ годовъ Бодянскимъ.

Въ шестидесятыхъ годахъ возникъ новый дѣятельный органъ народныхъ изученій въ московскомъ Обществѣ любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи. Множество полезныхъ работъ сообщаютъ спеціальныя изданія: „Филологическія Записки“, издаваемые въ Воронежѣ Хованскимъ, и „Р. Филологическій Вѣстникъ“, Колосова, потомъ Смирнова, въ Варшавѣ. Впослѣдствіи упомянемъ о массѣ матеріала, который появляется въ изданіяхъ провинціальной литературы.

Славянскія изученія въ послѣднія десятилѣтія также принесли большое количество цѣнныхъ трудовъ, нерѣдко важные не только для русской литературы, но и для самого славянства. Эти изученія исходили отъ университетскихъ кафедръ или примыкали къ нимъ. Таковы труды: Срезневскаго, П. Лавровскаго, В. Ламанскаго, Макушева, Будиловича; Бодянскаго, Евг. Новикова, А. А. Майкова, Гильфердинга, Ботларевскаго, Дринова; Григоровича, Кочубинскаго, П.

Ровинскаго и цѣлаго ряда молодыхъ славистовъ, какъ Зигель, Брандтъ, Флоринскій, М. Соболевъ и др.

Не будемъ входить въ подробности тѣхъ изученій, которыя направлены были на экономическое и промышленное состояніе народа. Въ прежнее время эти изученія всего чаще исполнялись официально и бюрократическими приѣмами; но за послѣдніа десятилѣтія, именно съ первой явившейся возможности касаться вѣрвостного вопроса, онѣ стали предметомъ сильнаго общественнаго интереса и съ особенною любовью направились къ изученію собственно крестьянскаго быта, сказываясь и здѣсь стремленіемъ къ защитѣ народнаго интереса. Эта защита—факты которой (съ конца пятидесятихъ годовъ) будутъ причисляться къ благороднѣйшимъ страницамъ русской литературы, когда общество придетъ къ дѣйствительному самосознанію, къ настоящему разумнѣю національной жизни—была параллелью тому теплому живому участію къ народной жизни, которое раньше обнаруживалось въ изученіяхъ народности, проникало лучшія работы въ этнографіи и, какъ дальше увидимъ, одушевляло также наиболѣе жизненные произведенія новой поэзіи. Съ этихъ политико-экономическихъ и общественныхъ изученій открывается тотъ основной мотивъ, на которомъ донныѣ сосредоточиваются изученія, тревоги и идеалы нашей литературы. Вопросъ слишкомъ труденъ, многосложенъ, притомъ слишкомъ былъ спутанъ и затемненъ реакціей послѣднихъ десятилѣтій, но опытъ, часто, къ сожалѣнію, слишкомъ тяжелый, все больше выясняетъ дѣло и начинаетъ указывать пути, которыми вѣрнѣе можетъ быть достигнуто благо народное и общественное: сказываются недостатки крестьянской реформы, и между прочимъ тѣ, отъ которыхъ предостерегали задолго искреннѣйшіе изъ приверженцевъ реформы; правдивое изслѣдованіе вопроса въ настоящую минуту приходитъ уже нерѣдко къ положеніямъ, какія выставлялись уже за тридцать лѣтъ тому назадъ...

Изъ числа новыхъ изученій упомянемъ, наконецъ, одно, можно сказать, впервые возникшее съ конца пятидесятихъ годовъ, когда улучшившееся положеніе печати дало нѣкоторую возможность высказываться общественному мнѣнію и научному изысканію. Это—изученіе раскола. До пятидесятихъ годовъ, оно было, собственно говоря, недоступно литературѣ. Въ печати могъ находить мѣсто только взглядъ, господствовавшій въ администраціи свѣтской и церковной, а для нихъ расколъ былъ только предметъ неустаннаго гоненія. Здѣсь вполнѣ держалась точка зрѣнія XVII столѣтія: расколъ былъ лжеученіе; церковь осуждала и проклинала его. Свѣтское правительство „изучало“ его официально, черезъ людей съ „особыми порученіями“, „совершенно секретно“, изучало какъ изучаетъ обвинитель, стараясь

разувать распространеніе зла и его степени, розыскать главныхъ зачинщиковъ и пособниковъ, чтобы потомъ опредѣлить соотвѣтственныя кары и мѣры предупрежденія и пресѣченія. Церковное изученіе было чисто обличительное. Изученіе критическое и свободное не существовало. Когда оно стало, наконецъ, нѣсколько возможно, въ литературѣ тотчасъ высказалось иное отношеніе къ предмету. Во-первыхъ, точка зрѣнія историческая выясняла, что въ условіяхъ своего возникновенія расколъ не былъ вовсе такимъ злонамѣреннымъ преступленіемъ, какимъ по преданію понимала его іерархія и за ней свѣтская власть, что онъ былъ естественнымъ порожденіемъ времени, во многомъ былъ *дѣйствительно* вѣренъ „старой вѣрѣ“ и „обряду“ XVI—XVII столѣтій, во многомъ былъ слѣдствіемъ скудости просвѣщенія, которымъ московская Россія вообще не была богата, не по винѣ народа;—словомъ, эта точка зрѣнія уже вносила историческое объясненіе и примиреніе. Другая точка зрѣнія вносила это примиреніе съ иной стороны: образованіе научало вѣротерпимости, указывало общественный вредъ и неразумность преслѣдованія современнаго раскола за его двухъ-вѣковсе преданіе, указывало нравственную неприглядность положенія вещей, гдѣ административное подавленіе раскола сводилось на грубые поборы низшихъ полицейскихъ чиновниковъ и духовенства съ раскольничьяго населенія, на отлученіе отъ общественной жизни людей, часто совершенно безобидныхъ, трезвыхъ и трудолюбивыхъ. Эта точка зрѣнія видѣла, что въ результатѣ преслѣдованія получалось только то, что съ одной стороны угнетались люди за искреннюю вѣру, съ другой — въ большинствѣ случаевъ интересъ церкви (если уже былъ этотъ интересъ въ преслѣдованіи) *продавался* за взятки, извѣстныя всѣмъ кромѣ правительства,—и не могла считать такихъ явленій полезными ни для правительства, ни для церкви. Наконецъ, для обѣихъ упомянутыхъ точекъ зрѣнія послѣдователи раскола были тотъ же русскій подлинный народъ и притѣсненіе его было тяжело по чувству „народности“, которая въ это же время была провозглашаема официально.

Обличительная церковная литература противъ раскола, начавшись въ XVII столѣтій, продолжалась почти неизмѣнно до послѣдняго времени. Въ „секретной“ литературѣ свѣтской, т.-е. чиновнической, извѣстны сочиненія Надеждина, Даля на службѣ по министерству внутреннихъ дѣлъ; въ томъ же „секретномъ“ періодѣ изучалъ расколъ Мельниковъ, который съ такимъ успѣхомъ въ публикѣ изображаетъ его въ поэтизированныхъ картинахъ впоследствии. Въ числѣ новѣйшихъ обличителей особенно дѣятеленъ г. Субботинъ, сообщавшій, впрочемъ, много фактическихъ данныхъ. Обличеніе, доходившее до

скандала и, какъ говорили, до шантажа, имѣло представителя въ Ѡ. Ливановѣ. Съ другой стороны, образовалась уже теперь весьма обширная литература безпристрастныхъ историческихъ изслѣдованій начиная съ книги Щапова (1857) и до сочиненій Пругавина, Ѡедосѣвца и проч., гдѣ расколъ разсматривается, внѣ обличительнаго богословія, какъ широкое историческое явленіе народной жизни, старой и новѣйшей, какъ явленіе, развивающееся до сей поры и представляющее въ этомъ развитіи многія любопытныя, здоровыя и привлекательныя черты чисто-русскаго національнаго характера. Нѣкоторые изъ новѣйшихъ изслѣдователей, защищая историческую и человѣчную сторону раскола, доходили наконецъ и до преувеличеннаго оптимизма... Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ впервые издано было нѣсколько сочиненій раскольничьей литературы, имѣющихъ историческое значеніе.

Вопросъ о вѣротерпимости относительно раскола возникаетъ нынѣ не въ первый разъ. Бывали примѣры, что тягость преслѣдованія смягчалась; старообрядцы находили заступниковъ между сильными людьми, съ помощью которыхъ получали нѣкоторую льготу. Въ самомъ обществѣ пробуждалось если не сочувствіе, то болѣе мягкое отношеніе къ этой ревности въ своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ; мистики конца прошлаго вѣка относились сочувственно къ мистическимъ сектамъ раскола; въ первые годы царствованія императора Александра I положеніе раскола нѣсколько улучшилось. Но все это были отдѣльныя счастливыя случайности; въ царствованіе императора Николая всякія облегченія прекратились; общество не знало дѣлъ раскола, и еслибъ знало, не могло осмѣлиться о нихъ говорить. Въ настоящее время вопросъ вѣротерпимости становится болѣе и болѣе живымъ общественнымъ интересомъ и выясняется въ публицистической литературѣ—въ пользу примиренія старой церковной вражды, уничтоженія „раскола“ въ смыслѣ народно-общественномъ и государственномъ.

Этотъ длинный рядъ разнообразныхъ изученій народа, исходнымъ пунктомъ которыхъ было время Петра Великаго, указываетъ ясно всякому безпристрастному наблюдателю, что реформа, направившая умы подобнымъ образомъ, именно была обнаруженіемъ глубокой народной потребности, что она не отрывала отъ народа, когда естественнымъ и тотчасъ явившимся слѣдствіемъ ея было обращеніе къ народу и изученіе его, столь широкое и разнообразное, о какомъ понятія не имѣла московская Россія. Въ наукѣ, которая впервые при реформѣ получила право гражданства, искали во-первыхъ реальнаго знанія, необходимаго для насущныхъ потребностей общества и

государства, во-вторыхъ идеальнаго содержанія, расширенія понятій о природѣ и человѣкѣ; къ этому тотчасъ примкнуло стремленіе приложить научныя знанія къ ближайшему сознательному изученію народа и къ его пользамъ.

Обращаясь къ литературѣ собственно, т.-е. къ содержанію нашей поэзіи, или того, что замѣняло поэзію, увидимъ явленіе, совершенно параллельное тому, что видѣли въ развитіи научной образованности. Мысль о народѣ, какъ основной стихіи государства, ради которой само государство существуетъ, возникаетъ съ первыхъ шаговъ новой литературы, и чѣмъ дальше, тѣмъ становится яснѣе, реальнѣе, шире; литература подходитъ все ближе къ народной жизни, ея содержанію и языку. Формы литературы были заимствованныя, какъ и формы научнаго знанія, потому что своихъ не было: старая литература не выработала формъ для подобнаго содержанія и для личнаго поэтическаго творчества, но извѣстно теперь, что стремленіе усвоить ихъ предшествовало Петровскому времени,—его можно замѣтить еще въ XVII вѣкѣ. Взяты были эти формы не у какого-нибудь одного народа (у „нѣмцевъ“), какъ подражаніе; онѣ приняты были какъ формы *общеєвропейскія*, которыя въ самой Европѣ были наслѣдіемъ отъ классическаго міра и прочно установились только съ эпохи Возрожденія. Кантемиръ беретъ форму у Буало, но и у Горация и Ювенала—изъ того же античнаго источника, изъ котораго черпали и литературы новой Европы.

Со временъ Петра литература приняла тотчасъ совсѣмъ иной складъ содержанія, чѣмъ было прежде. Какъ извѣстно, самъ Петръ заботился о переводѣ на русскій языкъ книгъ по исторіи, политикѣ и другимъ общеплезнымъ предметамъ; люди его школы: извѣстный Брюсъ, князь Дм. Мих. Голицынъ, Кантемиръ, Андрей Матвѣевъ, Савва Рагузинскій, заказывали переводы или переводили сами много капитальныхъ сочиненій стараго и новѣйшаго времени, и въ числѣ ихъ много книгъ именно политическихъ. Такъ были переведены въ тѣ годы книги: Гуго Гроція, Юста Липсія, Слейдана, Баронія, Пуффендорфа и т. д.; наконецъ и „Книга мірозрѣнія“ Гюйгенса, гдѣ налагалась система Коперника, которая въ древней Россіи была бы осуждена какъ злѣйшая ересь. Не всѣ эти книги были напечатаны, многія изъ нихъ оставались въ употребленіи частнаго кружка людей съ серьезною любознательностью, но онѣ свидѣтельствуютъ тѣмъ не менѣе о наступившемъ новомъ направленіи умственныхъ потребностей и запросовъ. Извѣстно далѣе, что Петръ и по русскимъ дѣламъ желалъ распространять политическія понятія и знанія. Проповѣдники временъ Петра, его приверженцы, были публицисты, объяснявшіе и защищавшіе реформу съ церковной кафедры, которая и

заговорила тогда послѣ многовѣкового молчанія; „Духовный Регламентъ“, приписываемый Теофану, но составляющій также (въ неизвѣстной пока степени) трудъ самого Петра, въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ есть настоящая публицистика съ характерными, чисто литературными эпизодами. Это было очень ново и, разумѣется, любопытно для русскаго общества и—что мало обыкновенно замѣчается—эта забота Петра Великаго о воспитаніи политическихъ понятій отразилась потомъ на содержаніи развивавшейся литературы. Первые писатели, настоящимъ образомъ начинавшіе литературу XVIII в., и ихъ преемники постоянно уже затрогиваютъ эту тему—національный политическій вопросъ. Онъ долго еще возвращался въ литературѣ въ видѣ защиты и прославленія реформы, какъ великаго дѣла, давашаго истинное направленіе всей національной жизни,—и это было естественно: для большой массы все еще казалось, что въ старину было лучше, и надо было защищать просвѣщеніе, а кромѣ того, слѣдовавшее за правленіемъ Петра время слишкомъ часто отставало отъ великаго примѣра и объ этомъ примѣрѣ полезно было напоминать. Правда, уже вскорѣ эти разсужденія стали впадать въ рутинные панегирики и стихотворную лесть передъ каждой преержащей властью,—какова бы она ни была,—но осталось вниманіе къ политическому положенію народа, и изъ столкновенія мнѣній мало-по-малу развивалась способность къ серьезной критикѣ общественныхъ дѣлъ.

Новыя идеи, явившіяся въ обществѣ изъ запаса европейскихъ знаній, требовали новаго литературнаго языка, потому что старый книжный языкъ, кромѣ того, что не былъ языкомъ живой рѣчи, не имѣлъ ни достаточнаго запаса словъ для выраженія предметовъ новаго знанія, ни стилистическаго строя, достаточно выработаннаго для передачи болѣе тонкихъ оборотовъ мысли. Это преобразование языка было великимъ, еще мало оцѣняемымъ двигателемъ національнаго сознанія, выражавшагося въ литературѣ. Оно впервые выводило литературу изъ прежней условной области въ реальную среду жизни и доставляло образовательнымъ идеямъ простое и близкое выраженіе. Понятно, что это совершилось не вдругъ; но самый языкъ Петровскаго времени, искусственный и необработанный, испещренный иностранными словами, повидимому, столь уродливый, въ сущности былъ все-таки выше гладкаго церковно-славянскаго стиля лучшихъ церковныхъ писателей XVII вѣка,—потому что построенъ былъ на живой рѣчи. Языкъ перваго стихотворенія, присланнаго Ломоносовымъ (какъ нарочно, изъ-за границы), поразилъ какъ что-то неслышанное и вмѣстѣ прекрасное: это именно было впечатлѣніе живого языка, явившагося въ книгѣ съ изящной формой, на какую

онъ былъ способенъ, но которой раньше онъ еще никогда не получалъ.

Съ успѣхами книжнаго образованія литературный языкъ все совершенствовался въ одномъ направленіи: каждый первостепенный писатель отиѣчалъ новый шагъ къ *сближенію съ языкомъ общества и народа*. Послѣ Ломоносова, Державинъ и фонъ-Визинъ, Крыловъ, Карамзинъ, Жуковский открывали своими произведеніями новыя эпохи въ исторіи литературнаго языка; онъ становился съ каждымъ поколѣніемъ все ярче, живѣе, богаче, подвижнѣе, и въ произведеніяхъ Пушкина наша литература приобрѣла первостепенные образцы, которые донинѣ, черезъ полстолѣтія (и даже больше) остаются свѣжими, сохранившими для насъ все свое изящество — признакъ, что литература достигла въ языкѣ основнаго тона, схватила его *народный складъ*. Позднѣйшая литература разрабатываетъ уже подробности, обогащаетъ литературный языкъ еще неизученнымъ раньше матеріаломъ народной рѣчи, продолжаетъ его стилистическую и эстетическую обработку, расширяетъ для научныхъ цѣлей. Таково, въ этомъ отношеніи, значеніе писателей послѣ-пушкинскаго времени: Гоголя, Тургенева, Некрасова, Льва Толстого, новой плеяды писателей, посвящающихъ свой трудъ изученію и изображенію народнаго быта и, наконецъ, писателей въ области науки.

То же стремленіе къ изученію и воспроизведенію народнаго, какое мы видѣли въ научномъ движеніи и въ исторіи литературнаго языка, находимъ, наконецъ, и въ содержаніи поэтической литературы.

И здѣсь литература пришла къ народному не вдругъ, и это было понятно. Новая литература, которая явилась прежде всего изъ потребностей научнаго и практическаго знанія и затѣмъ естественно распространилась на область общественно-образовательную и поэтическую, въ своихъ европейскихъ образцахъ увидѣла совсѣмъ незнакомыя раньше идеи и новыя формы; а главное, мысль о собственно народной стихіи была еще слишкомъ далека, и въ первое время трудъ литературы былъ употребленъ на то, чтобы усвоить эти формы, воспринять идеи тогдашней образованности, найти для нихъ выраженіе на русскомъ языкѣ, на которомъ онѣ дотолѣ были неизвѣстны. Писатели XVIII-го вѣка гордились сами, и другіе ставили имъ въ заслугу, что одинъ написалъ первыя трагедіи, другой — комедіи, третій — оды, четвертый былъ первымъ баснописцемъ и т. д. Это была первая необходимая швола начинавшейся литературы. Далѣе, западная литература — въ тѣхъ сторонахъ своихъ, которыя дѣйствовали у насъ — занята была общими философскими вопросами, критикой нравственныхъ идей, отвлеченными вопросами о человѣческомъ обще-

ствѣ, и все это весьма естественно занимало первыхъ образованныхъ людей новаго общества,—хотя, конечно, въ весьма укороченномъ видѣ. Свой собственный вопросъ для русской литературы состоялъ, какъ мы видѣли, въ защитѣ реформы, т.-е. въ защитѣ той новой образованности, которой она открывала путь: народившаяся личная поэзія высказывала прежде всего идеалы не столько общественные или народныя, сколько именно государственныя, надежды на просвѣщеніе и величіе націи, на ея политическое могущество, и затѣмъ надежды, что она будетъ имѣть собственныхъ Платоновъ и Невтоновъ. Но у Ломоносова является уже глубокая забота о массахъ „россійскаго народа“ собственно. Ломоносовъ былъ человѣкъ перваго послѣ-Петровскаго поколѣнія. Въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія завершалась его дѣятельность, и идея о „россійскомъ народѣ“, именно объ его массахъ, продолжается въ сочиненіяхъ Новикова.

Косвеннымъ образомъ мысль о народѣ питала и та область литературы, которая посвящена была интересамъ образованнаго (по преимуществу дворянскаго) класса. Эта литература, во вкусъ XVIII-го вѣка любившая правоученіе, старалась смягчать нравы, внушать обязанности къ обществу и дѣйствительно въ этомъ успѣвала. Мало-по-малу, несмотря на все господство крѣпостнаго права, нравственныя идеи философіи прошлаго вѣка оказывали вліяніе на умы: были люди, которые серьезно задавали себѣ вопросы объ „обязанностяхъ человѣка и гражданина“, и въ послѣдней перспективѣ этихъ обязанностей, еще при Екатеринѣ, возникала мысль объ освобожденіи крестьянъ. Въ книгѣ Радищева теоретическія разсужденія перемежаются картинками изъ крестьянскаго быта, смыслъ которыхъ ясенъ.

Народъ начинаетъ тогда же привлекать литературу съ другой стороны. Въ то время, когда нѣкоторые любители сочли нужнымъ собирать народную поэзію, являются попытки передавать ее въ новой формѣ на народный ладъ (напримѣръ, у Карамзина), вводить въ поэзію черты народнаго быта (какъ у Державина), поддѣлываться подъ тонъ народныхъ сказокъ (у Чулкова), брать цѣликомъ народно-бытовой матеріалъ для драматическихъ пьесъ (у Аблесимова) и проч. Народное не получало еще полнаго права въ литературѣ, ни какъ предметъ, ни какъ форма; все еще полагалось и по старымъ риторикамъ, и по псевдо-классической манерѣ прошлаго вѣка, что оно принадлежитъ къ „низкому слогу“, тогда какъ литература стремилась въ особенности къ „высокому“; народное считалось умѣстнымъ въ поэзіи шутилой и въ комедіи (которыя сами по себѣ допускали извѣстную вольность), въ идилліи и эклогѣ, гдѣ русскій воображаемый пастушокъ могъ съ успѣхомъ замѣнить такого же воображаемаго Дафниса и Титира;—но уже возникновеніе народныхъ этно-

графическихъ изученій показывало, что готовится иное воззрѣнiе; смутно чувствовалось, что именно въ народномъ хранится что-то необходимое для нравственной жизни общества и для самой литературы.

Сантиментальная школа сдѣлала шагъ въ этомъ направленiи. Съ романтизмомъ въ литературныхъ взглядахъ произошелъ цѣлый переворотъ, сильно поднявшій и роль народнаго элемента. Съ вѣдшей стороны, романтизмъ уже вскорѣ вытѣснилъ натянута и жеманныя формы псевдо-классическiя и тѣмъ далъ просторъ для новаго элемента, искавшаго мѣста въ литературѣ. Со стороны содержанiя романтизмъ, хотя большею частiю смутно понимаемый самими нашими романтиками, черпавшими его изъ трехъ разныхъ европейскихъ источниковъ, давалъ, однако, совсѣмъ иное настроенiе и складъ поэзи; онъ расширялъ поэтическую область и вносилъ въ нее много такого, что могло бы привести въ негодованiе классика, и именно, гоняся за легендарнымъ и чудеснымъ, онъ входилъ въ народное чудесное и вообще въ народный бытъ: тамъ онъ находилъ желаемую оригинальность, простоту и новостъ красокъ, такъ непохожiя на монотонную натанутость псевдо-классицизма и т. д. Новое направленiе очень помогло выработкѣ легкой свободной формы, при которой въ свою очередь становилось легче овладѣвать новымъ матеріаломъ.

Произведенiя Жуковскаго были уже большимъ шагомъ послѣ Карамзина. Пушкинъ, какъ мы замѣчали выше, овладѣваетъ съ великимъ мастерствомъ народною формою и содержанiемъ (съ нѣкоторыхъ его сторонъ); его дѣятельность стала переломомъ въ развитiи нашей литературы. Съ Пушкина,—литературныя идеи котораго опять цитались западными источниками,—начинаются впервые правдивыя, хотя на первое время, конечно, неполныя, изображенiя народной жизни. Гоголь, воспитанный на впечатлѣнiяхъ народнаго быта своей родины и воспринявшій наслѣдiе Пушкина, выполнилъ этотъ литературный переломъ глубокой истиной своихъ изображенiй; и правдивость этого реализма, которая донныѣ остается обязательной для русскаго писателя, существенно помогла вѣрному усвоенiю народнаго содержанiя. Однимъ изъ первыхъ писателей, въ которомъ удивлялись умѣнью схватывать черты народной жизни и языка, былъ этнографъ Даль; у него было дѣйствительно обширное знанiе народнаго языка и обычая, но онъ не оказалъ большого влiянiя въ литературѣ, потому что въ содержанiи рассказовъ ограничивался анекдотически занимательнымъ и не проникалъ въ наиболѣе серьезныя стороны быта, которыя тогда были еще закрыты отъ литературы. Въ новомъ поколѣнiи писателей, которые были школою Пушкина и Гоголя, отношенiе къ народному быту опредѣляется ясно. Уже Лермонтовъ, въ

великолѣпной пѣснѣ о купцѣ Калашниковѣ, далъ образчикъ глубокаго мастерства въ изложеніи народно-поэтической темы. У Тургенева, Некрасова, Григоровича, Писемскаго, потомъ у Потѣхина и др. является рядъ замѣчательныхъ изображеній народной жизни, пропикнутыхъ сознательными сочувствіями къ народу и внимательнымъ изученіемъ. Произведенія этихъ „людей сороковыхъ годовъ“ шли въ параллель съ общественными стремленіями другихъ писателей той же школы—критиковъ и публицистовъ; со стороны своего общественнаго смысла, онѣ возникали отчасти подъ несомнѣннымъ вліяніемъ тогдашней западной литературы, и тѣмъ не менѣе еще не было въ нашей литературѣ поры, когда бы съ такою очевидностью высказались сочувствія образованнаго слоя къ интересамъ народной массы, стремленіе защищать ея права, поднять ее изъ матеріальнаго и нравственнаго униженія и порабощенія, и когда бы съ такимъ успѣхомъ усвоено было искусство литературнаго изображенія народной жизни. Произведенія названныхъ и другихъ писателей были для литературы великимъ приобрѣтеніемъ, важнымъ не только по художественному, но и по воспитательному значенію для общества. Онѣ предвараля эпоху освобожденія крестьянъ и въ своей области достойнымъ образомъ послужили великому дѣлу...

Дѣйствовавшее потомъ поколѣніе писателей продолжало трудъ этихъ предшественниковъ. Оно воспиталось подъ вліяніемъ общественнаго и литературнаго оживленія конца пятидесятихъ и начала шестидесятихъ годовъ, и его дѣятельность займетъ любопытную страницу въ исторіи русской литературы. Эти писатели—Рѣшетниковъ, В. Слѣпцовъ, Левитовъ, Глѣбъ Успенскій, Златовратскій, Наумовъ, Назарьевъ, Нефедовъ и много другихъ—посвятили себя исключительно изученію народной жизни и дали рядъ произведеній различной художественной цѣны, но рисующихъ съ небывалою до сихъ поръ правдивостью и наглядностью народный бытъ. Видимо, народъ и его жизнь—господствующая мысль образованнаго класса, представляемаго литературой; и въ самомъ дѣлѣ, довольно самаго бѣлаго обзора современной литературы, чтобы увидѣть, что вопросъ о народѣ есть всеобщая дума, идеаль и забота. Всюду одинъ глубокой и тревожный вопросъ: имъ по преимуществу занята поэтическая дѣятельность современной литературы; имъ занята публицистика, земскія экономическія изысканія; ему посвящены историческія и этнографическія изслѣдованія. Въ этой массѣ современныхъ изображеній народная жизнь проходитъ передъ нами рѣдко въ свѣтлыхъ картинахъ, которыхъ къ сожалѣнію мало даетъ дѣйствительность, а чаще въ печальныхъ чертахъ его тягостей, и иногда, наконецъ, въ мрачныхъ до

трагизма вопросахъ объ отношеніяхъ этого народа къ обществу и государству.

Мы не упоминали до сихъ поръ о томъ, какую роль играли въ литературномъ развитіи народнаго интереса славянофилы.

Послѣдователи этой школы обыкновенно приписываютъ именно ей великую заслугу въ возбужденіи самаго вопроса и въ объясненіи основного характера русской народности, словомъ, въ славянофилахъ видятъ главнѣйшихъ и даже исключительныхъ представителей этого движенія.

Предшествующее изложеніе можетъ достаточно указать, что это вовсе не такъ, что начало движенія восходитъ къ писателямъ XVIII вѣка, и съ тѣхъ поръ постепенно развивалось. Славянофильская школа имѣла свою роль въ развитіи народныхъ изученій, но далеко не столь обширную, какъ говорятъ ея приверженцы. Школа есть произведеніе тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, и ея первые тезисы, какъ и у ея тогдашнихъ противниковъ, выросли изъ примѣненія къ нашему національно-историческому вопросу — нѣмецкой философіи. Школа заняла мѣсто въ литературѣ, когда нѣсколько даровитыхъ ея представителей выставили свою теорію, доведенную до послѣдняго предѣла исключительности. Крайность, высказанная рѣзко и, у нѣкоторыхъ писателей школы, съ большимъ талантомъ, вызвала ожесточенные споры, которые повели къ новымъ изслѣдованіямъ спорныхъ пунктовъ исторіи и народнаго быта. Въ этомъ возбужденіи была большая заслуга славянофильства. Но утверждать, что именно оно внушило даже своимъ противникамъ интересъ къ народнымъ изученіямъ и сочувствіямъ есть только историческій недосмотръ. У такъ-называемыхъ „западниковъ“, развитіе ихъ народнаго интереса идетъ отъ Ломоносова, Новикова, Радищева, декабристовъ, Пушкина, Гоголя, отъ вліяній европейской литературы; люди „сороковыхъ годовъ“, столько враждовавшіе съ славянофилами, какъ выше указано, самымъ яснымъ образомъ въ своихъ произведеніяхъ выразили глубокія народныя сочувствія. Эти сочувствія были въ воздухѣ, воспринимались и развивались какъ завѣтъ прежняго развитія, внушались множествомъ вліяній современной жизни, и славянофильская школа, напротивъ, не дала ничего, подобнаго тому богатому литературному развитію, какое представляется съ 40-хъ годовъ въ дѣятельности другой стороны, вызывавшей въ нихъ такую вражду. Откуда же споръ двухъ партій, тянущійся до настоящей минуты? Оттуда именно, что исходные пункты были различны. Различны были и результаты. Славянофильство съ самаго начала приняло складъ мистическо-консервативный, ихъ противники — реально-прогрессивный.

Славянофильство, вслѣдствіе внѣшнихъ и личныхъ условій своего развитія, получило своеобразный характеръ, очень сложный, — но далеко не такой, чтобы оно могло считаться сполна представительствомъ народности. Не всѣ черты школы принадлежали каждому изъ ея представителей, но въ цѣломъ школа носила на себѣ отпечатокъ условій своего происхожденія: она образовалась въ средѣ барства, довольно независимаго, чтобы не войти въ служебную колею Николаевскихъ временъ; по своему образованію и воспринятымъ теоретическимъ понятіямъ, она очутилась въ извѣстной оппозиціи съ тогдашними чиновническими властями, которымъ не нравились и казались подозрительны всякія, равно восточныя и западныя, проявленія самобытнаго общественнаго чувства; но въ то же время она стояла въ извѣстномъ барскомъ отношеніи къ народу, которому давала себя въ истолкователи и представители; состоя изъ москвичей, она отличалась крайнимъ московскимъ партикуляризмомъ, и наипѣвшее недовольство „порфиросной вдовы“ отплачивала ненавистью къ Петербургу; толчокъ и основанія къ философскому установленію своего ученія школа получила изъ гегелевской философіи, которая въ тѣ годы имѣла вообще большое вліяніе въ передовомъ литературномъ кружкѣ; и затѣмъ школа усвоила себѣ археологическіе идеалы, которыхъ, по-правдѣ, некуда приложить въ настоящей политической жизни и къ которымъ искренно былъ привязанъ развѣ одинъ Константинъ Аксаковъ, идеалистъ и мечтатель, и заявляла сочувствія къ современной бытовой народности, которая сознательно принимала, быть можетъ, одинъ только Петръ Кирѣевскій; многіе другіе изъ славянофиловъ знали и любили народъ не больше, чѣмъ многіе изъ „западниковъ“. Такимъ образомъ, школа представляетъ не какое-нибудь непосредственное откровеніе народности, происшедшее отъ мистическаго наитія народнаго духа, а сложность разнаго рода источниковъ, иногда народу совсѣмъ чужихъ; отсюда возможно было то явленіе, которое въ тайнѣ смущало многихъ, искренно ей вѣрившихъ, напр., что кн. Черкасскій, одинъ изъ столповъ школы, былъ въ то же время самымъ сухимъ и рѣзкимъ бюрократомъ, что газета „Русь“ свободолобіе и народолобіе старой школы могла мирить съ такою же бюрократическою наклонностью командовать народною жизнью, съ порядочнымъ общественнымъ обскурантизмомъ. Въ прежнее время крайняя несвобода нашей печати побуждала многихъ преувеличивать цѣну оппозиціонныхъ заявленій школы; потомъ, когда внѣшнее положеніе школы бывало вполнѣ благоприятно, становилось ясно, что ея старая теорія была идеалистическою фантазіей, совершенно непримѣнимою къ жизни, а въ рукахъ своего послѣдняго главы школа забывала даже свое прошедшее; „Русь“

иногда мало чѣмъ отличалась отъ „Московскихъ Вѣдомостей“. Школа не оставила прямыхъ продолжателей; у тѣхъ, кто выдаетъ себя за преемниковъ ея заслуги, именемъ народа можетъ прикрываться недвусмысленный обскурантизмъ и сомнительное народолюбіе; ихъ противники не дѣлаютъ изъ народа ни ширмы, ни идола, но указываютъ на самыя дѣйствительныя тягости его положенія, матеріальнаго и нравственнаго, и думаютъ, что если желать, чтобы „народъ“ былъ рѣшающимъ принципомъ, онъ долженъ сначала выйти изъ покрывающей его темноты, и путь къ этому—не мистика, и возвращеніе „домой“, а общественная свобода и просвѣщеніе.

Безпристрастная исторія нашей общественной образованности послѣ Петра должна будетъ сказать, что эта образованность была не только не измѣной, но, напротивъ, постояннымъ и успѣшнымъ стремленіемъ къ народу, къ сознательному единенію съ нимъ въ общей нравственно-общественной дѣятельности и просвѣщеніи. Истиннаго „единства“ не знала и старая Россія: единство тѣхъ временъ было единство безсознательной патріархальности, уже тогда отживавшей свой историческій періодъ; новая образованность искала единства сознательнаго, какое дается просвѣщеніемъ и участіемъ къ улучшенію быта народныхъ массъ, матеріальнаго и нравственнаго. Петровская реформа была первымъ рѣшительнымъ шагомъ на этомъ пути; самый путь былъ уже намѣченъ предыдущей исторіей: дальнѣйшее развитіе русскаго народа было немислимо безъ усвоенія существовавшей образованности, но первыя попытки были слабы, тѣсны, боязливы; Петръ повелъ дѣло съ чрезвычайной силой, даже насиліемъ, которыя явились какъ мѣрка созрѣвшей потребности. Эта потребность не всѣми, чувствовалась, и вслѣдствіе вѣкового застоя введеніе иноземной науки многими встрѣчено съ предубѣжденіемъ, даже ненавистью; но болѣе приготовленная часть общества примкнула къ реформѣ съ восторженными сочувствіями и къ гениальной личности преобразователя, и къ самому дѣлу. Довзательствомъ того, что сочувствія были искреннія, что въ нихъ сказывалось дѣйствительно чувство глубокой національной необходимости, служатъ всѣ дальнѣйшіе успѣхи образованія и литературы. Давно уже не было настойчивыхъ требованій власти; преемники Петра продолжали дѣло его вяло, часто только по необходимости, чтобы не уронить своего достоинства, отставая отъ славнаго преданія; государство ограничивало дѣло образованія цѣлями казенной надобности, и не разъ сурово напоминало, что не хочетъ знать широкихъ требованій мысли и знанія,—словомъ, чистый интересъ науки и обра-

зованія мало находилъ поддержки, а иногда встрѣчалъ уже и прямой отпоръ со стороны всемогущей власти; не мало предстояло бороться съ косностью большинства даже верхняго слоя общества; и несмотря на все это, образованіе росло не только числомъ людей, принимавшихъ извѣстное просвѣщеніе, но и серьезностью содержанія. Образованіе стало заботой общества, а государство нерѣдко оставалось къ ней равнодушно, бывало и прямо враждебно: такъ, съ первыхъ десятилѣтій нынѣшняго вѣка, когда было основано нѣсколько новыхъ университетовъ, правительство заподозрѣвало ихъ науку (скромное повтореніе западной и немногія попытки своей), и съ тѣхъ поръ университеты никогда не пользовались особымъ расположеніемъ власти. Науку двигали и одушевляли общественныя силы. Правда, государство все-таки, для подготовки служагаго сословія, доставляло необходимѣйшія матеріальныя средства—основаніемъ школъ и т. п., но въ нихъ не было мѣста для свободной науки, и ея идея сохранилась и развилась только благодаря укрѣпившимся научнымъ потребностямъ общества. Такимъ же образомъ, литература, особенно въ послѣднее время, была чисто созданіемъ общественной силы; государство держало только надъ нею цензурную опеку, и какимъ тяжелымъ, часто невыносимымъ бременемъ была эта опека—извѣстно достаточно. Тѣмъ больше была заслуга литературы, которая среди бюрократическихъ помѣхъ, успѣла выростить и сберечь свои лучшіе идеалы.

Исторія нашей образованности была чрезвычайно сложна, какъ и естественно было ожидать на переходѣ народа отъ патріархально-деспотическаго московскаго царства къ государству новѣйшаго склада, отъ невѣжества къ какому бы ни было, но образованію; притомъ государство, которое на первый разъ явилось намъ образцомъ, было извѣстное „полицейское государство“... Все это должно было перебродить въ русскомъ обществѣ, и это броженіе отразилось множествомъ странныхъ явленій, увлеченій, ошибокъ, нелѣпой подражательности, грубости понятій и т. д. Оттого въ самой литературѣ всегда была особенно сильна наклонность къ сатирѣ, отъ сатиры книжной до самой реальной, отъ временъ Кантемира до Салтыкова,—наклонность къ такъ называемому отрицанію. Но за всѣмъ тѣмъ, въ образованности нашей съ самаго начала явились и донныя неотступно развиваются стороны вполне положительныя: въ общихъ понятіяхъ — постоянно укрѣплявшееся усвоеніе научнаго знанія, во внутренней общественной жизни—укрѣплявшееся сознаніе народнаго интереса. Это послѣднее прошло различныя степени, начиная отъ слабого пониманія этого интереса, поглощеннаго государствомъ, и отъ полной почти невозможности заявить самый вопросъ; оно прошло потому

разныя богѣе или менѣе узкія, даже фальшивыя точки зрѣнія, напр., когда знали только панегирики „доблестямъ“ русскаго народа и восхищались добродѣтелями Фрола Силина, или когда любили рассказывать о талантахъ „простого русскаго мужичка“, объ его „сметѣ“, дѣлающей ненужною школу, и т. п., или поддѣлывали русскую народность въ тонѣ чувствительно-патріархальномъ, обскурантно-мистическомъ и т. д.; и наконецъ, въ наше время, съ начатымъ разрѣшеніемъ главнѣйшей тягости, лежавшей на народѣ, приходитъ къ постановкѣ народнаго вопроса въ его дѣйствительномъ смыслѣ.

Было время, когда подъ напоромъ этихъ влеченій общества было официально заявлено принципъ „народности“... Это заявленіе имѣло свое долю нравственнаго вліянія, ставя хотя неясную цѣль однимъ, воздерживая грубый эгоизмъ другихъ; но, заявленіе различнымъ образомъ само себѣ противорѣчило: начало „народности“—въ крѣпостной формѣ, было внутреннимъ противорѣчіемъ, и дѣйствительно вышло съ самыми грубыми его искаженіями. „Народъ“ этой точки зрѣнія былъ—нѣчто въ родѣ театральныхъ пейзажъ, стоящихъ на заднемъ планѣ въ разноцвѣтныхъ костюмахъ, какъ фонъ для картины съ маркизами на первомъ планѣ, поющихъ пѣсни простодушнаго веселія и преданности; за кулисами съ этими пейзажами имѣли дѣло бурмистры и становые. Многимъ мнимымъ представителямъ народа и теперь хотѣлось бы такого или подобнаго порядка вещей, но крестьянская реформа и сопровождавшій ее ростъ общественнаго сознанія произвели иную точку зрѣнія. „Народъ“, въ отдѣльности отъ „общества“ (или отъ „сословія“), есть наибольшая масса цѣлой націи; это—не малолѣтніе, которыхъ всегда слѣдуетъ водить на помочахъ; имя народа нивакъ не вывѣска того оракула, вмѣсто котораго, какъ въ известной баснѣ, говорилъ спрятавшійся за истукана ловкій шарлатанъ; „народъ“—это такіе же люди, какъ „общество“, люди христіански намъ равные; по освободившему ихъ закону—не рабы, а граждане; экономически—несущіе на себѣ главную государственную тяготу, своими трудами доставляющіе средства государству и обществу, но донинѣ крайне неустроенные, слишкомъ часто бѣдствующіе и имѣющіе все право на помощь и заботу для своего матеріальнаго обезпеченія и для своего просвѣщенія. Народное благо—высшая цѣль и критеріумъ государственной и общественной дѣятельности; но чтобы можно было сослаться на голосъ народа, чтобы знать дѣйствительное содержаніе народности, нужно, чтобы, она могла высказаться и быть сознанной; нуженъ большій просторъ для народной (земской) жизни и просвѣщенія, чтобы за истинную, подлинную народность не выдавались темные инстинкты временъ рабства и невѣжества. Въ настоящее время „народъ“ несомнѣнно пере-

живааетъ критическую эпоху: по общему отзыву знающихъ наблюдателей, старый бытъ подѣ вліяніемъ новыхъ условій отживаетъ и падаетъ, нарождаются новыя явленія экономическія и нравственныя, и въ пору этого кризиса особенно настоятельно требуется кромѣ матеріальной заботы и настоящее „народное просвѣщеніе“ и свобода для общественной мысли,—только это могло бы устранить печальныя явленія, которыя порождаются умственною безпомощностью массы и внутреннимъ броженіемъ общества. Съ другой стороны, отъ тѣхъ, кто берется говорить о потребностяхъ народной жизни, особливо говорить будто бы отъ имени народа, тѣмъ больше требуется честное отношеніе въ дѣлу и тѣмъ постыднѣе намѣренная ложь, рассчитанная на личную выгоду и интересъ партіи.

ГЛАВА II.

Понятія о народности въ XVIII вѣкѣ.

Послѣ реформы, въ теченіе XVIII вѣка, произошелъ въ русской жизни слѣдующій поворотъ въ образовательномъ отношеніи. Въ прежнее время народъ и высшія сословія („общество“) составляли по складу своихъ понятій почти однородную массу—однородную по бытовому и идейному преданію, или по скудости свѣдѣній, не нарушавшей ни въ чемъ этого преданія, по безграничному суевѣрію, по недовѣрію къ научному знанію природы, въ которомъ видѣли волшебство и дѣйствіе нечистой силы;—кстати представителями этого знанія являлись иноземцы, заподозрѣнные впередъ за поганое латынство и люторство. Немногія исключенія въ этомъ порядкѣ составляли люди, усвоившіе кіевское образованіе или другими случайными путями успѣвшіе познакомиться съ пользой и интересомъ иноземной науки и ея безвредностью для душевнаго спасенія.—Съ появленіемъ новой школы, съ посылкой русскихъ молодыхъ людей въ ученье за границу, эти исключенія стали умножаться, и вскорѣ, еще при Петрѣ, образовалась хотя все не многочисленная, но уже ясно опредѣлившаяся группа людей новаго образованія. Въ этомъ особенно и состоялъ тотъ „разрывъ“ съ народомъ, въ которомъ полагается извѣстной школой преступленіе Петровскаго періода. Мы объясняли въ другомъ мѣстѣ, что существенный „разрывъ“,—который бывалъ у насъ, какъ и у всѣхъ народовъ,—совершился гораздо раньше неравенствомъ состояній, которое давнымъ-давно было узаконено въ неравенство общественныхъ правъ; паденіемъ народныхъ учреждений; господствомъ приказнаго чиновничества; крѣпостнымъ правомъ. Различіе образованія, которое теперь (въ силу этого стараго неравенства) доставалось почти исключительно служилому сословію или высшему классу, увеличило, повидимому, разстояніе между ними, прибавило

разницу {понятій, производимую образованіемъ; но въ дѣйствительности, этой новый „разрывъ“ былъ знаменательнымъ историческимъ шагомъ къ общественному самосознанію, которому предназначено примирить общество и народъ, связать ихъ въ единое нравственно-общественное цѣлое. Въ освобожденіи крестьянъ мы видѣли уже одинъ великій фактъ этого историческаго процесса.

Современники и позднѣйшіе историки вообще изображали наступившій поворотъ какъ яркій контрастъ стараго и новаго, и контрастъ дѣйствительно былъ. Въ литературѣ, отражавшей событія, произошла также глубокая перемѣна. Литература, нѣкогда однородная, раздвоилась и распредѣлилась по разнымъ классамъ общества. Старая письменность въ образованномъ классѣ совсѣмъ забылась: здѣсь церковно-лѣтописный складъ старой книжности смѣнился новымъ складомъ содержанія, которое почерпалось изъ западной школы и литературы, и новымъ складомъ языка, который стремился къ сближенію съ языкомъ жизни; новая литература выросла подъ влияніемъ новой свѣтской образованности, принадлежавшей по преимуществу высшему общественному классу, дворянству и чиновничеству, военному и гражданскому. Въ эту литературу перешли высшіе интересы научнаго знанія и поэзіи, выросшихъ подъ влияніемъ новыхъ условий и возбужденій. Старая письменность продолжала храниться въ народномъ грамотномъ классѣ: купцы, посадскіе люди, грамотные крестьяне продолжали читать старыя душевспасительныя книги, почерпали историческія познанія въ „Хронографахъ“ и „Космографіяхъ“, увеселялись старинными повѣстями и сказками. Въ какой обширной степени старая письменность продолжала жить въ прошломъ столѣтіи, свидѣтельствуютъ массы ея памятниковъ разнаго рода въ спискахъ XVIII столѣтія и цѣлая литература народныхъ картинокъ, начало которыхъ восходитъ къ до-Петровской старинѣ.

Двѣ литературы, какъ два образованія и два склада нравовъ, были, конечно, крайнимъ контрастомъ *по существу*; этотъ контрастъ и признается обыкновенно какъ рѣзкій историческій фактъ. Но взглянувъ ближе въ дѣйствительность, въ этомъ представленіи надо сдѣлать весьма существенныя ограниченія и оговорки. На практикѣ противоположность не была такою крайнею, и вообще, реформа, круто проводившаяся въ области государственной и служебной, не такъ быстро овладѣвала нравами и обычаями. Историческое преданіе, запомнившее деспотическія мѣры Петра Великаго въ исполненіи его плановъ; дальнѣйшее распространеніе европейскихъ обычаевъ; новѣйшіе доктринерскіе споры о значеніи преобразования, — создали вообще преувеличенное представленіе объ этой сторонѣ періода реформы, и оно теперь только можетъ быть провѣрено, съ ближай-

шимъ изученіемъ тогдашней жизни. Въ самомъ дѣлѣ, переменна въ нравахъ, даже въ наиболѣе образованномъ классѣ, была не такая быстра и глубокая, какъ обыкновенно думаютъ; самое образованіе распространялось не такъ сильно и охватывало не такую массу людей, чтобы переменна могла считаться столь внезапной и рѣшительной. Напротивъ. Извѣстно теперь, что самъ Петръ, при всемъ несомнѣнномъ желаніи передѣлать въ извѣстныхъ отношеніяхъ нравы, при всей ненависти ко многимъ явленіямъ старины, при всей несомнѣнной ломкѣ въ арміи, флотѣ, гражданскихъ учрежденіяхъ, школахъ, книжности,—что *потомъ* отразилось новыми формами общественной и типами людей,—вовсе не былъ врагомъ бытовыхъ обычаевъ, гдѣ они не мѣшали его намѣреніямъ, и самъ соблюдалъ такіе обычаи. Его сподвижники перваго поколѣнія были приверженные исполнители его дѣла, но помнили, однако, хорошо старые обычаи, окружавшіе ихъ повсюду внѣ казенной службы. Семейный и народный бытъ были исполнены этой старины, и послѣ насильственныхъ мѣръ Петра, направленныхъ только на нѣкоторые исключительные старые обычаи (какъ, напримѣръ, невѣжество и умственную лѣнь стараго боярства, азіатское заключеніе женщины, разныя нелѣпныя суевѣрія и предрасудки), на старину уже не было никакого особеннаго давленія кромѣ того, какое дѣлалось само собою, естественнымъ ходомъ развивавшейся новизны, потребностями общественной жизни и просвѣщенія. Второе и третье поколѣніе въ своихъ болѣе серьезныхъ представителяхъ были такими же русскими людьми по складу своихъ бытовыхъ понятій и не чувствовали разлада съ народностью, который имъ навязывали наши историки. Средина XVIII вѣка наполнена царствованіемъ Елизаветы; историкамъ оно представляется какъ время русской національной реакціи (т.-е. побѣды надъ придворной нѣмецкой партіей), хотя западное вліяніе продолжалось. Замѣчательнѣйшіе дѣятели литературы первой половины вѣка, величайшіе поклонники Петра, были самые несомнѣнные русскіе люди, напр., не только доморощенный самоучка Посошковъ, но Ломоносовъ, прошедшій заграничную школу и высоко ее чтившій, Татищевъ, котораго уже винили въ вольнодумствѣ, даже Кантемиръ и проч., писатели, усиленно работавшіе для введенія въ нашу литературу иноземнаго содержанія и стиля. Чѣмъ больше разрабатывается біографія историческихъ дѣятелей прошлаго вѣка, именно изъ того образованнаго дворянскаго класса, который считается по преимуществу „оторваннымъ“ отъ народа,—тѣмъ больше біографы находят ихъ людьми чисто-русскаго склада, съ воспитаніемъ, основаннымъ на впечатлѣніяхъ русскаго быта и преданія; они были болѣе специфически „русскими“, чѣмъ нынѣшніе образованные люди съ самими

славянофилами влѣчительно,—такъ что навязывается вопросъ: въ чемъ же эти люди „оторвались“ отъ народа?

Если народъ становился все-таки дальше отъ высшихъ образованныхъ классовъ, то внѣшняя общественная причина этого была, какъ мы сказали, отношеніе этихъ классовъ къ народу, какъ помѣщиковъ и чиновниковъ къ крѣпостнымъ; и злоупотребленія первыхъ, вообще равнодушно принимавшіяся самою властью, стали главнымъ источникомъ народнаго раздраженія и недовѣрія къ барству; затѣмъ извѣстное образованіе произвело разницу понятій, гдѣ, перевѣсъ познаній былъ не на сторонѣ наипаго и суевѣрнаго невѣжества; бывали, наконецъ, примѣры, что люди высшихъ классовъ дѣйствительно отрывались отъ народности до нелѣпой французованіи, до незнанія русскаго языка,—но это составляло принадлежность исключительно высшей общественной сферн, которая и донинѣ остается въ томъ же безучастномъ отношеніи къ русской жизни: извѣстное число великосвѣтскихъ хлыщей и барынь донинѣ живутъ въ состояніи межеумковъ, сохранившихъ изъ русской жизни только крѣпостническіе вкусы и, конечно, крайне далекихъ отъ настоящаго европейскаго просвѣщенія.

Словомъ, корень удаленія „общества“ отъ народа заключался въ крѣпостничество и въ томъ покровительствованіи ему общественномъ режимѣ, который дѣлалъ сближеніе съ народомъ невозможнымъ для просвѣщеннѣйшихъ людей, на которыхъ этотъ упрекъ и не можетъ пасть. Болѣе просвѣщенные люди старались о смягченіи этого режима, въ чемъ и заключалась дѣйствительно важнѣйшая потребность общества. Новиковъ и Радищевъ погибали при злорадныхъ апплодисментахъ крѣпостниковъ. Власть не могла одобрять Чацкого, но еще раньше подняли противъ него вопль сами люди „общества“, конечно не въ силу того, чтобы приверженность къ иноземному оторвала ихъ отъ народа, а именно въ силу освященнаго закономъ крѣпостничества: они были націоналы, а Чацкій—приверженецъ запада.

Но вѣдь несомнѣнно же, скажутъ намъ, что общество наше не только XVIII-го, но и XIX-го вѣка, и почти до нашихъ дней, жило подражательностью, заимствованіемъ чужого, забывало національныя черты быта, народной поэзіи, искусства, нравовъ, и пр.? Да, но слѣдуетъ вдуматься въ разные мотивы и размѣры этой подражательности и оторванности.

Принятіе нѣкоторыхъ иноземныхъ обычаевъ было очень естественно, безобидно, наконецъ, благотворно, и во многихъ случаяхъ началось задолго до Петра. Если Петръ заводилъ ассамблеи, это былъ естественный протестъ противъ теремной жизни, которую мудрено

исторически и нравственно защищать: женщина пріобрѣтала свое личное право, вступала въ общество, ей становилось доступно образованіе, нравственное вліяніе въ семьѣ и обществѣ; ассамблея была не нарушеніемъ народнаго обычая,—народъ собственно не зналъ те-рема, составлявшаго принадлежность зажиточнаго класса,—а отиѣ-ной привившагося обычая восточнаго. Перемиѣна одежды, длинной восточной на короткую западную, могла быть неприятна насильствен-ностью; но эта перемиѣна не впервые была сдѣлана Петромъ, и за-падная одежда опять смѣняла не только русскія, но и восточныя платья. Въ прежнее время, въ ХVІ вѣкѣ, у насъ прямо начинали входить восточныя моды, доходившія до бритья головъ и ношенія „тафьи“, татарской ермолки; бритье бородъ началось еще при Василии Ивановичѣ¹⁾.

Нѣкоторыя изъ нововведеній были таковы, что, составляя дѣй-ствительную потребность возникающей общественности, не могли найти для себя основанія въ соотвѣтственномъ русскомъ обычаѣ. Таковы были ассамблеи: въ быту русскаго боярства не было формы общественнаго собранія мужчинъ и женщинъ, общаго препровожде-нія времени. Театръ, установившійся въ ХVІІІ-мъ вѣкѣ (собственно долго спустя послѣ Петра) впервые введенъ былъ—при самомъ дворѣ—еще во времена царя Алексѣя, въ разгарѣ московскаго цар-ства, какъ примѣръ такой же нарождавшейся потребности, для ко-торой не было опоры въ русскомъ обычаѣ: этотъ театръ при царѣ Алексѣѣ былъ иностранный. Совершенно такъ продолжался театръ въ ХVІІІ вѣкѣ, когда при дворѣ держалась итальянская опера, фран-цузскіе спектакли, балетъ, къ которымъ только долго спустя при-соединилась русская сцена,—и зрителей, придворныхъ, надо бывало обязывать подпиской къ посвѣщенію театра. Съ тѣхъ поръ театръ оставался дворцовой монополіей, и теперь, когда національные вкусы очень развиваются, друзья искусства и приверженцы народа хлопо-чуть о доставленіи этой *иностранной* затѣи народной публикѣ. Очень большая доля иноземнаго входила въ жизнь черезъ иностранное устройство арміи и флота; цѣлый запасъ иностраннаго входилъ че-резъ школу, научныя знанія, наконецъ литературу. На огульный счетъ, все это была масса всевозможной иноземщины,—но гдѣ же было въ русской національной жизни что-либо, дававшее въ этихъ случаяхъ возможность обойтись безъ иноземщины? И необходи-мость ея достаточно указываетъ тѣмъ, что очень многія изъ всѣхъ этихъ нововведеній, чуть не всѣ, впервые, хотя слабо, возникали

¹⁾ Ср. разныя подробности у Костомарова, „Очеркъ домашней жизни и нравовъ въ ХVІ и ХVІІ стол.“, 8-е изд. Спб. 1887; Забѣлина, „Домашній бытъ русскихъ царей и царицъ“, 1862—69.

задолго до Петра. Новѣйшіе обличители реформы видѣли въ изобиліи иноземщины неуваженіе къ своей народности, но справившись съ фактами, мы убѣждаемся, что у людей реформы не только отсутствовала мысль объ униженіи своей народности, но, напротивъ, была прямая забота о возвышеніи „россійской славы“: иноземное было не цѣлью, а средствомъ, и люди реформы спѣшили только скорѣе имъ воспользоваться; борьба противъ стараго застоя была иногда суровая (по *старой* привычкѣ къ суровости), но велась она не противъ народности, а за нее, за ея возвеличеніе. Мысль о *русскомъ* благополучіи, о *русскихъ* успѣхахъ въ войнѣ, наукахъ, промыслахъ и т. д. была господствующая; за русскую народность не было ни малѣйшаго опасенія, не возникало о томъ мысли у самихъ дѣятелей, потому что дѣйствительно она всей силой національнаго характера, и въ частности цѣлой массой преданій, нравовъ и пр., господствовала надъ входившей иноземщиной, которая въ ея средѣ была небольшимъ процентомъ, сливавшимся и исчезающимъ.

Петръ сталъ *народнымъ лицомъ*, героемъ народной поэзіи; въ народныхъ представленіяхъ образовался новый типъ царя,—не царя-лѣтннца и полу-монаха XVI—XVII столѣтія, а царя энергическаго, дѣятельнаго, всюду проникающаго, дѣйствительно идущаго впереди своего народа.

Нападенія на подражательность западу, на „галломанію“ тогдашняго общества стали ходячей фразой еще съ прошлаго вѣка. Но, свѣряя дѣло съ фактами, нельзя не увидѣть, что въ этихъ нападеніяхъ была значительная доля недосказанности, или прямо лицемерія, и у позднѣйшихъ историковъ, быть можетъ, еще больше, чѣмъ у современниковъ. Выше мы упоминали, что число слѣпыхъ подражателей и настоящихъ „галломановъ“ было во всякомъ случаѣ не такъ велико, чтобъ они представляли опасность для національной жизни; качество „галломанства“ въ громадномъ большинствѣ было слишкомъ поверхностное, и оно заслуживало развѣ только водевильной шутки. Национальное чувство могло бы достаточно успокоиваться тѣмъ, что немудренныя обличенія „галломаніи“ (по новѣйшему, „европейничанья“) были чрезвычайно изобильны,—начиная отъ Фонъ-Визина и... до Достоевскаго, и находили всегда сочувствіе въ массѣ общества.

Мы видѣли, наконецъ, въ предыдущей главѣ, что все движеніе науки и литературы, т.-е. наиболѣе просвѣщенной части общества, шло именно къ изученію народности, къ ея осмысленію, къ историческому возстановленію ея прошлаго, къ пониманію настоящаго. Обращеніе къ западу и его знанію именно и дало первыя дѣйствительныя средства къ этому изученію; идеи западнаго просвѣщенія

сообщали болѣе гуманный взглядъ на народъ, учили уважать въ рабѣ человѣческое достоинство, готовили мысль о необходимости освобожденія. Это была неизбѣжная ступень общественнаго и національнаго самосознанія, такъ-какъ послѣднее могло совершиться только на почвѣ критической мысли, а не наивно-эпической фантазіи.

Возвращаемся къ отношеніямъ двухъ литературъ старой и новой. Судьба ихъ не могла быть иная. Новое общество, въ самыхъ серьезныхъ своихъ запросахъ, не могло найти пищи въ старой письменности; новая литература обращалась къ западному образованію, отерывавшему *содержаніе*, о какомъ не имѣла понятія (или получала только слабые отдаленные намеки) старая письменность, и это содержаніе естественно привлекало людей новаго порядка; вмѣстѣ съ тѣмъ, безъ обращенія къ западнымъ литературамъ не было средствъ пріобрѣсти тѣ *формы*, которыя были необходимы для болѣе широкаго литературнаго развитія: не было образцовъ для эпоса, романа, лирики, драмы,—какъ въ жизни не было формъ болѣе свободнаго общезитія, интересовъ искусства и простаго техническаго знанія по всѣмъ его отраслямъ. XVII-й вѣкъ уже чувствовалъ эту самую потребность, что и выказалось давними неумѣльными попытками усвоить западный романъ, драму, легкую повѣсть, комедію Мольера, а наконецъ, двумя-тремя удачными опытами самостоятельной русской повѣсти.

Какое же было въ частности отношеніе новаго образованія и литературы къ *народности*?

Вопросъ объ этомъ отношеніи спутывается обыкновенно тѣмъ, что новѣйшіе историки, обоихъ направленій, вносятъ въ сужденія о тѣхъ временахъ нынѣшніи понятія о значеніи народности и забываютъ объ условіяхъ, въ которыхъ начиналась дѣятельность литературы въ тѣ времена.

Прежде всего, въ тѣ времена вопросъ о народности, какъ ставить его теперь, совсѣмъ не существовалъ.

Настоящая основа нашего понятія о народности есть вовсе не мысль о возвращеніи отъ чего-то чужого къ своему, какъ это представляютъ славянофилы, — а мысль объ освобожденіи народа, о расширеніи его общественнаго права, о введеніи его интересовъ въ область гражданской жизни и просвѣщенія. Это—понятіе существенно новое, развившееся подъ многоразличными вліяніями и особенно подъ вліяніемъ именно западной образованности, возвысившей чувство человѣческаго достоинства въ личности и чувство достоинства народнаго. На переходѣ отъ XVII къ XVIII столѣ-

тію, еще не очень далеко отъ среднихъ вѣковъ, не только у насъ, но и въ самой западной Европѣ, собственно „народъ“ былъ служебная масса, которая поставляетъ матеріальныя средства государства— и даже буквально поставляла, напр., припасы для царскаго двора— и не можетъ имѣть никакого притязанія на политическую и общественную равноправность ¹⁾). У насъ, *это* понятіе о народѣ было унаслѣдовано отъ московскаго царства, и Петръ, если отягчилъ положеніе массы, требуя ббльшей службы для государства, то слѣдовалъ только прежнему направленію. Но отрицаніе народнаго обычая? Это была одна черта въ цѣломъ процессѣ реформы, а на реформу должно смотрѣть, какъ на борьбу двухъ историческихъ началъ, — и здѣсь *большинство* національной массы стало на сторонѣ, защищаемой Петромъ. Свидѣтельство—вся дальнѣйшая исторія Россіи. Новѣйшее стремленіе къ народности,—не въ понятіяхъ ограниченныхъ людей или фанатиковъ, а людей здравомыслящихъ,—было нимало не отрицаніемъ, а, напротивъ, ревностнымъ развитіемъ реформы. На счетъ реформы ставятъ обыкновенно господство нѣмцевъ при дворѣ и въ правленіи, преторіанскія безобразія прошлаго вѣка и т. д.; но эти факты относятся къ политическому безправію русскаго общества, а оно было дѣломъ давнимъ и вкоренившимся, и при этомъ ничтожество преемниковъ Петра легко давало возможность къ преторіанскому господству. Царствованіе Елизаветы считается возстаніемъ русской народности противъ инземщины, но основное направленіе образованности не измѣнилось; это было время дѣятельности Ломоносова, безусловнаго поклонника и послѣдователя реформы.

Ни Петру, ни его приверженцамъ и послѣдователямъ, какъ мы говорили, не могла бы вмѣститься въ голову мысль, чтобы они были противниками русской народности; такая мысль показалась бы имъ безумной, и справедливо: именно русской народности посвящена была вся ихъ самоотверженная работа. Дѣло въ томъ, что понятіе народности, неизвѣстное тогда въ его спеціальному новѣйшему смыслѣ, совмѣщалось въ *національномъ чувствѣ*, и съ этой стороны дѣятели реформы, общество и самая народная масса были удовлетворены,

¹⁾ Намъ дѣлали упрекъ, что мы забываемъ о земскихъ соборахъ. Это было дѣйствительно прекрасное начало, но мы не вводимъ его въ *общія* очертанія стараго быта по слѣдующей причинѣ: земскіе соборы были историческимъ остаткомъ отъ прежней народоуправной старины, къ истребленію которой стремилось московское единовластіе и, наконецъ, этого достигло. Это было не развивавшееся, а истребляемое, отживавшее начало,—отживавшее потому, что оно не могло себя защитить; начало патріархальное, которое по существу уже отрицалось московскимъ порядкомъ, а вовсе не было именно его достоинствомъ. Если земскіе соборы могутъ быть политическимъ идеаломъ, то лишь пройдя черезъ инны возрѣвія, въ формѣ сознательнаго, опредѣленнаго, а не патріархальнаго учрежденія.

исключая только періодъ бироновщины, когда господствовала придворная партія, поднятая, впрочемъ, самодержавною императрицей. Петръ Великій ни мало не думалъ превращать русскихъ въ шведовъ или голландцевъ; онъ просто желалъ, чтобы русскіе были не глупѣе шведовъ и голландцевъ. Какъ съ реформой, въ понятіяхъ ея приверженцевъ, отождествлялись успѣхи и слава „россійскаго народа“, такъ литература, среди явнаго и нескрываемаго подражанія нѣмцамъ, французамъ и проч., мечтала о томъ, чтобы русскіе, не уступая европейцамъ, имѣли *своихъ* Платоновъ и Невтоновъ, своихъ Расиновъ, Корнелей и даже Вольтеровъ. Убѣжденіе, что доморощенные Расины и Корнели были *самые русскіе*,—было полное, и въ доказательство являлись трагедіи съ Рюриками, Хоревами, эпическія поэмы съ Владиміромъ, Іоанномъ, баснословные романы изъ временъ русскаго язычества съ жрецами Перуна, комедіи, гдѣ рядомъ съ Скапиннами простодушно ставились русскія имена, и т. д. Но мало-помалу въ чужую условную форму стала все больше пробиваться настоящая русская жизнь,—въ комедіи Фонъ-Визина послышались взятія прямо изъ дѣйствительности рѣчи, когда еще дѣйствовалъ Ломоносовъ, когда еще неизвѣстенъ былъ Державинъ. Начинались нападки на галломанію; нападавшіе не подозрѣвали, что сами были повинны въ ней, копируя французскія книги, но они замѣтили ее въ нравахъ и осудили, повинуваясь инстинктивному національному чувству.

Представленіе о народности, особенно господствовавшее въ литературѣ прошлаго вѣка, было окрашено псевдо-классицизмомъ. Французскій ложный классицизмъ имѣлъ свои высокія литературныя достоинства, но по пониманію народнаго элемента въ литературѣ онъ былъ крайне одностороненъ, и его свойства были перенесены къ намъ. Онъ относился къ народу равно фальшиво и въ исторіи, и въ современности: въ обоихъ случаяхъ онъ не понималъ простой реальной дѣйствительности. Въ исторіи, старыя времена представлялись писателямъ того времени или эпохой героической, на манеръ классической древности, какъ она понималась школой; или эпохой патриархальности, съ невинностью первобытныхъ нравовъ, на манеръ классической идилліи и эклоги; или эпохой невѣжественной грубости. Французскій псевдо-классицизмъ презиралъ свою національную старину, не знавшую изящнаго быта, говорившую „грубымъ“, не вышеченнымъ академіями языкомъ. Къ народу современному онъ былъ высокоумно равнодушенъ: въ этомъ народѣ смѣшно было искать героевъ, въ немъ допускали идиллическую патриархальность, а больше находили невѣжественную грубость и простоватость.

Въ этомъ псевдо-классическомъ взглядѣ на народъ не трудно

было бы прослѣдить отраженія многообразныхъ явленій западно-европейской жизни и образованности: отголоски феодальнаго презрѣнія къ народу, презрѣнія школьной науки эпохи Возрожденія къ *profaum vulgus*, литературной изысканности, пренебрегавшей грубостью народной рѣчи, и фактической подавленности народа. Этотъ взглядъ, приходившій къ намъ книжнымъ путемъ, находилъ и свои домашнія подтвержденія,—прежде всего, въ бытовыхъ условіяхъ, гдѣ народъ былъ крѣпостнымъ, „чернью“, гдѣ новая школа выдѣлялась отъ старины, какъ отъ невѣжества, и новыя нравы вводили чужую изысканность. Въ литературѣ того времени мы найдемъ изобиліе примѣровъ этого псевдо-классическаго представленія народности. Такъ оно повторилось въ историческихъ понятіяхъ о старинѣ и народности. Героическая подераска древности дошла до самого Карамзина вмѣстѣ съ сентиментальной подераской сельской „невинности“, „простыхъ нравовъ“ и т. п. Современный народъ въ ходячихъ понятіяхъ былъ народъ „подлый“, правда, не въ томъ отчаянномъ смыслѣ, какой имѣетъ это слово теперь, но все-таки въ смыслѣ не очень одобрительномъ. Литература псевдо-классическая, занятая отвлеченными моральными идеями, поглощаемая усвоеніемъ образцовъ и имъ подчинявшаяся въ стилѣ и содержаніи, рѣдко вспоминала о народѣ; всего чаще онъ отсутствовалъ въ обиходѣ ея интересовъ, но если появлялись народныя фигуры, то или въ чертахъ крѣпостнаго быта, какъ подначальная масса, или въ шутивно-комическихъ, или, наконецъ, въ чувствительно-идиллическихъ.

Но рядомъ съ этимъ господствомъ псевдо-классицизма въ высшей литературной сферѣ, очень рано сказывается другое теченіе, еще мало прослѣженное, но заслуживающее вниманія. Школьная ученая литература не заглушила интереса къ народу, народному содержанію и формѣ. Въ разныхъ видахъ, съ различною силой, это влеченіе къ народному, стремленіе вводить его въ литературу, проявляется съ первыхъ шаговъ новой литературы, и указанный псевдо-классическій взглядъ сопровождается другимъ направленіемъ—въ народную сторону. Это не было именно направленіе сознательное, ясно опредѣляющее свои взгляды и цѣли; это былъ скорѣе инстинктъ, простое побужденіе народно-національнаго чувства.

Первымъ источникомъ этого направленія было естественное продолженіе бытового преданія.

Относительно XVIII-го вѣка есть не мало предубѣжденій, не мало фальшивыхъ восхваленій и осужденій. Къ числу послѣднихъ принадлежатъ преувеличенные толки о внезапной измѣнѣ образованнаго класса народности, со временъ Петра. Напротивъ, дѣдовскіе нравы жили очень долго нерушимыми, и въ разгарѣ XVIII-го вѣка, фран-

цувскихъ вкусовъ двора и крупнаго барства, подѣ иноземной виѣшностью, подѣ иностранными названіями жили старосвѣтскія понятія, вкусы и обычаи и въ крупныхъ, и въ мелкихъ житейскихъ отношеніяхъ. Возьмемъ нѣсколько примѣровъ.

Общество нашего времени, при всемъ развитіи научныхъ изслѣдованій, стоитъ уже очень далеко отъ народнаго быта, преданій, поэзіи,—знаеть ихъ по книгамъ и настолько, насколько успѣло усвоить разъясненія ученой и поэтической этнографіи. Въ прошломъ вѣкѣ было еще столько простоты или грубоватости быта, что даже люди высшаго барства не бывали далеки отъ „народности“, знали, а иной разъ и раздѣляли, народныя понятія, суевѣрія, и услаждались народной поэзіей. Настоящій перерывъ бытового преданія совершился (очень постепенно) уже гораздо позднѣе Петра, въ теченіе ХVІІІ-го вѣка, и въ то же самое время начиналось сознательное стремленіе къ восстановленію этой связи.

Сахаровъ, въ „Сказаніяхъ русскаго народа“, говоря объ извѣстномъ сборникѣ былинъ, который приписывается Киришѣ Данилову, а по его мнѣнію сдѣланъ былъ въ Тулѣ Прокофіемъ Демидовымъ, такъ рассказываетъ о барскомъ бытѣ прошлаго вѣка, по собственной памяти и преданіямъ:

„Я зналъ и доселѣ знаю обыкновеніе тульскихъ бояръ собирать пѣсельниковъ и сказочниковъ, слушать пѣсни и сказки. Потѣшники,—такъ въ старину называли этихъ людей,—принимали на себя всѣ увеселительныя должности. Они за деньги нанимались: лежать мѣсяцъ на одномъ боку; простоять недѣлю на одной ногѣ; бѣгать на пристяжкѣ вмѣстѣ съ лошадыю; выпивать непомѣрное число воды. Всѣ рѣдкости записывались грамотнымъ дворовымъ человѣкомъ. Потѣшники странствовали изъ одного мѣста въ другое во всю свою жизнь, и стекались толпами тамъ, гдѣ щедрость боярская давала имъ пріютъ. Потѣшника, какъ новаго гостя, приводили прежде всего посмотреть на боярскія очи. Дворецкій предлагалъ боярину искусство новаго потѣшника. Начиналась проба. Если потѣшникъ нравился боярину, то его оставляли гостить; онъ долженъ былъ и сказывать сказки, и пѣть пѣсни, и творить разныя продѣлки. Въ свободное время умный дворецкій заставлялъ его обучать дворовыхъ людей новымъ пѣснямъ и сказкамъ. Все это дѣлалось на случай, когда боярину бывало скучно, когда не являлось новыхъ потѣшниковъ. Въ скучные часы дворецкій входилъ съ новыми пѣвцами и подавалъ книгу съ чудесными пѣснями и сказками... Таковы были въ старину увеселенія у И. въ селѣ Дѣдновѣ, у М. въ Яковлевскомъ, у И. въ Высокомъ, у М. въ Горенкахъ... Вотъ какъ составлялись сборники пѣсенъ и сказокъ“.

И дѣйствительно, біографіи и мемуары прошлаго вѣка, разные случайныя и неслучайныя свидѣтельства тогдашней литературы, даютъ множество указаній, что при всемъ господствѣ крѣпостного права, дѣлвшаго помѣщиковъ отъ крестьянъ точно два разныхъ племени, точно побѣдителей и побѣжденныхъ, старосвѣтскій помѣщичій бытъ былъ гораздо ближе, чѣмъ впоследствии, къ быту народному, къ старымъ нравамъ и мировоззрѣнію. Учителя изъ дворовыхъ, „дядьки“ и няни стараго времени—до классической няни Пушкина—составляли всегдашнее посредствующее звено, черезъ которое этнографическія черты народной жизни цѣликомъ доходили до сословія, которое считаютъ теперь „оторваннымъ отъ народа западною культурой“, можетъ быть, дѣлая ему этимъ слишкомъ много чести.

Крѣпостное право безъ сомнѣнія влекло за собой множество всякихъ безобразій, отъ мелкихъ притѣсненій до крупной и (за рѣдкими исключеніями) безнаказанной уголовщины—но это принадлежало не къ „оторванности“, а къ самой русской почвѣ. Напротивъ, помѣщичій бытъ былъ своего рода продолженіемъ и примѣненіемъ стараго „Домостроя“. Напомнимъ одинъ фактъ, гдѣ это примѣненіе дошло до настоящей виртуозности. Во времена Петра Великаго, учился, еще юношей, „навигацкому“ искусству въ Голландіи Вас. Вас. Головинъ. Впоследствии онъ жилъ въ деревнѣ, и здѣсь оставилъ свой помѣщичій бытъ курьезными обрядностями въ чисто-русскомъ складѣ, въ стилѣ „Домостроя“. У него было заведено, чтобы къ нему ежедневно являлись съ докладомъ всѣ деревенскія власти; каждый разъ ихъ впускала горничная съ обрядовымъ причитаньемъ: „входите, смотрите тихо, смирно, бережно и опасно, съ чистотою и молитвою, съ докладами и за приказами къ барину нашему; къ государю; кланяйтесь низко его боярской милости и помните-жь—смотрите наврѣпко!“ Начинались чинныя донесенія дворецкаго, ключника, выборнаго и старосты. Вотъ, напримѣръ, докладъ выборнаго: „во всю ночь, государь нашъ, вокругъ вашего боярскаго дому ходили, въ колотушки стучали, въ трещотки трещали, въ ясакъ звенѣли и въ доску гремѣли. Въ рожокъ, сударь, по очереди трубили и всѣ четверо между собою громко говорили. Нощныя птицы не летали, страннымъ голосомъ не кричали, молодыхъ господъ не пугали и барской замазки не клевали, на крышѣ не садились и на чердакѣ не водились“. Староста оканчивалъ свой докладъ такъ: „во всѣхъ четырехъ деревняхъ, милостію Божіею, все состоитъ благополучно и здорово: крестьяне ваши господскіе богатѣютъ, скотина ихъ здоровѣетъ, четвероногія животныя пасутся, домашнія птицы несутся, на землѣ трясенія не слышали и небснаго явленія не видали“ и т. д.¹⁾

¹⁾ Родословная Головинныхъ, собранная П. Казанскимъ, М. 1847; Пекарскій, Наука и литер., I, 142—143.

Въ деревенскомъ быту старій обычай хранился иногда одинаково обѣими сторонами. Помѣщики-домосѣды хорошо знали и сами исполняли требованія старины въ обычаяхъ благочестія, въ повѣрьяхъ и суевѣрьяхъ, увеселеніяхъ, въ вѣрѣ въ колдовство, и т. д. Въ быту хозяйственномъ помѣщики знали и уважали крестьянскій внутренній распорядокъ и обычай ¹⁾).

Напомнимъ еще классическую картину стараго барскаго быта въ „Семейной Хроникѣ“ С. Т. Авсакова. Герой хроники, въ которомъ еще слышится дикость временъ, когда русскими боярами и помѣщиками дѣлались настоящіе татары, князья и мурзы, есть такой же вѣрный послѣдователь „Домостроя“, какіе бывали вѣроятно въ ХVІ вѣкѣ, и съ этой стороны онъ ни мало не „отрывался“ отъ народа. Онъ не далеко ушелъ отъ народа и по образованію. „При общемъ невѣжествѣ тогдашнихъ помѣщиковъ, и Багровъ не получилъ никакого образованія, русскую грамоту зналъ плохо; но служба въ полку, еще до офицерскаго чина выучился онъ первымъ правиламъ ариѳметики и выкладѣ на счетахъ, о чемъ любилъ говорить даже въ старости“. Это была уже вторая половина ХVІІІ-го вѣка! Онъ и его крестьяне совершенно понимали другъ друга, и по-своему были довольны Домостроевскимъ образомъ правленія,—по его смерти „никогда безъ слезъ о немъ не вспоминали“: домъ онъ держалъ строго; онъ былъ очень добрый человекъ, по свидѣтельству автора, но при случаѣ „спуску не давалъ“, свою жену уже старухой таскалъ за волосы, дочерей бивалъ, его неудовольствія боялись какъ огня... Двоюродная сестра Багрова, очень богатая молодая помѣщица, „страстно любила пѣсни, качели, хороводы и всякія (т.-е. деревенскія) игрища“, „всякаго рода русскихъ пѣсенъ она знала безчисленное множество“. Нѣкоторые изъ помѣщиковъ уфимскаго захолустья въ деревенской жизни совсѣмъ дичали и, по выраженію автора, „обашкиривались“, —слѣдовательно „отрывались отъ народности“ совсѣмъ въ противоположную сторону, чѣмъ обыкновенно. Легко было бы размножить эти примѣры изъ бытовой жизни тѣхъ временъ. Напомнимъ еще образчики этого быта въ разказахъ о старомъ фельдмаршалѣ Каменскомъ ²⁾), или въ недавно найденныхъ и изданныхъ запискахъ Толубѣва, который въ концѣ ХVІІІ вѣка росъ, въ Орловской губерніи, среди полного господства патріархальной народной старины, сохранившейся вокругъ него въ полномъ цвѣтѣ. Самыя записки—интереснѣйшій этнографическій матеріалъ ³⁾).

¹⁾ В. Семеновскій, Крестьяне въ царствованіе Екатерины II. Спб. 1881, въ разныхъ мѣстахъ, объ отношеніяхъ между помѣщиками и крестьянами.

²⁾ Е. Ковалевскій, „Гр. Блудовъ“. Спб. 1866.

³⁾ Записки Нагаты Ивановича Толубѣва (1730—1809). Рукопись изъ собранія А. А. Титова. Спб. 1889.

Образованіе дворянства въ прошломъ вѣкъ вообще было очень слабое; большинство были „люди неграмматикальные и нивакихъ исторій отъ роду не читывавшіе“, какъ рекомендуетъ себя одинъ защитникъ крѣпостного права въ концѣ прошлаго столѣтія. Новые обычаи, конечно, заходили и въ эту среду; но въ ней легко сберегались и старинные нравы. Эта непосредственная связь съ народностью сохранялась и въ тѣхъ людяхъ этого круга, которые уже были „грамматикальны“ и дѣйствовали въ литературѣ. Читая старыхъ писателей, касавшихся народнаго быта не съ литературно-школьной точки зрѣнія, можно видѣть, что этотъ бытъ, его нравы и языкъ были имъ весьма достаточно извѣстны (напримѣръ, В. Майковъ, Аблесимовъ, Мих. Поповъ, Н. Львовъ и проч.).

Это непосредственное чувство народности и становилось безсознательнымъ противовѣсомъ псевдо-классицизму. Интересъ къ народу возбуждается въ то же время съ серьезной общественной точки зрѣнія, какъ въ извѣстномъ „Разсужденіи“ Ломоносова. Тредьяковскій, защищая тоническое стихосложеніе, считаетъ его наиболѣе свойственнымъ русской поэзіи, и доказательство находитъ въ народныхъ пѣсняхъ. Усердно, какъ и Ломоносовъ, перенося къ намъ псевдо-классическія правила и образцы, онъ въ то же время горячо вступаетъ за достоинство русской народной поэзіи, къ которой тогда многіе относились съ пренебреженіемъ. Тредьяковскій высказываетъ любопытное мнѣніе, что первыя народно-поэтическія произведенія принадлежали жрецамъ, и что складъ ихъ сохранился въ нашихъ народныхъ пѣсняхъ, между которыми есть очень древнія. „Народный составъ стиховъ есть подлинный списокъ съ богослужительскаго... Простонародное стихотворство, за подлостью ¹⁾ стихотворцевъ и матерій, отъ честныхъ ²⁾ и саномъ именитыхъ людей презираемо было всеконечно, такъ что и понынь суетно строптивые люди *замираютъ неосновательно*, ежели кто народную старинную пѣсню приведедъ токмо въ свидѣтельство на письмѣ“. Отвѣчая тѣмъ, кто говорить, что онъ взялъ новое стихотвореніе съ французскаго, онъ говорить: „поэзія нашего простаго народа къ сему меня довела. Даромъ, что слогъ ея весьма некрасный, отъ неискусства слагающихъ; но *сладчайшее, пріятнѣйшее и правильнѣйшее* разнообразныхъ ея стопъ, нежели тогда греческихъ и латинскихъ, *паденіе* подало мнѣ непогрѣшительное руководство“... Онъ взялъ названія изъ французской версификаціи, но— „самое дѣло у самой нашей природной наидревнѣйшей оныхъ простыхъ людей поэзіи“.

¹⁾ Въ тогдашнемъ смыслѣ: грубость, необразованность.

²⁾ Въ тогдашнемъ смыслѣ: людей высшаго сословія.

Въ самомъ разгарѣ псевдо-классицизма съ его античными героями, натянутыми формами, въ литературѣ продолжается эта наклонность къ „природной поэзіи“, къ простому народному содержанію. Когда нашъ псевдо-классицизмъ высокаго стиля вводитъ русскихъ историческихъ героевъ въ трагедію, пытается ввести русскую жизнь въ комедію, и т. д., популярная литература охотно останавливается на рыцарскомъ волшебномъ романѣ, восточной сказкѣ, шутливой повѣсти, которыя даютъ поводъ ввести въ книгу русскую баснословную старину, народную сказку, наконецъ, народную пѣсню. Еще нѣтъ прямого этнографическаго интереса или литературнаго нововведенія, но видимо чувствуется сила и красота народной поэзіи, затрогивающей непосредственное чувство, и возникаетъ желаніе ввести ее изъ круга любителей въ литературное обращеніе, наперекоръ школѣ. Нѣтъ яснаго представленія о старинѣ, котораго не давала и только-что начинавшаяся историческая наука, — но въ чудесныхъ повѣстахъ съ охотой выводятся сказочные и былинныя богатыри; старина восстанавливается при помощи фантазіи, и въ русскія темы прибавляются преданія, или клочки преданій и имена западно-славянскія, скандинавскія, литовскія, нѣмецкія, какія нашлись въ литературномъ обиходѣ.

Это направленіе обнаружилось очень рано. Новая образованность медленно одолевала старину и новая литература долго не могла установиться. Лишь около 1740 г. является первое стихотвореніе Ломоносова; въ 1755 основанъ Московскій университетъ; въ 1750-хъ годахъ начинается нѣсколько правильный русскій театръ; въ 1764 является первая комедія фонъ-Визина; въ 1770-хъ годахъ едва начинается Державинъ, и въ эти же годы является по своему времени замѣчательный пѣсенный сборникъ, гдѣ на ряду съ книжными пѣснями, какими увеселялась нарождавшаяся читающая публика, поставлены произведенія подлинной народной поэзіи.

Замѣчательнѣйшимъ работникомъ въ этой области былъ трудолюбивый, довольно талантливый писатель, Михайло Дмитріевичъ Чулковъ (ум. 1793), московскій студентъ и сенатскій секретарь, рассказчикъ не безъ юмора и видимо большой любитель народной старины и поэзіи. Труды его даютъ образчикъ тогдашнихъ этнографическихъ понятій.

Въ 1770—74 годахъ Чулковъ издалъ въ Петербургѣ „Собраніе разныхъ пѣсенъ“, въ четырехъ частяхъ. Второе изданіе этихъ пѣсенъ явилось, уже безъ имени Чулкова, въ шести частяхъ ¹⁾,—это такъ

¹⁾ „Новое и полное собраніе російскихъ пѣсенъ, содержащее въ себѣ Пѣсни Любовныя, Пастушескія, Шутливыя, Простонародныя, Хоральныя, Свадебныя, Свя-

называвшійся „Новиковскій пѣсенникъ“. Сборникъ Чулкова заключалъ въ себѣ два разряда произведеній: во-первыхъ, пѣсни или романсы различныхъ тогдашнихъ авторовъ, по преимуществу или исключительно любовные, и во-вторыхъ, множество пѣсенъ чисто народныхъ (историческихъ и другихъ), которыя у него впервые были занесены въ печать въ такомъ изобиліи и въ подлинной народной одеждѣ. Книга, очевидно, пришлась по вкусу читателей: это доказываетъ скорымъ повтореніемъ изданій и появленіемъ другихъ сборниковъ, подобнымъ образомъ соединявшихъ пѣсни сочиненныя и народныя ¹⁾). Впослѣдствіи, такого рода пѣсенники размножаются, и постоянно видоизмѣняясь, доходятъ до нашего времени въ произведеніяхъ—по преимуществу московской книжной торговли, имѣющей главное гнѣздо на Никольской.

Въ 1780 г. Чулковъ началъ издавать свои „Сказки“ ²⁾. Въ „извѣстіи“, т.-е. въ предисловіи къ книгѣ, онъ замѣчаетъ, что „издать въ свѣтъ книгу, содержащую въ себѣ отчасти повѣствованія, которыя рассказываются въ *каждой харчевнѣ*, кажется, былъ бы трудъ довольно суетный“, но онъ уповалъ найти свое оправданіе въ слѣдующемъ соображеніи:

„Романы и сказки,—говоритъ онъ,—были во всѣ времена у всѣхъ народовъ; они оставили намъ вѣрнѣйшія начертанія древнихъ каждая страны народовъ и обыкновеній, и удостоились потому преданія на письмѣ, а въ новѣйшія времена, у просвѣщеннѣйшихъ народовъ, почтили оныхъ собраніемъ и изданіемъ въ печать. Помѣщенные въ Парижской Всеобщей Вивлюоніи Романовъ повѣсти о Рыцаряхъ, не что иное какъ сказки богатырскія; и французская Bibliothèque Bleue содержитъ таковыя же сказки, каковыя у насъ рассказываются въ простомъ народѣ. Съ 1778 г. въ Берлинѣ также издается Вивлюоніека Романовъ, содержащая между прочими два отдѣленія: Романовъ древнихъ нѣмецкихъ Рыцарей, и Романовъ народныхъ. Россія имѣетъ также свои, но оныя хранятся *только въ памяти*; я заключилъ подражать издателямъ, прежде меня начавшимъ подобныя изданія, и издаю сіи сказки Рускія, съ намѣреніемъ сохранить сего

точныя, съ присовокупленіемъ Пѣсенъ изъ разныхъ Россійскихъ Оперъ и Комедій“. Въ Москвѣ, въ университетской типографіи у Н. Новикова, 1780—81. Шесть частей. Затѣмъ „Собраніе разныхъ Пѣсенъ“ вышло „вторымъ тисненіемъ“ въ Москвѣ же, въ типографіи при театрѣ у Хр. Клаудія, въ 1788.

¹⁾ Двѣ части, прибавленныя въ „Новиковскомъ пѣсенникѣ“, состоятъ только изъ пѣсенъ сочиненныхъ.

²⁾ „Рускія сказки, содержащія древнѣйшія повѣствованія о славныхъ богатыряхъ, сказки народныя и прочія оставшіяся чрезъ пересказываніе въ памяти приключенія“. Въ Москвѣ, въ университетской типографіи у Н. Новикова, 1780—83, 10 ч. Третье изданіе, сокращенное, въ 6-ти частяхъ. М. 1820.

рода наши *древности* и поощрить людей, имѣющихъ время, собрать все оныхъ множество, чтобъ составить Вивлиоіку Рускихъ Романовъ.

„Должно думать, что сіи приключенія Богатырей Рускихъ имѣютъ въ себѣ отчасти дѣла бывшія, и есть ли совсѣмъ не вѣрить онымъ, то надлежитъ сумнѣваться и *во всей древней исторіи*, коя по большей части основана на оставшихся въ памяти Сказкахъ; впрочемъ, читатели есть ли похотятъ, могутъ различить истинну отъ баснословія, свойственнаго древнему обыменовенію въ повѣствованіяхъ, въ чемъ, однако, никто еще не успѣлъ.

„Наконецъ, во удовольствіе любителямъ Сказокъ включилъ я вѣдѣсь таковыя, которыхъ *никто* еще не *слыхивалъ*, и которыя вышли въ свѣтъ во первыхъ (т.-е. впервые) въ сей книгѣ“.

Это извѣстіе производитъ въ читателѣ нѣкоторое недоумѣніе; съ одной стороны, издатель обѣщаетъ повѣствованія, рассказываемыя „въ каждой харчевнѣ“, заключающія наши „древности“, хранящіяся „только въ памяти“,—но рядомъ ссылается на *Bibliothèque Bleue*, на рыцарскіе романы, и „въ удовольствіе любителямъ“ обѣщаетъ и такія сказки, которыхъ „никто еще не слыхивалъ“. Очевидно, здѣсь нечего искать подлинной народной старины. Этнографическаго пониманія не было; подлинная древность была почти неизвѣстна; за старинной признавалось значеніе только баснословное, и думали, что новѣйшій писатель можетъ смѣло пользоваться ею какъ матеріаломъ, можетъ исправлять и дополнять этотъ матеріалъ по своему усмотрѣнію. Чулковъ не усумнился, для сказочной реставраціи русской древности, взять себѣ въ образецъ „Синюю бібліотеку“ и берлинское собраніе рыцарскихъ романовъ.

„Сказки“ Чулкова именно и наполнены чудесными разсказами въ этомъ вкусѣ. Богатыри не даромъ названы въ заглавіи и играютъ не малую роль въ его повѣствованіяхъ, отчасти вѣрную съ народной поэзіей, но гораздо больше произвольную. Въ началѣ книги Чулковъ посвятилъ имъ шутивное вступленіе, изъ котораго видно, впрочемъ, что онъ хорошо знаетъ ихъ героическія походы.

„Мы опоздали выучиться грамотѣ,—говоритъ онъ,—и чрезъ то лишились свѣдѣнія о славнѣйшихъ нашихъ Рускихъ Ирояхъ въ древности, которыхъ довольному числу надлежитъ быть въ народѣ, прославившемся въ свѣтъ своею храбростію, и котораго науки состояли въ одномъ только оружіи и завоеваніяхъ. Насильство времени истребило оныя изъ памяти, такъ что не осталось намъ извѣстія, какъ только со времени великаго князя Владиміра Святославича Кіевскаго и всея Россіи“. Этотъ монархъ прославился своими побѣдами, великолѣпіемъ двора, къ которому привлекалъ людей ученыхъ и могучихъ богатырей. „Войски его учинились непообъдимы,

и войны ужасны; понеже сражались и служили у него славнѣйшіе богатыри: Добрыня Никитичъ, Алеша Поповичъ, Чурило Пленковичъ, Илья Муромецъ и дворянинъ Заалешенинъ... Но и удивительно ли государю премудрому и имѣющему таковыхъ богатырей, покорять народовъ? Ибо въ старину сражались не по нынѣшнему: довольно тогда было одной силы и бодрости. Придетъ ли войско непріятелей отъ двухъ до трехъ сотъ тысячъ: всякій монархъ, не имѣющій большаго числа рати, долженъ откупаться златомъ, либо покоряться; но не такъ со Владиміромъ! Онъ посылаетъ лишь одного богатыря, и горе, горе наступающимъ!“ Авторъ приводитъ эпизодъ изъ *подлинной* сказки о Добрынѣ Никитичѣ, выѣзжающемъ въ поле на богатырскомъ конѣ, съ однимъ только слугою:... „богатырь гонитъ силу поганую—гдѣ конемъ вернетъ, тамо улица; онъ копьемъ махнетъ, нѣту тысячи; а мечемъ хватитъ, гибнетъ тьма людей“.—„Посему нѣтъ чуднаго, если изъ таковыхъ великихъ воинствъ, наступавшихъ на Россію, не спасалось ни души живой. Подобной несчетной силы, съ каковой въ старину цари персидскіе наступали на Грецію, мало бы было, чтобъ управиться съ нею одному богатырю. Не нужно-бъ было храбрымъ грекамъ терять жизнь свою, защищая Термопилы: довольно бы послать Чурилу Пленковича, и онъ, заслоня сей узкій путь щитомъ своимъ, поморилъ бы всѣхъ съ досады; ибо сломить его было дѣло невозможное. Жаль, что Александръ убрался съ свѣта заблаговременно; не нужно бы ему опиваться вина до смерти: было бы и безъ того кому унять его проказы; послать бы лишь Илью Муромца: онъ на конѣ своемъ поспѣлъ бы дней въ пять въ Индію, догналъ бы его и за Гангесомъ, и второча бы его къ сѣдлу своему, какъ славнаго Соловья Разбойника, привезъ въ славный Кіевъ градъ, гдѣ заставили-бъ его сухари толочь“, и т. д.

Первыя повѣсти рассказываютъ о князѣ Владимірѣ, Добрынѣ Никитичѣ, Тугаринѣ Змѣевичѣ, но онѣ уже пересыпаны вымышленными приключеніями; затѣмъ героями сказокъ являются и Алеша Поповичъ, и Василій Богуслаевичъ, и Дворянинъ Заалешенинъ, и Баба-Яга, но рядомъ богатырь Сидонъ, Баламиръ, Гассанъ, волшебница Добрада, и даже польскій волшебникъ Твердовскій и пр., и большею частью плетутся совсѣмъ фантастическія исторіи въ духѣ волшебныхъ рыцарскихъ романовъ, безъ мѣста и времени. Мнимый колоритъ русской древности достигается тѣмъ, что въ сказкахъ явится иногда: скисская царевна, обрскій или варяжскій князь, царица Динара, капище Лады; описывается заря такой картиной: „тьма удалялась и скрывала съ собою звѣзды, убѣгающія пришествія бога Свѣтовида“, и т. п. Но Чулковъ зналъ сказочные и былинныя факты богатырской исторіи, которые иногда и приводятся

въ его книгѣ. Между прочимъ, сообщаетъ онъ, что у него самого было собраніе богатырскихъ пѣсенъ ¹⁾, и помѣщаетъ ноты одного былиннаго напѣва. Затѣмъ, среди фантастическихъ исторій являются „сказки народныя“, на примѣръ, шуточный пересказъ, повидимому, подлинныхъ народныхъ сказокъ о воровскихъ продѣлкахъ ²⁾, и нѣсколько, правоописательныхъ повѣстей собственнаго сочиненія ³⁾.

Въ 1782, Чулковъ издалъ „Словарь русскихъ суевѣрій“, который явился потомъ вторымъ дополненнымъ изданіемъ ⁴⁾. Книга эта замѣчательна какъ первая чисто этнографическая попытка своего времени. Правда, между „русскими“ суевѣріями большую долю книги занимаютъ вѣрованія и обычаи всякихъ русскихъ инородцевъ,— татаръ, мордвы, чувашъ, камчадаловъ и пр., о какихъ авторъ могъ найти свѣдѣнія въ тогдашней литературѣ путешествій; правда также, что русская мнѣологія излагается съ разными прикрасами, какія считались въ то время позволительными въ изображеніяхъ „древности“ ⁵⁾, но въ то же время собрано и аккуратно описано много дѣйствительныхъ народныхъ обычаевъ. Цѣну этихъ описаній достаточно указать тѣмъ, что многими указаніями изъ „Абевеги“ нашель возможнымъ пользоваться ученый нашего времени, Аванасевъ, въ своихъ этнографическихъ работахъ, и особенно въ книгѣ: „Поэтическая возрѣнія Славянъ на природу“.

Если обратить вниманіе на то, что во всѣхъ перечисленныхъ трудахъ русской писатель былъ почти совсѣмъ лишенъ руководства, какое въ другихъ отношеніяхъ доставляла тогда литература европейская, и напротивъ послѣдняя еще сбивала съ толку „Синими библиотеками“ и рыцарскими романами, то нельзя не одѣпить этихъ попытокъ, гдѣ среди ошибочныхъ литературныхъ понятій вѣка просвѣчиваетъ стремленіе къ изученію народности, и сочувствіе къ народной поэзіи.

Не будемъ исчислять другихъ трудовъ Чулкова и подобныхъ имъ

¹⁾ „Къ крайнему моему сожалѣнію, въ пожарный случай, погибло у меня собраніе древнихъ богатырскихъ пѣсенъ, между коими и о семь подвигѣ Добрыни Никитича“ (борьбѣ съ Тугаринимъ). „Голосъ оныя и отрывки словъ остались еще въ моей памяти, кои и прилагаю здѣсь“. Сказки, 1-е изд. I, стр. 138—139.

²⁾ На примѣръ, о ворѣ Тимошкѣ, о Цыганѣ, о племянникѣ Оомкѣ.

³⁾ О новомедомѣ дворянинѣ, Два брата соперники, Досадное пробужденіе.!

⁴⁾ „Абевега русскихъ суевѣрій, идолопоклонническихъ жертвоприношеній, свадебныхъ простонародныхъ обрядовъ, колдовства, шеманства и проч., сочиненная М. Ч.“ Москва, 1786.

⁵⁾ Ср. объ этомъ негодующія объясненія Сахарова, въ Сказ. р. народа, т. I, гдѣ собраны примѣры этихъ прикрасъ, иногда дѣйствительно нелѣпыхъ, идущихъ еще съ XVII вѣка, съ Иннокентія Гизела и Стрыйковскаго.

сочиненій ¹⁾ и уважемъ еще другую книгу того времени, весьма замѣчательную по созвательному интересу въ народной поэзи. Это—очень извѣстное у любителей „Собраніе русскихъ народныхъ пѣсенъ съ ихъ голосами, положенныхъ на музыку Иваномъ Прачемъ“ ²⁾. Въ рукописномъ сборникѣ, извѣстномъ подъ именемъ Кирши Давилова, уже прибавлены были ноты для напѣва. Чулковъ упоминаетъ о своей сгорѣвшей рукописи съ былинными напѣвами. Прачь въ первый разъ издалъ значительный сборникъ вновь записанныхъ напѣвовъ лирическихъ пѣсенъ: такъ-называемыхъ протяжныхъ и скорыхъ, плясовыхъ, сцадебныхъ, хороводныхъ, святочныхъ, наконецъ, малороссійскихъ. Въ послѣдующихъ изданіяхъ собраніе значительно размножено (до 150 пѣсенъ). Изданіе Прача, по отзыву знающихъ людей, есть весьма цѣнный опытъ изученія народной музыки. Прачь приступалъ къ дѣлу съ полнымъ пониманіемъ его важности: предисловіе (авторомъ котораго называютъ Н. Львова) посвящено опредѣленію музыкальнаго характера нашей народной поэзи, возможныхъ источниковъ нашей пѣсенной музыки (предполагаются источники греческіе); авторъ умѣетъ цѣнить старину, въ которой находитъ иногда и лучшіе музыкальные мотивы; особое „раченіе“ было употреблено на то, чтобы съ возможной точностью записать народную мелодію. „Сохранивъ, такимъ образомъ, все свойство народнаго россійскаго пѣнія, собраніе сіе имѣетъ и все достоинство подлинника: простота и цѣлость онаго ни украшеніемъ музыкальнымъ, ни поправками иногда странной мелодіи нигдѣ не нарушены“. Это понятіе о неприкосновенности изучаемаго народнаго матеріала замѣчательно для конца XVIII-го вѣка. Прачу представлялось и широкое научно-музыкальное значеніе его изученій. „Можетъ быть,—говоритъ онъ,—не бесполезно будетъ сіе собраніе и для самой философіи“... „Можетъ, сіе новымъ какимъ-либо лучемъ просвѣтить музыкальный міръ? Большимъ талантамъ довольно. малой причины для произведенія чудесъ, и упавшая на Невтона груша послужила

¹⁾ Того же Чулкова: „Персмѣшникъ, или Славянскія сказки“, 5 частей. Москва. 1788—85; 3-е изд. М. 1789.

— М. Попова: Славенскія древности, 1770—71; 2-е изданіе: Старинныя диковинки или приключенія славенскихъ князей, 1778; 3-е изд. 1793. Объ его мнѣніяхъ упоминаемъ дальше.

— Вечерніе часы, или древнія сказки Славянъ древянскихъ. М. 1787—88, 6 частей.

— Повѣствователь русскихъ сказокъ, и Продолженіе. М. 1787. 2 ч.

— Бабушкины сказки, Сергѣя Друковцова, М. 1778 (никакихъ сказокъ нѣтъ: только бессмысленно разсказанные анекдоты). И т. д.

²⁾ Спб. 1790. Второе изданіе, въ двухъ частяхъ, вышло въ 1806; третье въ 1815. 4°.

къ открытію великой истинны“¹⁾... Указывая богатство и разнообразіе мелодическаго содержанія русскихъ пѣсень, Прачъ еще въ первомъ изданіи ожидалъ, что оно доставитъ богатый источникъ для музыкальныхъ талантовъ (даже иностранныхъ) и для сочинителей оперъ. Въ позднѣйшемъ изданіи онъ уже съ большей увѣренностью думаетъ, что композиторы, „воспользуясь не только мотивами, но и самою странностію (т.-е. оригинальностью) нѣкоторыхъ русскихъ пѣсень, посредствомъ изящнаго своего искусства, доставятъ слуху новыя пріятности и любителямъ музыки новыя наслажденія, чему уже съ большимъ успѣхомъ подали примѣры господа Сарти, Мартини, Паскевичъ, Тицъ, Жарновики, Пальтау, Карауловъ (amateur) и другіе“²⁾.

Въ изданіи Прача, такимъ образомъ, является уже серьезная, теоретически обдуманная работа надъ русскими пѣснями.

Съ семидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, одновременно съ первыми изданіями Чулкова, являются первыя „народныя“ оперы: „Анюта“ Михайлы Попова (поставленная въ первый разъ въ 1772 г., съ музыкой Омина); „Мельпизъ“, Аблесимова (поставленный въ 1779 г.); „Перерожденіе“ и „Гостинный дворъ“, Михайлы Матинскаго (1777, 1787), и др. Михайло Поповъ, одинъ изъ учениковъ знаменитаго актера Волкова, основателя русскаго театра, вывезенный имъ изъ Ярославля и учившійся въ шляхетскомъ корпусѣ, послѣ актеръ, затѣмъ секретарь при комиссіи о сочиненіи уложенія, человѣкъ изъ народа, извѣстенъ былъ своими пѣснями и отличался вообще направленіемъ „народнымъ“—въ тогдашнемъ стилѣ. Матинскій былъ крѣпостной графа Ягужинскаго, получившій на счетъ своего помѣщика основательное образованіе въ Россіи и потомъ въ Италіи. Біографія его неизвѣстна; но это, видимо, былъ человѣкъ даровитый; онъ много писалъ и переводилъ по научнымъ и литературнымъ предметамъ, и сочинялъ комедіи и оперы, въ послѣднихъ и текстъ, и музыку. Къ сожалѣнію, всѣ эти пьесы столь основательно забыты, что мы не можемъ сказать о томъ, въ какой мѣрѣ эти „народныя“ оперы имѣли народную пѣсенную подкладку; но съ литературной стороны, сочиненія Мих. Попова, Аблесимова и пр., хотя второстепенныя по достоинству, имѣютъ значеніе какъ попытки распространять въ литературѣ народную стихію недурными изображеніями народнаго быта. Современныя свидѣтельства единогласно говорятъ, что эти народныя пьесы и оперы вообще имѣли очень большой успѣхъ¹⁾.

¹⁾ Пред. къ изданію 1790 г., стр. XI.

²⁾ Изд. 1815 г., предисловіе, стр. V—VI.

³⁾ Желаніе усвоить русскія народныя черты драмѣ и въ частности оперѣ про-

Народность интересовала и съ другихъ стороноѣ; начинаютъ обращать вниманіе и описывать народныя обычаи, старину, собирать преданія, пословицы и т. п. ¹⁾ Правда, псевдо-классическій взглядъ, пренебрегавшій простою народностью по ея грубости, нерѣдко ее уродовалъ, по-своему прикрашивая ее (какъ, напр., Богдановичъ нелѣпо прикрашивалъ пословицы); тѣмъ не менѣе народная стихія становилась болѣе и болѣе привычною въ книгѣ; нѣкоторые писатели (какъ Фонъ-Визинъ, Новиковъ, Радищевъ, Чулковъ, М. Поповъ, Н. Львовъ, В. Майковъ и др.) еще въ концѣ XVIII-го вѣка умѣли хорошо передавать черты быта, народный языкъ. Все это прокладывало путь для дальнѣйшаго и болѣе сильнаго вліянія народной стихіи въ языкѣ и въ содержаніи литературы.

Впослѣдствіи, когда съ новыми успѣхами литературы требованія возросли и началась критическая этнографія, на эти попытки XVIII в. стали вообще смотрѣть съ пренебреженіемъ, вина ихъ за искаженіе или непониманіе народности и т. п. Такъ, въ особенности строго обличалъ ихъ Сахаровъ, отзывы котораго одно время были обычнымъ понятіемъ объ „этнографѣхъ“ прошлаго столѣтія. Успѣхи литературы осудили, конечно, старую манеру относиться къ народной поэзи; но тѣмъ не менѣе нападки на писателей XVIII-го вѣка были преувеличены—на нихъ надобно оыло смотрѣть иначе. Нѣкоторые изъ нихъ совершали, безъ сомнѣнія, великія нелѣпости съ нашей точки зрѣнія, какъ напр., Поповъ въ своемъ „Описаніи славянскаго баснословія“ (1768), Чулковъ, Григорій Глинеа въ „Древней религіи Славянъ“ (1801), Кайсаровъ (1807) и пр.; но ихъ не зачѣмъ причислять къ ученымъ изслѣдователямъ, какъ они себя сами не причисляли,—кромѣ развѣ Кайсарова ²⁾. Они не претендовали на ученое изложеніе, даже не подозрѣвали, что подобныя предметы должны быть трактованы только подѣ условіемъ строгой критики, и думали напротивъ, что эта древность, о которой осталось такъ мало свѣдѣній, гораздо меньше входитъ въ область исторіи, чѣмъ поэзи. Тогдашняя историческая наука,—не у насъ только, но

является и гораздо раньше: есть извѣстіе о „комедіи на музыкѣ“ Колычева, поставленной въ 1740 годахъ, которая взята была авторомъ, „изъ древнихъ русскихъ сказокъ“; при Елизаветѣ въ головинскомъ „вольномъ театрѣ“ дана была комическая опера „въ русскихъ нравахъ“: „Танюша или счастливая встрѣча“, текстъ которой былъ написать Дмитревскимъ, а музыка Ѳ. Г. Волковимъ.

¹⁾ Упомянемъ, напр., замѣчательный сборникъ пословицъ прошлаго вѣка, изданный (въ „Архивѣ“ Калачова) г. Буслаевимъ.

²⁾ Сочиненіе Кайсарова вышло сначала по-нѣмецки: Versuch einer slavischen Mythologie. Göttingen. 1804, потомъ по-русски, 1807. Объ источникахъ его мнѣологіи ср. Срезневскаго, „Чешскія глоссы въ Mater Verborum“, Сборн. русск. отдѣл. А. Н., т. XIX, стр. 120—121.

и на западѣ,—еще не умѣла понимать древности, едва начинала придавать значеніе произведеніямъ народной поэзіи, и если прямые свидѣтельства были скудны, научныя изысканія незрѣлы, то писателямъ популярнымъ, которыхъ привлекала старина, по тогдашнимъ понятіямъ оставалось дополнять воображеніемъ то, чего не давала исторія. Такъ они и дѣлали, къ этого не скрывали. Поповъ прямо заявляетъ о своемъ трудѣ: „Сіе сочиненіе сдѣлано больше для *уверсенія читателей*, нежели для историческихъ справокъ, и больше для *стихотворцевъ*, нежели для историковъ“. Дѣйствительно, Херасковъ внесъ его описаніе древнихъ божествъ въ свою эпическую поэму „Владиміръ“, а послѣ Глинка вносилъ въ мифологію вычитанное у Хераскова и „морского царя“ описывалъ по Ломоносовской „Петриадѣ“. Во введеніи къ своей книгѣ Глинка также прямо заявляетъ: „Описывая произведенія *фантазіи* или *мечтательности* (такъ онъ считалъ древнюю мифологію), я думаю, что не погрѣшу, если при встрѣчающихся пустотахъ и недостаткахъ въ ея произведеніяхъ буду дополнять *собственною* подѣ *древнюю* *статью фантазіею*... Я переселяюсь въ пространныя разнообразныя области фантазіи древнихъ Славянъ“—говоритъ онъ, и собирается дополнить недостающее „по законамъ соображенія или мечтанія“. Онъ не стѣснялся въ дополненіяхъ, и между прочимъ помѣстилъ въ книгѣ гимнъ Перуну, отсутствующій у историковъ и сочиненный имъ самимъ „подѣ *древнюю* *статью*“:

„Бога велики, но страшень Перунъ;
Ужась наводитъ тяжела стопа“, и т. д.

Извѣстно, что одинъ не очень хитрый поддѣльщикъ тѣхъ временъ сочинилъ на мнимо-старомъ языкѣ гимнъ Баяна, найденный въ „свиткѣ перваго вѣка“, вмѣстѣ съ нѣсколькими „произреченіями пятаго столѣтія новгородскихъ жрецовъ“: были люди, которые не рѣшались отвергать его подлинности; Державинъ переложилъ этотъ гимнъ въ новѣйшіе стихи ¹⁾. Волхвъ „Злогоръ“, упоминаемый въ гимнѣ, послужилъ героемъ для стихотворенія Державина (1813). Державинъ не одинъ разъ бралъ темы изъ русской старины—какъ

¹⁾ Въ первомъ вѣкѣ писали въ такомъ стилѣ (по переводу Державина):

„Не умолчи, Боянъ, снова воспой:
О комъ пѣлъ благо тому.
Суда Велесова не убѣжать,
Славы Славяновъ не умалить.
Мечи Бояновы на языкѣ остались;
Память Злогора волхвы поглотили.
Одну всиоминаніе, Склеу пѣснь.
Златымъ пескомъ тризны посыплемъ“.

Ср. Соч. Державина, въ изданіи Грота, III, 137.

онъ ее понималъ, и любопытно (и совершенно послѣдовательно), что его привлекали не подлинныя черты ея, а именно тѣ извращенія, какія производились этнографами „для увеселенія читателей“¹⁾.

Далѣе. Сахаровъ по обыкновенію свисока говоритъ о сборникѣ Чулкова, и винить его, что онъ издавалъ пѣсни съ готовыхъ списковъ, а не „самъ собиралъ ихъ, не подслушивалъ ихъ въ селеніяхъ“ и пр. Въ предисловіи къ пѣснямъ Чулковъ жалуется, что имѣлъ плохія рукописи, — „такъ что индѣ ни стиха, ни *риомы*, ниже мысли узнать мнѣ было можно“; если говорится о *риоматъ*, значитъ, рѣчь шла о пѣсняхъ литературныхъ, бывшихъ въ обращеніи и которыя издатель не всѣ бралъ съ печати. Какъ именно добывалъ онъ народныя пѣсни, онъ не говоритъ: весьма возможно, что онъ воспользовался ходившими по рукамъ сборниками; возможно также, что немало ихъ онъ зналъ и самъ изъ живой народной пѣсни.

Какъ бы ни было, хотя бы Чулковъ и печаталъ пѣсни съ готовыхъ списковъ, мы имѣли бы любопытный фактъ, что интересъ къ народности былъ такъ уже распространенъ къ 70-мъ годамъ прошлаго вѣка, что издатель имѣлъ въ распоряженіи массу пѣсенъ, записанныхъ любителями (тексты Чулкова нерѣдко замѣчательны). Почти половина сборника Чулкова занята пѣснями народными (по счету Сахарова, изъ 800 всѣхъ пѣсенъ—336 народныхъ; онѣ поставлены обыкновенно особо). Сахаровъ былъ болѣе справедливъ къ Чулкову, когда говорилъ, что „предпріятіе его было самое значительное: онъ первый осмѣлился къ новымъ пѣснямъ тогдашнихъ *знаменитыхъ писателей* присоединить и старыя народныя“. Главной цѣлью Чулкова было дать книгу для любителей пѣсни, какъ увеселенія; народныя пѣсни уже и раньше служили этой цѣли въ извѣстныхъ кругахъ грамотнаго общества, но Чулковъ желалъ распространить ихъ еще болѣе и его большая литературная заслуга состоитъ въ томъ, что онъ не усумнился поставить ихъ рядомъ съ твореніями „знаменитыхъ писателей“—псевдо-классиковъ, пренебрегавшихъ народными пѣснями, и впервые издалъ много, иногда прекрасныхъ, текстовъ²⁾.

¹⁾ Объ его псевдо-классическомъ взглядѣ на русскую народную поэзію, ср. Сочиненія, III, 92 и др.

²⁾ Чулковъ послужилъ отчасти и г. Безсонову (въ изданіи „Пѣсенъ“ Кирѣвскаго); Безсоновъ справедливо защищаетъ его отъ нападокъ Сахарова, который самъ производилъ надъ памятниками народной поэзіи гораздо худшія искаженія, нежели Чулковъ. См. „Пѣсни“ Кир., вып. 5, стр. III—XIII, CXXI—CXXIII и др.

Въ этихъ и подобныхъ начаткахъ этнографическаго изученія народности, наши любители прошлаго вѣка руководились только собственнымъ инстинктомъ — т.-е. тѣмъ національно-народнымъ чувствомъ, въ недостатокъ котораго обыкновенно упрекаютъ литературу XVIII-го столѣтія. Историческое мѣсто этихъ попытокъ въ развитіи литературной народности опредѣляется тѣмъ, что онѣ въ разгаръ псевдо-классицизма идутъ (хотя безъ явнаго протеста) противъ него, примыкая къ той народно-поэтической струѣ, которая продолжала жить въ народѣ и въ самомъ „обществѣ“ путемъ непосредственнаго бытового преданія, — и вводя наконецъ въ печать тотъ народно-поэтический запасъ, который хранился въ памяти и въ записяхъ любителей.

Этихъ записей извѣстно теперь довольно много отъ XVII в. ¹⁾, есть указанія и на XVI столѣтіе. Съ тѣхъ поръ идетъ непрерывавшееся рукописное преданіе до сборника Кирши Данилова, и до сборника былинь съ нотами, который былъ у самого Чулкова, и до тѣхъ рукописей, съ которыхъ онъ печаталъ свои пѣсни. Не переводилось и устное преданіе: сказочники (которыхъ держали бывало при московскомъ царскомъ дворѣ), пѣвцы былинь, духовныхъ стиховъ и пѣсенъ, дѣйствуютъ и по сіе время, а въ XVIII-мъ вѣкѣ повидимому занимались своимъ дѣломъ какъ настоящей профессіей и вовсе не въ одной простонародной средѣ ²⁾, — какъ „потѣшники“, описываемые Сахаровымъ, были повидимому прямыми продолжателями старинныхъ скомороховъ.

Это народно-поэтическое преданіе становилось теперь достояніемъ литературы.

Чтобы справедливѣе оцѣнить это обращеніе къ народности и съ нею къ бытовой старинѣ, должно вспомнить, что собственно историческая наука очень немного помогала этому движенію. Самой этой наукѣ старина представлялась чрезвычайно темною. Историки дошлѣщеровскіе или до-карамзинскіе блуждали въ разказахъ о скиноохъ, сарматахъ, мосохахъ и т. п., считая скиновъ и сарматовъ чуть не за чистыхъ русскихъ; о временахъ болѣе достовѣрной исторіи повторяли Нестора и, не менѣе того, Стрыйковскаго, и только рѣдкіе изъ нихъ имѣли смутное представленіе о той связи, которая — черезъ вѣка историческихъ перемѣнъ — соединяетъ далекую древ-

¹⁾ Ср. Л. Майкова, „О старинныхъ рукописныхъ сборникахъ народ. пѣсенъ и былинь“, въ Журн. М. Народн. Просв. 1880, ноябрь; „Богатырское слово въ спискѣ начала XVII вѣка, открытое Е. В. Барсовымъ“, въ „Запискахъ“ Акад. Н., томъ XI, приложенія, № 5. Слб. 1881.

²⁾ См. Ровинскаго, Русскія народн. картинки. Слб. 1881, V, 100 и слѣд.; ср. книгу А. Фаминцина: Скоморохи на Руси. Слб. 1889.

ность съ новой народностью. Нарождавшемуся историческому знанію приходилось уразумѣвать и разъяснять другимъ, еще менѣ свѣдущимъ, самыя элементарныя положенія и требованія научной критики, устанавливать основныя внѣшніе факты исторіи.

Возьмемъ два-три примѣра.

Татищевъ (онъ умеръ въ 1750, но книга его вышла только въ 1768—84 г.), приступая къ дѣлу, долженъ былъ посвятить длинное „предъизвѣщеніе“ объясненію первоначальныхъ понятій объ исторіи, объ ея научной и практической пользѣ, и защищаться тутъ-же отъ людей, которые, познакомившись съ его книгой въ рукописи, успѣли усмотрѣть, что онъ „православную вѣру и законъ опровергалъ“, что заставило его прибѣгнуть къ защитѣ новгородскаго митрополита Амвросія.

Въ главѣ „о идолослуженіи бывшемъ“, гдѣ можно бы было ожидать свѣдѣній о миѳологической старинѣ,—заботой Татищева, какъ и другихъ историковъ прошлаго вѣка, было только собрать всякія упоминанія о языческихъ божествахъ славянъ и русскихъ. Татищевъ и собираетъ ихъ изъ всякихъ источниковъ, старыхъ и новыхъ, какіе только могъ добыть. О западномъ славянствѣ онъ знаетъ извѣстія средневѣковыхъ латинскихъ лѣтописцевъ — Гельмольда, „Саксограмматика“; изъ новыхъ цитируются у него: Фабріусъ въ „Исторіи міра“, Кранцій въ „Вандаліи“, Германинъ Гедерихъ въ его „Лексиконахъ древностей и миѳологическомъ“, Арнкіель... Относительно собственно русскаго „идолослуженія“, Татищевъ полагалъ, что у русскихъ были тѣ же божества какъ у западныхъ славянъ, а „о которыхъ Несторъ описалъ, то всѣ суть званія сарматскія или варяжскія“; свѣдѣнія о русскомъ „идолослуженіи“ онъ беретъ изъ Нестора, изъ Стрыйковскаго ¹⁾, указываетъ на трудъ Дмитрія Ростовскаго ²⁾, наконецъ, замѣчаетъ: „въ Берлинѣ, памятую, напечатана была о сихъ книжка подъ именемъ *Московитише религійя*, токмо я ея нынѣ достать не могъ“; далѣе, рассказывается о идолахъ у скиѳовъ, и проч. Словомъ, дѣло шло только о томъ, чтобы, худо ли хорошо ли, собрать фактическія свѣдѣнія,—да и здѣсь были затрудненія, которыя трудно себѣ вообразить. Оказывается, что находились суевѣрные невѣжды, которые заподозрѣвали эти рассужденія о древнемъ „идолослуженіи“: „отъ такихъ безумныхъ,—говоритъ Татищевъ,—нужно предостерегаться, чтобъ объявленное мое о мерзости идолослуженія не приняли за то, что яко бы я оное съ почитаніемъ святыхъ мужей или иконъ равняю (1), на что кратко можно отвѣтствовать словами свя-

¹⁾ Въ книгѣ 4, гл. 4, изъ русскаго древняго лѣтописца сказуютъ“.

²⁾ Который, по его словамъ, пространно объ этомъ писалъ, но въ печати Татищевъ этого не видѣлъ.

таго Павла: кое соравненіе есть Христа съ Велиаромъ“¹⁾. Какъ будто въ самомъ дѣлѣ Татищевъ рекомендовалъ поклоненіе Перуну, Хорсу или Мокошу! Неудивительно, что въ началѣ главы объ „идолослуженіи“ находится философическій трактатъ объ идолопоклонствѣ вообще.

Но Татищевъ чувствовалъ, что есть связь древности съ новымъ обычаемъ, и въ концѣ перваго тома помѣстилъ особую статью „о чинахъ и суевѣріяхъ древнихъ“, т.-е. обычаяхъ, повѣрьяхъ и обрядахъ. Въ тѣ времена, какъ онъ писалъ свою книгу, мысль о томъ, что „чины“ должны входить въ исторію, какъ объясненіе событій, рѣдко кому приходила въ голову; и здѣсь опять Татищеву надо было давать общія объясненія. Правда, описаніе „чиновъ“ очень несовершенно²⁾; но любопытно, что историческая этнографія уже затрогивается въ этихъ первыхъ трудахъ прошлаго вѣка. Писатели популярныя дѣлали изъ этнографіи предметъ литературнаго „увеселенія“, но и они предчувствовали болѣе глубокое значеніе предмета, а серьезные историческіе писатели къ концу вѣка уже ясно видѣли всю пустоту произвольнаго раскрашиванія старины³⁾. Многія страницы въ книгѣ Болтина имѣютъ уже положительную цѣнность для историческаго изученія народности и приготавливаютъ къ научной критикѣ карамзинскаго періода.

¹⁾ Исторія Россійская, т. I, Спб. 1768, стр. 18—19.

²⁾ Рядомъ съ русскими, между прочимъ, описываются и „чины“ инородцевъ,— какъ послѣ въ „Абевегѣ“ Чулкова.

³⁾ Напримѣръ, Болтинъ пишетъ о „Досугахъ“ Михайлы Попова (Спб. 1772), которымъ, между прочимъ, пользовался Леклеркъ: „Г. Поповъ, будучи въ древностяхъ славянскихъ мало свѣдущъ, внесъ въ свою баснословію все, что ему ни попалось безъ разбору, и многія такія вещи подъ статью боговъ помѣстилъ, кои никогда славянами боготворимы не были“ и проч. („Примѣчанія на исторію древнія и нынѣшнія Россіи г. Леклерка“. Спб. 1788, I, 98).

ГЛАВА III.

XVIII-й вѣкъ. Научныя изслѣдованія Россіи.

Забытая дѣятельность XVIII-го вѣка. — Труды Петра Великаго, относящіяся къ научному изслѣдованію Россіи.—Вліяніе западной науки.—Географическія изысканія; первые атласы Россіи. — Ученныя экспедиціи. — Путешественники XVIII-го вѣка, нѣмецкіе и русскіе.

Обратимся къ дѣятельности нашей науки въ XVIII-мъ столѣтіи по изученію русской территоріи и народа.

Главные факты распространенія школъ и ученыхъ учрежденій прошлаго вѣка довольно извѣстны. Исторія его высшихъ учебныхъ и ученыхъ учрежденій немногосложна: двѣ духовныя академіи, академія наукъ съ ея „академическимъ университетомъ“, затѣмъ университетъ московскій и російская академія—вотъ всѣ учрежденія, въ которыхъ находили мѣсто интересы высшаго научнаго знанія. Въ ихъ дѣйствовали иногда отдѣльныя ученые силы, особенно иностранцы, которыхъ зывали еще съ конца XVII-го столѣтія. Любопытенъ вопросъ именно о томъ, какъ дѣйствовала вновь явившаяся съ Запада наука: откуда брались ея русскіе адепты, какъ новая наука воспринималась ими, какъ относилась она къ русскому содержанию, оставалась ли чужда ему или, напротивъ, умѣла его понимать и служить ему? Намъ столько наговорили о томъ, что XVIII-й вѣкъ былъ оторванъ отъ русской народности, рабски подчинился Западу и т. д., что по многимъ отношеніямъ было бы важно отдать себѣ болѣе точный отчетъ въ умственныхъ движеніяхъ и интересахъ того времени. Восемнадцатый вѣкъ былъ нашимъ ближайшимъ историческимъ предшественникомъ и многіе изъ нашихъ народныхъ интересовъ несомнѣнно коренятся еще въ трудахъ и стремленіяхъ образованныхъ людей XVIII-го вѣка. Познакомившись съ ними, мы должны будемъ убѣдиться, что уже въ то время являлись многія изъ

тѣхъ мыслей и тѣхъ изученій, заслугу которыхъ мы часто приписываемъ своему времени. Изученіе этого прошлаго не только избавить насъ отъ заблужденія, но разъяснить и исторію самыхъ вопросовъ: мы найдемъ, что они старѣе, чѣмъ намъ обыкновенно кажется, что наше нынѣшнее дѣло—не совсѣмъ наше собственное изобрѣтеніе, а часто только дальнѣйшее развитіе того, что было начато раньше насъ людьми другого вѣка; что трудности, съ которыми мы встречаемся, лежатъ вовсе не тамъ, гдѣ мы ихъ ищемъ, что мы напрасно отдѣльваемся отъ нихъ ссылками на XVIII-й вѣкъ, который-де оторвался отъ народа и задалъ намъ мудреную задачу возстановленія этой связи, или причесаясь отъ вопроса за фразами о западной наукѣ, которая будто бы помышала намъ остаться вѣрными своему народу и предаваться самобытному творчеству. Заглянувъ въ исторію, не трудно убѣдиться въ фальшивой безсодержательности подобныхъ жалобъ. Не западная наука отрывала насъ отъ народа и не реформа была источникомъ тѣхъ общественно-политическихъ тягостей, которыя пришлось переносить и сознать нашему времени; напротивъ, только наука доставила намъ возможность болѣе широкаго общественнаго и національнаго самосознанія, и только ея широкое дѣйствіе облегчить намъ выходъ изъ этихъ тягостей.

Петровская реформа и труды Петра для русскаго просвѣщенія вызывали въ старину и до нашего времени безконечное множество панегириковъ, и въ самомъ дѣлѣ нельзя не изумляться этой дѣятельности, которая распространялась на разнообразнѣйшіе предметы и потребности національной жизни и полагала глубокія основанія дальнѣйшаго развитія. Историки Петра рассказали и объ его трудахъ на пользу школы и образованія. Учреждая элементарныя цыфирныя школы и техническія училища: „ навигацкое“, инженерное, артиллерійское и пр., онъ позаботился объ основаніи учрежденія, которое обезпечило бы интересы высшей науки и послужило разсадникомъ ученыхъ силъ на самой русскаго почвѣ. Безпристрастные наблюдатели давно замѣтили, что у Петра вовсе не было пристрастія къ самимъ иноземцамъ, что, напротивъ, они были для него только средствомъ къ развитію русскихъ силъ, что это были въ его глазахъ только учителя, нужные на время, а затѣмъ вовсе нежелательные. И дѣйствительно, онъ гонитъ русскихъ въ школу, какъ (замѣтимъ для успокоенія славянофиловъ) гоняли ихъ при Ярославѣ; онъ обиживалъ иностранныхъ мастеровъ брать русскихъ учениковъ; Академія наукъ, основанная по его плану, должна была служить не только для цѣлей самой науки, но и для образованія ученыхъ русскихъ. На вопросъ, нужно ли было введеніе западной науки, отвѣчала уже старая Москва, когда населила Нѣмецкую слободу вызванными изъ-за границы тех-

никами, докторами, иноземными офицерами, когда вызывала изъ Кіева ученыхъ богослововъ, схоластическихъ философовъ и стихотворцевъ. При Петрѣ несравненно шире понята была государственная и народная важность науки: она была нужна не только для просвѣщенія умовъ, но для здраваго отправления самого государственнаго хозяйства. Нужны были хорошо организованные арміи и флоты, нужно было знаніе горное, инженерное, промышленное и т. д.; государству нужно было сосчитаться въ своемъ хозяйствѣ, опредѣлять и начертить свою территорію, узнать ближе свои народы—для Россіи особенная и нелегкая задача; нужно было наконецъ узнать свою исторію, правильно устроить средства народнаго образованія. Старая Россія не давала для этого средствъ, и обращеніе къ содѣйствію западной науки было по здравому смыслу неизбѣжно, чтобы сами русскіе научились пользоваться средствами знанія для многоразличныхъ потребностей своего отечества. Нужна была наука со всѣми ея теоретическими основами и практикой, какъ онѣ были понимаемы у народовъ, имѣвшихъ тогда науку. Надобно было призвать знающихъ людей, совѣтоваться съ авторитетными учеными, и Петръ не ошибся въ выборѣ, когда совѣтовался съ Лейбницемъ, однимъ изъ знаменитѣйшихъ людей того вѣка. И по сосѣдству, и по обилію ученаго люда, наибольшее число профессоровъ и учителей доставила тогда Германія. Вызовы ученыхъ нѣмцевъ въ Академію наукъ и въ московскій Университетъ не всегда бывали удачны; но число удачныхъ было, вѣроятно, гораздо больше, а перѣдко въ числѣ приглашаемыхъ бывали люди съ большими научными заслугами и съ честнымъ, просвѣщеннымъ отношеніемъ ко взятой на себя обязанности. Многие приобрѣли европейскую славу своими трудами на русской почвѣ и надъ русскимъ содержаніемъ: назовемъ имена Миллера, Шлёцера, Палласа, Гмелина и т. д. Понятно, что иноземные ученые приносили науку въ той формѣ, какъ они сами знали ее на своей родинѣ, съ тѣми общими идеями, на какихъ она тогда строилась, и съ той вѣщностью, какую она имѣла. На современный взглядъ наука, являясь въ такомъ видѣ, съ формами схоластическими, устарѣлымъ языкомъ, терминологіей, странно переводившейся на русскій языкъ, можетъ, пожалуй, показаться чѣмъ-то чуждымъ, что произвольно и насильственно навязывалось русскимъ умамъ, что не имѣло связи съ жизнью и народностью. Но слѣдуетъ наконецъ понять, что это была историческая форма науки, которая въ тѣ времена и не имѣла иныхъ идей и иного выраженія; она являлась къ намъ съ тѣмъ содержаніемъ и въ той одеждѣ, въ какихъ жила на западѣ. Перелагаясь на русскій языкъ, эта наука получала новую долю какой-то чуждой странности отъ трудности перевода: въ самомъ дѣлѣ русскій языкъ отъ Никоновской лѣтописи, или даже

отъ Симеона Полоцкаго, не могъ вдругъ легко перейти къ изложенію теорій естествознанія, философскихъ и риторическихъ тонкостей и т. п. Потребовалось потомъ цѣлое столѣтіе на то, чтобы нашъ литературный языкъ преодолѣлъ всѣ трудности передачи сложной научной техники и художественнаго выраженія. На первое время онъ часто бывалъ совершенно безсиленъ передъ этими задачами, въ научной терминологіи употреблялъ цѣликомъ иностранныя слова, греческія, латинскія, даже нѣмецкія и французскія ¹⁾, или передавалъ ихъ, какъ Богъ послалъ, славяно-русскими выраженіями, для нашего времени тяжелыми, уродливыми и смѣшными. Неудивительно и это послѣднее: въ началѣ XVIII-го вѣка сами нѣмцы были въ подобномъ затрудненіи—нѣмецкій языкъ считался еще неспособнымъ къ передачѣ высшихъ литературныхъ научныхъ понятій; его замѣняла латынь и даже французскій языкъ, и послѣдній не только въ высшемъ свѣтскомъ быту, но и въ области науки. Частію съ нѣмецкимъ и французскимъ, частію съ латинскимъ языкомъ наука пришла въ первое время и къ намъ; на этихъ языкахъ шло нерѣдко преподаваніе въ „академическомъ университетѣ“ въ Петербургѣ, и въ университетѣ московскомъ; почти до нашихъ дней дожила схоластическая латынь въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, и латинское преподаваніе классиковъ въ университетахъ. Западныя литературы со временъ Возрожденія и вплоть до XIX-го столѣтія были переполнены латинскими книгами по всякимъ отраслямъ науки: по-латыни писали не только Коперникъ, но Лейбницъ и Ньютонъ. Можно себѣ представить, что появленіе науки въ подобной формѣ, на чужомъ языкѣ или въ грубомъ невразумительномъ переводѣ, испещренномъ чужими словами, должно было быть очень дико для тѣхъ, кому приходилось знакомиться съ нею въ первый разъ; люди Петровскаго времени бывали въ положеніи простаго человѣка, которому приходится выговаривать слова чужого языка. Эта первая трудность, естественная и неизбежная, какъ трудно всякое усвоеніе новаго знанія, скоро однако стала исчезать сама собою, по мѣрѣ ознакомленія съ предметомъ; языкъ привыкалъ овладѣвать новыми понятіями, находить для нихъ простое, легкое, живое выраженіе. Знакомство съ наукой въ обществѣ все больше отнимало у нея ту непонятную, отталкивающую внѣшность, которая поражала на первый разъ; у Ломоносова и другихъ русскихъ академиковъ, наука уже успѣла выработать себѣ правильное выраженіе на русскомъ языкѣ.

Нѣтъ сомнѣнія, что школьникамъ Петровскихъ временъ прихо-

¹⁾ Сколько нѣмецкихъ словъ принято было въ терминологіи чиновнической, это извѣстно; но забавно, что сама академія наукъ очень долго щеголяла подъ названіемъ „де-сіансъ академія“.

дилось въ первое время очень жутко отъ неумѣлости самихъ первыхъ педагоговъ; нелегко было и тѣмъ, кого Петръ разсылалъ для науки за границу, какъ тому князю Голицыну который, будучи посланъ, уже не молодымъ, учиться навигацкой наукѣ, недоумѣвалъ, какъ ему быть: „наука опредѣлена самая премудрая: хотя мнѣ всѣ дни живота своего на той наукѣ себя трудить, а не принять будетъ, для того—не знамо учитьца языка, не знамо науки“. Но собирая черты того времени, можно не разъ убѣждаться, что трудность усвоенія науки была все-таки для тогдашнихъ новичковъ не такъ велика. Ученыхъ людей было немного, немного было ученыхъ учреждений,—да въ большинствѣ немного было и охоты къ ученью,—но тѣ, которые брались за науку и имѣли удовлетворительныхъ учителей, часто поражаютъ своими быстрыми успѣхами. Въ біографіяхъ тогдашнихъ ученыхъ можно найти не мало примѣровъ, что юноши 18—20 лѣтъ становились уже разумными помощниками своихъ профессоровъ въ ученыхъ трудахъ и экспедиціяхъ, когда въ наше время они въ эти года едва получаютъ аттестатъ зрѣлости (т.-е. собственно, незрѣлости, потому что съ нимъ они только-что получаютъ право приступить къ настоящему высшему образованію): многіе изъ нихъ были люди изъ низшихъ классовъ, и во главѣ ихъ—Ломоносовъ.

На что же направлялась вновь введенная наука; какъ она принималась своими адептами; какіе приносила результаты? Чтобы сообщить наглядный примѣръ и войти въ фактическое изложеніе предмета, приведемъ нѣсколько подробностей изъ Петровскихъ временъ о первыхъ прямыхъ воздѣйствіяхъ западной науки.

Извѣстно, какимъ чрезвычайнымъ разнообразіемъ отличались теоретическіе и практическіе интересы самого Петра, сколько личной заботы положилъ онъ для перваго введенія элементарныхъ знаній и высшей науки. Исторія всей русской науки возводится къ его времени, и часто къ его собственной личной инициативѣ.

Съ первыхъ годовъ основанной по его плану Академіи наукъ въ нее приглашены были ученые разныхъ специальностей: математики, физики и астрономы; классическіе филологи, историки, оріенталисты. Работа всѣхъ ихъ была необходима и для утвержденія теоретической науки на русской почвѣ, и вмѣстѣ для выполненія разныхъ практическихъ задачъ, важныхъ для государственныхъ цѣлей. На эти послѣднія было особенно обращено вниманіе Петромъ Великимъ.

Для устройства государства практическая помощь науки становилась необходима, какъ сложныхъ раціональныхъ приемовъ требуетъ большое, правильно поставленное хозяйство. Однимъ изъ первыхъ вопросовъ явилось опредѣленіе самой государственной территоріи. Этой надобности стремилось удовлетворить уже московское государ-

ство разными описями (на глазомѣрѣ) и „Книгой Большому Чертежу“. Книга эта заключала много свѣдѣній, но онѣ состояли только въ номенклатурѣ мѣстностей и были совершенно лишены той точности, какая нужна для правильной картографіи и какая доставляется только астрономическими опредѣленіями мѣстностей и геодезическими измѣреніями. При Петрѣ впервые начаты были эти геодезическія работы: по разнымъ краямъ Россіи разосланы были геодезисты „для сочиненія ландкартъ“ съ тѣмъ, чтобы послѣ изъ ихъ „партикулярныхъ“ картъ составить „генеральную карту“. Впослѣдствіи эти работы съ новыми дополненіями были изданы въ 1726—1734 годахъ подъ латинскимъ заглавіемъ: *Atlas imperii Rossici* и пр.; это былъ первый правильный атласъ Россіи. Второй атласъ изданъ былъ Академіей наукъ въ 1745 году въ большой коллекціи подробныхъ картъ ¹⁾. Къ Петровскимъ временамъ относятся и первыя ученныя экспедиціи: одного ученаго иностранца Петръ Великій взялъ съ собою въ персидскій походъ; другой изслѣдовалъ съ естественно-научной точки зрѣнія восточную полосу Россіи (и между прочимъ открылъ нынѣшня Сергіевскія минеральныя воды); третій, наиболѣе извѣстный, докторъ Мессершмидтъ, совершилъ первое ученое путешествіе по Сибири. Съ этимъ докторомъ Мессершмидтомъ (1685—1735) былъ заключенъ контрактъ, въ которомъ онъ обязывался ѣхать въ Сибирь для занятій: а) географіею страны; б) натуральной исторіей; в) медициной, лѣкарственными растеніями, эпидемическими болѣзнями; д) описаніемъ сибирскихъ народовъ и филологіею; е) памятниками и древностями, ф) вообще всѣмъ достопримѣчательнымъ. Все это Мессершмидтъ взялъ на себя, не имѣя помощниковъ, на очень скромныя средства, и труды его были по истинѣ удивительны: онъ собиралъ растенія, самъ набивалъ чучелы попадавшихся ему птицъ и дѣлалъ съ нихъ рисунки; на каждомъ значительномъ мѣстѣ, если показывалось солнце, бралъ высоту полюса, составлялъ карты и т. д.; въ то-же время онъ собиралъ сибирскія древности, хлопоталъ у сибирскихъ властей, чтобы ему доставляли всякія „къ древности принадлежащія вещи, якобы языческіе шейтаны (кумиры), великія мамонтовы кости, древнія калмыцкія и татарскія письма и ихъ праотеческія письмена; такжеже каменные и кружечные могильные образы“. Наконецъ онъ былъ ориенталистъ, искалъ монгольскихъ рукописей, собиралъ слова изъ языковъ сибирскихъ инопородцевъ и первый понялъ историческую важность ихъ сличенія и т. д. Труды Мессершмидта въ

¹⁾ *Russischer Atlas, welcher in einer General-Charte und neunzehnen Special-Charten das gesamte Russische Reich und dessen angränzende Länder, nach den Regeln der Erd-Beschreibung und neuesten Observationen vorstellig macht.. St.-Pet. 1745.*

свое время не были изданы ¹⁾; сдѣланныя имъ коллекціи сохранились въ Академіи наукъ. По его донесеніямъ, списки которыхъ также сохранились въ академической библіотекѣ, можно составить себѣ понятіе о трудностяхъ, какими сопровождался его изысканія; онъ жалуется, между прочимъ, что изъ русскихъ ему „не обрѣтается“ помощниковъ, и просилъ, чтобы ему дали помощника изъ шведскихъ плѣнныхъ, какихъ было тогда не мало въ Сибири и которые вообще не разъ съ пользой служили самимъ русскимъ властямъ (и въ Сибири, и во внутренней Россіи), какъ люди со свѣдѣніями. Такимъ помощникомъ и для Мессершмидта оказался шведъ Таббертъ: взятый въ плѣнъ послѣ полтавскаго сраженія, онъ провелъ около 13 лѣтъ въ Сибири, гдѣ отчасти и работалъ съ нѣмецкимъ ученымъ; вернувшись въ послѣдствіи домой, онъ получилъ тамъ дворянство и фамилію Страленберга и подъ этимъ именемъ издалъ въ Стокгольмѣ очень извѣстную въ свое время книгу: „Das nord- und ostliche Theil von Europa und Asia“ (1730). При Петрѣ была предпринята и гораздо болѣе отдаленная экспедиція: въ 1719 году отправлены были два геодезиста изъ „навигаторовъ“ для описанія Камчатки; между прочимъ, имъ велѣно было сдѣлать разысканіе—„сошлася ли Америка съ Азією, чтѣ надлежитъ зѣло тщательно сдѣлать, не только Зюдь и Нордъ, но и Остъ и Вестъ, к все на картѣ исправно поставить“. Хотя имъ и не удалось рѣшить вопроса, сошлася ли Америка съ Азією, Петръ остался доволенъ трудами навигаторовъ и незадолго передъ смертью написалъ новую инструкцію объ осмотрѣ сѣвернаго берега, исполнителемъ которой, уже послѣ его смерти, былъ извѣстный капитанъ Берингъ.

Этотъ интересъ къ географическимъ работамъ у Петра Великаго былъ возбужденъ, какъ предполагаютъ, въ особенности знакомствомъ его съ учеными французской академіи во время путешествія 1717 года, когда онъ самъ былъ избранъ въ члены этой академіи. Эти работы были однимъ изъ первыхъ примѣровъ прямого вліянія „западной науки“; результатомъ была обоюдная польза: въ европейской наукѣ явились новыя географическія свѣдѣнія, у русскихъ прибавилось знанія своего отечества, и возникалъ собственный научный опытъ ²⁾.

¹⁾ См. о нихъ у Палласа: „Neue nordische Beiträge“. St.-Pet. 1782, Bd. III: Messerschmidts siebenjährige Reise in Sibirien. Пекарскій, Наука и литер. при Петрѣ В., I, стр. 350—362.

²⁾ Въ послѣдствіи Миллеръ такъ отзывался о значеніи заботъ Петра о русской картографіи: картографія Россіи, благодаря мудрымъ распоряженіямъ Петра Великаго, чрезъ посылку по губерніямъ геодезистовъ и труды оренбургской экспедиціи, „приведена къ такому совершенству, что почти уже мало къ нимъ прибавленія по-

Эти двѣ стороны научнаго знанія проходятъ и во множествѣ послѣдующихъ трудовъ, исполненныхъ иностранцами (особливо нѣмецкими) и русскими учеными въ теченіе XVIII вѣка. Русскій народъ впервые вступалъ въ образовательное общеніе съ Европой: русскіе ученые и нѣмцы, работавшіе въ Россіи и для Россіи, слѣдовали примѣру Петра — сообщать „ученому свѣту“ разнообразныя свѣдѣнія о Россіи, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ становились достояніемъ и русскаго образованія. Это время представляетъ вообще замѣчательный въ исторіи науки эпизодъ усиленнаго взаимодѣйствія, до сихъ поръ еще не вполне изслѣдованный и оцѣненный. Избитое представленіе о „подчиненіи Западу“ есть только одностороннее преувеличеніе одной части совершавшагося тогда историческаго явленія. Если Петръ прорубилъ въ Европу окно, то въ это окно кинулись смотрѣть и сами европейцы; если мы искали въ Европѣ *необходимыхъ* намъ знаній, то и для Европы Россія впервые какъ бы открывалась. Новыя сношенія простирались не только на интересы политическіе, промышленныя, торговые, но и на благороднѣйшіе интересы научнаго знанія. Основаніе школъ, приглашеніе ученыхъ въ академію, призывы иностранцевъ на разныя техническія службы произвели громадныя наплывы образованныхъ иноземцевъ въ Россію ¹⁾.

Эти силы были, конечно, неравномѣрнаго качества, но, вообще говоря, было много людей съ хорошими знаніями, съ добросовѣстнымъ отношеніемъ къ дѣлу и, наконецъ, было не мало людей съ замѣчательными достоинствами. Случалось, что Академія находила своихъ дѣятелей между такими, безъ ея вызова пріѣзжавшими учеными ²⁾. Эти иноземцы иногда оставались въ Россіи недолго, на срокъ своихъ „контрактовъ“ (потому что часто ихъ дѣйствительно

требно, ибо и въ чужестранныхъ государствахъ, гдѣ науки уже чрезъ нѣсколько сотъ лѣтъ процвѣтаютъ, чуть могутъ похвалиться такимъ прилежнымъ раченіемъ въ сочиненіи своихъ ландкартъ“. Пекарскій, Ист. Акад. Наукъ, I, стр. 339—340. См. также „Записки Геогр. Общества“, 1849, кн. III, статья Бера о заслугахъ Петра Великаго по части распространенія въ Россіи географическихъ знаній.

¹⁾ Укажемъ для образчика рядъ именъ въ одной спеціальности. Въ книгѣ Я. Чистовича: „Исторія первыхъ медицинскихъ школъ въ Россіи“, Спб. 1883, приведенъ алфавитный списокъ докторовъ медицины, практиковавшихъ въ Россіи въ XVIII столѣтіи. Здѣсь были люди всевозможныхъ европейскіхъ націй: нѣмцы изъ всѣхъ концовъ и университетовъ Германіи, нѣмцы русскіе, голландцы, шведы, французы, англичане, шотландцы, португальцы, греки, поляки, датчане и пр., наконецъ русскіе, учившіеся за границей и дома. Подобное разнообразіе мы встрѣтимъ и во многихъ другихъ спеціальностяхъ, для которыхъ въ прошломъ столѣтіи иноземцы были приглашаемы или пріѣзжали сами, напр., въ дѣлѣ военномъ, морскомъ, инженерномъ горномъ, и проч.

²⁾ Такъ принятъ былъ въ академію Герардъ-Фридрихъ Миллеръ, Гмелинъ-старшій.

нанимали, какъ ученыхъ рабочихъ, на известное время и для известнаго дѣла), но часто оставались въ Россіи на всю жизнь, принимали русское подданство, усвоивали русскій языкъ и дѣйствовали въ русской литературѣ. Ихъ труды имѣли вообще двоякую цѣль—обогащеніе общей науки, и пользы русскаго государства и просвѣщенія: поэтому работы ихъ (и не только иностранцевъ, но и русскихъ) писались на какомъ-нибудь иностранномъ языкѣ, латинскомъ, нѣмецкомъ, французскомъ, а когда представляли интересъ общедоступный, выходили также по-русски. Русскіе академики свои труды подобнаго рода издавали на русскомъ языкѣ.

Съ другой стороны, для европейской науки вновь открывшаяся Россія представила величайшій интересъ. Путешествія западныхъ европейцевъ въ Россію или чрезъ Россію начинаются чуть не съ первыхъ вѣковъ нашей исторіи: страна, ея жители, ихъ нравы, исторія возбуждали живѣйшее любопытство. Знаменитое путешествіе Герберштейна было уже трудомъ съ сознательными научными цѣлями: известно, какимъ важнымъ источникомъ оно осталось до сихъ поръ для нашихъ ученыхъ историковъ. Довольно еще назвать Мейерберга, Флетчера, Олеарія, чтобы указать, съ какимъ серьезнымъ вниманіемъ относились образованнѣйшіе западные люди къ изученію Россіи. Петровская реформа сдѣлала и для европейской науки новое открытіе: съ облегченіемъ сношеній, съ первымъ приближеніемъ къ европейскому образованію стала чрезвычайно расти иностранная литература о Россіи, наполняющая теперь огромный отдѣлъ „Russica“ въ нашей Публичной библиотекѣ. Иностранными силами, частію по русской иниціативѣ, частію независимо отъ нея, сдѣлано было множество разнообразныхъ изученій. Ученныя работы, издававшіяся въ Россіи на иностранныхъ языкахъ, прямо дѣлались достояніемъ европейскихъ литературъ; въ то-же время переводились замѣчательнѣйшіе труды, выходившіе по-русски,—такъ вскорѣ послѣ своего появленія переведены были знаменитыя путешествія Крашенинникова, Лепехина, Рычкова; на нѣмецкомъ языкѣ является первый научный комментарій и высокая оцѣнка древнѣйшаго русскаго лѣтописца у Шлёцера, съ котораго начинается вполнѣ научная разработка русской исторіи. Въ самой Германіи ученые люди посвящаютъ неутомимый трудъ на изученіе географіи, исторіи и этнографіи Россіи, какъ знаменитый Бюшингъ, издатель первой научно составленной географіи Россіи и известнаго „Магазина“, наполненнаго богатымъ матеріаломъ для русской исторіи. Описанія путешествій, совершенныхъ нѣмецкими учеными на русской службѣ, появлялись по-русски и переводились на другіе европейскіе языки: французскій, англійскій, итальянскій, и въ этихъ переводахъ выдерживали иногда по нѣ-

скольку изданій. Русскія ученые имена еще въ XVIII столѣтїи прїобрѣтали европейскую извѣстность, какъ имена Ломоносова, Крашенинникова, Лепехина; работы старыхъ русскихъ ученыхъ цѣнятся и новѣйшими учеными авторитетами. Словомъ, это было дѣйствительное общеніе въ лучшихъ стремленіяхъ научнаго знанія. Дальше увидимъ, какимъ одушевленіемъ бывали проникнуты и наши нѣмецкіе академики, и русскіе ученые, когда въ своеобразныхъ явленіяхъ русской природы и жизни имъ открывалось новое, прежде невѣдомое, поле научныхъ наблюденій.

Откуда набирались эти силы новой русской науки? Обыкновенно говорятъ, что къ новому образованію, а затѣмъ къ разнымъ крайностямъ подражанія иноземному, имѣли пристрастіе только высшіе классы (т.-е. собственно дворянство), которые при этомъ забыли о народѣ и вслѣдствіе того оторвались отъ него. Дѣйствительно, высшіе классы всего больше принимали это образованіе, и это было совершенно естественно: и въ старой московской Россіи это былъ высшій слой народа, откуда набирались царскіе приближенные и совѣтники; они еще тогда ставились властью надъ народомъ, за свою службу надѣлялись помѣстьями (и жившими на нихъ людьми). По справедливому понятію Петра, новое ученье было той же службой государству; кого же было привлечь къ ней прежде всего какъ не тѣхъ, кто, владѣя помѣстьями, обязанъ былъ службой? Самъ—человѣкъ рабочий, Петръ ненавидѣлъ тунеядство и былъ совершенно правъ, когда расталкивалъ лежебокъ и заставлялъ недорослей учиться. Мало-по-малу недоросли привыкали учиться, хотя и долго спустя, во времена Екатерины II, было много дворянства безграмотнаго (какъ это видно, напримѣръ, изъ исторіи Коммиссіи о сочиненіи уложенія), слѣдовательно, нимало не зараженнаго европейскимъ просвѣщеніемъ. Но все-таки это новое образованіе принималось вовсе не однимъ дворянствомъ; было еще сословіе, которое также естественно привлекалось къ ученію, именно духовенство, искони владѣвшее грамотностью. Еще съ конца XVII вѣка, съ основанія Славяно-греко-латинской Академіи въ Москвѣ, оно стало знакомиться, по кievскому примѣру, съ высшей наукой, и, хотя эта духовно-академическая наука слишкомъ часто была сухой схоластикой, тѣмъ не менѣе она все-таки вводила въ новый міръ научныхъ понятій. Ученое духовенство XVIII вѣка уже сильно отличается отъ своихъ предшественниковъ въ до-Петровской Москвѣ (крайніе примѣры того и другого въ началѣ столѣтія,—напр., извѣстный священникъ Лукьяновъ, путешественникъ ко святымъ мѣстамъ, или Теофанъ Прокоповичъ—раздѣлены цѣлою пропастью), и дало теперь своихъ представителей не только въ церковную, но и въ свѣтскую образованность. Въ новыя

школы правительство, въ Петровскія времена и послѣ, брало и дворянъ, напр., изъ дѣтей „солдатъ“ гвардейскихъ полковъ (преображенскаго, семеновскаго, измайловскаго), которые часто бывали дворянами, брало учениковъ духовныхъ семинарій, которые бывали всякаго званія. Наконецъ, опять напомнимъ о Ломоносовѣ, этомъ величайшемъ изъ всѣхъ дѣятелей новой науки въ XVIII столѣтїи, который вышелъ изъ самаго подлиннаго крестьянства. Пересматривая біографїи ученыхъ людей прошлаго вѣка, проходившихъ петербургскую академическую гимназію и „университетъ“, мы находимъ такіе примѣры: Румовскій—сынъ священника, учился сначала въ семинаріи; Лепехинъ—сынъ солдата семеновскаго полка, дворянинъ; Озерецковскій—сынъ священника, учился въ семинаріи; Котельниковъ—сынъ преображенскаго солдата, изъ школы Теофана Прокоповича; Протасовъ—сынъ семеновскаго солдата, учился въ той же школѣ; Соколовъ—сынъ сельскаго пономаря; Иноходцовъ—сынъ преображенскаго солдата; Севергинъ—сынъ „вольнаго человѣка“, придворнаго музыканта, и т. д. Если прибавить примѣры изъ біографій русскихъ писателей прошлаго столѣтїя, мы найдемъ такое же разнообразіе общественныхъ положеній: доходило до того, что бывали писатели—крѣпостные, и писатели не безъ достоинствъ. Какъ выше замѣчено, усвоеніе науки, видимо, не сопровождалось у ея молодыхъ адептовъ никакимъ страданіемъ ихъ національнаго чувства: нѣтъ факта, который бы указывалъ на какое-нибудь ненормальное „отрываніе“ ихъ отъ народа. Напротивъ, они преспокойно учились и у русскихъ, и у нѣмецкихъ учителей, выучивались по-латыни или по-нѣмецки, слушали академическія лекціи, ѣздили за границу, усердно отдавались потомъ научнымъ трудамъ „для чести и пользы своего отечества“ и между прочимъ съ великой любовью занимались изслѣдованіями народнаго быта, промысловъ, обычаевъ, преданій и т. д. Далѣе приведемъ примѣры.

Высшее образованіе въ академическомъ и московскомъ университетахъ и другихъ заведенїяхъ очень часто завершалось посылкой за границу; къ концу столѣтїя многіе отправлялись сами въ заграничныя, особливо нѣмецкіе университеты: когда императоръ Павелъ по вступленїи на престолъ велѣлъ вытребовать домой русскихъ подданныхъ, учившихся въ иностранныхъ университетахъ, то оказалось, что въ Лейпцигѣ было 36, въ Іенѣ 65 учившихся русскихъ. Путешествїя бывали обыкновенно не такъ продолжительны, чтобы передѣлывать русскихъ въ иностранцевъ, но, конечно, не мало облегчали знакомство съ состояніемъ ученыхъ идей времени и укрѣпляли ту благородную солидарность, которая соединяетъ людей разныхъ обществъ въ одномъ интересѣ достоинства человѣческой мысли и знанія. Эту

последнюю черту не трудно замѣтить въ біографіяхъ и самыхъ сочиненіяхъ нашихъ ученыхъ прошлаго вѣка. На „ученый свѣтъ“ ссылается не разъ Ломоносовъ, когда хочетъ сильнѣе доказать свою мысль или рекомендовать свой совѣтъ, и эти ссылки бывали очень основательны: „ученый свѣтъ“ давалъ правильное объясненіе явленій природы, указывалъ вредъ какого-нибудь ходячаго обычая или нелѣпость суевѣрія, давалъ полезныя практическія указанія и т. д. „Ученый свѣтъ“ дѣйствовалъ не на однихъ специалистовъ, но и вообще на образованныхъ людей, и кромѣ науки специальной дѣйствовала литература вообще, въ томъ числѣ литература поэтическая. По поводу вліянія западной поэтической литературы въ нашемъ XVIII-мъ вѣкѣ, историки расточали много обвиненій, осуждая подражательность нашихъ писателей; но если не останавливаться на ложной, по нынѣшнему взгляду, условности внѣшняго приѣма, составлявшей общую черту вѣка, и проникнуть въ содержаніе идей этой литературы, нельзя не признать за ней большой образовательной цѣны. Еще болѣе такого вліянія оказывала (конечно, въ кругу наиболѣе образованныхъ людей) та литература, которая прямо ставила вопросы о судьбѣ народовъ, о происхожденіи обществъ, о правахъ человѣка и гражданина и т. д. Если подводить итоги умственной жизни нашего общества въ прошломъ вѣкѣ, то, очевидно, наибольшее вліяніе Запада надо отнести къ этимъ двумъ сторонамъ его содержанія: чистой наукѣ и общественнымъ теоріямъ. Понятно, что эти вліянія были совершенно законны: въ общей надобности просвѣщенія соглашались и сами обскуранты, и русскій народъ, если не во имя человѣческаго достоинства, то во имя собственной практической пользы долженъ былъ столько же, сколько всякій другой, знакомиться съ науками, развивавшими его мысль, дававшими правильное понятіе о природѣ и т. п. Что касается до теорій нравственно-общественныхъ, то у человѣка, вступившаго на путь образованія, нельзя было бы отнять права интереса къ существеннымъ вопросамъ объ обществѣ и о человѣческой личности, а рѣшеніе этихъ вопросовъ у первостепенныхъ писателей тогдашней европейской литературы часто поражало глубиною и человѣчностью мысли, которая продолжаетъ иногда дѣйствовать и до нашего времени. Въ глазахъ тогдашнихъ образованныхъ людей, въ Европѣ и у насъ, эти произведенія были высшимъ достигнутымъ тогда результатомъ человѣческаго знанія и только заколѣное невѣжество можетъ относиться свысока къ трудамъ людей, какъ мыслители XVIII-го вѣка, какъ Бэйль, Монтескьѣ, Вольтеръ, Руссо, энциклопедисты, или какъ представители чистой науки—Ньютонъ, Лейбницъ, Эйлеръ и т. д. Всѣ эти вліянія окружили ту первую образованность, которая возникала

въ средѣ русскаго общества, и вѣтъ ничего удивительнаго, что она имъ подпадала,—это было просто вліяніе логической мысли, и вліяніе логики едва ли должно быть сочтено противонароднымъ. Для образованныхъ людей прошлаго вѣка не было сомнѣнія въ благотворномъ вліяніи принятой ими западной науки; имъ не приходило въ голову заподозрить ее потому, что она—западная. Это послѣднее придумано уже нашимъ временемъ. Правда, моралисты XVIII-го вѣка жаловались на введеніе чужеземныхъ нравовъ, на французское воспитаніе,—но теперь обобщаютъ эту жалобу, или ненависть, на все принятое отъ запада образованіе. Но должно, наконецъ, положить границу между различными фактами. *Разныя моды* могли заимствовать, и на дѣлѣ заимствовали, *разныя вещи*—и дурное, и хорошее. Если свѣтское общество брало моды и испорченные нравы, это не значило, что была дурна и вредна заимствованная наука; если для свѣтскаго тунеяднаго общества шла изъ западныхъ свѣтскихъ образцовъ новая порча, изъ науки выросли здравыя челоувѣческія понятія, обезпечивались успѣхи общественности и образованія...

Опредѣляя западныя вліянія прошлаго вѣка, наши историки отмѣчали разные ихъ періоды и источники, — указывали, напр., вліянія шведскія и голландскія при Петрѣ, поздне—нѣмецкія (къ которымъ причисляется и бироновщина), далѣе періодъ галломаніи и т. д. Но эти опредѣленія бывали обыкновенно слишкомъ случайныя, и въ нихъ смѣшивались совсѣмъ разныя вещи, напр., морская или военная практика, канцелярское управленіе, наука и школа, свѣтскіе обычаи, литературные вкусы и т. д. Если обращать вниманіе не на одну беллетристику или свѣтскія моды и т. п., то мы найдемъ, что напр., въ самомъ разгарѣ такъ-называемой „галломаніи“ оказываются, напротивъ, очень сильныя вліянія нѣмецкой и англійской литературы. Вообще вліянія основныхъ западныхъ литературъ такъ переплетаются, что довольно трудно, или даже невозможно, указать имъ какіе-нибудь опредѣленные періоды или точный кругъ дѣйствія—тѣмъ болѣе, что къ концу столѣтія въ самой европейской литературѣ происходило уже сильное взаимодействіе: въ нѣмецкой школѣ, въ Лейпцигѣ, наша молодежь напитывалась Гельвеціемъ и Монтескье, Карамзинъ вычитывалъ у Лессинга высокое уваженіе къ Шекспиру и т. д.

Въ нашей научной литературѣ прошлаго вѣка можно постоянно встрѣчаться съ многоразличными вліяніями европейской науки, всего больше едва ли не нѣмецкой, которую особенно распространяла и „де-сіансъ академія“; но въ результатахъ мы напрасно искали бы какого-нибудь спеціального нѣмецкаго или иного вліянія: приобрѣтался научный методъ, но національность нашихъ ученыхъ не тер-

пѣла никакого ущерба. Бывали примѣры особаго вкуса и наклоности къ извѣстнымъ явленіямъ европейской жизни и науки, но они взаимно уравновѣшивались и умѣрялись здравымъ смысломъ и чувствомъ дѣйствительности: чужой авторитетъ не становился вѣрой, но будилъ собственную мысль и заставлялъ присматриваться къ своей жизни. Приведемъ для примѣра нѣсколько словъ замѣчательнаго юриста прошлаго вѣка, профессора московскаго университета, Десницкаго (ум. 1789).

Посланный по обычаю за границу для довершенія своего ученаго образованія, Десницкій слушалъ лекціи въ Глазговскомъ университетѣ: онъ получилъ здѣсь степень магистра свободныхъ наукъ, затѣмъ доктора правъ, причемъ получилъ и привилегію гражданства, званія особенно почетнаго для иностранца. Воспитавшись на англійской наукѣ, Десницкій ревностно изучалъ англійскія учрежденія и проникся къ нимъ величайшимъ почтеніемъ; вслѣдствіе того онъ уже тогда относился съ большою критикою къ нѣмецкимъ метафизическимъ теоріямъ. Это былъ одинъ изъ первыхъ русскихъ „англомаповъ“.

Десницкій съ великимъ уваженіемъ говоритъ объ Англіи, выработанныхъ ею здравыхъ началахъ политической и общественной жизни, объ ея высокой образованности, ея трудовой предпримчивости. „Нѣтъ въ подсолнечной нипѣ,—говоритъ онъ,—таковаго растущаго, выкапываемаго и животворящагося въ трехъ природы предѣлахъ, котораго бы могущество британской коммерціи не достало. Британцы, возлюбленные сынове страшныхъ волягъ, открылись свѣту великими въ предпріятіяхъ, счастливыми въ совершеніяхъ, страшными во браняхъ, преславными въ побѣдахъ, неутомимыми въ трудахъ и съ цѣлымъ несравненнымъ свѣтомъ въ отважности. Британія возсіяла аки солнце; явилась благодать на горахъ—на брегахъ британскихъ; увѣнчалъ Богъ труды сего народа, и слава громкая пронеслась о немъ до конца земли“. Эту славу британцы добыли тяжелымъ трудомъ и непоколебимымъ уваженіемъ къ *правамъ разума* и къ *святости закона*. „Вольность и собственность,—говоритъ онъ,—написанныя на лицѣ почти у всякаго британца, какъ природныя права, имѣютъ закономъ предписанный предѣлъ, за который вредная наглость и своеволие перейти не могутъ. Судии не смѣютъ и не могутъ въ законѣ беззаконствовать. Привести правосудіе въ такое совершенство, чтобы судителю закона и дѣлъ совѣмъ возможности не было къ злоупотребленію закона, есть такая премудрость правленія, которою кромѣ Великобританскаго никакой еще другой изъ древнихъ, ни изъ нынѣшнихъ народовъ праведно похвалиться не можетъ“. Напротивъ, Десницкій мало сочувствуетъ Германіи и ея

наукѣ и смѣется надъ схоластической метафизикой нѣмецкихъ юристовъ, которые— „могутъ выдумывать столько юриспруденцій, сколько имъ угодно. Изъ всѣхъ писателей, которыхъ я имѣлъ случай читать, усматривается, что нынѣ вездѣ почти правоучительная философія не совсѣмъ къ дѣлу ведетъ. Юриспруденція же натуральная преподается или совсѣмъ старинная, обыкновенно нынѣ называемая казуистическою, или другая, не лучше прежней, сочиняется вновь, и вся почти выбранная изъ римскихъ правъ“. Указавъ образчикъ такой схоластической казуистики, Десницкій продолжаетъ: „въ такомъ лабиринтѣ они ищутъ общаго всѣмъ натуральнымъ правамъ начала. Суть и другія *principia juris naturae*, которыя изысканы больше для меридіана нѣмецкаго, нежели къ дѣлу въ судахъ. Сей родъ ученыхъ тщеславнѣйшій въ своихъ изобрѣтеніяхъ“¹⁾.

Словомъ, въ результатѣ научныхъ вліяній западной школы оказывалось вовсе не „рабское подчиненіе“, а такое же усвоеніе знанія, какое совершается всякимъ *новичкомъ* и въ собственной школѣ. По необходимости, первымъ приѣмамъ учились на чужомъ языкѣ, но тотчасъ уже является забота создать научное изложеніе на русскомъ языкѣ. На первый разъ это изложеніе было угловато, нескладно, но это было неизбѣжнымъ слѣдствіемъ того, что старина ничѣмъ, или почти ничѣмъ, не облегчила трудности передачи неизвѣстныхъ ранѣе научныхъ понятій и терминовъ; съ теченіемъ времени эта нескладность сглаживается, по мѣрѣ того, какъ научная техника становится дѣломъ болѣе знакомымъ, и языкъ науки все болѣе сливается съ живою рѣчью общества. Это образованіе научной терминологіи идетъ параллельно съ развитіемъ новаго литературнаго языка, которое

¹⁾ По всей вѣроятности Десницкій былъ тотъ неизвѣстный „англоманъ“, который доставилъ въ Вольное росс. Собраніе при московскомъ университетѣ переводъ александрийскими бѣлыми стихами монолога Гамлета: „Быть или не быть?“ напечатанный въ „Опытѣ Трудовъ“ Вольнаго Собранія (1774 — 83). Переводчикъ жаловался въ письмѣ, что русскіе стихотворцы слишкомъ робки въ употребленіи метафоръ, и указываетъ на образецъ въ Шекспирѣ и другихъ англійскихъ поэтахъ. Самый переводъ замѣчательнъ для своего времени простотой и вѣрностью подлиннику. „Англоманъ“ рѣзко и вѣрно осуждаетъ французскіе переводы, напр., переводы Вольтера, и думаетъ, что „говорить на французскомъ языкѣ такъ, какъ Шекспиръ говорилъ на англійскомъ, почти невозможно, а на русскомъ можно ему, по крайней мѣрѣ подражать, и когда не силу и не красу его, то духъ его сохранить“. На письмо „Англомана“ отвѣчалъ профессоръ Барсовъ ссылками на древнихъ риториковъ и слѣдовавшаго имъ Ломоносова, которые остерегали противъ „безвѣрности“ метафоръ, и съ своей стороны, по примѣру Ломоносова, совѣтуетъ искать силы слога въ церковномъ языкѣ; этотъ источникъ, многимъ неизвѣстный или презираемый, однако много изобильнѣе „предъ новѣйшими, часто не весьма чистыми потоками“. См. Біограф. Словарь моск. профессоровъ, М.: 1855, I, стр. 56, 297 и слѣд.; Сухомятина. Исторія Росс. Академіи, т. V (Сборникъ Р. отд. Акад., т. XXII), 1881, стр. 5—7.

вообще представляет чрезвычайно интересное явление роста языка съ обогащеніемъ понятій, и естественная послѣдовательность этого роста даетъ наглядное доказательство жизненности самого историческаго факта, который его вызвалъ. Какъ сильно было именно стремленіе усвоить чужую науку русской жизни и заставить говорить ее на русскомъ языкѣ, можно видѣть во множествѣ случаевъ, когда ученые и писатели прошлаго вѣка говорили о своемъ трудѣ въ „насажденіи науки“ въ Россіи. Мы постоянно встрѣчаемся здѣсь съ выраженіемъ желанія, чтобы трудъ ихъ послужилъ на пользу русскому просвѣщенію, на славу и честь російскаго народа, чтобы російскій народъ сравнялся въ просвѣщеніи съ другими „славными націями“, чтобы російская земля рождала собственныхъ Платоновъ и Невтоновъ,—какъ въ то же время поэтическая литература хлопотала о томъ, чтобы поскорѣ завести своихъ Малербовъ и Буалò, своихъ Корнелей и Расиновъ. Обыкновенно смѣются надъ этими хлопотами и считаютъ ихъ явнымъ доказательствомъ рабства мысли; но если сопоставить ихъ съ упомянутыми сейчасъ заботами объ усвоеніи обществу самостоятельной науки, не трудно видѣть, что въ основѣ лежало не подчиненіе, а именно стремленіе къ независимости, желаніе противопоставить чужой славы и авторитету свои, жить собственными, а не чужими силами. Въ литературѣ это желаніе выразилось очень простодушно, и она поторопилась насоро испечь своихъ Малербовъ и Расиновъ, надъ которыми послѣ столько смѣялась; но не забудемъ, въ какомъ состояніи образованія и при какихъ литературныхъ antecedентахъ все это дѣлалось: новая литература находилась буквально въ младенческомъ состояніи; ея дѣятели можно было сосчитать по пальцамъ; она еще ломала языкъ, чтобы сьумѣть сказать новыя возникавшія понятія.—немудрено, что ея стремленія переходили въ желаніе сравняться съ данными образцами и авторитетами. Не забудемъ, что французскій псевдо-классицизмъ господствовалъ и надъ такой старой и сильной литературой, какъ германская, въ которой едва начиналась тогда дѣятельность Лессинга. Чтобы увѣриться въ настоящихъ стремленіяхъ литературы, надо обратиться къ тѣмъ писателямъ, которые по своему труду и дарованіямъ и должны считаться настоящими ея представителями. Таковъ былъ Ломоносовъ. Онъ стоитъ такъ высоко, что на него не посягаютъ укорины XVIII-му столѣтію; его труда не осмѣливаются отвергать ни явный обскурантизмъ, ни—нѣсколько беззаботное вообще на счетъ исторіи, народничество. Но таковъ же былъ, и раньше Ломоносова, Татищевъ, самый коренной русскій человекъ, хотя великій почитатель „Баила“ (Baile) и Пуффендорфія. Таковы были, послѣ, молодые ученые путешественники по Россіи, какъ Лепехинъ, питомецъ

нѣмецкой школы, немного рационалистъ и скептикъ, и однако самый непосредственный русскій патриотъ. Таковъ былъ англоманъ Десницкій, котораго, однако, новые историки науки признали „отцомъ природной русской юриспруденціи“¹⁾. Таковъ былъ Болтинъ, который, начитавшись французскихъ философовъ, былъ однако строгимъ хранителемъ національныхъ преданій, чуть не народникомъ среди XVIII вѣка...

Мы касаемся здѣсь исторіи русской старой науки лишь съ той стороны, гдѣ она трудилась надъ изученіемъ русской страны и народовъ. Наперекоръ расточаемымъ нынѣ фразамъ о разрывѣ съ народностью, самый простой обзоръ фактовъ убѣждаетъ, что съ первыхъ своихъ шаговъ наша наука высшей практической цѣлью ставила именно изученіе Россіи, ея природной области, ея прошлаго и ея народной жизни. Нѣтъ смысла говорить о разрывѣ тамъ, гдѣ собиралось первое точное знаніе о географіи своей страны, о свойствахъ ея природы, ея удобствахъ и неудобствахъ для человѣческой жизни; гдѣ впервые начиналось критическое изслѣдованіе народнаго прошлаго, собирались его памятники и письменные остатки; гдѣ изучался русскій народъ въ разныхъ краяхъ его громадной территоріи, описывались его нравы, составлялось первое сознательное понятіе объ его цѣломъ; гдѣ являлась первая широкая мысль объ изученіи различныхъ формъ его языка; впервые заносимы были въ книгу произведенія его поэзіи и т. д. Было бы любопытной темой сравнить въ этомъ отношеніи понятія русскихъ людей XVII и XVIII столѣтій. Русскій человѣкъ XVII вѣка зналъ обыкновенно только свою тѣсную ближайшую обстановку и не помышлялъ о такомъ знаніи своего отечества, въ какому стремилось XVIII столѣтіе; онъ былъ грубый эмпирикъ, который безъ помощи иноземца не умѣлъ оцѣнить богатствъ своей собственной страны, пуждался въ чужеземномъ руководствѣ для всякаго нѣсколько сложнаго промысла, для торговли и даже для военнаго дѣла; не зналъ въ сущности своей исторіи, потому что о старинѣ получалъ только смутныя понятія изъ древней лѣтописи, уже на половину невразумительной, или изъ историографическихъ опытовъ въ родѣ „Синописа“, изъ исторіи ближайшей зналъ факты, не освѣщенные критикой; народное чувство было въ немъ сильно, но часто это былъ только фанатическій темный инстинктъ, которому въ чужомъ народѣ видѣлись „поганые“ (хотя бы и христіанскіе католики или протестанты), которому казалась богопротивнымъ волшебствомъ наука, и который отталкивалъ въ ней средства своего умствен-

¹⁾ См. Біогр. Словарь моск. проф. I, 297.

наго и матеріальнаго успѣха. Восемнадцатый вѣкъ питаль много своихъ грубыхъ заблужденій, но по крайней мѣрѣ онъ сталъ на вѣрный путь научнаго знанія, которое одно могло вывести его изъ патріархальнаго мрака въ сознательную общественную и народную жизнь.

Въ исторію литературы обыкновенно не входитъ изложеніе исторіи науки и распространенія образовательныхъ свѣдѣній. У насъ есть по этому предмету только отдѣльныя (и даже немалочисленныя) работы, не сведенныя однако къ общей исторической мысли. Между тѣмъ для точнаго пониманія хода нашей литературы, какъ „отраженія общества и народа“, именно важно было бы сопоставлять ее съ исторіей образованія и научныхъ познаній. Въ переворотѣ понятій, отличающемъ XVIII вѣкъ, важную роль играло именно это распространеніе знаній черезъ новыя школы и учебныя книги, черезъ иностранныя пособія и собственныя работы. Когда новая поэзія заговорила о величій „дѣлъ Петровыхъ“, когда новая литература поднимала вопросъ о российскомъ народѣ и его просвѣщеніи, объ исправленіи нравовъ и т. д., всему этому предшествовала школьная наука, политическія свѣдѣнія, о сообщеніи которыхъ народу впервые заботился Петръ Великій, и всякіе книжные и практическіе иноземные образцы. Если представить себѣ всю массу внесеннаго этими путями знанія, часто абсолютно необходимаго для практическихъ нуждъ государства и народа, это одно могло бы внушить болѣе правдивое отношеніе къ нашимъ предкамъ прошлаго столѣтія, положившимъ много добросовѣстнаго и самоотверженнаго труда для блага отечества; оказалось бы при этомъ и другое,—что воспринятое знаніе не было однимъ подражаніемъ и, напротивъ, усваивалось органически, возбуждая самостоятельную и плодотворную дѣятельность...

Итакъ, при Петрѣ Великомъ положено было начало изученіямъ географическимъ. Упомянутая задача, данная отъ самого Петра его первымъ „навигаторамъ“—отыскать, сошлась ли Азія съ Америкой,—весьма характерно указывала, что Россія въ эту сторону не знала конца своихъ владѣній... Первые учебники географіи, какъ, напр., „Географія или краткое земнаго круга описаніе“, напечатанная повелѣніемъ царскаго величества въ 1710 году, свидѣтельствуютъ о тѣхъ крайнихъ затрудненіяхъ, какія встрѣчала передача на русскомъ языкѣ географической терминологіи: не было словъ для обозначенія техническихъ названій, и они очень часто оставались просто безъ перевода ¹⁾. Съ новыми работами по этому предмету

¹⁾ См. примѣры въ книгѣ Пекарскаго и также въ сочиненіи Л. Весна: „Историческій обзоръ учебниковъ общей и русской географіи, изданныхъ со времени Петра Великаго по 1876 годъ (1710—1876)“, Спб. 1877. Эта обширная книга, стояв-

языкъ видимо привыкаетъ къ нему, и въ географической терминологіи мало-по-малу убавилось число иностранныхъ словъ и передача понятій въсволькихъ облегчилась. Въ числѣ учебниковъ географіи, изданныхъ по повелѣніямъ Петра, была между прочимъ книга Бернарда Варенія, знаменитаго ученаго XVII вѣка, котораго Гумбольдтъ въ своемъ „Космосѣ“ называетъ великимъ географомъ. Съ этихъ поръ новая наука впервые правильно вошла въ русскую школу, и вообще въ умственный запасъ русскаго народа. Съ основаніемъ Академіи наукъ развитіе географическихъ знаній получаетъ и твердую научную опору: географія обставляется тѣми науками, изъ которыхъ она почерпаетъ свои теоретическія основанія, какъ астрономія, физика, математика и разныя отрасли „натуральной исторіи“. Мы упоминали о первыхъ научно составленныхъ атласахъ, изданныхъ въ первой половинѣ прошлаго столѣтія Кириловымъ и Академіей наукъ. Въ Россіи впервые начинаются астрономическія наблюденія и опредѣленія мѣстностей, безъ которыхъ немыслима точная географія (труды астронома Делиля, доѣзжавшаго до Березова, и др.); впервые начинаются наблюденія физическія и собираются данныя для опредѣленія климата, почвы и т. д.; наблюденія естественно-научныя, измѣренія геодезическія, собраніе экономическихъ свѣдѣній, словомъ, вся та масса матеріала, какая требуется для точнаго географическаго описанія страны. Ко второй половинѣ столѣтія изложенія географіи, и особенно русской, получаютъ правильный систематическій видъ; онѣ являются какъ отдѣльныя изслѣдованія, научныя путешествія, общіе курсы предмета, мѣстныя описанія, наконецъ, географическіе словари. Нѣмецкіе ученые работаютъ параллельно и рядомъ съ русскими. Такъ, однимъ изъ наиболѣе заслуженныхъ географовъ былъ ученый политисторъ, какихъ такъ много производили тѣ времена, — Антонъ-Фридрихъ Бюшингъ (1724 — 1793). Родомъ нѣмецъ, онъ учился въ университетѣ въ Галле; въ 1748, въ качествѣ домашняго учителя въ домѣ датскаго посланника Линара, онъ прибылъ съ нимъ въ Россію и, по возвращеніи въ Германію въ 1750, началъ рядъ ученыхъ работъ, изъ которыхъ главною было „Землеописаніе“. Въ 1754 г., Бюшингъ получилъ профессуру философіи въ Геттингенѣ, но, навлекши себѣ враговъ своимъ свободнымъ протестантизмомъ, оставилъ въ 1759 профессуру и во второй разъ пріѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ сдѣлался пасторомъ при лютеранской церкви св. Павла. Въ Россіи онъ прожилъ до 1765, и за-

шая составителю не малаго труда, къ сожалѣнію буквально ограничивается обзоромъ учебниковъ. Нѣсколько расширивъ свою задачу, напр. сдѣлавши хотя краткій обзоръ географической литературы вообще, путешествій и экспедицій, авторъ далъ бы важный трудъ для исторіи русскаго образованія.

тѣмъ по приглашенію Фридриха II занялъ мѣсто совѣтника консисторіи и директора гимназіи въ Берлинѣ. Кромѣ „Землеописанія“¹⁾, гдѣ имѣла мѣсто и Россія, Бюшингъ оказалъ великую услугу изученіямъ Россіи знаменитымъ „Магазиномъ“ (Magazin für Historie und Geographie, 25 томовъ, Гамбургъ, 1765—93), который дониндѣ остается богатымъ, неисчерпаннымъ источникомъ важныхъ свѣдѣній о Россіи. Въ самой Россіи географическія работы все больше расширяются. Таковы были труды Татищева, о которыхъ упомянемъ далѣе, историко-географическія и натуралистическія экспедиціи академиковъ. Въ 1759, Академія наукъ, предполагая составить новый атласъ Россіи, возымѣла мысль собрать подробныя свѣдѣнія о всей имперіи черезъ правительствующій сенатъ (которому въ тѣ времена она была подчинена въ высшей инстанціи). Когда послѣдовало согласіе сената, въ Академіи составлены были вопросы, на которые должны были отвѣчать провинціальныя канцеляріи. Въ январѣ 1760, сенатъ разослалъ въ провинціи указъ съ академической программой, въ тридцати вопросахъ. Въ теченіе семи лѣтъ собралось значительное количество отвѣтовъ, хотя не всѣ и не одинаковаго достоинства, и Академія постановила издать изъ нихъ точную выборку. Такъ составились „Топографическія извѣстія, служація для полнаго географическаго описанія Росс. Имперіи“, изданныя подъ редакціей Лудвига Бакмейстера (4 ч. Спб. 1771—1774). Любопытно, что въ то же время подобную мысль возымѣлъ Шляхетный кадетскій корпусъ. Для собранія свѣдѣній онъ употребилъ то же средство: воспользовавшись академической программой, онъ расширилъ ее для своей цѣли нѣкоторыми новыми вопросами, и въ декабрѣ 1760 она также была разослана сенатомъ. Понятно, что отвѣты были отчасти тождественныя, но иногда болѣе подробныя; Шляхетный корпусъ подѣлился ими съ Академіей и Бакмейстеръ воспользовался ими для своего изданія²⁾. Къ концу столѣтія являются уже хорошо составленные учебники, напр., книга московскаго профессора Харитона Чеботарева (1776); „Обозрѣніе Россійскія Имперіи въ нынѣшнемъ ея новоустроенномъ состояніи“, флота капитана Сергѣя Плещеева (четыре изданія, 1786—1793), и др. Любопытно „Новѣйшее повѣствовательное землеописаніе всѣхъ четырехъ частей свѣта... Россійская имперія описана статистически, какъ никогда еще не бывало“ (5 ч., Спб. 1795), которое было „сочинено и почерпнуто изъ вѣрнѣйшихъ источниковъ...

¹⁾ О различныхъ русскихъ переводахъ изъ него см. у Весина, стр. 28—39.

²⁾ Вѣроятно, исполненіемъ этого плана (впрочемъ недоконченнымъ) была „Политическая географія, сочиненная въ Сухонутномъ Шляхетскомъ кадетскомъ корпусѣ для употребленія учащагося въ ономъ корпусѣ шляхетства“, 1758—72, о которой см. въ книгѣ Весина, стр. 26—28.

учеными россіянами“. Правда, вѣрнѣйшіе источники повели авторовъ и къ большимъ нелѣпостямъ, напр., въ разсказахъ о славянской древности, но въ книгѣ собрано было и много полезныхъ свѣдѣній ¹⁾).

Появляются, наконецъ, географическіе словари. Первый трудъ этого рода составленъ былъ (до буквы К) еще въ первой половинѣ столѣтія Татищевымъ,—но одно время затерялся и изданъ былъ уже только въ 1793. Академикъ Миллеръ издалъ „Географическій лексиконъ Россійскаго государства“, составленный любителемъ, воеводой города Верей, Ѳеодоромъ Полунинымъ и значительно дополненный самимъ Миллеромъ (М. 1773). Затѣмъ географическій словарь Россіи явился въ многотомномъ трудѣ Льва Максимовича, послѣ еще болѣе размноженномъ въ изданіи Аѳанасія Щекатова. Это были уже цѣлыя обширныя предпріятія, богатая историческими и географическими данными о разныхъ краяхъ и мѣстностяхъ Россіи ²⁾). Словарь Щекатова, составленный весьма трудолюбиво по официальнымъ даннымъ и по книжнымъ свѣдѣніямъ, въ свое время и послѣ служилъ нашимъ историкамъ обильнымъ источникомъ справокъ по исторической географіи и вообще оставался у насъ незамѣненнымъ до „Географическаго Словаря“ г. Семенова и его сотрудниковъ, изданнаго Географическимъ Обществомъ.

Но замѣчательнѣйшимъ фактомъ въ развитіи географическаго изученія Россіи былъ длинный рядъ ученыхъ путешествій, начинающихся со временъ Петра и по его инициативѣ. По основаніи Академіи наукъ, когда ея внутренніе порядки нѣсколько опредѣлились и явился достаточный запасъ русскихъ ученыхъ силъ въ ея ученикахъ, ученые экспедиціи стали однимъ изъ основныхъ предметовъ ея заботъ. Эти путешествія были дѣломъ до тѣхъ поръ небывалымъ: впервые изъ правительственнаго центра направлены были

¹⁾ Объ этихъ учебникахъ, подробности у Весина, стр. 49, 53, 79 и слѣд., 413—414. Объ „ученыхъ россіянахъ“ у Неустроева, „Историч. розысканіе о русскихъ повременныхъ изданіяхъ и сборникахъ за 1703—1802“. Спб. 1875, стр. 534.

²⁾ „Новый и полный географическій словарь Россійскаго государства, собранный Львомъ Максимовичемъ“, 6 ч. М. 1783—1789. Новая обработка этого труда, въ семи томахъ, явилась въ 1801—1808 году. Первая часть озаглавлена такъ: „Географическій словарь Россійскаго государства, сочиненный въ настоящемъ онаго видѣ“. М. 1801, 4^о,—безъ имени составителей на заглавномъ листѣ, но посвященіе императору Александру подписали: всеподданнѣйшіе надворный совѣтникъ Максимовичъ и коллежскій регистраторъ Щекатовъ. Вторая часть имѣетъ очень длинное заглавіе: „Словарь Географическій Россійскаго государства, описывающій азбучнымъ порядкомъ географически, топографически, гидрографически, физически, исторически, политически, хронологически, генеалогически и геральдически всѣ губерніи, города и ихъ уѣзды, крѣпости, форпосты, редуты“ и пр. „Собранный А. Щ.“ М. 1804. Съ третьяго тома и до конца ставится имя одного Аѳанасія Щекатова.

въ разныя и между прочимъ отдаленнѣйшіе края государства ученые люди, которымъ поручалось собирать всевозможныя свѣдѣнія о странѣ и народѣ, о природѣ и нравахъ, объ историческомъ прошломъ и современномъ характерѣ и трудахъ населенія, его достоинствахъ и недостаткахъ и т. д. Это были люди, не облеченные властью, но люди знающіе и просвѣщенные, цѣль которыхъ была научное изслѣдованіе, предназначенное для пользы правительства и общества. Находясь тогда подъ высшимъ вѣдѣніемъ сената, Академія въ этихъ дѣлахъ обыкновенно получала отъ него внимательное содѣйствіе: путешественники получали достаточныя денежныя средства, подготовленныхъ сотрудниковъ изъ студентовъ академическаго университета и другихъ необходимыхъ помощниковъ, снабжаемы были сенатскими указами и т. д.; но имъ все-таки приходилось бороться съ большими затрудненіями. Не говоря о трудностяхъ самаго пути въ далекихъ, мало населенныхъ краяхъ, по дикимъ мѣстностямъ, путешественникамъ приходилось иногда встрѣчаться съ весьма недружелюбными мѣстными властями (напр., сибирскими воеводами), защищать отъ нихъ свое дѣло, испытывать неудобства отъ канцелярскихъ проволочекъ, когда притомъ донесеніе въ Академію или въ сенатъ шло туда и обратно по нѣсколькимъ мѣсяцамъ, подвергаться придираньямъ и доносамъ, даже „слову и дѣлу“. Не легко было и собираніе научныхъ свѣдѣній, когда на мѣстѣ приходилось имѣть дѣло съ людьми невѣжественными или просто полудикими. Не легко было (какъ и по изстоящую минуту) собираніе этнографическихъ свѣдѣній: если въ академикѣ подозрѣвали чиновника, это заставляло относиться къ нему опасно и подозрительно.

Было бы слишкомъ длинно рассказывать исторію этихъ многочисленныхъ странствій, въ которыхъ съ самаго начала рядомъ выступали и нѣмецкія, и русскія научныя силы. Мы ограничимся общимъ указаніемъ и остановимся ближе на нѣсколькихъ эпизодахъ *русскихъ* путешествій, которые могутъ характеризовать отношеніе нашей науки прошлаго вѣка къ народному вопросу. Послѣ путешествій Мессершмидта, предприняты были изслѣдованія сѣверо-восточнаго края Азіи и Камчатки экспедиціями Беринга, Стеллера и Крашенинникова; далѣе большая сѣверная экспедиція для топографической съемки всего сѣвернаго берега Сибири; далѣе сибирская экспедиція Миллера и Гмелина-старшаго, къ которой относятся также труды академика Фишера; наконецъ, замѣчательныя экспедиціи шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, гдѣ работали знаменитый Палласъ, Георги, Фалькъ, Гильденштедтъ, Гмелинъ-младшій, затѣмъ русскіе ученые, какъ Лепехинъ, Озерец-

ковскій, Иноходцовъ, студенты Соколовъ, Зуевъ, Кошкаревъ, далѣе Севергинъ и др.

Какихъ трудовъ и опасностей стояли иногда эти путешествія, объ этомъ могутъ дать понятіе нѣсколькихъ примѣровъ. Нечего говорить о томъ, какъ тяжки были полярныя экспедиціи или странствованія въ Камчатку и по (неизвѣстному еще) Охотскому морю, въ сибирскихъ пустыняхъ, восточно-русскихъ степяхъ. Многіе изъ изслѣдователей заплатили за свое дѣло жизнью. Берингъ, сдѣлавши свое открытіе, что Азія не сошлась съ Америкой, потерпѣлъ кораблекрушеніе и умеръ отъ лишеній на необитаемомъ островѣ Охотскаго моря, куда спасся со своими спутниками. Стеллеръ, который былъ въ числѣ спутниковъ Беринга и во время путешествія долженъ былъ выносить всякія притѣсненія отъ враждебнаго ему капитана, провелъ жестокую зиму на томъ же островѣ послѣ кораблекрушенія, не переставая дѣлать ученые наблюденія; потомъ, въ Сибири подвергся клеветному доносу, вслѣдствіе котораго уже на возвратномъ пути въ Россію былъ арестованъ въ Соликамскѣ для отправки подъ конвоемъ обратно въ Иркутскъ для допроса; на пути догнало его оправданіе, и предпринявъ снова обратную дорогу въ Петербургъ, онъ умеръ въ Тюмени послѣ девяти-лѣтняго путешествія (1737—1746). Гмелинъ-младшій, возвращаясь изъ своего путешествія по юго-восточной Россіи и Персіи, былъ захваченъ татарами и умеръ въ плѣну въ 1774. Исторія трудовъ астронома Ловица и его спутника и сотрудника Иноходцова была рядомъ подвиговъ самоотверженія на пользу науки. Странствуя въ степяхъ нижней Волги, ученые подвергались всевозможнымъ лишеніямъ. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ,—разсказываетъ біографъ Иноходцова,—съ ранней весны и до поздней осени, Ловицъ и Иноходцовъ дѣлались обитателями песчаныхъ степей, поселялись въ палаткахъ, окружали себя научными снарядами и работали неутомимо, подвергаясь разнаго рода невзгодамъ и одолевая всякія затрудненія. Самыя приготовленія къ научнымъ работамъ требовали многихъ усилій. Нигдѣ въ окрестностяхъ нельзя было найти мастера для устройства и починки инструментовъ, и Ловицъ долженъ былъ самъ обратиться въ рабочаго и дѣлать все собственными руками. Трудно исчислить всѣ бѣды, большія и малыя, которыя насылались на нашихъ путешественниковъ и силою негостеприимной природы и враждебною волею людей. Палачій зной степей, доходившій въ срединѣ лѣта до тридцати-пяти градусовъ въ тѣни, и въ противоположность ему весенніе и осенніе холода дѣйствовали разрушительно на здоровье, такъ что палатка астрономовъ часто обращалась въ лазаретъ. Степные вѣтры заносили песками наблюдательные пункты, поражая и глаза, и легкія наблюдателей. Едва

только наладили они свои инструменты и горячо принялись за дѣло, надъ степью разразился страшный ураганъ, снесшій палатку и раз-метавшій всѣ инструменты. Но еще горшая бѣда угрожала въ буду-щемъ, и шла уже не отъ природы, а отъ людей, которыми впрочемъ владѣла въ ту минуту стихійная сила. Все Поволжье было взвол-новано пугачевцами ¹⁾. Извѣстно, что Ловицъ былъ захваченъ и убитъ пугачевцами въ 1774 году. Иноходцовъ едва спасся отъ той же участи.

Переходя къ самымъ путешествіямъ, мы не будемъ останавли-ваться на подробностяхъ странствій и частныхъ научныхъ резуль-татахъ; намъ важно указать ихъ общее значеніе и личное отноше-ніе ученыхъ къ своему дѣлу, отношеніе научное и нравственное ²⁾. Если гдѣ имѣютъ смыслъ слова: преданность наукъ, служеніе пользѣ общества и народа, то они именно съ полнымъ правомъ могутъ быть употреблены о трудахъ нашихъ путешественниковъ прошлаго вѣка, русскихъ и не-русскихъ.

Таковъ былъ названный сейчасъ Георгъ-Вильгельмъ Стеллеръ (1709—1746), извѣстный своими путешествіями въ Камчаткѣ въ связи съ экспедиціей Беринга. Молодой нѣмецкій „гелертеръ“, натура-листъ и медикъ, Стеллеръ попалъ въ Петербургъ случайно, послан-ный сюда изъ-подъ Данцига съ больными русскими солдатами; въ Петербургѣ, живой, веселый и ученый Стеллеръ полюбился Теофану Прокоповичу, черезъ котораго вступилъ въ отношенія съ Академіей наукъ. Въ 1737 г. онъ по „контракту“ съ Академіей причисленъ былъ къ камчатской экспедиціи и отправился въ путь. Гмелинъ-старшій, съ которымъ Стеллеръ познакомился уже въ Сибири, въ описаніи своего путешествія рассказываетъ, какъ онъ былъ радъ на-значенію Стеллера. „Мы очень обрадовались,—говоритъ онъ о себѣ и Миллерѣ,—что этотъ даровитый человѣкъ, послѣ краткаго пребы-ванія у насъ, достаточно показалъ, что онъ былъ въ силахъ совер-шить такое великое дѣло и добровольно самъ предложилъ себя для выполненія его“. Гмелинъ замѣчаетъ „откровенно“, что если бы онъ, Гмелинъ, взялся за это предпріятіе, т.-е. путешествіе въ Камчатку, то экспедиція обошлась бы ея величеству гораздо дороже, такъ какъ онъ не удовлетворился бы такими скромными средствами, какими удовольствовался Стеллеръ. По рассказамъ Гмелина и по официаль-нымъ свѣдѣніямъ, характеръ Стеллера представляется въ очень оригинальныхъ и привлекательныхъ чертахъ человѣка простого, трудолюбиваго, подвижнаго и беззавѣтно-преданнаго своему дѣлу,

¹⁾ Исторія Росс. Академіи, III, стр. 194—195.

²⁾ Исторія этихъ путешествій не собрана въ цѣлое; но въ отдѣльности многія изъ нихъ пересказаны въ академическихъ исторіяхъ Шенарскаго и Сухомлинова.

притомъ человѣка съ недюжинными дарованіями ученаго. „Мы могли —продолжаетъ опять Гмелинь,—сколько намъ было угодно представлять Стеллеру о всѣхъ чрезвычайныхъ невзгодахъ, ожидавшихъ его въ этомъ путешествіи,—это ему служило только бѣльшимъ побужденіемъ къ тому трудному предпріятію, къ которому совершенное имъ до сихъ поръ путешествіе (отъ Петербурга до Енисейска, гдѣ онъ встрѣтился съ Гмелиномъ) служило только какъ бы подготовкою. Онъ вовсе не былъ обремененъ платьемъ. Если кто принужденъ возить съ собою по Сибири хозяйство, то оно должно быть устроено въ такихъ малыхъ размѣрахъ, въ какихъ только это возможно. У Стеллера былъ одинъ сосудъ для питья и пива, и меда, и водки. Вина ему вовсе не требовалось. Онъ имѣлъ одну посудину, изъ которой ѣлъ и въ которой готовили всѣ его кушанья; причемъ онъ не употреблялъ никакого цовара. Онъ стиралъ все самъ, и это опять съ такими малыми затѣями, что супъ, зелень и говядина клались разомъ въ одинъ и тотъ же горшокъ и такимъ образомъ варились. Въ рабочей комнатѣ Стеллеръ легко могъ переносить чадъ отъ стирки. Ни парика, ни пудры онъ не употреблялъ, и всякій сапогъ, и башмакъ были ему въ пору. При этомъ его нисколько не огорчали лишенія въ жизни; всегда онъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа, и чѣмъ болѣе было вокругъ него кутерьмы, тѣмъ веселѣе становился онъ. У него не было печалей, кромѣ одной, но отъ нея онъ хотѣлъ отдѣлаться, и, слѣдовательно, она служила ему болѣе побужденіемъ предпринимать все, чтобы только забыть ее. вмѣстѣ съ тѣмъ мы примѣтили, что, не смотря на всю безпорядочность, высказываемую имъ въ его образѣ жизни, онъ, однако, при производствѣ наблюденій былъ чрезвычайно точенъ и неутомимъ во всѣхъ своихъ предпріятіяхъ, такъ что въ этомъ отношеніи у насъ не было ни малѣйшаго безпокойства. Ему было ни почемъ проголодать цѣлый день безъ ѣды и питья, когда онъ могъ совершить что-нибудь на пользу науки ¹⁾“.

Встрѣтившись въ Сибири съ сотрудникомъ Беринга, капитаномъ Шпангебергомъ, которому велѣно было отправиться къ берегамъ Японіи, Стеллеръ очень желалъ участвовать въ этомъ путешествіи и, объясняя въ просьбѣ къ сенату свои ученые планы, о самомъ себѣ выражался: „я, какъ силю, здравіемъ, а паче несказаннымъ желаніемъ ко всякимъ трудностямъ и трудамъ *какъ водою влекомъ*, и притомъ намѣренъ я въ тѣхъ новозобрѣтенныхъ мѣстахъ побывать, понеже безъ того едва быть можетъ чтобы туда кто не былъ отправленъ“. Изъ приведеннаго разсказа Гмелина видно, что это не

¹⁾ J. G. Gmelin's Reise durch Sibirien, Göttingen, 1751—52, III, стр. 175—183.

было у Стеллера фразой, а настоящей правдой. Присоединившись къ Берингу, Стеллеръ долженъ былъ вынести отъ этого моряка не мало грубыхъ притѣсненій, но не унывалъ, и когда наши мореплаватели потерпѣли кораблекрушеніе и должны были зимовать на одномъ изъ необитаемыхъ Алеутскихъ острововъ (названномъ послѣ Беринговымъ), Стеллеръ, не смотря на холодъ, голодъ и всякія лишенія, не падалъ духомъ; исполнялъ должности то дѣвара, то повара, таскалъ съ другими прибываемый моремъ дѣсъ для топлива и т. п.; въ то же время не покидалъ своихъ ученыхъ трудовъ и написалъ здѣсь знаменитое въ ученомъ мірѣ изслѣдованіе *de bestiis marinis*. Выбравшись съ острова, онъ странствовалъ въ Камчаткѣ, гдѣ между прочимъ производилъ изслѣдованія о способахъ мѣстнаго питанія (одною рыбою, корнемъ растенія сарана, безъ хлѣба) на самомъ себѣ. „Едва на Камчатку прибылъ,—говоритъ Стеллеръ,—не для скупости, но для любопытства, самовольно чрезъ четыре недѣли опытъ учинилъ: держалъ себя отъ хлѣбнаго корму, нанявъ одного изъ тамошнихъ служивыхъ, чтобъ довольствовалъ меня тѣмъ кормомъ, который они сами имѣютъ, дабы я могъ знать, что у нихъ видѣлъ, и самъ бы тожъ при случаѣ (какъ и нынѣ случилось) сказать могъ. И отъ употребленія по тамошнему обыкновенію корму никакой скуки себѣ не имѣлъ“ и т. д. ¹⁾.

О трудахъ Герарда-Фридриха или Фёдора Ивановича Миллера (1705—1784) для русской исторіи, географіи и научно-популярной литературы намъ придется поминать неоднократно. Приѣхавши въ Россію 20-лѣтнимъ юношей, по вызову Коля, Миллеръ усердно принялся за трудъ и уже въ 1732 году издалъ первый томъ своего извѣстнаго сборника по русской исторіи „*Sammlung russischer Geschichte*“, а въ 1733 началъ извѣстное сибирское путешествіе, продолжавшееся десять лѣтъ (1733—1743). Охоту къ сибирскому путешествію возбудилъ въ немъ капитанъ Берингъ, съ которымъ Миллеръ былъ хорошо знакомъ, и обстоятельства помогли осуществиться этому желанію. Путешествіе оказалось далеко не легкимъ, но „никогда потомъ не имѣлъ я,—говоритъ Миллеръ,—повода раскаиваться въ моей рѣшимости, даже и во время тяжелой моей болѣзни, которую выдержалъ въ Сибири. Скорѣе видѣлъ я въ томъ какъ бы

¹⁾ Труды Стеллера печатались послѣ его смерти въ академическихъ „Комментаріяхъ“, въ „*Neue nordische Beyträge*“ Палласа и отдѣльными книгами; *Beschreibung von dem Lande Kamtschatka... herausgegeben von J. B. S. (cherer). Frankf. und Leipz., 1774; Reise von Kamtschatka nach Amerika mit Bering. (Ein Pendant zu dessen Beschreibung von Kamtschatka. St.-Pet. 1793.* Его біографія въ „Исторіи Академіи Н.“, I, 587—616, тамъ же отзывы новѣйшихъ ученыхъ о достоинствѣ трудовъ Стеллера.

предопредѣленіе, потому что этимъ путешествіемъ впервые сдѣлался *полезнымъ россійскому государству*, и безъ этихъ странствій мнѣ было бы трудно добыть пріобрѣтенныя мною знанія^а. Въ какомъ настроеніи приступалъ онъ къ своему ученому дѣлу, о томъ даютъ понятіе слова его въ русскомъ рукописномъ описаніи сибирскаго путешествія. Путь по рѣкѣ Иртышу былъ однимъ изъ пріятнѣйшихъ во всемъ его странствіи. „Въ то время,—говоритъ онъ о себѣ и Гмелинѣ,— были мы еще *въ первомъ жару*, ибо неспокойствія, недостатки и опасности затрудить насъ еще не могли. Мы заѣхали въ такія страны, которыя отъ природы своими преимуществами многія другія весьма превосходятъ, и для насъ почти все, что мы ни видѣли, новое было. Мы подлинно зашли въ *напомненный цетлами вертоградъ*, гдѣ по большей части растутъ незнаемыя травы;—въ звѣринецъ, гдѣ мы самыхъ рѣдкихъ азіатскихъ звѣрей въ великомъ множествѣ передъ собою видѣли;—въ кабинетъ древнихъ языческихъ кладбищъ и тамо хранящихся разныхъ достопамятныхъ монументовъ. Словомъ—мы находились въ такой странѣ, гдѣ прежде насъ еще никто не бывалъ, который бы о снхъ мѣстахъ свѣту извѣстіе сообщить могъ. А сей поводъ къ *произведенію новыя испытаній и изобрѣтеній въ наукахъ* служилъ намъ неинако какъ съ крайнею пріятностію^а. Не обошлось, конечно, безъ такихъ вещей, которыя должны были очень охлаждать жаръ: кромѣ трудностей пути пришлось испытать разныя каверзы отъ сибирскихъ начальствъ, напр., въ особенности отъ сибирскаго губернатора Плещеева; но это не помѣшало Миллеру собрать изъ сибирскихъ архивовъ громаднй историческій матеріалъ. Этотъ матеріалъ послужилъ основаніемъ для первой сибирской исторіи, начатой Миллеромъ и продолженный академикомъ Фишеромъ, и впослѣдствіи служилъ для изданій самого Миллера и другихъ ученыхъ: изъ этого матеріала черпали князь Щербатовъ въ своей „Исторіи“, Новиковъ въ своей „Древней Вивліоинѣ“, позднѣе издателя Румянцовскаго „Собранія Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ“; этотъ матеріалъ не былъ истощенъ даже нынѣшней Археографической комиссіей. Мы скажемъ дальше объ историческихъ понятіяхъ Миллера и упомянемъ здѣсь еще только объ его историко-географическихъ изслѣдованіяхъ во внутренней Россіи, примыкающихъ къ категоріи мѣстныхъ изысканій¹⁾.

Однимъ изъ знаменитѣйшихъ именъ въ этой области изслѣдованій было имя Іоганна-Георга Гмелина старшаго (1709—1755). Сынъ нѣмецкаго аптекаря, хорошаго натуралиста, Гмелинъ очень молодымъ кончилъ курсъ въ тюбингенскомъ университетѣ, защитилъ тамъ

¹⁾ Пекарскій, Ист. Акад. Н., 1, стр. 418—424.

дѣ медицинскія диссертациі и 18-ти лѣтъ пріѣхаль, по совѣту одного изъ первыхъ академиковъ, Бильфингера, въ Петербургъ, гдѣ для него тотчасъ ашлось ученое дѣло при Академіи. Въ 1731, онъ сдѣланъ былъ профессоромъ химіи и натуральной исторіи, а въ 1733 назначенъ въ сибирскую экспедицію, продолжавшуюся десять лѣтъ и гдѣ товарищемъ его былъ Миллеръ. Это путешествіе составило ученую славу Гмелина: результатомъ его было донинѣ высоко цѣнимое специалистами сочиненіе о сибирской флорѣ и описаніе самаго путешествія. По окончаніи путешествія Гмелинъ недолго оставался въ Россіи и вернулся на родину въ Тюбингенъ, гдѣ ему была предложена профессура. „Путешествіе“ Гмелина, которымъ къ сожалѣнію мало пользовались русскіе изслѣдователи, замѣчательно по богатству свѣдѣній о мѣстномъ бытѣ, по внимательности и точности разнообразныхъ наблюденій, любопытныхъ тѣмъ болѣе, что онѣ дѣлались въ такое время, когда еще не изгладились воспоминанія о первомъ завоеваніи Сибири и замѣтна была враждебность между русскими и туземцами. Свое сочиненіе Гмелинъ предпочелъ напечатать за границей, и по мнѣнію новѣйшаго историка Академіи наукъ прекрасно сдѣлалъ, потому что тогдашняя мелочная придирчивость, съ какою смотрѣли въ Россіи на все печатное, не позволила бы ему сохранить своего труда неприкосновеннымъ. По выходѣ въ свѣтъ, книга Гмелина не преминула вызвать въ Россіи строгія осужденія, и въ Академіи былъ поднятъ вопросъ о разсмотрѣніи этого сочиненія, чтобы розыскать, „что въ немъ излишняго, непристойнаго и сомнительнаго находится“ ¹⁾.

Очень извѣстны также труды Самуила-Георга Гмелина-младшаго (1744—1774). Это былъ племянникъ Іоганна-Георга, такъ же рано начавшій свою ученую карьеру: въ 1763 онъ получилъ докторство въ Тюбингенѣ, въ 1767 приглашенъ въ Петербургскую Академію, а въ слѣдующемъ году, одновременно съ Палласомъ, Лепехинымъ, Фалькомъ и другими, началъ свое путешествіе по юго-востоку Россіи, закончившееся смертью въ плѣну. Онъ странствовалъ по Дону, Волгѣ, по южному и западному берегу Каспійскаго моря ²⁾.

¹⁾ *Flora Sibirica*, 4 т., St.-Pet. 1747—1769; *Reise durch Sibirien von dem Jahr 1733 bis 1743*, 4 т., Göttingen, 1751—1752. Голландскій переводъ 1752—1757; французскій 1767. Англійское извлеченіе въ сборникѣ, извѣстномъ намъ по нѣмецкому переводу: *Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen in einem ausführlichen Auszuge etc. Aus dem Engländischen übersetzt*, 19 т., Berlin, изд. Малиуса, въ 1760—1770-хъ годахъ. Здѣсь т. V, 1767: *Reisen durch Sibirien aus denen Beschreibungen Gmelins und Müllers*, стр. 68—249. Біографія у Пекарскаго, *Исторія Акад. Н.*, I, стр. 431—457.

²⁾ *Reise durch Russland zur Untersuchung der drey Natur-Reiche*, 4 т., St.-Pet. 1770—1784. Извлеченіе въ томъ же *Sammlung der besten und neuesten Reisebe-*

Назовемъ далѣе академика Иоганна-Петра Фалька, родомъ шведа, принявшаго участіе въ большой экспедиціи 1768-го года и умершаго въ семидесятыхъ годахъ ¹⁾; трудолюбиваго Иоганна-Готтфрида Георги ²⁾; А. И. Гильденштедта, который принялъ участіе въ той же экспедиціи 1768, проѣхалъ центральную и юго-восточную Россію и много странствовалъ по Кавказу ³⁾; наконецъ, названнаго ранѣе Иоганна-Эбергарда Фишера (1697—1771), путешествовавшаго въ Сибири въ 1739—1747.

Но, быть можетъ, величайшая заслуга въ этихъ путешествіяхъ и описаніяхъ Россіи принадлежитъ знаменитому Палласу (1741—1811). Петръ-Симонъ Палласъ, сынъ берлинскаго медика, очень рано заявилъ свои научныя силы; юношей 19-ти лѣтъ онъ защищалъ въ лейденскомъ университетѣ свою диссертацию по зоологій, которая

schreibungen, Miliusa, т. XII, 1774 и т. XVIII, 1773, и также въ *Sammlung russischer Reisen, oder Geschichten der neuesten Entdeckungen im russischen und persischen Reiche, etc. Aus den kostbaren und seltenen Werken Pallas, Gmelin, Georgi Lerechin, Falk etc. ausgezogen.* 6 томовъ, Bern, 2-те Ausgabe, 1796. Русскій переводъ: Путешествіе по Россіи для изслѣдованія трехъ царствъ естества, въ 1768—1771—1771; 4 части, Спб. 1773—1785; 2-е изд. первой части, 1806.

¹⁾ *Beiträge zur topographischen Kenntniss des russischen Reichs*, 3 т., St.-Pet., 1785—1786: *Reise in Russland. In einem ausführlichen Auszuge mit Anmerkungen von J. A. Martyni-Laguna.* Berlin, 1794. Русскій переводъ: Записки путешествія Фалька, съ приложеніемъ двухъ атласовъ, въ „*Полномъ собраніи ученыхъ путешествій по Россіи*“, изд. Акад. Н., 7 ч. Спб. 1818—1825.

²⁾ *Bemerkungen einer Reise im russischen Reich im Jahre 1772*, St.-Pet. 1775; то же—in den Jahren 1773 und 1774, тамъ же, 1775; *Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion... und übrigen Merkwürdigkeiten*; 4 выш., St.-Pet. 1776—1780; то же: *Russland, Beschreibung* и проч. два тома, Leipzig, 1788; французскій пер. Спб. 1776; *Versuch einer Beschreibung der Residenzstadt St.-Petersburg und der Merkwürdigkeiten der Gegend.* 2 тома, Спб. 1790; 2-е изд. Рига, 1793; французскій пер. Спб. 1793; *Geographisch-physikalische und naturhistorische Beschreibung des Russischen Reichs*, 7 томовъ. Königsberg, 1797—1802. Русскіе переводы: *Описаніе всѣхъ въ Россійскомъ государствѣ обитающихъ народовъ*, пер. съ нѣм., 3 части, Спб. 1776—1777; 2-е изд., испр. и доп., 4 части, Спб. 1799; *Описаніе столичнаго города Санктпетербурга*, 3 части, Спб. 1794.

³⁾ *Betrachtungen über die natürlichen Produkten Russlands, zur Unterhaltung eines beständigen Uebergewichts im auswärtigen Handel.* Frankf. und Leipz. 1778; *Reisen durch Russland und im caucasischen Gebürge.* Herausgegeben von Pallas. 2 тома, St.-Pet. 1787—1791; *Reisen nach Georgien und Imerethi.* Aus seinen Papieren gänzlich umgearbeitet und mit Anmerkungen begleitet von Jul. von Klapproth; Berlin, 1815; *Beschreibung der Kaukasischen Länder.* Aus zeinen Papieren umgearbeitet von Jul. Klapproth, Berlin, 1834. Русскій переводъ Германа: *Географическое и статистическое описаніе Грузіи и Кавказа, изъ путешествія академика Гильденштедта чрезъ Россію и по кавказскимъ горамъ*, 1770—1778, Спб. 1809. Въ свое время обстоятельныя свѣдѣнія объ этихъ путешествіяхъ сообщались Бакмейстеромъ въ его „*Russische Bibliothek*“.

произвела въ ученое мiръ большое впечатлѣнiе. Ученая дѣятельность его дала ему мѣсто между величайшими естествоиспытателями прошлаго вѣка; его изслѣдованiя распространялись на самыя разнообразныя отрасли естествознанiя, касаясь самыхъ глубокихъ теоретическихъ его основанiй, и вмѣстѣ съ тѣмъ на предметы этнографiи и исторiи, гдѣ имъ затронуто было не мало важныхъ и новыхъ вопросовъ. Вызванный въ Россiю въ 1768 году, Палласъ отправился тогда же въ сибирское путешествiе, гдѣ ученымъ предстояло тогда любопытное наблюденiе надъ прохожденiемъ Венеры черезъ дискъ солнца. Въ результатъ этого и другихъ путешествiй Палласа по Россiи и иныхъ изслѣдованiй явился длинный рядъ трудовъ, доставившихъ его имени европейскую славу и послужившихъ богатымъ вкладомъ въ физическое, этнографическое и историческое изученiе Россiи ¹⁾. Для нашихъ ученыхъ путешественниковъ того времени молодой Палласъ былъ уже авторитетнымъ руководителемъ.

Перечисленныя предпрiятiя и другiя путешествiя, совершенныя русскими учеными и къ которымъ мы теперь перейдемъ, имѣли великое значенiе и для науки вообще, и въ частности для интересовъ русскаго просвѣщенiя и практической государственной пользы. „Путешествiя,—говоритъ Риттеръ въ „Землеводѣнiи Азiи“,—путешествiя, которыя, вслѣдствiе Мессершмидтова, петербургская Академiя, не щадя издержекъ, устраивала, при вспомоствованiяхъ императрицы Анны, Елизаветы и Екатерины II, должно причислить къ самымъ

¹⁾ Не касаясь его специальныхъ сочиненiй по естествознанiю, какъ знаменитая „Flora rossica“ 1784—1788), „Zoographia rossio-asiatica“ (1811) и друг., назовемъ лишь тѣ, которыя представляютъ болѣе общiй интересъ:

Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs, 3 тома, St.-Pet., 1771—1776 (нѣсколько изданiй, нѣмецкихъ и французскихъ 1768—1794; итальянскiй переводъ 1816; извлеченiя: въ Voyages en Sibérie, Berne, 1791, и въ упомянутыхъ сборникахъ—Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen, Милуца, т. XII, 1774, и т. XIX, 1774, и въ Sammluug russischer Reisen, Bern, 1795); Sammlung historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften, 2 тома, St.-Pet., 1776—1781; 2-е изд. Франкфуртъ и Лейпцигъ, 1779; Betrachtungen über die Beschaffenheit der Gebürge und die Veränderungen der Erdkugel, besonders in Beziehung auf das russische Reich. St.-Pet., 1777; 2-е изд. 1788; французскiй пер. 1777; Neue nordische Beiträge, 7 томовъ, St.-Pet. и Leipzig. 1781—1796; Tableau physique et topographique de la Tauride, St.-Pet. 1795, потомъ 1796, 1798; нѣм. пер. St.-Pet. 1796; Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des russischen Reichs in den Jahren 1793—1794, 2 тома, Leipzig, 1799—1801, 2-е изд. 1803; нѣсколько изданiй французскаго перевода 1799—1801, и англiйскаго, 1802—1803. Русскiе переводы: Путешествiе по разнымъ провинцiямъ Россiйскаго государства, пер. съ нѣм. Федора Томанскаго и Василiя Зуева, 5 томовъ, Сиб. 1778—1778; 2-е изд. 1-го тома, 1809; Краткое физическое и топографическое описанiе Таврической области, пер. съ фр. Ивана Рижскаго, Сиб. 1795.

блестящимъ и успѣшнымъ предпріятіямъ для науки, просвѣщенія и народнаго благополучія Россіи... Это обширное государство только посредствомъ такихъ путешествій могло достигнуть до самопознанія и самосознанія своихъ частей, природныхъ силъ и ихъ благотворнаго употребленія для своихъ подданныхъ ¹⁾“. Это значеніе учепыхъ экспедицій XVIII вѣка было тѣмъ болѣе важно, что въ нихъ съ самаго начала принимали дѣятельное участіе русскія силы. Въ ряду ихъ упомянемъ прежде всего тѣхъ Петровскихъ геодезистовъ, которые работали надъ сочиненіемъ первыхъ русскихъ ландкартъ. Выше мы называли издателя перваго географическаго атласа Россіи, Кирилова. Это былъ сенатскій оберъ-секретарь Иванъ Кириловичъ Кириловъ; о патриотической ревности его приводимъ слова Миллера, который называетъ его главнѣйшимъ двигателемъ дѣла о второй камчатской экспедиціи Беринга. „Кириловъ былъ великій патриотъ и любитель географическихъ и статистическихъ свѣдѣній. Онъ былъ знакомъ съ капитаномъ Берингомъ, который, вмѣстѣ съ двумя своими лейтенантами, Шпангебергомъ и Чириковымъ, изъявилъ готовность предпринять второе путешествіе. Кириловъ составилъ записку о выгодахъ, которыя могла изъ того извлечь Россія, и присоединилъ притомъ другія предположенія о расширеніи русской торговли до Бухаріи и Индіи, что потомъ подало поводъ къ возникновенію известной оренбургской экспедиціи, которою онъ самъ начальствовалъ и при которой онъ умеръ въ 1737 году“ ²⁾.

Назовемъ дальше Степана Крашенинникова (1712—1755), автора знаменитаго описанія Камчатки: въ 1733 онъ, будучи студентомъ Академіи, отправился въ известную сибирскую экспедицію, въ 1736 поѣхалъ въ Камчатку, куда не могли отправиться сами академики, и возвратился въ Петербургъ въ 1743 ³⁾.

¹⁾ „Землеводъніе Азіи“, пер. Семенова, II, 844. Ср. Исторію Росс. Акад. II, 247; IV, стр. 4 и слѣд.; Щапова, Соц.-педагог. условія умств. развитія рус. народа, Спб. 1870, стр. 170 и слѣд.

²⁾ О Кириловѣ см. Пекарскаго, Жизнь Рычкова, стр. 5 и сл.; Исторія Акад. Н., I, 320; Устрялова, Исторія Петра В., I, стр. LIX; Свенске, Матеріалы для исторіи составленія атласа рос. имперіи, изданнаго Имп. Академіею Наукъ въ 1745 году. Спб. 1866 (изъ IX тома „Записокъ Ак. Н.“); Вестужева-Рюмина, Біографія и характеристики. Спб. 1882, стр. 38 и сл.

³⁾ „Описаніе земли Камчатки“, издано Миллеромъ съ его предисловіемъ и двумя картами, 2 ч., Спб. 1755, 2-е изд. 1786, 3-е изд. въ „Полномъ собраніи ученыхъ путешествій по Россіи“, ч. I, Спб. 1818. Англійскій переводъ, Gloucester, 1764; нѣмецкій (сдѣланный съ англійскаго), Lemgo, 1766 (два изданія); французскій переводъ, Lyon, 1767, и другой, 1768; голландскій, Naerlem, 1770. Извлеченіе въ Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen, Miliusa, т. V, 1767, стр. 250—301. Отзыви тогдашнихъ иностранныхъ ученыхъ о Крашенинниковѣ см. у Пекарскаго, Исторія Акад. Н., I, 608, 611.

Въ 1768 году Академіей предпринятъ былъ обширный планъ ученыхъ экспедицій во всѣ края Россіи, для изслѣдованій естественно-научныхъ, этнографическихъ, археологическихъ и т. д. Эти экспедиціи составляютъ одинъ изъ лучшихъ фактовъ во всей исторіи Академіи наукъ и вообще въ исторіи русскаго образованія. Экспедиціи направлялись на сѣверъ, востокъ и югъ Россіи, въ края вообще мало извѣстные, а на востокъ и югъ едва только присоединенные къ Россіи; исполнителями были авторитетные ученые нѣмецкіе и русскіе. Знаменитѣйшимъ дѣятелемъ этихъ экспедицій былъ Палласъ, затѣмъ Георги, Фалькъ, Гильденштедтъ, Ловицъ, затѣмъ русскіе — Лепехинъ, Озерецковскій, Зуевъ, Иноходцовъ, Соколовъ.

Замѣчательнѣйшимъ изъ русскихъ путешественниковъ былъ Иванъ Ивановичъ Лепехинъ (1740—1802). Сынъ семеновскаго солдата, Лепехинъ учился въ академической гимназій и университетѣ до 1762 г., затѣмъ посланъ былъ въ страсбургскій университетъ, гдѣ пробылъ до 1767, занимаясь разными отраслями естествознанія и медициной; онъ получилъ тамъ степень доктора медицины и въ 1768, по возвращеніи въ Петербургъ, былъ выбранъ въ адъюнкты, а въ 1771—въ академики. Въ то же время онъ началъ свои путешествія, изъ которыхъ одно продолжалось съ половины 1768 до половины 1772, а другое сдѣлано было въ 1773. Результатомъ были многотомныя „Дневныя Записки“, которыя составили его главную ученую и литературную заслугу. На разнообразномъ ихъ содержаніи мы остановимся далѣе ¹⁾.

Другимъ замѣчательнымъ путешественникомъ былъ Ник. Як. Озерецковскій (1750—1827). Сынъ сельскаго священника, онъ учился въ троицкой семинаріи, въ 1767 былъ вызванъ въ академическій университетъ и уже въ слѣдующемъ году, въ качествѣ студента Ака-

¹⁾ Дневныя Записки путешествія по разнымъ провинціямъ русскаго государства, въ 1768—1771 годахъ, 8 ч. Спб. 1771—1780; 2-е изд. тамъ же, 1795—1814; 4-й томъ „Записокъ“, заключающій путешествіе 1772, изданъ былъ уже послѣ смерти Лепехина, Спб. 1805—*Humanissimo Lepeshinii genio sacrum*. Печатаніе 4-го тома начато было самимъ Лепехинымъ и доведено до 80 страницъ, по смерти его рукописи не нашлось, и съ 81-й страницы идетъ разсказъ Озерецковскаго (до 419; далѣе, двѣ отдѣльныя записки, Крестяннина и Фомина). Последнее изданіе записокъ Лепехина въ книгѣ: „Полное Собраніе ученыхъ путешествій по Россіи, издаваемое Академіею Наукъ“, вмѣстѣ съ соч. Крашенинникова и Фалька, Спб. 1818—1825, 7 ч. Далѣе: „Словарь минералогическій, на нѣмецкомъ, русскакомъ и латинскомъ языкахъ“, изданный Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, Спб. 1770. Нѣмецкій переводъ „Дневныхъ Записокъ“, 3 тома, Altenburg, 1774—1783. Извлеченія въ *Sammlung russischer Reisen, Bern, 1796*. Подробныя свѣдѣнія о жизни и ученой дѣятельности Лепехина въ Исторіи Росс. Акад., Сухомятина, т. II (Сборникъ Академіи, т. XIV), стр. 157—299 и др.

деміи, сдѣлался спутникомъ Лепехина на все время его странствій, 1768—1773. Годы 1774—1779 Озерецковскій провелъ за границей и продолжалъ свои естественно-научныя занятія сначала въ Лейденѣ, потомъ въ Страсбургѣ, гдѣ и получилъ степень доктора медицины. По возвращеніи въ Россію въ 1779, онъ былъ назначенъ адъюнктомъ, а въ 1782 академикомъ. Во время путешествія съ Лепехинымъ Озерецковскій не разъ совершалъ по его указанію самостоятельныя поѣздки и вообще объѣхалъ много мѣстностей на юго-востокѣ и сѣверѣ Россіи, отъ Архангельска до Астрахани. Впослѣдствіи онъ дѣлалъ другія путешествія на Ладожское и Онежское озера, къ верховьямъ Волги, въ Новгородскій край, и въ описаніи своихъ поѣздокъ собралъ очень много важнаго матеріала естественно-научнаго, этнографическаго и историческаго ¹⁾.

Астрономъ и физикъ Петръ Борис. Иноходцовъ (1742—1806), сынъ преображенскаго солдата, учился въ академической гимназіи и университетѣ, потомъ посланъ былъ за границу и, вернувшись, принялъ участіе въ большой академической экспедиціи, въ которой онъ странствовалъ вмѣстѣ съ Ловицомъ по востоку и юго-востоку Россіи, на Уралѣ и Волгѣ, въ 1769—1775. Мы упоминали выше, что Ловицъ былъ убитъ во время этого путешествія; Иноходцовъ едва спасся отъ подобной участи заблаговременнымъ бѣгствомъ. Впослѣдствіи Иноходцовъ совершилъ другую большую поѣздку въ 1781—1785 по разнымъ краямъ европейской Россіи для астрономическаго опредѣленія мѣстностей. Его работы были весьма разнообразны, простираясь на астрономію, геодезію, физику, минералогію, географію, а также на исторію и этнографію ²⁾.

Натуралистъ и медикъ, Никита Петр. Соколовъ (1748—1795), сынъ сельскаго пономаря, учился въ семинаріи, и только-что поступивъ въ академію студентомъ, назначенъ былъ вскорѣ въ оренбургскую экспедицію, „подъ команду“ профессора Палласа, и провелъ въ этой экспедиціи шесть лѣтъ, до 1774 года. Затѣмъ онъ былъ посланъ за границу, откуда вернулся въ 1780, получивъ въ Страсбургѣ степень доктора медицины; въ 1783 онъ былъ назначенъ адъюнк-

¹⁾ Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, Спб. 1792; Описаніе Коли и Астрахани, Спб. 1804; Обзорѣніе мѣстъ отъ Санктпетербурга до Старой Руси и на обратномъ пути, Спб. 1808; Путешествіе на озеро Селигеръ, Спб. 1817. Подробныя свѣдѣнія о жизни и дѣятельности Озерецковскаго въ Исторія Росс. Акад., т. П, стр. 299—388, 525—542, 574—582.

²⁾ Не упоминая объ его спеціальныхъ работахъ, отмѣтимъ его статьи: О различіи и измѣненіи климатовъ, Мѣсяцословъ на 1779; статьи историческія и этнографическія въ Мѣсяцословахъ на 1789, 1790, 1796. Біографія его въ Исторія Росс. Акад., т. III („Сборникъ“, т. XVI), стр. 168—264, 364—430.

томъ, а въ 1787 членомъ Академіи. Въ экспедиціи Соколовъ былъ дѣятельнымъ и разумнымъ помощникомъ своего профессора. Задача была не изъ легкихъ. Молодой профессоръ и еще болѣе молодой сотрудникъ его должны были вынести не мало опасностей и лишеній, и Палласъ отдаетъ великую похвалу трудамъ и характеру своего помощника, которому не разъ поручалъ отдѣльныя путешествія и наблюденія. Путевыя записки Соколова въ извлеченіяхъ вошли въ книгу Палласа, гдѣ многія страницы, по указанію послѣдняго, принадлежатъ Соколову. Путешествіе, какъ мы сказали, было не легкое. „*Блаженство видѣть натуру* въ самомъ ея бытіи,—говоритъ Палласъ,—гдѣ человекъ весьма мало отъ нея отшибся, и ей учиться служило мнѣ за утраченную при томъ юность и здоровье изряднѣйшимъ награжденіемъ, котораго отъ меня никакая зависть не отыметъ“! Онъ не разъ говоритъ о тѣхъ трудностяхъ, какія переносилъ Соколовъ, странствуя въ непроходимыхъ дебряхъ, горахъ и безводныхъ пустыняхъ Урала и Западной Сибири ¹⁾).

Упомянемъ еще „Путешественныя записки Василья Зуева отъ С.-Петербурга до Херсона въ 1781 и 1782 году“, Спб. 1787. Зуевъ прежде уже дѣлалъ путешествіе по Россіи и Сибири „подъ предводительствомъ г. Палласа“. Въ 1781 Академія наукъ поручила ему изслѣдованіе края, не затронутаго прежними экспедиціями, а именно главнымъ предметомъ, ему порученнымъ, былъ осмотръ вновь приобрѣтенныхъ тогда мѣстъ между рѣками Бугомъ и Днѣпромъ, устьевъ Днѣпра и его лимана съ около лежащей страной. Въ „Запискахъ“ Зуева разсѣяно также немало интересныхъ потребностей: таковы, напр., свѣдѣнія о духоборцахъ (онъ называетъ ихъ „духовѣрцами“), цыганахъ и цыганскомъ языкѣ, описаніе (только наружное, впрочемъ) изслѣдованнаго теперь Чертомлыцкаго кургана, и пр.

Назовемъ, наконецъ, Вас. Мих. Севергина (1765—1826), дѣятельность котораго переходитъ уже и въ XIX столѣтіе. Сынъ „вольнаго человека“, придворнаго музыканта, Севергинъ учился въ академической гимназіи и университетѣ, въ 1785 былъ посланъ за границу и по возвращеніи избранъ былъ въ 1789 адъюнктомъ, а въ 1793 академикомъ. Натуралистъ по спеціальности, онъ занимался въ особенности минералогіей. Севергинъ былъ ученый весьма трудолюбивый, и главной его заботой было именно примѣненіе добытыхъ наукою свѣдѣній къ русскому содержанію и распространеніе этихъ свѣдѣній въ обществѣ: „единая изъ обязанностей академика есть собранныя наукою свѣдѣнія распространять въ Россійскомъ государствѣ“,

¹⁾ Биографія его въ Ист. Росс. Акад. III, стр. 123—168, 341—356.

къ чему стремились и вообще всѣ наши ученые, постоянно заботившіеся не только о теоретическихъ интересахъ науки, но и о ближайшей пользѣ соотечественниковъ. Севергинъ предпринималъ нѣсколько путешествій: въ 1802 по западному краю, въ 1803 въ Новгородской, Псковской, Витебской и Могилевской губерніяхъ, въ 1804 въ Финляндіи ¹⁾.

¹⁾ Записки путешествія по западнымъ провинціямъ Россійскаго государства, или минералогическія, хозяйственныя и другія примѣчанія, учиненныя во время проѣзда чрезъ оныя въ 1802, 1803 и 1804 годахъ, 3 ч. Спб. 1803—1805; Обзорніе Россійской Финляндіи, Спб. 1805. Біографія въ Исторіи Росс. Акад., т. IV, стр. 6—185, 339—395.

ГЛАВА IV.

XVIII-й вѣкъ. Наука и народность.

Отношеніе науки къ жизни, рационалистическое и утилитарное: „Духовный Регламентъ“; Ломоносовъ.—Обзоръ русскихъ путешествій: Лепехинъ, Озерецковскій, Соколовъ, Иноходцовъ и пр.—Сильный интересъ къ народному быту.—Возникновеніе трудовъ по мѣстной исторіи и этнографіи.—Вліяніе новой науки на развитіе національнаго самосознанія.—Историческая литература: Татищевъ, Миллеръ, Волгинъ.

Перечисленныя нами путешествія русскихъ ученыхъ восемнадцатаго вѣка представляютъ въ особенности любопытный матеріалъ для сужденія о томъ, въ какое отношеніе новая наука становилась къ русской жизни и старымъ преданіямъ.

При Петрѣ В. и въ теченіе всего XVIII-го вѣка вообще разумному человѣку не приходила въ голову мысль о какомъ-нибудь противорѣчій между *наукой*, взятой съ *Запада* (ея не откуда больше было взять), и нашимъ народнымъ духомъ; тогдашніе образованные консерваторы говорили только о дурныхъ *нравахъ*, именно нравахъ свѣтскаго общества, которыхъ не слѣдовало заимствовать—не у Запада, а специально изъ французскихъ обычаевъ, какъ испорченныхъ. Полагалось напротивъ, что наука намъ необходима, потому что окажетъ пользу въ жизни народа и государства и послужитъ къ возвышенію народнаго духа; ясно было ея противорѣчіе съ суевѣріемъ, но никто не думалъ, что это будетъ противорѣчіе съ духомъ цѣлаго народа.

Отношеніе науки къ жизни опредѣлилось съ первымъ ея появленіемъ въ русскомъ обществѣ. Это было отношеніе рационалистическое и утилитарное. Первое знакомство съ наукой указывало несостоятельность множества традиционныхъ понятій о природѣ и человѣкѣ; наука не могла обойтись безъ этого указанія, стараясь замѣнить не-

правильныя понятія правильными, тѣмъ болѣе, что понятія неправильныя были часто и прямо вредными. Біографія Петра представляет множество анекдотическихъ примѣровъ, гдѣ онъ наглядно объясняетъ пользу науки; мысль объ этой пользѣ повторяется безпрестанно въ его распоряженіяхъ и въ самомъ законодательствѣ. „Извѣстно есть всему міру,—говорится въ Духовномъ Регламентѣ,—каковая скудость и немощь была воинства російскаго, когда оное не имѣло правильнаго себѣ ученія, и какъ несравненно умножилась сила его, и надчаіііе велика и страшна стала, когда державнѣйшій нашъ монархъ, его царское величество Петръ Первый, обучилъ оное изрядными регулами. Тоже разумѣть и о архитектурѣ, и о врачествѣ, и о политическомъ правительствѣ и о всѣхъ прочихъ дѣлахъ. И наипаче то же разумѣть объ управленіи церкви: когда нѣтъ свѣта ученія, нельзя быть доброму церкви поведенію“, и т. д. Съ этимъ понятіемъ пользы соединялось у Петра и раціоналистическое значеніе науки. Петръ былъ у насъ одинъ изъ первыхъ, появившихъ систему Коперника. Извѣстно, какъ во время путешествія онъ былъ заинтересованъ знаменитымъ готторпскимъ глобусомъ, сработаннымъ въ половинѣ XVII столѣтія подъ надзоромъ извѣстнаго путешественника Олеарія. Петръ выразилъ желаніе имѣть глобусъ и былъ чрезвычайно радъ, когда этотъ глобусъ ему подарили. „Практической умъ государя,—говоритъ одинъ изъ историковъ его времени,—тотчасъ оцѣнили всю пользу, какую могъ приносить глобусъ для нагляднаго изученія системы Коперника, а Петръ, несмотря на возгласы современныхъ ханжей, былъ однимъ изъ первыхъ послѣдователей и распространителей ея въ Россіи“¹⁾. Раціонализмъ составляетъ вообще существенную черту въ умственномъ характерѣ Петра и, кромѣ другихъ историческихъ условій, объясняетъ многое въ его отношеніи къ старой русской церковности, съ которою такъ тѣсно связывалась русская старина. Однимъ изъ любопытнѣйшихъ примѣровъ этого отношенія служить „Духовный Регламентъ“, составленный, кажется, при гораздо большемъ участіи самого Петра, чѣмъ до сихъ поръ думали. „Духовный Регламентъ“ довольно неожиданно, какъ мы сейчасъ видѣли, объясняетъ пользу науки для церковной жизни указаніемъ этой пользы въ воинскомъ дѣлѣ, и необходимость новаго церковнаго поученія поддеріііляетъ примѣрами народнаго суевѣрія, противнаго здравому смыслу и вреднаго для самой чистоты религіознаго чувства. Въ церковныхъ правилахъ мы находимъ такимъ образомъ и любопытный этнографическій матеріалъ. Въ исчисленіи дѣлъ, подлежащихъ разсмотрѣнію „духовнаго коллегіума“, между прочимъ говорится:

¹⁾ Пекарскій, Исторія Академіи Наукъ, т. II, стр. XXXV, прим.

„Смотрѣть исторій святыхъ, не суть ли нѣкія отъ нихъ ложно вымышленныя, сказующія чего не было, или и христіанскому православному ученію противныя, или бездѣльныя и смѣху достойныя повѣсти, и таковыя повѣсти обличити и запрещенію предать со объявленіемъ жи во оныхъ обрѣтаемой (приводится примѣръ изъ житія Евфросина Псковскаго о сугубой алалици)... Обаче духовному управительству не подобаетъ вымысловъ таковыхъ терпѣть, и вмѣсто здравой духовной пищи отраву людямъ представлять, напротивъ, когда простой народъ не можетъ между деснымъ и шумимъ разсуждать, но что либо видитъ въ книгѣ написанное, того крѣпко и упрямо держится.

„Собственно же и прилежно розыскивать подобаетъ оныя вымыслы, которые челоувѣка въ недобрую практику или дѣло ведутъ и образъ ко спасенію лестный предлагаютъ, напримѣръ: не дѣлать въ пятюкъ и празднованіемъ проводить, и сказуютъ, что Пятница гнѣвается на неправдующихъ и съ великимъ на оныхъ же угроженіемъ наступаетъ... Суть симъ же подобныя ученія, которыя и честнѣйшимъ лицамъ за ихъ простоту вѣроятнѣе быти мнятся, и потому вреднѣйшая суть; и таковое Кіево-печерскаго монастыря преданіе, что погребенный тамо челоувѣкъ, хотя бы и безъ покаянія умеръ, спасенъ будетъ“...

„Могутъ обрѣстися нѣкія и церемоніи непотребныя, или и вредныя. Слышится, что въ Малой Россіи, въ полку Стародубскомъ, въ день уреченный праздничный водятъ жонку простовласую подъ именемъ Пятницы, а водятъ въ ходѣ церковномъ (если то по истинѣ сказуютъ), и при церкви честь оной отдаетъ народъ съ дарами и со уваженіемъ нѣкоей пользы. Такожъ на иномъ мѣстѣ попы съ народомъ молебствуютъ предъ дубомъ, и вѣтви онаго дуба поъ народу рѣзаетъ на благословеніе. Розыскать, такъ ли дѣется и вѣдаютъ ли о семъ мѣстѣ оныхъ епископы. Аще бо сія и симъ подобныя обрѣтаются, ведутъ людей въ явное и стыдное идолослуженіе.

„О мощахъ святыхъ, гдѣ какія явятся быть сумнительныя, розыскивать: много бо и сѣмъ наплутано; напримѣръ, предлагаются чуждыя нѣкія: святаго первомученика Стефана тѣло лежитъ и въ Венеціи на предградіи, въ монастырѣ Бенедиктинскомъ, въ церкви святаго Георгія, и въ Римѣ въ загородной церкви святаго Лавренція; такожъ много гвоздей креста Господня, и много млека Пресвятыя Богородицы по Италиі, и иныхъ симъ подобныхъ безъ числа. Смотрѣть же, нѣсть ли и у насъ таковаго бездѣлія.

„Худый и вредный и весьма богопротивный обычай вшелъ, службы церковныя и молебны двоегласно и многогласно пѣть, такъ что утреня или вечерня, на части разобранна, вдругъ отъ многихъ поется, и два или три молебны вдругъ же отъ многихъ пѣвчихъ и чтецовъ совершаются...

„Вельми срамное и сіе обрѣталося (какъ сказуютъ): молитвы людямъ, далече отстоящимъ, чрезъ посланниковъ ихъ въ шанку давать. Для памяти сіе пишется, чтобъ иногда отнѣдать, еще ли сіе дѣется. Но здѣ не нужда исчислять вся неправости, словомъ реши что либо именемъ суевѣрія нарещися можетъ, си есть лишнее, ко спасенію не потребное, на интересъ только свой отъ лицемѣровъ вымышленное, а простой народъ прельщающее, и аки снѣжныя заметы, правымъ истинны путемъ идти возбраняющее“ ¹⁾.

Эта явная антипатія къ народной вѣрѣ въ чудесное, наклонность объяснять происхожденіе народныхъ суевѣрныхъ преданій намѣрен-

¹⁾ Полное собраніе постановленій и распоряженій по вѣдомству православнаго и словѣданія Россійской имперіи. Спб. 1869, т. I, стр. 6—7.

нымъ вымысломъ лицемерныхъ людей, находившихъ въ томъ „свой интересъ“ (что, правда, нерѣдко и бывало) — все это черты чисто рационалистическія и они остались характерной особенностью взглядовъ XVIII вѣка.

Прямымъ продолженіемъ этой точки зрѣнія была дѣятельность Ломоносова. Онъ былъ человѣкъ религиозный, но въ большой степени рационалистъ: научная истина и вмѣстѣ практическая польза были постоянной мыслью его трудовъ не только ученыхъ, но нерѣдко и поэтическихъ. Онъ столько же, какъ составители „Регламента“, зналъ обиліе невѣжества въ русской жизни, подозрительное недовѣріе и вражду къ наукѣ, при всякомъ удобномъ случаѣ объяснялъ права и пользу знанія и сожалѣлъ о недостаточности этого знанія въ русскомъ народѣ. Нѣтъ надобности приводить много примѣровъ,—болѣе или менѣе извѣстныхъ; ограничимся двумя-тремя указаніями. По поводу астрономическаго явленія (прохожденія Венеры черезъ солнце), наблюдавшагося въ Академіи въ 1761 г., онъ защищаетъ науку отъ подозрѣній невѣжества и рассуждаетъ о согласіи естествознанія съ религіей, обращаясь къ „благоразумнымъ и добрымъ людямъ“, приводя слова Евангелія, ссылаясь на исторію науки и на Василія Великаго. Религія и наука, каждая имѣютъ свою область. Богъ далъ роду человѣческому двѣ книги: въ одной показалъ свое величіе, въ другой—свою волю; первая—видимый міръ, по которому человѣкъ можетъ познать Божіе всемогущество „по мѣрѣ себѣ дарованнаго понятія“; вторая—священное писаніе. Истолкователи послѣдняго—великіе церковные учителя; а что касается до перваго, то „въ оной книгѣ сложенія видимаго міра сего, физики, математики, астрономы и прочіе изъяснители божественныхъ въ натуру вліянныхъ дѣйствій *суть таковы, каковы* по оной книгѣ (т. е. по священному писанію) пророки, апостолы и церковные учителя. Не здраво разсудителенъ математикъ, ежели онъ хочетъ Божескую волю вымѣрять циркулемъ. Таковъ же и богословія учитель, если онъ думаетъ, что по псалтирѣ научиться можно астрономіи и химіи“. Итакъ дѣятель науки приравненъ Ломоносовымъ ни болѣе, ни менѣе какъ къ пророку и учителю церкви: и въ наше время немногіе рѣшатся такъ высоко ставить значеніе науки. Ломоносовъ не дѣлаетъ никакой уступки изъ этого права науки и въ другую сторону—въ сторону народнаго невѣжества, которое теперь такъ усердно стараются смѣшать съ „народнымъ духомъ“. Давая свой отвѣтъ ревнителемъ православія, онъ не забылъ и людей, „не просвѣщенныхъ никакимъ ученіемъ“. „Не рѣдко,—говоритъ онъ,—легковѣріемъ наполненныя головы слушаютъ и съ ужасомъ внимаютъ, что при таковыхъ небесныхъ явленіяхъ пророчествуютъ бродячія по міру

богаделенки, кои не токмо во весь свой долгій вѣкъ объ имени астрономіи не слышали, да и на небо едва взглянуть могутъ, хотя сугорбась. Таковыхъ несмысленныхъ прорекательницъ и легковѣрныхъ внимателей скудоуміе ничѣмъ, какъ посмѣяніемъ презирать должно. А кто отъ такихъ пугалищъ безпокоится, безпокойство его должно зачитать ему жъ въ наказаніе за собственное его суемысліе. Но сіе больше касается до простонародія, которое о наукахъ никакого понятія не имѣеть“. Но любопытнѣйшее изъ сочиненій Ломоносова въ этомъ отношеніи есть знаменитое „Разсужденіе о размноженіи и сохраненіи російскаго народа“, отъ котораго къ сожалѣнію сохранилась только одна часть. Ломоносовъ ставитъ существенный вопросъ народной жизни—самое сохраненіе и размноженіе этой жизни, и наука привела его къ строгому осужденію многихъ формъ стародавняго обычая: онъ не имѣлъ никакихъ опасеній, что этимъ будетъ поколеблена нерушимость „народнаго духа“. Ломоносовъ не замаскировывалъ ничѣмъ слабыхъ сторонъ народнаго преданія и прямо отвергалъ его, когда оно противорѣчило здравому смыслу и пользѣ самого народа. Таковы его разсужденія о вредѣ для народной жизни, „отъ суевѣрія и грубаго упрямства происходящемъ“, какъ напр. о нелѣпости крестить младенцевъ въ ледяной водѣ, о заговѣнныхъ и розговѣнныхъ и т. п. Онъ сурово обличаетъ „невоздержаніе и неосторожность съ установленными обыкновеніями, особливо у насъ въ Россіи вкоренившимися и *имѣющими видъ нѣкоторой святости*. Паче другихъ именъ пожирають у насъ масляница и св. недѣля великое множество народа однимъ только переменнымъ употребленіемъ питья и пищи. Легко разсудить можно, что готовясь къ воздержанію великаго поста, во всей Россіи много людей такъ загавливаются, что и говѣть времени не остается. Мертвые по кабакамъ, по улицамъ и по дорогамъ и частые похороны доказываютъ то ясно. Разговѣнье тому жъ подобно. Да и дивиться не для чего“. Розговѣнье представляетъ картину необузданнаго обжорства и пьянства, которому предаются бывшіе постники, „какъ съ привязу спущенныя собаки“. „О, истинное христіанское пощеніе и празднество! не на такихъ ли Богъ негодуеть у пророка: праздниковъ вашихъ ненавидитъ душа моя и кадило ваше мерзость есть предо мною!“ Бросается въ глаза сходство взглядовъ Ломоносова съ тѣмъ, какъ относился къ подобнымъ обычаямъ „Духовный Регламентъ“.

Литература XVIII-го вѣка нерѣдко возвращалась къ темѣ предрасудковъ и невѣжества не только простого народа, но средняго и дворянскаго, и самаго духовнаго сословія, и, какъ бы ни были подражательны формы и каковы бы ни были другіе недостатки этой литературы (слишкомъ часто бичевавшей „маленькихъ воришекъ для

удовольствія большихъ"), трудно сказать, чтобы Кантемиръ, Ломоносовъ, фонъ-Визинъ, Новиковъ были отступниками отъ своего народа...

Тоже рационалистическое и утилитарное направлѣніе мы встрѣчаемъ у нашихъ первыхъ ученыхъ путешественниковъ; и ихъ труды въ этомъ отношеніи тѣмъ болѣе важны исторически, что въ нихъ наука становилась лицомъ къ лицу съ народною жизнью. Мы приводили примѣры того, съ какой ревностью эти ученые вступали въ новыя, неизвѣданныя прежде области, открывавшія богатую добычу для науки, и какъ въ то же время ихъ постоянно сопровождала мысль о пользѣ російскаго народа, о его достоинствѣ и славѣ.

Любопытнѣйшимъ произведеніемъ этой литературы ученыхъ путешественниковъ были, безъ сомнѣнія, „Дневныя Записки“ Лепехина. Молодой ученый, хорошо подготовленный въ различныхъ отрасляхъ естествознанія, докторъ страсбургскаго университета, отправлялся на нѣсколько лѣтъ въ путешествіе по далекимъ окраинамъ Россіи, гдѣ онъ долженъ былъ стать въ прямое соприкосновеніе съ народомъ, кромѣ явленій природы наблюдать и жизнь этого народа. По распространеннымъ нынѣ предразсудкамъ надо было бы ожидать, что Лепехинъ, этотъ типъ „петербургскаго“, по тогдашнему образованнаго человѣка, останется чуждъ народу, не замѣтитъ или не пойметъ его быта, занимаясь своими спеціальными вопросами, „чуждыми“ народу, или, наконецъ, отнесется къ народу съ высокоумнымъ пренебреженіемъ. Достаточно прочесть нѣсколько страницъ „Дневныхъ Записокъ“, чтобы убѣдиться въ противномъ. У Лепехина нѣтъ и тѣни такого, придуманнаго теперь, отношенія. Онъ — человѣкъ ученый, знающій многое, чего не знаютъ не только деревенскіе, но и огромное большинство неученыхъ городскихъ жителей; встрѣчаясь съ невѣжествомъ или незнаніемъ, онъ не думаетъ отказываться отъ своего знанія изъ опасенія противорѣчить „народному духу“, но и не величается имъ. Предметъ его изученій, между прочимъ, и народъ; онъ часто видитъ несовершенства его понятій и быта, но всегда это для него *свой* народъ, и ему не приходитъ на мысль чѣмъ-нибудь себя выдѣлять отъ него, кромѣ того, что ему случилось приобрести знанія, которыми ему хотѣлось быть полезнымъ и этому народу. Форма его „Записокъ“ чрезвычайно проста: онъ ведетъ дневникъ своего путешествія изо дня въ день, не только отъ города до города, но отъ деревни до деревни, и записываетъ свои наблюденія, встрѣчи и разговоры безхитростно, безъ всякихъ предвзятыхъ мыслей, какъ будто эти встрѣчи даже съ самымъ захолустнымъ населеніемъ были для него дѣло совершенно привычное. Въ „Запискахъ“ постоянно перемежаются ученныя описанія природы и простые рассказы

о народномъ бытѣ: по пути нашъ ученый обращаетъ вниманіе на почву и геологическія свойства края, уйдетъ со станціи впередъ и собираетъ растенія и насѣкомыхъ; встрѣтившись и познакомившись съ крестьяниномъ-охотникомъ, добываетъ черезъ него разныя породы звѣрей и птицъ, и за страницами описаній мѣстной природы и ландшафта, любопытныхъ растеній, бабочекъ, птицъ и рыбъ, слѣдуютъ рассказы о крестьянскомъ земледѣліи и промыслахъ, подробныя описанія мѣстныхъ производствъ, наконецъ, бесѣды съ хозяевами-крестьянами, у которыхъ остановился, и гдѣ конечно выступаютъ на сцену всякіе деревенскіе интересы, радости, а чаще заботы—и все это совершенно понятно нашему путешественнику, не требуетъ для него никакихъ толкованій, какъ будто онъ самъ давній деревенскій житель, которому все это давно знакомо; при случаѣ онъ дастъ полезный совѣтъ и замѣтитъ въ дневникѣ, какими мѣрами можно было бы помочь какой-нибудь крестьянской бѣдѣ и неустройству. Судя по рассказу, и самъ путешественникъ не внушалъ народу недовѣрія, съ нимъ охотно бесѣдовали, развѣ кому-нибудь приходило въ голову увидѣть въ немъ „чиновника“—качество, въ какомъ онъ самъ не желалъ являться народу. Наконецъ, онъ интересовался историческими преданіями и народными повѣрьями, и собралъ не мало матеріала, любопытнаго для историка и этнографа. Это простое отношеніе къ предмету изученій сказывается на самомъ языкѣ „Записокъ“; онъ очень простъ и тогда, когда авторъ говоритъ о предметахъ научныхъ, и тогда, когда онъ переходитъ къ обыденному крестьянскому житію. Онъ можетъ даже удивить однимъ свойствомъ, котораго, пожалуй, не ждали бы отъ ученаго петербуржца прошлаго вѣка: это—большое знаніе народной рѣчи; авторъ въ простомъ рассказѣ употребляетъ такія народныя слова, которыя далеко нельзя назвать общеупотребительными и которыя однако не казались ему неудобными въ ученой книгѣ.

Таковъ общій литературный характеръ „Записокъ“. Самое направленіе писателя отличается именно тѣмъ же раціоналистическимъ и утилитарнымъ характеромъ. Лепехинъ интересуется народными понятіями, но его взглядъ на ихъ содержаніе есть взглядъ критическій: онъ любопытенъ ему въ интересѣ научномъ; онъ записываетъ ихъ, какъ мѣстную бытовую черту, необходимую „для познанія російскаго народа“, но не думаетъ видѣть въ нихъ существо народности. То время было по преимуществу разсудочное, и рядомъ съ передачей исторической легенды, народнаго повѣрья и примѣты, является критическая оцѣнка—со стороны разумности повѣрья, достовѣрности преданья, или неразумности и недостовѣрности, и это было тѣмъ естественнѣе, что путешественникъ видѣлъ всѣ эти народныя

представленія во-очію и на практикѣ: онъ, наприм., объясняетъ естественнымъ путемъ плавающіе острова въ озерѣ Поганомъ, съ которыми соединялась историческая легенда; объясняетъ непрактичность традиціонныхъ врачебныхъ средствъ, употребляемыхъ народомъ, ошибочность или неполноту иныхъ народныхъ примѣтъ надъ явленіями природы и т. п., но точно также объясняетъ ихъ правильность, когда онъ вѣрно подмѣчаютъ происходящее въ природѣ. Точно также путешественникъ говоритъ и съ самимъ народомъ. Въ его литературной манерѣ сказывается обычный стиль прошлаго вѣка, и вмѣстѣ особенности его личнаго характера. Онъ обстоятельно передаетъ подробности путешествія, снабжая рассказъ размышленіями по поводу встрѣченныхъ фактовъ и случаевъ, небольшими правоописательными картинками и т. п. Юмористическая складка, которая была въ характерѣ его ума, находила себѣ пищу въ иныхъ встрѣчахъ съ захолустной жизнью, съ деревенскими и городскими оригиналами, въ дорожныхъ приключеніяхъ.

„Задиски“ Лепехина отличаются чрезвычайнымъ разнообразіемъ предметовъ, на которыхъ останавливалось его вниманіе: не говоря о томъ, что относится специально къ естествознанію и имѣло свою важность для изученія природы нашего отечества, остановимся лишь на томъ, что касалось изученія народа. Рѣдкій путешественникъ нашего времени можетъ представить такое разнообразіе свѣдѣній естественно-научныхъ, бытовыхъ и этнографическихъ; наука, конечно, специализируется, но вмѣстѣ съ тѣмъ, къ сожалѣнію, становится тѣснѣе и горизонтъ отдѣльнаго наблюдателя. Современный натуралистъ рѣдко подумаетъ объ археологіи и этнографіи; этнографъ рѣдко владѣетъ точными понятіями о свойствахъ почвы, о климатическихъ условіяхъ, имѣющихъ, однако, существенное вліяніе на самый складъ мѣстнаго быта. На все это одинаково распространялась ученая любознательность Лепехина, и вездѣ онъ является просвѣщеннымъ наблюдателемъ, способнымъ опредѣлить значеніе подобныхъ условій. Въ старомъ городѣ его интересуютъ остатки древности, и онъ умѣетъ отчетливо рассказать о нихъ; въ деревнѣ выслушиваетъ народныя преданія и повѣрья, провѣряетъ ихъ мѣстными данными, указываетъ различные роды и способы крестьянскаго труда; на Волгѣ опишетъ волжскія суда и способы плаванія; встрѣтивши какіе-нибудь заводы, кожевенные, мыловаренные, сѣрные и т. п., подробно рассказываетъ о тѣхъ приемахъ, съ какими ведется дѣло, слышитъ съ такими приемами въ другихъ мѣстахъ, указываетъ ихъ удобства и неудобства; расскажетъ, какъ поступаютъ крестьяне въ случаяхъ скотскаго ладежа (онъ встрѣчалъ ихъ очень часто) и постарается отыскать причину бѣды; расскажетъ народныя примѣты относительно

погоды, болѣзней и т. п., объяснить ихъ дѣйствительную или вѣроятную подкладку, или указать ихъ несообразность; опишетъ народныя обычаи, расскажетъ о встрѣченныхъ имъ инородцахъ, остановится на объясненіи ихъ быта, нравовъ, вѣрованій, одежды и т. д. Два, три образчика дадутъ понятіе о его манерѣ, гдѣ не разъ проглядываетъ добродушная шутка и юморъ, которые не мѣшаютъ ему дать точное понятіе о дѣлѣ. Вотъ, напр., его рассказы о народномъ врачествѣ и знахарствѣ.—Во время пребыванія во Владимірѣ путешественники между прочимъ набрали травы, называемой „царь-трава“ или „большой прикрьтъ“:

„Дворница, старуха пожилая, которая въ городѣ, какъ мы послѣ спровѣдали, за сродницу Эскуляпову почиталася, увидя кошенку травъ, спрашивала у насъ: на какую потребу мы травы собираемъ? Но какъ мы ей отвѣтствовали, что мы никакого другого къ тому предмета, кромѣ любопытства, не имѣемъ, и силы сихъ травъ не разумѣемъ, то она столь была ободрена нашимъ отвѣтомъ, что не оставила и похулить нашего предмета, и возгордися своимъ знаніемъ сказала: и волото въ рукахъ незнающаго грязь. Потомъ взяла царь-траву, и называя ее земнымъ сокровищемъ, отрадою болящихъ, и проч., вознамѣрилася быть нашимъ Ипшократомъ. Это царь-трава — продолжала она, — трава надъ травами, угодная во многихъ болѣзняхъ, отъ утробы, водяной болѣзни, отъ матки, когда она засядетъ въ горлѣ; отъ паралича, отъ всякой нечисти. Я бы безъ сумнѣнія навелъ страхъ читателю, естли бы привелъ здѣсь толкованія почтенной нашей бабушки на помянутыя болѣзни. Но какъ бабушка начала на своемъ безмѣнѣ развѣшивать приемы, то и у насъ стали волосы дыбомъ, и вышедъ изъ терпѣнія, осмѣлилися попротивурѣчить Ескуляповой сродственницѣ. Споръ нашъ съ начала обоюду былъ нарочито горячъ; но бабушка скоро олъѣшла. Одержанная нами побѣда весьма была намъ неприятна: ибо никто болѣе бабушку къ разговору склонить не могъ, и мы нашею неосторожностію лишились случая испытать сокровенная Владимірской врачевницы. Она еще болѣе находилася въ трусости, когда отъ бывшихъ у меня солдатъ спровѣдала, что я принадлежу такъ же къ числу врачей, и стороною старалася насъ увѣрить, что рассказывала слышанное, а сама никого не лѣчитъ. Сей случай сдѣлалъ меня осторожнымъ, чтобы никогда не сказывать докторомъ между чернью, но употреблять мой академическій чинъ.

„Хотя такое лѣченіе, сравнивая съ записками и примѣчаніями врачей, кажется быть убійственнымъ: однако должно и то взять въ разсужденіе, что ежели бы наша бабушка часто своимъ лѣченіемъ отиралила на тотъ свѣтъ, то бы безъ сумнѣнія скоро потеряла себѣ довѣренность. Можетъ статься, что крѣпость сложенія нашихъ простолюдиновъ въ состояніи понестъ и ядовитое лѣкарство; и вслѣдъ, кто предосудительныхъ мыслей о ядовитыхъ тѣлахъ не имѣеть, безпрекословно со мною согласится, что многія, называемыя отъ насъ ядомъ, могутъ въ рукѣ разумнаго быть божественнымъ лѣкарствомъ, только бы онѣ не были развѣшаны по бабушкиному безмѣну“¹⁾.

Старый обычай былъ въ тѣ времена еще такъ силенъ, что нашъ

¹⁾ „Дневныя Записки“, Слб. 1771, т. I, стр. 16—18.

путешественникъ встрѣтилъ знахарство не только у владимирской дворничихи, но и у чиновнаго офицера въ Арзамасѣ:

„Хотя городъ Арзамасъ снабденъ ученымъ врачомъ, однако люди въ болѣзняхъ своихъ полагаютъ боѣе надѣваніе на незаконно ко врачеванію рожденныхъ, какъ-то на старухъ, мальханницъ, ворожей и прочая. На сколько тамъ наши единоземцы не рѣдко подвергаютъ себя въ опасность жизни, не трудно будетъ заключить изъ слѣдующаго.

„По утру весьма рано посѣтилъ насъ одинъ изъ чиновныхъ отставныхъ офицеровъ, о котораго имени и чинѣ благопристойность упомянуть не дозволяетъ. Онъ былъ человекъ пожилой и словоохотливъ. Рассказывая многія свои странныя похождения, которыя намъ, какъ всякъ легко повать можетъ, не весьма были пріятны, довелъ рѣчь до нашихъ врачей, при которой, если бы кто имѣлъ охоту, совершенно бы могъ научиться злословію. Сколько онъ унижалъ наше трудами и порядочнымъ ученіемъ приобрѣтенное искусство врачеванія, столь много выхвалялъ покойной бабушки своей лѣчебникъ и неудобопонятную его пользу.

„Оказывая желаніе быть соучастниками его премудрости, безъ дальнаго прошенія, Брамарбазъ ¹⁾ обѣщалъ намъ открыть сокровенная своего наследственнаго лѣчебника; и такъ пошли мы съ нимъ за городъ по Алаторской дорогѣ. Первою встрѣчею намъ была плакунъ-трава (*Lithrum foliagata*), которую нашъ Иппократъ, пошептавъ, не знаю что, сорвалъ и остановясь говорилъ: плакуномъ ее называютъ для того, что она заставляетъ плакать нечистыхъ духовъ. Когда будешь при себѣ имѣть сію траву, то всѣ непріязненные духи ей покоряются. Она одна въ состояніи выгнать домовыхъ дѣдушекъ, кикиморъ, и проч., и открытъ приступъ къ закланію кладу, которой нечистые стрегутъ духи; что послѣднее собственнымъ своимъ утверждалъ примѣромъ, хотя онъ съ приобрѣтеннымъ кладомъ столь бѣденъ, сколько можно представить себѣ бѣдность въ совершенномъ ея видѣ. Отъ чертей дошло дѣло до ворожей. Колюка (*Carlina vulgaris*), въ великомъ множествѣ, по пригоркамъ растущая, подала къ тому поводъ. Траву сію, — продолжалъ онъ, — должно знать всякому военному и проѣзжающему человеку. Дымомъ ея когда окурить ружье, то никакой колдунъ его заговорить не можетъ.

„Царь-трава имѣла такія же похвалы, какъ отъ Владимирской врачбеницы“ ²⁾, и т. д.

И затѣмъ идетъ на цѣлыхъ шести страницахъ перечисленіе лекарственныхъ травъ, дѣйствіе которыхъ объяснял арзамасскій знахарь и къ которымъ Лепехинъ прибавилъ ихъ ботаническія названія. Очевидно, мы имѣемъ тутъ дѣло съ народнымъ старымъ „травникомъ“ или „зелейникомъ“ еще въ живомъ употребленіи, и любопытно, что находимъ его въ дѣлѣ у „чиновнаго офицера“. Останавливаясь въ деревнѣ, нашъ путешественникъ обстоятельно описываетъ способы крестьянскаго труда, рассказываетъ бытовья повѣрья, деревенскіе нравы и обычаи, и если бы новѣйшіе народники больше

¹⁾ Дѣйствующее лицо изъ комедіи Сумарокова „Тресотиніусъ“, — офицеръ-хвастунъ.

²⁾ Тамъ же, стр. 72 и слѣд.

знакомы были со старой литературой, они увидѣли бы, что Лепехинъ больше ста лѣтъ тому назадъ описывалъ бытовья формы, которыя, по ихъ мнѣнію, чуть ли не въ первый разъ ими открыты. Укажемъ, напр., на описаніе деревенской помочи (I, стр. 129—130): рассказавъ о помочи обыкновенной, Лепехинъ упоминаетъ и другой ея родъ, который „всякой похвалы достоинъ“ и называется сиротскою или вдовьею помочью. Лепехинъ рассказываетъ о дѣлежѣ пашни, уборкѣ хлѣба, устройствѣ одоньевъ и овиновъ, постройкѣ избъ, и, встрѣчаясь въ восточныхъ краяхъ Россіи съ инородческими племенами, даетъ любопытные факты объ ихъ отношеніяхъ съ русскими. Плавая по Волгѣ, онъ выслушиваетъ народныя легенды (любопытная легенда о Царевѣ курганѣ, I, стр. 234—235) и старается провѣрить ихъ фактическими наблюденіями. Дальше упомянемъ объ его археологическихъ и историческихъ замѣткахъ, которыя остаются любопытны и нынѣ.

Однимъ словомъ, мы видимъ въ Лепехинѣ умнаго наблюдателя, съ простымъ здравымъ отношеніемъ къ дѣлу, разносторонне подготовленнаго къ изученію, которое онъ предпринимаетъ, вовсе не чуждаго народной жизни и не имѣющаго понятія объ „оторванности“, которую хотятъ навазать ему услужливые потомки. Научное знаніе, съ которымъ онъ обращается къ народной жизни, есть такое простое знаніе природы, исторіи, человѣческаго труда, въ которомъ онъ и вообразить не могъ какого-нибудь противорѣчія съ народнымъ духомъ, и онъ очень естественно примѣняетъ его къ различнымъ явленіямъ русской жизни и природы. Какъ ученый и какъ человѣкъ своего времени, онъ былъ, конечно, раціоналистъ; иначе и не могло быть; но онъ записалъ рассказы Эскулаповой родственницы или офицера-знахаря въ Арзамасѣ, какъ потому, что это была любопытная черта народнаго быта, такъ и потому, что ему уже видѣлась важность этихъ фактовъ для науки, хотя настоящая этнографическая наука въ то время еще не существовала. Народная жизнь не представляла какой-нибудь особенной новости для Лепехина, человѣка самаго петербургскаго и воспитавшагося на самой западной наукѣ: явленія этой жизни были любопытны ему, какъ ученому, иногда бывали ему новы, какъ уроженцу другого края и человѣку другихъ занятій, но вовсе не были сюрпризомъ. У себя дома онъ былъ окруженъ тою же русской жизнью; тогдашняя городская (даже столичная) жизнь отличалась еще большою патриархальностью, была переполнена старинными нравами и народнымъ обычаемъ: на городскихъ улицахъ справлялись деревенскіе праздники и шли кулачные бои; служилое дворянство было въ большинствѣ наѣзжее, привозившее въ своей дворнѣ деревенскіе элементы и не прерывавшее связей съ деревнею;

въ быту средняго класса (какъ теперь въ извѣстной части купечества и мѣщанства) свято хранились дѣдовскіе приемы, и Лепехинъ могъ бы знать Эскулаповыхъ родственницъ въ самомъ Петербургѣ. Немудрено, что въ „Запискахъ“ видно хорошее знаніе народнаго языка: въ самомъ его разсказѣ встрѣчаются термины, иногда, вѣроятно, неизвѣстные повѣйшимъ народникамъ.

Деревня временъ Лепехина живетъ вполне патриархальною жизнью, но въ средѣ помѣщиковъ уже принимаются техническія знанія и научная любовнательность. Таковъ былъ въ то время извѣстный П. И. Рычковъ, котораго Лепехинъ посѣтилъ въ его заволжскомъ имѣніи.

Озерецковскій былъ спутникомъ Лепехина въ качествѣ студента и участникомъ его работъ, и его собственныя путевыя записки составлялись въ томъ же духѣ и по той же программѣ. Въ это время онъ уже исполнялъ самостоятельно особыя поѣздки, и многія описанія его вошли въ составъ „Записокъ“ Лепехина. Это былъ опять натуралистъ, археологъ и этнографъ; интересъ научный опять соединяется съ вопросами практической пользы. Отмѣчая характеръ мѣстности, описывая флору и фауну, онъ собираетъ мѣстныя географическія названія, статистическія свѣдѣнія о народныхъ промыслахъ и нерѣдко даетъ любопытныя бытовыя картинки, которыя могутъ послужить цѣннымъ матеріаломъ для исторической этнографіи. При собираніи свѣдѣній Озерецковскій поступалъ вообще съ большою осмотрительностью: онъ собиралъ ихъ отъ свѣдущихъ мѣстныхъ людей и знатоковъ края изъ всякихъ классовъ общества, сличалъ данныя и старался провѣрять ихъ собственными наблюденіями. Дальше мы упомянемъ объ его историческихъ наблюденіяхъ, а здѣсь ограничимся двумя-тремя образчиками бытовыхъ описаній, относящихся къ Олонецкому и Новгородскому краю.

„Въ селѣ Видлицѣ былъ я въ праздникъ Иліи пророка. По окончаніи обѣдни, женскій полъ разбрелся по кладбищу, церковь окружающему, и каждая женщина, поклонясь со знакомою ей могилою, обнимала оную обѣими руками. То же самое дѣлали онѣ и между собою при свиданьи одной съ другою: охватывались только руками, а не цѣловались. Такое повѣрье во всей странѣ сей есть общее. Другое обыкновеніе—строить въ деревняхъ и въ лѣсу часовни, ставить въ нихъ образа, изъ конхъ всегда бываетъ одинъ мѣстный, то-есть такой, которому предпочтительно передъ другими часовня посвящается. Большая часть часовенъ посвящены Иліѣ пророку и святителю Николаю...

„Въ Старой Русѣ среда и пятница дни весьма непріятные и тягостные отъ бродягъ, приходящихъ въ городъ изъ всего округа не просить, а требовать милостыни отъ всякаго дома, по заведенному тамъ обыкновенію. Не успѣтъ хозяинъ или хозяйка дома одѣлать копѣйками мужиковъ, бабъ, дѣвченокъ, ребятшекъ и пр., какъ тотчасъ приходятъ къ окну другіе канюки, которымъ вѣтъ счету, сколько ихъ по середамъ и пятницамъ въ городѣ таскается. Въ

другіе дни ихъ не бываетъ. Бродяги сіи не отходятъ отъ дому, равнѣ отгоняишь ихъ тѣмъ, когда позовешь мужика покопать въ огородѣ землю, а женщину или дѣву вымыть полъ въ горницѣ...

„Во время ярмарки на Валаамѣ, деревенскія женщины и дѣвки ранѣ всѣхъ отъ сна пробуждались, и вставши, немедленно бросались въ водѣ, чтобъ умываться. Дѣйствіе сіе продолжается у нихъ не мало времени, потому что онѣ, во-первыхъ, полощутся водою, потомъ моются мыломъ, которое смывъ, натираются бѣлилами, и натершись, стоятъ или сидятъ на судахъ безъ всякаго дѣйствія, давая время бѣлиламъ хорошенько вобраться въ кожу. Послѣ сего бережно смываютъ ихъ съ лица, и какъ многія изъ нихъ зеркалъ не имѣютъ, то смотрятся въ воду, и съ помощью сего зеркала уравниваютъ на себѣ подложную бѣлизну, которую, наконецъ, прирашиваютъ румянами; надѣваютъ на себя кумачные сарафаны и повязываются алыми платками или лентами, и тогда уже съ судовъ своихъ сходятъ. Многіе безъ сумнѣнія уборку сію похулять, особливо за излишнее употребленіе бѣлилъ, которыя составляютъ изъ вредной свинцовой извести; но поелику деревенскія женщины убираются такимъ образомъ только во время ярмарки, а въ домахъ у себя въ одни большіе праздники, то бѣленье сіе ни мало лицъ у нихъ не портитъ, а доказываетъ, напротивъ того, ихъ опрятность, веселось духа и охоту нравиться, когда есть кому казаться. Изъ сего ясно также видѣть можно, что въ нравахъ ихъ грубости нѣтъ, и что народъ, который печется о убранствѣ, весьма способенъ къ принятію просвѣщенія, ему приличнаго“.

Отъ путешественника не укрылись и такія черты нравовъ, которыя свидѣтельствовали о самоуправствѣ и грабительствѣ чиновнической братіи и о ягначности народа:

„При устьѣ Большой Инды,—говоритъ онъ,—жилъ одинъ только крестьянинъ, который, испужавшись ночного моего прѣзда, въ кѣлти своей, за одною только отъ меня перегородкою, вслухъ совѣтуется съ женою своею, чѣмъ меня подарить. По окончаніи совѣта, который весь я слышалъ, приноситъ онъ мнѣ рублевикъ съ боязнью, со страхомъ, чтобъ я малымъ его подаркомъ не огорчился. На вопросъ мой, за что даетъ онъ мнѣ рубль, отвѣчалъ онъ, чтобы я его не обидѣлъ. — Походи съ твоимъ рублемъ, сказалъ я; мнѣ обидѣть тебя незачто. — Когда мужикъ вышелъ отъ меня въ сѣнцы къ женѣ своей, и отдалъ ей рубль, то она сказала: другому офицеру пригодится. Такимъ-то образомъ бѣдные люди отъ проѣзжающихъ безчынниковъ тамъ откупаются“.

По своему взгляду на вещи, ученому и житейскому, Озерецковскій былъ человѣкъ той же школы. Такъ, напр., онъ смотритъ на монастыри и на расколъ: въ одномъ случаѣ онъ руководится соображеніями пользы и вознагражденія за труды, въ другомъ—побужденіями вѣротерпимости, которая мало придаетъ значенія внѣшнимъ формамъ религіознаго чувства. Рассказывая о Валаамскомъ монастырѣ, жизнь въ которомъ, за исключеніемъ одной годовой ярмарки, представляетъ почти абсолютное уединеніе, Озерецковскій прибавляетъ:

„Потому валаамскій монастырь наиспокойнѣйшимъ можетъ быть убѣжищемъ для такихъ людей, кои въ обществѣ исполнили долгъ челоуѣка и гражданина, и тѣмъ заслужили, чтобъ оно позволило имъ препроводить остальную

жизнь въ совершенномъ спокойствіи, не требуя отъ нихъ больше никакого служенія. Но грѣшно бы было, если бы такое спокойствіе безъ разбору давалось людямъ, обществу не служившимъ, которые однимъ только отрицаніемъ отъ міра право на то списываютъ". Монастырь на Черемнецкомъ озерѣ, близъ Луги, имѣеть „собственное земледѣшество, скотоводство и рыбную ловлю. Разумѣется, что монахи сами ни земли не папугутъ, ни скота не пасутъ, ни рыбы не ловятъ, а отдають угодыя свои крестьянамъ; сами-жъ живутъ какъ помѣщики, имѣя превьгодныя мѣста, на какихъ лежать всѣ въ Европѣ монастыри, которыхъ многое множество" и т. д.

Раскольникъ, по его мнѣнію, — „такіе же христіане, какъ я и всякъ мнѣ подобный, но думаютъ, что особливими своими обрядами въ богослуженіи лучше угождаютъ Богу; у всѣхъ сего рода людей спасеніе души есть главная причина ихъ заблужденій" ¹⁾.

Не будемъ останавливаться на описательныхъ трудахъ названнаго выше академика Иноходцова: довольно сказать, что въ нихъ опять господствуетъ та же программа, какую мы видѣли у Лепехина, но съ бѣльшимъ количествомъ свѣдѣній географическихъ и статистическихъ. Иноходцовъ посвящаетъ также не мало труда на разысканія историческія и сообщаетъ не мало подробностей о мѣстномъ бытѣ, нравахъ, обычаяхъ, одеждѣ, препровожденіи времени, такъ что его описанія причисляются къ лучшимъ этнографическимъ трудамъ нашей литературы прошлаго вѣка ²⁾. Такимъ же характеромъ отличаются путешествія академика Севергина, гдѣ опять среди естественно-научныхъ описаній разсѣяно не мало любопытныхъ этнографическихъ и бытовыхъ данныхъ и т. д. ³⁾.

Въ то же время, когда Академія предпринимала рядъ ученыхъ экспедицій въ разные края Россіи, интересъ къ изученію своего отечества развивается въ средѣ частныхъ лицъ, и эта сторона тогдашней описательной литературы опять чрезвычайно любопытна исторически, какъ фактъ самостоятельнаго общественнаго интереса къ дѣлу. Ученые путешественники въ самыхъ далекихъ захолустьяхъ встрѣчали людей съ научною любознательностью, съ хорошимъ и разностороннимъ знаніемъ своего края, отъ которыхъ имѣ случилось

¹⁾ Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, стр. 66 — 68, 78 — 80, 109—110; Путешествіе на озеро Селигеръ, стр. 33—34, 41—42; Путешествія Лепехина, ч. IV, стр. 92 и проч.; Сухоминова, Ист. Росс. Акад. II, 329—334.

²⁾ Ист. Росс. Акад., т. III (Сборникъ, т. XVI, 1877), стр. 217—233, 430.

³⁾ Сухоминовъ, тамъ же, т. IV (Сборникъ, т. XIX, 1878), стр. 55 и слѣд. Отмѣтимъ, напр., разказы о городахъ Торопцѣ, Порховѣ, Валдаѣ; замѣчанія о финскомъ населеніи въ западномъ краѣ, гдѣ одну изъ причинъ умственной и физической подавленности этого населенія Севергинъ очень основательно видитъ въ крѣпостномъ правѣ и т. п. Но при описаніи русско-польскихъ провинцій ученый академикъ имѣеть наивность говорить о „шизматикахъ", не подозревая, что это просто—русскіе православные.

получать весьма полезную поддержку. Въ литературѣ второй половины столѣтія является новый разрядъ сочиненій, посвященныхъ именно мѣстнымъ изученіямъ. Не входя въ подробности этой литературы, укажемъ нѣкоторые факты. Однимъ изъ первыхъ дѣятелей этой мѣстной литературы былъ извѣстный Петръ Ивановичъ Рычковъ (1712 — 1777). Сынъ купца, водившаго дѣла съ иностранцами, Рычковъ не прошелъ никакой правильной школы, но владѣя хорошо нѣмецкимъ языкомъ (которому отецъ хотѣлъ выучить его для торговыхъ дѣлъ), нашелъ службу сначала въ купеческой конторѣ одного иностранца, а вскорѣ и казенное мѣсто бухгалтера въ таможенѣ. Въ этой же должности онъ отправился въ 1734 г. на службу въ „оренбургскую экспедицію“, которою начальствовалъ названный нами раньше Кириловъ, а за нимъ Татищевъ, извѣстный историкъ. Оба начальника были просвѣщенные люди, проникнуты великою ревностью къ изученію отечества, и подъ ихъ вліяніемъ Рычковъ усердно занялся изслѣдованіемъ края, гдѣ проходила его служебная дѣятельность. Онъ дослужился до чиновъ и деревень, былъ членомъ-корреспондентомъ Академіи наукъ и дѣятельнымъ писателемъ по исторіи оренбургскаго края, и по различнымъ вопросамъ торговой и хозяйственной практики. Много его сочиненій помѣщено было въ „Сочиненіяхъ и переводахъ, къ пользѣ и увеселенію служащихъ“, Миллера, съ которымъ онъ велъ дѣятельную переписку, въ „Трудахъ“ тогда только-что основаннаго Вольнаго Экономическаго общества, отъ котораго получалъ медали; было наконецъ и нѣсколько отдѣльныхъ изданій. Труды его обратили на себя вниманіе и въ нѣмецкой литературѣ, въ которой былъ въ тѣ годы вообще большой интересъ къ изученію Россіи ¹⁾).

Труды Рычкова имѣютъ свои немалые недостатки, и именно недостатокъ критическаго отношенія къ источникамъ, свидѣтельствующій объ отсутствіи правильной школы; но они важны по обилію свѣдѣній — самъ Палласъ началъ-было переводъ „Оренбургской топографіи“. Мѣстная исторія была, по мнѣнію Рычкова, необходима: „общая исторія всей Россіи,—говоритъ онъ въ предисловіи къ своей „Казанской исторіи“,—чтобъ быть ей полною и совершенною, по вели-

¹⁾ „Исторія Оренбургская“ помѣщена была въ „Сочиненіяхъ и переводахъ“, изд. Миллера, 1759; „Топографія Оренбургская, то есть обстоятельное описаніе Оренбургской губерніи“, 2 ч. Спб. 1762 (нѣмецкіе переводы: пастора Газе въ Бюшинговомъ „Магазинѣ“, V, 1771, и Родде, Рига, 1772); „Опытъ казанской исторіи древнихъ и среднихъ временъ“, Спб., 1767 (нѣм. переводъ, Рига, 1772); „Введеніе къ астраханской топографіи“ и пр. (книга слабая), М. 1774. Наконецъ, Рычковъ составилъ записки объ осадѣ Оренбурга Пугачевымъ, и оренбургскій „Топографическій лексиконъ“,—послѣдній затерялся. Біографія въ книгѣ Пекарскаго: Жизнь и литературная переписка П. И. Рычкова. Спб. 1867.

кости имперіи и по множеству ея провинцій, изъ которыхъ въ древнія времена во многихъ бывали особенныя царства и княженія, необходимо требуетъ особенныхъ описаній“... Сынъ Рычкова, Николай, также работалъ въ этой описательной литературѣ. Записанный въ полкъ мальчикомъ, онъ 21 года уже вышелъ въ отставку съ чиномъ капитана, въ 1767 г., и въ томъ же году опредѣленъ „въ команду г. профессора Палласа“, т.-е. въ составъ его ученой экспедиціи. Рычковь-младшій не имѣлъ настоящей подготовки, но добросовѣстный и усердный работникъ, онъ собралъ много полезныхъ свѣдѣній по исторіи и этнографіи сѣверо-восточнаго края Россіи, а позднѣе о киргизъ-кайсацкихъ степяхъ ¹⁾).

Еще болѣе, чѣмъ Рычковь-старшій, были самоучками два усердные труженика по мѣстной исторіи архангельскаго края — Крестининъ и Өоминъ. Вас. Вас. Крестининъ (1728—1795), „архангелогорскій гражданинъ“, повидимому самоучка, представляетъ тѣмъ болѣе любопытный примѣръ серьезной любознательности и упорнаго труда, положеннаго имъ на изученіе своей родины. Его отецъ изъ бѣдныхъ сиротъ Холмогорскаго посада вышелъ въ первостатейные купцы и занималъ важныя посадскія должности въ Архангельскѣ (напр., былъ бургомистромъ), но потомъ потерялъ состояніе, и Крестининъ-сынъ не былъ богатъ и жилъ собственными трудами. Онъ также занималъ разныя посадскія должности, бывалъ посадскимъ старшиной, архивариусомъ въ магистратѣ, мѣщанскимъ писаремъ; впоследствии, за свои службы по выборамъ онъ получилъ званіе „степеннаго гражданина“. Можно замѣтить, что онъ зналъ по-нѣмецки и по-латыни. Среди провинціального захолустья и невѣжества собрался въ Архангельскѣ въ 1760-хъ годахъ небольшой кружокъ людей, на которыхъ отозвалось просвѣтительное вліяніе времени. Душою этого кружка былъ Крестининъ, къ которому присоединился молодой купецъ Александръ Өоминъ и еще два-три человека, между прочимъ прокуроръ Нарышкинъ. Они возъмѣли мысль завести нѣчто въ родѣ историческаго общества для изученія своего края; но обстоятельства мало благопріятствовали ихъ работѣ: захолустное невѣжество всегда съ недовѣріемъ и недоброжелательствомъ смотритъ на такія попытки умственнаго труда; любители исторіи, какъ говорятъ, прослыли вольнодумцами и даже „фармазонами“. Въ 1768 они просили разрѣшенія пересмотрѣть мѣстные архивы, но получили отказъ, а въ 1770-хъ

¹⁾ „Журналъ или дневныя записки путешествія капитана Николая Рычкова по разнымъ провинціямъ россійскаго государства 1769 и 1770 года“ и „Продолженіе Журнала“, Сиб. 1770—1772; „Дневныя записки путешествія кап. Ник. Рычкова въ киргизъ-кайсацкой степи 1771 году“. Сиб. 1772. Нѣмецкій переводъ всѣхъ записокъ, Рига, 1774. — Объ авторѣ ихъ въ той же книгѣ Цеварскаго, стр. 114, 125 и слѣд.

годахъ архивъ губернской канцеляріи, гдѣ было, безъ сомнѣнія, много важныхъ остатковъ старины, сгорѣлъ. Между тѣмъ общество распалось, но Крестининъ продолжалъ трудиться; великой нравственной поддержкой послужило ему знакомство съ Лепехинымъ и Озерецковскимъ, которые заѣхали въ архангельскій край въ 1771 году. Ученые путешественники получили отъ Крестинина много важныхъ указаній и, благодаря имъ, онъ впоследствии сдѣланъ былъ корреспондентомъ Академіи наукъ.—Ревностнымъ поискамъ Крестинина удалось собрать много важнаго историческаго матеріала, не только по исторіи края, но и по далекой русской древности. Такъ, онъ доставилъ для „Древней Россійской Вивліюэки“ Новикова цѣлый рядъ замѣчательныхъ памятниковъ, извлеченныхъ имъ изъ старой Кормчей, какъ, напр., Уставъ князя Владимира о церковныхъ судахъ и о десятинахъ, дополненіе къ нему вел. кн. Ярослава Владимировича и новый важный текстъ Русской Правды. Впоследствии, въ IV-мъ посмертномъ томѣ путешествія Лепехина напечатано было Озерецковскимъ нѣсколько двинскихъ грамотъ съ объясненіями Крестинина; другія работы помѣщалъ онъ въ академическихъ изданіяхъ, какъ „Новыя Ежемѣсячныя Сочиненія“ и мѣсяцословы. Наконецъ Крестининъ издалъ нѣсколько отдѣльныхъ сочиненій по исторіи двинскаго края ¹⁾.

Упомянутый А. И. Оминъ, въ 80-хъ годахъ прошлаго вѣка публичный нотаріусъ въ Архангельскѣ, составилъ описаніе Бѣлаго моря, былъ также корреспондентомъ Академіи наукъ и членомъ Вольнаго Экономическаго Общества ²⁾.

Для мѣстныхъ описаній Россіи много работалъ плодovitый собиратель Вас. Григ. Рубанъ (1739—1795). Онъ учился въ кievской, потомъ въ московской славяно-латинской академіи и московскомъ университетѣ, издавалъ нѣсколько журналовъ и много писалъ по исторіи и статистикѣ Малороссіи; въ своихъ „Любопытныхъ мѣсяцесловахъ“ (съ 1776) онъ помѣстилъ много матеріаловъ для мѣстной исторіи (росписи губерній или намѣстничествъ, съ показаніемъ числа

¹⁾ „Историческіе начатки о двинскомъ народѣ древнихъ, среднихъ, новыхъ и новѣйшихъ временъ“, ч. I (доведено до конца XVII вѣка). Спб. 1784; „Историческій опытъ о сельскомъ старинномъ домостроительствѣ двинскаго народа въ сѣверѣ“, Спб. 1785; „Начертаніе исторіи города Холмогоръ“, съ двумя таблицами, издано академикомъ Озерецковскимъ, Спб. 1790; „Краткая исторія о городѣ Архангельскомъ“, Спб. 1792.

²⁾ Описаніе Бѣлаго моря съ его берегами и островами вообще, и пр. Спб. 1797. Биографическія свѣдѣнія о Крестининѣ и Оминѣ см. въ журналахъ: „Малекъ“ 1844, № 10, стр. 54, и „Финскій Вѣстникъ“, 1845, т. VI, стр. 195; далѣе „Архангельскія Губ. Вѣдомости“, 1868, № 43, ст. Гр. Заринскаго, и 1871, № 58—78, въ статьяхъ П. Е. (Ефименко): „Что сдѣлано для исторіи крайняго сѣвера и что слѣдуетъ сдѣлать“, о Крестининѣ и Оминѣ въ № 60—62.

провинцій и городовъ; описанія епархій и т. п.); издалъ описанія Петербурга и Москвы и т. д. ¹⁾. Въ Малороссіи, присоединеніе которой не было еще слишкомъ давнимъ фактомъ, мѣстный интересъ подобныхъ изученій связывается еще съ воспоминаніями о недавней исторической особности, съ чувствомъ особности этнографической, и мѣстная исторія вызвала рядъ отчасти замѣчательныхъ работъ, которыя, впрочемъ, въ то время обращались больше въ рукописяхъ и изданы были уже къ нашему времени. Такова, напр., замѣчательная книга Шафонскаго, изданная уже въ наше время ²⁾: это—по-истинѣ драгоценный матеріалъ для изученія южной Россіи, своей мыслью и исполненіемъ не уступающій лучшимъ работамъ новѣйшихъ статистиковъ народнаго быта. Таковы были историческіе труды Ханенка, Симоновскаго, Ригельмана и др. Изданы были еще въ прошломъ столѣтіи „Записки о Малороссіи, ея жителейхъ и произведеніяхъ“, Якова Марковича (ч. I, Спб. 1798).—Упомянемъ еще отдѣльные географическіе труды Засѣцкаго, московскаго профессора Дильтея, Миллера, Павла Сумарокова и др. ³⁾.

Наконецъ, большая масса описательныхъ, географическихъ и историческихъ работъ помѣщалась въ „Мѣсяцесловахъ“, издававшихся Академіей наукъ. Эти статьи были потомъ соединяемы въ особомъ сборникѣ, составляющемъ весьма цѣнный историко-географическій матеріалъ ⁴⁾.

¹⁾ Землеописаніе Малія Россіи, Спб. 1777; Историческое, географическое и топографическое описаніе Санктпетербурга, въ 1703 по 1751 годъ, сочин. Андрея Богданова, дополнено и издано В. Рубаномъ, Спб. 1779; Описаніе императорскаго столичнаго города Москвы, Спб. 1782; Всеобщій и совершенный Гонецъ и Путеводитель, или полный повсемѣстный російскій и повсюдний европейскій дорожникъ, 2 части, Спб. 1791.—О Рубанѣ, см. Филарета, Обзоръ дух. литературы, кн. 2, изд. 2-е Черниговъ, 1863, стр. 126—128; Ист. Росс. Акад. I, стр. 304—308.

²⁾ Черниговскаго намѣстничества топографическое описаніе съ краткимъ географическимъ и историческимъ описаніемъ Малія Россіи, сочиненное Аванасіемъ Шафонскимъ, въ Черниговѣ, 1786 года. Кіевъ, 1851.

³⁾ Историческія и топографическія извѣстія по древности о Россіи, и частно о городѣ Вологдѣ и его уѣздѣ, и о состояніи онаго по нынѣ, собралъ Алексій Засѣцкій, М. 1780; Собраніе нужныхъ вещей для сочиненія новой географіи о російской имперіи, часть I-я: О тульскомъ намѣстничествѣ, соч. Филиппа Дильтея; на російскомъ и французскомъ языкахъ, Спб. 1781; Описаніе живущихъ въ казанской губерніи азіатскихъ народовъ, соч. Герарда Миллера, Спб. 1791; Путешествіе по всему Крыму и Бессарабіи въ 1799 году, соч. Павла Сумарокова, М. 1800. О географическихъ работахъ Дильтея, см. въ „Биографическомъ словарѣ моск. профессоровъ“, т. I, стр. 309—310.

⁴⁾ Собраніе сочиненій, выбранныхъ изъ мѣсяцеслововъ на разные годы, издано Академіей наукъ. 10 частей, Спб. 1785—1798.—Объ этой литературѣ мѣстныхъ описаній см. еще въ книгѣ В. Семенова: Крестьяне въ царствованіе имп. Екат. II, Спб. 1881, стр. XLV.

Вся эта литература описаній Россіи, отмѣченная здѣсь только въ самыхъ общихъ чертахъ, составляетъ именно произведеніе реформы и „петербургскаго періода“, и не требуетъ особенныхъ объясненій то, какое значеніе принадлежитъ ей въ вопросѣ развитія нашего національнаго сознанія. Русскому народу привелось, еще въ незаконченномъ складѣ самаго государства, раскинуться на такія громадныя пространства, что вопросъ національнаго сознанія получалъ у насъ особенную черту, незнакомую другимъ народамъ. Нѣмцу, французу, англичанину старыхъ временъ не трудно было освоиться со всѣми краями своего отечества, составить понятіе объ его цѣломъ и варіаціяхъ страны и населенія. У насъ было не то. Не только въ старое, но и въ наше время только очень рѣдкимъ людямъ удавалось своими глазами видѣть разные концы государства, населенные и русскими, и не-русскими, совершенно непохожіе одинъ на другой по всѣмъ условіямъ почвы, климата и быта: отдѣльныя части государства разъединялись громадными пространствами, трудностью сообщеній, наконецъ національностью, языкомъ, религіей, всей прежней исторіей,—но съ этимъ разъединялось конечно и сознаніе. Мѣстныя населенія жили особнякомъ, чуждыми другъ другу, а вмѣстѣ чуждыми тѣмъ умственнымъ и нравственнымъ возбужденіямъ, которыя проистекаютъ изъ болѣе тѣснаго общенія. Правда, были сильныя элементы объединенія: безграничный авторитетъ власти, централизація управленія, одна вѣра и языкъ огромнаго господствующаго большинства; но при недостаткѣ общественно-бытового соединенія и взаимодѣйствія національная жизнь самого большинства оставалась въ какомъ-то бессознательномъ туманѣ подъ властью инстинктивныхъ побужденій преданія и случайностей. Если въ административномъ смыслѣ отдѣльные края Россіи становились въ старину настоящими сатрапіями подъ самовольнымъ и грабительскимъ правленіемъ воеводъ, отъ которыхъ жители—„сироты“ бѣгали съ своими „животишками и дѣтишками“, или на которыхъ они слезно (и всего чаще безплодно) жаловались въ Москву, то подобный разбродъ долженъ былъ отражаться и въ умственной жизни народа, въ стихійномъ складѣ народнаго сознанія. Тѣ живыя силы, какія не могли отсутствовать въ народѣ, силы ума, таланта, любознательности, пропадали отъ недостатка школы и недостатка общенія: имъ не на чемъ было развиваться и горизонтъ суживался. Въ то время какъ въ европейской литературѣ совершались уже великія приобрѣтенія научнаго знанія, у насъ не было признаковъ научныхъ понятій о природѣ, ни географическаго знанія своей страны, ни сознательнаго пониманія своей исторіи. Петровская реформа внесла великую двигательную силу—научное знаніе. Только съ этимъ приобѣтается болѣе или

меняе точное представленіе о дѣйствительности народной жизни, ея условіяхъ, ея внѣшнемъ и внутреннемъ складѣ, которое указываетъ народу возвышенныя цѣли просвѣщенія и вызываетъ къ жизни умственныя силы и поэтическое творчество народа. Мы привели слова знаменитаго европейскаго ученаго, который въ нашихъ старыхъ путешествіяхъ XVIII вѣка видѣлъ не только великое обогащеніе науки, но знаменательный фактъ національнаго самосознанія. Дѣйствительно, эти работы первыхъ русскихъ изслѣдователей были дѣломъ никогда ранѣе небывалымъ: онѣ заключали въ себѣ начало новыхъ внутреннихъ отношеній общества и народа, освѣщенныхъ научнымъ знаніемъ и сознательной общественной мыслью. Вотъ еще слова историка русской науки прошлаго вѣка, гдѣ указывается великое значеніе трудовъ нашихъ ученыхъ какъ для чистой науки, такъ и для прямыхъ потребностей русскаго общества. То поколѣніе русскихъ ученыхъ,—говоритъ онъ,—которое дѣйствовало во второй половинѣ прошлаго столѣтія, образовывалось подъ непосредственнымъ вліяніемъ Ломоносова и продолжало преданія его дѣятельности; черезъ это посредство оно продолжало преданіе Петровской реформы.

„Румовскій, Котельниковъ, Протасовъ получили свое научное образованіе подъ руководствомъ Ломоносова; Лепехинъ и Иноходцовъ были учениками Румовскаго и Котельникова; Озерцовскій, Соколовъ, Севергинъ образовались подъ благотворнымъ вліяніемъ Лепехина, и т. д. Названныя нами поколѣнія русскихъ ученыхъ, отъ Ломоносова до Севергина, связаны между собою основными началами своей научной дѣятельности и литературнымъ преданіемъ, вытекавшимъ изъ жизненныхъ условій времени и историческаго хода русской образованности.

„Всѣ эти ученые принадлежали, подобно Ломоносову, къ математикамъ и натуралистамъ и, также подобно ему, расширяли кругъ своей дѣятельности, перенося ее въ область чисто литературную. Такое же явленіе замѣчается и у другихъ народовъ, будучи естественнымъ слѣдствіемъ тогдашняго состоянія наукъ и образованности въ Европѣ. Заслуги нашихъ ученыхъ признавались и признаются какъ современными имъ свѣтлыми науки, такъ и позднѣйшими судьями (отзывы Палласа, Леонарда Эйлера)...

„Русскимъ ученымъ восемнадцатаго столѣтія приходилось, подобно Ломоносову, прокладывать путь къ водворенію у насъ науки и защищать права ея въ борьбѣ съ невѣжествомъ, равнодушіемъ и предрассудками. Сама жизнь заставляла Ломоносова такъ часто и такъ горячо доказывать, что наука не враждебна религіи; что изученіе законовъ природы не умаляетъ, а возвышаетъ религиозное чувство, и что великій грѣхъ возставать на науку и задерживать ея свободное развитіе. Одинъ изъ учениковъ Ломоносова, Протасовъ, подробно объяснялъ значеніе слова „природа“ съ цѣлью опровергнуть обвиненіе, вводимое на науку, что будто бы она приписываетъ природѣ и ея законамъ ту силу и то всемогущество, которыя неотъемлемо и нераздѣльно принадлежатъ божеству. Подобная же мысль проглядываетъ и въ доказательствахъ важности и значенія той или другой науки, приводимыхъ ея представителями...

„Вторая половина восемнадцатаго столѣтія ознаменована пробужденіемъ

въ русскомъ обществѣ самосознанія. Въ литературѣ оно выразилось въ дѣятельности Новикова—въ содержаніи и направленіи его журналовъ, въ изданіи памятниковъ исторической жизни русскаго народа, и т. д. То же стремленіе къ самопознанію обнаруживается и въ ученыхъ путешествіяхъ по Россіи, принятыхъ съ цѣлью ознакомиться съ естественными и бытовыми особенностями Россіи. Еще Ломоносовъ доказывалъ необходимость путешествія по Россіи для опредѣленія географическаго положенія мѣстъ, для производства метеорологическихъ наблюденій, вмѣстѣ съ тѣмъ для собиранія лѣтописей, и т. п. Такъ же широко задуманы и достойнымъ образомъ исполнены путешествія по Россіи, совершенныя Лепехинымъ, Иноходковымъ, Озерецковскимъ, Соколовымъ, обогатившія науку новыми данными и положившія твердое начало всестороннему изученію Россіи.

„Русскіе академики, отъ Ломоносова до Севергина, трудились для водворенія знаній въ Россіи, для поднятія умственнаго уровня русскаго общества и для народнаго образованія. Съ этими цѣлями они составляли учебники и руководства на русскомъ языкѣ, читали публичныя лекціи, помѣщали научныя, общедоступныя, статьи въ повременныя изданія, и т. д. Членамъ Академіи наукъ и Россійской академіи принадлежитъ честь созданія и усовершенствованія русской научной терминологіи. Благодаря ихъ усиліямъ, наука впервые заговорила у насъ на родномъ языкѣ—событіе въ высшей степени важное не только въ исторіи русскаго литературнаго языка, но и въ исторіи русской образованности вообще. Въ литературѣ всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ считается эпохою введеніе роднаго языка въ область науки, и высоко цѣнятся заслуги лицъ, которыя, подобно Вольфу въ Германіи, начали писать о научныхъ предметахъ на отечественномъ языкѣ“

„Трудясь для науки и просвѣщенія, наши ученые, отъ Ломоносова до Севергина, отзывались на требованія общественныя, и не мало содѣйствовали внесенію въ общество просвѣдительныхъ началъ. То, что написано Озерецковскимъ по поводу университетовъ и цензуры, проникнуто такимъ уваженіемъ къ правамъ разума и къ свободѣ изслѣдованія, такимъ сочувствіемъ къ наукѣ и литературѣ, что должно быть по всей справедливости отнесено къ лучшимъ произведеніямъ тогдашней, не только русской, но и вообще европейской, публицистики“¹⁾.

Такимъ образомъ, научное изслѣдованіе Россіи шло рядомъ и въ одномъ духѣ съ лучшими стремленіями литературы. Общественная мысль все болѣе останавливается на положеніи народа, на характерѣ его понятій, на степени его образованія или невѣжества, на его матеріальныхъ и умственныхъ правахъ и потребностяхъ. Въ 1760-хъ годахъ возникала мысль объ освобожденіи крестьянъ. Въ 1780-хъ годахъ, когда правительство еще не было напугано французской революціей и сохраняло прежнія просвѣдительныя намѣренія, предпринять былъ замѣчательный планъ народнаго образованія и основаніе „народныхъ училищъ“, для которыхъ издана была извѣстная книжка: „О должностяхъ челоѣка и гражданина“. Указателемъ того, къ чему приходила общественная мысль, служитъ книга Радицева, которая

¹⁾ Исторія Росс. Академіи, IV, стр. 2—5.

любопытнымъ образомъ приняла тогда форму такихъ же „дневныхъ записокъ“, какъ путешествія нашихъ ученыхъ.

Тотъ же общій характеръ, какой имѣли труды нашихъ ученыхъ въ области естествознанія и описанія Россіи, гдѣ даже натуралистъ становился этнографомъ и затрогивалъ жизненные вопросы быта, повторяется и въ развитіи нашей историографіи.

Нѣтъ надобности входить здѣсь въ подробности развитія нашей историографіи съ ея специальной технической стороны: какъ возникали первыя научныя работы по русской исторіи, собирались ея памятники, начиналась историческая критика, дѣлались первые опыты ея систематическаго построенія и т. д. Обо всемъ этомъ есть] довольно свѣдѣній въ литературѣ ¹⁾. Развитіе научной историографіи само по себѣ составляетъ знаменательный фактъ въ судьбѣ нашей образованности: съ этимъ получалась первая возможность уразумѣнія прошедшаго, которое до тѣхъ поръ было доступно только чрезъ посредство компилятивнаго набора фактовъ, или сырого, полу-забытаго, полу-понимаемаго преданія. Историографія прошлаго вѣка успѣла сдѣлать, говоря безотносительно, не очень много. Занятая въ особености вопросами о началѣ государства, первыми поисками матеріаловъ и ихъ первоначальнымъ разборомъ, она не оставила цѣльнаго труда и, кромѣ опыта Шлёцера, не успѣла даже намѣтить цѣльнаго плана: Карамзину пришлось быть первымъ строителемъ русской исторіи. Тѣмъ не менѣе историки прошлаго вѣка имѣютъ великую заслугу: какъ названные выше ученые натуралисты и путешественники впервые приводили въ извѣстность и въ сознаніе общества самую территорію отечества, ея природу, населеніе, формы народнаго быта, такъ историки впервые собирали забытые памятники старины, пытались внести связь въ *disjecta membra* историческаго преданія, понять ихъ историческій смыслъ. Тѣ и другіе одинаково старались на мѣсто грубаго и неполнаго эмпиризма поставить точное знаніе, отдать себѣ отчетъ въ прошлыхъ и настоящихъ

¹⁾ См. Очеркъ литературы русской исторіи до Карамзина, А. Старчевскаго, Спб. 1845; Общія понятія о хронографахъ вообще и описаніе нѣкоторыхъ списковъ ихъ, хранящихся въ бібліотекахъ слб. и моск., Н. Иванова, Казань, 1848; Н. М. Карамзинъ. Матеріалы для біографіи, М. Погодина, 2 т., М. 1866; „Современное состояніе русской исторіи какъ науки“ (Моск. Обзор., 1859, кн. I, въ началѣ статьи); отдѣльныя изслѣдованія о нѣмецкихъ и русскихъ историкахъ прошлаго вѣка, напр. Соловьева—о Миллерѣ, Шлёцерѣ, Волгинѣ и др.; Нела Попова—о Татищевѣ; А. Н. Полова—о Шлёцерѣ; Вестужева-Рюмина—о Татищевѣ и Шлёцерѣ; Сухомлинова—о Волгинѣ; Невеленова—объ историческихъ трудахъ и изданіяхъ Новикова; Добролюбова—о „Собесѣдникѣ“ и историческихъ трудахъ имп. Екатерины II, и т. д.

фактахъ народной жизни, уразумѣть ея нужды и найти средства къ ихъ удовлетворенію. Словомъ, это былъ умственный переворотъ, логически да и фактически слѣдовавшій изъ реформы,—потому что первые начатки историческаго знанія, какъ и описаній Россіи, восходятъ ко временамъ Петра, къ трудамъ его собственнымъ и его непосредственныхъ выучениковъ. Итакъ, не касаясь частныхъ вопросовъ историографіи прошлаго вѣка, остановимся лишь на нѣсколькихъ примѣрахъ того общаго настроенія, въ какомъ совершались работы тогдашнихъ историковъ, и гдѣ мы опять встрѣтимся съ самыми непосредственными вліяніями западной науки и ихъ отраженіемъ въ русскихъ умахъ.

Здѣсь опять бросаются въ глаза два явленія: во первыхъ, что дѣйствительное вліяніе западной науки тотчасъ обращается въ разумное примѣненіе къ русской жизни и содержанію, и во-вторыхъ, что люди, наиболѣе серьезно принимавшіе это вліяніе и работавшіе въ его смыслѣ, оставались однако такими русскими людьми, какихъ только можно желать. Въ исторической литературѣ таковы были два замѣчательнѣйшіе писателя прошлаго вѣка на этомъ поприщѣ, Татищевъ и Болтинъ. Тотъ и другой ревностно старались усвоить себѣ замѣчательнѣйшіе труды европейской науки въ области исторіи, любили опираться на западные авторитеты и брали у нихъ много готовыхъ мыслей и фактовъ; но это не помѣшало имъ съ одной стороны быть отличными знатоками русской жизни, а съ другой—сохранить всѣ тѣ черты ума, какія считаются особенностями русскаго ума, и оставаться горячими приверженцами своего русскаго. Общій характеръ ихъ научнаго взгляда былъ тотъ же, каковой мы отмѣчали у ихъ ученыхъ современниковъ: и тотъ, и другой—раціоналисты, какъ истыя дѣти прошлаго вѣка; у обоихъ ревностная забота воспользоваться указаніями западной науки для русскаго просвѣщенія и народной пользы.

Биографія Вас. Никитича Татищева (1686—1750) была очень подробно разработана нашими историками ¹⁾. Довольно сказать, что

¹⁾ Нилъ Поповъ, В. Н. Татищевъ и его время, М. 1861; Пекарскій, Новая извѣстія о Татищевѣ, Спб. 1864, и его же книга о Рычковѣ, Спб. 1867; В. Н. Татищевъ, администраторъ и историкъ начала XVIII вѣка, въ „Биографіяхъ и характеристивахъ“, Вестужева-Румина, Спб. 1882 (стр. 1—175).

Въ 1886 г. вспоминалось двухсотлѣтіе рожденія Татищева, и по этому случаю явилось нѣсколько новыхъ работъ по его биографіи и объясненію его литературной дѣятельности:—„Первое водвореніе въ Москвѣ греколатинской и общей европейской науки. Рѣчь, читанная въ засѣданіи Имп. Общества исторіи и древн. Росс. 19 апр. 1886 г. въ память двухсотлѣтней годовщины рожденія перваго русскаго историка, В. Н. Татищева“, Изв. Е. Забѣлина, въ „Чтеніяхъ“, 1886, кн. IV, стр. 1—24.

— Ученые и литературные труды В. Н. Татищева (1686—1750). Рѣчь, произ-

онъ получилъ образованіе въ Петровской школѣ: это образованіе было научно-практическое, такъ что интересъ къ описанію Россіи и изученію ея исторіи, наполнившій его литературную дѣятельность, былъ развитъ въ немъ не самой школой, а именно духомъ времени, возбуждавшимъ въ серьезныхъ умахъ пытлиую любознательность. Служба заводила его въ разные края Россіи, въ разныя отрасли управленія, и наблюдательность дала ему большой опытъ и практическое знаніе жизни. Пріятельство съ Теофаномъ Прокоповичемъ и другими учеными людьми, вѣроятно, помогло ему освоиться въ историко-философской литературѣ. Онъ съ великой ревностью сталъ заниматься русской исторіей, собиралъ гдѣ только могъ историческіе памятники, лѣтописи и т. п. Его „Исторія Россійская“ была собственно не исторія, а лѣтописный сводъ, но этотъ сводъ уже совсѣмъ не былъ похожъ на произвольныя старыя компіляціи. Собирая лѣтописныя извѣстія, Татищевъ постоянно сопровождаетъ ихъ критическимъ разборомъ, опредѣляетъ степень ихъ вѣроподобности и останавливается на томъ, какое, по его мнѣнію, наиболѣе отвѣчаетъ условіямъ времени. Татищевъ старается возстановить фактъ съ его дѣйствительнымъ смысломъ, понять его происхожденіе и послѣдствія. Вмѣстѣ съ тѣмъ,—и это въ особенности интересно,—онъ старается опредѣлить себѣ самый характеръ времени, политическія и общественныя формы государства и ихъ различное вліяніе.

Это былъ не только приемъ первоначальной критики, но уже высшій, такъ сказать, философскій взглядъ на исторію. Откуда онъ взялся? Конечно, Татищевъ не вынесъ его изъ своей артиллерійской и инженерной школы, а приобрѣлъ изъ чтенія въ кругу образованнѣйшихъ людей той эпохи, подъ вліяніемъ того умственного толчка, который былъ данъ реформой. Любознательность Татищева была именно чертою времени. Петръ уже старался развивать политическія понятія, употреблялъ для этого и официальные объявленія, „вѣдомости“ и „реляціи“ о государственныхъ событіяхъ, и газету, и народные праздники, и церковную проповѣдь, наконецъ литературу: по его инициативѣ, и даже при его личномъ трудѣ, впервые стали печататься книги о политической исторіи, о государственномъ управленіи, — появляется въ русской одеждѣ Самуилъ Пуффендорфій съ

нес. въ торжеств. собраніи Имп. Академіи Наукъ 19 апрѣля 1886 года, чл.-корр. Н. А. Поповымъ—въ Журн. Мин. Просв. 1886, іюнь, и отдѣльно, Сиб. 1886.

— В. Н. Татищева Разговоръ о пользѣ наукъ и училищъ. Съ предисловіемъ и указателями Николая Попова, въ „Чтеніяхъ“, 1887, кн. I, и отдѣльно, М. 1887.

— Духовная Василія Никитича Татищева. Издана подъ наблюденіемъ члена Казанскаго Общества археологіи, исторіи и этнографіи, Андрея Островскаго. Казань 1886,—при „Извѣстіяхъ“ названнаго Общества, и друг.

его „Введеніемъ“ и книгой „О должностяхъ челоуѣка и гражда-нина“; является „Театронъ или позоръ историческій“, Стратемана и т. п. Въ связи съ этимъ, въ рукописяхъ того времени является дѣ-льный рядъ переводовъ изъ политической и философской литературы того времени, гдѣ мы встрѣчаемся съ неслышанными дотоуѣ на рус-скомъ языкѣ именами извѣстныхъ европейскихъ ученыхъ и фило-софовъ: такъ находятся здѣсь знаменитая книга Гуго Гроція „О за-конахъ брани и мира“; того же Пуффендорфа — „О законахъ естества и народовъ“; Бесселя—„Политическаго счастья Ковачъ“; Юста Липсія — „Увѣщаніе и приклады политическіе“; другія „Увѣщанія полити-ческіа“ Гвиччардини (подъ именемъ „господина Гвичцеардина“); раз-ные „Дискурсы политичныя“ и т. п.; являются въ печати и въ руко-писяхъ переводы книгъ Аполлодора, Квинта Курція, Тита-Ливія, Баронія, Мавро Урбина, Іоанна Слейдана и т. д. ¹⁾ Эта литература Юстовъ Липсіевъ, Пуффендорфовъ, Гвиччардини и проч.; печатные переводы Петровскаго времени; цитаты тогдашнихъ писателей — даютъ понятіе о литературныхъ интересахъ образованныхъ людей той эпохи и, въ ихъ числѣ, Татищева.

„Исторія Россійская“ Татищева имѣетъ необычную для нашего времени форму. Это—соединеніе сухого лѣтописнаго свода, представ-ляющаго матеріалъ, и многочисленныхъ примѣчаній, въ которыхъ за-ключается критическая и объяснительная работа автора. Эти при-мѣчанія останавливаютъ на себѣ вниманіе двумя чертами: во-пер-выхъ, обиліемъ указаній на иностранную литературу, которою авторъ пользовался; во-вторыхъ, массой разнаго рода историческихъ и прак-тическихъ свѣдѣній, собранныхъ имъ самимъ и свидѣтельствующихъ объ его старательномъ изученіи Россіи. Въ книжкѣ Пекарскаго о Татищевѣ напечатанъ между прочимъ каталогъ его бібліотеки, ко-торый даетъ понятіе о разнообразіи его любознательности; резуль-таты чтенія оказываются и въ цитатахъ. Онъ знаетъ греческихъ и римскихъ классиковъ, средневѣковыхъ лѣтописцевъ (въ русскихъ переводахъ или по чужимъ указаніямъ); его справочными книгами были: Вальха—Лексиконъ философскій; Буддея—Лексиконъ истори-ческій; Гейнсіуса или Мартиньера—Лексиконъ географическій; Лек-сиконъ святыхъ; Лексиконъ математическій; Іохера—Лексиконъ уче-ныхъ; извѣстный Лексиконъ критическій „Баилевъ“; наконецъ, общія руководства, какъ Фабріуса—Исторія міра; Себастіана Мюнстера—Космографія; Варенія—Генеральная географія (въ русскомъ пере-

¹⁾ Изъ такихъ книгъ составлена была старинная бібліотека, находящаяся нынѣ въ Толстовскомъ собраніи Публичной Библіотеки, и принадлежавшая князю Д. М. Голицину, одному изъ „верховниковъ“. Ср. объ этомъ въ книгѣ Д. Корсакова, „Во-цареніе имп. Анни Іоанновны“. Казань, 1880, стр. 289 и далѣе.

водѣ); Вольфа—Мнѣніе о естественныхъ приключеніяхъ; историческія книги де-Ту, Слейдана, *Theatrum Europaeum*; Имгофа — Заль историческій, и проч. По русской и славянской древности онъ знаетъ книгу Фриша о глаголитѣ, Клюверія о скивахъ и сарматахъ, приѣзжанія Бержерона къ путешествіямъ Плато-Карпини, Асцелина и Рубруквиса, переведенныя на русскій языкъ; знаетъ путешествія по Россіи Олеарія, Страленберга, сочиненія Миллера, Рычкова; далѣе, всякія спеціальныя исторіи: древне-германскую, цельтическую, сибирскую, калмыцкую и т. д. Въ предметахъ философско-политическихъ онъ ссылается на Пуффендорфа—О должностяхъ человѣка и гражданина; Локка—Правленіе гражданское; на книгу Макіавеля (существовавшую въ русскомъ переводѣ), на „Гобезіева“ Левіаана, на сочиненія Декарта, Ньютона, Галлея и т. д. Книги въ родѣ послѣднихъ Татищевъ читалъ, или по крайней мѣрѣ цитировалъ съ большою осторожностью; ихъ философское, натуралистическое, или историческое содержаніе нерѣдко очень мало, или совсѣмъ не подходило къ обычнымъ русскимъ понятіямъ: въ глазахъ тогдашнихъ охранителей Татищевъ, какъ человѣкъ, обращавшійся съ подобными вещами, и безъ того пріобрѣлъ репутацію вольнодумца или даже безбожника; поэтому, называя Макіавеля или Гобезіа, онъ считаетъ нужнымъ замѣтить, что это писатели „вредительные“, которыхъ нужно читать съ осторожностью, но самъ онъ видимо любилъ ихъ почитать.

Съ другой стороны, Татищевъ былъ весьма разностороннимъ самостоятельнымъ наблюдателемъ. Для своей книги онъ успѣлъ собрать обширный матеріалъ старыхъ рукописей, между прочимъ такихъ, которыя исчезли потомъ и сохранились теперь только въ его указаніяхъ и извлеченіяхъ, какъ напр. знаменитая Іоакимовская лѣтопись и разныя отдѣльныя лѣтописныя извѣстія. Въ то же время онъ собралъ множество бытовыхъ фактовъ современной ему жизни, такъ что въ разнообразномъ практическомъ знаніи Россіи съ нимъ, какъ и съ Болтинымъ, пожалуй, не сравнятся кабинетные исторіографы нашего времени. Такъ,—разсказываетъ его біографъ,—онъ роется въ архивахъ, покупаетъ рукописи на площадяхъ у разносчиковъ; читаетъ у кн. Д. М. Голицына письмо царя Михаила Феодоровича къ Федору Шереметьеву, у князя А. М. Черкаскаго два или три письма царя Алексѣя Михайловича къ И. Бор. Черкасскому; разѣзжая по уральскимъ горамъ, бесѣдуетъ съ инородцами; спрашиваетъ поясненія слова: татарь—у бухарцевъ; о томъ же спрашиваетъ Дондукъ-Даши, его аругелюнга; черезъ оренбургскаго ассесора Рычкова разспрашиваетъ ученыхъ магометанъ о разныхъ наименованіяхъ заморскихъ народовъ, и тѣ доставляютъ ему письменные отвѣты; того же

требуетъ отъ служившихъ при немъ восточныхъ переводчиковъ; переписывается о литовскихъ древностяхъ съ однимъ знатнымъ смоленскимъ шляхтичемъ; чуваша, черемисы толкуютъ ему свои собственные имена; о томъ же спрашиваетъ онъ вогуличей черезъ переводчиковъ; говоритъ съ грузинскимъ царевичемъ Бакаромъ о книгахъ Меоодія Патарсаго; донскіе казаки показываютъ ему различныя мѣстности, слывшія знаменитыя въ древности; кабардинскіе уздени передаютъ ему преданія кавказскихъ горцевъ; онъ самъ осматриваетъ развалины старыхъ городовъ на рѣкахъ Ахтубѣ, Волгѣ, Ингулу, Пронѣ, и посылаетъ съ тою же цѣлью офицеровъ и геодезистовъ; евреи ему показываютъ свои библіи въ сверткахъ; онъ дѣлаетъ наблюденія надъ солнечными затмѣніями, записываетъ себѣ на память годы, когда было сѣверное сіяніе, когда являлись метеоры, плодилась саранча, записываетъ различныя повѣрья и т. д. „Много бы можно было собрать подобныхъ подробностей и мелкихъ, иногда случайныхъ, чертъ изъ жизни Татищева; онъ весь—вниманіе и любопытство, онъ пользовался каждымъ удобнымъ случаемъ для пополненія запаса своихъ свѣдѣній“¹⁾. Подобныя черты личнаго и ученаго характера мы найдемъ далѣе у Болтина. Какъ сравнить съ этимъ историковъ новѣйшихъ, которые зарываются въ кабинетахъ и архивахъ, и могутъ писать исторію Россіи, не интересуясь фактами живого народнаго преданія и быта...

Вліяніе иноземной литературы отразилось на самыхъ задачахъ, которыя ставилъ себѣ Татищевъ. Въ тогдашнемъ состояніи едва начинавшаго образованія, при новыхъ заботахъ, предстоявшихъ болѣе сложному государственному управленію, въ виду настоятельныхъ потребностей научнаго знанія, Татищевъ понялъ, что первые необходимѣйшіе труды должны быть направлены на собраніе русской географіи и исторіи. Это было непосредственное примѣненіе и продолженіе Петровскихъ идей; работы Татищева частію совпадали съ только-что начавшейся тогда дѣятельностью Академіи наукъ, но частію и предшествовали ей. Онъ составляетъ замѣчательное „Предложеніе о сочиненіи исторіи и географіи россійской“, которое было внесено въ Академію и уже начало-было приносить свои результаты. Это была цѣлая обширная программа вопросовъ по предметамъ исторіи, географіи и народнаго быта, задача для цѣлыхъ экспедицій (какъ позднѣйшія академическія экспедиціи), для труда цѣлыхъ поколѣній ученыхъ; вопросы не были голословны—имъ предшествовало объясненіе великой важности историческаго и географическаго знанія для цѣлей государства и для всякаго просвѣщеннаго человѣка; во-

¹⁾ Н. Попова, „Татищевъ и его время“, стр. 484—485.

просы сопровождались объясненіемъ самаго способа собранія свѣдѣній, напр., среди народа (что могло бы быть полезно и въ настоящее время); не были забыты такіе предметы, какіе составляютъ теперь заботу археологій и этнографій; было наконецъ предостереженіе о томъ, чтобы не поддаваться ложнымъ показаніямъ или хвастовству. Обращеніе съ западными учеными энциклопедіями внушило Татищеву мысль составить подобный трудъ о Россіи: таковъ былъ его „Лексиконъ Россійскій, историческій, географическій, политическій и гражданскій“; такова, наконецъ, была и его „Россійская Исторія“.

Положеніе людей новаго образованія въ Петровскомъ и послѣ-Петровскомъ обществѣ было не легко. Общество первой половины прошлаго столѣтія, мнимо оторванное отъ старыхъ началъ, напротивъ, въ громадномъ большинствѣ было такъ крѣпко къ нимъ привязано, что первые шаги научнаго изслѣдованія и простой любознательности были окружены чрезвычайной подозрительностью. Если Ломоносову и его ученикамъ приходилось защищать право и невредность науки, то въ началѣ столѣтія, когда начиналъ свои работы Татищевъ, эта защита была еще необходимѣе. Этому предмету посвященъ вновь открытый и чрезвычайно любопытный трудъ Татищева: „Разговоръ двухъ пріятелей о пользѣ наукъ и училищъ“¹⁾. Разговоръ даетъ чрезвычайно любопытныя черты тогдашняго умственного состоянія общества, той заботы, какая лежала на первыхъ любителяхъ науки. Это была забота объ укрѣпленіи въ русской жизни того знанія, въ которомъ они видѣли кровную потребность русскаго народа, необходимѣйшее условіе его благосостоянія, и которое надо было защищать отъ озлобленныхъ враговъ, ссылавшихся (какъ и дониндѣ!) на мнимое преданіе и мнимыя особенности этого же народа.

Знакомство съ философско-политическими произведеніями XVII и начала XVIII вѣка ярко отразилось на историческихъ взглядахъ Татищева. „Байль“, „Гобезій“, Христіанъ Вакхъ и другіе подобные писатели внушили Татищеву большое недовѣріе ко всякому древнему баснословію и наводили на простыя реальныя толкованія событій; онъ остается, и считаетъ нужнымъ выставять себя человекомъ религіознымъ, но не пропускаетъ случая возставать противъ своекорыстія и „выдумокъ“ духовенства, какъ любили говорить объ этомъ тогдашніе скептики и раціоналисты. Разсужденія этого рода имѣютъ у Татищева двоякую цѣль—не только объяснить старыя событія, но

¹⁾ Изложеніе въ „Биографіяхъ и характеристикахъ“, Бестужева-Рюмина, стр. 69—71, 99 и слѣд., а затѣмъ полное изданіе Никола Попова.

и подѣйствовать на современниковъ; изъ исторіи онъ выводитъ и правоученіе. Вотъ, напр., одно изъ его разсужденій о суевѣрїяхъ: „Ужасно и прискорбно было Нестору писать суевѣрствіе народа, невнимательнаго нмало ума и просвѣщенія, но разсуда по настоящему въ христіанахъ именующихся, что имѣя законъ божій и другими вольными науки умъ просвѣщенный, не меньше оныхъ суевѣрствуетъ. Я не почитаю то въ диво, когда слышу отъ людей къ знанію закона божія непрілежательныхъ и о разсужденіяхъ невнимающихъ, а вкорененныя имъ суевѣрныя бабьи басни и безумныхъ наукъ толкованія за истину почитающихъ; но дивнѣе всего онаго, когда видимъ и слышимъ нѣкоторыхъ тѣхъ, которые особливо народомъ и властію избраны и учреждены на проповѣдь слова и закона божія къ наученію народа истинной вѣрѣ Христовѣ и благонравію, яко соль обубавшая ни сами хотятъ законъ божій разумѣть, ни народъ обучать, и еще того тягчѣе, когда слышимъ преданія и узаконенія человѣческія, и для своихъ лакомствъ вымышленное за сущее, яко спасенію нужное передаютъ“. Въ другомъ примѣчаніи Татищевъ говоритъ: „Здѣсь Несторъ скажетъ о нѣкоихъ волхвахъ, или обманщикахъ, съ пространствомъ, частью сумнительно, частью къ исторіи не касается, того ради я сократилъ, а въ концѣ обстоятельно положилъ. Сіе недивно, что тогда народъ, не имѣющій довольнаго ума и просвѣщенія, такимъ безумнымъ баснямъ, или паче сущимъ вракамъ, вѣрилъ; но удивительнѣе видимъ нынѣ, сколько есть суевѣрныхъ, которые безумныхъ ханжей или пустосвятовъ разсказы и враки паче святаго писанія и ученія мудрыхъ людей почитаютъ, яко то именующіеся старовѣры, или паче сказать, пустовѣры, христовщина какой то былъ безумный и мерзкій законъ, славный пустосвятъ и плуть Андрюшка, и другіе, не говорю о подлыхъ, но знатныхъ женъ и мужей суевѣрныхъ, сколько въ безуміе привели, и къ своему богомерзкому соборіищу пріобщили. Я сіе не пишу въ обличеніе и поношеніе впадшихъ въ тавія мерзости; ибо они могли уже, или могутъ покаяться; но паче для тѣхъ, которые впредь таковыхъ ханжей услышатъ разсказы, чтобъ себя отъ вѣроятности остерегли, а паче прилежали умъ свой святымъ писаніемъ, въ немъ же мы вѣримъ животъ вѣчный пріобрѣсти, и вольными науки просвѣтитъ, и не токмо себя, но и другихъ, отъ таковыхъ паденій охранить“¹⁾.

Татищевъ направляетъ свое обличеніе суевѣрїя не на однихъ старовѣровъ спеціально, но и вообще на людей стараго вѣка, охра-

¹⁾ Исторія Росс. Татищева, кн. II, примѣч. 134. Ср. другія выписки, характеризующія Татищева со стороны его церковныхъ, философскихъ и политическихъ мнѣній, въ книгѣ Н. Попова, стр. 464 и слѣд.

навшихъ дѣдовскія суевѣрныя преданія, и такихъ людей было въ его время множество въ самомъ высшемъ и „образованномъ“ классѣ.

Отраженіемъ чтенія европейскихъ писателей были у Татищева разсужденія о духовенствѣ, къ которымъ онъ возвращается многократно, приписывая духовенству съ самыхъ первыхъ поръ стремленіе къ властолюбію, къ захвату земель и имуществъ, къ вліанію на свѣтскія дѣла. Въ событіяхъ старыхъ временъ онъ вообще старается открыть практическія причины и побужденія дѣйствующихъ лицъ, старается понять въ исторіи дѣйствительную жизнь. Не всѣ его опыты рационалистической критики бывали вѣрны, приложенія заимствованнаго взгляда бывали послѣдны; но во всякомъ случаѣ въ замѣчаніяхъ его было много разумнаго, и стремленіе видѣть въ исторіи не одну далекую чуждую легенду, а дѣйствительную жизнь прошлыхъ вѣковъ было вѣрнымъ приступомъ къ научному пониманію дѣла. Наконецъ, несмотря на всѣ заимствованія отъ иностранныхъ авторитетовъ, Татищевъ остается чисто русскимъ человекомъ, воплотившимъ особенностями русской жизни; его господствующая особенность есть не столько разсужденіе ученаго, опирающагося на многочисленныхъ изслѣдованій, сколько сильный здравый смыслъ практическаго человѣка, опытнаго въ житейскихъ дѣлахъ; характерную черту времени и людей его круга практическихъ дѣльцовъ, составляетъ и то, что Татищевъ, какъ можно видѣть по приведенной выпискѣ,—очень небрежно относился къ языку, и безъ того неровному и необработанному въ то время. Онъ пишетъ иногда полуграммотно.

Возвратимся теперь къ историческимъ трудамъ Миллера. Однородность положенія дѣла вызывала у нѣмецкаго ученаго тѣ же представленія о необходимыхъ научныхъ работахъ, какъ было у Татищева. Тотъ и другой одинаково думали о необходимости собранія матеріала, историко-географической энциклопедіи: какъ Татищевъ собиралъ свой географическій и гражданскій лексиконъ, такъ Миллеръ трудился надъ дополненіемъ и изданіемъ географическаго словаря Полунина; какъ Татищевъ составлялъ упомянутое „Предложеніе“ о собраніи историческихъ и бытовыхъ свѣдѣній о Россіи, такъ Миллеръ предъявлялъ свои проекты объ учрежденіи при Академіи „департамента россійской исторіи“¹⁾. Планъ этого учрежденія, составленный Миллеромъ вскорѣ по возвращеніи изъ путешествія, въ 1744 году, замѣчательнымъ образомъ предупреждаетъ ту мысль, съ какою почти сто лѣтъ спустя была предпринята Археографическая экспедиція, а по обширности предполагавшихся работъ идетъ и го-

¹⁾ Пезарскій, Исторія Акад. Н., т. I, стр. 388—342.

раздо дальше. Понятія нашихъ историковъ XVIII-го вѣка о задачахъ историческаго знанія, конечно, не имѣли уже ничего общаго съ теологической точкой зрѣнія старыхъ историковъ-лѣтописцевъ. Исторія перестаетъ быть для новыхъ изыскателей рядомъ случайныхъ событій, объясняемыхъ путемъ религіознаго фатализма; напротивъ, они ищутъ въ ней внутренней связи событій, соединенныхъ какъ причина и слѣдствіе, и думаютъ (какъ Миллеръ), что она есть „зерцало человѣческихъ дѣйствій, по которому о всѣхъ приключеніяхъ нынѣшнихъ и будущаго времени, смотря на прошедшій, разсуждать можно“. Положеніе историческаго писателя было въ тѣ времена окружено очень серьезными трудностями, но эти трудности не ослабили у Миллера строгаго понятія объ исторической правдивости. „Все заключается въ трехъ словахъ,—писалъ онъ объ обязанностяхъ историка:—быть вѣрнымъ истинѣ, безпристрастнымъ и скромнымъ. Обязанность историка трудно выполнить: вы знаете, что онъ долженъ казаться безъ отечества, безъ вѣры, безъ государя. Я не требую, чтобы историкъ разсказывалъ все, что онъ знаетъ, ни также все, что истинно, потому что есть вещи, которыя нельзя разсказывать, и которыя, быть можетъ, мало любопытны, чтобы раскрывать ихъ предъ публикою; но все, что историкъ говоритъ, должно быть истинно, и никогда не долженъ онъ давать поводъ къ возбужденію къ себѣ подозрѣнія въ лести“... ¹⁾ Біографы Миллера разсказываютъ о томъ, какъ тяжело давалась ему литературная работа; для нея требовалась настойчивость не совсѣмъ обыкновенная. При изданіи „Ежемѣсячныхъ Сочиненій“, перваго нашего учено-литературнаго журнала, ему приходилось выносить не только непріятности отъ цензуры, но и отъ придворныхъ сплетенъ, отъ чрезвычайно притязательнаго патріотизма иныхъ читателей и т. п. Въ работахъ историческихъ эти затрудненія достигали до крайней степени. Весьма осторожный академическій біографъ Миллера, по поводу отъѣзда Гюелла старшаго изъ Россіи, не могъ удержаться отъ замѣчанія, что этому отъѣзду нельзя не радоваться для судьбы его трудовъ, такъ какъ товарищъ его Миллеръ, благодаря той средѣ, въ которой онъ жилъ, обнародовалъ едва сотую часть тѣхъ драгоценныхъ извѣстій, какія были имъ собраны и находились въ его полномъ распоряженіи ²⁾.

Мнимое „подчиненіе западному вліянію“ у людей прошлаго вѣка было такъ слабо, что даже образованные люди были чрезвычайно недовѣрчивы къ тому, что казалось западнымъ мнѣніемъ, и до край-

¹⁾ Пекарскій, Исторія Акад. Н., т. I, стр. 81.

²⁾ Тамъ же, стр. 370—449.

ности притязательны тамъ, гдѣ, по ихъ мнѣнію, затрогивалось достоинство русскаго народа. Простое требованіе исторической критики, въ сущности нисколько не касавшееся этого достоинства, поднимало цѣлыя бури; простое упоминаніе иныхъ мрачныхъ событій русской исторіи съ негодованіемъ осуждалось, какъ оскорбленіе націи. Это была, съ одной стороны, простая непривычка къ исторической критикѣ, съ другой — проявленіе (хотя неловкое) того самаго чувства, какое называютъ теперь чувствомъ національной самобытности и т. п. Выше мы замѣчали, что то же ревнивое чувство національнаго достоинства, а не „рабское подчиненіе“, побуждало нашихъ писателей прошлаго вѣка отыскивать въ своей средѣ русскіихъ Пиндаровъ, Расиновъ и Вольтеровъ: это было, по тогдашнему глубокому убѣжденію, не умаленіе, а возвышеніе русскаго достоинства, свидѣтельство, что русскіе уже равняются съ другими просвѣщенными народами. Дѣло въ томъ, что тогда и не знали другихъ образчиковъ превосходства.

До чего доходила тогда нетерпимость и подозрительность въ вопросахъ исторіи, дають понятіе извѣстные рассказы о томъ, какой переполохъ произвела диссертация Миллера о происхожденіи Руси, или о томъ, съ какимъ озлобленіемъ Ломоносовъ нападалъ на Шлёцера. Приведемъ еще только двѣ-три подробности изъ біографіи Миллера. Послѣдній былъ уже старый заслуженный человѣкъ, множествомъ трудовъ доказавшій свою ревность къ изученію Россіи, принявшій, наконецъ, русское подданство,—но все это не спасало его отъ самыхъ ожесточенныхъ нападовъ, и между прочимъ не со стороны какихъ-нибудь легкомысленныхъ невѣждъ, но самихъ ученыхъ, какъ Ломоносовъ. Въ 60-хъ годахъ прошлаго столѣтія, Ломоносовъ, въ качествѣ академическаго совѣтника, продолжалъ то недоброжелательство, какое Миллеру прежде приходилось испытывать наравнѣ отъ русскаго Теплова и нѣмца Шумахера. Поводомъ служили историческія работы Миллера и изданіе „Ежемѣсячныхъ Сочиненій“, противъ которыхъ Ломоносовъ возставалъ съ цензурной точки зрѣнія. По мнѣнію Ломоносова, у Миллера нѣтъ достаточно патріотизма, и отзывы его о трудахъ послѣдняго представляютъ образчикъ крайней нетерпимости. По словамъ Ломоносова, въ каждомъ произведеніи Миллера „множество пустоши и нерѣдко досадительной и для Россіи предосудительной“; вездѣ онъ „всѣваетъ, по обычаю своему, занозливыя рѣчи“ и „больше всего высматриваетъ пятна на одеждѣ русскіихъ тѣла, проходя многія истинныя ея украшенія“. Ломоносову не нравилось и то, что Миллеръ занимался изслѣдованіями о „смутныхъ временахъ Годунова и Разстриги—самой мрачной части русскіихъ исторіи“; не нравилось, что „напр., описывая

чувашу, не могъ пройти, чтобы ихъ чистоты въ домахъ не предпочесть российскимъ жителямъ". Подобныя обвиненія противъ Миллера были собраны Ломоносовымъ въ статьѣ, озаглавленной: „Для извѣстія о нынѣшнихъ академическихъ обстоятельствахъ“, и посланной имъ къ президенту академіи наукъ. Академическій биографъ обоихъ догадывается, что Ломоносовъ не удовольствовался донесеніемъ ближайшему начальству, потому что черезъ нѣсколько времени Миллеръ получилъ „жестокій выговоръ“ отъ высшаго правительства за „нѣкоторыя въ его сочиненіяхъ о российской исторіи находящіяся непристойности“. Миллеръ оставилъ намекъ объ этой враждѣ къ нему Ломоносова, говоря въ письмѣ къ Рычкову объ одномъ человѣкѣ, который всегда желалъ его гибели и „добился таки, что я не смѣю продолжать новой русской исторіи“. Еще по поводу сибирской исторіи Миллера Ломоносовъ представлялъ академической канцеляріи, что въ ней непристойны подробности автора о пушкарѣ Воротилѣ и его „худыхъ поступкахъ“, такъ какъ, по мнѣнію Ломоносова, „весьма неприлично, когда сочинитель довольно другихъ знатныхъ дѣлъ и приключеній имѣть можетъ“. Ломоносову не нравилось даже упоминаніе о построеніи такихъ церквей, какія потомъ погорѣли, и выраженіе: „праздность всероссийскаго престола“ въ междоцарствіе ¹⁾.

Отношенія Миллера и Ломоносова чрезвычайно характерны для оцѣнки тогдашней роли науки въ русскомъ обществѣ. Если можно еще понять озлобленіе Ломоносова противъ Шлѣцера, въ характерѣ котораго было раздражающее высокомеріе, отзывавшееся и въ сочиненіяхъ, то это озлобленіе очень мало извинительно относительно Миллера. Случилась, можетъ быть, и здѣсь нѣкоторая неосторожность со стороны Миллера; но общій характеръ его дѣятельности былъ таковъ, что добросовѣстному критику не придетъ въ голову мысль, будто въ самомъ дѣлѣ Миллеръ въ русской исторіи намѣренно искалъ только досадительныхъ и занозливыхъ вещей; но въ тѣ времена просто непонятенъ былъ указанный выше историческій взглядъ, какой воспитала въ Миллерѣ тогдашняя наука. Миллеръ былъ, конечно, правъ, когда находилъ нужнымъ собраніе древнихъ „лже-басней“ (!), изслѣдованіе о смутныхъ временахъ или упоминаніе о пушкарѣ Воротилѣ, хотя бы поступки этого Воротилки и были худы. и т. д. Воспитанный въ нѣмецкой школѣ, Миллеръ выносилъ изъ

¹⁾ Пекарскій, Исторія Акад. Н., т. I стр. 338, 380, 406—407; т. II, стр. 720 и слѣд. См. также рассказъ объ изумительныхъ придиркахъ къ сибирской исторіи Миллера и къ изданію сибирскихъ лѣтописей, которыя, по мнѣнію академическихъ цензоровъ, должны были быть очищены отъ древнихъ „лже-басней“ и о которыхъ должны бы расудить „министры и правительствующій сенатъ“, а не Миллеръ. Тамъ же, I, стр. 353—355.

нея строгое представлѣніе о научной и нравственной обязанности историка и, если самъ Ломоносовъ этого не понималъ, это указываетъ, что съ нимъ и масса общества еще не разумѣла науки и грубо понимала самыя требованія національнаго достоинства, которое вовсе не увеличивалось скрываніемъ непріятныхъ историческихъ фактовъ или ихъ закрашиваніемъ. Тогдашнія обвиненія этого рода намъ представляются уже мелочными и несправедливыми; но въ другомъ видѣ онѣ повторяются до сихъ поръ: еще недавно одинъ изъ самыхъ авторитетныхъ русскихъ писателей подновлялъ эту войну противъ нѣмцевъ-историковъ, а другой скорбѣлъ, что „русскому человѣку“ не легко быть объективнымъ относительно Шлёцера; сколько разъ донинѣ повторяются противъ самихъ русскихъ ученыхъ злостныя обвиненія въ недостаткѣ патріотизма, въ желаніи очернить извѣстныя явленія русской исторіи...

Вліяніе Миллера имѣло вѣроятно свою долю въ характерѣ академическихъ ученыхъ путешествій. Въ нихъ не послѣднее мѣсто занимаютъ интересы историческіе. Ученые странствователи, хотя по профессіи натуралисты, не пропускали исторической мѣстности безъ того, чтобы не собрать о ней мѣстныхъ преданій, книжныхъ свѣдѣній, не отмѣтить сохранившихся памятниковъ и т. п. Лепехинъ въ своихъ запискахъ помѣщаетъ подробный рассказъ о Пловучемъ озерѣ и мѣстныя легенды объ убіеніи Андрея Боголюбскаго: заѣхавъ на Волгу, осматриваетъ Царевъ-Курганъ, сооруженіе котораго „приписывалось“ грабителю и праотцу донского войска, Стенькѣ Разину; дѣлаетъ раскопки, находитъ подъ нѣкоторымъ слоемъ земли кости слона и остатки оружія и дѣлаетъ при этомъ свои оригинальныя соображенія ¹⁾; помѣщаетъ подробное описаніе развалинъ Болгаръ, говоритъ о старыхъ преданіяхъ у инородцевъ и т. д. Этнографическія описанія инородцевъ: мордвы, чувашъ, татаръ, калмыковъ, „кизильбашей“ у Лепехина и другихъ тогдашнихъ ученыхъ путешественниковъ давали едва ли не въ первый разъ точное понятіе объ этихъ племенахъ, мало по малу входившихъ въ составъ русскаго народа. Озерецковскій собиралъ на мѣстѣ историческія извѣстія и преданія объ Олоонецкомъ краѣ, о старой Двинской землѣ, приводилъ грамоты, указывалъ на рукописныя богатства новгородскихъ монастырей; въ свое первое путешествіе онъ между прочимъ, собралъ на мѣстѣ свѣдѣнія о родѣ Ломоносова и „первоначальныхъ ума его открытіяхъ“, и „планъ мѣсть, прилежащихъ къ Куростровской волости, гдѣ родился г. Ломоносовъ“ ²⁾. Астрономъ и нату-

¹⁾ Дневныя Записки, I, 296 и слѣд.

²⁾ Дневн. Записки Лепехина, т. IV, стр. 298—308, и карта въ концѣ тома. Планъ напечатанъ въ 1788.

ралистъ Иноходцовъ въ своихъ этнографическихкихъ описаніяхъ обращаетъ большое вниманіе и на исторію, рассказываетъ о прошлой судьбѣ края или города, пользуясь для этого, какъ настоящей историкъ-специалистъ, сохранившимися памятниками старины, лѣтописями и грамотами, изъ которыхъ приводитъ много извлеченій, мѣстными преданіями, рассказами старожиловъ и т. д. ¹⁾ Въ той литературѣ мѣстныхъ описаній, которая начинала развиваться со второй половины прошлаго вѣка, заключаются также цѣнные начатки мѣстной исторіи.

Однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей всей нашей литературы прошлаго вѣка былъ Иванъ Никитичъ Болтинъ (1735—1792), на которомъ мы и остановимся нѣсколько подробнѣе. Біографія его нѣсколько выяснилась только въ послѣднее время изъ архивныхъ документовъ. Происходя изъ достаточнаго дворянскаго рода, Болтинъ учился дома и 16-ти лѣтъ поступилъ на службу въ конную гвардію, гдѣ его товарищемъ въ продолженіе многихъ лѣтъ былъ Потемкинъ, который впоследствии сохранилъ съ нимъ очень дружескія отношенія и не разъ оказывалъ ему и его родитѣю свою могущественную протекцію. Въ конной гвардіи Болтинъ остался до 1768, когда перешелъ на службу въ таможенное вѣдомство, сначала начальникомъ одной таможни на югѣ, потомъ въ главномъ таможенномъ управленіи. Въ 1781 онъ назначенъ былъ прокуроромъ военной коллегіи, а въ 1788 членомъ этой коллегіи. Послѣ присоединенія Крыма, онъ былъ вызванъ Потемкинымъ на югъ, въ 1783, и нѣкоторое время былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ Потемкина по устройству новопріобрѣтеннаго края. Такова была, въ общихъ чертахъ, его біографія ²⁾.

Гораздо интереснѣе была бы исторія его образованія, о которой, впрочемъ, мы не имѣемъ другихъ данныхъ, кромѣ его сочиненій. Какъ многіе дѣятели прошлаго вѣка, Болтинъ, послѣ домашняго

¹⁾ Таковы, напр., его разсужденія о началѣ города Вологды, причѣмъ онъ сообщаетъ любопытныя мнѣнія о происхожденіи имени Вологды „отъ баснословныхъ какихъ-то Волоотовъ, подобныхъ греческимъ гигантамъ, якобы они задолго прежде просвѣщенія святимъ крещеніемъ тутъ жили, и построили сей городъ, назвали оный, такъ какъ и рѣку, по имени своему, Волотой или Володой“. Мѣсяцесловъ историческій и географическій на 1790 годъ, стр. 33 и слѣд.; Сухомлиновъ, Исторія Росс. Акад., т. III, стр. 218—225.

²⁾ Наиболѣе обстоятельное жизнеописаніе Болтина собрано частію по новымъ архивнымъ матеріаламъ, у Сухомлинова въ „Исторіи Росс. Акад.“, т. V (Сборникъ, т. XXII), 1881, стр. 62—296, 317—482. Изъ другихъ трудовъ о Болтинѣ отмѣтимъ статью Соловьева: „Писатели русской исторіи XVIII вѣка“, въ „Архивѣ“ Калачова, т. II, 1855 и П. Знаменскаго: „Историческіе труды Щербатова и Болтина въ отношеніи къ русской церковной исторіи“, въ Трудахъ Кіевской Дух. Акад., т. II, 1862.

ученя и не прошедши никакой высшей школы, вступилъ прямо въ практическую жизнь: природный умъ и любознательность повели его къ обширному чтенію; не знаемъ, имѣлъ ли онъ при этомъ какого-нибудь руководителя, но въ его чтеніе вошли именно замѣчательнѣйшія произведенія вѣка, не только тѣ, какія были особенно въ ходу по своей доступности, но и труды серьезнаго ученаго характера. Съ другой стороны, Болтину случилось не мало развѣзжаться по Россіи какъ по своимъ, такъ и по служебнымъ дѣламъ; поѣздки давали много пищи для его наблюденій, которыя отличались вообще чрезвычайной внимательностью и точностью, соединяясь обыкновенно съ кругомъ вопросовъ, составлявшихъ его научный интересъ. Это былъ умъ точный, положительный, не склонный къ фантазіи. Не знаемъ опить, что навело его на занятія русской исторіей; но онъ, не будучи ученымъ по профессіи, сталъ однимъ изъ сильнѣйшихъ знатоковъ дѣла, какіе были въ то время. Очевидно, къ этому интересу влекла тогда живые пытливые умы самая сила вещей: возникла потребность историческаго самосознанія; въ исторіи искалось разрѣшеніе вопросовъ, какіе выростали въ обществѣ вслѣдствіе Петровской реформы; желали выяснитъ себѣ русское прошлое и настоящее, роль русскаго народа среди народовъ европейскіхъ, свойства русскаго образованія и т. д. Со времени реформы прошло уже болѣе полувѣка, видѣлись ея результаты, являлась возможность провѣрки, и однимъ изъ главныхъ средствъ къ этому представлялась исторія.

Въ послѣднее время Болтина причисляли иногда къ предшественникамъ того направленія, которое заявляетъ притязаніе быть самымъ настоящимъ русскимъ. Дѣйствительно, Болтинъ могъ давать отчасти поводъ къ этому нѣкоторыми эпизодами своихъ сочиненій, гдѣ онъ противопоставляетъ русское съ иноземнымъ и вооружается противъ иноземныхъ вліяній, особенно французскаго, настаивая замѣнъ того на необходимости самостоятельнаго характера нашей жизни. Можно замѣтить, что исваніе зачатковъ славянофильства въ одномъ изъ характернѣйшихъ писателей прошлаго вѣка мало вяжется съ утвержденіемъ объ оторванности нашего тогдашняго образованія отъ народныхъ началъ; но на дѣлѣ предположеніе о славянофильствѣ Болтина не совѣмъ подтверждается фактами. Нашему славянофильству отвѣчаютъ въ прошломъ вѣкѣ не столько такіе люди, какъ Болтинъ, человекъ ума по преимуществу критическаго, сколько тѣ патріоты-самохвалы, которые тогда находили, что Россія достигла уже во всѣхъ отношеніяхъ великаго совершенства, не нуждается больше ни въ какихъ заимствованіяхъ у Европы, представляетъ вообще лучшій изъ всѣхъ возможныхъ міровъ. Болтинъ не былъ изъ

такихъ людей. Если онъ нападалъ на Леклерка, это не значить, что онъ нападалъ на Европу: самодовольный французъ, съ нѣскольکو сомнительной біографіей, могъ самъ по себѣ быть достаточнымъ объясненіемъ антипатіи, которую онъ внушалъ Болтину. Довольно было его историческаго невѣжества и нахальства, чтобы Болтинъ обрушился на него съ своими желчными опроверженіями, какъ жестоко опровергалъ и русскихъ историковъ. Но присматриваясь ко всему складу его мыслей, въ немъ не только нельзя найти какой-нибудь принципиальной вражды въ Европѣ, но напротивъ, понятія его самымъ тѣснымъ образомъ примыкають къ европейскимъ идеямъ вѣка. Болтинъ—такой же просвѣщенный русскій человѣкъ XVIII-го столѣтія, какими были Татищевъ, Ломоносовъ, Лепехинъ, Новиковъ и проч.; онъ не знаетъ другого просвѣщенія кромѣ европейскаго, и желая, чтобы этого просвѣщенія было въ Россіи какъ можно больше, конечно, онъ желалъ также, чтобы оно скорѣе получило возможность жить своими силами, не нуждаясь каждый разъ въ иностранномъ учителѣ; и во всякомъ случаѣ не думалъ, чтобы европейское образованіе состояло лишь въ свѣтской пустотѣ богатыхъ тунеядцевъ и перениманіи чужихъ модъ, съ которыми могло соединиться на дѣлѣ круглое невѣжество. Какъ увидимъ далѣе, высшіе авторитеты мысли были для Болтина въ первостепенныхъ умахъ тогдашней европейской, особливо французской, литературы.

Основнымъ, даже исключительнымъ, интересомъ литературной дѣятельности Болтина была русская исторія. Ему, какъ и всѣмъ истинно-научнымъ умамъ того времени, было ясно, что настоящее изученіе русской исторіи прежде всего требуетъ собранія и реставраціи ея памятниковъ. Старая Россія такъ мало сдѣлала для этого, что новому времени приходилось разыскивать вновь самыя основныя произведенія русской старины, абсолютно забытыя въ московскомъ періодѣ. Цѣлый рядъ памятниковъ русской древности былъ настоящимъ открытіемъ прошлаго вѣка. Петръ Великій открылъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ списковъ русской лѣтописи; Шлёцеръ открылъ истинное значеніе Нестора для исторической науки; Болтинъ открылъ настоящее значеніе „Русской Правды“; гр. Мусинъ-Пушкинъ открылъ „Слово о полку Игоревѣ“; Миллеръ цѣлую массу историческихъ документовъ, которымъ безъ него грозила бы гибель; открыты были Духовная Владимира Мономаха, Судебникъ и т. д., какъ немного времени спустя Калайдовичъ открылъ Іоанна эвзарха Болгарскаго, Кирилла Туровскаго, эпическій сборникъ Кирши Данилова и проч. Болтинъ въ небольшомъ дружескомъ кружкѣ, къ которому принадлежали гр. А. И. Мусинъ-Пушкинъ и Елагинъ, занимался именно этимъ старымъ полузабытымъ періодомъ русской исторіи,

толковалъ Русскую Правду и Духовную Владиміра Мономаха, собиралъ старыя рукописи и т. д. Это изученіе было въ тѣ времена несравненно труднѣе, чѣмъ теперь: памятники не были изданы, варианты не сличены; иные встрѣчались въ первый разъ, и надо было продѣлать надъ ними всю ту предварительную критическую работу, которая теперь представляетъ эти памятники готовымъ, осматрѣннымъ со всѣхъ сторонъ, матеріаломъ, такъ что остается дѣлать выводы. Болтинъ съ большой проницательностью ориентировался въ этомъ сыромъ матеріалѣ и указывалъ его историческую цѣнность. О достоинствѣ его трудовъ въ этомъ отношеніи можетъ дать понятіе отзывъ Шлёдера: опытный и требовательный нѣмецкій критикъ, не любившій расточать своихъ похвалъ, называетъ Болтина „величайшимъ русскимъ знатокомъ отечественной исторіи“ и замѣчаетъ, что еще никто изъ русскихъ не писалъ исторіи своего отечества съ такими познаніями, остроуміемъ и вкусомъ, хотя въ частности Шлёдеръ рѣзко оспаривалъ многія мнѣнія Болтина.

Къ сожалѣнію, Болтинъ не предпринялъ систематическаго труда по русской исторіи. Замѣчательно, что кромѣ книги противъ Леклерка другіе важные труды Болтина, даже специально археологическіе, изданы были только послѣ его смерти ¹⁾. Самый разборъ сочиненія Леклерка и отвѣтъ на книжку князя Щербатова, гдѣ всего

¹⁾ Примѣчанія на исторію древнія и нынѣшнія Россіи г. Леклерка, сочиненныя генераль-маіоромъ Иваномъ Болтиннымъ. 2 ч. 4°. Спб., 1788. Съ эпитафией: Je voudrais que chacun écrivit ce qu'il sait et autant qu'il en sait, mais pas plus. Montaigne.

— Отвѣтъ генераль-маіора Болтина на письмо князя Щербатова, сочинителя Россійской Исторіи. Спб., 1789. Этотъ отвѣтъ былъ вызванъ книгой: „Письмо князя Щербатова, сочинителя Россійской Исторіи, къ одному его другу, въ оправданіе на нѣкоторыя сокрытія и явныя охуленія, учиненныя его исторіи отъ г. генераль-маіора Болтина, творца примѣчаній на Исторію древнія и нынѣшнія Россіи г. Леклерка“. М. 1789. Подразумѣваются охуленія, сдѣланныя Болтиннымъ въ книгѣ противъ Леклерка. По выходѣ „Отвѣта“ Болтина, Щербатовъ отвѣчалъ новой книгой, изданной уже послѣ смерти Щербатова: „Примѣчанія на отвѣтъ г. генераль-маіора Болтина на письмо князя Щербатова“. М. 1792.

— „Книга Большому Чертежу, или древняя карта Россійскаго Государства, поновленная въ разрадѣ и списанная въ книгу 1627 года“. Спб., 1792. (Болтинское изданіе Чертежа повторено было Д. Языковымъ, Спб., 1838, съ прибавленіемъ сюда же „Древней Росс. Гидрографіи“, изданной Новиковымъ въ 1778. Затѣмъ, новое изданіе, по нѣсколькимъ рукописямъ сдѣлано было Спасскимъ, М. 1846).

— Духовная великаго князя Владиміра Всеволодовича Мономаха, названная въ лѣтописи суздальской Поученіе. Спб., 1793.

— Критическія примѣчанія генераль-маіора Болтина на первый и второй томъ Исторіи князя Щербатова, 2 ч. Спб., 1793—1794.

— Правда Русская или законы великихъ князей Ярослав Владиміровича и Владиміра Всеволодовича. М. 1799.

Больше высказались историческіе взгляды Болтина, были вызваны случайными поводами. Но по всему характеру его трудовъ Болтинъ былъ всего менѣе дилеттантъ.

Какимъ же образомъ сложилось историческое міровоззрѣніе Болтина? Нашъ историкъ былъ близко знакомъ съ капитальными философско-политическими произведеніями тогдашней французской литературы, и онѣ несомнѣнно оказали вліяніе на складъ его мыслей. Новѣйшій біографъ замѣчаетъ, что это вліяніе было очень второстепенное, что взгляды Болтина политическіе и социальныя коренятся въ русской дѣйствительности, добыты изысканіями въ русской исторіи, наблюденіями надъ жизнью общества и народа, что „цитатами изъ европейскихъ авторитетовъ только поясняется и подтверждается то, что сложилось въ умѣ его помимо всякихъ чужихъ вліяній (?), а на основаніи данныхъ, представляемыхъ отечественною исторіею и современнымъ состояніемъ Россіи“. Біографъ прибавляетъ дальше, что „русскія лѣтописи и русскія села и деревни служили ему источниками: изъ нихъ получалъ онъ свѣдѣнія о томъ, какое правленіе всего пригоднѣе для Россіи, о томъ, какъ дѣйствуетъ у насъ крѣпостное право“¹⁾. Нѣтъ сомнѣнія, что въ рѣшеніи ближайшихъ вопросовъ Болтину и не было другихъ источниковъ, кромѣ русскихъ лѣтописей и русской деревни, т.-е. данныхъ русскаго быта; но въ историческихъ предметахъ, его занимавшихъ, была другая сторона, гдѣ ему помогли не лѣтописи и не деревня. Это—самая постановка предмета, самая мысль изслѣдованія тѣхъ или другихъ государственныхъ и общественныхъ отношеній, и нравственно-политическая точка зрѣнія писателя. Русская жизнь сама по себѣ еще не помышляла о многихъ изъ тѣхъ вопросовъ исторіи и современности, которые занимали Болтина; въ русской литературѣ того времени многія мысли Болтина были новостью, и теоретическій источникъ ихъ находится именно во вліяніяхъ западной литературы. Біографъ Болтина собралъ самъ много фактовъ этого вліянія и составилъ длинный списокъ западныхъ писателей, начиная съ среднихъ вѣковъ и до современниковъ русскаго историка, которыхъ онъ цитируетъ въ своихъ сочиненіяхъ²⁾. Старые писатели нужны были Болтину по фактическимъ свѣдѣніямъ, новыя давали ему не малый запасъ мыслей, которыя онъ примѣнялъ къ своему изслѣдованію русской жизни. Возьмемъ вѣскольکو примѣровъ. Однимъ изъ наиболѣе сильныхъ авторитетовъ Болтина былъ знаменитый Бейль (Bayle, 1647—1706), тотъ самый „Баилъ“, которымъ поучался еще Татищевъ. Знаменитый француз-

1) Исторія Росс. Акад., V, стр. 224—225.

2) Тамъ же, стр. 135 и слѣд.

скій эмигрантъ при самомъ началѣ XVIII-го столѣтія былъ замѣчательнымъ представителемъ скептическаго раціонализма, составлявшаго потомъ отличительную черту вѣка, а именно этой стороною своей дѣятельности онъ дѣйствовалъ на двухъ важнѣйшихъ нашихъ историковъ прошлаго столѣтія. Какъ авторъ извѣстнаго „Словаря“, Бэйль становился и въ этомъ отношеніи какъ бы предшественникомъ энциклопедистовъ. Наши писатели находили въ „Словарѣ“ массу справочныхъ философско-историческихъ свѣдѣній и охотно брали изъ него факты, потому что имъ сочувственно было самое освѣщеніе, въ какомъ эти факты здѣсь появлялись. Новѣйшій біографъ указалъ у Болтина много заимствованій изъ Бэйля, между прочимъ такихъ, которыя не были имъ самимъ отмѣчены, и заключаетъ: „Словарь Бэйля, по всей вѣроятности, былъ настольною книгою Болтина, который до того сдружился съ своимъ любимымъ писателемъ, что слова и мысли его приводилъ какъ бы невольно: они припоминались ему при каждомъ малѣйшемъ поводѣ, вслѣдствіе того *сильнаго впечатлѣнія*, которое производили они на его ясный и воспріимчивый умъ. Болтинъ выписывалъ изъ Словаря Бэйля не только фактическія свѣдѣнія, не только *философскіе выводы* и воззрѣнія, но и множество отдѣльныхъ мыслей, летучихъ замѣтокъ, счастливыхъ выраженій и т. п. Идетъ ли рѣчь объ истинномъ значеніи воинскихъ доблестей и побѣдъ, которыя такъ высоко цѣнятся и современниками, и потомствомъ; указывается ли на призваніе писателя и на печальныя уклоненія отъ его благородныхъ обязанностей, и т. п.—все подтверждается и какъ бы сверѣпляется умнымъ и правдивымъ свидѣтельствомъ Бэйля. Свой образъ мыслей относительно значенія литературы и обязанностей писателя Болтинъ выражаетъ словами Бэйля, утверждающаго, что писатели, достойные своего имени, не признаютъ другой власти, кромѣ правды и разума, и подъ ихъ защитою ведутъ войну со всякимъ уклоненіемъ отъ разума и правды, со всѣмъ ложнымъ и нечистымъ“¹⁾). Такимъ образомъ заимствованія изъ Бэйля простирались на весьма существенныя пункты во всемъ складѣ мыслей Болтина, и очень мудро сказано, чтобы нашъ историкъ составлялъ свои идеи лишь на основаніи того, что узнавалъ изъ лѣтописей и изъ деревни... Другимъ авторитетомъ Болтина былъ нерѣдко цитируемый имъ „писатель знаменитый нашего вѣка“, подъ которымъ разумѣется Вольтеръ. Изъ него, какъ изъ Бэйля, Болтинъ заимствовалъ не только факты, но и общія философскія положенія, и напр. то раціоналистическое свободомысліе, которое у Болтина, какъ у Татищева, подавало поводъ къ первой критической оцѣнкѣ церковнаго элемента

¹⁾ Тамъ же, стр. 143—144, 215.

нашей исторіи. Отношеніе науки къ религіи, историческая роль духовенства, значеніе народнаго обычая опредѣляются у Болтина подъ несомнѣннымъ вліяніемъ Вольтера и съ точки зрѣнія, которой не знали ни лѣтопись, ни деревня, обѣ стоявшія на точкѣ зрѣнія непосредственно патріархальной. Далѣе, большимъ уваженіемъ Болтина пользуется писатель, который былъ столь почитаемымъ авторитетомъ для самой императрицы Екатерины при составленіи „Наказа“—Монтескье; затѣмъ Рейналь и Руссо. Изъ всѣхъ этихъ писателей Болтинъ бралъ общія представленія о политическихъ учрежденіяхъ, формахъ благоустроеннаго общества, отношеніяхъ закона и обычая и т. п. Словомъ, присматриваясь къ теоретическимъ взглядамъ Болтина, нельзя не видѣть, что они образовались подъ сильнымъ вліяніемъ западныхъ и особливо французскихъ философско-историческихъ учений. вмѣстѣ съ тѣмъ эти взгляды представляли нѣчто новое, неизвѣстное старымъ традиціоннымъ понятіямъ нашего общества.

Болтинъ, какъ и Татищевъ (но уже гораздо многостороннѣе послѣдняго), ищетъ объясненія событій въ реальныхъ условіяхъ жизни; чудесное не находитъ мѣста въ исторіи и объясняется только суевѣріями вѣка; чтобы объяснить прошедшее, историкъ старается раскрыть и сопоставить обстоятельства и интересы, среди которыхъ совершались событія. Въ соотвѣтствіе съ авторитетными писателями того времени, Болтинъ настаиваетъ на необходимости для историка и политика уразумѣть существенныя особенности народа, или, по нынѣшнему, понять свойства народности. Въ этихъ свойствахъ нѣтъ ничего произвольнаго и сверхъестественнаго: онѣ происходятъ изъ совокупности причинъ нравственныхъ и физическихъ, и въ ряду послѣднихъ особенно отъ климата. Какъ историкъ не можетъ объяснить судьбы народа, не принявъ во вниманіе народныхъ свойствъ, такъ политикъ въ своихъ практическихъ мѣрахъ необходимо долженъ сообразоваться съ ними, чтобы не впасть въ ошибку. Производя нововведеніе, необходимо сообразоваться съ обычаями и мѣстными условіями; иначе законы будутъ напрасны или даже вредны.

Русскій народъ Болтинъ считаетъ народомъ вполне европейскимъ въ томъ смыслѣ, что это—народъ равноправный съ европейцами и вполне способный къ тому высокому просвѣщенію, какого достигла Европа. Болтинъ знаетъ и указываетъ различія въ характерѣ племенъ и въ складѣ ихъ исторіи (какъ не забываетъ мѣстныхъ отличій въ кругу самой русской народности), но совершенно признаетъ ту однородность русскихъ съ народами Европы, какую хотѣли отвер-

¹) Ср. Исторію Росс. Акад., V, стр. 188 и слѣд.

гать новѣйшіе славянофилы '). Этими общими понятіями о народных особенностяхъ и необходимости просвѣщенія, опредѣляются мнѣнія Болтина о новѣйшихъ событіяхъ русской исторіи. Онъ говоритъ съ великимъ почтеніемъ о дѣятельности Петра Великаго, въ которомъ видѣлъ героя и насадителя наукъ, но строго осуждаетъ оказавшіяся потомъ неблагопріятныя вліянія западныхъ нравовъ, и испорченному новому обществу противопоставляетъ здравую простоту стараго обычая. Онъ съ величайшимъ негодованіемъ говоритъ о временахъ Бирона, о которыхъ зналъ еще по живымъ преданіямъ. Онъ привѣтствовалъ времена Екатерины II, которая, по тогдашнему представленію, дала свободу мысли и совѣсти русскому народу. Любовь къ старинѣ, въ которой Болтинъ цѣнилъ простоту нравовъ, не мѣшала ему высоко оцѣнивать это освободительное настроеніе временъ Екатерины (въ первые годы ея царствованія), весьма мало похожее на эту старину. Онъ радуется, что съ воцареніемъ Екатерины „совѣсть не судится, мысль свободна, измыъ развязанъ“. Въ духѣ этой терпимости и согласно своему взгляду на значеніе народнаго обычая, котораго не слѣдуетъ измѣнять насильственно, Болтинъ относится весьма разумно къ расколу. Если разсмотрѣть,—разсуждаетъ онъ,—обряды и религіозныя понятія нашихъ раскольниковъ, то не найдется въ нихъ ничего такого, что противорѣчило бы правиламъ и обязанностямъ истиннаго христіанина и добраго гражданина. „Какой вредъ, напримѣръ, наносили государству бороды? Никакой. Какую пользу принесло обрיתіе ихъ? Никакой же, но принужденіе къ тому великій вредъ причинило. Когда характеръ мой хорошъ, что кому нужды до того, что лицо у меня мохнато; что платье на мнѣ длинно; что знаменуя себя крестомъ, не такъ персты складываю какъ другіе; что вмѣсто трехъ разъ, по два раза аллилуія читаю; что по солнцу, а не противу солнца обращаюся; что старопечатныя книги признаю исправнѣйшими новыхъ, и проч?... Оставь слабости при мнѣ, если основаніе сердца моего благо. Признавая всѣ сіи мелочныя обряды и ничего въ существѣ своемъ незначущіе, за важныя, за необходимыя ко спасенію, подвергаю себя всеобщему осмѣянію, являю свое невѣжество, невѣгласіе; но не дѣлаюся преступникомъ, не заслуживаю ненавидѣнія, наказанія, гоненія. Наблюдая сіи странности, могу быть вѣренъ Государю, усерденъ къ отечеству, добрымъ и честнымъ членомъ въ обществѣ, храбрымъ солдатомъ, трудолюбивымъ земледѣльцемъ, хорошимъ семьяниномъ. Пусть мнѣ о вещахъ всякой по своему, но дѣлаетъ только то, что повелѣваетъ законная власть. Не будетъ о мнѣніяхъ спора, прекратятся и разгласія. Не будетъ принужденія, насилія, исчезнетъ изуверство. Не

сильно могущество власти противу мрачныхъ привидѣній невѣжества и суевѣрія: свѣтъ единъ заставляеть ихъ исчезати“¹⁾).

Новѣйшій біографъ, отмѣчая у Болтина наклонность къ старинѣ, указываетъ также его нерасположеніе къ Франціи и французскому вліянію. „Вліяніе Франціи,—говоритъ онъ,—чувствовалось у насъ не только въ литературѣ, но и въ жизни. Оно отражалось не только въ нашихъ понятіяхъ, но и въ нашихъ нравахъ, общественныхъ и даже семейныхъ; оно разрывало живую связь русскихъ людей съ русскою землею; оно грозило имъ умственнымъ и нравственнымъ порабощеніемъ (?). Сама собою создалась у насъ обличительная литература, направленная противъ иноземнаго вліянія. Въ смѣлыхъ и правдивыхъ укорахъ, выходившихъ изъ круга людей, подобныхъ Новикову и Болтину, слышится не слѣпая ненависть къ иностранцамъ, а горячая любовь къ Россіи и сознание духовныхъ силъ русскаго народа“²⁾. Болтинъ, какъ и Новиковъ, не разъ возвращается къ обличенію вредныхъ слѣдствій французскаго воспитанія и приписываетъ ему презрѣніе къ прекраснымъ обычаямъ родной старины по той причинѣ, что такихъ обычаевъ не водится у французовъ; онъ возмущается, что русскіе люди дѣлятся на „благородныхъ“ и „чернь“, и первые смѣются надъ народными старыми обычаями. Мы объясняли въ другомъ мѣстѣ, къ чему исторически сводится французское вліяніе и разрывъ съ народомъ. Общественныя формы и обычаи не падаютъ безъ достаточной причины отъ чьего-нибудь произвола; въ старыхъ обычаяхъ было много прекраснаго, но много и не-прекраснаго, и это послѣднее должно нести на себѣ въ значительной степени вину тѣхъ нововведеній, которыя его устраняли: не мудрено затѣмъ, что съ непривлекательными подробностями старины падало и то, что въ ней было хорошаго и сочувственнаго. Съ другой стороны, процентъ французскаго вліянія былъ не великъ, и оно приносило не однѣ только прискорбныя послѣдствія: Болтинъ не вспомнилъ (да и его біографъ также), что раздѣленіе на благородныхъ и чернь началось гораздо раньше французскаго вліянія (оно началось съ появленія привилегированной дружины и „смердовъ“ или „холоповъ“, и продолжалось во все теченіе русской исторіи); что французское вліяніе вызывалось скудостью умственныхъ интересовъ стараго патріархальнаго общества и недостаткомъ общественной въ старыхъ нравахъ, и наконецъ, что французское вліяніе очень помогло нашему собственному сознанию. Прекрасный образецъ послѣдняго представляетъ тотъ самый писатель, изъ котораго

¹⁾ Примѣч. на Исторію Леклерка, II, стр. 368—364.

²⁾ Исторія Росс. Акад. V, стр. 194.

мы приводимъ обличеніе французскаго вліянія: Болтинъ пропитанъ былъ этимъ вліяніемъ; его научными авторитетами были знаменитые тогда французскіе писатели, между прочимъ тѣ самые, которые потому считались наиболѣе зловредными ¹⁾, но это не помѣшало ему остаться самымъ русскимъ человѣкомъ и цѣнить преданія старины; напротивъ, съ помощью французскихъ мыслителей онъ и научился сознательно относиться къ этой старинѣ, понимать силу обычая и его народное право. Болтину и Новикову было трудно сказать, а новѣйшему біографу можно было не забыть, какаѣ роль въ вопросѣ о французскомъ вліяніи принадлежала одному существенному обстоятельству, которое тутъ несомнѣнно дѣйствовало, — именно, примѣру самого двора.

Болтинъ не настаивалъ на освобожденіи крестьянъ; въ полемикѣ съ Леклеркомъ онъ даже выставляетъ положеніе русскихъ крестьянъ болѣе обеспеченнымъ, чѣмъ положеніе земледѣльца европейскаго; но съ другой стороны онъ не думаетъ скрывать, что измѣненіе этого дѣла желательно, — только оно должно произойти медленно и постепенно. Любопытно, что и здѣсь онъ подкрѣпляетъ свои разсужденія французскимъ авторитетомъ и ссылается на слова Руссо, что „прежде должно учинить свободными души рабовъ, а потомъ уже тѣла“; эту мысль онъ приписываетъ и Екатеринѣ, и объясняетъ ею основаніе училищъ „для нижнихъ чиновосостояній“, которое, по его мнѣнію, должно было „приготовить души юношества, въ нихъ воспитываемаго, къ воспріятію сего великаго и божественнаго дара“ ²⁾. Радищевъ тогда же отвѣчалъ на это предположеніе страшной картиной положенія крѣпостного, получившаго по волѣ барина высшее образованіе и „приготовленнаго къ воспріятію божественнаго дара“, но оставленнаго наслѣдникомъ этого барина въ крѣпостныхъ... Болтинъ не скрывалъ отъ себя и отъ своихъ читателей, что одною изъ причинъ, требовавшихъ измѣненія въ положеніи крестьянъ, были свойства помѣщичьей власти: между помѣщиками бывали люди жестокіе и безчувственные, „дѣлающіе стыдъ русскому имени и человѣчеству“, бывали „чудовищные и презрительные выродки въ природѣ“... Но

¹⁾ Имя Вольтера стало обозначеніемъ необузданнаго и безнравственнаго вольномыслія; объ Рейналѣ вспомнила сама императрица Екатерина, дѣлая замѣтку на книгу Радищева.

²⁾ Прим. на исторію Леклерка, II, стр. 236 — 237. Въ другомъ мѣстѣ Болтинъ говоритъ: „При дачѣ рабамъ свободы, все благоразуміе въ томъ, по мнѣнію моему, должно состоять, чтобъ не прежде оную имъ даровать, какъ науча ихъ познавать ея цѣну, и какъ надлежитъ ей пользоваться; въ противномъ случаѣ, вмѣсто благодѣянія сдѣлавъ будетъ имъ вредъ, зло и гибель... La liberté est un aliment de bon suc, mais de forte digestion; il faut des estomacs bien sains pour le supporter (*Rousseau*)“. Тамъ же, стр. 323.

какъ бы ни смотрѣлъ Болтинъ на вопросъ освобожденія, который въ то время былъ, и самому Болтину казался еще неосуществимымъ, онъ зналъ фактическое положеніе народа въ свое время никакъ не хуже, чѣмъ въ наше время знаютъ это положеніе новѣйшіе народники. Онъ совершенно понимаетъ и толково объясняетъ порядки и обычаи общиннаго землевладѣнія ¹⁾ и вообще хорошо знакомъ съ бытомъ, народными преданіями и обычаями, народной поэзіей и языкомъ. Онъ пользуется этимъ матеріаломъ и въ своихъ историческихъ изслѣдованіяхъ, приводитъ народныя пѣсни, повѣрья, пословицы, какъ остатокъ и свидѣтельство минувшихъ временъ. Ему извѣстны и произведенія былинной поэзіи, къ которымъ однако онъ относится иначе, чѣмъ наши новѣйшіе ученые. Болтинъ не думаетъ приписывать былинамъ такую древность, такое полу-мистическое національное значеніе, какъ это склонны были дѣлать теперь. Для изображенія древнѣйшаго быта надо, по его мнѣнію, обращаться нивакъ не къ этой народной поэзіи, а къ древнимъ письменнымъ памятникамъ, къ лѣтописи Нестора, къ законамъ Ярослава и Изяслава, къ договорамъ, грамотамъ, церковнымъ памятникамъ и т. п.; напротивъ былинная поэзія, которой придается теперь такое значеніе, не пользуется сочувствіемъ Болтина ни съ исторической, ни съ поэтической стороны. Пѣсни объ Ильѣ Муромцѣ, о пирахъ князя Владимира и проч., по мнѣнію Болтина,—пѣсни „подлыя“, безъ всякаго складу и ладу. „Подлинно такковыя пѣсни изображаютъ вкусъ тогдашняго вѣка, но не народа, а черни, людей безграмотныхъ, и можетъ быть, бродягъ, кои ремесломъ симъ кормились, что слагая такковыя пѣсни, пѣли ихъ для испрошенія милостыни; подобно тому, какъ и нынѣшніе, а паче слѣсные, слагая нелѣпыя стихи, поютъ ихъ ходя по торгамъ, гдѣ чернь собирается. Сказанныя пѣсни такого-жъ точно рода какъ сіи нищенскія, называемыя стихами, и сочинены подобными авторами; слѣдовательно вкуса и нравовъ народа изображать не могутъ“ ²⁾).

¹⁾ Исторія Россійской Академіи, V, стр. 234, 414. Сколько указанія Болтина и другихъ названныхъ нами раньше ученыхъ, путешественниковъ, историковъ и этнографовъ, послужили для новыхъ изслѣдователей народнаго, специально крестьянскаго вопроса въ прошломъ столѣтіи, читатель можетъ увидѣть въ книгѣ г. Семевского: „Крестьяне въ царствованіе имп. Екатерины II“. Спб. 1881. О Болтинѣ см. еще того же автора: „Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половинѣ XIX вѣка“. Спб. 1888, т. I, глава XIII.

²⁾ Примѣч. на исторію Лекерва, II, стр. 60. Замѣтимъ, что простой, безграмотный народъ, авторъ народной нашей поэзіи, у самого Болтина является въ видѣ весьма презираемой имъ „черни“.

Замѣчаніе Болтина о происхожденіи былинь не такъ поверхностно, какъ можетъ казаться нѣкоторымъ любителямъ былинной поэзіи. По всей вѣроятности во времена Болтина былина не имѣла уже, какъ и теперь, общаго распространенія въ народѣ или, какъ теперь, извѣстна была только въ видѣ отдѣльныхъ сказочныхъ сюжетовъ, гдѣ Илья Муромецъ, національный герой, шелъ рядомъ съ Бовой-Королевичемъ и Ерусланомъ: Болтину могло казаться, что изображеніе былиннаго богатыря есть не общенародное созданіе, а фантазія одного разряда народныхъ пѣвцовъ и сказочниковъ, какъ духовные стихи были дѣломъ своихъ особыхъ специалистовъ. Исслѣдователямъ новѣйшимъ также приходила мысль о частномъ сословномъ происхожденіи былины. Наконецъ, Болтину не безъ основанія могла не нравиться новѣйшая форма былинныхъ сказаній, гдѣ старыя черты эпоса подпали позднѣйшему огрубѣнію народной фантазіи и самаго выраженія.

Общее значеніе Болтина наиболѣе отчетливо опредѣлено въ характеристикѣ Соловьева. Болтинъ былъ свидѣтелемъ перемѣны, которая произошла со второй половины прошлаго вѣка во взглядахъ общества на науку и просвѣщеніе. Въ началѣ вѣка, въ эпоху преобразованія, на науку смотрѣли преимущественно съ точки зрѣнія практической пользы; теперь обратили вниманіе на вопросъ о воспитаніи. Моралисты временъ Екатерины II постоянно говорили о воспитаніи, какъ залогъ благосостоянія общества. Это отразилось и во взглядахъ на русскую исторію. Въ Петровскія времена надо было защитить права просвѣщенія противъ невѣжества и суевѣрія, и приверженцы новаго порядка естественно проникались враждой къ старинѣ, которая казалась олицетвореніемъ предразсудковъ и невѣжества. Теперь вопросъ ставился иначе, и одно образованіе ума, безъ воспитанія нравственнаго, стало казаться недостаточнымъ—оно часто сопровождалось нравственной порчей или пристрастіемъ къ чужеземному, хотя бы и дурному. „Лучшіе умы,—говоритъ Соловьевъ,—стали вооружаться теперь уже не столько противъ вредныхъ слѣдствій стариннаго, до-Петровскаго быта, сколько противъ вредныхъ слѣдствій односторонняго стремленія ко всему новому и чужому: отсюда недовольство предшествовавшимъ направленіемъ; борьба съ нимъ нечувствительно вела къ примиренію съ стариною, которая уже не возбуждала сильной вражды, ибо признала себя побѣжденною и прикрылась другимъ слоємъ, а на мѣсто ея явился другой, новый врагъ, болѣе опасный. Въ борьбѣ съ недавнимъ зломъ нечувствительно стали бросать благоприятные взгляды на старину отдаленную, именно уже потому, что она была враждебна новому врагу, противъ

котораго нужно было вооружиться всѣми средствами; нужно было показать его незаконное вторженіе на мѣсто прежняго, лучшаго, а между тѣмъ старина, вслѣдствіе самого отдаленія своего и неизвѣстности, начала представлять пріятные образы. Это недовольство направленіемъ, господствовавшимъ въ первую половину восемнадцатаго вѣка, и примиреніе съ враждебною ему стариною до-Петровскою объясняетъ намъ взглядъ Болтина на древнюю русскую исторію¹⁾.

Мы упоминали о томъ, насколько это новое обращеніе къ старинѣ выдерживало историческую и общественную критику. Старина могла казаться привлекательною, какъ патріархальный бытъ, не испытывавшій множества новыхъ условій и соблазновъ, которые иногда отражались неблагоприятно на нравахъ и обычаяхъ; любители старины во времена Болтина обращали на нее свои взгляды не въ силу живого сознанія, а путемъ теоретическаго разсужденія и при этомъ обыкновенно забывали, что старину вообще нельзя разсматривать съ точки зрѣнія однихъ лучшихъ ея сторонъ: онѣ были такъ переплетены со всѣмъ ея характеромъ, что выборъ въ сущности немыслимъ, что взять одно было бы невозможно безъ другого, вмѣстѣ съ лучшимъ придетъ и самое худшее; съ патріархальной простотою правовъ, которая прельщала моралистовъ прошлаго вѣка, какъ и ихъ нынѣшнихъ подражателей, неразрывно соединилось и патріархальное невѣжество, и еслибы возможно было когда-нибудь возстановленіе старины, то націи и обществу снова пришлось бы вынести такой же кризисъ ожесточенной борьбы противъ нея, какимъ однажды она была удалена. Но возвращеніе и невозможно: стремленіе къ этому возвращенію бываетъ только или мечтой идеалистовъ-археологовъ, или ретроградовъ; попытки фактическаго возстановленія старины всегда сводились къ одной декорации и театральному, или балаганному, переодѣванью. Старинный обычай сохраняетъ жизненное могущество только тамъ, гдѣ онъ несетъ съ собою, какъ въ Англіи, преданіе общественной свободы и самодѣятельности.

Но Болтинъ исторически любопытенъ не этою наклонностью идеализировать старину, а общимъ отношеніемъ его къ историческому и народному вопросу. На этомъ, безъ сомнѣнія умнѣйшемъ изъ нашихъ историковъ прошлаго вѣка, мы убѣждаемся еще разъ, что пріятіе западной науки не только не было подчиненіемъ чужому, отдаленіемъ отъ національнаго содержанія, а напротивъ будило мысль, вело ее на критическую работу и въ концѣ концовъ возвращало къ

¹⁾ Архивъ историко-юридическихъ свѣдѣній, Калачова, кн. II, половина первая, 1855, ст. Соловьева: „Писатели русской исторіи XVIII вѣка“.

тому же національному содержанию, но понятому уже сознательно. Такъ, у писателей XVIII вѣка возникалъ интересъ къ народу не какъ чужое указаніе, а какъ живая органическая мысль, исторію которой не трудно прослѣдить не только въ теченіе XVIII-го вѣка, но даже и раньше, въ проблескахъ критической мысли XVII-го столѣтія.

ГЛАВА V.

XVIII-й вѣкъ. Наука и народность: языкъ народный и литературный.

Переворотъ въ литературномъ языкѣ со времени реформы.—Ломоносовъ.—Ученныя общества для рѣшенія вопроса о языкѣ.—Россійское собраніе, при Академіи наукъ.—Вольное собраніе при московскомъ университетѣ.—Свщ. Петръ Алексѣевъ.—Россійская академія.—Княгиня Дашкова.—Румовскій, Лепехинъ, Волгинъ.—Языкъ областной.—Начало исторіи литературы: Коль, Дамаскинъ-Рудневъ, Баузе.

Исторія нашего литературнаго языка со времени реформы разработана до сихъ поръ чрезвычайно мало. Кромѣ книги г. Буслаева: „О преподаваніи отечественнаго языка“ (1844), гдѣ намѣчены многіе вопросы этой исторіи; кромѣ старой книги К. Аксакова и новой книги г. Будиловича о Ломоносовѣ и, наконецъ, кромѣ отдѣльныхъ замѣтокъ въ „Филологическихъ Разысканіяхъ“ г. Грота, не было предпринято никакихъ спеціальныхъ работъ, которыя выяснили бы эту исторію со временъ Петра и до нашего времени. Между тѣмъ, предметъ исполненъ интереса. Литературный языкъ есть вѣрное отраженіе умственнаго и поэтическаго содержанія общества въ данную эпоху, отраженіе тѣхъ путей, какими это содержаніе развивалось, и отношеній, въ какихъ оно находилось къ народной старинѣ и настоящему. Исторія нашего литературнаго языка въ теченіе реформы вѣка можетъ стать любопытнымъ дополненіемъ къ исторіи реформы со всѣмъ ея разностороннимъ дѣйствіемъ на умы и нравы общества, всѣмъ новымъ запасомъ идей, всей борьбой стараго съ новымъ, ихъ совмѣстнымъ существованіемъ въ жизни, и все болѣе сильнымъ притокомъ народной стихіи въ новую возникшую умственную жизнь. Ранѣе мы упоминали о томъ, какимъ образомъ на ломаномъ, странномъ книжномъ языкѣ Петровскаго времени сказывалось

сначала тягостное усвоение чуждых понятий; какъ потомъ съ привычкой къ новому знанію, сглаживались грубыя и угловатыя формы новаго языка и, наконецъ, мало-по-малу онѣ выросли въ новую живую и изящную рѣчь. Противники Петровской реформы ссылались не разъ на эту угловатость стараго языка, противопоставляя ей мѣткость и свѣжесть простой народной рѣчи, и выводили заключеніе о противуестественности самаго дѣла, говорившаго языкомъ Петровскихъ временъ. Забыто было въ этомъ противоположеніи только одно — что сравнивались вещи не однородныя: языкъ Петровской книги потому именно и былъ тяжелъ, что ему приходилось выражать неизвѣстныя прежде понятія, которыхъ совѣтъ не могла выразить народная рѣчь того времени; эта послѣдняя до тѣхъ поръ лишь и могла быть свѣжа и красива, пока не выходила изъ своего ограниченнаго обихода реальныхъ представленій; но она была совершенно безсильна для понятій изъ области невѣдомаго до тѣхъ поръ отвлеченно-научнаго и практическаго знанія. Нужно было вспомнить о всемъ положеніи вещей наканунѣ реформы.

Это положеніе было таково. *Русскій* литературный языкъ, какъ онъ есть теперь, въ то время не существовалъ: въ книжномъ обращеніи была неопредѣленная амальгама изъ двухъ, хотя по происхожденію близкихъ и исторически связанныхъ, но тѣмъ не менѣе различныхъ стихій. Эти стихіи, церковная и народная, существовали рядомъ, но церковная была все-таки чужда самой жизни, и старыя книжники до конца не могли выяснить себѣ ихъ взаимнаго отношенія и выработать живую литературную рѣчь. Настоящимъ нормальнымъ языкомъ книги считался церковный, т. е. собственно говоря, та особая разновидность старо-славянскаго языка, которая образовалась съ теченіемъ вѣковъ отъ неизбѣжнаго воздѣйствія живого русскаго говора. вмѣстѣ съ тѣмъ настоящей книгой, заслуживающей вниманія, считалась только книга божественная или учительная (то же понятіе о книгѣ сохраняется и до сихъ поръ въ народѣ, и новѣйшіе охранители — не вѣдая, что творятъ — любятъ ссылаться на это въ упоръ либеральной литературѣ, которая старается довести до народа известную долю научнаго мірскаго знанія). Жизнь, конечно, брала свое, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше въ книгу, или вѣрнѣе, въ письменность врывается народный языкъ. Онъ уже издавна вошелъ въ ту часть письменности, которая передавала реальныя дѣла народной жизни — грамоты и договоры, дѣла административныя и судныя, законодательство, наконецъ, въ тотъ отдѣлъ литературы, котораго, при всѣхъ усиліяхъ, не могла подавить церковная книжность, — въ произведенія народно-поэтической письменности. Тѣмъ не менѣе онъ не былъ признаваемъ, и до XVIII вѣка ни одно изъ про-

изведеній этой послѣдней литературы не было удостоено печати, да и не помышляло этого удостоиться. При такомъ положеніи вещей не возможно говорить о томъ, что книжный языкъ XVIII вѣка былъ „дурнымъ русскимъ языкомъ“, хуже языка XVII вѣка—послѣдній просто совсѣмъ не сумѣлъ бы говорить о тѣхъ предметахъ, о которыхъ, худо ли, хорошо ли, началъ говорить языкъ XVIII вѣка. Книжный языкъ XVII столѣтія былъ языкъ церковной книги и только; для остальныхъ потребностей умственной жизни онъ не давалъ никакихъ средствъ выраженія; литература поэтическая не признавалась въ самомъ принципѣ.

Понятно, такимъ образомъ, что когда съ реформой возникалъ цѣлый рядъ новыхъ потребностей, являлся впервые новый запасъ научныхъ знаній, нарождалось впервые личное поэтическое творчество, отмѣтившее цѣлый новый періодъ во внутренней жизни національности,—для всего этого въ языкѣ старой книги не было выраженія, и предстояла трудная задача найти это выраженіе—почти безъ всякой прежней подготовки и безъ предшественниковъ ¹⁾. Понятно, что этотъ трудъ не могъ быть исполненъ сразу; напротивъ, потребовался цѣлый рядъ поколѣній для совершенія дѣла, которое стало великимъ приобретениемъ народной мысли и народной рѣчи. Въ судьбѣ новаго литературнаго языка очевидны всѣ свойства жизненнаго историческаго процесса. Во-первыхъ, зачатки этого труда надъ литературнымъ языкомъ восходятъ во временамъ задолго до Петровской реформы; во-вторыхъ, онъ совершается съ замѣчательной послѣдовательностью, все болѣе расширяя кругъ своего содержанія и захватывая народную стихію, и въ результатѣ впервые онъ создалъ то, чего *не имѣла* старая, московская Россія—*русскій* литературный языкъ, способный служить цѣлямъ просвѣщенія и поэтическаго творчества и глубоко проникнутый чисто русскимъ народнымъ элементомъ. Созданіе этого новаго литературнаго языка, завершаемое только въ XIX столѣтіи, составляетъ таковой же многозначительный фактъ національнаго самосознанія, какой мы видѣли выше въ разнообразныхъ изученіяхъ Россіи и ея исторіи, какой представляетъ все умственное и литературное движеніе прошлаго вѣка. Во всемъ этомъ XVIII вѣкъ только отвергалъ узкую односторонность или простое патриархальное невѣдѣніе старой русской жизни и впервые возвысился до дѣйствительнаго національнаго самосознанія.

Образованіе новаго языка было исторической необходимостью

¹⁾ Говоримъ: *почти*, потому что въ XVII вѣкѣ были уже, какъ сейчасъ скажемъ, хотя отрывочные, но несомнѣнные признаки стремленія къ реформѣ и вмѣстѣ къ расширенію литературнаго языка, но все-таки Петровскому времени пришлось за многое браться впервые.

Литература XVII-го вѣка, хотя слабыми и невѣрными шагами, несомнѣнно вступала на новую дорогу: рядомъ со старой традиціонной книжностью появлялись произведенія совсѣмъ новаго характера; возникало замѣтное вліяніе кievской школы и черезъ нее польской литературы; появляются переводы изъ западныхъ литературъ—книгъ географическихъ и историческихъ, наконецъ, повѣстей и драматическихъ пьесъ. Все это вмѣстѣ произвело въ книжномъ языкѣ чрезвычайную путаницу; онъ представлялъ безсвязную массу необработанныхъ элементовъ: церковно-славянскую или русскую основу съ различными варваризмами, особенно польскими, латинскими и южно-русскими. Наконецъ, явилось и стихотворство съ тѣмъ же вавилонскимъ смѣшеніемъ языковъ, о которомъ трудно сказать, какому языку оно принадлежало больше: славянскому, великорусскому, южно-русскому или бѣлорусскому; въ то же время существовалъ болѣе или менѣе чистый славянскій языкъ у церковныхъ стилистовъ, чистый русскій языкъ у писателей дѣловыхъ. Это было состояніе броженія, гдѣ новые элементы заявили свое присутствіе, но еще не срослись ни во что органическое. Языкъ Петровскаго времени съ его извѣстными свойствами—тѣмъ же еще неорганизованнымъ смѣшеніемъ славянскаго и русскаго, обиліемъ иностранныхъ словъ, въ сыромъ видѣ вставленныхъ въ русскую рѣчь,—въ сущности не представлялъ никакой новой ломки языка, какъ обыкновенно говорятъ, а былъ только второю ступенью ранѣе начавшагося броженія, второю въ томъ смыслѣ, что продолжалось прежнее неустановившееся положеніе языка, который, воспринимая новыя понятія, еще не находилъ для нихъ органическаго выраженія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ это было уже нѣчто совершенно новое, носившее въ себѣ зародышъ будущаго могущественнаго развитія. Дѣятельность гениальнаго человѣка наложила печать на самый языкъ и, разбудивши національную мысль, дала новыя средства, мотивы для развитія языка. Въ языкѣ самого Петра еще слышатся входившіе по привычѣ церковные элементы, но основа чисто русская: Петръ черпалъ изъ первыхъ источниковъ; онъ говорилъ простымъ народнымъ, нерѣдко грубо сильнымъ языкомъ, безъ церемоніи вставляя въ него иностранныя слова, когда нужно было обозначить вещь, для которой еще не было русскаго названія. Но въ этомъ смѣшеніи было сильное, здоровое зерно: этотъ языкъ служилъ *живому дѣлу*, которое становилось государственнымъ дѣломъ великаго народа; его новизны не были повтореніемъ изъ вторыхъ или третьихъ рукъ чужихъ понятій, а были выраженіемъ жизненнаго факта, результатомъ приобретаемаго свѣжаго реального знанія. Формы тогдашняго языка указывали путь, какимъ съ этихъ поръ предстояло развиваться русской рѣчи: въ основу долженъ былъ стать

языкъ жизни, языкъ народной дѣятельности; въ него должны были войти тѣ новыя приобрѣтенія, которыя дала наука въ ея многообразныхъ отрасляхъ, съ ея практикой и теоріей. Таковъ и былъ дѣйствительно дальнѣйшій ходъ книжнаго языка въ XVIII столѣтіи. Послѣдующее время устранило изъ языка то, что было въ немъ внѣшнимъ, по необходимости сдѣланнымъ заимствованіемъ, но осталась здоровая сущность движенія: онъ сталъ давать новые ростки, развивавшіеся собственными его внутренними силами; онъ вступалъ въ *новый историческій періодъ*. Съ этого возбужденія, даннаго новымъ образовательнымъ содержаніемъ, собственно и началось первое полное проявленіе всего богатства и жизненности русскаго языка. Процессъ развитія не довершенъ и по настоящее время—потому что сама русская образованность еще далека отъ самобытности (затрудненной безъ свободы науки и слова),—но, конечно, никогда еще нашъ языкъ не видалъ такого роскошнаго развитія, въ какомъ онъ является у лучшихъ писателей нашего времени, когда онъ овладѣваетъ одинаково и высшими областями научнаго знанія, и самыми тонкими выраженіями поэтическаго творчества, и самыми своеобразными проявленіями народности. Ничего подобнаго не представлялъ онъ въ свои прежніе періоды, и ближайшимъ исходнымъ пунктомъ этого движенія было Петровское время.

Въ эпоху преобразованія не нашлось, да по обстоятельствамъ времени и не могло найтись, писателей и теоретиковъ языка, которые въ состояніи были бы внести единство въ это броженіе и установить нормы языка. Въ полномъ разгарѣ было самое дѣло: собирався новый матеріалъ, вызывались новыя стихіи будущаго движенія, и невозможна была пока никакая организація этого множества новаго лексическаго матеріала и новыхъ оборотовъ рѣчи; самая литература была въ большинствѣ дѣловая, научная, техническая. Петръ былъ однимъ изъ ея ревностныхъ дѣятелей: среди самыхъ серьезныхъ государственныхъ дѣлъ, военныхъ и административныхъ, онъ заказывалъ книги и переводы, самъ выправлялъ ихъ и, случалось, съ похода посылалъ прочитанныя корректуры. Въ это бурное и занятое время некогда было думать о точныхъ правилахъ и изяществѣ выраженія. Время для „музъ“, т.-е. грамматики и вопросовъ о стилѣ, было впереди, и оно дѣйствительно пришло съ первымъ ученымъ поколѣніемъ, которое училось въ Петровское время и начало свою самостоятельную дѣятельность послѣ него. Главнымъ представителемъ этого поколѣнія явился Ломоносовъ. Много было говорено объ его великихъ заслугахъ въ русской наукѣ и литературѣ, и дѣйствительно любопытно, что Ломоносовъ начинаетъ свою многообъемлющую и творческую дѣятельность вслѣдъ за преобразованіемъ госу-

дарственнымъ. И здѣсь Западъ доставляетъ теоретическія знанія и возбужденія, которыя естественно связались съ историческими требованіями русской жизни и нисколько не противорѣчили особенностямъ русской національной природы. Вопросъ объ языкѣ самъ собою представлялся Ломоносову на первыхъ порахъ его дѣятельности, и онъ возвращался къ нему до своихъ послѣднихъ дней. Какъ человѣкъ науки и писатель, Ломоносовъ не могъ не поставить себѣ этого вопроса въ виду упомянутой неурядицы въ формахъ и матеріалѣ языка, и онъ желалъ поставить на ея мѣсто тотъ порядокъ, какой свойственъ всѣмъ богатымъ литературою языкамъ, древнимъ и новымъ. Нужно было найти правильныя формы языка, чтобы онъ могъ дать выраженіе и для строгихъ положеній науки, и для изящныхъ образовъ поэзіи. Образцомъ при установленіи правилъ языка естественно представлялась общая грамматическая система европейскихъ языковъ, классическихъ и новѣйшихъ; но Ломоносовъ видѣлъ, что имѣетъ дѣло съ матеріаломъ весьма сложнымъ, разнороднымъ по составу и частію совершенно необработаннымъ. Сами собою возникали вопросы объ отношеніяхъ языковъ церковно-славянскаго и русскаго и о литературныхъ формахъ поэтическаго творчества, въ частности о складѣ русскаго стихотворства ¹⁾.

Изученіе Ломоносова можетъ достаточно объяснить тѣ недоумѣнія, какія господствуютъ до сихъ поръ о тносительно языка прошлаго столѣтія, и опровергнуть тѣ обвиненія, какія падаютъ на этотъ языкъ за мнимую порчу русской стихіи и заимствование стихій иноземныхъ. Самого Ломоносова трудно обвинить въ поблажѣ иноземному и въ неумѣннѣ цѣнить свой народный матеріалъ и преданія. У него, ближайшаго свидѣтеля того броженія, какое совершалось въ языкѣ, мы не найдемъ тѣхъ легкомысленныхъ обвиненій, на какія такъ щедро потомство. Въ вопросѣ объ иноязычной стихіи, входившей въ русскій языкъ, какъ вслѣдствіе реформы Петра, такъ и вообще отъ внесенія научныхъ свѣдѣній съ ихъ терминологіей, Ломоносовъ разсуждалъ такъ же, какъ разсуждаемъ и мы теперь: онъ

¹⁾ Послѣ книги г. Буслаева, любопытнымъ началомъ историческихъ изысканій въ этомъ вопросѣ была извѣстная диссертація К. Аксакова о Ломоносовѣ (1846). Другимъ важнымъ трудомъ была книга А. Будиловича: „М. В. Ломоносовъ, какъ натуралистъ и филологъ, съ приложеніями, содержащими матеріалъ для объясненія его сочиненій по теоріи языка и словесности“ (Сиб. 1869), и другая: „Ломоносовъ какъ писатель. Сборникъ матеріаловъ для разсмотрѣнія авторской дѣятельности Ломоносова“ (Сиб. 1871). Здѣсь собраны любопытные факты и сопоставленія для объясненія теоретическихъ понятій Ломоносова о русскомъ языкѣ и матеріалъ для характеристики его собственнаго стиля. Другія подробности по вопросу объ языкѣ въ первой половинѣ XVIII вѣка читатель найдетъ въ „Исторіи Академіи Наукъ“, Пекарскаго, т. II. Мы ограничиваемся только немногими указаніями.

не желать наводненія русскаго языка чужими словами, старался, гдѣ возможно, передавать ихъ въ русскомъ переводѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ хорошо понималъ, что иностранная стихія входитъ въ языкъ не случайно и не по чьему-нибудь произволу. „Замѣчательно, — говоритъ г. Будиловичъ, — что во всѣхъ сочиненіяхъ Ломоносова ни разу не встрѣчается упрека Петру за его преувеличенное пристрастіе къ иноземной стихіи въ языкѣ, наукѣ и администраціи, не встрѣчается не потому, чтобы Ломоносовъ это одобрялъ или не замѣчалъ, а потому, что по взгляду Ломоносова слово одновременно понятію, лексикологическое богатство языка развивается вмѣстѣ съ развитіемъ народа, и притомъ внутреннимъ ростомъ или внѣшнимъ наносомъ, смотря по тому, развилось ли понятіе органическимъ процессомъ жизни, или навязано ¹⁾ извнѣ путемъ заимствованія. Но такъ какъ образованность народовъ очень часто двигается и направляется толчками извнѣ, то, по мнѣнію Ломоносова, и заимствованія въ языкѣ — дѣло не личнаго произвола, а почти исторической необходимости; конечно, народъ, усвоивая со временемъ принесенную къ нему изуча мысль, облакаетъ ее въ своеобразную форму, творить для нея слово, но это не всегда случается: остается много формъ чуждыхъ, которыя, однако, „черезъ долготу времени... входятъ въ обычай... и то, что предкамъ было не вразумительно, потомъ становится пріятно и полезно“ ²⁾. Сознавая все это, Ломоносовъ, вмѣсто того, чтобы обвинять предшественниковъ, старался на дѣлѣ замѣнять иностранныя слова русскими, и когда случалось, создавалъ въ духѣ языка новыя слова, которыя послѣ и входили въ употребленіе. Онъ самъ, однако, не боялся употреблять иностранныя слова, когда это было нужно. Другой вопросъ состоялъ въ отношеніяхъ церковнаго и русскаго языка. Эти отношенія въ это время не были, да и не могли быть научно опредѣлены. Въ старину, какъ замѣчали уже и иностранцы, у русскихъ въ книгѣ господствовалъ славянскій языкъ, а въ обыденной жизни — русскій; это преданіе перешло и въ XVIII вѣкъ, и теоретически признавалось правильнымъ. Но жизнь все больше захватывала книгу, литература перестала быть исключительно или по преимуществу церковной, а вмѣстѣ съ тѣмъ все больше требовалъ мѣста въ книгѣ живой русскій языкъ. Ломоносовъ не въ силахъ былъ помирить противорѣчія стараго обычая и новаго требованія — не потому,

¹⁾ Выраженіе неточное: русскимъ начала прошлаго вѣка никто ничего не „навязывалъ“, да и физически не могъ навязывать. Они брали чужое *сами*, потому что въ немъ нуждались. Точно также далѣе, „толчки извнѣ“ дѣйствуютъ лишь потому, что народы сами становятся чувствительны и воспримчивы къ вліянію иноземной цивилизаціи и *сами* ея ищутъ.

²⁾ „Ломоносовъ, какъ натуралистъ и филологъ“, стр. 89.

чтобы въ немъ было не довольно народной стихіи, а потому, что сама она еще не была столько развита, чтобы стать достаточнымъ книжнымъ выраженіемъ для новыхъ понятій: въ то время никто не считалъ возможныхъ относительно ея такого принципиальнаго притязанія. Исходъ изъ затрудненія Ломоносовъ нашелъ въ средней мѣрѣ—въ простомъ соединеніи славянскаго и русскаго элементовъ, которые признавалъ какъ бы равноправными, или даже отдавая предпочтеніе церковному: различную роль ихъ онъ опредѣлялъ не столько по основаніямъ филологическимъ и по значенію русскаго языка въ жизни, сколько по основаніямъ риторическимъ. Ломоносовъ представлялъ себѣ градацію употребленія церковнаго и русскаго языка по тремъ стилямъ, причемъ церковный языкъ особенно служилъ для стиля высокаго, т.-е. для всѣхъ возвышенныхъ мыслей и возвышенныхъ предметовъ поэзіи, и извѣстно, какъ много авторитетъ Ломоносова содѣйствовало дальнѣйшему сохраненію церковнаго элемента въ литературномъ языкѣ. По замѣчанію г. Будиловича, основаніемъ этого особеннаго уваженія къ церковному языку было то, что церковный языкъ представлялъ историческое звѣно между старой и новой русскою литературою ¹⁾, что въ его области было уже выработано много средствъ возвышеннаго выраженія, которыми Ломоносовъ и дорожилъ, какъ унаслѣдованнымъ готовымъ богатствомъ. Съ другой стороны, въ книжныхъ произведеніяхъ чистаго русскаго языка, ограниченныхъ прежде одними дѣловыми, реальными интересами, онъ не находилъ ни тѣхъ элементовъ высокаго стиля, ни средствъ для передачи отвлеченно-научныхъ понятій, какія были необходимы для новой литературы и гораздо легче доставлялись оборотами церковнаго языка.

Такимъ образомъ, наплывъ жизненнаго реализма и иностранныхъ словъ, отличающихъ языкъ Петровской реформы уравнивался историческимъ элементомъ, въ церковномъ языкѣ. Этотъ элементъ былъ такъ привыченъ, что указаніе на него не возбуждало никакихъ сомнѣній и было признано всѣми единогласно. Когда ставился прямо вопросъ объ языкѣ народа, литературные авторитеты того времени, хотя безпрестанно враждовавшіе между собою, были единодушны: народный языкъ былъ языкъ „подлый“, народныя пѣсни—пѣсни „подлая“; простой слогъ, т.-е. простой разговорный и народный языкъ Ломоносовъ допускалъ только въ „подлыхъ“ комедіяхъ и подобныхъ низкихъ сочиненіяхъ; Тредьяковскій называетъ разговорный языкъ „ямщичьимъ вздоромъ или мужицкимъ бредомъ“. На самомъ дѣлѣ, не было, однако, никакой возможности положить гра-

¹⁾ Будиловичъ, тамъ же, стр. 90.

ницы между двумя элементами языка, какъ скоро литература все больше приближалась къ жизни и должна была говорить языкомъ привычнымъ для общества: общество все-таки не говорило по-славянски; въ разговорномъ языкѣ сами законодатели не все признавали низкимъ и дѣлали предположеніе о какомъ-то среднемъ уровнѣ языка, который, хотя и не былъ церковнымъ, однако, могъ быть допущенъ въ книгу, безъ ущерба ея приличію и достоинству. Этотъ средній уровень былъ, очевидно, языкъ возникавшаго теперь впервые болѣе или менѣе образованнаго общества, языкъ, выросавшій уже подъ вліяніемъ книжнаго знанія и терявшій патриархальную грубоватость простонародной рѣчи ¹⁾). Формы и обороты этого языка еще не установились, и законодатели потратили не мало хлопотъ на то, чтобы рѣшить: какъ приличнѣе или изящнѣе говорить: глазъ или око, лобъ или чело, щеки или ланиты, опять или паки и т. п.; они то пугались „грубаго деревенскаго“ языка, то опасались „къ превеликому себѣ посмѣшеству“ употреблять церковныя выраженія въ любовныхъ или геройскихъ разговорахъ ²⁾).

При всемъ уваженіи къ церковному языку, они не въ состояніи были опредѣлить точной мѣры его употребленія и противорѣчили не только одинъ другому, но и самимъ себѣ, когда возвращались къ этой темѣ при разныхъ случаяхъ. Ясно, что причина колебанія заключалась именно въ неопредѣленности цѣлаго положенія языка; но въ концѣ концовъ, несмотря на всѣ разсужденія о пользѣ церковныхъ книгъ, о „важности“ славянскаго языка и т. п., перевѣсъ падалъ все больше на сторону народной рѣчи, составлявшей основу языка общества, и въ литературномъ языкѣ все больше преобладала народная, а не церковная стихія. Понятіе объ этой народной стихіи было смутно; таковы у самого Ломоносова тѣ различныя названія, которыми онъ ее обозначаетъ: подлыя слова; слова простонародныя; слова новыя или гражданскія; слова обыкновенныя російскія; про-

¹⁾ По мнѣнію Тредьяковскаго, это былъ именно языкъ двора, благоразумѣйшихъ *министровъ*, премудрѣйшихъ *священноначальниковъ* и знатнѣйшаго *дворянства*. Г. Будиловичъ думаетъ (стр. 92), что Тредьяковскій говоритъ здѣсь какъ вѣрный ученикъ тогдашнихъ французовъ, считавшихъ нормою языкъ Версаля; но должно согласиться, что въ этомъ именно кругу (между прочимъ, въ „священноначальникахъ“) онъ могъ не безъ основанія предполагать наиболѣе образованныхъ людей тогдашняго русскаго общества. Дальше увидимъ, что самъ Тредьяковскій не поддерживаетъ этого пренебрежительнаго отношенія къ народной рѣчи. Отчасти оно происходило, у него, какъ у Ломоносова, отъ вліяній псевдо-классицизма, пріучавшаго къ напыщенности и высокому „штилю“, отчасти отъ почтенія къ церковному славянскому.

²⁾ Библиографическія Записки, 1859, ст. 518—519. Полное собраніе сочиненій Сумарокова. М. 1782, X, стр. 111.

стые разговоры; простой російскій языкъ; просторѣчіе. Границы между всѣми этими отдѣлками были очень неясны и естественно: литературная правоспособность тѣхъ или другихъ словъ и оборотовъ народной рѣчи должна была опредѣлиться живымъ употребленіемъ, а это употребленіе, *usus*, было еще ново.

Народный языкъ или разговорная рѣчь тѣмъ не менѣе неудержимо входили въ языкъ литературный, и въ первой половинѣ столѣтія уже явно обозначились двѣ отдѣльныя книжныя области: церковная и „гражданская“; въ первой крѣпче держались книжныя славянскія преданія (сохраняющіяся въ ней донинѣ), во второй—отерывалось обширное поле развитія литературнаго языка на чисто-народной основѣ. На первое время законодатели съ трудомъ допускали народную рѣчь—не потому, чтобы имъ мѣшало въ этомъ ихъ новое образованіе, а именно потому, что были слишкомъ сильны *преданія старой книжности*, не допускавшей въ книгу народнаго языка. Въ дѣйствительности умственная жизнь, возбужденная реформой, имѣла глубоко-народную тенденцію, и вслѣдствіе того заслуга введенія въ книгу народнаго языка принадлежала именно реформѣ: за народный языкъ было новое направленіе, за церковный—старое. На самыхъ первыхъ порахъ литературы XVIII вѣка народный языкъ все больше и больше изгоняетъ славянщину, и уже вскорѣ сами теоретики прямо заявляютъ о его литературныхъ правахъ. Въ грамматикѣ Ададунова (1731) говорится, что „нынѣ всякій славянизмъ, особливо въ склоненіяхъ, изгоняется изъ русскаго языка“. Тредьяковскій, издавая въ то же время знаменитую „Взду въ островъ любви“, пишетъ (1730), что „оную не славянскимъ языкомъ перевелъ, но почти самымъ простымъ русскимъ словомъ, т.-е. каковымъ мы межъ собою говоримъ“, и причиной этого было то, что „языкъ славянскій,—по его словамъ,—нынѣ жестокъ моимъ ушамъ слышится, хотя прежде сего не только я имъ писывалъ, но разговаривалъ со всѣми“. Въ „Разговорѣ объ ортографіи“, разсуждая о новой гражданской печати, Тредьяковскій замѣчаетъ, что „писать такъ надлежитъ, какъ *звонъ* требуетъ“. Сумароковъ „общее употребленіе за уставъ себѣ почитаетъ“. Извѣстно, какое вліяніе оказала народная поэзія на новую форму стиха: объясняя замѣну стараго силлабическаго размѣра тоническимъ стихосложеніемъ, Тредьяковскій указываетъ прямо (1734), что „всю силу сего новаго стихотворенія взялъ изъ самыхъ внутренностей свойства, нашему стиху приличнаго, и буде желаютъ знать, то мнѣ надлежитъ отъявить, что поэзія нашего простого народа къ сему меня привела“. Онъ восхваляетъ „сладчайшее, пріятнѣйшее и правильнѣйшее разнообразныхъ ея стопъ, нежели греческихъ и латинскихъ, паденіе“, и замѣчаетъ опять, что свое новое стихосложеніе „занялъ

у самой нашей природной, наидревнѣйшей оныхъ простыхъ людей поэзіи“¹⁾). Эти примѣры достаточно указываютъ, при всей неясности положенія языка, при всѣхъ колебаніяхъ книжныхъ законодателей, что народный языкъ оказывалъ неодолимое вліяніе, и именно въ силу новаго горизонта понятій, собиравшихся въ литературѣ. Ломоносовъ, хотя и не рѣшилъ теоретически вопроса объ отношеніяхъ церковнаго и народнаго языка, посвящаетъ, однако, послѣдному большое вниманіе и находитъ въ немъ главный матеріалъ для будущаго развитія книжнаго языка. Едвали не первый онъ указываетъ на „діалекты“ русскаго языка, которыхъ находитъ три: московскій, сѣверный или поморскій, и украинскій или малороссійскій. Видимо, онъ имѣетъ мысль объ ихъ историческомъ правѣ, и въ своей грамматикѣ даетъ мѣсто многимъ провинціализмамъ. Его соперникъ, Сумароковъ, укоряетъ его даже, что въ своей грамматикѣ Ломоносовъ „московское нарѣчіе въ холмогорское превратилъ“ и тѣмъ ввелъ въ нее много порчи языка; но въ дѣйствительности Ломоносовъ отдавалъ предпочтеніе московскому нарѣчію: „московское нарѣчіе не токмо для важности столичнаго города, но и для своей отгѣнной красоты прочимъ справедливо предпочитается“; въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ, что „московскій діалектъ главный и при дворѣ и дворянствѣ употребительный“. На основаніи грамматики и другихъ трудовъ Ломоносова, историкъ его филологической дѣятельности замѣчаетъ, что „заимствуя формы изъ другихъ нарѣчій, Ломоносовъ хотѣлъ только показать, что нарѣчіе московское не есть норма русскаго языка, что въ образованіи его должны принять участіе и другіе мѣстные діалекты, подчиняясь въ спорныхъ вопросахъ авторитету, равно для всѣхъ обязательному, языка церковно-славянскаго“²⁾). Надо прибавить только, что это было у Ломоносова едвали опредѣленной мыслью, и скорѣе инстинктомъ и догадкой.

Мы говорили выше, съ какими крайними недоувѣріемъ принимались тогда всякія попытки критическаго отношенія къ старинѣ не только ближайшихъ, но и Рюрикава вѣка. Опасливость была доведена до послѣдняго предѣла; она свидѣтельствовала прежде всего о непривычкѣ къ научной критикѣ, но вмѣстѣ указывала и другое, именно, что авторитетъ старины вовсе не былъ потрясенъ въ умахъ до той степени, какъ объ этомъ говорятъ. Напротивъ, затрогивать старину было не безопасно, и какъ съ одной стороны Тредьяковскій считаетъ нужными большія оговорки и извиненія, чтобы говорить о „подлыхъ“ пѣсняхъ и ихъ языкѣ въ виду важности церковно-сла-

¹⁾ Будиловичъ, тамъ же, стр. 91 и слѣд.; Исторія Акад. Наукъ, т. II, стр. 49 и слѣд.

²⁾ Будиловичъ, тамъ же, стр. 100.

вянскаго языка, такъ онъ съ великою осторожностью приступаетъ къ вопросу „объ ортографіи російской“, гдѣ рассказываетъ исторію славянской азбуки и разныхъ ея переменъ. Собираясь печатать эту книжку, онъ обращается съ специальнымъ прошеніемъ къ тогдашнему президенту академіи, гр. Разумовскому (1747), „увѣряя, — пишетъ онъ, — *подъ лишеніемъ чести и живота*, что въ сей моей книжкѣ нѣтъ никакихъ противностей православной вѣрѣ, самодержицѣ, отечеству, добронравію; также нѣтъ въ ней никакихъ обидныхъ словъ и изображеній ни тайныхъ, ни явныхъ никому“¹⁾.

Такимъ образомъ у насъ только въ первой половинѣ XVIII-го вѣка поднимался тотъ основной вопросъ литературы, вопросъ объ ея орудіи, который въ западныхъ литературахъ былъ рѣшенъ гораздо раньше: у итальянцевъ въ XIV вѣкѣ съ Дантомъ, Петраркой и Боккачю; у англичанъ въ XVI вѣкѣ; у нѣмцевъ тогда же, съ Лютеромъ; у французовъ въ XV — XVI-мъ, съ литературой Возрожденія. Въ новыхъ славянскихъ литературахъ (за исключеніемъ польской) этотъ вопросъ усердно, и часто съ большими трудностями разрабатывался съ конца прошлаго и даже въ XIX столѣтіи...

Заботы объ усовершенствованіи языка уже вскорѣ послѣ основанія Академіи наукъ выразились практическими предпріятіями. Въ 1735 году при Академіи основано было особое общество, цѣлью котораго было стараться „о возможномъ дополненіи російскаго языка, о его чистотѣ, красотѣ и желаемомъ потомъ совершенствѣ“; имѣлось въ виду представить не только переводы „степенныхъ“ авторовъ, но и исправную грамматику, „согласную мудрыхъ употребленію“, словарь, реторику и стихотворную науку: „изъ основательныхъ грамматикъ и красныхъ реторикъ, — говорилъ Тредьяковскій, — не трудно произойти восхищающему умъ и сердце слову піитическому“. Особенною заботой былъ уже тогда „дикціонарій полный и довольный“. Первое засѣданіе этого собранія происходило въ мартѣ 1735 года, и главными членами его были: Тредьяковскій, Адауровъ и „ректоръ нѣмецкаго языка“ Швановичъ; академическимъ переводчикамъ предписано было собираться еженедѣльно для исправленія переводовъ. Но о дѣятельности этого общества извѣстно очень мало, и въ 1743 г. оно было уже закрыто. Современники называли его „Російскимъ собраніемъ“, а Татищевъ именуетъ его даже „Російской академіей“ и замѣчаетъ, что она учреждена была „на томъ основаніи, какъ во Франціи“ и подчинена была президенту Академіи

¹⁾ Исторія Акад. Наукъ, т. II, стр. 131.

наукъ. Впослѣдствіи митрополитъ Евгеній объяснялъ закрытіе собранія немногимъ числомъ способныхъ сочленовъ и „неостепененіемъ самой словесности и языка нашего“, что и было вѣроятно ¹⁾. Вопросъ былъ еще непосиленъ.

Вторымъ предпріятіемъ подобнаго рода, имѣвшимъ цѣлью усовершенствованіе языка, былъ такъ-называемый „Переводческій департаментъ“ или „Коммиссія для переводовъ“, основанная въ 1768. Потребность въ переводахъ чувствовалась съ двухъ сторонъ: желаніе усвоить русской литературѣ знаменитыя произведенія европейскихъ писателей и вмѣстѣ усовершенствовать на этомъ трудѣ самый русскій языкъ. Въ тѣ годы императрица Екатерина исполнена была либеральными наклоненіями и, заинтересованная этимъ дѣломъ, назначила изъ собственныхъ денегъ 5,000 рублей „въ пользу общества“; завѣдываніе дѣломъ было поручено Козицкому, гр. В. Г. Орлову и гр. А. П. Шувалову. Новое общество взялось за трудъ довольно ревностно и между прочимъ придавало особенную цѣну переводамъ греческихъ и римскихъ писателей; но на первый разъ оно выбрало для перевода: „Разсужденіе короля прусскаго о причинахъ установленія и уничтоженія законовъ“; „Кандида“, Вольтера; „Персидскія письма“, Монтескье; нѣсколько жизнеописаній изъ Плутарха, нѣсколько статей изъ „Энциклопедіи“, словарь французской академіи, для перевода котораго образовалось цѣлое общество, и т. д. Впослѣдствіи Коммиссія для переводовъ подверглась нареканіямъ за лѣнивое отношеніе къ дѣлу и употребленіе денегъ не на то, на что онѣ были назначены; она была закрыта въ 1783, при основаніи Россійской академіи. Тѣмъ не менѣе въ результатѣ ея трудовъ оказалось значительное количество изданій, между которыми были, напр., переводы изъ Гомера, Платона, Тацита, Цицерона, Юлія Цезаря, Овидія, Виргилія, Иосифа Флавія; далѣе, изъ Тасса, Локка, Геллерта, Вольтера, Корнелия, Робертсона („Исторія Карла V“), Ахенвалля („Начертаніе исторіи новѣйшихъ европейскихъ державъ“), путешествія Палласа и Гмелина, статьи изъ Бюшинговой географіи, множество статей изъ французской „Энциклопедіи“ и т. д. ²⁾.

Далѣе, въ 1771 году съ подобными цѣлями основано было новое общество, „Вольное руссійское собраніе“ при московскомъ университетѣ. Цѣлью было опять „исправленіе и обогащеніе руссійскаго языка, чрезъ изданіе полезныхъ, а особливо къ наставленію юношества потребныхъ, сочиненій и переводовъ, стихами и прозою“; пер-

¹⁾ Пезарскій, Исторія Акад. Наукъ, т. II, стр. 50—51; Исторія Росс. Акад. т. I, стр. 5—6; Кунникъ, Сборникъ матеріаловъ для исторіи Академіи наукъ въ XVIII вѣкѣ. Спб. 1866, ч. I.

²⁾ Исторія Росс. Акад., т. I, стр. 6—9.

вымъ трудомъ, которымъ хотѣли заняться, было опять „сочиненіе правильнаго російскаго словаря по азбукѣ“; наконецъ, общество ставило себѣ и болѣе серьезныя историко-литературныя задачи. „Столь обширное владѣніе російское, — говорится въ „Объявленіи любителямъ російскаго языка“, — состоящее изъ разныхъ народовъ и въ разныхъ климатахъ, можетъ любопытство трудящихся членовъ довольно снабдить рѣдкими и достойными примѣчанія вещьми. Публичныя и частныя книгъ и писемъ хранилища, содержащія въ себѣ достопамятныя предковъ російскихъ дѣла, глубокою древностію закрытыя, могутъ такимъ образомъ отворены быть и издаваемы въ свѣтъ для удовольствія общенароднаго и для приведенія въ совершенство російскія со временемъ исторіи“. Общество имѣло свое изданіе ¹⁾ и закрылось въ 1783 году при основаніи Россійской академіи, куда и зачислены были его главные члены. Труды Вольнаго собранія очень цѣнились въ свое время и считались такимъ же важнымъ матеріаломъ при составленіи академическаго словаря, какъ сочиненія Ломоносова ²⁾.

Главнымъ изданіемъ Вольнаго російскаго собранія былъ Церковный Словарь протоіерея Петра Алексѣева.

Петръ Алексѣевичъ Алексѣевъ (1727 — 1801), сынъ пономаря, былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ духовныхъ писателей прошлаго вѣка. Онъ учился въ славяно-латинской академіи въ Мѣсквѣ, началъ затѣмъ церковное служеніе при Архангельскомъ, потомъ при Успенскомъ соборѣ; наконецъ, былъ протоіереемъ Архангельскаго собора и вмѣстѣ катихизаторомъ или преподавателемъ закона Божія въ московскомъ университетѣ. Извѣстнѣйшій изъ трудовъ его есть „Церковный словарь“, о которомъ скажемъ далѣе, потомъ „Исторія греко-россійской церкви“, оставшаяся въ рукописи, такъ же какъ „Словарь еретиковъ и раскольниковъ“; далѣе, изданіе знаменитаго „Православнаго Исповѣданія“ Петра Могила съ новыми объясненіями и проч. Онъ усердно занимался русскими древностями, былъ въ сношеніяхъ съ учеными людьми своего времени, былъ членомъ Вольнаго собранія и Россійской академіи. Алексѣевъ, будучи ученымъ, могъ бы назваться и замѣчательнымъ общественнымъ дѣятелемъ своего времени: онъ не оставался чуждъ вопросамъ жизни, хотя по условіямъ положенія эта сторона его мнѣній не могла быть высказываема открыто. Дѣло въ томъ, что Петръ Алексѣевъ вмѣшался тогда въ старую, хотя скрытую распрю между чернымъ и бѣлымъ духовенствомъ. Онъ былъ рѣшительнымъ противникомъ исключитель-

¹⁾ Опытъ трудовъ Вольнаго російскаго собранія. 6 частей, М. 1774—1788.

²⁾ Исторія Росс. Акад., т. I, стр. 9 — 11; Біограф. Словарь московскихъ профессоровъ, 1855, статья о Барсовѣ.

наго права монашества на высшіи духовныя должности, не только считалъ возможнымъ для священника получить санъ епископа, не поступая въ монахи, но утверждалъ (ссылаясь на несомнѣнные факты въ исторіи первыхъ вѣковъ христіанской церкви), что епископство вообще должно принадлежать бѣлому духовенству, потому что званіе монаха, по самому его существу, несовмѣстно съ мірскими почестями и властью. Понятно, что при тогдашнихъ условіяхъ, т.-е. при полной безгласности общества въ его внутреннихъ интересахъ, и когда притомъ именно монахи стояли во главѣ духовнаго управленія, Алексѣевъ не могъ и думать открыто высказывать подобныя мнѣнія: на дѣлѣ, различіе взглядовъ сводилось къ мелкимъ столкновеніямъ, которыя кончались кляузными придирками и притѣсненіями со стороны епархіальной власти, а теоретическая и историческая защита мнѣній ограничивалась частной перепиской и рукописными статьями, всплывающими на свѣтъ божій только теперь, лѣтъ черезъ сто ¹⁾. Вслѣдствіе этого различія во взглядахъ, Петръ Алексѣевъ нашелъ злѣйшаго врага въ своемъ ближайшемъ начальствѣ — митрополитѣ Платонѣ, отъ преслѣдованій котораго спасали его только дружескія отношенія съ священникомъ Памфиловымъ, духовникомъ императрицы, непріателемъ митр. Платона, и съ Потемкинымъ. Ученость Алексѣева была старомодная; онъ былъ большой начетчикъ въ церковной литературѣ и русской старинѣ, но любопытно встрѣтить, что тогдашняя европейская литература коснулась и его. Объясняя, напр., что обычай избирать епископовъ изъ среды монашества есть явленіе позднѣйшее, онъ иронически совѣтуетъ о причинахъ, вызвавшихъ этотъ обычай, справиться въ книгѣ Монтескье: „О великости и упадкѣ римлянъ“ ²⁾.

Важнѣйшимъ трудомъ Алексѣева и важнѣйшимъ изданіемъ Вольнаго собранія при московскомъ университетѣ былъ Церковный Словарь, изданный въ 1770-хъ годахъ ³⁾. Трудъ Алексѣева не есть сло-

¹⁾ Таково, напримѣръ: „Разсужденіе на вопросъ: можно ли достойному священнику, миновавъ монашество, произведену быти во епископа“, протоіерея Петра Алексѣева, въ Чтен. Моск. Общества исторіи и древностей, 1867, кн. III. Другіе матеріалы для біографіи Алексѣева были изданы въ „Русскомъ Архивѣ“ г. Бартенева.

²⁾ Подробная біографія Алексѣева и обзоръ его сочиненій въ „Исторіи Росс. академіи“, I, стр. 280—348, 424—427.

³⁾ Вотъ полное его заглавіе: „Церковный Словарь, или истолкованіе реченій славянскихъ древнихъ, такожъ иноязычныхъ, безъ перевода положенныхъ въ священномъ писаніи и другихъ церковныхъ книгахъ, сочиненный московскаго Архангельскаго собора протоіереемъ и московской духовной консисторіи членомъ Петромъ Алексѣевымъ, разсматриванный Вольнымъ российскимъ собраніемъ при императорскомъ московскомъ университетѣ, и изданный по одобренію святѣйшаго правительствующаго синода конторы. Печатанъ при императорскомъ московскомъ университетѣ,

варь въ обыкновенномъ значеніи слова. Цѣлью составителя была не столько филологія, сколько объяснительное пособие для чтенія церковныхъ книгъ: рядомъ съ простымъ словарнымъ объясненіемъ мало понятныхъ церковныхъ словъ и формъ, здѣсь находится много объясненій историческихъ, археологическихъ, литературныхъ, по разнымъ предметамъ церковнаго вѣроученія, исторіи, богослужебныхъ обрядовъ, церковныхъ обычаевъ и т. п. Алексѣевъ первоначально составлялъ свою книгу по собственной любознательности, потомъ нашель, что она можетъ быть полезнымъ руководствомъ для его университетскихъ слушателей и вообще для любителей церковнаго чтенія. Приѣмъ книги въ Вольномъ собраніи видимо поощрилъ его, и за первой книгой вскорѣ послѣдовали дополненіе и продолженіе, увеличившія объемъ ея втрое. Источники, которыми пользовался Алексѣевъ, были очень разнообразны: во-первыхъ, книги библейскія и церковныя, затѣмъ писатели классическіе, византійцы, западные ученые XVII-го вѣка (нѣмецкій ученый Кирхеръ, французскій эллинистъ Гоаръ, англійскій богословъ Лайтфутъ, голландскій филологъ Меурсіусъ, итальянскій историкъ Бароніо); наконецъ, старая и современная Алексѣеву русская литература. Въ нашей старинѣ онъ знаетъ не только печатныя книги, но и рукописи; послѣднія — по синодальной библіотекѣ, описаніемъ которой онъ занимался: такъ онъ ссылаясь на рукописную лѣтопись, Палею, Пчелу и т. п.; онъ пользовался старыми азбуковниками, словарями Берынды, Федора Поликарпова, изъ которыхъ бралъ иногда готовые объясненія, дополняя ихъ новыми подробностями. По библейской археологіи онъ вносилъ въ свою книгу толкованія европейскихъ церковныхъ ученыхъ, приводилъ реальныя объясненія древняго быта; въ толкованіи церковныхъ словъ онъ обращается нерѣдко къ „простому“ языку, приводитъ подробности изъ народнаго быта и повѣрій. Относительно самаго языка онъ стоитъ на общепринятой тогда точкѣ зрѣнія, т.-е. имѣеть смутное представленіе объ отношеніяхъ церковно-славянскаго и русскаго языка, считаетъ ихъ почти тождественными, принимая между ними только разницу тона и слога: языкъ церковный есть только древній языкъ, притомъ выражавшій возвышенные предметы; языкъ русскій есть просторѣчіе, занятое обыденными и низкими предметами; средство для усовершенствованія просторѣчія заключается

1773 года“, 8°, 24 неперемѣчен. стр. посвященія императрицѣ Екатерицѣ и предисловія, и 306 стр. Въ 1776 вышло „Дополненіе къ Церковному Словарю“, изданное на этотъ разъ по одобренію архіепископа Платона (6 неперемѣчен. и 324 стр.). Въ 1779 вышло „Продолженіе Церковнаго Словаря“, опять по одобренію архіепископа Платона (299 стр.) Второе изданіе Словаря, 3 части, Спб. 1794; 3-е изд., 5 частей, М. и Спб. 1815—1818; 4-е изд., вновь дополненное, Спб. 5 частей, 1817—1819.

въ усвоеніи достоинствъ церковнаго языка. Въ предисловіи къ первому изданію Словаря, гдѣ Вольное собраніе объясняетъ значеніе труда Алексѣева, указывается на нынѣшнее „обще воспріятое отъ ученыхъ людей стараніе о чистотѣ російскаго слога, и почтенной древности изъ подспуда на свѣтъ произведеніе“; указывается далѣе безпримѣрная красота слога въ старыхъ, переведенныхъ съ греческаго, нашихъ книгахъ и „способность славянскаго языка ко изъясненію краткими словами великихъ мыслей, чего на другихъ европейскихъ языкахъ безъ пространнаго описанія выразить не можно“; и затѣмъ говорится: „итакъ, кромѣ собственной высшаго рода пользы, каковую истинный христіанинъ получаетъ отъ прилежнаго чтенія и подражанія книгъ церковныхъ, въ разсужденіи общества (польза изученія церковнаго языка) есть та, что любезное наше отечество въ скоромъ времени увидитъ на своемъ коренномъ языкѣ достойныхъ витіевъ, стихотворцевъ и исторіи писателей, кои оставя иноязычные для насъ не знакомые выговоры, собственную красоту російскаго слога искажающіе, и при частой перемѣнѣ къ осызательному упадку его наклоняющіе, російскимъ чистымъ словомъ прославятъ громкія дѣла нынѣшняго знаменитаго вѣка“.

Трудъ Алексѣева въ послѣдствіи былъ въ числѣ важнѣйшихъ матеріаловъ, послужившихъ для словаря Россійской академіи.

Въ 1783 было наконецъ основано учрежденіе, завершившее прежнія попытки соединенія ученыхъ силъ для изученія и усовершенствованія языка. Это была извѣстная Россійская академія, которая смѣнила упомянутый выше Переводческій департаментъ, приняла въ себя главныхъ лицъ московскаго Вольнаго собранія и собрала вновь кругъ дѣятелей, ученыхъ и писателей, для работъ по русскому языку и словесности. Россійская академія имѣетъ въ исторіи нашей литературы репутацію довольно неопредѣленную: во времена императора Александра и Николая, времена Карамзина, Жуковскаго и Пушкина, эта Академія, сдѣлавшись гнѣздомъ литературнаго старовѣрства, играла столь странную роль въ нашей литературной жизни, что имя ея стало наконецъ посмѣшищемъ и синонимомъ самаго узкаго и притомъ въ сущности невѣжественнаго буквѣдства и вражды ко всѣмъ лучшимъ стремленіямъ литературы, ко всѣмъ успѣхамъ языка. Съ этимъ преданіемъ память о Россійской академіи перешла къ новымъ поколѣніямъ, и это преданіе распространилось на всю исторію этого учрежденія съ самаго его основанія. Какъ ни было желательно особое учено-литературное учрежденіе, посвященное специально интересамъ русской литературы и языка, никто не подумалъ сожалѣть о Россійской академіи, когда она была закрыта въ 1841 году, и взамѣвъ ея основано отдѣленіе русскаго языка и словесности въ Ака-

деміи наукъ. Сама Россійская академія представлялась тогда учрежденіемъ, неспособнымъ возродиться къ чему-нибудь живому; это былъ просто старый хламъ, который надо было убрать. Это обстоятельство и мѣшало долго исторической оцѣнкѣ этого учрежденія въ тѣ первые годы его существованія, когда Россійская академія при всей тогдашней слабости научнаго знанія сослужила полезную службу русскому языку и литературѣ. Историческое обозрѣніе ея трудовъ сдѣлано теперь г. Сухомлиновымъ: въ его обширномъ сочиненіи собрано множество данныхъ о литературной дѣятельности и биографіи лицъ, принадлежавшихъ къ Россійской академіи. Иные думаютъ даже, что слишкомъ много; въ дѣйствительности, не мало изъ собранныхъ подробностей слишкомъ мелочны (напр., повторенія въ текстѣ „Исторіи“ официальныхъ бумагъ, рѣчей, черновыхъ переводовъ и т. п., которыми могло бы быть мѣсто развѣ въ приложеніяхъ); излагаемая ученая исторія часто не имѣетъ ни какого отношенія собственно къ Россійской академіи (и, напр., относится только къ Академіи наукъ), такъ что вообще эта книга, при ея большомъ объемѣ, не совсѣмъ отвѣчаетъ правиламъ исторической перспективы.

Мы не будемъ входить въ подробности объ основаніи Россійской академіи. Дѣйствующимъ лицомъ при этомъ была особенно княгиня Е. Р. Дашкова (1743—1810), которая затѣмъ стала президентомъ какъ ея, такъ и Академіи наукъ, до 1796 года, именно до воцаренія императора Павла: онъ, какъ извѣстно, терпѣть не могъ кн. Дашковой, удалилъ ее отъ всѣхъ ея должностей и сослалъ въ деревню. По уставу Россійская академія имѣла цѣлью своихъ трудовъ очищеніе (или даже „вычищеніе“) и обогащеніе русскаго языка, и для этого должна была составить русскую грамматику, словарь, реторику и правила стихотворства. Лепехинъ, который былъ непремѣннымъ секретаремъ Академіи въ первый періодъ ея существованія, опредѣлялъ ея задачи такими словами: „ей предлежало возвеличить руссійское слово, собрать оное въ единый составъ, показать его пространство, обиліе и красоту, постановить ему непреложныя правила, явить краткость и знаменательность его изреченій, и *изискать мубочайшую ео древность*“. Это былъ трудъ большого общественнаго значенія, какъ вопросъ литературнаго языка всегда имѣетъ большую важность въ первые періоды установленія литературы. Княгиня Дашкова желала указать и другую цѣль существованія Академіи—грубую лесь императрицѣ Екатеринѣ. Академическій историкъ дѣлаетъ весьма удачное сравненіе между рѣчью Тредьяковскаго при открытіи „Россійскаго собранія“ (1735), гдѣ онъ говоритъ о доблестяхъ Анны Ивановны, и „докладомъ“ княгини Дашковой, по которому рѣшено было основаніе Академіи. Именно, Тредьяковскій говорилъ: „По-истинѣ

дѣйствія и добродѣтели увѣнчанныя сея героини (Анны Іованновны) толь велики, какъ всему земному кругу извѣстно, что ни самый совершенно исполненный языкъ рѣчей въ себѣ равныхъ, дабы описать оныя, найти не можетъ. И сего-то ради нынѣ должность сія вамъ вручается, чтобъ, поскольбу возможно, въ совершенство приводить намъ языкъ и чрезъ то-бъ имѣть хотя малое средство къ прославленію дѣлъ и добродѣтелей государыни нашея“. Княгиня Дашкова въ своемъ докладѣ пишетъ: „никогда не были столько нужны для другихъ народовъ обогащеніе и чистота языка, сколько стали оныя необходимы для насъ. Намъ нужны новыя слова, вразумительное и сильное оныхъ употребленіе для изображенія всѣмъ и каждому чувствованій благодарности за монаршія благодѣянія, толико же доселѣ невѣдомыя, сколь неисчетныя; для начертанія оныхъ на вѣчныя времена съ тою же силою, какъ онѣ въ сердцахъ нашихъ, и съ тою красотою, какъ ощущаемы въ счастливой вѣкъ вторыя Екатерины“¹⁾).

Личный составъ Академіи былъ опредѣленъ въ 60 человекъ. Онъ наполненъ былъ, хотя не вдругъ, извѣстнѣйшими учеными и писателями того времени, членами Академіи наукъ, московскими профессорами изъ членовъ Большаго собранія, наконецъ значительнымъ числомъ духовныхъ лицъ: изъ послѣднихъ укажемъ въ особенности Дамаскина-Руднева и протоіерея Алексѣева; было не мало важныхъ архіереевъ, которые, кромѣ соображеній іерархическихъ, были, вѣроятно, избираемы и въ качествѣ, такъ сказать, практическихъ представителей церковнаго языка.—Ученыхъ филологовъ въ то время не существовало, какъ не было еще и самой науки: являлась только любознательность къ вопросамъ языка и заботы о внѣшней литературной обработкѣ стили; и трудность исполненія задачъ, намѣченныхъ себѣ Россійскою академіей, увеличивалась тѣмъ, что рѣшать эти задачи приходилось людямъ, которые вовсе и не готовились къ ихъ рѣшенію. Тѣмъ не менѣе работы Академіи за это первое время должны занять почетное мѣсто въ исторіи изслѣдованій нашего языка. Передъ тѣмъ дѣло остановилось на трудахъ Ломоносова; Россійская академія достойнымъ образомъ продолжала его работу; можно сказать, завершила ее. Какъ мы видѣли, во времена Ломоносова вопросъ объ отношеніи церковнаго и народнаго языка не былъ рѣшенъ: Ломоносовъ старался сохранить въ книжномъ языкѣ большое участіе церковнаго элемента, какъ историческую связь съ прошлымъ, какъ обширный запасъ средствъ выраженія для высокаго слога, какъ прекрасный образецъ для дальнѣйшихъ образованій въ языкѣ; вмѣстѣ

¹⁾ Исторія Росс. Акад., т. I, стр. 13—14.

съ тѣмъ, хотя понизивъ чиномъ (т.-е. отводя въ средній и низкій штиль), онъ давалъ въ книгѣ мѣсто живой народной рѣчи,—и цѣлый литературный языкъ являлся въ видѣ среднего термина между этими двумя стихіями. Весь XVIII вѣкъ прошелъ въ безусловномъ теоретическомъ признаніи церковнаго языка, какъ главной, возвышеннѣйшей части языка литературнаго, хотя на практикѣ живой языкъ все больше завоевывалъ себѣ мѣста въ книгѣ, пока наконецъ Карамзинъ заявилъ, что надо писать такъ, какъ говорятъ, хотя прибавлялъ, что и говорить надо такъ, какъ пишутъ. Шишковъ довелъ пропаганду церковнаго языка до тридцатыхъ годовъ нашего столѣтія, но Россійскую академію довелъ до карикатуры, гдѣ русскую литературу представляли наконецъ Б. Ѳедоровъ и знаменитый Крассовскій... Но при всемъ признаніи авторитета церковнаго языка, XVIII-й вѣкъ чувствовалъ наплывъ народной стихіи, преданіе видимо нарушалось, и наконецъ вопросъ требовалъ рѣшенія; а для этого прежде всего необходимо было выяснитъ самый составъ тѣхъ элементовъ языка, о которыхъ шла рѣчь, т.-е. опредѣливши грамматику (гдѣ чисто церковныя формы были уже устранены самымъ употребленіемъ), собрать *лексическій матеріалъ* языка церковнаго и русскаго съ его книжнымъ и разговорнымъ употребленіемъ. Такъ и поступила Академія. „Словарь Академіи Россійской“, въ силу преданія, не былъ словарь *русскаго языка*, какъ мы теперь его понимаемъ, а словарь языка церковно-славянскаго и русскаго; но онъ далъ матеріалъ и вмѣстѣ толчекъ къ окончательному разрѣшенію вопроса. Изъ церковнаго языка, для цѣлей книжной русской рѣчи, явно отпадалъ большой процентъ; съ другой стороны, явно выросталъ большой процентъ чисто русскаго запаса словъ и оборотовъ. Мы увидимъ дальше, что народная стихія силою вещей требовала себѣ литературнаго права: она не только все больше входила въ книгу въ видѣ словъ, уже имѣвшихъ право гражданства въ разговорномъ употребленіи, но и въ видѣ словъ *спеціально народныхъ, областныхъ*.

Когда составъ Академіи обозначился и сдѣланъ былъ первый приступъ къ работѣ, то оказалось, что людьми, наиболѣе или даже единственно способными къ этой работѣ, были не тѣ практическіе представители церковнаго языка, о которыхъ мы сейчасъ упоминали, а ученые академики, которыхъ мы встрѣчали на поприщѣ разнообразныхъ изученій Россіи и народа. Дѣло Россійской академіи оказалось въ рукахъ ученыхъ натуралистовъ; главными были — астрономъ и физикъ Румовскій; наши старыя знакомцы — натуралисты, физики, математики, астрономы, Лепехинъ, Озерецковскій, Иноходцовъ, Соколовъ, Протасовъ, Котельниковъ, но въ особенности Лепехинъ, этотъ дѣятельный и благородный ученый, котораго Озерец-

ковскій называетъ „мужемъ въ честности святымъ“ ¹⁾, и который былъ непремѣннымъ секретаремъ Россійской академіи съ ея основанія до его смерти. Историкъ Академіи не разъ, отмѣчаетъ, что участіе натуралистовъ было для дѣла очень полезно: они не только расширяли лексическій составъ словаря, обогащая его языкомъ научной терминологіи и обихода народной жизни, которую многіе изъ нихъ такъ внимательно наблюдали, но вносили пріемъ точнаго изслѣдованія въ вопросы словопроизводства и грамматики, гдѣ прежде господствовалъ обыкновенно чистый произволь.

Прежде всего надо было составить планъ для работъ по словарю; затѣмъ должно было слѣдовать собраніе словъ и приведеніе ихъ въ порядокъ, наконецъ обработка собраннаго матеріала. Составленіе общаго плана словаря было поручено Румовскому, фонъ-Визину и еще тремъ членамъ академіи; планъ былъ признанъ удовлетворительнымъ. Затѣмъ при распредѣленіи самой работы на первый разъ образовано было три отдѣленія или, какъ ихъ тогда назвали, три „отряда“: грамматикальный, объяснительный (опредѣленіе значенія словъ, объясненіе ихъ синонимами, примѣрами и т. п.) и издательный. Впослѣдствіи, открывались новыя стороны дѣла, для которыхъ устраивались новыя отдѣлы. Такъ, въ словарь должны были войти слова изъ области наукъ, художествъ, ремеслъ, а также названія предметовъ естественныхъ, которыя всѣ „человѣкъ въ понятіи своемъ вмѣстить не можетъ“; поэтому былъ образованъ особый отдѣлъ для объясненія словъ техническихъ. Далѣе встрѣчались затрудненія при опредѣленіи корней словъ, причемъ приходилось имѣть дѣло съ словами или формами, вышедшими изъ употребленія или потерявшими первоначальный смыслъ; поэтому устроенъ былъ особый отдѣлъ для работъ по словопроизводу. Далѣе въ числѣ сообщеній отъ постороннихъ лицъ, въ Академію представленъ былъ сборникъ, составленный маіоромъ Челищевымъ и заключавшій въ себѣ областныя слова, которыми могли бы быть замѣнены слова иностранныя; для разсмотрѣнія этого сборника составленъ былъ особый отдѣлъ. Для облегченія окончательной обработки словаря и его „изданія набѣло“ составленъ былъ новый отдѣлъ изъ 10 членовъ, разсматривавшій окончательно все, что было приготовлено общими трудами академикомъ ²⁾.

Обратимся къ частностямъ дѣла. Академія предположила прежде всего изданіе словаря этимологическаго, т. е. расположеннаго по корнямъ словъ, въ которыхъ присоединялись рядомъ слова производныя.

¹⁾ „Дневныя Записки“ Лепехина, т. IV, посмертный, стр. 297.

²⁾ Исторія Росс. Акад., т. II, стр. 136—138; изложеніе плана академическихъ работъ у Лепехина, —тамъ же, стр. 284 и слѣд.

Мы видѣли, какъ распредѣлены были подробности работы. Главными дѣятелями были названные выше ученые, вступившіе въ составъ Россійской академіи изъ Академіи наукъ. Кромѣ лицъ, которыхъ біографія намъ уже извѣстна, слѣдуетъ упомянуть объ одномъ ученомъ, который положилъ особенные труды на предпріятія Россійской академіи и вообще имѣлъ большое имя въ нашей наукѣ прошлаго столѣтія. Это былъ Степанъ Як. Румовскій (1734—1812): сынъ священника, онъ учился въ новской семинаріи, потомъ 14 лѣтъ поступилъ въ академическій университетъ и, по окончаніи тамъ курса, посланъ былъ (1754) за границу, гдѣ работалъ два года въ Берлинѣ подъ руководствомъ Леонарда Эйлера ¹⁾. Вернувшись въ Россію, онъ началъ свою дѣятельность въ Академіи наукъ и, кромѣ специальныхъ трудовъ по астрономіи, физикѣ, метеорологіи въ академическихъ изданіяхъ, не мало работалъ по предметамъ естествознанія въ изданіяхъ популярныхъ. Въ 1761 году Румовскій сдѣлалъ путешествіе въ Сибирь, и въ Селенгинскѣ производилъ наблюденія надъ прохожденіемъ Венеры черезъ солнце; въ другой разъ ѣздилъ съ подобною цѣлью въ Колу, въ 1769. Наконецъ, онъ приобрѣлъ большую извѣстность въ тогдашней литературѣ переводомъ Тацита ²⁾. Упомянемъ, наконецъ, что Румовскій долго завѣдывалъ такъ-называемымъ географическимъ департаментомъ, и большой научной заслугой его считается изданіе географическихъ положеній (1786). Въ 1803 году Румовскій назначенъ былъ попечителемъ казанскаго учебнаго округа и былъ также членомъ главнаго правленія училищъ ³⁾.

Переводъ Тацита, сдѣланный астрономомъ и считавшійся классическимъ, даетъ новый примѣръ той многосторонности занятій и интересовъ, какая нерѣдко отличала ученыхъ XVIII вѣка, въ томъ числѣ и нашихъ. Они неизмѣнно проходили классическую школу и надолго сохраняли ея преданія, чего именно въ наше время искусственно усиленнаго классицизма и не бываетъ. Многосторонность была встать для той дѣятельности, которая неожиданно открылась для нашихъ астрономовъ, физиковъ, натуралистовъ и ученыхъ путе-

¹⁾ Впослѣдствіи Румовскій перевелъ знаменитыя „Lettres à une princesse“ своего учителя на русскій языкъ: „Письма о разныхъ физическихъ и философическихъ матеріяхъ, писанныя къ нѣкоторой нѣмецкой принцессѣ, съ французскаго языка на русскій переведенныя Степаномъ Румовскимъ“, Сиб. 1-я часть вышла въ томъ же году, какъ и подлинникъ, именно въ 1768; 2-я и 3-я въ 1772—1774. Въ 1796 году вышло четвертое изданіе этого перевода.

²⁾ „Лѣтопись К. Корнелія Тацита“, 4 тома, Спб. 1806—1809.

³⁾ О попечительствѣ Румовскаго въ Казани, не весьма удачномъ, см. обстоятельныя свѣдѣнія въ книгѣ Н. Булича: „Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго университета (1805—1819). Разказы по архивнымъ документамъ“. Казань, 1887.

шественниковъ съ основаніемъ Россійской академіи. Ихъ труды составили главную основу ея дѣятельности и главную ея заслугу.

Это относится всего болѣе къ Румовскому, Лепехину, Озерецковскому и Иноходцову.

Румовскій былъ уже съ самаго начала одинъ изъ главныхъ участниковъ при составленіи перваго плана, по которому Академія предприняла свои работы по словарю. Затѣмъ онъ принялъ участіе и въ самой работѣ, и былъ членомъ отдѣловъ: объяснительнаго, техническаго, словопроизводнаго, областного, редакціоннаго и общаго, замѣнившаго собою потомъ почти всѣ другіе отдѣлы. Въ частности, онъ взялъ на себя выборъ словъ изъ стараго Новгородскаго лѣтописца, изданнаго тогда Новиковымъ; взялъ на себя одну букву словаря и объясненіе словъ, относящихся къ математикѣ и астрономіи; разсматривалъ съ другими сотрудниками сборникъ Челищева; съ Иноходцовымъ и Озерецковскимъ назначенъ былъ въ такъ-называемый издательный отдѣлъ, которому поручена была окончательная обработка словаря. Впослѣдствіи, когда этимологическій словарь былъ оконченъ и изданъ, и имѣлъ большой успѣхъ, Академія предприняла составленіе другого словаря уже не въ словопроизводномъ, а въ азбучномъ порядкѣ, и Румовскій былъ опять приглашенъ къ этой новой работѣ. Планъ новаго словаря былъ составленъ имъ и Озерецковскимъ, и онъ былъ членомъ комитета, которому поручено было все веденіе дѣла. Впослѣдствіи, Румовскій названъ былъ первымъ въ числѣ академикомъ, трудамъ которыхъ Академія обязана составленіемъ и довершеніемъ азбучнаго словаря. Изъ протоколовъ Академіи видно, что онъ, Румовскій, принималъ самое дѣятельное участіе въ работахъ; любопытно, что у него уже возникала мысль объ исторіи языка ¹⁾).

Не менѣе, если еще не больше Румовскаго, трудился въ Академіи Лепехинъ. Этотъ профессоръ натуральной исторіи и докторъ медицины выбранъ былъ непремѣннымъ секретаремъ Академіи и оставался имъ до конца своей жизни. Собственно по уставу полагалось

¹⁾ „Оставаясь въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ на общемъ уровнѣ филологическихъ и литературныхъ понятій того времени,—говоритъ г. Сухомлиновъ,—Румовскій возвышался надъ ними научною основательностью своихъ соображеній и требованій; онъ сознавалъ необходимость обращаться къ исторіи языка, приводилъ свидѣтельства изъ древнихъ и старинныхъ памятниковъ, и для объясненія свойствъ и корней русскаго языка указывалъ на родственные ему славянскіе. Въ литературныхъ сужденіяхъ Румовскаго слышится голосъ человѣка мыслящаго, щедро надѣленнаго здравымъ смысломъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ проглядываетъ иронія, которая составляетъ одну изъ особенностей его мысли, обнаруживаясь во многомъ, что выходило изъ-подъ его пера—отъ задушевной переписки съ друзьями до официальныхъ бумагъ, отправляемыхъ въ различныя вѣдомства“. Ист. Росс. Акад., II, стр. 185.

два непремѣнныхъ секретаря, но Лепехинъ не имѣлъ помощника и исполнялъ всю работу одинъ. Работа была сложная — веденіе всего распорядка академическихъ занятій и собственные труды по словарю. Лепехинъ принималъ самое дѣятельное участіе въ составленіи словопроизводнаго словаря, и работалъ по всѣмъ главнымъ отдѣламъ предпріятій Академіи: онъ взялъ на себя собраніе словъ по нѣсколькимъ буквамъ словаря, объяснялъ „всѣ слова, изъясляющія естественныя произведенія въ отечествѣ нашемъ“, также орудія, употребляемыя въ рыбныхъ и звѣриныхъ промыслахъ, причѣмъ воспользовался для научной номенклатуры множествомъ народныхъ названій ¹⁾; онъ представилъ также собраніе и опредѣленіе словъ, вошедшихъ въ нашъ языкъ изъ языковъ азіатскихъ; въ вопросахъ о происхожденіи словъ, особливо сложныхъ, Лепехинъ, какъ и Румовскій, указывалъ на родственную связь русскаго языка съ языками славянскими. Изданіе этимологическаго словаря исполнено было Лепехинымъ и его сотоварищами, Румовскимъ, Иноходцовымъ и Озерецковскимъ. Впослѣдствіи ему поручено было также и изданіе словаря азбучнаго ²⁾.

Очень дѣятельнымъ работникомъ былъ Озерецковскій. Мы упоминали уже объ участіи его въ разныхъ трудахъ по словарю: онъ былъ членомъ отдѣловъ объяснительнаго и издательнаго, доставлялъ слова для словаря этимологическаго и азбучнаго, предпринятаго въ 1794 году; опредѣлялъ слова, употребляемыя въ русскомъ языкѣ для названія болѣзней; впослѣдствіи при новой обработкѣ академическаго словаря (1814—1815) взялъ на себя собрать слова неизвѣстныя, необыкновенныя или мало употребительныя по ботаникѣ и т. д.

Подобнымъ образомъ трудились для словарей другіе натуралисты — Иноходцовъ, Соколовъ, Котельниковъ, Протасовъ, которые также были членами Россійской академіи. Такъ математикъ Сем. Кир. Котельниковъ (1723 — 1806) объяснялъ слова, относящіяся къ опредѣленію мѣры, вѣса и денегъ; Алексѣй Прот. Протасовъ, медикъ и анатомъ (1724—1796), опредѣлялъ „слова, до тѣлораззятія касающіяся и употребляемыя въ книгопечатняхъ“, также слова, относящіяся къ болѣзнямъ; Никита Петр. Соколовъ, названный нами раньше, участвовалъ въ работахъ техническаго отдѣла и взялъ на себя объясненіе словъ по химіи и фармаціи. Выше мы упоминали нѣсколько разъ о трудахъ Иноходцова: онъ былъ вообще однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ Россійской академіи, куда избранъ

¹⁾ Историкъ Россійской академіи взялъ на себя трудъ выбрать изъ „Дневныхъ Записокъ“ Лепехина длинный списокъ словъ, относящихся къ номенклатурѣ растеній и животныхъ. Т. II, стр. 483—514.

²⁾ Исторія Росс. Академіи, т. II, стр. 280—293.

былъ въ 1785 году „по извѣстному его знанію россійскаго слова“, и много работалъ по обоимъ словарямъ Академіи и въ частности объяснялъ слова, относящіяся до математики. Далѣе, въ работахъ Академіи принимали участіе многіе другіе ученые и писатели, между которыми особенно должно назвать Болтина.

Въ работахъ Россійской академіи Болтинъ принялъ очень дѣятельное участіе (въ 1784—91 годахъ). Онъ былъ членомъ главнаго редакціоннаго комитета, дававшего окончательную обработку всему собранному матеріалу, и одинъ изъ первыхъ получилъ за свои труды золотую медаль отъ Академіи. Его мнѣнія очень цѣнились, потому что дѣйствительно въ средѣ академикомъ онъ былъ одинъ изъ лучшихъ (конечно, эмпирическихъ) знатомовъ русскаго языка, стараго книжнаго и народнаго. Очень любопытнымъ и самымъ важнымъ по Россійской академіи трудомъ Болтина были его замѣчанія на первоначальный планъ академическаго словаря (составленный безъ его участія). Замѣчанія Болтина видимо произвели впечатлѣніе на академикомъ: онѣ были новы и сильны, разборъ ихъ занялъ нѣсколько засѣданій, въ которыхъ академики не разъ мѣняли свои рѣшенія— и въ концѣ концовъ во многомъ согласились съ Болтинимъ. Просмотрѣвъ его замѣчанія, можно видѣть, что его внимательство очень расширило первоначальный планъ: составленный сначала въ тѣсномъ книжническомъ духѣ, планъ долженъ былъ раздвинуть свои рамки и дать больше мѣста языку жизни и народному элементу ¹⁾. Академическіе отчеты при словарѣ отмѣчаютъ „полезные совѣты“, которые Болтинъ подавалъ своими „примѣчаніями“: упоминаютъ, что онъ сообщилъ „выписанныя имъ въ великомъ числѣ слова изъ многихъ книгъ славянскихъ, яко плодъ долговременныхъ трудовъ своихъ“.

Припомнимъ еще профессора Десницкаго, избраннаго въ Академію при самомъ началѣ: въ работахъ по словарю онъ взялъ на себя выборъ словъ изъ древнихъ памятниковъ, напримѣръ, изъ Судебника Алексѣя Михайловича, „Устава“ Ивана Васильевича и Русской Правды.

Въ собираніи и объясненіи словъ участвовали, далѣе, авторитетные писатели: Державинъ, фонъ-Визинъ, Княжнинъ, Богдановичъ (сообщившій, между прочимъ, сдѣланное имъ собраніе народныхъ словъ и поговорокъ), историкъ кн. Щербатовъ, Яневичъ де-Миріево, гр. А. И. Мусинъ-Пушкинъ (сообщившій „изъясненія на нѣкоторыя древнія слова“), Ив. Сем. Захаровъ (сообщившій „нѣкоторыя слова, плотниками и каменщиками употребляемыя“ и „нѣкоторыя во псовой охотѣ извѣстныя“). Далѣе, въ трудахъ Академіи участвовали вы-

¹⁾ См. въ Ист. Росс. Акад., V, стр. 277 и слѣд.

сокопоставленныя духовныя лица: митрополитъ новгородскій Гавриилъ, архіепископы псковскій Иннокентій, екатеринославскій Амвросій, епископы воронежскій Иннокентій, орловскій Аполлосъ, нижегородскій Павелъ; нѣсколько ученыхъ іереевъ: Ив. Ив. Памфиловъ, Іоаннъ Красовскій, Вас. Григорьевъ, Вас. Данковъ, Савва Исаевъ и др. Об участіи высокопоставленнаго духовенства отчеты, помѣщавшіеся при словарѣ, выражаются такъ: „рачительно удостоивалъ своими посѣщеніями академическія собранія“, „на нѣкоторыя сумнительныя словъ знаменованія сообщалъ свои изъясненія“; „примѣчаніями своими вспомошествовалъ общему труду“; просто „сообщалъ свои примѣчанія“, и т. п. Наконецъ, трудамъ Академіи не остались чужды и нѣкоторые государственные люди, какъ, напр., Ив. Ив. Шуваловъ, гр. А. С. Строгановъ, П. А. Соймоновъ, О. П. Козодавлевъ, И. И. Меллисино, А. А. Ржевскій. Сама „предсѣдатель“ Академіи, кн. Дашкова, какъ говорятъ отчеты, „по отгѣвному усердію своему къ преуспѣянію общаго труда предсѣдательствовала непрерывно во всѣхъ Академіи собраніяхъ“ и въ частности „дѣлала объясненія къ словамъ, нравственныя качества изображающимъ“. Работы въ Академіи не помогли ей, однако, правильно писать свою фамилію, которую она упорно писала: „Дашкава“.

При опредѣленіи характера словаря Россійской академіи въ особенности любопытно ея отношеніе къ народному языку. Какъ ни были склонны тогдашніе знатоки языка къ преувеличенію значенія церковнаго элемента въ литературномъ языкѣ, языкъ народный захватывалъ въ словарѣ главное мѣсто. То обстоятельство, что законодательство въ языкѣ досталось здѣсь въ руки натуралистовъ, было очень благопріятно для признанія этого права народнаго языка: они не были церковными книжниками и школа не дала имъ пристрастія къ церковности; какъ ученые изслѣдователи, они приготовлены были предположить въ языкѣ извѣстныя естественныя требованія и законы историческіе, о которыхъ иные изъ нихъ и догадывались¹⁾; въ своихъ путешествіяхъ они встрѣчали подлинную народную жизнь, видѣли воочію богатство и разнообразіе народной рѣчи, и имъ естественно представлялась мысль, что это богатство не должно было лежать втунѣ и оставаться мертвымъ капиталомъ,—напротивъ, оно должно стать общимъ достояніемъ, послужить обогащеніемъ для всего русскаго языка. Задолго до предпріятій Академіи, въ запискахъ

¹⁾ Выше мы упоминали это о Румовскомъ. Лепехинъ, объясняя планъ работъ Академіи по словарю, дѣлаетъ такое замѣчаніе о старинныхъ словахъ: „замѣчаема древнія слова, хотя на первый случай неудобобразумительными кажушіяся, откроютъ со временемъ обширное поле къ размышленіямъ или объ историческихъ истинахъ или о древности языка праотцевъ нашихъ“. Исторія Росс. Акад., т. II, стр. 288.

нашихъ путешественниковъ было уже впередъ собрано много народнаго матеріала — въ разказахъ о народномъ бытѣ, о разныхъ формахъ народнаго труда, и въ передачѣ народной номенклатуры растеній, животныхъ и всякихъ произведеній природы. Все это былъ прямой матеріалъ для словаря, но этимъ дѣло не ограничивалось: вскорѣ представился вопросъ о спеціальному народномъ языкѣ, о мѣстныхъ нарѣчійхъ и словахъ областныхъ. Мы упоминали выше, что вопросъ о нарѣчійхъ русскаго языка занималъ уже Ломоносова, и онъ предполагалъ, что эти нарѣчія должны внести свой вкладъ въ общую литературную рѣчь русскаго народа ¹⁾; Тредьяковскій хотя въ аляповатой формѣ, но признавалъ несомнѣнно важность народнаго языка. Въ первой половинѣ прошлаго вѣка русскія грамматическія формы уже окончательно одержали верхъ въ книгѣ надъ церковными; больше и больше проникалъ въ книгу и лексическій составъ народнаго языка; продолжали еще появляться новыя словообразованія по церковному образцу, но рядомъ шло и образованіе новыхъ словъ въ духѣ народномъ. Московское Вольное собраніе, предварившее планы Россійской академіи, уже признало нужнымъ воспользоваться для словаря мѣстными особенностями русскаго языка и приступило къ собранію „рѣдкихъ словъ, въ Москвѣ малоизвѣстныхъ“. Будущіе члены Россійской академіи ученые путешественники еще ранѣе понимали важность народнаго и мѣстнаго языка. На нихъ обратилъ вниманіе Лепехинъ; Озерцовскій приводитъ подробности мѣстнаго говора на сѣверѣ, записываетъ мѣстныя слова, относящіяся къ явленіямъ природы и народному быту, и часто приводитъ подобныя слова въ своихъ латинскихъ мемуарахъ въ изданіяхъ Академіи наукъ ²⁾. Астрономъ Иноходцовъ доставилъ въ Россійскую академію сборникъ областныхъ словъ, относящихся къ ремесламъ, промысламъ, обрядамъ и обычаямъ въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи; сборникъ этотъ сдѣланъ былъ имъ во время его путешествій ³⁾. Мы упоминали выше, что цѣлый сборникъ областныхъ словъ былъ сообщенъ Академіи гвѣнимъ маіоромъ Челищевымъ: этотъ сборникъ тѣмъ любопытнѣе, что со-

¹⁾ Въ мѣстн своемъ о Шлёперѣ, Ломоносовъ упрекаетъ его, что онъ—новичокъ еще въ руссійскомъ языкѣ, „а напротивъ того, представилъ бы себѣ нѣкоего изъ нашихъ природныхъ, которой съ малолѣтства спозналъ общей Россійской и Славенской языки, а достигши совершеннаго возраста съ прилежаніемъ прочелъ почти всѣ, древнимъ славено-моравскимъ языкомъ, сочиненныя и въ церкви употребительныя книги. Сверхъ того, довольно знаетъ всѣ провинціальныя діалекты здѣшней имперіи, также слова, употребляемыя при дворѣ между духовенствомъ и между простыми народами, разумѣя притомъ польской и другіе съ руссійскимъ среднимъ языкомъ“. Виларскій, Матеріалы для біографіи Ломоносова. Сиб. 1865, стр. 703.

²⁾ Ист. Росс. Акад., т. II, стр. 336—340.

³⁾ Тамъ же, т. III, стр. 234, 243, 247—251.

ставлялся, видимо, совсѣмъ независимо отъ Академіи, опять по собственной инициативѣ собирателя ¹⁾).

Въ Россійской академіи этотъ вопросъ долженъ былъ потребовать яснаго рѣшенія, и былъ рѣшенъ, кажется, только по упомянутому вмѣшательству Болтина. На первый разъ Академія рѣшила-было совсѣмъ не допускать въ словарь подобныхъ словъ. Въ первоначальномъ планѣ было сказано: „*московское нарѣчіе* предпочитать прочимъ, а провинціальныя и *неизвѣстныя въ столицахъ* слова и реченія *не должны* имѣть въ словарь мѣста“. Въ этомъ постановленіи хотѣли, кажется, слѣдовать мыслямъ Ломоносова объ этомъ предметѣ (хотя его настоящія мысли были не совсѣмъ таковы). Но Болтинъ рѣшительно возсталъ противъ такого мнѣнія: онъ не былъ согласенъ съ нимъ ни относительно предпочтенія московскаго нарѣчія, ни относительно словъ, неизвѣстныхъ въ столицѣ. „Нельзя сказать вообще, — писалъ онъ въ своихъ замѣчаніяхъ, — чтобъ нарѣчіе московское прочимъ предпочитать довѣло, ибо въ числѣ реченій, московскими уроженцами употребляемыхъ, есть многія изуродованныя, непригодныя и устранившіяся отъ чистаго языка и отъ правильнаго выговора... Также и провинціальныя слова, неизвѣстныя или неупотребляемыя въ столицахъ, напрасно изгонять изъ словаря, понеже нѣкоторыя изъ нихъ послужатъ къ обогащенію языка, каковы суть: луда, тундра и проч. Другія, прямо отъ славянскаго языка начало свое ведущія (каковыхъ въ новгородскомъ и малороссійскомъ множество есть), могутъ послужить къ объясненію производства другихъ словъ, въ общемъ употребленіи находящихся. А нѣкоторыя могутъ употребляемы быть въ сочиненіяхъ издѣвочнаго рода, а особливо, гдѣ надобно будетъ заставить поселянину говорить. У малороссіянъ есть многія собственные слова и названія, кои во всякихъ судопроизводствахъ и сдѣлкахъ употребляются. У бѣлорусцовъ также есть собственные названія и реченія, нигдѣ кромѣ Бѣлоруссіи не употребляемыя, но необходимо нужны къ свѣдѣнію для всѣхъ вообще, по причинѣ употребленія ихъ во всякихъ письмахъ. Всѣ таковыя реченія, хотя не повсемѣстно употребляемыя, но могущія для всѣхъ вообще быть нѣкогда полезны къ свѣдѣнію, должны въ словарь имѣть мѣсто. Подъ именемъ словаря разумѣется такая книга, въ которой не одни отборныя и употребительныя, но и *всякородныя слова*, т.-е. добрыя и худыя, низкія и благородныя, употребительныя и неупотребитель-

¹⁾ Это былъ тотъ другъ Радищева, о которомъ вспоминала импер. Екатерина по поводу книги послѣдняго. Общество любителей древней письменности издаю подъ редакціей Л. Майкова любопытное путешествіе этого Челышева на сѣверъ Россіи, въ концѣ XVIII-го вѣка.

ныя (кромя неблагопристойныхъ токмо) помѣщены быть имѣютъ право“.

Въ Академіи было не мало людей, которые считали нужнымъ „вычищать“ языкъ и, вѣроятно, желали помѣщать въ словарь именно отборныя слова. Теперъ Академія отказалась отъ первоначальнаго своего предположенія и приняла было мнѣніе Болтина почти цѣликомъ; а именно, постановила: держаться московскаго нарѣчія; но съ тѣмъ, чтобы *нѣкоторыя неправильности* его въ словахъ и выраженіяхъ „исправить по выговору и произношенію св. писанія (?) и другихъ славянскихъ книгъ“; областныя слова вносить *всѣ безъ изыятія* Что такое „выговоръ и произношеніе св. писанія“,—было не совѣмъ вразумительно, и рѣшеніе относительно областныхъ словъ черезчуръ поспѣшно. При дальнѣйшемъ пересмотрѣ предмета, постановленіе о московскомъ нарѣчій осталось безъ измѣненія, а относительно словъ областныхъ рѣшено: вносить не всѣ областныя слова, а только тѣ, которыя служатъ названіями для вещей, орудій и т. д., въ столицахъ неизвѣстныхъ, а также и тѣ, которыя поведутъ къ обогащенію языка, или же изяществомъ своимъ превосходятъ слова, употребляемыя въ столицахъ для названія тѣхъ же предметовъ ¹⁾.

Лепехинъ, объясняя съ своей стороны планъ работъ по словарю, указываетъ, что Академія, имѣя своими сотрудниками „многихъ въ знаніи отечественнаго языка искусныхъ мужей, какъ здѣсь (въ Петербургѣ) пребываніе свое имѣющихъ, такъ и по разнымъ мѣстамъ въ отдаленности отсюда живущихъ“, ожидала отъ послѣднихъ, что они прибавятъ къ ея матеріалу и *нарѣчія*, употребительныя въ отдаленности отъ столицы; значеніе областныхъ словъ для словаря объясняется такъ: „въ отдаленности отъ столицъ употребляемыя слова и названія орудій, художникамъ, ремесленникамъ и промышленникамъ извѣстныя, послужатъ къ замѣнѣ введенныхъ словъ иностранныхъ“ ²⁾.

Академія была права въ своей разборчивости (хотя понятія ея о дѣлѣ все еще были неясны): въ тогдашнихъ условіяхъ, обогащеніе книжнаго языка массою словъ, принадлежащихъ мѣстному быту и не заходившихъ дальше своего края, было, пожалуй, преждевременно, т.-е. непосильно для литературы, и значеніе областныхъ словъ и нарѣчій для объясненія цѣлага языка и его исторіи было мало по-

¹⁾ Ист. Росс. Акад. V, стр. 284—286.

²⁾ Въ другомъ случаѣ говорится, что изъ областныхъ словъ предполагали воспользоваться для словаря тѣми, которыя „своею ясностію, смысломъ и краткостію могутъ служить къ обогащенію языка или означаютъ тѣхъ странъ прозаведенія или, наконецъ, могутъ послужить къ замѣнѣ словъ иностранныхъ“. Ист. Росс. Акад. II, '86—287; III, стр. 247.

нятно. Но эта мысль объ областномъ языкѣ во всякомъ случаѣ любопытна въ исторіи нашего литературнаго языка, какъ предчувствіе будущаго преобладанія народнаго элемента: развитіе новаго литературнаго языка находило живой источникъ именно въ народной рѣчи, и проводниками ея въ литературу, рядомъ съ лучшими писателями того времени, являются именно ученые люди, лучшіе представители „западнаго“ образованія въ нашемъ обществѣ, и притомъ—особенно натуралисты.

Результатомъ всѣхъ этихъ трудовъ былъ извѣстный этимологическій словарь Россійской академіи, изданный въ 1798—1794 г. ¹⁾. вмѣстѣ съ этимъ Академія, какъ выше упомянуто, предприняла другой словарь, въ азбучномъ порядкѣ. За него взялись тѣ же ученые (Лепехинъ не дожилъ до начала его печатанія), и словарь изданъ былъ уже въ новомъ періодѣ дѣятельности Академіи ²⁾.

Въ тѣ же годы было задумано и совершено еще одно предпріятіе по языкознанію, а именно, въ 1784 имп. Екатерина „предпріяла по собственному своему начертанію собирать словарь *всѣхъ извѣстныхъ языковъ*“. Это предпріятіе внушено было, съ одной стороны, возникшимъ тогда интересомъ къ общимъ историческимъ вопросамъ о чело-вѣчествѣ, о первобытныхъ временахъ, первоначальныхъ формахъ обществъ и т. п.; съ другой, такъ сказать, мѣстными соображеніями. Вопросъ могъ быть особенно любопытенъ для русской императрицы: „Въ ея одномъ наипространнѣйшемъ владѣніи,—говорится въ предисловіи къ этому словарю,—не считая мало разнствующія между собою нарѣчія, говорятъ болѣе нежели шестьюдесятью языками, изъ коихъ многіе, наипаче въ Кавказѣ и Сибири, ученымъ по нынѣ еще вовсе неизвѣстны“. Такимъ образомъ, и этотъ словарь имѣлъ отношеніе къ изученію Россіи: въ словарѣ являлся и русскій языкъ, рядомъ съ нарѣчіями другихъ славянскихъ племенъ, что давало возможность нагляднаго сличенія, и указанія о языкахъ множества русскихъ инородцевъ. Предисловіе указываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что иностранные языки и нарѣчія изъ всѣхъ частей свѣта никогда еще не были собраны въ такомъ множествѣ въ видѣ словаря. Словарь предполагался въ двухъ отдѣлахъ: первый долженъ былъ заключать языки европейскіе, азіатскіе и острововъ южнаго океана; второй—

¹⁾ Словарь Академіи Россійской. Часть I, отъ А до Г. Спб. 1789. Часть II, отъ Г до З, 1790; часть III, отъ З до М, 1792; часть IV, отъ М до Р, 1793; часть V, отъ Р до Т, 1794; часть VI, отъ Т до конца, 1794. 4°. Въ каждомъ томѣ до 1,200 столбцовъ; въ концѣ каждаго тома алфавитный списокъ всѣхъ словъ, упомянутыхъ въ томѣ, съ указаніемъ столбца для отысканія въ словарѣ словопроизводномъ.

²⁾ Словарь Академіи Россійской, по азбучному порядку расположенный; 6 частей Спб. 1806—1822.

языки африканскіе и американскіе. Редакція изданія была поручена знаменитому Палласу, и первое отдѣленіе словаря вышло въ 1787—89 годах ¹⁾.

Въ предисловіи объяснено, изъ какихъ источниковъ заимствованы слова—они брались частью изъ путешествій или „путешественныхъ описаній“, и изъ рукописныхъ словарей и сочиненій; число всѣхъ языковъ въ изданномъ словарѣ доходило до 200, и половина сборника, по словамъ Палласа, составлена была самой императрицей. Что касается исполненія словаря, сравненіе языковъ было чисто внѣшнее, механическое: изъ множества языковъ были собраны, по источникамъ болѣе или менѣе достовѣрнымъ или недостовѣрнымъ (и никакъ не провѣреннымъ), отдѣльныя слова и расположены подъ рубрики понятій отвлеченныхъ и названій реальныхъ предметовъ, напр.: Богъ, небо, отецъ, мать, сынъ, дочь... человѣкъ, голова, лицо, глазъ... слово, сонъ, любовь, трудъ, боль, сила, власть, бракъ... солнце, мѣсяцъ, звѣзда... гора, долина, огонь, глубина, высота и т. д.; названія нѣсколькихъ растений, животныхъ, качественныя прилагательныя, нѣсколько глаголовъ, наконецъ, числительныя имена; всѣхъ рубрикъ было 285.

Словарь изданъ былъ въ небольшомъ числѣ экземпляровъ, которые разосланы были европейскимъ дворамъ и знаменитѣйшимъ ученымъ; только 40 экз. пошли въ продажу. Словарь не могъ такимъ образомъ получить обширнаго распространенія, и вообще нельзя сказать, чтобы имѣлъ успѣхъ. Онъ вызвалъ довольно много отзывковъ въ европейской печати, съ обязательными панегириками,—но, какъ ни слабо еще было научное пониманіе дѣла, явилась и настоящая критика. Послѣдняя не могла не обратить вниманія, съ одной стороны, на то, что источники словаря оставались совершенно не провѣренными, и самыя слова брались не всегда въ точномъ соотвѣтствіи съ переводимымъ понятіемъ или названіемъ предмета; съ другой, на то, что такой же произволъ господствовалъ и въ русской транскрипціи. Имп. Екатерина, повидимому, поняла всю важность сдѣланныхъ возраженій и не увлеклась восхваленіями другихъ критиковъ; по крайней мѣрѣ, полагають, что критика охладила ея намѣреніе продолжать словарь: второе отдѣленіе его, которое должно было заключать языки африканскіе и американскіе, осталось неизданнымъ ²⁾.

¹⁾ „Сравнительные словари всѣхъ языковъ и нарѣчій, собранные десницею всевысочайшей особы. Отдѣленіе первое, содержащее въ себѣ европейскіе и азиатскіе языки. Часть первая“. Спб., 1787. 4°, 6 и 411 стр. Часть вторая. Спб. 1789, 491 и 4 стр. Заглавіе и предисловіе переведены также по латыни: *Linguarum totius orbis Vocabularia comparativa, Augustissimae cura collecta* и пр. Предисловіе подписано Палласомъ.

²⁾ Наиболѣе серьезныя возраженія противъ словаря сдѣланы были въ статьѣ

Между тѣмъ, собрался матеріалъ и для второй части; но Екатерина уже не хотѣла заниматься этимъ дѣломъ, и самъ Палласъ, кажется, тоже очень почувствовалъ неудачу; новая работа была передана Янковичу де-Миріево, извѣстному своими трудами по главному правленію училищъ. Матеріалъ перваго словаря съ прибавленіемъ языковъ африканскихъ и американскихъ (причемъ цифра всѣхъ сравниваемыхъ языковъ возрасла съ 200 до 279) былъ расположенъ въ азбучномъ порядкѣ ¹⁾. При словарѣ нѣтъ никакихъ объясненій—не указаны ни его источники, ни даже имя составителя; въ началѣ прибавленъ только листокъ съ объясненіемъ особыхъ значковъ при буквахъ—для большей точности транскрипціи ²⁾.

Еще одинъ предметъ занялъ нашихъ ученыхъ XVIII вѣка. Это—исторія литературы или, какъ тогда говорили, ученая исторія, опять новое проявленіе научнаго интереса, неизвѣстнаго старымъ временамъ, новый фактъ развивавшейся потребности историческаго изданія. И здѣсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, XVIII вѣкъ имѣлъ отчасти своихъ предшественниковъ; но, какъ всегда, факты XVII вѣка были слабой, неопредѣленной попыткой, которая въ XVIII вѣкѣ является уже съ болѣе точной и ясной научной подкладкой. Въ XVII вѣкѣ, какъ извѣстно, сдѣланъ былъ опытъ собрать факты русской литературы; это—„Оглавленіе книгъ, кто ихъ сложилъ“, простой библиографическій списокъ, Сильвестра Медвѣдева, ученаго челоуѣка своего времени. Теперь, опыты литературной исторіи начинаютъ принимать форму критическаго изслѣдованія, не въ томъ смыслѣ, конечно, какъ понимается исторія литературы въ наше время (она понималась тогда только, какъ біографія и библиографія), но уже съ очевиднымъ желаніемъ точно собирать факты и объяснять главныя явленія литературной исторіи. Первый ученый, работавшій въ этомъ направленіи, былъ Іоаннъ-Петръ Коль (ум. 1778), вызванный въ Россію въ числѣ первыхъ академиковъ. Коль пробылъ очень недолго въ Петербургѣ (1725—1727), но успѣлъ воспользоваться этимъ кенигсбергскаго профессора Крауса: однако, Екатерина послала ему въ подарокъ брилліантовый перстень.

¹⁾ „Сравнительный словарь всѣхъ языковъ и нарѣчій по азбучному порядку расположенный“. Четыре части. Спб. 1790—1791, 4^о. Въ томахъ страницъ около 500, въ каждомъ.

²⁾ Подробная исторія этихъ словарей, также прежнихъ изслѣдованій русскихъ и работавшихъ въ Россіи нѣмецкихъ ученыхъ по части лингвистики (со времени Петра В.), отзывы ученой критики и пр. собраны въ книгѣ Фр. Аделунга: *Catherineps der Grossen Verdienste um die vergleichende Sprachenkunde*. St.-Pet. 1815 2^о. XIV и 210 стр.

короткимъ пребываніемъ, чтобы приобрести свѣдѣнія въ русскомъ языкѣ и старинѣ: уже вскорѣ по возвращеніи въ Германію, онъ издалъ книгу, которая была въ сущности первымъ историко-литературнымъ трудомъ по нашей книжной древности ¹⁾. Какъ нѣмецкіе ученые путешественники пролагали путь русскимъ ученымъ въ изслѣдованіяхъ нашей страны, природы и быта, какъ Байеръ, Миллеръ, Шлёцеръ содѣйствовали первому установленію исторической критики, такъ Колю былъ первымъ примѣромъ нѣмецкаго „гелертера“, полагавшаго свой трудъ на изученіе нашей книжной древности. Вопросы русской литературной исторіи вообще занимали нѣмецкихъ ученыхъ, работавшихъ при Академіи наукъ. Въ историческихъ трудахъ Шлёцера является историко-литературная критика старыхъ памятниковъ; новѣйшая литература русская занимала Штелина, а въ особенности Бакмейстера, въ трудахъ котораго ²⁾ собрано много важныхъ свѣдѣній для исторіи нашей науки и литературы прошлаго вѣка. Очень рано мысль объ исторической судьбѣ языка и литературы является у русскихъ писателей. Мы упоминали выше, какъ Тредьяковскій находилъ уже историческій источникъ настоящаго русскаго стиха въ „позіи нашего простаго народа“; его рѣчь при открытіи Россійскаго собранія (1735) вызвала письмо Татищева (1736), гдѣ затрогиваются историческіе вопросы русской литературы; эти послѣдніе прямо ставитъ Тредьяковскій въ своей статьѣ 1755 года „О древнемъ, среднемъ и новомъ стихотвореніи Россійскомъ“, какъ и въ „Разговорѣ объ ортографіи“ 1747 года ³⁾. Въ 1768 г. въ одномъ лейпцигскомъ журналѣ явилось безъ имени автора „Извѣстіе о нѣкоторыхъ русскихъ писателяхъ“, которое вышло потомъ во французскомъ переводѣ отдѣльной книжкой (въ Ливорно, 1771 и 1774). Этотъ переводъ въ наше время былъ вновь розысканъ и перепечатанъ (1851) извѣстнымъ библиографомъ С. Д. Полторацкимъ, а затѣмъ явился на русскомъ языкѣ ⁴⁾. По новѣйшимъ изслѣдованіямъ, это „Извѣстіе“ со-

¹⁾ *Johannis Petri Kohlii, Introductio in historiam et rem literariam Slavorum imprimis sacram, sive historia critica versionum slavonicarum maxime insignium, nimirum Codicis sacri et Ephremi Syri, duobus libris absoluta.* Альтона, 1729.

²⁾ *Russische Bibliothek zur Kenntniss des gegenwärtigen Zustandes der Literatur in Russland* (два тома, 1772—87); *Essai sur la Bibliothèque et le Cabinet des curiosités et d'histoire naturelle de l'Académie etc.* (1776), и др.

³⁾ Ср. Пекарскаго, *Ист. Акад. Наукъ*, т. II, стр. 50—52, 120, 177 и слѣд.

⁴⁾ *Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freien Künste, Leipz. 1768.* VII Bd., *Nachricht von einigen russischen Schriftstellern* и пр.; *Essai sur la littérature russe, contenant une liste des Gens de lettres russes qui se sont distingués depuis le règne de Pierre le-Grand.* Par un Voyageur russe. A Livorne, 1771, и 1774. Перепечатка Полторацкаго въ петербургскомъ журналѣ *Revue Etrangère* 1851, октябрь; русскій переводъ въ *Библиогр. Запискахъ*, 1861, т. III. Новое изданіе въ „*Матеріалы для исторіи русской литературы*“, П. А. Ефремова. Сиб. 1867.

ставлено было знаменитымъ актеромъ Дмитревскимъ, который былъ также писателемъ и жилъ за границей во время напечатанія этой статьи. „Извѣстіе“ было первымъ началомъ нѣсколько цѣльныхъ обзоровъ русской литературы, и между прочимъ появленіе его побудило къ подобному труду Новикова, который издалъ въ 1772 свой „Опытъ историческаго словаря о российскихъ писателяхъ“¹⁾.

Подъ вліяніемъ нѣмецкой школы образовались историко-литературныя понятія мало извѣстнаго, но замѣчательнаго русскаго библіографа прошлаго вѣка, Дамаскина (1735—1795). Дмитрій Семеновъ-Рудневъ, потомъ въ монашествѣ Дамаскинъ, учился въ московской Славяно-латинской академіи и былъ потомъ учителемъ реторики и греческаго языка въ крутицкой семинаріи. Въ 60-хъ годахъ прошлаго столѣтія рѣшено было послать нѣсколькихъ молодыхъ, хорошо подготовленныхъ семинаристовъ за границу для довершенія ихъ образованія; Дамаскину въ это время было уже 30 лѣтъ, но онъ также выразилъ сильное желаніе продолжать ученіе и вызвался быть инспекторомъ при этихъ молодыхъ людяхъ и вмѣстѣ съ ними слушать лекціи. Такимъ образомъ, онъ провелъ шесть лѣтъ въ Гёттингенѣ (1766—1772), гдѣ, по тогдашнему обычаю, его занятія распространялись на самыя разнообразныя предметы; это были: богословіе, церковная исторія, толкованіе ветхаго завѣта на еврейскомъ языкѣ и новаго завѣта на греческомъ, экспериментальная физика, универсальная и европейская исторія, статистика и математика, нѣмецкій и французскій языки, естественное право, сельская экономія, философія, дипломатика. Университетъ, въ средѣ профессоровъ котораго были знаменитые ученые, видимо возбуждалъ самостоятельную дѣятельность Руднева, и, на примѣръ, слушая у Михаэлиса еврейскій и арабскій языкъ и сбѣясненіе подлинныхъ текстовъ писанія, Рудневъ дѣлалъ уже любопытныя для его профессора сличенія славянской библіи съ греческимъ оригиналомъ. Критическіе приемы нѣмецкой школы Рудневъ примѣнялъ къ изученію источниковъ и литературы русской исторіи. „Въ послѣднемъ году передъ выѣздомъ изъ университета,—говоритъ онъ,—упражнялся я по большей части въ русской исторіи, прискавъ, а многихъ и перечитавъ, авторовъ до русской исторіи надлежащихъ, какъ иностранныхъ: на нѣмецкомъ, французскомъ, англійскомъ и латинскомъ, такъ и на русскомъ, о сведеніи коихъ почти совсѣмъ готова уже у меня и книжка, которую я со временемъ выдать въ свѣтъ намѣренъ“. Рудневъ избранъ былъ въ члены геттингенскаго историческаго института, въ собраніи котораго онъ

¹⁾ „Опытъ“ перепечатанъ въ тѣхъ же „Матеріалахъ“ г. Ефремова. Тамъ же перепечатаны еще историко-литературная записка Штелина, статьи Домашнева и др.

прочелъ свое разсужденіе: „О слѣдахъ славянскаго языка въ писателяхъ греческихъ и латинскихъ“, къ сожалѣнію затерявшееся. По возвращеніи изъ Гёттингена, Рудневъ долженъ былъ явиться на академическій экзаменъ въ присутствіи членовъ святѣйшаго синода. Экзаменъ происходилъ изъ разныхъ предметовъ, какимъ онъ обучался за границей: изъ философіи, математики, исторіи, физики, химіи, естественной исторіи и изъ языковъ латинскаго, греческаго, еврейскаго, французскаго и нѣмецкаго. Экзаменъ былъ вполнѣ успѣшный, и когда не осуществился планъ основанія въ Москвѣ богословскаго факультета, гдѣ предполагалось дать мѣсто Рудневу, онъ назначенъ былъ профессоромъ въ Славяно-латинскую академію; потомъ, принявши монашество съ именемъ Дамаскина, онъ назначенъ былъ ректоромъ Академіи, а затѣмъ сдѣланъ былъ епископомъ сѣвскимъ, и послѣ нижегородскимъ. Въ 1794 онъ поселился на покоѣ въ одномъ изъ московскихъ монастырей и умеръ въ слѣдующемъ году ¹⁾).

Не останавливаясь на его церковныхъ сочиненіяхъ, именно проповѣдяхъ, гдѣ любопытнымъ образомъ связываются просвѣтительныя идеи вѣка, укажемъ только труды его, относящіяся къ предметамъ историко-литературнымъ. Это, во-первыхъ, ученымъ образомъ исполненныя изданія латинской книги Теофана Прокоповича объ исхожденіи святого духа ²⁾ и сочиненій Ломоносова; во-вторыхъ, обширный трудъ по русской библіографіи: „Библіотека російская, по годамъ расположенная отъ начала типографіи въ Россіи по нынѣшнія времена“, и заключающая книги, начиная отъ изданій доктора Скорины, 1518, до 1785 года. Къ сожалѣнію, этотъ трудъ Дамаскина, весьма замѣчательный для своего времени, остался неизданнымъ и хранится до сихъ поръ въ рукописи въ московской Духовной академіи. Въ началѣ „Библіотеки“ помѣщено „Краткое описаніе російской ученой исторіи“, любопытный историко-литературный очеркъ ³⁾).

Въ то время „ученая исторія“ большею частью состояла только въ сборѣ біографическихъ и книжныхъ фактовъ, какъ, напр., и въ „Словарѣ“ Новикова; но Дамаскинъ связываетъ ее съ исторіей просвѣщенія, или даже сливаетъ ихъ въ одно. Ученую исторію Россіи Дамаскинъ дѣлитъ на три періода: первый — отъ начала русской письменности до начала книгопечатанія, или отъ Владимира Святого до Ивана Грознаго; второй — отъ начала книгопечатанія до введенія гражданскаго шрифта, или до Петра Великаго; и третій — отъ Петра

¹⁾ Біографія его въ Исторіи Росс. Акад., т. I, стр. 139—183, 407—414.

²⁾ Tractatus de processione S. S., изданный имъ еще за границей, въ Готѣ, 1772 г.

³⁾ Оно напечатано въ Исторіи Росс. Акад., т. I, въ біографіи Дамаскина, стр., 170—181.

В. до новѣйшаго времени. Дамаскинъ пользовался бібліотеками общественными и частными, зналъ бібліотеки патріаршую, типографскую, академическую, бралъ книги отъ частныхъ лицъ, у раскольниковъ и проч. Его бібліографія не есть простой перечень книгъ; онъ останавливается на болѣе важныхъ и рѣдкихъ изданіяхъ, разсматриваетъ ихъ содержаніе, приводитъ болѣе или менѣе подробныя выписки, сравниваетъ различныя изданія; кромѣ печатныхъ книгъ, упоминаетъ довольно много рукописей; при сочиненіяхъ переводныхъ указываетъ ихъ иностранныя подлинники, причѣмъ дѣлаетъ, напр., важныя указанія переводовъ изъ византійской литературы и т. д.

Далѣе встрѣчаемся опять съ ученымъ нѣмцемъ, много поработавшимъ для изученія русской, особенно книжной старины. Это московскій профессоръ Оед. Григ. Баузе (1752—1812). Пріѣхавши въ Россію въ 1773, Баузе трудился на педагогическомъ поприщѣ, и въ 1782 былъ приглашенъ въ московскій университетъ на юридическую кафедру, по смерти Дильтея. Величайшей заслугой Баузе, которая, къ сожалѣнію, подорвана была двѣнадцатымъ годовъ, было собраніе рукописей и другихъ остатковъ русской старины, въ то время едва ли не самое замѣчательное изъ всѣхъ частныхъ собраній. Ученый нѣмецъ-юристъ превратился въ страстнаго русскаго археолога; его собраніемъ пользовались въ свое время и высоко его цѣнили русскіе ученые, между ними Калайдовичъ и Карамзинъ; имя Баузе осталось однимъ изъ самыхъ почтенныхъ именъ русской археографіи. Онъ умеръ въ 1812 году, и въ томъ же году погибло въ московскомъ пожарѣ его драгоцѣнное собраніе. Изъ ученыхъ трудовъ Баузе относится къ нашему предмету его латинская рѣчь о состояніи просвѣщенія въ Россіи до Петра Великаго, гдѣ онъ хотѣлъ отдать справедливость прошлымъ вѣкамъ и вмѣстѣ защитить Россію отъ давнишней ненависти и нареканій иноземцевъ ¹⁾.

Когда въ 1805 году задумано было по плану М. Н. Муравьева, тогдашняго попечителя московскаго университета, составленіе исторіи русской словесности, то въ комитетъ для исполненія этого дѣла назначенъ былъ Баузе вмѣстѣ съ профессорами Страховымъ и Антонскимъ. Планъ остался, кажется, невыполненнымъ ²⁾.

Мы привели нѣсколько данныхъ о дѣятельности русской науки, зародившейся съ Петровской реформы, въ теченіе XVIII-го вѣка. Количество этихъ данныхъ могло бы быть очень размножено, но и

¹⁾ Oratio de Russia ante hoc saeculum non prorsus inculta, nec parum adeo de litteris earumque studiis merita. М. 1796.

²⁾ Біографія Баузе въ „Словарѣ моск. проф.“ 1855, I, стр. 68—89.

то, что приведено, может достаточно указать историческое положение вещей. Выше мы говорили о теории, которая усиливается извратить историческое понятие о Петровской реформе, обо всем нашем XVIII веке и делом характер нашей жизни—с тех пор как она, покинув прежнюю национальную исключительность, начала по немногу усваивать европейскую науку и применять ее к познанию собственного русского отечества ¹⁾. Факты не подтверждают этой теории.

Очень естественно было, что наука не могла быть пересажена на русскую почву вдруг, что для первых русских образованных людей невозможно было обойтись без помощи и руководства. Своей школы не было; наука по большей части впервые появлялась на русской почве, не находя в старом обычаях и понятиях никакой опоры, никакого облегчения первых трудных шагов; в большинстве даже высшего класса не было охоты и любопытства к новому знанию; в старом книжном языке, на половину церковном, на половину приказно-деловом, не было слов для понятий новой науки. Одной из первых забот реформы было основание русской школы, приготовление русских ученых людей, которые могли бы самостоятельно разрабатывать науку и применять ее к различным потребностям русской жизни. Петр Великий не думал передвигать русских ни в немцев, ни в голландцев; но очень желал, чтобы русские не были глупее их и не были предметом эксплуатации иностранцев везд, где требовалось применение научного или практического знания. Как ни были ничтожны люди, в руках которых осталось дело Петра по его смерти, дальнейшее время принесло не мало результатов, вполне отвечающих идеям реформы: не говоря о разных практических приобретениях, увеличивших государственные средства и силу России, великие приобретения были

¹⁾ Так, еще недавно И. Аксаков писал на эту тему: „Нельзя отрицать, что все сильней и сильней начинает чувствоваться в нашем обществе своего рода *тоска по родине*, т.-е. тоска по корню, по своему истинному народному типу, который все еще не вполне дается нашему *разумию*, воспитанному *исключительно на явлениях чужой жизни* (?),—для которого нет еще у нас и надлежащих орудий познания (?), так как благодаря чуть не *деуэтовому* упражнению в ученических чувствах (!), непосредственное чувство народности в нашей образованной среде более или менее заглушено, а мысль постоянно дробится и преломляется сквозь призму *иностранных понятий*“ („Русь“, 1884, № 7, стр. 2). Действительно два века тому назад наша мысль начала преломляться сквозь призму иностранных понятий; но мы видели, что это были понятия о географии, истории, физике, грамматике, 2-й части арифметики и т. п. По недавним исследованиям г. Бобнина оказывается, что правил о дробях в московской России не знали; пора бы однако перестать считать понятия о дробях иностранными для нас и по сию пору, и видеть в их усвоении национальное несчастье.

сдѣланы въ области умственнаго развитія. Ломоносовъ былъ чловѣкъ перваго поколѣнія, воспитавшагося въ духѣ реформы; при участіи его непосредственнаго вліянія и съ тѣмъ же характеромъ научныхъ понятій и отношенія къ русской жизни воспиталось второе поколѣніе: это были тѣ Румовскіе, Лепехины, Озерецковскіе и пр., которые предпринимали далекія странствія по Россіи, неутомимо работали для изученія русской природы и народа и оставили примѣръ честнаго служенія пользамъ націи. Нерѣдко это были люди, вполне стоявшіе на уровнѣ тогдашней науки; вмѣстѣ съ тѣмъ это были самыя настоящіе русскіе люди. Довольно познакомиться съ ихъ дѣятельностью, чтобы увидѣть, сколько разумнаго труда положили на свои изученія, съ какимъ простымъ и теплымъ чувствомъ относились къ тому народу, отъ котораго будто бы должна была отрываться ихъ „западная“ наука: въ условіяхъ того времени, они знавали русскій народъ не хуже новѣйшихъ присяжныхъ народниковъ и работали для изученія его не меньше. Мы видѣли, что вліяніе западной науки именно и состояло въ томъ, что въ своихъ практическихъ приложеніяхъ она постоянно направляла умы на изученіе своей почвы, своего народа, своего прошлаго, что она именно вела къ національному самосознанію.

Мы упоминали также, что было бы исторически ошибочно, и въ общественномъ смыслѣ недобросовѣстно, смѣшать подъ именемъ оторванности отъ народа въ одну кучу пустоту свѣтскаго общества и серьезный трудъ, совершавшійся въ наукѣ и литературѣ, не говоря о томъ, какъ противно здравому смыслу считать науку измѣнной народному началу. Люди первой категоріи не были бы ближе къ народу, еслибы и не говорили по-французски и не ходили во французскихъ кафтанахъ: ихъ отрывала отъ народа эксплуатація его труда, бюрократическое равнодушіе къ его интересамъ; но сказать, что западная наука отрывала отъ народа Ломоносова, или всѣхъ тѣхъ людей науки прошлаго вѣка, которые послѣ него шли его путемъ, есть простая бессмыслица.

Но была дѣйствительно другая „оторванность“—не отъ народа, а отъ невѣжества старой его жизни. Русскіе люди вступали въ XVIII вѣкъ съ полнымъ запасомъ стародавняго патріархальнаго міровоззрѣнія, петروطаго наслѣдія среднихъ вѣковъ, со всѣми просто-душно фантастическими представленіями о природѣ и чловѣкѣ, со всѣми подробностями старыхъ повѣрій и суевѣрій, гдѣ рядомъ съ образами народной поэзіи стояли самыя нечлѣпныя традиціонныя понятія о природѣ. Противники реформы обыкновенно забываютъ эту сторону дѣла; между тѣмъ, именно здѣсь, въ этой области каждо-дневныхъ привычныхъ понятій, и произошло главное столкновеніе

между людьми стараго вѣка и новой школы. Первые были, конечно, глубоко убѣждены въ истинѣ всѣхъ тѣхъ фантастическихъ представлений, которыми была оплетена ихъ мысль; убѣждены тѣмъ болѣе, что очень часто къ этой фантастикѣ присоединялось суевѣріе церковное. Новая школа на первыхъ же порахъ столкнулась съ этимъ вѣковнымъ мировоззрѣніемъ: въ то время, какъ старинные люди представляли, напр., землю въ видѣ плоскаго круга, надъ которымъ ходитъ солнце, луна и звѣзды, люди, прошедшіе новую школу, считали ее шаромъ, который самъ обращается вокругъ солнца; когда первые приходили въ ужасъ отъ появленія кометы, отъ затмѣнія или другого необычнаго явленія природы, другіе находили этому объясненіе въ первоначальныхъ понятіяхъ космографіи и физики; когда первые окружали себя множествомъ суевѣрныхъ пугалъ, противъ которыхъ употреблялись патриархальныя средства, дошедшія цѣликомъ изъ глубочайшихъ временъ народнаго младенчества въ видѣ заговоровъ, примѣтъ, предохранительныхъ и очистительныхъ обрядовъ и колдовства, вторые искали естественной причины явленій и простыхъ средствъ здраваго смысла и знанія. Между двумя мировоззрѣніями, очевидно, лежала пропасть: онѣ, конечно, могли сталкиваться и дѣйствительно сталкивались ежеминутно. И естественно, что на одной сторонѣ оказывалась народная масса, не имѣвшая школы, а на другой — высшіе и средніе классы, имѣвшіе эту школу въ болѣе или меньшей степени. Къ наиболѣе образованнымъ людямъ принадлежали: помѣщичье сословіе, бюрократія, военныя власти; но вмѣстѣ съ тѣмъ эти люди, хорошіе и дурные, были проводниками высшей власти и, по старому обычаю, болѣе или менѣе самоуправными распорядителями народной жизни, — хотя въ огромномъ большинствѣ ихъ образованіе было очень скудное. Отсюда та „рознь“, вину которой хотятъ взвалить исключительно на западную образованность.

Мы имѣли случай объяснять, что въ подобныхъ обвиненіяхъ совершается нѣчто въ родѣ историческаго подлога: главный источникъ розни — притѣсеніе народа — восходитъ гораздо раньше временъ Петра, и указывать причину розни въ образованности, значить отводить глаза отъ настоящаго положенія вещей въ угоду обскурантному. Образованіе, какое можно приписать массѣ бюрократическихъ и иныхъ угнетателей народа, смѣшно назвать образованіемъ; напротивъ, это была болѣею частью самая жалкая полуобразованность, которую странно ставить на счетъ „западной наукѣ“, и виною которой была просто наша собственная скудость въ хорошей школѣ и невыгодныя условія нашей литературы и общественнаго жизнія. Но та „рознь“, которая заключалась въ *различіи понятій*, всегда неизбежна при встрѣчѣ патриархальнаго суевѣрія съ научнымъ зна-

ніемъ; пропасть между ними должна быть наполнена не отреченіемъ общества отъ науки и не малодушнымъ урѣзываніемъ послѣдней, а возможнымъ расширеніемъ школы и народныхъ знаній. Это не легко, но по крайней мѣрѣ это должно быть идеаломъ; если уже теперь нѣкоторые народы достигли до всеобщей обязательной школы, то почему когда-нибудь это невозможно будетъ и для насъ?.. Когда мы читаемъ „Духовный Регламентъ“, осуждающій народную темноту, или горячія тирады Ломоносова о необходимости знанія для народа, мы видимъ, что просвѣщенныхъ людей прошлаго вѣка поражала масса вреда, идущаго отъ народнаго невѣжества, и этотъ вредъ, простиравшійся наконецъ на самое физическое существованіе народа, не подлежалъ и не подлежитъ сомнѣнію. Можетъ быть, реформа поступила бы благоразумнѣе, еслибы вела свое дѣло съ меньшею рѣзкостью, съ бѣльшимъ вниманіемъ къ старой народной привычкѣ и участіемъ къ соціальной безпомощности народа, но, къ сожалѣнію, сама эта рѣзкость была также старой привычкой, наслѣдіемъ отъ московскаго царства, въ другихъ отношеніяхъ столь же мало внимательнаго къ правамъ и нуждамъ народа.

Истинное дѣйствіе восприняемой западной образованности съ самаго начала состояло именно въ томъ, чтобы приложить новую науку къ изученію отечества, къ распространенію здравыхъ научныхъ понятій и полезныхъ практическихъ знаній. Эта цѣль глубоко овладѣвала лучшими людьми прошлаго вѣка. Въ самомъ дѣлѣ, съ той поры впервые появляется точное географическое изученіе Россіи, съ помощію научныхъ средствъ астрономіи, физики, геодезій, многочисленныхъ и трудныхъ путешествій; впервые дѣлаются изученія климата, почвы, условій народнаго труда; изучается составъ населенія, съ различными оттѣнками русскаго народа и разнообразными племенами инородцевъ; впервые опредѣляются этнографическія черты этого населенія, его быта, преданій и обычаевъ; впервые старательно собираются остатки старины, съ тою любознательностью и тѣмъ чувствомъ уваженія, какія внушало историческое пониманіе; многіе замѣчательные памятники старой письменности являются изъ-подъ спуда, забытые и уже непонимаемые московскимъ періодомъ; наконецъ, впервые возникаетъ правильное историческое знаніе, стремившееся раскрыть внутреннія отношенія событій и связь прошедшаго съ настоящимъ. Если прибавимъ, наконецъ, что впервые, въ литературѣ и извѣстной части общественнаго мнѣнія, ставится вопросъ нравственно-общественный, вопросъ о достоинствѣ человѣческой личности, говорится первое слово въ пользу освобожденія крестьянъ и вмѣстѣ въ защиту человѣческой мысли и слова, вообще

ставится вопросъ о внутренней реформѣ, объ автономіи общества — составляющей до нынѣ глубочайшій интересъ общественный и народный, — мы не можемъ не признать, что въ этотъ XVIII-й вѣкъ, отягчаемый теперь столькими обвиненіями, возникло напротивъ, среди всѣхъ его тягостей и заблужденій, глубоко знаменательное явленіе нашей исторической жизни: съ нимъ, въ лучшихъ людяхъ общества, впервые начинается истинное *національное самосознаніе*.

Новая образованность въ первое же время стала приносить свои *самостоятельные* результаты: кромѣ великой услуги, какую они дѣлали своему собственному обществу, они вносили цѣнный вкладъ въ общее научное знаніе. Эти труды русскихъ ученыхъ тотчасъ обратили на себя вниманіе европейской науки.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ XVIII-го вѣка впервые начинается настоящая *русская литература*, — не то смѣшеніе церковно-славянской книжности съ разрозненными (и недопускаемыми въ книгу) попытками народнаго творчества, — смѣшеніе, которое въ теченіе долгаго ряда вѣковъ до-Петровской исторіи не привело ни къ какому органическому результату, не связало двухъ элементовъ старой книжности въ одно цѣлое, не дало ни содержанія, ни формъ ни для поэтическаго творчества, ни для науки. Нѣчто совершенно иное начинается послѣ реформы: народная мысль была возбуждена, и въ результатѣ создаетъ совсѣмъ новую литературу, которая впервые общается въ будущемъ дѣйствительную литературу русскаго народа. Старая книжность не была просто отвергнута, т.-е. не была прервана историческая связь: напротивъ, эта книжность вошла цѣлымъ элементомъ въ новую литературу и даже упорно защищала свою исключительность до первыхъ десятилѣтій нашего вѣка; но въ то же время все больше занимаетъ мѣста въ книгѣ чисто-народный языкъ, и этотъ новый литературный языкъ служитъ выраженіемъ, съ одной стороны, научному знанію, съ другой — поэтическому творчеству съ общественнымъ и народнымъ содержаніемъ. Долго шелъ процессъ образованія новой литературы, гдѣ сталкивались и наконецъ сживались разнородные элементы стараго преданія и живой дѣйствительности; наконецъ, послѣ долгихъ колебаній, поисковъ и часто ошибокъ, создалась литература, которая впервые имѣла полное право назваться русской національной литературой. Ея орудіемъ сталъ новый, небывалый прежде языкъ. Въ его области совершался такой же сложный процессъ, какъ и въ области самыхъ понятій; онъ сохранилъ очень многое изъ стараго книжнаго языка, но вмѣстѣ далъ полноправность чисто народной рѣчи, и она стала корнемъ, изъ котораго развилось роскошное разнообразіе новыхъ формъ. Въ этомъ

языкъ впервые раскрылось то рѣдкое богатство оригинальнаго выраженія, какое хранилось въ зародышѣ въ русской народной рѣчи, и которое до тѣхъ поръ никогда не проявлялось въ такомъ обиліи и съ такой силой. Съ новаго періода нашей національной жизни впервые образовался истинно-русскій *литературный языкъ*.

ГЛАВА VI.

АЛЕКСАНДРОВСКІЯ ВРЕМЕНА.

Вопросъ о крѣпостномъ правѣ въ концѣ XVIII-го и началѣ XIX-го вѣка. Отрицаніе его у Радищева и консервативная идиллія Карамзина.—Романтизмъ.—Этнографическіе интересы въ поэзіи; Жуковский.—Научное движеніе: исторія и археологія, меденатство гр. Румянцова, Кирша Даниловъ и Калайдовичъ.—Славянскіе интересы.

Восемнадцатый вѣкъ не былъ, какъ мы видѣли, ни равнодушенъ къ изученію народности, ни безплоденъ въ этомъ трудѣ. Можно даже сказать, что въ то время возникали такія понятія о народѣ, которыя въ сущности до сихъ поръ не восприняты извѣстной долей общества нынѣшняго, которая, однако, любить или находить выгоднымъ рядиться въ народолюбіе.

Разумному интересу къ народности предстояли тогда двѣ задачи: во-первыхъ, правильно уразумѣть фактическое положеніе въ государственномъ порядкѣ тѣхъ народныхъ массъ, которыми создается „народность“; во-вторыхъ, если еще не изучить, то по крайней мѣрѣ понять важность изученія тѣхъ бытовыхъ чертъ, въ которыхъ сказался характеръ и историческая судьба народа.

Если опѣивать съ спокойной исторической критикой результаты XVIII-го вѣка въ этихъ двухъ отношеніяхъ, за нимъ необходимо признать немалую историческую заслугу. Образованность этого вѣка, выросавшая на лонѣ унаслѣдованнаго отъ Москвы XVII-го вѣка крѣпостного права, успѣла у лучшихъ людей придти къ самому рѣшительному отрицанію учрежденія, державшаго огромную массу народа на степени „хамова отродья“ и ту же точку зрѣнія распространявшаго на остальную долю простого народа, хотя бы и не крѣпостную. Этимъ однимъ отрицаніемъ сдѣланъ былъ громаднѣйшій шагъ въ нравственно-общественномъ развитіи и въ разумномъ пониманіи

народности: *этой* понятія о необходимости народнаго освобожденія, нравственнаго и политическаго, *не знала* старая московская Россія. Образованность XVIII-го вѣка поняла и необходимость этнографическихъ изученій. Правда, достигнутые результаты, съ нынѣшней научной точки зрѣнія, были еще очень скудны,—но по сравненію съ тогдашнимъ *общимъ* состояніемъ этого знанія, они представляются весьма значительными: въ нѣкоторыхъ случаяхъ, наши этнографы того времени положительно опережали этнографовъ западно-европейскихъ, напр. въ интересѣ къ чистой, непосредственной народной поэзіи.

Съ такими задатками, изученія народности перешли въ XIX-е столѣтіе.

Значительнѣйшій дѣятель первой четверти столѣтія есть безъ сомнѣнія Карамзинъ. Нѣтъ надобности говорить объ общемъ характерѣ его взглядовъ: мы имѣли не разъ случай говорить о немъ ¹⁾, и здѣсь коснемся лишь его взглядовъ на народъ и народность въ тѣхъ двухъ отношеніяхъ, которыя мы указывали: въ пониманіи фактическаго положенія народной массы въ государствѣ, и въ специально-научномъ изученіи народной старины, характера и обычая.

Относительно перваго, Карамзинъ, при всей склонности къ филантропической сентиментальности и даже въ молодой періодъ его либеральныхъ взглядовъ, какъ извѣстно, не доходилъ до пониманія необходимости освобожденія крестьянъ. Чувствительность и восхищеніе патріархальной простотой и добродѣтелями „поселянъ“ были сами по себѣ, а крѣпостное право надъ „мужиками“ само по себѣ. Можно было бы предположить впередъ, что при этой точкѣ зрѣнія будетъ невозможно живое уразумѣніе народности и правильное отношеніе къ народу: плантаторъ не могъ бы никогда вѣрно понять и изображать характеръ и жизнь негра, и крѣпостникъ не могъ понять крѣпостнаго народа; нужно человѣческое отношеніе къ людямъ, нужно признать ихъ нравственную равноправную личность, чтобы понять ихъ внутреннюю жизнь, ихъ нравственное существо. Иначе отношеніе будетъ съ самаго начала фальшивое: „народъ“ будетъ представляться только грубой подначальной толпой; даже мягкое чувство къ нему будетъ не ясное гражданское чувство, а балованная сентиментальность, которая каждую минуту можетъ перейти въ барское распеванье, и рука, протянута къ народу, можетъ облечься въ ежовую рукавицу.

Это отношеніе къ народной массѣ, конечно, должно назваться

¹⁾ Въ послѣднее время, развитіе идей Карамзина снова указано было въ изслѣдованіи г. Алексѣя Веселовскаго: *Западное вліяніе въ русской литературѣ*, „В. Евр.“ 1882, и въ отдѣльномъ изданіи, М. 1883.

пренебреженіемъ. Восемнадцатый вѣкъ унаслѣдовалъ его отъ крѣпостного ХVІІ-го вѣка; а если теперь винять въ этомъ высшіе классы, принявшіе западное образованіе (за отсутствіемъ восточнаго), то пусть внесутъ въ число обвиняемыхъ имя знаменитѣйшаго русскаго историка, основателя нашей историографіи. Что восемнадцатый вѣкъ въ концѣ концовъ, у своихъ болѣе искренно размышлявшихъ представителей, додумался до иного отношенія къ народу, доказательствомъ осталась книга Радищева, старшаго современника Карамзина. Объ этой книгѣ было не мало говорено 'за и противъ, но все-таки не оцѣнено по справедливости отношеніе автора къ народу. Радищевъ выступилъ въ своемъ „Путешествіи“ горячимъ противникомъ крѣпостного права. Императрица Екатерина, сама сильно распространившая область крѣпостного права, была страшно озлоблена „Путешествіемъ“, и ея разборъ книги послужилъ текстомъ для допросовъ Шешковскаго; близко знакомая съ идеями вѣка, но уже очень къ нимъ охладѣвшая, она крайне враждебно отнеслась къ Радищеву и съ теоретической точки зрѣнія. Отношеніе Пушкина къ Радищеву было двойственное, но въ извѣстной статьѣ Пушкинъ о немъ судить очень сурово. Нѣтъ спора, что въ содержаніи книги Радищева есть доля теоретическаго увлеченія, совсѣмъ забывшаго объ условіяхъ русской дѣйствительности, есть крупные литературные недостатки; но даже критики, не очень расположенные къ характеру его идей, признали подъ конецъ, что отрицаніе крѣпостнаго права было исторической заслугой Радищева ¹⁾. До сихъ поръ, однако, почти не обращено вниманія на литературную сторону тѣхъ отдѣловъ „Путешествія“, которые посвящены изображенію крестьянскаго быта. Дѣло въ томъ, что книга Радищева написана весьма неровно; изъ его собственныхъ указаній видно, что она составлена изъ статей, писанныхъ въ разное время и, конечно, въ разныхъ настроеніяхъ: можно отличать страницы, написанныя подъ вліяніемъ чтенія, книжно-теоретическія, и другія, гдѣ авторъ говорилъ просто и непосредственно. Не разъ, излагая высокіе общіе вопросы, онъ заговариваетъ славянскимъ стилемъ, тяжелымъ и утомительнымъ; языкъ его становится проще, когда онъ приближается къ дѣйствительности, но всего болѣе стиль становится живымъ, легкимъ, естественнымъ, когда авторъ передаетъ черты и сцены народнаго быта. Книга пересыпана эпизодами подобнаго рода: и въ этихъ случаяхъ только изрѣдка современнаго читателя остановитъ устарѣвшее книжное слово прошлаго вѣка,—но въ цѣломъ можно совсѣмъ забыть, что читаешь пи-

¹⁾ Ср. Исторію русской словесности, Галахова, въ послѣднемъ изданіи, I, ч. 2 стр. 274.

санное сто лѣтъ назадъ. Такъ какъ книга очень рѣдка и забыта, приводимъ два-три примѣра, — тѣмъ болѣе, что они нагляднѣе объяснятъ нашу мысль.

Въ главѣ, обозначенной „Любани“, рисуется одна изъ тѣхъ многихъ картинъ, какими Радищевъ изображалъ дѣйствія крѣпостного права:

„Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дороги увидѣлъ я пахущаго почву крестьянина. Время было жаркое. Посмотрѣлъ я на часы—перваго сорокъ минутъ... Сегодня праздникъ.—Пашущій крестьянинъ принадлежитъ конечно помѣщику, который оброку съ него не беретъ ¹⁾.—Крестьянинъ пашетъ съ великимъ тщаніемъ.—Нива, конечно, господская.—Соху поворачиваетъ съ удивительною легкостію.—Богъ въ помощь, сказалъ я, подошедъ къ пахарю, который не останавливаясь доканчивалъ зачатую борозду.—Богъ въ помощь, повторилъ я.—Спасибо, баринъ, говорилъ мнѣ пахарь, отряхая сошникъ и перенося соху на новую борозду. — Ты, конечно, раскольникъ, что пашешь по воскресеньямъ. Нѣтъ, баринъ, я прямой ²⁾ крестомъ крещусь,—сказалъ онъ, показывая мнѣ сложенные три перста.—А Богъ милостивъ, съ голоду умирать не велитъ, когда есть силы и семья.—Развѣ тебѣ во всю недѣлю нѣтъ времени работать, что ты и воскресенье не спускаешь, да еще и въ самый жаръ. — Въ недѣлю-то, баринъ, шесть дней, а мы шесть разъ въ недѣлю ходимъ на барщину; да подъ вечерокъ возимъ оставшее въ лѣсу сѣно на господскій дворъ, коли погода хороша; а бабы и дѣвки для прогулки ходятъ по праздникамъ въ лѣсъ по грибы да по ягоду ³⁾. Дай Богъ, (крестясь), чтобъ подъ вечеръ сего дня дождикъ пошелъ.. Велика ли у тебя семья?—Три сына и три дочки. Первенькому-то десятой годокъ.—Какъ же ты уснѣваешь доставать хлѣбъ, коли только праздникъ имѣешь свободнымъ?—Не одни праздники, и ночь наша. Не дѣнись нашъ братъ, то съ голоду не умрешь. Видишь ли, одна лошадь отдыхаетъ; а какъ эта устанетъ, возьмусь за другую; дѣло-то и споро.—Такъ ли ты работаешь на господина своего?—Нѣтъ, баринъ, грѣшно бы было такъ же работать. У него на наши сто рукъ для одного рта, а у меня двѣ для семи ртовъ, самъ ты счетъ знаешь. Да хотя растянись на барской работѣ, то спасибо не скажутъ“... ⁴⁾.

Вотъ другая картинка—кунца-кулака. Карпъ Дементычъ, проживающій въ Новгородѣ, знакомъ автору, которому нѣкогда сдѣлалъ кляузный денежный подвохъ. Здѣсь они опять встрѣтились.

„Ба, ба, ба! добро пожаловать, откуда Богъ принесъ,—говорилъ пріятель Карпъ Дементычъ, прежде сего купецъ третьей гильдіи, а нынѣ имянитой гражданинъ.—По пословицѣ, счастливой къ обѣду. Милости просимъ садиться.—Да что за пиръ у тебя?—Благодѣтель мой, я женихъ вчера парня своего“... (Благодѣтель—потому, что авторъ нѣкогда пособилъ ему занисаться въ именинѣ граждае, а онъ потомъ устроилъ „благодѣтелю“ упомянутую кляузу).

„Карпъ Дементычъ человекъ признательной.—Невѣстка, водки нечаян-

¹⁾ А держать, т.-е., на барщинѣ.

²⁾ Т.-е. настоящимъ.

³⁾ Т.-е. опять для барскаго дома.

⁴⁾ Путешествіе изъ Петербурга въ Москву. Сиб. 1790, стр. 14 и слѣд.

ному гостю.—Я водки не пью.—Да хоть прикушай, здоровье молодых... И сѣли за столъ.

„По одну сторону меня сѣлъ сынъ хозяйскій, а по другую посадилъ Карпъ Дементычъ свою молодую невѣстку... Прервемъ рѣчь, читатель. Дай мнѣ карандашъ и листочекъ бумажки. Я тебѣ въ удовольствіе нарисую всю честную компанію... Если точныхъ не сплуну портретовъ, то доволенъ буду ихъ силуэтами.

„Карпъ Дементычъ—сѣдая борода, въ восемь вершковъ отъ нижней губы. Носъ кляномъ, глаза ввалились, брови какъ смоль, кланяется объ руку, бороду гладитъ, всѣхъ величаетъ: благодѣтель мой.—Аксинья Пареевьевна, любезная его супруга. Въ шестьдесятъ лѣтъ бѣла какъ свѣтъ, и красна какъ маковъ цвѣтъ, губки всегда сжимаетъ кольцомъ; ренскаго не ѣсть, передъ обѣдомъ погѣ-чарочки при гостяхъ, да въ чуланѣ стаканчикъ водки. Прикащикъ-мужикъ хозяину на счетъ показывается... По приказанію Аксиньи Пареевьевны, куплено годового запаса 3 пуда бѣлиль ржевскихъ и 30 фунтовъ румянъ листовыхъ... Прикащики мужнины—Аксиньины камердинеры.—Алексѣй Карповичъ—сосѣдъ мой застольной. Ни уса, ни бороды, а носъ уже багровой, бровями моргаетъ, въ вружокъ остриженъ, кланяется гусемъ, отряхая голову и поправляя волосы. Въ Петербургѣ былъ сидѣльцомъ. На арпинѣ когда мѣряетъ, то спускаетъ на вершокъ; за то его отецъ любить, какъ самъ себя; на пятнадцатомъ году матери далъ оплеуху.—Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бѣла и румяна. Зубы какъ уголь. Брови въ нитку, черные сажи. Въ компаніи сидитъ потупа глаза, по во весь день отъ окошка не отходить, и палитъ глаза на всякаго мужчину. Подъ вечерокъ стоитъ у калитки.—Глазъ одинъ подбитъ. Подарокъ ея любезнова муженька для перваго дня“... и т. д. 1).

Карпъ Дементычъ, настоящій типъ кулака, нажилъ деньги обманомъ и злостнымъ банкротствомъ, изъ котораго вышелъ цѣлъ и невредимъ. Со времени несостоятельности торгуетъ его сытъ; купленный домъ записанъ на имя жены.

Укажемъ еще эпизодъ о нищемъ слѣпцѣ, поющемъ духовные стихи (глава „Клинь“). Бытовая картина, нарисованная здѣсь, немного сантиментальна, стиль не выдержанъ, но опять чрезвычайно интересно отношеніе автора къ народному быту.

„Какъ было во городѣ во Римѣ, тамъ жилъ да былъ Евфиміанъ князь... Поющій сію народную пѣснь, называемую Алексѣемъ Божимъ челоуѣкомъ, былъ слѣпой старикъ, сидящій у воротъ почтоваго двора, окруженный толпою по большей части ребятъ и юношей. Сребровидная его глава, замкнутыя очи, видъ спокойствія, на лицѣ его зримаго, заставляли взирающихъ на пѣвца предстать ему съ благоговѣніемъ. Неискусный хотя, его напѣвъ, но нѣжностію изреченія сопровождаемый, проникалъ въ сердца его слушателей, лучше природѣ внимлющихъ, нежели возвращенные во благогласіи уши жителей Москвы и Петербурга внимлютъ кудрявому напѣву Габріелли, Маркеси или Тоди. Никто изъ предстоящихъ не остался безъ выбленія внутрь глубокаго 2), когда Клиньскій пѣвецъ, дошедъ до разлуки своего героя, едва прерывающимся ежемгн-

1) Путешествіе, стр. 105 и слѣд.

2) Т.-е. безъ внутренняго потрясенія.

венно гласомъ изрекалъ свое повѣствованіе. Мѣсто, на коемъ были его очи, исполнилося изступающихъ изъ чувствительной отъ бѣды души слезъ, и потоки оныхъ пролилися по ланитамъ воспѣвающаго. О природа, koliko ты властительна! Взирая на плачущаго старца, жены воярыдали; со устъ юности отлѣтъя сопутница ея, улыбка; на лицѣ отрочества являлась робость, неложной знакъ болѣзненнаго, но неизвѣстнаго чувствованія: даже мужественной возрастъ, къ жестокости толико привыкшей, видъ воспріялъ важности. О, природа! вопіялъ я паки...

„Сколь сладко неаввительное чувствованіе скорби! Koliko сердце оно обновляетъ, и онаго чувствительность. Я рыдалъ въ слѣдъ за ямскимъ собраніемъ, и слезы мои были столь же для меня сладостны, какъ исторгнутыя изъ сердца Вертеромъ...“

„По окончаніи пѣснословія, всѣ предстоящіе давали старику, какъ будто бы награду за его трудъ. Онъ принималъ всѣ денежки и полушны, всѣ куски и крохи хлѣба довольно равнодушно, но всегда сопровождалъ благодарностью свою поклономъ, крестясь и говоря къ подающему: дай Богъ тебѣ здоровья!“ и проч. ¹⁾).

Подобные эпизоды достаточно свидѣтельствуютъ, что сочувствія къ народу, заявляемыя книгой Радищева, были искреннимъ убѣжденіемъ писателя: они говорятъ языкомъ жизни, сопровождаются правдивыми и яркими изображеніями народнаго быта, которыя удивительно встрѣтить въ тогдашней литературѣ. При всѣхъ раньше нами указанныхъ попыткахъ литературы подойти къ народному быту, она не достигала той прямой постановки предмета, какая сдѣлана въ „Путешествіи“ Радищева: литература вращалась въ поверхностныхъ сюжетахъ, шутливыхъ и анекдотическихъ—тогда какъ здѣсь затронутъ самый корень народной жизни, и писатель приступаетъ къ ней, вооруженный и знаніемъ дѣла, и умѣньемъ вѣрно владѣть народной рѣчью, которое вполнѣ усвоено было литературой только нѣсколько десятилѣтій и нѣсколько литературныхъ переворотовъ спустя.

Замѣчательный фактъ, представляемый „Путешествіемъ“, становится особенно любопытнымъ исторически, когда мы сопоставимъ съ нимъ пониманіе народности у первостепеннаго писателя поколѣнія, уже болѣе молодого,—у Карамзина. Не будемъ говорить о томъ, что Карамзинъ, при всѣхъ его „республиканскихъ“ убѣжденіяхъ, всю жизнь остался противникомъ мысли объ освобожденіи крестьянъ (припомнимъ, что Радищевъ даже на допросахъ у Шешковскаго, когда онъ обнаружилъ большой упадокъ духа, не отрекся отъ своихъ идей объ освобожденіи крестьянъ): какъ ни было въ существѣ противонародно это воззрѣніе, еще можно представить его себѣ не какъ одно грубое преданіе рабовладѣльчества, а какъ обдуманную (хотя

¹⁾ Путешествіе, стр. 401 и слѣд.

и малодушную) общественную теорію; но съ этимъ возрѣніемъ роковымъ образомъ соединялась невозможность понять правильно внутреннюю жизнь народа и характеръ народности...

Вопросъ былъ не изъ легкихъ. Вся литературная эпоха, въ самихъ европейскихъ образцахъ, по которымъ учились наши писатели, была еще далека отъ мысли о полномъ освобожденіи народныхъ массъ; историческая жизнь еще не ставила этого вопроса, потому что раньше стояли на очереди другіе,—и наша литература, которой столько приходилось учиться изъ чужихъ источниковъ, показала много жизненнаго смысла, когда сама, внѣ чужихъ указаній, стала обращаться къ народности, т.-е. заявила сочувственный интересъ къ народнымъ массамъ, смутно догадываясь о національномъ значеніи ихъ бытового содержанія. Это исканіе было вѣрно теоретически, прекрасно въ общественномъ смыслѣ,—но на дѣлѣ „народность“ литературы была бы возможна лишь тогда, когда получила бы гражданскія права въ самой жизни, и литература долго колебалась между угадываемымъ новымъ стилемъ языка и содержанія, и старымъ стилемъ псевдо-классическимъ: въ исторической дѣйствительности вопросъ объ освобожденіи еще не назрѣлъ, трудно было поднимать его съ нравственной стороны, когда масса „общества“, — въ которой должна была возобладать эта мысль, — еще нуждалась въ общемъ гуманитарномъ образованіи. Радищевъ, который служить намъ здѣсь литературно-исторической мѣркой, намѣтилъ этотъ угадываемый народный стиль; но не могъ выдержать, и въ другихъ эпизодахъ самаго „Путешествія“ былъ послѣдователемъ той же старой школы; его заслугой остается то, что западный философскій гуманизмъ онъ умѣлъ примѣнить не въ однихъ отвлеченныхъ разсужденіяхъ, но въ живомъ сочувствіи къ положенію народа, для изображенія котораго онъ умѣлъ поэтому находить и вѣрный, живой стиль. Карамзинъ напротивъ остался всегда только при одной теоретически-либеральной сантиментальности, и она стала характерной чертой его отношенія къ народу. Когда писатель брался за тему народа, ему представлялся отвлеченный, на дѣлѣ не существующій идиллическій „поселянинъ“, и онъ питалъ къ нему теоретическую нѣжность; но когда передъ нимъ вставала сама дѣйствительная жизнь, то къ „мужику“ прилагалась уже не идиллическая теорія, а реальная крѣпостная практика. Это, разумѣется, могло не мѣшать Карамзину лично быть добрымъ человѣкомъ, снисходительнымъ помѣщикомъ,—но онъ никогда не могъ переварить этой двойственности, и позднѣе искренно негодовалъ на „либералистовъ“ времени Александра I, когда они нашли, что „мужикъ“ именно и есть тотъ „поселянинъ“, которому старая сантиментальная философія оказывала столько участія...

Простое, фактически правдивое сочувствіе Радищева къ народу, иногда дѣйствительно горячее (какъ въ эпизодѣ о старикѣ, пѣвшемъ „Алексѣя Божія челоувѣка“), было неизвѣстно Карамзину: народная жизнь представлялась ему всегда только съ точки зрѣнія сантиментальной идилліи и пасторали, и въ его изображеніяхъ является поэтому только въ искусственной, односторонней или фальшивой формѣ и окраскѣ.

Рядъ цитатъ наглядно укажетъ это отношеніе Карамзина къ народу, къ его жизни и обстановкѣ.

Въ 1793, онъ воспѣваетъ Волгу на берегахъ которой онъ родился:

Рѣка священнѣйшая въ мірѣ,
Кристалльныхъ водъ царица, мать!
Дерзну-ли я на слабой *лири*
Тебл, о Волга, величать,
Богиней тѣси вдохновенный,
Твоею славой удивленный?
Дерзну ль...
Хвалить красу твоихъ береговъ,
Гдѣ *грады, веси* пропѣтають, и проч.

(„Сочиненія“, изд. 4-е, 1834—35, I, стр. 10 и слѣд.).

Въ этой риторической формѣ трудно ожидать вѣрныхъ картинъ волжской природы и народнаго быта, и ихъ дѣйствительно нѣтъ.

Въ 1798, Карамзинъ пишетъ куплеты для „сельской комедіи“, которая была играна „благородными любителями театра“. Вотъ для образчика—

Хоръ земледѣльцевъ.
Какъ не пѣть намъ? Мы щастливы.
Славимъ барина-отца.
Наши рѣчи не красивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане насъ умѣе,
Ихъ искусство—говорить.
Чтожь умѣемъ мы? Сильнѣе
Благодѣтелей любить („Сочин.“ I, 194 и слѣд.).

Въ комедіи выводятся „сельскій любовникъ“ и „сельская любовница“ (т. е. пейзаже), „староста“ и т. п.; ихъ рѣчи—такія же красивыя какъ рѣчи самого автора.

Въ „Натальѣ, боярской дочери“ (1792), событіе, отнесенное къ древней Россіи, рассказывается въ чрезвычайно чувствительной повѣсти, гдѣ русская старина идеализирована весьма мало вѣроятнымъ образомъ.

„Кто изъ насъ не любитъ тѣхъ временъ, когда русскіе были русскими (?); когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою,

жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ по своему сердцу, то-есть, говорили какъ думали?“

„Много красавицъ въ Москвѣ бѣлокаменной, ибо царство русское искони (?) почиталось *жилищемъ красоты и пріятностей*; но никакая красавица не могла сравниться съ Натальей“...

„Цвѣтуція поля и дымящіяся деревни, откуда съ веселыми пѣснями выѣзжали *трудолюбивые поселане*, на работы свои — поселане, которые и по сіе время ни въ чемъ не переѣнились, такъ же одѣваются, такъ живутъ и работаютъ, какъ прежде жили и работали, и среди всѣхъ измѣненій и личинъ представляютъ намъ еще истинную русскую фязіогномію“ (VI, стр. 86, 91, 94).

Несравненно выше по мысли „Марѳа Посадница“. Тема благородной борьбы за народную свободу произвела въ ту пору сильное впечатлѣніе на читателей именно теоретическимъ гуманизмомъ, но самыя изображенія быта были до послѣдней степени натянутыя и риторическія.

И старая Русь, и современная народная жизнь, и въ историческихъ обобщеніяхъ, и въ повѣствовательныхъ картинахъ Карамзина являются въ краскахъ этой подрумяненной сентиментальности, въ тонѣ идилліи или мелодрамы. Карамзинъ самъ долженъ былъ чувствовать, что эта идиллія, въ которую такъ часто онъ впадалъ вмѣстѣ со всей литературой того времени, не есть настоящая правда. Оспаривая Руссо (въ прекрасной статьѣ: „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи“, 1793 г.), Карамзинъ усумнился въ „Сатурновомъ вѣкѣ“ и „счастливой Аркадіи“. „Правда,—говорилъ онъ,—сія вѣчно цвѣтущая страна, подъ благимъ свѣтлымъ небомъ, населенная простыми, добродушными пастухами, которые любятъ другъ друга какъ вѣжные братья, повинуются однимъ движеніямъ своего сердца и блаженствуютъ въ объятіяхъ любви и дружбы, есть нѣчто восхитительное для воображенія чувствительныхъ людей; но будемъ *искренни* и признаемся, что сія счастливая страна есть не что иное, какъ пріятный сонъ, какъ восхитительная мечта сего самаго воображенія“ (VII, 97). Но сколько разъ онъ самъ вводилъ черты этой Аркадіи и Сатурнова вѣка въ свои изображенія русской старины и народности, и *искренность* могла бы опять подсказать, что эти черты были мечтой воображенія.

Остановимся еще на двухъ-трехъ подробностяхъ. Статья „Деревня“ (1792) посвящена описанію прелестей уединенія:

„Благославляю васъ, мирныя сельскія тѣни, густыя, кудравыя рощи, душистые луга и поля, златыми класами (т.-е. колосьями) покрытыя! Благословляю тебя, тихая рѣчка, и васъ, журчащія ручейки, въ нее текущія! Я пришелъ къ вамъ искать отдохновенія... Я одинъ—одинъ съ своими мыслями—одинъ съ натурою...“

„Вижу садъ, аллея, цвѣтники—иду мимо ихъ—осиновая роща для меня привлекательнѣе. Въ деревнѣ всякое искусство противно...“

„Какая свѣжесть въ воздухѣ!.. Уже стада разсыпаются вокруг холмовъ; уже блистаютъ косы на лугахъ зеленыхъ; поющій жаворонокъ вьется надъ трудящимся поселяниномъ—и *нѣжная Лавинія* приготовляетъ завтракъ своему *Палемону*. Гуляю среди полей разноцвѣтныхъ“... (VII, 104 и слѣд.).

Авторъ наслаждается, конечно, и барскимъ комфортомъ; кто-то готовитъ ему обѣдъ, „услужливый садовникъ“ (еще бы онъ не былъ услужлив!) приноситъ ему корзинку съ благоуханною малиною: „тонкая дремота на нѣсколько минутъ покрываетъ глаза мои флеромъ—зефиръ свѣваетъ его“. Авторъ бесѣдуетъ лишь съ Томсономъ, Ла-Фонтеномъ (вѣроятно *Les Contes*) и Грессетомъ, — и замѣчательно, что для трудолюбивыхъ поселянъ не досталось, кромѣ упомянутого, ни одного слова!

Въ знаменитой статьѣ „О любви къ отечеству и народной гордости“ (1802 г.) Карамзинъ затрогиваетъ тему, которая съ разными видоизмѣненіями повторяется и въ настоящую минуту.

„Я не смѣю думать,—говоритъ онъ,—чтобы у насъ въ Россіи было немного патриотовъ; но мнѣ кажется, что мы излишно *смирены* въ мысляхъ о народномъ нашемъ достоинствѣ—а смиреніе въ политикѣ вредно. Кто самого себя не уважаетъ, того, безъ сомнѣнія, и другіе уважать не будутъ...“

„Успѣхи литературы нашей доказываютъ великую способность русскихъ. У французовъ еще въ шестомъ-надесятъ вѣкѣ философствовали и писалъ Монтань: чудно ли, что они вообще пишутъ лучше насъ? Не чудно ли, напротивъ того, что нѣкоторые наши произведенія могутъ стоять наряду съ ихъ лучшими, какъ въ живописи мыслей, такъ и въ отгѣнкахъ слога? Будемъ только справедливы, любезны сограждане, и почувствуемъ цѣну собственнаго. Мы никогда не будемъ умны чужимъ умомъ и славны чужою славою: французскіе, англійскіе авторы могутъ обойтись безъ нашей похвалы, но русскимъ нужно по крайней мѣрѣ вниманіе русскихъ“ (VII, стр. 116, 120—121).

Въ статьѣ „О случаяхъ и характерахъ въ русской исторіи, которые могутъ быть предметомъ художествъ“ (1802), Карамзинъ, по поводу мысли задавать художникамъ темы изъ русской исторіи, говоритъ:

„Должно приучить россиянъ къ уваженію собственнаго; должно показать, что оно можетъ быть предметомъ вдохновеній артиста и сильныхъ дѣйствій искусства на сердце. Не только историкъ и поэтъ, но и живописецъ и ваятель бываютъ органами патриотизма“... (VII, 122).

Всѣ эти прекрасныя пожеланія повторяются до сихъ поръ. И въ послѣдніе дни можно читать жалобы и укоры на то, что мы слишкомъ смиренны передъ Европой, что мы „лакействуемъ“ передъ западной цивилизаціей и т. п. Какъ бы то ни было, можно замѣтить одно, что и въ карамзинское время, и послѣ, этимъ жалобамъ недоставало опредѣленности — чего и отъ кого хотять, и какъ можетъ быть вообще достигнуто то, чего хотять. Къ кому направляется жа-

лоба на излишнее *смирение*, вредное въ „политикѣ“? Къ обществу эта жалоба не могла быть обращена ни тогда, ни послѣ, такъ какъ оно не имѣло голоса въ „политикѣ“, не имѣло даже средствъ опредѣлить свое мнѣніе: для того, чтобы со стороны общества возможно было какое-нибудь заявленіе подобнаго рода, надо же было, чтобы оно имѣло извѣстную свободу выраженія: слова и печати. Такимъ образомъ, *этотъ* упрекъ никакъ не могъ быть отнесенъ къ обществу. То же общество и сама народная масса являли могущественное возбужденіе, когда вставали жизненные историческіе вопросы, и сила возбужденія способна была оказать надолго великое нравственное вліяніе. Таковъ былъ 12-й годъ. Но въ другое время, по другимъ вопросамъ (а бывали вопросы капитальные), обращались ли когда-нибудь къ мнѣніямъ и къ свободнымъ силамъ общества?

Прекрасны далѣе заботы объ уваженіи къ русской литературѣ, но понятно, что истинное значеніе литературы могло основаться прежде всего на ея внутреннемъ достоинствѣ, на силѣ ея содержанія, которыя явились бы какъ результатъ работы русской мысли и поэтической дѣятельности, а такой результатъ могъ быть достигнутъ лишь при одномъ условіи,—которое опять не было въ рукахъ *одного* только общества,—при условіи расширенія средствъ образованія и простора для работы мысли. Было бы пріятно, еслибъ высшая аристократія тѣхъ временъ знала нѣсколько больше русскую грамоту; но и тогда, когда бы она выучилась этой грамотѣ, для литературы не было бы отъ этого большой пользы, если Магницкіе и Руничіе сохраняли возможность дѣлать свои гнусныя нападенія на университетскую науку, если самъ Карамзинъ такъ вооружался противъ „либералистовъ“, въ стремленіяхъ которыхъ было несомнѣнно многое, отвѣчавшее истиннымъ нуждамъ русскаго народа, — каково напр., уничтоженіе крѣпостного права. Въ эпоху Карамзина еще можно было не понимать, а въ наше время очевидно, что хозяйничанье надъ наукой Магницкихъ и Руничей и есть именно глубокое униженіе литературы, дѣло въ величайшей степени гнусное, потому что противонародное, и что беззащитность умственной жизни общества больше, чѣмъ многое иное, должна была бы озабочивать искреннихъ патріотовъ.

Не подлежитъ спору, что не только историкъ и поэтъ, но и художникъ бываютъ органами патріотизма. Но какъ для національнаго достоинства литературы нужно не столько меденатство высшаго общества, сколько присутствіе условій для ея свободнаго развитія (т.-е. для развитія умственныхъ силъ народа, находящихся въ ней свою дѣятельность и выраженіе), такъ національное искусство разовьется не однимъ лишь покровительствомъ, а тѣмъ же ростомъ внутренняго

сознанія общества, и въ сущности требуетъ тѣхъ же условій для своего процвѣтанія, какъ и литература. Покровительство, „заказы художникамъ“ могутъ дать искусству только внѣшнія матеріальныя средства,—при дурномъ вкусѣ заказчиковъ могутъ даже вредно вліять на искусство, распложая фальшивое исполненіе фальшивыхъ темъ. Искусство идетъ обыкновенно вровень съ умственнымъ состояніемъ общества, и лучшая, хотя косвенная, услуга ему, внѣ собственно технической стороны, можетъ быть сдѣлана тѣми же заботами о расширеніи внутренней жизни общества, о возвышеніи его гражданскаго достоинства и просвѣщенія.

Любопытно, что эти темы почти безъ перемѣны повторяются и до настоящаго времени,—такъ мало тогда и нынѣ сантиментальныя романтики „народности“ понимали простыя историческія условія роста національной литературы и искусства. Желанія прекрасныя, но всегда или недосказанныя или недодуманныя, а иной разъ просто лицемерныя.

Рядъ прекрасныхъ мыслей высказанъ Карамзинымъ въ статьѣ „О новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи“ (1803), по поводу плановъ импер. Александра I по этому вѣдомству.

„Петръ Великій,—говоритъ Карамзинъ,—учредилъ первую академію въ нашемъ отечествѣ, Елисавета—первый университетъ, Великая Екатерина—городскія школы; но Александръ, размножая университеты и гимназій, говоритъ еще: да будетъ свѣтъ и въ хижинахъ. Новая великая эпоха начинается отнынѣ въ исторіи нравственнаго образованія въ Россіи, которое есть корень государственнаго величія и безъ котораго самыя блестящія царствованія бывають только личною славой монарховъ, не отечества, не народа. Россія, сильная и счастливая во многихъ отношеніяхъ, унижалась еще справедливою завистію, видя торжество просвѣщенія въ другихъ земляхъ и слабый невѣрный блескъ его въ обширныхъ странахъ ея. Римляне, уже побѣдители вселенной, были еще презираемы греками за ихъ невѣжество, и не силою, не побѣдами, но только ученіемъ могли наконецъ избавиться отъ имени варваровъ. Не одно народное славолібіе... терпитъ отъ недостатка въ просвѣщеніи; нѣтъ, онъ мѣшаетъ всякому дѣйствию благотворныхъ намѣреній правителя... Александръ желаетъ просвѣтить россиянь, чтобы они могли пользоваться его человѣколюбивыми уставами, безъ всякихъ злоупотребленій и въ полнотѣ своего спасительнаго дѣйствія“ и пр. (VIII, стр. 221 и слѣд.).

Эти простыя истины о просвѣщеніи, составляющемъ корень государственнаго величія, забываемыя теперь потомствомъ въ одичалой злобѣ противъ „интеллигенціи“,—указывали одну изъ несомнѣннѣйшихъ потребностей русскаго народа, который здѣсь выдѣляется Карамзинымъ и отъ государства, и отъ династіи; но въ то же время Карамзинъ считалъ освобожденіе крѣпостной массы этого народа преждевременнымъ и вреднымъ. Какъ будто образованіе могло быть распространяемо въ *крѣпостныхъ* „хижинахъ“! Было, правда, не мало

примѣровъ образованія, которое давалось помѣщиками инымъ изъ обывателей этихъ хижинъ,—но въ результатѣ бывали возмутительные примѣры этого противоестественнаго соединенія образованія и рабства; этихъ примѣровъ не забылъ Радищевъ въ „Путешествіи“—онъ рассказываетъ исторію образованнаго раба, который тѣмъ горше чувствовалъ свое бѣдственное положеніе, а затѣмъ изъ рукъ филантропа, который далъ ему образованіе, попалъ по наслѣдству въ руки варвара.

Итакъ, отношеніе Карамзина къ народу было двойственное и противорѣчивое: съ одной стороны, мягко-романтическое, съ другой, жестко-практическое. Онъ любилъ „поселянъ“, когда они воображались ему аркадскими пастушками, но въ дѣйствительности народъ былъ собраніемъ людей „низкаго состоянія“, изъ котораго Карамзинъ не торопился его выводить. Это двойственное отношеніе проходитъ и въ „Исторіи государства російскаго“. Карамзинъ съ мечтательнымъ восторгомъ говоритъ о „россіянахъ“, которыхъ видитъ со временъ Рюрика, придаетъ имъ не мало любезныхъ качествъ, бережно извиняетъ иные недостатки ихъ вліяніями „вѣка“; но въ сущности, народъ для него—только служебная масса, назначенная исполнять потребности государства: въ древнихъ „россіянахъ“ онъ провидитъ только вѣроподанныхъ имперіи, преданныхъ служителей государства и покорныхъ крѣпостныхъ. Великое „народное“ значеніе „Исторіи“, о которомъ обыкновенно говорятъ, заключается въ образовательномъ значеніи этого труда для высшихъ классовъ: обществу, почти не знавшему своего прошедшаго, Карамзинъ далъ впервые произведеніе изящное—въ господствовавшемъ тогда стилѣ, произведеніе въ духѣ европейскаго образованія, въ высокомъ *національно-государственномъ* тонѣ, которое съ этой стороны и подѣйствовало на общество, только-что пережившее событія, гдѣ глубоко затронуто было именно это національно-государственное чувство. Но пониманіе собственно народной стороны исторіи у Карамзина было неполное и часто невѣрное, какъ это съ самаго начала, при первомъ появленіи книги, очень справедливо указывали его противники изъ лагера „либералистовъ“.

При всемъ томъ, за Карамзинымъ остается великая заслуга для изученія „народности“. Онъ послужилъ этому изученію всѣмъ научнымъ значеніемъ своего монументальнаго произведенія. Историческое знаніе судьбы народа есть необходимая основа для пониманія народности, и все, сдѣланное Карамзинымъ для нашей исторіографіи, есть его вкладъ въ изученіе народности. Его историческая критика пролила много свѣта на внутренній бытъ стараго общества и народа,—

какъ никогда до него; онъ поставилъ много вопросовъ этого рода, и если не всегда вѣрно рѣшалъ ихъ, то утверждалъ критическое отношеніе къ нимъ, вызывая новый пересмотръ фактовъ, въ концѣ котораго раскрывалась истина. Съ нимъ оканчивались прежнія темныя представленія о русской древности, смѣшеніе подлинныхъ фактовъ съ фантазіями средневѣковыхъ и повѣйшихъ книжниковъ. Давно замѣчено было, что самъ Карамзинъ росъ въ пониманіи русской старины и народности по мѣрѣ того, какъ подвигалась его работа: манерный стиль становился проще и живѣе, освѣщался колоритомъ лѣтописной старины, пріобрѣлъ новую оригинальность.

Восхваляя заслугу Карамзина, указывали иногда, что въ „Исторіи“ Карамзинъ былъ уже не тѣмъ сантиментальнымъ мечтателемъ, какъ въ своихъ первыхъ произведеніяхъ, а зрѣлымъ мыслителемъ-историкомъ. Но эта похвала требуетъ оговорки. Исторія не есть идиллія, самая тема труда привязывала къ фактамъ, и притомъ задатки болѣе сухого, консервативнаго настроенія были у него издавна, не по одному погруженію въ государственную идею, а по болѣе прозаическимъ внушеніямъ практической дѣйствительности, какъ мы о томъ уже говорили. Таковы не весьма сочувственные взгляды, высказанные еще до „Исторіи“, въ „Запискѣ о древней и новой Россіи“. Съ другой стороны, вліянія старой школы не прекратились и теперь, и если въ однихъ случаяхъ вредили книгѣ, давая фальшивый тонъ, подслащая изображенія старины, то въ другихъ, напротивъ, старый идеализмъ внушилъ нѣкоторые взгляды и эпизоды, принадлежащіе къ самымъ привлекательнымъ въ „Исторіи“.

Дѣло въ томъ, что Карамзинъ и теперь оставался человекомъ европейскихъ идей и образованія: на русскую исторію онъ смотрѣлъ съ точки зрѣнія европейскихъ литературныхъ идей; въ своемъ трудѣ хотѣлъ сдѣлать для русскаго общества то, что дали своему обществу знаменитые историки европейскіе—хотѣлъ дать равныя картины, изобразить характеры, историческіе перевороты. Эти вліянія европейской литературы сказались на историческихъ взглядахъ Карамзина свѣтлымъ чувствомъ общечеловѣческой идеальной правды. „Можетъ быть, — говоритъ одинъ критикъ, — всѣ изысканія Карамзина неправильны или должны быть дополнены; но всѣ его *сочувствія* въ высшей степени правильны, потому что они общечеловѣческія. Великая честь Карамзину, что и въ голову ему не приходило оправдывать Ивана Грознаго въ его тиранствахъ, порицать Тверь и Великій Новгородъ въ ихъ сопротивленіи, какъ дѣлаютъ во имя условныхъ теорій наши современные историки... Въ безобразно ли фальшивой (по требованіямъ нашего времени) повѣсти „Марѳа Посадница“, въ краснорѣчивыхъ ли страницахъ о паденіи Великаго Нов-

города, — Карамзинъ остается вѣрнымъ самому себѣ и общечеловѣческимъ идеямъ... Это — великая заслуга, и этимъ отчасти объясняется фанатизмъ къ карамзинскому созерцанію русской жизни благороднѣйшихъ личностей“ (напр., у Пушкина). „Его исторія была, такъ сказать, пробнымъ камнемъ нашего самопознанія. Мы съ нею росли, ею мѣрялись съ остальною Европою, мы съ нею входили въ общій круговоротъ европейской жизни“¹⁾.

Эта сторона „Исторіи“ сообщала изображеніямъ Карамзина челоуѣчную, поэтическую окраску, которою она и увлекала своихъ читателей, и въ то же время — эти сочувствія къ падающему Новгороду и обвиненія противъ безумствъ Грознаго остаются гораздо болѣе вѣрными въ широкомъ народно-историческомъ смыслѣ, чѣмъ московская исключительность новѣйшаго славянофильства.

Но если было много благотворнаго въ томъ вліяніи, которое Карамзинъ прямо и косвенно оказалъ на развитіе научнаго изслѣдованія нашей старины, на возбужденіе интереса къ ней въ обществѣ, то въ литературномъ ея вліяніи была своя невыгодная сторона. Такъ именно дѣйствовала искусственная, слишкомъ часто фальшивая манера Карамзина. Его книга надолго осталась единственнымъ историческимъ кодексомъ, и на ней утвердилась, на нѣсколько десятилѣтій, почти вся литература повѣсти, романа, драмы, бравшихъ свои сюжеты изъ русской старины. Толчекъ къ развитію историческаго романа и внѣшніе его приемы далъ Вальтеръ-Скоттъ, матеріалъ и сентиментальная манера брались изъ Карамзина. Подражатели, какъ обыкновенно, развивали именно слабую сторону оригинала, и отсюда въ нашей литературѣ развивается цѣлый потокъ фальшивыхъ изображеній русской старины, начинателемъ которыхъ въ романѣ явился Загоскинъ. Извѣстно, какой чрезвычайный успѣхъ имѣлъ его первый романъ: этотъ успѣхъ на три четверти былъ приготовленъ Карамзинимъ, который возбуждалъ интересъ къ старинѣ въ томъ самомъ духѣ; остальное сдѣлала форма романа. Отъ Карамзина шли и тѣ недостатки, которые въ то время считались достоинствами: въ „Юріи Милославскомъ“ нельзя не видѣть продолженія „Марыи Посадницы“ и „Наталии боярской дочери“, подкрѣпленныхъ „Исторіей“ съ ея сентиментальнымъ представленіемъ старины и народности. Лажечниковъ — также ученикъ Карамзина; но онъ былъ умнѣе и талантливѣе Загоскина, лучше былъ знакомъ съ исторіей, и его произведенія гораздо серьезнѣе, хотя и въ нихъ остается искусственное отношеніе къ старинѣ, которая, впрочемъ, и донинѣ мало дается нашимъ романистамъ.

¹⁾ Сочиненія Ап. Григорьева. Спб. 1876, I, стр. 499, 508.

Подавляющій авторитетъ Карамзина тяготѣлъ и надъ могущественнымъ талантомъ Пушкина: „Борисъ Годуновъ“ построенъ на исторической рамкѣ и характерахъ, данныхъ Карамзинымъ—и это не послужило въ пользу драмы. Наша критика весьма несходныхъ направленій говорила объ этомъ согласно ¹⁾.

Дѣятельность Карамзина была предисловіемъ къ нашему романтизму. Извѣстно, что нашъ романтизмъ, котораго самымъ характернымъ представителемъ считается и былъ Жуковский, не былъ какимъ-либо яснымъ, опредѣленнымъ направленіемъ: его истинное значеніе мало сознавали сами его дѣятели и приверженцы ²⁾, и онъ можетъ быть опредѣленъ только какъ сложность разнообразныхъ вліяній романтизма французскаго, нѣмецкаго и англійскаго, вліяній, которыя находили воспримчивую почву въ нарождавшихся новыхъ стремленіяхъ самой русской литературы. У насъ отражались черты каждаго изъ иноземныхъ источниковъ, и французская борьба противъ ложнаго классицизма за большую свободу формы и содержанія, и легендарные рассказы или скептической протестъ англійскихъ поэтовъ, и средневѣковый мистицизмъ романтиковъ нѣмецкихъ или восторженный гуманизмъ Шиллера. Каждое изъ этихъ теченій находило отзывъ и приурочивалось къ русской почвѣ—отчасти потому, что эти новыя поэтическія стремленія были у насъ желаннымъ оружіемъ противъ отжившихъ направленій (напр., противъ нашихъ псевдо-классиковъ и славянствующей, риторической школы Шишкова), а также потому, что новая поэзія и безъ этихъ частныхъ поводовъ увлекала своимъ общечеловѣческимъ содержаніемъ и художественной прелестью. Во всякомъ случаѣ, было одно приобрѣтеніе: „романтизмъ“ помогаль литературѣ сбросить съ себя шелуху риторической и сухой условности псевдо-классицизма, даваль болѣе глубокое основаніе поверхностной сентиментальности, указываль поэтическую цѣну народнаго преданія и, наконецъ, приближалъ къ „народности“ вообще.

Въ этой общей сторонѣ романтизма Жуковскому принадлежитъ неоспоримая заслуга какъ поэту, который хотя не былъ богатъ собственной оригинальностью, но, какъ первостепенный переводчикъ, какъ мастеръ языка, былъ посредникомъ нашей литературы съ ро-

¹⁾ Ср. Бѣлинскаго, Сочиненія, т. VIII, стр. 611—641; Сочин. Ал. Григорьева, I, стр. 499 („Исторія Карамзина... испортила величайшее созданіе Пушкина — Бориса Годунова“), 504, и друг.

²⁾ Ср. различные отзывы Жуковскаго, кн. Вяземскаго, Пушкина и др. изъ второго и третьяго десятилѣтія нынѣшняго вѣка.

мантизмомъ западнымъ въ его разныхъ направлѣнiяхъ (кромя общественно-либеральнаго), самъ при этомъ подчинился его влiянiямъ и отрывалъ имъ путь въ нашей литературѣ. Псевдо-классицизмъ, построенный на школьной теорiи, всегда сильно риторическiй, спускался къ дѣйствительности развѣ только въ комедii и въ шутиливой поэмѣ, а больше вращался между ходульными героями съ возвышенными чувствами и т. п.; романтика расширила поэтическую область, сблизала поэзію со всѣми нравственными движенiями жизни, вводила народность не въ принижающемъ комическомъ тонѣ, а какъ глубокую нравственную стихію, дѣвную по ея первобытности, и незамѣтно демократизировала поэзію. Романтизмъ, особливо нѣмецкiй, повидимому, любилъ погружаться въ чистую фантастику, съ волшебствомъ, привидѣніями, чертами и т. п., но источникомъ этой манеры было средневѣковое и современное *народное преданіе*. Такимъ образомъ, народное нашло узаконенный доступъ въ поэтическiй обиходъ литературы; за чужими явились и свои преданiя и легенды, въ той же самой идеализаціи первобытно-народнаго. Съ другой стороны, романтизмъ взамѣнъ ложно-классическаго однообразiя искалъ пестрыхъ красокъ, колорита мѣста и времени, и здѣсь являлось новое побужденіе наблюдать бытовыя народныя черты... Жуковскiй уже вскорѣ подъ руководствомъ нѣмецкихъ романтиковъ стремится создать русскую балладу въ „Громобой“ и „Вадимъ“, направляется въ русскую народную мифологію въ „Свѣтланѣ“, нѣсколько лѣтъ обдумываетъ какого-то, оставшагося ненаписаннымъ, „Владимира“ (подъ которымъ разумѣлся древній кievскiй князь), позднѣе пересказываетъ въ стихахъ народныя сказки и т. д. Въ 1816 году онъ уже заботится о собиранiи народныхъ пѣсенъ, преданiй и проч.

Отсюда уже ясенъ успѣхъ этого интереса къ народности въ сравненiи съ тѣмъ, что мы видѣли въ XVIII вѣкѣ.

Въ томъ вѣкѣ это былъ интересъ непосредственный, который могъ опираться на свѣжихъ еще бытовыхъ вкусахъ и привычкахъ: записываніе пѣсенъ, какъ „охота“, шло еще отъ семнадцатаго вѣка; но историческія свѣдѣнiя были грубы, и такъ какъ народъ по тогдашнимъ понятiямъ былъ „черню“, то въ литературномъ воспроизведенiи „народность“—все еще въ согласiи съ псевдо-классической теорiей—могла явиться только въ комедii или шутиливой пьесѣ и оперѣ. Теперь точка зрѣнiя была хотя все еще не ясная, но уже болѣе глубокая; историческія знанiя о старинѣ стали шире, особливо послѣ Карамзина; хотя еще подъ чужими внушенiями, но серьезно берется народное преданіе, въ немъ отыскивается поэтическое содержаніе и воспроизводится въ литературѣ рядомъ съ лучшими произведенiями западно-европейскихъ поэтовъ. Форма воспроизведенiя пока далеко

не выработана, отчасти фальшива,—какъ въ „русскихъ“ балладахъ Жуковского,—но уже начаты поиски за подлиннымъ матеріаломъ именно съ этой спеціальной задачей—овладѣть народнымъ содержаниемъ для высшихъ слоевъ литературы.

Было, къ сожалѣнію, много недочетовъ въ этомъ движеніи и внѣшнія условія общественности стояли на дорогѣ этому нарождавшемуся влеченію къ народности. Лучшіе люди XVIII вѣка рѣшались указать тяжелую дѣйствительность народной жизни, но эти указанія были подавлены съ грубымъ насиліемъ, и это, безъ сомнѣнія, былъ большой ударъ для общественной мысли. Романтическое стремленіе къ народности могло бы стать плодотворнѣе, еслибы могло быть поддержано серьезнымъ интересомъ общественнымъ.

„Народность“, которая нашла мѣсто въ произведеніяхъ Жуковского, довольно странная. Поэтъ нелегко находилъ для нея настоящее выраженіе. Прослѣдивъ его манеру трактовать народно-старинныя темы, найдемъ ея тѣсную связь съ литературными приѣмами прошлаго вѣка. Въ первыхъ произведеніяхъ, напр., въ прозаическихъ разсказахъ: „Вадимъ Новгородскій“ (1803), „Три пояса, русская сказка“ (1808), „Марьяна роща“ (1808), это та же манера „сказокъ“ Чулкова, смягченная карамзинскимъ стилемъ и сентиментальностью, и тѣ же странныя представленія о русской древности. Въ стихотворныхъ пьесахъ Жуковскій слѣдуетъ послушно за своими иностранными образцами. Онъ очень умѣетъ цѣнить ихъ собственное достоинство ¹⁾, и затѣмъ, нимало не сомнѣваясь, въ чужеземной поэзіи, не имѣющей ни малѣйшаго отношенія къ русской жизни, онъ ищетъ пути къ своей народности, идетъ ощупью, и если самъ не находитъ дороги, то помогаетъ найти ее другимъ. Въ 1806 г., онъ пишетъ „Пѣснь барда надъ гробомъ славянъ побѣдителей“, и притомъ „относящуюся къ военнымъ обстоятельствамъ того (1806 г.) времени“,—хотя у славянъ никогда не бывало „бардовъ“,—и рисуетъ невозможную поэтическую картину. Онъ не сомнѣвается брать цѣликомъ чужія темы, краски и подробности и, слегка поддѣлывая ихъ подъ русскій тонъ, выдаетъ за русскія; за то въ романсѣ Шиллера онъ помѣщаетъ мнимаго древне-русскаго „Улада“ („Жалоба“, 1810).

„Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“, гдѣ сказалось столько прекраснаго поэтическаго настроенія, переполненъ искусственной условностью въ подробностяхъ: мало того, что русскіе генералы 12-го

¹⁾ Какъ, напримѣръ, восхищается его Гебель. Въ 1816 г., онъ пишетъ къ А. И. Тургеневу объ „Овсяномъ киселѣ“: „Это переводъ изъ Гебеля, вѣроятно, тебѣ неизвѣстнаго поэта, ибо онъ писалъ на швабскомъ діалектѣ и для поселянъ. Но я ничего лучше не знаю! Поэзія во всемъ совершенствѣ простоты и непорочности“ (Сочин., изд. Ефремова, 1878, т. VI, стр. 401).

года сражаются копьями, стрѣлами и щитами, они извлекли это вооруженіе и боевые обычай даже не изъ древне-славянской, а изъ галльской и оссіановской древности. Въ „Свѣтланѣ“ (1811) только первая строфа даетъ вѣрную картинку русскаго гаданья, а затѣмъ она опять романтична по-нѣмецки.

Важно было, однако, то, что рядъ изящныхъ переводовъ сообщалъ литературѣ и образованнымъ людямъ совѣтъ новое представленіе о народномъ преданіи, научалъ искать и находить въ немъ поэтическую прелесть. Если въ западныхъ литературахъ романтизмъ, извѣстными своими сторонами, поднималъ элементъ народности, то и у насъ онъ дѣлалъ тоже самое. Строфа „Свѣтланы“ предвѣщала народно-поэтическія пьесы Пушкина. Наконецъ, съ романтизмомъ начинается новое обращеніе къ собранію народной поэзіи.

Въ 1816, когда Жуковский думалъ о „Владимірѣ“, занялся для него исторіей, собирался ѣхать въ Кіевъ и Крымъ, онъ заботился и о собраніи народныхъ сказокъ и преданій. Онъ поручалъ своимъ племянницамъ Зонтагъ и Кирѣевской, жившимъ въ Бѣлевѣ, записывать для него деревенскіе рассказы, надѣясь потомъ привести этотъ матеріалъ въ порядокъ. На поэзію національную, — говорилъ онъ имъ, — никто не обращаетъ вниманія: въ сказкахъ заключаются народныя мнѣнія; суевѣрныя преданія даютъ понятіе о нравахъ и степени просвѣщенія старины. Въ связи съ романтизмомъ возникаютъ у тогдашнихъ критиковъ и теоретиковъ (кн. Вяземскій, кн. Одоевскій и др.) вопросы о „народности“, какъ цѣли или свойствѣ литературы ¹⁾. Собраніе произведеній народной поэзіи занимаетъ Пушкина какъ сильно развитый съ дѣтства личный вкусъ и какъ важная вещь для собственнаго творчества и литературныхъ интересовъ. Въ младшемъ поколѣніи, двоюродный внукъ Жуковскаго, Петръ Кирѣевскій является первымъ собирателемъ съ опредѣленной,

¹⁾ Напр. издатели „Мнемозины“ (1824—25), кн. Одоевскій и Крехельбекеръ, гордились, что заставляли другія изданія говорить о необходимости народности въ поэзіи (IV, 233). О послѣднемъ „Мнемозина“ выражалась такъ:

„При основательнѣйшихъ познаніяхъ и большемъ нежели теперь трудолюбіи нашихъ писателей, Россія по самому своему географическому положенію могла бы присвоить себѣ всѣ сокровища ума Европы и Азіи...

„Но недовольно присвоить себѣ сокровища иноплеменниковъ: да создастся для славы Россіи поэзія истинно русская... Вѣра праотцевъ, нравы отечественныя, лѣтописи, пѣсни и сказанія народныя—лучшіе, чистѣйшіе, вѣрнѣйшіе источники для нашей словесности.

„Станемъ надѣяться, что наконецъ наши писатели, изъ коихъ особенно нѣоторые молодые одарены прамымъ талантомъ, сбросятъ съ себя поносыя цѣпи нѣмецкія и захотятъ быть русскими“, и проч. (II, 42—43).

Въ послѣднемъ случаѣ авторъ статьи „особенно имѣлъ въ виду А. Пушкина, котораго три поэмы, особенно первая, подають великую надежду“.

сознательной цѣлью и вѣрными приѣмами. Ему сообщалъ и Пушкинъ свои находки.

Въ одно время съ этимъ литературнымъ развитіемъ интереса къ народности путемъ изученій историко-общественныхъ и путемъ поэзіи, параллельно съ трудами Карамзина, шла другая дѣятельная работа— въ области спеціальнаго изслѣдованія всякихъ памятниковъ старины.

Въ обыкновенныхъ понятіяхъ, археологія считается чѣмъ-то столь далекимъ отъ живыхъ изученій народа, что археологъ является синонимомъ ученаго гробокопателя, черстваго и несимпатичнаго чудака. Есть разныя причины, почему, на примѣръ, у насъ, археологія имѣетъ такую славу, и одна изъ нихъ та, что эта наука (какъ всякая другая) имѣетъ свою сложную технику, которая не легко дается и не имѣетъ ничего привлекательнаго и показнаго. Но археологія есть необходимое предисловіе и къ исторіи, и къ этнографіи. Это есть изученіе древнѣйшаго быта, слѣдовательно, подкладка для описанія временъ историческихъ и для изслѣдованія народныхъ преданій, глубокая основа которыхъ коренится въ отдаленнѣйшихъ вѣкахъ народнаго существованія: археологія изучаетъ народный и общественный бытъ до тѣхъ эпохъ, когда начинаются для нихъ ясныя историческія свѣдѣнія.

Понятно изъ этого, что въ исторіи изученій народности большая доля труда и заслуги принадлежитъ, кромѣ историковъ, и чистымъ археологамъ. Правда, на первыхъ шагахъ, при неразработанности предмета, археологія еще слишкомъ бывала занята необходимыми приготовительными изученіями, рѣдко касалась жизненныхъ процессовъ народной древности способомъ, вразумительнымъ для профановъ, и имѣла лишь очень немногихъ дѣятелей съ талантомъ; но въ общемъ ходѣ нашей исторической науки, начало нынѣшняго столѣтія ознаменовано замѣчательными трудами, которые давали залогъ дальнѣйшаго успѣха исторической и этнографической науки.

Не входя въ подробности, укажемъ лишь главнѣйшія имена людей, работавшихъ здѣсь одновременно съ Карамзинымъ.

Европейская, въ частности нѣмецкая, наука и теперь, какъ въ XVIII вѣкѣ, сослужила здѣсь полезную службу указаніемъ методовъ и ихъ приложеніемъ.

Труды Шлёцера по древней исторіи продолжали Лербергъ и ви-заптинистъ Кругъ, работы которыхъ справедливо называли классическими; дерптскій профессоръ Густавъ Эверсъ; ориенталистъ Френтъ; Аделунгъ, Кеппенъ. Извѣстный покровитель Карамзина и попечитель московскаго университета, Муравьевъ, вызвалъ въ Москву извѣстныхъ классическихъ ученыхъ и историческихъ критиковъ:

Маттеи, описавшаго греческія рукописи синодальной бібліотеки; эстетика Буле, занявшася также русской древностью; Баузе, собравшаго замѣчательную бібліотеку рукописей. Подъ ихъ руководствомъ воспитался извѣстный профессоръ Романъ Тимковскій, первый критическій издатель лѣтописи Нестора; Буле и Баузе имѣли, кажется, вліяніе и на ученое образованіе Калайдовича, о которомъ дальше упомянемъ.

По собственной исторіи, отчасти независимо отъ Карамзина, отчасти въ связи съ его книгой, работали, кромѣ названныхъ нѣмцевъ, Гавр. Успенскій (1765—1820), Арцыбашевъ (ум. 1841); тогда же начались первые труды Погодина. По археологіи вещественныхъ памятниковъ работали Кешпепъ, Кругъ, П. Бекетовъ, Аделунгъ, Ходаковскій (изслѣдователь старыхъ городищъ, составившій о нихъ оригинальную теорію), Оленинъ, Бороздинъ, Ермолаевъ. По археологіи и исторіи церковной—митрополитъ Евгеній, который послужилъ и для исторіи литературы двумя словарями—писателей духовнаго чина и свѣтскихъ. По археографіи, собиранію рукописей, описанію архивовъ, цѣнные труды совершили начальникъ московскаго Архива коллегіи иностранныхъ дѣлъ Н. Бантышъ-Каменскій, Малиновскій, протоіерей Григоровичъ, и началъ свои замѣчательные поиски Павелъ Строевъ. Но едва ли не замѣчательнѣйшимъ по таланту изъ всѣхъ этихъ дѣятелей археографіи былъ Константинъ Калайдовичъ, даровитый, многосторонній ученый съ яснымъ критическимъ взглядомъ, оказавшій наукѣ великую услугу открытіями въ старо-славянской и древней русской литературѣ.

Въ области филологіи въ ту же эпоху заявилъ себя Востоковъ—небольшимъ, но богатымъ по содержанію „Разсужденіемъ“ о древнеславянскомъ языкѣ (1820), съ котораго считается научное развитіе славянской филологіи и гдѣ положено первое прочное основаніе для опредѣленія взаимнаго отношенія славянскихъ нарѣчій.

Въ высокой степени замѣчательнымъ фактомъ тогдашней ученой исторіи является меценатство графа Н. П. Румянцова. „Это былъ истинный, искренній любитель и знатокъ русской исторіи,—говоритъ Погодинъ, еще заставшій его дѣятельность,—что касается до частныхъ, въ которыхъ онъ не уступалъ никакому ученому специалисту... Первымъ свидѣтельствомъ его любви былъ докладъ на высочайшее имя объ изданіи государственныхъ грамотъ, при московскомъ Архивѣ, первый томъ которыхъ, съ его гербомъ, вышелъ въ 1813 году¹⁾. Все древнее, старинное возбуждало любопытство графа Румянцова; онъ читалъ постоянно

¹⁾ Это было знаменитое „Собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ, хранящихся въ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ“, четыре огромныхъ фоліанта. М. 1813—1827.

все, относящееся къ русской исторіи, отыскивалъ вездѣ ея любителей, привлекалъ къ занятіямъ, искалъ случаевъ начинать историческія работы, задавалъ вопросы, указывалъ источники, снабжалъ книгами, поручалъ изслѣдованія, употреблялъ всё зависѣвшія отъ него средства для содѣйствія всякому предпріятію. Всякое открытіе принималось имъ къ сердцу; онъ повѣщалъ прочихъ своихъ сотрудниковъ, славилъ въ обществѣ, и возбуждая соревнованіе, помогалъ деньгами, ходатайствовалъ, покупалъ, печаталъ, издавалъ, и около него составилось цѣлое общество ревностныхъ, трудолюбивыхъ, талантливыхъ дѣателей, имъ найденныхъ, взысканныхъ, ободренныхъ, воспитанныхъ... Во всѣхъ архивахъ снимались копии, во всѣхъ бібліотекахъ дѣлались извлеченія, во всѣхъ древнихъ городахъ производились поиски по порученію графа Румянцова. Изданія слѣдовали одно за другимъ: „Государственныя грамоты“, въ четырехъ фоліантахъ, „Памятники XII вѣка“ съ словами Кирилла Туровскаго. „Древнія русскія стихотворенія“, изслѣдованія Лерберга, „Бѣлорусскій архивъ“, „Законы Ивана Васильевича“ и „Судебникъ“, Іоаннъ Экзархъ Болгарскій“, біографія Герберштейна, путешествіе Мейерберга, „Опытъ о новгородскихъ посадникахъ“, Описаніе Корсунскихъ воротъ“ Аделунга. Сверхъ того, на счетъ графа Румянцова напечатаны были „Kritische Vorarbeiten“ Эверса, „Словарь русскихъ писателей духовнаго чина“ митрополита Евгенія, „Жизнь Свидригайла“ Коцебу, „Изслѣдованіе о словѣ о полку Игоревѣ“ Пожарскаго.

Далѣе, Погодинъ даетъ слѣдующую картину этой историко-археологической дѣятельности:

„Главными дѣателями (работавшими подъ покровительствомъ графа Румянцова или въ связяхъ съ нимъ) были въ Москвѣ Калайдовичъ и Строевъ, подъ надзоромъ Малиновскаго; въ Петербургѣ Востоковъ, Аделунгъ, Кеппенъ, Кругъ, Френъ, Анастасевичъ; внѣ столицы митрополитъ Евгений, протоіерей Григоровичъ и проч... Главные дѣатели, въ свою очередь, имѣли своихъ помощниковъ и агентовъ; образовались торговцы-антикваріи и вмѣстѣ опытные знатоки, преимущественно въ Москвѣ, около Калайдовича... Калайдовичъ пріохотилъ и возбудилъ многихъ искателей, образовалъ знатоковъ между ними. Шуховъ пріобрѣлъ отличныя свѣдѣнія въ военномъ оружіи, Матвѣевскій въ монетахъ, Молошниковъ въ образахъ, Большаковъ въ старопечатныхъ книгахъ, Писсаревъ, Лопухинъ въ рукописяхъ. Первое мѣсто между этими второстепенными дѣателями принадлежитъ зарайскому купцу К. А. Аверину... Въ надеждѣ на хорошее вознагражденіе, нашколенные искатели пустились во всѣ стороны на ловлю всякихъ достопамятностей, а на ловца и звѣрь бѣжитъ, какъ извѣстно; они отыскивали дорогу во всякія заповѣдныя мѣста, проникли во всѣ

захолустья, и собралось въ Москвѣ множество сокровищъ историческихкихъ и археологическихкихъ, которыя, кромѣ графа Румянцова, поступали и въ другія, вновь образовавшіяся, собранія: къ гр. Ѡ. А. Толстому—рукописи и книги; къ Бекетову—монеты, медали; къ Карabanову—вещи; къ Мединцеву—панагии, кресты, монеты; къ Царскому въ Москвѣ—образа, рукописи; къ Черткову въ Петербургѣ—монеты и книги; къ Лаптеву въ Вологдѣ—рукописи“¹⁾).

Румянцовъ распространилъ свои ученые связи и порученія за границу; онъ имѣлъ тамъ своихъ корреспондентовъ, вступалъ въ сношенія съ европейскими учеными, какъ византинистъ Газе, какъ оріенталисты Сень-Мартенъ, Гаммеръ, Тихсенъ и т. д.

Такого живого интереса въ старинѣ, отъ вершинъ общества и до людей самаго скромнаго положенія, наша общественная жизнь до тѣхъ поръ не видывала,—и тѣмъ, кто нѣсколько знакомъ съ развитіемъ нашей исторической науки, извѣстно, какія важныя приобрѣтенія были для нея сдѣланы за это время. „Исторія“ Карамзина шла въ ряду этихъ фактовъ, и самъ Карамзинъ то давалъ указанія, то самъ пользовался указаніями многихъ изъ названныхъ ученыхъ; его трудъ былъ завершеніемъ этого періода. Какъ будто не случайно, Карамзинъ и Румянцовъ въ одинъ годъ кончили свое поприще.

Какъ видимъ, разрабатывалась только древняя исторія, — новая рѣдко затрогивалась въ литературѣ, а новѣйшая совсѣмъ отсутствовала. Причина была простая: новѣйшая исторія — внѣ официально заявляемыхъ фактовъ и военныхъ разсказовъ, всегда восхвалительныхъ — была бы сужденіемъ о дѣйствіяхъ правительства, хотя бы прошлаго, а такое сужденіе было невысказуемо въ обществѣ, которое еще помнило разсказы о „словѣ и дѣлѣ“, у котораго были на свѣжей памяти судьба Новикова и Радищева. Но кромѣ того, эти стремленія къ старинѣ имѣли смыслъ какъ естественный вопросъ о началахъ исторіи, которыя были еще до того темны, что, начавшись при Карамзинѣ, долго и послѣ него могла существовать такъ-называемая „скептическая школа“, отвергавшая почти всю русскую древность до XIV столѣтія: главнымъ начинателемъ этой школы былъ Каченовскій и на скептицизмъ его Погодинъ однажды удачно отвѣтилъ замѣчаніемъ, что множеству нашихъ старинныхъ князей съ ихъ

¹⁾ Погодина, „Судьбы археологій въ Россіи“, въ Журн. Мин. Народ. Просв. 1869, сентябрь, стр. 32 и слѣд., и тоже въ Трудахъ 1-го археол. съѣзда. Позднѣе такими путями и самъ Погодинъ собралъ извѣстное „Древлехранилище“, выгодно имъ проданное въ Публичную Библиотеку. Въ другомъ мѣстѣ мы подробно говорили объ этой эпохѣ нашей научной исторіи, о дѣятельности Румянцова и его сотрудничествѣ, на основаніи книги А. Кочубинскаго: „Начальные годы русскаго славяновѣдѣнія“, Одесса, 1887—1888 (ср. „Вѣсти. Евр.“, 1888, октябрь).

разными семейными связями трудно было быть выдуманскими, чѣмъ существовать на самомъ дѣлѣ. Нужно было выяснитъ начала, происхожденіе, родовой характеръ историческаго народа, а съ тѣмъ вмѣстѣ и народности.

Археологія имѣла и болѣе прямыя связи съ этнографіей. Въ концѣ прошлаго столѣтія археологи открыли единственную въ своемъ родѣ древнюю поэму „Слово о полку Игорѣ“ (1-е изданіе, 1800), которая съ тѣхъ поръ и донныѣ служитъ темой многоразличныхъ гаданій о древне-русской поэзіи. Теперь археологи розыскали другое замѣчательное произведеніе народно-поэтической старины, связанное уже и съ новыми временами преемствомъ преданія — знаменитый сборникъ былинъ и пѣсенъ Кирши Данилова, который до новѣйшихъ открытій Рыбникова и Гильфердинга и до изданія собранія Кирѣевского оставался единственнымъ, извѣстнымъ въ литературѣ, памятникомъ нашего стараго народнаго эпоса. Сборникъ Кирши изданъ былъ въ первый разъ, очень плохо, въ 1804 году ¹⁾, безъ имени издателя, которымъ былъ Якубовичъ, и напечатано здѣсь только 26 стихотвореній цѣлаго сборника. Издатель сообщил „къ публикѣ“ лишь самыя неопредѣленныя указанія о сборникѣ ²⁾. Второе болѣе полное и обстоятельное изданіе сдѣлано было Калайдовичемъ, „по приказанію“ графа Руминцова, въ 1818 году ³⁾.

Такъ какъ, за утратой рукописи, изданіе Калайдовича остается единственнымъ текстомъ этихъ произведеній, а его предисловіе первымъ изслѣдованіемъ нашего народнаго эпоса, то мы остановимся на немъ нѣсколько подробнѣе. Калайдовичъ далъ обстоятельную исторію и описаніе рукописи. Открытіе и сохраненіе сборника Данилова онъ приписываетъ П. А. Демидову, тогда уже умершему, для котораго она былъ списанъ лѣтъ за 70 передъ тѣмъ (т.-е. въ поло-

¹⁾ Древнія русскія стихотворенія. Москва, 1804. 8°. 324 стр. Изданіе посвящено Д. П. Трошинскому, который былъ тогда министромъ удѣловъ и главнымъ директоромъ почтъ; въ посвятительныхъ стихахъ (приписываемыхъ Ключареву) его просятъ „въ свободный часъ услышать сей простой гласъ славенской музѣ“.

²⁾ „Нечаянный случай доставилъ мнѣ рукопись древнихъ стихотвореній, которая, можетъ быть, дорого стоила собирателю ея. Желая принести общее удовольствіе, я издаю теперь сіи стихотворенія, съ надеждою услужить тѣмъ Русской Литературѣ, любителямъ Древностей и вообще читателямъ всякаго состоянія.—Не дѣлаю здѣсь историческихъ замѣчаній, въ которыхъ временамъ отнести должно сочиненія сіи; но ежели оныя охотно приняты будутъ, то при второмъ изданіи прибавлены быть могутъ пустыя (?) замѣчанія“.

³⁾ Древнія Россійскія Стихотворенія, собранныя Киршею Даниловичемъ, и вторично изданныя, съ прибавленіемъ 35 пѣсенъ и сказокъ доселѣ неизвѣстныхъ, и нотъ для напѣва. М. 1818. XL и 423 стр., 4°. Это изданіе, нынѣ очень рѣдкое, повторено недавно Комиссіей печатанія госуд. грамотъ и договоровъ, при моск. Главн. архивѣ мин. иностр. дѣлъ: „Др. Росс. Стихотворенія“ и проч. изд. 3-е. М. 1878.

винѣ прошлаго столѣтія); по его смерти рукопись перешла къ Н. М. Хозякову, а имъ въ 1802 г. подарена Ѡ. П. Ключареву (извѣстному московскому почтъ-директору). Этотъ послѣдній, „по разсмотрѣніи оригинала, нашелъ ихъ (памятники) довольно любопытными для просвѣщенной публики“ и поручилъ ихъ изданіе служившему подъ его начальствомъ А. Ѡ. Якубовичу, который въ 1804 г. издалъ „лучшія, по его мнѣнію, изъ этихъ стихотвореній“, намѣреваясь издать тогда и остальные во второй части; но обстоятельства помѣшали явиться полному изданію. Рукопись осталась собственностью Якубовича, а въ 1816 г. получилъ ее въ собственность графъ Руянцовъ.—Изданіе Якубовича оказалось весьма неточнымъ.

Въ обширномъ предисловіи Калайдовичъ опредѣляетъ характеръ памятниковъ. Сочинителемъ или, вѣрнѣе, собирателемъ древнихъ стихотвореній,—„ибо многія изъ нихъ принадлежатъ временамъ отдаленнымъ“,—былъ, по его мнѣнію, Кирша (или Кирилль, по мало-россійскому говору) Даниловъ, вѣроятно казакъ, „ибо онъ нерѣдко воспѣваетъ подвиги сего храбраго войска съ особеннымъ восторгомъ“. Имя этого Кирши, по увѣренію Якубовича, стояло на первомъ, потерявшемся послѣ, листѣ сборника; имя Кирилла Даниловича упоминается въ небольшой пѣснѣ сборника (№ 36).

Калайдовичъ пытается затѣмъ отыскать „мѣсто рожденія или пребыванія“ этого Кирши, и забывая, что онъ былъ скорѣе собирателемъ пѣсенъ, которыя могли происходить изъ разныхъ краевъ, старается рѣшить вопросъ по мѣстнымъ упоминаніямъ самыхъ былинъ: въ одной (о Добрынѣ) говорится—„по-нашему по-сибирскому“, въ другой (о Васильѣ Буслаевѣ)—„у насъ въ Новѣгородѣ“, въ третьей (о Чурилѣ игуменѣ)—„у насъ въ Кіевѣ“. Очевидно, что послѣднія упоминанія относятся къ тексту разсказа, а первое—къ случайному мѣстопребыванію какого-то пѣвца, можетъ быть, вовсе и не самого Кирши: Калайдовичъ относитъ ихъ къ „сочинителю“.

По языку, не древнему, по напѣву, по содержанію, Калайдовичъ не находитъ возможнымъ отнести „сочинителя“ къ тѣмъ вѣкамъ, которые онъ изображаетъ; а по пѣснямъ, гдѣ воспѣвается рожденіе Петра I и упоминаются событія его времени, Калайдовичъ думаетъ, что „собиратель“ долженъ принадлежать къ первымъ десятилѣтіямъ XVIII вѣка,—но полагаетъ, что „начало“ этихъ стихотвореній скрывается во временахъ отдаленныхъ. Именно, „повсемѣстная извѣстность нѣкоторыхъ изъ пѣсней, помѣщенныхъ Даниловымъ“¹⁾, убѣж-

¹⁾ Калайдовичъ называетъ слѣдующія: „Никитѣ Романовичу дано село Преображенское“; „Князь Романъ жену терялъ“; „Усы, удамы молодцы“; „о станишникахъ или разбойникахъ“ и др. По словамъ его, эти пѣсни „изстари поются съ большимъ или меньшимъ различіемъ“, и онъ указываетъ ихъ въ „Карманномъ Пѣсенникѣ“

даетъ автора, что не Даниловъ первый ихъ сложилъ. „Можетъ быть, онъ имѣлъ древнѣйшіе остатки народныхъ пѣсень, но, къ сожалѣнію, ихъ передѣлалъ“.

О содержаніи пѣсень Калайдовичъ говоритъ: „Народныя сказки сохранили память о великолѣпнн Владиміровыхъ пировъ и о исгучихъ богатыряхъ его, которыхъ онъ, подобно Карлу Великому, дарами и почестію привлекалъ ко двору своему. Большая часть пѣсень и сказокъ Данилова посвящены славі сего князя и подвигамъ храбрыхъ его витязей“. Указавъ по былинамъ черты этихъ пировъ князя и дружины, Калайдовичъ приводитъ о томъ извѣстное свидѣтельство Несторовой лѣтописи и собираетъ упоминанія лѣтописи и преданія о богатыряхъ, отнесенныхъ былиной къ эпохѣ Владиміра — о Добрынѣ, Алешѣ Поповичѣ, Ильѣ Муромцѣ, Ставрѣ, затѣмъ о Васькѣ Буслаевѣ и проч., приурочиваетъ къ исторіи и болѣе позднихъ героевъ, упоминаемыхъ въ сборникѣ. „Изъ сихъ примѣровъ видно, что нашъ стихотворецъ кое-что зналъ, но другимъ рассказывалъ по своему“... Далѣе, по мнѣнію Калайдовича, если Даниловъ находилъ источники для своихъ пѣсень въ исторіи, то несравненно больше матеріала дали ему „народныя сказки“, и указываетъ сходство былинъ Данилова съ упомянутыми у насъ выше сказками Чулкова ¹⁾

Относительно изложенія, Калайдовичъ указываетъ простоту стихотвореній Данилова, обиліе повтореній, анахронизмы; языкъ ихъ народный, съ частымъ повтореніемъ однихъ и тѣхъ же выраженій, иногда съ вышедшими изъ употребленія словами. „Права Данилова на красоты слога самыя ограниченныя“. „Даниловъ писалъ болѣе для людей необразованныхъ — потому у него много фарсовъ; пѣлъ не для безсмертія, а для удовольствія своихъ слишкомъ веселыхъ слушателей — посему-то онъ пренебрегалъ умѣренностью и правилами благопристойности. Мѣста въ нашемъ изданіи, означенныя точками, показываютъ, что тутъ пѣвецъ нашъ, пресыщенный дарами Бахуса и мечтами о сладострастныхъ вакханкахъ, терялъ совершенно уваженіе къ стыдливости... Онъ даже цѣлыя семь пѣсень ²⁾ пустилъ

И. И. Дмитріева (3 части, М. 1796), въ собраніи разныхъ Каиновыхъ пѣсень, приложенныхъ къ „Исторіи Ваньки-Каина“ (М. 1792), и прибавляетъ: „Я самъ слышалъ и живо впечатлѣлъ въ памяти заунывной тонъ пѣсни: Князь Романъ жену терялъ, и протяжной: о станишникахъ или разбойникахъ“. Онъ приводитъ также свидѣтельство Татищева, въ „Ист. Росс.“ М. 1768, ч. I, кн. I, стр. 50.

¹⁾ Калайдовичъ приписываетъ сказки Чулкова другому лицу — Левшину. Ср. „Роспись“ Смирдина (составленную Анастасевичемъ), Слб. 1828 („Чулковъ“) и Справочный словарь о русскихъ писателяхъ и ученыхъ, сост. Гениади и Соболю, Берлинъ, 1876—1880, т. II, стр. 417.

²⁾ Эти семь пѣсень, перечисленныхъ у Калайдовича по заглавіямъ, и не вошли въ изданіе. Кромѣ ихъ, не вошли еще двѣ: „Изъ монастыря Боголюбова Старецъ

по тому пути, на коемъ впоследствии прославился Барковъ, хорошій поэтъ, къ сожалѣнію, талантъ свой во зло употребившій“.

Наконецъ, Калайдовичъ говоритъ о размѣрѣ стихотвореній (тоническомъ), о ихъ родахъ (эпическомъ, лирическомъ, смѣшанномъ, сатирическомъ), напѣвѣ, о вѣшнемъ расположеніи изданія.

Такое содержаніе предисловія, въ которомъ находимъ первый опытъ изслѣдованія о древнемъ русскомъ эпосѣ, и тогдашнія наиболѣе совершенныя понятія объ этомъ предметѣ. Калайдовичъ, по своимъ знаніямъ въ русской древности, былъ тогда едва ли не самый компетентный, послѣ Карамзина, ученый, который могъ бы дать комментарий къ „стихотвореніямъ Кирши Данилова“¹⁾. Наибольшей его заслугой надо признать то, что онъ все-таки оцѣнилъ важность этихъ произведеній и необходимость точнаго изданія ихъ текста и приступилъ къ критикѣ ихъ содержанія, припоминая все, что относится къ нимъ въ исторіи и что было извѣстно изъ этихъ преданій въ литературѣ. Но понятія его о происхожденіи и характерѣ пѣсенъ были крайне недостаточныя. Съ одной стороны, эпическое преданіе было видимо потеряно даже для самыхъ страстныхъ, какъ Калайдовичъ, любителей старины, — несмотря на то, что онъ еще „слышалъ и живо впечатлѣлъ въ памяти“ нѣкоторые эпизоды преданія и изъ этого могъ бы понять его значеніе. Съ другой стороны, не народилась еще научная точка зрѣнія и онъ не зналъ, куда отнести „стихотворенія Данилова“.

Калайдовичъ не отдаетъ себѣ отчета въ народно-поэтическомъ творествѣ. Онъ поналя-было, что Даниловъ былъ только „собира-тель“, — но затѣмъ все-таки видитъ въ немъ „сочинителя“ (въ дѣйствительности, Данилову могла принадлежать развѣ какая-нибудь отдѣльная пѣсенка изъ этого собранія), который кое-что зналъ изъ исторіи, но только по своему передавалъ; жалѣетъ, что Даниловъ передѣлывалъ старыя пѣсни. Калайдовичъ думалъ, что богатырскія сказки были источникомъ стихотвореній Данилова, т.-е. былины, а не наоборотъ, что эти сказки были только разрушенныя былины. Въ заглавіи книги и въ предисловіи, Калайдовичъ находитъ у Кирши Данилова „сказки“, которыхъ тамъ вовсе нѣтъ — слѣд. самая былина казалась ему сказкой. Ему видимо представлялся эпическій *пѣвецъ* по псевдо-классической пѣтигѣ, но пѣвецъ простонародный, необразованный, обрацавшійся къ такимъ же слушателямъ, притомъ иногда „слишкомъ веселымъ“, — такъ что всѣ черты именно народнаго творчества, его приемы, прорухи, языкъ и т. д. онъ приписываетъ тому

Иримише, въ насмѣшливомъ тонѣ написанная, и *Голубина книга сорока пядей*, неприличная по смѣшенію духовныхъ вещей съ простонароднымъ разсказомъ“.

¹⁾ Карамзинъ не воспользовался „Др. Росс. Стихотвореніями“.

же Данилову. Собственное или внушенное цензурой понятіе о благочиніи заставило его совсѣмъ исключить изъ изданія ¹⁾ знаменитую легенду о „Голубиной книгѣ“, надъ которой послѣ такъ много ломали голову наши изслѣдователи и которая доставила имъ столько археологическаго наслажденія...

Это былъ первый шагъ въ изученіи нашей народной поэзіи... Такой же первый шагъ сдѣланъ былъ тогда въ другой области—въ изученіи славянства. Славянскій міръ съ давнихъ временъ былъ мало извѣстенъ въ Россіи, даже тѣ его части, которыя кромѣ единоплеменности связаны были съ народомъ русскимъ одною вѣрою, которыя нѣкогда доставляли Руси книжное просвѣщеніе, а послѣ искали у нея покровительства своей вѣрѣ и народности отъ турецкаго угнетенія. Изъ русскихъ государей, Петръ Великій впервые взглянулъ на славянскій міръ съ сознательными и частію утилитарными сочувствіями. Войны съ Турціей въ XVIII вѣкѣ и началъ нынѣшняго столѣтія, производившія въ южномъ славянствѣ болѣе или менѣе сильное возбуждающее дѣйствіе, цѣлое переселеніе сербовъ въ Россію при Елизаветѣ, сербское возстаніе и освобожденіе—въ самой Россіи напомнили объ южныхъ единоплеменникахъ и единовѣрцахъ, но напомнили еще слабо: въ массѣ общества и въ учено-литературномъ кругу были весьма неясныя представленія о братскихъ племенахъ южныхъ, а тѣмъ болѣе западныхъ. Третья глава въ первомъ томѣ Карамзина дала русскимъ читателямъ впервые нѣкоторое понятіе о цѣломъ славянствѣ, его современныхъ вѣтвяхъ и его древнѣйшей исторіи,—понятіе, заимствованное особливо изъ нѣмецкихъ книгъ и частію изъ Добровскаго: но представленіе о взаимныхъ отношеніяхъ славянскихъ племенъ, по состоянію тогдашнихъ знаній, было весьма недостаточно и у Карамзина, а современное положеніе южнаго и особливо западнаго славянства (кромѣ Польши) было извѣстно лишь крайне отрывочно ²⁾.

Историко-этнографическіе труды Александровой эпохи коснулись и этой темной области. Мы назвали выше „Разсужденіе“ Востокова, 1820 г., которому пришлось потомъ получить значеніе исходнаго пункта въ строго-научномъ развитіи славянскаго языковѣдѣнія. Въ

¹⁾ Впрочемъ, еслибы и не исключилъ онъ самъ, то непременно исключила бы цензура, которая и долго спустя никакъ не могла уразумѣть, что народная поэзія можетъ явиться въ ученомъ изданіи только въ своемъ подлинномъ видѣ.

²⁾ Книга Владиміра Броневскаго, „Записки морского офицера въ продолженіи кампаніи на Средиземномъ морѣ, подъ начальствомъ вице-адмирала Д. Н. Сенявина, отъ 1805 по 1810 годъ“. Слб., 1818—19, 4 части,—есть едва ли не единственная книга, гдѣ русскій человѣкъ замѣтилъ на западѣ своихъ единоплеменниковъ и отнесся къ нимъ съ интересомъ и сочувствіемъ.

то же время научный интерес къ славянству выразился другими фактами. Въ 1819 году знаменитый дѣятель сербскаго литературнаго возрожденія, Караджичъ, прїѣзжалъ въ Россію: въ Москвѣ „Общество любителей російской словесности“ выбрало его членомъ, въ Петербургѣ Россійская академія присудила ему медаль за сербскій словарь, только-что тогда изданный; графъ Румянцовъ нашелъ ему ученыя порученія; Библейское Общество поручило переводъ Новаго Завета на сербскій языкъ, переводъ, впрочемъ послѣ перепорченный другимъ сербомъ, харьковскимъ профессоромъ Стойковичемъ, которому Библейское Общество довѣрило его редакцію. Около этого времени сдѣлано было у чеховъ „открытіе“ древнихъ (или, по новымъ изслѣдованіямъ, мнимо-древнихъ) памятниковъ чешской литературы: президентъ Россійской академіи занялся ими и въ 1820 году издалъ съ русскимъ переводомъ „Краледворскую рукопись“ и „Судъ Любуши“. Въ тѣ же двадцатые годы возникало извѣстное научно-поэтическое сближеніе съ польской литературой; завязывались нити примиренія и взаимнаго интереса — у насъ съ уваженіемъ назывались имена Лелевеля, Нарушевича, Линде, отдавалась дань удивленія Мицкевичу; „Историческія пѣсни“ Нѣмцевича послужили образчикомъ для историко-патріотическихъ „думъ“ Рылѣва, Кюхельбекера; сами писатели польскіе обращались къ обще-славянскимъ вопросамъ. Польское возстаніе 1831 года сильно, если не окончательно подорвало это движеніе, но оно не осталось безъ результата для научнаго развитія и для мысли о возможности будущаго новаго сближенія. Далѣе, въ тѣхъ же двадцатыхъ годахъ переселился въ Россію карпатскій русинъ Венелинъ, который въ русской литературно-научной обстановкѣ нашелъ опору для своихъ славянскихъ стремленій и сталъ возбудителемъ болгарской народности; въ нашей литературѣ Венелинъ, по вопросу о началахъ русской исторіи, былъ ревностнымъ приверженцемъ той школы, которая, прошедши черезъ Морюшкина и Савельева-Ростиславича, продолжается въ трудахъ г. Иловайскаго и частію г. Забѣлина ¹⁾).

Это первое болѣе или менѣе самостоятельное изученіе славянскаго міра уже вскорѣ, въ тридцатыхъ и особливо въ сороковыхъ годахъ, укрѣпилось на научной почвѣ и имѣло важное значеніе для изученія русской народности. Опредѣлялся исходный пунктъ русской народности, намѣчались ея коренныя славянскія свойства. Прежнее темное представленіе о славянствѣ русскаго народа говорило въ сущности только, что русскій народъ принадлежитъ къ какому-то

¹⁾ Подробности объ этомъ движеніи въ моихъ статьяхъ по исторіи русскаго славяновѣдѣнія въ „Вѣсти. Евр.“, 1889, апрѣль—сентябрь.

большому семейству племенъ; теперь историческое изслѣдованіе опредѣляетъ черты первобытнаго племени и вышедшей изъ него народности, указываетъ степени родства нынѣ существующихъ членовъ славянской семьи. Для возникавшей научной этнографіи является возможность новаго опредѣленія древнѣйшей эпохи народности, ея внутренняго содержанія, поэзіи, обычая и преданій изъ сравненія съ другими славянскими племенами. Въ литературѣ поэтической впервые являются переводы изъ славянской народной поэзіи — изъ сербскихъ пѣсень Караджича (переводы Востокова), „Пѣсни западныхъ славянъ“, въ передачѣ Пушкина по Меримѣ, и пр.

Таково было состояніе изученій русской народности въ Александровскія времена. При всемъ бытовомъ отдаленіи литературы и образованнаго (преимущественно дворянскаго) общества отъ народной жизни, не только продолжается стремленіе къ ея изученію, но еще возрастаетъ и развѣтвляется: археологія, исторія, филологія, славянскія изученія становятся, иногда впервые, на почву науки, расширяютъ горизонтъ историко-этнографическаго наблюденія и начинаютъ привлекать на себя вниманіе общества; романтизмъ, выросшій подъ вліяніемъ западныхъ литературъ и нерѣдко рабски за ними слѣдовавшій, въ концѣ концовъ опять приходитъ къ русской народности, относится къ ней съ ~~такимъ~~ ~~ласковымъ~~ поэтическимъ чувствомъ, воспроизводитъ ее въ „изящной словесности“. Правда, воспроизведеніе было далеко несовершенное, но уже въ этомъ ~~періодѣ~~ началъ дѣйствовать Пушкинъ. Съ слѣдующею четвертью столѣтія ег~~о~~ дѣятельность развилась въ полномъ блескѣ, и настроеніе умовъ было таково, что когда было официально провозглашена извѣстная система, то рядомъ съ православіемъ и самодержавіемъ постановлено было и начало *народности*.

ГЛАВА VII.

Н. И. Надеждинъ.

Официальная народность.—Литературные взгляды Надеждина: классицизм и романтизм, исторія и романъ, состояніе русской поэзіи, ходъ русской исторіи, судьба русскаго языка, европеизмъ и народность.—Дѣятельность въ Географическомъ Обществѣ.—Работы по расколу.—Ходъ развитія.

Вторая четверть столѣтія, занятая и характеризуемая царствованіемъ импер. Николая, начинается все болѣе становиться достояніемъ правдивой исторіи, и въ литературѣ явилось уже не мало матеріаловъ, рисующихъ эту своеобразную эпоху,—когда официально заявленная „народность“ шла рядомъ съ крѣпостнымъ состояніемъ народа; когда свѣтило русской литературы, Пушкинъ, хотя поощряемый при дворѣ, былъ въ ежовыхъ рукавицахъ гр. Бенкендорфа; и всякое движеніе общественной мысли, въ которой надо бы ждать выраженія этой „народности“, было подъ строжайшимъ надзоромъ бюрократіи и подавлялось тотчасъ, какъ только въ немъ усматривалось уклоненіе отъ предписаннаго пути.

Мы говорили въ другомъ мѣстѣ ¹⁾ объ „официальной народности“ этого времени, и не повторяя сказаннаго, перейдемъ къ тому, что сдѣлано было въ эту эпоху для этнографическаго изученія народности.

Официальное заявленіе „народности“, сдѣланное ученымъ министромъ народнаго просвѣщенія, какъ будто шло рядомъ съ общественнымъ мнѣніемъ, отражая то возбужденіе національнаго принципа, какое распространялось у насъ отчасти какъ самостоятельный результатъ историческаго развитія, отчасти какъ новое явленіе, при-

¹⁾ „Характеристики литер. мнѣній отъ 1820-хъ до 1850-хъ годовъ“, изд. 2-е. Сиб. 1849, глава III.

вивавшееся подъ европейскими вліяніями ¹⁾). Этому заявленію тогда дѣлалось множество панегириковъ, какъ національному откровенію; на дѣлѣ, направленіе литературно-общественнаго интереса въ сторону народности было отъ него совершенно независимо: литература жила своей внутренней жизнью, шла своими путями,—она стремилась въ этомъ направленіи и ранѣе; явленіе величайшихъ національных писателей, Пушкина и Гоголя, совпадавшее съ заявленіемъ, было плодомъ предыдущей исторіи общества. Но при всемогуществѣ официальнаго авторитета, заявленная программа не осталась безъ своего дѣйствія на характеръ литературы и науки: именно исторіографіи и этнографіи. Это дѣйствіе было двойное: очень благотворное, когда правительственная власть, въ виду „народности“, оказывала содѣйствіе научному изслѣдованію, напр., учрежденіемъ Археографической комисіи и разрѣшеніемъ Географическаго Общества; но и менѣе благотворное, когда программа, тѣмъ или другимъ путемъ, производила извѣстное давленіе: у изслѣдователей, кромѣ интересовъ науки и безкорыстной любви къ народу, стала сказываться и видимая склонность идти въ угоду данной программѣ. Многимъ безъ сомнѣнія казалось, что программа и есть то самое, къ чему стремились ихъ собственныя мысли... но рядомъ съ этимъ „официальная народность“ породила множество общественнаго, литературнаго и научнаго лицемѣрія: изображеніе и толкованіе народности пригонялось къ условному официальному представленію, которое строилось по Державину и Карамзину, въ соединеніи съ бюрократическими и помѣщичьими взглядами, съ двусмысленной любовью къ „мужичку“ и съ такъ-называемымъ „кваснымъ“ патриотизмомъ, для котораго найденъ былъ тогда терминъ—или Полевымъ, или кн. П. А. Вяземскимъ (авторомъ „Русскаго Бога“).

Но какъ въ литературныхъ изображеніяхъ надо всѣмъ этимъ возобладала истина, внушаемая произведеніями Пушкина и Гоголя, такъ и въ изученіяхъ историко-этнографическихъ, еще въ томъ же періодѣ, взяло верхъ научное отношеніе къ предмету, къ которому присоединилось правдивое чувство народности.

Въ ряду писателей, которымъ принадлежитъ въ этомъ періодѣ заслуга основанія научной этнографіи, одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ занимаетъ Н. И. Надеждинъ (1804—1856). Не останавливаясь на подробностяхъ его ученой и литературной дѣятельности ²⁾

¹⁾ Ср. объясненія г. Алексѣя Веселовскаго въ книгѣ: „Западное вліяніе“ и пр.

²⁾ Укажемъ его извѣстную, впрочемъ недописанную, „Автобіографію“, съ дополненіями П. С. Савельева, въ Р. Вѣстн. 1856, № 9, стр. 49—78; „Воспоминанія о Н. И. Надеждинѣ“, Срезневскаго, въ „Вѣстникѣ Геогр. Общ.“, ч. XVI, 1855, V, 1—16.

воснемя ея лишь по связи съ литературнымъ и научнымъ вопросомъ о народности.

Надеждинъ былъ одинъ изъ талантливейшихъ русскихъ ученыхъ. Одаренный сильнымъ теоретическимъ умомъ и памятью, хранившей обширныя историческія, богословскія, литературныя свѣдѣнія, рано развившійся, онъ своими первыми трудами обратилъ на себя вниманіе и уже вскорѣ приобрѣлъ почетное имя въ литературѣ и на университетской кафедрѣ.

Съ первыхъ шаговъ въ журналистикѣ, Надеждину пришлось вмѣшаться въ ожесточенные споры о классицизмѣ и романтизмѣ. Последній, высшимъ представителемъ котораго считался Пушкинъ, былъ горячо защищаемъ его школой и имѣлъ на своей сторонѣ всѣ шансы побѣды. Съ вѣрой въ своего предводителя, школа Пушкина высокоумѣрно относилась къ противникамъ, которые могли выставить лишь устарѣлыя взгляды и тяжеловѣсныя произведенія. Старый „Арзамасъ“ дѣлалъ изъ этого спора простую шутку и глумленіе; Пушкинъ, самъ нѣкогда принадлежавшій къ „Арзамасу“, и его друзья относились къ „классицизму“ не иначе. Школа считала свое дѣло безповоротно побѣдившимъ, „романтизмъ“—завоевавшимъ свое положеніе, а въ немъ видѣлся ей истинный успѣхъ русской національной литературы. Надеждину, который вступалъ въ литературу съ горячими желаніями того же успѣха, повидимому, естественно было стать въ рядяхъ новой школы. На дѣлѣ, онъ явился ея рѣзкимъ, упорнымъ противникомъ. Къ сожалѣнію, ему пришлось писать сначала (1828) въ журналѣ Каченовскаго, издававшемся плохо, не имѣвшемъ авторитета, вызывавшемъ насмѣшки своими странностями; но приверженцы романтизма скоро увидѣли, что „Никодимъ Надоумко“ (псевдонимъ Надеждина)—противникъ серьезный, не подѣ статью Каченовскому, надъ которымъ они привыкли подсмѣиваться; начались злѣйшія нападенія, неумѣренность которыхъ показывала, что новый критикъ задѣвалъ за живое. Съ 1831 Надеждинъ началъ издавать свой журналъ „Телескопъ“, въ томъ же духѣ, но съ бѣльшимъ вліяніемъ. Въ концѣ концовъ, его взгляды приобрѣтали силу; враги, какъ „Телеграфъ“ Полевого, незамѣтно стали повторять его мысли. Самъ Пушкинъ помѣстилъ въ журналѣ Надеждина извѣстную остроумную полемическую пьесу, подѣ псевдонимомъ Теофилакта Косичкина.

О журнальной дѣятельности Надеждина, см. „Современникъ“, 1856, № 7 (статья о Пушкинѣ, ст. 3-я; и 1856, № 4 („Очеркъ Гоголевскаго періода русской литературы“, ст. 4-я). Мнѣнія о характерѣ Надеждина (въ петербургскій періодъ его жизни) въ литературныхъ кругахъ, см. у Панаева, Литер. Воспоминанія, Спб. 1876, стр. 149—158, и др.

Въ чемъ былъ предметъ спора? Въ своей автобіографіи Надеждинъ объясняетъ, и это вѣрно съ фактами, что въ тогдашнихъ спорахъ его поражало, что обѣ стороны чрезвычайно темно понимаютъ не только различіе классицизма и романтизма, но и истинный смыслъ и задачи поэзіи, и вообще искусства; романтики легкомысленно повторяли чужія фразы о романтизмѣ, безъ мѣры преувеличивая значеніе нововведеній и теряя смыслъ къ дѣйствительности, къ прошедшему и настоящему литературы. Надеждинъ высоко цѣнилъ гениальный талантъ Пушкина, но это не останавливало его строгихъ осужденій тому, что у самого Пушкина отзывалось ложной манерой школы. Въ новомъ спорѣ, который теперь завязался, столкнулись два различные способа пониманія: „романтики“, Полевой и др., не были теоретиками, довольствовались внушеніями личнаго вкуса, поверхностнымъ пониманіемъ западнаго романтизма; Надеждинъ, напротивъ, былъ именно теоретикъ, образовавшійся на нѣмецкой философіи, дававшій искусству основаніе въ глубокой идеѣ, умѣвшій защищать свои взгляды съ сильной логикой, съ обширнымъ запасомъ знанія. Преувеличенія и легкомысленная пустота большинства „романтиковъ“ бросались ему въ глаза; въ ихъ писаніяхъ онъ не только не видѣлъ успѣха, но находилъ прямой вредъ для литературы; поверхностныя понятія о смыслѣ искусства казались ему настоящимъ „нигилизмомъ“. Надеждинъ не вѣрилъ въ достоинство байроническихъ поэмъ и разныхъ стиховъ, гдѣ вслѣдъ за Пушкинымъ и поэтическая мелкота предавалась самодовольному эпикурейству въ мнимомъ жреческомъ служеніи искусству: Надеждинъ указывалъ ничтожество, на которое разиѣнивалось романтическое направленіе, на потерю всякаго чувства дѣйствительности и истинныхъ цѣлей поэзіи. Его статьи въ „Вѣстникѣ Европы“ 1828—29 и въ первые годы „Телескопа“ были приготовленіемъ къ тому страстному отрипанію, съ которымъ выступилъ Вѣлинскій въ „Литературныхъ Мечтаніяхъ“. Это была потребность и предчувствіе иного развитія литературныхъ силъ, болѣе широкаго захвата жизни: это дали потомъ произведенія Пушкина, въ ихъ цѣломъ, и Гоголь. „Школа“ отошла окончательно въ прошедшее.

Не будемъ повторять того, что было уже указано ¹⁾ изъ этой полемики Надеждина съ романтической школой, и приведемъ рядъ другихъ цитатъ, чтобы выяснитъ его точку зрѣнія на положеніе литературы въ связи съ цѣлымъ вопросомъ нашего національнаго развитія.

¹⁾ Въ статьяхъ „Современника“ 1855—56: „Гоголевскій періодъ русской литературы“.

Биографъ Надеждина, извѣстный ориенталистъ и археологъ Савельевъ, близко его знавшій, говоря о разбросанности трудовъ Надеждина, при всей обширности его знаній не оставившаго цѣльныхъ крупныхъ трудовъ, дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе о его характерѣ: „Въ другой средѣ и при другихъ обстоятельствахъ, Надеждинъ могъ бы ознаменовать свое поприще болѣе сосредоточенными трудами, не вынуждаемый нисходить съ высоты своей эрудиціи на тѣ ступени, которыя, въ зрѣломъ обществѣ, не нуждаются уже въ элементарныхъ пособіяхъ или предоставляются писателямъ второстепеннымъ. Но онъ былъ, прежде всего, человѣкъ своей страны и своего времени, поставляемый обстоятельствами въ разныя среды, съ которыми долженъ былъ идти въ уровень. Этому способствовали и живость его, и *гибкость* характера, которая, при всей твердости ума и мысли, умѣла приноровляться ко всѣмъ понятіямъ и всѣмъ степенямъ образованности“... ¹⁾). Если обратить вниманіе на то, что уже въ то время „Телеграфъ“ говорилъ о „приторномъ патріотизмѣ“ Надеждина ²⁾, то, хотя бы и согласиться съ Савельевымъ, что Надеждинъ „вездѣ оставался вѣренъ идеѣ самостоятельной русской науки, вносилъ ее въ каждый кругъ, гдѣ ни вращалась его дѣятельность“, и что „въ распространеніи ея и состоитъ его несомнѣнная заслуга современному обществу“, надо полагать, что современникамъ была довольно замѣтна „гибкость“ въ его изложеніяхъ русской національной идеи. И дѣйствительно, у него не разъ можно встрѣтиться съ „приторнымъ патріотизмомъ“, или съ тѣмъ способомъ выраженія, который невыгодно для Надеждина напоминалъ писателей совсѣмъ иной категоріи; но тѣмъ не менѣе, тамъ, гдѣ онъ чувствовалъ себя свободнымъ, идетъ непреклонная критика господствующаго моднаго направленія—въ пользу сознательнаго труда для литературы народной, или національной.

Въ слѣдующихъ цитатахъ мы встрѣтимся съ тѣмъ и другимъ.

Въ первой, вводной статьѣ „Телескопа“—о современномъ направленіи просвѣщенія—Надеждинъ исполненъ патріотическыхъ ожиданій: „Духъ творческаго соревнованія жизни, одушевляющій нынѣ Европу, возбѣялъ и въ нашемъ отечествѣ. Для насъ начинается эра живой *народной* словесности“ ³⁾. Правда, нашихъ проявленій этого духа еще немного въ сравненіи съ Европой: но Россіи еще предстоитъ

¹⁾ „Р. Вѣсти.“ 1856, № 9, стр. 75.

²⁾ Въ извѣстномъ разборѣ его докторской диссертациі (о романтизмѣ), повторенномъ въ „Очеркахъ русской литературы“ Полевого, Сиб. 1839. Ср. также болѣе ясные отзывы у Панаева, „Литер. Воспоминанія“.

³⁾ Доказательство тому онъ видѣлъ тогда въ басняхъ Крылова и въ „Юріѣ Милославскомъ“, Загоскина.

великое будущее. „Стоитъ только взглянуть на карту земного шара, чтобы исполниться святого благоговѣнія къ судьбамъ, ожидающимъ Россію. Неужели этотъ колоссъ воздвигнуть напрасно мудрою міродержавною десницею?.. Нѣтъ! Онъ долженъ имѣть великое всемірное назначеніе... Тучи бродятъ надъ Европою; но на чистомъ небѣ русскомъ загораются тамъ и здѣсь мирныя звѣзды, утѣшительныя вѣстницы утра. Всегда-ль должно будетъ ихъ разглядывать въ телескопъ?.. Придетъ время, когда онѣ сольются въ яркую пучину свѣта!..“ (Тел., 1831, т. I, 45—46).

Объясняется названіе журнала, которое одно уже говоритъ, какъ представлялось Надеждину положеніе русскаго просвѣщенія.

Въ первой статьѣ журнала за 1832 годъ продолжается противоположеніе нашего благополучія съ бѣдствіями Европы. „Нашъ царь былъ для насъ животворнымъ свѣтиломъ... И тогда какъ Европа, привѣтствуя утѣшительную будущность, не можетъ не чувствовать раскаянія и стыда, мы вступаемъ теперь въ новый годъ съ чистой неомрачаемой радостью“ (т. I, стр. 10). Но, какъ сейчасъ мы увидимъ, онъ высоко уважаетъ эту кающуюся Европу, и въ томъ же томѣ журнала (вѣроятно, болѣе искренно) рисуетъ, съ народно-патріотической точки зрѣнія, печальную картину жалкаго положенія русскаго просвѣщенія.

Въ „Отчетъ за 1831 годъ“ Надежинъ изумляется „необыкновенной скудости“ и бесплодію русской литературы. Она бывала, однако, богата; у нея былъ Ломоносовъ, Державинъ, и есть Жуковскій, Пушкинъ, Дмитріевъ и Крыловъ. Неужели же для нашей молодой литературы уже начинается упадокъ? (это—во время процвѣтанія романтизма). „Наше младенчество отзывается старостью и хилостью... Неужели наше просвѣщеніе отцвѣло, не разцвѣтши? Неужели намъ суждено, не живши, состарѣться?“

Авторъ не думаетъ этого; но онъ видитъ застой и приписываетъ его—могуществу чуждаго вліянія, отяготѣвшаго надъ нами съ самыхъ первыхъ минутъ нашего пробуденія, т.-е. при Петрѣ Великомъ.

Это чуждое вліяніе съ одной стороны было благодѣтельно, потому что „двинуло насъ въ составъ просвѣщеннаго міра, отъ котораго отдѣлялись мы глухою, непроходимою стѣною, и дало намъ возможность участвовать въ умственномъ капиталѣ челоуѣчества, накопленномъ совокуиными силами народовъ, въ продолженіе тысячелѣтій“. Но съ другой стороны, вліяніе было вредно ¹⁾:

¹⁾ Пусть читатель не посѣтуетъ на насъ за обиліе цитатъ изъ статей Надеждина: мы убѣдились собственнымъ опытомъ, что полный экземпляръ журнала Надеждина есть уже великая библиографическая рѣдкость. Въ Петербургѣ изъ большихъ,

„Открывшаяся передъ нами роскошь европейскаго просвѣщенія ослѣпила нашу неопытность; мы захотѣли немедленно наслаждаться ею, позабывъ, что она стоила Европѣ тмочисленныхъ трудовъ, вѣковыхъ усилій. Чтобы приобрѣсть законныя права на сіе наслажденіе, надлежало обратить богатство европейской образованности въ нашу собственность, приспособить ее къ русскому духу и возрастить, собственными силами, изъ внутреннихъ соковъ русской жизни. Это требовало трудовъ, которые показали намъ тяжелы и скучны“... (Мы просто пересадили чужія растенія, которыя, питаясь русской почвой, все-таки остаются чужими)... „Тяжело, а должно признаться, что доселѣ наша словесность была—если можно такъ выразиться—барщиной европейской; она обрабатывалась руками русскими не по-русски; истоциала свѣжіе неистощимые (?) соки юнаго русскаго духа для воспитанія произрастеній чуждыхъ, не нашихъ. Что у насъ теперь своего? Поэтическій нашъ метръ выкованъ на германской наковальнѣ; проза представляетъ вавилонское смѣшеніе всѣхъ европейскихъ идиотизмовъ, нароставшихъ поочередно слоями на дикую массу русскаго неразработаннаго слова. Какими произведеніями можемъ мы похвалиться, какъ нашими собственными? Театръ у насъ представлялъ всегда жалкую пародію французской чопорной сцены; обь эпопеяхъ и говорить нечего; лирическое одушевленіе временъ очаковскихъ выливалось въ официальныхъ формулахъ, общихъ всей Европѣ; въ балладахъ, конии смѣнилось царство одь, развертывалась нѣмецкая трескучая фантазмагорія ¹⁾; современныя поэтическія мечты, думы, грезы отзываются или, по крайней мѣрѣ, хотить отзываются байронизмомъ. Такимъ образомъ благодатный весенній возрастъ словесности, запечатлѣваемый у народовъ, развивающихся изъ самихъ себя, свободною естественностью и оригинальною самообразностью, у насъ напротивъ обреченъ былъ въ жертву рабскому подражанію и искусственной принужденности. Обыкновенно ставятъ это въ вину и въ укоръ русскому характеру, признавая его неспособнымъ къ самообразной производительности: но не будемъ слишкомъ строги къ самимъ себѣ. Не одна наша словесность терпитъ сію участь“... (и въ примѣръ приведены маленькія литературы, которыя даже старше насъ по европейскому просвѣщенію: шведская, датская, голландская).

„Само собою разумѣется, что сіи насильственные наросты не могли укореняться глубоко въ литературной нашей почвѣ и разрастаться богатою жатвою. Напротивъ, они весьма скоро выцвѣтали, блекли и опадали“... (Направленія и моды быстро мѣнялись: Ломоносовъ, Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ; новѣйшее направленіе тоже недолговѣчно: „новое броженіе, пробужденное своенравными кауризами Пушкина, метавшагося изъ угла въ уголъ (!), угрожало также всеобщей эпидеміею, которая развѣялась собственною вѣтротлѣнностью“). „Кончилось тѣмъ, чѣмъ обыкновенно оканчивается всякое круженье—утомле-

божѣ или менѣ доступныхъ библіотекъ, полный экземпляръ есть только въ Публичной Библіотекѣ; въ другихъ—не имѣется.

Отсутствие изданія сочиненій Надеждина свидѣтельствуетъ лишній разъ о томъ, какъ слабо у насъ пониманіе образовательныхъ интересовъ общества, и—вина тѣхъ, въ чьихъ рукахъ была возможность такого изданія. Сочиненія Надеждина могли бы имѣть много полезнаго дѣйствія въ свое время; теперь, онѣ уже становятся только историко-литературнымъ матеріаломъ.

¹⁾ Въ томъ же году, по поводу повѣстей Рудаго Панька, т.-е. Гоголя, Надеждинъ указывалъ—„до какой высокой степени можетъ быть поэтизирована славянская народная фантазмагорія“ (1832, V, стр. 107).

ніемъ, охладѣніемъ, усыпленіемъ! Пустота, естественное слѣдствіе безразсуднаго расточенія силъ, обнаружила сама себя повсюду“. (Война между классицизмомъ и романтизмомъ заставила самоувѣренность признаться въ своей внутренней ничтожности).

(Упадокъ—явный; но наконецъ долженъ произойти поворотъ). „Въ русской словесности близокъ долженъ быть поворотъ искусственнаго рабства и принужденія, въ коемъ она доселѣ не могла дышать свободно, къ естественности, къ народности. Направленіе сіе ощутительно отчасти и въ высшихъ слояхъ нашего литературнаго міра. Романы Загоскина, въ коихъ русская народность выработана до идеальнаго изящества,... между собственно-поэтическими произведеніями, „Борисъ Годуновъ“ (Пушкина) и „Марѳа Посадница“ (изданная Погодинымъ) отличаются глубокою народностью... Но блистательнѣйшимъ разсвѣтомъ русской народности поэзіи порадовала насъ прекрасная сказка Жуковскаго ¹⁾, явившаяся на рубежѣ истекшаго года“... ²⁾.

Въ приведенной цитатѣ выраженія о русскомъ духѣ оставались неопредѣленны:—какъ *приспособить* европейскую образованность къ этому духу, какъ *возрастить* ее изъ внутреннихъ его соковъ?—но рѣзко обозначено подавляющее вліяніе этой образованности, и требованіе самостоятельнаго труда, *естественности* и *народности*. Въ тогдашнемъ запасѣ литературы было еще мало произведеній, которыя подходили бы къ этому требованію, и Надеждинъ, рядомъ съ „Борисомъ Годуновымъ“, радуется сочиненіямъ Загоскина, Погодипа, сказкѣ Жуковскаго, баснямъ Крылова: но онъ съ вѣрнымъ чутьемъ угадывалъ близость поворота къ желанной полной „самообразной производительности“. Поворотъ наступалъ уже въ ту минуту: появились первыя произведенія Гоголя. Надеждинъ съ перваго раза восхищался его рассказами, а когда въ два-три года явились еще новыя произведенія Гоголя, то въ томъ же журналѣ ученикъ Надеждина, Бѣлинскій, съ восторгомъ привѣтствовалъ въ нихъ новый наступающій періодъ русской литературы. Вопросъ о „классицизмѣ“ и „романтизмѣ“ провалился сквозь землю.

Но пока онъ еще былъ въ наличности. Надеждинъ возвращается къ нему еще нѣсколько разъ, и въ томъ же году о немъ напоминали новыя стихотворенія Пушкина ³⁾. Отношеніе Надеждина къ Пушкину выше указано: въ той самой статьѣ, о которой мы здѣсь гово-

¹⁾ Это была „Сказка о спящей царевнѣ“, напечатанная въ „Европейцѣ“, И. В. Кирѣевскаго.

²⁾ „Отчетъ за 1831 годъ“, Телескопъ 1832, I, стр. 147—159. Въ той же книжкѣ, стр. 167 и слѣд., помѣщена университетская рѣчь М. А. Максимовича—о русскомъ просвѣщеніи, развивающая ту же основную мысль: европейское просвѣщеніе стало нашею потребностью; но стремленіе это, дошедши до крайности, должно было разрѣшиться „отчетнымъ сознаніемъ, которое столь прилично европейской просвѣщенности“, и ознаменоваться обращеніемъ къ своему, народному.

³⁾ „Телескопъ“, 1832, III, стр. 103 и слѣд.

римъ, Надеждинъ признаетъ, что талантъ Пушкина доходитъ иногда до „исполинскаго величія“,—но именно поэтому онъ не прощаетъ Пушкину его байроническихъ прихотей, его уступокъ легкимъ взглядамъ на поэтическую дѣятельность и, кажется, старается увѣрить его въ пустотѣ похвалъ, расточаемыхъ легкомысленными пріятелями, и вызвать на трудъ, отвѣчающій величію его таланта. Новая пѣсня „Онѣгина“, тогда вышедшая, еще разъ убѣждаетъ Надеждина, что „поэтъ не имѣлъ при немъ ни цѣли, ни плана, а дѣйствовалъ по свободному внушенію играющей фантазіи“. Привода стихи „Онѣгина“:

„Кто бъ ни былъ ты, о мой читатель,
Другъ, недругъ“, и проч. (пѣсня VIII).

Надеждинъ замѣчаетъ: „Явно, что Пушкинъ съ благороднымъ самоотверженіемъ созналъ наконецъ тщету и ничтожность *поэтическаго суслолія*, коимъ, увлекая другихъ, не могъ, конечно, и самъ не увлекаться. Его созрѣвшій умъ проникъ глубже и постигъ вѣрнѣе тайну поэзіи: онъ увидѣлъ, что для генія—повторимъ давно сказанную острогу—не довольно создать Евгенія“... Теперь Пушкинъ обратился къ русской народной старинѣ, въ „волшебной мглѣ“ которой разыгрались первыя мечты его поэтической юности; но Надеждинъ (восхищавшійся сказкой Жуковского) „недоволенъ сказками Пушкина. Онъ видитъ въ нихъ—„одно принужденное усиліе, *tour de force* могущественнаго, но безжизненнаго искусства“; онъ соглашается, что эта новая попытка Пушкина обнаруживаетъ тѣснѣйшее знакомство съ *наружными формами* старинной народности; но „смысль и духъ ея остается все еще тайною, не разгаданною поэтомъ“.

Надеждинъ заключаетъ выводомъ, что „нашей поэзіи не дождаться обновленія, пока русскій духъ не обратится внутрь себя, не отыщетъ въ самомъ себѣ источника новой самобытной жизни... Но какъ приняться, какъ начать это великое дѣло?.. Европейскія литературы возвращаютъ теперь свою народность, обращаясь къ своей старинѣ. У насъ это возможно ли? Таково-ли наше прошедшее, чтобы восстановленіемъ его можно было осѣменить нашу будущность?“ Къ этому существенному вопросу Надеждинъ намѣревался обратиться впоследствии по поводу „тѣхъ произведеній нашей словесности, кои, подъ именемъ романовъ, стремятся собственно и исключительно къ поэтическому воссозданію старины русской“ ¹⁾.

Вопросъ о русскомъ духѣ былъ и тогда не новый, но весьма неопредѣленный: какъ этому духу отыскать въ самомъ себѣ источникъ новой жизни? Давно уже говорили, что надо обратиться къ народ-

¹⁾ Тамъ же, стр. 128.

нымъ преданіямъ, поэзіи; теперь призываютъ насъ вернуться „назадъ, домой“... Надеждинъ думалъ иначе. Какъ ни возставалъ онъ противъ подчиненности Европѣ, „обращеніе духа внутрь себя“ вовсе не обозначало для него возвращенія къ отжитой старинѣ.

По поводу историческихъ романовъ Полевого, Свинына, Масальскаго, Лажечникова, Надеждинъ возвратился къ поставленному раньше вопросу: даетъ ли русская старина поэтической матеріалъ для обновленія народнаго духа въ литературѣ, какъ онъ это видѣлъ въ литературѣ европейской ¹⁾).

По взгляду Надеждина, „романъ“ есть именно романъ историческій, потому что для картины романа нужно законченное, опредѣленное состояніе общества. Онъ естественъ и богатъ именно тамъ, гдѣ была богатая событіями и мыслью *исторія*. Такъ богата, напри- мѣръ, исторія французская, даже самая новѣйшая. „При быстротѣ перемѣнъ событія, которыя намъ кажутся современными, во Франціи имѣютъ полное право поступать въ вѣдомство исторіи и романа. Министерство Виллеля наравнѣ съ министерствомъ Ришелье записывается въ скрижали исторіи и представляется въ романической космограмѣ: баррикады іюльскія идутъ объ руку съ баррикадами Лиги“ ²⁾)... Обращаясь къ вопросу о возможности русскаго историческаго романа, Надеждинъ набрасываетъ оригинальный взглядъ на русскую исторію.

„Теперь естественно представляется вопросъ, до котораго мы доходили и прежде,—начинаетъ Надеждинъ:—есть ли у насъ матерія для романа, имѣемъ ли мы *прошедшее*? Съ перваго взгляда такой вопросъ можетъ заставить многихъ улыбнуться; но мы просимъ терпѣливо насъ выслушать. Конечно, по лѣтописцамъ и хронографамъ, народу русскому считается около десяти вѣковъ непрерывнаго быта. Восемь столѣтій уже исповѣдуемъ мы христіанскую вѣру; и почти за шесть вѣковъ можемъ представить письменные документы нашего существованія. Но чтѣ это было за существованіе? жилъ ли подлинно народъ русскій въ это длинное тысячелѣтіе? Оставяя времена „великановъ сумрака“, Рюрика и Олега, коихъ самое бытіе оказывается историческою проблемою ³⁾, взглянемъ на такъ называемый періодъ удѣльной системы, коимъ поглощается первая половина тысячелѣтнаго цикла нашихъ воспоминаній. Чтѣ представляютъ намъ въ эти пять вѣковъ отечественныя преданія? Дремучій гдѣсь безличныхъ именъ, толкущихся въ пустотѣ безжизненнаго хаоса. Напрасно живописное краснорѣчіе Карамзина усиливалось оцѣнить сію мрачную пустоту риторическою прелестью разсказа: его исторія удѣльной Руси не могла возвыситься до степени живой исторической картины и, при всемъ наружномъ великолѣпіи своего убранства, остались сухою, мертвою хроникою. Нельзя по-

¹⁾ См. „Телескопъ“, 1832, IV, стр. 233—246.

²⁾ Последнее представляли тогда романы Балзака.

³⁾ Это думалъ Надеждинъ, имѣя въ виду дѣйствовавшую тогда „скептическую школу“—Каченовскаго и его послѣдователей.

ставить это въ вину искусству историографа: ему не съ чего было списывать! Нельзя жаловаться и на скудость лѣтописей: имъ нечего было записывать! Нашъ удѣльный періодъ былъ періодомъ хаотическаго броженія разнородныхъ частицъ, изъ которыхъ должна была выработаться жизнь народа русскаго.. Тѣ ошибаются, кои считаютъ междусобія, наполняющія сей періодъ, признаками напряженія жизни и потому сравниваютъ состояніе Руси удѣльной съ драматическимъ волненіемъ древнихъ греческихъ или среднихъ итальянскихъ республикъ, такъ поэтически изображенныхъ кистью Фукидда и Сисмонди. Нашего удѣльнаго періода нельзя даже сравнивать съ меровеискимъ періодомъ французской исторіи, заглаженнымъ въ исторіи чертой *тунелдства* ¹⁾. Сей послѣдній не былъ и не могъ быть чуждъ жизни: ибо во время его не приготовлялось новое твореніе народа, прежде не существовавшего, а совершалось пересозданіе римской обветшавшей гражданственности, чрезъ водвореніе на развалинахъ ея новыхъ пришельцевъ... (Слѣдуютъ историческія объясненія объ эпохѣ меровинговъ). „Посему возможность романической переработки древней французской исторіи для насъ очень понятна..

„Но у насъ какая рѣшительная противоположность, какое безконечное различіе! Наша національная жизнь, наша исторія развивается совсѣмъ иначе, при другихъ условіяхъ, по другимъ законамъ! Русскій народъ отличается отъ всѣхъ новыхъ европейскихъ народовъ тѣмъ, что сотворилъ самъ себя, изъ себя самого, не чрезъ возсозданіе обветшалыхъ элементовъ приобщеніемъ новыхъ, а самобытно и самовидительно... Въ многосложной массѣ настоящаго европейскаго населенія, это слой чисто первородный! Въ продолженіе первыхъ шести вѣковъ, составляющихъ нашу исторію до Іоанна III, слой сей только-что кристаллизовался, если можно такъ сказать, физически, наполняя собой обширное пространство европейскаго востока, отведеннаго ему въ удѣль... Въ сей чисто инстинктуальной, механической потребности расширенія, составляющей, по общимъ законамъ бытія, первое условіе всякаго органическаго образованія, заключается причина разъединенія древней Руси“ (т.-е. въ удѣльной системѣ)... „Сіе непреодолимое стремленіе къ расширенію должно бы было кончиться совершеннымъ разрушеніемъ народнои цѣлости.. Но, по мудрымъ уставамъ Промисла, народу русскому не суждено было погибнуть! Въ то время какъ Русь была готова совершенно распасться и потерять навсегда самобытную свою цѣлость, иго татарское отяготѣло надъ нею. Сіе иго, подавивъ собою землю русскую, сократило ея необузданную расширяемость. И когда, послѣ первыхъ минутъ опѣянія, въ поработленномъ, но несокрушенномъ народѣ, пробудилось снова самочувствіе, то его дѣятельность, по естественной реакціи, приняла обратное направленіе, устремила въ себя, начала тяготѣть къ средоточію. Развитие сего новаго, центростремительнаго направленія занимаетъ собою послѣднюю половину удѣльнаго періода нашей исторіи. Въ продолженіе ея, великокняжескій титулъ, какъ видимый символъ средоточнаго національнаго единства, долго носился по всѣмъ концамъ земли русской, не находя твердой точки, гдѣ бы могъ неизблемо укорениться. Перехода изъ Владимира то въ Тверь, то въ Нижній Новгородъ, заходя даже въ Рязань и Смоленскъ, онъ удержался, наконецъ, въ Москвѣ, гдѣ превратился въ краеугольный камень единоподержавія, коимъ началась истинная органическая жизнь народа русскаго. Вотъ, по нашему мнѣнію, подлинное значеніе такъ-называемаго удѣльнаго періода нашей исторіи! Это былъ,—повторяемъ снова,—періодъ фи-

¹⁾ Здѣсь разумѣются такъ-называемые *rois-fainéants*.

зического образованія массы, изъ которой долженъ былъ выработаться народъ русский! Живни въ собственномъ смыслѣ тогда не было и не могло быть: ибо живни требуетъ могущественнаго начала духа, коимъ бы прониклась и двигалась тяжелая вещественная масса. Но въ то время что могло быть симъ животворнымъ началомъ? Единство политическаго состава? Оно не существовало! Единство общихъ идей? Ихъ не было! Русскіе, во время удѣловъ, не имѣли ни общихъ идей объ отечествѣ; ибо каждый считалъ свою родину своей отчизной; кievлянинъ ненавидѣлъ сѣверянина, рязанецъ владимірца; ни общихъ идей о правѣ, ибо всякій князь судилъ и рядилъ по своему ¹⁾; ни даже наконецъ общаго слова; ибо языкъ, раздробленный на многочисленныя нарѣчія по всей обширности древней русской земли, нигдѣ не достигъ литературнаго образованія, которое одно возводитъ его на степень всеобщей національной рѣчи. Отсюда — рѣшительное отсутствіе не только драматическаго движенія, но даже пластической изобразительности въ воспоминаніяхъ нашей древней исторіи. При совершенномъ бездѣйствіи пружинъ, коими возбуждается народная дѣятельность, у насъ не могло выражаться тогда ни одного глубокаго характера, ни одной рѣзкой фисіономіи... Все различіе фисіономій, сохраненныхъ намъ лѣтописцами, заключается въ болѣе или менѣе рѣзкихъ отгѣнкахъ набожности... Коротко сказать: нашъ древній удѣльный періодъ получаетъ нѣкоторую живни только въ сказаніяхъ Патерика и Четвѣи-Миней. Для исторіи онъ мертвъ: тѣмъ болѣе для романа! И еслибъ кто вздумалъ освѣтить лучами фантазіи таинственную мглу его, то онъ могъ бы создать развѣ поэтическую легенду, изъ христіанскихъ благочестивыхъ преданій!..

„Такимъ образомъ изъ тысячелѣтнаго цикла нашей исторіи, шесть вѣковъ не принадлежатъ собственно біографіи народа русскаго... Съ Іоанна III должно считать собственно живни русскаго народа. Но и здѣсь цѣлые два вѣка протекли еще въ младенческихъ нестройныхъ движеніяхъ организующаго государства... Въ продолженіе ихъ, Россія съ неизмовѣрною скоростью протекла всѣ періоды органическаго государственнаго развитія, для совершенія коихъ европейскому западу потребно было цѣлое тысячелѣтіе. Отсюда сіи два столѣтія представляютъ удивительную фантазмагорію быстрыхъ, внезапныхъ переворотовъ, кои тѣснятъ и обгоняютъ другъ друга. Царствованіе Іоанна IV, распадающееся на двѣ, столь противоположны другъ другу, половины, представляетъ въ себѣ любопытное совмѣщеніе, съ одной стороны прекрасной рыцарской эпохи, когда Казань и Астрахань, Ливонія и Сибирь, оглашались славными подвигами героевъ русскихъ, съ другой, — мрачнаго періода тиранніи, гдѣ могущественная пята царя московскаго раздавила на самомъ цвѣту повдній всходъ русскаго феодализма. Наши народныя войны съ поляками, во времена Самозванцевъ, имѣли весь энтузіазмъ и всю святость крестовыхъ походовъ. Установленіе патріаршества усилило іерархическій элементъ въ новой организаціи государства русскаго, который, въ лицѣ Никона, возвысился до отчаянной Гильдебрандской борьбы съ самодержавіемъ и, вмѣстѣ съ Никонъ, пожралъ самъ себя. Наконецъ нашъ Петръ воплотилъ въ себѣ реформацію!.. Всѣ сіи великіе перевороты, столпившіеся въ тѣсномъ промежуткѣ двухъ столѣтій, натурально не оставляли времени юному исполнну русскому поддерживать на одной постоянной точкѣ, выработать себѣ опредѣленную фисіономію и проявиться въ цѣломъ мірѣ оригинальныхъ характеровъ и дѣй-

¹⁾ „Русскую Правду“ Надеждинъ считалъ „мѣстнымъ обрядникомъ, перенатымъ у жуземенцевъ“.

ствій. Въ сія два столѣтія, лицо его, подобно лицу младенца, мѣнялось безпрестанно, ни одна черта не могла нарѣзаться на немъ глубоко, ни одной характеристической примѣты не могло удержаться долго. Всѣ движенія его были мгновенныя, летучія: вся жизнь — порывъ, испущеніе!.. Посему и эти два вѣка представляютъ не роскошную жатву для русскаго историческаго романа. Въ нихъ много эпическаго величія и лирическаго одушевленія, но мало драматической полноты жизни! Это ничѣмъ столько не подтверждается, какъ примѣромъ *Юрія Милославскаго*, коего истинное достоинство состоитъ въ лирическомъ оживленіи самаго торжественнаго момента сей блистательной эпопеи! Да и не здѣсь ли должно искать изъясненія драматической неполноты *Бориса Годунова*!..

„Итакъ, гдѣ же начинается полная русская исторія?.. Не дальше Петра Великаго! Слѣдовательно, все наше прошедшее ограничивается однимъ вѣкомъ! Мы живемъ пока въ первой главѣ нашей исторіи! И эта первая глава такъ свѣжа, такъ нова!.. Исторія еще не давала себѣ права до нея касаться“..

Такимъ образомъ, призывъ „народнаго духа“ вовсе не обозначалъ грубаго возвращенія къ XVII вѣку, которое проповѣдовалось потомъ славянофилами и обскурантами. По взгляду Надеждина, фізіономія русской народности въ тѣ вѣка еще не установилась: она мѣнялась безпрестанно, подобно лицу младенца, и это справедливо, — потому что дѣйствительно все еще шло воспріятіе новыхъ этнологическихъ элементовъ, новыхъ историческихъ условій и опытовъ, новыхъ знаній и образованности. *Полная* русская исторія начинается только съ Петра Великаго, — т. е. съ утвержденія Россіи, какъ государства европейскаго, съ первыхъ прочныхъ начатковъ общечеловѣческаго просвѣщенія: это опять было справедливо — потому что только разумно управляемое государство даетъ возможность развитія народныхъ силъ, и только просвѣщеніе даетъ „народному духу“ средство къ самосознанію.

Въ „Обозрѣніи русской словесности за 1834 годъ“ ¹⁾, Надеждинъ опять возвращается къ темѣ о „запустѣніи“, о „старческомъ изнуреніи“, постигшемъ нашу литературу „въ такой ранней молодости“, и причину опять указываетъ въ ея несчастной подражательности.

„Крайность литературнаго изнеможенія, въ коемъ мы годъ отъ году погружаемъ глубже ²⁾, естественно должна была открыть глаза многимъ и внушить, если не ясную, опредѣленную мысль, по крайней мѣрѣ глубокую, настоятельную потребность возстановленія, перерожденія. Отсюда возрастающей съ нѣкотораго времени стыдъ прежняго, слѣбнаго пристрастія къ чужому; отсюда — суетливость о своемъ, отечественномъ, русскомъ, всюду обнаруживающаяся, въ различныхъ видахъ! Можетъ быть, у иныхъ, это слѣдствіе того же

¹⁾ „Телескопъ“, 1835, I, стр. 5—16.

²⁾ „Даже безконечная жизнь *Евгенія Онтюина*, — замѣчаетъ онъ передъ тѣмъ, — прекратилась; даже неистощимая фамилія Выжигинныхъ перестала давать новія отродья“.

обезьянства: тѣмъ лучше, что зло само для себя служить антидотомъ, что кливъ выбивается клиномъ! Но отъ чего жъ это спасительное противудіе распространяется такъ медленно, дѣйствуетъ такъ слабо?..

„Литература есть пульсъ внутренней жизни народа. Но внутренняя жизнь слагается изъ двухъ составныхъ началъ: умственнаго начала мысли и дѣятельнаго начала эвергіи. Гдѣ сіи начала не достигли степени должнаго развитія, тамъ жизнь еще дремлетъ, литература нѣмнотствуетъ!“..

Мысль есть необходимая принадлежность человѣческой природы; но есть примѣры цѣлыхъ народовъ, какъ будто обиженныхъ въ этомъ отношеніи. Въ древности, віотійцы прославились тупоуміемъ; теперь, Китай и Японія казались Надеждину осужденными на младенческое слабоуміе. „Была пора,—замѣчаетъ Надеждинъ,—и даже весьма недавно, когда насъ, русскихъ, разумѣли не лучше“, а теперь, хотя не сомнѣваются въ нашемъ умѣ, но еще мало увѣрены, способны ли мы къ самобытному творчеству. Дѣйствительно, у насъ мыслители рѣдки, и мыслятъ они лѣнливо и застѣнчиво. „Ни по какой отрасли наукъ мы не можемъ представить *собственно нами* добытой *собственно намъ* принадлежащей лепты, которая-бъ, съ рускимъ штемпелемъ, была пущена во всемірный оборотъ, присовокуплена къ общему капиталу современнаго просвѣщенія“.

Отчего это?—на этотъ вопросъ Надеждинъ даетъ весьма опредѣленный отвѣтъ, который ясно указываетъ его взглядъ на потребности „народнаго духа“ и который, хотя высказанъ болѣе полувѣка назадъ, при всѣхъ успѣхахъ русской науки остается и теперь совершенно вѣрнѣе для массы русскаго общества.

„Въ русской головѣ,—говоритъ онъ,—достанетъ мозгу на многое, но къ сожаднію, это богатое вещество не обрабатывается надлежащимъ образомъ... Мы учимся очень худо—такъ худо, что должны стыдиться самихъ себя“. (Благодаря заботамъ правительства, средства къ образованію у насъ постоянно умножаются)—„но какъ отвѣтствуемъ мы на сіи предупредительныя, призывныя мѣры? Не вынуждаемъ ли мы нашимъ непростительнымъ хладнокровіемъ, для того чтобы заманить насъ въ классы, привѣшивать къ дверямъ классныя чины; для того, чтобы усадить насъ за книги, обертывать ихъ въ табель о рангахъ! Какъ ни тяжело, а должно сознаться, что искренняя, безкорыстная любовь къ ученію есть пока у насъ явленіе весьма рѣдкое, а безъ сея любви никакая наука не дается, развѣ на провать, для выставки. Спрашивается: какое вліяніе должна имѣть подобная *закосность умственнаго образованія* на литературу? У насъ доселѣ существуетъ ложное предубѣжденіе, будто между ученостью и литературою нѣтъ никакого соотношенія, кромѣ развѣ непріязненнаго. Предполагаютъ, что литературѣ подъ вліяніемъ учености тяжело, трудно, удушливо. Но не такъ думаютъ въ другихъ странахъ Европы, гдѣ по большей части одно и то же слово означаетъ и литературное, и ученое; гдѣ школы считаются необходимыми преддверіемъ жизни; гдѣ словесность есть не что иное какъ шнуровая книга современнаго капитала идей и знаній... Безъ сомнѣнія, и у насъ не прежде должно ожидать литературы живой, самобытной, какъ въ то время, когда мысли нашей дастся *свѣжей, укрупляющей воз-*

душа, когда умъ, изощренный упражненіемъ, обогащенный наукою, вырабатываетъ и пуститъ въ ходъ достаточное количество идей свѣтлыхъ, животворныхъ. Безъ понятія, слово—пустой звукъ; безъ идей, литература — мѣдъ звенящая!“

Нужно сосредоточенное напряженіе всѣхъ нашихъ силъ могуществомъ твердой воли: безъ того невозможно ни одинъ шагъ впередъ ни въ знаніяхъ, ни собственно въ литературѣ...

Въ томъ же смыслѣ написана характерная статья о русской поэзіи ¹⁾, гдѣ бѣдность этой поэзіи объясняется недостаткомъ серьезной и сильной общественной жизни, и этотъ недостатокъ изображается рѣзкими полемическими чертами...

„Поэзія,—говоритъ Надеждинъ,—существуетъ не въ одномъ словѣ, не въ однихъ книгахъ. Слово есть выраженіе, органъ, тѣло поэзіи; но душа ея заключается въ душѣ. Основаніемъ поэзіи слова должна быть поэзія мыслей поэзіи дѣйствій, поэзія чувствованій... *Гдѣ же у насъ поэзія?* Я не нахожу ея въ нашемъ народномъ мышленіи, ибо у насъ еще нѣтъ своего русскаго, самобытнаго и самообразнаго мышленія. Много ли у насъ мыслящихъ даже чужимъ, выноснымъ умомъ? Не ограничивалась ли доселѣ вся мысленная наша дѣятельность жаднымъ подбираниемъ крохъ съ богатой трапезы европейскаго просвѣщенія? И эти крохи обращаются ли въ сокъ и кровь нашего умственнаго организма?... Всякая умственная дѣятельность начинается съ самопознанія; но сознали ль мы себя какъ русскихъ, объяснили ль настоящее наше положеніе въ системѣ рода человѣческаго; опредѣлили ль должныя отношенія къ окружающей насъ природѣ, къ развивающейся вокругъ насъ жизни? Мы еще не знаемъ самихъ себя... Мы не думаемъ о себѣ; о чемъ же можемъ думать? Отъ того-то всѣ наши умственные труды представляютъ такой смутный, безобразный хаосъ; отъ того-то мысли наши толкутся впадъ и впередъ, мнутъ и сбиваютъ другъ друга, словно въ вавилонскомъ столпотвореніи. Тамъ азіатскій фатализмъ съ французскимъ легкомысліемъ, здѣсь нѣмецкая мечтательность съ англійскимъ сплинномъ! Какъ же тутъ искать, гдѣ тутъ быть поэзіи?.. Ея нѣтъ и въ нашихъ дѣйствіяхъ, въ нашихъ житейскихъ отношеніяхъ, въ нашихъ общественныхъ нравахъ. Ибо, что наша жизнь, что наша общественность? Либо глубокій, неподвижный сонъ, либо жалкая игра китайскихъ, бездушныхъ тѣней. Поэзія нравовъ состоитъ въ ихъ живомъ, искреннемъ, самообразномъ развитіи: она невозможна безъ сильныхъ, глубокихъ страстей, вызванныхъ со двѣ души, не внѣшнимъ давленіемъ расчетовъ, но избыткомъ внутренней полноты... А у насъ будто есть страсти?... По именамъ, они всѣ есть у насъ: но это не страсти, а страстишки, мелкія, ничтожныя, презрѣнныя. Не стану распространяться о томъ, что слишкомъ извѣстно: не буду описывать подробно всей сухости, всей пустоты, всей мертвой безвѣстности нашихъ нравовъ; скажу одно, въ чемъ заключается все. Лучшій цвѣтъ общественной жизни, ея высочайшая поэзія выражается въ женщинѣ, прекраснѣйшемъ созданіи, коимъ увѣнчался прекрасный міръ божій! Но что у насъ женщина? Признаюсь, я не могъ доселѣ составить себѣ идеала женщины русской: я не знаю элементовъ, изъ которыхъ бы онъ могъ быть составленъ. Я и не ищу въ на-

¹⁾ „Письма въ Кіевъ, къ М. А. М—чу (Максимовичу), о русской литературѣ. Письмо первое: Куда глѣвалась наша поэзія“, въ „Телескопѣ“ 1885, т. I, стр. 149—158.

шемъ обществѣ женщины Бальзака, этой дивной поэмы, для созданія коей потребно было двѣнадцать вѣковъ непрерывно возрастающей цивилизаціи.. Можно бы было удовольствоваться малѣйшимъ біеніемъ жизни, малѣйшею искоркою огня; но жизни своей, не взятой на прокатъ изъ магазина; но огня настоящаго, не поддѣльнаго, не выписного, не сшитаго изъ тряпья, раскрашеннаго красною краскою, какъ огонь театральнѣйшій!.. Да, у насъ нѣтъ женщины, нѣтъ, стало и любви, перваго, необходимаго условія поэзіи жизни.. Наши нравы или суздальской иконной работы, или китайской шпалерной живописи, только въ шляхахъ Гербо, съ прическою г. Нарцисса! Въ нихъ нѣтъ души, нѣтъ жизненнаго румянца, нѣтъ произвольнаго движенія. Гдѣ-жъ тутъ быть поэзіи?..—Итакъ, если мы хотимъ исхать, если мы надѣемся сыскать у себя поэзію, надо ограничиться словомъ, прибѣгнуть къ книжному міру, вслушаться въ паденіе стопъ, въ созвучіе рیمъ, нѣтъ ли тамъ поэзіи“..

Остановимся, наконецъ, на статьѣ послѣдняго года „Телескопа“, гдѣ въ послѣдній разъ высказываются эти общіе взгляды Надеждина.

Статья называется: „Европеизмъ и народность въ отношеніи къ русской словесности“¹⁾.

„Странный вопросъ, странный споръ занимаетъ теперь нашу критику,—начинаетъ Надеждинъ,—или, лучше, составляетъ единственный признакъ (не хочу сказать — признакъ) литературнаго самосознанія въ нашемъ отечествѣ. При всей очевидности быстро, непрерывнаго возрастанія нашей литературной производительности — когда итоги книжнаго бюджета годъ отъ году увеличиваются въ каталогахъ и отчетахъ... у насъ существуетъ сомнѣніе, идетъ споръ: есть ли въ нашемъ отечествѣ литература!“—(Надеждинъ разумѣетъ, конечно, споръ, возбужденный первыми статьями Бѣлинскаго). По-видимому, не стоило бы обращать вниманіе на такой дикій парадоксъ; но на дѣлѣ, не смотря на темную безвѣстность людей, вступающихъ противъ русской словесности, на ихъ плебейскую безыменность въ литературной іерархіи, ихъ выходки „потревожили заслуженныхъ, именитыхъ ветерановъ книжнаго дѣла, возмутили ихъ сладкій покой на благопріобрѣтенныхъ лаврахъ, взволновали патриотическую желчь, оскорбили народную гордость“. Но понятно, откуда идетъ озлобленіе этихъ ветерановъ, отчего они „хватываются за ржавый мечъ тяжелыхъ остротъ и пошлыхъ ругательствъ“: дѣло въ томъ, что сомнѣнія безыменныхъ плебеевъ вовсе не ничтожны, какъ ихъ хотятъ представить; ихъ выходки пронизаны живымъ, задушевнымъ чувствомъ; они—не только не „рenegаты, отпирающіеся отъ своего отечества“, но напротивъ, въ нихъ „ярко свѣтитъ самый благороднѣйшій патриотизмъ, горитъ самая чистѣйшая любовь

¹⁾ „Телескопъ“, 1836, I т. (XXXI цѣлаго изданія), стр. 5—60, 203—264.

къ славѣ и благу истинно русскаго просвѣщенія, истинно русской литературы“. Надеждинъ съ негодованіемъ отвергаетъ эти обвиненія: неужели тотъ — отступникъ, кто съ прискорбіемъ видитъ слабость своеземнаго образованія, неразвитость своего языка, кто съ ожесточеніемъ вопіетъ противъ людей, которые изъ слѣпой гордости или по другимъ побужденіямъ усиливаются задержать наше просвѣщеніе и нашу литературу въ томъ неизменномъ состояніи, „которое донинѣ возбуждаетъ къ намъ одно жалкое презрѣніе европейскихъ нашихъ собратій?“ Нѣтъ:

„Будь благословенно это отступничество отъ пагубнаго самообольщенія ложной гордости, примѣръ коего поданъ намъ Великимъ изъ Великихъ, Отцомъ и Зиждителемъ настоящаго величія Россіи!“

Въ сущности, этотъ споръ именно доказываетъ, что у насъ есть, наконецъ, литература живущая, самосознающая. Въ этомъ не трудно убѣдиться. „Пусть всякій русскій положитъ себѣ руку на сердце и скажетъ по совѣсти: неужели это сердце не содрогалось никогда отъ громовыхъ звуковъ Державина, не расширялось сладкимъ умиленіемъ при задумчивой пѣснѣ Жуковскаго, не горѣло и не кипѣло при иномъ раскаленномъ стихѣ Пушкина“? Все, что возбуждаетъ живое сочувствіе, само должно быть живо. Въ чемъ же состоитъ эта жизнь литературы?

Всякая жизнь, и литературная въ томъ числѣ, говоритъ Надеждинъ, слагается изъ двухъ противодѣйствующихъ элементовъ, центростремительнаго и центробѣжнаго, различное дѣйствіе которыхъ производитъ два основныя явленія развитія. Въ одномъ періодѣ, литература народа стремится выразить его особую личность, народный духъ со всѣми его чертами, родимыми пятнами. „Это направленіе есть безусловная, исключительная *народность* литературы, составляющая отличительный характеръ всѣхъ *первыхъ* періодовъ литературной жизни, во всѣ времена, у всѣхъ народовъ“. Но творческій геній народа встрѣчается затѣмъ съ другими соприкосновенными народами и, „по закону естественнаго сочувствія, по закону взаимнаго притяженія, коимъ держится цѣлость и единство вселенной“, беретъ участіе въ ихъ жизни, пользуется ихъ приобрѣтеніями, и сообщая съ ними стремится продолжать свое безконечное развитіе. Отсюда—другая сторона литературы,—ея стремленіе къ *общности*, къ „чуждству“: „сей характеръ въ большей или меньшей степени принадлежалъ всѣмъ литературамъ, совершившимъ вполне поприще жизни“. И такъ, оба направленія законны, и здоровое развитіе литературы состоитъ въ правильномъ ихъ *соединеніи и взаимности*. „Но горе, если одно направленіе—какое бы ни было—возьметъ рѣшительный верхъ надъ другимъ, ограничится самимъ собою, воца-

рится единой державно въ духѣ народа! Тогда литературная жизнь, какъ бы ни была могуча въ корнѣхъ и широка въ развитіи—подвергается неминуемой опасности засохнуть на цвѣту, умереть преждевременно. Коснѣя въ однихъ и тѣхъ же формахъ, безъ движенія, которое возможно только при взаимномъ сраженіи противоположныхъ элементовъ,—она застаивается и гниетъ, какъ атмосфера, не потрясаемая электричествомъ, какъ запертое со всѣхъ сторонъ озеро, чуждое волненій“. И такъ, для успѣховъ литературы вообще необходимо гармоническое сліяніе обоихъ направленій: „литература живая должна быть плодомъ *народности*, питаемой, но не подавляемой *общительностью*“, т.-е. связью съ просвѣщеніемъ другихъ народовъ,—въ нашемъ случаѣ, западной Европы.

Но если мы захотимъ примѣнить это общее основаніе къ исторіи нашей литературы, насъ тотчасъ останавливаетъ препятствіе: мы не знаемъ исторіи нашей литературы; относительно ея, „мы бродимъ ощупью, повторяемъ безотчетно несвязныя *преданія*, коснѣемъ подъ игомъ слѣпного *суетврія*“.

И затѣмъ онъ излагаетъ своеобразный взглядъ на русскую литературную исторію, совпадающій съ его взглядомъ на исторію національно-политическую. Онъ оспариваетъ прежде всего „общее мнѣніе“, по которому русское слово производится отъ языка церковно-славянскаго и церковно-славянская письменность ошибочно считается первымъ періодомъ *нашей* литературной исторіи.

„Это мнѣніе составляетъ родъ народнаго суетврія: вѣковое предубѣжденіе постановило его выше всѣхъ сомнѣній и споровъ. И добро бы это мнѣніе оставалось только въ глубинѣ сердецъ какъ благочестивое вѣрованіе, или повторялось лишь въ книгахъ какъ старинное преданіе! Нѣтъ! Оно бывало нерѣдко вначаломъ дѣятельнаго возбужденія для нашей словесности, лозунгомъ литературной реформы. Въ церковно-славянскомъ языкѣ нерѣдко поставлялся единственный идеалъ усовершенствованія нашего нынѣшняго слова...—Спрашиваю: въ дѣлѣ столь важномъ, въ дѣлѣ, можемъ имѣть такое сильное и глубокое вліяніе на судьбу всей нашей литературы — можно ль довольствоваться одною слѣпою вѣрою? — Не надлежало ли бы нашимъ грамотѣямъ и книжникамъ... подвергнуть строгому изслѣдованію это усношеніе языка русскаго языку церковно-славянскому?“... и пр.

Этого сдѣлано не было. Между тѣмъ, настаиваетъ Надеждинъ,—русскій языкъ „является существенно отличнымъ отъ церковно-славянскаго во времена самыя древнія“ и „значить: въ понятіяхъ о нашей литературѣ мы заблуждаемся съ перваго шага!“ Литература на церковномъ языкѣ не была русская литература.

Русскій языкъ,—говоритъ онъ,—въ семьѣ славянскихъ нарѣчій есть языкъ отдѣльный, самостоятельный. Онъ даже не принадлежитъ къ одной изъ тѣхъ двухъ отраслей, на какія Добровскій раздѣлилъ

всѣ славянскія нарѣчія (сѣверно-западная и юго-восточная), и составляетъ особую восточную категорію ¹⁾. „Это возстановленіе русскаго языка въ своемъ достоинствѣ весьма важно, не столько по мелочнымъ расчетамъ народнаго самолюбія, сколько потому, что, опредѣляя настоящія отношенія его къ другимъ, избавляетъ отъ опасности *чуждаю несвойственнаю* вліянія. Таково именно было вліяніе церковно-славянскаго языка, подавившее въ самомъ началѣ русскую народную рѣчь и долго, очень долго препятствовавшее ея развитію въ живую народную словесность“.

Этимъ взглядомъ Надеждинъ въ первый разъ вѣрно освѣщаль характеръ нашей старой литературы и еще длившіеся споры о *старомъ и новомъ словѣ*. Обыкновенно привыкли думать, что принятіе церковно-славянской письменности было благотворнымъ преимуществомъ для древней Руси предъ европейскимъ западомъ, получившимъ Св. Писаніе на латинскомъ языкѣ. Надеждинъ думаетъ, напротивъ, что это отдѣленіе церковнаго языка отъ народнаго имѣло для европейскихъ литературъ самыя благотворныя слѣдствія: „благодаря небреженію пишущей (по-латыни) васты, народная рѣчь спаслась отъ всякаго насильственнаго искаженія; педантизмъ книжниковъ ворочался съ своей варварской латынью и спокойно оставлялъ живые народные языки изливаться звонкой, чистой, свободной струей изъ устъ менестрелей и труверовъ“. Наконецъ, сама латынь уступила народной рѣчи, одряхлѣла и „скончалась въ архивной пыли, подъ грудю фоліантовъ“. Такимъ образомъ вліяніе христіанства въ западной Европѣ не убило народности въ литературѣ, но сообщило ей новый духъ, не сокрушая тѣла.—У насъ было совсѣмъ напротивъ. Св. Писаніе было принесено къ намъ на языкѣ сродномъ и понятномъ. Наши предки поражены были звуками языка близкаго, могущественнаго и стройнаго, и подъ его впечатлѣніемъ они естественно отреклись для него отъ своей грубой, необразованной рѣчи: такимъ образомъ, при первомъ введеніи письма на Русь, письменность стала церковно-славянскою: для народной рѣчи — „оставлены были въ удѣлъ только низкія житейскія потребности; она сдѣлалась языкомъ простолюдиновъ.“

¹⁾ Надеждинъ упоминаетъ здѣсь (стр. 32), что, бывши за-границей, узналъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что знаменитый Шафарикъ, „въ приготовляемомъ новомъ изданіи исторіи славянскихъ языковъ и литературъ“, измѣнилъ свое прежнее мнѣніе о принадлежности русскаго языка къ юго-восточной группѣ (рядомъ съ болгарскимъ и сербскимъ) и „призналъ русскій языкъ третьей, чисто восточной отраслью славянскихъ языковъ, во всѣхъ отношеніяхъ равной двумъ первымъ“. — Но это не подтвердилось въ изданной Шафарикомъ черезъ нѣсколько лѣтъ „Славянской Этнографіи“.

„Единственное поприще, гдѣ она могла развиваться свободно, подъ сѣнію творческаго одушевленія, была народная пѣсня; но и здѣсь надъ нею тяготѣло отверженіе, гремѣло проклятіе. Народныя пѣсни въ самомъ народѣ считаются понишѣ грѣховодной забавой, тѣшеніемъ бѣса! У нашихъ предковъ законное безгрѣшное употребленіе поэзіи разрѣшалось только въ составленіи акаѣиствовъ и каноновъ, или въ пѣніи духовныхъ стиховъ, гдѣ донгышъ звучитъ священное церковно-славянское слово.—Такъ, въ продолженіе многихъ вѣковъ, послѣдовавшихъ за введеніемъ христіанства, языкъ русскій, лишенный всѣхъ правъ на литературную цивилизацію, оставался неподвижно, *in statu quo*—безъ образованія, безъ грамматики, даже безъ собственной азбуки, приуроченной къ его свойствамъ и особенностямъ. И между тѣмъ [предки наши, въ ложномъ ослѣпленіи, не сознавали своей безсловесности; они считали себя грамотными, у нихъ были книги, были книжники; у нихъ была литература! Но эта литература не принадлежала имъ: она была южно-славянская по матеріи, греческая—по формѣ; ибо кто не знаетъ, что богослужебный языкъ нашъ отлѣтъ весь въ формы греко-византійскія, можетъ быть даже съ ущербомъ славянства?“

Ученые историки литературы и долго послѣ продолжали повторять „суетвѣрія“,—но изслѣдованіе старины выиграло бы, если бѣ обратило больше вниманія на точку зрѣнія Надеждина. По его взгляду, порча русской народности *чуждыми и несвойственными* вліяніями началась со введенія церковно-славянской письменности: это ставило вопросъ совершенно наоборотъ, чѣмъ его ставилъ вѣкогда Шишковъ противъ Карамзина, потомъ Шевыревъ, и наконецъ славянофилы и ихъ школа. *Русской народной литературы* не было въ старомъ періодѣ; ее надо было еще создавать...

При этомъ характеръ старой письменности, естественно было, что когда Смотрицкій возымѣлъ мысль о грамматикѣ русскаго языка, онъ и составилъ ее по всѣмъ формамъ греческой. „Не забудьте, — говоритъ Надеждинъ, — что по учебной книгѣ Смотрицкаго образовался Ломоносовъ:—и тогда поймете, какъ глубоко, какъ могущественно, какъ исключительно было вліяніе церковно-славянской или, лучше, славяно-греческой письменности на языкъ русскій; поймете, чего должно было стоить, чего стоило оно чистой народности русскаго слова?“

Народный языкъ живучъ; вѣка рабства не могутъ подавить его; русскій языкъ не охотно покорялся, и въ самостоятельныхъ русскіихъ произведеніяхъ онъ свазывался изъ-подъ славянскаго давленія. Но затѣмъ произошло новое событіе, опять изображаемое Надеждинымъ очень своеобразно.

„Половина Руси—и половина наиболѣ развитая, наиболѣ вкусившая жизни и образованія, даже *наиболѣ русская* (я говорю это *по твердому, глубокому убѣжденію*)—половина юго-западная, гдѣ находился Кіевъ, мать градовъ русскіихъ, гдѣ благочестивое вѣрованіе водружало крестъ Андрея и благоговѣнное

преданіе преклонялось предъ златыми вратами Ярославъ, гдѣ просіяли первыя лучи христіанства, занялась первая заря народнаго самосознанія, совершились первыя подвиги народной героической юности—эта половина увлеклась вихремъ событій въ чуждую сферу, потеряла свою самобытность, применила къ народу, хотя единоплеменному, но въ продолженіе вѣковъ, подъ вліяніемъ особыхъ обстоятельствъ, выработавшему себѣ особый, самоцвѣтный характеръ. Я разумѣю соединеніе такъ-называемыхъ Черной, Бѣлой и Малой Россіи съ Польшею, подъ несомнѣннымъ названіемъ великаго княжества Литовскаго. Это соединеніе не имѣло существеннаго вліянія на языкъ собственно народный... Но въ отношеніи къ образованію по всѣмъ частямъ, и слѣдовательно къ образованію словесному, литературному, соединеніе это имѣло сильное и обширное вліяніе. Политическая связь вынуждаетъ изученіе языка господствующаго народа... Языкъ и литература польская точно такъ же близки русскому языку, какъ языкъ и литература церковно-славянская. Чтожъ удивительнаго, если русскіе, прицѣпясь всѣми нитями своего бытія въ Польшѣ, влюбились въ ея языкъ и литературу? Что удивительнаго, если видя бѣдность своего роднаго нарѣчія, запущеннаго вѣковыми небреженіемъ, и сознавая, хотя можетъ быть темно, тяжесть чуждыхъ оковъ, возложенныхъ на него языкомъ церковно-славянскимъ—тамъ поставили идеалъ литературнаго совершенства, гдѣ сосредоточивалось ихъ государственное бытіе?.. *Славяно-греческая* письменность скоро вытѣснена была изъ Русскаго Запада и уступила мѣсто новому книжному языку, новой литературѣ, которую можно назвать *славяно-латинскою*“...

Обѣ эти письменности, не смотря на всю противоположность, были равно несвойственны Руси: „она переимѣнила только цѣпи, и осталась по прежнему безсловесною!“ *Попытки* литературной независимости обнаружались на востоцѣ, съ первыми лучами независимости политической—въ Московскомъ царствѣ. Надеждинъ объясняетъ это такъ:

„Съ самобытностью пробудилось самосознаніе народа—развязался языкъ!—Оттого ли, что новыми условіями общественной жизни продлились новыя отношенія, новыя идеи, для выраженія коихъ недоставало словъ въ церковно-славянскомъ языкѣ, или можетъ быть, удаленіе Московіи во глубину Сѣвера и разрывъ прежнихъ тѣсныхъ связей съ Югомъ, застудивъ русскую рѣчь въ совершенно полныя формы, рѣчь обнаружилъ ея несходство и несомнѣнность съ языкомъ церковно-славянскимъ,—какъ бы то ни было, только положительныя факты доказываютъ, что, со времени утвержденія на Москвѣ средоточія Восточной Руси, языкъ ея укрѣпился, изъяснилъ права на самобытное существованіе независимо отъ церковно-славянскаго, и мало-по-малу завладѣлъ особыми отдѣломъ письменности, гдѣ достигъ наконецъ значительной степени выразительности и силы...“ (Это былъ дѣловой, приказный языкъ, который все больше развивался съ возвышеніемъ Московскаго царства...). „Я конечно удивлю многихъ знатоковъ отечественной исторіи, когда скажу, что вѣкъ царя Грознаго, вѣкъ, столь поворно обезчещенный въ нашихъ воспоминаніяхъ, былъ блестящею эпохой русскаго народнаго бытія, золотымъ утромъ русской народной словесности: но не онъ ли, не этотъ ли вѣкъ завѣщалъ намъ столько прекрасныхъ пѣсень, воспѣвающихъ паденіе Казани и Астрахани, гремящихъ про славу Шуйскаго и шепчущихъ про ужасъ Опричнины—столько драгоценныхъ перловъ истинной русской поэзіи, гдѣ поэзія выраженія достойно равняется съ

блистательной поэзіей дѣятельности?... Самъ Грозный царь—главный герой и единственный двигатель въ дивной поэмі своего царствованія—былъ вмѣстѣ первымъ представителемъ словеснаго образованія своей эпохи“ (посланіе къ Курбскому, посланія въ монастыри)...

Настали бурныя времена междоусобія: Западъ хлынулъ на Востокъ, потомъ Москва сама двинулась на Западъ; Кіевъ сдѣлался снова русскимъ; Кіевская академія стала разсадникомъ всего русскаго образованія; первое высшее училище въ Москвѣ была знаменительно названная *славяно-греко-латинская* академія. „Ей недоставало только бездѣлицы—быть *русскою!*“

„Въ такомъ положеніи засталъ русскую грамотность и русскій языкъ — Петръ Великій!.. Это былъ не языкъ, а смѣшеніе языковъ — настоящее вавилонское столпотвореніе!.. Но Петру было не до того, какъ говорить народъ его: онъ началъ съ *дѣла*, оставя въ повоѣ *слово*.. Скоро цѣль была достигнута: азиатская лѣнь спала съ плечъ вмѣстѣ съ широкимъ охабнемъ; азиатское самодовольство облетѣло вмѣстѣ съ бородою. Россія двинулась съ Востока—и применила къ европейскому Западу!.. Но такой переворотъ былъ слишкомъ поспѣшенъ“ (и отсюда крайности послѣдующаго подражанія)... „Безъ сомнѣнія, гений преобразователя зналъ несокрушимую упругость народнаго духа: зналъ, что будетъ время, когда онъ вступитъ снова въ свои права, *гордый не невольственнымъ самообольщеніемъ, а благороднымъ сознаніемъ своего совершеннѣйшаго, чувствомъ неосторимаго равенства* съ своими европейскими братьями: и вотъ чѣмъ должно объяснять его равнодушіе ко всему, что относилось собственно къ русской народности, слѣдственно, и къ русскому слову!—Самодержецъ, требовавшій единства во всѣхъ наружныхъ формахъ своего народа по образцу европейскому, вѣдалъ, что слово, одно, непокорно ничьимъ велѣніямъ, что его нельзя обрить какъ бороду, обрѣзать и перекроить какъ платье. Онъ сдѣлалъ съ нимъ все, что было въ его власти: согласно съ своей идеей, измѣнилъ буквенный костюмъ его по-европейски, и остальное предоставилъ самому себѣ!— Вотъ почему литературный характеръ царствованія Петрова представляеть такое удивительное равнообразіе“ (церковно-славянскій элементъ, доведенный до совершенства у Дмитрія Ростовскаго; школьно-латинскій — у Теофана; масса иностраннаго, западнаго, въ языкѣ правительственномъ).Въ такомъ жалкомъ безпорядкѣ, въ такомъ хаотическомъ смѣшеніи предстало русское слово Ломоносову!“

Въ противорѣчіе тому же „сுவѣрью“, Надеждинъ не видитъ въ Ломоносовѣ *преобразователя* языка. Ломоносовъ самъ прошелъ черезъ „макароническую тарабарщину“, „черезъ всѣ ярусы вавилонскаго столпотворенія“: онъ благоговѣлъ передъ великолѣпнѣмъ языкомъ церковно-славянскаго, въ синтаксисѣ преклонялся передъ ораторствомъ Цицерона и Плинія, изъ Германіи вывезъ новый размѣръ для поэзіи. Онъ слѣпилъ изъ русскаго языка любимую его мозаику, но изъ славяно-греко-латинскаго направленія извлекъ все лучшее, впервые далъ языку правильную, благоустроенную форму, хотя эта форма *не была* русская народная. Форма эта была книжная, искус-

ственная; оттого она не могла удержаться въ литературѣ. Но славяно-греко-латинскіе элементы языка онъ такъ ослабилъ, что они уже не могли вновь получить силы; нѣмецкое вліяніе не могло быть сильно по тогдашнему состоянію нѣмецкой литературы... Къ сожалѣнію, явился еще болѣе опасный врагъ народности — французское вліяніе. Сообщеніе французскаго характера нашей литературѣ приписываютъ обыкновенно Карамзину, но это несправедливо, потому что раньше въ этомъ направленіи шли уже Кантемиръ, Тредьяковскій и Сумароковъ. Ихъ работа не была успѣшна, потому что „они плотничали топоромъ и скобелю, а отличительная прелесть французской литературы состояла въ филограмовой тонкости работы!“ Карамзинъ понялъ это, „принялся нѣжить и холить русскій языкъ, чтобы дѣлать изъ него такія же маленькія куколки, какими тогдашняя французская литература наполняла дамскіе будуары“. У Карамзина, „вдругъ послѣдовала чудная переиѣна въ языкѣ русскомъ: все увѣсистое, школьное было выкинуто; антикварная пыль славянства сметена до порошинки; длинный, тягучій періодъ раздробился на мелкія фразы; звуки подобрались въ нѣжные мелодическіе аккорды“. Карамзинъ извѣжилъ черезчуръ русскій языкъ, и съ этой стороны Надеждинъ находитъ, что негодование защитниковъ „старога слога“ противъ Карамзина было совершенно справедливо. Не удивительно, что Карамзинъ скоро устарѣлъ: вліяніе его кончилось; но послѣдующая литература, въ другой формѣ, продолжаетъ то-же подражаніе, особливо французамъ.

Это стремленіе къ подражанію у насъ называютъ „европеизмомъ“, и Надеждинъ видитъ въ его крайности причину бѣдственнаго положенія литературы. „Послѣ вѣковыхъ опытовъ и усилій, мы дошли до того, съ чего *начали* прочія европейскія литературы—до совершеннаго раздѣленія между живой народной рѣчью и книжнымъ литературнымъ словомъ!.. Какъ быть литературѣ *русской*, когда нѣтъ еще языка *русскаго*?—Да, разсматривая внимательно настоящее положеніе нашей письменности, невольно призадумашься, невольно погрузишься въ грусть, и спросишь уже—не *есть ли*, а—*можетъ ли* даже *быть* у насъ своя живая *литература*?“

Въ другой обширной статьѣ, продолжающей эту тему, Надеждинъ говоритъ о состояніи русскаго языка: „Вавилонская башня не достроилась; не построить и намъ литературы, если мы не условимся въ языкѣ, не будемъ всѣ говорить одной рѣчью“; нужно, чтобы *есть* литература не состояло изъ разнородныхъ, другъ друга уничтожающихъ элементовъ, но было проникнуто одною животворной гармоніей, Надеждинъ высказываетъ много дѣльных замѣчаній о состояніи нашего языка, въ разныхъ слояхъ общества, въ книгѣ и

въ разговорѣ; объ иностранныхъ элементахъ нашего языка; о „богатствѣ“ его, которое на дѣлѣ часто оказывается бѣдностью. Между прочимъ Надеждинъ вступилъ въ полемику съ „Наблюдателемъ“, гдѣ въ эти годы однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ былъ Шевыревъ ¹⁾: онъ полагалъ, что въ литературу долженъ быть введенъ и долженъ ей помочь свѣтскій элементъ, влияніе и вкусы свѣтскаго круга. Надеждинъ отвѣчаетъ ²⁾:

„По мнѣнію „Наблюдателя“, литература должна говорить языкомъ высшаго общества, держаться паркетнаго тона, быть эхомъ гостинныхъ; и въ этомъ отношеніи, онъ простираетъ до фанатизма свою нетерпимость ко всему уличному, мѣшанскому, чисто-народному. Вотъ почему, всегда вѣжливый, всегда уклончивый, всегда въ бѣлыхъ перчаткахъ и съ мѣрною, величавою поступью, онъ забываетъ свою изученную холодность, разсчитанное подобострастіе, и со всѣмъ возможнымъ для него жаромъ ожесточенія преслѣдуетъ, напримѣръ, г. Заголкина, самаго народнаго изъ нашихъ писателей; русскій кулакъ дѣлаетъ ему вертижи, русскій фарсъ бросаетъ его въ лихорадку. За то, поэзія г. Бенедиктова, вся изъ отборныхъ, блестящихъ фразъ, въ которыхъ, конечно, пелыя не признавать относительнаго достоинства, кажется ему чудомъ совершенства, геркулесовскими столбами поэтическаго иящества. При всемъ должномъ уваженіи къ его образованности, къ его легкимъ приѣмамъ и тонкому обращенію, нельзя однако, не сознаться, что основная мысль, которая предсѣдательствуетъ въ его сужденіяхъ, не совсѣмъ истинна теоретически и вовсе неудобоприлагаема на практикѣ. Во-первыхъ, никакое сословіе, никакой избранный кругъ общества не можетъ имѣть исключительной важности образца для литературы. Литература есть гласъ народа; она не можетъ быть привилегіею одного класса, одной касты; она есть общій капиталъ, въ которомъ всякій участвуетъ, всякій долженъ участвовать. Если можетъ быть какое-нибудь общеніе, какой-нибудь дружный, братскій союзъ между разными сословіями, разными классами народа, такъ это въ литературѣ и чрезъ литературу. Основаніе народнаго единства есть языкъ; стало, онъ долженъ быть всѣмъ понятенъ, всѣмъ доступенъ! — Не такъ ли и бываетъ вездѣ, гдѣ литература развита, гдѣ литературная жизнь не считается по каплямъ, а разливается безбрежнымъ океаномъ?..

„Во-вторыхъ, положимъ, что исправленіе вкуса должно начинаться облагородствованіемъ формъ, что это облагородствованіе всего скорѣе должно обнаруживаться въ гостинныхъ, на этой верхушкѣ общественной пирамиды, которая раньше должна озаряться лучами восходящей цивилизаціи; положимъ что литература должна чуждаться шума улицъ и извучать по камертону бель-этажи; спрашивается, возможно ли это у насъ, при настоящемъ состояніи русскаго языка въ бель-этажахъ? Говорятъ ли тамъ, умѣютъ ли говорить по-русски? Я очень знаю, что теперь не то уже, что было прежде, что въ высшихъ слояхъ нашего общества прекратилась прежняя несчастная подражательность, что тамъ занимается свѣтлая заря патріотической гордости, что языкъ русскій уже не ссызается въ переднія и на кухню, что литературу русскую любятъ и не стыдятся этой любви; но все это пока еще ограничивается одними желаніями, одними благородными порывами.

¹⁾ О его тогдашней журнальной дѣятельности см. подробно въ „Очеркахъ Гоголевскаго періода“. „Современникъ“, 1855—56.

²⁾ Телескопъ, 1836, т. XXXI, стр. 216 и далѣе.

Наше высшее общество, образованнѣйшій цвѣтъ нашего отечества, жаждетъ русской литературы, учится русскому языку; а намъ велятъ у него учиться!!! —Я не ставлю ему этого въ вину; я слишкомъ далеко отъ той плебейской зависти, которая вымещаетъ свое виѣшнее уничиженіе отрицаніемъ всякаго внутреннего превосходства въ томъ, что выше ея. Нѣтъ! У насъ потому не говорятъ по-русски въ гостинныхъ, что нельзя говорить, не чѣмъ говорить; потому что нѣтъ словъ, нѣтъ фразъ, нѣтъ оборотовъ для мыслей, которыя тамъ въ ходу, для предметовъ, вокругъ которыхъ обращается свѣтскій разговоръ. Цивилизація нашего высшаго общества родилась не сама собой, а взята готовая съ чужого образца; она вытвержена наизусть съ чужого голоса. Мысли, формы, обычаи, вещи, все что относится къ такъ называемой свѣтской, образованной жизни, все у насъ не свое, чужое! И оно перешло къ намъ вдругъ, нахлынуло внезапно потокомъ, такъ что некогда было придумать названій для всѣхъ этихъ небывалыхъ идей и вещей, некогда было переводить ихъ по-русски. Теперь и рады бы перевести, да ужъ трудно; слова русскія, выгнанные изъ высшаго общества, достались въ удѣлъ простолюдинамъ; отъ нихъ пахнетъ сермякомъ; ихъ звукъ кажется грубымъ и жесткимъ; отвыкшее ухо не можетъ выносить ихъ; да они ужъ не выражаютъ того, что хотѣлось бы выразить; употребленіе въ низкомъ народѣ привязало къ нимъ и смыслъ низкій! Вотъ почему съ русскимъ языкомъ не разговорилъ въ гостинной; вотъ почему по-русски нельзя пожелать и добраго утра, порядочной, не французской фразой; вотъ почему русскій комплиментъ тяжелъ, русская любезность тупа, русское красное слово плоско и неуклюже: вотъ почему многія русскія слова считаются непристойностью въ хорошемъ обществѣ, тогда какъ французскія, точь-въ-точь имъ соответствующія, говорятся безъ всякаго принужденія, безъ всякаго зазора: такъ, напр., какая дама не скажетъ по-французски: „*couleur de rose*“ и какой кавалеръ осмѣлится передъ ней назвать по-русски насѣкомое, сообщившее имя этому модному цвѣту!.. Кто-жъ виноватъ въ этомъ? Виновое не нынѣшнее, а прежнее время, которое нахвatalось чужихъ идей, чужихъ привычекъ, чужихъ формъ, не позаботясь ихъ усвоить, срastить съ собой, претворить въ себя, какъ растеніе или животное претворять въ существо свое всѣ чуждыя вещества, которыми питается!—Было время, когда ученые точно также не находили для своихъ идей словъ въ отечественномъ языкѣ, жили и пробавлялись латинью; но это прошло наконецъ въ странахъ, гдѣ языкъ достигъ высшей степени литературнаго развитія: такъ, во Франціи теперь даже медики пишутъ рецепты по-французски. Тоже будетъ и у насъ съ высшимъ обществомъ; оно не будетъ имѣть нужды во французскомъ языкѣ, станетъ говорить по-русски, когда русскій языкъ принорвится ко всѣмъ его потребностямъ, когда все можно будетъ сказать по-русски. А для этого надо, чтобы языкъ намъ развилъ все свое богатство, обнаружилъ всѣ свои сокровища, наладился на всѣ тоны, изогнулся во всѣ формы, примѣнился ко всѣмъ идеямъ! А это должна дать ему литературная дѣятельность, литературная практика!.. —И такъ система „Московского Наблюдателя“, какъ я уже сказалъ, будучи неосновательна въ идеѣ, совершенно невозможна для исполненія по настоящему состоянію нашей цивилизаціи. Будь она принята, чего Боже избави! нашъ бѣдный языкъ, и безъ того ужъ такъ обезсиленный, такъ истощенный, скоро выцвѣлъ бы совершенно, самымъ жалкимъ, самымъ ничтожнымъ пустоцвѣтомъ.

„Въ лексикографическомъ отношеніи, всего обыкновеннѣе у насъ хвастаться богатствомъ отечественнаго языка, и съ тѣмъ вмѣстѣ на дѣлѣ показывать со-

вершено противоположное, побираться нищенски по всем языкамъ мира, древнимъ и новымъ, восточнымъ и западнымъ. Съ одной стороны, должно сознаться, что наше хвастовство не безъ основанія. Русскій языкъ дѣйствительно богатъ, богаче всѣхъ новыхъ языковъ Европы. На иное понятіе онъ можетъ выставить до десяти синонимическихъ словъ, отличающихся другъ отъ друга отбѣнками силы и выразительности, такъ что смыслъ понятія выражается дѣлою гаммой звуковъ. Но это богатство хуже бѣдности; это богатство Тантала, который умираетъ съ жажды и голода, стоя по горло въ водѣ, окруженный прелестнѣйшими плодами! — Отчего-жъ такое странное противорѣчье? — Во-первыхъ, это равнообразіе подобнозначущихъ словъ, большей частью, соотвѣтствуетъ у насъ разнообразію народныхъ сословій и ихъ разговора; такъ что въ этой дѣстницѣ синонимовъ низшая ступень влзнетъ въ тинѣ простонародія, тогда какъ верхняя упирается въ облака книжнаго высокопарнаго языка. Такъ напримѣръ, слово „дядька“ очень низко, а подобнозначащее ему „пѣтунъ“ слишкомъ ужъ высоко; и мы, владея двумя чисторусскими словами, прибѣгаемъ къ иностранному „гувернѣръ“, чтобы не показаться мѣшанами или педантами. Подобныхъ примѣровъ можно выставить тысячу. Большая часть нашихъ словъ, за введеніемъ иностранныхъ, вовсе оставлена, вовсе вышла изъ употребленія; какъ монеты стараго чекана, онѣ не ходятъ при всей ихъ внутренней цѣнности. Таковы, напримѣръ, всѣ названія старинныхъ должностей, всѣ выраженія обрядовъ, привычекъ и характеристическихъ идей прежняго русскаго быта, заслоненнаго отъ насъ вѣкомъ Петра Великаго: онѣ имѣютъ теперь милицанскую важность, какъ серебро Ярославле, какъ денга Псковская! Въ третьихъ — и это обстоятельство особенно важно, заслуживаетъ особеннаго вниманія — языкъ нашъ, при всемъ богатствѣ относительно выраженія многихъ понятій, въ разсужденіи другихъ дѣйствительно бѣденъ. Это нисколько не удивительно! Всякой языкъ идетъ наравнѣ съ понятіями говорящаго имъ народа; въ немъ нѣтъ и не можетъ быть слова для идей, которыхъ народъ не имѣетъ. Но каждый народъ, пока онъ сомкнутъ въ самомъ себѣ, пока еще не вошелъ въ мировую школу взаимнаго обученія, каждый народъ, живущій однимъ собою, естественно ограничивается въ своемъ умственномъ богатствѣ болѣе или менѣе тѣсною сферою своего существованія; его идеи не простираются за границы природы, его окружающей, не выходятъ изъ предѣловъ, въ которыхъ движется жизнь его; онъ не имѣетъ понятія ни о естественныхъ предметахъ, лежащихъ внѣ его горизонта, ни о нравственныхъ явленіяхъ, чувствахъ, убѣжденіяхъ, страстяхъ, которыя имъ самимъ еще не испытаны; не имѣетъ понятія — не умѣетъ и назвать ихъ! — Такъ напр. народъ русскій, затерявшійся въ глубинѣ сѣверныхъ пустынь, далеко отъ береговъ моря, не имѣлъ понятія о морской силѣ; и вотъ почему въ языкѣ русскомъ нѣтъ слова, которымъ бы можно было выразить „флотъ“.

„Такая бѣдность есть достояніе всѣхъ языковъ безъ исключенія; ибо въ этомъ отношеніи всѣ народы подчинены однимъ условіямъ“...

Итакъ, есть бѣдность, кабая бываетъ во всѣхъ языкахъ безъ исключенія, когда имъ приходится передавать особенности чужой природы и жизни; —

„Но, къ сожалѣнію, наша бѣдность обширнѣе: у насъ недостаетъ словъ для идей общихъ, мировыхъ, для идей, которыя принадлежатъ не одному народу, а всему человѣчеству. Причина этому понятна... Еслибъ русскій народъ самъ дошелъ, самъ изъ себя произвелъ эти идеи, онъ создалъ бы и слова для

нихъ, точныя, опредѣленныя, выразительныя. Но... вся образованность наша пришла къ намъ со стороны, взята нами у чужихъ народовъ. И добро бы это заимствованіе было постепенное, этотъ приливъ мало-по-малу проникалъ къ намъ и давалъ досугъ и возможность обратить приносимыя идеи въ нашу собственность, въ сокъ и кровь нашей жизни; нѣтъ! Онъ хлынулъ на насъ вдругъ, залилъ насъ всемірными потопами! Когда могучая рука Петра отворила для насъ всѣ хляби европейскаго просвѣщенія, европейской цивилизаціи, языкъ нашъ былъ еще молодое растеніе, только-что начавшее распускаться подъ благодатнымъ солнцемъ народной самобытности. Весьма естественно, его не могло достать на всѣ вдругъ открывшіяся потребности, вдругъ нахлынувшія идеи, и онъ долженъ былъ не только отказаться отъ поставки новыхъ словъ на новыя понятія, но даже потерять возможность дать настоящую зрѣлость уже прозябшимъ листкамъ, развернувшимся почкамъ, долженъ былъ опустить вѣтви, пригнуться къ землѣ, отречься вовсе отъ цвѣта и плодотворенія, какъ былинка, засѣченная проливными дождями“.. (Въ высшемъ обществѣ, принявшемъ европейскіе нравы, онъ уступилъ мѣсто языку французскому; но этимъ не ограничилось).. „Въ нашемъ ученомъ языкѣ господствуетъ греко-латинская терминологія; судебный языкъ испещренъ латино-нѣмецкими выраженіями; языкъ искусствъ живетъ итальянской техникой; промышленность, торговля и мореплаваніе загромождены англійской фразеологіей. Даже простой народъ, не понимая идей, перенялъ, какъ скворецъ, тму этихъ чужихъ словъ, и щеголяетъ ими, передѣлавъ на свой салтыгъ“...

Противодѣйствовать этому очень не легко, потому что не легко составлять новыя слова. Улучшенію языка будетъ содѣйствовать болѣе широкая литературная жизнь и критика; для лексическаго обогащенія должны послужить родственные языки.

Чтобы узнать народъ вполнѣ, надо изучать его не отдѣльно, а въ той группѣ, семьѣ, породѣ, къ которой онъ принадлежитъ. Въ языкахъ этой группы надо искать и источниковъ для обогащенія своего языка. „Неоспоримо,—говоритъ Надеждинъ,—философическое знаніе общей основы человѣческаго слова, то, что называется всеобщей грамматикой или философіей грамматики, бросаетъ много свѣта на изученіе каждаго языка порознь; но ближе и точнѣе, съ болѣею пользой и обширнѣйшимъ примѣненіемъ, языкъ изучается въ своей группѣ, въ своемъ семействѣ“. Надеждинъ почти называетъ сравнительную грамматику, которая только-что въ то время основывалась и еще не была примѣнена къ славянскимъ нарѣчіямъ. „Такое изученіе, открывая всѣ формы слова, развиваемаго изъ одного вещества однимъ духомъ, знакомитъ короче съ этимъ духомъ, а тѣмъ самымъ, при отдѣльномъ изслѣдованіи каждаго языка въ изученной группѣ, даетъ возможность угадывать, что этимъ языкомъ недосказано, и, по аналогіи прочихъ сродныхъ, предчувствовать, какъ это должно быть досказано“...

Надеждинъ указываетъ на громадное родственное племя: „нашъ языкъ принадлежитъ къ многочисленному семейству славянскому: и

такъ вотъ гдѣ рудники его богатства!“—Это цѣлый „рой живыхъ нарѣчій“, которыми оглашается большая половина Европы, отъ лагуны Венеціи до болотъ Помераніи; это—племя, которое, „не смотря на вѣковыя угнетенія, мужественно борется съ враждебной нѣмецкой“. Надеждинъ удивляется „странному ослѣпленію“, которое закрываетъ отъ насъ дружнюю и одноплеменную половину Европы; указываетъ распространеніе славянской рѣчи, новѣйшее движеніе въ средѣ славянскихъ народностей; средство обогатить и возрастить нашъ языкъ со стороны лексикографической есть—изученіе славянскихъ языковъ и нарѣчій; онъ убѣжденъ, что „только подать голосъ, и славянскіе братья съ радостью откроютъ намъ всѣ свои сокровища, усердно пойдутъ съ нами на общее дѣло... мы будемъ работать не одни, и наша работа, сдѣлавшись дружнѣе, будетъ удачнѣе“.

Къ этому, Надеждинъ дѣлаетъ примѣчаніе, любопытное въ настоящую минуту, когда многимъ стала невразумительна дозволенность литературнаго развитія малорусскаго нарѣчія:

„Считаю не излишнимъ, —говоритъ Надеждинъ,—сдѣлать здѣсь замѣчаніе, которое также можетъ быть обращено въ пользу нашей словесности. Съ недавняго времени появились у насъ *счастливыя опыты* литературной обработки малороссійскаго нарѣчія. Инымъ эти опыты кажутся пустою, бесполезною забавою. Но я думаю противное. Малороссійское нарѣчіе можетъ также служить къ обогащенію нашего языка. Пусть украинцы знакомятъ насъ съ нимъ въ своихъ поэтическихъ думкахъ, въ своихъ добродушныхъ „казьвахъ“! Мы должны имъ быть душевно благодарны“¹⁾.

Для синтаксическаго улучшенія литературнаго языка нужно обратиться къ живой народной рѣчи, пѣснѣ, поговоркѣ, прибауткѣ, въ которыхъ надо видѣть своеобразное и натуральное бѣненіе пульса живого русскаго языка. Нечего опасаться, что простонародная форма можетъ унижить языкъ,—эта форма не есть что-нибудь вещественное: „синтаксическая форма есть рама, въ которую можно вставить и пузырь, и масляную бумагу, и бемское стекло, и дорогое венеціанское зеркало!“ Въ нашей литературѣ есть уже блистательные примѣры возведенія простонароднаго языка на высокую степень литературнаго достоинства (онъ называетъ басни Крылова и опять романы Загоскина).

Но языкъ есть только вещество, матеріалъ литературы; самый богатый и образованный языкъ будетъ мертвъ, если не повѣетъ въ немъ духъ жизни. Въ нашей литературѣ есть жизнь, есть творческое начало; но въ какомъ состояніи?—подъ вліяніемъ самаго позор-

¹⁾ „Телескопъ“ давалъ мѣсто статьямъ, писаннымъ въ интересахъ малорусской литературы.

наго рабства; эта жизнь есть постоянное самоубійство; творческое начало гибнетъ подъ ярмомъ несчастнаго подражанія. Но что разумѣть подъ *народностью* литературнаго духа, отсутствіе которой авторъ оплакиваетъ какъ величайшее литературное бѣдствіе?

„Многіе подъ народностью разумѣютъ однѣ наружныя формы русскаго быта, сохраняющіяся теперь только въ простонародіи, въ низшихъ классахъ общества. И вотъ гма тмущая нашихъ писателей, особенно писачекъ изъ заднихъ рядовъ, ударились, со всего розмаха, лицомъ въ грязь этой грубой, запачканной, безобразной народности, которую всего лучше слѣдовало бы называть простонародностью. Они погрузились во шти, въ квась, въ брагу, забили на полати, обливаются ерофеичемъ, закусываютъ лукомъ, передразниваютъ мужиковъ, сидѣльцевъ, подъячихъ, ямщиковъ, харчевниковъ; и добро бы, подобно знаменитому А. А. Орлову, главѣ этой школы народныхъ писателей, ограничивались современными картинами низшихъ слоевъ общества, чтѣ имѣло бы, по крайней мѣрѣ, достоинство вѣрности; нѣтъ! они теребятъ русскую исторію, малюютъ ея лучшія эпохи своей мазилкой... О такой народности, что и говорить? Ее надо гнать изъ литературы... Впрочемъ, и адѣсь должно сдѣлать важное исключеніе... Отчего, напр., у Загоскина русскій мужикъ не только не противенъ, но положительно хорошъ, интересенъ, поэтиченъ (если можно такъ выразиться)? Отчего, у Гоголя, казакъ мертвеця пьяный, по уши въ грязи, съ подбитыми глазами, отчего Иванъ Никифоровичъ, даже въ натурѣ, ознаменованъ какою-то неизъяснимою, очаровательною прелестью, которая заставляетъ прощать или, по крайней мѣрѣ, пропускать межъ пальцевъ его противо-общественное положеніе? Я говорю это, чтобы доказать, что народность и въ этомъ ограниченномъ, грязномъ смыслѣ, пройдя чрезъ горнило вдохновенія, можетъ имѣть доступъ въ литературу, и слѣдовательно не заслуживаетъ безусловнаго преслѣдованія, отверженія!“¹⁾

Народность, которой Надеждинъ требовалъ для литературы, была конечно, шире. Онъ такъ излагаетъ свои мысли о предметѣ, который и донимѣ возбуждаетъ ожесточенные споры; какъ увидимъ, онъ самъ не избѣжалъ рискованныхъ положеній.

„Подъ *народностью* я разумѣю совокупность всѣхъ свойствъ, наружныхъ и внутреннихъ, физическихъ и духовныхъ, умственныхъ и нравственныхъ, изъ которыхъ слагается физіономія русскаго человѣка, отличающая его отъ всѣхъ прочихъ людей—европейцевъ столько же, какъ и азіатцевъ. Какъ ни рѣзки оттѣнки, положенныя на насъ столь различными вліяніями столь разныхъ цивилизацій, русскій человѣкъ, во всѣхъ сословіяхъ, на всѣхъ ступеняхъ просвѣщенія и гражданственности, имѣетъ свой отличительный характеръ, если только не прикидывается умышленно обезьяною. Русскій умъ имѣетъ свой особый гибъ; русская воля отличается особенной, ей только свойственной упругостью и гибкостью; точно также какъ русское лицо имѣетъ свой особый складъ, отличается особеннымъ, ему только свойственнымъ выраженіемъ. У насъ стремленіе къ *европеизму* подавляетъ всякое уваженіе, всякое даже вниманіе къ тому, что именно русское, народное. Я совѣмъ не вандалъ, кото-

¹⁾ Припомнимъ, что въ тѣ годы произведенія Гоголя вызвали именно такіа осужденія; его вливали за грязь и неприличіе его разсказовъ.

рый бы желалъ отшатнуться опять въ вѣкъ, задвинутый отъ насъ Петромъ Великимъ (по счастливому выраженію одного уважаемаго литератора). Но позволю себѣ сдѣлать замѣчаніе, что въ Европѣ, которую мы принимаемъ за образецъ, которую такъ усердно копируемъ (?) всѣми нашими дѣйствіями — *народность*, какъ я ее понимаю, положена во главу угла цивилизаціи, столь быстро, столь широко, столь свободно распространяющейся. Если мы хотимъ въ самомъ дѣлѣ быть европейцами, походить на нихъ не однимъ только платьемъ и наружными приемами, то намъ должно начать тѣмъ, чтобы учиться у нихъ уважать себя, дорожить своей народной личностью сколько-нибудь, хотя не съ такимъ смѣшнымъ хвастовствомъ какъ французы, не съ такой чванливой спѣсью какъ англичанинъ, не съ такимъ глупымъ самодовольствомъ какъ нѣмецъ. Обольстительная идея космополитизма не существуетъ въ нынѣшней Европѣ: тамъ всякій народъ хочетъ быть собою, живетъ своей самобытной жизнью. Ни въ одномъ изъ нихъ цивилизація не изгладила родной фizioноміи; она только просвѣтляетъ ее, очищаетъ, совершенствуетъ... И никто изъ нихъ не стыдится себя, не гнушается собою; напротивъ, всѣ убѣждены твердо и непоколебимо, что лучше ихъ, выше ихъ, умнѣй и просвѣщеннѣй нѣтъ на свѣтѣ! И литературы ихъ въ высшей степени самобытны, своеобразны, народны! Отчего-жъ мы русскіе боимся (?) быть русскими? Отчего намъ стыдиться даже напихъ штей... Отчего намъ не хвалиться своимъ богатрствомъ, драгоценнымъ наследіемъ удалыхъ предковъ“ (когда другіе народы хвалятся подобными же вещами)... „Недавно было у насъ жестокое нападеніе на Загоскина, за то, что онъ заставилъ русскаго погрозить кулакомъ варягу. Боже мой! какъ ухватились за этотъ бѣдный кулакъ! съ какимъ жаромъ, съ какимъ краснорѣчіемъ доказывали, что хвалиться кулакомъ и стыдно, и невѣжественно, и унижительно для нашего вѣка, и позорно для нашего просвѣщенія, однимъ словомъ—*не-европейски*. Последнее точно правда: европейцу какъ хвалиться своимъ щедрымъ, крохотнымъ кулачишкомъ!(!) Только русскій владѣть кулакомъ настоящимъ, кулакомъ *сomme il faut*, идеаломъ кулака, если можно такъ выразиться. И право, въ этомъ кулакѣ нѣтъ ничего предосудительнаго, ничего никакаго, ничего варварскаго, напротивъ очень много значенія, силы, поэзіи!.. Дѣло не въ кулакѣ, а въ употребленіи кулака: если этотъ кулакъ основалъ самобытность великой имперіи, раздвинулъ ее на седьмую часть земного шара, отстоялъ мужественно отъ всѣхъ враговъ; то честь и хвала ему!.. Знаю, что теперь намъ надо еще учиться, да учиться у Европы, но не съ тѣмъ, чтобы потерять свою личность, а чтобы уквѣпить ее, возвысить!—Древняя Греція также училась у Азіи, и долго была подъ наукой; но она не сдѣлалась Азіей, напротивъ, сама покорила, цивилизовала Азію!.. Пусть русскій умъ питается европейскою жизнью, чтобы быть истинно русскимъ; пусть литература его, освѣжаясь воздухомъ европейскаго просвѣщенія, остается тѣмъ, чѣмъ должна быть всякая живая, самобытная литература—самовыраженіемъ народнымъ!“

Оставался существенный вопросъ: что выражать ей,—въ чемъ состоитъ русская народная фizioномія?—Мы ее не имѣемъ,—говорятъ европейцы, не къ нашей чести; „но не дай Богъ, чтобы русскій говорилъ это съ убѣжденіемъ искреннимъ, сердечнымъ!“ Надеждинъ, однако, не даетъ положительнаго опредѣленія:

„Я не берусь здѣсь представить полное изображеніе русскаго челоуѣка, въ его своенародной чистотѣ; потому что въ самомъ дѣлѣ черты его такъ не-

ясны, такъ не развиты, такъ заѣвлены вышними мушками (?)... Я повторю лишь съ великимъ поетомъ, въ которомъ русскій народъ возвышался до свѣтлаго, торжественнаго самосовнанія:

О Россѣ! о родъ великодушный!
 О твердо-каменная грудь!
 О исполнивъ, царю послушный!
 Когда и гдѣ ты достигнуть
 Не могъ тебя достойной славы?..

„Литература у насъ есть; есть и литературная жизнь; но ея развитіе стѣняется односторонностью подражательнаго направленія, убивающаго народность, безъ которой не можетъ быть полной литературной жизни.

„Въ основу нашему просвѣщенію положены *православіе, самодержавіе и народность*. Эти три понятія можно сократить въ одно, относительно литературы. Будь только наша словесность народною: она будетъ православна и самодержавна!“

Этотъ годъ „Телескопа“ (1836) былъ послѣднимъ годомъ литературно-публицистической дѣятельности Надеждина: съ тѣхъ поръ онъ уже не возвращался къ ней, и труды его приняли другое направленіе. Въ этомъ первомъ періодѣ его дѣятельности, — которой образчики мы приводили, — надо признать весьма характерное явленіе, которое въ процессѣ тогдашняго литературнаго развитія служить переходнымъ звѣномъ отъ періода Пушкинскаго къ Гоголевскому, и въ историко-этнографическихъ понятіяхъ отъ „суетвѣрія“ къ научной критикѣ. Онъ началъ и продолжалъ рѣзкимъ осужденіемъ „романтизма“, въ которомъ видѣлъ послѣднее проявленіе ненавистной ему подражательности. Онъ высоко ставилъ гениальную силу Пушкина, и потому строго судилъ его податливость той поверхностной манерѣ, которая усвоена была школой изъ чужихъ образцовъ. Послѣ, когда Пушкинъ сталъ не столько предметомъ для критическаго анализа, сколько для апотеозы, филиппики Надеждина должны были производить странное впечатлѣніе; но довольно взглянуть въ нихъ нѣсколько, чтобы убѣдиться, что онѣ вовсе не были легкомысленны. Надеждинъ забывалъ только, что сама исторія имѣла свои условія, что романтизмъ былъ ступенью развитія и уже готовилъ свои результаты въ Гоголѣ и его школѣ. Но Надеждинъ былъ правъ въ томъ, что русскаго содержанія, простоты стиля было еще мало въ нашей литературѣ, и высокое значеніе Гоголя состояло въ выполненіи той задачи, которая чувствовалась Надеждинымъ: поэтному ученику и преемнику Надеждина и явился вслѣдъ за нимъ восторженнымъ почитателемъ Гоголя.

И въ другомъ отношеніи Надеждинъ былъ переходнымъ явленіемъ. Въ тридцатыхъ годахъ подготовлялось то раздвоеніе передоваго слоя литературы, которое выразилось борьбой „западниковъ“ и

„славянофиловъ“. Надеждинъ не былъ ни тѣмъ, ни другимъ; не былъ западникомъ, потому что клеймилъ западное вліяніе какъ „подражаніе“, которому было, однако, еще не мало дѣла, и провозглашалъ „народность“—въ чертахъ, иногда черезчуръ первобытныхъ; но не былъ и славянофиломъ, потому что видимо былъ рационалистъ, мало вѣрилъ въ древнюю Русь и преклонялся передъ Петромъ Великимъ. Но оба направленія какъ будто скрывались въ немъ въ зародышѣ, и оба въ послѣдствіи могли бы найти съ нимъ точки соприкосновенія. Былъ, наконецъ, въ немъ элементъ „квасного“ патріота, пѣвца официальной народности; но и этому элементу онъ противорѣчилъ высокимъ уваженіемъ къ труду европейской образованности и къ дѣятельной исторической жизни европейскаго общества.

Въ историческомъ объясненіи русской народности Надеждинъ опять сильнѣе, чѣмъ кто-нибудь, противодействовалъ національной сантиментальности. Онъ первый ясно поставилъ вопросъ о формированіи русской народности, которую привыкли считать готовою уже съ IX вѣка, вмѣстѣ съ государствомъ: Надеждинъ указалъ ея историческіе пласты. Судьба русскаго языка никѣмъ до него не была опредѣлена столь категорически, и въ сущности вѣрно ¹⁾,—потому что дѣйствительно первая самостоятельная и широкая дѣятельность русскаго языка въ литературѣ начинается только съ XVIII вѣка... Таковы были взгляды Надеждина, насколько они выразились въ его ранней журнальной дѣятельности. Ему, однако, не удалось выяснить тѣ прямыя требованія, какія онъ такъ настойчиво ставилъ литературѣ во имя народности. Что такое эта народность? Опредѣливши ее въ общихъ словахъ, какъ сложность народныхъ свойствъ и особенностей, онъ затруднился ближе указать ихъ, и только ссылался на Державина и гр. Уварова, которые далеко не могли быть сочтены за ея компетентныхъ истолкователей. Онъ требовалъ далѣе, какъ прежде Карамзинъ, чтобы русскіе „дорожили своей народной личностью“ и смѣло ея хвалились: но здѣсь опять остается неизвѣстно, къ кому требованіе адресуется и въ чемъ должно бы состоять на дѣлѣ, а не на фразѣ, уваженіе къ народной личности. Адресуется онъ, видимо, къ образованному обществу; но, какимъ бы ни былъ нашъ „европеизмъ“, онъ конечно утопалъ въ массѣ чисто русскихъ учреждений и формъ общественности... Въ ряду особенностей, которыми надо было „хвалиться“, Надеждину представилась сила и поэзія русскаго кулака—одна изъ тѣхъ необузданностей, которыя очень вредили литературному значенію Надеждина.

¹⁾ Въ частности, проявленія русской народной рѣчи въ старой письменности были обильнѣе, чѣмъ принимаетъ Надеждинъ. Дѣло въ томъ, что эта письменность была въ то время еще мало извѣстна.

Судя по горячей защитѣ, кулакъ былъ для него не случайнымъ примѣромъ, а напротивъ, особеннымъ поводомъ для національной русской похвалы. Можно было бы замѣтить, что у иныхъ народовъ кулаки вовсе нашимъ не уступаютъ; что этого рода достоинство не есть главное и наилучшее, и что, напр., для англичанъ національная гордость далеко не заключается въ похвалѣ ихъ боксерами. Въ нашихъ собственныхъ глазахъ другіе народы, имѣющіе для насъ авторитетъ, получали его не одними подобными свойствами, и для нашей національной гордости было бы по-истинѣ жалко, еслибъ намъ можно было противопоставить этому авторитету одни кулаки, тѣмъ болѣе, что исторически не одинъ же кулакъ „основалъ самобытность великой имперіи“. Наконецъ, этого рода похвальба слишкомъ поддается злоупотребленію въ обществѣ, слабо образованномъ, является даже аргументомъ противъ образованія,—чего, вѣроятно, самъ Надеждинъ никакъ не желалъ и что, однако, бывало и доселѣ бываетъ. Другое обстоятельство также не было выяснено Надеждинымъ. Очевидно, что требованіе „народности“ не могло быть предъявлено къ одной литературѣ: оно относилось и къ самой жизни: но исполнилось ли оно здѣсь? Давала ли жизнь, или ея руководящая сила, тѣ условія, въ которыхъ могла бы широко и свободно развиваться дѣятельность народной мысли, заявляться „народная личность? Ссылки на Державина и гр. Уварова въ этомъ не убѣждали...

Безусловно справедливо было то, что намъ еще пужна школа и школа. Но для „самосознанія“ требовалась дѣйствительная школа, съ необходимой для нея свободой изслѣдованія. Была ли эта свобода? Надеждинъ испыталъ по этому вопросу реальный *argumentum ad hominem*, когда журналъ его былъ запрещенъ и самъ онъ былъ высланъ въ Усть-Сысольскъ.

Надеждинъ пробылъ въ ссылке недолго, только годъ. Надо отдать справедливость тому времени, что въ Надеждинѣ оцѣнили научную силу, и дѣятельность его скоро возобновилась—въ другомъ примѣненіи. Онъ покинулъ съ тѣхъ поръ совсѣмъ литературную и публицистическую критику, которую велъ въ журналѣ, эстетику и археологію искусства, которыя читалъ въ университетѣ. Та „гибкость“, о которой упоминаетъ его біографъ, устроила ему совсѣмъ иную служебную и писательскую карьеру. Черезъ нѣсколько лѣтъ, редакторъ „Телескопа“ сдѣлался редакторомъ „Журнала министерства внутреннихъ дѣлъ“, (съ 1843) и своего рода свѣдущимъ чело-вѣкомъ по историческимъ и бытовымъ вопросамъ, по которымъ его спрашивали въ министерствѣ. Но основной интересъ его все-таки уцѣлѣлъ.

Труды Надеждина направились теперь въ особенности на науч-

ное изслѣдованіе той народности, которую доселѣ онъ защищалъ въ своей литературной критикѣ. Эти труды были обширны и разнообразны. Біографъ замѣчаетъ, что 1836—38 годы были едва ли не самые дѣятельные въ жизни Надеждина по числу напечатанныхъ трудовъ. Еще изъ Усть-Сысольска онъ прислалъ около ста статей, между прочимъ и обширныхъ, для „Энциклопедическаго Лексикона“ Плюшара: это были статьи по церковной исторіи, философіи и эстетикѣ, по древней и новой исторіи и литературѣ, по русской и славянской исторіи, географіи и этнографіи ¹⁾; и въ то же время напечаталъ въ „Библіотекѣ для Чтенія“ нѣсколько замѣчательныхъ изслѣдованій ²⁾.

По возвращеніи изъ Усть-Сысольска, Надеждинъ прожилъ нѣсколько лѣтъ на югѣ Россіи, въ дружескихъ отношеніяхъ съ почетелемъ одесскаго округа, Д. М. Княжевичемъ, и въ работахъ по древностямъ и исторіи этого края, въ основанномъ тогда „Одесскомъ обществѣ любителей исторіи и древностей“. Въ 1840—41 году, по порученію Княжевича, Надеждинъ сдѣлалъ обширное путешествіе по славянскимъ землямъ, и во время пребыванія въ Вѣнѣ напечаталъ статью о нарѣчіяхъ русскаго языка, до сихъ поръ не потерявшую своего значенія ³⁾. Въ 1842 году, онъ отправился въ Петербургъ и, какъ сказано, съ 1843 года сдѣлался редакторомъ журнала министерства внутреннихъ дѣлъ и ученымъ авторитетомъ министерства. Въ „Журналѣ“, кромѣ разнаго рода дѣловыхъ статей, напечатанъ былъ имъ новый рядъ цѣнныхъ трудовъ по географическому, этнографическому и статистическому изученію Россіи ⁴⁾.

Но гораздо болѣе широкая дѣятельность его по распространенію этнографическихъ изученій развилась въ Географическомъ Обществѣ. Если не ошибаемся, ему принадлежитъ значительная доля въ возбужденіи самой мысли объ этомъ учрежденіи, одной изъ главныхъ задачъ котораго должно было стать изученіе русскаго народа: во всякомъ случаѣ ему принадлежитъ большая заслуга въ постановкѣ этнографическихъ работъ Общества, которыя уже вскорѣ стали при-

¹⁾ Тома VIII—XII, буква В. Отмѣтимъ, напр., статьи: Венеды, Венды, Винды; Великая Россія; Версификація; Вель; Восточная католическая церковь, и друг.

²⁾ Б. для Чт. 1837: „Объ историческихъ трудахъ въ Россіи“; „Объ исторической истинѣ и достоверности“; „Опытъ исторической географіи русскаго міра“.

³⁾ Вѣнскія Jahrbücher der Litteratur, 1841, Bd. XCI.

⁴⁾ Отмѣтимъ слѣдующія статьи:—Новороссійскія Стены; Сѣверо-западный край имперіи въ прежнемъ и настоящемъ видѣ; Племя русское въ общемъ семействѣ Славянъ (т. I); Изслѣдованія о городахъ русскихъ: введеніе; вліяніе гражданственности азіатской; вліяніе гражданственности европейской (т. VI-VII);—объемъ и порядокъ обозрѣнія народнаго богатства, составляющаго предметъ хозяйственной статистики (томъ IX) и друг.

носить драгоценные научные результаты. Его имя не стоитъ въ числѣ учредителей потому только, что во время открытія Общества Надеждина не было въ Петербургѣ. По возвращеніи онъ прочелъ въ первомъ годовомъ собраніи Общества (въ ноябрѣ, 1846) статью „Объ этнографическомъ изученіи народности русской“¹⁾, котораго и представилъ примѣры. Этнографія справедливо казалась Надеждину самой существенной стороною въ дѣятельности новаго Общества: если понятіе „народности“ заявлялось правительственною властью, если оно становилось лозунгомъ литературныхъ направленій, если въ словесности поэтической появлялись уже правдивыя изображенія народной жизни и типовъ, то оказалась настоятельная необходимость въ научномъ изслѣдованіи народа, которое могло бы стать прочнымъ основаніемъ для этого, раскрывавшагося съ разныхъ сторонъ, интереса къ народности. Въ упомянутой статьѣ Надеждинъ указалъ теоретическій объемъ этнографіи съ такой широтой, какой у насъ еще не было выдано. Но для правильной постановки дѣла требовалась огромная масса наблюденій; нужно было содѣйствіе множества лицъ, изъ разныхъ краевъ Россіи, съ ихъ мѣстными указаніями и свѣдѣніями,—нужно было установить собраніе этихъ свѣдѣній по опредѣленному плану, съ отвѣтами на поставленные вопросы. Надеждинъ взялъ на себя составленіе первой программы и составилъ ее, при содѣйствіи нѣкоторыхъ другихъ членовъ Общества, въ 1847, и она была разослана, въ 7000 экземпляровъ, во всѣ края нашего отечества²⁾. „Эта разсылка, — говоритъ одинъ изъ участниковъ тогдашней дѣятельности Этнографическаго отдѣленія, — имѣла самыя утѣшительныя послѣдствія: со всѣхъ концовъ Россіи начали стекаться въ Общество мѣстныя этнографическія описанія, все болѣе интересныя и важныя. Число драгоценныхъ выводовъ увеличивалось почти съ самаго начала вызова личнымъ участіемъ Надеждина, съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ избранъ предсѣдательствующимъ въ отдѣленіи Этнографіи, въ концѣ 1848 г. (послѣ К. М. Бэра). Ни одного даровитаго вкладчика не оставлялъ онъ безъ привѣта и такими привѣтами и совѣтами вызывалъ ихъ къ новымъ трудамъ“. Впослѣдствіи оказалось, что программа не для всѣхъ была равно понятна, и Надеждинъ опять участвовалъ въ ея переработкѣ. Новая программа еще усилила доставку въ Общество мѣстныхъ свѣдѣній отъ людей всякихъ сословій, и это доставило матеріалъ для первыхъ этнографическихъ изданій Общества.

Надеждинъ принималъ вообще самое дѣятельное участіе въ изда-

¹⁾ См. „Записки Р. Географ. Общества“, книжка 2-я. Сиб. 1847, стр. 61—116; во 2-мъ изданіи этой книжки, стр. 144 и слѣд.

²⁾ Двадцатипятилѣтіе И. Р. Геогр. Общества, 13 января 1871, Сиб. 1872, стр. 49.

ніяхъ Географическаго Общества. Онѣ начались „Записками“, которыя, выходя безерочными выпусками, не могли давать своевременныхъ извѣстій о трудахъ Общества, новостей о предметахъ его занятій, и поддерживать интересъ къ нимъ въ большой публикѣ, которая тогда, при подавленности всякой общественной жизни, относилась къ Географическому Обществу съ большимъ сочувствіемъ. Надеждинъ съ марта 1848 г. сталъ редакторомъ „Географическихъ Извѣстій“, которымъ умѣлъ придать большое ученое достоинство и которыя издавались въ теченіе трехъ лѣтъ, до 1851, когда онѣ прервались въ „Вѣстникъ“, расширенный въ объемѣ, но издававшійся по той же основной программѣ.

Наконецъ, Этнографическое отдѣленіе въ 1850 г. опредѣлило приступить къ обнародованію собиравшагося матеріала. Рѣшено было, отдѣливъ для особаго изданія свѣдѣнія объ инородцахъ, изъ прочихъ этнографическихъ описаній, относящихся собственно къ русскому племени, издать вполнѣ только тѣ, которыя подробно и основательно отвѣчаютъ на всѣ или, по крайней мѣрѣ, на ббольшую часть пунктовъ программы; а изъ остальныхъ составить систематическіе своды или сборники. Первый томъ этого „Этнографическаго Сборника“ (состоящій изъ цѣльныхъ описаній) вышелъ въ 1853. году подъ редакціей Надеждина и Кавелина.—Въ этомъ году, какъ упомянуто въ предисловіи „Сборника“, присылка мѣстныхъ описаній въ Общество дошла до *двухъ тысячъ* номеровъ, и если прибавить, что весьма многіе номера заключали описанія нѣсколькихъ мѣстностей, то по этому можно судить о массѣ матеріала, доставленнаго въ Общество въ какія-нибудь пять лѣтъ послѣ разсылки программы.—Шесть томовъ „Сборника“, смѣненнаго потомъ „Записками по отдѣленію этнографіи“, въ нѣсколькихъ томахъ, были результатомъ дѣятельности „Отдѣленія“, въ началѣ разумно поставленной Надеждинымъ.

„Постояннымъ убѣжденіемъ Надеждина было, — говоритъ Срезневскій, — сознаніе необходимости раздробить обработку (этнографическаго матеріала) на нѣсколько отдѣльныхъ независимыхъ трудовъ. Онъ старался и умѣлъ возбуждать такіе труды“... „Надъ однимъ изъ этихъ трудовъ работалъ я съ нимъ вмѣстѣ“, прибавляетъ Срезневскій, разумѣя, вѣроятно, трудъ надъ исторіей русскаго языка или собственно надъ его древнимъ періодомъ... Безъ сомнѣнія, подъ вліяніемъ этого убѣжденія Надеждина, отдѣленіе Этнографіи приняло постановленіе, результатомъ котораго былъ одинъ изъ лучшихъ трудовъ по изученію русской народности за послѣднія десятилѣтія, трудъ, остающійся незамѣненнымъ понынѣ, именно изданіе „Народныхъ Русскихъ Сказокъ“, А. Н. Афанасьева. Географическое Об-

щество, по опредѣленію своего совѣта (въ февралѣ 1852), рѣшило передать въ распоряженіе Аванасьева накопившееся у него собраніе народныхъ сказокъ, которыми онъ и воспользовался для своего изданія ¹⁾. Многія изъ сказокъ были здѣсь записаны прекрасно, и вообще это собраніе доставило главнѣйшій матеріалъ для изданія Аванасьева, перваго, и донныѣ послѣдняго, обширнаго и научно-исполненнаго изданія русскихъ сказокъ. Подобнымъ образомъ, Даль воспользовался рукописями, поступившими въ отдѣленіе Этнографіи, для своего „Толковаго словаря живого великорусскаго языка“; Безсоновъ—для изданія духовныхъ стиховъ; Мельникову были переданы матеріалы Общества и бумаги самого Надеждина о Мордвѣ ²⁾.

Надеждинъ приступалъ и къ обобщающимъ изслѣдованіямъ. Таковъ былъ его трактатъ: „О русскихъ народныхъ мѣтахъ и сагахъ, въ примѣненіи ихъ къ географіи и особенно къ этнографіи русской“, извлеченіе изъ котораго было прочитано имъ въ Обществѣ 30 ноября 1852 г. ³⁾. Чтеніе Надеждина состоялось въ собраніи, гдѣ было не мало высокопоставленныхъ лицъ, и произвело большое впечатлѣніе. „Несмотря на двухчасовое чтеніе, — говоритъ Савельевъ, — статья Надеждина приковала къ себѣ вниманіе блестящей и ученой аудиторіи; это торжественное введеніе русскихъ сказокъ въ область науки, съ такими занимательными подробностями, умными наведеніями, неожиданными выводами и увлекательнымъ изложеніемъ, поразило всѣхъ. По окончаніи чтенія... всѣ члены спѣшили принести поздравленія и изъявить свои чувства удивленія оратору. Это была истинная овація, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, это была, говоря классически, и лебединая пѣснь Надеждина“. Вскорѣ постигла его тяжкая болѣзнь, отъ которой онъ уже не оправился.

Должно упомянуть, наконецъ, объ особыхъ работахъ Надеждина по изученію русской народной жизни, которыя произведены были имъ по официальнымъ служебнымъ порученіямъ министерства внутреннихъ дѣлъ. Онѣ относились къ раскоду, и изъ официальной тайны вышли двѣ: первая—„Изслѣдованіе о скопческой ереси“ (Спб. 1845), изданное тогда въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ для официального употребленія ⁴⁾; вторая — записка „О заграничныхъ

¹⁾ „Нар. Русскія Сказки“, Аванасьева, вып. I, Москва, 1855, стр. IX—X. „Вѣстникъ Р. Геогр. Общества“, 1852, стр. 61 приложений.

²⁾ „Двадцатипятилѣтіе И. Р. Геогр. Общества“, стр. 55, 224—225.

³⁾ См. „Вѣстникъ Р. Геогр. Общ.“ 1853, ч. VII, отдѣлъ IX, приложение, стр. 2—6. Въ цѣломъ статья была напечатана уже по смерти Надеждина, въ „Р. Бесѣдѣ“, 1857.

⁴⁾ Перепечатано было въ „Сборникъ правительственныхъ свѣдѣній о раскольникахъ“, Кельсиева, вып. III, 1862, 240 и 92 стр. Прибавленія (В. К.), стр. 1—18.

раскольникахъ" (1846), именно о раскольникахъ, поселившихся въ Пруссіи, Австріи, Молдаво-Валахіи и въ Турціи ¹⁾. Въ первой изъ этихъ записокъ Надеждинъ собралъ обширныя обще-историческія свѣдѣнія о предметѣ, и затѣмъ разработалъ собственно русскіе матеріалы, собранныя въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ изъ полицейскихъ разслѣдованій о сектѣ. Для изслѣдованій о раскольникахъ заграничныхъ онъ предпринялъ особое путешествіе, точнѣе, получилъ „командировку“ въ 1845—46 г. Не говоря о первомъ изъ этихъ трудовъ, предметъ котораго такъ уродливо исключителенъ, что не можетъ допустить различныхъ точекъ зрѣнія, нельзя не остановиться на второмъ, предметъ котораго тѣсно связанъ съ обширнымъ и старымъ историческимъ явленіемъ народной жизни. Записка о заграничныхъ раскольникахъ чрезвычайно любопытна по свѣдѣніямъ, въ ней собраннымъ, о поселеніяхъ нашихъ раскольниковъ „за рубежомъ“ и о томъ броженіи, которое шло въ тѣ годы между австрійскими „липованами“ наканунѣ основанія бѣлокриницкой іерархіи; но съ другой стороны записка поражаетъ своимъ отношеніемъ къ предмету. Какъ извѣстно, царствованіе императора Николая было періодомъ усиленнаго преслѣдованія раскола во всѣхъ его видахъ; дѣла по расколу вѣдались, кромѣ духовнаго вѣдомства, свѣтской властью, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Власть слѣдила за расколомъ съ особеннымъ и строгимъ вниманіемъ; дѣла о расколѣ производились „секретно“, какъ дѣла государственной важности; расколъ выслѣживали и искореняли, или старались искоренять, какъ величайшее зло; оба вѣдомства соперничали въ ревности и въ нетерпимости; низшіе агенты обоихъ вѣдомствъ, по указанію сверху, усердствовали въ притѣсненіяхъ и обыкновенно дѣлали для себя изъ раскола — доходную статью. Понятно, что отъ „общественнаго мнѣнія“ этотъ вопросъ былъ совершенно закрытъ; о печати нечего и говорить. Все это создавало положеніе раскольниковъ дѣла — крайне тягостное, непривлекательное и даже отвратительное. Какъ отнесся къ этому вопросу Надеждинъ?—За недостаткомъ свѣдѣній не можемъ сказать, каковъ былъ въ сущности его взглядъ на расколъ, насколько искренно могъ онъ раздѣлять господствовавшую точку зрѣнія и насколько играла здѣсь роль упомянутая „гибкость“;— но записка о заграничныхъ раскольникахъ, со стороны взглядовъ автора на дѣло, оставляетъ впечатлѣніе крайне несимпатичное. Авторъ вполне примыкаетъ къ взглядамъ упомянутыхъ вѣдомствъ — та же крайняя нетерпимость, вражда и злорѣдство, которымъ дается еще оружіе учености и таланта; ни одной смягчающей, умѣряющей

¹⁾ Напечатана въ томъ же „Сборникѣ“, вып. I, 1860, стр. 75—137.

мысли, которой можно было бы ждать отъ писателя, такъ много изучавшаго исторію. На первыхъ, вводныхъ, страницахъ авторъ изображаетъ заграничныя поселенія раскольниковъ, покинувшихъ родину, чтобы сберечь вѣру, въ такой картинѣ: расколъ, это — „язва“ („заражающая понинѣ исключительно великороссіянъ“), которая „не только имѣетъ обширныя гнѣздилища на всемъ пространствѣ запада русскаго, но и внѣ предѣловъ настоящаго объема Россійской имперіи, вдоль всей западной ея современной границы, обложилась *струпомъ*, свойства самаго злокачественнаго и тѣмъ болѣе опаснаго, что тутъ внѣ всякаго надзора и *почеченія* (?), подъ вліяніями непріязненными и злорадными ничто не препятствуетъ ему гноиться и смердѣть (!) всегда больною, никогда не заживающею раню“... И однако, въ самомъ изложеніи, по чувству правдивости авторъ не могъ не признать, что эти „липоване“, изображаемые столь отталкивающимъ образомъ, — хорошіе, мирные, трудолюбивые люди, свито хранящіе русскую народность; что нѣкогда императоръ Александръ I, бывши въ Черновицахъ въ 1816 г., „изволилъ *любоваться* этой необыкновенной сбереженностью русской національности въ липованахъ, представленныхъ его величеству... удостоилъ ихъ нѣкоторыхъ разспросовъ о житьѣ-бытьѣ ихъ и отпустилъ съ щедрыми подарками“. Надеждинъ провелъ между ними нѣсколько мѣсяцевъ, стараясь пріобрѣсти ихъ довѣріе, чтобы собрать нужныя для особыхъ цѣлей свѣдѣнія, и успѣвалъ въ этомъ: но какая же была его роль—любопытнаго ученаго этнографа, любящаго народъ изслѣдователя? Нѣтъ, это была роль лазутчика. Въ концѣ того же введенія, гдѣ онъ характеризовалъ липованъ какъ смердящій струпъ, онъ указываетъ, какъ мало до тѣхъ поръ было извѣстно объ этихъ раскольникахъ, ихъ сектахъ и толкахъ, ихъ образѣ жизни, наконецъ, о томъ, „что всего важнѣе, какъ относятся они къ своимъ собратіямъ и единомышленникамъ въ предѣлахъ Россіи“, и заключаетъ: „Смѣю ласкать себя надеждою, что представляемыя здѣсь свѣдѣнія о нынѣшнихъ заграничныхъ раскольникахъ, собранныя очевиднымъ наблюденіемъ и живыми, личными разспросами на мѣстѣ, во время шестимѣсячнаго пребыванія *между ними, въ ихъ селеніяхъ и домахъ*, будутъ, по крайней мѣрѣ, имѣть занимательность новости“.—Ограничимся этими выписками; въ запискѣ есть, среди умолчаній, намеки о томъ, какъ онъ, живя „между ними, въ ихъ селеніяхъ и домахъ“, вывѣдывалъ и испытывалъ, тщательно скрывая цѣль своихъ розысковъ...

Въ литературной и официальной дѣятельности Надеждина намъ встрѣтились мало-сочувственныя черты, которыхъ источникъ заклю-

чается въ томъ, что Надеждинъ — искренно или неискренно — повторялъ обычную фразеологию тогдашней официальной народности и услужливо развивалъ бюрократическіе взгляды на народность, мало подобавшіе мыслящему ученому, какимъ онъ долженъ былъ быть по свойствамъ ума и по пройденной школѣ.

Но отвлекаясь отъ этой стороны, несущей на себѣ печать времени и помѣшавшей болѣе широкому вліянію его труда, нельзя не оцѣнить въ его дѣятельности большого поворота въ изученіяхъ русской народности. Это былъ ученый, поставившій изученіе русской народности, вмѣсто прежней дилеттантской и сентиментальной точки зрѣнія, на почву обще-историческаго и этнографическаго изслѣдованія, освѣщаемаго критикой. По своимъ идеямъ, Надеждинъ былъ очевидный рационалистъ. Въ „автобіографіи“ онъ самъ прекрасно разъясняетъ ходъ своего умственнаго воспитанія, предшествовавшій его вступленію на литературное и профессорское поприще. Онъ учился въ семинаріи и московской духовной академіи; рѣдкія способности дали ему прочно овладѣть той богословско-схоластической наукой, какая преподавалась въ этихъ заведеніяхъ. Но вступая въ академію (15-ти-лѣтнимъ мальчикомъ!), Надеждинъ читалъ уже Канта и другихъ новыхъ нѣмецкихъ философовъ, и въ пробной латинской диссертациі, которую задали поступающимъ студентамъ, онъ „со всѣмъ юношескимъ жаромъ возсталъ на Вольфа и вообще на эмпиризмъ, главную характеристическую черту основанной имъ школы“. Вольфъ былъ—непререкаемый авторитетъ въ училищѣ, имъ только что покинутомъ. Въ академіи, гдѣ его профессоромъ былъ извѣстный протоіерей Голубинскій, господствовала уже иная ступень философскаго знанія. Подготовленный Кантомъ, Надеждинъ занимался философіей въ духѣ новыхъ нѣмецкихъ школъ (до Гегеля). „Тутъ, — говоритъ онъ, — развился во мнѣ и обще-историческій взглядъ на развитіе рода человѣческаго, который (взглядъ) профессоръ Голубинскій примѣнялъ не къ одной только философіи. Тутъ я началъ понимать, что въ событіяхъ, составляющихъ содержаніе исторіи, есть мысль, что это—не сѣвленіе простыхъ случаевъ, а выработка идей, совершаемая родомъ человѣческимъ постепенно, согласно съ условіями мѣста и времени. Вслѣдствіе того, я началъ заниматься и вообще изученіемъ исторіи гражданской и церковной, хотя официально шелъ въ академіи не по историческому, а по математическому отдѣленію“. Но это была только половина его школы. Кончивъ курсъ, онъ, нѣсколько времени спустя, принялъ мѣсто домашняго наставника въ домѣ у одного большого барина. У Надеждина (ему было тогда 22 года) стала развиваться и вѣрннуть мысль о продолженіи своего умственнаго образованія. „Къ этому, по счастью, были у меня

подъ руками средства. Въ домѣ была богатая бібліотека, составленная преимущественно изъ новѣйшихъ французскихъ книгъ, такихъ, которыхъ я дотолѣ и *съ глаза не видывалъ*. Я принялся ихъ читать, и началъ, какъ теперь помню, съ Гиббонова „*Décadence et chute de l'Empire Romain*“, во французскомъ переводѣ Гизо... Я не могъ оторваться отъ него и прочелъ дважды отъ доски до доски, отъ первой страницы до послѣдней. Удивленіе мое было неописанное, когда я на каждой страницѣ или, лучше, на каждой почти строкѣ, видѣлъ имена и факты, совершенно мнѣ неизвѣстные, но въ свѣтѣ такомъ, который никогда не былъ мною и подозрѣваемъ. Весь образъ мыслей моихъ, который уже сомнѣвать былъ въ нѣкоторую систематическую цѣлость и стройность, *вдругъ перевернулся*: я понялъ, что одна и та же вещь совершенно измѣняется по мѣрѣ того, какъ будешь ее разсматривать. Значительные интересы, которые я считалъ уже вполне удовлетворенными академическимъ курсомъ, воскресли во мнѣ съ новою силою... За Гиббономъ слѣдовали Гизо, Сисмонди, Галламъ. „Все это дало мнѣ способы переработать прежній запасъ историческихъ моихъ свѣдѣній по новымъ взглядамъ. Но и прежде было во мнѣ заложено такъ прочно, что не разрушилось, а только просвѣтлилось и украсилось новою, облагородствованною фізіономією. Вспоминая теперь минувшее, я сознался, какъ важна была въ исторіи моего образованія его первоначальная двойственность, шедшая путемъ правильнаго развитія. Не будь положенъ во мнѣ сначала школьный фундаментъ старой классической науки, я бы потерялся въ такъ называвшихся тогда высшихъ взглядахъ, новыхъ романтическихъ мечтаніяхъ, которыя были à l'ordre du jour. Теперь, напротивъ, эти новыя приобрѣтенія вѣка настлались во мнѣ на прочное основаніе“...

Не мудрено, что господствовавшій тогда „романтизмъ“, соединявшійся у многихъ съ представленіемъ о власти поэтическаго произвола въ дѣлѣ искусства, могъ показаться ему поверхностнымъ и не выдерживающимъ критики. Дѣйствительно, внесенные имъ въ критику историческій взглядъ, философское объясненіе искусства и требованіе вниманія къ народной дѣйствительности стали выше романтической теоріи и послужили исходнымъ пунктомъ для критики Бѣлинскаго. Съ другой стороны, критическій трудъ Надеждина направился на русскую этнографію. Въ ту пору наша этнографія, какъ наука, находилась въ зачаточномъ состояніи: появлялись уже изданія Сахарова, Максимовича, Срезневскаго, отдѣльные этнографическіе труды Ходаковскаго, Снегирева, Терещенка, Даля,—но или они были чисто собирательные, или теорія, которая къ нимъ болѣе или менѣе подкладывалась, была случайная, болѣе угадываемая, чѣмъ

доказанная. Нужно было еще создать этнографическую науку, указать ее теоретическія основы, объемъ, требованія и приемы, указать значеніе ея матеріала и способъ наблюденія. Вопросъ не былъ легкій. Содержаніе этнографіи (какъ и содержаніе археологіи) можетъ опредѣляться, и дѣйствительно опредѣлялось, весьма различно—отъ спеціальнаго описанія народнаго быта до цѣлой, почти безпредѣльной, науки о внутренней жизни народа, до „народной психологіи“. На первыхъ порахъ, важность этнографическихъ изслѣдованій вообще и въ Россіи была указана первымъ „управляющимъ“ отдѣленіемъ Этнографіи (какъ они тогда назывались), извѣстнымъ академикомъ Баромъ ¹⁾. Затѣмъ, Надеждинъ ближе выяснилъ вопросъ въ упомянутой выше статьѣ „объ этнографическомъ изученіи народности русской“. Надеждинъ указалъ здѣсь обширный объемъ науки и ея развѣтвленія по разнымъ сторонамъ народной жизни. Въ нашей литературѣ онъ впервые намѣтилъ вопросъ объ изученіи самого историческаго образованія народности, — вовсе не такого простого, какъ обыкновенно кажется, — объяснилъ необходимость изученія народности со стороны историко-географической, со стороны народной психологіи, археологіи, быта и пр., и пр. Кромѣ этого теоретическаго опредѣленія науки, большой заслугой были его различныя изслѣдованія для нашей этнографіи: нѣсколько образцовыхъ трудовъ по исторической географіи, указанія объ исторической формации русской народности ²⁾; замѣчательная постановка вопроса о мѣстныхъ нарѣчіяхъ русскаго языка; очень новыя тогда въ нашей литературѣ свѣдѣнія о русскихъ вѣхъ Россіи; составленіе этнографической программы; вызовъ и разработка этнографическаго матеріала, собравшагося въ Географическомъ Обществѣ. Надеждинъ владѣлъ въ кругу тогдашнихъ изслѣдователей большимъ, самымъ крупнымъ, авторитетомъ, передъ которымъ преклонялись и люди, впрочемъ весьма самоувѣренныя. Направленіе его въ этой области можно характеризовать какъ этнографическій прагматизмъ, и его дѣятельности въ средѣ Географическаго Общества надо приписать большую долю того улучшенія приемовъ наблюденія и собранія, какое является въ по-

¹⁾ Записки Геогр. Общ., кн. I, стр. 93—115. Извѣстна другая блестящая статья Бара: „О вліяніи вѣшной природы на соціальныя отношенія отдѣльныхъ народовъ и исторію человѣчества“ (въ „Карманной книжкѣ для любителей землѣдѣнія“, изд. 1849, стр. 195—236).

²⁾ Надеждинъ вообще придавалъ великое значеніе этой сторонѣ этнографическихъ изученій. „Между этнографіею и исторіею, — писалъ онъ, — существуетъ постоянное, непрерывное соотношеніе и взаимодействіе: если исторія, въ своемъ развитіи, неизбежно опредѣляется положительною этнографическою наличностью, то и этнографія, въ складѣ своего наличнаго содержанія, всегда болѣе или менѣе руководствуется историческою памятливіестью“.

слѣдующихъ трудахъ нашихъ изыскателей. Онъ искалъ непосредственныхъ, точныхъ фактовъ и ихъ ближайшей первоначальной критикой. Таково и изслѣдованіе о „русскихъ народныхъ мѣсахъ и сагахъ“: редакція „Русской Бесѣды“, печатаая этотъ трудъ Надеждина, находила, что его изслѣдованіе „не вполне соответствуетъ не только справедливымъ требованіямъ науки, но даже и современному состоянію ея въ Россіи“, и дѣйствительно, изслѣдованіе мѣса уже начало воспринимать у насъ новый методъ, укрѣпившійся въ нѣмецкой наукѣ; но справедливость требуетъ сказать, что въ ту пору, когда было писано сочиненіе Надеждина, русская наука едва только дѣлала попытки употребленія новаго метода. Введеніе этого новаго метода, углубившаго этнографическія изслѣдованія въ области народнаго преданія, было уже дѣломъ новаго научнаго поколѣнія.

ГЛАВА VIII.

И. П. САХАРОВЪ.

Биографія.—Историческія мнѣнія.—Понатія его о народности.—Сказанія русскаго народа: мѣологія; черноокнижіе и суевѣрія; пѣсни; сказки и проч.—Характеръ его понатій.

Первыя изданія Сахарова появились въ началѣ 1830-хъ годовъ, и съ тѣхъ поръ онъ сталъ приобрѣтать все ббольшую извѣстность, какъ особенный, въ своемъ родѣ почти единственный знатокъ русской народности, т. е. быта, преданій, обычаевъ, пѣсенъ, сказокъ и всякой старины. Эта популярность его имени и изданій удерживалась почти до половины 1850-хъ годовъ,—а именно до новыхъ обширныхъ предпріятій по изданію и истолкованію народнаго поэтическаго и бытового содержанія. До того времени, тексты и свидѣтельства Сахарова считались въ ряду авторитетныхъ источниковъ для ученыхъ и литературныхъ выводовъ о русской народности. Теперь очень рѣдко встрѣтится цитата изъ Сахарова, — и не только потому, что явилось много новыхъ источниковъ; ретроспективная критика иначе взглянула не только на его мнѣнія, но и на самое качество многихъ его текстовъ, и отвергла ихъ какъ неточные или даже фальшивые.

Для своего времени Сахаровъ есть этнографъ, весьма типическій. Этнографическая наука едва начиналась. Стремленіе изучать народъ было въ воздухѣ; но матеріалъ, приемы изученія были выяснены такъ мало, что часто приходилось идти ощупью и наугадъ; народность оффиціальная, отголоски романтизма, даже просто нелюбовь къ новизнѣ у людей „старого вѣка“, создавали настроеніе, въ которомъ старина народная представлялась наиболѣе ревностнымъ adeptамъ въ таинственномъ, почти мистическомъ свѣтѣ, какъ нѣчто священное, патриархально-мудрое, въ чемъ скрытъ палладіумъ истинной національности, свободной отъ всякой порчи заморскими хитро-

стами. Сахаровъ, самоучка въ этнографіи, тѣмъ больше подчинился этому настроенію, гдѣ темное національное стремленіе пока очень мало проявлялось знаніемъ и критикой; эти смутныя представленія видимо отражались на его трудахъ и, какъ увидимъ далѣе, чрезвычайно имъ повредили.

Біографія Сахарова, по нашему обыкновенію, не написана тѣми, кто могъ бы (даже теперь) написать ее ¹⁾. Съ внѣшней стороны, она была немногосложна. Сахаровъ (род. 1807), тульскій уроженецъ, былъ сынъ священника; учился въ семинаріи; кончивъ тамъ курсъ въ 1830 году, былъ уволенъ изъ духовнаго званія и поступилъ въ московскій университетъ по медицинскому факультету. Кончивъ тамъ курсъ въ 1835, Сахаровъ былъ назначенъ „для практики“ въ московскую городскую (или точнѣе, „градскую“) больницу, отсюда вскорѣ перечисленъ въ университетскіе медики и, прослуживъ здѣсь годъ, перешелъ на службу врачомъ въ почтовый департаментъ, въ 1836—1837 г. перебрался въ Петербургъ, гдѣ съ тѣхъ поръ и работалъ.

Труды Сахарова начали появляться съ 1830 года. Возбужденный чтеніемъ Карамзина, онъ занялся мѣстной исторіей, печаталъ въ „Галатѣ“, въ „Телеграфѣ“ и „Русской Вивліооніѣ“ Полевого матеріалы, касавшіеся тульской старины ²⁾. При малочисленности любителей народной старины въ то время, имя Сахарова было замѣчено и по этимъ опытамъ; но настоящая и вскорѣ очень обширная извѣстность его пошла съ тѣхъ поръ, какъ онъ съ 1836 года началъ издавать „Сказанія русскаго народа“, за которыми слѣдовали „Путешествія русскихъ людей“, „Пѣсни русскаго народа“, „Записки

¹⁾ Матеріалъ для біографіи представляютъ теперь нѣсколько некрологовъ: „Воспоминаніе объ И. П. Сахаровѣ“, Срезневскаго, въ Запискахъ Акад. Наукъ, 1864, кн. 2, стр. 239—244.

— Иллюстрированная Газета, 1864, № 1, стр. 1, портретъ, стр. 10, короткій некрологъ.

— Тульскія епарх. вѣдомости, 1864, № 5 (ми ихъ не имѣли подъ руками).

— Р. Архивъ 1865, № 1, стр. 123 (Свидѣнія о р. писат., Геннади).

— „Для біографіи Сахарова“, съ отрывками его воспоминаній и нѣкоторыми призываніями его друга, П. И. Саввантова, въ „Р. Архивѣ“, 1878, стр. 897—1017. Это—наиболѣе важный до сихъ поръ матеріалъ.

— „Русскіе палеологи сороковнхъ годовъ“, Н. Барсукова (въ „Др. и Н. Россіи“, 1880, в отдѣльно), гдѣ издана переписка Сахарова съ Кубаревымъ, Ундольскимъ и Бодянскимъ.

²⁾ Отдѣльно были изданы: „Достопамятности Венева монастыря“, М. 1831 (брошюра, 26 стр.); „Исторія общественнаго образованія тульской губерніи“, ч. I. М. 1832, съ планами и картой. Это послѣднее изданіе осталось неконченнымъ; отрывокъ изъ второй части былъ напечатанъ въ „Современникѣ“ 1837, т. VII, стр. 295—325.

русскихъ людей“, „Сказки“, далѣе, рядъ библиографическихъ трудовъ по старой литературѣ и изслѣдованій археологическихъ¹⁾, нѣсколько статей въ „Энциклопедическомъ Лексиконѣ“ Плюшара, статьи и матеріалы въ журналахъ.

Этотъ рядъ изданій, при всѣхъ недостаткахъ, видныхъ теперь, свидѣтельствовалъ о замѣчательномъ трудолюбіи и предпримчивости издателя и среди начавшихся въ литературѣ толковъ о народности, — для которой еще затруднялись найти опредѣленіе, — не могъ не произвести впечатлѣнія. Сахаровъ быстро приобрѣлъ извѣстность знатока: на него ссылались, изъ него заимствовали, когда шла рѣчь о старинѣ, о преданіяхъ, пѣсняхъ народа и т. п., по его матеріалу судили о характерѣ народно-поэтической старины, начинали комментировать этотъ матеріалъ и т. д. „Кто жилъ въ то время, не чуждаясь литературы, — говоритъ Срезневскій, самъ тогда же начинавшій свое этнографическое поприще, — тотъ знаетъ, какъ сильно было впечатлѣніе, произведенное книгами Сахарова, особенно книгами Сказаній русскаго народа — не только между любителями старины и народности, но и вообще въ образованномъ кругу. Никто до тѣхъ поръ не могъ произвести на русское читающее общество такого вліянія въ пользу уваженія къ русской народности, какъ этотъ молодой любитель. Не поразилъ онъ основательною ученостью, не поразилъ онъ и многообразіемъ соображеній; но множество собранныхъ имъ данныхъ было такъ неожиданно велико и по большей части, для многихъ, такъ ново, такъ встаетъ въ то время, когда въ русской литературѣ впервые заговорили о народности, и притомъ же увлеченіе ихъ собирателя, высказавшееся во вводныхъ статьяхъ, было такъ искренно и рѣшительно, что остаться въ числѣ равнодушныхъ было трудно. Замѣчательно, что и многоначитанный и трудолюбивый И. М. Снегиревъ, издавшій въ это же время лучшіе свои труды, уже прежде приобрѣтшій себѣ извѣстность... большинствомъ читателей былъ ставимъ не такъ высоко, какъ Сахаровъ“.

Когда въ 1841 вышло новое изданіе „Сказаній“ (первый томъ), гдѣ въ одномъ „томѣ“ соединено было четыре „книги“, съ большимъ

¹⁾ „Сказанія русскаго народа о семейной жизни своихъ предковъ“. Ч. I. Спб. 1836 (изд. 2-е, 1837). Ч. II. Спб. 1837. Ч. III, кн. 2. Спб. 1837. „Сказанія“ и пр. изд. 3-е. Т. I (книги 1—4). Спб. 1841. Томъ II (книги 5—8). Спб. 1849.

— „Путешествія русскихъ людей въ чужія земли“. Ч. I. (два изданія). Ч. II. Спб. 1837.

— „Пѣсни русскаго народа“. Ч. I—II. Спб. 1838. Ч. III—V. Спб. 1839. Книжки въ 36-ю долю л.

— „Записки русскихъ людей“. Спб. 1841.

— „Русскія народныя сказки“. Часть I. Спб. 1841, въ 12°. Второй части не было.

обиліемъ матеріала по старинѣ и народности, на читателей и критиковъ сильное впечатлѣніе произвело предисловіе, въ которомъ Сахаровъ излагалъ весь планъ предпринятаго имъ изданія ¹⁾. Это была цѣлая энциклопедія для изученія народности и старины, до тѣхъ поръ еще никѣмъ не указанная съ такихъ разнообразныхъ сторонъ, — и критики пришли въ изумленіе отъ обширности начатого труда и отъ неожиданнаго обилія отрывавшихся матеріаловъ для историческаго изученія народности въ литературѣ ²⁾. Срезневскій, которому вѣроятно и тогда были видны многія ненаучныя странности плана и исполненія „Сказаній“, въ своемъ „Воспоминаніи“ такимъ образомъ передаетъ впечатлѣніе, произведенное въ свое время изданіемъ Сахарова. „Мало кого смутилъ беспорядокъ расположенія, — говоритъ онъ, — и то, что многія изъ книгъ „Сказаній народа“ ни въ какомъ смыслѣ не подходятъ своимъ содержаніемъ подь понятіе

¹⁾ Планъ былъ таковъ. Все изданіе должно было заключать, въ семи томахъ, тридцать книгъ слѣдующаго содержанія:

Томъ I. Книги: 1, Русская народная литература. 2, Очерки семейной русской жизни. 3, Русскія народныя пѣсни. 4, Памятники древней русской литературы.

II. Книги: 5, Старые словари русскаго языка. 6, Русскія народныя свадьбы. 7, Русская народная годовщина. 8, Путешествія русскыхъ людей.

III. Книги: 9, Русская народная демонологія. 10, Словари русскыхъ областныхъ нарѣчій. 11, Русскія народныя охоты. 12, Сказанія о русскомъ народномъ врачеваніи.

IV. Книги: 13, Русская народная символика. 14, Лѣтопись русской библиографіи. 15, Русскія народныя повѣрія и примѣты. 16, Русскія народныя пословицы.

V. Книги: 17, Лѣтопись древнихъ искусствъ и художествъ. 18, Лѣтопись славяно-русскихъ типографій. 19, Лѣтопись русской литературы. 20, Русскія народныя сказки.

VI. Книги: 21, Записки русскыхъ людей. 22, Обзорніе древняго русскаго права. 23, Обзорніе русскыхъ гербовъ и печатей. 24, Русскія народныя одежды.

VII. Книги: 25, Родословная книга русскыхъ дворянскихъ родовъ. 26, Лѣтопись русской нумизматики. 27, Образцы великорусскихъ, бѣлорусскихъ и малорусскихъ нарѣчій. 28, Славяно-русская миеология. 29, Русскіе разрядные списки. 30, Приложенія и указатели.

²⁾ Приводимъ для образчика нѣсколько словъ изъ рецензіи „Сказаній“ въ „Современникѣ“ Плетневскомъ, который считался тогда органомъ такъ-называющагося аристократическаго литературнаго круга:

„Вотъ предпріятіе, — говорилось тамъ, — котораго исполненіемъ могла бы заслужить всеобщую признательность и справедливую славу какаго-нибудь академія, — предпріятіе почти на цѣлую жизнь частнаго человѣка... Просматривая одни заглавія книги его, начинаешь постигать всю важность, всю великость идеи литературы. Она одва возсоздаетъ для потомства исчезнувшую жизнь предковъ“ и т. д. („Соврем.“ 1841, т. XXII, стр. 39—41).

Ср. подобный отзывъ въ журналѣ другого круга, „Отеч. Запискахъ“ 1841 (Сочин. Балнсаго, т. V, изд. 2-е, стр. 311—317, и тамъ же о „Сказкахъ“ Сахарова, стр. 317—319).

о сказаніяхъ народа; а масса обѣщаннаго, важнаго, нужнаго, новаго, желаннаго и неожиданнаго не могла не поразить. Явились, конечно, и такіе читатели, которые не повѣрили, чтобы Сахаровъ дѣйствительно занимался всѣмъ тѣмъ, чему хотѣлъ дать мѣсто въ своемъ сборникѣ; но сравнительно ихъ было очень мало. Большинство Сахарову довѣряло, и не напрасно: прежнія изданія, выходяшія одно вслѣдъ за другимъ чуть не непрерывно, были такъ разнообразны, что увеличеніе разнообразія содержанія новаго неизданнаго вдвое, втрое не казалось для Сахарова невозможнымъ, а только радовало и располагало къ нему⁴.

Правда, второй томъ „Сказаній“ послѣдовалъ за первымъ только въ 1849, а третій остался неизданнымъ; но въ послѣдующихъ работахъ Сахаровъ продолжалъ наполнять различныя рубрики своего плана.

Рядъ новыхъ изысканій Сахарова направился на библиографическія и чисто археологическія изслѣдованія. Еще съ тридцатыхъ годовъ онъ сталъ заниматься литературой рукописей, библиографіей старопечатныхъ изданій, затѣмъ исторіей иконописанія, церковнаго пѣнія, нумизматикой, родословіемъ, геральдикой и т. д. ¹⁾

Въ 1847, Сахаровъ сталъ членомъ Географическаго Общества, въ 1848—Археологическаго. Въ первомъ онъ работалъ, кажется, мало, но во второмъ былъ очень дѣятеленъ. Его сотоварищи по Археологическому обществу указываютъ его заслугу въ томъ, что онъ приглашалъ къ дѣятельности для Общества — людей, которые могли взяться за описаніе памятниковъ или сообщать о нихъ свѣдѣнія; что онъ пріискивалъ задачи для премій и находилъ лицъ, готовыхъ жертвовать на это деньги; наконецъ, что по его почину начато было

¹⁾ Славяно-русскія рукописи. Спб. 1839, 32 стр. 8°. Напечатано было въ большомъ числѣ экз. и въ продажѣ не было.

— Современная хроника русской нумизматики (Сѣв. Пчела, 1839, № 69—70; также № 125); Лѣтопись русской нумизматики. Спб. 1842, 4°, съ 12 снимками; 2-е изд. 1851.

— Русскіе древніе памятники. Спб. 1842, 4°, съ 9 снимками изъ старопечатныхъ книгъ.

— Русское церковное пѣснопѣвіе, въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1849, № 2, 3, 7.

— Обзорѣніе славяно-русской библиографіи. Томъ I, кн. 2-я (вып. 4-й). Спб. 1849. Первые три выпуска не были допечатаны; изготовленные 104 снимка съ рукописей и печатныхъ книгъ не были, по какимъ-то постороннимъ обстоятельствамъ, выпущены въ свѣтъ.

— Исслѣдованіе о русскомъ иконописаніи. Часть I. Спб. 1849; 2-е изд. 1850. Часть II. Спб. 1849.

— „Программа русской юридической палеографіи“, и — „Лекціи русской палеографіи“ были литографированы въ 1852, для училища правовѣдѣнія и александровскаго лицея, куда Сахаровъ былъ приглашенъ для преподаванія этого предмета.

изданіе „Записокъ отдѣленія русской и славянской археологіи И. Арх. Общества“ (въ 1851), въ которыя вошло не мало его собственныхъ работъ и собранныхъ имъ матеріаловъ. Въ числѣ этихъ работъ особенно замѣчательна была „Записка для обзорнія русскихъ древностей“: эта записка напечатана была Археолог. Обществомъ въ 1851, разослана была всюду (какъ передъ тѣмъ этнографическая программа Геогр. Общества) и по отзыву Срезневскаго, „дѣйствительно была полезна въ отношеніи къ уясненію понятій объ археологическихъ работахъ въ такихъ кругахъ русскаго общества, гдѣ прежде господствовало полное незнаніе ихъ возможности, не только важности“.

Въ это же время Сахаровъ принималъ участіе въ работахъ Публичной бібліотеки, которая обнаружила тогда большую дѣятельность со вступленіемъ въ управленіе ею барона (послѣ графа) Корфа. Сахаровъ доставлялъ указанія о рукописяхъ и рѣдкихъ книгахъ, какія слѣдовало приобрести для бібліотеки, доставлялъ самыя рукописи и книги. Въ 1851, онъ приглашенъ былъ для чтеній о палеографіи въ училище правовѣдѣнія и александровскій лицей, для которыхъ и сдѣлалъ упомянутое выше литографированное изданіе своихъ лекцій. Послѣдней изданной его работой были кажется, „Записки о русскихъ гербахъ“¹⁾ по поводу споровъ о перемѣнѣ русскаго герба.

Около половины пятидесятихъ годовъ дѣятельность его стала ослабѣвать. Причину этого указываютъ отчасти въ семейныхъ обстоятельствахъ, отчасти въ „отношеніяхъ къ нѣкоторымъ изъ людей, въ кругу которыхъ онъ работалъ“. Въ послѣдніе годы его постигла тяжелая болѣзнь, и дѣятельность его совсѣмъ прекратилась. Онъ удалился въ свое маленькое имѣніице Зарѣчье, новгородской губерніи, валдайскаго уѣзда; онъ умеръ здѣсь 24 августа 1863 года, вслѣдствіе разжиженія мозга, и похороненъ при церкви Успенія, рютинскаго погоста.

Плодомъ его трудовъ и исканій осталось, наконецъ, обширное и замѣчательное собраніе рукописей, приобретенное потомъ графомъ А. С. Уваровымъ.

Таковъ былъ внѣшній ходъ дѣятельности Сахарова. Его большая заслуга для русской этнографіи и археологіи не подлежитъ спору. Въ то время, когда только-что начало бродить въ умахъ стремленіе къ „народности“,—котораго еще не умѣли здраво приложить ни въ литературѣ, ни въ жизненныхъ отношеніяхъ, ни установить научно,—Сахаровъ, странно и угловато, но ревностно и упрямо указывалъ

¹⁾ Спб. 1856. Вышелъ только первый выпускъ: „Гербъ московскій“, съ 3 табличками снимковъ.

источники чистой народности въ народномъ бытѣ, старинѣ, поэзіи и преданіи, настаивалъ на ихъ изученіи и издалъ цѣлый рядъ народно-поэтическихъ произведеній. Поэтому такъ сильно и подѣйствовало въ литературныхъ и образованныхъ кругахъ появленіе его изданій. Сахаровъ сталъ авторитетомъ, признаваемымъ даже тѣми, кто въ концѣ концовъ не могъ не видѣть уродливостей въ его постановкѣ предмета. Но прошло не много времени, какъ Сахаровъ былъ основательно забытъ; его взглядъ на предметъ поражалъ отсутствіемъ научности и не оставилъ въ литературѣ никакого слѣда; изданія оказались мало точными, даже подлинность нѣкоторыхъ памятниковъ, имъ изданныхъ, была заподозрѣна.

Авторитетъ его сталъ падать, когда работы его были еще въ ходу. Дѣло въ томъ, что, во-первыхъ, началъ появляться—въ особенности въ трудахъ возникшаго тогда Географическаго Общества—новый обширный и болѣе внимательно собранный этнографическій матеріалъ; во-вторыхъ, въ самомъ приемѣ изученія сдѣланъ былъ успѣхъ, при которомъ и собирательскіе труды Сахарова, а тѣмъ болѣе „ислѣдованія“, оказывались неудовлетворительными, странными, невозможными. Въ чемъ же состояли его общіе взгляды, какая была историко-этнографическая точка зрѣнія, приемы ислѣдованія?

Скудость біографическаго матеріала, въ сожалѣнію, не позволяетъ съ точностью указать развитіе его мыслей и послѣдовавшій складъ его историческихъ и этнографическихъ понятій; но отрывки его записокъ, въ соединеніи съ его сочиненіями, даютъ характерныя объясненія.

Многое въ свойствахъ трудовъ Сахарова объясняется тѣмъ, что это былъ чистый самоучка. Предметъ былъ еще такъ новъ, что не одному Сахарову приходилось тогда идти въ этомъ дѣлѣ незнаемыми путями,—но другіе (какъ, напримѣръ, Калайдовичъ, Снегиревъ) были по крайней мѣрѣ подготовлены въ смежныхъ областяхъ науки, знакомы съ исторической критикой: Сахаровъ не прошелъ никакой школы этого рода; въ общихъ историческихъ знаніяхъ онъ часто оказывался просто невѣждой. Это съ одной стороны увеличиваетъ заслугу его личныхъ усилій, но съ другой крайне повредило качеству результатовъ. Изъ семинаріи, гдѣ учился, Сахаровъ видимо не вынесъ особенныхъ знаній, напр., даже въ латыни; медицинскій курсъ въ университетѣ и теперь остается специальной школой, а тогда еще менѣе могъ содѣйствовать историко-литературному образованію. Сахаровъ не восполнилъ этого пробѣла и впоследствии, по-видимому даже его не чувствовалъ: какъ свойственно всѣмъ самоучкамъ, онъ, напротивъ, склоненъ былъ преувеличивать значеніе своихъ трудовъ, и самомиѣніе не помогало улучшенію ихъ качества.

Въ этнографической наукѣ онъ былъ начетчикъ; трудъ его былъ только собирательскій; его собственныя объясненія были только или чисто вѣшнія и отрицательныя, или научно невозможныя; научный методъ вполнѣ отсутствовалъ.

Къ этому присоединилась другая черта... Анненковъ, говоря о Писемскомъ, замѣчалъ, что въ его характерѣ и понятіяхъ слышались далекіе отголоски старой русской культуры, что какъ будто это былъ историческій велико-русскій мужикъ, прошедшій черезъ университетъ, но сохранившій многое, что отличало его до этого посвященія въ европейскую науку; что Писемскій, по собственному признанію, испытывалъ родъ органическаго отвращенія къ иностранцамъ, котораго не могъ въ себѣ побѣдить... Нѣчто очень похожее на это отличало и Сахарова, съ тою разницей, что „посвященіе въ европейскую науку“, которое и у Писемскаго не было особенно глубоко, но по крайней мѣрѣ соприкасалось съ гуманическими знаніями, у Сахарова было еще ограничениѣе или совсѣмъ отсутствовало: иностранное, какъ-нибудь прикасавшееся къ русской жизни, было для него предметомъ настоящей ненависти. Этимъ окрашивалась и вся его проповѣдь „народности“. При всей ея горячности, эта проповѣдь, не представляла однако никакой ясной исторической и общественной мысли: ея содержаніемъ было голословное восхваленіе старины, сожалѣнія объ утратѣ понятій и нравовъ добраго стараго времени, и призывы къ ихъ возвращенію. Какъ возвратить утраченное хорошее, оставалось неизвѣстнымъ; отвѣтъ на это ограничивался или жалобой, которая высказывалась поддѣльно-стариннымъ языкомъ, приторно-сладкими причитаніями, или злобными выходками противъ „чужеземцевъ“ и „заморскихъ бродягъ“, подъ которыми разумѣлись всѣ иностранцы, у насъ жившіе и дѣйствовавшіе. Когда писатель переходилъ къ изложенію фактовъ или своихъ историческихъ взглядовъ, крайне неловкій, темный языкъ выдавалъ неясность его мысли.

Обратимся къ „Воспомяніямъ“, гдѣ онъ рассказывалъ о началѣ своихъ литературныхъ трудовъ, еще во время пребыванія въ Тулѣ. Враги русской народности, ужасные „чужеземцы“ уже навлекли на себя его ненависть, и поминаются имъ съ довольно забавнымъ эпическимъ постоянствомъ бранныхъ эпитетовъ.

„Литературныя занятія мои направлены были исключительно съ 1825 года на русскую исторію, странно (?) и неожиданно. Разъ какъ-то былъ я въ бесѣдѣ, гдѣ два чужеземца нагло и дерзко увѣряли русскихъ, что у нихъ нѣтъ своей исторіи. Миѣ было горько и больно слышать эту негѣпость; но я былъ безсиленъ: я не зналъ русской исторіи; меня учили какой-то безсвязной исторіи по Шрекку. Эти два *наглеца*, проповѣдывавшіе безтолковымъ слушателямъ *миа*, были губернеры, изъ *тѣмечкой породы*, оставшіеся просвѣщать русскія головы послѣ 1812 года, изъ числа *мародеровъ*. Въ небольшой библиотекѣ моего

отца я нашелъ немного о русской исторіи: книгъ пять или шесть. Я приобрѣнулъ съ моимъ горемъ къ свящ. Н. И. Иванову; онъ далъ мнѣ для чтенія исторію Карамзина, передалъ многое о *наглецахъ*, въ особенности о наглецахъ изъ *нѣмецкой породы*, таскающихся по Россіи съ своимъ дикимъ и безграмотнымъ просвѣщеніемъ. Долго и много читалъ я Карамзина. Здѣсь-то узналъ я родину и научился любить русскую землю и уважать русскихъ людей“...

Слѣдуетъ изображеніе тогдашняго тульскаго общества и его умственныхъ интересовъ, и затѣмъ длинное, озлобленное, но смутное изображение иноземныхъ „бродягъ“, перепортившихъ русское общество. Приводимъ нѣсколько образчиковъ:

„Въ Тулѣ немного было людей, читавшихъ и думавшихъ о чемъ-нибудь. Вся ученость гнѣздилась въ кадетскомъ корпусѣ, въ гимназій, въ семинаріи... Всѣ эти заведенія имѣли разныя направленія, учителя ихъ жили непріязненно. Библиотекъ было въ городѣ мало... Просвѣщеніемъ дворянства завѣдывали гувернеры и гувернантки, люди безъ всякаго образованія въ наукахъ. Съ ними входили въ деревенскіе семейные круги развратъ, нахальство, неуваженіе къ родителямъ, пренебреженіе къ вѣрѣ отцовъ и постыдное вольнодумство“...

„Въ цѣлой губерніи было много людей истинно-образованныхъ, полезныхъ родинѣ и семейству, получившихъ образованіе не изъ рукъ жалкихъ и прервѣнныхъ *бродягъ*, но въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Они жили больше въ помѣстьяхъ отдѣльною живнію и не сходились съ городскими пьяницами и игроками. На нихъ былъ свой отпечатокъ: спокойствіе и мирная жизнь. Бѣдному человѣку безъ связей и средствъ трудно было пробраться въ кругъ этихъ людей. Это я испыталъ самъ. Года два жизни стоило мнѣ, чтобы обратитъ только вниманіе ихъ на себя. Вспоминаю все это теперь ¹⁾ не для обвиненія ихъ (?), а говорю потому только, какъ тогда у насъ образованные люди жили отдѣльно, какъ тогда рѣдко отличалось истинное образованіе отъ фальшиваго, гувернерскаго, какъ мало вѣрили прежде (?) *бродягамъ*. Не знаешь, чему удивляться: легковѣрью ли новаго поколѣнія первой четверти XIX вѣка или твердости стариковъ, сознавшихъ свое родное достоинство, при переворотѣ воспитанія, предпринятаго ²⁾ чужеземными *бродягами*“.

Дальше мы приведемъ объясненіе, какъ „предпринять“ былъ „бродягами“ переворотъ въ русскомъ воспитаніи. Сахаровъ благодаритъ Бога, что самъ остался нетронутъ этимъ переворотомъ.

„Благодарю Господа, — пишетъ онъ, — что надъ моею головою не работала ни одна французская *тварь*. Горжусь, что вкругъ меня не было ни одного нѣмецкаго *бродяги*. Я не преклонялся ни передъ однимъ сапожникомъ-французомъ и не принималъ отъ него наставленій, какъ презирать отца и мать, какъ ненавидѣть родину, какъ расточать достояніе отцовъ и дѣдовъ. За меня ни одной русской копѣйки не перешло въ карманъ *бродяги*. Меня не морочили они лучшимъ вкусомъ къ изящному, понятіями о высокомъ и прекрасномъ, существующемъ будто исключительно въ Германіи и Франціи. Мерзенштейны и Скотенберги, заморскіе *бродяги* высшего сорта, не появлялись тогда въ Тулѣ; я ихъ встрѣтилъ впервые въ Москвѣ“ (?).

¹⁾ Воспоминанія писаны въ половинѣ 1850-хъ годовъ.

²⁾ Предпринятомъ?

Изъ разсказовъ Сахарова увидимъ, что мало проку было и въ тѣхъ, кто нисколько не былъ совращенъ „бродягами“... Занятія Сахарова исторіей города Тулы вызвали у его земляковъ (онъ не забываетъ одного протопопа) недоброжелательные отзывы. „Мнѣ въ глаза говорили,—шипетъ Сахаровъ:—занимался бы своимъ дѣломъ! На что намъ твоя исторія Тулы? Жили мы счастливо безъ ней до тебя, проживемъ и послѣ тебя, также весело и покойно.—Другіе кивали головами и повсюду говорили обо мнѣ: — пропалъ малый безъ толку; ничего изъ него путнаго не будетъ“. Во всей Тулѣ, какъ выше сказано, Сахаровъ немного находилъ людей, „читавшихъ или думавшихъ о чемъ-нибудь“. Это было невѣжество самобытное, не внушенное „бродягами“. Сахаровъ утверждаетъ, что ему грозили даже опасности отъ этого невѣжества, но все-таки былъ убѣжденъ, что вся бѣда у насъ отъ „бродягъ“, которымъ онъ приписываетъ формальный планъ поколебать благополучіе Россіи. Объ этомъ у Сахарова была дѣлая историческая теорія, чрезвычайно своеобразная.

„Европа,—объясняетъ онъ,—еще при Петрѣ Великомъ, зорко подсмотрѣла будущую участь русской земли, предназначенную ей свыше. Изумленная неистощимыми силами нашей родины, она дружно приступила къ разрушенію основныхъ русскихъ началъ. Первое пораженіе, первый натискъ Европы былъ на русскую народность. Перестрой русскихъ людей на заморскій ладъ былъ начать съ сословій дворянскаго и кучеческаго. Духовенство и крестьяне оставлены были въ покоѣ, но на время. Западники полагали разбить ихъ (?) въ другомъ сраженіи. Въ этомъ они горько ошиблись. Православная наша вѣра вытерпѣла страшныя истязанія отъ запада. Европа не могла слыхать безъ бѣшенства имени нашего православія. Начали (?) съ того, что тысячами навязывали намъ всѣ существовавшія (?) ереси, начиная съ Гордоновой компаніи до Татариновой“... (У насъ испортили старинную церковную архитектуру, живопись; предлагали замѣнить нашу вѣру на католичество, кальвинизмъ и пр.)... „Насъ пробовали (?) сбить съ толку: философскими системами, мистицизмомъ, сочиненіями Вольтера, Шеллинга, Баадера (!), Гегеля, Страуса и ихъ послѣдователей... Бѣдная Русь, чего только ты не вытерпѣла отъ западныхъ варваровъ!

„Западные ополченія противъ русскаго самодержавія начались въ XVIII вѣкѣ. Европѣ страшно было видѣть на твердой землѣ независимаго русскаго государя, могучаго и несокрушимаго исполина, окруженнаго безпредѣльною преданностью подвластнаго ему народа... Европейскіе коноводы раздоровъ и мятежей начали восставать противъ русскаго самодержавія (?), когда полагали, что русская народность погибла навсегда (?), и что для русскаго православія довольно внушено (!) всемірныхъ (?) ересей и расколовъ. Къ счастью русской земли, они не поняли, что крѣпость нашего самодержавія содана была Владиміромъ Великимъ (?), Іоанномъ III и Петромъ Великимъ, тремя могучими государями, вѣнчанными свыше для возрожденія (?), величія и счастья русской земли. Самодержавіе, основанное и укрѣпленное ими, просуществовало въ Россіи тысячу (?) лѣтъ и будетъ, при помощи Божіей, существовать еще долго, долго до повдвѣйшихъ временъ.

„Война противъ трехъ началъ независимой самостоятельности русской продолжится столѣтіе. Устоятъ ли русскій народъ въ этой войнѣ противъ враговъ? Вѣдаетъ одинъ Богъ“... (За пять строкъ выше, Сахаровъ зналъ, что устоятъ)... „Россія много выстрадала (въ этой борьбѣ)... Надъ нею бдитъ русскій Богъ. Передъ Нимъ однимъ она благоговѣетъ и Ему одному преклоняетъ свою выю“ (стр. 917—919).

Таковъ былъ историческій сумбуръ, составлявшій основу взглядовъ Сахарова. Разобраться въ немъ нѣтъ, конечно, никакой возможности; можно бы подумать, что Сахаровъ будетъ винить нововведенія Петра В., но Петръ упоминается у него въ числѣ правителей, „ниспосланныхъ свыше“. Въ числѣ орудій, употребленныхъ западомъ для сокрушенія русскихъ началъ, поставлены рядомъ Вольтеръ и секта Татариновой, Баадеръ и „Страусъ“; какъ будто Вольтеръ, Баадеръ, Страусъ и даже Татаринова нарочно придуманы Европой только бы навредить Россіи. Какъ все это происходило, неизвѣстно, но —

„Переворотъ, затѣянный въ Россіи чужеземцами для направленія къ революціоннымъ идеямъ русскаго воспитанія, не есть тайна. Стоитъ только вспомнить основаніе александровскаго лицея, борьбу аббата Николая противъ этого учрежденія и рѣшимость императора Александра Павловича противъ ученія чужеземцевъ (?). На каждое сказанное мною слово я готовъ привести сотни примѣровъ, мною самимъ видѣнныхъ“ (стр. 901—902).

Сюда именно принадлежитъ дѣятельность бродягъ, приводившихъ Сахарова въ такое негодованіе. Имъ посвящена еще особая длинная тирада въ „Воспоминаніяхъ“. Но къ удивленію, виноваты называются не столько бродяги, какъ сами русскіе или собственно русскія женщины. Выскаазавъ (въ приведенной выше цитатѣ) свое недоумѣніе, чему больше удивляться—легковѣрію ли новаго поколѣнія „первой четверти столѣтія“ или твердости стариковъ, не вѣрившихъ „бродягамъ“, Сахаровъ продолжаетъ:

„Время взяло свое; женщины наши все перепутали (?), имъ надобна была французская болтовня, имъ надобны были танцы (?), имъ надобны были кокетство и разсѣяніе въ жизни. Во всемъ этомъ они опирались на гувернерство. Вотъ отъ чего скоро развелась у насъ порода гувернеровъ; вотъ отъ чего охота къ чужеземному воплотилась въ дѣла, воплотилась въ привычки и пошла рука объ руку съ дворянскимъ просвѣщеніемъ, ложнымъ, бесполезнымъ и вреднымъ для нашего отечества. Немного надобно людямъ, чтобы понять всю опасность такого ложнаго просвѣщенія; но многіе ли хотѣли видѣть эту страшную бѣду нашего отечества? Повсюду за нею стремились съ какимъ-то обаяніемъ и восторгомъ“ (стр. 902).

Слѣдуетъ исторія „гувернерскаго просвѣщенія“:

„Вообще гувернерское просвѣщеніе русскихъ людей можно раздѣлить на три эпохи, сгубившія (?) нашу родину. Первая явилась послѣ первой французской революціи, когда эмигранты толпами прибѣгали въ Россію; они охва-

тѣмъ тогда высшій кругъ дворянства, жившій въ столицахъ; ихъ вліянію все покорилось рабски. Матушки за нихъ спѣшили отдать своихъ дочекъ, чтобы величать ихъ маркизами и герцогинями; батюшки обрадовались вольнодумству, сынки кинулись въ развратъ со всею наглостью, руководимые во всемъ эмигрантами. Эта эпоха длилась до 1812 года и тихо подрывалась подъ основной бытъ (?) русскаго образованія, освященнаго вѣрою и событіями тысячи лѣтъ. Въ эту эпоху началось *вытисываніе* французовъ и француженокъ, нѣмцевъ и нѣмчурокъ нашими *путешественниками*, ѣздившими на показъ въ Фернейскій замокъ и въ Парижъ. Тогда, хотя и изрѣдка, начали разводить пансіоны, мужскіе и женскіе, *подъ защитою* выписныхъ нѣмцевыхъ профессоровъ московскаго университета, Шадена, Шварца и другихъ. Бѣглыя (?) и наглыя французенки открыли въ *этихъ* вертепахъ постыдный торгъ честью русскихъ женщинъ и русскихъ дѣвушекъ... (Тамъ же).

Факты безнравственнаго вліянія эмиграціи дѣйствительно бывали въ тѣ времена; но Сахаровъ не только спуталъ хронологію, но и взвелъ небывалыя гадости на людей, оставившихъ честное и заслуженное имя въ исторіи русскаго образованія: напимѣрь, Шварцъ умеръ гораздо раньше французской революціи, Шадень (опять гораздо раньше революціи) былъ воспитателемъ того Карамзина, которому самъ народолоубецъ считалъ себя наиболѣе обязаннымъ. Далѣе:

„Вторая эпоха началась съ изгнаніемъ французской арміи въ 1812 году изъ Россіи. Просвѣтителями этой эпохи содѣлались безсмысленные остатки отъ разбитой наполеоновской арміи. Съ этого времени водворилось всеобщее несчастіе (!) въ моемъ милomъ и безцѣнномъ отечествѣ“... (слѣдуетъ такая же характеристика времени, какъ выше). „Эта несчастная эпоха продолжалась недолго, до 1820 года (?); но она оставила гибельныя послѣдствія на цѣлое столѣтіе. Этими орудіемъ думали заморскіе демагоги (?) приготовить въ Россіи *что-то* въ родѣ 14-го декабря.“

„Третья эпоха началась пріѣздомъ гувернантокъ по требованію поставщиковъ (?)... Магазины Кузнецкаго моста, Невскаго проспекта и знаменитаго Ревельскаго подворья (?) наполнены были бродягами-просвѣтительницами... Взгляните на нихъ (ихъ воспитанниковъ) и скажите... много ли въ нихъ есть русскаго? Видите ли вы въ ихъ дѣлахъ что-нибудь къ чести и славѣ русскаго ума? Лежитъ ли ихъ сердце къ Россіи?“ и проч. (стр. 904—905).

На эту тему написано еще нѣсколько страницъ, гдѣ описывается „роковое паденіе“ русскаго дворянства подъ вліяніемъ „нѣмцевъ и равной западной твари“, рассказывается, какъ вслѣдъ за дворянствомъ увлеклось тѣмъ же „наше степенное купечество“. Не приводя дальнѣйшихъ безсвязныхъ разсужденій объ этомъ предметѣ, укажемъ лишь то, что Сахаровъ говоритъ о началѣ своихъ изученій русскаго народа.

По запискамъ Сахарова не видно, когда именно и какъ онъ началъ свои этнографическія изслѣдованія. Впослѣдствіи, когда въ 1841 кн. А. Н. Голицынъ (главноначальствующій надъ почтовымъ департаментомъ) ходатайствовалъ предъ императоромъ Николаемъ о

награжденіи Сахарова, издаваемаго тогда первый томъ „Сказаній“, въ докладѣ Голицына сказано было, что свои историческія изысканія русской народности Сахаровъ началъ „еще до вступленія въ университетъ московскій“, и что „тогда, въ продолженіе шести лѣтъ обходилъ онъ губерніи: тульскую, орловскую, рязанскую, калужскую, орловскую, въ хижинахъ поселянъ собиралъ народныя преданія, въ городахъ и селахъ обозрѣвалъ сохранившіеся народныя памятники, въ архивахъ пересмотрѣлъ нужные историческіе акты“ и пр. ¹⁾ Въ запискахъ онъ говоритъ объ этомъ слѣдующее. Занимаясь первымъ своимъ трудомъ — исторіей тульской губерніи, Сахаровъ сдѣлалъ и поѣздку по губерніи.

„...Поѣздка по губерніи доставила мнѣ много запасовъ для узнанія *русской народности*. Ходя по селамъ и деревнямъ, я вглядывался во всѣ сословія, прислушивался къ чудной русской рѣчи, собиралъ преданія давно забытой старины и не вѣрилъ своимъ глазамъ (?): тотъ ли это историческій народъ, котораго дерзаютъ презирать заморскіе *бродяги*? Непостижимо (?) громадная русская жизнь, непостижимо (?) разнообразная во всѣхъ своихъ явленіяхъ, раскрывалась передо мною въ Москвѣ и ея окрестностяхъ. Во Владимірѣ, Ростовѣ, въ Нижнемъ-Новгородѣ ²⁾ она уже не удивляла меня болѣе; въ ея гигантскихъ развѣтрахъ я уже видѣлъ исполина, несокрушимого никакими переворотами. И этого русскаго человека, стараго обитателя Европы, учившагося уму и разуму въ Царьградѣ, съ IX вѣка имѣвшаго свою тысячелѣтнюю грамоту, вздумали *безродные бродяги* переучивать по своему, перевоспитывать на свой ладъ. Въ годину страданій, тяжкихъ для русскаго просвѣщенія (?), новое возникающее поколѣніе, болѣе крѣпкое духомъ, нежели отцы ихъ, вдругъ сознаетъ свое родовое достоинство и обращается къ старой русской жизни. Русская народность смѣло и торжественно провозглашается въ Россіи. Императоръ Николай Павловичъ ни мало не усумнился принять нашу народность подъ свою защиту и сдѣлать ее символомъ министерства народнаго просвѣщенія. Онъ ясно разгадалъ грядущую славу Россіи, онъ одинъ понялъ назначеніе русской земли. Бродя по Россіи, собирая преданія, я не предчувствовалъ тогда, что наша родная народность можетъ такъ скоро огласиться (?) и быть мѣриломъ оцѣнки старой русской жизни и новаго европейскаго образованія. Было время, когда я слышалъ, какъ въ городахъ и селахъ русскіе, наученные *заморскими бродягами*, съ презрѣніемъ говорили, что русскій языкъ есть языкъ холопскій, что образованному человеку совѣстно читать и писать по-русски (?), что наши пѣсни, сказки и преданія глупы, пошлы и суть достояніе подлаго простаго народа... Такъ думали и говорили тогда наши огаженные (sic) Европейцы... Благодарю Бога, что я дожылъ до того времени, когда русскіе начали возвращаться къ русскому языку, къ русской народности и къ русской „одеждѣ“ и т. д. (стр. 909—911).

Такъ Сахаровъ самъ излагалъ свой взглядъ на историческую судьбу русской народности. Это, видимо, было возрѣніе всей его

¹⁾ Р. Архивъ, 1873, стр. 291; ср. предисловіе къ „Сказаніямъ“, т. I.

²⁾ Это было уже позднѣе.

жизни: въ юности, отъ тульскаго священника онъ наслушался о „наглецахъ изъ нѣмецкой породы“ и до конца дней проклиналъ „заморскихъ бродягъ“; они не давали ему покоя, и какъ будто самое возвеличеніе русской народности дѣлаетъ онъ имъ въ пику. Свободное обращеніе его съ фактами и здравымъ смысломъ дѣлаетъ излишнимъ разборъ этого взгляда; естественно ожидать, что онъ отразится въ его трудахъ по русской этнографіи. И онъ дѣйствительно отразился различнымъ образомъ.

Въ литературныхъ кругахъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ Сахарова цѣнили какъ большого знатока фактовъ этнографіи и археологій; но повидимому уже въ то время никто не думалъ серьезно объ его „народныхъ“ взглядахъ, и надъ его нѣмцеѣдствомъ подшучивали. „Въ кружкѣ Надеждина, — рассказываетъ одинъ современникъ, — въ исходѣ сороковыхъ годовъ, Сахарова звали въ шутку „посадскимъ человѣкомъ“, ужъ не знаю почему: кажется, за его фигуру“¹⁾; но могли звать не только за фигуру, но и за складъ понятій, свойственныхъ полубразованному посадскому человѣку. Его ненависть къ барству, воспитанному на иноземный ладъ и забывавшему о народѣ и старинѣ, была безъ сомнѣнія искренняя, могла имѣть свои достаточныя основанія и внушать сочувствіе, какъ протестъ противъ грубаго и пошлаго забвенія національныхъ интересовъ литературы и общественности²⁾; — но въ этомъ было и народничанье, себѣ на умѣ, нѣкоторая непослѣдовательность или фальшивость, уже замѣченная его современниками. Въ своихъ запискахъ, Сахаровъ любитъ выставить себя страдальцемъ за правду, гонимымъ за свои труды на пользу отечества; но онъ говоритъ объ этомъ такъ неясно, что мудро не понять, кто и за что его гналъ.

По поводу своей тульской „Исторіи“, первый отрывокъ которой былъ напечатанъ въ „Галатеѣ“ 1830, Сахаровъ замѣчаетъ, что эта статья была „первенецъ *всѣхъ несчастій, юнений* и ссоръ съ добрыми и недобрыми“. Дѣло въ томъ, что въ полуграмотной провинціальной компаніи статья своего земляка, явившаяся въ московскомъ журналѣ, произвела сенсацію. По разсказу самого Сахарова, она составила цѣлое событіе; друзья автора трубили о ней, развозили ее по городу; устроенъ былъ вечеръ, на которомъ молодого автора представляли мѣстнымъ ученымъ людямъ и нотаблямъ, причемъ иные „плакали отъ радости“. Но „другимъ очень не нравилось это оглашеніе меня передъ публикою, и многіе въ слухъ бранили меня довольно невѣжливо. За первую ничтожную журнальную статью меня судили

¹⁾ Русскіе палеологи, отдѣльное изд., стр. 7.

²⁾ См. разсказъ Панаева о томъ, какъ Сахаровъ держалъ себя на вечерахъ у кн. Охоевскаго. Литературныя Воспоминанія, Спб. 1876, стр. 117.

и едва было не лишили всего грядущаго въ моей жизни (?). Весь вопросъ заключался въ томъ: какъ смѣлъ мальчишка печатать въ журналѣ свое сочиненьишко?—Этотъ „судъ“ возникъ въ домѣ священника Иванова (толковавшаго Сахарову о „наглецахъ“), у котораго былъ въ гостяхъ тульскій епископъ Дамаскинъ; но „судъ“ кончился скоро, безъ вреда“, благодаря горячему участию, которое приняли въ Сахаровѣ его друзья. Въ чемъ былъ „судъ“, кто судилъ—неизвѣстно; по всѣмъ видимостямъ, епископъ Дамаскинъ, безъ сомнѣнiя „истинно русскiй“ человекъ, не зараженный „заморскими бродягами“.

Въ спискѣ своихъ сочиненiй, Сахаровъ опять нѣсколько разъ темно упоминаетъ о разныхъ затрудненiяхъ и гоненiяхъ, которыя ему пришлось испытать по ихъ поводу. Подъ 1836 годомъ замѣчено о первой части „Сказанiй русскаго народа“: „Бѣдная книга! Сколько она прошла мытарствъ, судовъ, пересудовъ, толковъ!..“ Издатель записокъ Сахарова, г. Саввантовъ, прибавляетъ къ этому извѣстiе: „Дѣйствительно, дѣло доходило до того, что Сахарову угрожали уже Соловками (?), и бѣда уже висѣла надъ его головою (?); но участие, принятое въ немъ кн. А. Н. Голицынымъ, избавило нашего археолога отъ душеспасительнаго пребыванiя въ отдаленной обители: по ходатайству князя, Сахаровъ удостоился получить высочайшую награду, и дѣло кончилось благополучно“ ¹⁾. Къ сожалѣнiю, и почтенный другъ Сахарова, вѣроятно близко знакомый съ его биографiей, не взялъ на себя труда объяснить это происшествiе, и остается неизвѣстно, кто и на какомъ основанiи угрожалъ Сахарову Соловками. Угроза была крупная и едва ли слишкомъ легко исполнимая надъ лицомъ, состоявшимъ не въ духовномъ вѣдомствѣ, а въ гражданскомъ: власть, грозившая Соловками, была, вѣроятно, духовная, — потому что другая скорѣе грозила бы чѣмъ-нибудь инымъ. Г. Барсуковъ относитъ это извѣстiе также къ 1841 году (когда вышло новое изданiе „Сказанiй“) и замѣчаетъ: „Надо было бы думать, что человекъ съ такимъ направленiемъ, какъ Сахаровъ, долженъ былъ найти поддержку и сочувствiе именно въ той средѣ, въ которой наиболѣе сохранились исповѣдуемыя Сахаровымъ начала. Безпристрастiе требуетъ замѣтить, что вышло не такъ. Тамъ его встрѣтили—съ одной стороны мертвящее равнодушия, а съ другой—гоненiя. Пониманiе же, сочувствiе, поддержку и огражденiе въ направленiи своемъ Сахаровъ встрѣтилъ именно въ той средѣ, въ которой, по его мнѣнiю, все русское изсаяло и царила одна иноземщина“.

¹⁾ Р. Архивъ, стр. 980. Но это было уже въ 1841 г.

Это было заступничество кн. Голицына ¹⁾. Не были ли „Соловки“ просто чьей-нибудь раздражительной фразой, сказанной въ цензурныхъ пререканіяхъ, если не созданиемъ воображенія Сахарова, который, кажется, склоненъ былъ видѣть кругомъ себя гонителей или завистниковъ? А если дѣйствительно были гоненія, то едва ли отъ людей, бичуемыхъ Сахаровымъ.

Подъ 1841 годомъ, по поводу изданія „Записокъ русскихъ людей“, Сахаровъ опять пишетъ: „Вѣдная книга! чего съ ней не дѣлали? *Кто только* не интриговалъ?“ Подумаешь, что *все* интриговали... Въ чемъ дѣло — опять неизвѣстно. Подъ 1843, по поводу „Указной книги царя Михаила Ѳеодоровича“, изданной Сахаровымъ въ „Р. Вѣстникъ“ 1842 г., онъ замѣчаетъ, что статья напечатана была съ ошибками „умышленными и неумышленными“ ²⁾: кому, зачѣмъ были нужны умышленныя ошибки — неизвѣстно. Какъ выразался патриотизмъ Сахарова, можно видѣть изъ его собственныхъ Записокъ, напр., въ рассказѣ о празднованіи открытія типографіи Воейкова ³⁾.

Какимъ же образомъ могло случиться, что Сахаровъ, рѣшавшій вопросъ народности столь первобытнымъ образомъ, просто противопоставляя русскихъ и — нехристей, могъ, однако, приобрести такое значеніе, сдѣлаться хотя на время авторитетомъ?

Это объясняется положеніемъ дѣла. Когда стали появляться труды Сахарова, изученіе предмета едва возникало. Въ нашемъ учено-литературномъ мірѣ были и тогда люди, хорошо вооруженные историческимъ и философскимъ знаніемъ, но ихъ знаніе направлялось на другіе насущные вопросы литературы и очень мало обращалось на вопросы этнографіи. О самой народности начинались теоретическіе толки, но рѣдко или никогда чисто-этнографическіе. Большой заслугой Сахарова было именно то, что онъ указалъ множество новаго матеріала, который требовалъ изученія прежде, чѣмъ могли быть дѣлаемы выводы о русской народности. *Точка зрѣнія* была первобытная, очень странная, грубая, натянута-сентиментальная; читатели и критика мало замѣчали ея нескладицу — новость матеріала отводила собственныя разсужденія Сахарова на задній планъ или извиняла его увлеченія. Предметъ былъ мало извѣстенъ; едва ли кто-нибудь въ тридцатыхъ годахъ былъ въ состояніи *проверить*

¹⁾ Палеологи, стр. 5. Кн. Голицынъ былъ, конечно, человекъ барскаго и французскаго образованія; но по замѣчанію г. Барсукова, это „нисколько не помѣшало ему остаться истинно-русскимъ умомъ и душою“. Онъ былъ очень благочестивъ и одно время былъ помонникомъ архимандрита Фотія.

²⁾ Р. Архивъ, стр. 984, 986.

³⁾ Р. Архивъ, стр. 941 и слѣд. Ср. Панаева, Воспоминанія, стр. 103—106.

Сахарова другими данными, столь же обильными и разнообразными. Ему вѣрили на слово.

Въ самомъ дѣлѣ, сличая содержаніе трудовъ Сахарова съ наличностью *тогдашней* литературы въ этой области, найдемъ, что многое изъ его матеріала было чистою новостью. Изданіе пѣсенъ, сказокъ, описаніе обычаевъ, преданій, заговоровъ, загадокъ, игръ, гаданій, чародѣйства; народный дневникъ; изданіе старинныхъ словарей и азбучниковъ, старыхъ путешествій, записокъ и т. д., — все это или вообще въ первый разъ переходило въ печать изъ устъ народа, изъ рукописей и старыхъ рѣдкихъ изданій, или впервые было собрано въ одно цѣлое и сдѣлано доступнымъ для читателя-неспециалиста, вспомнута и пущено въ научно-литературный оборотъ. Появленіе этого матеріала одно было цѣлымъ событіемъ, давая новыя свѣдѣнія объ искомой „народности“, расширяя горизонтъ наблюденій, возбуждая (если не у самого издателя, то у другихъ) новые вопросы и новыя точки зрѣнія. Собственные идеи Сахарова пропускались, дѣло было не въ нихъ; а скорѣ послѣ, когда возникли научные приемы изслѣдованія, эти идеи были уже такъ странны, что ихъ не стоило опровергать. Сахаровъ вызвалъ строгую критику уже не съ этой стороны, а—тамъ, гдѣ шла рѣчь о подлинности самого народно-поэтического текста, и въ вопросахъ научной археологіи.

Остановимся на нѣкоторыхъ подробностяхъ его работы и самаго матеріала.

Въ предисловіи къ „Сказаніямъ“ онъ обращается къ „добрымъ русскимъ людямъ“ и однимъ изъ побужденій его изучать свою народность было—что скажетъ о нашей народности „чужеземецъ“, эта *idée fixe* Сахарова. Въ выраженіяхъ его привязанности къ старому обычаю, къ жизни народной есть теплое чувство, проблески мысли о нравственно-общественномъ значеніи народной идеи; но все это сказано съ той же неловкостью мысли и выраженія, какая поражаетъ въ позднѣйшихъ „Запискахъ“¹⁾. Онъ бываетъ ясенъ только тогда, когда говоритъ не мудрствуя лукаво и, не пускаясь въ ученость, излагаетъ факты; но какъ только онъ берется за общія соображенія,

¹⁾ Напримѣръ: „Было время, когда всѣмъ этимъ (народной стариной) дорожили, когда все это любили, когда все это берегли, какъ сокровище. Образованные европейцы восхищались нашими пѣснями, но можно ли ихъ восторгъ сравнить съ нашимъ восторгомъ? Они въ нашей *народной поэзии* слышали только отголоски, вылетавшіе изъ восторженной души (?): но они не могли постигать нашихъ *былинъ*, создаваемыхъ вдохновеніемъ и восторгомъ (?) въ полномъ наслажденіи семейной жизни“. — Непонятно.

„Какая-то непостижимая сила оберегла для насъ памятники угаснувшей словесности: Пѣснь о полку Игоревомъ и Сказаніе о Куликовской битвѣ“. — Отчего *непостижимая*?

они оказываются смутными и излагаются путанымъ языкомъ, съ тѣмъ напускнымъ народно-чувствительнымъ тономъ, съ которымъ мы еще встрѣтимся.

Какъ мы замѣчали, Сахаровъ былъ очень высокаго мнѣнія о своихъ трудахъ: онъ высказывалъ свои критическіе приговоры съ большимъ пренебреженіемъ къ незнанію своихъ предшественниковъ — издателей пѣсенъ, толкователей миеологии и т. п. Но, отдавая справедливость его собирательскому труду, нельзя не видѣть, что его собственный критическій багажъ былъ очень скромный. Ему доступны приемы только первоначальной критики; онъ замѣчалъ несостоятельность прежнихъ, наукъ совѣмъ и не принадлежавшихъ, книжекъ о старинѣ; знаетъ, что объясненіе старины должно основываться на источникахъ, и не допускаетъ произвольныхъ фантазій; при изданіи пѣсенъ, сказокъ, преданій, при описаніи обычаевъ, онъ знаетъ, что онѣ должны записываться съ полною точностью; но дѣйствительной критики у него нѣтъ и слѣда, — напр. въ „ислѣдованіи“ славянской миеологии или въ изданіи пѣсенъ онъ думаетъ, что вопросъ состоитъ только въ пересмотрѣ того, что было сдѣлано его предшественниками.

„Сказанія русскаго народа“ ¹⁾ начинается статьей: „Славяно-русская миеологія“. Довольно небольшого примѣра, чтобы указать свойство приемовъ Сахарова. „Исторія славяно-русскихъ миеографій, — начинается онъ, — представляетъ одно изъ рѣдкихъ (чѣмъ?) явленій въ русской литературѣ, — явленіе, исполненное разнообразныхъ вымысловъ, невѣроятныхъ догадокъ, ничтожныхъ предпріятій“. Съ Нестора до своего времени Сахаровъ насчиталъ больше десяти „миеографовъ“, но настоящей миеологии еще нѣтъ. Причины несостоятельности прежнихъ трудовъ Сахаровъ выставляетъ слѣдующія: „1) усвоеніе славяно-русской миеологии всѣхъ другихъ боговъ славянскихъ поколѣній. 2) Открытіе происхожденія славянскихъ боговъ въ миеологіяхъ другихъ народовъ. 3) Филологическія розысканія. 4) Безусловное вѣрваніе въ источники. 5) Произвольныя дополненія“. Справедливо безъ сомнѣнія, что произвольное смѣшеніе фактовъ и особливо выдумки были грубымъ нарушеніемъ требованій исторической критики; положимъ, Сахаровъ могъ возставать и противъ „филологическихъ розысканій“ (какъ ихъ разумѣли въ то время), т.-е. противъ такого же произвольнаго толкованія именъ; но осуждая „безусловное вѣрваніе въ источники“, онъ самъ представлялъ дѣло очень смутно. „Источники“ и должны быть основой для историческаго вывода; но не все, что только говорилось объ историческомъ

¹⁾ Приводимъ вообще 3-е изданіе.

фактъ, составляет „источникъ“,—а по Сахарову „источникъ“ для древней міеологіи есть и Несторъ, и Инновентій Гизель одинаково, только первому онъ вѣритъ, а второму нѣтъ. Собственная мысль Сахарова состоитъ въ томъ, что „естественное и вѣрное основаніе славяно-русской міеологіи есть Несторъ; кромѣ сего мы не находимъ ничего, и едва ли что можемъ найти“¹⁾. Затѣмъ все „исслѣдованіе“ состоитъ лишь въ переборѣ показаній и мѣній Гизеля, Попова, Чулкова, Глинки, Кайсарова и т. д. Сахаровъ укоризненно обличаетъ ихъ неосновательность, на чтб, собственно говоря, и не стоило употреблять столько хлопотъ. Обличаемые писатели или писали въ такое время, когда не было и мысли о научныхъ требованіяхъ, или даже сами отклоняли отъ себя всякія ученныя притязанія, прямо заявляя, что занимаются стариной для „увеселенія“ своего и читателей²⁾: въ нашей исторической литературѣ это было уже давно понято. Съ другой стороны, тотъ же Михайло Поповъ лучше Сахарова понималъ, что *міеологію* народа можно узнать не только изъ прямыхъ свидѣтельствъ старины, но изъ живущихъ донынѣ народныхъ сказаній и обычаевъ³⁾; Сахаровъ напротивъ не находилъ здѣсь міеологіи, и ждалъ отъ русской міеологіи только исторіи о „богахъ“, какія, напр., рассказывались въ учебныхъ книжкахъ о греческихъ богахъ. Затѣмъ, пересмотрѣвши русскіе „источники“ міеологіи (т.-е. Нестора, Гизеля, Попова, Кайсарова и пр.), Сахаровъ приходитъ къ источникамъ иностраннымъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Источникъ иностранныхъ свѣдѣній (?) представляетъ самое обширное поле для изслѣдованій и вмѣстѣ самое опасное. До сихъ поръ еще ни одинъ изъ нашихъ міеографовъ не принимался *критически* *обозрѣть* всѣ свѣдѣнія, находящіяся въ сочиненіяхъ

¹⁾ Сказанія, т. I, кн. I, стр. 12.

²⁾ Напр. Михайлъ Поповъ въ „Краткомъ описаніи славянскаго баснословія“, 1768, самъ говоритъ о своей книжкѣ: „сіе сочиненіе сдѣлано больше для увеселенія читателей, нежели для важныхъ историческихъ справокъ, и больше для *стихотворцевъ*, нежели для историковъ“. Глинка, авторъ „Древней религіи славянъ“, 1804, простодушно признается: „Описывая прозведенія фантазіи или мечтательности (такъ онъ считалъ древнюю міеологію), я думаю, что не погрѣшу, если при встрѣчающихся пустотахъ и недостаткахъ въ ея произведеніяхъ буду дополнять *собственною* подѣ древнюю статью *фантазією*“.—Что же и спрашивать съ такихъ авторовъ? Серьезное „исслѣдованіе“ могло бы просто оставить ихъ въ сторонѣ, — какъ настоящіе изслѣдователи и оставили. Напр., относительно Михаила Попова, Карамзинъ сдѣлалъ это еще въ 1801, за тридцать лѣтъ до Сахарова. (См. Пантеонъ Росс. авторовъ, въ Сочинен., изд. 4, VII, 298).

³⁾ Въ предисловіи къ „Краткому описанію“ онъ заявляетъ: „Матерію, составляющую сію книжку, выбралъ я изъ разныхъ книгъ, содержащихъ Россійскую Исторію, какія имѣлъ или какія могъ сыскать для прочтенія, также изъ простонародныхъ сказокъ, *пѣсенъ*, *иръ* и оставшихся нѣкоторыхъ *обыкновеній*“.

чужеземцевъ о славяно-русскихъ *бонахъ*“. Онъ берется указать нѣкоторые, и насчитываетъ 34 писателей—нѣмецкихъ, французскихъ, польскихъ, южно-славянскихъ, ставя ихъ въ самомъ капризномъ безпорядкѣ: за средневѣковыми лѣтописцами, какъ Саксонъ Грамматикъ, Гельмольдъ, Дитмаръ, и за Стурлезономъ онъ ставитъ писателей XVII—XVIII вѣка (не указывая большую частію, когда и гдѣ явились ихъ труды); затѣмъ, *послѣ* Леклерка и графа Потоцкаго (XVIII и XIX вѣкъ) идетъ Кромеръ (XVI вѣкъ), Длугошъ (XV вѣкъ), потомъ опять Тунманъ, Гебгарди (XVIII вѣкъ), Герберштейнъ (XVI вѣкъ), Рамчъ (XVIII вѣкъ), Мавро-Урбинъ (XVI—XVII вѣкъ), потомъ Нарушевичъ (XIX вѣкъ), потомъ Павелъ Іовій (XVI вѣкъ) и т. д. Авторъ видимо зналъ этихъ писателей только изъ чужихъ цитатъ и изъ того, что изъ нихъ являлось по-русски; и самъ онъ ихъ „критически“ также не разсмотрѣлъ.

Слѣдующая статья о „Пѣсняхъ русскаго народа“ даетъ сначала списокъ изданій, потомъ „мнѣнія русскихъ литераторовъ о народной поэзіи“. Далѣе, въ статьѣ: „Слово о полку Игоревѣ“, опять перечислены изданія, переводы и мнѣнія критиковъ; о чужихъ трудахъ Сахаровъ здѣсь, какъ и въ предыдущей статьѣ, говоритъ обыкновенно въ высокофѣрномъ тонѣ, не всегда оправдываемомъ цѣнностью самихъ замѣчаній, но своего „ислѣдованія“ никакого не даетъ. Статья: „Русскіе народные праздники“ опять состоитъ изъ перебора того, что было писано о предметѣ другими, и снабжена общими соображеніями очень темнаго свойства. „Исторія русской литературы,—говоритъ Сахаровъ,—доселѣ еще не имѣетъ полного собранія русскихъ народныхъ праздниковъ“ (это собственно и не есть дѣло „исторіи литературы“). „По какому-то странному (?) стеченію обстоятельствъ наши историки не касаются сего предмета въ исторіи русскаго народа. Для нихъ какъ будто они не существуютъ“. Последнее опять невѣрно, потому что напротивъ наши писатели еще съ прошлаго вѣка начали говорить о народныхъ обычаяхъ и въ томъ числѣ праздникахъ; о нихъ говорилъ и Карамзинъ; а затѣмъ большая доля статьи занята пересмотромъ сочиненія Снегирева именно объ этомъ предметѣ, — который такимъ образомъ „существовалъ“ для историковъ. Упомянувъ о томъ, какъ праздники древніе были забыты образованнымъ обществомъ и сохранены народомъ, Сахаровъ продолжаетъ: „До сихъ поръ еще видимъ невѣроятныя смѣшенія (?) въ описаніяхъ русской семейной и общественной жизни. Несчастная наша миѣнологія болѣе всего страдаетъ отъ этихъ незнаній. Въ нее входитъ и демонологія, никогда не принадлежавшая не только миѣнологіи, но и самой русской жизни (?). Объ ней только русскіе говорятъ (?); она никогда не осуществля-

лась у славяно-русовъ, какъ миеологія (?). Къ миеологіи причисляютъ и народные праздники, совершенно безъ всякаго основанія“ и т. д. Далѣе увидимъ, какъ могло случиться, что къ миеологіи народа не принадлежали его „демонологія“ и преданія.

Вторая книга „Сказаній“ приноситъ новыя неожиданности. Она начинается статьей: „Преданія и сказанія о русскомъ чернокнижнѣ“. Крайняя путаница мыслей сказывается съ первыхъ строкъ разсужденія Сахарова: „Тайныя сказанія русскаго народа всегда существовали въ одной семейной жизни (?) и никогда не были мнѣніемъ общественнымъ, мнѣніемъ всѣхъ сословій (?) народа“. Конечно, совсѣмъ наоборотъ: въ старыя времена вѣра въ колдовство и чудесничество была именно всеобщимъ убѣжденіемъ, какъ часть языческаго міровоззрѣнія. Сообщивъ далѣе нѣсколько свѣдѣній о современной вѣрѣ народа въ колдовство, указавъ нѣсколько лѣтописныхъ и другихъ свидѣтельствъ о колдовствѣ въ древней Руси, Сахаровъ приступаетъ къ „источникамъ русскихъ преданій“. По причинамъ, которыя дальше увидимъ, Сахаровъ увѣряетъ, что „тайныя сказанія“ не были созданіемъ русскаго народа, а напротивъ принесены изъ чужихъ источниковъ. Чтобы дать понятіе о его способѣ разсужденія, надо прочесть небольшой отрывокъ:

„...Мы невольно спрашиваемъ самихъ себя: неужели это (т.-е. повѣрья русскаго народа о колдовствѣ и чернокнижнѣ) есть порожденіе думъ русскаго народа? Неужели все это создавалось въ русской землѣ? Будемъ откровенны къ самимъ себѣ (?), будемъ сознательны предъ современнымъ просвѣщеніемъ для разрушенія столь важнаго вопроса: Русскій народъ никогда не создавалъ думъ для тайныхъ сказаній (!); онъ только перенесъ ихъ изъ всеобщаго міроваго чернокнижнѣ (?) въ свою семейную жизнь. Никогда на русской землѣ не создавались тайныя сказанія (!); она, какъ часть вселенной (!), вмѣщала въ себѣ только людей, усвоившихъ себѣ міровыя мышленія. Въ этой идеѣ убѣждаетъ насъ внимательное изслѣдованіе всеобщаго міроваго чернокнижнѣ (!). Для достовѣрности сего предположенія, мы присовокупляемъ историческіе факты, объясняющіе переходеніе тайныхъ міровыхъ сказаній въ русское чернокнижнѣ. Здѣсь открывается очевидное сходство.

„Всеобщее міровое чернокнижнѣ принадлежитъ первымъ вѣкамъ мірозданія, людямъ древней жизни. Основныя идеи для творенія тайныхъ сказаній выговорилъ впервые древній міръ, а его идеи усвоились всему человѣчеству. Древній міръ сосредоточивался весь на Востокѣ. Тамъ народы, создавая идеи для мнѣй, думы для тайныхъ сказаній (!), рассказы о быломъ для повѣрій, олицетворили ихъ видѣніями (!). Въ этихъ видѣніяхъ существовалъ бытъ религиозный, политическій, гражданскій (!). Семейная жизнь народовъ осуществлялась этими бытами... Предъ нами остались ихъ мнѣя, ихъ повѣрья, ихъ сказанія. Міръ новый своего нячего не создалъ (?); онъ... пересоздалъ предметы, существовавшіе не въ духѣ его жизни, отвергъ понятія, противныя его мышленію; но принялъ основныя мысли, восхищавшія его воображеніе, льстившія его слабости.

„Мионы, перешедшіе въ новый міръ, образовали *Демонологию*, столько разнообразную, столько разнообразную, сколько разноплеменны были народы, сколько разнообразны ихъ олицетворенія (?). Ни днями, ни годами, но вѣками усвоивались мионы древней жизни грядущимъ поколѣніямъ. Каждый народъ принималъ изъ нихъ только то, что могло жить въ его вѣрованіяхъ; каждый народъ въ свою очередь прибавлялъ къ нимъ, чего недоставало для его вѣрованія. Изъ этихъ-то усвоеній и дополненій составились *миология* и *символика*“ и т. д. ¹⁾.

Рѣдко встрѣчается такая путаница словъ и понятій. Соотвѣтственно этому и объясняются источники русскаго чернокнижія. „Тайныя сказанія древняго міра,—продолжаетъ Сахаровъ,—осуществлялись людьми, озаменованными (?) безчисленными названіями“. И затѣмъ пересчитываются разные представители древняго чернокнижія—греко-римскаго: астрологи, авгуры, „прогностики“, мистагоги, гарусеки, сортилеги, пнеониссы и т. д.; исчисляются древнія прорицалища и оракулы; различные способы гаданія: кабалистика, антропомантия, аеромантия, гидромантия, вапномантия, катоптромантия, леканомантия, некромантия, онихомантия и т. д.—по какому-нибудь старинному справочному словарю. По теоріи Сахарова выходило, что эти чернокнижники и гадатели имѣли своихъ учениковъ въ древней Руси. Напримѣръ: „Астрологи, облачаемые названіями халдеевъ, математиковъ, волхвовъ, почитаются старѣйшинами въ образованіи чернокнижія... Незадолго было повѣріе, что Зороастръ персидскій первый начерталъ чернокнижіе (!); но теперь оно (т.-е. „повѣріе“), съ открытіемъ санскритскихъ письменъ, уничтожается (!). Въ землю русскую перешли астрологи при началѣ ея общественнаго быта (!) и расплодили свои понятія въ семейной жизни такъ глубоко, что и теперь въ селеніяхъ существуютъ темные намеки о вліяніи планетъ на судьбу человѣка... замѣтимъ здѣсь, что и русская народная символика есть порожденіе астрологовъ“ (!). Далѣе оказывается, что и „авгурология (гаданіе по птицамъ) перешла въ русскую землю со многими видоизмѣненіями“; и „ученіе прогностиковъ виѣдрилось въ русскую семейную жизнь издревле“; и „видѣнія, и призраки русскаго селянина (?) носятъ на себѣ отпечатокъ ученія мистагоговъ“; „ученіе гарусековъ мало извѣстно русскимъ чародѣямъ“, но „русское кудесничество и чародѣйство составилось изъ преданій ессалійскихъ волшебницъ (пнеониссъ); наши сельскія колдуньи представляютъ изъ себя живой сколокъ съ этихъ волшебницъ“ и т. д. ²⁾. Вопросъ о томъ, имѣли ли на „русскую семейную жизнь“ вліяніе дельфійскій

¹⁾ Сказанія, томъ I, кн. 2, стр. 7—8.

²⁾ Въ другихъ мѣстахъ онъ указываетъ еще, что къ русскимъ приносилъ кудесничество финны, татары, литовцы, молдаване, цыгане.

и додонскій оракулы и „прорицалище Аммона“, Сахаровъ оставляетъ открытымъ: „трудно рѣшить“.

Но Сахаровъ усиленно заботится о томъ, чтобы доказать, что народное чернокуниже не было придумано самимъ русскимъ народомъ. Нѣсколько разъ онъ повторяетъ, что „русскій народъ никогда не создавалъ думъ для тайныхъ сказаній“; „мы смѣло можемъ сказать, что на нашей родной землѣ ни одинъ русскій человекъ не былъ изобрѣтателемъ тайныхъ сказаній“; относительно „чаръ для калѣкъ“ Сахаровъ утверждаетъ, что „русскій поселянинъ не былъ ихъ изобрѣтателемъ“¹⁾ и пр. Онъ такъ огорчается нѣкоторыми суевѣрїями народа, что, хотя и былъ ревностный этнографъ, желаетъ истребленія, а не изученія народно-письменныхъ памятниковъ этого рода, — конечно важныхъ для настоящаго этнографа²⁾. Въ другомъ мѣстѣ, онъ беретъ подъ защиту и нашихъ отдаленныхъ предковъ и негодуетъ противъ новѣйшихъ мѣологовъ, которые, между прочимъ, „подъ видомъ ученыхъ изслѣдованій, прибѣгаютъ къ небывалымъ открытіямъ и наводятъ на нашихъ предковъ *позорную тѣнь многобожїя*“³⁾.

Итакъ, ясно, почему надо было отвергать и многобожіе предковъ, и чернокуниже потомковъ: это была позорная тѣнь, которой Сахаровъ никакъ не могъ допустить на народъ, столь патріархально-благоравномъ и православно-благочестивомъ. Для объясненія этого, у Сахарова имѣется особая теорія „общественнаго образованія русскаго народа“, т. е., развитія русской народности. Хотя чернокуниже и зашло къ намъ, оно не нарушило чистоты нашей народности на слѣдующемъ основаніи:

„Общественное образованіе русскаго народа, совершаясь независимо отъ другихъ народовъ, по своимъ собственнымъ законамъ, выражалось въ умственной жизни двумя отдѣльными знаменованіями (?): *понятїями общественными и семейными.*

„Русскїя общественныя понятїя всегда (?) существовали на краеугольномъ основаніи христіанскаго православїа. Іерархи, какъ пастыри церкви и учителя народа, князья и цари, какъ священныя властелины и блюстители народнаго благоденствїа, были представителями общественныхъ понятїй. Находясь въ

¹⁾ Сказанїа, т. I, кн. 2, стр. 8, 14, 28.

²⁾ Говоря о плакунѣ-травѣ, Сахаровъ пишетъ: „Съ горестью (!) упоминаемъ о суевѣрїяхъ нашихъ поселянъ надъ этою травой... Чародѣйскїй травникъ, занесенный въ русскую землю изъ Бѣлоруссіи и Польши, говоритъ о многихъ обрядахъ надъ травой плакуномъ... Этотъ новый источникъ сельскаго заблужденія, вѣроятно, зашелъ въ наше отечество во время самозванцевъ... Кто бы не пожелалъ, чтобы эти травники были уничтожены, или по крайней мѣрѣ чтобы *простомудрїи* увѣрились въ ихъ ничтожность?“—Сказ., тамъ же, стр. 44.

³⁾ Сказ., т. II, кн. 7, стр. 91.

рукахъ столь важныхъ лицъ, они всегда были дѣлы и невредимы, какъ была дѣла и невредима русская жизнь. Отъ этого самаго въ нашемъ отечествѣ никогда не было переворотовъ въ общественныхъ понятіяхъ, внесенныхъ сосѣдними народами. Все совершалось постепенно, въ теченіе многихъ вѣковъ людьми, являвшимися изъ среды своихъ соотечественниковъ... Во всѣхъ переворотахъ сосѣднихъ странъ онъ (русскій славянинъ) не былъ участникомъ. Въ этомъ-то самомъ замѣчалась ненарушимость русскаго общественнаго понятія.

„Русскія семейныя понятія существовали на своихъ отдѣльныхъ основаніяхъ (?), и порождаясь въ семействахъ (?) никогда не сливались съ общественными понятіями (?). Въ нихъ не было единства; они были столько различны, сколько тогда были различны границы русской земли (?). На этихъ заповѣданныхъ (?) чертахъ все измѣнялось отъ стеченія чужеземныхъ мнѣній. Облекаясь русскимъ словомъ въ гостеприимныхъ семействахъ (?), эти мнѣнія переносились отъ одного селенія къ другому (?). Пришельцы и люди бывалые были передавателями чужихъ мнѣній“.—Эти пришельцы и бывалые люди „никогда не выходили изъ круга семейнаго, никогда не были участниками въ обмѣнахъ общественной жизни“¹⁾.

Съ этой точки зрѣнія Сахаровъ и убѣдился, что черноокнижіе, а съ нимъ и другія позорныя заблужденія не были русскимъ дѣломъ, а заносились къ намъ только чужеземцами. Всѣ эти оправданія русской старины довольно забавны, потому что можно было бы разрѣшить ей заблуждаться и собственными фантазіями,—но у Сахарова видимо въ подкладкѣ было желаніе и въ отдаленнѣйшей старинѣ охранить за русскимъ народомъ тѣ основныя начала русской жизни, которыя были указаны тогда программой официальной народности. Сахаровъ и раздѣлил *общественныя* и *семейныя* начала русской жизни, другими словами официально народныя и простонародныя, и первыя всячески восхвалялъ, не останавливаясь передъ историческими безмыслицами.

Но вслѣдъ за этими безмыслицами, подъ рубрикой „сказаній о кудесничествѣ“ сообщается очень любопытная и цѣнная коллекція заговоровъ (числомъ 64), собранныхъ самимъ Сахаровымъ и полученныхъ отъ другихъ лицъ. Далѣе подъ заглавіемъ „сказаній о чародѣйствѣ“ (которое можно было бы соединить съ „кудесничествомъ“) сообщаются различныя приемы колдовства: чары на вѣтеръ, на слѣдъ, для калѣкъ, на лошадей, на подтекъ и т. п.; описываются чародѣйныя травы: прикрыть, сонъ-трава, кочедыжникъ или папоротникъ, разрывъ-трава и т. п. Но и здѣсь Сахаровъ не могъ обойтись безъ „востока древней жизни, изобрѣтателя чарованій“, и въ русское чародѣйство помѣстилъ „абракадабру“, „Sator, agero“ и пр., наконецъ, невѣроятныя „пѣсни вѣдьмъ на Лысой горѣ“, „чародѣйскую пѣсню Солнцевыхъ дѣвъ“ и т. п. Далѣе, „сказанія о знахарствѣ“, гдѣ со-

¹⁾ Сказанія, I, кн. 2, стр. 14—15.

общаются разныя бытовыя суевѣрія, приемы знахарскаго леченья; „сказанія о ворожбѣ“, гаданьяхъ и истолкованіяхъ; „сказанія о народныхъ играхъ“; „загадки и притчи“; „народныя присловья“, гдѣ собраны шутливыя и насмѣшливыя прозвища, которыя сливуться жителями разныхъ мѣстностей. Всѣ эти рубрики представляютъ много любопытнаго матеріала, но не безъ странностей въ ученыхъ объясненіяхъ автора.

Книга третья посвящена изданію пѣсенъ. Собраніе было очень разнообразно; по рубрикамъ Сахарова, здѣсь были пѣсни святочныя, похоронныя, плясовыя, свадебныя, семейныя, разгульныя, удалыя, солдатскія, казацкія, обрядныя, колыбельныя. Въ чемъ состоялъ здѣсь трудъ Сахарова, какъ собирателя и редактора? Въ статьѣ о пѣсняхъ (кн. 1-я), какъ мы видѣли, онъ очень строго относится почти ко всѣмъ своимъ предшественникамъ, которыхъ винилъ обыкновенно въ искаженіи подлиннаго народнаго текста. Онъ не исключилъ изъ своихъ осужденій и Чулкова; хотя самъ онъ признаетъ предпріятіе Чулкова „самымъ замѣчательнымъ“, но все-таки причисляетъ его къ издателямъ, особенно виновнымъ въ искаженіи пѣсенъ (какъ Поповъ, Макаровъ, Гурьяновъ); онъ дивится „снисходительности читателей“ и жалѣетъ объ „отважности издателей“¹⁾. По поводу пѣсенной музыки, Прача и Кашина, Сахаровъ осуждаетъ ихъ итальянскую манеру музыкальнаго переложенія и (не знаеиъ, по собственному ли пониманію предмета) дѣлаетъ одно серьезное замѣчаніе,— до сихъ поръ мало приложенное,—о необходимости отмѣчать различія народнаго пѣснопѣнія по областямъ²⁾.

Отношеніе Сахарова къ предшественникамъ своимъ было вообще несправедливо, — а относительно Чулкова особенно неблагоприятно. Упрекая его за исправленіе „стиховъ и *риомъ*“, Сахаровъ не хотѣлъ понять, что въ этомъ случаѣ рѣчь идетъ не о народныхъ, а о сочиненныхъ пѣсняхъ, потому что сборникъ Чулкова, по самому namѣренію издателя, заключалъ тѣ и другія. Сахаровъ забылъ дальше сказать, что именно сборникъ Чулкова ввелъ въ литературу цѣлый рядъ прекраснѣйшихъ пѣсенъ, какія есть въ нашей народной лирикѣ, а наконецъ Сахаровъ скрылъ отъ своихъ читателей, что много подобныхъ пѣсенъ онъ самъ взялъ именно отъ этого Чулкова!

Въ замѣткѣ, предшествующей тексту пѣсенъ (въ 3-й книгѣ „Сказаній“), Сахаровъ говоритъ слѣдующее: „Всѣ помѣщенные здѣсь пѣсни, однѣ собраны были мною въ губерніяхъ: тульской, калужской, рязанской, московской, орловской и тверской, а другія доставлены:

¹⁾ Сказанія, I, кн. I, стр. 26—27.

²⁾ Тамъ же, стр. 38—39.

пошехонскія А. И. Кастеринимъ, санктпетербургскія и ярославскія И. Т. Яковлевымъ, тихвинскія Парихинимъ, уральскія В. И. Далемиъ. При самыхъ пѣсняхъ онъ не дѣлаетъ, однако, указаній, откуда идетъ та или другая пѣсня, забывая, что указаніе *области* было бы столько же важно для текста пѣсни, какъ и для ея напѣва; нѣкоторыя указанія сдѣланы только при вариантахъ. Оставивъ пѣсни безъ указанія ихъ источника, Сахаровъ не далъ читателю возможности судить и о томъ, какая доля сборника была собрана его собственнымъ трудомъ, и какая получена готовою, т. е. въ такихъ же чужихъ спискахъ, какими пользовался Чулковъ ¹⁾. Предположивъ, что это упущеніе произошло по недосмотру, — не пришло въ голову, — нельзя, однако, найти удовлетворительнаго объясненія тому, отчего Сахаровъ умолчалъ о своихъ заимствованіяхъ у Чулкова, которыя очевидны ²⁾. Читателю предоставлено было воображать, что эти пѣсни

¹⁾ Этотъ упрекъ тоже былъ сдѣланъ Сахаровимъ.. „сдѣдовательно, Чулковъ самъ не собиралъ пѣсни, не подслушивалъ ихъ въ селеніяхъ, а печаталъ прямо съ готового. Въ этомъ еще нельзя обвинять его, — добавляетъ Сахаровъ: — онъ, можетъ быть, имѣлъ свою цѣль“. Цѣль Чулкова не можетъ возбуждать недоумѣній; она высказана въ заглавіи его сборника.

²⁾ Возьмемъ, напр., одну 2-ую часть сборника Чулкова, во „второмъ тисненіи“ (въ Москвѣ, у Хр. Клаудія, 1788). Сличая съ ней третью книгу „Сказаній“ Сахарова, находимъ такіа совпаденія:

— Сахарова, I, 3, стр. 202 (пѣсни *семейныя*): „Какъ бы знала, какъ бы вѣдала“ — равно пѣсни у Чулкова, № 163.

— Ib.: „Ужъ какъ полно, красна дѣвица, тужити“ — Чулк., № 192.

— Ib. 204: „Ахъ, палъ туманъ на сине море“ — Чулк., № 138.

— Ib.: „Какъ у ключика у гремучева“ — Чулк., № 144.

— Стр. 205: „Ахъ, конь ли мой, конь, лошадь добрая“ — Чулк., № 149.

— Ib.: „Какъ у доброва молодца зеленъ садикъ“ — Чулк., № 177.

— Ib.: „Не бывшуща въ чистомъ полѣ зашаталася“ — Чулк., № 148 и т. д.

Изъ пѣсенъ *разумныхъ*. Сахаровъ, 218: „Чарочки по століку похаживаютъ“ — Чулк., № 195.

— Стр. 219: „Еще разъ люди въ людяхъ-то живутъ“ — Чулк., № 160.

— Стр. 220: „Въ Архангельскомъ, во градѣ“ — Чулк., № 179.

— Ib. 221: „Заваруй, варуй, варуйко“ — Чулк., № 197.

— Ib.: „Веселне по улицамъ похаживаютъ“ — Чулк., № 198.

Изъ *удалыхъ*. Стр. 224: „Изъ Кремля, Кремля, крѣпка города“ — Чулк. № 129.

— Стр. 225: „Ахъ, подъ лѣсомъ, лѣсомъ, подъ зеленой дубравой“ — Чулк., № 139.

— Ib.: „Голова ль ты моя, головушка“ — Чулк., № 130.

Изъ *солдатскихъ*. Стр. 285: „Какъ во славномъ было городѣ Колинванѣ“ — Чулк., № 137.

— Ib.: „Ахъ, ви бѣдныя головушки солдатскія“ — Чулк., № 141, и пр.

Такимъ же образомъ, заимствовались, безъ указанія источника, пѣсни изъ сборника Праща. Напр.:

— Сак., стр. 202: „Ты дуброва моя, дубровушка“ — Пращъ (по 1-му изд.) № 23.

— Стр. 205: „Не спала-то я, младешенка, не дремала“ — Пращъ, № 32.

вовсе не печатались „съ готоваго“, а были издателемъ „подслушаны въ селеніяхъ“.

Въ этомъ заимствованіи не было бы никакой бѣды; напротивъ, полезно было извлечь изъ старыхъ сборниковъ пѣсни, вообще прекрасныя и характерныя, но выписываніе изъ Чулкова становится неблаговиднымъ послѣ того, какъ этотъ же Чулковъ былъ охаянъ Сахаровымъ и когда Сахаровъ выставилъ себя такимъ блюстителемъ народности, извлекаемой изъ самаго ея источника. Дальше мы встрѣтимся еще съ худшими приемами нашего этнографа; но большинство своихъ современниковъ онъ успѣлъ оставить относительно этихъ приемовъ въ заблужденіи. Любопытно, въ самомъ дѣлѣ, что въ то время никому не пришло въ голову сравнить книгу Сахарова съ прежними сборниками; всѣ такъ и были убѣждены, что пѣсни „подслушаны въ селеніяхъ“.

Пользуясь чужимъ матеріаломъ, блюститель подлинности не оставлялъ его нетронутымъ, напротивъ, дѣлалъ иногда собственные подправки, для которыхъ не было никакого достаточнаго основанія: въ самомъ дѣлѣ, какъ онъ могъ, въ тридцатыхъ годахъ нашего вѣка, исправлять (умалчивая о томъ) текстъ пѣсни, изданный въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія и очевидно только отсюда ему извѣстный? Сличивъ эти тексты Сахарова съ ихъ первообразами, можно видѣть, что Сахаровъ, мѣняя слегка пѣсенныя слова, старался прибавить пѣснѣ или внѣшнюю гладкость, или сладковатость (посредствомъ уменьшительныхъ), или наконецъ мнимый, болѣе старинный колоритъ,—иной разъ поправлялъ предполагаемую неправильность ¹⁾).

— Стр. 206: „У дороднаго добра молодца“—Праць, № 8.

— Стр. 209: „Ахъ, ты поле мое, поле чистое“—Праць, № 20.

— Стр. 236: „Какъ пониже было города Саратова“—Праць, № 4, и т. д.

¹⁾ Напр., въ пѣснѣ: „У дороднаго, добра молодца“, въ изданіи Праца читаемъ:

...Что просватагъ меня сударь батюшка...

Не за *ладушку* да милова;

А что отдалъ меня батюшка

Во семью во несогласную,

Во *хоромину* непокрытую.

Сахаровъ печатаетъ въ своемъ изданіи:

Что просватагъ меня батюшка...

Не за *ладушку* за милога,

А отдалъ меня батюшка

Не въ согласную семью,

Не въ покрытую *избу*.

„Хоромина“ казалась, вѣроятно, недостаточно народной, а „ладушка“, вѣроятно, должна была напомнить „Слово о полку Игоревѣ“.

Но съ сороковыхъ годовъ, когда „Пѣсни“ Сахарова вновь явились въ „Сказаніяхъ“, этнографическія изученія становились уже на гораздо болѣе твердую почву научной критики и художественнаго вкуса. Новое поколѣніе ученыхъ и любителей, лучше подготовленное, уже мало удовлетворялось Сахаровымъ. Начали появляться новыя сборники, гораздо лучше исполненные; новыя изслѣдованія съ болѣе критическимъ знаніемъ¹⁾; въ литературѣ, по стопамъ Пушкина и Гоголя, возникали художественныя картины народнаго быта въ произведеніяхъ Тургенева, Островскаго, Писемскаго и т. д. Рядомъ со всѣмъ этимъ дурныя тексты Сахарова, его нескладныя и притязательныя разсужденія возбуждали досадливое недовольство, и кредитъ его сталъ падать и падать.

Образчикомъ этого новаго отношенія къ Сахарову можетъ послужить любопытная статья Аполлона Григорьева, въ 1854 г.²⁾ Нѣсколько выдержекъ дадутъ понятіе о томъ, сколько накопилось къ тому времени этого недовольства Сахаровымъ.

„Да позволено намъ будетъ,—говоритъ авторъ,—*одинъ разъ навсегда*, высказать нашъ взглядъ на трудъ г. Сахарова, извѣстный подъ громкимъ названіемъ „Пѣсни русскаго народа“...

„Г. Сахаровъ началъ съ того, что въ своемъ предисловіи уничтожилъ всѣ прежніе „Сборники пѣсенъ“, обвинивши ихъ, отчасти и справедливо, въ искаженіяхъ, поправкахъ, однимъ словомъ, въ измѣненіяхъ чисто-народнаго и въ маломъ уваженіи къ чисто-народному; но спрашивается: какъ же самъ г. Сахаровъ относится къ этому чисто-народному? Всякаго, кто знакомъ съ русскими пѣснями не по печатнымъ только источникамъ, всякаго, кто хотя сколько-нибудь ихъ слышалъ въ народѣ, чье ухо хоть сколько-нибудь привыкло къ ихъ музыкально-гармоническому складу, и въ чье сердце хотя сколько-нибудь проникло ихъ содержаніе,—сборникъ г. Сахарова возмущаетъ едва ли не болѣе, чѣмъ „Новѣйшій, полный и всеобщій пѣсенникъ“... (и проч., т. е. Пѣсенникъ рыночнаго издѣлія). Г. Сахаровъ, какъ собиратель новый и притомъ съ притязаніями сообщить своему собранію значеніе научное, конечно, не далъ

Въ пѣснѣ: „Ахъ, талантъ ли мой, талантъ таковъ“ (стр. 237), варианты которой у Чулкова № 147 и Прача № 9, Сахаровъ пишетъ:

Высоко звѣзда восходила

Выше свѣтлова, *млада* мѣсяца, —

чего у другихъ нѣтъ и, вѣроятно, не должно быть.

Въ пѣснѣ: „Въ архангельскомъ, во градѣ“ поправлено: „Ахъ, у насъ было на *свозѣ*“, вмѣсто: „на *звозѣ*“, какъ правильно у Чулкова. „Звозъ“ или „звозъ“ — подъемъ отъ рѣки по крутому берегу.

¹⁾ Упомянемъ, напр., „Русскіе народныя стихи“, явившіяся въ 1848 замѣчательнымъ образчикомъ изъ коллекціи Кирѣевскаго; „Собраніе пѣсенъ“ (съ музыкой) Стаховича; сборники малорусскіе; начавшіяся изслѣдованія Костомарова, Буслаева, Кавелина, Аванасьева, и пр.; начавшюся дѣятельность Географическаго Общества.

²⁾ Москвитининъ, 1854, № 15, Критика, стр. 98—142: „Русскія народныя пѣсни“, по поводу собранія Стаховича.

своему сборнику пѣснаго заглавія“.. (какими отличаются сборники рыночные), „не ввелъ такихъ категорій раздѣленія, какъ пѣсни *издѣлочныя, выговорныя, критическія*, — не напечатавъ чувствительныхъ романсовъ въ родѣ „Стонеть низкій голубочикъ“ д-бокъ съ народными пѣснями, но за то: 1) ввелъ свои, не такъ смѣшныя, но за то болѣе исполненныя претензіей категоріи; 2) не напечатавъ многого множества настоящихъ народныхъ и всякому русскому человѣку знакомыхъ изъ дѣтства пѣсенъ, 3) искажалъ во имя условнаго размѣра многія пѣсни, не лучше князя Цертелева, только на новый манеръ.

„Въ самомъ дѣлѣ, что такое значать у г. Сахарова категоріи пѣсенъ: семейныя, разгульныя, сатирическія? какое различіе разгульныхъ отъ плясовыхъ? почему названіе „удалыя“ пѣсни лучше названія „разбойническихъ“ пѣсенъ?

„Почему въ сборникѣ народныхъ русскихъ пѣсенъ не встрѣчается множество пѣсенъ, которыя услышишь, какъ только подойдешь, гдѣ-нибудь въ отдаленныхъ городскихъ переулкахъ, къ поющей толпѣ, и которыя не встрѣчаются въ сборникѣ Сахарова? Или одиѣ рѣдкости только собиралъ г. Сахаровъ?—но у него безпрестанно попадаются пѣсни вовсе не рѣдкія, сто разъ печатавныя, даже въ тѣхъ несчастныхъ собраніяхъ, которыя онъ уничтожаетъ безъ всякаго милосердія.

„Г. Сахаровъ стѣдуетъ на искаженія, которыя пѣсни потерпѣли въ Чулковскомъ, Новиковскомъ, Цертелевскомъ, Капшинскомъ и другихъ сборникахъ, но у него: 1) очень часто въ записанныхъ пѣсняхъ народныхъ попадаютъ стихи дѣланые и вставочныя, и 2) размѣръ пѣсенъ болѣею частію не понять и весьма часто искаженъ, подведенъ подъ условное ядро..

(Указавши пѣсколько примѣровъ порчи пѣсенъ у Сахарова ¹⁾, авторъ продолжаетъ): „и такія искаженія попадаютъ на каждомъ шагѣ въ сборникѣ г. Сахарова, такъ что его „Пѣсни русскаго народа“ почти столь же мало соотвѣтствуютъ своему названію, какъ исторія г. Полевого своему, не смотря на то, что г. Сахаровъ весьма часто придаетъ этому послѣднему пышный титулъ историка русскаго народа. Мы думаемъ даже, что съ *тѣми взглядами* на народность русскую, которые явились въ литературу тридцатыхъ годовъ, въ исторіи г. Полевого, въ его историческихъ романахъ и драматическихъ представленіяхъ, съ *взглядами*, которые высказываются и въ предисловіяхъ г. Сахарова къ разнымъ отдѣламъ его собранія, *трудно понять* душевно содержаніе русскихъ пѣсенъ и *усвоить* себѣ крѣпко ихъ разнообразныя формы; литература тридцатыхъ годовъ приступила къ народности русскій съ самыми странными претензіями и умѣла только смѣяться надъ предшествовавшими трудами по этой части. Стоитъ прочесть предувѣдомленіе, которымъ снабдилъ г. Сахаровъ собраніе святочныхъ пѣсенъ,—написанное какимъ-то приторно-добродушнымъ и поддѣльнымъ тономъ, чтобы убѣдиться, какъ мало издатель способенъ былъ къ принятому имъ на себя труду“ ²⁾.

Когда, наконецъ, явился новый издатель народныхъ пѣсенъ, которому пришлось имѣть дѣло съ тѣми же матеріаломъ и близко провѣрить Сахарова, странныя приемы послѣдняго бросились въ глаза.

¹⁾ Авторъ, между прочимъ, указываетъ подиравки, совсѣмъ невозможныя въ длинной народной пѣснѣ; передѣлку размѣра и содержанія à la Дельвигъ; передѣлку „à la князь Цертелевъ, или въ родѣ сборника: Веселая Эрато (!) на русской свадьбѣ“.

²⁾ „Москвитиницъ“, стр. 94—108, 112—113.

Въ 1860, началось изданіе „Пѣсенъ, собранныхъ П. В. Кирѣевскимъ“ предпринятое московскимъ Обществомъ любителей російской словесности; г. Безсоновъ, который велъ это изданіе, къ сборнику самого Кирѣевского присоединилъ по возможности весь старый матеріалъ эпическихъ пѣсенъ, и при этомъ внимательно пересматривалъ старые тексты и въ томъ числѣ Чулкова, Новикова и проч. Оказалось, что Сахаровъ, суровый обличитель искаженія пѣсенъ, какъ мы уже видѣли, самъ ни мало не стѣсняясь подправлялъ ихъ въ своемъ вкусѣ, уснащивалъ ихъ любимыми словечками, подслащалъ въ мнимо-народномъ стилѣ — вѣроятно, не ожидая, что его самого могутъ провѣрить. Не приводя дальнѣйшихъ примѣровъ, отсылаемъ читателя къ многочисленнымъ указаніямъ г. Безсонова ¹⁾. Каждая изъ отмѣченныхъ страницъ представляетъ образчики подправокъ, которыми Сахаровъ украшалъ данный текстъ, почти всегда нестати, неудачно, а иногда и просто нелѣпо, стараясь притомъ отвести глаза читателю. Въ одномъ случаѣ онъ, по предположенію г. Безсонова, дошелъ наконецъ до прямого сочинительства. О Стенькѣ Разинѣ извѣстно, что онъ, плававшій на „Соколѣ“, съжегъ царскій корабль „Орелъ“; съ другой стороны, есть преданіе подобнаго рода, связанное съ именемъ Ильи-Муромца: изъ этихъ данныхъ составила былина, крайне нескладная съ начала до конца, и по мнѣнію г. Безсонова, народу не принадлежащая ²⁾.

Въ четвертой книгѣ „Сказаній“ собраны былины, затѣмъ—Слово о полку Игоревѣ, сказаніе о нашествіи Батыя, слово Даниила Заточника и сказаніе о Мамаевомъ побоищѣ. О былинахъ Сахаровъ говоритъ въ предисловной замѣткѣ, что для изданія изъ *принятъ съ основаніемъ* текстъ, помѣщенный въ рукописи, принадлежавшей тульскому купцу Бѣльскому, и только для варіантовъ (которые, однако, не приводятся) употреблены былины, собранныя В. И. Далемъ въ казанской и оренбургской губерніи по Уралу, и „сборникъ Демидова“, изданный „подъ ложнымъ именемъ Кирши Данилова“. При печатаніи, былины были Сахаровымъ „раздѣлены на семь отдѣльныхъ пѣсенъ такъ, какъ онѣ были помѣщены въ *рукописи Бѣльскаго*“. Новаго противъ Кирши Данилова рукописи, однако, ничего не сообщила; только отдѣльныя былины были связаны подъ общій сюжетъ. Съ этой „рукописью Бѣльскаго“ мы еще встрѣтимся далѣе.

Одновременно съ первымъ томомъ „Сказаній“ или вскорѣ послѣ

¹⁾ Пѣсни, собранныя Кирѣевскимъ. Вып. 6, Москва, 1864: стр. 187—190. Вып. 7, 1868: стр. 111—112, 137, 146—147, 206—212. Вып. 8, 1870: стр. 2, 24, 28, 58, 61, 65—75, 78—80, 84, 85, 87, 88, 90—93, 97, 132—134, 154, 155, 161, 284, 285, 302, 319; въ замѣткѣ г. Безсонова, стр. LXVIII.

²⁾ Сказанія, I, кн. 3, стр. 244; Безсоновъ, вып. 7, стр. 146—147.

него, вышли „Русскія народныя сказки“ (1841, 1-я часть; второй не было). Въ цѣломъ трудѣ Сахарова, „сказки“ должны были составить 20-ю книгу; но это изданіе, вѣроятно, особенно интересовало автора, и онъ напечаталъ его внѣ очереди. Въ общемъ планѣ (въ предисловіи перваго тома „Сказаній“) объ этой 20-й книгѣ было сказано слѣдующее: „Здѣсь будутъ напечатаны тексты народныхъ сказокъ и указанія на *умышленныя передѣлки* нашихъ современниковъ. Въ сказкахъ важенъ для насъ языкъ самобытный, чисто-русскій. Московскіе издатели печатаютъ лубочныя изданія сказокъ съ своевольными вставками и передѣлками. Это *черное пятно* для нашей народности мы должны уничтожить изъ нашей современности, если не желаемъ подвергать себя *суду потомства*, если мы еще дорожимъ своимъ просвѣщеніемъ“. Что сказать объ этомъ негодованіи на „черныя пятна для нашей народности“, объ этихъ напоминаніяхъ о судѣ потомства, если окажется, что самъ Сахаровъ не только умышленно передѣлывалъ, но сочинялъ цѣлыя сказки?

Въ предисловіи къ самой книгѣ Сахаровъ говоритъ еще больше на тему о чистотѣ народности, о порчѣ сказокъ недобросовѣстными изданіями и т. п. Далѣе, въ „обозрѣніи русскихъ сказокъ“ онъ даетъ списокъ сказокъ по сюжетамъ, потомъ библиографическую роспись книжныхъ и лубочныхъ изданій, потомъ разборъ главныхъ изданій, мнѣнія нашихъ писателей о сказкахъ, наконецъ, разсужденіе о содержаніи сказокъ и объ ихъ источникахъ. „Обозрѣніе“ и для того времени было слабо; критика предшественниковъ — также, какъ мы видѣли раньше при миѳологіи и пѣсняхъ: Сахаровъ обрушивается съ обличеніями на издателей, вовсе не имѣвшихъ цѣли этнографической, чтобы косвенно превознести собственную книгу. Библиографическая роспись неполна, а по лубочнымъ изданіямъ задолго раньше и одновременно съ Сахаровымъ являлись гораздо болѣе замѣчательныя работы Снегирева. Что же было въ самомъ изданіи? Въ книгѣ Сахарова помѣщены слѣдующія сказки: Добрыня Никитичъ, Василій Буслаевичъ, Илья Муромецъ, Акундинъ, о Ершѣ Ершовѣ, о семи Семіонахъ. Всѣ онѣ, кромѣ сказки о Ершѣ, взяты, по словамъ Сахарова, изъ рукописи Бѣльскаго, упомянутаго тульскаго купца, который получилъ ее изъ дома Демидова; рукопись, по словамъ Сахарова, была писана разными руками въ XVIII вѣкѣ и заключала въ себѣ былины (какъ упомянуто выше) и сказки (числомъ 14).

Что касается сказокъ богатырскихъ, то г. Безсоновъ, сличая ихъ съ былинами, приходилъ уже къ сильному подозрѣнію, если не къ полной увѣренности, что „рукопись Бѣльскаго“ есть миѳъ, что она никогда не существовала и послужила только для прикрытія манипуляцій Сахарова надъ народно-поэтическимъ матеріаломъ. Первые

три сказки составляютъ мнимо-народные прозаическіе и подправленные пересказы былинь ¹⁾, а четвертая, „Акундинъ“ есть просто сочиненіе самого Сахарова не тему, вычитанную имъ въ поэмѣ Ѡ. Глинки, „Карелия“ (1830), изъ оловецкихъ преданій ²⁾. Соображенія г. Безсонова объ этомъ предметѣ кажутся намъ очень правдоподобными, и въ поддѣлкахъ Сахарова онъ вѣрно указываетъ различныя прорухи противъ настоящаго народнаго склада ³⁾.

Изъ нашихъ историковъ, кажется, одинъ Бѣляевъ не усумнился въ „былинь“ объ Акундинѣ и воспользовался ею для изображенія новгородскихъ „повольниковъ“. Онъ находилъ, что эта былина „представляетъ намъ довольно вѣрный и полный типъ новгородскаго повольника“ и вводитъ повѣствованіе Сахарова въ исторію ⁴⁾. Костомаровъ не нашелъ, вѣроятно, возможнымъ сдѣлать этого, и въ „Народоправствахъ“ для характеристики новгородскаго удальца взялъ гораздо проще и вѣрнѣе былинку о Васильѣ Буслаевичѣ, который, напротивъ, странно забыть Бѣляевымъ, хотя гораздо больше Акундина отвѣчалъ его же представленію повольника. Бѣляевъ, кажется, самъ чувствовалъ, что чего-то недостаетъ въ „былинь“ Сахарова, изобра-

¹⁾ По поводу этихъ былинь Сахаровъ дѣлаетъ одно замѣчаніе, на которомъ можно остановиться. Какъ извѣстно, главнѣйшій богатырь кievскаго эпоса совпадаетъ со святнымъ, мощи котораго хранятся въ Киевѣ. Сахарову это совпаденіе казалось совершенно неприличнымъ — для святого, и онъ опять считаетъ нужнымъ заявить о благословитанности русской старини. „Мы не думаемъ,—говоритъ онъ,—чтобы наша сказка имѣла какое-нибудь сходство съ св. Ильею Муромцемъ, извѣстнымъ своею святостію жизни и негнѣніемъ мощей (Память св. Ильи совершается декабря 19 дня Ист. Росс. іерар., ч. I, стр. 393). Можетъ быть, другіе захотятъ отъскрывать сравненія—то увѣряемъ ихъ (!), что нашъ народъ *никогда не касался* святини“ (Р. Сказки, стр. 270). Сахаровъ, конечно, хотѣлъ сказать: не касался въ своей свѣтской пѣснѣ; но и это несправедливо: не только касался, но иногда и довольно легкомысленно. Укажемъ примѣръ, извѣстный и во время Сахарова—тѣ пѣсни въ сборникѣ Кириши Данилова, которымъ Калайдовичъ не рѣшился напечатать по ихъ неуважительному отношенію къ духовнымъ предметамъ.

²⁾ См. Пѣсни, собр. Киришевскимъ, вып. 4, 1862: стр. СLI, въ указателѣ, столб. 20, 24. Вып. 5, 1863: стр. XIII—LIII, СXXI, СXXIII—СXLIII. Ср. Ровинскаго, Р. Нар. картинки, IV, стр. 1; на стр. 67 цитата изъ Сахарова (Сказки, стр. LXVII) о переправкѣ сказокъ, относится не къ самому Сахарову, а къ Чулкову.

³⁾ Сахаровъ поступалъ не безъ хитрости. Такъ, напримѣръ, чтобы изобрѣтенный имъ (или въ крайнемъ случаѣ, черезъ жѣру подмалеванный) богатырь Акундинъ не бросился въ глаза абсолютной невѣдѣностью самаго имени, онъ ввелъ такое имя въ „сказку“ о Добрынѣ (стр. 32: „Акундинъ Ивановичъ, воевода кievскій“); потомъ являютъ и Акундинъ Путятичъ, новгородецъ, и его сынъ того же имени, самый богатырь сказки.

⁴⁾ Разсказы изъ русской исторіи, соч. Ивана Бѣлева. Кн. 2, изд. 2-е. М. 1866, стр. 92 и слѣд. Это было уже *послѣ* объясненій Безсонова. *Раньше* этихъ объясненій, Иловайскій не коснулся этого богатыря въ своей „Исторіи рязанскаго княжества“ (М. 1868), въ землѣ котораго совершились подвиги Акундина.

жающей своего героя слишком учтивымъ и степеннымъ, и обходить эту недостаку оговорками ¹⁾; но Васька Буслаевичъ, доподлинность котораго не подлежит ни малѣйшимъ сомнѣнiямъ, одолевая самихъ „мужиковъ новгородскихъ“, и былина нимало не стѣсняется говорить о его несносныхъ буйствахъ — потому что это именно и была „живая“, а не дѣланная былина. Съ другой стороны, какъ мы видѣли, Сахаровъ вообще старался примазывать и приглаживать старину, какъ это и видно въ „Акундинѣ“.

Сомнительность богатырскихъ сказокъ Сахарова и въ особенности „Акундина“ указывается, кромѣ сближенiя съ „Карелiей“, разными обстоятельствами, внѣшними и внутренними.

Во-первыхъ, куда дѣвалась эта замѣчательная рукопись Бѣльскаго, и какимъ образомъ Сахаровъ, уже владѣвшiй этимъ сокровищемъ въ 1830-хъ годахъ, могъ въ послѣдующiе долгие годы не подѣлиться съ любителями старины другимъ ея содержанiемъ? Рукописное собранiе Сахарова, богатое важными памятниками, перешло потомъ во владѣнiе гр. А. С. Уварова; но не слышно, чтобы у послѣдняго находилась „рукопись Бѣльскаго“, и вообще о ней съ тѣхъ поръ ничего неизвѣстно. Во-вторыхъ, ни до Сахарова, ни послѣ, нигдѣ не встрѣтилось въ старой рукописной литературѣ ничего похожаго на сказку объ Акундинѣ; а между тѣмъ, въ наше время рукописная старина очень внимательно разрабатывалась именно въ этомъ направлении; никакого отголоска этого новгородскаго богатыря не нашлось и въ обильныхъ записяхъ былинь и сказокъ изъ устъ народа, между прочимъ въ томъ самомъ олонецкомъ краѣ, къ преданiямъ котораго относилъ его Сахаровъ. Въ-третьихъ, *всѣ* сказки Сахарова написаны особеннымъ языкомъ, также донинѣ не имѣющимъ себѣ никакой параллели въ другихъ памятникахъ; этотъ языкъ невольно представляется сочиненнымъ, и именно всего болѣе скопированнымъ съ языка былинь и пѣсень, но прикрашеннымъ, подсла-

¹⁾ „Конечно,—говоритъ онъ,—не *всѣ* повольники были подобны представленному въ былинѣ Акундину Акундиновичу, но то несомнѣнно, что Акундинъ представленъ какъ *идеаль* новгородскаго повольника, къ которому живые повольники только приближались по мѣрѣ силъ, и по всему вѣроятiю, ни одинъ живой повольникъ не подходилъ къ идеалу воплотить, какъ это всегда бываетъ у людей (!). Но идеаль повольника, изображенный въ былинѣ Акундина, самъ по себѣ безукоризненъ; въ немъ нѣтъ и *тѣни* вранья, даже не упоминается ни о буйствахъ, ни о грабежахъ, безъ которыхъ едва ли тогда обходились живые повольники; слѣдовательно (?), Новгородъ въ повольничествѣ хотѣлъ видѣть главнымъ образомъ не грабежи и буйства молодыхъ людей на чужой сторонѣ, а сподручное средство дать буйной молодежи случай исправиться, перебѣдиться, и въ то же время вызвать ее на дѣятельность, воплотить согласную съ требованиями молодости, жадной до подвиговъ и опасностей, и не терпящей строгости и надзора старшихъ“.

ценнымъ до противности. Сахаровъ предупреждаетъ читателей, что они найдутъ здѣсь „чистый народный русскій языкъ“ и—постарался: нѣтъ фразы, сказанной просто; все усыпано эпическими повтореніями, уменьшительными, протянутыми по пѣсенному, „словесами“, приговорами („ужь какъ“, „а и“, и т. п.). Ему казалось, что „чистый народный“ языкъ долженъ быть именно таковъ: первобытно чувствительный; онъ вышелъ прибауточный, надоѣдливо приторный и фальшивый ¹⁾. „Акундия“ былъ, видимо, любимымъ произведеніемъ Сахарова: въ началѣ этой сказки онъ помѣстилъ трогательную интродукцію, отъ лица рассказчика, гдѣ изображается аркадская простота „чисто русской“ патриархальной старины ²⁾. Эта картина казалась Сахарову столь вѣрнымъ изображеніемъ подлинной русской народности, такъ была близка его сердцу и отвѣчала его идеаламъ, что эту тираду онъ поставилъ первымъ своимъ словомъ, въ самомъ началѣ „Сказаній“, передъ посвященіемъ своего труда „Родинѣ и предкамъ“. Сахаровъ достигалъ своей цѣли: подлинности его сказокъ и чувствительно-„народныхъ“ причитаній вѣрили ³⁾. Приведенную нами

¹⁾ Въ своемъ усердіи Сахаровъ заставляетъ „рукопись Бѣльскаго“, напр., писать всегда: „Микита“, и т. под., хотя въ другихъ случаяхъ эта рукопись соблюдаетъ обычное правописаніе. Вообще по языку и складу „рукопись Бѣльскаго“ есть во всякомъ случаѣ—unicum.

²⁾ „Соизвольте выслушать, люди добрые, слово вѣстное, приголубьте рѣчь лебединоу словеса (?) не мудрая, какъ въ стары годы, прежніе, жили люди старые. А и то-то, родимые, были *отки мудрые, отки мудрые*, народъ все православный. Живали старики *не по нашему, не по нашему*, по заморскому (чужое, Сахарову ненавистное, вообще представлялось ему „заморскимъ“), а по своему, православному. *А житье-то, а житье-то* было все привольное, да раздольное. Вставали ранни-раненько, съ утренней зарей, умывались ключевой водою, со бѣлой росой, молились всѣмъ святымъ и угодицамъ, кланялись всѣмъ роднымъ отъ востока до запада (?), и ходили на красенъ крылець (?) со рѣшеточкой, сонывали слугъ *отрыгъ* на добры дѣла. Старики судъ радили, молодые слушали; старики придумывали крѣпкія думушки, молодые бивали во посылушкахъ. Молодые молодцы правили домкомъ, красныя дѣвицы заивали вѣнки на Семикъ день (?). Старыя старушки судили, радили (?) и сказки сказывали. Бывали радости великія на великѣй день, бывали бѣды со кручинами на велико сиротство. А что было, то бывлю поросло; а что будетъ, то будетъ не по старому, а по новому. Русскимъ людямъ долгое житье, а родимой сторонѣ долгѣ того“ (Сказки, стр. 94—95).

³⁾ Онъ такъ негодовалъ противъ нарушеній чистой народности и противъ но-вѣйшаго фальшиваго сочинительства подъ народную маверу! „Было на Руси *удивительное* время, когда наши литераторы старались сочинять въ духѣ древнихъ пѣсенъ. Эту *несчастную страсть* началъ Н. М. Карамзинъ съ своего Муромца“ (т.-е. съ своимъ Муромцем?), и т. д. „Сказанія“, т. I, 1, стр. 43. Кажется, что бы за бѣда, еслибы новая литература стремилась въ *своихъ* произведеніяхъ усвоивать складъ той народности, за которую Сахаровъ такъ ратовалъ?

цитату съ полнымъ довѣріемъ повторять, напр., Надеждинъ, относя ея содержаніе даже къ далекой древности ¹⁾.

„Грустно разоблачать подобныя вещи у всякаго издателя,—говорить г. Безсоновъ послѣ разбора Сахаровскихъ приемовъ съ пѣснями и сказками: — грустно видѣть, какъ легко разлетаются эти карточные домики, на которые такъ рассчитывалъ безпокойный труженикъ, строилъ, обставлялъ, обгораживалъ, гдѣ замазывалъ, гдѣ законопачивалъ; еще грустнѣе говорить это о литературномъ дѣятелѣ, немало потрудившемся для народа, но—и отрадно, какъ отраденъ всякій выходъ изъ удушья на свѣжій воздухъ, на чистую истину, и полезно: вкусъ къ народному творчеству воспитывается изученіемъ его произведеній; онъ гибнетъ отъ фальшивыхъ поддѣлокъ; онъ зрѣетъ зрѣлостью мужества, когда рядомъ съ истинными произведеніями народа сопоставляемъ мы, для сличенія, поддѣлки“. Это замѣчаніе прилагается не только къ данному случаю, къ порчѣ и поддѣлкѣ народныхъ произведеній, но и къ цѣлому представленію Сахарова о русской народности...

Къ счастью, не всѣ труды Сахарова отличались этимъ свойствомъ. Второй томъ (книги пятая — восьмая), вышедшій въ 1849, занятъ былъ матеріаломъ, который болѣею частью мало давалъ поводовъ къ намѣреннымъ прикрасамъ. Здѣсь перепечатано и вновь издано нѣсколько старинныхъ словарей и азбуковниковъ, далѣе изданы: „русскія древнія свадьбы“; „свадьбы частныхъ людей въ XVII вѣкѣ“; „русскія свадебныя чиноположенія“; затѣмъ „народный дневникъ“ и „народные праздники и обычаи“, два сборника, принадлежащіе къ важнѣйшему, что было сдѣлано Сахаровымъ; наконецъ, „путешествія русскихъ людей“ — отъ игумена Даниила въ XII вѣкѣ, до Арсенія Суханова въ XVII-мъ. Правда, и здѣсь въ историческихъ разсужденіяхъ автора (напр., въ предисловіи къ словарямъ) факты передаются и для своего времени крайне путано и нескладно, и здѣсь не обошлось безъ прикрашиванья старины; но вообще собранъ цѣнный историко-этнографическій матеріалъ, который оказалъ тогда науцѣ не малую услугу.

Не будемъ останавливаться на библиографическихъ трудахъ Сахарова и сочиненіяхъ чисто археологическаго свойства, не имѣющихъ ближайшаго отношенія къ нашему предмету. Эти труды имѣли свою важность, когда надо было на первый разъ установить инвентарь

¹⁾ См. ст. о русскихъ мивахъ и сагахъ, которую Надеждинъ заканчиваетъ этой цитатой въ подтвержденіе собственнаго идеальнаго взгляда на русскую старину (въ изданіи „Р. Бесѣды“, ст. 2-я, стр. 61—63).

нашей литературной старины, распространить въ массѣ общества первоначальныя понятія о необходимости археологическихъ изслѣдованій; когда шло дѣло о распространеніи вкуса къ нимъ, который велъ бы къ охраненію и собиранію предметовъ древности. Чтобы оцѣнить въ этомъ отношеніи археологическую ревность Сахарова, надо припомнить, какимъ грубымъ невниманіемъ и пренебреженіемъ къ старинѣ отличалось (да и понынѣ, хоть нѣсколько въ меньшей степени, отличается) большинство „общества“. Но и здѣсь, какъ въ вопросахъ этнографіи, первое приближеніе дѣйствительно-научной критики къ тому же дѣлу указывало нерѣдко несостоятельность изслѣдованій Сахарова и въ постановкѣ предмета, и въ изложеніи самыхъ фактовъ ¹⁾.

Такимъ образомъ, дѣятельность Сахарова по изученію народности представляется въ двойственномъ, даже въ двусмысленномъ свѣтѣ. Въ тридцатыхъ, сороковыхъ, даже отчасти въ пятидесятыхъ годахъ труды Сахарова цѣнились высоко; свидѣтельство современника мы указали въ словахъ компетентнаго спеціалиста, Срезневскаго; новая критика открыла, однако, въ трудахъ Сахарова крупныя недостатки—еще въ его время и съ той точки зрѣнія, каковой онъ самъ держался. Его литературная судьба въ большой мѣрѣ объясняется самымъ характеромъ времени. Сахаровъ есть весьма типическій представитель тогдашней этнографической науки и своими приѣмами, и самыми недостатками, которые теперь почти совсѣмъ отняли у его трудовъ значеніе научнаго матеріала. Это былъ чистый самоучка, и не онъ одинъ былъ тогда самоучкой въ этомъ дѣлѣ, которое едва повидало ступень простой „охоты“, изученія любопытныхъ рѣдкостей и курьезностей. Мы видѣли, къ какимъ уродливымъ историческимъ понятіямъ приводило Сахарова отсутствіе знаній и критической подготовки. У него не было правильныхъ представленій даже о внѣшней судьбѣ русскаго народа, и неумѣнье отчетливо выражать свои мысли происходило отъ смутности мыслей. Не смотря на то, первые собирательскіе труды его по своей новостѣ имѣли большой успѣхъ, который еще усилилъ его самонадѣянность, всегда свойственную самоучкамъ; въ изданной недавно перепискѣ ²⁾ Сахаровъ свысока говорить даже о такихъ настоящихъ ученыхъ, какъ Востоковъ, Ундольскій, Бодянский. Изъ сотоварищей по археологін, которую онъ ис-

¹⁾ Ср. статья г. Забѣлина, собранная послѣ въ его „Опытахъ изученія русскихъ древностей и исторіи“ (2 т., 1872—1873), т. I, стр. 450—454 (1855 г.), т. II стр. 75, 78—105 (1852 г.). О качествѣ трудовъ Сахарова по палеографіи см. упомянутый и въ сущности неодобрительный отзывъ въ запискѣ Срезневскаго.

²⁾ „Русскіе Палеологи“, Н. Барсукова.

ключительно занялся въ послѣдніе годы, всего довѣреннѣе онъ былъ съ архаическимъ Кубаревымъ, — и ихъ ученая, часто неприятно сплетническая, переписка очень характерна; письма Кубарева о московскихъ происшествіяхъ 1849 года (запрещеніе „Чтеній“, выходъ Бодянскаго изъ университета и изъ Общества исторіи и древностей) доходятъ до пошлости... Въ своихъ понятіяхъ о русской народности, Сахаровъ хотѣлъ быть вѣрнымъ послѣдователемъ официальной программы. Его изученіе было чисто внѣшнее, описательное; для объясненія внутреннего характера народности онъ не сдѣлалъ и не могъ сдѣлать ничего — какъ по недостатку знаній, такъ и по фальшивому исходному взгляду. Мы упоминали, что въ его любви къ народности была своя демократическая жила, ненависть къ барству съ его иностраннымъ образованіемъ, пренебрегавшему народомъ и погрязавшему въ нравственномъ ничтожествѣ своего пренебреженія къ народу; Сахаровъ бранилъ это барство, пронизывалъ надъ нимъ сколько могъ, но никогда не пришелъ къ живому пониманію дѣла. Сущность его народнаго патріотизма свелась на грубое противопоставленіе русскаго и „заморскаго“, какимъ представлялось ему все западное, хотя бы и не-„заморское“: все русское было прекрасно, все „заморское“ было ненавистно и зловредно. Не совсѣмъ послѣдовательно Сахаровъ величаетъ Петровскую реформу, т. е. главный источникъ заморскаго въ нашей жизни, и въ то же время считаетъ заморское причиною упадка чистой русской народности, хранимой только народными массами: какъ считать научное знаніе, въ которомъ именно западъ оказалъ намъ великую помощь, осталось неизвѣстно. Въ чемъ состояли благодатныя свойства русской старины въ смыслѣ государственномъ, общественномъ, образовательномъ, Сахаровъ не объясняетъ; но бытовая жизнь, нравы старины изображаются аркадской идилліей, — какъ въ той тирадѣ изъ „Акундина“, которую онъ поставилъ во главѣ своихъ „Сказаній“. Этому представленію отвѣчало его обращеніе съ народно-поэтическими памятниками: дурно понятый патріотизмъ довелъ его до непозволительнаго шарлатанства; Сахаровъ принялся подправлять и подкрашивать старину въ томъ мнимо-народномъ стилѣ, который онъ считалъ за *настоящій русскій*. Въ своихъ книгахъ онъ настаивалъ, что пѣсни и т. п. должно сохранять неприкосновенными, какъ онѣ хранятся въ устахъ народа; современники повѣрили въ его собственную точность, но первая пристальная критика увидѣла, что Сахаровъ вовсе не слѣдовалъ хорошему правилу, которое проповѣдовалъ; на дѣлѣ онъ былъ гораздо худшимъ поддѣльщикомъ, чѣмъ его предшественники, имъ обличаемые: тѣ не задавали себѣ никакой научной задачи, а онъ долженъ былъ понимать, что дѣлалъ. Есть сильное подозрѣ-

ніе, почти увѣренность, что онъ самъ занялся сочинительствомъ, выдавая его за подлинное творчество народа (если бы въ „Акундинѣ“ и была у него какая-нибудь письменно-сказочная подлинная основа, то форма и частности несомнѣнно поддѣльныя). Отметимъ, какъ черту времени, любопытный фактъ, что эта склонность къ поддѣлкѣ повторяется и у другихъ собирателей той эпохи. Одно подлинно народное не удовлетворяло; при ограниченности размѣровъ перваго собранія, его и мало еще знали, между тѣмъ хотѣлось видѣть это народное болѣе полнымъ и совершеннымъ, и находились любители, которые подеидывали народу свои собственныя измышленія, конечно, въ томъ духѣ, какъ сами понимали народное, въ духѣ фальшиваго романтизма и вмѣстѣ официальной народности. Надо прибавить, что иногда поддѣльщики, вѣроятно, и не сознавали фальшивости своихъ дѣйствій: народное казалось еще литературнымъ матеріаломъ, который можетъ быть исправленъ и усовершенствованъ...

Результатъ дѣятельности Сахарова былъ довольно печальный: имя Сахарова, такъ много все-таки поработавшаго для русской этнографіи, еще при жизни его потеряло авторитетъ, если не строго научнаго знанія, то хотя бы внѣшняго опыта и добросовѣстнаго отношенія къ дѣлу. Значеніе его трудовъ было болѣе кратковременно, чѣмъ могло бы быть при болѣе простой постановкѣ дѣла, при болѣе искреннемъ и внимательномъ изученіи, а что касается теоретическаго пониманія народности, то критика даже не останавливалась на его разборѣ, раскрывши только тѣ тенденціозныя поддѣлки, на которыя Сахаровъ положилъ столько стараній.

ГЛАВА IX.

СНЕГИРЕВЪ.—ПАССЕКЪ.—ДАЛЬ.

Официальная народность.—Снегиревъ. Биографія. Ученныя работы: „Пословицы“; „Праздники“; „Дубочныя картинки“; труды археологическіе.—Вадимъ Пассекъ. Биографія. „Путевыя записки“; „Очерки Россіи“. — Даль. Биографія. Труды по этнографіи. „Толковый Словарь“. „Пословицы“. „Повѣрья“.

Въ развитіи изученій русской народности этнографы второй четверти столѣтія, при всей разницѣ личныхъ дарованій и объема свѣдѣній составляютъ одну группу, съ извѣстными общими чертами. Мало сходнаго между талантливымъ и ученымъ Надеждинымъ и нескладнымъ самоучкой Сахаровымъ; между усерднымъ старомоднымъ собирателемъ Снегиревымъ и восторженнымъ идеалистомъ Пассекомъ, или между даровитымъ Далемъ и Терещенкомъ, — но на всѣхъ больше или меньше лежитъ отпечатокъ времени, той официальной народности, которая заявленная была въ правительственной программѣ¹⁾. Мы будемъ имѣть случай видѣть, сколько искусственнаго было въ этой программѣ, какими фальшивыми тонами отзывалось ея практическое примѣненіе, — примѣръ послѣдняго мы видѣли уже въ дѣятельности Надеждина и Сахарова, и къ нимъ можно прибавить еще множество другихъ, болѣе мелкихъ. Въ литературѣ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ мы безпрестанно встрѣчаемъ ссылки на эту программу: одни принимали ее какъ официальное требованіе, другіе прикрашивали ее романтизмомъ, третьи принимали ее слѣпо, не видя ея противорѣчій. Подъ вліяніемъ политической славы временъ Александра I, и продолжавшагося значенія Россіи при Николаѣ, въ обществѣ, обыкновенно равнодушномъ, совершалось дѣйствительно

¹⁾ Ср. объ этомъ „Характеристики литер. мѣвній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ“, 2-е изд., гл. III.

нѣчто похожее на подъемъ національнаго чувства, высокое представление о ви́шнемъ и внутреннемъ могуществѣ Россіи, о превосходствѣ ея національныхъ началъ; въ толпѣ это представление перешло въ „квасной“ патріотизмъ, а къ концу царствованія, относительно дѣйствительнаго положенія вещей, вводило въ заблужденіе даже людей государственныхъ. Наконецъ, оно отражалось въ литературѣ. Историческимъ кодексомъ этого возврѣнія былъ Карамзинъ; теперь оно вдохновляло величайшаго изъ русскихъ поэтовъ; философскія теоріи о „разумной дѣйствительности“ внушали то же настроеніе идеалистамъ новыхъ поколѣній; имъ проникалась „изящная словесность“, популярный историческій романъ, правоописательная повѣсть. Этнографическія изученія слѣдовали за этимъ настроеніемъ, и отчасти сами питали его, доставляя ему матеріалъ въ описаніяхъ народнаго быта. Критика научная и общественная мысль еще мало останавливались на основныхъ вопросахъ исторической жизни и на современномъ состояніи государства и народа; строгая опека, тяготѣвшая надъ обществомъ и литературой, устраняла эти вопросы. „Народность“ тогдашняго положенія вещей принималась обязательно; фактическое состояніе народа считалось вполне нормальнымъ; народная жизнь изображалась литературою въ краскахъ патриархальной простоты и идиллическаго благополучія. Это отразилось и на этнографическихъ изученіяхъ: въ нихъ не было свободнаго научнаго отношенія къ предмету. Съ другой стороны, еще не были выработаны научные приемы; мало извѣстно было то, что уже дѣлалось въ этомъ отношеніи въ наукѣ европейской, особливо нѣмецкой, и въ нашихъ этнографихъ слишкомъ сказывались самоучки. Поэтому цѣнная сторона тогдашнихъ изученій была почти только описательная; лишь къ концу этого періода изученія народности впервые получаютъ настоящее научное основаніе.

По предметамъ изученія, этнографическая литература распадается въ этомъ періодѣ на нѣсколько отдѣловъ. Во-первыхъ, это были этнографы-собиратели, особливо направлявшіе свой трудъ на народность великорусскую, какъ Сахаровъ, его болѣе ранній современникъ Снегиревъ, Даль, Терещенко, Пассекъ. Особую группу могутъ составить изслѣдователи, не столько изучавшіе бытъ современный, сколько первыя начала русской народности, и находившіе ихъ въ такой глубокой древности и въ такихъ племенахъ, гдѣ ихъ очень мудрено было ожидать, — это ультра-славянорусскіе археологи и патріоты въ духѣ Венелина какъ Моршкинъ, Савельевъ-Ростиславичъ, Вельтманъ, Чертковъ. Третью группу составляли этнографы, изучавшіе въ особенности народность малорусскую: кн. Цертелевъ,

Максимовичъ, Срезневскій, Бодянский, Метлинскій, — къ концу періода, Костомаровъ.

Однимъ изъ важнѣйшихъ и плодovitѣйшихъ работниковъ по изученію народности изъ писателей первой группы, былъ извѣстный тогда профессоръ московскаго университета, Иванъ Мих. Снегиревъ ¹⁾.

Снегиревъ (род. 23 апрѣля 1793, въ Москвѣ) былъ сынъ профессора московскаго университета (ум. 1820) и послѣ домашняго обученія поступилъ въ 1802 въ академическую гимназію при университетѣ, въ 1807 „произведенъ въ студенты“, въ 1810 — въ кандидаты, успѣвъ получить два раза серебряную медаль за сочиненія по отдѣленіямъ этико-политическому и словесному; въ 1815 былъ уже магистромъ словесныхъ наукъ. Поступивъ еще съ 1810 на службу при цензурномъ комитетѣ, потомъ при университетскомъ правленіи, онъ съ 1816 былъ при университетѣ преподавателемъ латинской словесности, съ 1819 года адъюнктомъ, съ 1826 экстраординарнымъ и вскорѣ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ латинскаго языка и римскихъ древностей. Съ 1827 г. онъ былъ членомъ Общества исторіи и древностей при московскомъ университетѣ, и въ первые годы былъ его секретаремъ. Въ 1836 году онъ уволенъ отъ профессуры вслѣдствіе преобразования университета по уставу 1835 г., и затѣмъ многіе годы служилъ въ Москвѣ цензоромъ, которымъ былъ съ 1828 года. Въ 1855 онъ получилъ отставку отъ цензорства и умеръ въ декабрѣ 1868, въ Петербургѣ.

Снегиревъ былъ такъ-сказать прирожденный археологъ и собиратель обычаевъ и преданій. Надо прочесть его любопытныя воспоминанія, — извѣстныя, къ сожалѣнію, только въ небольшомъ отрывкѣ, — чтобы видѣть, какой атмосферой старины и народнаго обычая онъ былъ окруженъ съ дѣтства. Не только ребенкомъ, но и юношей,

¹⁾ Биографическія свѣдѣнія о немъ: — въ Словарѣ проф. моск. университета, М. 1865. (Перепечатано въ „Старинѣ русской земли. Исследования и статьи И. Снегирева“. Изд. Ивановскаго. Спб. 1871, стр. 137—145).

— „Русскій Архивъ“, 1866, № 5—6, Воспоминанія Снегирева (перепечатаны въ „Старинѣ рус. земли“, стр. 146—204).

— Буслаевъ, въ „Моск. Университетскихъ Извѣстіяхъ“, 1869, № 1, стр. 56—62.

— „Голосъ“ 1868, № 250, 254, 258; 1869, № 63.

— „Спб. Вѣдом.“ 1868, № 808, 336.

— „Р. Инвалидъ“, 1868, № 275, 277.

— „Петерб. Газета“, 1868, № 131, 178.

— „Современ. Листокъ“, 1868. № 102.

— А. Д. Ивановскій, „Иванъ Мих. Снегиревъ. Биографическій очеркъ“. Спб. 1871. Не мало свѣдѣній, но копипированныхъ крайне безпорядочно.

онъ видѣлъ своихъ прадѣдовъ, которые помнили времена Петра Великаго, Анны, Елизаветы, видывали имъ самихъ, и передавали въ семейномъ преданіи черты нравовъ, отчасти патриархальныхъ, отчасти свирѣпныхъ ¹⁾, черты, и донныѣ еще мало извѣстныя нашей исторіи, — видѣлъ самъ благочестивую первобытность и малограмотную грубоватость, а часто и добродушіе нравовъ своего, средне-дворянскаго, служилаго и духовнаго круга; въ дѣтствѣ, отъ няньки своей Аграфены, задолго до разгара Наполеонскихъ войнъ, онъ слышалъ народное предсказаніе о томъ, что Москва будетъ взята ²⁾.

Въ юности Снегиревъ зналъ митрополита Платона, который былъ особенно уважаемъ въ его семьѣ; жилъ въ Москвѣ въ 1812 году, видѣлъ оставленіе города жителями и возвращеніе ихъ, видѣлъ разрушеніе Москвы, — въ которомъ погубило столько московской старины не только въ вещественныхъ памятникахъ, но также въ самыхъ нравахъ и преданіяхъ.

Во время своего ученія въ гимназіи и университетѣ Снегиревъ засталъ еще другихъ людей стараго вѣка и старомодныхъ нравовъ. Директоромъ гимназіи онъ засталъ И. П. Тургенева, инспекторомъ Страхова — друзей и сотрудниковъ Новикова; ученіе было старомодное: „между учеными, — рассказываетъ Снегиревъ, — велось какое-то шрдетство въ странности обхожденія, въ небрежности платья и въ образѣ жизни: казалось, они этимъ щеголяли другъ передъ другомъ и хотѣли отличаться отъ неученыхъ“. Такіе чудачки бывали учителями Снегирева; но были между ними и люди, дѣйствительно знающіе. Однимъ изъ учителей былъ Ром. Фед. Тимковскій: „знатокъ еллинскаго и латинскаго языковъ, молодой человекъ, строгій исполнитель своей обязанности, искусный преподаватель, онъ умѣлъ внушить своимъ ученикамъ уваженіе и привязанность къ себѣ; его слушали съ какимъ-то подобострастіемъ, ловили каждое слово“. Школьные нравы были патриархальные: обильное сѣченіе входило въ за-

¹⁾ „Имя твердую, до глубокой старости, память, Иванъ Савичъ (Брикинъ, прадедъ) вспоминалъ огненные потѣхи и пирушки Петра I на лугахъ и въ рощахъ Измайловскихъ съ любимцами: видѣлъ, какъ убилъ своею дубинкою у дворцоваго крыльца одного придворнаго служителя, который не успѣлъ снять предъ нимъ шапки; какъ Анна Іоанновна велѣла повѣсить предъ окнами повара, который подалъ ей къ блинамъ прогорклое масло“ (Старина рус. земли, стр. 154—155).

²⁾ „Бывши уже глѣзъ десяти, я ужасно сердился и спорилъ съ нянькой, когда она повторяла народное пророчество, что „Москва будетъ взята на 40 часовъ“. Но это самое я слышала не отъ одной няньки, но и отъ моей бабушки Анны Ивановны Кондратьевой. Подобно голосу, летающему въ пустыняхъ африканскихъ, и въ народѣ носятся темныя преданія и предсказанія, въ которыхъ таятся истины, распечатываемыя въ будущемъ, и нерѣдко сбывается то, что кажется намъ несбыточнымъ“. (Тамъ же, стр. 147).

нтія самихъ преподавателей, хотя не устраняло крайнихъ шалостей. Между студентами университета и бурсаками духовной академіи происходили на Неглинной формальные кулачные бои, и „народу стекалось множество“.

Въ университетѣ, профессорами Снегирева были, между прочимъ, многіе остатки нашего XVIII вѣка. Таковъ былъ „почтенный и савоитный старецъ, ученѣйшій профессоръ, другъ Новикова, товарищъ Потемкина, бывшій въ тискахъ у Шешковскаго, но странный и причудливый въ обращеніи—Чеботаревъ“, котораго Шлецеръ называлъ своимъ руководителемъ въ русской исторіи. Таковъ былъ Бранцевъ, „не по имени, а по дѣламъ, философъ христіанскій“ и знатокъ классиковъ; упомянутый Страховъ; Маттеи, нѣмецкій гелертеръ стараго вѣка; Буле, Баузе.

Разказы Снегирева объ этихъ профессорахъ, любопытны и сами по себѣ, характеризуютъ ученый складъ и приемы ихъ ученія.

„Знатокъ еллинскаго и латинскаго языковъ, Маттеи, описавшій греческія рукописи московской патриаршей бібліотеки, — разказываетъ Снегиревъ,—разбиралъ и объяснялъ Гораціевы оды... Слушатели любили Маттеи и охотно слушали его лекціи. Маттеи на латинскомъ языкѣ говорилъ и писалъ, какъ на своемъ природномъ. Съ какимъ сочувствіемъ читалъ онъ Гораціевы оды, и нерѣдко со слезами, вѣроятно вспоминая лѣта юности своей, даже при чтеніи: *Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda est tellus.* — старецъ притопывалъ ногою. Не безъ слезъ обошлось и чтеніе Цицероновыхъ парадоксовъ... Не могу забыть, какъ, представляя Юпитера Олимпійскаго, маниемъ бровей потрясающаго и небо, и землю, самъ онъ повалился со стула, такъ что и парикъ его не остался на мѣстѣ“... „Съ удовольствіемъ и признательностью я пользовался частными лекціями, бібліотекою и драгоцѣннымъ собраніемъ славяно-русскихъ древностей незабвеннаго профессора правъ, юриста, дипломата, историка, археолога и филолога Федора Григорьевича Баузе. Въ 1807 году онъ былъ ректоромъ университета. Съ ненасытимою любознательностью, обогатившею его разнообразными свѣдѣніями, онъ соединялъ рѣдкій даръ слова, свободно и красно говорилъ и писалъ по-латыни. Кромѣ изданныхъ имъ рѣчей, осталось много матеріаловъ для обширныхъ и важныхъ сочиненій, которые остались въ спискахъ. Въ продолженіе 30 лѣтъ, съ особеннымъ стараніемъ и съ великими издержками, составилъ онъ собраніе древнихъ славяно-русскихъ рукописей, между которыми находились Псалтырь и Прологъ XII вѣка, Лечбникъ 1588 года, первые на русскомъ языкѣ логаріемы, коллекція русскихъ монетъ и медалей, по мнѣнію знатковъ единственная въ

своемъ родѣ... Съ какою дѣтскою радостью и восторгомъ показывалъ онъ мнѣ, предъ нимъ мальчику, купленную имъ рѣдкость! Жалко, что я мало пользовался симъ рѣдкимъ случаемъ: Баузова бібліотека и музей пропали въ 1812 году вмѣстѣ со многими драгоценными памятниками нашей исторіи, которые извѣстны были Карамзину и К. Калайдовичу“.

Мы имѣли случай упоминать объ этомъ заслуженномъ для русской исторіи труженикѣ, и Снегиревъ, быть можетъ, воспользовался отъ него и свѣдѣніями, и примѣромъ „ненасытимой любознательности“ и научнаго труда, которымъ столько проклинаемые „нѣмцы“ принесли много существенной пользы для возникавшей русской науки ¹⁾.

Еще одинъ изъ профессоровъ университета, вліявшій на Снегирева своей личностью и знаніемъ, былъ извѣстный „законо-искусникъ“ Горюшкинъ (1748—1821), сослуживецъ и пріятель его отца, живой представитель и многоопытный знатокъ „старого вѣка“. Извѣстно, что Горюшкинъ, самоучкой, изъ подъячихъ сдѣлался профессоромъ университета и однимъ изъ лучшихъ ученыхъ знатковъ русскаго права. „Службу свою онъ началъ почти ребенкомъ въ воеводской канцеляріи въ самомъ началѣ царствованія Екатерины II, когда секретари и повѣтчики за маловажные проступки таскали за волосы подъячихъ, а судьи самихъ секретарей“. Потомъ онъ былъ подъячимъ въ страшномъ сыскномъ приказѣ, гдѣ еще въ полномъ ходу была пытка для обличенныхъ и оговоренныхъ. Кровавыя сцены наконецъ омерзѣли ему; между тѣмъ, его, только грамотнаго, тянуло къ просвѣщенію. Съ величайшимъ трудомъ, онъ (уже будучи женатымъ) безъ всякаго руководителя, добивался смысла въ грамматическихъ терминахъ, одолѣвалъ ариметику и логику, читалъ книги историческія, богословскія, философскія, юридическія; искалъ знакомства съ учеными людьми, которые могли бы руководить его занятіями. Знаніе законовъ доставило ему мѣсто члена въ уголовной и казенной палатахъ, и во время дѣла Новикова онъ показалъ гражданское мужество и вступилъ въ споръ съ кн. Прозоровскимъ, „не убоявшись гнѣва и угрозъ сильнаго вельможи, желавшаго угодить императрицѣ Екатерины обвиненіемъ Новикова“. По его обширному знанію законовъ, его пригласили къ преподаванію практическаго законовѣдѣнія въ университетѣ. „Своими лекціями онъ давалъ драматическую форму: классъ его представлялъ присутствіе, гдѣ производился судъ по законному порядку“. Его книга: „Описаніе судеб-

¹⁾ Краткій каталогъ рукописной бібліотеки Баузе, составленный В. Н. Карзиннымъ, напечатанъ въ „Чтеніяхъ“ Моск. Общ. Ист. и Древн. 1862 г., кн. 2, смѣсь, стр. 46—79. См. также Котляревскаго, Библиологическій опытъ о древней русской письменности, Воронежъ, 1881, стр. 18—19.

ныхъ дѣйствій“ (1807, 1815) представляетъ и значительный матеріалъ юридическихъ древностей; его „Руководство къ познанію русскаго законоискусства“ есть, по словамъ Снегирева, созданная имъ самимъ система, въ которой сильная, но безформенная народность борется съ классическими понятіями древнихъ и новѣйшихъ юристовъ. „Онъ едва ли не первый у насъ показалъ источникъ jurisprudence въ нравахъ, обычаяхъ и пословицахъ русскаго народа. Какъ опытный законоискусникъ, онъ былъ оракуломъ для многихъ; къ нему прибѣгали за совѣтами въ затруднительныхъ случаяхъ и запутанныхъ дѣлахъ вельможи, сенаторы и профессоры. У него была домашняя школа законовѣдѣнія... Какъ любитель изящныхъ искусствъ, онъ въ гостеприимномъ своемъ домѣ завелъ маленькій театръ и музыку. По приемамъ и костюму, онъ не походилъ на прежняго подъячаго, но скорѣе на щеголеватого барина... Карамзинъ, въ своей Исторіи, рѣдкіе списки Русской Правды и лѣтописи, заимствованные изъ библіотеки Горюшкина, обозначаетъ горюшкинскими“...

Такимъ образомъ соединялись для Снегирева и непосредственныя преданія о старинѣ, близкой и довольно давней, съ живымъ научнымъ руководствомъ къ ея объясненію. Старину онъ видѣлъ не въ одной Москвѣ. Когда онъ былъ еще студентомъ, отецъ взялъ его съ собой въ рязанскую губернію на такъ-называемую „визитацію“ училищъ, какія тогда поручались профессорамъ. Такъ, между прочимъ, они объѣхали города рязанской губерніи, гдѣ Снегиревъ успѣлъ присмотрѣться въ разнымъ остаткамъ старины и къ варварскому небреженію о нихъ у современниковъ... „Въ Богословскомъ монастырѣ (въ Рязани), — рассказываетъ онъ, — привлекла мое вниманіе древняя чудотворная икона св. Іоанна Богослова, на которую, вслѣдствіе какого-то видѣнія, самъ лютый *Батый* повѣсилъ свою золотую печать; но къ сожалѣнію и удивленію, *не такъ давно* архимандритъ, связавъ эту печать, употребилъ ее на позолоту водосвятной чаши. Въ Рязани, въ Архангельскомъ соборѣ съ благоговѣніемъ смотрѣлъ я на мантию ревностнаго миссіонера въ Мордвѣ, преосвященнаго Мисаила, пробитую стрѣлами и обгавленную его мученическою кровію. Въ Зарайскомъ соборѣ привлекъ на себя мое вниманіе древній корсунскій образъ святителя Николая, особенно чествуемый тамошними окрестными жителями; въ Касимовѣ на Огѣ — татарскій минаретъ и усыпальница касимовскихъ царей; въ Раменбургѣ — крѣпость, гдѣ содержался несчастный Иванъ Антоновичъ, носившій титулъ императора нѣсколько мѣсяцевъ“...

Московская обстановка, безъ сомнѣнія, больше чѣмъ другая, могла способствовать развитію народно-археологическаго интереса. Средніе вѣка русской исторіи оставили здѣсь наибольшее число памятниковъ:

бытовая жизнь въ московскихъ захолустьяхъ сохраняла больше старыхъ обычаевъ. Москвичи не забывали, что ихъ городъ—первопрестольная столица; но это не была столица дѣйствительная, и здѣсь не было чиновной и военной формалистики, связанной съ присутствіемъ двора, правящихъ лицъ и канцелярій, было больше простора для лѣниваго консерватизма нравовъ и обычаевъ, для проявленій народной жизни, которая еще до недавняго времени справляла здѣсь старые народные праздники, для проявленій личнаго разгула и чудачества, которые оставались какъ слѣдъ стариннаго быта. Съ массами народа, сходявшагося въ торговомъ и промышленномъ, а также и дворянскомъ центрѣ, стекались сюда всякіе остатки старины, въ видѣ всякаго рода старинныхъ вещей, книжнаго старья, рукописей и т. п. Москва донынѣ есть главный рынокъ книжной и рукописной старины и главное гнѣздо нашей библиоманіи. Для археолога-любителя являлась возможность, даже при скромныхъ средствахъ, собирать коллекціи высокой научной цѣнности. Москва не была полнымъ представителемъ ни русской исторіи, ни русской народности, но нигдѣ не собралось и не сохранилось такъ много всякой старины, и не мудрено, что здѣсь такъ легко развивался патріотизмъ, окрашенный мѣстной исключительностью, склонный отождествлять всю русскую старину со стариной московской...

Послѣ нѣсколькихъ учебныхъ и педагогическихъ книгъ и двухъ біографій, митр. Платона и архіепископа московскаго Августина ¹⁾), —первымъ трудомъ Снегирева по изученію русской народности была извѣстная книга о пословицахъ, первая систематическая книга въ русской этнографіи, съ большимъ матеріаломъ и научными приѣмами по тому времени ²⁾). Эта была многолѣтняя работа; первые опыты разбора пословицъ Снегиревъ сдѣлалъ еще въ 1823 году, въ „Трудахъ“ московскаго Общества любителей россійской словесности, затѣмъ новыя части его работы появлялись въ разныхъ тогдашнихъ журналахъ; при окончательной обработкѣ сочиненія онъ имѣлъ возможность воспользоваться сообщеніями и объясненіями многихъ ученыхъ, съ которыми былъ въ сношеніяхъ..

Въ то время, т.-е. въ двадцатыхъ годахъ, когда велась работа Снегирева, русская этнографія, какъ наука, не существовала; изученія народной жизни еще съ конца XVIII вѣка внушались возникавшей потребностью самосознанія, любопытствомъ и сочувствіемъ,

¹⁾ Начертаніе жизни и дѣяній московскаго митрополита Платона, в 2 части. М. 1818 г., 2-е изд. 1831 г.; 3-е (?), 1856.—Биографическія черты изъ жизни архіепископа московскаго Августина. М. 1824; 3-е изд. 1848.

²⁾ „Русскіе въ своихъ пословицахъ. Разсужденія и изслѣдованія объ отечественныхъ пословицахъ и поговоркахъ“, 1—2 книжки, М. 1831; 3-я, 1832; 4-я, 1834.

но не были руководимы ясными научными приемами и сознательной задачей. На чемъ основалъ Снегиревъ свою систему? Онъ самъ указываетъ, въ автобіографіи, что въ своихъ археолого-этнографическихъ трудахъ „употребилъ ученую методу, которую заимствовалъ у наставниковъ своихъ Буле, Маттеи и Тимковскаго“. Это были наставники его въ общей теоріи литературы и въ классической древности. Со временъ Возрожденія, классическая филологія была, какъ извѣстно, главнымъ предметомъ, на которомъ сосредоточивались литературныя изученія, *humaniora*; „филологія“ до начала XIX столѣтія была по преимуществу, если не исключительно, классическая, и въ предѣлахъ греческой и римской литературы и древности выработаны были тонкіе приемы критическаго изслѣдованія. Снегиревъ, самъ преподаватель латинской археологіи и языка, примѣнилъ тѣже приемы къ изслѣдованію старины русской. Обширная, хотя не глубокая, начитанность помогла ему ориентироваться въ предметѣ; онъ сдѣлалъ справки о положеніи вопроса въ ученой европейской литературѣ, и ссылками на нее доказываетъ, въ предисловіи къ „Пословицамъ“, „неизалишность“ и „небезполезность“ своего труда. Въ этомъ трудѣ есть недостатки,—говоритъ онъ:— „потому что онъ еще первый и ведетъ къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ выраженій ума и языка народнаго, на кои посвящали себя ученѣйшіе мужи въ Голландіи, Германіи, Даніи и Швеціи, такъ что одна литература оныхъ составляетъ цѣлую книгу, изданную Нопицемъ. Французы, итальянцы, испанцы и поляки имѣютъ словари и собранія своихъ пословицъ“.

Снегиревъ начинаетъ свое изслѣдованіе издаലെка, съ общаго объясненія пословицы, ея происхожденія и значенія, говоритъ о пословицахъ и притчахъ у евреевъ, у грековъ и римлянъ, у новыхъ европейскихъ народовъ, у славянскихъ племенъ ¹⁾, наконецъ, у русскихъ, и исчисляетъ ихъ изданія. Затѣмъ, онъ ставитъ вопросъ объ иностранныхъ источникахъ русскихъ пословицъ, объ отношеніи пословицъ и поговорокъ къ словесности. Со второй книги и до конца идетъ перечисленіе самыхъ пословицъ; онѣ расположены по содержанію ²⁾

¹⁾ О послѣднихъ онъ беретъ свѣдѣнія изъ Добровскаго, Линде, Кеппена, Курхарскаго, Бобровскаго.

²⁾ Это расположеніе слѣдующее:

Пословицы *антропологическія*.

А. Касающіяся до естественныхъ и нравственныхъ причинъ различія народовъ. а) Пословицы, относящіяся къ язычеству, вѣрѣ и суевѣрію. б) Нравы и обычаи въ пословицахъ. с) Пословицы нравственныя. д) Политическія и судебныя. О лицахъ правительствующихъ.

Б. Законодательство и судопроизводство. а) Законы. б) Преступленія и наказанія. с) Судныя обряды (жребій, отдаваніе головою, правезъ, поле, повальный обыскъ).

и сопровождаются постояннымъ комментариемъ. Позднѣйшая разработка этого предмета (въ пятидесятыхъ годахъ), при помощи новѣйшей филологіи и сравнительной этнографіи, не удовлетворялась изслѣдованіемъ Снегирева, глубже ставила вопросъ о происхожденіи, объ этнографическомъ и археологическомъ значеніи пословицы ¹⁾; но, вспоминая время появленія труда Снегирева, нельзя не признать его большой заслуги въ первомъ опытѣ научнаго объясненія пословицъ, въ обширности матеріала, введеннаго въ изслѣдованіе. Поставивши себѣ въ самомъ заглавіи цѣлью — реальное археологическое изслѣдованіе пословицъ, Снегиревъ умѣлъ иногда чрезвычайно удачно пользоваться ихъ бытовымъ значеніемъ и ввести ихъ въ цѣлую картину старой русской жизни ²⁾.

Вторымъ трудомъ Снегирева, столь же значительнымъ для начинавшейся науки, было сочиненіе о русскихъ народныхъ праздникахъ и обрядахъ ³⁾. Область изслѣдованія была здѣсь еще обширнѣе, матеріалъ несравненно богаче и сложнѣе: народный праздникъ, обрядъ, обычай проходили всю исторію и достигали до отдаленной языческой старины и мѣологии. Литература XVIII вѣка уже догадывалась объ историческомъ значеніи старой простонародной поэзіи и обычая, догадывалась, что то и другое было остаткомъ, сохранившимся отъ древней языческой религіи и далекаго быта. Первую мысль объ этомъ трудѣ далъ Снегиреву знаменитый митрополитъ Евгеній, ученый старой школы, связывающій нашу историческую науку прошлаго и нынѣшняго столѣтія ⁴⁾. Снегиревъ пользуется

Обзоръ политическихъ и юридическихъ пословицъ въ отношеніи къ эпохамъ исторіи русской.

Пословицы *физическія*. а) Метеорологическія и астрономическія. б) Агрономическія. с) Медицинскія.

Историческія. а) Хронологическія. б) Топографическія. с) Этнографическія (личныя; пословица-девизы).

¹⁾ См. изслѣдованія г. Буслаева, въ „Архивѣ“ Калацова, т. 2, 1854, и „Русскій бытъ и пословицы“, въ „Историч. Очеркахъ русской народной словесности и искусства“, 1861, I, стр. 78—186.

²⁾ Позднѣе Снегиревъ еще нѣсколько разъ возвращался къ этому предмету, съ новыми объясненіями и дополненіями.

— Русскія народныя пословицы и притчи. М. 1848.

— Новый сборникъ русскихъ пословицъ и притчей, служащій дополненіемъ къ собранію русскихъ народныхъ пословицъ и притчей, изданныхъ въ 1848 году. М. 1857.

³⁾ „Русскіе простонародные праздники и суевѣрные обряды“. Вып. 1. М. 1837; 2—3 вып. 1838; 4-й, 1839.

⁴⁾ Въ дневникѣ Снегирева подъ 4 авг. 1825 г. записано, что былъ онъ у митр. Евгенія, который „предложилъ ему собрать и описать народныя русскіе праздники и обшачалъ дать ему свою объ этомъ предметѣ *записку*“. Августа 24, Снегиревъ „весь вечеръ провелъ у митр. Евгенія, читалъ ему свою статью о народныхъ празд-

указаниями Тредьяковскаго о народной пѣснѣ, Гютри (Guthrie) о старинныхъ русскихъ обычаяхъ; но ему извѣстно и то, какъ объясняла народную древность классическая археологія, которая уже выработала въ то время остроумныя объясненія древнихъ бытовыхъ явленій. Снегиревъ дѣлаетъ ссылки на Шлегеля, Ваксмута, Отфрида Мюллера, и въ началѣ книги высказываетъ сожалѣніе, что не могъ пользоваться (только выходявшими тогда въ свѣтъ) сочиненіями о мѣологіи и древностяхъ Шеллинга, Гримма и Шафарива ¹⁾. Такимъ образомъ, Снегиреву понятна была тѣсная связь народнаго обычая съ древнѣйшимъ бытомъ, котораго онъ является остаткомъ, прошедшимъ черезъ всякія испытанія исторіи. Какъ въ книгѣ о пословицахъ, такъ и здѣсь, обильный матеріалъ собранъ былъ живымъ личнымъ наблюденіемъ, свѣдѣніями отъ другихъ и большимъ знаніемъ старой и новой русской литературы. Такого богатаго матеріала до Снегирева не было еще нигдѣ собрано и объяснено въ нашей литературѣ, и въ научныхъ приемахъ—хотя они были еще, какъ увидимъ, весьма несовершенны—какая громадная разница съ недѣльщиками Сахарова!

Какъ первый опытъ русской „еортологіи“ (такъ называетъ Снегиревъ свое изслѣдованіе), гдѣ въ первый разъ давались объясненія древней мѣологіи въ связи съ бытомъ, сочиненіе его не обошлось безъ крупныхъ и мелкихъ ошибокъ. У него нѣтъ уже прежняго грубаго произвола мѣологическихъ толкованій, но нѣтъ еще и правильныхъ филологическихъ приемовъ, — онъ все еще черезъ-чуръ легко поддается внѣшнимъ сходствамъ и созвучіямъ и строитъ на нихъ мѣологическіе выводы ²⁾. Ему было знакомо различіе между источниками первоначальными и позднѣйшими книжными измышленіями; но тѣмъ не менѣе старыя русскія божества онъ перечисляетъ

никакъ, на которую митрополитъ дѣлалъ свои замѣчанія и оставилъ у себя на разсмотрѣніе“. („Ив. Мих. Снегиревъ“, стр. 48—49).

¹⁾ Въ позднѣйшемъ продолженіи своего сочиненія онъ, впрочемъ, ссылается на Гриммови „*Rechtsalterthümer*“ (1828), IV, 125, и на Шафариковы „*Древности*“, первая часть которыхъ явились тогда въ переводѣ Бодянскаго, III, 128.

²⁾ Напр., на первыхъ же страницахъ: „Скандинавскій *Бель*, или *Баль*, божество огня и свѣта, сходное съ азиатскимъ *Баломъ*, и *Торъ* громовосный, съ млатомъ въ рукѣ (*Mjölnir*, молнія?) перешли въ *Бълбога* и *Чернобога*, означающихъ двойственность славянской религіи, отъ коей германская отличается своею тройственностью; скандинавскій *Одинъ* или *Водинъ*, вѣроятно, преобразился въ *Водяноу*“. I, стр. 10. Какъ „перешли“ и какъ „преобразились“, неизвѣстно; но дальше вмѣсто двойственности въ русской мѣологіи является тройственность, стр. 152. Во всѣхъ этихъ соображеніяхъ нѣтъ тѣни основанія. Русскій *Волосъ* приравнивается къ скандинавскому Вал-ассу, а дальше, о немъ „доннаго напоминаетъ праздникъ Вель-Оксъ, отправляемый мордвою“ (I, стр. 18), и т. д.

и по Нестору, и по „Четь-Минеямъ“ Дмитрія Ростовскаго ¹⁾). Послѣдующимъ изслѣдователямъ уже вскорѣ, съ конца сороковыхъ годовъ, подобныя ошибки бросались въ глаза, какъ недостатки вопіющіе, но для своего времени трудъ Снегирева былъ замѣчательнымъ явленіемъ; онъ во всякомъ случаѣ открывалъ путь для дальнѣйшихъ изысканій, возбуждалъ вопросы ²⁾). До сихъ поръ онъ остается незамѣненнымъ, потому что, при всей новой замѣчательной обработкѣ частныхъ, при громадномъ матеріалѣ никто еще не собралъ ни цѣлой нашей „эортологіи“, ни *объясненія* пословицъ съ новой научной точки зрѣнія; нѣкоторыя историческо-бытовыя замѣчанія Снегирева донынѣ остаются неразвитыми далѣе.

Третій трудъ Снегирева по русской этнографіи опять былъ изслѣдованіемъ чрезвычайно любопытнаго и до него никѣмъ не тронутаго предмета. Это—лубочныя картинки. Появляясь съ XVII вѣка и до 1839 г. оставаясь почти не тронутыми цензурнымъ контролемъ, эти картинки составляютъ, какъ извѣстно, цѣлую особую народную литературу, въ разныхъ отношеніяхъ интересную и иногда весьма трудную для историческаго истолкованія. Снегиревъ, съ тѣмъ вкусомъ и чутьемъ къ старинѣ, которое его отличало, очень рано обратилъ вниманіе на лубочныя картинки и съ своего перваго изслѣдованія о нихъ въ 1822 г. до послѣднихъ лѣтъ своей жизни нѣсколько разъ обращался къ нимъ ³⁾), опять полагая на ихъ объясненіе свое большее знаніе письменной и печатной старины и практическое знаніе народнаго обычая. До новѣйшаго изданія Д. А. Ровинскаго труды

¹⁾ Гдѣ въ житіи кн. Владиміра являются такіе „боги“ какъ: Позвиздъ или Вяхоръ, богъ воздуха; Ладо, богъ веселія; Купало, богъ плодовъ земныхъ, и т. п., никогда не бывалне. I, стр. 11.

²⁾ Снегиревъ понималъ трудность дѣла и необходимость дальнѣйшихъ исканій. „Самъ постигая всю важность и обширность избраннаго мною предмета, объемлющаго внутреннюю жизнь русскаго народа въ разныхъ ея эпохахъ, — говоритъ онъ въ предисловіи, — нахожу, что онъ требуетъ большихъ и разнообразнѣйшихъ познаній и средствъ, постояннѣйшихъ наблюденій и изслѣдованій, нежели какія я имѣлъ. Чѣмъ болѣе идти по этому поприщу, тѣмъ глубже вникать въ этотъ предметъ, повидимому, столь обыкновенный и знакомый, но по сущности многосложный и разносторонній, тѣмъ болѣе откроется новыхъ свѣдѣній и соображеній, важныхъ для исторіи, филологіи и философіи“.

³⁾ Первая статья его: „Русская народная галлерей или лубочныя картинки“, въ Отеч. Зап. 1822, т. XII, № 30.

— „О престопадныхъ изображеніяхъ“ въ Трудахъ общ. люб. росс. словесности, 1824, кн. IV.

— „Лубочныя картинки“, въ Москвитинѣ, 1841, № 5.

— „О лубочныхъ картинкахъ русскаго народа“, въ Валуевскомъ „Сборникѣ историч., статист. и др. свѣдѣній о Россіи“. Спб. 1845.

— „О лубочныхъ картинкахъ рус. народа“. М. 1844, и 2-е изд.: „Лубочныя картинки рус. народа въ московскомъ мірѣ“. М. 1861.

Снегирева были единственнымъ цѣльнымъ трактатомъ по этому предмету. Но и здѣсь опять повторились его обычные недостатки: слишкомъ поспѣшные выводы, иногда совсѣмъ грубыя ошибки и недосмотры, цитаты на угадъ и на память, и къ нимъ опять строго отнеслась новая критика, которая уже непременно требовала внимательнаго обращенія съ текстами и доказательнаго комментарія ¹⁾. Тѣмъ не менѣе, когда новѣйшій изслѣдователь предпринялъ перебрать и изслѣдовать весь матеріалъ лубочныхъ картинокъ, онъ нашелъ возможнымъ дать труду Снегирева самую высокую похвалу. „Особенную помощь,—пишетъ г. Ровинскій въ предисловіи къ своему огромному труду,—оказали мнѣ статьи о лубочныхъ картинкахъ И. М. Снегирева; въ нихъ, кромѣ полнаго перечня картинокъ, заключается еще чрезвычайное множество историческихъ свѣдѣній и обиходныхъ замѣтокъ, которыя могли быть собраны и записаны только такимъ практическимъ маститымъ археологомъ-старожиломъ, какимъ считался въ нашей Москвѣ И. М. Снегиревъ: статьи его о лубочныхъ картинкахъ русскаго народа—истинное сокровище для людей, занимающихся этимъ предметомъ“ ²⁾.

Другая область изслѣдованій, которая издавна занимала Снегирева и съ сороковыхъ годовъ почти исключительно его поглощала, была древность монументальная; старое русское искусство и въ особенности памятники московской и подмосковной старины. Какъ первые начатки этнографическихъ изысканій сдѣланы были еще въ XVIII столѣтіи, такъ и въ археологіи монументальной Снегиревъ имѣлъ своихъ предшественниковъ; но никто, и раньше, и въ его время, не положилъ столько труда на изслѣдованіе памятниковъ стараго русскаго искусства вообще, и особливо московско-старинны. Цѣлый рядъ изданій его, сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, полагалъ начало систематическому изученію нашей монументальной старины. Таковы его „Памятники московской древности“ (М. 1842—45); „Памятники древняго искусства въ Россіи“ (три вып., 1850); „Письмо объ иконописи къ гр. А. С. Уварову“ (1848) ³⁾; „Русская старина въ памятникахъ церковнаго и гражданскаго зодчества“ ⁴⁾. Москва была предметомъ цѣлыхъ особыхъ изслѣдованій: таковы—

¹⁾ См. ст. Ѳ. И. Буслаева въ Отеч. Зап. 1861, № 9, и Котляревскаго, „Старина и народность“. М. 1862, стр. 86—87.

²⁾ Рус. нар. картинки. Сиб. 1881, I, стр. VI—VII. Замѣтимъ еще, что коллекція Снегирева составила очень важную часть собранія лубочныхъ картинъ, какое имѣется въ Публичной Библіотекѣ.

³⁾ Оно послужило главнымъ матеріаломъ для сочиненія Сабатье: *Notion sur l'icônographie sacrée*. St.-Pet. 1849.

⁴⁾ М. 1846—1854, въ 15 выпускахъ, въ листъ. Другое изданіе, въ 12^о съ дополненіями и поправками, въ 4 книгахъ.

„Памятники московской древности“ (1842—45); „Москва. Подробное историческое и археологическое описание города“ (т. I. 1865). Большая часть этихъ изданій была сдѣлана Снегиревымъ въ сотрудничествѣ съ А. Мартыновымъ. Далѣе, цѣлый рядъ книгъ и книжекъ о московской и подмосковной святынь и достопримѣчательныхъ памятникахъ¹⁾. Наконецъ, онъ былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ въ великолѣпномъ изданіи „Древностей россійскаго государства“, предпринятомъ по высочайшему повелѣнію въ сороковыхъ годахъ²⁾.

Въ 1858—1859, Снегиревъ, въ качествѣ спеціальнаго знатока московской старины, былъ однимъ изъ главныхъ дѣятелей по возстановленію извѣстныхъ „Романовскихъ палатъ“ въ Москвѣ, заложеныя 31 августа 1858 и открытыя въ августѣ 1859 года³⁾.

И въ этой сторонѣ его трудовъ новая археологическая критика дѣлала ему сильныя упреки. Снегиревъ часто не удовлетворялъ строгимъ требованіямъ научнаго описанія и объясненія памятниковъ: прежде онъ и не привыкъ къ этимъ требованіямъ, и теперь какъ будто не считалъ нужнымъ заботиться о полной точности подробностей, когда цѣлью его былъ популярный разсказъ о любимой старинѣ, которою онъ самъ увлекался. Въ замѣчательной статьѣ по поводу „Москвы“ Снегирева, г. Забѣлинъ такъ характеризовалъ *научную* сторону его трудовъ: „Характеръ и достоинство археологическихъ трудовъ Снегирева наука давно опредѣлила... Она не могла не оцѣнить большой начитанности автора, значительнаго знакомства съ архивными матеріалами, этой неутомимости въ собираніи много-различныхъ данныхъ, массою которыхъ авторъ приводилъ всегда въ изумленіе обыкновеннаго читателя, въ первый разъ встрѣчавшаго столько старыхъ словъ, столько новыхъ фактовъ... Но вмѣстѣ съ тѣмъ наука раскрыла также и важнѣйшій, самый существенный недостатокъ этого безмѣрнаго и не всегда толковаго собирательства, и именно, отсутствіе всякой критики, отсутствіе руководящей, объединяющей, послѣдовательной мысли при обработкѣ не только цѣлаго, но и каждой отдѣльной его части... Наука указала на очень выдающееся отсутствіе самыхъ обыкновенныхъ критическихъ приѣмовъ въ выборѣ, сличеніи и сообщеніи разнообразныхъ фактовъ и всякихъ

¹⁾ Новоспасскій монастырь (1843); Успенскій соборъ (1856); Воскресенскія ворота (1860); Знаменскій монастырь и палата бояръ Романовыхъ (1861); Новоспасскій ставропигіальный монастырь (1863); Покровскій монастырь (1863); Боголюбскій монастырь (1864); Троицкая лавра (1842); Путеводитель изъ Москвы въ Троице-Сергіеву лавру (1856); Геосиманскій скитъ (1863); Дворцовое царское село Измайлово (1866).

²⁾ Снегиреву принадлежитъ текстъ отдѣленій I, IV и VI, 1849, 1851, 1853.

³⁾ „Ив. Мих. Снегиревъ“, стр. 219 и слѣд. Снегиревъ написалъ тогда статью о Романовскихъ палатахъ для „Моск. Вѣдомостей“.

свидѣтельство, въ ихъ должной оцѣнкѣ; указала на великую сбивчивость и несвязность изложенія, на небрежность, съ какою авторъ всегда почти относится и къ текстамъ, подлиннымъ словамъ, и къ ссылкамъ на эти слова... Вообще, наука отмѣтила, что археологическіе труды Снегирева, несмотря на видимую эрудицію, на весь внѣшній образъ учености, значительно слабы именно въ ученomъ отношеніи... Вотъ почему труды г. Снегирева, пользуясь большимъ уваженіемъ въ средѣ непосвященныхъ, обыкновенныхъ читателей, вообще не столько цѣнились изслѣдователями, заинтересованными непосредственно и ближайшимъ образомъ въ тѣхъ вопросахъ, которыхъ касался и которые обрабатывалъ авторъ, а потому и входившими въ самое близкое знакомство съ его изысканіями... Изслѣдователи, послѣ долгихъ и очень тяжелыхъ операций надъ сочиненіями Снегирева, могли вынести одно непреложное убѣжденіе, что пользоваться этими сочиненіями нужно съ великою осмотрительностью и осторожностью, что несравненно легче, плодотворнѣе для себя и во всѣхъ смнслахъ полезнѣе имѣть дѣло прямо съ самыми источниками, чѣмъ изучать сочиненіе, котораго почти каждую строку приходится очищать критикою, провѣрять съ тѣми же источниками, большею частію, всѣмъ доступными... Все это въ работающей средѣ ставило труды Снегирева какъ бы внѣ науки, внѣ ея границъ. Они не попадали въ ея теченіе, въ ея общій оборотъ, не сливались органически съ новыми дальнѣйшими работами, какія предпринимались по тѣмъ же вопросамъ другими изыскателями, что должно бы непремѣнно случиться, даже противъ воли и желанія этихъ изыскателей... Труды Снегирева *положительнымъ путемъ* никогда и нигдѣ не дѣйствовали въ научной обработкѣ нашихъ древностей. Ихъ связь съ этою обработкою обнаруживалась всегда только *отрицательно*, выражала только неизбежную полемику съ ними, неизбежную ихъ перевѣрку, что въ видахъ рѣшительной бесполезности и излишняго труда нерѣдко даже совсѣмъ оставлялось изслѣдователемъ⁴ 1).

Г. Забѣлявъ былъ особенно въ правѣ высказывать столь суровый приговоръ. Работая въ той же археологической области, ему именно приходилось ближайшимъ образомъ провѣрять изслѣдованія Снегирева, убѣждаться въ невозможности принимать его выводы и даже его цитаты, вообще въ крайнихъ недостаткахъ его исторической критики. Замѣчанія г. Забѣлина о научныхъ свойствахъ трудовъ Снегирева безъ сомнѣнія справедливы, какъ справедливо и то, что они остались какъ бы внѣ науки, не имѣя внутренней связи съ дальнѣй-

⁴) Забѣлявъ, Опытъ изученія русскыхъ древностей и исторіи. Ч. II, М. 1873, стр. 119—122.

шими изслѣдованіями. Нужно, однако, сдѣлать оговорку, что наша историческая наука еще такъ вообще молода, что почти только съ Снегиревымъ и начинается разработка нашей монументальной археологіи и сколько-нибудь научной этнографіи, и онъ послужилъ наукамъ уже тѣмъ, что въ ихъ младенческомъ состояніи онъ ставилъ научные вопросы (какъ въ изслѣдованіяхъ о пословицахъ, о народныхъ праздникахъ, о народныхъ картинкахъ) и начиналъ собирательство, хотя недостаточно научное, но котораго раньше почти не было. Мы приводили выше, какъ въ наши дни нашелъ возможнымъ отозваться объ его собирательствѣ г. Ровинскій; укажемъ еще сочувственныя слова г. Буслаева, когда онъ, по смерти Снегирева, резюмировалъ его ученую дѣятельность ¹⁾. Недостатки Снегирева происходили какъ отъ новости науки, приемы которой онъ собиралъ эклектически (въ этнографіи) и не въ силахъ былъ выработать въ правильный методъ, такъ и отъ господствующаго характера литературы (двадцатыхъ годовъ), въ которомъ сложились его литературныя понятія. Цѣль его была не только научная, но и популярная, и послѣдняя еще болѣе, чѣмъ первая; читатели и самая критика были очень мало приготовлены и были вполнѣ удовлетворены,—первыя серьезныя требованія поставлены были только позднѣе (съ сороковыхъ годовъ). Его общія историческія представленія были карамзинскія; представленія о народѣ и народности отвѣчали извѣстной программѣ, и съ этой стороны опять не сходились съ позднѣйшей школой, которая приступила къ изученію народности безъ предвзятыхъ и постороннихъ наукъ соображеній.

Переходимъ къ писателю иного характера, болѣе молодого поколѣнія, на которомъ, въ другихъ формахъ, но также сказалось тогдашнее положеніе народныхъ изученій. Это былъ романтикъ народности—Пассекъ, очень замѣченный въ свое время писатель, но рано умершій, только-что начавши свою дѣятельность.

Вадимъ Васильевичъ Пассекъ ²⁾ родился, въ іюнѣ 1807, въ Тобольскѣ, гдѣ отецъ его, извѣстный по своимъ печальнымъ приключеніямъ, жилъ съ семьей въ ссылке, въ очень стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Тобольскій губернаторъ въ то время особенно гналъ семейство Пассековъ и выселилъ его, въ глубокую осень, за двадцать верстъ отъ города. Вадимъ остался и прожилъ годы дѣтства въ домѣ

¹⁾ Моск. Университетскія Извѣстія, 1869.

²⁾ Біографическія свѣдѣнія о немъ см. въ воспоминаніяхъ его вдовы: „Изъ дальнихъ лѣтъ. Воспоминанія Т. П. Пассекъ“. Спб. 1878—79, т. I, стр. 366—384, 432 и слѣд.; рядъ главъ во II-мъ томѣ, и частію въ недавно вышедшемъ III-мъ томѣ. Спб. 1889.

ихъ друга, инспектора врачебной управы, Керна ¹⁾. Средства семьи заключались въ той части дохода съ харьковскаго имѣнья, какая приходилась на долю двухъ сыновей, рожденныхъ до ссылки отца; но мало-по-малу высылка денегъ сокращалась и, наконецъ, прекратилась. Семейство умножалось, наступала нужда; но семья держалась дружно и работала. Вадимъ, тихій, задумчивый, съ поэтической наклонностью, рано увлекался и красотами природы, и рассказами о старинѣ...

Черезъ двадцать лѣтъ ссылки, Пассекъ-отецъ былъ, наконецъ, возвращенъ (въ 1824 или 1825). Многолюдная семья переехала въ Москву, гдѣ родственныя связи съ нѣкоторыми богатыми и значительными людьми помогли ей кое-какъ устроиться. Въ 1830, отецъ умеръ и семья осталась на заботѣ старшихъ сыновей, упорно для нея работавшихъ. Вадимъ въ послѣднихъ двадцатыхъ годахъ былъ въ московскомъ университетѣ; въ молодомъ поколѣнн бродилъ идеалистическій романтизмъ, къ которому Пассекъ былъ склоненъ уже отъ природы. Онъ шелъ въ университетъ раньше Герцена, но они еще встрѣтились и сошлись очень дружески ²⁾: ихъ соединяли общія наклонности, интересы къ наукѣ и поэзіи, стремленіе къ осуществленію въ жизни нравственно-общественныхъ идеаловъ; только послѣ въ ихъ мнѣніяхъ стали сказываться различныя оттѣнки, чтó одно время и произвело между ними охлажденіе. Пассекъ кончилъ курсъ по юридическому факультету, кажется, до холернаго года. Въ этомъ году, когда эпидемія производила въ Москвѣ, какъ и вездѣ, страшную панику, Пассекъ одинъ изъ первыхъ предложилъ себя въ распоряженіе холернаго комитета и дѣйствовалъ съ рѣдкимъ самоотверженіемъ: онъ завѣдывалъ въ больницѣ канцеляріей, хозяйственной частью, ухаживалъ за больными и даже, съ нѣкоторыми изъ врачей, дѣлалъ на себѣ опыты прилипчивости болѣзни. Опыты показали противъ прилипчивости, и послѣ этого къ болѣзни стали относиться смѣлѣе и явилось больше желающихъ помогать въ общественномъ бѣдствіи ³⁾.

Въ 1832, Пассекъ женился на „корчевской кузинѣ“ Герцена и принялся за „Путевыя записки“, которыя были его первымъ трудомъ. Весной 1834, графъ А. Н. Панинъ, попечитель харьковскаго университета (раньше служившій въ Москвѣ при московскомъ попе-

¹⁾ „Я родился въ то время, — писалъ Пассекъ, — когда безопасно тѣснили и терзали родную семью, поэтому былъ налогомъ отдаленъ отъ нея, росъ среди чужихъ, сталъ рано думать и чувствовать и долженъ былъ сосредоточиваться, замыкаться самъ въ себя“. „Изъ дальнихъ лѣтъ“, I, стр. 375.

²⁾ Тамъ же, I, 317—318, 328, 355—365, и пр.

³⁾ Тамъ же, I, стр. 357—358.

чителѣ вн. С. М. Голицынѣ), предложилъ Пассеку каведру русской исторіи въ Харьковѣ, и онъ было началъ собираться въ путь. Между тѣмъ въ іюлѣ этого года въ Москвѣ произошелъ арестъ нѣсколькихъ молодыхъ людей, обвиненныхъ за пѣніе на пирушкѣхъ недозволительныхъ пѣсенъ. Къ Пассеку это не имѣло никакого отношенія, но исторія эта, очень бессмысленно, отразилась и на немъ. По письмамъ, находимымъ у арестуемыхъ, переходили отъ одного къ другому, отъ поэта Соколовскаго къ Сатину, къ Огареву, наконецъ, къ Герцену. По арестѣ послѣдняго, ждалъ и Пассекъ своей очереди, но, по разсказу г-жи Пассекъ, — „продолжительныя отлучки Вадима передъ женитьбой (для устройства дѣла съ харьковскимъ имѣніемъ), частныя, продолжительныя поѣздки наши послѣ женитьбы, новые интересы внѣ товарищескаго кружка спасли его отъ ударовъ собравшейся грозной тучи, но, несмотря ни на что, рикошетомъ они попали и въ насъ“¹⁾. Когда, пріѣхавши въ Харьковъ, Пассекъ явился къ гр. Панину, тотъ сообщилъ ему, что изъ Москвы получена бумага, въ которой сказано, чтобы не допускать Пассека до чтенія лекцій, вслѣдствіе его сношеній съ арестованными молодыми людьми, а если уже читаетъ, то учредить строгій надзоръ. Лекціи и не были начаты. Пассекъ поселился въ своей деревнѣ, въ харьковской губерніи; здѣсь его сосѣдомъ оказался жандармскій полковникъ, съ которымъ онъ дружески сошелся и который сообщилъ ему, что дѣйствительно долженъ доставлять о немъ отчеты... Пассекъ прожилъ въ Харьковѣ и въ деревнѣ 1834—36 годы, съ небольшою поѣздкой въ Кіевъ, занимаясь этнографическими и статистическими изученіями. Въ 1836, онъ былъ причисленъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ, по статистическому отдѣленію, и считался откомандированнымъ въ харьковскую губернію; въ 1837, онъ представилъ въ министерство свое историко-статистическое описаніе харьковской губерніи съ планами и видами. Оно было напечатано въ официальномъ изданіи²⁾. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ занимался изслѣдованіемъ древностей, городищъ и кургановъ и отчетъ о нихъ доставилъ въ Общество исторіи и древностей, которое избрало его въ свои члены. Въ Москву онъ вывезъ для университета изъ Украйны три каменныя „бабы“.

По полученіи работы Пассека о харьковской губерніи, министерство дало ему порученіе составить статистическое описаніе таврической губерніи. Для этого надобно было предварительно въ Одессѣ ознакомиться съ архивомъ новороссійскаго и бессарабскаго генераль-

¹⁾ Изъ дальнихъ лѣтъ, I, стр. 435.

²⁾ Матеріалы для статистики Россійской имперіи, издаваемые, съ высочайшаго соизволенія, при статистическомъ отдѣленіи министерства внутреннихъ дѣлъ. Спб. 1839—41 (два тома), т. I, отд. II, стр. 125—167.

губернатора. Въ Одессѣ, съ поѣздкой въ Крымъ, Пассекъ провелъ 1837—38 годы. Еще въ Харьковѣ онъ задумалъ изданіе „Очерковъ Россіи“, и его мысль, какъ и вообще взглядъ его на изученіе народа, были съ великимъ сочувствіемъ раздѣлены Срезневскимъ, который въ тѣ годы былъ въ разгарѣ этнографическаго романтизма. Въ Одессѣ Пассекъ также встрѣтилъ людей, сочувствовавшихъ его планамъ, и тѣмъ усерднѣе готовился къ изданію, для котораго уже набирались сотрудники и статьи. Въ 1838 году вышла первая книга „Очерковъ Россіи“.

Въ началѣ лѣта 1838, Пассекъ сдѣлалъ поѣздку въ Крымъ, къ осени вернулся въ Харьковъ, оставался здѣсь до лѣта слѣдующаго года, сдѣлалъ новыя поѣздки по харьковской губерніи и осенью 1839 переѣхалъ въ Москву.

Въ Москвѣ Пассекъ встрѣтился снова съ кружкомъ Герцена, но завязалъ и другія связи, которыя, повидимому, становились ему ближе и сочувственнѣе. Осенью 1840, онъ отправился въ Петербургъ; цѣлью поѣздки были его литературные планы и официальные дѣла, а именно онъ, черезъ К. И. Арсеньева, хотѣлъ напомнить въ министерствѣ, гдѣ считался на службѣ, объ обѣщанномъ ему первомъ вакантномъ мѣстѣ чиновника особыхъ порученій при министрѣ. Арсеньевъ съ участіемъ взялся за его дѣло; мѣсто обѣщано, а пока ему поручено было составленіе статистическихъ свѣдѣній о московской губерніи и дана награда за описаніе таврической губерніи.

Въ 1841, Пассекъ составилъ статистическое описаніе московской губерніи, признанное образцовымъ; составилъ путеводитель по Москвѣ и ея окрестностямъ ¹⁾, хлопоталъ объ изданіи „Очерковъ Россіи“. Средства его были очень стѣсненные; онъ считался на службѣ, но жалованья ему не давали. Весной 1842, архимандритъ Симонова монастыря Мельхиседекъ предложилъ ему составить историческое описаніе Симонова монастыря, съ вознагражденіемъ въ 300 рублей. Онъ взялся за эту работу, которая и была вскорѣ кончена и издана, но вмѣсто говорара, Пассекъ просилъ за свой трудъ — отвести ему и семь мѣсто на монастырскомъ кладбищѣ! Въ томъ же году пришлось воспользоваться этимъ условіемъ — сначала для его ребенка, а осенью—для него самого. Еще лѣтомъ Пассекъ заболѣлъ, простудившись; къ осени ему дѣлалось все хуже и 25 октября 1842 онъ умеръ. Въ этомъ году вышла и послѣдняя, 5-я книга „Очерковъ Россіи“.

Первымъ произведеніемъ Пассека, какъ выше замѣчено, были „Путевыя записки“ и еще небольшая статья „Странное желаніе“,

¹⁾ Московская справочная книжка, изданная Вад. Пассекомъ. М. 1842.

напечатанная позднѣе ¹⁾. Достаточно прочесть нѣсколько страницъ этой послѣдней статьи, чтобы видѣть мечтательную подкладку его взглядовъ, сохранившуюся и позднѣе. „Странное желаніе“ заключается въ слѣдующемъ:

„Духъ вѣченъ и нѣтъ для него избраннаго времени, человѣкъ не весь прикованъ къ настоящему; онъ любитъ воскрешать минувшіе вѣка, углубляться до дня созданья, въ безконечность времени, и уноситься думой въ будущее.

„Оттого-то и мнѣ хотѣлось бы всюду жить въ каждое мгновеніе времени, во всѣхъ возрасты человѣчества и природы: хотѣлось бы присутствовать при всѣхъ переворотахъ земли, взгромоздившихъ горы и разъединившихъ всѣ ея части, когда еще кипѣли рѣки металловъ (!) и раскаленная атмосфера неравнучно носилась съ земнымъ шаромъ! Хотѣлось бы взглянуть, какъ послѣ стихійнаго состоянія отдѣлились воды, заструились рѣки, зацвѣли первыми цвѣтами поля и послышалось первое пѣніе птицъ... Желалъ бы почувствовать всѣ чувства, всѣ впечатлѣнія перваго человѣка, переходить съ нимъ изъ поколѣнія въ поколѣніе... и пр.

„Что мнѣ жизнь, если я не составляю живой части цѣлаго міра; что мои бѣдные дни, если они не сливаются съ вѣчностью!

„Страшно быть оторгнутымъ отъ общества людей, невыразимо страшнѣе быть оторженнымъ бытіемъ отъ вселенной и жизни отъ вѣчности (?). Я терпелъ, гибну при одной мысли объ этомъ отчужденіи, оно рождаетъ человѣка ниже ничтожества.

„Не оттого ли мы нерѣдко томимся желаніемъ представить всю минувшую жизнь вселенной, узнать ея настоящее и разгадать будущее?

„Но человѣку не воскресить прошедшаго, не удовлетвориться и разгадкой будущаго! Гдѣ же полное удовлетвореніе жизни? гдѣ найду наслажденіе жизни всевременной и вездѣ присутствующей—

Въ святой и жаркой вѣрѣ на землѣ—

И тамъ, гдѣ нѣтъ уже земныхъ преградъ“, и пр.

„Путевыя Записки“ ²⁾ всего нагляднѣе указываютъ настроеніе и основную мысль, проходящую въ работахъ Пассека. Когда книга вышла, Сенковскій замѣтилъ въ „Библіотекѣ для чтенія“, что вѣроятно авторъ путешествовалъ въ воображеніи, сидя покойно на диванѣ въ своемъ кабинетѣ, и болѣе по протекшимъ вѣкамъ. Другъ автора, Лажечниковъ, въ письмѣ, относится къ книгѣ съ осторожною уклончивостью ³⁾. И дѣйствительно, въ книгѣ много историко-поэтическихъ фантазій о протекшихъ вѣкахъ, а настоящихъ путевыхъ записокъ совсѣмъ не имѣется; тѣмъ не менѣе она любопытна для

¹⁾ Въ сборникѣ „Литературный Вечеръ“, М. 1844, который по его смерти издавъ былъ московскимъ литературнымъ кружкомъ въ пользу его семейства. Объ этомъ сборникѣ см. въ „Современникѣ“ 1844 г., т. 35. „Изъ дальнихъ лѣтъ“, т. II, стр. 204—205, 344—345.

²⁾ Путевыя записки Вадима *. Москва, 1834. 8°. 180 стр. Посвященіе: „Татьянѣ Петровнѣ Пассекъ“.

³⁾ Письмо 1834 г.: „Изъ дальнихъ лѣтъ“. II, стр. 222.

исторіи этнографіи. Народно-историческій интересъ только-что складывался: чувствовалась недостаточность прежней чисто внѣшней государственной исторіи, и возникала потребность изслѣдовать основы внутренней жизни народа, его бытовые и нравственные идеалы. Это стремленіе, еще поэтически-неопредѣленное, особенно выразилось у Пассека, и оттого имя его называлось въ то время съ большими сочувствіями: онъ высказывалъ созрѣвавшую потребность. Труды его, кромѣ немногихъ описательныхъ сочиненій, немного дали прямого научнаго матеріала, но имѣютъ свое историческое значеніе: это — предисловіе къ наступившимъ вскорѣ спорамъ славянофиловъ и западниковъ о русской національной идеѣ и къ болѣе глубокой постановкѣ этнографическихъ изученій.

Книга дѣлится на нѣсколько главъ или статей: первая посвящена личнымъ воспоминаніямъ и размышленіямъ о русской старинѣ; вторая посвящена „Украинѣ“ (стр. 51—112, съ эпиграфомъ изъ Рудаго-Панька); третья—„Малороссіи“ (стр. 113—155); далѣе идутъ „мечтанія“, гдѣ авторъ обращается къ общему вопросу личной и исторической жизни человѣка, къ опредѣленію исторіи, къ необходимости новыхъ изученій прошлаго Россіи; наконецъ, небольшой „эпизодъ“.

Книга открывается воспоминаніями дѣтства и юности въ Сибири — о впечатлѣніяхъ свѣжей и дикой природы, о народныхъ историческихъ преданіяхъ („Ермакъ былъ первымъ героемъ моихъ мечтаній“); потомъ—перевѣздъ въ Россію, путь до Москвы среди новыхъ впечатлѣній; наконецъ, Москва. Мечтанія юности сливаются съ мечтаніями историка. Кремль переноситъ автора въ прошедшее Москвы, въ далекую старину русской народной жизни: историкъ долженъ открыть ея характеръ, источникъ ея отличій отъ жизни западной Европы. Авторъ находитъ этотъ источникъ въ особомъ усвоеніи христіанства славянскимъ племенемъ:

„Оно (христіанство) близко душѣ человѣка, потому что проповѣдуетъ все истинное и благое; оно близко къ характеристикѣ славянскихъ племенъ по своей *созерцательности*“ (стр. 44).

Въ этой „созерцательности“, христіанскомъ спокойствіи и покорности, онъ находитъ поясненіе многихъ событій русской исторіи.

Обязанность историка и значеніе исторіи представляются ему въ самыхъ возвышенныхъ чертахъ:

„Тотъ не историкъ, кто не поэтъ,—говоритъ Пассекъ:—потому что у него не достанетъ души, чтобы слиться съ человѣчествомъ, чтобы обнять его, потому что исторія есть законъ миноваго, вдохновенное *пророчество* о будущемъ! Тотъ не историкъ, кто не мыслитель и не поэтъ. Только Вико, Гердеры, Боскетты, Нибуры создали исторію, только поэтической идеализмъ Шеллинга

и Фихте оживотворилъ ее своимъ ученьемъ. Но сочувствовать можно *чему-нибудь*, и это *что-нибудь*, говорю я, есть *внутренняя жизнь* человѣчества, въ своемъ началѣ и во всѣхъ своихъ проявленіяхъ. Мы познаемъ развитіе настоящаго по событіямъ минувшимъ, а минувшее освѣтляемъ жизнью настоящаго. И тотъ не понимаетъ исторіи народа, кто не объемлетъ умомъ, не сочувствуетъ сердцемъ маглѣйшихъ движеній его внутренней жизни; кто не видитъ, какъ живетъ прошедшее въ настоящемъ; кто думаетъ возсоздать живнѣ по однѣмъ гѣтописямъ или остаткамъ искусства, и въ настоящемъ бытѣ не видитъ основнѣхъ началъ, по которымъ дѣйствовало минувшее, и станеть дѣйствовать грядущее.

„...Должно умомъ и сердцемъ вглядѣться въ настоящій бытъ народа! Должно быть съ нимъ, видѣть его во всѣхъ измѣненіяхъ, подъ всѣми впечатлѣніями обстоятельствъ и условіями внѣшней природы—однимъ словомъ, должно *путешествовать*“... (стр. 166—168).

Съ чего же начать путешествіе? На это указываетъ исторія государства. Оно имѣеть свои центры, состоящіе въ извѣстной мѣстности, въ характерѣ племени, и разливающіе на жизнь государства свои оттѣнки. Исключивъ окраины, въ самомъ русскомъ племени Пасекъ указываетъ три такихъ центра и основнѣхъ пункта изслѣдованія: Новгородъ, Кіевъ и Москву, съ ихъ соотвѣтственными землями и населеніями. Изученіе Россіи по этимъ центрамъ, въ ея внутреннѣхъ историческихъ движеніяхъ, въ связи прошлаго съ настоящимъ, было его завѣтной идеальной цѣлью:

„Вотъ колоссальное предпріятіе, которымъ такъ полны мои думы и мечтанья!—Боже мой! какъ радостно оживаетъ душа, когда я вижу, когда только воображаю всѣ начала историческихъ событій живыми въ живыхъ племенахъ! И я изслѣдую снѣ начала не въ однѣхъ гѣтописяхъ, но въ умѣ и сердцѣ и самыхъ заблужденіяхъ настоящаго поколѣнія! И я переживаю цѣлые вѣка и всѣ переливы живни!

„О, дайте мнѣ крылья! Я чувствую себя сильнымъ раскрыть этотъ новый свѣтлый міръ! Сочувствуете ли вы мнѣ? бьется ли у васъ восторгомъ сердце? или вы безчувственны и смѣветесь надъ чистымъ мечтаніемъ юноши?“.. (стр. 173).

Въ этой восторженной формѣ выраженія высказана мысль о необходимости изученія мѣстныхъ элементовъ исторіи и народныхъ бытовыхъ особенностей, налагающихъ печать на развитіе государства.

И съ этой точки зрѣнія, его особенно теплое, даже восторженное чувство поднимаетъ Малороссія, родина его предковъ. Въ ней возникли первые элементы нашего отечества, изъ нея разлился въ немъ свѣтъ христіанства, и пр.

„Кто первый изъ насъ вошелъ въ связи съ европейскими державами? Кто остановилъ гибельный потокъ первыхъ татарскихъ ордъ, принудилъ ихъ снова удалиться въ свои степи и такъ сильно, такъ пламенно и роскошно воспѣлъ битвы съ кочевыми половцами?—Малороссіяне!

„Какой народъ безъ твердыхъ и постоянныхъ предѣловъ, которые могли бы

его защитить отъ воинственныхъ сосѣдей, безъ неприступныхъ горъ, которыя могли бы спасти его независимость, умѣлъ быть страшнымъ для своихъ враговъ, успѣлъ равнать свою національность и сохранить ее въ тяжелые пять вѣковъ насилія татарскаго, литовскаго и польскаго? Какой народъ въ пять вѣковъ неволи, когда пепелили его города, предавали мученьямъ за преданность религіи, умѣлъ ее сохранить, и въ это время не разъ былъ гровою своимъ притѣснителямъ и среди сихъ пытокъ созидалъ училища для образованія юношества? Этотъ народъ былъ — малороссіане! Доселѣ наше отечество гордится принятіемъ религіи греческой и она впервые принята—Малороссією. Доселѣ гордимся мы побѣдными походами Святослава — и въ нихъ были толпы малороссіянъ. Доселѣ одно воспоминаніе о пѣсняхъ Боляновъ навѣваетъ мечтою и переноситъ въ минувшее—и Боляны были поэты Малороссіи, между тѣмъ какъ сѣверъ не оставилъ памяти о своихъ пѣвцахъ. Для насъ безсмертно Слово о походѣ Игоря—и оно есть произведеніе малороссійское, воспѣтыя въ немъ дѣла свершены малороссіянами. Они бились съ половцами и печенѣгами; они пробудили жизнь на сѣверѣ Россіи и перенесли сюда всѣ зачатки государства“... (стр. 113—114).

Мысль о зависимости событій отъ основныхъ особенностей народнаго характера и обычая примѣняется у Пассека въ объясненіи удѣльной системы. По его мнѣнію, она „возникла и должна была возникнуть изъ духа южныхъ славянъ, изъ самаго быта малороссійскаго народа, и погибнуть на сѣверѣ“. Именно, удѣльная система возникла изъ семейнаго раздѣла у малороссіянъ, въ противоположность цѣлости и единоначалію у великороссовъ; перейдя на сѣверъ, удѣльная система стала раздѣломъ отцовскаго наслѣдства, съ соблюденіемъ семейнаго старшинства, и уже носила въ себѣ всѣ начала единой державы. Въ нѣсколько иной формѣ, эта мысль была именно развиваема позднѣе нашими историками.

Если по особенной любви къ прошлому и къ народности Малороссіи, Пассекъ становится въ ряду начинателей такъ-называемаго украинофильства, то въ другихъ сторонахъ своихъ мнѣній онъ довольно близко подходитъ къ послѣдующей славянофильской школѣ. Любопытенъ въ этомъ отношеніи особенный интересъ Пассека къ славянству, высказанный уже въ „Путевыхъ Запискахъ“, и любопытно его представленіе объ общемъ характерѣ славянскаго племени. Отличительной чертой его Пассекъ считаетъ „созерцательность“, перевѣсъ внутренней жизни надъ внѣшней, спокойствія надъ дѣятельностью, и поэтому онъ считаетъ всѣхъ славянъ предрасположенными къ принятію греческаго исповѣданія, какъ имѣющаго много общаго съ ихъ характеромъ — мысль чисто славянофильская, только иначе выраженная. Этимъ предрасположеніемъ Пассекъ объясняетъ и церковную борьбу чеховъ. „Богемія, славянская страна, первая обратила критическій взглядъ на свою религію, менѣе всѣхъ увлеклась силой и блескомъ католицизма и первая водрузила знамя

реформаціи. Она, полная элементовъ славяницизма (sic), доказала возстаніемъ Гусса, что ищетъ въ религіи не посредничества папы, не блеска, не внѣшней торжественности, но истины, одной идеи, прямого созерцанія. Она доказала, какъ ей близка религія греческая, какъ она близка всѣмъ славянскимъ племенамъ, и всѣ они усвоили бы ее съ душевною готовностью, еслибы западъ не распространялъ своего ученія съ такою увлекательною силою и быстротою“... (стр. 43).

Между тѣмъ, отношенія Пассека съ старымъ кружкомъ становились натянутыми; стала, безъ сомнѣнія, чувствоваться разница взглядовъ. Холодная шутка сказывается въ письмахъ Гердена, приводимыхъ въ воспоминаніяхъ г-жи Пассекъ ¹⁾; были случаи, въ которыхъ недоувѣрчивость къ Пассеку выражалась даже неопозволительно рѣзко, какъ, напр., въ отказѣ богатаго Огарева помочь затрудненію Пассека при изданіи „Очерковъ Россіи“. Авторъ воспоминаній „Изъ дальнихъ лѣтъ“ настаиваетъ, что это отдаленіе прежнихъ друзей было совершенно несправедливо и выходило изъ недоразумѣнія,—что несмотря на разницу нѣкоторыхъ взглядовъ, напр., на сочувствіе „къ дѣлу славянъ“, на его религіозность, на „любовь къ родинѣ“ (?), въ его мнѣніяхъ не произошло переменъ, которая оправдывала бы это отдаленіе ²⁾; что наконецъ, не задолго до смерти Пассека, дружескія отношенія возстановились опять въ прежней силѣ. Тѣмъ не менѣе, разница взглядовъ несомнѣнно образовалась; корень ея вѣроятно былъ очень давній. Ихъ дѣлило многое: прежде всего неравенство лѣтъ,—Пассекъ былъ нѣсколькими годами старше своихъ друзей, и эта разница бываетъ особенно замѣтна въ томъ возрастѣ, когда на одной сторонѣ бывають еще свѣжи всѣ юношескіе порывы, а на другой они смѣняются уже болѣе спокойнымъ взглядомъ на жизнь и начинающимся опытомъ, который у Пассека увеличивался и внѣшнимъ положеніемъ, отстранявшимъ беззаботныя фантазіи юности ³⁾. Его младшіе друзья увлекались политическими идеями, а особливо тѣмъ отвлеченнымъ и мечтательнымъ социализмомъ, какимъ онъ былъ тогда и долго послѣ; Пассекъ давно увлекался народностью. Онъ сохранялъ романтическое настроеніе молодости, стремленіе къ просвѣщенію, но историко-этнографическіе, статистическіе труды отдаляли его отъ интересовъ прежняго кружка: исторія и этнографія, съ ихъ спеціальными изученіями, были иною областью, чѣмъ социальная философія; первыя приближали къ дѣйствительности, вторая легко

¹⁾ Томъ II, стр. 309, письмо изъ Владимира, въ ноябрѣ 1839; стр. 336, изъ Петербурга, въ январѣ 1841.

²⁾ Томъ II, стр. 311—312, 331, 342.

³⁾ Ср. т. I, стр. 471—472, 484—485.

виталя въ фантазіяхъ. Въ интересахъ своихъ работъ Пассекъ сближался съ другимъ кругомъ, гдѣ этнографическіе интересы сопровождались однако прибавками, которыя вѣроятно не совсѣмъ подходили къ его собственнымъ понятіямъ, и уже совсѣмъ не подходили къ понятіямъ его прежняго круга. Въ Москвѣ, Пассекъ вошелъ въ кружокъ Вельмана, гдѣ бывали Загоскинъ ¹⁾, Максимовичъ, Даль; у него самого бывали Ѳедоръ Глинка, профессоръ Морозкинъ, М. Макаровъ, де-Сангленъ; Пассекъ сближался съ Шевыревымъ, Погодинымъ, Хомяковымъ; въ Петербургѣ—съ Гречемъ. Въ ряду этихъ именъ были люди, имѣвшіе большія заслуги въ исторіи и этнографіи; но были и другіе, съ которыми его прежніе друзья не могли сходиться въ понятіяхъ; были наконецъ люди неуважаемые ²⁾.

Въ историко-этнографическихъ взглядахъ Пассека, образчики которыхъ мы приводили, нельзя не признать, при всей романтической идеализаціи, оригинальности и широты наблюденія или—отгадки, которыя, еслибы автору суждено было повести далѣе свои работы, могли выработаться въ опредѣленную теорію. Объемъ наблюденій Пассека простирался на археологію, исторію, народную поэзію, обычаи, преданія и т. д. Сельская жизнь, которую онъ велъ въ Малороссіи, сближала его непосредственно съ бытомъ народа. „Изучая языкъ и жизнь народа, Пассекъ постоянно сближался съ нимъ по деревнямъ; записывалъ повѣрья, сказки, пѣсни; срисовывалъ виды, земледѣльческія орудія, домашнюю утварь, одежду; бывалъ на празднествахъ и сельскихъ ярмаркахъ, такъ любимыхъ малороссами...“ ³⁾.

Какъ мы упоминали, Пассекъ настаивалъ на необходимости *путешествій* для изученія народности. Но какъ онѣ были практически нелегки въ то время, можно видѣть изъ его жалобъ въ одномъ письмѣ:

„Рѣдкое время дорога отъ Харькова до Москвы бываетъ удобна, обыкновенно же или испорчена, или грязна до того, что лошади мѣстами тянутъ экипажъ шагъ за шагомъ. Зимой, пожалуй, и того хуже. Частыя мятели заносятъ путь, обозы выбиваютъ такіе глубокіе, послѣдовательно идущіе ухабы, что поѣздка становится невыносима, медленна и утомительна до крайности. На станціяхъ беспрестанныя остановки, помѣщенія неудобны... На приѣздаго на-

¹⁾ Съ Загоскинымъ Пассекъ былъ очень близокъ уже въ 1832. „Изъ дал. лѣтъ“ I, стр. 359, 377.

²⁾ Тамъ же II, стр. 70—71, 331—334. Нѣкоторыя изъ этихъ именъ могли быть безразличны въ началѣ тридцатыхъ годовъ, но къ сороковымъ годамъ направленія стали такъ опредѣляться, что становились прямо враждебными. „Въ началѣ 1841 г.,—говорить г-жа Пассекъ,—бывали у насъ вечерами Т. Н. Грановскій и П. Г. Рѣдкинъ, но принадлежа къ другому кругу, мало-по-малу стали бывать рѣдко, хотя и относились къ намъ симпатично“.

³⁾ Изъ дальнихъ лѣтъ, II, 265.

ходитъ тоска, досада — рвется къ цѣли поѣздки и благословляетъ судьбу, достигнувъ домашняго пріюта. Какъ же при этихъ условіяхъ путешествовать по Россіи! Путешественники частные, единственно съ цѣлью путешествовать, чрезвычайно рѣдки.

„Не равнодушіе же это ко всему родному! Нельзя быть равнодушнымъ къ тому, что намъ мало извѣстно, когда не знаемъ, на что смотрѣть съ благоговѣніемъ, чему дивиться, чѣмъ гордиться, что любить. Конечно, эти *страшно трудные пути сообщенія* большею частію *виной* недостаточности свѣдѣній о нашей народной жизни, о нашемъ отечествѣ, богатомъ и красотою, и разнообразіемъ природы, и народной славой, и народнымъ бѣдствіями, обильномъ памятниками, полномъ своеобразной поэзіи“¹⁾.

Эти трудности, весьма элементарныя и однако серьезныя, дѣйствительно много объясняютъ медленность и неполноту нашихъ народныхъ изученій, особенно при громадности пространствъ, которыя нужно было бы посѣтить странствующему этнографу. Но была и другая причина: если въ наше время этнографическое путешествіе становится почти невозможностью, потому что путешественникъ, старающійся войти въ народную жизнь, говорить и дружить съ сельскимъ народомъ, тотчасъ заподозривается и уѣздной полиціей, и самимъ темнымъ и напуганнымъ сельскимъ людомъ, — то и въ тѣ времена, несмотря на провозглашаемую официально „народность“, изученіе ея было обставлено своими препятствіями. Сахарову, повидимому, все-таки пришлось испытать придирки цензуры, и вѣроятно онъ не только самъ собой, но и для цензуры, писалъ свою жалкую защиту древняго русскаго народа отъ „позорной тѣни многобожія“ и „тайныхъ сказаній“. Дальше увидимъ другіе примѣры того, какъ мало-доступно было изученіе народной жизни. Официальная народность видимо не довѣряла народности настоящей.

„Очерки Россіи“ начали выходить съ 1838 года²⁾. Цѣль ихъ была — служить къ распространенію свѣдѣній о нашемъ отечествѣ: собирать „понятія и знанія, пріобрѣтенныя болѣе опытомъ и основанныя на дѣйствительности, нежели выведенныя изъ умозрѣнія“; дѣлать доступными труды путешественниковъ, естествоиспытателей, любителей древности, ученыхъ учреждений, труды, которые не всѣмъ доступны; возбуждать къ наблюденію и изслѣдованію всего отечественнаго; „развить и упрочить вѣрнымъ знаніемъ горячее чувство любви къ отечеству и благоговѣніе къ его великой судьбѣ“.

Наибольшая доля „Очерковъ“ принадлежала самому Пассеку. Онъ останавливался на физической географіи Россіи³⁾, на старинѣ и

¹⁾ Тамъ же, II, стр. 270—271.

²⁾ „Очерки Россіи, издаваемые Вадимомъ Пассекомъ“. Кн. I. Спб. 1838. II—IV. М. 1840. Кн. V. М. 1842.

³⁾ Положеніе горъ въ Россіи.—Картинамъ степей.

исторіи ¹⁾, на бытѣ инородцевъ ²⁾, но съ особенною любовью онъ погружался въ историческія воспоминанія и, наконецъ, въ описаніи народнаго быта, именно его поэтической и обрядовой стороны. Рядъ статей этого послѣдняго рода ³⁾ написанъ по внимательному личному наблюденію сельской жизни и сопровождается имъ самимъ записанными пѣснями ⁴⁾.

Только эти послѣднія статьи заключали въ себѣ матеріалъ, цѣнный для науки; но „Очерки“, и вообще дѣятельность Пассека остаются тѣмъ не менѣе любопытнымъ литературнымъ фактомъ, какъ одно изъ симпатичныхъ выраженій той искренней любви къ народу, которая въ ту пору одушевляла уже новыхъ дѣятелей народнаго изученія и уже вскорѣ произвела въ этой области труды, столько же важные для нравственнаго самосознанія общества, какъ и для науки.

Владимиръ Ивановичъ Далъ былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ этнографовъ описываемаго періода и вмѣстѣ однимъ изъ популярнѣйшихъ писателей и рассказчиковъ. Правда, его главнѣйшіе этнографическіе труды появились позднѣе, уже въ наше время, но они принадлежатъ предыдущему періоду и по замыслу, и по главному сбору матеріала, и по способу выполнения. Мы скажемъ въ другомъ мѣстѣ о литературной дѣятельности Даля и остановимся здѣсь на его работахъ, собственно этнографическихъ.

Биографія Даля была много разъ пересказана ⁵⁾. Онъ родился 10

¹⁾ Киевопечерская обитель.—Кіевскія златія врата.—Границы южной Руси донашествія татаръ.—Окрестности Переяслава.—Куряжскій монастырь.

²⁾ Путешествіе по Крыму.—Обычаи и повѣрья финновъ.—Осетинцы.

³⁾ Праздникъ Купалы.—Малороссійскія святки.—Веснянки.

⁴⁾ Сотрудниковъ у него было немного: Срезневскій помѣстилъ въ „Очеркахъ“ два разказа того натянутого историко-поэтическаго стиля, въ которомъ онъ писалъ тогда, а передъ тѣмъ издавалъ „Запорожскую Старину“, и помѣстилъ еще статью „Сеймы“, гдѣ помѣщенъ текстъ и изложеніе чешской поэмы „Судъ Любуши“; Вельманъ сообщилъ любопытный „Портфель служебной дѣятельности Ломоносова“ и двѣ статьи по той фантастической археологіи, которою онъ славился; А. Рославскій—статью „Москва въ 1698 г.“; И. Г. Сениавинъ—„Нѣсколько свѣдѣній о новгородской губерніи“.

⁵⁾ Справочный энциклопедическій словарь Старчевскаго, Спб. 1855, IV, 425—427, статья по матеріаламъ г. Максимова, съ подробными библиографическими указаніями сочиненій Даля.

— Толковный словарь живого великорусскаго языка, В. И. Даля. Записка Я. К. Грота — въ „Сборникѣ“ П Отд. Акад. Н., т. VII, и отдѣльно. Спб. 1870 (краткая біографія). Повторено въ „Филологическихъ Разскаваніяхъ“ (2 изд. Спб. 1876).

— Воспоминаніе о В. И. Далѣ, Я. К. Грота (съ автобіографической запиской Даля и извлеченіями изъ его писемъ), въ „Сборникѣ“, т. X, 1873, стр. 37—54, и въ академическомъ „Отчетѣ за 1872 годъ“, стр. 16—26.

ноября 1801 г. въ Лугани, отчего и принялъ впоследствии псевдонимъ „казака Луганскаго“. Отець его былъ родомъ датчанинъ, получившій многостороннее образованіе въ Германіи; онъ приглашенъ былъ на службу въ Россію, въ петербургской библіотекѣ, но, по словамъ Дала, увидѣвъ, что въ Россіи мало врачей, отправился снова за границу и вернулся медикомъ ¹⁾. Онъ служилъ сначала при войскахъ въ Гатчинѣ, но семья, опасаясь, чтобы при его вспыльчивомъ характерѣ не произошло какого-нибудь столкновенія съ неменѣе вспыльчивымъ великимъ княземъ Павломъ Петровичемъ, съ которымъ ему приходилось встрѣчаться, и чтобъ не послѣдовало изъ этого бѣды, уговорила его переимѣнить мѣсто службы, и такимъ образомъ онъ перешелъ сначала въ Петрозаводскъ, потомъ въ Лугань, по горноврачебному вѣдомству, наконецъ, главнымъ докторомъ въ черноморской флотъ въ Николаевѣ. Даль говоритъ о великомъ умѣ, учености и силѣ воли своего отца; по рассказамъ г-жи Даль, онъ былъ масонъ. Въ 1797, отецъ Дала принялъ русское подданство и былъ горячимъ русскимъ патриотомъ, внушалъ дѣтямъ, что они русскіе, зналъ русскій языкъ какъ свой, жалѣлъ въ 1812 году, что дѣти его

— Всемирная Иллюстрація, 1872, т. VIII, стр. 394, съ портретомъ.

— Московскія Вѣдомости, 1872, № 241, 267.

— Голось, 1872, № 150.

— Русскій Архивъ 1872, № 10, ст. Бартенева; № 11. Другіе некрологи указаны въ этнограф. указ. Межова, Извѣстія Географ. Общ. 1875, вып. 2, стр. 10—11.

— Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat, Bd. VIII, стр. 116—124.

— Воспоминанія П. Мельникова, Русскій Вѣстникъ, 1878, № 3, стр. 275—340.

— Дневникъ Шевченка, въ „Основѣ“ 1861—62 (упоминанія о Далѣ).

— Даль, по воспоминаніямъ его дочери, Е. Даль. Русскій Вѣстникъ, 1879, № 7, стр. 71—112. Начало; продолженія, кажется, не было.

— Дневникъ А. В. Никитенка, въ „Р. Старина“, 1889—90 (упоминанія о Далѣ).

Біографія Дала заслуживала бы болѣе обстоятельнаго труда, чѣмъ тѣ, какіе есть. Нельзя не считать большой потерей уничтоженіе его записокъ; — онъ не говорилъ настоящей правды, когда отрезался отъ веденія записокъ въ автобіографіи, писанной для г. Грота (Воспоминанія о Далѣ, стр. 43—44): біографъ Дала положительно говоритъ о существованіи записокъ и о томъ, когда и по какому случаю Даль сжегъ ихъ „Русскій Вѣстникъ“, 1878, № 3, стр. 316). Если показаніе біографа вѣрно, записки должны были быть чрезвычайно любопытны.

Наконецъ, автобіографическія замѣтки разбросаны въ сочиненіяхъ Дала, напр., въ разсказахъ: „Мичманъ Поцѣлуевъ“, „Болгарка“ (теплыя воспоминанія о пребываніи въ дерптскомъ университетѣ), „Подоланка“ и проч.

¹⁾ Г-жа Е. Даль, по рассказамъ отца, приводитъ другую причину этого новаго ученья, именно, что родители Фрейтагъ не отдавали своей дочери за ея дѣда, отговариваясь тѣмъ, что онъ теологъ, а не докторъ, напрямѣръ; черезъ нѣсколько лѣтъ онъ явился докторомъ. Могли быть и сба обстоятельства. Г-жа Даль по ошибкѣ называетъ Фрейтаговъ Фрейгангами.

еще молоды и негодны для защиты отечества. Мать была также замѣчательная женщина; отецъ, по словамъ Даля, „силою воли своей, умѣлъ вкоренить въ насъ на вѣкъ страхъ Божій и святыхъ нравственныхъ правила“. Онъ умеръ въ 1820, мать жила до 1858 г.; „нравственно управляла нами,—говоритъ Даль,—направляя всегда на прикладную, дѣльную, полезную жизнь“.

Въ 1814 году, Дала и его брата свезли въ Петербургъ, въ морской корпусъ. Онъ пробылъ здѣсь до 1819 и выпущенъ былъ мичманомъ; онъ считаетъ, что время, проведенное въ корпусѣ, было убитое время, и „корпусъ“ оставилъ въ немъ на всю жизнь самыя отвратительныя воспоминанія ¹⁾. На бѣду, онъ не выносилъ качки, морская служба была для него пыткой, всѣ старанія перейти на другую военную службу были безуспѣшны. Онъ служилъ сначала въ Николаевѣ, потомъ въ Кронштадтѣ; но отслуживши обязательные годы, Даль вышелъ въ отставку и переѣхалъ въ Дерптъ, гдѣ поселилась его мать (отецъ уже умеръ) для воспитанія младшаго сына. Даль рѣшилъ поступить въ университетъ, по медицинскому факультету, въ 24 года начавъ учиться по-латыни почти съ азбуки; онъ былъ (въ 1826) зачисленъ на казенную стипендію. Ему нужно было пробыть въ университетѣ до конца 1830 года, но въ турецкую войну 1829, начальство потребовало всѣхъ годныхъ для службы; онъ былъ въ числѣ выбранныхъ и получилъ разрѣшеніе тутъ же держать экзаменъ на доктора.

Онъ пробылъ при арміи въ Турціи и Польшѣ до 1832 г., отличился между прочимъ въ польскую кампанію дѣломъ, совсѣмъ не входившимъ въ его врачебныя обязанности—слѣшной наводкой моста черезъ Вислу; въ Петербургѣ назначенъ былъ ординаторомъ военного госпиталя, и тутъ впервые выступилъ на литературное поприще „Сказками“. Онъ далъ ему первую извѣстность и вмѣстѣ сопровождался неприятной исторіей. За нѣсколько фразъ, превратно растолкованныхъ въ одной сказкѣ, онъ былъ „взятъ жандармомъ и посаженъ въ III отдѣленіе, откуда выпущенъ безъ вреда того же дня вечеромъ“ ²⁾. Книжка, какъ говорятъ, была однако изъята изъ про-

¹⁾ Объ этомъ не мало подробностей въ воспоминаніяхъ его дочери.

²⁾ „Русскія сказки, изъ преданія народнаго изустнаго на грамоту гражданскую переложенныя; къ быту житейскому приуроченныя и поговорками ходкими разукрашенныя казакомъ Владиміромъ Луганскимъ. Пятокъ первый“. Спб. 1832. 12^о. 201 стр. См. объ этой книгѣ: „Русскія книжныя рѣдкости“, Геннахи. Спб. 1872, стр. 101—102. Исторія арестованія, въ разсказѣ г-жи Даль, Русск. Вѣстникъ, 1879, кн. 7, стр. 110—112.

Г. Гротъ замѣчаетъ въ биографіи Даля, что „хотя онъ вскорѣ былъ оправданъ, во долго не могъ являться въ литературѣ подъ своимъ именемъ“. Это не точно. Подъ какимъ именемъ онъ не могъ являться? Мы видѣли, что книжка и на первый

дажи. Онъ продолжалъ тѣмъ не менѣе усердно работать въ литературѣ и еще съ тридцатыхъ годовъ приобрѣлъ большую популярность, а въ сороковыхъ, даже по отзывамъ самыхъ требовательныхъ критиковъ, какъ Бѣлинскій, считался въ ряду первостепенныхъ талантовъ нашей литературы. Познакомившись у Жуковского съ В. А. Перовскимъ, Даль былъ приглашенъ имъ на службу въ Оренбургъ, чиновникомъ особыхъ порученій; пробывъ въ томъ краѣ около семи лѣтъ и „отхотивъ“ знаменитый своею неудачею и бѣдствіями кивинскій походъ, Даль возвратился въ Петербургъ, поступилъ въ секретари къ товарищу министра удѣловъ, Л. А. Перовскому, а потомъ завѣдывалъ особою канцеляріею его, какъ министра внутреннихъ дѣлъ, и принималъ тогда близкое участіе въ важнѣйшихъ дѣлахъ министерства. Съ 1849 по 1859 г., Даль служилъ въ Нижнемъ-Новгородѣ управляющимъ удѣльной конторой. Вышедши затѣмъ въ отставку, онъ поселился въ Москвѣ и посвятилъ свое время обработкѣ и изданію „Толковаго Словаря“, матеріалъ котораго онъ готовилъ нѣсколько десятковъ лѣтъ. Онъ умеръ 22 сентября 1872 г., присоединившись передъ смертію къ православію.

Даль очень рано заинтересовался народнымъ языкомъ и бытомъ и началъ усердно изучать ихъ. Этотъ первый интересъ его, чисто личный, представляетъ любопытное явленіе литературно-историческое. Литература была тогда въ полномъ разгарѣ романтизма, который, правда, искалъ уже и народнаго элемента, но только въ предѣлахъ романтической темы, въ извѣстной окраскѣ, отдѣлѣ или поддѣлкѣ. Этнографическая наука была въ младенчествѣ, и ея смыслъ едва угадывался. Пушкинъ былъ еще въ юношеской порѣ, нельзя было предвидѣть будущаго возрастанія народнаго элемента и, однако, еще болѣе молодой юноша Даль уже ставилъ себѣ задачей — розыскивать подлинную русскую народность, въ языкѣ и обычаяхъ. Идея была въ воздухѣ; будущіе ея дѣятели, прежде чѣмъ сознательно воспринять ее, влекутся къ ней инстинктомъ, — и по-французски образованный Пушкинъ, и по-нѣмецки воспитавшійся Даль, и полу-образованный Сахаровъ, и по старинному учившійся Снегиревъ. Позднѣе, когда единичныя работы являютя на свѣтъ, оказывается согласіе инстинктовъ, и рядъ параллельныхъ фактовъ создаетъ въ литературѣ „направленіе“.

Такимъ инстинктомъ, угадывавшимъ глубокій вопросъ литературнаго развитія, были изученія, начатія Далемъ еще юношей. „Во всю жизнь свою, — говоритъ онъ въ автобіографіи, — я искалъ

разъ явилась подъ псевдонимомъ, который въ слѣдующихъ же годахъ повторился въ изданіи „Былей и небылицъ“. Изданіе „Сказокъ“ г. Гротъ, со словъ Дали, обозначаетъ ошибочно 1833 годомъ.

случая побѣдить по Руси, знакомился съ бытомъ народа, почитая народъ за ядро и корень, а высшія сословія за цвѣтъ или плѣсень, по дѣлу глядя, и почти съ дѣтства смѣсь нижегородскаго съ французскимъ была мнѣ ненавистна, по природѣ... При недостаткѣ книжной учености и познаній, самая жизнь на дѣлѣ знакомила, дружила меня всесторонне съ языкомъ: служба во флотѣ, врачебная, гражданская, занятія ремесленныя, которыя я любилъ,—все это вмѣстѣ обнимало широкое поле, а съ 1819 года, когда я на пути въ Николаевъ записалъ въ новгородской губерніи дикое тогда для меня слово: *замолаживаетъ* (помню это донинѣ) и убѣдился вскорѣ, что мы русскаго языка не знаемъ, я не пропустилъ дня, чтобы не записать рѣчь, слово, оборотъ, на пополненіе своихъ запасовъ. Гречъ и Пушкинъ горячо поддерживали это направленіе мое, также Гоголь, Хомяковъ, Кирѣевскіе, Погодинъ; Жуковскій былъ какъ бы равнодушнѣе къ этому и боялся мужичества⁴.

Съ перваго начала въ 1819, Даль продолжалъ свои замѣтки постоянно: много было имъ собрано на походахъ въ Турціи, гдѣ были люди изъ всѣхъ губерній; во время побѣдокъ и живя въ разныхъ краяхъ Россіи, онъ собиралъ слова и прислушивался къ нарѣчіямъ русскаго языка, не пропускалъ словъ, услышанныхъ въ разговорѣ. Въ то же время онъ дѣлалъ и другую работу: записывалъ пословицы, собиралъ пѣсни и сказки, повѣрья и суевѣрья. То и другое давало матеріалъ для его позднѣйшихъ работъ, для собраній этнографическихъ и для дѣятельности литературной, гдѣ онъ уже съ первыхъ произведеній явился замѣчательнымъ знаткомъ пріемовъ и ухватокъ народной рѣчи и обычая.

Это изученіе языка скоро, однако, приняло у Даля опредѣленное и, такъ сказать, полемическое примѣненіе. Въ „Напутномъ словѣ“, иначе говоря, въ предисловіи къ „Толковому Словарю“, онъ рассказываетъ, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ себя помнитъ ¹⁾, „его тревожила и смущала несообразность письменнаго языка нашего съ устною рѣчью простаго русскаго человѣка, не сбитаго съ толку грамотѣйствомъ, а слѣдовательно, и съ самимъ духомъ русскаго слова. Не разсудокъ, а какое-то темное чувство строптиво упиралось, отказываясь признать этотъ нестройный лепетъ, съ отголоскомъ чужбины, за русскую рѣчь. Для меня сдѣлалось задачей выводить на справку и по-вѣрку: какъ говорить книжникъ и какъ выскажетъ въ бесѣдѣ ту же, доступную ему, мысль человѣкъ умный, но простой, неученый—и нечего и говорить о томъ, что перевѣсъ, по всѣмъ прилагаемымъ къ

¹⁾ Въ выпискѣ мы сохраняемъ обыкновенное правописаніе вмѣсто того, какое избралъ себѣ Даль въ это время.

сему дѣлу мѣриламъ, всегда оставался на сторонѣ послѣдняго. Не будучи въ силахъ уклониться ни на волосъ отъ духа языка, онъ по-неволѣ выражается ясно, прямо, коротко и изящно¹⁾.

Г. Гротъ замѣчаетъ по поводу этихъ словъ, что въ нихъ „лежитъ ключъ ко всей литературной дѣятельности Дала: чѣмъ болѣе онъ подмѣчалъ и записывалъ, тѣмъ болѣе крѣпло его убѣжденіе въ негодности нашей письменной рѣчи“. Стремясь къ „народности“ въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ (о нихъ скажемъ въ другомъ мѣстѣ), Даль нѣсколько разъ обращался и къ теоретическому вопросу о народномъ языкѣ и о сообщеніи его свойствъ литературѣ. Первая статья Дала объ этомъ предметѣ написана была, къ удивленію, по-нѣмецки¹⁾ и уже заключала въ себѣ осужденіе нашей подражательной литературы и порчи языка. Въ 1842 г., онъ помѣстилъ о томъ же предметѣ двѣ статьи въ „Москвитинѣ“²⁾. Въ 1852 г., онъ отзывался на предположенія русскаго отдѣленія Академіи наукъ объ изданіи (общаго) русскаго словаря и написалъ статью о мѣстныхъ нарѣчіяхъ по поводу изданнаго тогда Академіей „Опыта областного великорусскаго Словаря“³⁾. Въ 1860, Даль читалъ статью о своемъ русскомъ словарѣ и своихъ филологическихъ взглядахъ въ Обществѣ любителей россійской словесности⁴⁾; тамъ же, въ 1862 г., было читано имъ „Напутное слово“, служащее предисловіемъ къ „Толковому Словарю“. Наконецъ, онъ возвращался къ этому предмету въ статьяхъ, помѣщенныхъ въ газетѣ Погодина „Русскій“⁵⁾.

„Толковый Словарь живого великорусскаго языка“ выходилъ выпусками въ 1861—68 годахъ и составилъ четыре тома, in 4^o; изданіе начато было московскимъ Обществомъ любителей россійской словесности, а томы II—IV напечатаны на счетъ высочайше пожалованныхъ средствъ. Географическое Общество при появленіи первыхъ трехъ-четырехъ выпусковъ, въ 1861 году, присудило составителю

¹⁾ Въ *Dorpatser Jahrbücher*, 1835, № 1. Ueber die Schriftstellerei des russischen Volke (о любочныхъ картинкахъ).

²⁾ „Москв.“ 1842, № 2. „Полтора слова о нивѣшнемъ русскомъ языкѣ“; № 9, „Недовѣсокъ къ статьѣ: Полтора слова“.

³⁾ Отзывъ о планѣ общаго словаря, въ „Извѣстіяхъ“ II отд. Академіи, т. I, 1852, стр. 338—341 (вдѣсь, между прочимъ, удивительное предложеніе располагать словарь не по азбучному порядку, даже не по корнямъ словъ,—это дѣло сомнительное,—а по понятіямъ); статья объ „Опытѣ обл. словаря“—съ трактатомъ о нарѣчіяхъ великорусскаго языка въ „Вѣстникѣ“ Географ. Общества, 1852, часть 6-я, библиографія, стр. 1—72, и отдѣльно, Спб. 1852; перепечатана при „Толковомъ Словарѣ“.

⁴⁾ Напечатана въ „Р. Бесѣдѣ“, 1860, № 1. Науки, стр. 111—130; потомъ при „Толк. Словарѣ“.

⁵⁾ „Русскій“ 1868, №№ 25, 31, 39, 41—споръ съ Погодинымъ объ иностранныхъ словахъ въ русскомъ языкѣ и о правописаніи, конченный замѣчаніемъ Погодина въ послѣдней статьѣ: „нашъ споръ дѣляется смѣшнымъ“.

Константиновскую медаль; по окончаніи изданія, оно было увѣнчано отъ Академіи Ломоносовскою преміей. Въ литературѣ трудъ Даля былъ встрѣченъ съ великими сочувствіями и похвалами ¹⁾.

Въ трудахъ Даля, въ его сужденіяхъ о русскомъ языкѣ и въ его Словарѣ надо различать двѣ стороны: собраніе матеріала и собственную точку зрѣнія, теорію автора. Богатствомъ матеріала трудъ Даля превышаетъ все, что когда-нибудь было у насъ сдѣлано силами одного лица: не много есть и въ богатыхъ иностранныхъ литературахъ трудовъ подобнаго рода. Это богатство открывало возможность новыхъ разностороннихъ изученій. Не говоря о пользѣ, которую словарь можетъ приносить какъ справочная книга, онъ доставлялъ, во-первыхъ, громаднѣйшій матеріалъ для изученія живого великорусскаго языка со стороны его строенія и его бытового содержанія; во-вторыхъ, давалъ матеріалъ для исторіи русскаго языка,—впервые записанныя въ немъ слова сохраняли иногда давно забытую старину, являлись новые факты для выясненія историческихъ формаций языка, мѣстныхъ нарѣчій, заимствованій изъ чужихъ языковъ и т. д.; въ-третьихъ, онъ могъ служить литературѣ новымъ напоминаніемъ о богатыхъ источникахъ народнаго слова и средствомъ для освѣженія и оживленія языка литературнаго,—на что Даль въ особенности разсчитывалъ. Собраніе всего этого матеріала по разнымъ концамъ Россіи, по всякимъ слоямъ народа, цѣной многолѣтней упорной работы,—какая вообще не очень свойственна русскому писателю,—составляетъ несомнѣнную заслугу Даля; но его теоретическія мнѣнія о языкѣ не выдерживаютъ критики и къ сожалѣнію бесполезно отразились также на его капитальномъ трудѣ.

Мы замѣчали, что у Даля издавна составилось убѣжденіе въ крайней испорченности русскаго литературнаго языка, происходившей отъ заимствованія чужихъ словъ, отъ неправильнаго употребленія своихъ (изъ этихъ обвиненій онъ не исключалъ и самого Пушкина), и средствомъ къ исправленію этого недостатка онъ считалъ введеніе въ книгу языка народнаго, его лексическаго запаса и его оборотовъ. Мысль, въ основѣ справедливая, была доводима Далемъ до крайности. По словамъ Даля, направленіе его одобряли въ ту пору Пушкинъ и Гречъ (извѣстный грамотѣй тѣхъ временъ), Хомяковъ и Погодинъ и проч.; не одобрялъ одинъ Жуковский, который „былъ какъ бы равнодушнѣе къ этому и боялся мужицества“. Но едва ли со-

¹⁾ Таковы отзывы компетентныхъ людей—въ началѣ, Срезневскаго, въ „Извѣстіяхъ“, т. 10, 1861—63, стр. 245;—въ концѣ, ст. Котляревскаго, въ „Бесѣдахъ“ Общ. любит. рос. словесности, вын. 2, М. 1868, отд. 2, стр. 91—94; разборъ Словаря, Я. К. Грота, 1870, выше указанъ. Новое изданіе „Словаря“, Вольфа, Спб. 1879, 8°, въ пяти выпускахъ.

мнительно, что сами одобрявшіе далеко не согласились бы съ Далемъ во всёхъ его затѣяхъ; такъ, по изданіи „Толковаго Словара“ ему пришлось спорить даже съ Погодинымъ. Дѣло въ томъ, что Даль понималъ свое преобразование и улучшение языка литературнаго народнымъ очень грубо и первобытно.—По его собственному разсказу, еще въ 1837 году, когда Жуковский проѣзжалъ черезъ Уральскъ въ свитѣ цесаревича (потомъ императора Александра II), Даль, бывшій тогда въ Уральскѣ, завелъ съ Жуковскимъ разговоръ объ этомъ предметѣ и между прочимъ представилъ ему слѣдующій образчикъ двоякаго способа выраженія—общепринятаго книжнаго и народнаго. 1) На книжномъ языкѣ: „казакъ осѣдлалъ лошадь какъ можно поспѣшнѣе, взялъ товарища своего, у котораго не было верховой лошади, къ себѣ на крупъ, и слѣдовалъ за непріателемъ, имѣя его всегда въ виду, чтобы при благопріятныхъ обстоятельствахъ на него напасть“, и 2) на народномъ языкѣ: „казакъ сѣдлалъ уторопъ, посадилъ безконнаго товарища на забедры и слѣдилъ непріателя въ нѣзерку, чтобы при сплутности на него ударить“. Жуковский замѣтилъ, что по второму способу можно говорить только съ казаками и притомъ о близкихъ имъ предметахъ.

Отвѣтъ Жуковскаго былъ совершенно справедливъ, а „направленіе“ Дала, какъ оно здѣсь выразилось, свидѣтельствовало о полномъ непониманіи отношеній языка литературнаго и народнаго. Ему было непонятно, что литературный языкъ есть сложное историческое явленіе, создаваемое вовсе не произволомъ писателей, а цѣлыми условіями просвѣщенія народа; что нѣтъ литературы, исторически развивавшейся, языкъ которой оставался бы неподвиженъ, тождественъ съ народнымъ, свободенъ отъ заимствованій. Однимъ изъ главныхъ золь нашего книжнаго языка Даль считалъ употребленіе чужеземныхъ словъ, не-русскихъ оборотовъ, цѣлое построеніе рѣчи по не-русскимъ формамъ мышленія. Но онъ не понималъ, что въ этомъ виноваты вовсе не одни современные писатели; что заимствование чужихъ словъ началось въ русскомъ языкѣ съ далекой, даже до-исторической древности, что затѣмъ на памяти исторіи обильное заимствование въ книжный языкъ чужихъ словъ и построенія рѣчи по не-русскимъ формамъ мышленія совершилось въ эпоху введенія христіанства, съ принятіемъ ино-славянскаго перевода Св. Писанія, церковныхъ и отеческихъ книгъ, которыя на *всѣ* послѣдующіе вѣка русской книжности сообщили ей *не-народный* запасъ словъ и построенія рѣчи. Странно было бы жаловаться на послѣднее, когда въ книгѣ являлась именно цѣлая система понятій, дотогѣ *неизвѣстная* народу, для которой у него не было ни словъ (онѣ тогда и создавались изъ своего и чужого матеріала), ни формъ мышленія. Въ среднемъ пе-

рідѣ, отъ историческихъ бытовыхъ условій, вошло много татарскихъ словъ и начали уже являться слова западныя (тѣ и другія вмѣстѣ съ *вещами* и *понятіями*). Другимъ періодомъ обширнаго заимствованія былъ конецъ семнадцатаго вѣка и Петровское время, и опять иностранная стихія входила потому, что въ русскомъ языкѣ не доставало ни словъ, ни оборотовъ для обозначенія опять новыхъ вещей и понятій. Особыхъ „русскихъ формъ мышленія“, конечно, не существуетъ: *моника* для всѣхъ людей одинакова, какъ для всѣхъ одинакова ариметика; въ языкѣ народа есть свои синтагматическія особенности, бытовые обороты рѣчи, но сложные процессы мысли и сложное ея содержаніе требуютъ болѣе сложной формы выраженія, которая непривычна для непосредственной народной рѣчи, и тогда-то возникаетъ въ книжномъ языкѣ построеніе рѣчи, кажущееся не-народнымъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что въ этихъ заимствованіяхъ чужой формы рѣчи и чужихъ словъ было излишество, крайность, но не должно забывать, что, быть можетъ, это было именно обратно пропорціональнымъ слѣдствіемъ той *недостаточности* прежняго (и народнаго, и книжнаго) языка, съ которой встрѣтились желавшіе назвать новые предметы, выразить новыя понятія исторической жизни; а затѣмъ органическая жизнѣнность книжнаго языка тѣмъ и обнаруживается, что онъ въ самомъ себѣ, естественно и постепенно, находитъ средства исправить крайности, найти для новыхъ понятій болѣе простое и живое выраженіе, болѣе народную форму. Дѣлалось это, дѣйствительно, само собою, не проповѣдями о чистотѣ русскаго языка, не преднамѣренными хлопотами объ истребленіи чужеземной стихіи, а именно тѣмъ, что когда общество осваивается съ новымъ содержаніемъ, то и въ самомъ языкѣ возбуждается новая дѣятельность и черезъ нѣкоторое время чужеземная стихія отступаетъ передъ вновь образовавшимся, народнымъ выраженіемъ. Извѣстно, какъ скоро вышло изъ употребленія множество иностранныхъ словъ, вошедшихъ при Петрѣ; извѣстно, сколько исчезло изъ литературнаго языка другихъ иностранныхъ словъ и натянутыхъ словообразованій временъ Екатерины II; сколько забылось словъ, употреблявшихся въ сороковыхъ годахъ и т. д.—и сколько, напротивъ, проникало въ литературу и входило въ оборотъ, на ихъ мѣсто, словъ или вполне народныхъ, или болѣе правильно образованныхъ. Обыкновенно, заслуга улучшенія литературнаго языка считается дѣломъ великихъ писателей,—и не подлежитъ сомнѣнію заслуга, оказанная здѣсь Ломоносовымъ, Державиннымъ, Карамзиннымъ, Пушкинымъ и проч., но сущность ея состоитъ въ томъ, что талантъ дѣлалъ ихъ чуткими къ тому возстановляющему процессу языка, о которомъ мы говоримъ:

они не занимались изобрѣтеніемъ словъ и намѣреннымъ удаленіемъ чужихъ, но болѣею частью только художественно пользовались существовавшимъ въ оборотѣ матеріаломъ языка, и въ результатъ ихъ дѣла казалось *преобразованиемъ*. На дѣлѣ, преобразование создается самимъ обществомъ и народомъ. Литературный языкъ не есть достоиніе одного цѣха „книжниковъ“; его развитіе достигается распространеніемъ просвѣщенія въ общественной и народной массѣ, и чѣмъ болѣе просвѣщенія въ этой массѣ, тѣмъ болѣе она будетъ воздѣйствовать своими пробужденными природными силами на совершенствованіе языка и самаго содержанія литературы. Наоборотъ, самонадѣянныя притязанія единичныхъ исправителей языка кончаются обыкновенно полной неудачей и ихъ нововведенія дѣлаются предметомъ смѣха. Такая судьба постигла адмирала Шишкова.

Даль, въ сожалѣнію, вступилъ на ту же дорогу. Не довольствуясь изученіемъ языка, онъ хотѣлъ быть его реформаторомъ; онъ писалъ своеобразнымъ языкомъ, изгонялъ иностранныя слова, замѣнялъ ихъ — обыкновенно неудачно — словами народными или даже собственнаго сочиненія, въ мнимо-народномъ складѣ. Это могло быть уместно въ его народныхъ разсказахъ, гдѣ самая тема требовала народнаго способа выраженія, но Даль требовалъ того же въ изложеніи не-беллетристическомъ, и случалось, что о предметахъ литературныхъ, не существующихъ въ народныхъ понятіяхъ, говорилось выраженіями, имѣвшими казацкій тонъ, замѣченный Жуковскимъ. Это притязаніе на реформу языка Даль внесъ, наконецъ, и въ „Толковый Словарь“, гдѣ онъ употребляетъ свое собственное правописаніе и слова собственнаго изобрѣтенія, которыя ставилъ иногда, не совсѣмъ осмотрительно, среди словъ народныхъ. Слова, имѣ изобрѣтенныя или новыя толкованія, которыя онъ давалъ словамъ народнымъ (чтобы они могли служить къ изгнанію словъ иностранныхъ и ихъ замѣнѣ), вообще не весьма удачны, а иногда надо удивляться, какъ ихъ аляповатость не бросалась въ глаза ихъ составителю, такъ много слышавшему русскій языкъ ¹⁾. Вообще, исполненіе Словаря представляло не мало существенныхъ недостатковъ ²⁾. Они напоминаютъ ту эпоху нашей литературы, когда этнографіи, какъ науки, у насъ еще не было, когда люди, заинтересованные ея вопросами, работали часто

¹⁾ Улажемъ, напримѣръ, слова, разобранныя г. Гротомъ: вмѣсто „горизонтъ“ — завѣсь, оворъ, закрой, небоземъ, глазомъ; „адресъ“ — насылка; „кокетка“ — миловидница, красовитка; „атмосфера“ — коловеница, міроколица; „пурить“ — чистаякъ; „эгоизмъ“ — самотство, и т. п.

²⁾ Обстоятельный разборъ Словаря читатель найдетъ въ упомянутой статьѣ г. Грота; моя замѣтка: По поводу „Толковаго Словаря“ Дала, въ „Вѣстникѣ Европы“, 1873, декабрь, стр. 883—903.

как самоучки, по инстинкту и догадѣй, безъ твердыхъ теоретическихъ основаній: это вело ко многимъ ошибкамъ, но это не отрицаетъ заслуги труда, даже возвышаетъ цѣну упорныхъ усилій, положенныхъ, въ особенности Далемъ, на сложное и мудреное дѣло.

Кромѣ лексической стороны господствующаго книжнаго языка, Даль нападалъ и на его грамматику: „Съ грамматикой я искони былъ въ какомъ-то разладѣ,—говоритъ онъ въ „Напутномъ словѣ,— не умѣя примѣнить ея къ нашему языку и чуждаясь ея не столько по разсудку, сколько по какому-то темному чувству, чтобъ она не сбита ст. толку, не ошкелярила, не стѣснила свободы пониманія, не обузила бы взгляда. Недовѣрчивость эта была основана на томъ, что я *всюду* встрѣчалъ въ русской грамматикѣ латинскую и нѣмецкую, а русской не находилъ“. Такое мнѣнiе могло людямъ неопытнымъ казаться результатомъ глубокаго знанія и средствомъ исцѣленія отъ книжной порчи русскаго языка; на дѣлѣ, это было преувеличенiе, которое свидѣтельствовало, что Далю были мало извѣстны или мало имъ опѣнены новыя труды по русскому языку. Въ половинѣ шестидесятихъ годовъ, когда было высказано это мнѣнiе, оно запоздало лѣтъ на двадцать или на тридцать. Оно могло быть до извѣстной степени вѣрно въ то время, когда господствовала грамматика Греча, а Булгаринъ состоялъ блюстителемъ чистоты русскаго языка, — но самъ Даль упоминаетъ въ автобиографіи, что даже Гречъ сочувствовалъ его изученіямъ русской народности. Въ дѣйствительности, эта мнимая латино-нѣмецкая грамматика, въ которой Даль видѣлъ гибель русскаго языка, нисколько не мѣшала Пушкину пользоваться богатствами народной рѣчи—къ удовольствію читателей, не мѣшала Гоголю—къ такому же удовольствію читателей—свободно пользоваться разговорною рѣчью, не смущаясь криками чистильщиковъ книжнаго языка по грамматикѣ Греча; далѣе, не мѣшала Лермонтову, Тургеневу, Некрасову и т. д. Первостепенные писатели и цѣлое движеніе литературы постоянно расширяли и горизонтъ наблюденій народной жизни, и народный элементъ въ литературномъ языкѣ: Даль хотѣлъ спасти литературу отъ воображаемой опасности и совѣтовалъ то, что давно уже дѣлалось, и гораздо лучше и правильнѣе, само собою. Точно также онъ напрасно боялся за русскій языкъ съ другой стороны: въ теоретическомъ изслѣдованіи языка „латино-нѣмецкая“ форма давно не считалась обязательной, и въ послѣдніи десятилѣтія филологи и этнографы именно разработывали запасы народной рѣчи, не только современной, но и древней, въ старыхъ памятникахъ, и вводили ихъ въ опредѣленіе законовъ русскаго языка. Напомнимъ, что первыя работы г. Буслаева въ этомъ направленіи, „Мысли объ

исторіи русскаго языка“, Срезневскаго, появились еще въ концѣ со- роковыхъ годовъ...

Что касается собственныхъ сочиненій Даля, онѣ отличались обыкновенно изобиліемъ пословицъ и прибаутокъ и нѣкоторыми искусственно-народными словами, но вообще, какъ было уже замѣчено однимъ академическимъ критикомъ, были писаны тѣмъ же обычнымъ литературнымъ языкомъ и—по той же грамматикѣ.

Другимъ капитальнымъ трудомъ Даля было его огромное собраніе пословицъ, поговорокъ, прибаутокъ и т. д., также плодъ долговременной работы. Первый образецъ этого труда онъ далъ въ 1847, прочитавши статью о пословицахъ въ собраніи Географическаго Общества ¹⁾. Въ своемъ цѣломъ составѣ онъ былъ изданъ въ 1861—62 годахъ ²⁾.

Сборникъ Даля, заключающій до 30,000 пословицъ, поговорокъ и т. п., есть одно изъ такихъ явленій литературы, какія остаются памятникомъ своего времени и надолго — предметомъ изслѣдованій. Въ немъ собрана масса этихъ мелкихъ произведеній народной мысли и бытового опыта, — и ее нужно было собрать, потому что и старой пословицѣ, безъ сомнѣнія, грозитъ та же опасность забвенія, какая постигаетъ уже старую народную пѣсню. Даль старался собрать то, что „изникаетъ въ глазахъ нашихъ, какъ вешній ледъ“. Онъ справедливо разсуждалъ, что съ этимъ матеріаломъ надо было обращаться осторожно и отложить всякую мысль о выборѣ и браковкѣ: „того, что выкинуто, никто не видитъ, а гдѣ мѣрило на эту браковку и какъ поручиться, что не выкинешь того, что могло бы остаться? Изъ просторнаго убавить можно; набрать изъ сборника цвѣтнیکъ, по своему вкусу, не мудрено; а что пропустишь, то воротить труднѣе. Окоротишь—не воротить. Притомъ (столь же справедливо замѣчалъ онъ) у меня въ виду былъ языкъ; одинъ оборотъ рѣчи, одно слово, съ перваго взгляда не всякому замѣтное, иногда заставляли меня сохранить самую вздорную поговорку“.

Въ предисловіи онъ даетъ для образца нѣсколько объясненій пословицъ, и краткія объясненія, часто весьма любопытныя, разбросаны во всемъ сборникѣ.

Трудъ Даля имѣлъ свою исторію, которая весьма характерно ри-

¹⁾ Эта статья „О русскихъ пословицахъ“ напечатана была въ „Современникѣ“ 1847, кн. 6, отд. IV, стр. 148 — 156 (нѣсколько общихъ замѣчаній и для образца пословицы изъ семейнаго бита).

²⁾ Пословицы русскаго народа. Сборникъ пословицъ, поговорокъ, реченій, при- словій, частоговорокъ, прибаутокъ, загадокъ, повѣрій и проч. В. Даля. М. 1862. Отдѣльный оттискъ изъ „Чтеній“ московскаго Общества исторіи и древностей, 1861 и 1862 годовъ. Новое изданіе, Спб. 1879, два тома.

суеть положеніе нашихъ народныхъ изученій и роль официальной учености въ ту пору. „Сборнику моему,—разсказываетъ Даль,—суждено было пройти много мытарствъ задолго до печати (въ 1853 году) и, притомъ, безъ малѣйшаго искательства съ моей стороны, а по просвѣщенному участию и настоянію особы, на которую не смѣю и намекнуть, не зная, будетъ ли то угодно. Но люди, и притомъ люди ученые по званію, признавъ изданіе сборника *вреднымъ*, даже *опаснымъ*, сочли долгомъ выставить и другіе недостатки его, между прочимъ, такими словами: „замѣчая и подслушивая говоры (?) народные, г. Даль видно нескоро ихъ записывалъ, а вносилъ послѣ, какъ могъ припомнить, отъ того у него рѣдкая (?) пословица такъ записана, какъ она говорится въ народѣ“. (Приведено этому три примѣра, которые Даль объясняетъ какъ совершенно правильные или какъ варианты).

„Какъ бы то ни было, но независимо отъ такой невѣрности въ пословицахъ моихъ, доказанной тремя примѣрами, нашли, что сборникъ этотъ и небезопасенъ, посягая на развращеніе нравовъ. Для ббльшей вразумительности этой истины и для охраненія нравовъ отъ угрожающаго имъ развращенія придумана и написана была, въ отчетѣ, новая русская пословица, не совсѣмъ складная, но за то ясная по цѣли: „*это куль муки и шепотъ мышьяку*“, такъ сказано было въ приговорѣ о сборникѣ этомъ, и къ сему еще прибавлено: „Домогаясь напечатать памятники народныхъ глупостей, г. Даль домогается дать имъ печатный авторитетъ“...

„Упомянуть ли еще, послѣ этого, что рука объ руку съ сочинителями пословицы о мышьякѣ, шло и заключеніе цѣнителя присяжнаго ¹⁾, къ коему сборникъ мой попалъ также безъ моего участія, и что тамъ находили непозволительнымъ сближеніе сподрядъ пословицъ или поговорокъ: „У него руки долги (власти много)“, и „У него руки длинны (онъ воръ)“? И тутъ, какъ тамъ, требовали *поправокъ* и *измѣненій* въ пословицахъ, да сверхъ того, ислюченій, которыя „могутъ составить болѣе четверти рукописи“...?

„Я отвѣтилъ въ то время: „Не знаю, въ какой мѣрѣ сборникъ мой могъ бы быть вреденъ или опасенъ для другихъ, но убѣждаюсь, что онъ могъ бы сдѣлаться не безопаснымъ для меня. Если же, впрочемъ, онъ могъ побудить столь почтенное лицо, члена высшаго ученаго братства, къ сочиненію уголовной пословицы, то очевидно развращаетъ нравы, остается положить его на костеръ и сжечь; я же прошу позабыть, что сборникъ былъ представленъ, тѣмъ болѣе, что это сдѣлано не мною“.

¹⁾ Т.-е., вѣроятно, цензора?

„Ради правды, я обязанъ сказать, что мнѣніе противоположное всему этому было высказано въ то время просвѣщеннымъ сановникомъ, завѣдывавшимъ Публичною бібліотекою“¹⁾.

Одинъ изъ біографовъ дополняетъ эти неясныя слова Дала²⁾. Дѣло въ томъ, что одна изъ высочайшихъ особъ пожелала видѣть сборникъ пословицъ и, получивъ его въ рукописи, признала полезнымъ его напечатать, но предварительно препроводила его въ Академію наукъ (въ которой Даль былъ членомъ-корреспондентомъ). Въ Академію поручили разборъ сборника академику, протоіерею Кочетову: онъ-то и нашель *щепотъ мышьяку*.

Этотъ приговоръ, высказанный въ высшемъ ученомъ учрежденіи имперіи, достаточно указываетъ положеніе русской науки. Правда, протоіерей Кочетовъ попалъ въ Академію наукъ изъ бывшей Россійской академіи (послѣ ея закрытія, когда учреждено на ея мѣсто отдѣленіе русскаго языка и словесности въ Ак. наукъ), гдѣ отъ членовъ особой учености не требовалось и важно было только согласіе съ идеями и вкусами адмирала Шишкова; но замѣчательно, что отзывъ Кочетова получилъ силу,—значить, не былъ оспоренъ и былъ принятъ также другими членами? Отзывъ цензора могъ не быть его личною придирчивостію и невѣжествомъ; извѣстно, что тѣ годы (готовилась Крымская война) были временемъ особенныхъ свирѣпостей цензуры,—цензоръ боялся проступить недосмотромъ передъ комитетомъ и его предсѣдателемъ, комитетъ въ свою очередь — проступить передъ еще высшей инстанціей, „негласнымъ комитетомъ“, строго слѣдившимъ за тѣмъ, что было уже дозволено цензурой обыкновенной. Даль отмѣчаетъ благопріятный отзывъ объ его трудѣ со стороны просвѣщеннаго сановника, завѣдывавшаго публичной бібліотекою; но самъ этотъ сановникъ былъ членомъ негласнаго комитета³⁾...

Сборникомъ пословицъ не кончились богатые вклады Дала въ русскую этнографію. У него былъ сборникъ пѣсенъ, — впрочемъ небольшой, по его словамъ, — который онъ передалъ И. В. Кирѣевскому; собраніе сказокъ („стоць до шести (?), въ томъ числѣ и много всякаго вздору“) онъ передалъ Аванасьеву⁴⁾, который воспользовался имъ при своемъ изданіи сказокъ. Собраніе лубочныхъ картинокъ поступило въ Публичную бібліотеку и послужило между прочимъ для

¹⁾ Пословицы русск. народа, предисловіе, стр. XVII—XXI.

²⁾ Р. Вѣстн. 1878, № 3, стр. 321.

³⁾ Объ его дѣятельности, сверхъ официальныхъ біографій, см. въ дневникѣ А. В. Никитенка, „Р. Старина“, 1890, февраль.

⁴⁾ Предисл., стр. XXXIX.

изданія Д. А. Ровинскаго ¹⁾. Упомянемъ, наконецъ, еще объ одномъ разрядѣ трудовъ Дала—собираніи народныхъ повѣрій и суевѣрій ²⁾. Въ предисловіи онъ замѣчаетъ, что не беретъ на себя полное изслѣдованіе предмета, а даетъ только запасъ, какой случился; но рассказывая повѣрья, онъ даетъ имъ и свои объясненія. Повѣрья, по его мнѣнію, идутъ изъ разныхъ источниковъ: однѣ являются остаткомъ язычества; другія „*придуманы* случайно“, чтобы „окольнымъ путемъ“ дать полезное наставленіе; третьи основаны на опытѣ и наблюденіи и объяснимы по законамъ природы, хотя нѣкоторыя „представляются до времени странными и темными“; четвертыя въ сущности основаны на явленіяхъ естественныхъ, но обратились въ нелѣпость по бессмысленному примѣненію; пятая составляютъ игру воображенія, народную поэзію, которая, будучи принята за наличную монету, обращается въ суевѣріе; шестыя, немногія, не имѣютъ никакого смысла или по крайней мѣрѣ до сихъ поръ не могли быть объяснены.

Изученіе нашей этнографической старины, развившееся въ послѣднее время, направлялось преимущественно на отдаленныя эпохи, на предполагаемые мифическіе и древне-литературные источники народныхъ сказаній, на сравнительное объясненіе ихъ. Между тѣмъ остается еще не опредѣленъ, хотя съ нѣкоторой полнотой, цѣлый рядъ практически-бытовыхъ повѣрій и суевѣрій, существующихъ въ народѣ до сего дня и занимающихъ тѣмъ большее мѣсто въ его понятіяхъ, чѣмъ меньше населеніе затронуто школой и городскими вліяніями. На эту область бытовыхъ повѣрій Даль и обратилъ вниманіе: онъ не вдается ни въ мифологическія толкованія, ни въ сравненія, какія дѣлалъ, напр., Снегиревъ,—онъ останавливается на прямомъ смыслѣ повѣрья и старается найти ему ближайшее, такъ сказать, рационалистическое толкованіе. Исслѣдователи народныхъ вѣрованій съ трудомъ допустятъ, чтобы повѣрья „придумывались случайно“, какъ полагаетъ Даль, съ педагогическими цѣлями; но многія толкованія Дала очень остроумны, и его приѣмъ заслуживаетъ вниманія этнографовъ. Что касается тѣхъ повѣрій, которыя „представляются до времени странными и темными“, надо припомнить, что самъ Даль не былъ свободенъ отъ суевѣрія и въ этомъ случаѣ, вѣроятно, думалъ, что нѣкоторыя суевѣрныя примѣты могутъ имѣть

¹⁾ Русскія народныя картинки, т. I, стр. IX—X.

²⁾ О повѣрьяхъ, суевѣрїяхъ и предрасудкахъ русскаго народа. Изд. 2-е, безъ переѣмъ. Спб. 1880. Въ первый разъ, этотъ трудъ явился небольшими статьями въ „Иллюстраціи“ 1845—46 года.—Упомянемъ здѣсь еще статью „о народныхъ вѣрческихъ средствахъ“, въ Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ, 1843, Ч. 3.

свое таинственное основаніе. Въ послѣдніе годы жизни онъ безъ мѣры предался спиритизму...

Далѣе мы остановимся на томъ, какъ отразились этнографическія изученія у Даля, а также у нѣкоторыхъ его современниковъ, въ ихъ взглядахъ на общественное положеніе народной массы, на реальную народную жизнь.

ГЛАВА X.

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАРОДОЛЮБИЕ. — Начало малорусской этнографіи. — Внѣшнее положеніе народныхъ изученій.

„Маякъ“.—Савельевъ-Ростиславичъ и Морошкинъ.—Изученія малорусскія: кн. Цергелевъ, Максимовичъ, Срезневскій; отношеніе Бѣлинскаго къ малорусской литературѣ.—Внѣшнее положеніе этнографіи: недостатокъ правильной школы съ одной стороны, и съ другой, стѣсненія цензурныя: взгляды гр. Уварова; положеніе Сахарова, Кирѣевскаго, Бодянскаго, и проч.

„Маякъ“, очень извѣстный въ свое время, но мало кому памятный теперь, называлъ себя органомъ „современнаго просвѣщенія въ духѣ русской народности“. Исторически онъ былъ продолженіемъ того особаго склада понятій, который уже съ давняго времени сказывался въ литературѣ нападами на „чужеземное“ образованіе и обычаи, сожалѣніями о добрыхъ старыхъ временахъ, когда такъ хорошо жили люди „по старинѣ“, притязаніями на собственныя чисто-русскія свойства. Подобныя нападки на чужеземное бывали иногда умѣстны, когда направлялись на пустоту свѣтскаго общества, о которой—гораздо сильнѣе—говорила литература другого, не-арханческаго направленія; но даже и тутъ, эти нападки были всего чаще поверхностны, адресовались вовсе не туда, куда слѣдовало, и не имѣли дѣйствія: образованіе, которое считали „чужеземнымъ“, распространялось и бросало все болѣе глубокіе корни; защищаемая „чисто-русская“ старина все больше забывалась и исчезала. Этого рода споры старины противъ новизны можно прослѣдить издавна. Историки литературы и образованности нашей хотѣли видѣть въ нихъ борьбу двухъ направленій, прогрессивнаго и консервативнаго, или же западнаго и національнаго, одного—идущаго отъ Петровской реформы, другого—отъ общества до-Петровскаго. Такъ и бывало иногда въ прошломъ столѣтіи, но въ этомъ спорѣ была другая сторона, не

имѣвшая такого историческаго объясненія, а именно, онъ часто бывалъ только старческимъ брюзжаньемъ противъ новыхъ поколѣній, непониманіемъ новыхъ литературныхъ требованій, научныхъ и общественныхъ явленій, исторически вполне законныхъ и необходимыхъ. Въ Петровскія времена втихомолку жалѣли о московской старинѣ; въ половинѣ прошлаго вѣка вспоминали Петровскія времена; Шипковъ брюзжалъ противъ Карамзина; Карамзинъ—подъ старость—противъ „либералистовъ“; современники Пушкина сторонились отъ новой литературной школы; Гоголь подѣ ихъ вліяніемъ отрекался отъ самого себя, и такъ далѣе. Мелкіе отголоски этой вражды къ новизнѣ, не переводившіеся въ литературѣ, становились прямымъ обскурантизмомъ и кончались доносомъ. Къ несчастію, въ основаніи этого спора лежало и болѣе глубокое противорѣчіе, и для большинства трудно разрѣшимое недоумѣніе, которое въ сущности тянется и донныѣ. Дѣло въ томъ, что новая образованность, начавшая проникать еще до реформы и особенно послѣ нея, никогда не получала въ нашей официальной и общественной жизни своего должнаго мѣста и полнаго права: научное изслѣдованіе, литература никогда не имѣли свободы, всегда находились подѣ опекой и, къ сожалѣнію, опека слишкомъ часто бывала въ рукахъ людей невѣжественныхъ. Новая образованность не могла не вступать въ то или другое противорѣчіе съ ходячими понятіями; самая сущность ея заключалась въ болѣе глубокомъ пониманіи природы, нравственной и общественной жизни человека и пр., пониманіи, которое было недоступно для людей неучившихся: обыкновеннѣйшія истины науки, какъ напр., Коперникова система законы физики, историческое знаніе, *не могли* не противорѣчить понятіямъ людей необразованныхъ, и въ концѣ концовъ, невѣжественные судьи рѣшали, что „чуждое“ образованіе противорѣчитъ нашимъ „чисто-русскимъ“ началамъ, нашимъ „народнымъ“ преданіямъ!

Гдѣ наука имѣетъ свое право гражданства, гдѣ свобода ея признана правительственной властью и учрежденіями, гдѣ приняты заботы о народной школѣ, тамъ и въ общественныхъ массахъ распространяется стремленіе къ наукѣ, уваженіе къ ней и — невозможно такое грубое противопоставленіе знанія и предполагаемыхъ неизмѣнныхъ свойствъ національности. Между тѣмъ у насъ это противопоставленіе дѣлается и по настоящую минуту, и защитники „народныхъ началъ“ не подозреваютъ, что подобной защитой наносятъ народности величайшее оскорбленіе, приписывая ей низменное скудоуміе, навязывая ей вражду къ знанію, наконецъ, осуждая ее на неизбѣжную при невѣжествѣ подчиненность націямъ образованнымъ во всѣхъ культурныхъ дѣлахъ и отношеніяхъ (промышленности, тор-

говлѣ, прикладномъ искусствѣ и т. д.) и на упадокъ. Въ самомъ дѣлѣ, упомянутое право науки никогда небыло признано у насъ ни учрежденіями, ни общественными нравами; наука допускалась только въ узкихъ утилитарныхъ цѣляхъ и никогда не знала свободы изслѣдованія; и такъ какъ въ то же время, и согласно съ этимъ, строжайшій контроль лежалъ и на выраженіяхъ общественнаго мнѣнія, то большинство никогда не могло привыкнуть къ сколько-нибудь свободной, необычной мысли въ наукѣ и литературѣ. „Печатный листъ“ казался „быть святымъ“, потому что, выходя въ свѣтъ не иначе какъ съ разрѣшенія начальства (въ прежнее время прямо полицейскаго начальства—управы благочинія), становился чуть не официальнымъ заявленіемъ, и если въ такомъ святомъ листѣ оказывалось все-таки нѣчто новое, критическая мысль, идеальный порывъ, незнакомые въ обстановкѣ обычной субординаціи, хотя и пропущенные болѣе благо-разумнымъ цензоромъ, то читатели полуобразованные, безконечное племя Фамусовыхъ и Скалозубовъ, вопіяли о вредѣ наукъ, объ опасности для общества. По всей исторіи нашего скуднаго просвѣщенія проходитъ неизмѣнная полоса обскурантизма, всегда присутствовавшего въ скрытомъ состояніи и нерѣдко прорывавшагося цѣлыми бурями. Наконецъ, обскурантизмъ сталъ находить въ литературѣ своихъ теоретиковъ, иногда людей лично почтенныхъ, но невѣждъ, не имѣвшихъ яснаго понятія о наукѣ, или же хитрыхъ и злобныхъ лице-мѣровъ. Въ сороковыхъ годахъ, споръ о западномъ просвѣщеніи и народности перешелъ на почву философско-историческихъ принциповъ, въ борьбѣ славянофильства и западничества, но и здѣсь, въ новѣйшихъ явленіяхъ этой борьбы, славянофильство, взявшее на себя защиту народности, не обошлось, въ концѣ концовъ, безъ обскурантизма.

„Маякъ“, издававшійся въ 1840—1845 годахъ С. Бурачкомъ и П. Корсаковымъ, ставилъ своей цѣлью именно защиту русской народности отъ зловредныхъ вліяній западнаго просвѣщенія, или передѣлку и исправленіе послѣдняго „въ духѣ русской народности“. Передъ тѣмъ основы русской жизни опредѣлены были въ программѣ министерства народнаго просвѣщенія и, прилагая эту мѣрку къ произведеніямъ тогдашней поэтической литературы, тогдашнихъ художественно-теоретическихъ понятій и общественныхъ взглядовъ (насколько они могли высказываться при строжайшей цензурѣ въ сужденіяхъ литературныхъ), „Маякъ“ нашелъ въ нихъ страшное противорѣчіе съ тѣмъ, что требовалось „чисто-русской“ народностью. Вся лучшая часть литературы, которая заслуживала этого имени и въ которой только-что дѣйствовалъ Пушкинъ, „измѣнила народности“, и „Маякъ“ не усумнился возстать противъ самого Пушкина:

это могущественный талантъ, но вся, почти безъ исключенія, поэзія его грѣховна и зловредна ¹⁾. Тоже повторилось съ Лермонтовымъ. Когда вышло собраніе его стихотвореній, самъ „Маякъ“ увлекся прелестью многихъ изъ нихъ и очень ихъ одобрялъ, хотя осуждалъ направленіе; но потомъ отвергъ его цѣликомъ ²⁾. Гораздо выше Пушкина и, конечно, Лермонтова—Жуковский.

Такимъ образомъ, „Маякъ“ высказывалъ свои мнѣнія въ упоръ и не могъ на первыхъ же порахъ не столкнуться съ восторженными почитателями Пушкина и Лермонтова. Онъ храбро держался своихъ мнѣній и иногда дѣлалъ вылазки противъ враждебнаго лагеря, т. е. „Отечественныхъ Записокъ“, гдѣ выступалъ тогда Бѣлинскій съ своими московскими философами-пріятелями. Иной разъ нападенія „Маяка“ не были лишены ѣдкости, когда онъ ловилъ противниковъ на философскихъ преувеличеніяхъ (которые потомъ они сами замѣтили), странномъ языкѣ и т. п.; но его собственная философія не шла дальше тѣхъ аргументовъ, какіе употреблялись уже Магницкимъ и архимандритомъ Фотіемъ и повторялись иногда въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ; въ „Отечеств. Запискахъ“, по браннымъ отзывамъ „Маяка“, господствовала „ложная философія, бродящая по стіхіямъ міра“, „недугъ словопрений жейменнаго разума“ и т. п.

Можно себѣ представить, что въ литературѣ, въ которой со смерти Пушкина и съ появленія посмертнаго изданія его сочиненій все возросло восторженное поклоненіе предъ великимъ поэтомъ, должны были являться вопіющей недѣльностью эти сужденія о Пушкинѣ съ точки зрѣнія архимандрита Фотія и цензора Красовскаго. „Маякъ“ вскорѣ сдѣлался притчею; на него не обращали вниманія и тогда, когда ему случалось сказать справедливую мысль.

„Маякъ“ никакъ не понималъ, что литературныя явленія, на ко-

¹⁾ Для образчика приведемъ одинъ эпизодъ изъ этихъ обличеній Пушкина. Въ „Маякѣ“ 1840 (№ 10, стр. 58 и слѣд.) помѣщено „Видѣніе въ царствѣ духовъ“, гдѣ между прочимъ является просвѣтлѣвшій духъ Пушкина, который сурово судитъ Пушкина земного и предостерегаетъ отъ преувеличеннаго поклоненія его произведеніямъ, заключающимъ въ себѣ столько превратнаго. „Не вѣрьте тѣмъ, которые представляютъ вамъ Пушкина великимъ, образцовымъ писателемъ... Если въ Россіи развелось болѣе Пушкиныхъ, она бы скоро сгибла и пропала“. Впослѣдствіи, въ 1843 г., „Маякъ“ помѣстилъ цѣлый „Обзоръ стихотвореній Пушкина“: шесть статей, изъ которыхъ пять—А. Мартынова, и одна (четвертая) Вурачка.

²⁾ „Отличительныя черты стихотвореній Лермонтова: слогъ книжный, *не-русскій*, духъ *не-русскій*, направленіе *не-русское*; выборъ предметовъ и героевъ колоссально дикихъ, страстныхъ, всесокрушающихъ, и все это не столько по личному направленію, сколько изъ суетнаго желанія быть оригинальнымъ; а того и не видѣлъ, что эта оригинальность—дѣтское подражаніе Байрону и его поэтическому потомству, остановившемуся теперь на Евгеніи Сю и Жоржъ Зандѣ съ товарищами“. 1844, т. XVIII, крѣт., стр. 58.

торны онъ нападалъ, были результатомъ цѣлой новѣйшей исторіи нашей, отвѣчали росту образованія, что отдѣльныя ошибки, если онѣ случались, ни мало не опровергають цѣлаго движенія. До всего этого ему не было дѣла: онъ бралъ въ руки катехизисъ и обличалъ. Онъ зналъ одно, что въ извращеніи русскаго просвѣщенія виновенъ Западъ, и строго осуждалъ его ¹⁾. Исходный пунктъ былъ простъ. „Духъ времени“ бываетъ различный, „истинный—отъ Бога, ложный—отъ заблудшихъ людей, водимыхъ отцемъ лжи“; усовершенствованіе въ человѣчествѣ, о которомъ говорятъ, состоитъ въ одномъ: „церковь Божія воинствуетъ съ язычествомъ“; Западъ совращенъ діаволомъ и погрязъ въ язычествѣ; „европейскія идеи противны евангелію“; Западъ идетъ съ ними къ погибели, и только когда избавится отъ нихъ—„тогда конецъ *Революціямъ, Волюнтаризму, Реформатству и Папству* ²⁾), этимъ четыремъ колѣнамъ одного корня—римскаго язычества, и только тогда на Западѣ, на пепелищѣ царства языческаго, царства міра сего, возсіяетъ Востокъ—царство Божіе, чудо божія всемогущества и милосердія“ ³⁾).

Статьи о русской народности были такого же рода — пропитаны враждой къ иноземному, и въ русской литературѣ сочувствуютъ только „Москвитянину“, съ удовольствіемъ встрѣчаютъ статьи Даля о русскомъ языкѣ, явившіяся тогда въ этомъ журналѣ, и патетически говорятъ о девизѣ министерства просвѣщенія, на первый разъ воспользовавшись для этого книжкой извѣстнаго тогда писателя того же толка, И. Кулжинскаго ⁴⁾), и развивая потомъ эту тему собственными трудами.

¹⁾ Напримѣръ, въ разборѣ книги: „Правда вселенской церкви о римской и прочихъ патриаршихъ каедряхъ“, Спб. 1841 (1841, кн. XXIII—XXIV); въ статьяхъ: „Наблюденіе событій Востока и Запада Европы новой, со стороны высшихъ истинъ человечества“ (во введеніи дается „Ключъ къ открытію всеобщихъ законовъ бытія вселенной“ и т. п.), О. Шульговскаго, 1845, т. XXII—XXIII; „Критическій обзоръ. Очная ставка и обличеніе религіозныхъ заблужденій римскаго Запада“, Бурачка, 1845, т. XXIII—XXIV.

²⁾ Курсивы и заглавныя буквы—въ подлинникѣ.

³⁾ Изъ названной сейчасъ статьи Бурачка.

⁴⁾ „Эмерить, литературныя очерки“. М. 1836. Авторъ его былъ восторженный поклонникъ этого девиза, и, выписавъ извѣстное мѣсто въ отчетѣ министра, гдѣ высказано желаніе правительства, „чтобъ народное образованіе совершалось въ соединенномъ духѣ православія, самодержавія и народности“, восклицаетъ: „Въ этихъ немногихъ словахъ Россія въ первый разъ (?) сказала громко, величественно, достойнымъ себя образомъ! о, эти слова запишетъ исторія; отзвучіе этихъ словъ прогремѣтъ въ отдаленныхъ вѣкахъ“ и т. д. „Маякъ“, 1841, ч. ХVІІ—ХVІІІ, ст. „Русская народность“.—См. также другія статьи: „Русское народное слово въ древнихъ духовныхъ писателяхъ“, 1842, т. III, кн. 6 (новый счетъ томовъ съ 1842 г.); „Повѣсть о русской народности“, И. Маркова, 1843, т. VIII, кн. 16, и др.

Журналъ издавался вообще странно. Выборъ статей въ журналѣ „современнаго просвѣщенія въ духѣ русской народности“, вѣроятно, удивлялъ читателя: лекціи изъ высшей математики, Остроградскаго, статьи по аналитической механикѣ, кораблестроенію (издатель былъ морякъ); статьи по психологіи, богословію (писанныя тѣмъ же специалистомъ кораблестроенія); романтическіе стихи; проповѣди архіереевъ; повѣсти, русскія и иностранныя. Видимо, журналъ самъ почувствовалъ, что народности въ немъ мало, и съ третьяго года прибѣгъ къ рѣшительному средству: онъ заявилъ, что будетъ помѣщать „статьи, писанныя нашими православными мужичками, ихъ русскимъ роднымъ умомъ-разумомъ и деревенскимъ складомъ“, т.-е. тѣмъ приторнымъ и фальшивымъ складомъ, который былъ выдуманъ Сахаровымъ. Такой писатель проявился въ лицѣ Антипы Снѣжкова, „огородника съ Выборгской стороны“, Аванасія Пуги, „малычаго сторожа“ и т. п. Ихъ писанія должны были представлять подлинную народность и были только скучнымъ пустословіемъ. Въ „Маякѣ“ начали писать „малосмысленные областаны“, какъ они сами себя называли ¹⁾,—конечно, полагая въ малосмысленности признакъ „народнаго ума-разума“. Вѣроятно, въ цѣляхъ той же народности, въ противность вольнодумству журналъ съ самаго начала обнаружилъ наклонность къ сверхъестественному, къ чудодѣйству, суевѣрію, которыя предполагались необходимой принадлежностью православнаго мужичка: появились статьи о духахъ, привидѣніяхъ, магіи; цѣлый рядъ рассказовъ: „Проявленіе невидимаго міра“ (1845, т. XXII); Боричевскій поставлялъ преданья и повѣрья славянскихъ племенъ—о чертяхъ, вѣдьмахъ и т. п. ²⁾. Кончилось тѣмъ, что въ „Маякѣ“ стали присылать, а онъ печаталъ, всякія фантастическія бредни, выдаваемые за сверхъестественные факты,—надъ „Маякомъ“ стали смѣяться, что онъ распространяетъ вѣру въ лѣшихъ, вѣдьмъ и домовыхъ...

Рядомъ съ недѣлостями разнаго рода, наполнявшими „Маякѣ“, опять проблескомъ правды было сочувственное отношеніе къ малорусской литературѣ и ея писателямъ. Уже съ первыхъ книжекъ въ „Маякѣ“ появились повѣсти Основьяненка (журналъ радовался литературнымъ успѣхамъ его, какъ „земляка“), стихи Артемовскаго-Гулава (даже на малорусскомъ языкѣ), повѣсть и поэма ³⁾ Шевченка

¹⁾ „Маякѣ“, 1844, т. XV, іюнь, смѣсь, стр. 20.

²⁾ Они вошли потомъ въ отдѣльныхъ книжкахъ. — Были, между прочимъ, въ „Маякѣ“ анекдоты о стучащихъ духахъ, которые могли бы доставить большое удовольствіе невѣжливимъ спиритамъ.

³⁾ „Весталанный“; посвящено: „На память 9-го ноября 1843 года, княжѣ Варварѣ Николаевнѣ Репниной“. 1844, т. XIV, стр. 17—30.

(на русскомъ языкѣ); статьи по малорусской этнографіи—Срезневскаго, Костомарова, Сементовскаго ¹⁾; критическіе разборы малорусскихъ книгъ и защита малорусской литературы противъ критиковъ, ей не сочувствовавшихъ, напр., въ „Отечественныхъ Запискахъ“ ²⁾, причѣмъ защитниками сдѣланы были весьма вѣрные замѣчанія о значеніи и правѣ малорусской литературы, необходимой и для развитія самой русской словесности. Это сочувствіе объясняется, кажется, прежде всего тѣмъ, что у издателя „Маяка“ сохранялся мѣстный патріотизмъ, далѣе тѣмъ, что въ малорусскихъ писателяхъ онъ думалъ видѣть сторонниковъ своихъ идей, въ чемъ нѣкоторые изъ нихъ и не противорѣчили ему; это послѣднее, въ свою очередь, усиливало предубѣжденіе противниковъ малорусской литературы...

По русской исторіи, „въ духѣ народности“ дѣйствовали въ журналѣ особенно два писателя: Савельевъ-Ростиславичъ и московскій профессоръ Морошкинъ, составлявшіе школу Венелина. Оба внесли въ „Маякъ“ свою долю странностей.

Объ этой школѣ въ ходѣ нашей исторіографіи упоминаютъ обыкновенно только „для счета“ ³⁾. Мы коснемся ея только по ея отношенію къ народности. Венелинъ (1802—1839), родомъ карпатскій русинъ, дѣйствовавшій въ русской литературѣ, имѣетъ большое историческое имя въ развитіи славянскаго національнаго возрожденія, а частію и въ нашей исторіографіи. Это была пылкая, даровитая натура; провикнутый славянскимъ патріотизмомъ, неудовлетворенный литературнымъ положеніемъ славянскаго вопроса, онъ стремился защитить права славянства и въ жизни, и въ исторической наукѣ. Ему больше всего обязаны болгары пробужденіемъ національнаго сознанія; въ литературѣ онъ бросилъ не мало новыхъ смѣлыхъ мыслей, которыя часто вовсе не были оправданы трудами его или его послѣдователей, но возбуждали къ изслѣдованію, заставляли смотрѣть

¹⁾ Напр. Срезневскаго, Замѣчанія о праздникахъ у малороссіянъ; Костомарова: О циклѣ весеннихъ пѣсенъ въ народной южно-русской поэзіи. „Маякъ“ 1843, т. XI.

²⁾ Такъ были разборы „Молодника“, сборника „Свѣтъ“; восхвалительный разборъ „Гайдамаковъ“ Шевченка (Н. Тихорскаго, „Маякъ“, 1842, т. IV, кн. 8, стр. 82—106), такой же разборъ трагедіи „Переяславская ночь“ Гереміи Галки, т.-е. Костомарова,—писанный К. Сементовскимъ (1843, т. XII, крит., стр. 42—73), противъ прежняго, менѣе благоприятнаго отзыва Тихорскаго; сочувственный разборъ,—собственно изложеніе,—книги Костомарова „Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи“, 1844, К. Калайденскаго (1844, т. XV). Защита малорусской литературы въ ст. Антыпенко и К. Калайденскаго, 1842, книга 6-я и 12-я.

³⁾ Ср. „Моск. Обзорніе“, 1859, кн. I, стр. 56.

шире и многостороннѣе; его критическія требованія иногда ¹⁾ вѣрно указывали, чего недоставало въ трудахъ нашихъ историковъ. Первые сочиненія Венелина явились гораздо раньше знаменитыхъ „Древностей“ Шафарика, и независимо отъ него Венелинъ расширялъ славянскую старину до такихъ вѣковъ и событій, гдѣ ея или вовсе не искали, или не имѣли о ней увѣренности. Въ русской исторіи онъ выступилъ самымъ рѣзкимъ противникомъ норманской теоріи, не только потому, что считалъ ее фактически ошибочной, но и потому, что теорія казалась ему оскорбительной для славянства и русскаго народа.

Послѣдователи Венелина хотѣли развивать его идеи, и какъ часто бываетъ съ послѣдователями оригинальныхъ теорій, доводили ихъ до нелѣпости; они не мало способствовали тому, что труды Венелина получили репутацію фантастическихъ и научно-непригодныхъ.

Ник. Васил. Савельевъ-Ростиславичъ учился въ московскомъ университетѣ и, едва кончивши курсъ, въ 1836, вступилъ на литературное поприще съ историческими трудами, въ которыхъ обнаружилъ замѣчательную начитанность, и въ направленіи съ тѣмъ оттѣнкомъ, который съ первыхъ лѣтъ „Маяка“ сдѣлалъ его другомъ этого журнала.

О своей университетской школѣ Савельевъ рассказываетъ, что всего больше онъ былъ обязанъ Терновскому (извѣстному тогда профессору богословія), Морошкину (читавшему римское право) и М. Г. Павлову (философу-физику). „Ихъ удивительная логичность системы, строгая послѣдовательность выводовъ и многостороннее изслѣдованіе разсматриваемыхъ вопросовъ очень сильно дѣйствовали на умы слушателей... Особенно важно было то, что въ московскомъ университетѣ господствовалъ тогда духъ свободнаго изслѣдованія, не стѣняемаго никакимъ авторитетомъ (?) и склонявшася только передъ вѣчными истинами Откровенія и непреложными законами Разума“ ²⁾. Съ перваго же года изданія „Маяка“, въ немъ были съ сочувствіемъ приняты труды Савельева: его общенсторическая точка зрѣнія, повидимому, вполне сходилась со взглядами журнала ³⁾; сходно было

¹⁾ См., напр., въ его „Мысляхъ объ исторіи вообще и русской въ частности“ (въ „Чтеніяхъ“ Моск. Общ., 1817, № 8). Ср. Соч. Кавелина, т. II, стр. 407.

²⁾ Эти біографическія подробности и перечисленіе трудовъ Савельева-Ростиславича до 1845 г. читатель найдетъ въ его „Славянскомъ Сборникѣ“ (СПб. 1845), стр. ССVIII—ССXXV; то же, съ нѣкоторыми переиначеніями, издано тѣмъ же наборомъ въ отдѣльной брошюрѣ, и въ третьемъ лицѣ: „Объ историческихъ трудахъ (1837—1845) Ник. Вас. Савельева-Ростиславича“, s. l. et a., 21 стр.

³⁾ Въ „Маякѣ“ 1840, ч. IX, помѣщены были „Очерки всеобщей исторіи“, обвинявшіе „исторію 7348 лѣтъ жизни человѣчества“, и редакція высказала свое удо-

и „народное“ направленіе, потому что Савельевъ также стремился защищать русскую народность отъ зловредной иноземщины и спеціально отъ нѣмцевъ.

Не будемъ останавливаться на перечетѣ его многочисленныхъ статей по славянской древности и русской исторіи, статей, разсѣянныхъ по журналамъ съ конца тридцатыхъ годовъ („Московскій Наблюдатель“, „Литер. Прибавленія къ Р. Инвалиду“, „Отеч. Записки“, „Маякъ“, „Сынъ Отечества“, „Журналъ Мин. Нар. Просвѣщенія“ и др.) и частію собранныхъ потомъ въ „Славянскомъ сборникѣ“. Довольно сказать, что относительно древности, которою онъ больше всего былъ заинтересованъ, онъ заявилъ себя ревностнымъ приверженцемъ Венелина, развивалъ его мысль о старобытности славянъ въ Европѣ и отвергалъ не менѣе энергически норманскую теорію о началѣ русскаго государства. Савельевъ не сомнѣвался, что Геродотова Скиѳія прямо говоритъ о славянахъ и русскихъ; утверждалъ, что такъ-называемое „переселеніе народовъ“ совершалось только въ головахъ новѣйшихъ ученыхъ историковъ, что въ дѣйствительности въ Европѣ V-го вѣка жили тѣ же самыя племена какъ теперь, что гунны среднихъ вѣковъ были просто русской народъ; что Русь, задолго до Рюрика, была государствомъ и съ IV до IX вѣка, соединенная съ Болгаріею, господствовала отъ Бѣлаго моря до Балканъ и Адриатики; норманская теорія была злонамѣренно придумана нѣмцами Байеромъ и Шлёцеромъ для униженія русской народности, и т. п. Своей начитанностію въ средневѣковыхъ писателяхъ по этому періоду Савельевъ превосходилъ, вѣроятно, всѣхъ тогдашнихъ историковъ нашихъ; онъ приобрѣталъ свѣдѣнія и въ исторической литературѣ славянской, и иногда вѣрно указывалъ ошибки своихъ противниковъ,—но, несмотря на то, труды его, хотя ревностны и обильны, принесли мало пользы. Прежде всего, полемическій задоръ помѣшалъ ему собрать свои взгляды въ цѣльное и послѣдовательное изложеніе: его матеріалъ разбился на множество подробностей, отдѣльныхъ замѣтокъ, главная тема остается невыработанной и недоказанной. Стремленіе видѣть повсюду славянъ, заимствованное у Венелина, заводитъ автора въ самыя рискованныя утвержденія; вѣрныя замѣчанія перемѣшаны съ грубѣйшими ошибками, особенно филологическими, и наконецъ, авторъ, вообразивъ свои выводы доказанными, начинаетъ безъ церемоніи переключивать племенные и географическія названія у Геродота и Тацита и т. п., въ чистѣйшія славянскія и русскія имена.

вольствіе, что здѣсь, „какъ и быть должно, все построеніе основано на истинной вѣрѣ Христовой“.

Доискаться общественно-историческихъ взглядовъ автора было бы довольно трудно. Въ противорѣчіе съ разившейся вскорѣ славянофильской теоріей, онъ — горячій поклонникъ Петра Великаго, который искалъ просвѣщенія русскаго народа (и допускалъ иноземцевъ только для наученія русскіхъ); онъ соглашался съ мнѣніемъ Шевырева, что и „великая мысль Все-Славянства, въ новомъ мірѣ Россіи, принадлежитъ Петру Великому: государь-геній, онъ первый постигъ важность *родственнаго* отношенія между нами и другими племенами славянскими“ ¹⁾. Но: „путь прямой былъ указанъ — по немъ не пошли“. Кто не пошли и почему не пошли, Савельевъ не объясняетъ; а между тѣмъ, здѣсь именно и былъ исходный пунктъ того удаленія отъ народности, которое оплакивалъ и противъ котораго негодовалъ „Маякъ“ и его союзники. „Великій умеръ — и мысль его осталась безъ исполненія“: вотъ все, что говорить Савельевъ объ этомъ обстоятельстве...

Затѣмъ, „люди, въ которыхъ Петръ Великій питалъ глубочайшее презрѣніе (?), размножились: въ благодарность Россіи, которая кормила ихъ и поила, они подарили Бироновщину (1730—1740), тяготѣвшую надъ нашимъ отечествомъ до счастливаго воцаренія дочери Петровой, кроткой Елизаветы, очистившей (?) Русь отъ иноплеменниковъ и предуготовившей намъ вѣкъ Екатерины Великой. Въ этотъ несчастный для Россіи періодъ господствованія Бирона, въ угодность сильнымъ временщикамъ-иноземцамъ, явилась и система скандинавскаго происхожденія Руси (1). Угрожаемые намѣреніемъ Петра Великаго (т.е. намѣреніемъ устранить ихъ, когда внучатся русскіе), но жалѣя разстаться съ гостепримною Россією, чужеземцы осуществили планъ — присвоить себѣ воспитаніе русскаго юношества и съ самаго дѣтства внушать ему ту мысль, что Россія всѣмъ обязана не себѣ, а чужеземцамъ, что имъ слѣдственно (а не намъ) принадлежитъ во всемъ первенство, и что даже первое сѣмя государственной жизни брошено у насъ чужеземцами“ ²⁾.

Эти олицетворенія представляютъ дѣло въ чрезвычайно запутанномъ видѣ. Откуда взялись, отчего размножились „люди, презираемые Петромъ Великимъ“; какъ могли дойти до такой силы, что подарили Россіи Бироновщину; отчего Россія, которой дѣлали иноземцы столько вреда, была такъ безсильна и ничтожна передъ ними; какъ могли они взять да присвоить себѣ воспитаніе юношества? Авторъ и не думаетъ, что вопросы эти возможны и необходимы, если говорить о вліяніи иноземцевъ въ нашемъ XVIII вѣкѣ. Далѣе: въ связи

¹⁾ Слав. Сборникъ, стр. VI.

²⁾ Тамъ же, стр. VII—VIII.

съ этимъ, во времена *Бирюковщины*, возникла система скандинавскаго происхожденія Руси. Положимъ; но тогда это были только предположенія Байера, а настоящимъ образомъ сложилась и утвердилась эта система (въ рукахъ Шлёцера) гораздо позднѣе, а именно послѣ временъ той кроткой Елизаветы, которая, по словамъ автора, уже очистила Русь отъ иноплеменниковъ.

Шлёцеръ, какъ чужеземецъ, опять провинился, по взгляду Савельева, принявъ злонамѣренную теорію Байера, и былъ снова источникомъ множества бѣдственныхъ заблужденій въ русской исторіографіи; но въ минуты безпристрастія самъ Савельевъ признаетъ, что Шлёцеръ былъ не такого характера человекъ, чтобы онъ составлялъ свои мнѣнія кому-либо въ угоду, что онъ оспаривалъ и Байера, когда находилъ въ немъ ошибки, что это, словомъ, человекъ, научную заслугу котораго должны признать самыя рѣшительныя противники его теоріи ¹⁾. И какъ быть, наконецъ, съ тѣмъ, что скандинавская или норманская теорія была принята множествомъ русскихъ ученыхъ? Нельзя же было безъ опасенія безсмыслицы сказать, что Карамзинъ и Погодинъ, какъ послѣдователи норманской теоріи, что Бутковъ, какъ приверженецъ руссо-финской теоріи, и пр., и пр., всѣ были враги русской народности, составляли свои взгляды „въ угодность сильнымъ временщикамъ-иноземцамъ“, или хотѣли внушать русскому юношеству „мысль, что Россія всѣмъ обязана не себѣ, а чужеземцамъ“ и т. д., и нельзя также сказать, чтобы русскіе послѣдователи норманской теоріи принимали ее по глупости.

Словомъ, путаясь въ своихъ обвиненіяхъ противъ послѣдователей норманской теоріи, писатели, въ родѣ Савельева, никакъ не могли понять, что въ распространеніи того или другого историческаго взгляда могла дѣйствовать просто только степень *научной доказательности* того или другого мнѣнія въ данную пору. Норманская теорія потому именно и распространялась, что съ XVIII-го вѣка (да и донныи) она была *научно* лучше обставлена, чѣмъ другія теоріи. Можно было оспаривать ее, приводить новыя доказательства въ пользу иного взгляда, и этого было бы довольно; но школы, подобныя школѣ Савельева, имѣли всегда дурную замашку давать литературнымъ вопросамъ полицейскій оборотъ, и, выдавая свои мнѣнія за патріотическія, представлять мнѣнія противниковъ какъ недостатокъ патріотизма, а то какъ и прямую измѣну.

Возвратимся еще къ одному эпизоду въ разсужденіяхъ Савельева. Послѣ Петра, явился у насъ еще геніальный человекъ—Ломоносовъ. „Отечеству — Россіи предстояло (?) геніемъ Ломоносова опередить

¹⁾ Слав. Сборникъ, стр. LP, CLXVI—CLXVIII.

Европу, въ половинѣ XVIII вѣка утвердить тѣ открытія, которыя составили славу вѣсколькихъ ученыхъ естествоиспытателей конца XVIII и начала XIX вѣка: завистники генія не допустили Россію (?) обнаружить самостоятельность возрѣнія на естествознаніе. Россія могла бы за полвѣка до Карамзина имѣть свою исторію... недоброжелательство враговъ русскаго генія лишило его средствъ совершить полезный трудъ. Кто же были эти враги русскаго генія? Иноземные гости и даже (стыдно сказать) свои соотечественники¹⁾. Не говоря о томъ, что въ словахъ Савельева значеніе открытій Ломоносова въ естествознаніи крайне преувеличено, авторъ до смѣшного терялъ мѣру, говоря о завистникахъ, будто бы не допустившихъ „Россію“ обнаружить ея научную самостоятельность. Здѣсь разумѣются, вѣроятно, академическіе враги Ломоносова; но какъ они могли помѣшать появленію русской исторіи за полвѣка до Карамзина и помѣшать самостоятельному возрѣнію на естествознаніе, неизвѣстно; притомъ Академія существовала не безъ вѣдома „Россіи“: выходило, что вина должна лежать и на самой Россіи. Надо думать, что „иноземные гости“ могли вредить только потому, что „соотечественники“ не понимали интересовъ русскаго генія. Замашка — свалить все на иноземцевъ, не разумѣя общаго положенія вещей, или — лицемѣрно о немъ умалчивая, доходила до абсурда.

Еще болѣе странностей представляли археологическія изслѣдованія, которыя въ это же время издавалъ наставникъ Савельева, Морошкинъ, другой желанный сотрудникъ „Маяка“.

Фед. Лук. Морошкинъ (1804—1857), сынъ сельскаго священника въ тверской губерніи, учился въ семинаріи, потомъ въ московскомъ университетѣ, по юридическому факультету; по окончаніи курса, „изъ особенной привязанности къ Москвѣ и московскому университету“ *отказался* отъ поступленія въ профессорскій институтъ и отъ путешествія за границу (послѣднее предлагали ему два раза), съ 1834 года началъ преподаваніе въ московскомъ университетѣ по различнымъ предметамъ права, съ 1838 въ качествѣ ординарнаго профессора²⁾. Въ пору его ученья уже распространялся вкусъ къ изученію философіи, и Морошкинъ много занимался ею (до Гегеля включительно) подъ руководствомъ Павлова, Дядьковскаго, Надеждина: онъ изучалъ „корифеевъ современной философіи собственно не для содержанія, а для метода научной архитектуроники“; Канта, Шеллинга, Гегеля онъ считалъ за „великихъ гимназіарховъ евро-

¹⁾ Слав. Сборникъ, стр. XI.

²⁾ Его автобіографія въ Словарѣ моск. профессоровъ, М. 1855, т. II. См. также „Молву“, 1858, № 36, стр. 409; Моск. Вѣдом. 1858, № 147, ст. С. Баршева; Справочный Словарь, Геннади, Берлинъ, 1880, т. II, стр. 846 (съ опечатками).

пейскаго мышленія“; но „догматическій взглядъ на философію онъ старался почерпнуть изъ лекцій знаменитыхъ философовъ Троицкой Сергіевой лавры“—онъ разумѣлъ Кутневича и протоіерея Голубинскаго. Но, по его словамъ, „эти философскія занятія убѣдили Морошкина, что онъ не рожденъ для чистой философіи“. Подъ этими вліяніями онъ составилъ себѣ однако философское представленіе объ исторіи права, объ его *историческомъ развитіи*. Изъ историко-юридическихъ трудовъ его извѣстенъ переводъ „Исторіи рос. государственныхъ гражданскихъ законовъ“ Рейца съ дополненіями (1836), и особенно „Рѣчь объ Уложеніи ц. Алексѣя Михайловича и о послѣдующемъ его развитіи“ (1839).

Свои изысканія о древнѣйшей Руси Морошкинъ началъ еще въ 1836 году, когда составлялъ примѣчанія къ Рейцу; въ 1839 онъ писалъ объ этомъ предметѣ въ „Галатеѣ“ Рачча; въ томъ же году онъ излагалъ свои идеи въ московскомъ Обществѣ исторіи и древностей, и тамъ порѣшено было напечатать статью Морошкина въ „Сборникѣ“ Общества, „а потомъ опредѣлено: не печатать“. Тогда Морошкинъ издалъ свою статью отдѣльно ¹⁾. Надо думать, что члены Общества испугались необычайной своеобразности его историческихъ приемовъ: онъ упоминаетъ въ предисловіи, что ему дѣлали не мало возраженій относительно „метода“ (въ объясненіи народныхъ и мѣстныхъ названій) и самъ онъ называетъ его „стариннымъ филологическимъ методомъ“. Съ дальнѣйшими трудами оставалось вмѣсто Общества исторіи и древностей обратиться къ „Маяку“, который уже открылъ свои страницы для Савельева-Ростиславича, и въ „Маякѣ“ является рядъ статей Морошкина ²⁾.

Дать понятіе о свойствѣ изслѣдованій Морошкина или объ его „методѣ“ очень мудрено: до того онъ страненъ и лишенъ всякаго смысла. Какъ и Савельевъ, Морошкинъ положилъ много труда на чтеніе древнихъ и средневѣковыхъ писателей, у которыхъ ожидалъ найти свѣдѣнія о руссахъ и славянахъ, но огромный матеріалъ, имъ подобранный, сбитъ въ безобразную кучу; изслѣдователь, по своему *старинному* методу (тому самому, каковой употреблялся Тредьяковскимъ), вылавливаетъ въ мѣстныхъ и народныхъ названіяхъ малѣй-

¹⁾ О значеніи имени Руссовъ и Славянъ. Сочиненіе Федора Морошкина. М. 1840. II н 293—304 стр. Пагинація осталась, видимо, отъ предполагавшагося изданія Общества.

²⁾ „Историко-критическія изслѣдованія о Руссахъ и Славянахъ“, съ предисловіемъ Савельева,—четыре статьи, 1842, т. IV—VI (книги 8—11), и отдѣльной книгой, Спб. 1842. Здѣсь повторена, съ перемѣнами, прежняя книжка, и ведутся новыя изслѣдованія.

— Разборъ книги Велегина: „Древніе и нынѣшніе Болгаре“ и „Скандинавоманія“, тамъ же, 1842, т. VI, кн. 12, стр. 81—115.

шія случайныя созвучія и строитъ на нихъ изумительные выводы. Онъ самъ допускалъ, что въ его „методѣ“ есть натяжка и злоупотребленія, но все-таки стоялъ на своемъ, и въ результатѣ его изслѣдованія представляютъ рядъ странностей, собранныхъ какъ будто для шутки и пародіи. Еще въ 1837 году, — рассказываетъ Морошкинъ, — „мнѣ приходило на мысль произвести имя нашего отечества *отъ роци, прута, рози или лозы* (Roscia, Pruthenia, Ruthe, Rosgi); но мнѣ тогда не доставало данныхъ, и потому я отказался отъ столь смѣлаго предположенія; теперь же, имѣя на своей сторонѣ знатный запасъ филологическихъ и историческихъ доказательствъ, съ полнымъ убѣжденіемъ утверждаю, что *Русь* происходитъ отъ слова *лѣсъ* или *роца*“¹⁾. Слѣдуютъ доказательства—невообразимая путаница словъ латинскихъ, греческихъ, русскихъ, изъ которыхъ выводится, что слово Русь есть лѣсъ, роца, дерево и т. п.²⁾ Русь, объясняемую подобнымъ образомъ, авторъ отыскиваетъ гдѣ только пожелаетъ: встрѣтивъ любое племенное названіе у Геродота, Плинія, Страбона, которое покажется ему подходящимъ, авторъ переломаетъ его по своему „методу“ и объявитъ, что оно обозначаетъ жителя лѣсовъ, роцъ и т. п., слѣдовательно русскаго. Однажды подвернулись ему турки, онъ продѣлалъ надъ ними ту же операцію и рѣшилъ: „итакъ, первые турки суть народъ *мѣшій*, а если лѣшій, то и русскій!“³⁾ Подумаешь, что было писано на смѣхъ.

Савельевъ и другіе строгіе судьи скандинавской теоріи съ презрѣніемъ говорятъ о грубыхъ словопроизводствахъ Байера и Шлецера, какъ производство „князя“ отъ „кнехта“ и т. п.; но конечно, обоихъ далеко превзошелъ Морошкинъ, по которому Россія происходитъ отъ розги, а русскій значить лѣшій.

Не будемъ дальше проникать въ изслѣдованія Морошкина⁴⁾; но

¹⁾ О значеніи имени Руссовъ и Славянъ, стр. 234—235.

²⁾ Напр., „Отъ латинскаго *ruta*, безъ сомнѣнія, произошло нѣмецкое слово *Ruthe*, пруть, лоза, розга, палка, и производное отъ сего *Ruthenia*!“ Слово Русь, прошедши у Морошкина сквозь строй его толкованій, превращается въ Roscia, Ruthenia, Рагуза, Ugrî, insula Rugasen (т.-е. Рюгевъ), Rox-alani, Rozani, Рязань, Рязанди, Рязци и т. д. и авторъ съ самовольствомъ заключаетъ: „Вотъ лѣсвица названій русской земли отъ Страбона (отъ времени Р. X.) до позднѣйшихъ временъ!“

³⁾ См. тамъ же, стр. 279. Въ „Историко-критич. Изслѣдованіяхъ“ Морошкинъ уже измѣнилъ эту фразу; см. стр. 85.—Польскій „панъ“ есть тоже лѣшій; отъ него происходитъ „Паннонія“. Ист.-критич. Изслѣдов., стр. 117.

⁴⁾ Еще въ 1841 году Погодинъ возсталъ противъ теорій Морошкина, которыя вскорѣ уже прославились какъ недѣлность и чудачество. Нѣкто А. К. взялъ его подъ свою защиту въ книжкѣ: „Критическое обозрѣніе книги Ѡ. Л. Морошкина. Письмо безпристрастнаго любителя исторіи къ М. П. Погодину“. Объ этомъ см. въ „Маякѣ“, 1846, т. XIX—XX: „Письма къ издателю „Маяка“ о литературной жизни Москвы“.

Короткое, но весьма обстоятельное опроверженіе ненаучныхъ фантазій Морош-

нельзя не отмѣтить въ нихъ одного эпизода. Среди своихъ изысканий Моршкинъ однажды покинулъ словопроизводство и въ лирическомъ отступленіи изложилъ слѣдующія свои мысли объ историческомъ значеніи и будущности русскаго государства и народности:

„Племя славянское живетъ будущностию, надеждою, что вновь возстанетъ великій Царь Волги ¹⁾ и воззоветъ ихъ къ единому великому знамени, къ знамени не разрушенія, а общаго успокоенія въ нѣдрахъ семейственнаго быта, который, кажется, предоставлено развить славянскимъ народамъ. Царство мира и любви имѣетъ семейственную форму, — форму, данную отъ природы и духа, а не изысканную, не созданную переходящими вѣками исторіи. Когда наступитъ судъ исторіи, тевтонскій миръ отдастъ славянамъ все, что имъ взято у нихъ въ теченіе 1500-лѣтней его жизни. Не своими казарскими ²⁾ саблями славянскій миръ грозитъ тевтонамъ, а славянскою цивилизаціею, первородными формами человѣческаго быта, грозитъ ему преемничествомъ, званіемъ наследника во всемірной исторіи. Славянскій духъ, по волѣ Провидѣнія, волюбилъ себя мѣсто въ предѣлахъ Россіи: ибо имя *Rossii* есть старѣйшее, общее имя для всѣхъ славянскихъ народовъ; здѣсь родина и колыбель всѣхъ славянскихъ народовъ; здѣсь только славянскій духъ можетъ развернуть свои орлиныя крылья и принять высprenній полетъ. Имперія Карла Великаго совершилась; настанетъ новый миръ и новая жизнь, возвращающаяся отъ Запада къ Востоку... О, какую великую судьбу готовятъ Провидѣніе для Россіи!..

„Славяне, вообще говоря, отстали отъ тевтоновъ именно потому, что они имѣли слишкомъ рьяный духъ и, къ большой невыгодѣ, духъ односторонне развитый. Не было ни одного народа среди славянскихъ племенъ, въ коемъ бы всѣ стихіи гражданственной жизни соединились для построенія быта прочнаго, способнаго къ дальнѣйшему развитію. Въ каждомъ славянскомъ народѣ было только одно народное сословіе дѣйствующимъ; всѣ же другія были мертвыми, страдательными... Надежда оставалась на Польшу и Россію. Польша никогда не была государствомъ: она была тевтонизованная казачья община — энергическая, но сиротствующая стихія государственная! Поляки, по рожденію своему, будучи храбрыми славянскимъ казачествомъ, отреклись отъ своихъ родителей и, пресмыкаясь предъ тевтонами и Римомъ, втоптали въ землю свою меньшую братію, погребли навсегда городскій и сельскій бытъ своего простонародія: никогда и нигдѣ человечество не было столько презираемо и утѣняемо, какъ въ Польшѣ: съ нимъ погибла здѣсь основная стихія государственная. Европа никогда искренно не усновила поляковъ: императоръ, раздавая титулы, считалъ ихъ вассалами; новорожденная Пруссія — будущею военною добычею; а папа погубилъ ихъ навсегда неумѣстною ревностію о своемъ владѣтельствѣ. Польское дворянство осталось безъ народа, но съ изящными формами европейскаго вассала. Какой славный урокъ для славянскихъ племенъ...

„Чѣмъ болѣе порицаютъ насъ тевтоны, тѣмъ болѣе мы должны гордиться собою. Это значить, что мы не тевтонизованное ничто. Русская земля имѣетъ всѣ стихіи для образованія великаго государства и великаго народа. Перво-

кина даль, наконецъ, Погонинъ въ „Исслѣд., замѣчаніяхъ и лекціяхъ о русской исторіи“, М. 1846, т. II, стр. 198—211.

¹⁾ Подразумѣвается Атила, который со временъ Венедина считался въ школахъ славянскимъ или даже прямо русскимъ царемъ.

²⁾ На языкѣ Моршкина это значить: казачскими.

начально, эти стихіи были разбросаны по всему пространству русской земли, и ни одна изъ нихъ сама по себѣ не была достаточна для основанія государства... Кіевская Россія начинаетъ соединять стихіи разнородныя: здѣсь является казакъ и селянинъ. Но казакъ ¹⁾ забилъ бы селянина въ Россіи, еслибъ Кіевъ остался навсегда столицей государства... Діаметрально противоположенъ казачеству юга великій Новгородъ съ его колоніями и факторіями: народъ смердь, торгошъ и плотникъ; народъ упорный, закоснѣлый (?) въ сознаніи своей личности и въ любви къ отечеству. И здѣсь тоже не могло образоваться государство, недоставало благороднѣйшихъ стихій народныхъ. Искони разумный Новгородъ нуждался въ воинскихъ дружинахъ варяговъ и кіевскихъ князей, искони дружины русскія нуждались въ жалованьѣ Новгорода. Изъ этого образовался союзъ русской земли, сперва по условію, а потомъ вѣчный, безусловный: Новгородъ поддался Москвѣ. Москва основана въ землѣ рязанскихъ вятичей, на безразличномъ пунктѣ всей Россіи: въ ней пресѣкаются всѣ стихіи русской земли: здѣсь граница Кіева, Новгорода и Рязани; здѣсь лагеря, базары и деревни. Трудно сказать: какая стихія сильнѣе въ московской Россіи, Новгородская или Рязанско-Кіевская? Здѣсь на огромномъ пьедесталѣ мужественнѣйшаго, несокрушимаго простонародія возвышается колоссальный бюстъ военной дружины. Никакая Европа не въ состояніи сдвинуть съ мѣста этого дивнаго созданія вѣковъ. Москва есть Кремль всего славянскаго міра. Напрасно думаютъ утвердить гдѣ-нибудь славянскую національность безъ покровительства Московіи. Судьба на выборъ славянамъ отдала одно изъ двухъ: быть русскими — или быть славянами Европы, т.-е. страдниками, захребетниками Европы, подъ властью чужеплеменниковъ; третье невозможно. Но да не чуждается сердце славянъ имени русскаго: имя Россовъ есть древнѣйшее, общее имя всѣхъ славянъ, при первомъ поселеніи ихъ въ Европѣ“ ²⁾...

Странно встрѣтить это разсужденіе среди фантастическихъ блужданій автора въ мнимо-славянской древности. Кромѣ послѣдняго замѣчанія объ имени руссовъ, это изложеніе ничѣмъ не связано съ „историко-критическими изслѣдованіями“ и ничѣмъ въ нихъ не доказывается и не поддерживается; но эта совершенно одиночная, случайно высказанная программа любопытна, какъ почти единственное изложеніе народно-политическихъ идеаловъ Венелинской школы, исторически связанное съ славянофильствомъ и его предвѣщающее. Эта программа носить на себѣ печать философско-историческихъ построений того времени: она по своему закруглена, но, какъ потомъ у славянофиловъ, выводы черезъ-чуръ шире основаній. Не говоря о томъ, дѣйствительно ли Россія есть родина и колибель славянскихъ народовъ, и (еслибы это и было вѣрно) доказывается ли этимъ будущая роль Россіи въ славянствѣ, тысячелѣтняя исторія славянства прошла отдѣльно отъ Россіи и выработала себѣ не только бытовые отличія, но и рѣзко выдающееся чувство своей особенности. Это чувство вошло въ плоть и кровь современныхъ славянъ, и послѣдніе

¹⁾ Казакъ отождествляется у Морошкина съ воинственнымъ дворянствомъ, какъ въ Польшѣ, съ которой онъ и сравниваетъ кіевское государство.

²⁾ Историко-критич. изслѣдованія, стр. 118—121.

не хотѣть „быть русскими“, затеряться въ Россіи съ потерей своего индивидуальнаго характера,—или Россія должна измѣниться, стать иною, для того, чтобы сліяніе могло совершиться безъ насилія для частныхъ народностей, всегда бѣдственнаго и для нихъ оскорбительнаго. Для „слиянія“ недостаточно того, что было тысячу лѣтъ назадъ (если положить, что было); *теперь* оно требовало бы условій, отвѣчающихъ *нынѣшнему* историческому положенію. Нужно, чтобы „слияніе“ являлось высокимъ нравственно-политическимъ идеаломъ,— для того, чтобы народы могли быть привлечены къ нему доброю волей; одна внѣшняя сила создала бы только тамерлановскую имперію, которая не даетъ славы и могущество которой недолговѣчно. Программа Морошкина говоритъ, правда, о славянской цивилизаціи и о наслѣдничествѣ во всемірной исторіи; но то и другое — гадательныя величины, съ которыми трудно рѣшать историческое будущее. Возвращеніе жизни отъ Запада къ Востоку, наступленіе новаго міра и выспренній полетъ славянскаго духа принадлежать къ проприаніямъ... Западъ привлекалъ и привлекаетъ славянство многоразличнымъ образомъ — не только силой, на которую можетъ отвѣчать сила, но и могущественнымъ вліяніемъ дѣйствительной образованности, небывалымъ развитіемъ научнаго знанія и культуры, — и это вліяніе Россія могла бы перевѣсить только дѣятельнымъ вступленіемъ на тотъ же путь, свободнымъ и широкимъ развитіемъ ея народно-общественныхъ силъ,—но именно этого до сихъ поръ еще нѣтъ.

Савельевъ-Ростиславичъ примкнулъ къ пророчествамъ Морошкина: „Да, внутреннее свѣрѣпленіе русскаго славянскаго племени *православіемъ* истины христіанства, а потомъ освобожденіе отъ ига, и обновленіе *православнаго царства* русскаго *самодержавнымъ* единствомъ воли царя и *народностию*, сосредоточенною въ *любви* къ *Россіи* — „Дому Пресвятыя Богородицы“, и къ царю — *отцу* своихъ подданныхъ, есть великій урокъ для нашихъ славянскихъ братій и для всего міра“ ¹⁾. Онъ заключаетъ пророчествомъ Даніила (II, 44): „возставитъ Богъ Небесный Царство, еже во вѣки не разсыплется“ и пр.

Въ то время, когда дѣлались первые опыты систематической постановки русской этнографіи, параллельное движеніе началось относительно народа южно-русскаго. Отличіе въ характерѣ народностей, въ ихъ исторіи, нравахъ, народно-поэтическихъ произведеніяхъ не допускало для великорусскихъ этнографовъ возможности ввести и южную Русь въ кругъ своихъ изученій; они потребовали мѣстныхъ дѣятелей и работы на мѣстѣ.

¹⁾ Слав. Сборникъ, стр. ССXXXIX.

Пробы новѣйшей малорусской литературы начинаются съ Котляревскаго, съ конца XVIII вѣка. Русское литературное движеніе издавна уже захватывало малорусскія силы, но родная рѣчь сохраняла всю свою привлекательность даже для тѣхъ малоруссовъ, которые давно втянулись въ русскую жизнь, и первыя попытки ввести малорусскій языкъ въ книгу имѣли чрезвычайный успѣхъ. Книжное преданіе, черезъ письменную дѣятельность на церковно-малорусскомъ и болѣе чистомъ народномъ языкѣ, какъ извѣстно теперь, тянулось съ XVI-го и до конца восемнадцатаго столѣтія и, наконецъ, нашло выраженіе въ формахъ новѣйшей литературы. Извѣстно также, что это новое появленіе малорусскаго языка въ книгѣ совпадало и имѣло внутреннія связи съ литературнымъ возрожденіемъ въ западномъ славянствѣ, въ частности съ движеніемъ галицкимъ; это послѣднее, окруженное тяжелыми политическими и общественными обстоятельствами, находило себѣ не малую нравственную опору въ нашей малорусской литературѣ, а впоследствии и само много послужило для изученія малорусской и вообще русской старины и народности. Галичь была старая русская земля, давно оторванная политически отъ коренныхъ русскихъ земель, гдѣ совершалось образованіе государства и основное историческое развитіе племени; эта земля долго еще была связана исторически съ южною Русью, и черезъ нее, книжно-церковною дѣятельностью во Львовѣ въ XVI—XVII вѣкахъ, принесла свой вкладъ и въ образованность, и литературу общерусскую. Племенная связь съ Галичемъ и старое книжное преданіе возрождались теперь черезъ малорусскую литературу. Сама южная Русь занимала такое великое мѣсто въ общей русской исторіи, ея населеніе составляло такой большой процентъ въ русскомъ народѣ, что изученіе ея представляло первостепенный интересъ историческій и этнографическій.

Историческое изученіе началось на мѣстѣ, въ самой Малороссіи, еще въ прошломъ столѣтіи, примыкая къ старымъ малорусскимъ лѣтописямъ. Труды этнографическіе и именно изученіе народной поэзіи начинается книжкой кн. Н. А. Цертелева: „Опытъ собранія старинныхъ малороссійскихъ пѣсней“ (Спб. 1819).

Положеніе кн. Цертелева въ вопросѣ малорусской народной поэзіи похоже на положеніе Калайдовича при изданіи „Древнихъ Росс. стихотвореній“. Обычная пѣтливка не давала мѣста для этихъ произведеній, и издатели не знали, какъ съ ними быть, какъ объяснить теоретически свои сочувствія къ ихъ красотамъ. Не проходитъ десяти лѣтъ, и Максимовичъ въ своемъ первомъ сборникѣ (1827 г.) уже съ увѣренностью говоритъ о важности народной поэзіи, съ той

точки зрѣнія, что она должна послужить для созданія истинно-русской поэзіи.

Интересъ въ предмету быстро возрасталъ. Въ книжкѣ Цертелева помѣщено было всего 10 пѣсенъ; въ первомъ сборникѣ Максимовича уже 130; въ 1834 г. онъ опредѣлялъ свое собраніе уже до 2½ тысячъ пѣсенъ; въ 1849 онъ издалъ третій сборникъ. Это не былъ результатъ только его личнаго труда: было уже много любителей, сообщавшихъ ему пѣсни, и въ числѣ ихъ онъ, кромѣ кн. Цертелева, называетъ (въ 1834 г.) еще Гоголя, Срезневскаго, Шпигоцкаго, Крамаренка, Бодянскаго и другихъ.

Въ эти же годы Срезневскій началъ изданіе „Запорожской Старины“ (1833—1838). Онъ былъ еще юношей, романтически восторгался малорусской историко-поэтической стариной, печаталъ въ своемъ сборникѣ думы, пѣсни, преданія, отрывки изъ лѣтописей и собственные историческіе пересказы. „Запорожская Старина“ доставила Срезневскому его первую извѣстность знатока южно-русскихъ народныхъ преданій и поэзіи, книжки были интересны; но на этихъ изданіяхъ особенно свазалось, что пора строго-научнаго метода еще не пришла. Въ изданіе Срезневскаго попало нѣсколько поддѣльныхъ думъ,—какъ въ тѣ же годы поддѣлки нашли мѣсто въ изданіяхъ Сахарова; но книга, и самыя поддѣлки, исполненныя здѣсь иногда весьма искусно по своему времени, свидѣтельствовали о тепломъ интересѣ въ старинѣ, которая рисовалась тогда не въ чисто народномъ, и не въ научномъ освѣщеніи, а въ окраскѣ патріотическаго романтизма.

Самой грандіозной поддѣлкой была въ новѣйшей малорусской литературѣ „Исторія Русовъ“, составленная какимъ-то любителемъ или любителями малорусской старины и приписанная Георгію Конискому. Какъ и думы Срезневскаго, она долго считалась подлиннымъ сочиненіемъ извѣстнаго архіепископа бѣлорусскаго, и только недавно ея подложность всѣми признана. „Исторія Русовъ“ остается, однако, замѣчательнымъ сочиненіемъ, характеризующимъ политическія стремленія извѣстнаго круга малорусскихъ патріотовъ первой четверти столѣтія.

Въ другомъ мѣстѣ мы подробно остановимся на трудахъ Срезневскаго, Максимовича, Метлинскаго, Бодянскаго, Костомарова, Кулиша и проч. по изученію малорусской народной жизни, старой и современной,—трудахъ, главное развитіе которыхъ принадлежитъ уже слѣдующему періоду. Довольно пока сказать, что, начиная съ кн. Цертелева, изученіе малорусскаго народа все расширяется на почвѣ чисто-этнографической; вмѣстѣ съ тѣмъ, оно переходитъ и на почву литературную какъ на русскомъ, такъ и на малорусскомъ языкѣ; общество знакомится ближе съ однимъ изъ элементовъ рус-

ской національности, который начинает выясняться въ общественномъ сознаниі и получать историческое опредѣленіе. Разработка малорусской старины вызвала различные вопросы по исторіи русской національности: такъ, былъ поднятъ вопросъ о сравнительной давности племенъ великорусскаго и малорусскаго и ихъ взаимномъ отношеніи, о давности малорусскаго нарѣчія, о томъ, кѣмъ совершаема была древняя исторія кievскаго періода, великоруссами или малоруссами (одно мнѣніе защищалъ Погодинъ, другое Максимовичъ), и т. п. Наконецъ, какъ было уже замѣчено нѣкоторыми наблюдателями, не случайно было то явленіе, что наши первые слависты были или малоруссы родомъ, или люди, обжившіеся въ Малороссіи и привязавшіеся къ ея изученію: таковы были Срезневскій, Бодянский, Григоровичъ, Костомаровъ (какъ авторъ „Славянской Миеологіи“), Пассекъ.

Малорусская литература не пользовалась сочувствіемъ въ кругѣ Бѣлинскаго. Самъ Бѣлинскій очень недружелюбно отзывался о первыхъ произведеніяхъ Шевченка, которыя приводили въ восторгъ критиковъ малорусскихъ; враждебно отнесся даже къ историческому изслѣдованію Костомарова о русской и малорусской народной поэзіи; считалъ все движеніе ложнымъ и ненужнымъ. Этотъ взглядъ имѣетъ историческое объясненіе въ томъ, что первой необходимостью для нашего общественнаго образованія тотъ кругъ считалъ усвоеніе основныхъ прогрессивныхъ понятій, между тѣмъ какъ малорусская литература, тѣсно привязанная къ своимъ этнографическимъ источникамъ, или оставалась имъ совершенно чужда, отражая на себѣ консерватизмъ народной жизни, или имѣла къ нимъ слишкомъ далекое и мало видное отношеніе. Въ самомъ дѣлѣ малорусское движеніе вступало тогда въ литературные союзы, которые способны были внушать большія сомнѣнія: таковъ былъ союзъ съ „Маякомъ“, какъ потомъ и оказалось, не совсѣмъ отвѣчавшій мнѣніямъ молодыхъ украинофиловъ, но тѣмъ не менѣе внѣшнимъ образомъ существовавшій. Бѣлинскому не могло быть сочувственно это совпаденіе, и онъ могъ думать, что народность, защищаемая украинофилами, есть та же юридическая народность, за которую ратовалъ „Маякъ“ съ его нелѣпыми ухватками. Содержаніе малорусской литературы давало также поводъ къ этому смѣшенію, потому что въ своихъ народно-романтическихъ увлеченіяхъ восхищалась народностью безъ всякихъ оговорокъ, не удѣляя мѣста для высшихъ теоретическихъ интересовъ и восхищалась даже чисто внѣшними принадлежностями народности, чтѣ въ самой русской литературѣ было уже давно пересолено и обозначалось названіемъ квасного патриотизма. Настоящій характеръ малорусскаго движенія выяснился только позднѣе, когда понятія, лежавшія въ его основаніи, стали опредѣленнѣе и глубже: отношеніе къ нему въ рус-

ской литературѣ также измѣнилось; его друзья оказались въ болѣе либеральной части литературы, а враги—между новѣйшими продолжателями „Маяка“.

Чтобы оцѣнить состояніе народныхъ изученій въ описываемую эпоху, ихъ недостатки и ихъ приобрѣтенія, необходимо принять въ соображеніе вышнее ихъ положеніе, ихъ общественную и официальную обстановку.

Общественная мысль съ начала Николаевскихъ временъ была въ состояніи крайней подавленности. Катастрофа, обрушившаяся на либеральный кружокъ Александровскаго времени, изгнала изъ обращенія цѣлый разрядъ идей и стремленій, предметомъ которыхъ было исправленіе общественныхъ недостатковъ и возвышеніе общественнаго сознанія. Слабые проблески движенія оказывались только въ литературѣ: наибольшая доля ея служила элементарнымъ книжнымъ потребностямъ общества въ духѣ господствовавшего настроенія; лишь меньшая доля будила общественную мысль, дѣйствуя на сравнительно небольшую часть общества. Правда, въ этой долѣ литературы шла усиленная работа, которая потомъ отразилась новыми успѣхами общественной мысли; но въ двадцатыхъ, тридцатыхъ и еще сороковыхъ годахъ, эта мысль была контрабандой ¹⁾, а большинство пребывало въ китайской самодовольной неподвижности, отличаясь „беззаботностью на счетъ литературы“. Рядомъ съ слабостью образовательнаго интереса въ обществѣ шла и слабость научныхъ средствъ. Въ ту эпоху, когда подготовлялись дѣятели этнографіи отъ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ, въ наукѣ университетской, которая владела еще нѣкоторыми учеными силами, для этого изученія не было мѣста; въ словесности, напр., по проживавшимъ еще теоріямъ Баттѣ, Лагарпа, Влера, Эшенбурга, не было мѣста для народной поэзіи; въ исторіи не было мѣста для вопросовъ, которые вели къ внимательному изученію народнаго преданія и обычая; этнографія, какъ наука, еще не подозрѣвалась; новыя славянскія литературы, которыя такъ много опирались на изученія народности и подвигали ихъ, были едва извѣстны по имени. Но зарождавшееся сознаніе, примѣръ европейской литературы оказывали свое дѣйствіе; изученія начинались, но оставались еще на рукахъ любителей, мало или совсѣмъ не приготовленныхъ. Авторитетомъ въ русской этнографіи и археологіи дѣлается профессоръ латинскаго языка и цензоръ, Снегиревъ; другимъ

¹⁾ Укажемъ, напр., воспоминанія о той эпохѣ покойнаго Заблоцкаго, приведенныя въ его некрологѣ, „Вѣстн. Евр.“ 1882, и современный дневникъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, Никитенка, въ „Р. Старинѣ“, 1889—90; наконецъ массу фактовъ представляетъ исторія тогдашней литературы вообще.

—плохо ученый почтовый врачъ, Сахаровъ; славу знатока народности прибрѣтаетъ бывалый человекъ, талантливый, но не имѣвшій научной подготовки въ этнографіи, врачъ и министерскій чиновникъ, Даль; описателемъ народнаго быта является еще менѣе приготовленный и очень поверхностный писатель, чиновникъ Терещенко; знатокъ мало-русской этнографіи вырабатывается изъ ботаника, — Максимовичъ; клерикальные защитники народности являются изъ моряковъ. Даже люди, какъ Надеждинъ, который былъ даже большимъ ученымъ, не были въ этнографіи настоящими специалистами ¹⁾. Словомъ, большинство были чистые самоучки, и въ параллель этому тогдашняя критика не замѣчала грубыхъ ошибокъ, какія встрѣчались нерѣдко въ ихъ трудахъ. Самая публика была еще менѣе требовательна, и этнографы не трудились вырабатывать методъ, справляться съ европейскими изслѣдованіями, которыя, однако, уже съ двадцатыхъ годовъ поставили этнографію въ тѣсную связь съ сравнительнымъ языкованіемъ, мнѳологіей и исторіей. Относительно метода, Сахаровъ и въ пятидесятыхъ годахъ остался такимъ же невѣждой, какъ былъ въ тридцатыхъ; университетскій профессоръ Морозкинъ въ сороковыхъ годахъ считалъ возможнымъ „старинный методъ“, который былъ филологическимъ абсурдомъ... Серьезная постановка дѣла наступила только съ новымъ поколѣніемъ ученыхъ, которые приняли руководство европейской науки; черезъ нихъ болѣе правильныя понятія о дѣлѣ распространились и между этнографами-любителями и собирателями.

Свойства времени, да и характеръ большинства самихъ изыскателей не способствовали ни научно глубокой, ни въ общественномъ смыслѣ правдивой постановкѣ вопроса о народномъ бытѣ. Въ большинствѣ, это были люди, которые не задавали себѣ вопроса о по-

¹⁾ Савельевъ-Ростиславичъ задалъ однажды подобный вопросъ о томъ, кѣмъ велось въ его время изученіе русской исторіи. Оказалось, что „наука исторіи не находитъ своихъ ревнителей между тѣми, которые величаютъ себя официальными жрецами науки“, а что, напр., Кормчую книгу объясняетъ нѣмецъ, чиновникъ II отдѣленія (баронъ Розенкампфъ), бѣлорусскій архивъ печатаетъ протоіерей лейбъ-гвардіи финляндскаго полка (Григоровичъ), въ славянскій исторіи оказываетъ великія заслуги мѣникъ (Венелинъ), „Оборону русской лѣтописи“ составляетъ членъ совѣта министерства внутреннихъ дѣлъ (Бутковъ), научную нумизматику создаетъ московскій предводитель дворянства (Чертковъ), Литву объясняетъ столоначальникъ въ управленіи путей сообщенія (Боричевскій), достоверность ханскихъ ярлыковъ доказываетъ чиновникъ при редакціи журнала мин. внутр. дѣлъ (Григорьевъ), древнія торговныя сношенія съ Азіей розыскиваетъ секретарь комитета иностранной цензуры (П. С. Савельевъ) и т. д. „Всѣ эти особы не принадлежатъ къ почтенному сословію профессоровъ русской исторіи въ нашихъ университетахъ“. Слав. Сборникъ, стр. CLXXI — CLXXIII. Трудамъ настоящихъ профессоровъ того времени (какъ Погодинъ, Устряловъ) Савельевъ не придавалъ большой цѣны.

ложеніи вещей, вѣрили (или дѣлали видъ, что вѣрятъ), что проживаютъ въ наилучшемъ изъ міровъ, возставали противъ новыхъ стремленій общественной мысли, были равнодушны или враждебны къ идеямъ общечеловѣческаго просвѣщенія—философскаго, художественнаго и общественнаго, въ которыхъ видѣли вольнодумство и „не-русское“ направленіе. Біографъ Снегирева рассказываетъ, напр., что „въ задушевныхъ разговорахъ съ религиозными людьми онъ бесѣдовалъ о духѣ времени, о своеобразіи и вольнодумствѣ общества, не обузданнаго *страхомъ*“ и „не потворствовалъ либеральнымъ тенденціямъ писателей“. По поводу того, что литераторы петербургскіе враждовали съ московскими (въ 1830-хъ годахъ), Снегиревъ замѣчаетъ въ письмѣ къ одному изъ пріятелей, что „такое раздѣленіе не сообразно съ духомъ единоподержавнаго и благотворнаго правительства“... ¹⁾). Идеалистическія популяризованія подобныхъ изыскателей народности оканчивались мудрствованіями „Маяка“.

Взаимныя отношенія между учеными людьми, этнографами и археологами, представляли слишкомъ часто некрасивую картину мелочной вражды и завистливаго соперничества, которая не свидѣтельствовала о возвышенности научнаго интереса. Работы, и въ этнографіи, и въ археологіи, было безъ конца. Нужно было собирать народно-бытовой матеріалъ, приводить въ извѣстность массы не описанныхъ рукописей и т. п.: дѣла было на многіе десятки человѣческихъ жизней,—но выше этого стояли мелкія самолюбія. „Дивлюсь политикѣ гг. Малиновскаго и Оленина,—пишетъ Снегиревъ,—политикѣ, которая подъ спудомъ таитъ свѣтильнички, воими могли бы они озарить мракъ отечественной древности. Первый дошелъ до того, что боится объ описываемой имъ Москвѣ говорить при постороннихъ, особливо при ученыхъ, дабы они чего не выманили у него“. Снегиревъ изображаетъ Малиновскаго „эгоистомъ, сидящимъ на кучахъ матеріаловъ и не позволяющимъ другимъ ими пользоваться“ ²⁾). Ученые этого сорта не составляютъ рѣдкости въ исторіи нашей науки: но ученая слава Малиновскаго была обратно пропорціональна богатствамъ, какими онъ распоряжался. Переписка нѣсколькихъ археологовъ, изданная недавно г. Барсуковымъ, представляетъ къ сожалѣнію обильные примѣры взаимнаго недружелюбія и завистничества,—примѣры, доходящіе до возмутительности: такова переписка Кубарева съ Сахаровымъ по поводу цензурной исторіи, которая стряслась въ 1848—49 г. надъ Бодянскимъ и издававшимися

¹⁾ Ив. Мих. Снегиревъ, стр. 53, 65, 117, 228.

²⁾ Тамъ же, стр. 104—106. Малиновскій начальствовалъ надъ московскимъ архивомъ министерства иностранныхъ дѣлъ; Оленинъ былъ директоромъ Публичной бібліотеки.

подъ его редакціей „Чтеніями“ московскаго Общества исторіи и древностей, вслѣдствіе того, что Бодянскій напечаталъ въ нихъ переводъ англійской книги XVI вѣка о Россіи, Флетчера. Самое напечатаніе этой книги, одного изъ любопытѣйшихъ старыхъ иностранныхъ сочиненій о Россіи, было преступленіемъ въ глазахъ ученыхъ обскурантовъ ¹⁾). Мудрено было ожидать широкаго и свѣтлаго научнаго взгляда отъ людей, которымъ невразумительно было значеніе исторіи, обрушившейся надъ Бодянскимъ. Книжное превознесеніе народности не мѣшало въ тѣ годы ученому этнографу становиться въ положеніе не изыскателя, а сыщика и шпиона. Въ „Маякѣ“ проповѣдники народности, хотя преклонявшіеся предъ Петромъ Великимъ, думали, что народность несоединима съ „западнымъ“ образованіемъ, не видѣли связи, соединявшей лучшую часть тогдашней литературы съ дѣйствительнымъ народнымъ вопросомъ, полагали народность въ грубо консервативномъ самохвальствѣ и радовались, что цензура держитъ писателей въ ежовыхъ рукавицахъ...

Тогдашнія обычныя изображенія народнаго быта говорили о народныхъ преданіяхъ, обрядахъ, пѣсняхъ, патриархальныхъ нравахъ, о приверженности къ старинѣ, вѣрѣ и престолу, но совершенно обходили реальный бытъ, крѣпостное состояніе; если упоминалось послѣднее, то въ видѣ идиллической картины благоденствующихъ „мужичковъ“. Господствующій тонъ было слашавое восхваленіе, параллельное съ чиновническимъ „все обстоитъ благополучно“; „ученое“ изображеніе народной жизни дополняло картину благополучія.

Такова была подкладка тогдашнихъ изученій, и безпристрастный историкъ весьма ограничить свои требованія, если вспомнить господствующія условія тогдашней общественности.

Въ царствованіе имп. Николая продолжалась традиція Священнаго Союза. Программа „народности“, какъ она была тогда поставлена, въ сущности была совершенно согласна съ этой традиціей; „народность“ должна была только усилить реакціонный смыслъ господствовавшей правительственной системы; она говорила: нашъ народъ не имѣетъ ничего общаго съ западомъ Европы, и тѣмъ мѣнѣе съ гнѣздившимися тамъ превратными политическими идеями. Этой антипатіей къ западу, представленіемъ о неподвижномъ консерватизмѣ русскаго народа, поощреніемъ національнаго самолюбія, официальная программа совершенно удовлетворяла то большинство, которое не гналось за науками и довольно было привилегіями крѣпостнаго права; она имѣла много общаго съ самымъ славянофиль-

¹⁾ Русскіе палеологи сороковыхъ годовъ, стр. 62—63, 69—72. Укажемъ еще на письма Снегирева къ Анастасевичу, въ „Древней и Новой Россіи“, 1830, ноябрь; ср. о томъ же дневникъ Никитенка, Р. Старина, 1890, февраль.

ствомъ. Административные практики не любили въ славянофилахъ теоретиковъ, которые слишкомъ далеко вели свою привязанность къ старинѣ и наконецъ отыскиали тамъ поводы къ отрицанію господствующаго порядка вещей. Но положительное недовѣріе и подозрѣніе возбуждали люди либеральныхъ мнѣній, которые имѣли явную наклонность къ европейскимъ идеямъ.

Взглядъ административной практики на литературу и движеніе, въ ней происходившее, выразился исторіей тогдашней цензуры. Довольно извѣстно, какимъ тяжкимъ бременемъ она лежала на литературѣ, и мы напомнимъ лишь нѣсколько фактовъ, относящихся къ историко-этнографическимъ изслѣдованіямъ. Повидимому, можно было бы ожидать къ послѣднимъ особаго вниманія, когда официально была провозглашена „народность“; на дѣлѣ оказалось, что народность официальная смотрѣла весьма недовѣрчиво на дѣйствительные интересы къ народу.

Изученіе народа, самая исторія давно внушали административнымъ практикамъ недовѣріе, какъ вещь не безопасная. Извѣстно, что самая „Исторія государства Россійскаго“ подвергалась цензурнымъ придиркамъ, пока не была защищена отъ нихъ высочайшей властью. Извѣстно, до какихъ Геркулесовыхъ столбовъ дошелъ въ послѣдніе годы Александра I Магницкій съ братією. Въ перепискѣ кн. Голицына съ архимандритомъ Фотіемъ ¹⁾, первый, въ задушевной бесѣдѣ съ предавшимъ его вскорѣ св. отцомъ и другомъ, высказываетъ подозрѣніе относительно знаменитаго митрополита Евгенія по случаю его „частыхъ сношеній съ учеными“. И этотъ князь Голицынъ былъ министромъ народнаго просвѣщенія! Въ самобѣ общество было столько невѣжества и свойственной невѣжеству вражды къ просвѣщенію, что не удивительно, если и власть заражалась тѣмъ же, или находила столько усердныхъ слугъ на этомъ поприщѣ. Печать считалась только вообще терпимымъ зломъ, относительно котораго должны быть принимаемы самыя строгія предосторожности

Въ дневникѣ Снегирева есть любопытный эпизодъ, который весьма характерно изображаетъ положеніе литературы и даетъ разгадку официально провозглашенной „народности“.

Въ августѣ 1832 г., былъ въ Москвѣ министръ народнаго просвѣщенія. На приѣмъ,—разсказываетъ Снегиревъ,—съ иностранными профессорами и лекторами университета онъ обошелся отъѣнно ласково, по-нѣмецки говорилъ хорошо, а въ русскомъ затруднялся:

¹⁾ Р. Старина, 1882.

„Въ засѣданіи цензурнаго комитета Уваровъ явился не такимъ мягкимъ. Онъ объявилъ, что государь недоволенъ пропускомъ въ № 3 „Телескопа“ выраженій, вставленныхъ отъ себя переводчикомъ; а этихъ словъ нѣтъ во французскомъ журналѣ, изъ котораго переведена статья ¹⁾. Онъ находилъ (это) неприличнымъ и грубымъ, сказавъ, что „стоило бы запретить сей журналъ, но правительство не хочетъ показывать, что оно боится недѣльныхъ изданій и не требуетъ себѣ похвалъ. Если должно выбрать меньшее зло, то пусть лучше ма-
раютъ бѣдную литературу и бранятся литераторы, чѣмъ трогать правитель-
ство пустыми выказками. Нельзя служить двумъ господамъ, посему нельзя
быть вмѣстѣ профессоромъ и журналистомъ, или то, или другое надобно вы-
бирать Надеждину, которому въ послѣдній разъ прощается, такъ равно и цен-
зору Цвѣтаеву, который весьма неосторожно поступилъ и вѣрно обмануть
былъ издателемъ, который увѣрилъ его, что подлинникъ перевода пропущенъ
петербургскою цензурою. Государь читаетъ всѣ журналы съ отмѣтками; за
строгость не столько отвѣтитъ цензоръ, сколько за слабость. Жалобы на него
будутъ недѣйствительны; при затруднительности дѣлъ онъ подверженъ отвѣт-
ственности, особливо въ уголовной статьѣ, какова помѣщена въ Телескопѣ у
профессора Московскаго университета. Это послѣднее снисхожденіе; „я та-
кихъ правилъ,—примолвилъ графъ Уваровъ, — что если раздавить, то такъ,
чтобы слѣда не осталось! Впрочемъ, не съ тѣмъ принялъ я на себя порученіе
отъ государя, чтобы разить, но съ тѣмъ, чтобы очистить замазанный (?) уни-
верситетъ предъ [глазами государя и исходатайствовать его милости“. Мы
благодарили, и я примолвилъ, что мы много отъ него и ожидали. Послѣ сего
онъ сдѣлалъ легкое замѣчаніе Двигубскому за пропускъ статьи о дворянствѣ
въ „Земледѣльческомъ Журналѣ“. „Политическая религія имѣетъ свои догматы
неприкосновенныя,—сказалъ онъ, — подобно христіанской религіи (!); у насъ
они: самодержавіе и крѣпостное право;—зачѣмъ ихъ касаться, когда они, къ
счастію Россіи, утверждены сильною и крѣпкою рукою“. „Послѣ сего поручилъ
почетителю Голохвастову внушить сіе Надеждину и предписать ему выборъ
быть профессоромъ или журналистомъ, угождать гостинному ряду и своей ва-
тагѣ или правительству (?), отъ коего онъ зависитъ“. „Скажите,—примолвилъ
онъ Цвѣтаеву,—чтобы онъ не думалъ, будто я мишу ему за академію наукъ ²⁾:
пусть онъ ругаетъ и меня и ее: это ничего не значить. „И такъ, проговоривъ
часа два, Уваровъ раскланялся съ нами“ ³⁾.

Прибавимъ къстати, что самъ Снегиревъ, „при всей своей опыт-
ности и осмотрительности“ и при упомянутомъ выше отношеніи къ
либеральнымъ идеямъ, не избѣгъ кары отъ начальства за цензур-
ный недосмотръ и даже потерялъ службу. Поводъ былъ слѣдующій.

¹⁾ О какой статьѣ „Телескопа“ идетъ здѣсь рѣчь, не знаемъ. Въ № 3 помѣ-
щены: „Тирольца“—изъ *Revue de Paris*; „Поэты самоучки въ Англіи“—изъ *Revue des deux Mondes*.

²⁾ Статья объ Академіи, возбуждавшая негодованіе министра, есть, конечно,
статья „о первой раздачѣ Демидовскихъ наградъ С.-Петербургской Академіей наукъ“,
Телеск. 1832, т. II (или съ начала изданія т. VIII), стр. 543 — 554, и обозначен-
ная: „сообщено“ (къмъ?); статья весьма разумная и приличная, и которая могла
быть неприятна президенту Академіи только по независимости своихъ сужденій.

³⁾ Ив. Мих. Снегиревъ, стр. 113—115.

Въ 1855 г., ожидался столѣтній юбилей московскаго университета; къ торжественному празднику готовились разныя ученныя изданія, и между прочимъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ печатался очеркъ исторіи университетской типографіи; здѣсь сказано было о дѣятельности Новикова, и этого было достаточно, чтобы пропустившему статью Снегиреву предложено было подать въ отставку ¹⁾. Такъ долго нельзя было исторіи коснуться Новикова; такъ сильно было положенное на него заклятіе!

Изъ приведеннаго наставленія московскому цензурному вѣдомству можно видѣть совершенно ясно, какого рода „народность“ разумѣлась въ извѣстной формулѣ. Взгляды цензурнаго начальства не преминули оказывать свое дѣйствіе. Крестьянскій вопросъ, о которомъ была еще нѣкоторая возможность говорить при Александрѣ I, былъ теперь совсѣмъ закрытъ для литературы, и общественная мысль по этому предмету высказывалась лишь отдаленными намеками, которые читатель долженъ былъ отгадывать, и—отгадывалъ. Съ другой стороны Третье отдѣленіе, также мѣшавшееся въ цензуру, подняло разъ тревогу даже изъ-за газетной статьи объ освобожденіи негровъ. Все отношеніе литературы къ настоящему положенію народа должно было сообразоваться съ формулой—„обстоятъ благополучно“: „народность“ являлась въ книжномъ изображеніи какъ на осмотръ къ начальству, приглаженной и благоденствующей. Выше мы видѣли примѣры того, съ какими неодолимыми препятствіями встрѣчались самыя смиренныя труды этнографовъ. Сахаровъ, какъ говорятъ, подвергся самымъ неблагополучнымъ угрозамъ и съ перепугу принялся оправдывать древнихъ славянъ отъ „позорной язвы многобожія и тайныхъ сказаній“. Это было въ началѣ періода „народности“, а въ концѣ, въ пятидесятыхъ годахъ, членъ высшаго ученаго учрежденія имперіи, раздѣлявшій взгляды администраціи, находилъ зловреднымъ Далеево собраніе пословицъ (и не былъ опровергнутъ своими учеными сочленами!), а цензура считала нужнымъ выбросить изъ него около цѣлой четверти (т.-е. около 8,000 пословиц!).

Въ 1844 г., Петръ Кирѣевскій задумалъ издать свое богатое собраніе пѣсенъ; надо было обратиться къ цензурѣ,—и любопытно читать совѣты, какіе подаетъ ему при этомъ случаѣ братъ его И. В. Кирѣевскій, чтобы обезпечить пропускъ пѣсенъ. „Если министръ будетъ

¹⁾ „И хотя,—рассказываетъ биографъ,—самъ министръ народнаго просвѣщенія А. С. Норовъ лично выражалъ Снегиреву свое мнѣніе о его благонамѣренности, а министръ внутр. дѣлъ Д. Г. Бибиковъ признавалъ его заслуги за содѣйствіе къ уменьшенію раскола, и генералъ-губернаторъ гр. Закревскій ходатайствовалъ... — начто не помогло, и 15 февр. 1855 года Снегиревъ былъ уволенъ *по прошенію* (въ службѣ“ (Ив. Мих. Снег., стр. 157—158).

въ Москвѣ,—пишетъ онъ,—то тебѣ непременно надобно просить его о пѣсняхъ, хотя бы въ тому времени тебѣ и не возвратили экземпляровъ изъ цензуры. Можетъ быть даже и не возвратятъ, но просить о пропускѣ—это не мѣшаетъ. Главное, на чемъ основываться, это то, что пѣсни—*народная*, а что весь народъ поетъ, то не можетъ сдѣлаться тайною, и цензура въ этомъ случаѣ столько же сильна, сколько Перевошиковъ надъ погодю.—Уваровъ вѣрно это пойметъ, также и то, какую репутацію сдѣлаетъ себѣ въ Европѣ наша цензура, запретивъ *народныя пѣсни*, и еще *старинныя*. Это будетъ смѣхъ во всей Германіи... Лучше бы всего тебѣ самому повидаться съ Уваровымъ, а если не рѣшишься, то поговори съ Погодинымъ¹⁾. Чтобы издавать русскія пѣсни, надо было впередъ запасаться оправданіями и ссылками на ту же Европу...

Въ 1848 г., Бодянский, профессоръ университета, секретарь Московскаго Общества исторіи и древностей, и редакторъ его „Чтеній“, выказавшій въ этомъ качествѣ, особенно въ тѣ годы, по-истинѣ замѣчательную дѣятельность, между множествомъ другого матеріала по старой русской исторіи помѣстилъ въ „Чтеніяхъ“ переводъ книги Флетчера о Россіи временъ Ивана Грознаго, сдѣланный тогда Калачовымъ. Флетчеръ навлекъ цѣлую бурю и на Общество, и на Бодянскаго. Книга была запрещена, нѣсколько разошедшихся по рукамъ экземпляровъ отобраны; цензуrowаніе самимъ Обществомъ своихъ изданій признано противозаконнымъ; Бодянский потерялъ и профессуру въ университетѣ, и вмѣсто секретаря и редактора въ Обществѣ²⁾. Листы перевода Флетчера, вырѣзанные изъ книги „Чтеній“, были опечатаны, въ этомъ видѣ они и донинѣ лежатъ въ кладовой московскаго университета.

Въ тѣхъ же сороковыхъ годахъ Костомаровъ напечаталъ въ Харьковѣ магистерскую диссертацию объ уни. Вопросъ былъ поставленъ съ нѣкоторою самостоятельностью. Этого было достаточно для блюстителей официальной исторической нравственности, и диссертация Костомарова, послѣ разбора ея Устряловымъ, была конфискована и истреблена. Вскорѣ самъ Устряловъ подвергся такимъ же изобличеніямъ въ донесеніи кн. Вяземскаго,—какъ мы говорили въ другомъ мѣстѣ.

Въ концѣ концовъ, и гр. Уварову привелось испытать неудобства

¹⁾ Полное собраніе сочиненій И. В. Кирѣевскаго. Москва, 1861, т. I, біографія, стр. 93.

²⁾ Подробности въ статьѣ Н. А. Попова, „Русская Старина“, 1879, ноябрь, стр. 475—480; „Русскіе палеологи“, Барсукова, стр. 68—69; „Историч. свидѣнія о цензурѣ въ Россіи“, Спб., въ тип. морск. минист., стр. 60—61.

этой системы, доведенной до послѣднаго предѣла въ такъ называемомъ комитетѣ 2-го апрѣля (1848 г.) или „негласномъ комитетѣ“¹⁾.

Къ концу царствованія императора Николая, подъ впечатлѣніемъ событій европейскіхъ, цензура все болѣе усиливалась вогнать литературу въ поставленныя для нея рамки; негласный комитетъ вмѣшивался въ цензурныя дѣла, добывалъ экстренныя запрещенія; III-е отдѣленіе грозило... Не оставалась нетронутой и область „народности“.

Понятіе „народности“ естественно вызывало мысль о единоплеменномъ славянствѣ, и мы видѣли, что „Маякъ“, съ величайшимъ усердіемъ присоединившійся къ программѣ министерства просвѣщенія, началъ говорить о славянствѣ древнемъ и современномъ. Болѣе серьезно сталъ заявлять славянскія сочувствія „Москвитянинъ“, мнѣнія котораго имѣли въ поделадѣ не только идеальный, но и политическій панславизмъ, хотя ясно не высказанный. Между тѣмъ цензурное вѣдомство и другія сопредѣльныя съ нимъ власти нисколько не поощряли не только славянскихъ сочувствій, но даже сочувствій къ *рускимъ* единоплеменникамъ въ западномъ краѣ²⁾. Такъ, въ 1841 году, въ цензуру представлено было стихотвореніе Хомякова „Кіевъ“, гдѣ перечисляются поелонники, сходящіеся къ его святынямъ; цензура выключила строфы, говорившія о сынахъ Волны и Галича³⁾. Относительно славянскихъ сочувствій министру народнаго просвѣщенія (тогда главѣ цензуры) дѣлались такія донесенія (1842): „Въ послѣдніе годы нѣкоторые журналы, и въ особенности „Москвитянинъ“, приняли за особенную тему выставлять живущихъ подъ владычествомъ Турціи и Австріи славянъ, какъ терпящихъ особыя угнетенія (а они ихъ не терпѣли?), и предвѣщать скорое отдѣленіе ихъ отъ иноплеменнаго ига... Возбуждать участіе къ политическому поработенію нѣкоторыхъ славянскихъ народовъ, представлять имъ Россію, какъ главу, отъ которой могутъ они ожидать лучшаго управленія къ будущности; и явно рукоплескать порывамъ ихъ къ эманципаціи—едва ли можно считать такую пропаганду не опасною“⁴⁾.

Это опять по программѣ „народности“, и сообразно съ этимъ

¹⁾ Истор. свѣдѣнія о цензурѣ, стр. 70—71.

²⁾ Впослѣдствіи, во всемъ этомъ винили „общество“.

³⁾ Мы вокругъ твоей святыни
Всѣ съ любовью собраны...
Братцы, гдѣ жь сыны Волны!
Галичъ, гдѣ твои сыны? и проч.

Стихотвореніе Хомякова явилось тогда въ „Москвитянинѣ“ 1841, ч. III, кн. 5.

⁴⁾ Историч. свѣд. о цензурѣ, стр. 64—65.

Россія вмѣшалась въ концѣ этого періода въ австрійскія дѣла, чтобы „спасать Австрію“.

Старое недовѣріе къ славянофильству продолжалось, и въ 1852 г. подтверждено было отъ высшей власти, черезъ III-е отдѣленіе, чтобы „на представляемыя къ одобренію, для изданія въ свѣтъ, сочиненія въ духѣ славянофиловъ было обращено особенное и *строжайшее* вниманіе со стороны цензуры“ ¹⁾.

Наконецъ, опека распространялась на самыя произведенія народной словесности. Кирѣевскій заблуждался, думая, что цензура бессильна надъ этими произведеніями; въ 1853 г. цензура получила формальный приказъ отклонять пропускъ такихъ народныхъ преданій, которыми „нарушаются добрые нравы“ и „которыхъ сохранять въ народной памяти чрезъ печать нѣтъ никакой пользы“.— Запрещенія этого рода были повторяемы нѣсколько разъ, и цензура сама рѣшала, не спрашивая историковъ и этнографовъ, въ 1853, что напр.: „Наговоры (заговоры?) и волшебныя заклятія, какъ остатки *вреднаго суевѣрія*, не имѣющіе и *въ ученомъ отношеніи* никакого значенія, вовсе не должны быть допускаемы къ печати, не только въ періодическихъ изданіяхъ, доступныхъ большому и разнообразному кругу читателей, но даже и въ сборникахъ и книгахъ, составляемыхъ съ ученою цѣлію и предназначенныхъ для образованнаго класса публики“ ²⁾. Упомянутыя сейчасъ распоряженія вызывались, между прочимъ, не иными поводами, какъ, напр., изслѣдованіями г. Буслаева, „Архивомъ“ Калачова. Такимъ образомъ благочиніе водворялось даже въ старинѣ, заднимъ числомъ: еслибы продолжалось это отношеніе къ народнымъ преданіямъ, исторія должна была обратиться въ такой же рапортъ о всеобщемъ благополучіи, какими изображалось настоящее. Исторія, чтобы явиться на свѣтъ Божій, также должна была подчищаться и поддразниваться; а что уже никакъ не могло быть поддразнено, то совсѣмъ запрещалось. Таково распоряженіе 1854 г., по которому „сочиненія, относящіяся къ смутнымъ явленіямъ нашей исторіи, какъ-то: ко временамъ Пугачева, Стеньки Разина и т. п., и напоминающія общественныя бѣдствія и внутреннія страданія нашего отечества, ознаменованныя буйствомъ, возстаніями и всякаго рода нарушеніями государственнаго порядка, *при всей благонамеренности* авторовъ и самыхъ статей ихъ, *неумѣстны* и оскорбительны для народнаго чувства (1), и оттого должны быть подвергаемы *строжайшему* цензурному разсмотрѣнію и не иначе быть допускаемы въ

¹⁾ Сборникъ постановленій и распоряженій по цензурѣ съ 1720 по 1862 годъ. Спб. 1862, стр. 282.

²⁾ Сборникъ постан. и распор., стр. 188—289, 291, 294—297.

печатать, какъ съ величайшею осмотрительностью, избѣгая печатанія оныхъ въ періодическихъ изданіяхъ“¹⁾.

Еще за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, цензура получила приказаніе обратить особое вниманіе на статьи объ отечественной исторіи, для предотвращенія въ нихъ разсужденій о вопросахъ государственныхъ и политическихъ: „Особливой внимательности требуетъ тутъ стремленіе нѣкоторыхъ авторовъ къ возбужденію въ читающей публикѣ необузданныхъ порывовъ *патріотизма* (1), общаго или провинціальнаго, стремленіе, становящееся иногда, если не опаснымъ, то по крайней мѣрѣ, не благоразумнымъ, по тѣмъ послѣдствіямъ, какія оно можетъ имѣть“²⁾. Трудно понять, какой поводъ и какую именно цѣль имѣло это распоряженіе (1847 г.). Наконецъ, цензора получили приказаніе—въ случаѣ, еслибы имъ представлены были на разсмотрѣніе сочиненія, обнаруживающія въ писателѣ особенно вредное, въ политическомъ и нравственномъ отношеніи направленіе, сообщать эти сочиненія, негласнымъ образомъ, въ III-е отдѣленіе, съ тѣмъ, чтобы послѣднее уже принимало свои мѣры³⁾.

При томъ пониманіи „народности“, которое обнаруживается изъ „негласныхъ“ разъясненій самой власти, понятно, что эта система не должна была особенно заботиться о народномъ образованіи и должна была относиться недовѣрчиво къ литературѣ, назначенной для народа. Еще въ 1834 г. Уваровъ предложилъ на обсужденіе главнаго управленія цензуры вопросъ, удобно ли распространять простонародную литературу. Главное управленіе пришло къ такому заключенію, что „приводить (т.-е. при посредствѣ литературы) низшіе классы нѣкоторымъ образомъ въ движеніе и поддерживать оныя какъ бы въ состояніи напряженія (1), не только бесполезно, но и вредно“⁴⁾. Оно и было, пожалуй, вѣрно относительно крѣпостной массы: „вразумлять объ электричествѣ“ крѣпостного было бы насмѣшкой; но вѣдь были и милліоны некрѣпостныхъ?—Строгіе блюстители цензурныхъ принциповъ, въ 1855 году, напали, наконецъ, даже на бѣднаго, давнымъ-давно ходившаго въ дѣтскомъ и простонародномъ чтеніи „Конька-Горбунка“, нашедши въ немъ „прикосновеніе къ православной церкви, къ ея установленіямъ и къ постановленнымъ отъ правительства властямъ—представляются земскій судъ и городничій“ и т. д.; къ счастью, главное управленіе защитило „Конька Горбунка“⁵⁾.

¹⁾ Тамъ же, стр. 298.

²⁾ Тамъ же, стр. 240.

³⁾ Тамъ же, стр. 248.

⁴⁾ Историч. свѣдѣн. о ценз., стр. 64.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 88.

Литература для народа не могла процвѣсть въ подобныхъ обстоятельствахъ. Императоръ Николай, который самъ находилъ время слѣдить за литературой, въ 1850 году обратилъ вниманіе на недостатокъ простонародныхъ книгъ, соответствующихъ цѣли. Министръ просвѣщенія, кн. Ширинскій-Шихматовъ, представилъ докладъ объ этомъ предметѣ, гдѣ между прочимъ замѣчалъ, что въ простонародныхъ книгахъ долженъ быть употребляемъ церковный шрифтъ; но дѣло не подвинулось, и черезъ два года кн. Шихматовъ, на вопросъ предсѣдателя негласнаго комитета, не могъ указать ни на одинъ удачный опытъ сочиненія для простонароднаго чтенія ¹⁾.

Въ концѣ концовъ, система „народности“, примѣненная къ просвѣщенію, дала за пятнадцать лѣтъ 1833—1848, изумительный результатъ—*пониженіе* литературной производительности вообще ²⁾, и въ частности уменьшеніе числа сочиненій по теоріи словесности и искусствъ, по философіи и отечественной исторіи.

Таковы были условія, въ которыхъ, во имя „народности“, существовала литература и совершались изученія самой народности. Не сваливая цѣликомъ на цензуру недостатки литературы, происходившіе отъ уровня самого общества, нельзя не видѣть, что именно ей и направлявшимъ ее сферамъ слѣдуетъ, однако, приписать медленность движенія и совершенное исчезновеніе изъ печати и изъ обращенія въ обществѣ многихъ понятій, которыя ранѣе уже возникли и несомнѣнно могли служить серьезнымъ интересамъ общества и настоящей народности.

Самая мысль о выставленіи *народности*, какъ принципа, была внушена давнимъ присутствіемъ этого стремленія въ образованнѣйшихъ кругахъ и въ литературѣ. Оно выросло изъ сильнаго возбужденія, начавшагося въ обществѣ при началѣ царствованія Александра I, поддержаннаго 1812 годомъ и обновившагося еще разъ въ концѣ царствованія подъ вліяніемъ европейскаго либерализма. Въ литературѣ это стремленіе обнаружилось живымъ интересомъ къ вопросамъ внутренней жизни и отразилось отчасти въ романтической школѣ. Въ лучшемъ общественномъ кругѣ явились вопросы о необходимости освобожденія крестьянъ, о необходимости народной школы, о терпимости къ религіозному разновѣрію, о большей свободѣ печати, какъ выраженія общественныхъ и народныхъ мыслей и желаній, и т. п. Новое правительство, увлекшись послѣ катастрофы 14 декабря реак-

¹⁾ Тамъ же, стр. 72.

²⁾ Цифры, по пятилѣтіямъ, были слѣдующія:

1833—1837 г.	1838—1842 г.	1843—1847 г.
--------------	--------------	--------------

Пятилѣтній итогъ: 51,828

44,609

45,795

См. Историч. свѣдѣнія о цензурѣ, стр. 62.

ціей противъ либерализма, стало преслѣдовать всякія свободныя проявленія общественной мысли, подавлять то, что было естественнымъ ея ростомъ. Внутренняя жизнь общества не была, конечно, подавлена,—но реакція замедлила ея правильное развитіе и съ другой стороны произвела уродливости, съ которыми мы встрѣчались—обскурантныя національныя теоріи и рабское лицемѣріе. Административная власть, распоряженіе судьбами образованія и литературы, перешла къ людямъ, которые были злѣйшими врагами „либерализма“ и стремились истребить даже и то, что, какъ говорили, было желаніемъ самого императора,—она перешла къ крѣпостникамъ и полицейскимъ обскурантамъ, которые, конечно, въ высшей сферѣ представляли вещи въ своемъ собственномъ освѣщеніи. Кончилось, какъ мы видѣли по официальнымъ цифрамъ, тѣмъ, что, въ противность всякимъ статистическимъ вѣроятіямъ, книжная дѣятельность падала, т. е. невѣжество росло.

Слово „народность“, употребленное въ официальной программѣ, понятое сколько-нибудь серьезно и искренно, не могло не обновлять сочувствій къ народу, не вызывать мысли объ его положеніи, желанія, чтобы представительствомъ народнаго начала были лучшія, а не худшія свойства народа и учреждений. Но слово „народность“ было эвфемизмъ, обозначавшій собственно крѣпостное право... Нѣкоторые изъ искреннихъ романтиковъ народности, принявъ буквально программу, привѣтствовали ее, надѣясь видѣть въ ней хоть отчасти свои народолюбивыя стремленія; на дѣлѣ она представляла самый рѣшительный консерватизмъ и отрицаніе дѣйствительнаго народолюбія... Любителямъ народности идеальной и освободительной пришлось вскорѣ разубѣдиться; но за-то, настоящіе обскуранты и крѣпостники схватились крѣпко за эту программу и, сдѣлавши изъ нея свое знамя, успѣшно пользовались имъ противъ своихъ литературныхъ и общественныхъ противниковъ. На ней опирался „Маякъ“ и разные другіе отгѣнки застоя, вопіявшіе противъ запада, противъ вольнодумства, противъ новѣйшаго образованія, и обвинявшіе (какъ и теперь опять дѣлается) своихъ противниковъ въ измѣнѣ народности. Люди этого рода считали себя самыми русскими и, наконецъ, опротивѣли серьезной долѣ общества: возгласы о „народности“ стали злоупотребленіемъ, въ томъ родѣ, какъ случилось теперь съ музыкой „Боже царя храни“ въ московскихъ трактирахъ, противъ злоупотребленія которой паглыми скандалистами принимаетъ наконецъ мѣры полиція. Печать, воспитанная упомянутымъ сейчасъ цензурнымъ режимомъ, въ большинствѣ дошла до крайняго ничтожества; отношеніе къ общественнымъ вопросамъ заключалось въ лести и лицемѣрїи передъ властью, подъ маскою „народности“. Самыми „благо-

надежными“ людьми, въ глазахъ тогдашней системы, были люди въ стилѣ Булгарина. Пушкинъ былъ не совсѣмъ благонадеженъ и требовалъ надзора...

Лучшія силы литературы шли своимъ путемъ; заподозрѣнная властью, стѣсненные, едва терпимыя, онѣ выработывали дѣйствительное общественное сознание, и подъ ихъ вліяніями изученія народности къ концу періода принимаютъ новое благотворное направление: броженіе философскихъ теорій, съ тридцатыхъ годовъ, навело на общіе вопросы національной жизни; развитіе историческихъ знаній давало изслѣдователямъ научную основу. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи три мѣры, принятыя въ тѣ времена, оказали благотворное дѣйствіе и вознаграждали до извѣстной степени неблагоприятное для литературы вліяніе системы. Одной изъ нихъ было учрежденіе Археографической экспедиціи и комиссіи: собранные и изданные ими акты и лѣтописи дали богатый матеріалъ для новыхъ изслѣдованій русской старины. Другой мѣрой было основаніе кафедръ славянскихъ нарѣчій въ университетахъ: новая славистика въ первый разъ прочнымъ образомъ поставила изученіе родственнаго славянскаго міра, до тѣхъ поръ извѣстнаго очень скудно и отрывочно. Третьей—была посылка за границу молодыхъ ученыхъ для приготовления къ университетской кафедрѣ: прямое и живое вліяніе европейской, особливо нѣмецкой науки, вдохнуло новую жизнь въ нашу университетскую науку. Только первая изъ этихъ мѣръ могла послѣдовательно исходить изъ начала „народности“; вторая не совсѣмъ отвѣчала господствующей системѣ, потому что сочувствія къ славянству не поощрялись въ литературѣ; третья отвѣчала еще менѣе, —но была истинной заслугой для русской науки и образованности. Результаты этихъ мѣръ, въ связи съ внутреннимъ развитіемъ самой литературы, стали оказываться къ концу описываемаго періода: ими открывается въ исторіи нашихъ народныхъ изученій новый періодъ.

ГЛАВА XI.

ЭТНОГРАФИЧЕСКІЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЪ ЛИТЕРАТУРѢ ОТЪ ПУШКИНА ДО 50-ХЪ ГОДОВЪ.

Вопросъ о національномъ значеніи Пушкина.—Частное значеніе его произведеній для изученія народныхъ: его труды историческіе; отношеніе къ этнографіи.—Теоретическія понятія того времени объ исконной народности: Плетневъ; Терещенко.—Загоскинъ и Лажечниковъ.—Даль.—Лермонтовъ.—Гоголь.—Литература послѣ Гоголя; наступающій поворотъ въ изученіяхъ народности.

Первая истинно научная постановка вопроса народности принадлежитъ новѣйшему времени—послѣднимъ десятилѣтіямъ. Много труда поднято было и раньше для основанія ея научнаго изслѣдованія, но эти попытки большею частію были слабы и по основной точкѣ зрѣнія, и по свойству побужденій, и по приемамъ изслѣдованія: даже труды, по богатству матеріала монументальныя, каковы, напр. собранія Даля, не избѣгли этого общаго недостатка. Запутанность понятій доходила до того, что въ національной формулѣ тридцатыхъ годовъ подъ словомъ „народность“ разумѣлось учрежденіе, которое было униженіемъ народа, которое осуждало его на рабскую подавленность, нравственную и матеріальную. Для болѣе разумнаго пониманія дѣла научнаго и общественнаго, нужна была большая работа общественнаго сознанія, и болѣе совершенныя средства изслѣдованія, которыя даны были теперь европейской наукой.

Прежде чѣмъ перейти къ спеціальнымъ вопросамъ, необходимо остановиться на литературномъ явленіи, игравшемъ здѣсь существенно важную роль. Понятіе о народности, и вмѣстѣ отношеніе общества къ дѣйствительному народу, для массы общества, быть можетъ, разъяснялось гораздо меньше въ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ, чѣмъ въ произведеніяхъ поэзіи и беллетристики.

Съ двадцатыхъ годовъ слово „народность“ все чаще повторяется въ литературѣ; народность ставится цѣлью и достоинствомъ литера-

туры, но для большинства самих писателей она все еще остается вещью мало понятной и мало достигнутой. Великий поворотъ сдѣланъ былъ только поэзіей Пушкина.

Наша критика давно признала поэзію Пушкина фактомъ величайшаго значенія въ развитіи нашей литературы. Для Бѣлинскаго, взглядъ котораго былъ высшею ступенью критическихъ понятій съ тридцатыхъ и до пятидесятыхъ годовъ, предыдущая литература была только приготовленіемъ Пушкина, послѣдующая—только исполненіемъ программы, которая была широко намѣчена его дѣятельностью. Въ какомъ же отношеніи Пушкинъ стоитъ къ „народности“¹⁾?

Мнѣнія объ этомъ, исходившія изъ той или другой категоріи общественныхъ понятій и образовательнаго уровня, были разнообразны, иногда прямо противоположны. Мы воснемся вератцѣ лишь нѣкоторыхъ.

Былъ ли Пушкинъ національнымъ, народнымъ поэтомъ? Если да, это значило бы, что литература, если не разрѣшила, то была близка къ разрѣшенію вопроса о народности,—вопроса о будущемъ самой литературы. Великая слава, какой не имѣлъ еще ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ, слава, встрѣтившая еще юношескую дѣятельность Пушкина, указывала въ немъ избранника, который съумѣлъ затронуть какую-то живую струну общества, отвѣтить на какую-то исторически созрѣвшую потребность; позднѣйшій приговоръ исторіи ставить его главой и начинателемъ самостоятельной русской литературы. Но черезъ какое странное разногласіе и противорѣчія долженъ былъ пройти этотъ выводъ! И это разногласіе оказывалось не только при жизни поэта, въ ту пору, когда онъ вмѣшивался въ спорные вопросы и литературную вражду, но и послѣ, когда его дѣятельность была закончена, когда можно было уже дѣлать болѣе полныя и безпристрастные выводы. Въ началѣ дѣятельности, Пушкинъ былъ идоломъ молодыхъ поколѣній и союзникомъ прогрессивнаго направленія,—противъ него были задеревенѣвшіе классики и полицейскіе консерваторы; къ концу, его поклонники не были удовлетворены и, не зная его послѣднихъ произведеній, при жизни его еще не изданныхъ, думали и говорили объ упадкѣ или ослабленіи его таланта. Смерть поэта возбудила снова глубокія сочувствія, и посмертное появленіе его послѣднихъ произведеній показало его впервые во весь ростъ могущественнаго таланта; забыто было прежнее недовольство, отпали прежнія требованія, и дѣятельность Пушкина явилась въ новомъ

¹⁾ На общемъ значеніи Пушкина мы остановились въ „Характеристикахъ литературы“, изд. 2-е, 1890, гл. II; здѣсь имѣемъ въ виду одну спеціальную сторону его произведеній.

свѣтъ и въ болѣе правильной оцѣнкѣ—какъ величайшаго поэта-художника, какого имѣла русская литература.

Побужденія, по которымъ составлялись сочувствіе, антипатія, недовольство, были двойнаго рода: литературныя и общественно-тенденціозныя, или тѣ и другія вмѣстѣ. Такъ, старымъ классикамъ казались нарушеніемъ всѣхъ правилъ и приличій самая форма пушкинской поэзіи и ея „легкое“ содержаніе; съ другой стороны, новое литературное поколѣніе справедливо восторгалось этой формой, потому что въ самомъ дѣлѣ это былъ еще невиданный примѣръ изящества, и вмѣстѣ сочувствовало романтическимъ порывамъ, эпиграмматическому либерализму, за которымъ ожидало найти цѣлое общественное воззрѣніе, а позднѣе охладѣвало къ поэту, когда эти ожиданія ни мало не оправдывались. Съ другой стороны, власти никакъ не могли забыть „либеральной“ юности Пушкина и, несмотря на меценатство императора Николая (вѣроятно, несвободное отъ недовѣрчивости), для Бенкендорфа Пушкинъ былъ не поэтъ, а человѣкъ политическій, либераль, глава оппозиціи ¹⁾. По смерти Пушкина, его имя и сочиненія продолжали оставаться въ глазахъ высшей полицейской власти (правившей и судьбами литературы) подозрительными, и это отражалось въ литературѣ, въ писаніяхъ „надежныхъ“, „благонамѣренныхъ“ людей. Рядомъ съ этимъ мы видѣли, какъ говорилъ о Пушкинѣ „Маякъ“,—и не слѣдуетъ думать, чтобы это были только безсильныя ругательства невѣжды: „Маякъ“ представлялъ мнѣнія большой доли общества, съ точки зрѣнія архимандрита Фотія, т. е. невѣжественнаго и иногда лицемѣрнаго изувѣрства, отъ котораго русское общество далеко не избавилось и которое оказываетъ донинѣ весьма дѣйствительное вліяніе на судьбы русскаго просвѣщенія. По мнѣнію „Маяка“, Россія погибла бы, еслибы у нея родились еще Пушкины; съ этимъ, вѣроятно, соглашалась и точка зрѣнія Бенкендорфа. Въ 1880 году, благочестиво-ретроградный взглядъ „Маяка“ былъ отвергнутъ въ рѣчи митрополита Макарія пожеланіями и молитвою, чтобы Господь послалъ Россіи и еще геніальныхъ людей и великихъ дѣятелей, какъ Пушкинъ, а въ 1882 г. въ духовной академіи (петербургской) читалась торжественно рѣчь ²⁾, доказывавшая, что идеалы Пушкина, очищенные отъ временныхъ заблужденій, отвѣчали именно самымъ консервативнымъ и благонамѣреннымъ воззрѣніямъ на государство, народъ, религію и нравственность, — словомъ, отвѣчали программѣ официальной народности тридцатыхъ годовъ. Но съ другой стороны на консерватизмъ Пушкина давно указывалось

¹⁾ Стоюнинъ, „Пушкинъ“, Слб. 1881, стр. 427.

²⁾ „Идеалы Пушкина“, В. Н. (Никольскаго), въ „Христ. Читенія“ 1882, № 3—4.

и критиками совсѣмъ иного направленія, которые прежде искали въ поэзіи Пушкина возбужденій къ общественному совершенствованію—

Народамъ миль и дорогъ тотъ,
Бто спатъ ихъ мысли не даетъ;

думали, по словамъ самого поэта, что—

На поприщѣ ума нельзя намъ отступать,

и оставались огорченными за самого поэта, находя, что онъ, по тѣмъ или другимъ побужденіямъ, самъ попадалъ или давалъ увлечь себя на путь, гдѣ не предвидѣлось общественнаго усовершенствованія. Не иной смыслъ имѣли и извѣстныя статьи Писарева, который комментировалъ Пушкина, какъ онъ могъ быть понятъ въ настоящую минуту, по прямому смыслу его сочиненій ¹⁾.

Приведенные примѣры можно было бы чрезвычайно умножить, прослѣдивши впечатлѣнія поэзіи Пушкина на современное ему общество, и мнѣнія позднѣйшей критики отъ тридцатыхъ годовъ и до настоящаго времени.

Воспоминанія о Пушкинѣ—въ 1880—были настоящей апопеезой: люди противоположныхъ мнѣній сошлись на небываломъ литературномъ праздникѣ и отдавали уваженіе великому историческому дѣятелю—съ своихъ отдѣльныхъ точекъ зрѣнія; но въ то время какъ одни, въ историческомъ возбужденіи, провозглашали въ Пушкинѣ пророка, 'все-человѣка', другіе съ научной точки зрѣнія не усумнились одну долю его содержанія назвать—„общественной или нравственной археологіей“ ²⁾.

Итакъ, общество было раздѣлено относительно Пушкина и въ теченіе его дѣятельности, и донынѣ. Новѣйшіе комментаторы объясняютъ, что именно вражда или равнодушіе къ трудамъ, которыми онъ самъ дорожилъ, внушали Пушкину то презрѣніе къ толпѣ („Поэтъ, не дорожи любовію народной“), которое приписывали прежде общей эстетической теоріи (по однимъ—возвышенной, по другимъ—фальшивой): но Пушкинъ ошибался въ своемъ отчаяніи—былъ уголокъ общества, гдѣ питались къ нему самыя пламенныя сочувствія; а, съ другой стороны, онъ самъ иногда поощлялъ невѣрно свои идеальныя влеченія.

Если это раздѣленіе мнѣній отвѣчало разнымъ элементамъ и направленіямъ общества, то и самъ Пушкинъ, богатой личности котораго приходилось развиваться и дѣйствовать въ чрезвычайно сложныхъ и трудныхъ условіяхъ, представляетъ цѣлый рядъ видоизмѣ-

¹⁾ Ср. „Вѣнокъ на памятникъ Пушкину“, Спб., стр. 122—123.

²⁾ Рѣчь В. О. Ключевского.

ней своего содержания, которыя происходили не изъ одного только естественнаго развитія его поэтическаго творчества, но также изъ внѣшнихъ условій, вліявшихъ на складъ его мысли и общественнаго направленія. Обыкновенно, противопоставляютъ два главные періода его жизни и дѣятельности, раздѣляемые 1824—1826 годами (пробываніе въ Михайловскомъ), видя въ первомъ — пору кипучей молодости, неясныхъ порывовъ таланта, теоретическихъ заблужденій, и во второмъ — полную зрѣлость характера, ясность мысли, всю силу творчества. И, дѣйствительно, есть рѣзкія противоположности: молодость была молодостью; но въ дѣйствительности, многіе взгляды его первой поры не были ошибкой, и позднѣйшіе не всегда были поправкой. Основной чертой его характера было то, что это былъ человѣкъ преданія, но не былъ онъ и такой приверженецъ консерватизма, какъ желаютъ представить его теперь. Вообще, Пушкинъ дѣйствовалъ среди общества, очень сложнаго, исполненнаго противрѣчій, и соприкасался именно съ обоими теченіями общественно-политическихъ идей, съ однимъ, безусловно господствовавшимъ въ практикѣ жизни — чисто консервативнымъ, и съ другимъ, выроставшимъ почти тайкомъ въ глубинѣ общественнаго сознанія — прогрессивнымъ.

Въ обществѣ шла внутренняя работа переходной поры и, наконецъ, въ самомъ пониманіи „народности“ готовились весьма несходныя точки зрѣнія.

Возвращаемся къ вопросу о народности его поэзіи. Вѣлинскій, безъ сомнѣнія внимательно всѣхъ другихъ критиковъ изучавшій Пушкина, затруднился присоединиться къ выводу, называвшему Пушкина нашимъ „народнымъ“, „національнымъ“ поэтомъ¹⁾. Онъ при-

¹⁾ Напомнимъ его слова:

„Поэзія Пушкина удивительно вѣрна русской дѣйствительности, изображаетъ ли она русскую природу, или русскіе характеры: на этомъ основаніи, общій голосъ нарекъ его русскимъ, національнымъ, народнымъ поэтомъ... Намъ кажется это только въ половину вѣрнымъ. *Народный поэтъ* — тотъ, котораго весь народъ знаетъ, какъ, напримѣръ, знаетъ Франція своего Беранже; *національный поэтъ* — тотъ, котораго знаютъ всѣ сколько-нибудь образованные классы, какъ, напримѣръ, нѣмцы знаютъ Гёте и Шиллера. Нашъ народъ не знаетъ ни одного своего поэта; онъ поетъ себѣ доселѣ „Не бѣли-то снѣжки“, не подозревая даже того, что поетъ стихи, а не прозу... Слѣдовательно, съ этой стороны, смѣшно было бы и говорить объ знитетѣ народный въ примѣненіи къ Пушкину, или къ какому бы то ни было поэту русскому. Слово „національный“ еще обширнѣе въ своемъ значеніи, чѣмъ „народный“. Подъ „народомъ“ всегда разумѣютъ массу народонаселенія, самый низшій и основной слой государства. Подъ „націею“ разумѣютъ весь народъ, всѣ сословія, отъ низшаго до высшаго, составляющія государственное тѣло. Національный поэтъ выражаетъ, въ своихъ твореніяхъ, и основную, безразличную, безусловную для опредѣленія субстанціальную стихію, которой представителемъ бываетъ масса народа, и опредѣлен-

водитъ разсужденіе Гоголя объ этомъ предметѣ и, соглашаясь съ его опредѣленіемъ, что поэтъ можетъ быть и тогда національнымъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами своего народа,—замѣчаетъ: „Если хотите, съ этой точки зрѣнія, Пушкинъ *болѣе* національно-русскій поэтъ, нежели кто-либо изъ его предшественниковъ; но дѣло въ томъ, что *нельзя опредѣлить*, въ чемъ же состоитъ эта національность. Въ томъ, что Пушкинъ ¹⁾ чувствовалъ и писалъ такъ, что его соотечественникамъ казалось, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами? Прекрасно! Но какъ же чувствуютъ и говорятъ они? чѣмъ отличается ихъ способность чувствовать и говорить отъ способа другихъ націй?.. Вотъ вопросы, на которые не можетъ дать отвѣта настоящее, ибо Россія, по преимуществу,—страна будущаго“...

Итакъ, Бѣлинскій отказывался положительно назвать Пушкина народнымъ и національнымъ поэтомъ, и опредѣлить, въ чемъ состоитъ національность. Онъ предпочиталъ другое объясненіе: Пушкинъ владѣлъ такимъ могущественнымъ талантомъ и такимъ сильнымъ чувствомъ художественной правды, что достигалъ чрезвычайно вѣрнаго изображенія русской дѣйствительности. Эти-то вѣрныя картины русской жизни (насколько Пушкинъ ее затрогивалъ), невиданная раньше прелесть поэтического исполненія, и, наконецъ, мягкое гуманное чувство, проникающее всѣ его лучшія созданія, сдѣлали Пушкина первымъ русскимъ поэтомъ, идоломъ и любимцемъ общества, и въ этомъ заключается его „национальность“. Поэтомъ „народнымъ“ Пушкинъ не былъ, и еще до сихъ поръ не сталъ—по простой причинѣ: народъ, не имѣвшій школы, не зналъ его, и (за очень небольшимъ исключеніемъ людей, узнавшихъ о немъ въ школѣ) до сихъ поръ не знаетъ,—и въ самомъ дѣлѣ это можно было наглядно видѣть во время открытія памятника, въ 1880 г.; но Пушкинъ еще могъ бы стать и народнымъ поэтомъ, еслибы народъ былъ приготовленъ школою къ чтенію и уразумѣнію его поэзіи.

Не всѣ, однако, соглашались съ мнѣніемъ Бѣлинскаго. Болѣе

ное значеніе этой субстанціальной стихіи, развѣвшейся въ жизни образованнѣйшихъ сословій націи. Национальный поэтъ—великое дѣло! Обращаясь къ Пушкину, мы скажемъ, по поводу вопроса о его національности, что онъ не могъ не отразить въ себѣ географически и физиологически народной жизни, ибо былъ не только русскій, но притомъ русскій, надѣленный отъ природы гениальными силами; однако жъ въ томъ, что называлъ народностью или національностью его поэзіи, мы больше видимъ его необыкновенно великій художическій тактъ. Онъ въ высшей степени обладалъ этимъ тактомъ дѣйствительности, который составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ художника“ и т. д.

(Сочин. Бѣл., т. VIII, изд. 2, стр. 386—387).

¹⁾ По словамъ Гоголя.

поздніе судьи (другого лагеря) безусловно объявляли Пушкина поэтомъ національнымъ, и такъ какъ нужно было, наконецъ, объяснить, въ чемъ заключалась національность, они давали эти объясненія. Аполлонъ Григорьевъ ¹⁾, указывая примѣры того, какъ вѣрно рисовалъ Пушкинъ различныя стороны русской жизни, новой и старой (что давно указывалъ и Бѣлинскій), видитъ въ этомъ не силу художественнаго творчества, а именно „непосредственное чутье *народной сущности*“: Пушкинъ— „единственный полный человекъ, единственный всесторонній представитель нашей народной физиономіи“; это— „представитель всего нашего *душевною, особенною*, такого, что остается нашимъ *душевному, особенному* послѣ всѣхъ столкновеній съ чужимъ, съ другими мірами“. Но „народная сущность“ такъ и остается неопредѣлена, и дѣйствующая сила личности Пушкина опредѣляется такъ: Пушкинъ— „прежде всего художникъ, т.-е. великая, на половину сознательная, на половину бессознательная сила жизни, герой въ карлейлевскомъ значеніи героизма“; въ изображеніяхъ народа его спасала отъ крайностей и ошибокъ, въ какія впадали другіе писатели, „художественная добросовѣстность“, „высоко артистическое чувство правды“—то-есть, повторяется мнѣніе Бѣлинскаго ²⁾. Достоевскій основное національное свойство Пушкина указалъ въ извѣстной „всечеловѣчности“ ³⁾. Опять еще Бѣлинскимъ была достаточно истолкована эта сторона пушкинскаго таланта—способность глубоко проникать въ жизнь чуждыхъ обществъ и давнихъ временъ, и возсоздавать ее въ характерныхъ художественныхъ картинахъ. Это есть нерѣдкое свойство сильнаго таланта, а въ литературѣ этимъ свойствомъ гораздо въ болѣе сильной степени владѣютъ, напр., нѣмцы, литература которыхъ представляетъ, больше чѣмъ гдѣ-либо, массу произведеній чужихъ литературъ, усвоенныхъ нерѣдко въ замѣчательныхъ художественныхъ передачахъ. Страннѣе всего было то, что эту „всечеловѣчность“ выставляли какъ высочайшее, исключительно достоинство русской народности, люди, которые, считая свою школу самой русской и національной, отличались и грубѣйшею нетерпимостью ко всему не-русскому человѣчеству, даже къ частнымъ племенамъ собственной русской народности. Наконецъ, у нѣкоторыхъ критиковъ „народность“ Пушкина, какъ мы упоминали, представляется почти прямо въ смыслѣ официальной программы тридцатыхъ годовъ.

Въ „національности“ Пушкина не можетъ быть никакого со-

¹⁾ См. статьи въ журналѣ „Время“, 1861 (Сочиненія Аполлона Григорьева. Слб. 1876, т. I) и отвѣтъ на нихъ въ „Отеч. Зап.“ 1861, т. СXXXV, стр. 132—143.

²⁾ „Художническая добросовѣстность“ есть именно его терминъ. Сочин. VIII, стр. 408, 410. Прежде Григорьевъ называлъ критику Бѣлинскаго „сатурналиями“.

³⁾ Рѣчь о Пушкинѣ, въ „Дневникѣ писателя“, 1880.

миѣнія, какъ и въ „національности“ всѣхъ первостепенныхъ дѣятелей нашей литературы,—всѣ они люди своего народа и общества, связаны съ ними нерасторжимой связью жизненныхъ вліяній, развитія и дѣятельности, носятъ ихъ отраженіе въ своемъ характерѣ. Но тѣ миѣнія, которыя говорятъ о безусловной національности Пушкина, даже въ размѣрахъ мистическихъ, составляютъ патріотическое увлеченіе: какъ ни велико значеніе Пушкина, оно имѣетъ свои историческіе предѣлы, и самое проникновеніе въ „народную сущность“ было ограничено отсутствіемъ многихъ историческихъ, общественно-бытовыхъ и этнографическихъ средствъ и свѣдѣній. Онъ—„пророкъ“, говорятъ энтузіастическіе поклонники; онъ самъ, въ глубокомъ сознаніи нравственно возвышающаго значенія поэзіи, приравнивалъ идеальное служеніе поэта съ служеніемъ древняго пророка; онъ считалъ условіемъ этого служенія свободу творчества, думалъ, что обладаетъ ею,—но господствующая практика жизни и не думала давать ему этой свободы, искажала его дѣятельность и иногда самого вводила въ заблужденіе...

Но чтѣ такое національность, о которой ведутся споры? Въ теченіи настоящей книги мы уже касались этого вопроса, и повторимъ нѣсколько общихъ замѣчаній.

Въ самомъ общемъ смыслѣ, это—понятіе, совмѣщающее всѣ физическія и нравственныя особенности извѣстнаго народа. Очевидно, что ихъ пониманіе можетъ быть совершенно различно. Во-первыхъ, смотря по умственному развитію наблюдателя, способности проникать въ сущность явленій: мировоззрѣніе разныхъ наблюдателей различно окрашиваетъ одинъ и тотъ же предметъ; „національность“ писателя (выражающаго художественно основныя свойства народа и доступнаго массѣ) можетъ поэтому быть объясняема съ совершенно разныхъ точекъ зрѣнія: такъ относительно Пушкина разошлись Гоголь, Вѣлинскій, Ап. Григорьевъ, „Маякъ“, Дудышкинъ, Достоевскій, Писаревъ. Во-вторыхъ, сама по себѣ національность, какъ существо народа, представляетъ различное содержаніе, беремъ ли ее въ данное время съ тѣми качествами, какія являются преобладающими, или въ цѣломъ ея историческомъ бытіи, или наконецъ въ ея идеальныхъ задаткахъ. Прежде всего національность имѣетъ природу историческаго явленія. Въ данную минуту будетъ считаться національнымъ непосредственно господствующій порядокъ вещей (въ тридцатыхъ годахъ считали національнымъ. крѣпостное право); но исторически самая національность не неизмѣнна, и въ полное представленіе ея должно войти прошедшее, гдѣ могли сказываться черты быта и народнаго характера, которыя были подавлены историческими условіями, но не истреблены, и иногда способны, даже должны имѣть

свое будущее. Если преданіе отживаетъ свое время и, пока цѣло, стѣсняетъ развитіе народныхъ силъ, то усилія освободиться отъ него будутъ истинно національнымъ дѣломъ (хотя бы на первое время принадлежали только образованному меньшинству), какъ была національнымъ дѣломъ Петровская реформа, хотя въ данную минуту шла наперекоръ большинству и общества, и народа; какъ было національнымъ дѣломъ освобожденіе крестьянъ, еще наканунѣ считавшееся преступнымъ покушеніемъ на національное благо; какъ было національнымъ дѣломъ все развитіе новѣйшей литературы, хотя она до сихъ поръ, въ своихъ лучшихъ созданіяхъ, остается чужда народной массѣ. Забывая эти историческія явленія національности, мы рискуемъ впадать въ грубыя ошибки. напр., дурныя учрежденія, оставшіяся отъ старины и народу ненавистныя, но могущія быть устраненными или исправленными, можемъ счесть ему по существу свойственными; или счесть такимъ свойствомъ народную косность или рабское чувство, когда народъ невѣжественъ не по недостатку способностей, и безправенъ по наслѣдію отъ тяжелой исторіи. Вообще, народныя свойства могутъ быть правильно оцѣнены лишь тогда, когда народныя массы въ состояніи будутъ раскрыты ихъ, владѣя извѣстнымъ просвѣщеніемъ и свободой дѣйствій. За отсутствіемъ такого свободного и хотя нѣсколько просвѣщеннаго народа, за „націю“ отвѣчаютъ обыкновенно классы привилегированныя, и они даютъ свой комментарий народнаго характера: этотъ комментарий создается въ тѣхъ направленіяхъ, какія выработались въ образованномъ классѣ, въ то время какъ народъ остается при традиціонномъ и инстинктивномъ міровоззрѣніи, которое, при всей силѣ инстинкта, слишкомъ подвержено заблужденію—особливо въ новѣйшихъ условіяхъ народной жизни, все больше усложняющихся.

Въ опредѣленіи „национальности“, самой по себѣ или въ проявленіяхъ литературныхъ, должно быть наконецъ, кромѣ ея непосредственнаго и историческаго смысла, ея представленіе идеальное. Оно присутствуетъ обыкновенно въ національныхъ пристрастіяхъ и увлеченіяхъ,—и естественно, что сознавая свою особенность, народъ и его представители стремятся видѣть въ возможно широкомъ развитіи то, чтó имъ представляется національнымъ преимуществомъ, какъ очевидно, что направленіе идеализаціи будетъ обуславливаться мѣркой развитія нравственнаго чувства и знанія. Извѣстны у всѣхъ народовъ безъ исключенія—примѣры національнаго самомнѣнія и самообольщенія. На грубыхъ ступеняхъ національнаго чувства національное преимущество всего чаще понимается какъ преимущество физической силы (въ томъ періодѣ, о которомъ говоримъ, любили повторять, что Европа „боится“ насъ, или что мы ее „кормимъ“, что Гер-

манія есть только „наши пятидесятыя губерніи“ и т. п.), и иногда этимъ самообольщеніемъ матеріальной силой хотять вознаградить себя за сознаніе слабости внутренней, гражданской и культурной. Понятно, что въ просвѣщеннѣйшей долѣ общества идеализація національности ищетъ основаній болѣе возвышенныхъ, и какъ въ самой жизни просвѣщеннѣйшіе люди стремились къ улучшенію понятій, нравовъ и учреждений, такъ и въ пониманіи національности они внушали болѣе высокія требованія, отвергая грубые, наиболѣе распространенные взгляды бытовые и грубые идеалы національные, — что навлекало имъ въ литературной и общественной толпѣ, безсознательной и мнимо консервативной, названіе „отрицателей“. Въ эту послѣднюю категорію причислялись люди прогрессивнаго направленія, стремившіеся къ улучшенію жизни путемъ болѣе широкаго образованія и общественной самодѣятельности; и къ ней же могли быть причислены люди славянофильской школы, которые, въ лучшихъ трудахъ ихъ, искали того же улучшенія жизни путемъ возстановленія подавленныхъ исторію народныхъ учреждений, отвергая, какъ и ихъ противники прогрессивной школы, настоящей застой; безправіе и скудость просвѣщенія. Понятно, что мнимое „отрицаніе“ было только болѣе пламеннымъ, сознательнымъ стремленіемъ къ возвышенію общественности и вмѣстѣ національнаго идеала. Въ самыхъ изученіяхъ этнографіи, кромѣ непосредственнаго желанія изучить свой народъ, однимъ изъ сильныхъ стимуловъ было желаніе найти бытовые и народно-историческіе факты для теоретическаго опредѣленія народныхъ идеаловъ, которые должны бы стать и національными.

Вопросъ о національномъ значеніи Пушкина опредѣлится съ изученіемъ его литературнаго содержанія сравнительно съ предшествовавшей эпохой, общественнымъ движеніемъ его времени и съ ихъ историческими результатами въ дальнѣйшемъ ходѣ общества и литературы.

Понятно, что поэтическая литература должна была также дѣйствовать на развитіе интереса къ народу и этнографическаго знанія. Вліяніе Пушкина въ этомъ отношеніи было очень сильное. Остановимся на нѣсколькихъ указаніяхъ.

Во-первыхъ, историческое пониманіе прошедшаго. Пушкинъ не былъ историкомъ, хотя желалъ быть имъ, и заслугу его въ этомъ отношеніи составляютъ — не исторія Пугачевского бунта, не приготовленія къ исторіи Петра Великаго, а именно рядъ его поэтическихъ произведеній... Въ своихъ историческихъ представленіяхъ Пушкинъ былъ, какъ извѣстно, горячимъ приверженцемъ Карамзина. „Карамзинъ, — говоритъ Бѣлинскій, — не одного Пушкина, а нѣсколько поколѣній увлекъ окончательно своею „Исторію государства Россій-

скаго“, которая имѣла на нихъ сильное вліяніе не однимъ своимъ слогаемъ, какъ думаютъ, но гораздо больше своимъ духомъ, направлениемъ, принципами. Пушкинъ до того вошелъ въ ея духъ, до того проникнулся имъ, что сдѣлался рѣшительнымъ рыцаремъ исторіи Карамзина и оправдывалъ ее не просто какъ исторію, но какъ политическій и государственный коранъ, долженствующій быть пригоднымъ какъ нельзя лучше и для нашего времени, и остаться такимъ навсегда“¹⁾). При появленіи „Исторіи“ Пушкинъ написалъ извѣстныя эпиграммы, гдѣ въ насмѣшливой формѣ повторялось мнѣніе либеральнаго кружка, съ которымъ Пушкинъ былъ тогда близокъ. Впослѣдствіи онъ кажался въ этихъ эпиграммахъ; взгляды его, историческіе и общественные, формируются въ политическій консерватизмъ, программу котораго давалъ Карамзинъ, и въ смыслѣ котораго Пушкинъ считалъ себя обязаннымъ дѣйствовать²⁾). Онъ отступилъ отъ Карамзина только въ одномъ—въ поклоненіи Петру Великому, хотя въ послѣднее время взглядъ его на Петра также измѣняется въ направленіи къ Карамзину. Пушкинъ думалъ, что поэзія должна возсоздавать исторію; нѣкогда онъ ждалъ отъ Гнѣдича, окончившаго „Иліаду“, эпической поэмы изъ русской исторіи. „Исторія народа принадлежитъ поэту“. Онъ самъ задумалъ историческую драму, даже во виѣшней старинной формѣ³⁾), и посвятилъ ее памяти Карамзина. Въ Михайловскомъ Пушкинъ читаетъ лѣтописи и Четь-минеи, соприкасается съ живою народностью; но въ „Борисѣ“ принято готовое карамзинское представленіе, и знаменитый монологъ Пимена, прелестный какъ поэтический образъ, построенъ не на изученіи подлинной лѣтописи, а гораздо больше, если не исключительно, опять на сентиментальныхъ изображеніяхъ Карамзина⁴⁾). Заслуга Пушкина для нашего историческаго сознанія заключается и въ „Борисѣ Годуновѣ“ и въ „Полтавѣ“, а особенно въ тѣхъ историческо-бытовыхъ повѣстяхъ, начиная съ „Арапа Петра Великаго“, въ которыхъ онъ проводитъ передъ нами типы и нравы прошлаго столѣтія. Пушкинъ любилъ собирать рассказы о прошлыхъ временахъ; устное преданье имѣло для него особую привлекательность,—конечно по живому отголоску старины, какой не можетъ сохраниться въ книжномъ свѣдѣніи,—да притомъ въ тѣ времена часто нельзя было знать недавней исторіи иначе, какъ по устному преданію. Повѣсти Пушкина остались въ

¹⁾ Сочиненія, VIII, стр. 640.

²⁾ Ср. его отзывъ о Карамзинѣ въ Сочиненіяхъ (изд. 8-е, подъ редакціей П. А. Ефремова, М. 1882), т. V, стр. 37—39, 57, 79—80; т. VII, стр. 43, 142.

³⁾ „Комедія о царѣ Борисѣ“.

⁴⁾ Ср. статью С. Д. (Дудышкина): „Пушкинъ—народный поэтъ“, въ Отеч. Зап. 1860, т. СХХІХ, стр. 57—74.

нашей литературѣ единственными въ своемъ родѣ произведеніями, по этому рѣдкому соединенію поэтическаго творчества и свѣжаго преданія. Въ повѣстяхъ Пушкинъ проводитъ передъ нами цѣлый рядъ представителей того класса, въ которомъ собственно происходило преобразование русскаго общества, — въ разныхъ ступеняхъ и видахъ привившейся къ нему европейской образованности, отъ временъ Петра до Екатерины II, и, наконецъ, до Александровской эпохи, потому что Евгений Онѣгинъ есть новый потомокъ этого типа послѣпетровской дворянской культуры. Это значеніе историческихъ повѣстей было прекрасно объяснено въ юбилейной рѣчи г. Ключевского ¹⁾. Указавъ главные типы, изображенные Пушкинымъ въ этихъ повѣстяхъ, г. Ключевскій замѣчаетъ: „Такъ у Пушкина находимъ довольно связаную лѣтопись нашего общества въ лицахъ за 100 лѣтъ слишкомъ. Когда эти лица рисовались, масса мемуаровъ XVIII вѣка и начала XIX в. *лежала подъ студомъ*. Въ наши дни они выходятъ на свѣтъ. Читая ихъ, можно дивиться вѣрности глаза Пушкина. Мы узнаемъ здѣсь ближе людей того времени; но эти люди — знакомы уже намъ фигуры. „Вотъ Гаврила Аванасьевичъ, восклицаемъ мы, передистывая эти мемуары, а вотъ Троекуровъ, кн. Верейскій“ и т. д. до Онѣгина влѣчательно. Пушкинъ — не мемуаристъ и не историкъ; но для историка большая находка, когда между собой и мемуаристомъ онъ встрѣчаетъ художника. Въ этомъ значеніе Пушкина для нашей историографіи, по крайней мѣрѣ главное и ближайшее значеніе“.

Припомнимъ, наконецъ, знаменитую „Лѣтопись“ или, какъ она называлась въ рукописи самого Пушкина, „Исторію села Горохина“. Бѣлинскій видѣлъ въ ней остроумную шутку, — но не опредѣлялъ, надъ чѣмъ она шутила; по толкованію Аполлона Григорьева, это — „тончайшая и вмѣстѣ простодушно-поэтическая насмѣшка надъ цѣлою вѣковою полосою нашего развитія, надъ всею нашею поверхностною образованностью, изъ которой мы вынесли взглядъ совершенно неприложимый къ явленіямъ окружающей насъ дѣйствительности“ и т. д. ²⁾. Но гораздо ближе и проще объясненіе, что „Исторія села Горохина“ намекаетъ именно на манеру Карамзина. Въ пристрастіи Пушкина къ Карамзину была доля тенденціозности, и теперь ошибки теоріи онъ самъ исправляетъ живымъ наблюденіемъ и поэтической отгадкой. Такова „Исторія села Горохина“: предисловіе — картинка изъ жизни новѣйшихъ Митрофановъ, полуобразованныхъ дворянскихъ поколѣній; самая „Исторія“ есть видимо поправка къ

¹⁾ Р. Мысль, 1880.

²⁾ Сочиненія Григорьева, стр. 253.

прежнимъ мнѣніямъ о Карамзинѣ, къ которому Пушкинъ могъ уже относиться съ болѣе критикой: написана она со всѣми приемами историческаго изслѣдованія, съ перечисленіемъ и критикой источниковъ, съ выписками изъ лѣтописцевъ, съ народными преданіями, подвергаемыми снисходительному сомнѣнію. Въ то время, 1830, Карамзинъ былъ еще единственнымъ образчикомъ, который могла имѣть въ виду эта „шутка“; языкъ несомнѣнно повторяетъ вычурно-реторическія фразы Карамзина.

Для опредѣленія внутренней работы Пушкина чрезвычайно интересны историческія замѣтки Пушкина; иногда онѣ поразительны по своей истинѣ, напр., тѣ, къ которымъ относится отзывъ г. Ключевского: „Наша историографія,—говорилъ онъ въ той же рѣчи,—ничего не выиграла ни въ *правдивости*, ни въ занимательности, долго развивая взглядъ на нашъ XVIII вѣкъ, противоположный высказанному Пушкинымъ въ одной кишиневской замѣткѣ 1821 г.“¹⁾ Правда, эта замѣтка, какъ и многое другое въ нынѣшнемъ текстѣ Пушкина, не была извѣстна въ свое время и остается для насъ только фактомъ его развитія. Замѣтка стоитъ въ явномъ противорѣчій съ господствующимъ славословіемъ и заключаетъ много вѣрныхъ сужденій объ историческихъ герояхъ и героиняхъ нашего XVIII-го вѣка, сужденій особливо цѣнныхъ, если вспомнить, что фальшивый панегирикъ процвѣтаетъ въ нашей исторической литературѣ и до сихъ поръ. Первый періодъ его жизни, которому принадлежитъ его замѣтка, теперь обыкновенно принято осуждать какъ время либеральнаго легкомыслія: оказывается, что въ пору „легкомыслія“ Пушкинъ способенъ былъ къ такимъ наблюденіямъ и выводамъ (въ явно либеральномъ духѣ), которые очень высоко оцѣняются авторитетнымъ историкомъ нашего времени.

Если, по разсказу біографовъ, Пушкинъ былъ „мало приготовленъ“ къ исторіи, то еще меньше онъ могъ быть приготовленъ въ этнографіи. Но, какъ тамъ это не помѣшало ему внести важный вкладъ въ наше историческое сознаніе, такъ въ вопросахъ чистой этнографіи Пушкинъ оказалъ литературѣ великія услуги, прямыя и косвенныя. Ни у кого изъ русскихъ писателей раньше и послѣ (кромѣ специалистовъ или записныхъ любителей) не было такого вниманія къ народному преданію, поэзій, языку; никто такъ не любилъ наслаждаться оригинальностью и мѣткостью этого языка. Біографы любятъ говорить со словъ Пушкина объ его нянѣ, и не задумываются приписывать ей посвященіе Пушкина въ тайны народности. Пушкинъ

¹⁾ См. эту замѣтку въ Сочин. Пушкина, т. V, стр. 9—14; но годъ замѣтки не 1821, а 1822.

могъ съ любовью говорить о няиѣ, дорогой ему особенно въ деревенской ссылкѣ,—но довольно странно приписывать буквально ей и пребыванію въ селѣ Михайловскомъ вкусы Пушкина къ народности. Няня Пушкина была типическая старинная няня, богатая народной премудростью, сказками, примѣтами, присловьями. Одна черта, сообщаемая Пушкинымъ, до чрезвычайности характерна. Вернувшись въ деревню въ ноябрѣ 1826 изъ Москвы, куда онъ былъ вытребованъ императоромъ Николаемъ, Пушкинъ описываетъ въ письмѣ къ Вяземскому пріѣздъ свой въ деревню: „Ты знаешь, что я не корчу чувствительности, но встрѣча моею дворни, хамовъ и моею няни — ей-Богу пріятнѣе щекотитъ сердце, чѣмъ слава, наслажденія самолюбія, разсѣянности и пр. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лѣтъ она выучила наизусть новую молитву *о умиленіи сердца владыки и укрощеніи дуга ея свирѣпости*, молитву, вѣроятно, сочиненную при царѣ Иванѣ“¹⁾. „Владыка“ былъ, разумѣется, императоръ Николай Павловичъ, а няня совсѣмъ годилась въ XVI столѣтіе. Няня доставляла Пушкину матеріалъ, и судя по тому, что было Пушкинымъ употреблено изъ него (напр. сказки), матеріалъ стародавній (слѣдовательно, тѣмъ болѣе цѣнный); но если Пушкинъ обращался къ источникамъ народности, то основаніемъ этому была не случайность, какъ пребываніе въ Михайловскомъ, а весь историческій ходъ его литературнаго развитія. Бѣлинскій съ большою точностью указалъ, какимъ образомъ Пушкинъ въ „годы ученья“ пережилъ въ себѣ весь ближайшій періодъ литературы, ему предшествовавшій, и, завершая его въ своихъ юношескихъ произведеніяхъ, отрывалъ своими трудами новую ступень литературныхъ идей. Въ этомъ предшествующемъ періодѣ, съ прошлаго вѣка, были затронуты элементы народности, въ смыслѣ общественномъ, историческомъ и литературно-этнографическомъ. Начавъ дома съ французскихъ стиховъ, онъ скоро затѣваетъ „Бову“ (1815), и этимъ юношескимъ опытомъ уже кончается вліяніе карамзинской стихотворной манеры. Въ „Вадимѣ“ (1822) можно еще замѣтить манеру Жуковскаго, съ славянами на Оссіановскій образецъ; но въ томъ же году „Пѣсня о вѣщемъ Олегѣ“ уже самостоятельна въ поэтическомъ отношеніи, и если еще отзывается Карамзинимъ, то уже Карамзинимъ-историкомъ. Первая самостоятельная „поэма“ беретъ народно-сказочную тему, развиваемую на романтическій ладъ; въ 1822 онъ начинаетъ „Евгенія Онѣгина“, гдѣ между прочимъ уже безъ старыхъ сантиментальныхъ и романтическихъ прикрасъ явились картины деревенскія. Въ Михайловскомъ написанъ „Борисъ Годуновъ“, „вдохновенный“ Ка-

¹⁾ Сочин., т. VII, стр. 45.

рамзиннымъ и слѣдующій его историческимъ взглядамъ, а своей драматической формой свидѣтельствующій объ изученіи Шекспира. „Сношенія съ няней“ въ Михайловскомъ отразились нѣсколькими произведеніями на народныя темы (какъ „начало сказки“—о медвѣдихѣ, „Женихъ“ и пр.); но поэтическія изложенія сказокъ, безъ сомнѣнія слышанныхъ именно отъ няни, написаны уже долго спустя, въ тридцатыхъ годахъ.

Изъ Михайловскаго Пушкинъ пишетъ къ брату въ 1824: „по вечерамъ слушаю сказки и вознаграждаю тѣмъ недостатки проклятаго своего воспитанія. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма“... Этими словамъ давно придавали большое значеніе, видя въ нихъ рѣшительное признаніе „народности“, какъ принципа, или даже истолковывая ихъ въ смыслѣ мистическаго народничества. Но онѣ имѣютъ болѣе тѣсный смыслъ: воспитаніе, вслѣдствіе котораго Пушкинъ не разъ называетъ французскій языкъ болѣе ему близкимъ, чѣмъ русскій ¹⁾, не давало ему возможности раньше усвоить себѣ технику народнаго языка и сказочные сюжеты: это не была теорія народности, а только одинъ изъ ея разнообразныхъ литературныхъ интересовъ. Онъ дѣйствительно занялся записываніемъ пѣсенъ и сказокъ, и, по словамъ П. В. Кирѣевскаго, составилъ замѣчательный пѣсенный сборникъ ²⁾. „Недостатки воспитанія“ — не только домашняго, но и лицейскаго—Пушкинъ вознаграждалъ тогда и другими средствами: чтеніемъ Карамзина и лѣтописей, изученіемъ Шекспира. Его собственныя поэтическія воспроизведенія сказочныхъ сюжетовъ не удовлетворяли уже Бѣлинскаго: это былъ „плодъ довольно ложнаго стремленія къ народности“. Бѣлинскій исключалъ только „Сказку о рыбацкѣ и рыбацѣ“, гдѣ народу принадлежитъ только мысль, а весь рассказъ принадлежитъ поэту): народныя сказки „хороши и интересны такъ, какъ создала ихъ фантазія народа, безъ перемѣнъ, украшеній и передѣлокъ“ ³⁾; для спеціалиста этнографа подобныя пересказы вообще не имѣютъ значенія ⁴⁾. Но эти произведенія Пушкина въ тогдашнихъ условіяхъ литературы и литературнаго языка

¹⁾ Напр. въ письмѣ къ Жуковскому, 1824: „французскій языкъ — мнѣ болѣе по перу“; въ письмѣ къ Чаадаеву, 1831: „je vous parlerai la langue de l'Europe, elle m'est plus familière que la notre“. Сочин. т. IX, стр. 198, 341.

²⁾ См. сказки Арины Родионовны, въ Сочин. VII, стр. 409—414; любопытная сказка о Георгій Храбромъ и о волкѣ, со словъ Пушкина пересказана Далемъ (Соч. Далл., 1861, томъ IV); пѣсни, записанныя Пушкинымъ, въ Сочин. II, стр. 380, 390.

³⁾ Сочин. Бѣлинскаго, VIII, стр. 700. До Бѣлинскаго подобнымъ образомъ относились къ сказкамъ Пушкина и Надеждинъ.

⁴⁾ Такъ, между прочимъ, пропадаетъ для этнографіи сказка о Георгій Храбромъ и о волкѣ, которая была бы чрезвычайно интересна въ подлинной народной одеждѣ.

имѣли свою важность какъ новое указаніе на источники народности, какъ образчикъ технической виртуозности; и еще важнѣе по литературному вліянію были самостоятельныя произведенія Пушкина на народные темы: именно онѣ составляли главный результатъ народныхъ стремленій Пушкина, особенно въ ряду съ другими произведеніями, эпизодически касающимися народной жизни (Евгеній Онѣгинъ, Борисъ Годуновъ, Исторія села Горохина, историческія повѣсти и пр.).

Такимъ образомъ Пушкинъ вносилъ свой вкладъ и въ чистую этнографію, распространяя интересъ къ прямому изученію народного быта и поэзіи, собирая сказки и пѣсни, поддерживая своимъ мнѣніемъ и авторитетомъ начинавшіяся изученія, напр., изученіе пѣсенъ—Кирѣевскимъ, народного языка — Далемъ; а внѣ собственной этнографіи — художественными изображеніями народного быта. У Пушкина въ первый разъ народъ являлся безъ сантиментальныхъ и романтическихъ ходулъ ¹⁾, съ подлинными чертами быта и языка, и это было чрезвычайно важно. Въ литературной толпѣ еще долго тянулось прежнее фальшивое отношеніе къ народности, карамзинская чувствительность, въ соединеніи съ лицемеріемъ официальной народности, но у большихъ писателей, продолжавшихъ дѣло Пушкина, оно стало уже невозможно. Самъ Пушкинъ далеко еще не совершилъ всего дѣла; нужно было еще много изученій и художественнаго труда, чтобы идея „народности“ утвердилась въ литературѣ, но поэзія Пушкина лавала настроеніе, тонъ этому труду. Подъ внушеніями этой поэзіи—которыя даже горячему панегиристу Пушкина, какъ Ап. Григорьевъ, представлялись отчасти сознательными, но отчасти и бессознательными, — *правдиво-реальное отношеніе къ „народности“* было завоевано, какъ литературное орудіе, и у преемниковъ Пушкина развилось въ широкія и уже сознательныя примѣненія. Это отразилось и на работахъ историко-этнографическихъ, гдѣ—въ параллель съ указаніями новыхъ научныхъ изслѣдованій—народъ сталъ болѣе и болѣе рассматриваться, какъ организмъ, на которомъ сосредоточивается историческое развитіе государства и народности.

Что не все было сдѣлано Пушкинымъ, особенно видно на его общественныхъ понятіяхъ. Въ нихъ было нѣсколько разныхъ теченій, отчасти смѣнявшихъ другъ друга, отчасти одновременно существовавшихъ, иногда примиряемыхъ, иногда оставляемыхъ въ ихъ противорѣчіи. Первая эпоха, какъ извѣстно, отличена либеральными наклонностями, которыя были съ одной стороны отголоскомъ вольтеріанства, съ другой исходили изъ новѣйшаго либерализма: то и

¹⁾ И безъ ходулъ псевдо-классическихъ, какъ нерѣдко у Крылова.

другое было довольно поверхностно, но въ этихъ ученіяхъ были свои серьезныя понятія — какъ понятія о свободѣ мысли, о необходимости, когда-нибудь, свободы гражданской и прежде всего освобожденія крестьянъ; наконецъ, всегда сохранившееся у Пушкина требованіе свободы художественнаго творчества.

Либерализмъ приходится во временамъ императора Александра, когда Пушкину пришлось испытать „гоненіе“, вслѣдствіе котораго Пушкинъ до конца царствованія Александра I ему „подсвистывалъ“; но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ въ концѣ ссылки начиналась зрѣлая пора поэтической дѣятельности, совершалась перемѣна и въ общественныхъ взглядахъ Пушкина: онъ сознаетъ, что имп. Александръ поступалъ съ нимъ „справедливо“; онъ дѣлается мирнымъ консерваторомъ и его мнѣнія окрашиваются новымъ направленіемъ до настоящей тенденціозности—особенно съ 1826 года. Приближенный къ средоточію власти, разубѣдившись въ старомъ либерализмѣ, Пушкинъ думалъ, что нашелъ настоящій путь для своихъ гражданскихъ мнѣній и пошелъ по немъ съ усердіемъ неофита, полагающаго, что долженъ искупить прошедшія ошибки. Отсюда простекали разные факты его дѣятельности въ послѣднемъ періодѣ его жизни: записка о воспитаніи; участіе въ запискѣ кн. Вяземскаго ¹⁾; отзывъ о „якобинизмѣ“ Полевого ²⁾; предложеніе правительству своего журнала ³⁾; отзывъ о Радищевѣ, 1836 г., совѣтъ противоположный его прежнимъ мнѣніямъ объ этомъ писателѣ; отсюда также происходило желаніе быть не только поэтомъ, но историкомъ, что могло казаться болѣе дѣйствительной „службой“ отечеству въ глазахъ его судей и покровителей; этотъ тонъ слышится въ его официальныхъ письмахъ, въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ, какъ „Клеветникамъ Россіи“ и т. д.

Точка зрѣнія была консервативная. Мы говорили въ другомъ мѣстѣ ⁴⁾ объ его взглядахъ позднѣйшаго времени, когда онъ сожалѣлъ о паденіи стариннаго боярства, когда Петръ казался ему Робеспьеромъ и Романовы „революціонерами“ (за это истребленіе боярства), когда онъ мечталъ о „независимой“ наслѣдственной аристократіи, когда рядомъ съ этимъ у него особенно стали сказываться собственные „генеалогическіе предрасудки и т. д. Можно исторически прослѣдить развитіе этихъ теорій Пушкина (между прочимъ истекавшихъ, вѣроятно, изъ того что въ тогдашнемъ общественномъ состояніи онъ не видѣлъ кромѣ родовой аристократіи никакого иного политическаго элемента); но теоріи во всякомъ случаѣ были

¹⁾ Полное собр. сочиненій кн. Вяземскаго, т. II, стр. 211—226.

²⁾ Сочиненія Пушкина, т. V, стр. 233.

³⁾ Тамъ-же, стр. 180.

⁴⁾ См. „Характ. литературныхъ мнѣній“, изд. 2-е, гл. П.

ошибочныя и не оправдывали распространяемаго теперь представленія объ его пророческомъ пророческомъ проношеніи въ народныя русскія начала: теорія была невѣрна исторически, потому что у насъ именно не было, да едва ли уже и можетъ быть такая наследственная и властвующая аристократія, о какой мечтали Пушкины, и если бы она даже устроилась, едва ли была бы особымъ благомъ для Россіи и чѣмъ-нибудь сочувственнымъ для народа. Тѣ образчики ея, какіе могли представляться Пушкину въ прошедшемъ, были плохимъ примѣромъ. Въ одномъ изъ послѣднихъ трудовъ Кавелина, — которому трудно отказать въ знаніи русской исторіи, — находится какъ будто намѣренный отвѣтъ на слова Пушкина о революціонной дѣятельности Петра ¹⁾: „мысль, будто реформа Петра и петровскій періодъ представляютъ какой-то переломъ въ русской жизни, неожиданный, безпричинный, какъ будто съ неба упавшій, — ни на чемъ не основана... Взглядъ на Петра Великаго, какъ на какаго-то чуть-чуть не *Робеспьера*, также обличаетъ глубокое непониманіе русской исторіи и великаго царствованія, какъ и упреки въ томъ, что онъ былъ антихристъ, закланный иностранецъ и нестерпимый тиранъ“ ²⁾.

Современникамъ Пушкина (и непринадлежавшимъ къ его кругу) не остались неизвѣстны эти его взгляды. У нихъ не было того матеріала, который сталъ извѣстенъ теперь въ письмахъ и замѣткахъ Пушкина; но личность поэта была предметомъ величайшаго интереса, его сочиненія изучались внимательнѣйшимъ образомъ; намеки комментировались, а, наконецъ, были живыя свѣдѣнія и рассказы. Бѣлинскій по поводу „Бориса Годунова“ говорилъ о Пушкинѣ весьма категорически, что „онъ въ душѣ былъ больше помѣщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта“ ³⁾.

Если была возможность чувствовать въ поэтѣ помѣщика по поводу даже „Бориса Годунова“, то понятно, что Бѣлинскій затруднился безусловно назвать Пушкина поэтомъ національнымъ: обществу и критикѣ приходилось иногда видѣть въ немъ не полное выраженіе своихъ лучшихъ идеаловъ, а только панегирикъ одной эпохи, одного порядка вещей, видѣть тенденцію одного извѣстнаго круга. Исторія не подтвердила этого панегирика... Въ этой же односторонности надо искать и причину того, что къ концу жизни Пушкина (когда, замѣтимъ, не были извѣстны многія изъ лучшихъ его произведеній, явившіяся только въ посмертномъ изданіи) публика начинала охлаждать къ поэту. Въ иныхъ случаяхъ, это охлажденіе

¹⁾ Эти слова явились только въ изданіи Ефремова, 1882, и едва ли были въ виду у Кавелина.

²⁾ „Вѣстн. Евр.“ 1882, декабрь, стр. 937.

³⁾ Сочиненія Бѣлинскаго, VIII, стр. 638.

было дѣломъ непониманія, легкомыслія; но въ другихъ имѣло свои основанія. Бѣлинскій самъ объясняетъ его главнымъ образомъ тѣмъ, что Пушкинъ въ послѣдніе годы удалился въ область чистаго искусства. „И чѣмъ совершеннѣе становился Пушкинъ какъ художникъ, тѣмъ болѣе скрывалась и исчезала его личность за чуднымъ, роскошнымъ міромъ его поэтическихъ созданій. Публика, съ одной стороны, не была въ состояніи оцѣнить художественнаго совершенства его послѣднихъ созданій (и это, конечно, не вина Пушкина); съ другой стороны, она въ правѣ была искать въ поэзіи Пушкина болѣе нравственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это, конечно, была не ея вина). Взглядъ Пушкина на жизнь былъ болѣе созерцательный, нежели рефлектирующій; его поэзія, глубоко пронизанная гуманностью, воспримчива къ страданіямъ и противорѣчіямъ жизни, но онъ смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ, какъ бы признавая ихъ роковую неизбежность и не неся въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія“. Такова была натура Пушкина: этому взгляду Пушкинъ обязанъ изящною мягкостью, глубиной и возвышенностью своей поэзіи, но въ этомъ и ея недостатки. „Духъ анализа, неувертливое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе, сдѣлались теперь жизнію всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные болѣзненные вопросы настоящаго“... ¹⁾). Къ этому присоединялось, что созерцательная поэзія идеализировала иногда такіе предметы, къ которымъ общество начинало уже относиться съ критическимъ анализомъ. Пушкинъ дѣлался поэтомъ status quo, и прежнее охлажденіе еще усилилось въ позднѣйшихъ литературныхъ поколѣніяхъ, и въ наше время многіе прославляли Пушкина какъ національнаго поэта, именно въ смыслѣ общественно-политическаго консерватора.

Но съ этими ссылками на его консервативныя идеи надо быть, однако, осторожнымъ. Теоретическія ошибки не могли возобладать совѣмъ надъ поэзіей Пушкина; поэтическая проникательность и „художественная добросовѣстность“, мягкое гуманное чувство, сознаніе собственной силы и художественнаго достоинства шли глубже теорій, дали произведенія болѣе глубокаго, чѣмъ онъ могъ бы дать какъ представитель узкой тенденціи. Его глаза не были закрыты на то, что дѣлалось въ отечествѣ, какъ могъ чувствовать себя въ немъ независимый писатель. Не мудрено, что въ годы изгнанія у него вы-

¹⁾ Сочин. Бѣлинскаго, VIII, стр. 402—408.

рывались желчныя слова объ „отечествѣ“; но въ самомъ концѣ жизни, когда онъ началъ журналъ, когда онъ былъ оплетенъ III-отдѣленскими наставленіями и угрозами, у него вырывались слова горячи и раздраженія ¹⁾. Къ послѣднему году его поэтической дѣятельности относится стихотвореніе: „Не дорого цѣню я громкія права“, и стихотвореніе: „Я памятникъ себѣ воздвигъ не рукотворный“, которое роковымъ образомъ являлось въ 1836 г. какъ завершеніе его поэтическаго поприща и гдѣ мы только теперь читаемъ въ предположительно подлинныя стихи самого Пушкина ²⁾:

„И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
 Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
 Что съ мой жестокой отъкъ возманилъ я свободу,
 И милость къ падшимъ призывалъ“.

Разнообразныя воспоминанія о Пушкинѣ въ 1880 г. собрали изъ его произведеній множество мыслей и образовъ, рисующихъ возвышенный тонъ его поэзіи и проникнутыхъ глубокою любовью къ родной странѣ и народу: онъ дорожить славными дѣяніями ихъ прошедшаго, страстно желаетъ широкаго просвѣщенія, ждетъ освобожденія народныхъ массъ; онъ первый правдиво постигаетъ народную жизнь и изображаетъ ее со всѣмъ богатствомъ языка, изученнаго въ народномъ источникѣ. Его провозглашали національнымъ поэтомъ, и многимъ казалось, что основной источникъ его національности таятся въ „прикосновеніи“ къ народу, въ позднѣйшемъ періодѣ его развитія; но историческое изученіе должно убѣдить, что именно ранній періодъ его внутренней жизни, когда въ послѣдніе годы Александровскихъ временъ въ обществѣ, хотя не безъ увлеченій и фантазій, носилось много благороднѣйшихъ общественныхъ стремленій,—этотъ періодъ оставилъ въ немъ вліянія, не изгладившіяся во всю остальную жизнь, при всѣхъ позднѣйшихъ его колебаніяхъ. Новѣйшіе комментаторы не замѣчали, что многія лучшія цитаты, ими приведенныя и говорящія о народномъ благѣ, просвѣщеніи и свободѣ, принадлежатъ этому первому періоду жизни Пушкина, періоду либеральныхъ, въ европейскомъ смыслѣ, идеаловъ. Михайловское уединеніе дало Пушкину сосредоточиться, убѣдило, что онъ призванъ не къ какой-нибудь активной, а именно только къ художественной дѣятельности. Событія 1826 г. увлекли его въ тенденціозный консерватизмъ, въ отношенія, которыя онъ идеализировалъ, но которыя временами его страшно угнетали, и онъ возвращался къ инымъ свѣтлымъ свобод-

¹⁾ См., напр., Сочин., VIII, стр. 42, 95, 174, 190, 283 и др., въ письмахъ 1824—26 г. Вѣстн. Евр., 1879, письма къ жемѣ.

²⁾ Сочин. III, стр. 411—412, 471. Любопытно, что третій стихъ этой цитаты выпалъ въ рѣчи „Идеалы Пушкина“, В. Никольскаго, стр. 45.

нимъ взглядамъ своего прошлаго. „Художнической тактъ дѣйствительности“ предохранилъ его отъ литературныхъ ошибокъ, въ которыя могли ввести его ошибки теоретическія, и на перекоръ тому, что онъ придумывалъ теоретически относительно русской исторіи, въ своихъ произведеніяхъ прославлялъ то, что составляетъ ея истинное величіе. Таково возвеличеніе Петра, на перекоръ превозносимому Пушкинымъ Карамзину, на перекоръ его собственнымъ представленіямъ Петра въ видѣ Робеспьера. „Петръ Великій,—говоритъ Бѣлинскій,—не только творецъ бывшаго и настоящаго величія Россіи, но и всегда останется путеводною звѣздою русскаго народа, благодаря которой Россія будетъ всегда идти своею настоящею дорогою къ высокой цѣли нравственнаго, человѣческаго и политическаго совершенства. И Пушкинъ *никогда* не является ни столько высокимъ, ни столько *національнымъ* поэтомъ, какъ въ тѣхъ вдохновеніяхъ, которыми обязанъ онъ великому имени творца Россіи“¹⁾.

О томъ, чѣмъ могли бы быть дѣятельность Пушкина въ условіяхъ тенденціознаго консерватизма, еслибъ она продолжалась, мы вполне согласны съ заключительными страницами книги г. Стоюнина²⁾.

Исключительный и разнообразный талантъ сдѣлалъ Пушкина величайшимъ именемъ русской литературы, и какъ начинатель самостоятельнаго реального изображенія русской жизни онъ занимаетъ высокое мѣсто и въ спеціальной исторіи народныхъ изученій.

Но еще много предстояло труда впереди. Въ тридцатыхъ годахъ, къ концу жизни Пушкина, было заявлено официально начало народности; литература еще раньше назвала это слово, но понятіе еще долго оставалось неяснымъ. Мы приводили выше, что это слово называлъ кн. Одоевскій въ половинѣ двадцатыхъ годовъ, что о народности говорилъ Максимовичъ въ духѣ романтическаго увлеченія народной поэзіей, что Надеждинъ искалъ въ ней средства противъ увлеченія чужеземнымъ и желалъ объяснить ее исторически; этнографическія работы предпринимаются уже съ опредѣленнымъ планомъ изслѣдованія „народности“; къ ней начинаютъ стремиться поэты и беллетристы; но въ большинствѣ случаевъ исканія остаются еще темны и поверхностны. Въ образчикъ тогдашнихъ взглядовъ приводимъ еще отрывокъ изъ статьи Плетнева, посвященной именно этому предмету³⁾.

¹⁾ Сочин. Бѣлинскаго, VIII, стр. 406.

²⁾ „Пушкинъ“. Слб. 1881, стр. 439—440.

³⁾ „О народности въ литературѣ“ (1838), рѣчь, читанная на актѣ Слб. универ-

„Въ числѣ главныхъ принадлежностей,—говоритъ онъ,—которыхъ современники наши *требуютъ* отъ произведеній словесности, господствуетъ идея народности“,—и затѣмъ онъ опредѣляетъ ее какъ совокупность всѣхъ особенностей нашей жизни.

„Она представляетъ собою особенность, необходимо соединяющуюся съ идеею каждаго народа.“ Сколько жь предметовъ должно войти въ ея совокупность! Черты, составляющія физиономію души нашей, предварительно были какъ стихіи въ томъ обществѣ, которое воспитало наши страсти, въ той природѣ, которая упоевала наши чувства, въ той религіи, которая возвысила наши помыслы, въ тѣхъ обычаяхъ, которые освящены для насъ давностію, въ тѣхъ предразсудкахъ, отъ которыхъ не спасетъ насъ никакая философія. Еще болѣе: одинъ и тотъ же народъ, въ разные періоды своей исторіи, при содѣйствіи разныхъ причинъ, скрывающихся то въ политикѣ, то въ морали, то въ ученыхъ мнѣніяхъ какого-нибудь времени, является съ безчисленнымъ множествомъ отгѣнковъ, которые всѣ принадлежатъ разсматриваемой идеѣ“.

„Въ звукахъ слова *народность*,—продолжаетъ Плетневъ,—есть еще для слуха нашего что-то свѣжее и, такъ сказать, не обносившееся“,—но новой литературѣ принадлежитъ только выраженіе, а самая идея современна древнѣйшимъ писателямъ. И онъ дѣлаетъ бѣглый и весьма туманный обзоръ античной и новѣйшей европейской литературы, чтобы указать проявленіе народности и затѣмъ перейти къ русской литературѣ, древней и новой. И здѣсь изложеніе столь же туманно ¹⁾. Въ XVIII столѣтіи дѣло народности русской представляетъ имп. Екатерина, Державинъ, Фонвизинъ. Со времени открытія памятниковъ древнѣйшей словесности нашей (труды гр. Мусина-Пушкина, Новикова), „черты народности приобрѣли какъ бы нѣкоторую осязательность“. Великія заслуги оказалъ Шлѣцеръ, „мужъ правды и любви, первый въ ученomъ свѣтѣ благовѣститель нашего отечества“. „Онъ съ такою страстію доискивался истины, и открывъ, съ такимъ восторгомъ передавалъ ее, что чтеніе „Нестора“ его воспламенило цѣлое поколѣніе русскихъ къ занятіямъ отечественною исторіею“. Далѣе:

„Итакъ идея, которая нѣкогда была преимуществомъ нашимъ передъ другими новѣйшими народами, идея, которую осуществляютъ намъ всѣ лучшіе таланты въ образованнѣйшихъ государствахъ Европы, занимала уже многие между нами умы въ прошедшемъ столѣтіи. Самочувствіе воскресило ее въ душахъ людей, которые столько благоговѣли къ своимъ обязанностямъ, что лучшіе свои помыслы посвятили отечеству. Въ нынѣшнемъ столѣтіи еще равнороднѣ сдѣлались изысканія въ отношеніи къ нашему гражданству. Въ исторіи мысли нашей и ея проявленія, къ чему не стремился, чего не желалъ прояснить достойный сынъ героя Задунайскаго, обратившій домъ свой въ храмъ отечественныхъ музъ, котораго самая надпись: „на благо просвѣщеніе“ слу-

ситета, въ Журн. Мин. Просв. 1834, ч. I, стр. 1—30, и въ „Сочиненіяхъ и перепискѣ“ Плетнева, Спб. 1885, I, стр. 217—239.

¹⁾ Стр. 280 и слѣд.

жить для насъ завѣтомъ назидательнымъ. Если только чье-нибудь помышленіе клонилось на путь народной славы, никого не отчуждалъ сей благодушный вельможа отъ своей поучительной бесѣды и благороднаго вспомошествованія, былъ ли то историкъ или мореходецъ, поэтъ или антикварій, географъ или художникъ, грамматикъ или законовѣдецъ. Наблюдая современныя намъ явленія въ русской литературѣ, убѣждаемся, что благіе подвиги сіи были не безплодны, что есть дѣйствователи въ каждой отрасли знаній, и что ихъ труды устремлены къ возвышенію нравственнаго достоинства нашего. Съ чувствомъ народной гордости мы произносимъ имена двухъ литераторовъ, дѣйствовавшихъ на разсматриваемомъ нами поприщѣ преимущественно въ славное царствованіе Александра I. Для одного изъ нихъ, по выраженію поэта, уже настало потомство; другой, кумиръ всѣхъ возрастовъ, поучался самъ въ изслѣдованіи русскаго духа, еще поучаетъ и насъ, хотя къ сожалѣнію довольно рѣдко. Сколь ни разнородны ихъ творенія, но они составляютъ одно цѣлое, полную картину Россіи, вѣрную исторію ея умственной жизни. Одинъ изъ нихъ, окружась неподкупными свидѣтелями нашихъ дѣяній, темныхъ и гласныхъ, доблестныхъ и постыдныхъ, прошелъ съ ними равные періоды существованія нашего, и душею своею вкусивъ, такъ сказать, бытіе каждой эпохи, воссресилъ для насъ истинный образъ Руси, навѣялъ на насъ ея дыханіе, породнилъ опять слухъ нашъ съ простою, нѣскольکو однозвучною, но чистою и свободною музыкаю ея, взволновалъ сердце наше ея ощущеніями и обратилъ наши мысли къ невѣдомымъ еще сокровищамъ собственно нашего же ума и вкуса. Другой, прикрывшись невнимательностію и бездѣйствіемъ, останавливался въ каждой толпѣ народа, изучалъ всѣ классы людей отъ грязной черни до блистательныхъ царедворцевъ, высматривалъ всѣ наши слабости, недостатки, причуды, вывѣдалъ всѣ тайны ума нашего, его оборотливость, сноровку и остроту. Про его-то многосказательныя драмы должно вымолвить, что въ нихъ русскій духъ въ очахъ совершается. Произведенія писателей сихъ довершили тотъ умственный оборотъ, который получилъ начало до ихъ еще появленія. Теперь именами Карамзина и Крылова не только мы подтверждаемъ преимущество народности въ литературѣ, но и самыя чужестранцы, ими познавшіе, что было затаено отъ нихъ въ сердцахъ Россіи.

„Сопровождая движеніе многообъятной идеи, выражаемой словомъ *народность*, мы видимъ, что ея успѣхи, совершенствуя гражданственность, устремляютъ умъ націи на историческое изученіе всѣхъ частей государства. Не удивительно, что въ явленіяхъ нынѣшней литературы нашей мы ежедневно встрѣчаемъ болѣе или менѣе счастливыя покушенія на этомъ же поприщѣ. Но посреди сихъ разнородныхъ и разнообразныхъ опытовъ, какой колоссъ воздвигнуть неутомимо дѣятельностію всеобъемлющаго ума! Гдѣ самая вѣрная и самая поучительная исторія государства, какъ не въ картинахъ постепеннаго развитія силъ, воли и дѣйствій правительства въ отношеніи къ націи? Какой же представляется подвигъ тому, кто бы вздумалъ всѣ мелкія, разбросанныя, исчезающія и разнovidныя черты сіи собрать, устроить, согласить и оживить! Государь обширнѣйшей въ свѣтѣ монархіи, напутствуя своими совѣтами вождей, вѣстниковъ его славы и справедливости, разрѣшая тяжкія недоумѣнія сильнѣйшихъ владыкъ Европы, приѣмлетъ въ собственное свое владѣніе этотъ новый, повидимому безконечный трудъ, и къ удивленію свѣта, къ счастью своихъ подданныхъ совершаетъ его въ единое пятилѣтіе. Здѣсь, въ этой совокупности нашихъ законовъ, гдѣ каждый день, каждый часъ запечатлѣнъ идеею того, кто движетъ всѣ пружины и направляетъ всѣ нравственныя силы

націи, здѣсь вполнѣ будетъ достигнута наша исторія, а съ нею и самая народность.

„Въ то время, какъ, по высочайшей волѣ прозорливаго монарха, путеводемъ и судіею нашимъ въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія явился мужъ, столь же высоко образованный, какъ и ревностный патріотъ, его первое слово въ намъ было: *народность*. Въ этихъ звукахъ мы прочитали самыя священныя свои обязанности. Мы поняли, что успѣхи отечественной исторіи, отечественнаго законодательства, отечественной литературы, однимъ словомъ: всего, что прямо ведетъ человѣка къ его гражданскому назначенію, должны быть у насъ всегда на сердцѣ. Дѣйствовать въ этомъ духѣ такъ легко, такъ отрадно, такъ естественно, что безъ сомнѣнія въ лѣтописяхъ ученыхъ обществъ не было еще ни одного указація, по которому бы съ такимъ единодушіемъ и съ такимъ самоотверженіемъ соединились всѣ, какъ соединяемся мы по слову нашего вождя въ обѣтованную землю истинной образованности“.

Въ словахъ Плетнева была, вѣроятно, доля обязательнаго языка, но съ другой стороны никто не вынуждалъ избранной имъ темы, и Плетневъ, одинъ изъ ближайшихъ друзей Пушкина, потомъ Гоголя, безъ сомнѣнія, высказывалъ обычныя представленія о начинающейся эпохѣ, которую олицетворяла официально заявленная „народность“.

Какъ складывалось понятіе о народности у тогдашнихъ этнографовъ, которые считали себя специалистами въ ея объясненіи, мы видѣли между прочимъ у Сахарова. Укажемъ еще нѣсколько строкъ изъ предисловія, которымъ вводилъ читателя въ свою книгу другой типическій этнографъ того времени, Терещенко ¹⁾: книга написана совершенно ненаучно, не весьма грамотно, но это не мѣшало „народности“.

„Иностранцы,—говоритъ Терещенко,—смотрѣли на наши нравы и образъ жизни по большей части изъ одного любопытства; но мы обязаны смотрѣть на все это не изъ одного любопытства, а какъ на исторію народнаго быта, его духъ и жизнь, и почерпать изъ нихъ трогательные образцы добродушія, гостепримства, благоговѣйной преданности къ своей родинѣ, отечеству, православію и самодержавію. Если чужеземные наблюдатели удивлялись многому и хвалили, а болѣе порицали, то мы не должны забывать, что они глядѣли на насъ поверхностно, съ предубѣжденіемъ и безъ изученія нашего народа.. Перечитывая описанія, повѣствованія и сказанія на многихъ европейскихъ языкахъ, вы постоянно читаете—и не безъ улыбки,—что всѣ иноземные писатели какъ бы условились однажды и навсегда хулить и бранить насъ“... (Сейчасъ, однако, было сказано, что они многому удивлялись и хвалили).

„Оставивъ людскія страсти, которыя мы относимъ къ понятіямъ вѣка, намъ усладительно вспомнить, что предковъ жизнь, не связанная (?) условіями многосторонней образованности, излилась изъ сердечныхъ ихъ ощущеній (?), истекла изъ природы ихъ отчизны, и этимъ напоминаетъ патріархальная простота, которая столь жива въ ихъ дѣйствіяхъ, что какъ будто бы это было

¹⁾ Быть русскаго народа. Сочиненіе А. Терещенка. Въ VII частяхъ. Спб. 1848. Объ этой книгѣ мы скажемъ далѣе, когда оставимся на замѣчательныхъ статьяхъ Кавелина, ею вызванныхъ.

во всякомъ изъ насъ (?). Кто хочетъ изслѣдовать бытъ народа, тотъ долженъ восходить къ его юности и постепенно спускаться по ступенямъ измѣненій всѣхъ его возрастовъ“,—и такъ далѣе.

Правда, были и въ тѣ годы люди, которые поняли дѣйствительную стоимость заявленія „народности“, и мы, иногда почти съ изумленіемъ, встрѣчаемъ чрезвычайно ясное пониманіе вещей въ дневникѣ А. В. Нивитенка именно изъ этихъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, — но въ большинствѣ общества на первое время повидимому было очень распространено представленіе о томъ, что наступила въ нашей жизни настоящая „народность“ и что въ этомъ отношеніи нечего больше желать. Мечты двадцатыхъ годовъ были подавлены или забывались. Въ тридцатыхъ годахъ даже въ новомъ поколѣніи, которое съ большимъ возбужденіемъ предалось Гегелевской философіи, господствовало въ параллель этому ученію о „разумной дѣйствительности“. Прежде чѣмъ сознано было могущественное значеніе произведеній Гоголя и прежде чѣмъ сложились новыя школы, „западная“ и славянофильская, въ которыхъ поднять былъ совсѣмъ иначе вопросъ о народѣ, въ литературѣ еще долго держалось это консервативное представленіе „народности“, въ сущности безсодержательное.

До какой степени были въ пушкинское время не требовательны относительно литературныхъ и общественныхъ отраженій народности, видно изъ рѣчи Плетнева: „Исторія“ Карамзина, басни Крылова и Сводъ Законовъ убѣждали вполнѣ въ присутствіи „народности“. Та же нетребовательность сказалась въ успѣхѣ Загоскина (1789—1852; его историческіе романы 1829—1848). Въ 1829 явился „Юрій Милославскій“ и имѣлъ необычайный успѣхъ: автора горячо привѣтствовали и Жуковскій, и самъ Пушкинъ.

Мысль объ историческомъ романѣ была у Загоскина (слѣдствіемъ чтенія Вальтеръ-Скотта и старыхъ историческихъ повѣстей Карамзина; историческія понятія составлены всецѣло по Карамзину, общественныя—были искреннимъ и наивнымъ консерватизмомъ, вполнѣ подѣ статью официальной народности. На первыхъ порахъ „Юрій Милославскій“ вызвалъ великія похвалы, которыя уже вскорѣ потомъ должны были казаться непонятны. Въ романѣ была легкость разсказа, одушевленіе, —но отсутствіе историческаго колорита, избытокъ приторной сантиментальности, которую въ другихъ своихъ произведеніяхъ романистъ одинаково вносилъ и въ X-е, и въ XIX столѣтіе, патриотизмъ, слишкомъ часто состоящій въ самохвалствѣ и ненависти ко всякой иноземщинѣ: они стали достояніемъ своей особой публики и ни мало не послужили объясненію старины для читате-

лей, которые ищутъ въ романѣ историческаго интереса ¹⁾. Какая подкладка лежала въ основѣ взглядовъ Загоскина, онъ самъ объяснялъ позднѣе въ письмѣ къ издателю „Маяка“ ²⁾: появленіе этого журнала очень порадовало Загоскина, именно этого онъ дожидался, и тотчасъ обратился къ журналу съ привѣтствіями и нѣкоторыми замѣчаніями. Это былъ искренній обскурантизмъ, обезоруживающій своей простодушной откровенностью.—Совсѣмъ иной силы таланта и ума былъ Лажечниковъ (1794 — 1869; историческіе романы 1831—1838). Его романы принадлежатъ также романтической манерѣ, болѣе тонкой, но, быть можетъ, еще болѣе преувеличенной; Лажечниковъ строитъ свои романы болѣе сложно, съ запутанной интригой, эффектами, съ романтическими страстями, — но ихъ достоинство несравненно выше: больше историческаго пониманія, разнообразія картинъ, оригинальности языка. Историческая тема берется серьезнѣе, съ изученіемъ источниковъ, и несмотря на иные вопіющіе анахронизмы новѣйшихъ чувствъ и понятій, переносимыхъ въ XVI—XVIII вѣва, его романы глубже переносятъ въ выбранную эпоху, чѣмъ когда-нибудь удавалось Загоскину.—Не перечисляя другихъ тогдашнихъ произведеній этого рода, довольно привести слова Бѣлинскаго по поводу „Арапа Петра Великаго“, что „эти семь главъ неоконченнаго романа, изъ которыхъ одна упредила всѣ историческіе романы гг. Загоскина и Лажечникова ³⁾, неизмѣримо выше и лучше всякаго историческаго русскаго романа, порознь взятаго, и всѣхъ ихъ, вмѣстѣ взятыхъ. Передъ ними, передъ этими семью главами неоконченнаго романа, бѣдны и жалки повѣсти г. Кукольника, содержаніе которыхъ взято изъ эпохи Петра Великаго и которыя все-таки не лишены достоинства“ ⁴⁾.

Столь же мало глубока въ истинномъ уразумѣніи народности была обильная литература правоописательныхъ романовъ, нравственно-сатирическихъ повѣстей, романтическихъ поэмъ, драмъ, трагедій и

¹⁾ Задавая себѣ вопросъ о причинахъ успѣха „Юрія Милославскаго“, г. Скабичевскій („Сочиненія“, 1890, т. II, 695) объясняетъ, что масса наша въ немъ романъ-сказку, каковъ былъ средневѣковой романъ приключеній, который и удовлетворялъ элементарнымъ вкусамъ. Но Жуковскаго и Пушкина безъ сомнѣнія привлекало и нѣчто иное—интересъ первой попытки въ новомъ направленіи, тѣмъ болѣе, что въ ней была „теплота разсказа“ и „умѣренность въ изображеніи простодушной народности“, которыя отмѣчалъ и болѣе требовательный Бѣлинскій.

²⁾ См. „Маякъ“ 1840, ч. VII, стр. 101—105. Ап. Григорьевъ такъ поразился, встрѣтивъ въ „Маякѣ“ это письмо, что перепечаталъ его цѣлкомъ въ одной изъ своихъ статей; см. Соч. Ап. Григорьева, стр. 581—586.

³⁾ Отрывокъ изъ „Арапа“ явился въ первый разъ въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ на 1829 годъ.

⁴⁾ Сочин. Бѣлинскаго, VIII, стр. 701.

комедій, касавшихся исторіи и народнои жизни. Были, разумѣется, и здѣсь проблески живого содержанія, но господствовала романтическая ходульность, поверхностное отношеніе къ жизни общества и народа.

Какъ писатель изъ народнаго быта, въ пушкинскую эпоху имѣеть значеніе въ особенности, почти исключительно, Даль, дѣятельность котораго продолжается потомъ и въ эпоху Гоголя. Мы говорили о немъ какъ объ этнографѣ. Въ пушкинское время Даль приобрѣталъ уже великую славу какъ первостепенный знатокъ народнаго быта. Эта слава въ сороковыхъ годахъ установилась; Бѣлинскій былъ высококаго мѣстнаго таланта Дала и ставилъ его на второе мѣсто послѣ Гоголя ¹⁾. Въ настоящее время онъ почти забытъ. Время дѣлаетъ свое; въ чемъ же оно ушло впередъ?

Бѣлинскій, при всемъ высокомъ понятіи о дарованіи Дала, замѣтилъ, однако, что это талантъ частныхъ, отдѣльныхъ типовъ, бытовыхъ подробностей, что онъ не идетъ дальше известной границы. Сравнивая Дала съ послѣдующимъ ходомъ литературы, изображавшей народный бытъ, легко увидѣть, что Даль по своему отношенію къ народности остается писателемъ старой школы. Въ тридцатыхъ годахъ влеченіе къ народности у тогдашнихъ партизановъ ея было истиннѣе и неясное; они восхищались народною пѣсней, обычаемъ, преданіемъ, въ народномъ языкѣ видѣли верхъ литературнаго совершенства. Современники Дала догадывались, что между жизнью образованнаго класса и жизнью народа есть какой-то разладъ, и думали, что онъ можетъ быть покрытъ и изглаженъ культомъ народности, но они совсѣмъ не понимали, какъ это можетъ сдѣлаться. Имъ казалось, что стоитъ сблизиться съ внѣшнимъ народнымъ бытомъ, принять нѣкоторые изъ брошенныхъ обычаевъ, покинуть „иноземщину“ и заговорить народнымъ языкомъ; — имъ не приходила мысль, что такими поверхностными и придуманными, а не выходящими изъ жизни средствами нельзя сдѣлать ничего; что такое внѣшнее, безъ измѣненія существенныхъ отношеній, принятіе обычая (напр., платья) будетъ маскарадомъ, почти насмѣшкой надъ народомъ (или смѣхомъ для него); что въ „иноземщинѣ“ заключается между прочимъ вся наука; что народный языкъ, какъ ни прекрасенъ, крайне бѣденъ для выраженій понятій высшей категоріи. Но у нихъ не было совсѣмъ, или было очень мало, критическаго взгляда на общественное положеніе народности; большею

¹⁾ Сочин. Бѣл. I, стр. 334; II, 426; III, 87, 117; VI, 42, 208—205; VIII (по 2-му изд.), 28, 84; IX, 299, 302; X, 294; XI, 58, 109 — 115, 419, 253. Любопытно, однако, что Бѣлинскій никогда не посвящалъ сочиненіямъ Дала большой критической статьи, т. е. не нашелъ въ его сочиненіяхъ элементовъ важнаго историческаго явленія.

частью они удовлетворялись тогдашнимъ ея положеніемъ, даже восторгались имъ; этнографы и писатели этой школы, на словахъ великіе любители народа, на дѣлѣ не разъ становились къ нему въ ненавистное отношеніе соглядатаевъ и сыщиковъ (въ дѣлахъ по расколу). Такихъ былъ не одинъ между друзьями Даля; не всѣ, конечно, доходили до этого, но вообще критической или просто человѣческой мысли о народѣ не было; люди этой школы думали, что отдаленіе общества отъ народа можетъ быть исправлено однимъ сантиментальнымъ романтизмомъ, поддѣлкой подъ народность, а самый народъ — пусть остается крѣпостнымъ; или же, не мудрствуя лукаво, они просто придерживались взглядовъ „Маяка“, какъ Загоскинъ.

Сочиненія Даля состоятъ изъ болѣе или менѣе значительныхъ повѣстей, мелкихъ очерковъ, пересказа народныхъ преданій, сказокъ и, наконецъ, специально рассказовъ, рассчитанныхъ на читателей изъ простонароднаго класса („Солдатскіе“ и „Матросскіе досуги“ и т. п.). Повѣсти его дають не столько типы, сколько біографическія исторіи, переплетенныя съ бытовыми картинками — изъ жизни военной, морской, помѣщичьей, купеческой, крестьянской, заводской. При этомъ нерѣдки и автобіографическія черты ¹⁾; въ рассказѣ „Савелій Грабъ или Двойникъ“ герою приданы этнографическіе вкусы и народолюбіе самого автора ²⁾, и есть, быть можетъ, портреты (напр., купецъ-библіофилъ Ахтубинцевъ, въ „Небываломъ“). Бытовые описанія отличаются вообще большимъ знаніемъ нравовъ, обычаевъ, языка; вездѣ виденъ бывалый человѣкъ, много повидавшій, и умѣлый рассказчикъ; нѣкоторыя описанія сдѣланы почти съ этнографической точностью, напримѣръ, прекрасное сравнительное описаніе деревни великорусской и малорусской ³⁾. Но сказались и тѣ недостатки, какіе должны были проистекать изъ общаго отношенія къ „народности“. Направленіе Даля осталось до конца народно-романтическимъ; его рассказы, живые, скрашенные юморомъ, были занимательны, но читатель въ концѣ концовъ оставался безъ всякаго опредѣленнаго впечатлѣнія о той жизни, какую ему изображали. Ихъ содержаніе было анекдотическое. Наблюдательности автора не миновали многія жизненныя явленія, — онъ умѣетъ нари-

¹⁾ Напр., въ повѣстяхъ: „П. А. Игривый“, „Мичманъ Поцѣлуевъ“, „Болгарка“, „Подоланка“, „Небывалое въ Быломъ“ и проч.

²⁾ Напр., ему прямо приписаны разсужденія о народныхъ суевѣріяхъ и примѣтахъ, находящіяся въ предисловіи къ книжкѣ Даля объ этомъ предметѣ; приписаны упомянуты нами раньше сравненія литературнаго изложенія съ казацкимъ, какія онъ предлагалъ Жуковскому. — Объ этомъ сравненіи см. еще замѣчаніе Бѣлинскаго. Сочин. VII, стр. 204.

³⁾ Въ „Небываломъ“. Сочиненія Даля. Спб. 1860—1861, т. VII, стр. 326—330.

совать самодура-купчину, картины помѣщичьяго быта и т. д.,—но не умѣетъ возвести ихъ къ общему началу; подмѣтилъ однажды и типъ недовольнаго, негодующаго на несправедливости ¹⁾), но, по его собственному сужденію, это только — сумасшедшій человѣкъ... Что касается собственныхъ взглядовъ автора, то уже Бѣлинскій, хотя находилъ въ нихъ много ума и оригинальности, но и такія странности, съ которыми считалъ излишнимъ спорить ²⁾); въ самомъ языкѣ, его народность выражается прибауточностью, которая въ большомъ количествѣ является вещью нестерпимой, потому что становится видна ея искусственность. Но при всемъ знаніи подробностей быта, при всемъ обиліи внѣшней народности языка, тотъ существенный вопросъ, по которому только и можетъ быть важенъ интересъ къ „народности“, вопросъ о нравственно-общественномъ положеніи народа остался у Даля совсѣмъ нетронутымъ. Можно было бы думать, что писатель, такъ горячо стоявшій за народность, положившій такъ много труда на ея изученіе, найдетъ слово участія къ общественному положенію народа въ громадномъ большинствѣ крѣпостнаго, — и однако, онъ не нашелъ этого слова ³⁾).

Этимъ и объясняется, почему успѣхъ манеры Даля сталъ невозможенъ, когда въ литературѣ стало пріобрѣтать все болѣшую силу вліяніе Гоголя, и когда подъ этимъ вліяніемъ народность начали понимать и изображать въ ея общественномъ и нравственно-человѣчномъ смыслѣ. За Далемъ осталась въ области беллетристики лишь та заслуга, что онъ ввелъ въ нее обильный запасъ этнографическаго матеріала, послѣ котораго была облегчена задача внѣшняго изображенія народной жизни. „Записки Охотника“ окончательно заслонили прежнюю народоописательную литературу, въ томъ числѣ и Даля.

Это отношеніе прежней народно-романтической школы къ новымъ понятіямъ объ интересахъ народности ярко обнаружилось въ началѣ прошлаго царствованія, когда дѣятели этой школы во многихъ случаяхъ явились противниками новаго движенія. Въ ряду противниковъ оказался и Даль въ статьяхъ, надѣлавшихъ нѣкогда

¹⁾ Сулейкинъ, въ разсказѣ „Отецъ съ сыномъ“, — предшественникъ извѣстнаго резонера у Г. Успенскаго.

²⁾ „Даже самыя странности и парадоксы автора носятъ на себѣ отпечатокъ такой *достолубезности*, что доставляютъ въ чтеніи и удовольствіе“,—говорилъ Бѣлинскій, но серьезно разбирать ихъ не считалъ нужнымъ.

³⁾ Въ своемъ изслѣдованіи: „Крестыанскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половинѣ XIX вѣка“ (Спб. 1888), г. В. Семевскій собралъ изъ сочиненій Даля черты, указывающія его отношеніе къ крѣпостному праву: Даль очевидно ему сочувствуетъ, и неоднократно рисуетъ глубину русскаго мужика, которому необходимъ строгія исправительныя мѣры помѣщика и исправника. Т. II, стр. 273—278.

много шуму, гдѣ этотъ писатель, всю жизнь посвятившій культу народности, высказалъ мнѣніе о вредѣ для народа грамотности (по мнѣнію Даля, грамотность должна была распространить въ народѣ развѣ только крѣчкотворство и писаніе фальшивыхъ паспортовъ). Люди, питавшіе къ Далю уваженіе, находили тогда, что онъ „имѣлъ несчастіе“ высказать странныя мысли объ этомъ предметѣ ¹⁾.

О тонѣ мыслей Даля по этому предмету можетъ дать понятіе небольшой образчикъ. Когда съ началомъ прошлаго царствованія русское общество было полно лучшими ожиданіями, когда уже мелькала надежда на освобожденіе крестьянъ и одной изъ первыхъ мыслей пробудившейся общественности была мысль о народной грамотности, какъ первой ступени къ нѣкоторому образованію, Даль отозвался на это только такими недоброжелательными, да и не правдивыми словами: „Нѣкоторые изъ образователей (?) нашихъ ввели въ обычай (?) кричать и вопить (!) о грамотности народа и требуютъ (?) напередъ всего, во что бы ни стало (?), одного этого (!); указывая на грамотность другихъ просвѣщенныхъ народовъ, они безъ умолку (?) приговариваютъ: просвѣщеніе, просвѣщеніе!“ и т. д. Даль настаивательно объясняетъ, что грамотность и просвѣщеніе не одно и то же, — хотя никто ихъ не смѣшивалъ, а говорилось о народной школѣ, какъ первомъ началѣ какого-нибудь просвѣщенія, какого можно было по обстоятельствамъ надѣяться для народа, до тѣхъ поръ абсолютно заброшеннаго. Весь споръ былъ веденъ со стороны Даля крайне странно; у него не нашлось добраго слова въ пользу народной школы, и на дѣлѣ разсужденій трудно было не найти чиновнической стараго вѣка мысли, что народу нечего дѣлать со школой, а надо пахать землю и—знать сверчку свой шестокъ ²⁾...

Настоящими преемниками Пушкина въ общемъ ходѣ литературы были два гениальные таланта новаго поколѣнія—Лермонтовъ и особенно Гоголь. Какъ вообще историческое развитіе не есть повтореніе предыдущаго содержанія и формы, такъ и историческіе преемники Пушкина не повторяли его и не подражали ему, а именно только восприняли основную нить его дѣятельности и повели ее да-

¹⁾ Статьи Даля о вредѣ грамотности: Русская Бесѣда, 1856, кн. III, Смѣсь, стр. 1—16: „Письмо къ издателю А. И. Кошелеву“; Отечеств. Записки, 1857, февраль, литер. и журн. замѣтки, стр. 133: „Приписка къ письму А. И. Кошелеву, по поводу возраженій на него“; Сиб. Вѣдомости 1857, № 245.—Изъ статей противъ Даля довольно отмѣтить статьи Е. Карновича въ „Современникѣ“ 1857, № 10, стр. 123—138: „Нужно ли распространять грамотность въ русскомъ народѣ?“ и № 12, стр. 167—176: Отвѣтъ г. Далю на замѣтку „о грамотности“, помѣщенную въ 245 № „Сиб. Вѣдомостей“, и тамъ же въ Соврем. обозрѣніи, стр. 296—298.

²⁾ Въ биографіи Даля, „Русск. Вѣстникъ“, 1873, и этотъ эпизодъ о народной грамотности переданъ невѣрно.

лѣе. Этою нитью было самостоятельное художественное творчество, и какъ пріемъ его—правдивое реальное отношеніе къ жизни. Въ результатѣ получилось съ одной стороны—глубокое отрицаніе господствующей общественной дѣйствительности, и съ другой — приступы къ изображенію народа. Относительно Лермонтова нельзя забывать, что въ его произведеніяхъ мы имѣемъ дѣло только съ начавшейся дѣятельностью, прерванной на первыхъ опытахъ: онъ еще только выходилъ изъ поры юношескаго броженія, еще не выработалъ опредѣленнаго взгляда на вопросы общественной и народной жизни, но ясно было, что въ Лермонтовѣ сказывалось тоже давно созрѣвавшее стремленіе къ освобожденію личности, необходимое для того, чтобы самому обществу стало возможно достиженіе иныхъ болѣе свободныхъ формъ его жизни. Лермонтовъ не успѣлъ выработать этого инстинкта въ ясный идеаль, но онъ съ нимъ носился цѣлую жизнь, отъ „Демона“ до Печорина и до „Пророка“. Затѣмъ, мы имѣемъ у Лермонтова великолѣпные, самимъ Пушкинымъ недостигнутые образцы воспроизведенія народныхъ темъ — какъ пѣсня объ опричникахъ и купецъ Калашниковъ, давно высоко оцѣненная какъ знаменательный фактъ въ нашемъ литературномъ развитіи. Это — не манера Пушкина, а свой самостоятельный подступъ къ народно-поэтическому міру, неожиданный и блестящій. Но къ реальной народной жизни Лермонтовъ, какъ и Пушкинъ, еще не подошелъ. У Пушкина чисто народная, крестьянская жизнь, кромѣ „Исторіи села Горохина“, гдѣ господствуетъ сатирическій планъ, отражается только эпизодическими жанровыми картинками (въ „Онѣгинѣ“, „Капризѣ“, въ повѣстяхъ Бѣлкина и проч., въ народныхъ балладахъ), и мысль объ освобожденіи крестьянъ остается отвлеченной, не перешедшей въ нравственное правило⁵⁾, — такъ и у Лермонтова. Характеристическимъ произведеніемъ является у него знаменитая „Родина“: поэтъ любитъ ее „странною любовью“, которой „не побѣдитъ *разсудокъ*“; онъ сознается, что его чувства не трогаютъ ни купленная кровью слава, ни покой (государства), полный гордаго довѣрія, ни завѣтные преданія темной старины, — но онъ любитъ—самъ не знаетъ за что—широкую природу родины и простую картину „печальныхъ“ деревень и, въ праздникъ, шумъ народнаго веселья. Очевидно, что поэтъ не влечетъ народность официальная, въ ея тогдашней формѣ, гдѣ слава записывалась въ официальныхъ реляціяхъ, завѣтные преданія старины внесены были въ панегирическую холодную исторію,

¹⁾ Въ цитированномъ выше письмѣ 1826 г., Пушкинъ упоминаетъ своихъ *хамовъ* (Сочин. VII, 45). По этой терминологіи, знаменитая няня также должна бы причисляться къ разряду „хамовъ“.

и напротивъ, глубокой инстинктъ, для самого поэта еще непонятный, влечетъ его къ этому скудному народному быту, къ угнетенной народной личности, къ порывамъ ея свободной жизни и одушевленія. Эта любовь была „странна“ (и разсудовъ какъ будто долженъ былъ побъждать ее), потому что противорѣчила тону всей окружающей массы общества; но чувство поэта было вѣрно: оно внушалось тѣмъ могущественнымъ народно-историческимъ инстинктомъ, какой посѣщаетъ національнаго поэта; это былъ тотъ же результатъ, къ которому другіе приходили путемъ научнаго и общественнаго сознанія. Переведенная на простой языкъ и растолкованная, эта пьеса становилась недозволительнымъ свободомысліемъ и отрицаніемъ. Люди стараго порядка это чувствовали и слова: „туда ему и дорога“, сказанныя по смерти Лермонтова, были характеристичны.

Гораздо продолжительнѣе и несравненно плодovitѣе была дѣятельность Гоголя. Не лишено важнаго историческаго смысла то, что въ лицѣ Гоголя въ русской литературѣ могущественнымъ дѣятелемъ явился малоруссъ, не утратившій своихъ племенныхъ свойствъ и сочувствій, — какъ будто для цѣльнаго развитія русской литературы требовалось равносильное участіе обѣихъ основныхъ вѣтвей русскаго племени, соединенныхъ въ общемъ возвышенномъ идеалѣ; какъ будто для утвержденія истинной „народности“ нужно было участіе писателя, въ собственной скромной литературѣ котораго „народность“ по существу дѣла была уже неизбѣжнымъ элементомъ. Гоголь, послѣ перваго чисто романтическаго опыта, начинаетъ съ разсказовъ на малорусскія народныя темы, и ими завоевываетъ первую славу. Затѣмъ слѣдуетъ историческій романъ — опять изъ прошлаго Малороссіи, на сюжетъ именно сродный народному эпосу, — романъ, который по художественному достоинству могъ смѣло равняться съ историческими повѣстями Пушкина; далѣе рядъ повѣстей, гдѣ гуманное чувство пушкинской поэзіи смѣняется глубокимъ юморомъ и картинами вмѣстѣ психологическаго и общественнаго интереса, потрясающими читателя; затѣмъ тотъ же общественный интересъ выступаетъ въ гениальной комедіи и „поэмѣ“. Все это новое содержаніе находится въ тѣсномъ родствѣ съ дѣятельностью Пушкина, но вмѣстѣ составляетъ новую ступень въ развитіи общественно-народнаго характера литературы. И внѣшнимъ образомъ Гоголь тѣсно примыкаетъ къ Пушкинскому кругу; здѣсь, и въ кругѣ Бѣлинскаго, Гоголь нашелъ первыя сочувствія и опору противъ рутины, противъ вражды старѣвшаго романтизма, противъ лицемѣрной „благонамѣренности“ и обскурантизма. Съ оборотной стороны преданій Пушкинскаго круга связано и послѣднее направленіе Гоголя: въ „Пере-

письмъ“ отношеніе къ крѣпостному праву было отрицаніемъ его собственнаго христіанскаго взгляда.

Кромѣ малорусскихъ разсказовъ, Гоголь нигдѣ не изображалъ народнаго русскаго быта прямо, а только косвенно затрогивалъ его въ исторіи „мертвыхъ душъ“. Тѣмъ не менѣе, его вліяніе есть одинъ изъ самыхъ важныхъ фактовъ въ исторіи народныхъ изученій: полное дѣйствіе художественнаго реализма Пушкина явилось только съ его истолкованіемъ и дальнѣйшимъ развитіемъ у Гоголя. Послѣ Гоголя, романтическая точка зрѣнія съ ея ложью, художественной и общественной, стала невозможна; послѣ Гоголя возможно было идти только путемъ правдиваго изображенія *дѣйствительности*, и такъ какъ дѣйствительность была слишкомъ далека отъ той картины благополучнаго обстоянія, какую рисовала система официальной народности и лицемѣрившая, или не понимавшая, доля литературы, то новое направленіе, выросшее подъ вліяніемъ Гоголя, уже вскорѣ совпало съ тѣмъ критическимъ анализомъ, который въ то же время развивался въ публицистической дѣятельности круга Бѣлинскаго. Для Бѣлинскаго, — котораго мы опять упомянемъ здѣсь, такъ какъ въ то время не было болѣе чуткаго критика и человѣка, болѣе преданно и ревниво искавшаго успѣховъ русской литературѣ, — Гоголь былъ предметомъ величайшихъ надеждъ. Трудно сказать, кого Бѣлинскій цѣнилъ больше — Пушкина или Гоголя: первый былъ для него образцомъ художественнаго совершенства, второй (въ его произведеніяхъ до „Переписки“) — дорогимъ союзникомъ въ защитѣ его общественныхъ идей. Самъ Гоголь, подъ вліяніемъ болѣзненнаго душевнаго процесса отрешившись отъ своихъ произведеній, былъ потерянъ для дѣла, которому такъ много послужилъ, но движеніе не остановилось; напротивъ, оно шло быстро и, въ связи съ другими сторонами литературы и идеями, бросавшими корень въ общество, выразилось яснымъ стремленіемъ къ изученію народа общественно-политическому.

Хронологическія цифры этого движенія были таковы:

1837—Смерть Пушкина (передъ тѣмъ, 1836 — появленіе „Ревизора“).

1838—Сочиненія Пушкина, т. I—VIII.

1841—томы IX—XI. Смерть Лермонтова.

1842—„Мертвыя Души“.

1845—Валуевскій „Сборникъ“.

1846—Первый „Московскій Сборникъ“ и полемика славянофиловъ и западниковъ.

1847—„Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“. Письмо къ Гоголю, Бѣлинскаго. Первые „Разсказы Охотника“, Тургенева.

1848—„Запутанное дѣло“, Салтыкова.

Если обратить вниманіе на то, что только въ 1841 г. закончилось первое полное изданіе Пушкина, и въ 1842—явились „Мертвыя Души“, то нельзя не признать чрезвычайно быстрымъ движеніемъ, которое въ такое короткое время перешло отъ нихъ къ „Запискамъ Охотника“. Какимъ многозначительнымъ событіемъ въ исторіи нашей литературы и общественности были „Записки Охотника“, известно. Сдѣланъ былъ большой шагъ не только въ области искусства, но и въ понятіяхъ общественныхъ: Гоголь далъ поразжающую картину бытовыхъ условій и вызывалъ къ ихъ дальнѣйшему изслѣдованію; Тургеневъ направилъ это изслѣдованіе прямо на крѣпостной бытъ, и указалъ съ одной стороны развращающее вліяніе крѣпостного права на рабовладѣльцевъ, съ другой—гнусное насиліе надъ человѣческой личностью, испытываемое рабами, на сторонѣ которыхъ остается нравственное достоинство. Какъ появленіе Гоголя раскрывало весь смыслъ Пушкина, нравственно-общественные задатки его поэзіи, такъ значеніе Гоголя становится вполне понятнымъ въ группѣ его преемниковъ. Стремленія литературы выяснились. Народная стихія, которая являлась у Пушкина какъ инстинктъ, какъ художественное средство для утвержденія національнаго характера русской поэзіи, а въ общественномъ пониманіи окрашивалась сословнымъ консерватизмомъ, затѣмъ у Гоголя укрѣпляется въ могущественномъ реализмѣ,—у преемниковъ его выражается въ любящемъ изображеніи свѣтлыхъ сторонъ народнаго характера и въ протестѣ противъ народнаго угнетенія: для этихъ изображеній поэзіи была уже вооружена знаніемъ народнаго быта и языка.

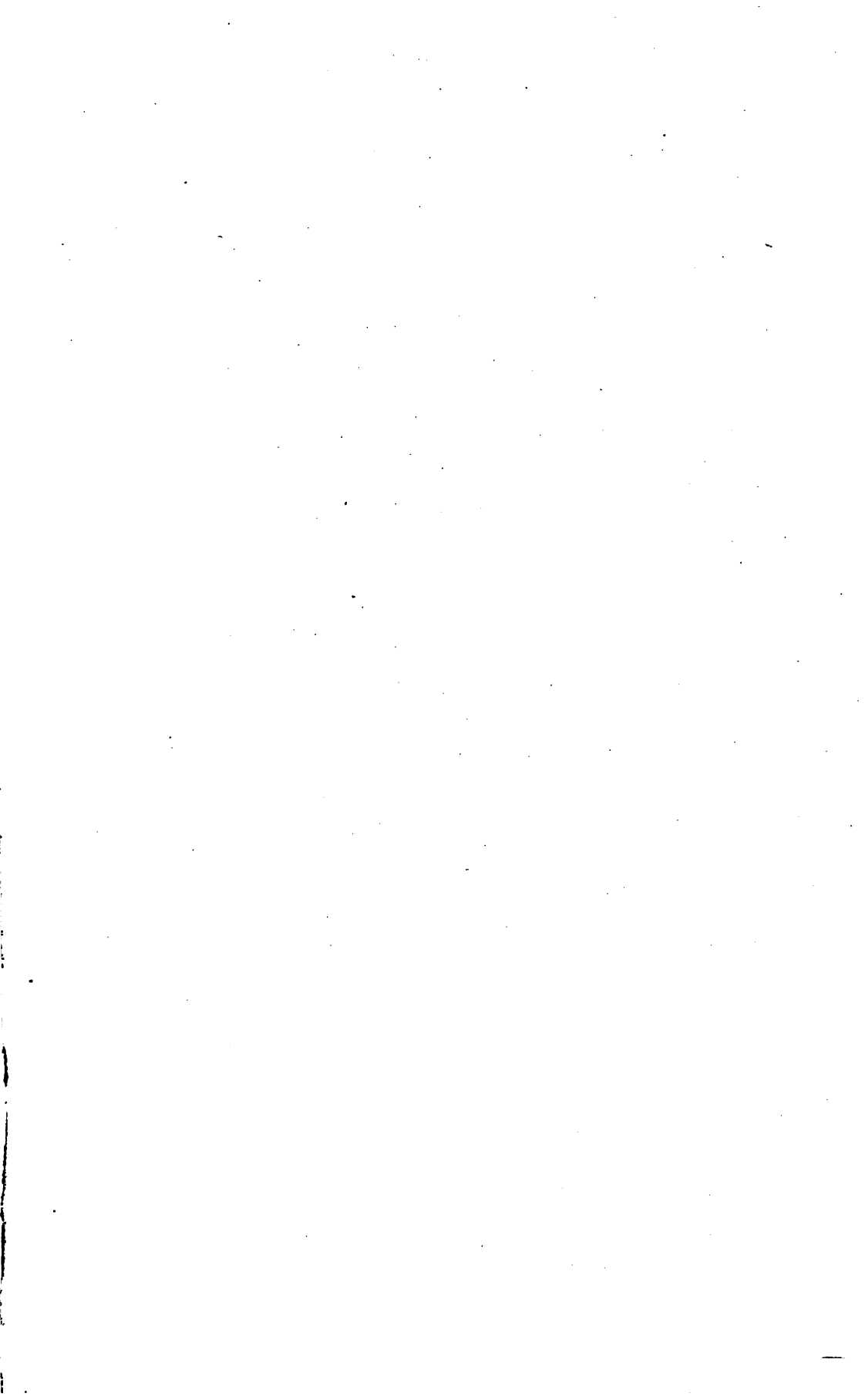
Тургеневъ указанъ нами какъ основной представитель этого періода. Цѣлый рядъ писателей, съ различными оттѣнками главнаго направленія, болѣе или менѣе воспитавшимися въ школѣ Гоголя, открываютъ новую полосу реального изображенія русской жизни — въ быту помѣщика, чиновника, купца, крестьянина. Некрасовъ съ своими стихотвореніями, Григоровичъ съ „Деревней“ и „Антономъ Горемыкой“, Писемскій, Потѣхинъ, Печерскій, Островскій съ комедіей купеческой и драмой изъ народнаго быта, и другіе служили этому дѣлу общественнаго самосознанія, высказывали народныя сочувствія, созрѣвшія въ образованнѣйшей части общества, и воспитывали его массу для лучшаго пониманія гражданскаго быта и національнаго достоинства.

Какъ для историка, по словамъ г. Ключевскаго, большая находка, если между собой и непосредственнымъ историческимъ матеріаломъ онъ встрѣчаетъ художника, такъ для русскаго этнографа не лишено было важности между собой и предметомъ этнографическаго наблю-

денія встрѣтить писателей какъ Пушкинъ, Гоголь и Тургеневъ. Одна научная критика была бы суха и безстрастна; народъ, предметъ наблюденія, былъ безправенъ и угнетенъ, и не легко доступенъ для пониманія; нормальность его быта была нарушена учрежденіями. Чтобы получилась для этнографіи первая правильная исходная точка, нужно было, чтобы изъ-подъ гнета тягостныхъ условій современнаго быта, искажавшихъ народную природу, выдѣлилась и прояснилась основная, идеальная личность народа, чтобы наблюдатель, приступая къ ея изученію, освободился отъ господствовавшего сословнаго и административнаго предрасудка и притязанія. Для этого-то раскрытія народной личности и поработала много поэтическая литература. Задолго до правительственнаго плана освобожденія крестьянъ, она заявила необходимость этой государственной и общественной реформы и впервые отнеслась къ народу съ уваженіемъ, какъ дѣйствительной основѣ націи, и съ сочувствіемъ къ его необходимой и призываемой гражданской равноправности.

Литературное развитіе идетъ вообще сложными путями; одинъ фактъ складывается изъ нѣсколькихъ источниковъ, и въ свою очередь оказываетъ вліяніе въ разныхъ направленіяхъ. Художественное творчество дѣйствуетъ не по однимъ эстетическимъ возбужденіямъ, но и подъ вліяніемъ разнообразныхъ условій общественности; и рядомъ съ нимъ, подъ такимъ же дѣйствіемъ цѣлаго хода вещей, совершалась однородная работа въ другихъ областяхъ литературы: исторія, археологія, языкованіе, изученія экономическія и т. д. вели къ тому же изслѣдованію народнаго быта въ его историческихъ источникахъ, и въ его этнографическомъ и социальномъ настоящемъ. Общественная мысль съ разныхъ сторонъ подготовлялась къ его уразумѣнію и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ художественная литература овладѣваетъ реально-правдивымъ изображеніемъ народной жизни, этнографія впервые выступаетъ на правильную научную дорогу.

Исторически, не случайно художественное творчество и наука совпали въ требованіи уваженія къ народной личности.



Въ книжномъ складѣ М. М. Стасюлевича продаются:

Вѣлинскій. Его жизнь и переписка. Сочиненіе А. Н. Пыпина. Въ двухъ томахъ. Спб. 1876. Цѣна 4 р.; въ переплетѣ 4 р. 50 к.

Исторія славянскихъ литературъ. А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Изданіе второе, вновь переработанное и дополненное. Два тома. Спб. 1879—1881. Томъ I—3 руб.; томъ II—5 руб.

Сводный старообрядческій Синодиль. Второе изданіе Синодика по четыремъ рукописямъ XVIII—XIX в. А. Н. Пыпина. (Памятники древней письменности и искусства, издав. Императорскимъ Обществомъ любителей древней письменности). Спб. 1883. Ц. 1 р.

Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I. А. Н. Пыпина. Изданіе 2-е, пересмотрѣнное и дополненное. Спб. 1885. Ц. 4 р.

Изъ исторіи народной повѣсти. Гисторія о гишпанскомъ шляхтичѣ Долторнѣ, какъ вѣроятный источникъ „повѣсти о російскомъ матросѣ Василии“. Текстъ по рукописямъ XVIII вѣка и введе- ніе А. Н. Пыпина. (Въ изданіи Импер. Общества любит. древней письменности). Спб. 1887. Ц. 80 коп.

Для любителей книжной старины. Библиографическій списокъ рукописныхъ романовъ, повѣстей, сказокъ, поэмъ и пр. въ особености изъ первой половины XVIII вѣка. А. Н. Пыпина. Изда- ніе Общества любителей російской словесности. Москва. 1888. Цѣна 1 рубль.

Характеристики литературныхъ мнѣній отъ двадца- тыхъ до пятидесятихъ годовъ. А. Н. Пыпина. Изданіе 2-е, съ исправленіями и дополненіями. Спб. 1890. Ц. 3 р. 50 к.

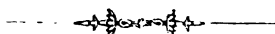
Исторія русской этнографіи. Томъ I. Спб. 1890.—Цѣлое сочиненіе въ четырехъ томахъ. Цѣна, съ подпискою на II—IV томы, 10 руб.

Въ печати:

Исторія русской этнографіи, томы II (Этнографія великорусская), III (Этнографія малорусская) и IV (Бѣлоруссія и Сибирь).

Готовится къ печати:

Систематическое обзорѣніе русской этнографической литературы (библиографическій указатель).



ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЭТНОГРАФИИ

ТОМЪ II.

ОБЩИЙ ОБЗОРЪ ИЗУЧЕНІЙ НАРОДНОСТИ
И
ЭТНОГРАФІЯ ВЕЛИКОРУССКАЯ

А. Н. ПЫПИНА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., № 28

1891.

Slav 3050,9

Harvard College Library
Gift of

Archibald ... Ph. D.
October 31, 1897.



(1754)

Въ настоящемъ томѣ прежнее изложеніе предмета значительно дополнено цѣлыми эпизодами исторіи русской этнографіи и также рядомъ біографическихъ и бібліографическихъ свѣдѣній. Главное вниманіе обращено было на тѣ данныя, въ которыхъ совершалось развитіе какъ общаго интереса въ изученію народности вообще, такъ и научныхъ приемовъ изслѣдованія. Мы указывали неоднократно, что границы этнографіи вообще трудно опредѣлимы, и особенно трудно опредѣлимы относительно нашего матеріала и въ нашемъ состояніи науки: бытовья явленія, представляющія свою спеціальную область и въ дѣйствительной жизни, и въ научномъ изслѣдованіи, тѣмъ не менѣе извѣстными сторонами тѣсно соприкасаются съ этнографіей, такъ что, входя въ свою особую науку, не могутъ быть забыты и въ изученіи этнографическомъ. Таково, напримѣръ, обычное право: оно становится теперь предметомъ внимательнаго юридическаго изслѣдованія, какъ важный элементъ исторіи права и также современнаго народнаго юридическаго быта, гдѣ оно требуетъ законодательнаго опредѣленія и санкціи, и въ той или другой степени получаетъ ее; но съ другой стороны это—фактъ народнаго обычая, подлежащаго этнографическому изученію, народная бытовая особенность, идущая съ древнѣйшихъ временъ и многообразно связанная съ другими явленіями народной жизни и поэтическаго творчества (въ пословицахъ, преданіяхъ и т. п.). Другой примѣръ подобнаго рода представляетъ расколъ: ближайшая наука, которой принадлежитъ его изслѣдованіе, есть исторія церкви и полемическое богословіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обнимаетъ такую громадную часть русскаго народа и такъ долго въ ней

господствуетъ, что создалъ особую складку цѣлаго быта, особые нравы, обычаи, пѣсни, преданія и пр., которые не могутъ не быть предметомъ этнографіи. Еще примѣръ подобнаго рода представляетъ языкъ: изученіе его есть предметъ опять особой широко разрастающейся науки; только съ помощію сложныхъ изученій исторіи и современнаго состоянія языка, съ фیزیологическими условіями его звуковой системы, съ его различными развитіями и вариантами въ живой рѣчи, филологія стремится постигнуть его развитіе и строеніе, создавая самостоятельный научный интересъ; но опять вопросъ языка не остается чуждымъ для этнографіи, какъ орудіе народно-поэтическаго творчества, какъ выраженіе умственныхъ, нравственныхъ и бытовыхъ особенностей народа. Мы вышли бы изъ предѣловъ своей задачи, еслибы съ тою же подробностью, какъ вообще на вопросахъ чистой этнографіи, остановились на изложеніи этихъ специальныхъ изученій, но такъ какъ онѣ все-таки необходимы въ полномъ обзорѣ матеріала, служащаго къ этнографическому изслѣдованію русской народности, мы даемъ ихъ библиографическое изложеніе въ особомъ трудѣ—систематическомъ обзорѣ русской этнографической литературы: здѣсь собраны будутъ вообще указанія на тѣ многочисленныя детальныя изслѣдованія и фактическія данныя, масса которыхъ не можетъ имѣть мѣста въ исторіи науки, но свѣдѣнія о которыхъ должны быть какъ *vide* *sub* подъ руками спеціалиста и особливо начинающаго этнографа.

А. Пыпинъ.

Октябрь, 1890.

СО Д Е Р Ж А Н І Е.

Предисловіе.

Глава I.—Сороковые года.—Переломъ въ наукъ исторической и въ этнографіи. Стр. 1—47.

Сороковые года. Стр. 1.

Вліянія западной науки, 4.

Русскіе ученые за границей, 8.

С. М. Соловьевъ, 10.

К. Д. Кавелинъ. Его труды по этнографіи, 19.

Н. В. Калачовъ. Исторія права и этнографія, 30.

И. Е. Забѣлинъ. Археологія и этнографія, 32.

Вліянія германской филологіи: Буславъ и Аенансьевъ, 36.

Общественныя понятія, 40.

Канунъ крестьянской реформы, 46.

Глава II.—Пятидесятые года. Стр. 48—74.

Конецъ стараго и начало новаго царствованія: различіе двухъ эпохъ; общественное оживленіе. Стр. 48.

Расширеніе этнографическихъ изслѣдованій, 50.

Ученыя общества, 50.

Работы II отдѣленія Академіи наукъ: Срезневскій; открытіе пѣсенъ Ричарда Джемса; первыя новѣйшія записи былинъ, 51.

Дѣятельность Географическаго Общества, 52.

Московское Общество исторіи и древностей, 53.

«Архивъ» Калачова, 54.

Литературная экспедиція, снаряженная по мысли в. кн. Константина Николаевича: Потѣхинъ, Писемскій, Островскій, Максимовъ и др., 55.

П. Н. Рыбниковъ и его открытія, 61.

П. И. Якушкинъ, 65.

П. В. Шейнъ, 68.

С. В. Максимовъ, 70.

Глава III.—О. И. Буславъ: труды по этнографіи. Стр. 75—109.

Глава IV.—А. Н. Аванасьевъ: труды по этнографіи. Стр. 110—132.

Глава V.—Новая ступень этнографическихъ изысканій. Стр. 133—158.

Поворотъ въ историко-литературныхъ изученіяхъ послѣ Бѣлинскаго, 133.

Поиски народно-поэтическихъ памятниковъ въ старой письменности, 134.

Изданія и изслѣдованія Н. С. Тихонравова, 137.

А. А. Котляревскій, 143.

Изслѣдованія по языку и мифологіи А. А. Потебни, 147.

Археолого-этнографическія и художественно-бытовыя разысканія В. В. Стасова, 154.

П. А. Лавровскій, 157.

Глава VI.—Новая историческая литература по отношенію къ изученію народности. Стр. 159—189.

Глава VII.—Константинъ Аксаковъ: труды по русской исторіи и этнографіи. Стр. 190—219.

Глава VIII.—Новыя изслѣдованія. — Спорные вопросы о русскомъ народномъ эпосѣ. Стр. 220—251.

Изданія памятниковъ народной поэзіи. Стр. 220.

Пѣсни, П. В. Кирѣевскаго, 221.

«Онежскія былины», Гильфердинга, 221.

Е. В. Барсовъ, 222.

Новыя изслѣдованія о старой письменности, 226.

Труды Л. Н. Майкова, 228.

О. О. Миллеръ, 231.

П. А. Безсоновъ, 239.

«О происхожденіи русскихъ былинъ», В. В. Стасова, 246.

Глава IX.—А. Н. Веселовскій.—И. В. Ягичъ.—Новѣйшая школа. Стр. 252—296.

Ходъ изученій. Стр. 252.

Новыя направленія въ западной наукѣ, 255.

А. Н. Веселовскій, 257.

И. В. Ягичъ, 282.

Новѣйшая школа: труды А. И. Кирпичникова, Н. П. Дашкевича, И. Н. Жданова, Н. О. Сумцова, Л. З. Колмачевскаго, В. Мочульскаго, М. Халанскаго, Н. А. Янчука, В. Каллаша, И. Созоновича, 292.

Труды ученыхъ иностранныхъ: Рольстона, А. Рамбо, В. Вольтера, Гастера; славянскихъ ученыхъ: Крека, Полявки, Мурка и пр. 295.

Глава X.—Общій обзоръ изученій народной жизни за послѣднія десятилѣтія. Стр. 297—349.

Новое царствованіе. Стр. 297.

Общее обзорніе движенія этнографической литературы: статистическія цифры, 299.

Ученныя экспедиціи, 304.

Статистическія и описательныя работы, 306.

Мѣстныя изысканія, 310.

Ученныя учрежденія и общества, 312.

Археографія, 312.

Общество любителей древней письменности, 314.

Общество любителей естествознанія, антропологи и этнографіи, 317.

Вс. О. Миллеръ, 318.

Расширеніе изслѣдованій: въ области исторіи, 321;

Исторіи литературы, 324;

Народной поэзіи, 325;

Народнаго быта, 327;

Обычнаго права, 335;

Быта экономическаго, 339;

Раскола, 341;

Исторіи нравовъ, 343.

Изслѣдованія языка, 344.

Этнографы-народники, 346.

П. С. Ефименко, 347.

Результаты, 348.

Глава XI.—Изображенія народа въ литературѣ. Стр. 350—374.

Отношеніе повѣйшихъ изученій къ жизни. Стр. 350.

Народные интересы у писателей сороковыхъ годовъ, 352.

Канунъ реформы, 335.

Взгляды старой эстетической критики на возможность художественнаго изображенія народнаго быта (Анненковъ), 358.

Новая повѣсть изъ народнаго быта, 361.

Взгляды Добролюбова, 363.

Новѣйшій реализмъ, доходящій до отрицанія требованій искусства, у Рѣшетникова, у гр. Л. Н. Толстого, 369.

Замѣчательные успѣхи въ самомъ изученіи быта и въ техникѣ стиля, 374.

Глава XII.—Народничество. Стр. 375—419.

Реакціонный поворотъ послѣ реформъ. Стр. 375.

Разладъ въ общественномъ мнѣніи и отраженіе его на литературу о народѣ, 379.

Вопросъ о «деревнѣ», 383.

«Основы народничества», 390.

Народническая беллетристика, недавняя (Мельниковъ-Печерскій, г-жа Кожановская и пр.) и новѣйшая (г. Гл. Успенскій, Златовратскій и др.), 400.

Дополненія. (Ө. И. Вулаевъ;—Н. С. Тихонравовъ;—Өр. Миллеръ;—А. Н. Веселовскій;—«Рус. историческая Библиографія»;—«Этнографическое Обзорніе» и «Живая Старина»). Стр. 420—428.

ГЛАВА I.

СОРОКОВЫЕ ГОДА.—Переломъ въ наукѣ исторической и въ этнографіи.

Сороковые года.—Вліянія западной науки.—Русскіе ученые за границей.—С. М. Соловьевъ.—К. Д. Кавелинъ. Его труды по этнографіи.—Н. В. Калачовъ. Исторія права и этнографія.—И. Е. Забѣлинъ. Археологія и этнографія.—Вліянія германской филологіи: Буслаевъ и Аванасьевъ.—Общественныя поватія.—Канунъ крестьянской реформы.

Сороковые года были въ литературѣ поэтической временемъ рѣшительнаго перелома: „художническая добросовѣтность“ Пушкина положила основаніе тому реализму, который, выразившись геніально у Гоголя, сталъ постоянной чертой нашей литературы и, какъ ея, въ большой степени самобытное, приобрѣтеніе, составилъ ея отличительную особенность до настоящаго времени. Такимъ же образомъ сороковые года были переломомъ въ научно-общественныхъ изученіяхъ народности: здѣсь онъ приведенъ былъ съ одной стороны усиленіемъ старыхъ, или даже основаніемъ новыхъ отраслей научно-критическаго изслѣдованія, и съ другой—вообще ростомъ общественнаго сознанія, которое воспитывалось разными вліяніями и самой жизни, и западно-европейской литературы. Въ обоихъ случаяхъ, новыя идеи выходили за предѣлы официальной народности или даже шли прямо наперекоръ идеямъ, лежавшимъ въ ея подкладкѣ. Въ цѣломъ, во всемъ характерѣ научныхъ изученій исторіи и народности совершается настоящій переворотъ, основа котораго лежала именно въ пробужденіи общественныхъ силъ. Выше мы упомянули, какіе внѣшніе факты обозначили наглядно особое усиленіе научной дѣятельности въ сороковыхъ годахъ,—именно: изданія Археографической комиссіи; основаніе въ университетахъ славянскихъ изученій; основаніе „профессорскаго института“ и посылка за границу цѣлага ряда

молодыхъ ученыхъ, произведшая сильный притокъ европейскихъ научныхъ средствъ. Труды Археографической комиссіи произошли изъ частной инициативы и къ счастью нашли правительственную поддержку; славянскія изученія возникали еще ранѣе официального учрежденія славянскихъ кафедръ въ университетахъ ¹⁾; посылка ученыхъ за границу была также отвѣтомъ на потребность, которая давно чувствовалась въ просвѣщенныхъ кругахъ общества ²⁾ и составляла вообще потребность цѣлаго русскаго образованія,—для него общеніе съ западной наукой и литературой становилось жизненнымъ условіемъ, необходимой помощью въ своей домашней работѣ.

Въ вопросѣ народнаго изученія, дѣла было очень много.

Въ исторіографіи до сороковыхъ годовъ разрабатывалась карамзинская постановка предмета (Полевой не имѣлъ вліянія, по слишкомъ большой поспѣшности его труда); измѣнялись нѣкоторыя ея подробности, прибавлялись другія, шли новыя изслѣдованія частныхъ вопросовъ, но основная точка зрѣнія оставалась неизмѣнной: таковы были труды Погодина, Арцыбашева, Буткова, Кубарева, Устрялова, и проч. Исторія оставалась по прежнему исключительно исторіей государства: интересы ученыхъ были въ особенности сосредоточены на древнихъ временахъ, на варягахъ и подобныхъ предметахъ, довольно безразличныхъ для живого цѣльнаго пониманія исторіи.

Въ этнографіи, однимъ авторитетомъ былъ Снегиревъ, съ изслѣдованіями слишкомъ внѣшними, не весьма точными, иногда очень поверхностными; другимъ—Сахаровъ, съ матеріаломъ народныхъ пѣсенъ, сказокъ и т. п., весьма случайнаго, иногда сомнительнаго происхожденія, съ объясненіями, лишенными не только научнаго достоинства, но иногда здраваго смысла. Собраній народной поэзіи, кромѣ Сахарова и Снегирева, почти не было: слышно было только, что онѣ дѣлаются, что надъ ними работаетъ Петръ Кирѣевскій, Даль; изрѣдка появлялись небольшіе сборники въ журналахъ. Народная бытовая старина и обычай были наблюдаемы мало, и главное сочиненіе этого рода, завѣщанное старой школой, была книга Терещенка: „Бытъ русскаго народа“, собранная довольно усердно, но безъ всякой научной критики.

Бытъ крестьянскій былъ совершенно закрытъ для изслѣдованія въ отношеніяхъ общественномъ и экономическомъ.

¹⁾ Не говоря о трудахъ Востокова и Кѣшлена, Шишкова (изданіе и переводъ Краледворской рукописи), Калайдовича (открытія въ древней болгарской литературѣ), книгъ Броневскаго, сочиненіяхъ Венелива,—Срезневскій задолго до посылки за границу занимается славянствомъ и издаетъ словацкія пѣсни; Бодянский пишетъ диссертацию о славянской народной поэзіи, и пр.

²⁾ Путешествія за границу Ив. Кирѣевскаго, В. Боткина, Станкевича, Тургенева, порыванья за границу Пушкина и т. д.

Славянскій міръ былъ извѣстенъ чрезвычайно отрывочно и лишь немногимъ любителямъ,—что должно бы казаться изумительнымъ, если бы принимать буквально проповѣди о славянской миссиі русскаго народа. Въ ту пору этого еще не предвидѣлось, о славянствѣ думали немного, историко-этнографическія данныя славянской жизни ничѣмъ не входили въ объясненіе судебъ и характера русской народности, и пока только въ конфиденціальныхъ запискахъ Погодина говорилось о соединеніи славянства подъ главенствомъ Россіи.

Между тѣмъ въ литературѣ западно-европейской, особливо нѣмецкой, давно были созданы и къ сороковымъ годамъ были въ полномъ ходу развитія цѣлыя отрасли науки, которыя съ новыми, ранѣе неизвѣстными приѣмами приступали къ изслѣдованію судьбы народовъ отъ ихъ до-исторической старины до современнаго быта, и уже вскорѣ достигли неожиданно-богатыхъ результатовъ. Это была новая историческая критика, сравнительное языкованіе, міеологія, этнографія.

Въ нѣмецкой литературѣ, которая потомъ особенно у насъ дѣйствовала въ этихъ изученіяхъ, нынѣшнее столѣтіе представляетъ чрезвычайно богатое и разностороннее развитіе исторической науки, со всѣми смежными областями знанія. Уже съ дазнихъ временъ накопляла она громадныя запасы эрудиціи, и новый методъ, новая научная идея нигдѣ такъ легко не приобрѣтали себѣ всеоружія научнаго матеріала, какъ въ Германіи. Англійская и французская литература до очень недавняго времени развивались, вообще, особнякомъ, часто съ большою научною силой, но и съ нѣкоторою исключительностью и односторонностью; нѣмцы гораздо раньше вступили въ наукѣ на путь международнаго общенія—и это давало особенно ихъ наукѣ перспективу болѣе разносторонняго обладанія матеріаломъ, и болѣе широкаго обобщенія. Такимъ явленіемъ была знаменитая нѣмецкая „историческая школа“; это была столь могущественная научная сила, что не только наложила свою печать на ученое движеніе въ Германіи, но приобрѣла обширное вліяніе и за предѣлами нѣмецкой литературы.

Мы не можемъ входить здѣсь въ подробности ея развитія. Довольно сказать, что многоразличныя условія, ближайшимъ образомъ съ конца прошлаго вѣка, создали въ нѣмецкой наукѣ такое широкое плодотворное развитіе историческаго знанія, въ какомъ оно еще до тѣхъ поръ не являлось. Теоретическимъ основаніемъ его была философія Канта, которая сообщила и историческому изслѣдованію духъ критическаго анализа. Въ частности, новыя историческія взгляды подготавливались сложнымъ рядомъ явленій литературныхъ, событій политическихъ и общественныхъ. Такъ, на развитіи новѣйшей исторіо-

графіи отразились вліянія Гердера. Самъ исходя изъ Руссо, онъ съ одушевленіемъ высказывалъ свои идеи „человѣчности“, развитіе которой составляетъ внутренній смыслъ всей человѣческой исторіи, и изслѣдуя естественныя начатки культуры и просвѣщенія, полагаютъ основаніе народнымъ изученіямъ: въ противоположность отвлеченному рационализму французской философіи прошлаго вѣка выдвигалась реальная народная личность, и космополитическое направленіе смѣнялось частнымъ національнымъ ¹⁾. Отразились далѣе возвышенныя стремленія нѣмецкой поэзіи, которая въ произведеніяхъ Шиллера и Гёте, въ порывахъ романтической школы, расширяла область поэтического творчества и воспримчивости,—рядомъ съ освободительными и человѣчными идеалами настоящаго реставрируя для новаго общества идеалы античнаго міра, мистическую поэзію среднихъ вѣковъ, первобытно-свѣжую поэзію народа. Французская революція нанесла тяжелый ударъ феодальному принципу, но затѣмъ событія Наполеоновской эпохи возбудили національное чувство и подняли національное сознаніе, съ другой стороны обративъ умы къ историческому изученію національнаго содержанія. Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ разнообразныхъ умственныхъ и политическихъ возбужденій расширялись и общественные интересы, и горизонтъ историческаго наблюденія; подъ этими вліяніями образовалась и „историческая школа“.

Первыя проявленія новой научной критики, развившейся потомъ въ цѣлое направленіе и въ цѣлый выработанный методъ, относятся еще къ концу прошлаго вѣка. Однимъ изъ фактовъ этого рода, произведшимъ сильное впечатлѣніе въ ученый міръ, были, послѣ первыхъ возбужденій Гердера, знаменитыя *Prolegomena in Homerum*, Фридриха-Августа Вольфа (1795), который въ гомеровскомъ эпосѣ указывалъ не случайное, единичное произведеніе одного автора, а произведеніе національное, и на мѣсто традиціоннаго слѣпца поставилъ создателемъ этого эпоса греческій народъ. Мысль Вольфа, воспринятая потомъ великими нѣмецкими классическими филологами, какъ Бёкъ, Готтфридъ Германнъ, Лахманнъ, имѣла то великое значеніе, что устанавливала понятіе органическаго развитія историческихъ явленій, въ частности—впервые угадывала то представленіе о народномъ эпосѣ, которое господствуетъ въ наукѣ въ настоящее время. Эта мысль органическаго развитія развивалась все болѣе, и съ начала столѣтія въ историко-филологическихъ наукахъ совершался цѣлый переворотъ; новый критическій анализъ распространялся на различныя области историческаго знанія. Таковы были изслѣдованія

¹⁾ Объясненію этой стороны дѣятельности Гердера посвящены мои статьи объ этомъ писателѣ въ „Вѣстн. Евр.“ 1890, мартъ—апрѣль.

Фихте, Шеллинга, Шлейермахера в області релігійної; Якова Гримма, Боппа, Лассена в області мовознавства; Ейхгорна, Савиньї, Рудорфа — в праві; Нибура, Отфрида Мюллера, Шлосера — в історії.

Изучення філологічних і історико-юридических мѣли у насъ особе вліаніє, и это вполнѣ объясняется ихъ новостью и много-объемлющимъ интересомъ. Съ Боппомъ и Як. Гриммомъ выросла совершенно новая наука—сравнительное и историческое мовознавство, которое развѣтвилось потомъ на цѣлыя группы изслѣдованій. Языкъ народа впервые представился, какъ исторически, по извѣстному закону разившійся организмъ, который в своихъ современныхъ формахъ и матеріалѣ сохранилъ отраженные на немъ слѣды давнихъ, изъ глубочайшей старини, ступеней развитія, понятій, быта и ми-еології. Почти безъ предшественниковъ, которые подготовили бы его открытія, Боппъ сразу создалъ науку сравнительнаго мовознавства, которая впервые и съ неоспоримой очевидностью открыла по матеріалу и образованию языка единство происхожденія громадной семьи индо-европейскихъ народовъ¹⁾. Яковъ Гриммъ одновременно съ Боппомъ усмотрѣлъ возможность историческаго изслѣдованія языка съ другой стороны, въ предѣлахъ одного языка, и примѣнилъ это изслѣдованіє въ своей „Нѣмецкой грамматикѣ“ (1819); богатымъ историческимъ запасомъ данныхъ языка онъ воспользовался въ „Древностяхъ нѣмецкаго права“ (1822), въ „Міеології“ (1835), въ „Исторіи нѣмецкаго языка“ (1848); первыя изученія древне-нѣмецкой литературы восходятъ къ 1812 году. На изученіи языка впервые основано было изслѣдованіє отдаленныхъ временъ, до которыхъ не достигали документальныя свѣдѣнія, эпохъ самаго образованія племенъ, первоначальной народности—ея общественно-бытового характера, ея поэтического творчества. Если было въ обществѣ стремленіє къ національной реставраціи и исключительности, оно могло найти здѣсь богатый матеріалъ самыхъ подлинныхъ фактовъ народности; но трудъ Гримма заключалъ въ себѣ средства и для болѣе широкихъ умственныхъ возбужденій, а именно для болѣе безкорыстной любви къ народу, для оцѣнки и защиты его нравственнаго достоинства и общественаго права...

Отчасти сходнымъ образомъ дѣйствовала историческая школа въ правѣ. Первая классическая книга в этой области, історія нѣмецкаго права и государственныхъ учреждений Эйхгорна, изданная во

¹⁾ Его первая работа по сравнительному мовознавствію, основавшая новую науку, относится еще къ 1816 году; затѣмъ главный и знаменитѣйшій трудъ есть: „Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gotischen und Deutschen“, 1833—52.

времена наполеоновскаго гнета надъ Германіей, вся построена на мысли, что государство съ его учреждениями и законами не есть дѣло человѣческаго произвола, а результатъ естественнаго органическаго развитія. На томъ же главномъ положеніи основаны труды знаменитаго Савиньи, который въ исторіи права указывалъ органическое созданіе національности: законы и государственныя формы являются только утвержденіемъ естественно-развившихся отношеній и не могутъ быть дѣломъ случая; первое возникновеніе этихъ отношеній теряется въ глубинѣ древности, какъ возникновеніе обычаевъ и языка; право можетъ быть только народное; право всеобщее такъ же невозможно какъ всеобщій языкъ и т. д. Въ этой постановкѣ вопроса были ясны задатки консерватизма: преувеличеніе значенія права, исходящаго изъ „естественныхъ отношеній“, вело къ возвеличенію существующаго порядка, каковъ бы онъ ни былъ; и это была притомъ научная ошибка, потому что исторія, образованность, самое право,—развивающіяся наконецъ, въ теченіе вѣковъ, далеко за предѣлы содержанія первоначальнаго народнаго духа,—измѣняютъ законодательство и общественныя формы и сами становятся органическимъ прецедентомъ. Ученіе Савиньи дѣйствительно въ своихъ примѣненіяхъ было сильно консервативное и требовало исправленія болѣе правильной оцѣнкой другихъ историческихъ факторовъ; но общая мысль была научно плодотворна и вела къ болѣе точному пониманію внутренней юридической жизни народовъ, какого не давала прежняя историографія.

Въ чисто исторической области подобный переворотъ произвели труды въ особенности Нибура. Знаменитый историкъ Рима произвелъ на первый разъ сильное недоумѣніе своей мыслью, что въ такъ называемой древней исторіи Рима, извѣстной особенно по Ливію, мы имѣемъ вовсе не исторію, а остатки народнаго эпоса; что первые герои ея не были дѣйствительныя лица, а поэтическія олицетворенія цѣлыхъ періодовъ; что Римъ не могъ быть основанъ шайкой бѣглецовъ, а былъ созданіемъ наиболѣе энергическаго изъ италійскихъ племенъ. Въмѣсто обычнаго повторенія легендъ, Нибуръ ищетъ объясненія римской исторіи въ политическихъ и экономическихъ условіяхъ жизни римскаго народа; въ его толкованіи римская исторія не есть уже рядъ анекдотическихъ и частію вполне сказочныхъ событій, а картина развитія самыхъ реальныхъ отношеній. Въ подобномъ смыслѣ, греческой исторіи посвятилъ свои труды Карлъ Отфридъ Миллеръ. Третьимъ знаменитымъ писателемъ, котораго ставятъ въ ряду основателей исторической школы, былъ достаточно извѣстный и у насъ Шлоссеръ. Результатомъ было богатое развитіе нѣмецкой

історіографіи, котора, какъ увидимъ, имѣла самое прямое вліяніе на успѣхи русской науки.

Рядомъ съ нѣмецкими историками, хотя гораздо слабѣе, оказывали у насъ вліяніе новые французскіе историки,—Гизо и группа историковъ-повѣствователей. Гизо получилъ у насъ славу еще во времена Полевого; онъ производилъ сильное впечатлѣніе точнымъ, чрезвычайно послѣдовательнымъ построеніемъ своего историческаго плана; это былъ опять по преимуществу историкъ внутреннего государственнаго быта и учреждений, которые онъ разъясняетъ съ замѣчательнымъ искусствомъ и проницательностью, историкъ совершенно въ духѣ нѣмецкой исторической школы, и не безъ ея вліянія. Давно извѣстны были у насъ и тѣ знаменитые писатели, которые, подъ вліяніемъ романтическаго обращенія къ среднимъ вѣкамъ, создавали исторіографію живописную, какъ Форіаль, Барантъ, оба Тьерри; давно былъ знакомъ Мишле, первые труды котораго (о началахъ французскаго права) были примѣненіемъ взглядовъ Гримма; наконецъ историкъ новѣйшихъ временъ—Тьеръ, Луи-Бланъ.

Вліянія европейской исторической литературы приходили сами собой; въ университетскомъ преподаваніи,—какъ ни бывало оно слабо въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ,—авторитеты европейской литературы оказывали уже нѣкоторое дѣйствіе; въ литературу переводную и журнальную проникала слава главнѣйшихъ представителей науки. Въ самой русской исторіографіи становилась очевидна потребность въ новыхъ приѣмахъ изученія, въ болѣе полномъ пересмотрѣ источниковъ, и наша Археографическая экспедиція и коммиссія возникала параллельно съ подобными предпріятіями на западѣ,—съ изданіемъ источниковъ французской исторіи, предпрінятымъ по мысли Гизо, съ нѣмецкимъ изданіемъ „Памятниковъ“ Перца. Въ книгѣ Эверса о древнемъ русскомъ правѣ, нѣмецкая историческая критика коснулась и русской древности. Такъ называемая скептическая школа набрасывала сомнѣніе на достовѣрность традиціонной исторіи древняго періода, указывала на необходимость принять въ соображеніе бытовныя условія древности,—хотя вообще не сумѣла ни ясно сформулировать своихъ мнѣній, ни поставить вмѣсто отрицаемой традиціи собственныя положенія. Полевой посвящалъ свою книгу Нибуру, „первому историку нашего вѣка“, и усиливался примѣнить къ фактамъ русской исторіи приемы нѣмецкихъ и французскихъ изслѣдователей. Все это были признаки созрѣвавшей потребности новаго критическаго толкованія русской исторіи.

Выполненіемъ этой потребности явились съ сороковыхъ и особенно съ пятидесятыхъ годовъ труды цѣлага ряда новыхъ историковъ и филологовъ, которые уже не какъ дилеттанты, а самостоя-

тельной работой восприняли методы европейской исторической и филологической науки и применили их къ матеріалу русской исторіи и народности.

У насъ всего болѣе вліяла именно нѣмецкая наука. Главной причиною этого была та ея разносторонность, о которой мы говорили. Если французская литература приобрѣтала обширное вліяніе по историческому значенію французской образованности, то въ данномъ случаѣ нѣмецкая брала верхъ по болѣшей глубинѣ историческаго труда и болѣшей обширности горизонта изученій, наконецъ, по многосторонней постановкѣ новыхъ наукъ въ университетскомъ преподаваніи, къ которому должны были обратиться наши молодые ученые. Относительно вліяній нѣмецкой науки, у насъ было сильно и историческое преданіе. Нѣмцы были ближайшіе сосѣди, у которыхъ могли быть заимствованы знанія научныя, художественныя, техническія. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ въ Москвѣ начались западныя вліянія и вызовы иноземныхъ ученыхъ и техниковъ, это были по преимуществу, если не исключительно, нѣмцы. Это велось еще съ XV—XVI вѣка; къ концу XVII-го столѣтія въ Москвѣ уже населилась цѣлая нѣмецкая слобода. Съ основанія петербургской Академіи, въ нее вызывались нѣмцы; эти и другіе нѣмцы, вызванные при Петрѣ, находили въ Россіи множество земляковъ, за собой таяли и другіхъ; съ присоединеніемъ остзейскаго края являлся большой притокъ *сеомъ* нѣмцевъ. Первые русскіе ученые, какъ Ломоносовъ, прошли нѣмецкую школу. Въ московскій университетъ, со второй половины прошлаго вѣка, нѣмецкіе профессора (при обилии университетовъ, геллертеровъ дома было множество) приглашались десятками. Тоже повторилось въ новыхъ университетахъ, основанныхъ при Александрѣ I, въ Казани, Харьковѣ, Петербургѣ, гдѣ вызванные профессора дѣйствовали еще въ пятидесятыхъ годахъ. Въ Академіи наукъ, ученые нѣмецкіе вызывались и до нашихъ дней. Замѣтимъ, что между этими нѣмецкими академиками и профессорами бывали люди европейской знаменитости, какъ, напр., Эйлеръ или Шлѣцеръ, или люди съ почетной извѣстностью и дѣйствительными знаніями въ своемъ дѣлѣ. Когда правительство поняло, наконецъ, старую мысль Петра В., что слѣдуетъ скорѣе образовывать своихъ людей, чтобы не зависѣть отъ чужеземцевъ,—и стало посылать русскихъ молодыхъ ученыхъ за границу для довершенія ихъ занятій (безъ этого обойтись все-таки было невозможно, да невозможно и донинѣ), то страной, куда они были направляемы съ этою цѣлью, была опять по преимуществу Германія.

Основаніе „профессорскаго института“ въ Дерптѣ и посылка подготовлявшихся тамъ будущихъ профессоровъ за границу—съ конца

двадцатыхъ и до сороковыхъ годовъ—произвели небывалый прежде въ такомъ размѣрѣ приливъ свѣжихъ научныхъ силъ, и самымъ благотворнымъ образомъ подѣйствовали на преобразование нашей исторической и съ нею этнографической науки. Наши молодые ученые, обыкновенно уже достаточно подготовленные и между которыми нерѣдки были люди положительнаго таланта, застали въ Германіи въ полномъ дѣйствіи „историческую школу“, бывали слушателями самихъ ея основателей и въ состояніи были освоиться съ ея развитіями и отгнѣнами, сознательно воспринять ея методъ ¹⁾. Въ то же время новые научные приемы бросали корень въ новыхъ университетскихъ поколѣніяхъ путемъ литературы; оживленная пора московскаго университета въ тридцатыхъ годахъ воспитала рядъ замѣчательныхъ дѣятелей, которые уже скоро внесли въ литературу богатый запасъ новыхъ научныхъ интересовъ.

Свою долю вліянія на развитіе историческихъ изученій оказало и гегеліанство, увлекавшее умы молодого поколѣнія тридцатыхъ годовъ. Оно имѣло исходный пунктъ и способъ наблюденія не совсѣмъ

¹⁾ Вотъ, для примѣра, нѣсколько именъ изъ тогдашней профессуры по исторіи, праву и филологіи. Въ московскомъ университетѣ:

— Рѣдкинъ: 1828—30 въ профессорскомъ институтѣ; 1831—34, въ Берлинѣ, слушатель Савинья, Бѣка, Гегеля.

— Крыловъ, Никита: 1831—34, въ Берлинѣ, занимается „подъ личнымъ руководствомъ Савинья“, школа котораго „образовала господствующее направленіе его профессорской дѣятельности“ (Словарь моск. проф.).

— Крюковъ, извѣстный филологъ: 1833—35 за границей; въ Берлинѣ былъ слушателемъ Бѣка.

— Чивилевъ, политико-экономъ: 1833—35 за границей.

— Грановскій: 1836—39 за границей, большую частію въ Берлинѣ, подъ руководствомъ Ранке.

— Кудравцевъ: 1843—47 за границей.

Нѣкоторые изъ будущихъ профессоровъ были за границей не по официальной послылкѣ:

— Катковъ: 1841—43, слушалъ въ Берлинѣ особенно Шеллинга (диссертация филологическая: Объ элементахъ и формахъ славяно-русскаго яз., 1845).

— Буслаевъ: 1839—41 за границей.

— Соловьевъ: 1842—44 за границей.

Въ петербургскомъ университетѣ:

— Калининъ, юристъ: 1828—34 въ Дерптѣ и за границей; въ Берлинѣ слушатель Эйхгорна, Савинья, Гегеля, Ганса.

— Неволгинъ: 1829—32 за границей, образовался въ особенности по Савинья.

— Ивановскій: 1832—35 въ Дерптѣ и за границей; въ Берлинѣ слушатель Савинья, Ганса, Карла Риттера.

— Куторга, М.: въ Дерптѣ, потомъ 1833—35 за границей.

— Порошинъ, политико-экономъ: 1833—35 за границей.

Въ казанскомъ университетѣ:

— Мейеръ, Д. И.: кажется 1842—44, за границей, и друг.

согласные, иногда противоположные съ требованіями „исторической школы“; но были точки соприкосновенія, гдѣ то и другое содѣйствовало преобразованію исторической науки,—и въ самой Германіи, и въ отраженіяхъ гегелианства у насъ. Представленіе о естественномъ, совершающемся съ внутренней логической необходимостью, процессѣ развитія духа,—процессѣ, создающемъ самую исторію человѣчества,—совпадало съ основной мыслью исторической школы, съ тою разницею, что послѣдняя избѣгала рискованныхъ отвлеченныхъ построеній „философіи исторіи“ и останавливалась на генетическомъ объясненіи фактовъ.

Всѣ эти явленія, въ видѣ общихъ теоретическихъ положеній и въ видѣ специальныхъ историческихъ, юридическихъ и литературныхъ изученій, соединялись и перекрещивались въ молодыхъ кружкахъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, и создали небывалое прежде движеніе научно-критической мысли, въ духѣ которой и былъ произведенъ рядъ трудовъ, совершенно измѣнившихъ весь характеръ русской исторіографіи и изслѣдованій народности. Значительный научный матеріалъ былъ уже собираемъ ранѣе; философскіе вкусы, тогда распространенные, требовали теоретическаго освѣщенія фактовъ и приготовляли почву для новыхъ выводовъ и обобщеній; теперь, количество матеріала еще умножилось и къ нему приложены были новые приемы критики. Въ ходѣ русской науки наступилъ новый періодъ.

Въ области исторіографіи на первомъ планѣ стоятъ многочисленные труды неумоимаго Соловьева (1820—1879) ¹⁾. Его первая знаменитая диссертация: „Объ отношеніяхъ Новгорода къ великимъ князьямъ“ (1845) и вторая: „Исторіи отношеній между русскими князьями Рюрикава дома“ (1847), наконецъ первый томъ „Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ“ (1851) были фактомъ, что называется, составляющимъ эпоху. Труды Соловьева были приняты съ великимъ сочувствіемъ и уваженіемъ его сверстниками, потому что отвѣчали ихъ собственнымъ исканіямъ и требованіямъ отъ историческаго изслѣдованія. Эти сверстники съ перваго раза вѣрно оцѣнили всю важность новаго приѣма и его отношеніе къ карамзинскому преданію. Съ другой стороны, труды Соловьева встрѣчены были весьма недружелюбно хранителями этого преданія, именно Погодинымъ,—это было странно во всякомъ случаѣ, происходило ли отъ

¹⁾ Оцѣнка этихъ трудовъ дѣлалась множество разъ при ихъ появленіи; общее опредѣленіе ихъ укажемъ въ статьѣ г. Герье: „С. М. Соловьевъ“, въ „Историч. Вѣстникѣ“, 1880; подробное перечисленіе ихъ—въ „Спискѣ сочиненій, 1842—1879“, составленномъ Н. А. Половнымъ.

непониманія, или отъ непреодолимаго личнаго нерасположенія къ молодому сопернику.

Критическій приѣмъ Соловьева былъ именно приѣмъ „исторической школы“. Первые образцы новой критики указали наглядно всю недостаточность прежнихъ изслѣдованій и необходимость искать объясненія внутреннихъ основаній историческаго процесса. Трудъ Соловьева былъ привѣтствованъ его сверстниками именно потому, что, говоря словами одного изъ нихъ, представлялъ—*„первую серьезную попытку понять и объяснить постепенное развитіе древней русской жизни. Этого до Соловьева никто еще не дѣлалъ, по крайней мѣрѣ печатно, не исключая самого Карамзина. „Исторія“ Карамзина принадлежитъ болѣе къ изящной, чѣмъ къ исторической литературѣ (кромя примѣчаній, которыя представляютъ богатое собраніе матеріаловъ и источниковъ). Карамзинъ обращалъ болѣе вниманія на внѣшнія событія, чѣмъ на внутреннія. Онъ мало понималъ послѣдовательное, внутреннее развитіе русской жизни... Конечно, въ „Исторіи“ Карамзина встрѣчаются намеки на мысль, которую развилъ г. Соловьевъ въ своей диссертаци, но имъ едва-ли можно придавать какую-нибудь важность... Дѣло состоитъ въ томъ, что Карамзинъ не искалъ въ фактахъ мысли, не останавливался надъ ними, не прослѣдилъ ихъ развитія въ исторіи, какъ г. Соловьевъ, а передавалъ ихъ отрывочно, безсвязно, какъ онѣ высказывались въ фактахъ. Конечно, время было другое. Но нельзя же опять не сказать, что это было такъ... Карамзинъ не глубоко смотрѣлъ на исторію. Это и даетъ намъ право назвать взглядъ г. Соловьева вполне новымъ, оригинальнымъ и самостоятельнымъ, хотя на него и есть намеки въ „Исторіи“ Карамзина“.*

Критикъ, — слова котораго мы приводимъ, — вообще находилъ очень мало удовлетворительной и историческую и историко-юридическую литературу нашу послѣ Карамзина. Единственная полезная часть и въ той, и въ другой—собираніе и обнародованіе источниковъ, но изслѣдованій очень мало, и направлены онѣ на предметы несущественныя; общіе взгляды составляются изъ чистаго произвола, а „необходимый законъ, по которому совершалась древняя русская исторія“, даже не привлекаетъ вниманія.

Критикъ называлъ это состояніе науки *романтизмомъ* и находилъ, что „такой романтизмъ, господствующій въ современныхъ историческихъ изслѣдованіяхъ, и лозунгами котораго почти всегда—мысли самыя не-дѣйствительныя, не-историческія, преимущество Руси передъ Россією (т.-е. древней Россіи передъ новою) и словенскаго міра передъ романо-германскимъ—такой романтизмъ свидѣтельствуетъ

только, что до истинной дѣйствительной исторической науки намъ еще очень, очень далеко“.

Книга Соловьева радовала критика именно совершеннымъ удаленіемъ этого романтическаго произвола, и введеніемъ строгаго научнаго изслѣдованія историческихъ законовъ и движущихъ началъ. „Что мы особенно цѣнимъ въ авторѣ книги,—говорилъ критикъ,—это безусловную *вѣру въ историческое развитіе*, и потому совершенное отсутствіе всякихъ любимыхъ заднихъ мыслей, насилующихъ факты, простой взглядъ на историческія событія и большой историческій смыслъ. Для г. Соловьева всѣ эпохи нашей древней исторіи равно интересны и важны; во всѣхъ онъ ищетъ внутренняго значенія, необходимой связи и разумной постепенности, не вводя постороннихъ дѣятелей отъ своего лица“. „Мы не усомнимся сказать,—заключалъ критикъ,—что трудъ г. Соловьева самъ по себѣ *составляетъ эпоху* въ области изслѣдованій о русскихъ древностяхъ и подаетъ радостныя надежды въ будущемъ“.

Отзывъ, сущность котораго мы привели, принадлежалъ Кавелину ¹⁾. Теперь, спустя почти полъ-вѣка, когда и дѣятель и привѣтствовавшій его критикъ отошли въ исторію, особенно любопытенъ этотъ первый отзывъ, такъ оправданный монументальнымъ трудомъ Соловьева. Кавелинъ съ тѣмъ же вниманіемъ и сочувствіемъ останавливался на послѣдующихъ сочиненіяхъ Соловьева, и его „Исторіи отношеній между русскими князьями Рюрикова дома“ (1847) посвятилъ рядъ статей, въ которыхъ внимательно прослѣдилъ и провѣрилъ главную мысль Соловьева и ея историческія подробности,—такъ какъ на этотъ разъ шла рѣчь объ одномъ изъ основныхъ *началъ* всей старой русской исторіи ²⁾. Интересъ вполне понятенъ: это были именно ученые *одной школы*, едва раздѣленные спеціальностью,—одинъ былъ собственно историкъ, другой юристъ,—но видѣвшіе одно требованіе для историческаго изслѣдованія и естественно сходящіеся въ вопросъ объ историческихъ началахъ, которые были вмѣстѣ и началами юридическими.

Понятіе о народѣ, какъ организмѣ, и объ исторіи народа, какъ органическомъ развитіи его исконныхъ бытовыхъ началъ, въ обстановкѣ природныхъ условій и внѣшнихъ условій и сосѣдства, составляетъ основную историческую идею Соловьева, и приложеніе этой идеи есть его великая научная заслуга. Съ первыхъ своихъ изслѣдованій Соловьевъ исходилъ изъ этой точки зрѣнія, и потомъ нѣсколько разъ возвращался къ объясненію понятія органическаго раз-

¹⁾ „Отеч. Записки“, 1845, дек., библ. хроника; и Сочин. Кавелина, М. 1859, т. II, стр. 30, 31, 33, 38.

²⁾ „Современникъ“, 1847, кн. 8 и 12; 1847, кн. 5, и Сочиненія, II, стр. 454—612.

витія: естественно, что исторія, построенная на этомъ основаніи, была совсѣмъ не похожа на старую карамзинскую. Свой главный историческій трудъ Соловьевъ открываетъ изслѣдованіемъ географической области, въ которой предстояло развиваться дѣятельности русскаго народа. Это была система знаменитаго Риттера, который, въ параллель исторической шкволѣ, создавалъ тогда впервые географическую науку, связанную съ исторіей и этнографіей и объяснявшую взаимодѣйствіе природы и человѣка. Взглядъ Риттера былъ опять привлекателенъ для Соловьева именно тѣмъ, что удалялъ изъ исторіи случайность и произволь, и давалъ естественный и постоянный законъ для объясненія фактовъ. Отдѣльныя замѣчанія о вліяніи „климата“ есть еще у Карамзина; но до Соловьева нигдѣ не было съ такой подробностью разработано вліяніе географическихъ условій въ русской исторіи вообще,—быть можетъ, даже съ преувеличеніемъ априорическихъ выводовъ *post facto*. Съ точки зрѣнія органическаго развитія, новый историкъ отнесся отрицательно къ обычному дѣленію русской исторіи на періоды: по его взгляду, никакого рѣзкаго дѣленія не могло быть тамъ, гдѣ идетъ *непрерывно* дѣятельность развитія, гдѣ каждое явленіе подготавливается предъидущимъ, и если иногда крупное событіе имѣетъ видъ внезапнаго переворота, это значитъ только, что его причинъ надо искать глубже въ условіяхъ и потребностяхъ жизни и дальше въ предшествующихъ вѣкахъ. Еще въ 1847, при защитѣ второй диссертациі, Соловьевъ въ рѣчи на диспутѣ высказывалъ свою точку зрѣнія: до сихъ поръ заботились особенно о томъ, какъ *раздѣлить* русскую исторію; теперь надо стараться, напротивъ, *соединить* ея части въ одно цѣлое, связать раздробленное и неправильно противопоставленное, надо возсоздать органическій ходъ исторіи, а онъ самъ отмѣтитъ дѣленія естественныя и необходимыя.¹⁾ Позднѣе Соловьевъ развилъ эту самую мысль и въ печати. Въ связи съ этимъ представленіемъ, Соловьевъ объяснялъ родовыми отношеніями „систему удѣльную“, которая прежде представлялась безсмысленнымъ дѣломъ произвола. Онъ отвергалъ также вліяніе монгольскаго ига въ томъ размѣрѣ, какое ему часто приписывали: монгольское иго было непричастно тому повороту въ русской исторіи, который съ нимъ совпадаетъ хронологически, или по крайней мѣрѣ было въ этомъ поворотѣ только одной изъ многихъ дѣйствующихъ причинъ. Далѣе, въ связи съ этимъ, былъ взглядъ Соловьева на Ивана III, на Ивана Грознаго, которыхъ дѣятельность внушена была не личными характерами, хитрой осторожностью одного, или жестокостью другого, а принудительными обстоятельствами, ко-

¹⁾ Сочин. Кавелина, II, 459—460.

тория впередъ предписывали извѣстное направленіе ихъ политикѣ. Наконецъ, въ самомъ переходѣ отъ древней Россіи къ новой, въ дѣятельности Петра, которая характеризуется обыкновенно какъ реформа, даже революція, Соловьевъ не видитъ никакого внезапнаго перерыва, никакого произвольнаго нарушенія „исконныхъ русскихъ началъ“, на которое плакались поклонники древней Руси; напротивъ, Соловьевъ указывалъ тѣснѣйшую практическую связь древней Россіи съ новой, и связь нравственную, потому что самый способъ дѣйствія реформы складывался по тѣмъ нуждамъ, какія были почувствованы равнѣ Петра, и по тѣмъ приемамъ мысли, какіе были воспитаны старымъ русскимъ обществомъ. Петръ былъ только исполнитель требованія, которое вѣками созрѣвало въ древней Россіи, и средство, употребленное новой Россіей для удовлетворенія этого требованія, было совершенно законно—оно употреблялось и самою древней Россіей. Тѣ угловатости, которыхъ не лишена реформа, были слѣдствіемъ той малой развитости сознанія, которая опять была унаслѣдована отъ старой Россіи. „Эта страсть къ кореннымъ переворотамъ, къ полному отрицанію стараго и созданію новаго, есть плодъ неразвитости сознанія. Одна крайность—безсознательное подчиненіе старому, ведетъ необходимо къ другой крайности—безсознательному стремленію къ новому“.

Развивая далѣе мысль объ органическомъ ростѣ русскаго народа, Соловьевъ устраняетъ и ту черту, какую многіе желаютъ еще донынѣ отдѣлять русскій народъ отъ европейскаго Запада, какъ нѣчто совсѣмъ на него не похожее и особенное, къ чему не прилагаются идеи и историческія явленія Запада. Это мнѣніе о несходствѣ, или даже противоположности Россіи и Запада,—въ которомъ не изгладилось или, вѣрнѣе, усердно подогрѣвалось преданіе старой московской исключительности,—поддерживалось у насъ людьми двойнаго сорта: съ одной стороны людьми, вообще не весьма расположенными къ просвѣщенію („ученье — вотъ чума“), бюрократическими обскурантами, а съ другой подхвачено было новѣйшими доктринерами, которымъ казалось, что этимъ противопоставленіемъ Россіи и европейской образованности возвышается достоинство русскаго народа. Думаемъ, что Соловьеву это мнѣніе было противно въ обѣихъ его формахъ. Въ тѣ годы, когда шла его молодая дѣятельность, на этой противоположности Россіи и Запада особенно настаивали: Западъ явился тогда очагомъ революціоннаго буйства, противъ него принимались строжайшія карантинныя мѣры, его просвѣщеніе считалось зараженнымъ и ядовитымъ, — и славянофилы страннымъ образомъ этому вторили; Соловьевъ, который (какъ и многіе другіе дѣятели „исторической школы“ въ Германіи и у насъ) въ результатъ своихъ историческихъ изученій былъ большимъ консерваторомъ, не только

не былъ однако приверженцемъ этого дѣленія и удаленія отъ Запада, но напротивъ думалъ, что послѣднюю стадію историческаго развитія русскаго народа, послѣдній результатъ его исторической работы, составляетъ его приобщеніе къ развитію обще-человѣческому: въ концѣ своей многотрудной задачи—внѣшняго построенія государства и внутренней работы образованія, — русскій народъ долженъ прикнуться къ европейской семьѣ, ему родственной, и къ ея просвѣщенію. Требованіе просвѣщенія именно отличало Соловьева отъ всякихъ прежнихъ и новѣйшихъ консерваторовъ, и прибавка этого условія, конечно, измѣняла всю обычную консервативную формулу.

Дѣло въ томъ, что Соловьевъ, по своему образованію, не былъ только тѣснымъ специалистомъ, но примыкалъ къ тому гуманному направленію, которое укрѣплялось у насъ съ вліяніями европейской литературы и ростомъ своей. Онъ вообще стоялъ особнякомъ, не вмѣшивался въ горячую публицистическую дѣятельность кружка Бѣлинскаго, но во всякомъ случаѣ принадлежалъ къ „западникамъ“, и Грановскій, наиболее мягкій и симпатичный представитель у насъ гуманнаго направленія, былъ для него высоко цѣнимымъ товарищемъ.

„Въ тѣ дни,—говоритъ біографъ Соловьева, г. Герье,—когда нашъ молодой историкъ готовился къ своему призванію, вниманіе русскаго общества занималъ вопросъ объ отношеніяхъ русскаго народа къ другимъ европейцамъ, національнаго духа къ обще-человѣческому просвѣщенію, и различные взгляды на этотъ предметъ выразились въ литературныхъ направленіяхъ и партіяхъ. Приверженцы европейскаго, общечеловѣческаго, были названы *западниками*; названіе одностороннее, неправильное, потому что указывало на внѣшній признакъ явленія, упуская изъ вида его сущность; названіе несправедливое, потому что заключало въ себѣ укоръ, а укоръ могъ только относиться къ увлеченію, къ злоупотребленію новымъ принципомъ, который вовсе не вытекали изъ самаго принципа въ самомъ себѣ вѣрнаго. Западники 30—50 годовъ имѣли право на совершенно иное названіе. Это были *русскіе гуманисты*. Нѣтъ основанія приурочивать этотъ терминъ исключительно къ эпохѣ ренессанса, къ людямъ, проводившимъ тогда въ европейскомъ обществѣ греко-римскую образованность... Высшій цвѣтъ этой цивилизаціи былъ раскрытъ только въ XVIII в., когда основаніе новой эпохи гуманизма было положено Винкельманомъ. На этомъ гуманнѣ воспитались классическіе поэты Германіи: Лессингъ, Гердеръ, Шиллеръ и Гёте, которые внесли гуманическій элементъ къ нѣмецкую литературу и этимъ подняли культуру нѣмецкую, дали ей мировое значеніе. Здѣсь гуманизмъ получилъ иной, болѣе широкій смыслъ, чѣмъ выразилось уже въ самомъ измѣненіи значенія слова *гуманный*; классическій гуманизмъ сдѣлался лишь однимъ изъ составныхъ элементовъ *европейскаго гуманизма*, т.-е. гуманнаго, общечеловѣческаго начала. Въ этотъ европейскій гуманизмъ стали тогда входить двѣ новыя живительныя струи—идеалистическая философія, которая внесла въ духовный міръ челоѣвка пониманіе исторіи, идею законнаго, мирнаго, органическаго развитія, идею прогресса и политическій либерализмъ, которому положилъ прочное основаніе переворотъ 1789 года. Этотъ обогащенный, облагороженный новыми идеями XIX вѣка гуманизмъ — продуктъ евро-

пейской общечеловѣческой цивилизаціи,—вотъ что пытались провести въ наше общество русскіе гуманисты, такъ называемые западники сороковыхъ годовъ! Не замѣну національнаго западнымъ ставили они себѣ цѣлью, а воспитаніе русскаго общества на европейской универсальной культурѣ, чтобы поднять національное развитіе на степень общечеловѣческаго, дать ему мировое значеніе.

„Гуманизмъ XVI в. былъ отрицаніемъ исторіи“...

Напротивъ,—

„Гуманизмъ XIX вѣка благопріятствовалъ успѣхамъ наукъ историческихъ. Историческое направленіе, генетическое объясненіе явленій, сдѣлалось господствующимъ во всѣхъ наукахъ. Сама же исторія была выдвинута на степень общественной науки, руководительницы въ современныхъ вопросахъ. Это высокое призваніе ея обуславливалось тѣмъ, что ей указанъ былъ строго научный путь. Въ основаніе ея явленій была положена идея закономѣрнаго развитія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ не было забыто гуманное сочувствіе къ человѣку, какъ къ отдѣльному лицу, такъ и къ массѣ. Вотъ какъ выразился объ этомъ С. М. Соловьевъ въ теплыхъ словахъ, посвященныхъ имъ памяти главнаго и самаго блестящаго представителя русскаго гуманизма въ то время, Т. Н. Грановскаго:

„Грановскій началъ свою профессорскую дѣятельность, когда умы молодого поколѣнія были сильно возбуждены великимъ стремленіемъ, господствовавшимъ въ исторической наукѣ, стремленіемъ уяснить законы, которымъ подчинены судьбы человѣчества. Несмотря на непререкаемую важность, благодѣтельность этого стремленія, и здѣсь, какъ во всякомъ дѣлѣ, во всякомъ стремленіи человѣческомъ, можно было дойти до вредной односторонности, которая дѣйствительно и обозначилась въ историческихъ сочиненіяхъ, важныхъ по своему достоинству и вліянію: имѣя въ виду общіе законы развитія человѣчества, разсматривая историческихъ дѣятелей, цѣлыя поколѣнія и народы только какъ орудія для достиженія извѣстныхъ цѣлей,—пріобрѣтали жесткость взгляда, теряли сочувствіе къ поколѣніямъ и народамъ, къ ихъ радостямъ и торжествамъ, къ ихъ страданіямъ и паденіямъ; мало того, пріобрѣтали равнодушіе, неразборчивость при оцѣнкѣ средствъ, которыми достигались извѣстныя цѣли: что нужды, если употреблялись средства не нравственныя, лишь бы это было во имя благодѣтельныхъ для человѣчества идей! „Идеи не суть индѣйскія божества, которыхъ возять въ торжественныхъ процессіяхъ и которые давятъ поклонниковъ своихъ, суевѣрно бросающихся подъ ихъ колесницы“, вотъ слова, раздавшіяся въ аудиторіяхъ нашего университета съ появленіемъ въ нихъ Грановскаго“.

„Общественное значеніе русскаго гуманизма представляется такимъ образомъ съ двоякой стороны: ставя современному обществу высокіе общечеловѣческіе идеалы, побуждая его во имя идеи прогресса идти впередъ по пути общечеловѣческой культуры, вселяя ему сочувствіе съ гуманнымъ началами,—онъ въ то же время содѣйствовалъ разумѣнію прошедшаго научной обработкой исторіи.

„Къ этому направленію, къ *западникамъ*, къ русскимъ гуманистамъ, примкнулъ и Соловьевъ. Его привлекалъ къ нимъ прежде всего его научный интересъ, а затѣмъ сознаніе, что научное ихъ направленіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе національное. Научно-европейское образованіе поставило его высоко надъ тѣми робкими умами, которые изъ страха перестать быть русскими боялись сдѣлаться европейцами“.

Соловьевъ не любилъ полемики, — слишкомъ часто безплодной, потому что большинство полемистовъ не умѣютъ вести спора о дѣлѣ, увлекаясь мелочностью личныхъ раздраженій; неутомимая работа давала ему возможность вести постоянно дальнѣйшее разъясненіе и доказательство своего взгляда. Очень рѣдко онъ измѣнялъ своему обычаю, и разъ вмѣшался въ споръ противъ славянофильства. Оно было ему антипатично именно тѣмъ, что на мѣсто органическаго развитія реальныхъ данныхъ народной жизни ставило въ исторіи отвлеченныя апіорическія положенія и къ нимъ подгоняло факты. Эти статьи Соловьева ¹⁾ особенно любопытны для объясненія его собственнаго приѣма и коренныхъ разнорѣчій съ славянофильствомъ. Это послѣднее направленіе онъ считалъ просто анти-историческимъ, и дѣйствительно, славянофильство не дало, въ смыслѣ своей теоріи, никакого послѣдовательнаго изложенія русской исторіи или исторіи русской литературы.

Однимъ изъ основныхъ пунктовъ разнорѣчія въ опредѣленіи хода русской исторіи была естественно Петровская реформа. Соловьевъ, осматривая ее съ разныхъ сторонъ, не скрывалъ отъ себя ея недостатковъ и не былъ ея безусловнымъ панегиристомъ, — но самымъ рѣшительнымъ образомъ защищалъ ее отъ ея новѣйшихъ противниковъ, именно какъ глубоко естественный, органически необходимый фактъ развитія русскаго народа, какъ условіе и ручательство его достоинства въ средѣ европейскихъ народовъ и въ области общечеловѣческаго просвѣщенія. Это былъ только болѣе опредѣленный исторически, но тотъ же взглядъ на Петра, какой выставляла поэзія (не дворянская теорія) Пушкина; тотъ же взглядъ „западнической“ партіи, которая въ реформѣ Петра защищала право просвѣщенія, еще слишкомъ мало обезпеченное въ русской жизни; по мнѣнію Бѣлинскаго, которое дѣлилось несомнѣнно и его друзьями, Пушкинъ нигдѣ не былъ такъ высокъ и именно такъ *націоналенъ*, какъ въ поэтическомъ возвеличеніи „творца Россіи“.

Обозрѣніе научнаго и общественнаго значенія дѣятельности Соловьева привело г. Герье къ слѣдующему выводу, который приводимъ какъ первый уже *историческій* выводъ объ этой дѣятельности. „Въ исторіи, — говоритъ г. Герье, — выражается народное самопознаніе и историографія служитъ средствомъ для его выясненія. Въ лицѣ Соловьева русская историографія довершала задачу, которую она такъ давно стремилась выполнить. Въ немъ соединились всѣ условія, необходимыя для національнаго историка въ полномъ и

¹⁾ „А. Л. Шлецеръ“, въ „Русск. Вѣстникъ“ 1856, № 8, и „Шлецеръ и анти-историческое направленіе“, тамъ-же, 1857, № 8.

истинномъ смыслѣ этого слова... Ему было суждено поставить созидающее зданіе русской исторіографіи на прочномъ основаніи, потому что этимъ основаніемъ была современная европейская наука. Но историческая наука не должна представлять только зеркало для прошедшаго; она имѣетъ культурное общественное призваніе, и такъ понималъ свою задачу Соловьевъ. Для русской науки, какъ и для всякой другой, эта задача выполнима только въ союзѣ съ обще-европейскимъ просвѣщеніемъ, и въ этомъ отношеніи Соловьевъ направилъ русскую исторіографію на вѣрный путь; ни его патріотизмъ, ни его преданность православной церкви не мѣшали ему считать себя европейцемъ и требовать отъ русскаго общества, чтобы *европейское* ему не было чуждо. Онъ сдѣлалъ болѣе; онъ доказалъ своей исторіей, что стремленіе къ европейской наукѣ и обще-человѣческому просвѣщенію есть исконное стремленіе въ Россіи, есть *національное* стремленіе. Историческіе труды Соловьева раскрыли постепенное, но непрерывное развитіе этого стремленія отъ первыхъ зародышей его въ „ревнителяхъ просвѣщенія“ въ древней Руси, отъ болѣе яснаго проявленія его въ „русскихъ исповѣдникахъ просвѣщенія“¹⁾ въ XVII вѣкѣ, до сознательнаго упроченія его въ преобразованіяхъ великаго царя. Въ рядахъ этихъ русскихъ ревнителей просвѣщенія одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ принадлежитъ русскому національному историку, основателю историческаго направленія въ русской исторіи, такъ высоко понимавшему какъ научный характеръ, такъ и просвѣтительное признаніе русской исторіографіи²⁾.

Не входя здѣсь въ разборъ историческихъ взглядовъ Соловьева, которые въ иныхъ, и важныхъ, отношеніяхъ остаются спорными и о которыхъ будемъ имѣть случай говорить дальше, здѣсь мы хотѣли только указать его главную заслугу, состоящую въ приѣмѣ изслѣдованія, дѣйствительно впервые открывавшемъ путь къ правильному пониманію русской исторіи. Это не была внѣшне-историческая, живописательная и морализирующая манера Карамзина, которая оцѣнивала событія по ихъ внѣшней яркости, анекдотической занимательности, историческихъ дѣятелей—по ихъ добродѣтелямъ и порокамъ; здѣсь открывалась критика внутренняго смысла этихъ событій, разыскивались фізіологическія основанія быта, событіямъ и лицамъ опредѣлялось ихъ мѣсто и значеніе по ихъ связи съ органическимъ движеніемъ исторіи. Изслѣдованія, веденныя въ этомъ направленіи, могли продолжаться уже только въ этомъ направленіи:—можно было оспаривать указанныя историкомъ законы явленій, но его точка зрѣнія

¹⁾ Статья Соловьева въ „Русск. Вѣсти.“ 1857, № 17, стр. 65—76.

²⁾ „С. М. Соловьевъ“, стр. 38.

могла быть опровергнута только открытіемъ и доказательствомъ другихъ *законовъ*.

Въ одно время съ Соловьевымъ, или даже раньше его, на этотъ самый путь изслѣдованія вступилъ Кавелинъ.

К. Д. Кавелинъ (1818—1885) былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ ученыхъ, начавшихъ свою дѣятельность въ сороковыхъ годахъ и однимъ изъ самыхъ характерныхъ представителей той эпохи ¹⁾. Окончивъ курсъ въ московскомъ университетѣ по юридическому факультету (1839), Кавелинъ выдержалъ магистерскій экзаменъ въ 1841, въ 1842 поступилъ-было на службу по министерству юстиціи, въ слѣдующемъ году вернулся въ Москву для защиты диссертации, а со второй половины 1844 года началъ свои лекціи по исторіи русскаго законодательства и по другимъ юридическимъ предметамъ, которые также были поручены.

Кавелинъ росъ въ строго-консервативной обстановкѣ стараго дворянскаго круга (отецъ его былъ извѣстнымъ директоромъ петербургскаго университета во времена Магницкаго); но въ числѣ его учителей до университета былъ между прочимъ Вѣлинскій, съ которымъ онъ встрѣтился потомъ въ Петербургѣ, и съ этой поры у Кавелина завязались самыя тѣсныя, дружескія связи съ прежнимъ учителемъ и всѣмъ его кругомъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ. Вѣлинскій остался для него на всегда предметомъ великаго уваженія. Научная школа Кавелина была та „историческая школа“, о которой мы выше говорили, но сухія положенія науки, подъ вліяніемъ его собственной кипучей природы и подъ вліяніемъ одушевленія, какимъ наполненъ былъ кружокъ Вѣлинскаго, стали вмѣстѣ глубокимъ общественнымъ и народолюбивымъ стремленіемъ. Положенія науки тотчасъ были примѣнены къ условіямъ нашего общественно-политическаго быта и перешли въ нравственное требованіе. Этимъ убѣжденіямъ сороковыхъ годовъ Кавелинъ остался вѣренъ во всю свою жизнь.

Его внѣшняя біографія прошла потомъ къ сожалѣнію гораздо

¹⁾ Біографическія свѣдѣнія о Кавелинѣ:

— Некрологъ и воспоминанія о немъ разныхъ лицъ въ „Вѣстникѣ Европы“, 1885, собранія въ книжкѣ: „Конст. Дм. Кавелинъ. Изъ первыхъ воспоминаній о покойномъ“. Спб. 1885; здѣсь между прочимъ списокъ сочиненій К., составленный Д. Яковлевымъ.

— „К. Д. Кавелинъ. Матеріалы для біографіи, изъ семейной переписки и воспоминаній“, Д. А. Корсакова, въ „Вѣстн. Евр.“ 1886—87.

— „Памяти К. Д. Кавелина“—рѣчи въ Московскомъ Юридическомъ Обществѣ въ „Юрид. Вѣстникѣ“, 1885.

— Записка Кавелина объ освобожденіи крестьянъ, 1855 г., въ „Р. Старинѣ“, 1886, январь, февр., май; Три ненаданныя монографіи по крестьянскому вопросу, 1857—1864 г., съ предисловіемъ Д. Корсакова, въ „Р. Стар.“, 1887, февраль, и др.

меньше въ области науки и университета, чѣмъ въ трудахъ болѣе или менѣе чуждыхъ его настоящему призванію.

Въ 1848 году Кавелинъ покинулъ московскій университетъ и поступилъ на службу въ Петербургѣ, сначала въ хозяйственномъ департаментѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, потомъ въ штабѣ военно-учебныхъ заведеній, затѣмъ въ канцеляріи комитета министровъ. Въ 1857 году Кавелинъ снова вступилъ на кафедру русскаго гражданскаго права въ петербургскомъ университетѣ, на которой оставался только четыре года, до 1861. Въ то же время, опять не на долго, на одинъ годъ, онъ сдѣлался преподавателемъ покойнаго цесаревича Николая. Впослѣдствіи, въ 1864, онъ поступилъ на службу въ министерство финансовъ, а съ 1878 сталъ профессоромъ въ военно-юридической академіи, тогда только-что основанной. Въ 1885 онъ умеръ.

Мы сказали, что научное положеніе становилось для Кавелина вмѣстѣ и нравственнымъ требованіемъ. Его мысль, съ первыхъ годовъ его ученой литературной дѣятельности, обращалась на общіе вопросы русскаго исторіи, которые въ то же время становились для него и вопросами живой современности, вопросами общественными, гражданскими. Свои основные взгляды того времени онъ высказалъ въ знаменитой статьѣ о „Юридическомъ бытѣ древней Россіи“. Исторія Россіи сразу становилась для него нераздѣльной съ исторіей народа, который былъ послѣдней цѣлью всего труда, положеннаго на созданіе государства. По смерти Кавелина, лица, бывшія его слушателями въ московскомъ университетѣ ¹⁾, вспоминали объ его одушевленныхъ лекціяхъ и о частныхъ бесѣдахъ съ профессоромъ въ опредѣленные дни. Въ этихъ бесѣдахъ докладывались тѣ нравственные и практическіе выводы, которые не находили мѣста въ университетскихъ лекціяхъ. „Преобладающее мѣсто въ воскресныхъ бесѣдахъ занималъ вопросъ о крѣпостномъ правѣ. Составъ студентовъ былъ тогда другой: большинство ихъ принадлежало къ помѣщикамъ, къ рабовладѣльцамъ, какъ не стѣсняясь заявлялъ имъ въ глаза Константинъ Дмитріевичъ. Его рѣзкій, беспощадный протестъ противъ крѣпостнаго права имѣлъ громадное значеніе. Въ умѣ всякаго шевельнулось сомнѣніе; болѣе или менѣе, но невольно, протестъ этотъ переходилъ въ слушателей. Какъ-то совѣстно становилось обращаться къ этому явленію такъ спокойно и безразлично, какъ это дѣлалось до знакомства съ Константиномъ Дмитріевичемъ. И эта дѣятельность не прошла безслѣдно. Не мало его слушателей явилось впослѣдствіи и

¹⁾ Въ числѣ ихъ были К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, Ф. М. Дмитріевъ, Н. П. Колупановъ, А. М. Унковскій, В. Н. Чичеринъ, покойный Аванасьевъ.

въ числѣ меньшинства губернскихъ комитетовъ, и въ рядахъ мировыхъ посредниковъ перваго призыва. Такимъ образомъ, дѣло, которому К. Д. посвятилъ цѣлую свою жизнь,—онъ началъ еще въ молодости, съ первыхъ шаговъ своей профессорской дѣятельности, въ то время, когда для большинства крѣпостное право представлялось неизблемымъ устоемъ русской жизни“¹⁾.

Понятно, что онъ съ величайшимъ энтузіазмомъ встрѣтилъ первыя заявленія о постановкѣ крестьянскаго вопроса. Цѣлый рядъ его трудовъ посвященъ объясненію крестьянскаго вопроса и въ то время, когда рѣшеніе его еще готовилось въ правительственныхъ кругахъ, и до послѣдняго времени, когда послѣ реформы представлялись новые трудные вопросы устройства народнаго быта. Этотъ народный интересъ былъ господствующимъ въ его общественныхъ взглядахъ. Воспринятый еще въ сороковыхъ годахъ, онъ, какъ мы замѣтили, сохранился у Кавелина неизмѣнно, все больше опредѣляясь съ теченіемъ времени. Нѣкогда, въ сороковыхъ годахъ, Кавелинъ, какъ и Грановскій, принялъ участіе въ полу-славянофильскомъ, такъ называемомъ Валуевскомъ сборникѣ²⁾, но уже вскорѣ различіе взглядовъ выяснилось и въ возгорѣвшемся спорѣ славянофиловъ и западниковъ Кавелинъ рѣшительно сталъ на сторонѣ послѣднихъ. Впослѣдствіи въ крестьянскомъ вопросѣ идеи Кавелина сошлись съ мнѣніями лучшихъ славянофиловъ, какъ Ю. Самаринъ; но извѣстно, что освобожденіе съ необходимостью надѣла было также мыслью людей, совершенно далекихъ отъ всякаго славянофильства. Это была просто мысль всѣхъ разумныхъ друзей народа... Кавелинъ приблизился къ славянофильству въ другой разъ, когда поднятъ былъ—правда, очень страннымъ образомъ—вопросъ о „деревнѣ“. Ему была сочувственна та мысль, которую онъ самъ не однажды высказывалъ, что весь складъ русской жизни не похожъ на жизнь европейскую, что въ то время, какъ европейскій Западъ создавалъ общественный строй и цивилизацію, основанные на феодализмѣ, на буржуазіи, и проникнутые ихъ духомъ, а теперь выдвигаетъ—не земледѣльческій народъ, а городского рабочаго,—русская жизнь заявляетъ совершенно новый принципъ, народное право на землю и общинное начало. Идея была не нова; равнѣе ее высказывали славянофилы, также и Герценъ; затѣмъ ее повторялъ авторъ книги о „Россіи и Европѣ“; мысль объ освобожденіи крестьянъ съ землей, т.-е. практическую сторону этого самаго вопроса въ русской жизни, давно защищали либералы 20-хъ годовъ, особливо Н. И. Тургеневъ.. У Кавелина сходство съ славяно-

¹⁾ Воспоминанія Колюпанова, „Русскія Вѣдомости“, 1885, № 123.

²⁾ Сборникъ историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и народахъ ей единообрѣнныхъ и единоплеменныхъ. М. 1845.

филами шло въ этомъ пунктѣ также очень не далеко; ему былъ совершенно чуждъ славянофильскій мистицизмъ; точно также онъ ни мало не желалъ скорѣйшей гибели европейскаго просвѣщенія, но имъ овладѣла мысль о томъ, что социальная европейская борьба вслѣдствіе исконныхъ историческихъ условій безысходна, что она представляетъ только смѣну тиранній, между тѣмъ какъ русскій народъ представляетъ неизвѣстное Европѣ зрѣлище громаднаго общинно-земледѣльческаго населенія, составляющаго огромный процентъ всей народной массы и долженствующаго въ концѣ концовъ создать новый типъ общественно-политическаго строя, который разрѣшитъ сфинксову задачу современной борьбы. Въ этомъ состояло зерно его теоріи о „мужицкомъ царствѣ“, о которомъ онъ любилъ говорить и спорить въ послѣдніе годы жизни, находя въ этой теоріи отвѣтъ своему идеалистическому представленію о разумномъ общественномъ строѣ русскаго народа въ условіяхъ его характера, его природы и территоріи. Защита теоріи, конечно, очень осложнилась всякими неудобными сосѣдствами—какъ старинная проповѣдь о гніеніи запада, или какъ новѣйшая проповѣдь о вредѣ „западной“ науки и о пользѣ восточнаго невѣжества... Но право науки никогда не подлежало для Кавелина сомнѣнію, и въ томъ идеальномъ, точно сказочномъ „мужицкомъ царствѣ“ эта наука была бы только ближе къ массамъ и не служила только роскошью избранныхъ классовъ... Историческій интересъ Кавелина былъ по преимуществу направленъ на это развитіе государственности, изъ всѣхъ славянъ созданной однимъ только русскимъ племенемъ; понятно, что его не удовлетворялъ Карамзинъ,—но его не удовлетворялъ также Соловьевъ; Костомарову онъ сочувствовалъ еще менѣе. Но признавая заслуги московской Россіи въ окончательномъ утвержденіи государства, Кавелинъ считалъ прошедшее прошедшимъ... По мнѣнію Кавелина, отечество его должно было идти впередъ, а не назадъ; въ образованіи онъ видѣлъ его насущную потребность; въ возрастающихъ поколѣніяхъ онъ видѣлъ дѣтей своего народа и жаждалъ, чтобы образованные люди своимъ знаніемъ шли на помощь народу, который, проживши тяжелые вѣка рабства, нуждается въ этой помощи, — но къ знанію должно было присоединиться нравственное чувство, честное отношеніе къ жизни. Этотъ народъ, благу котораго онъ былъ такъ преданъ и такъ много служилъ, не былъ въ его глазахъ ни фетишемъ, требующимъ поклоненія, ни идеаломъ, которымъ можно обманываться и — обманывать другихъ: какъ человекъ, знавшій народъ не только изъ кабинета, Кавелинъ не скрывалъ отъ себя недостатковъ этого народа, особенно недостатковъ культуры,—но изъ-за нихъ видѣлъ, однако, лучшія стороны русской народной природы, и этимъ-то сторонамъ онъ желалъ

разумнаго и счастливаго развитія, не во враждѣ, а въ союзѣ съ просвѣщеніемъ.

Знаменитая статья Кавелина: „Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи“ ¹⁾ составляетъ сжатый очеркъ того взгляда, который былъ положенъ въ основаніе курса по исторіи русскаго законодательства, читаннаго имъ въ московскомъ университетѣ съ 1844 года. Уже съ этого времени, Кавелинъ въ своихъ лекціяхъ объяснялъ „преимущественно родовыя начала русскаго быта въ ихъ историческомъ развитіи“; въ 1847—48, онъ „большую часть лекцій посвятилъ весьма подробному обзорѣнню первоначальнаго быта славянъ и изслѣдованію происхожденія древнѣйшихъ славянскихъ учрежденій, причемъ пользовался данными изъ теперешнаго быта славянскихъ племенъ и историческими письменными памятниками ихъ древнѣйшей исторіи“ ²⁾.

Во „Взглядѣ“ весьма послѣдовательно и ясно изложено развитіе началъ родовыхъ, оказывавшихъ вліяніе на самое политическое устройство государства, и указано ихъ позднѣйшее разложеніе и перерожденіе. Съ этой точки зрѣнія основныхъ движущихъ элементовъ исторіи, выводы Кавелина о главнѣйшихъ историческихъ лицахъ, о значеніи историческихъ эпохъ нерѣдко совершенно расходились съ общепринятыми представленіями и складывались именно въ томъ смыслѣ, какъ мы видѣли у Соловьева.

Какъ пришли эти новые изслѣдователи къ своему методу? Нѣтъ сомнѣнія, что они прямо и косвенно испытали на себѣ вліяніе тогдашней европейской науки, особливо нѣмецкой исторической школы; но въ этому подготавливали и факты собственно русской исторіографіи. Въ нашей исторіографіи, послѣ Карамзина дальнѣйшей ступенью развитія былъ Эверсъ, скептическая школа, а затѣмъ прямо труды Кавелина и Соловьева. Такъ называемая скептическая школа вызвала вообще гораздо больше осужденій, чѣмъ признанія того, что все-таки было ею сдѣлано,—и это понятно: она не оставила ни одного цѣльнаго законченнаго труда, разбилась на подробности,—но любопытно отмѣтить, что компетентные люди, видѣвшіе близко ея дѣятельность, придаютъ ей больше значенія, чѣмъ обыкновенно за ней предполагается и чѣмъ можно было бы предположить безъ этихъ удостовѣреній.

Кавелинъ, сопоставляя Каченовскаго (главу скептической школы) и Венелина, не рѣшался утверждать, ясно ли они понимали „великій подвигъ“, который имъ предстоялъ, но котораго они не могли совершить по встрѣченнѣмъ трудностямъ, но „то несомнѣнно,—гово-

¹⁾ „Современникъ“, 1847 г., январь; Сочиненія, М. 1859, т. I, стр. 305—380. Статья помѣчена февралемъ 1846 г.

²⁾ Біограф. Словарь проф. моск. университета. М. 1855, т. I, стр. 365—366.

рить онъ,—что оба далеко не были поняты". „Ихъ невысказанная мысль осталась прекраснымъ, глубокомысленнымъ завѣщаніемъ для грядущихъ поколѣній; но современники, ихъ собратья по дѣлу, видѣли одни писанныя слова... Кого увѣрите теперь, что предѣломъ ихъ историческихъ убѣжденій была подложность Несторовой лѣтописи или славянство варяговъ? Въ глаза бросается, что ихъ навели на эти мысли другія, *болѣе глубокія* и въ своемъ основаніи *вѣрная требованія* отъ науки русской исторіи... Очень понятно, что удары, которые посыпались на Каченовскаго и Венелина, должны были оглушить ихъ и отклонить ихъ дѣятельность и вниманіе въ другую сторону. Такъ и прошли они, не высказавшись ¹⁾.

Соловьевъ, въ обширной біографіи Каченовскаго, написанной для юбилейнаго „Словаря профессоровъ моск. университета“ (1855), относится къ Каченовскому съ такимъ же признаніемъ его заслугъ въ развитіи исторической критики. Не менѣе ихъ цѣнить эту заслугу ученый болѣе стараго поколѣнія: г. Рѣдкинъ замѣчаетъ въ автобіографіи, писанной для того же „Словаря“, что онъ слушалъ въ Москвѣ лекціи русской исторіи „у перваго по мнѣнію Рѣдкина критика отечественной исторіи, Каченовскаго“, и что „болѣе всѣхъ онъ обязанъ лекціямъ по русской исторіи Каченовскаго, въ отношеніи не столько самого содержанія, сколько *ученымъ приемамъ*“ ²⁾.

Въ этихъ приемахъ и былъ вопросъ. „Свептицизмъ“ Каченовскаго основанъ былъ на требованіи, чтобы бытовья явленія и отдѣльныя событія, изображаемыя историками, отвѣчали общему характеру вѣка, т.-е. чтобы не подлежала сомнѣнію ихъ органическая связь съ основными историческими данными мѣста, времени и быта. И это требованіе, поставленное категорически какъ первое правило, было дѣйствительно ново въ русской исторіографіи. Подобное понятіе о внутреннемъ физиологическомъ развитіи народовъ Кавелинъ указываетъ и у Венелина. То и другое было несомнѣннымъ, хотя на первый разъ еще мало сознаваемымъ, отраженіемъ тогдашняго поворота въ европейской исторіографіи. Но въ тридцатыхъ годахъ въ нашихъ университетахъ, и въ Москвѣ особенно, явились уже непосредственные ученики и послѣдователи нѣмецкой исторической школы: ея ученія передаются уже не въ случайныхъ, отрывочныхъ отголоскахъ, а въ ихъ полномъ составѣ и въ систематическомъ порядкѣ фактовъ и доказательствъ. Соловьевъ и Кавелинъ, еще будучи слушателями

¹⁾ Сочин. Кавелина, II, 408—409. Писано въ 1847 году. Прибавимъ, что Венелину, кромѣ того, очень повредили такіе послѣдователи, какъ Савельевъ-Ростиславичъ и Морозкинъ, о которыхъ мы прежде говорили.

²⁾ Біогр. Словарь проф. моск. ун-в. II, стр. 380.

университета, воспринимали эти вліянія ¹⁾, и въ результатѣ было сознательное примѣненіе метода къ новому матеріалу, къ русской исторіи.

Общій планъ теоретическаго объясненія русской исторіи внутренними началами быта сложился одновременно и весьма похоже у Соловьева и у Кавелина, но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ Кавелинъ даже раньше указалъ новую точку зрѣнія.

Но затѣмъ мысль объ органическомъ ходѣ исторіи привела Кавелина еще къ другому любопытному роду изслѣдованій, по которому онъ долженъ занять видное мѣсто въ исторіи русской этнографіи. Это—изслѣдованія этнографическія, въ своемъ родѣ первыя въ нашей литературѣ.

Мы видѣли раньше, въ какомъ положеніи была паша этнографическая наука, главными представителями которой были тогда Сахаровъ, Снегиревъ и Терещенко. Географическое Общество тогда только-что основывалось.

Народный бытъ не могъ не привлечь *нашей* исторической школы. Если внутренній ходъ русской исторіи истолковывался изъ основныхъ формъ быта, на которыхъ опиралось развитіе народной жизни и созданіе государства, то былъ совершенно естественъ интересъ къ народному быту современному, въ которомъ такъ явно хранилась старина. Изученіе его требовалось и для объясненія современной жизни, и для пониманія старой исторіи. Въ настоящее время изслѣдованіе народнаго быта владѣетъ обширнымъ запасомъ научныхъ средствъ: не говоря о богатыхъ указаніяхъ въ наукѣ европейской, у насъ этому изслѣдованію содѣйствуютъ уже сильно развившаяся археологія, сравнительное языкознаніе, сравнительная миеологія, большой матеріалъ современныхъ наблюденій быта и произведеній народной поэзіи и т. д. Въ сороковыхъ годахъ, собраніе народнаго матеріала было еще весьма скудно; другія научныя средства этнографіи, какъ увидимъ далѣе, едва появлялись. Такимъ образомъ, обращаясь къ вопросу о народномъ бытѣ, Кавелинъ былъ ограниченъ лишь тѣми средствами, какія давалъ общій методъ исторической школы; но, не смотря на этотъ недостатокъ научной разработки предмета, внимательная критика народно-бытовыхъ фактовъ сдѣлала то, что его изслѣдованія въ этой области остаются доннынѣ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ трудовъ въ нашей этнографической литературѣ.

Первымъ поводомъ къ этой работѣ послужила для Кавелина упомянутая книга Терещенка, не сама по себѣ, потому что лишена была всякаго научнаго значенія, но какъ новый, хотя и плохо со-

¹⁾ Первая научная работа Кавелина: „О теоріяхъ владѣнія“ (Сочин. I, 3—37).

бренный, запас матеріала о народномъ бытѣ. Кавелинъ посвятилъ этому предмету рядъ статей ¹⁾, гдѣ впервые научнымъ образомъ освѣтилъ историческое значеніе русскаго народнаго быта. Исходный пунктъ изслѣдованія высказанъ слѣдующими словами:

„Наши простонародные обряды, примѣты и обычаи, въ томъ видѣ, какъ мы ихъ теперь знаемъ, очевидно сложились изъ *разнородныхъ элементовъ* и въ продолженіе *многихъ стокъ*. Все, что имѣло на Россію болѣе или менѣе продолжительное *вліяніе извнѣ*, всѣ эпохи ея *внутренняго историческаго возрастанія* проводили какую-нибудь черту въ обрядахъ и обычаяхъ, прибавляя къ нимъ новое, измѣняя, уничтожая или переиначивая старое. Вслѣдствіе этой безпрестанной, хотя и медленной, перестройки, наши обычаи и обряды представляютъ самый нестройный хаосъ, самое пестрое, повидному, безсвязное, сочетаніе разнороднѣйшихъ началъ. Развалины эпохъ, отдѣленныхъ вѣками, памятники понятій и вѣрованій самыхъ разнородныхъ и противоположныхъ другъ другу въ нихъ какъ бы набросаны въ одну грудку въ величайшемъ безпорядкѣ. Подвести ихъ подъ систему, объяснить изъ одного общаго начала невозможно, потому что они составились не по одному общему плану, не суть порожденіе единой творческой мысли. Чтобъ внести сколько-нибудь свѣта въ эту массу отрывочныхъ, отчасти искаженныхъ и обезсмысленныхъ фактовъ, остается одно средство: *разобрать ихъ по эпохамъ*, къ которымъ они относятся; по элементамъ, подъ вліяніемъ которыхъ они образовались, и потомъ, съ помощью способовъ, на которые указываетъ историческая критика, *возстановить*, сколько возможно, *внутреннюю связь* этихъ эпохъ и послѣдовательность преемственнаго вліянія этихъ элементовъ. По примѣру геологич. критика должна найти ключъ къ этимъ ископаемымъ исчезнувшаго историческаго міра“ ²⁾.

Но какъ найти этотъ ключъ? Кавелинъ замѣчаетъ, что это вовсе не такъ легко, какъ можетъ казаться съ перваго взгляда, и указываетъ, какими разнообразными трудностями окружено правильное пониманіе обычая. Во-первыхъ, въ безчисленномъ множествѣ фактовъ, изъ которыхъ слагаются обычаи, обряды и повѣрья, очень немногіе сохранились въ первоначальномъ видѣ, а большая часть является искаженной всякими позднѣйшими наростами и вліяніями. Есть факты, древность которыхъ несомнѣнна, но они такъ сглажены временемъ, что ихъ смыслъ открыть невозможно. Во-вторыхъ, многіе обряды и повѣрья имѣютъ въ современномъ употребленіи свое опредѣленное значеніе и толкуются самимъ народомъ: повидному, научное объясненіе готово, но на дѣлѣ народное толкованіе очень часто бываетъ совершенно ошибочно. По привычкѣ, по консервативному праву массы, обрядъ держится дольше, чѣмъ помнится его первоначальный смыслъ, и народъ, забывая съ теченіемъ вѣковъ старое значеніе обряда, толкуеть его по своимъ новымъ соображе-

¹⁾ Современникъ, 1848; Сочин. Кавелина, IV, стр. 3—201.

²⁾ Сочин., IV, стр. 36.

ніямъ; новое толкованіе бываетъ обыкновенно рационалистическое, старается отыскать въ обрядовомъ дѣйствіи какой-нибудь, вновь придуманный, символизмъ, какія-нибудь соотношенія съ практической пользой и т. п., и подъ вліяніемъ его можетъ видоизмѣняться самая форма обряда. Прежніе наблюдатели народнаго быта обыкновенно обращали мало вниманія на эту разницу между фактомъ и его народнымъ толкованіемъ.

Но какъ найтись въ этомъ лабиринтѣ фактовъ, въ этомъ сборномъ мѣстѣ всѣхъ вѣковъ, періодовъ понятій русскаго народа? — Указавъ нелѣпость нѣкоторыхъ объясненій обычая у прежнихъ нашихъ этнографовъ, Кавелинъ дѣлаетъ общее замѣчаніе объ измѣнчивости быта и понятій и, слѣд., объ измѣнчивости самой народности, — чего не могутъ уразумѣть иные партизаны народности, похожіе на ея враговъ.

„...Чего не должно терять изъ виду при изученіи народныхъ повѣрій, обычаевъ и обрядовъ, это — постепенность, внутренняя послѣдовательность, съ которою происходятъ различныя измѣненія въ народной жизни, на какой ступени мы ее ни возьмемъ... Народъ на все смотритъ съ точки зрѣнія, обусловленной его характеромъ, исторіей, особенностями, историческимъ возрастомъ въ данную минуту. Всего, что внѣ этого опредѣленнаго круга его понятій внѣ окружающей его нравственной атмосферы, онъ не видитъ и не понимаетъ. Внесетъ ли исторія новый элементъ, условіе въ народную жизнь, — случай ли броситъ въ нее данное, выросшее на другой исторической почвѣ, плодъ другого порядка вещей и понятій — они или передѣлываются, или остаются тѣ же, но народъ соединяетъ съ ними другое понятіе, присущее ему; слѣдовательно, внѣшній образъ или смыслъ ихъ — все равно — становятся другими, и принимая чужое, вводя въ себя посторонніе элементы, народъ остается собой и себѣ вѣрнѣе. Такъ сначала, и это иногда долго продолжается; потомъ начинается обратное дѣйствіе воспринятыхъ элементовъ и данныхъ на народный организмъ. Увеличивъ собою число фактовъ, изъ которыхъ слагается и около которыхъ вращается народная жизнь, умноживъ свѣденія народа, они въ свою очередь измѣняютъ народный организмъ; но это измѣненіе, обновленіе, перерожденіе его является естественнымъ, какъ будто совершающимся изъ собственныхъ, внутреннихъ силъ народа, ибо дѣйствительно, все это, что его обогатило, увеличило его содержаніе, сначала было пмъ усвоено, введено въ кругъ его понятій“ ¹⁾.

Разъяснивъ сложное содержаніе вопроса, отстранивъ старыя ошибочныя взгляды на предметъ, Кавелинъ переходитъ, наконецъ, къ положительнымъ основаніямъ, на которыхъ должно строиться объясненіе стараго обычая. Онъ дѣлаетъ при этомъ важное замѣчаніе, которое можетъ теперь считаться научно-доказаннымъ, такъ какъ подтверждается множествомъ антропологическихъ наблюденій:

¹⁾ Тамъ же, стр. 50—51.

„Мы знаемъ изъ исторіи,—говоритъ онъ,—что теперешнія наши понятія, убѣжденія,—словомъ, та нравственная духовная атмосфера, въ которой живетъ современный человѣкъ, образовалась и сложилась постепенно и есть результатъ прошедшаго. Чѣмъ жилъ человѣкъ, какимъ вліяніемъ опредѣлялась жизнь цѣлыхъ народовъ, когда этой нравственной атмосферы еще не было, а была только одна темная, неразвитая и несознаваемая способность создать ее? Очевидно, они жили, ихъ жизнь могла опредѣлиться только внѣшней, ихъ окружавшей природой. Общественныя отношенія—если они на этой степени развитія могутъ быть названы общественными—были совершенно не опредѣлены, не устроены, а потому, во сколько они зависятъ отъ воли человѣка, совершенно случайно или исключительно опредѣлялись непосредственными требованіями внѣшней природы.

„Итакъ, прежде понятій, прежде обычаевъ — первой формы правильныхъ общественныхъ и житейскихъ отношеній,—нераздѣльно и исключительно преобладалъ непосредственный, грубый *фактъ*, во всей случайности или внѣшней необходимости: за нимъ ничего не было. Слѣпо покорялся ему первобытный человѣкъ. Онъ не научился еще обладать природой, приспособляя ея непреложные законы и отпращиванія къ своимъ нуждамъ и требованіямъ; онъ еще не пытался подчинить случайность отношеній съ подобными себѣ постояннымъ, опредѣленнымъ, общимъ правиламъ. Онъ еще не имѣлъ мысли, сознанія. Таковъ младенецъ.

„Первымъ актомъ сознанія, первымъ шагомъ къ возобладанію надъ случайностью и непосредственнымъ дѣйствіемъ внѣшнихъ законовъ, было явленіе, повидимому, совершенно противоположное тому и другому, а именно обобщеніе и случайности, и слѣпой внѣшней необходимости, признаніе ихъ дѣйствій за вѣчный, непреложный законъ. Казалось бы, этимъ ихъ господство было увѣковѣчено. Но, взглядываясь пристальнѣе, мы увидимъ въ этомъ обобщеніи, въ этомъ признаніи дѣйствительнаго факта первое выраженіе потребности существовать подъ владычествомъ разумнаго закона, первую попытку высвободиться изъ-подъ власти слѣпого случая.

„Здѣсь зародышъ убѣжденій и обычаевъ. Ихъ содержаніе — не отвлеченная мысль, не психологическая или отвлеченная истина, а непосредственныя отпращиванія и дѣйствія внѣшней природы или грубыя, случайныя явленія еще хаотической, первоначальной общественности“ (стр. 58—59).

На основаніи этого взгляда Кавелинъ выводитъ, что одна изъ главныхъ путеводныхъ нитей въ объясненіи стараго повѣрья и обычая есть ихъ *прямой, буквальный смыслъ*. Когда передъ историкомъ одна нестройная масса разновременныхъ и разнохарактерныхъ фактовъ, безъ всякихъ извѣстій и данныхъ объ ихъ возникновеніи, простое буквальное толкованіе часто даетъ важныя указанія на явленія древнѣйшаго быта и ихъ послѣдовательное развитіе. „Цѣлый отжившій и давно исчезнувшій міръ, съ его понятіями и историческимъ значеніемъ иногда вдругъ оживаетъ въ яркихъ краскахъ отъ одного устраненія переноснаго значенія двухъ-трехъ старинныхъ обычаевъ, которое владывали въ нихъ изслѣдователи, и отъ возвращенія имъ ихъ буквальнаго, непосредственнаго, прямого смысла“. Авторъ приводитъ примѣры изъ древнѣйшаго римскаго права. Такъ, кредиторъ

имѣлъ право „изрубить въ куски“ неоплатнаго должника. Долго понимали это въ переносномъ смыслѣ, какъ полную волю кредитора надъ должникомъ; но потомъ ученые должны были признать, что здѣсь выраженъ просто фактъ древнѣйшей дѣйствительности. По тому же праву, тяжущіеся на судѣ о какой-нибудь вещи вступали передъ судьей въ борьбу между собой — „одинъ отнималъ вещь у другого“; но этотъ символъ опять былъ нѣкогда настоящей борьбой ¹⁾. Переносъ этотъ выводъ въ русскую старину, Кавелинъ находитъ реальное объясненіе нѣкоторыхъ нашихъ обычаевъ.

„Приходятъ ли, по нашимъ свадебнымъ обрядамъ, сваты съ посохомъ и ведутъ рѣчь съ родителями невесты какъ будто чужіе, никогда не слыхавшіе о нихъ—хоть и живутъ дворъ-объ-дворъ—вѣрите, что эти теперь символическія дѣйствія были когда-то, въ отдаленной древности, событіями, живыми фактами ежедневной жизни. Плачетъ ли невеста по волѣ, выражаетъ ли свадебная пѣснь ея неохоту, страхъ ѣхать въ чужую, незнакомую сторону — эти символы были тоже въ старину живой дѣйствительностью и въ этомъ значеніи являются однимъ изъ самыхъ богатыхъ историческихкихъ источниковъ. Думаетъ ли народъ, что на распутяхъ водится лихой человекъ—вѣрно когда-нибудь это было въ самомъ дѣлѣ такъ. Какая драгоценная черта для древнѣйшей общественности! Словомъ, ищите въ основаніи обрядовъ, повѣрій, обычаевъ—былей, когда-то живыхъ фактовъ, ежедневныхъ, нормальныхъ, естественныхъ условій быта, и вы откроете цѣлый историческій міръ, котораго тщетно будемъ искать въ лѣтописяхъ, даже въ самыхъ преданіяхъ, ибо народъ иногда и не помнить, какъ онъ жилъ въ отдаленной старинѣ, и не понимаетъ слѣдовъ этой жизни въ настоящемъ“.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи авторъ примѣняетъ свои общія положенія къ объясненію русской бытовой древности, — языческихъ вѣрованій, древняго общественнаго устройства, народныхъ праздниковъ, особенно подробно останавливается на бытѣ семейномъ и связанныхъ съ нимъ и доселѣ существующихъ обычаяхъ, на древнемъ бракѣ и т. д.

Трактатъ Кавелина есть важный фактъ въ развитіи нашей этнографіи—какъ едва ли не первый опытъ приложенія истинно-научнаго метода къ объясненію явленій народнаго быта. Позднѣе, методъ исторической школы утвердился въ изслѣдованіи бытовыхъ формъ, политическихъ учрежденій русской старины; но, къ сожалѣнію, онъ почти не имѣлъ дальнѣйшаго примѣненія въ области древнѣйшихъ народныхъ представленій, обрядовъ и повѣрій ²⁾. Въ этой послѣдней

¹⁾ Что первоначальное значеніе символа было именно таково, много примѣровъ приведено въ книгѣ г. Кулишера: „Очерки сравнительной этнографіи и культуры“. Спб. 1887 (статьи: Символика въ жизни, исторіи и правѣ). Напоминаемъ здѣсь еще, основанія на подобномъ взглядѣ, любопытныя изслѣдованія г. Воеводскаго (о каннибализмѣ и проч.).

²⁾ Въ этомъ направленіи, кромѣ книги г. Кулишера, мы упомянемъ далѣе изслѣдованія г. Сумцова.

области, около того же времени, стала обильно примѣняться другой приемъ — объясненіе миеологическое, о которомъ подробнѣе скажемъ далѣе. Это было опять наследіе отъ нѣмецкой науки, наследіе полезное и которое необходимо было усвоить и переработать, такъ какъ въ немъ была большая доля научной истины; но не установившееся прочно въ самой нѣмецкой наукѣ, миеологическое толкованіе примѣнялось у насъ съ преувеличеніями, которыя тогда же и бросились въ глаза Кавелину, такъ какъ слишкомъ противорѣчили его, гораздо болѣе реальному археологическому взгляду. На этомъ основаніи Кавелинъ высказался противъ Аванасьева, который тогда только-что началъ свои миеологическія изысканія и дѣйствительно впадалъ при этомъ въ крайности, теперь едва ли уже не всѣми признанныя за ошибку ¹⁾.

Ближайшимъ современникомъ, даже ровесникомъ Соловьева и Кавелина былъ еще историкъ права, труды котораго также тѣсно примыкають къ этнографіи. Это былъ Н. В. Калачовъ (1819—1885). По словамъ некролога, онъ велъ свое происхожденіе отъ Посопека Калачова, бывшаго въ концѣ XVI и началѣ XVII в. дьякомъ земскаго приказа, дворцовымъ ключникомъ и московскимъ объѣзжимъ головой; какъ будто не случайно таковъ былъ предокъ ученаго юриста нашего времени, который положилъ много труда именно на изученіе стараго русскаго права, стараго юридическаго быта и обычая. Окончивъ курсъ въ московскомъ университетѣ по юридическому факультету, въ 1840, Калачовъ поступилъ-было на службу въ Археографическую комиссію и въ 1843 сдалъ магистерскій экзаменъ, но по смерти отца въ послѣднемъ году оставилъ службу, чтобы заняться своимъ имѣніемъ, и затѣмъ снова вступилъ на службу въ 1846, занявъ мѣсто бібліотекаря въ московскомъ Главномъ Архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ. Въ томъ же году онъ защищалъ магистерскую диссертацию: „Предварительныя юридическія свѣдѣнія для полнаго объясненія Русской Правды“ (М. 1846), за которой шло изслѣдованіе: „О значеніи Кормчей въ системѣ древняго русскаго права“, явившееся сначала въ „Чтеніяхъ“ московскаго Общества исторіи и древностей, 1847, а потомъ отдѣльной книгой, 1850. Еще раньше, бывши студентомъ, онъ написалъ изслѣдованіе о судебникахъ Ивана III и Ивана IV, напечатанное въ „Юридическихъ Запискахъ“ Рѣдкина. Въ 1848 году онъ занялъ въ московскомъ университетѣ каеедру, оставленную тогда Кавелинымъ, но занималъ ее не долго: въ 1852 г. Калачовъ переселился въ Петербургъ и работалъ здѣсь во второмъ

¹⁾ См. статью Кавелина: „О вѣдунѣ и вѣдьмѣ“ (противъ статьи Аванасьева подъ этимъ же заглавіемъ въ альманахѣ „Комета“, 1851) въ Отеч. Зап. 1851, т. 76; Сочин. Кавел. IV, стр. 231—246, особенно стр. 235—236.

отдѣленіи собственной Е. В. канцеляріи и въ Археографической комиссіи, гдѣ ему принадлежалъ рядъ изданій юридическихъ актовъ стараго времени.

Работы Калачова складывались въ направленіи той же исторической школы, вліяніе которой опредѣлило характеръ трудовъ Соловьева и Кавелина. Право являлось для него органическимъ созданиемъ народной жизни, и изслѣдованіе его исторіи сливалось съ исторіей внутренней жизни народа. Въ такомъ смыслѣ было имъ предпринято въ 1850 году изданіе „Архива историко-юридическихъ свѣдѣній о Россіи“, гдѣ, какъ дальше скажемъ, приняли участіе историки права, археологи и этнографы, соединившіеся на объясненіи древняго русскаго быта съ его отраженіями въ современномъ народномъ бытѣ и преданіи. Позднѣе, въ 1858 году, онъ началъ изданіе „Архива историческихъ и практическихъ свѣдѣній, относящихся до Россіи“, гдѣ опять особенное вниманіе было посвящено вопросамъ народнаго быта и этнографіи. Въ тѣ же годы Калачовъ работалъ въ Географическомъ Обществѣ, и въ „Этнографическомъ сборникѣ“ издававшемся Обществомъ (т. VI), имъ напечатано было изслѣдованіе: „Артели въ древней и нынѣшней Россіи“; далѣе къ той же области древняго русскаго быта относится его изслѣдованіе о волостныхъ и сельскихъ судахъ въ древней и нынѣшней Россіи ¹⁾. Историческая мысль не покидала его и въ занятіяхъ практическими вопросами русскаго права и суда: онъ работалъ въ комиссіи, составлявшей проектъ судебныхъ уставовъ, и, какъ говорятъ, личной инициативѣ Калачова наше новое судебное законодательство обязано однимъ изъ лучшихъ своихъ постановленій, узаконившимъ на судѣ примѣненіе обычнаго права. Позднѣе, въ Москвѣ, онъ принималъ дѣятельное участіе въ устройствѣ перваго Юридическаго Общества, гдѣ нѣсколько лѣтъ былъ предсѣдателемъ, и положилъ начало изданію „Юридическаго Вѣстника“.

Въ 1865 году Калачовъ назначенъ былъ сенаторомъ и вмѣстѣ начальникомъ московскаго Архива министерства юстиціи. Съ этихъ поръ онъ съ величайшей ревностью работалъ для устройства нашего архивнаго дѣла. Замѣчательнымъ образцомъ въ этомъ дѣлѣ представлялась ему знаменитая Ecole des Chartes въ Парижѣ, давно привлекавшая вниманіе нашихъ ученыхъ путешественниковъ. При Архивѣ министерства юстиціи возникла его заботами особая комиссія для разработки документовъ этого хранилища. Впослѣдствіи, въ 1873, онъ сталъ во главѣ официальной комиссіи объ устройствѣ архивовъ, а въ 1878 онъ основалъ въ видѣ частнаго учрежденія Археологи-

¹⁾ Сборникъ государственныхъ знаній, т. VIII.

ческий Институтъ въ Петербургѣ, который долженъ былъ готовить будущихъ изслѣдователей и организаторовъ столичныхъ и провинціальныхъ архивовъ; преподаваніе нѣсколькихъ археологическихъ предметовъ было здѣсь примѣнено въ особенности къ изученію архивнаго дѣла. Въ нѣсколькихъ провинціальныхъ городахъ, по мысли и настояніямъ Калачова основались такъ называемыя архивныя коммисси, которыя ему хотѣлось распространить по всѣмъ главнымъ городамъ имперіи. Свои научно-практическіе интересы онъ, какъ всегда, желалъ перенести въ литературу и въ результатѣ вышло подъ его редакціей нѣсколько томовъ „Сборника Археологическаго Института“, а въ послѣдніе дни своей жизни онъ готовилъ послѣдніе выпуски „Вѣстника Археологіи и Исторіи“ (Спб. 1885, четыре выпуска съ атласомъ археологическихъ рисунковъ).

Такимъ образомъ Калачовъ еще съ новой стороны содѣйствовалъ историческимъ изученіямъ русскаго народнаго быта, именно со стороны архивныхъ юридическихъ источниковъ и современнаго обычая; такъ ему въ особенности принадлежала не малая доля заслуги въ возбужденіи научнаго и практическаго интереса къ обычному праву, какъ вообще рядомъ съ исторіей быта онъ не мало работалъ для изученія быта современнаго, вступая въ непосредственную область этнографіи. Такъ рядъ этнографическихъ статей и матеріаловъ нашелъ мѣсто и въ его послѣднемъ изданіи—„Сборникъ Археологическаго Института“¹⁾.

Когда такимъ образомъ вопросы этнографическаго изученія современнаго народнаго быта разъяснялись общими историческими соображеніями о ходѣ бытового развитія, какъ въ трудахъ Соловьева и Кавелина, а также примѣненіемъ историческаго изученія права, какъ въ трудахъ Калачова, этнографія разъяснялась еще съ другой стороны—изученіями археологическими. Здѣсь одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ принадлежитъ еще одному ровеснику названныхъ писателей, И. Е. Забѣлину²⁾. Рано потерявъ отца, небольшого чиновника въ Твери, потомъ въ Москвѣ, и оставшись съ матерью въ крайне стѣсненныхъ обстоятельствахъ, Забѣлинъ 12-ти лѣтъ поступилъ въ элементарное училище въ Преображенскомъ богадѣленномъ домѣ, извѣстномъ въ просторѣчьи подъ именемъ Матросской бога-

¹⁾ Біографическія свѣдѣнія см. въ „Вѣстникѣ Археологіи и Исторіи, издаваемомъ Археологическимъ Институтомъ“. Спб. 1886, вып. V, гдѣ, между прочимъ, собраны некрологи, появившіеся тогда въ газетахъ и журналахъ.

О послѣдующей дѣятельности Археологическаго Института, поступившаго въ заведеніе И. Е. Андреевскаго, см. въ „Русской Старинѣ“, 1888, февраль, и д.

²⁾ Род. въ 1820. Біографическія свѣдѣнія о немъ см. у А. С. Пругавина, „Московскій иллюстр. календарь-альманахъ на 1887 г.“ М. 1887, стр. 228—236.

дѣльни. Училище было стариннаго склада и не весьма благоустроенное; курсъ его былъ очень скудный; черезъ нѣсколько лѣтъ этого ученія, Забѣлинъ, благодаря ходатайству попечителя этой школы Львова, былъ помѣщенъ въ 1837 году на службу въ Оружейную Палату, канцелярскимъ служителемъ второго разряда. Эта счастливая случайность опредѣлила всю будущую судьбу и научную дѣятельность нашего заслуженнаго археолога. Помѣщеніе въ Оружейную Палату совпадало съ собственными, какъ будто врожденными наклонностями самого юноши: съ перваго чтенія, какое попадало ему въ руки, какъ Плутарховы біографіи въ переводѣ Дестуниса, „Исторія“ Карамзина, Вальтеръ Скоттъ, археологическіе романы Вельтмана, у него развивался вкусъ и любознательность къ исторической древности вообще, и здѣсь, въ Оружейной Палатѣ, передъ нимъ открывалось богатое хранилище древнихъ памятниковъ царскаго быта, и кромѣ того никому тогда неизвѣстный и совсѣмъ забытый архивъ старыхъ расходныхъ книгъ царскаго двора и другихъ подобныхъ памятниковъ, которые впоследствии послужили основными матеріалами для знаменитыхъ трудовъ г. Забѣлина о домашнемъ бытѣ русскихъ царей и царицъ стараго времени. Правда, еще долго возможность изученія этихъ матеріаловъ была закрыта для скромнаго писца, который могъ знакомиться съ ними только урывками; но онъ усердно пересматривалъ и перечитывалъ этотъ архивный матеріалъ, выписывалъ изъ него массу частныхъ свѣдѣній, такъ что, наконецъ, составились цѣлыя отдѣлы фактическихъ свѣдѣтельствъ о древнемъ бытѣ, какихъ собиратель не находилъ ни у Карамзина, ни у другихъ историковъ. Такимъ образомъ уже къ концу 1840-го года у г. Забѣлина написана небольшая статья о богомольныхъ путешествіяхъ русскихъ царей въ Троицкую лавру, что называлось тогда Троицкими походами; но молодой авторъ боялся печати и трудъ его появился уже нѣсколько времени спустя, когда, между прочимъ, завязались первыя отношенія къ учено-литературному кругу. Около этого времени Оружейную Палату стали посѣщать извѣстный археографъ Строевъ, собиравшій акты и лѣтописи для изданій Археографической комиссіи, и извѣстный археологъ и этнографъ Снегиревъ. Знаніе архива дало возможность г. Забѣлину помочь ими выписками и указаніями на рукописи, что свѣршило его дальнѣйшее знакомство съ учеными, которое было полезно и самому начинающему работнику. На вопросъ Строева, нѣтъ ли въ архивѣ лѣтописей, г. Забѣлинъ могъ указать ему такъ называемыя Выходныя книги, которыя потомъ и явились въ составѣ изданій Археографической комиссіи; подобнымъ образомъ онъ помогалъ Снегиреву, который занятъ былъ тогда описаніемъ памятниковъ московской древности. Къ нему и обратился

Забѣлинъ за совѣтомъ о своей статьѣ, но Снегиревъ отнесся къ дѣлу безучастно и, только случайно познакомившись съ Вадимомъ Пассекомъ, онъ встрѣтилъ у него ободреніе своимъ трудамъ, и краткій очеркъ статьи помѣщенъ былъ въ издававшихся тогда Пассекомъ „Московскихъ губернскихъ Вѣдомостяхъ“ (1842, № 17, 25 апрѣля). Это былъ первый печатный трудъ нашего археолога. Строевъ счумѣлъ лучше Снегирева оцѣнить достоинства молодого изыскателя; онъ задумывалъ привлечь его къ дѣятельности Археографической комиссіи и полагалъ даже устроить въ Москвѣ отдѣленіе комиссіи, въ которомъ рассчитывалъ на труды г. Забѣлина, но дѣло не состоялось: г. Забѣлинъ въ теченіе одиннадцати лѣтъ все оставался на службѣ въ Оружейной Палатѣ съ жалованьемъ 119 рублей въ годъ и квартирой. Послѣ нѣсколькихъ небольшихъ работъ по московской старинѣ, литературная дѣятельность г. Забѣлина оживляется особенно съ 1846 года, когда, между прочимъ, обстоятельства заставляли его искать литературнаго заработка. Въ 1846 году статья „Троицкіе походы“ была, наконецъ, напечатана въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ (редакторомъ ихъ былъ тогда Е. Ѡ. Коршъ) и вскорѣ съ нѣкоторыми дополненіями перепечатана въ „Чтеніяхъ“ московскаго Общества исторіи и древностей, при Бодянскомъ. Тогда же начатъ былъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ рядъ статей подъ названіемъ: „Нѣкоторые придворные обряды и обычаи царей московскихъ“, а затѣмъ въ 1847 году появилась статья подъ заглавіемъ: „Домашній бытъ московскихъ царей въ XVII столѣтіи“. Это было начало обширной, продолжительной работы, которая завершилась впоследствии отдѣльнымъ изданіемъ въ двухъ большихъ томахъ ¹⁾. Въ пятидесятыхъ годахъ имя г. Забѣлина пользовалось уже большою извѣстностью въ учено-литературныхъ кругахъ; его статьи бывали желанными для лучшихъ періодическихъ изданій ²⁾. Въ тѣ же годы г. Забѣлинъ обращается къ вопросамъ чистой археологіи, какъ напримѣръ, въ изслѣдованіяхъ о металлическомъ, финифтяномъ производствѣ въ древней Россіи, на темы, заданныя Археологическимъ Обществомъ, а потомъ на службѣ въ имп. Археологической комиссіи, когда онъ въ теченіе многихъ лѣтъ, во время лѣтнихъ поѣздокъ, производилъ раскопки сиверскихъ и греческихъ кургановъ въ Новороссійскихъ степяхъ и на Таманскомъ полуостровѣ. Здѣсь, между прочимъ, въ извѣстномъ Чертомлыцкомъ курганѣ открыта имъ цѣлая масса греческо-

¹⁾ „Домашній бытъ русскихъ царей въ XVI и XVII ст.“ М. 1862.

— „Домашній бытъ русскихъ царицъ въ XVI и въ XVII ст.“ М. 1869.

Въ 1872 году оба сочиненія вышли во 2-мъ изданіи съ новыми дополненіями.

²⁾ „Отеч. Записки“, 1850 — 1860; „Современникъ“, 1852; „Р. Вѣстникъ“, 1857; „Атеней“, 1858; „Вѣстникъ Европы“, 1867.

скинскихъ древностей, золотыхъ, серебряныхъ, бронзовыхъ вещей и между прочимъ знаменитая серебряная ваза съ изображеніемъ скивовъ; другая достопримѣчательная находка была сдѣлана на Таманскомъ полуостровѣ, съ вещами, драгоценными въ художественномъ и археологическомъ отношеніяхъ ¹⁾. Съ 1870 годовъ г. Забѣлинъ работалъ въ комиссіи объ основаніи и устройствѣ имп. Историческаго Музея въ Москвѣ, и съ 1883 состоитъ товарищемъ председателя этого Музея. Съ 1879 года, по смерти Соловьева, онъ сталъ председателемъ московскаго Общества исторіи и древностей. Въ 1870 годахъ предпринять былъ г. Забѣлинымъ обширный трудъ: „Исторія русской жизни“, довершеніе котораго было, въ сожалѣнію, прервано другими работами автора ²⁾.

Значеніе археологическихъ трудовъ г. Забѣлина давно высоко оцѣнено; вмѣстѣ съ тѣмъ они имѣютъ великую важность въ области собственной этнографіи. Изысканія г. Забѣлина направлялись въ особенности на исторію быта и въ этомъ отношеніи имѣютъ важное значеніе для этнографіи въ широкомъ и тѣсномъ смыслѣ. Созданіе самого государства представляется г. Забѣлину дѣломъ, именно связаннымъ съ бытовымъ характеромъ народа, т.-е. съ его этнографическими особенностями. Въ формахъ государственныхъ выразился хозяйственный складъ русской семьи и ея нравственный распорядокъ, съ властью главы семейства; старинный царскій бытъ выработался въ направленіи народныхъ представленій. Книги о домашнемъ бытѣ царей и царицъ становятся въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ этнографическими трактатами. „Исторія русской жизни“ должна была стать русской бытовой исторіей, исторіей нравовъ въ широкомъ смыслѣ

¹⁾ Свѣдѣнія объ этихъ раскопкахъ въ „Древностяхъ Геродотовой Скивіи“, 1872, и въ „Отчетахъ“ имп. Археологической комиссіи, 1859—1876.

²⁾ Не перечисляя другихъ трудовъ г. Забѣлина, частью не относящихся къ нашему предмету, укажемъ:

— Опытъ изученія русскихъ древностей и исторіи. Исслѣдованія, описанія и критическія статьи. Двѣ части, М. 1872—1873, гдѣ собраны важнѣйшія журнальныя статьи съ 1850-хъ до 1870-хъ годовъ.

— Кунцово и древній Обтунскій станъ. Историческія воспоминанія. М. 1873.

— Мининъ и Пожарскій. Пряме и кривые въ Смутное время. М. 1883.

— Матеріалы для исторіи, археологіи и статистики города Москвы, по опредѣленію московской городской думы собранные и изданные руководствомъ и трудами Ивана Забѣлина. Часть первая. Изданіе московской городской думы. М. 1864. Большой томъ 4^о. Въ предисловіи обзоръ прежнихъ описаній Москвы и указаніе архивныхъ матеріаловъ для настоящей книги; въ текстѣ матеріалы для исторіи, археологіи и статистики московскихъ церквей; далѣе свѣдѣнія о домѣ святѣйшаго патріарха и матеріалы для исторіи и археологіи государева двorca.

слова и если не всегда можно соглашаться съ мнѣніями автора ¹⁾, особливо въ толкованіи древнѣйшихъ эпохъ, то во всякомъ случаѣ является чрезвычайно цѣннымъ его стремленіе отыскать органическій процессъ, соединяющій развитіе государства и общества съ особенностями народнаго быта и характера. Въ этой постановкѣ вопроса, внутренняя исторія народа является только результатомъ этнографической особенности, которая становится факторомъ цѣлаго національнаго бытія. Исслѣдованія г. Забѣлина остаются напоминачіемъ о необходимости историческаго обобщенія, которая слишкомъ забывается въ новѣйшемъ стремленіи къ исключительно детальной разработкѣ вопросовъ народнаго быта и обычая. Забѣлину на ряду съ Калачовымъ принадлежитъ и другая заслуга—указанія на новый источникъ исслѣдованія народнаго быта въ старомъ, архивномъ матеріалѣ. Мы упомянули о томъ, какъ начались его первыя работы по бытовой археологіи: тѣ данныя, изъ которыхъ составила его исторія домашняго быта царей, были собраны имъ буквально по крохамъ въ массѣ старыхъ расходныхъ и иныхъ книгъ, гдѣ надо было выискивать подробности стариннаго житейскаго обихода. До г. Забѣлина никто не предпринималъ подобной работы и до сихъ поръ никто еще не совершалъ ее съ такимъ успѣхомъ. Его опредѣленія древняго и средняго быта, его указанія о положеніи женщины въ старомъ русскомъ обществѣ ²⁾, замѣчанія о чувствѣ природы у старинныхъ русскихъ ³⁾, данныя изъ актовъ о ворожеяхъ и колдуняхъ ⁴⁾, рассказы объ общественной жизни въ Москвѣ съ половины XVIII вѣка ⁵⁾, и множество частныхъ замѣтокъ, разсѣянныхъ въ сочиненіяхъ г. Забѣлина, доставляютъ много важныхъ матеріаловъ и объясненій для исторіи русскихъ нравовъ и этнографіи. Вообще г. Забѣлинъ является у насъ однимъ изъ лучшихъ знатоковъ бытовой археологіи, разработывавшимъ для этой цѣли старыя дѣловые архивы, и съ этой стороны труды его много послужили къ обогащенію этнографіи.

Такой же притокъ вліяній нѣмецкой науки, какой представляетъ историческая школа у Соловьева и Кавелина, совершился въ области

¹⁾ Ср. разборъ этой книги, Котляревскаго, въ кіевскихъ „Университетскихъ Извѣстіяхъ“ 1880, и отдѣльно, Кіевъ, 1881. Также „Вѣстн. Европы“, 1881.

²⁾ Вводная глава книги о „Домашнемъ бытѣ русскихъ царицъ“; „Женщина по понятіямъ старинныхъ книжниковъ“, въ „Опытахъ“, I, стр. 129—179.

³⁾ Очеркъ исторіи чувства природы въ древне-русскомъ обществѣ, въ книгѣ „Кунцово“, стр. 1—61.

⁴⁾ Въ альманахѣ „Комета“.

⁵⁾ Въ „Опытахъ“, II, стр. 351—506.

філологіи. И здѣсь, какъ тамъ, уже ранѣе подготавливалась почва для этихъ вліяній: чѣмъ въ историографіи былъ Каченовскій и „скептическая школа“, тѣмъ въ філологіи были труды Востокова, Калайдовича, Кёппена, первое ознакомленіе съ славянскими языками. Но, и здѣсь, послѣ этой предварительной подготовки, притокъ новыхъ научныхъ взглядовъ открылъ для філологіи еще другую, прежде со-всѣмъ неизвѣстную, почву, гдѣ она и стала сильнымъ двигателемъ этнографіи.

Съ начала нынѣшняго столѣтія въ области языковеденія совершался, по преимуществу въ Германіи, такой же переломъ, какой наступилъ въ историографіи съ исторической школой. Движеніе обѣихъ отраслей науки во многихъ случаяхъ было параллельно: въ теоретической основѣ была та же мысль объ органическомъ развитіи; въ нравственно-общественной — та же реакція противъ отвлеченнаго рационализма XVIII вѣка и стремленіе къ раскрытію національных особенностей, наклонность къ народному архаизму. Наконецъ, какъ развитіе исторической школы сопровождалось изданіемъ огромныхъ „монументовъ“, собраній историческихъ источниковъ, такъ изученіе філологическое вызвало многочисленныя изданія памятниковъ роднаго языка и старой литературы, и ихъ обширную детальную разработку.

Нѣмецкое языковеденіе развивалось тогда въ трехъ главныхъ направленіяхъ: сравнительномъ, основателемъ котораго былъ Боппъ; историческомъ, во главѣ котораго стоялъ Яковъ Гриммъ, и общемъ философскомъ, котораго начинателемъ былъ Вильгельмъ Гумбольдтъ. Сравнительное языковеденіе, путемъ изученія цѣлой группы языковъ, установило впервые фактъ происхожденія изъ одного источника, и потому тѣснаго родства такъ-называемыхъ индо-европейскихъ (индо-германскихъ, арійскихъ) языковъ, открыло перспективу ихъ послѣдовательнаго развитія, что стало послѣ предметомъ ревностныхъ разысканій для послѣдующаго поколѣнія ученыхъ (особливо нѣмецкихъ). Трудъ Боппа (многотомная „Сравнительная грамматика“ главнѣйшихъ индо-европейскихъ языковъ, въ томъ числѣ старо-славянскаго) былъ торжествомъ нѣмецкой науки, настоящимъ открытіемъ. Въ томъ же смыслѣ, Гриммъ предпринялъ свое историческое изслѣдованіе органическихъ измѣненій (нѣмецкаго) языка въ разныя эпохи его жизни: въ первый разъ возстановлялась картина развитія языка отъ тѣхъ старѣйшихъ формъ, какія могла услѣдить исторія, до его новѣйшихъ образованій. Наконецъ, общій вопросъ о человѣческомъ языкѣ, о дѣленіи языковъ на ихъ (три) основныя группы, о внутренней организаціи языка и т. д. Съ установленіемъ этихъ изученій открылось новое, ранѣе даже не подозрѣваемое, поле для научныхъ

изслѣдованій, которыя уже вскорѣ измѣнили абсолютно или основали вновь цѣлыя отрасли историческаго, литературнаго и этнографическаго знанія: миеологія, исторія культуры, древности права, этнографія становились часто только прикладнымъ языкованіемъ. Сравнительное языкованіе, въ соединеніи съ исторіей языка, давало возможность проникнуть въ тѣ до-историческія эпохи, которыя считались недостижимыми для науки и вызывали только произвольныя догадки; давало возможность открывать въ древнѣйшей эпохѣ народа, состояніе понятій и быта, восстанавливать его миеологію и учрежденія, находить слѣды культурныхъ связей племенъ, взаимныя вліянія и заимствованія, объяснило впервые истинное свойство и достоинство народной поэзіи. Знаменитые труды Якова Гримма указывали и путь изслѣдованія, и въ высокой степени любопытные результаты, имъ достигаемые. Народный бытъ и старина, поэзія и языкъ стали предметомъ небывалаго прилежнаго изученія. Наконецъ, народное стало средоточіемъ историческаго языкованія; его присутствіе — мѣркой поэтическаго достоинства; средніе вѣка, когда въ непосредственности народнаго быта хранилось больше нетронутыхъ остатковъ старины, — любимой эпохой... По сущности это не былъ однако романтизмъ; основнымъ мотивомъ этихъ изученій былъ не рыцарскій и католическій мистицизмъ, и изъ нихъ не слѣдовалъ, какъ близкій выводъ, политическій консерватизмъ, какъ бывало у чистыхъ романтиковъ: здѣсь, напротивъ, прежде всего дѣйствовали мотивы научныя, къ которымъ не легко приставала мелкая политическая тенденціозность или произволъ фантазіи, и идеалы складывались иные. Гримма въ среднихъ вѣкахъ влекли къ себѣ не рыцарство и монашескій мистицизмъ, а народъ и его простодушное міросозерпаніе—все равно, что оно было немного языческое, отъ этого оно было только болѣе полно поэзіи и непосредственнаго нравственнаго чувства. По своимъ политическимъ и религіознымъ мнѣніямъ, Гриммъ, при всей архаической страсти, остался человѣкомъ свободомыслящимъ. Тѣмъ не менѣе, это новое научное обращеніе къ старинѣ имѣло точки соприкосновенія съ романтизмомъ, и само порождало сходныя явленія, когда научно-поэтическое народолюбіе слишкомъ устремлялось въ старину, видя въ ней одну патріархальную идиллію и забывая патріархальный „мракъ времени“—что было на руку обскурантамъ. Нѣчто подобное повторилось и у насъ...

Вліянія новой науки оказали свое дѣйствіе въ тѣхъ же сороковыхъ годахъ. Какъ мы замѣтили, поворотъ и здѣсь различнымъ образомъ подготовлялся: расширялись изданія памятниковъ старой литературы (труды Востокова, Калайдовича, Погодина, Строева, Археологическаго комиссіи, московскаго Общества исторіи и древностей);

возбужденъ дѣятельный интересъ къ народной поэзiи и изученiю народнаго быта; начиналось знакомство съ родственными нарѣчiями славянскими и ихъ народно-поэтическими памятниками; сдѣланъ былъ Восточковымъ (еще въ 1820-мъ году) самостоятельный опытъ историческаго объясненiя старо-славянскаго языка въ связи съ новѣйшими нарѣчiями. Наконецъ, имена Боппа, Гримма, Вильгельма Гумбольдта, Беккера появились—по крайней мѣрѣ были названы, въ университетскомъ преподаванiи ¹⁾. Нѣкоторые изъ молодыхъ ученыхъ познакомились съ новымъ языкованiемъ въ непосредственномъ источникѣ, въ нѣмецкихъ университетахъ и литературѣ.

Главнымъ дѣятелемъ въ этомъ направленiи въ теченiе нѣсколькихъ десятилѣтiй былъ Ө. И. Буславъ, имя котораго принадлежитъ къ числу заслуженнѣйшихъ именъ въ русской этнографiи и вообще въ изученiи народности. Первый трудъ, гдѣ онъ вступилъ на этотъ путь изслѣдованiй, относится къ 1844 году, и затѣмъ наиболѣе оживленной порой его дѣятельности на этомъ поприщѣ были пятидесятые и шестидесятые года; позднѣе, онъ обратился по преимуществу къ изслѣдованiю вопросовъ древняго русскаго искусства. Нѣсколько позднѣе появляются этнографическiе труды А. Н. Аонасьева. — На тѣхъ и другихъ мы остановимся подробно далѣе.

Въ цѣломъ, это научное движенiе создавало цѣлый переворотъ какъ въ способахъ изслѣдованiя народной жизни, такъ и въ самомъ взглядѣ на историческое развитiе. Прежняя школа, послѣднимъ могиланомъ которой въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ являлся Погодинъ, относилась, какъ выше замѣчено, къ новому направленiю недружелюбно, но нападая на „общiе взгляды“ новой школы, могла противопоставить имъ только риторическiя тирады, а когда Погодинъ выдвигалъ противъ теорiй новой школы такъ названный имъ „математическiй методъ“, то противники нашли въ немъ только методъ компиляторскiй, грубый, элементарный счетъ фактовъ ²⁾. Дѣятели, выступавшiе на поприще историографiи послѣ Соловьева и Кавелина, являлись уже готовыми послѣдователями новаго метода; назовемъ

¹⁾ Кажется, еще въ тридцатыхъ годахъ. Ср. Биогр. Словарь моск. проф. I, стр. 288. Буславъ, О препод. I, стр. V.

²⁾ Ср. объ этомъ Кавелина, Сочин. II, стр. 110—299, разборъ „Историко-критическихъ отрывковъ“ и „Изслѣдованiй, замѣчанiй и лекцiй“, Погодина; и Забѣлина, „Опытъ изученiя русскыхъ древн. и исторiя“, 1872. I, 855—894. За Погодинимъ признавали заслугу многихъ важнѣхъ частнѣхъ изслѣдованiй, исполненныхъ съ большою внимательностью; но онъ остался совсѣмъ безъ влiянiя на развитiе метода и на объясненiе общихъ началъ русскаго исторiи; какъ говорилъ Кавелинъ еще въ 1846, „Погодинъ, принадлежа къ школѣ толкователей, экзегетиковъ, а не историковъ въ настоящемъ смыслѣ слова, никогда не могъ подняться до высшаго историческаго воззрѣнiя“.

Дмитрія Валуева, Пл. Павлова, Аванасьева (въ его первыхъ трудахъ), Забѣлина. Писатели, которые нѣсколько позднѣе являлись во многихъ и существенныхъ пунктахъ противниками историческихъ выводовъ Соловьева,—Конст. Аксаковъ съ одной стороны, Костомаровъ съ другой,—шли однако по тому же пути органическаго изслѣдованія. Совершенно измѣнился и способъ, и предметы изысканія: внѣшняя исторія, внѣшняя археологія и этнографія продолжаютъ разрабатываться съ многосторонностью, прежде неизвѣстной, но надъ ними ставится руководящій вопросъ объ органическихъ элементахъ исторіи, о свойствахъ народнаго характера и быта, опредѣлившихъ складъ общества и государства, о послѣдовательномъ развитіи, осложненіи и измѣненіи этихъ элементовъ. Все это сливается въ изученіи народности: науки, шедшія до сихъ поръ раздѣльно, безъ ясно сознаваемой связи между ними, объединяются, и цѣлью исторіи стало окончательно не одно государство, а именно національный организмъ, государство, народъ и общество,—въ ихъ тѣсной физиологической и исторической связи.

Если сопоставить это научное движеніе съ тѣмъ, какое шло въ литературѣ поэтической ¹⁾, нельзя не видѣть, что эти двѣ разнородныя области литературы, по источникамъ и свойствамъ своего направленія были совершенно параллельны. Внутренній смыслъ новаго, возникавшаго отношенія къ народу и новаго способа изученія высказывался наконецъ съ третьей стороны, чисто общественной и публицистической, насколько она могла находить мѣсто въ литературѣ сороковыхъ и первой половины пятидесятихъ годовъ. Мы разумѣемъ то настроеніе, которымъ проникнута была критическая дѣятельность Бѣлинскаго, научная и публицистическая дѣятельность Герцена, Грановскаго и цѣлаго круга людей того же и болѣе молодого поколѣнія, дѣлившихъ тѣ же взгляды. Литература вынуждалась говорить полусловами, читатели научались понимать ее на полу-словахъ, и въ концѣ концовъ новое направленіе имѣло за себя цѣлую общественную группу и, прибавимъ, наиболѣе образованную группу.

Въ чемъ состояло мировоззрѣніе людей „сороковыхъ годовъ“, объ этомъ говорилось уже много разъ. Старая бытовая традиція переставала удовлетворять; въ ней становилось тѣсно: она видимымъ, нагляднымъ образомъ угнетала и потребность въ просвѣщеніи, которая становилась все шире и сознательнѣе въ образованномъ классѣ, угнетала реальный бытъ и самые существенные интересы народной массы, опутанной безправіемъ и во имя которой хотѣла, однако, говорить

¹⁾ См. выше, томъ I, въ послѣдней главѣ.

официальная народность. Отрицаніе крѣпостного права было, въ умахъ новыхъ поколѣній, истиной давно рѣшенной и не требующей доказательствъ. Для литературы вопросъ былъ закрытъ, — съ тѣхъ поръ, какъ были о немъ заведены и вскорѣ же прерваны первыя рѣчи при Александрѣ I, и до конца 1850-хъ годовъ,—но онъ молча былъ уже порѣшенъ въ средѣ просвѣщеннѣйшихъ людей, потому что крѣпостное право было теоретически и нравственно несомнѣваемо съ тѣмъ складомъ понятій, который успѣлъ сложиться.

Но отрицаемое и осужденное теоретически, крѣпостное право было еще цѣло и невредимо въ практической дѣйствительности; оно имѣло за себя всѣ законы, всѣ привычки помѣщичьяго большинства, и нашло бы въ послѣднемъ упрямыхъ защитниковъ. Практическое рѣшеніе вопроса казалось, и было на дѣлѣ, самымъ настоятельнымъ интересомъ общества. Прежде, чѣмъ онъ не былъ бы рѣшенъ, не могло быть рѣчи о какомъ-либо расширеніи свободы для самого общества, не могло быть рѣчи о какомъ-либо по истинѣ національномъ просвѣщеніи, о національной поэзіи, литературѣ. Если не было возможности прямо говорить о предметѣ, литература ставила вопросы историческіе, общественные, художественные, изъ которыхъ значеніе народа и народности опредѣлялось совсѣмъ иначе, чѣмъ это слѣдовало по консервативной теоріи официальной народности, а наконецъ счумѣла близко подойти и къ самому вопросу о крѣпостномъ правѣ.

Само правительство, во времена императора Николая I, помышляло о необходимости заняться крестьянскимъ вопросомъ,—но, исполненное во всемъ прочемъ автократическаго духа, видимо боялось приступить къ этому дѣлу ¹⁾. Цензура не допускала мажѣйшихъ намековъ, гдѣ предполагала осужденіе крѣпостного права, и тѣмъ не менѣе въ печать проникали новыя идеи. Заблочкий напечаталъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ (1845) знаменитую статью „О колебаніи цѣны на хлѣбъ въ Россіи“,—гдѣ техническимъ языкомъ политической экономіи (тогда, науки у насъ еще мало распространенной) указывалъ причину колебанія въ „принудительной рентѣ“, другими словами въ крѣпостномъ порядкѣ хозяйства. Въ 1847 вышла въ Парижѣ извѣстная книга Н. Тургенева: „La Russie et les Russes“. Строго запрещенная въ Россіи, она была, однако, въ обращеніи и тѣмъ болѣе внимательно читалась. Тургеневъ былъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ проповѣдниковъ освобожденія крестьянъ при Александрѣ I, и теперь его книга переносила живую традицію въ соро-

¹⁾ Подробное изложеніе правительственныхъ мнѣній того времени объ этомъ вопросѣ въ книгѣ В. Семевского.

ковые года. Выше мы указывали, что скрытая борьба противъ крѣпостного права велась наконецъ и въ литературѣ художественной, гдѣ въ рукахъ лучшихъ писателей картины деревенской жизни не оставляли иного впечатлѣнія.

Молодая профессура, довершавшая свое образованіе и научную подготовку подъ непосредственнымъ вліяніемъ лучшихъ силъ европейскаго знанія, вносила въ преподаваніе, кромѣ точнаго знакомства съ положеніемъ своей юридической и исторической специальности, цѣлую атмосферу понятій, выработанныхъ въ обществахъ, пережившихъ болѣе долгую и глубокую умственную жизнь, болѣе развитыхъ въ общественно-политическомъ и гуманномъ смыслѣ. Многіе изъ этихъ университетскихъ преподавателей, воспитавшихся въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, имѣли на каждаго самое благотворное вліяніе и въ научномъ, и въ общественно-нравственномъ отношеніи. Пусть припомнитъ читатель извѣстные факты изъ жизни московскаго университета въ сороковыхъ годахъ, и прочтетъ даже въ холодно и казенно написанной „Исторіи петербургскаго университета“ (1869) подробности о характерѣ преподаванія въ рукахъ старыхъ профессоровъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, и въ рукахъ новаго профессорскаго поколѣнія въ сороковыхъ годахъ. Имена Рѣдкина, Грановскаго, Крюкова, Кудрявцева, М. Куторги, Лунина, Д. Мейера (ограничиваясь историко-юридическою областью) и другихъ — въ Москвѣ, Петербургѣ, Харьковѣ, Казани, пользовались обширною популярностью и авторитетомъ, источникъ которыхъ былъ именно въ томъ, что наука являлась у нихъ не въ формѣ сухого (и часто крайне скуднаго) склада внѣшнихъ знаній, какъ бывало прежде, а живую силой, отвѣчающей на умственные потребности и лучшіе нравственные инстинкты общества.

Извѣстно, какимъ широкимъ вліяніемъ пользовался въ этомъ смыслѣ Грановскій, имя котораго сохраняетъ до сихъ поръ популярность, рѣдкую у насъ для имени профессора. Прибавимъ, изъ менѣе извѣстныхъ фактовъ, нѣсколько подробностей о профессорѣ Мейерѣ въ Казани. Мейеръ былъ профессоромъ гражданскаго права. Это былъ также ученикъ нѣмецкой исторической школы: у себя дома эта школа нерѣдко впадала въ преувеличеніе исторической стороны права, — если исторія необходимо создала извѣстныя формы и содержаніе, то крайніе послѣдователи школы принимали, что эти формы и содержаніе освящены и впредь, чуть не навсегда; результатомъ былъ консерватизмъ, котораго представителемъ дѣйствительно и былъ глава школы, Савиньи. Мейеръ не далъ увлечь себя въ эту крайность. У насъ, этотъ характеръ исторической школы отразился всего сильнѣе на Неволинѣ, а въ худшемъ видѣ на тѣхъ людяхъ, которые просто

желали консервативнымъ флагомъ науки прикрывать существующія безобразія. Мейеръ признавалъ научныя заслуги Неволлина, но въ общемъ взглядѣ его видѣлъ крайнюю односторонность. „Историческій элементъ,—говоритъ Мейеръ,—есть конекъ людей, съ которыми и расхожусь во взглядѣ и стремленіи... Неволлинъ овазалъ наукѣ услуги незабвенныя; но все-таки исторія права — не вся наука, а *сторона* ея, средство, должствующее вести къ высокой цѣли, и я вооружаюсь не противъ исторіи, а противъ усилій присвоить ей *собфистически* исключительное господство въ наукѣ“. Тѣмъ болѣе возставалъ Мейеръ противъ людей, которые „хотятъ науки, безусловно скромной и уживчивой, чуждающейся жизни“; которые „хотятъ образовать людей приличныхъ, которые бы не иначе стали брать взятки какъ съ достоинствомъ“. „Моя наука,—замѣчаетъ онъ (когда еще не было рѣчи объ освобожденіи крестьянъ и не возникало поднятаго освобожденіемъ интереса къ крестьянскому быту), — *жадно изучаетъ жизнь* и для этого прислушивается и къ сходамъ крестьянъ, вчитывается въ конторскія книги помѣщика, перебираетъ переписку купцовъ, шныряетъ по толкучему рынку, явшается съ артелью рабочихъ, взбирается на судно въ бурлакамъ, усаживается, какъ дома, въ архивъ суда и въ самый судъ (т.-е. *старожъ* судъ), стараясь не замѣчать, что здѣсь смотрятъ на нее не совсѣмъ благосклонно. Но моя наука за то и сама *требуетъ уступокъ отъ дѣйствительности*“ ... Излагая такую науку, Мейеръ знакомилъ слушателей не съ одними техническими вопросами права, но съ явленіями общественной и политической жизни. Изложеніе предмета прерывалось объяснительными эпизодами, которые слушались съ увлеченіемъ... „Въ гражданскомъ правѣ,—разсказываетъ слушатель Мейера,—дохода до отдѣла объ объектахъ имущественныхъ правъ, Мейеръ всегда высказывалъ мысль о несостоятельности учреждений, въ силу которыхъ допускалось, что человекъ, лицо, могъ быть, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, объектомъ права собственности. Лекціи объ этомъ важномъ предметѣ были самыми замѣчательными, потому что затрогивали множество постановленій и обычаевъ, имѣвшихъ за собою право давности, но тѣмъ не менѣе вредившихъ дальнѣйшему прогрессу въ жизни цѣлаго государства. Мейеръ старался при всякомъ удобномъ случаѣ, и на лекціяхъ, и въ бесѣдахъ съ своими студентами, возвращаться къ основной идеѣ, руководившей его въ сужденіяхъ объ этомъ предметѣ, и каждый разъ онъ употреблялъ всю силу доводовъ и убѣжденій въ пользу своего задушевнаго принципа“. Слушателей, между которыми много было баричей, сначала озадачивали его мнѣнія: „имъ не приходила даже въ голову дурная сторона учрежденія, потому что увѣренность въ нормальности и непрелож-

ности его подкрѣплялась обыкновенно ложными и патриархально-сентиментальными сентенціями, всосанными, такъ-сказать, съ молокомъ". Но вліяніе профессора оказывало свое дѣйствіе, и черезъ два года по вступленіи Мейера на кафедру (что было въ 1845) однимъ изъ его слушателей была представлена замѣчательная кандидатская диссертация „о крѣпостномъ состояніи“¹⁾.

Мейеръ былъ убѣжденъ, что недалекъ конецъ крѣпостного права и что его уничтоженіе, по духу времени, должно совершиться путемъ законодательнымъ, и онъ считалъ своей обязанностью готовить молодое поколѣніе къ великому событію. Ему самому не суждено было дожить до совершенія этого событія,—но тѣмъ больше заслуга его научной провизительности и высокаго общественнаго чувства.

Дѣятельность профессоровъ, какъ Грановскій, Мейеръ и другіе, была прекраснымъ выраженіемъ тѣхъ научныхъ и нравственныхъ вліяній, какія приносилъ новый приливъ просвѣщенія—среди внѣшнихъ условій, крайне неблагоприятныхъ. Жизнь общества, повсюду окруженнаго бюрократической опекой, не давала исхода для возникшихъ стремленій; напротивъ, съ 1848 года, по насмѣшкѣ судьбы, начались, подъ впечатлѣніями европейскихъ волненій, реакціонныя стѣсненія и въ томъ небольшомъ кругѣ дѣятельности, каковой доставляли литература и университетъ. У людей, въ которыхъ было пробуждено живое общественное чувство, такой складъ жизни создаетъ обыкновенно наклонность къ крайнему идеализму; общественнымъ стремленіямъ нѣтъ мѣста въ настоящемъ, оно ихъ гнететъ и отталкиваетъ, и мысль бросается въ идеалистическую область, въ прошлое или въ будущее: такъ возникало стремленіе въ теоретически подкращенную и поэтизированную старину (у славянофиловъ); возвеличеніе народа и его „идеи“, отъ которой ждется въ будущемъ социальное исцѣленіе; жадный интересъ къ общественно-политической жизни другихъ народовъ, въ борьбу которой переносятся сочувствія, не находящія примѣненія дома; страстное увлеченіе отвлеченными, но существенными вопросами о человѣческой личности, ея внутреннемъ развитіи, ея нравственномъ правѣ. Противорѣчіе идеалистическихъ порывовъ съ дѣйствительностью создаетъ въ литературѣ типъ отчаявшихся, „разочарованныхъ“, „лишнихъ“ людей... Вліяніе европейской литературы возрастаетъ, и именно вліяніе тѣхъ ея сторонъ и тѣхъ писателей, въ которыхъ сказывалось отрицаніе гнетущихъ общественныхъ явленій и заявлялось стремленіе къ иному, лучшему

¹⁾ Вратчина. Спб. 1859. „Студенческія воспоминанія о Д. И. Мейерѣ, профессорѣ казан. унив.“, Пекарскаго, стр. 224—232 и др.

общественному порядку. Таковъ былъ полу-романтической свептицизмъ Гейне, возвышенный реализмъ и филантропическій юморъ Диккенса, романъ и деревенская повѣсть Жоржъ-Занда, историческія книги Луи-Блана, наконецъ, французскій социализмъ въ сочиненіяхъ Сень-Симона, Кабе и особенно въ теоріяхъ Фурье, вліяніе котораго —одно время у насъ весьма распространенное—въ настоящее время едва понятно. Имя Фурье показываетъ уже, что это былъ социализмъ особаго рода, чистая теорія, почти чистая фантазія, до крайности далекая отъ дѣйствительности и относившаяся къ какому-то темному будущему,—но въ основѣ увлеченія имъ у нашихъ молодыхъ поколѣній лежало тѣмъ не менѣе глубокое отрицаніе порядковъ аракчеевскаго типа, и мечты о справедливомъ устройствѣ общественныхъ отношеній. Увлекались не одни мечтатели, но и люди болѣе серьезные, которые видѣли силу социализма въ его критикѣ буржуазнаго и бюрократическаго государства... Этотъ „социализмъ“, смѣшанный изъ Фурье и Сень-Симона, и изъ интереса къ политическому движенію тогдашней Европы, особенно Франціи передъ 1848 годомъ (а затѣмъ и послѣ него), начался у насъ очень давно. Другъ Бѣлинскаго, Василій Боткинъ, считалъ себя социалистомъ еще въ половинѣ тридцатыхъ годовъ; въ тѣ же годы увлекались социализмомъ Герценъ и Огаревъ. Въ сороковыхъ годахъ, „социализмъ“—въ которомъ выражалось неясное, но все-таки сильное стремленіе къ иному порядку вещей, чѣмъ насущная дѣйствительность — былъ очень распространенъ, и именно въ своихъ фантастическихъ теоріяхъ: по закону реакціи, онѣ были привлекательны именно какъ крайній контрастъ съ дѣйствительностью. Наиболѣе вѣрующими его партизанами были члены извѣстнаго кружка Петрашевскаго.

Въ примѣръ того, какъ далеко распространялся этотъ вкусъ къ социализму, приведемъ фактъ, рассказываемый въ біографіи извѣстнаго археолога и ориенталиста, П. С. Савельева. Это былъ человѣкъ, кромѣ своей ученой спеціальности разносторонне образованный, самыхъ умѣренныхъ мнѣній, много работавшій въ литературѣ, но стоявшій въ сторонѣ отъ литературныхъ партій, — по официальному положенію, одно время секретарь комитета иностранной цензуры; но по своимъ теоретическимъ взглядамъ, и это былъ—социалистъ. „Въ сферѣ политико-экономическихъ идей,—говоритъ біографъ Савельева (о сороковыхъ годахъ),—благородное сочувствіе къ массамъ ставило его инстинктивно въ ряды противниковъ ученія *laissez faire, laissez aller*, имѣющаго практическимъ послѣдствіемъ тиранство капитала и обездоленіе труда;—инстинктивно потому, что пристально политическою экономіею Савельевъ никогда не занимался... Несостоятельность экономическаго ученія либеральной (т.-е. буржуазной) школы выясни-

лась ему нѣсколько позже, когда началось знакомство Петербурга съ критикой и теоріями новыхъ социалистовъ“ (это было въ концѣ сороковыхъ годовъ). „Соціализмъ, какъ направленіе, пришелся ему несравненно болѣе по сердцу, нежели либерализмъ“... Самъ біографъ, Григорьевъ (извѣстный ориенталистъ, біографъ Грановскаго и недавній начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати), который былъ другомъ Савельева, замѣчаетъ, что „вполнѣ раздѣлялъ его симпатію къ социализму“¹⁾.

Обозначенное нами движеніе было, какъ видимъ, одушевлено тѣмъ же основнымъ настроеніемъ, какое проникало поэтическую литературу. То и другое было результатомъ собственнаго роста литературы и общественной мысли, который поддерживался сильными вліяніями европейской науки и поэзіи. Движеніе совершалось еще въ эпоху полнаго господства официальной народности и, при всѣхъ вмѣшнихъ стѣсненіяхъ, еще тогда раскрыло несостоятельность ея теоріи. Подъладкой этой теоріи былъ фальшиво сантиментальный взглядъ въ исторіи, плодившій лицемерную реторику „благонамѣреннаго“ обскурантизма; крѣпостничество, прикрывавшееся фразами о „добротѣ“ и патріархальномъ русскомъ народѣ, желающемъ только отеческаго управленія помѣщиковъ и исправниковъ; бюрократическій гнетъ, стремившійся подавить всѣ малѣйшія самостоятельныя проявленія общественной самодѣятельной мысли. Новая точка зрѣнія не вела съ этой теоріей правильнаго спора,—онъ былъ немислимъ,—но самымъ своимъ содержаніемъ совершенно упразднила эту теорію. Новый взглядъ вносилъ сознательное изслѣдованіе народной исторической жизни, и указывалъ законъ органическаго развитія, объяснявшій прошедшее и желавшій устраненія явленій пережитыхъ; въ современной жизни народа онъ отвергалъ крѣпостное право, не только по нравственнымъ, но также и по чисто-экономическимъ соображеніямъ, какъ учрежденіе, вредное для самого государства; въ дѣлѣ просвѣщенія, онъ проникнуть былъ убѣжденіемъ въ необходи-

¹⁾ Жизнь и труды П. С. Савельева, В. В. Григорьева. Изданіе Импер. Археолог. общества. Спб. 1861, стр. 83—84; о мнѣніяхъ Савельева см. также стр. 140—141, 161—164. Около 1881 г., нѣкто Султанъ Пираліевъ разсматривалъ происхожденіе нашего новѣйшаго социализма, перевернулъ при этомъ факты и выводилъ неблизки на людей, которыхъ видимо и не зналъ; между прочимъ, на извѣстнаго педагога и переводчика, Ир. Введенскаго. Но Пираліеву слѣдовало бы вспомнить книгу В. В. Григорьева: онъ увидѣлъ бы, что социалистами бывали тогда люди какъ Савельевъ, секретарь цензурнаго комитета, и Григорьевъ, чиновникъ министерства внутреннихъ дѣлъ, оба ученые ориенталисты.

димости свободы изслѣдованія для науки, и возможно-широкаго распространенія образованія въ обществѣ и народной массѣ.

Въ собственно этнографической наукѣ произошла полная перемѣна. Какъ въ исторіи, такъ и здѣсь, приложена была теперь точка зрѣнія органическаго развитія, и къ объясненію народной старины впервые примѣнены научныя средства: намѣчены были элементы народности, и можно сказать, впервые понять смыслъ народнаго быта и сознательно воспринята народная старина и поэзія какъ въ литературѣ поэтической, такъ и въ этнографическомъ изученіи; народъ возстановлялся въ его человѣческомъ достоинствѣ и правѣ.

Произошелъ поворотъ коренной и глубокой. „Народъ“ переставалъ быть *anima vilis*, грубой служебной силой, которая величалась въ риторикѣ и презиралась на дѣлѣ. Напротивъ, въ понятіяхъ просвѣщенныхъ людей, онъ являлся исторической основой всей національной жизни; въ глазахъ энтузіастовъ онъ вставалъ въ видѣ отвлеченнаго, — и правда, еще далеко не вездѣ яснаго, — но возвышеннаго идеальнаго цѣлаго, скрывавшаго въ себѣ богатые задатки будущаго, широкія начала идеальнаго общественнаго порядка, которые остаются только раскрыть и внести въ жизнь (на такомъ пунктѣ сходились нѣкогда одинаково и „соціалисты“ Герценъ и славянофилы).

Таковы были научныя и нравственно-общественныя приобрѣтенія литературы сороковыхъ годовъ въ пониманіи и объясненіи народности. Понятно само собою, что это было только начало; предстояло еще множество труда по всѣмъ отраслямъ вопроса; поставленныя рѣшенія далеко не всегда оказались полными и вѣрными, — но великая заслуга была уже въ томъ, что цѣлый вопросъ выведенъ былъ на почву научнаго изслѣдованія и поставленъ въ ряду первостепенныхъ интересовъ самого общества.

Эпоха освобожденія крестьянъ имѣла здѣсь свое предисловіе.

ГЛАВА II.

Пятидесятые года.

Конецъ стараго и начало новаго царствованія: различіе двухъ эпохъ; общественное оживленіе. — Расширеніе этнографическихъ изсгдований. — Ученныя общества. — Работы II отдѣленія Академіи наукъ: Срезневскій; пѣсни Ричарда Джемса; былины. — Дѣятельность Географическаго Общества. — Московское Общество исторіи и древностей. — „Архивъ“ Калачова. — Литературная экспедиція, снаряженная по мысли в. кн. Константина Николаевича: Потѣхинъ, Писемскій, Островскій, Максимовъ и др. — П. Н. Рыбниковъ и его открытія. — П. И. Якушевнъ. — П. В. Шейнъ. — С. В. Максимовъ.

Въ пятидесятыхъ годахъ окончилось одно царствованіе и началось другое. Разница двухъ періодовъ почувствовалась сразу: суровая и, какъ мы видѣли, крайне притѣснительная для самыхъ безобидныхъ стремленій науки опева смѣнилась нѣкоторымъ просторомъ, который былъ столь непривыченъ, что литература и общественная жизнь наполнились невиданнымъ прежде оживленіемъ. Внѣшнія и внутреннія политическія событія давали этому оживленію обильную пищу. Только-что законченная война отрезвила всю массу общества и самую власть отъ высококомѣрныхъ притязаній прежней исключительности и официальной народности; была очевидна для всѣхъ необходимость просвѣщенія, необходимость внутреннихъ преобразованій, и прежде всего крестьянской реформы. По извѣстному тогда изреченію, Россія должна была углубиться въ себя, собраться съ своими мыслями и своими силами: послѣ трудныхъ испытаній это и былъ единственный разумный и цѣлебный путь, и достигнуть этого можно было только однимъ средствомъ — поставивъ вопросъ о внутренней реформѣ, открывъ возможность нѣкоторой самостоятельности для столь долго подавленнаго общества. Въ самомъ дѣлѣ тотчасъ по заключеніи мира, правительство, хотя на первый разъ неувѣренно, поставило вопросъ объ одномъ изъ величайшихъ преобразованій, какія

бывали въ русской жизни плодомъ здоровой государственной мысли и просвѣщенія. Общество приняло съ великимъ одушевленіемъ этотъ первый намекъ и въ немъ все сильнѣе стали сказываться давно таинныя стремленія: то, что еще такъ недавно считалось преступнымъ и навлекало суровыя кары, какъ мысль объ искорененіи массы бюрократическихъ злоупотребленій, опутавшихъ русскую жизнь, объ освобожденіи крѣпостного народа, о необходимости школы и т. д., — то стало теперь обычной темой публицистики и общественнаго мнѣнія. Если прежде искренняя рѣчь о высокомъ значеніи народнаго начала для всей жизни государства и общества была невозможна (въ смыслѣ официальной народности она была только канцелярской формулой) или по крайней мѣрѣ должна была закутываться въ туманныя фразы, то теперь она отъ частаго повторенія становилась наконецъ общимъ мѣстомъ. Но народное дѣло все-таки дѣлалось. Эпоха объявленія объ освобожденіи крестьянъ была высшимъ пунктомъ нашего общественнаго оживленія въ прошлое царствованіе.

Естественно, что это должно было отразиться и на оживленіи этнографической науки. Пятидесятые года не внесли въ этой области никакого новаго ученія; во главѣ научнаго движенія стояли тѣ же люди, которые въ сороковыхъ годахъ заявили, какъ выше указано, новыя критическія требованія, но та новая атмосфера, которая наступила со второй половины пятидесятыхъ годовъ, не могла не отразиться на самомъ тонѣ настроенія, должна была расширить цѣлый горизонтъ, доступный наблюденію, сдѣлать возможными болѣе серьезныя приемы изслѣдованія и критики. Съ этой поры можно дѣйствительно начать новый періодъ развитія нашей этнографіи въ смыслѣ небывалаго прежде расширенія ея наблюденій. Въ самомъ дѣлѣ должна бросаться въ глаза разница двухъ эпохъ. Въ тридцатыхъ годахъ и послѣ, несмотря на официально заявленную народность, изслѣдованіе народности было обставлено величайшими затрудненіями: недовѣрчивая и нерѣдко просто малообразованная цензурная опека не допускала ничего, что казалось ей нарушающимъ формулу официальной народности. Вспомнимъ, какъ Сахаровъ, отчасти по собственному невѣжеству, отчасти, безъ сомнѣнія, чтобы угодить подозрительной цензурѣ, усиливался устранить отъ нашихъ древнихъ предковъ обвиненіе въ „позорной извѣ многобожія“; какъ Кирѣевскій, ссылаясь для Уварова на ученую Германію, хлопоталъ о томъ, чтобы напечатать свои пѣсни, которыя и остались ненапечатанными (кромѣ „духовныхъ стиховъ“); какой суровый приѣмъ встрѣтили отъ добровольцевъ-опекуновъ, въ высшемъ ученомъ учрежденіи имперіи, „Пословицы“ Даля; какимъ погромомъ прервалось изданіе „Чтеній“ подъ редакціей Бодянскаго; какъ истреблялась диссертация Косто-

марова объ уни по разбору Устрялова; какъ однимъ изъ очень просвѣщенныхъ безъ сомнѣннй людей того времени, охранявшимъ почтеніе къ Карамзину, писались доносы на самого Устрялова; какъ цензурными распоряженіями запрещалось говорить о цѣлыхъ эпохахъ русской исторіи и т. д. Ислѣдованіе дѣлалось совсѣмъ невозможнымъ. Уже одно то, что со второй половины пятидесятихъ годовъ были сняты съ литературы эти невозможныя условія, было великимъ приобритеніемъ для науки. Явилась, наконецъ, возможность говорить о народѣ болѣе или менѣе полную истину, возможность этнографическихъ изслѣдованій въ такомъ объемѣ, какой въ прежнее время былъ немыслимъ. Мы скажемъ далѣе, какъ съ этой поры расширились изслѣдованія историческія, и именно со стороны исторіи народа, и укажемъ то, что дѣлалось съ пятидесятихъ годовъ въ области этнографіи.

- Какъ мы замѣтили, въ это время дѣйствовали тѣ же ученыя силы, которыя съ сороковыхъ годовъ вносили новыя идеи въ изученіе исторіи и этнографіи. Съ теченіемъ ихъ работы выяснялось новое направленіе, а затѣмъ продолжателями ихъ являются новыя дѣятели, трудъ которыхъ принесъ уже вскорѣ неожиданно богатые матеріалы для русской этнографіи.

Въ то время только три ученыя общества имѣли въ своихъ трудахъ отношеніе къ этнографическимъ изслѣдованіямъ: одно—официальное, Академія наукъ, другое—частное, Географическое Общество въ Петербургѣ, и полу-официальное Общество исторіи и древностей при московскомъ университетѣ ¹⁾).

Въ Академіи наукъ, въ пятидесятихъ годахъ обнаружило усиленную дѣятельность по русской филологіи и этнографіи Второе отдѣленіе ея, русскаго языка и словесности, преобразованное, какъ раньше упомянуто, изъ бывшей Россійской академіи, по смерти Шишкова (1841). Если Россійская академія уже въ началѣ столѣтія была литературнымъ анахронизмомъ, то впоследствии онъ становился еще уродливѣе: въ наукѣ возникали замѣчательныя труды, въ первый разъ ставившіе вопросъ о русскомъ языкѣ на почву строгаго критическаго изслѣдованія, въ литературѣ прошли Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь,—Академія оставалась глуха и безучастна ко всему этому дви-

¹⁾ Впоследствии къ нимъ присоединяются нѣсколько новыхъ мѣстныхъ отдѣловъ Географическаго Общества; Общество любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи, и вновь предпринявшее работы Общество любителей руссійской словесности, оба въ Москвѣ; Общество исторіи, археологіи и этнографіи въ Казани, Историческое общество летописца Нестора въ Кіевѣ, филологическія общества при петербургскомъ университетѣ, Археологическій Институтъ въ Петербургѣ и нѣсколько архивныхъ комиссій въ провинціи.

женію; самъ Шишковъ былъ ветхимъ старцемъ; его сотоварищи, подобранные по важности ихъ сана и любви къ „старому слогу“, состояли изъ людей, совсѣмъ неспособныхъ къ какому-либо участию въ научномъ движеніи. Россійскую академію не трогали, пока былъ живъ „старецъ, дорогій священной памяти двѣнадцатаго года“; по его смерти Россійская академія теряла всякій смыслъ и была закрыта подъ видомъ преобразованія во Второе отдѣленіе Академіи наукъ. Многие члены ея остались за штатомъ; въ „Отдѣленіе“ вошли болѣе почетныя лица и нѣсколько новыхъ. Первые годы новаго учрежденія прошли весьма блѣдно—до тѣхъ поръ когда въ Отдѣленіе вступило новое лицо, которое возбудило оживленную дѣятельность и долго было въ сущности единственной истинно-научной силой Отдѣленія. Это былъ Срезневскій (1812—1880). Живая и чрезвычайно дѣятельная натура, съ сильнымъ умомъ и богатыми свѣдѣніями въ области филологіи, этнографіи и археологіи, въ то время по преимуществу славистъ, Срезневскій былъ въ Отдѣленіи единственнымъ настоящимъ специалистомъ въ этихъ областяхъ науки: естественно, что онъ не могъ удовлетвориться тугучимъ бездѣйствіемъ Отдѣленія, и уже вскорѣ, по его инициативѣ и при его главной работѣ, Отдѣленіе предприняло изданіе, къ которому онъ привлекъ и постороннія силы и которое имѣло тогда не малое возбуждающее вліяніе. Это были „Извѣстія“ Отдѣленія русскаго языка и словесности, существовавшія десять лѣтъ (съ 1852 года). Передъ тѣмъ большое впечатлѣніе произвела книга Срезневскаго: „Мысли объ исторіи русскаго языка“—рѣчь на университетскомъ актѣ, гдѣ въ живомъ одушевленномъ изложеніи поставлены были вопросы „русской науки“ и намѣчены задачи по изученію русскаго языка. Въ „Извѣстіяхъ“ появлялись также литературныя упражненія другихъ сочленовъ (какъ напр. писанія И. Давыдова, предсѣдательствовавшего тогда въ Отдѣленіи и др.), но главное содержаніе изданія составляли труды самаго Срезневскаго и вызванныя имъ работы, которые были новостью въ нашей литературѣ и болѣе или менѣе важнымъ вкладомъ въ изученіе русскаго языка и письменной и народно-поэтической старины. Сюда направлялись все больше работы самого Срезневскаго: рядъ замѣчательныхъ изслѣдованій о древнихъ памятникахъ русской литературы, гдѣ многое объяснено было съ новой оригинальной точки зрѣнія (въ „Извѣстіяхъ“ и тогда же начатыхъ „Ученыхъ Запискахъ“ Второго отдѣленія); поставленные вопросы объ изученіи древняго и современнаго народнаго языка; живая любознательность къ произведеніямъ народной словесности; весьма внимательно веденная библіографія славянскихъ трудовъ по языку, исторіи, археологіи и народной поэзіи славянскихъ племенъ,—все это было совершенно ново и

исполнено интереса для тѣхъ, кому были близки вопросы изученія русской народности. Уже вскорѣ труды Второго отдѣленія, то-есть въ особенности именно Срезневскаго, дали богатый и иногда чрезвычайно важный и любопытный результатъ. Поиски въ древней литературѣ открыли существованіе многихъ, ранѣе неизвѣстныхъ, памятниковъ и установили точнѣе, чѣмъ было до тѣхъ поръ, первые начатки древней русской письменности. Работы по языку повели къ изданію „Опыта Областного великорусскаго словаря“ (1852, съ дополненіемъ), къ собранію обширныхъ матеріаловъ для словаря древнерусскаго языка, для объясненія восточныхъ словъ въ русскомъ языкѣ, для выработки плана будущаго словаря русскаго языка и т. д. Поиски въ народной словесности вознаградились на первый же разъ замѣчательными приобрѣтеніями: таковы были знаменитыя пѣсни, записанныя въ началѣ XVII вѣка въ Москвѣ англійскимъ бакалавромъ Ричардомъ Джемсомъ; таковы были новыя былины о богатыряхъ Владимира, былины и пѣсни о событіяхъ XVI и XVII вѣка, о Петрѣ Великомъ и пр.,—памятники, почти не появившіеся вновь въ литературѣ со временъ Кириши Данилова и которые были предшественниками сдѣланныхъ уже вскорѣ блистательныхъ открытій въ области русскаго народнаго эпоса ¹⁾. „Извѣстія“ доставили вообще много новыхъ данныхъ по исторіи русскаго языка и народной словесности и ставили вопросы на почву точнаго изслѣдованія.

Другое ученое учрежденіе, между прочимъ спеціально посвящавшее свои труды этнографическимъ изслѣдованіямъ, было Географическое Общество. Мы говорили объ его основаніи. Къ пятидесятымъ годамъ его дѣятельность начинаетъ выясняться. Разсланные имъ во множествѣ экземпляровъ программы вызвали отъ мѣстныхъ любителей въ провинціи большое количество сообщеній на поставленные вопросы, и Общество уже вскорѣ воспользовалось ими для своихъ изданій. Въ тѣ годы Географическое Общество было весьма популярно; отсутствіе другихъ общественныхъ интересовъ привлекало сюда людей просвѣщенныхъ и любознательныхъ и изданія Общества принимались съ большимъ сочувствіемъ. Въ трудахъ этнографическаго отдѣленія принимали оживленное участіе Надеждинъ, Бэръ, Срезневскій, Кавелинъ, Калачовъ, А. Н. Аванасьевъ, В. В. Стасовъ, Гильфердингъ, Ламанскій, Л. Майковъ; нѣкоторые изъ названныхъ лицъ бывали предсѣдателями этого отдѣленія. Матеріалъ, доставленный въ Общество въ видѣ отвѣтовъ на вопросы программы, издаваемъ былъ въ „Этнографическомъ Сборникѣ“ (шесть томовъ, 1853—

¹⁾ Эти новыя произведенія народной поэзіи, которыя печатались въ первыхъ годахъ „Извѣстій“, собраны были потомъ въ отдѣльную книжку: „Памятники великорусскаго нарѣчія“. Слб. 1855.

1864) и въ другихъ изданіяхъ Общества. Матеріалы Общества, сообщенные Аенасъеву, послужили для его извѣстнаго изданія русскихъ сказокъ, до сихъ поръ единственнаго въ своемъ родѣ. Существованіе этнографическаго центра чрезвычайно способствовало развитію интереса къ наблюденію народной жизни на мѣстахъ въ провинціи, откуда съ тѣхъ поръ и донинѣ въ Географическое Общество шлются массы сообщеній, которыхъ, наконецъ, оно не въ состояніи вмѣстить въ свои изданія. Мы будемъ имѣть случай говорить о массѣ ученыхъ предпріятій, географическихъ и этнографическихъ экспедицій, какія были снаряжены Обществомъ въ разные края Россіи съ пятидесятихъ годовъ и до нашего времени. Здѣсь уважемъ лишь, какимъ великимъ приобрѣтеніемъ для этнографической науки была дѣятельность Общества въ томъ новомъ критическомъ направленіи, какое устанавливается впервые въ сороковыхъ годахъ. Разница съ прежнимъ временемъ была громадная. Давно ли этнографическое знаніе питалось скудными данными, какія доставлялись единичными, частью совершенно неподготовленными научно, собирателями, какъ Снегиревъ и особливо Сахаровъ и Терещенко; теперь на мѣсто ихъ случайныхъ и нерѣдко весьма странно освѣщенныхъ собраній является цѣлая масса свѣжихъ данныхъ, собранныхъ въ разныхъ концахъ Россіи, и съ тѣмъ новымъ качествомъ, что, во-первыхъ, народный бытъ, здѣсь описываемый, изображается съ болѣею подробностію по разнымъ его сторонамъ, и во-вторыхъ, обязательнымъ условіемъ ихъ становится фактическая точность, которой прежде слишкомъ недоставало. Благодаря опредѣленнымъ и по возможности всестороннимъ вопросамъ этнографическихъ программъ, въ нашей литературѣ является съ пятидесятихъ годовъ, въ изданіяхъ Общества и внѣ его, громадная масса мѣстныхъ описаній, гдѣ народный бытъ рисуется въ цѣлой картинѣ его внѣшней обстановки, съ его историческимъ прошлымъ, нравами и обычаями, преданіями и народной поэзіей. Это было нѣчто прежде небывалое въ литературѣ и новый матеріалъ доставлялъ основу для новыхъ изслѣдованій, о которыхъ едва помышляла прежняя этнографія.

Московское Общество исторіи и древностей имѣло свои спеціальныя задачи, но также не осталось чуждо движенію, и какъ дальше будемъ имѣть случай упоминать, дало въ своемъ изданіи мѣсто многимъ важнымъ матеріаламъ и изслѣдованіямъ по этнографіи.

Такимъ образомъ существенный переворотъ произошелъ въ самомъ способѣ собранія этнографическихъ данныхъ. На мѣсто собранія единичнаго и потому случайнаго, часто произвольнаго, даже совсѣмъ не научнаго, ставится собраніе массовое, въ центрахъ ученыхъ обществъ, подъ контролемъ научно-подготовленныхъ специали-

стовъ, по опредѣленному плану. Въмѣстѣ съ тѣмъ на мѣсто прежняго столь же случайнаго и не научнаго толкованія этнографическихъ фактовъ, выступаетъ научный методъ, у однихъ воспитанный историческою школою, у другихъ школою филологической. Прежнихъ изслѣдователей, какъ Сахаровъ и пр., и новыхъ, какъ Кавелинъ, Срезневскій, Буслаевъ, Афанасьевъ и пр., раздѣляетъ цѣлая пропасть. Мы указывали въ другомъ мѣстѣ, что эта потребность новаго приѣма въ изученіи народной жизни сказалась еще въ сороковыхъ годахъ при первыхъ начаткахъ двухъ школъ того времени, западной и славянофильской, когда въ этомъ стремленіи соединялись одинаково представители обоихъ уже вскорѣ такъ далеко разошедшихся направлений. Такъ они соединились въ изданіи Валуевскаго сборника (1845). Впослѣдствіи работа повелась въ обѣихъ школахъ. Та группа изыскателей, которая воспиталась на исторической школѣ или въ направленіи новой нѣмецкой филологіи, предпринимаетъ въ пятидесятыхъ годахъ цѣлый рядъ изслѣдованій, которыя находили мѣсто и въ „Извѣстіяхъ“ Академіи, и въ изданіяхъ Географическаго Общества и въ отдѣльныхъ работахъ. Съ цѣлью служить органомъ этой группы, основанъ былъ Калачовымъ (въ то время профессоромъ московскаго университета) въ 1850 г. извѣстный „Архивъ историко-юридическихъ свѣдѣній, относящихся до Россіи“, гдѣ должны были, по предположенію издателя, являться не только труды чисто историческіе и юридическіе, но также „статьи и матеріалы по части русской филологіи и археологіи въ пространномъ смыслѣ“; главное вниманіе направлено было на „внутренній бытъ нашего отечества и народа, имѣя въ виду ту тѣсную неразрывную связь, которою во всѣхъ отношеніяхъ соединяется Русь древняя съ новой“. Программа изданія составлена была весьма разумно, въ видахъ новой исторической и филологической школы и для объединенія ихъ трудовъ. Издатель предложилъ свой планъ на обсужденіе ученымъ любителямъ русской исторіи; они приняли планъ съ живымъ сочувствіемъ, которое и заявили своимъ участіемъ въ сборникѣ Калачова. Главными участниками „Архива“, кромѣ самого издателя, были: Соловьевъ (доставившій статью: „Очеркъ нравовъ, обычаевъ и религіи Славянъ, преимущественно восточныхъ, во времена языческія“,—по даннымъ историческимъ, съ объясненіями по Гриммову методу), г. Буслаевъ, Грановскій, Афанасьевъ, Кавелинъ, Забѣлинъ, М. Капустинъ, Вѣляевъ, А. Н. Поповъ, В. И. Григоровичъ и др.

Труды отдѣльныхъ изслѣдователей за это время оживляются въ особенности съ началомъ новаго царствованія. Чрезвычайная перемѣна во внутренней политикѣ, общавшая цѣлый рядъ основныхъ

реформъ, сопровождалась необычайнымъ оживленіемъ общественной жизни, а также и научныхъ изысканій.

Еще многимъ изъ нынѣшнихъ дѣателей памятно это время.

Однимъ изъ первыхъ признаковъ наступающаго поворота и первымъ фактомъ, которымъ обозначилось новое ревностное движеніе въ изученіи народа и народности, было замѣчательное предпріятіе, выполненное въ первые же годы прошлаго царствованія по мысли вел. кн. Константина Николаевича—рядъ экспедицій въ различные края Россіи, порученныхъ болѣе или менѣе извѣстнымъ молодымъ писателямъ, которые уже заявили себя интересомъ къ народной жизни и въ числѣ которыхъ были между прочимъ писатели такой силы, какъ Островскій и Писемскій. Первые слухи объ этомъ предпріятіи произвели въ литературномъ кругу и въ средѣ образованныхъ людей самое отрадное впечатлѣніе: чувствовалась первая струя свѣжаго воздуха; первое обращеніе высшихъ сферъ къ общественнымъ силамъ внушало самыя свѣтлыя надежды на будущее, и результаты показали въ послѣдствіи, что это дѣло, при всѣхъ неровностяхъ исполненія, оказалось несомнѣнно благотворнымъ и въ общественномъ смыслѣ и въ области науки.

„Осенью 1855 года,—разсказываетъ С. В. Максимовъ, въ то время также приглашенный къ участию въ этомъ предпріятіи,—въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ, тогда не столь разнообразныхъ и многочисленныхъ, какъ теперь, но гораздо болѣе сплоченныхъ, распространился слухъ о небываломъ событіи, казавшемся всѣмъ неожиданнымъ и почти невѣроятнымъ. Правительство понуждалось ¹⁾ въ содѣйствіи тѣхъ общественныхъ дѣателей, которымъ уже давно присвоено было обществомъ непрізнанное и неутвержденное правительствомъ званіе литераторовъ, находившихся до той поры въ сильномъ подозрѣніи. Неожиданно, но опредѣлительно и ясно выражено было намѣреніе употребить въ дѣло, силы, съ которыми до той поры боролись или которыхъ только гнали. У всѣхъ на глазахъ производились еще, невѣроятныя до забавнаго, цензорскія придирки и живо памятны были тѣ, почти вчерашніе случаи, когда попечитель учебнаго округа, Мусинъ-Пушкинъ, вѣдавшій высшую цензуру, съ кулаками наскакивалъ на авторовъ и редакторовъ періодическихъ изданій и крикливо угрожалъ ходатайствовать о высылкѣ въ мѣста весьма отдаленныя... Крутой переходъ ко вниманію, поощренію и исканію помощи въ литературныхъ дѣателяхъ былъ и достаточно

¹⁾ Стало нуждаться.

неожиданнымъ, и казался знаменательнымъ послѣ того, какъ по дѣлу Петрашевскаго поплатились ссылкой нѣсколько человѣкъ, заявившихъ свои имена въ печати; послѣ того, какъ И. С. Тургеневъ успѣлъ посидѣть въ Москвѣ въ арестантской Пречистенской части ¹⁾, почтенный профессоръ и извѣстный ученый А. В. Никитенко отправленъ былъ подѣ арестъ за пропускъ противъ военныхъ щеголей невинныхъ строкъ, не повравившихся Клейнмихелю. Цензура пришла въ какое-то оцѣпенѣніе, не зная, какого направленія держаться; цензора боялись погибнуть за самую ничтожную строчку. Цензурный комитетъ остановилъ не только новое изданіе Гоголя, но и напечатанный уже романъ Дала; министръ просвѣщенія Уваровъ говорилъ, что онъ хочетъ, чтобы, наконецъ, русская литература прекратилась и т. п. ²⁾.

„Починъ въ описываемомъ нами дѣлѣ,—продолжаетъ г. Максимовъ,—принадлежалъ молодому тогда генераль-адмиралу, председателю ученаго русскаго Географическаго Общества, великому князю Константину Николаевичу, состоявшему во главѣ коренныхъ преобразованій послѣ севастопольскаго погрома, успѣвшему провести важныя перемены во ввѣренномъ ему вѣдомствѣ и флотѣ и готовившемуся къ участію въ великомъ актѣ освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Здѣсь онъ показалъ извѣстную исторію энергическую дѣятельность и высокопросвѣщенное участіе. „Морской Сборникъ“—органъ министерства, находившійся подѣ особеннымъ ближайшимъ наблюденіемъ и просвѣщеннымъ покровительствомъ великаго князя, изъ сухого спеціальнаго журнала успѣлъ уже превратиться въ живой органъ, въ которомъ разрабатывались самые существенные и жгучіе общественные вопросы. Памятно это время процвѣтанія *Морского Сборника*“...

Первая мысль этого предпріятія, гдѣ, какъ и въ другихъ дѣлахъ, ближайшимъ сотрудникомъ великаго князя былъ А. В. Головининъ, впоследствии министръ народнаго просвѣщенія, выражена была въ приказѣ по министерству отъ 11 августа 1855 года, черезъ князя Д. А. Оболенскаго (тогда директора комисаріатскаго департамента). Великій князь желалъ, чтобы между молодыми даровитыми литераторами были присканы лица, которыхъ можно было бы командировать на время въ Архангельскъ, Астрахань, Оренбургъ, на Волгу и главныя озера наши для изслѣдованія быта жителей, занимающихся морскимъ дѣломъ и рыболовствомъ, и составленія статей въ „Морской

¹⁾ Это не точно: Тургеневъ сидѣлъ въ частномъ домѣ въ Офицерской улицѣ въ Петербургѣ.

²⁾ „Литературная экспедиція (по архивнымъ документамъ и личнымъ воспоминаніямъ)“, С. В. Максимова, „Р. Мысль“, 1890, фев., стр. 17—50.

Сборникъ" ¹⁾. Въ письмѣ великаго князя уже названы были Писемскій и Потѣхинъ, лично извѣстные вел. кн. Константину, который имѣлъ случай слышать ихъ мастерское чтеніе своихъ произведеній. Поиски лицъ, которыя могли быть исполнителями дѣла, заняли нѣсколько мѣсяцевъ. Писемскій и Потѣхинъ приняли предложеніе; затѣмъ самъ предложилъ свои услуги А. Н. Островскій, далѣе приглашены были С. В. Максимовъ, А. С. Аванасьевъ-Чужбинскій, М. Л. Михайловъ, Н. Н. Филипповъ. Мѣстности, описаніе которыхъ представлялось нужнымъ, распредѣлены были слѣдующимъ образомъ: Островскому предоставлено было описаніе верхней Волги; Потѣхинъ взялъ на себя изученіе средней Волги отъ устьевъ Оки до Саратова; Писемскій отправился на нижнюю Волгу въ астраханскую губернію; С. В. Максимовъ поѣхалъ на сѣверъ; А. С. Аванасьевъ-Чужбинскій на югъ, на Днѣпръ и Днѣстръ; М. Л. Михайловъ на Уралъ, и Филипповъ на Донъ. „Въ числѣ оснований,—говоритъ далѣе г. Максимовъ,—на которыхъ покоилась мысль генералъ-адмирала, по поводу командировки „молодыхъ“ литераторовъ, помимо поддержанія созданнаго и упроченнаго съ 1855 года успѣха „Морского Сборника“, находилось и то, чтобы изслѣдовать и описать подробности быта, нравы и обычаи того населенія, которое занимается промыслами на водѣ и изъ котораго, слѣдовательно, всего бы полезнѣе и натуральнѣе было „брать матросовъ“. Въ преобразовательныхъ предначертаніяхъ морского министерства выработывался проектъ рекрутированія флота, по образцу французской записи, именно тѣми людьми, которые съ малыхъ лѣтъ привыкають къ жизни и занятіямъ на водѣ. Впослѣдствіи эта мысль была оставлена въ виду тѣхъ соображеній, что Россія, счастливо орошенная громадною цѣпью рѣкъ и усыпанная озерами, всегда въ состояніи представить громадное число людей, обывшихъ въ плаваніи на судахъ и приготовленныхъ къ морскому дѣлу въ большей или меньшей степени,—особенно въ сѣверной лѣсной половинѣ страны, по Волгѣ съ притоками и даже по южнымъ главнымъ рыболовнымъ рѣкамъ и по тремъ морямъ (Черному, Азовскому и Каспійскому, по Дону и Днѣпру)... По этимъ-то и другимъ причинамъ первоначально намѣченныя мѣстности для изслѣдованій подверглись измѣненіямъ и районы наблюденій были расширены въ другомъ направленіи“.

Вскорѣ послѣ того какъ начаты были путешествія, стали прихо-

¹⁾ Нѣкоторымъ antecedентомъ къ этому служило кругосвѣтное путешествіе И. А. Гончарова, командированнаго въ званіи секретаря къ адмиралу Путятину, плававшему въ 1853—1854 году для заключенія торговыхъ трактатовъ съ Японіей. Какъ извѣстно, статьи г. Гончарова, писанныя съ пути, помѣщались въ „Морскомъ Сборникѣ“ и составили потомъ столь популярную книгу: „Фрегатъ Паллада“.

дить извѣстія о ходѣ дѣла и статьи для „Морского Сборника“. Присланные статьи печатались въ журналѣ съ 1857 года; тамъ были помѣщаемы труды всѣхъ названныхъ путешественниковъ, но далеко не все, что было ими предлагаемо. Дѣло въ томъ, что оцѣнщикомъ присылаемыхъ трудовъ явился морской ученый комитетъ съ председателемъ его, адмираломъ Рейнеке; оказалось, что комитетъ не имѣлъ никакихъ свѣдѣній о назначеніи названныхъ писателей и объ условіяхъ, на которыхъ они были приглашены; когда свѣдѣнія эти были получены, морской комитетъ или его председатель оказались не весьма гостепримны, многіе изъ присланныхъ трудовъ были признаны неудобными для журнала или вообще не имѣющими литературныхъ достоинствъ ¹⁾. Поэтому многое изъ того, что было нарботано экспедиціей, появилось внѣ „Морского Сборника“ въ другихъ журналахъ. Такъ кромѣ статьи Потѣхина: „Рѣка Керженецъ“, помѣщенной въ „Современникѣ“, другая статья его: „Съ Ветлуги“, явилась въ журналѣ „Вѣкъ“; С. В. Максимовъ печаталъ очерки, вошедшіе потомъ въ его книгу „Годъ на сѣверѣ“, въ „Библіотекѣ для чтенія“ и пр.; Аванасъевъ-Чужбинскій печаталъ въ „Русскомъ Словѣ“; очерки быта волжскихъ татаръ, астраханскихъ калмыковъ и армянъ, Писемскаго, печатались въ „Библіотекѣ для чтенія“ и пр.

Приводимъ еще нѣсколько замѣчаній г. Максимова, какъ близкаго свидѣтеля, о томъ благотворномъ вліяніи, какое имѣла эта экспедиція на дальнѣйшую дѣятельность нѣкоторыхъ изъ ея участниковъ. Онъ говоритъ напр., объ Островскомъ. Въ его бумагахъ осталось мно-

¹⁾ „Изъ статей Островскаго исключаются тѣ мѣста, гдѣ авторъ дѣлится личными впечатлѣніями съ читателемъ подъ вліяніемъ навѣянныхъ на художественную душу красотами природы или вызванныхъ какими-либо рѣзкими характерными чертами быта, представшими на глаза наблюдателя въ неприкрашенномъ видѣ. Отдается предпочтеніе лишь тѣмъ фактамъ, которые имѣютъ непосредственное отношеніе къ водѣ и далеко стоятъ отъ живой жизни, между тѣмъ какъ именно на нее сдѣланы прямыя указанія въ программѣ, предоставлявшей просторъ для свободнаго извѣрнія и формы изложенія, и тѣхъ размѣровъ, которые каждому окажутся наиболѣе подходящими. Браковка производилась по военному, съ изумительною самоувѣренностію, безъ справокъ съ желаніями авторовъ и властною рукой, не признававшюю обычныхъ правъ сочинителей. Литературные обычаи, установленные въ частныхъ журналахъ на правыхъ истинной деликатности и уваженія къ самостоятельнымъ авторскимъ вкусамъ и пріемамъ, не входили въ соображеніе при расцѣпкѣ трудовъ даже тѣхъ писателей, которые приобрѣли почетное имя и заслужили извѣстность, какъ Островскій, Писемскій и Потѣхинъ. Статья А. Потѣхина „Рѣка Керженецъ“ была возвращена автору, какъ не подходящая, хотя она въ прелестной литературной формѣ излагала даннныя о лѣсномъ торгѣ на одномъ изъ притоковъ Волги, прославленномъ знаменитыми раскольничьими скитами. Статья должна была искать другого мѣста для обнародованія, и нашла его себѣ въ строгомъ на выборъ статей „Современникѣ“.

жество любопытнѣйшаго матеріала по изученію Волги ¹⁾; но путешествіе несомнѣнно отразилось и на его художественномъ творствѣ. „Сильный талантомъ художникъ не въ состояніи былъ упустить благоприятный случай при разнообразныхъ дорожныхъ встрѣчахъ исполнить то, что составляло призваніе и основную цѣль жизни. Онъ продолжалъ наблюденія надъ характерами и міросозерцаніемъ коренныхъ русскихъ людей, сотнями выходявшихъ въ нему на встрѣчу и поддававшихся его изученію. Это предвидѣлось и тѣмъ, отъ кого полученъ былъ заказъ на изслѣдованія иного рода. Дѣйствительно, въ полную мѣру доставлена была возможность довершить свое развитіе нашему драматическому писателю, бравшему художественные типы прямо изъ жизни и выработывавшему цѣльныя картины по непосредственнымъ личнымъ впечатлѣніямъ. Онъ почерпнулъ здѣсь и живые образы, и заручился новыми матеріалами для послѣдующихъ литературныхъ произведеній. Волга дала Островскому обильную пищу, указала ему новыя темы для драмъ и комедій и вдохновила его на тѣ изъ нихъ, которыя составляютъ честь и гордость отечественной литературы“. Волгой вдохновленъ „Сонъ на Волгѣ“, „Дмитрій Самозванецъ“, „Гроза“, „На бойкомъ мѣстѣ“. „Родная автору Волга, во всякомъ случаѣ, подслужилась достаточнымъ количествомъ свѣжихъ и живыхъ впечатлѣній, сдѣлалась ему родною и своею и въ этомъ отношеніи вліяла на его творчество“...

Подобнымъ образомъ, въ иныхъ размѣрахъ и примѣненіяхъ, экспедиція послужила и другимъ ея участникамъ. Новый запасъ знанія народнаго быта, обычая и языка вынесли отсюда Писемскій, Потѣкинъ, Максимовъ; у послѣдняго она еще надолго направила этнографическіе вкусы и работы, о которыхъ скажемъ далѣе. Была и иная сторона вліянія мысли, создавшей эту экспедицію.

„Какъ бы количественно ни были малы вклады очерковъ изъ поѣздокъ по отдаленнымъ захолустьямъ русскаго царства въ „Морскомъ Сборникѣ“,—продолжаетъ г. Максимовъ,—начинаніе покровителя ихъ не прошло безслѣдно, но принесло, очевидно, обильные благіе плоды. Сверхъ указанныхъ косвенныхъ, не замедлили обнаружиться и такія послѣдствія, починъ которыхъ принадлежитъ на бранномъ полѣ застрѣльщикамъ, а на мирныхъ пажитяхъ засѣвальщикамъ, съ легкою и наметанною рукою. Не замедлили явиться подражатели и послѣдователи съ готовымъ запасомъ свѣдѣній, приобрѣ-

¹⁾ Въ газетахъ (февраль, 1890) читаемъ извѣстіе о предполагаемомъ изданіи обширной переписки Островскаго, а „рядомъ съ этою перепискою предполагается напечатать неопубликованныя еще многочисленныя записки А. Н. Островскаго изъ его путешествія по Волгѣ, которое онъ совершилъ въ свое время одновременно съ А. Е. Писемскимъ и С. В. Максимовымъ по порученію морскаго министерства“.

теннымъ ранѣе, именно въ тѣхъ мѣстахъ, которыми интересовался августѣйшій генералъ-адмиралъ и которыя изслѣдовались командированными имъ лицами. Конечно, наибольшее вниманіе возбуждало разнообразно-живое сѣверное поморье, гдѣ, дѣйствительно, море было тѣмъ полемъ, на которомъ приобрѣтались жителями всѣ свойства и блестящія качества, необходимыя и приличныя кореннымъ и образцовымъ мореходамъ“. Слѣдомъ за статьями г. Максимова печатались въ „Морскомъ Сборникѣ“ очерки сѣвера Б. В. Яновскаго, изучавшаго край во время продолжительнаго пребыванія въ средѣ промышленниковъ и притомъ въ самыхъ далекихъ, едва доступныхъ заголустьяхъ. Первое ознакомленіе съ матеріаломъ, находившимся въ литературѣ и мѣстныхъ изданіяхъ, указывало интересныя мѣстности. „Въ глухой и безпредѣльной степи объявились вѣхи, подъ указаніемъ коихъ можно было смѣло отправляться въ путь, втянуться въ дѣло, увлечься до того, чтобы, войдя въ самую глубину, съ прямого пути свертывать на любопытные проселки, забывать програмныя пункты и ставить свои новыя, далекіе отъ интересовъ морского дѣла, но цѣнные въ интересахъ этнографической науки. Конечно при этихъ торопливыхъ попыткахъ и скороспѣлыхъ наблюденіяхъ ускользало отъ вниманія очень многое; въ работѣ оказывались значительныя и очень важныя пробѣлы. Для заполнения ихъ требовались новыя силы: онѣ-то и явились на страницахъ „Сборника“, гостеприимно и широко открытыхъ именно для постороннихъ сотрудниковъ-добровольцевъ, представившихъ свои труды изъ благороднаго соревнованія и честнаго соперничества“¹⁾.

„Морской Сборникъ,—говоритъ г. Максимовъ въ заключеніе своихъ воспоминаній,—въ исторіи нашей литературы успѣлъ уже занять почетное мѣсто именно въ эти годы, когда руководился указаніями

¹⁾ Таковы были напр., „Очерки Финляндіи“, А. Милюкова (М. Сб., 1856) и др. Косвенное отношеніе къ экспедиціи имѣлъ Г. П. Данилевскій; но его очеркъ „Чумаки“, не принятый морскимъ комитетомъ, напечатанъ былъ въ „Библи. для Чтенія“ 1857, апрѣль—іюль.

„Просторіе и свободаѣ“, по выраженію г. Максимова, стали отношенія писателей къ „М. Сборнику“, когда въ 1860 г. редакторомъ его назначенъ былъ В. П. Мельницкій (ум. въ сентябрѣ 1866 г.).

Въ тоже время появляется въ нашей морской литературѣ множество описаній изъ заграничныхъ плаваній. Въ одно изъ таковыхъ, послѣ примѣра г. Гончарова, приглашенъ былъ Д. И. Григоровичъ („Корабль Ретвизанъ“). Изъ прежнихъ кругосвѣтныхъ плаваній, нѣкоторыя прошли совершенно безвѣстно. Такова была, между прочимъ, долговременная кругосвѣтная экспедиція адмирала Васильева, *строго воспрещавшаго* своимъ офицерамъ что-либо сообщать въ печати о самомъ пути и испытанныхъ во время его впечатлѣніяхъ. Всѣ усилія редакціи „Морского Сборника“ найти въ архивѣ какіе-либо матеріалы объ этомъ загадочномъ странствованіи не увѣнчались никакимъ успѣхомъ“. Таковы были времена и нравы.

А. В. Головнина и состоялъ подъ особымъ ближайшимъ покровительствомъ и подъ высокою защитой просвѣщеннѣйшаго генералъ-адмирала. То было вообще незабвенное время свѣтлыхъ упованій, свободныхъ и веселыхъ работъ, требовавшихъ неустанной энергіи молодыхъ силъ на всѣхъ путяхъ и разнообразныхъ поприщахъ, обеспечивающихъ свободу отъ крѣпостного труда“. Извѣстно, что тотъ же „Морской Сборникъ“ далъ мѣсто знаменитымъ „Вопросамъ жизни“ Пирогова (1856), которыя произвели въ то время такое сильное впечатлѣніе на умы общества...

Такова была эта замѣчательная и единственная въ своемъ родѣ экспедиція, любопытная тѣмъ, что отражала въ себѣ созрѣвавшее давно общественное стремленіе къ изученію народной жизни. Починъ нашель продолжателей въ цѣломъ рядѣ дѣятелей, направившихъ свой трудъ съ одной стороны на собираніе фактовъ народнаго быта и поэзіи, съ другой—на ихъ научное объясненіе. Эти труды вознаграждены были богатыми результатами, совершенно измѣнившими видъ русской этнографіи, открывавшими неподозрѣваемое обиліе народной поэзіи. Мы остановимся сначала на этихъ этнографахъ-собирателяхъ.

Первое мѣсто въ ряду ихъ принадлежитъ несомнѣнно Рыбникову. Биографія его къ сожалѣнію не была достаточно изложена людьми, его знавшими ¹⁾. Павелъ Николаевичъ Рыбниковъ (род. въ 1832 г.) происходилъ изъ московской купеческой семьи и, по словамъ г. Модестова, еще въ свои молодые годы „былъ человѣкъ высокаго образованія, какое рѣдко было и въ то время между молодыми людьми, а теперь еще рѣже. Образование это онъ частію получилъ въ московскомъ университетѣ на историко-филологическомъ факультетѣ, въ блестящую еще пору послѣдняго, частію въ заграничномъ путешествіи, предпринятомъ имъ еще до университетскихъ студій, частію въ кругу образованнѣйшихъ въ то время въ Москвѣ людей, между прочимъ, въ кружкѣ Хомякова, частію—и это главное—посредствомъ чтенія, широкаго и плодотворнаго. Онъ былъ знакомъ съ исторіей философіи и ближайшимъ образомъ съ Гегелемъ, ему была хорошо извѣстна экономическая литература Франціи и Германіи, особенно направленія, такъ сказать, лѣвой стороны... Независимо отъ этого онъ былъ хорошии знатокъ богословской литературы (вліяніе Хомя-

¹⁾ Можно указать только статью В. Модестова: „Два слова о П. Н. Рыбниковѣ“, въ „Новостяхъ“ 1885, 24 дек. № 854, и краткія свѣдѣнія въ „Обзорѣ“ Д. Янкова за 1885 г. (Историч. Вѣстн. 1888, декабрь).

кова), особенно русской сектантской, зналъ хорошо быть раскольникомъ, усердно занимался статистикой и изучалъ народную жизнь во всевозможныхъ направленіяхъ“.

Это было именно то оживленное время нашей литературы и общественной жизни, когда, въ параллель съ планами правительственныхъ реформъ, въ обществѣ и особливо молодомъ поколѣніи развивалось стремленіе къ изученію народной жизни и къ служенію самому народу. У Рыбникова увлеченіе западными передовыми писателями очевидно соединялось съ тѣмъ, что послѣ стали называть народничествомъ. Его университетскій курсъ шель какъ-то неправильно; еще до окончанія его онъ дѣлалъ путешествіе за границу, и окончилъ курсъ только въ 1858 году. Затѣмъ, по тому же разсказу г. Модестова, „Рыбниковъ отправился собирать народныя пѣсни и сказанія въ черниговскую губернію и тамъ своими связями съ старообрядческимъ купечествомъ возбудилъ противъ себя неудовольствіе духовныхъ властей, а затѣмъ и полиціи. Быть можетъ, у него и вырвалось тамъ и сямъ при случаѣ какое-нибудь неосторожное слово (покойный сообщалъ мнѣ о своемъ неумѣстномъ спорѣ съ тогдашнимъ черниговскимъ архіереемъ), но что онъ не могъ вызвать противъ себя заслуженнаго полицейскаго преслѣдованія, это для меня не подлежало и теперь не подлежитъ никакому сомнѣнію. Онъ былъ, во-первыхъ, слишкомъ хорошо образованный, а во-вторыхъ, слишкомъ осторожный человѣкъ, чтобы позволить себѣ какія-нибудь дѣянія, за которыя могъ рисковать тюремнымъ заключеніемъ или ссылкой. Что касается связей его съ раскольниками, то эти связи у него отчасти были семейныя. Онъ происходилъ изъ московской купеческой семьи, въ которой въ старшихъ поколѣніяхъ были люди, придерживавшіеся оппозиціи противъ Никоновской церковной реформы. У него хранился, какъ нѣкая святыня, портретъ казеннаго при Петрѣ князя Мышецкаго, котораго онъ считалъ тоже какъ-то себѣ родственникомъ. Рыбниковъ былъ горячій любитель народнаго быта, исповѣдывалъ въ философіи и въ политической экономіи (я говорю о петрозаводскомъ времени) довольно передовыя ученія, но революціонеромъ въ какомъ бы то ни было смыслѣ онъ не былъ никогда и, повторяю, не могъ быть ни въ какомъ случаѣ... Поэтому нельзя не пожалѣть, что обстоятельства, вытекшія изъ какого-то страннаго недоразумѣнія, легли такимъ тяжелымъ гнетомъ на всю жизнь даровитаго и образованнаго человѣка, казалось, предназначеннаго къ очень видной роли въ обществѣ“.

Рыбниковъ сосланъ былъ административно въ Петрозаводскъ въ 1859 году. Здѣсь встрѣтился съ нимъ въ 1860 году, г. Модестовъ, назначенный туда учителемъ гимназіи. „Цѣлые вечера, иногда даже

цѣлыя ночи мы проводили съ нимъ въ разговорахъ, которые заставляли забывать, что живешь въ отдаленномъ городѣ сѣверной Россіи, едва насчитывавшемъ тогда 8.000 жителей вмѣстѣ съ заводскими рабочими, которые составляли половину его населенія, въ городѣ, гдѣ имена Гегеля, Фейербаха, Макса Штирнера, Вико, Монтеस्कье, Луи Блана и Прудона едва ли не въ первый разъ раздавались въ человѣческихъ жилищахъ, по крайней мѣрѣ, такъ часто и съ такимъ увлеченіемъ со стороны спорящихъ“. Но пребываніе Рыбникова въ Петрозаводскѣ памятно для русской науки тѣми замѣчательными открытіями, какія были имъ сдѣланы въ области народной поэзіи. Интересъ, вынесенный еще съ дѣтства, былъ награжденъ здѣсь богатыми находками. Рыбниковъ сталъ собирать пѣсни и однажды, отправившись по служебному порученію на востокъ Олонецкой губерніи, встрѣтился съ людьми, знавшими былины, и вскорѣ разыскалъ цѣлый рядъ пѣвцовъ, знавшихъ множество эпическихъ сказаній (Леонтій Богдановъ, Козьма Романовъ, Рябининъ, Щеголенковъ, Никифоръ Прохоровъ и др.). Онъ началъ записывать былины и уже вскорѣ въ его рукахъ собралась такая масса этого рода произведеній, что уже въ 1861 году онъ началъ ихъ изданіе, составившее четыре большихъ тома ¹⁾. Передъ тѣмъ русская этнографія знала, въ отдѣлѣ былины, только Киришу Данилова, немногія пьесы въ „Памятникахъ великорусскаго нарѣчія“; думали, что былины должно искать гдѣ-нибудь въ Сибири,—и когда цѣлый огромный запасъ ихъ найденъ былъ въ недалекомъ сосѣдствѣ Петербурга, то первымъ впечатлѣніемъ ученаго міра было изумленіе, а потомъ у иныхъ недоумѣніе и даже недовѣріе. Казалось невѣроятнымъ такое богатство, являвшееся внезапно, когда никто его не ожидалъ и даже не считалъ возможнымъ. Это недоумѣніе и недовѣріе отразилось въ рецензій Срезневскаго на первый томъ собранія Рыбникова.

„Сборникъ П. Н. Рыбникова,—писалъ Срезневскій,—достоинъ вниманія даже по своей громадности: еслибы и нельзя было надѣяться на изданіе еще двухъ такихъ томовъ, какъ первый уже изданный, еслибы весь сборникъ г. Рыбникова состоялъ только изъ того, что вошло въ изданный томъ, то и тогда бы нельзя было не считать этого сборника явленіемъ, поразительнымъ

¹⁾ Пѣсни, собранныя П. Н. Рыбниковымъ. Часть I. Народныя былины, старинныя и побывальщины. Москва, 1861.

— Часть II. Москва, 1862, съ огромной „Замѣткой“ г. Безсонова, стр. XIX—CCXXIV.

— Часть III. Народныя былины, старинныя, побывальщины и пѣсни. Изданіе Олонецкаго губ. статистическаго Комитета. Петрозаводскъ, 1864.

— Часть IV. Народныя былины, старинныя, побывальщины, пѣсни, сказки, поѣрья, суевѣрья, заговоры, и т. п. Изд. Д. Е. Кожанчикова. Спб. 1867.

по внѣшнему объему. Не менѣе достоинъ вниманія этотъ сборникъ и по своему содержанию: онъ свидѣтельствуесть, что въ памяти народа нашего еще уцѣлѣло много остатковъ старинной народной поэзіи, и между прочимъ такихъ остатковъ, которые доселѣ не были вовсе извѣстны или по крайней мѣрѣ не предполагались существующими въ народѣ. Замѣчательнъ сборникъ г. Рыбникова еще и тѣмъ, что почти весь какъ есть составленъ въ одномъ сравнительно небольшомъ краѣ русскомъ, въ Олонецкой губерніи.

Тѣмъ легче могъ онъ произвести на нѣкоторые умы впечатлѣніе тяжелое въ родѣ того, какое когда-то произведено было ирландскими пѣснями въ переводѣ Макферсона, или Словомъ о полку Игоревѣ и какое до сихъ поръ на кое-кого производить пѣсни Краледворской рукописи, впечатлѣніе, ведущее за собою нерѣшимость простодушна доврѣять, что собранныя пѣсни суть дѣйствительныя произведенія народныя, а не подражанія имъ. Сомнѣніе зарождается и укореняется тѣмъ естественнѣе, чѣмъ менѣе противопоставлено ему преградъ; а при изданіи сборника г. Рыбникова не сдѣлано въ этомъ отношеніи почти ничего: нѣтъ ни отъ г. Рыбникова, ни отъ издателей никакихъ поясненій, которыми читатель могъ бы руководиться при обзорѣнн сборника, при оцѣнкѣ его достоинства. Еще было бы можно обойтись и безъ нихъ, если бы этотъ сборникъ былъ только сравнительно небольшимъ дополненіемъ къ прежде извѣстному; а тутъ явилась разомъ такая масса пѣснопѣній, что скорѣе какъ на часть ея самой можно было смотрѣть на все другое, дотогѣ изданное и собранное въ разныхъ краяхъ Руси. У г. Рыбникова готова или готовится объяснительная записка; но ея напечатаніе отложено до второго тома — зачѣмъ? Миѣ кажется, ею бы и надобно было начать первый томъ“.

Это было совершенно справедливо. Пѣсни Рыбникова являлись на первый разъ безъ всякаго объясненія того, какъ онѣ были найдены и какъ записываемы: Рыбниковъ объяснилъ это только позднѣе. Но Срезневскій въ этотъ разъ сдѣлалъ собственныя справки относительно составителя и его работы: онъ могъ получить свѣдѣнія отъ Д. В. Подлѣнова и г. Модестова, знавшихъ Рыбникова на мѣстѣ; къ своей замѣткѣ Срезневскій присоединилъ письма того и другого въ отвѣтъ на его вопросы, и изъ письма одного изъ его корреспондентовъ ¹⁾ видно, что слово „подражаніе“, употребленное Срезневскимъ, означало именно поддѣлку ²⁾. Во второмъ томѣ были помѣщены выдержки изъ писемъ Рыбникова о его работахъ, а въ третьемъ томѣ онъ далъ, наконецъ, подробный разсказъ о своихъ странствіяхъ по Олонецкому краю, о томъ, какъ былъ открытъ имъ былинный эпосъ, какъ онъ разыскивалъ пѣвцовъ, которыхъ перечисляетъ поименно съ

¹⁾ „...Я считаю долгомъ свидѣтельствовать, какъ человекъ, имѣвшій случай поѣхать собственными глазами, убѣдиться изъ факта, что большая добросовѣстность, чѣмъ та, съ какою относится къ дѣлу Рыбниковъ, едва ли можетъ существовать. Но прежде спрощу васъ: былины, возбуждавшія ваше недоумѣніе, относятся ли къ тѣмъ, запись которыхъ принадлежитъ самому Рыбникову“, и пр.

²⁾ „Извѣстія“ второго отдѣленія Академіи, т. X, 1861—1863, стр. 248—254.

указаніемъ ихъ мѣстопробыванія и пр. Дальше скажемъ, что не смотря на всѣ подтвержденія подлинности собранія Рыбникова, которое размножилось вскорѣ на цѣлые четыре тома, повидимому оставалось еще тѣмъ сомнѣнія до тѣхъ поръ, пока въ Олонецкій край не сдѣлалъ свои поѣздки Гильфердингъ, пріобрѣтенія котораго въ этой области были, быть можетъ, еще поразительнѣе чѣмъ коллекція Рыбникова. Въ то же время (съ 1860) началось печатаніе сборника Кирѣевскаго и съ тѣхъ поръ русская этнографія пріобрѣла драгоценный матеріалъ, который вскорѣ потомъ отразился замѣчательнымъ расширеніемъ самыхъ изслѣдованій.

Со времени изданія своего сборника, Рыбниковъ уже не обращался болѣе къ вопросамъ этнографіи; въ шестидесятыхъ годахъ онъ покинулъ Олонецкій край, былъ вице-губернаторомъ въ Калишѣ и умеръ тамъ въ 1885 г.

Въ пятидесятыхъ годахъ выступилъ въ этнографической области другой собиратель, болѣе старшаго поколѣнія и совсѣмъ особаго типа, Павелъ Ив. Якушкинъ (1820—1872).

Въ шестидесятыхъ годахъ, въ литературныхъ кругахъ въ Петербургѣ и Москвѣ развѣ немногіе только не знали Якушкина, добродушнаго чудака, извѣстнаго своими „хожденіями въ народъ“, собраніемъ пѣсенъ, рассказами изъ народнаго быта. Онъ бросался въ глаза уже своей внѣшностью—носилъ какой-то полународный костюмъ, непохожій на „нѣмецкое“ платье, въ видахъ сближенія съ народомъ; съ Якушкинымъ бывали случаи, что его принимали за „ряженаго“, тѣмъ больше что онъ носилъ очки. Но костюмъ во всякомъ случаѣ былъ не общепринятый и могъ сойти за народный. Въ наружности и приемахъ Якушкина—отъ природы, или отъ сношеній съ простонародной средой—была извѣстная мужицкая складка; выраженіе лица казалось на первый взглядъ какъ-будто рѣзкимъ, но подъ этой внѣшностью скрывалось большое добродушіе или простодушіе. Внѣшняя грубоватость манеры и мнимо-народный костюмъ не разъ дѣлали его „подозрительнымъ“: онъ былъ „polizeiwidrig“—во Псковѣ его арестовали; въ послѣдніе годы жизни выслали изъ Петербурга. Біографы Якушкина сообщаютъ забавное свѣдѣніе, что фотографическія карточки Якушкина продавались, и покупались, за портреты Пугачева. Къ сожалѣнію, отъ „общенія съ народомъ“ онъ пріобрѣлъ прискорбный народный недостатокъ; онъ сильно испивалъ.

Якушкинъ происходилъ изъ стараго дворянскаго рода; въ близкой роднѣ его былъ Якушкинъ, извѣстный декабристъ. Отецъ его былъ помѣщикъ въ Орловской губерніи и женатъ былъ на своей крѣпостной дѣвушкѣ, умной и характерной. Въ 1840 году Якушкинъ поступилъ въ Московскій университетъ по математическому факультету,

но курса не кончилъ; онъ былъ уже на четвертомъ курсѣ, когда знакомство съ П. В. Кирѣевскимъ, которому онъ доставилъ нѣсколько пѣсень, увело его совсѣмъ на другую дорогу; онъ сталъ этнографомъ и народникомъ. Кирѣевскій отправилъ его для собиранія пѣсень въ сѣверныя поволжскія губерніи. Якушеинъ взвалилъ на плечи лубочный коробъ, наполнилъ его офенскими товарами, рассчитанными на слабое дѣвичье сердце, и отправился для записыванія пѣсень—въ обмѣнъ на свой товаръ. Много пришлось ему встрѣтить и перенести испытаній—и труднаго пути, и опасной болѣзни, и риска имѣть на глухой дорогѣ дѣло съ волками, и не меньшаго риска имѣть дѣло съ подозрительнымъ начальствомъ.

„Выходъ Якушкина (въ сороковыхъ годахъ), надо помнить, былъ новый,—говоритъ его біографъ,—никто до него таковыхъ путей не прокладывалъ. Приемамъ учиться было негдѣ, никто еще не дерзалъ на такіе смѣлые шаги, систематически рассчитанные, и на дерзостныя поступки—встрѣчу глазъ на глазъ съ народомъ. По духу того времени, затѣю Якушкина можно считать положительнымъ безуміемъ, которое, по меньшей мѣрѣ, находило себѣ оправданіе лишь въ увлеченіяхъ молодости“.

Первое странствіе сошло благополучно, и Якушкинъ уже смѣло отправляется въ дальнѣйшія. Не обходилось конечно безъ приключеній: онъ встрѣчалъ добродушное гостепріимство бабъ, не хотѣвшихъ брать съ него денегъ за отдыхъ и пищу, предупредительность мужиковъ, выпроваживавшихъ его заблаговременно отъ захвата начальствомъ; его зазывали въ барскія помѣщичьи хоромы, гдѣ по неосторожности его разговора угадывали въ немъ не простого коробейника. Разъ въ глухой деревнѣ ему случилось заболѣть оспой и остаться безъ помощи врача. „Коробейникъ поправился,—рассказываетъ біографъ,—но на всю жизнь сохранилъ на лицѣ слѣды довольно тяжелой оспы. Лицо было серьезно изуродовано, и Якушкину не разъ приходилось потомъ платить за это случайное несчастье отъ тѣхъ людей, которые по лицу привыкли составлять впечатлѣніе. Опушенное длинной бородой, при длинныхъ волосахъ, лицо его изуродованное неожиданной посѣтительницей, дѣйствительно отличало его изъ ряду обыкновенныхъ людей... Онъ признавался, что первыми непріятными столкновеніями онъ обязанъ былъ именно подозрительности своей фізіономіи, усиленной сверхъ того крестьянскимъ востюмомъ при очкахъ, при лоскуткахъ бумаги и карандашъ... О псковскомъ полиціймейстерѣ, имя котораго тѣсно связалось, благодаря журнальнымъ статьямъ, съ именемъ Якушкина, Павелъ Ивановичъ всегда отзывался съ кротостью, не памятуя зла и не ставя его въ вину и осужденіе“. Эта исторія съ полиціймейстеромъ, аре-

стававшимъ Якушкина во Псковѣ, послужила нѣкогда (въ концѣ 50-хъ годовъ), особливо на страницахъ „Русской Бесѣды“, однимъ изъ первыхъ сюжетовъ для обличительной публицистики на тему о полицейскомъ самоуправствѣ. Послѣ, когда исторія кончилась, Якушкинъ былъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ этимъ Гемпелемъ.— Языкъ его, по долгой привычкѣ, приобрѣлъ дѣйствительно народную складку и тогда, безнамяренно, выходилъ забавнымъ и типичнымъ. Когда въ Петербургѣ его потребовали къ генераль-губернатору, онъ говорилъ пріятелямъ что „городничій освѣдомляется“ объ немъ; къ сожалѣнію, „городничій“ выслалъ его изъ Петербурга.

Якушкинъ прибылъ въ Петербургъ въ 1858 году, въ разгаръ тогдашняго возбужденія, въ которомъ такую большую роль занимало ожидаемое освобожденіе крестьянъ. Якушкинъ, какъ извѣстный уже народолюбецъ и этнографъ, былъ радушно встрѣченъ въ литературныхъ кружкахъ: его тогдашніе друзья отозвались впоследствии своими воспоминаніями объ немъ ¹⁾. Это былъ народолюбецъ прагматическій, какихъ было еще не много; добродушный, хотя часто нелѣпый, чудакъ, къ которому трудно было не быть снисходительнымъ; въ благополучныя минуты, его рассказы о своихъ походахъ и о народныхъ нравахъ не были лишены характерной новизны. Не великъ былъ и его литературный талантъ, но онъ могъ рассказать только то, что видѣлъ и слышалъ. Затѣй теоретическихъ у него не было и не могло быть.

Литературные труды Якушкина всѣ относятся къ этнографіи; прямо или косвенно. Это—или „путевыя письма“, или рассказы изъ народнаго быта, или пѣсенные сборники: „Путевыя письма“, изъ губерній новгородской, псковской, орловской, черниговской, курской, астраханской, печатались въ „Русской Бесѣдѣ“ 1859 г., въ „Современникѣ“, „Отеч. Запискахъ“, „Основѣ“ и др. въ шестидесятыхъ годахъ, и одна часть ихъ вошла потомъ въ отдѣльное изданіе ²⁾; рассказы печатались съ шестидесятыхъ годовъ въ разныхъ журналахъ и почти сполна собраны были въ отдѣльномъ изданіи ³⁾.

Собираніемъ пѣсенъ Якушкинъ сталъ заниматься, какъ замѣчено, съ сороковыхъ годовъ подъ руководствомъ П. В. Кирѣевского; по его

¹⁾ См. „Сочиненія П. И. Якушкина. Съ портретомъ автора, его биографіей С. В. Максимова и товарищескими о немъ воспоминаніями: П. Д. Боборыкина, П. И. Вейнберга, И. Ф. (Ө.) Горбунова, А. Ф. Иванова, Н. С. Курочкина, Н. А. Лейкина, Н. С. Лѣскова, Д. Д. Минаева, В. Н. Никитина, В. О. Португалова и С. И. Турбина“. Изданіе Вл. Михневича. Спб. 1884. (Мой отчетъ объ этой книгѣ въ „В. Евр.“ 1884, январь, стр. 415—420).

²⁾ „Путевыя письма изъ новгородской и псковской губерній“. Изд. Кожанчикова. Спб. 1860.

³⁾ „Бывалое и небывальщина“. Спб. 1865.

собственнымъ словамъ ¹⁾ онъ „занимался у Петра Васильевича болѣе двадцати лѣтъ по части собиранія пѣсенъ“. Записанныя пѣсни поступали, повидимому, въ собраніе Кирѣвскаго. Якушкинъ упоминаетъ, что онъ собиралъ также и сказки, которыя были переданы въ то же собраніе; по словамъ его ²⁾, Кирѣвскій предлагалъ ему издать сказки, а впослѣдствіи, когда это изданіе не состоялось, Якушкинъ, выбравъ изъ бумагъ Кирѣвскаго записанныя имъ сказки, сообщилъ ихъ черезъ В. Елагина Аванасьеву, который по ошибкѣ обозначалъ ихъ, какъ записанныя Кирѣвскимъ. Въ концѣ пятидесятихъ годовъ Якушкинъ самъ началъ печатать пѣсни, имъ записанныя и сообщенныя ему другими. Такимъ образомъ 25 пѣсенъ было имъ сообщено въ „Лѣтописяхъ русской литературы и древности“ г. Тихонравова, 1859; 6 пѣсенъ напечатано было въ сборникъ Погодина „Утро“, 1859; и наконецъ въ „Отеч. Запискахъ“, 1860, и отдѣльно ³⁾.

Къ тому же времени и подъ тѣми же возбужденіями началась этнографическая дѣятельность весьма извѣстнаго теперь собирателя П. В. Шейна (род. 1826). Родомъ изъ достаточной еврейской семьи въ Могилевѣ на Днѣпрѣ, онъ получилъ сначала нѣкоторое образованіе въ еврейской средѣ у раввина, не чуждаго европейскому просвѣщенію, и попалъ затѣмъ въ Москву (въ сент. 1843) по слѣдующей случайности: отецъ его велъ въ Москвѣ дѣла и когда затѣмъ вышелъ новый законъ, стѣснявшій пребываніе евреевъ въ столицѣ, онъ помѣстилъ въ Москвѣ въ больницу своего сына, потерявшаго вслѣдствіе болѣзни способность ходить, и для попеченія о немъ самъ получилъ право оставаться въ Москвѣ. Въ больницѣ Шейнъ пробылъ три года и это время имѣло вліяніе на всю его дальнѣйшую жизнь. Воспитанный въ упорныхъ еврейскихъ аятиціяхъ противъ христіанъ, мальчикъ увидѣлъ здѣсь совершенно иныя нравственныя понятія и отношенія; переработавъ свой жаргонъ на литературно-нѣмецкій языкъ, онъ познакомился съ нѣмецкими поэтами; выучившись по-русски, увлекался Жуковскимъ и Пушкинымъ, и вообще такъ сроднился съ новой средой, что когда леченіе въ больницѣ нѣсколько

¹⁾ Сочиненія, 1864, стр. 463.

²⁾ Тамъ же, стр. 465.

³⁾ „Русскія пѣсни, собранныя П. Якушкинымъ“, Спб. 1860, 106 страницъ, и затѣмъ болѣе обширное собраніе: „Народныя русскія пѣсни изъ собранія П. Якушкина“. Спб. 1865, 288 страницъ. Кромѣ того, что помѣщено было въ „Отечественныхъ Запискахъ“, сюда вошли пѣсни изъ „Лѣтописей“ Тихонравова, но не вошли пѣсни изъ сборника „Утро“.

Относительно переряживанья Рыбниковъ („Пѣсни“, т. 3, стр. X—XI) полагалъ, что оно совсѣмъ не нужно для сближенія съ народомъ и записыванья пѣсенъ. Едва ли также было нужно и исканіе пѣсенъ въ кабакахъ, какъ думалъ Якушкинъ: для него самого оно кончилось алкоголизмомъ.

облегчило его положеніе и онъ долженъ былъ выписываться, передъ нимъ сталъ вопросъ—или возвратиться въ прежнюю среду, которая стала для него уже чужда, или выдти на новый путь. Подъ влияніемъ нѣкоторыхъ докторовъ больницы и другихъ лицъ, лютеранъ по вѣроисповѣданію, Шейнъ принялъ лютеранство: такимъ образомъ старыя отношенія были порваны и начата новая жизнь. Онъ принятъ былъ въ сиротское отдѣленіе лютеранской школы въ Москвѣ, гдѣ однимъ изъ его преподавателей былъ извѣстный въ свое время литераторъ и поэтъ-переводчикъ Ѡ. Б. Миллеръ. Шейнъ нашелъ доступъ въ литературно-художественный кружокъ, къ которому Миллеръ принадлежалъ, и этотъ кружокъ оказалъ ему помощь въ пріисканіи средствъ къ жизни. Онъ сдѣлался сначала домашнимъ учителемъ, жилъ нѣсколько лѣтъ въ разныхъ помѣщичьихъ семействахъ въ провинціи, временами жилъ въ Москвѣ, гдѣ между прочимъ встрѣчалъ радушный пріемъ въ семьѣ Шевыревыхъ и Аксаковыхъ. Въ концѣ 1850-хъ годовъ онъ увлекается „Русской Бесѣдой“ и, получивъ опять мѣсто домашняго учителя въ симбирскую губернію, рѣшилъ посвятить себя изученію народной поэзіи: составивъ небольшое собраніе историческихъ пѣсенъ и былинъ Корсунскаго уѣзда, онъ привезъ свой сборникъ въ Москву, въ кружокъ Хомякова и Аксаковыхъ. Этотъ первый сборникъ напечатанъ былъ Бодянскимъ въ „Чтеніяхъ“ московскаго общества исторіи и древностей (1859, книга III, стр. 121—170). Съ тѣхъ поръ Шейну приходилось жить въ разныхъ краяхъ Россіи въ качествѣ уѣзднаго учителя, смотрителя уѣздныхъ училищъ, учителя гимназіи—въ Тулѣ, Елифани, Витебскѣ; въ вакаціонное время онъ ѣздилъ въ губерніи рязанскую, псковскую, новгородскую. Начатое собраніе продолжалось и мало-по-малу у г. Шейна собрался весьма обширный матеріалъ, первая часть котораго, законченная въ Витебскѣ въ 1867 году, помѣщена была въ тѣхъ же „Чтеніяхъ“, 1868—1870, и вышла затѣмъ отдѣльной книгой¹⁾. Вторая часть остается до сихъ поръ не изданной. Со времени службы въ западномъ краѣ г. Шейнъ занялся собираніемъ пѣсенъ бѣлорусскихъ, о чемъ скажемъ въ своемъ мѣстѣ²⁾.

Не перечисляя другихъ трудовъ того времени по собиранію па-

¹⁾ „Русскія народныя пѣсни, собранныя П. В. Шейномъ“. Ч. I, изд. Имп. Общ. исторіи и древностей росс. при Московскомъ университетѣ. Москва, 1870, 568 страницъ; XXIX стр. подробнаго оглавленія.

²⁾ Биографическія свѣдѣнія см. въ статьѣ Всева Ѡ. Миллера въ „Р. Вѣдомостяхъ“ 1884, № 290, и отдѣльно: „Павелъ Васильевичъ Шейнъ, собиратель памятниковъ народнаго творчества. По поводу исполнившагося двадцатипятилѣтія его дѣятельности“. М. 1884. Ссылка здѣсь (стр. 12) на „знаменитую книгу Добровскаго“ включаетъ въ себя ошибку.

матниковъ народной словесности, о чемъ скажемъ въ своемъ мѣстѣ, остановимся на собирателѣ иного рода, принимавшемъ участіе въ описанной выше литературной экспедиціи пятидесятихъ годовъ и съ тѣхъ поръ посвятившемъ свои работы многообразному изслѣдованію и описанію народнаго быта. Это—Сергѣй Вас. Максимовъ. Сынъ уѣзднаго почмейстера, Максимовъ родился (въ 1831 г.) въ посадѣ Парфентьевѣ, Костромской губерніи, кологривскаго уѣзда. Первоначальное обученіе онъ получилъ въ посадскомъ народномъ училищѣ, а впослѣдствіи поступилъ сначала въ московскій университетъ, потомъ въ медико-хирургическую академію въ Петербургѣ, и началъ писать съ первыхъ пятидесятихъ годовъ, прежде всего для того, чтобы имѣть средства къ существованію. Эти первые труды заключались въ этнографическихъ очеркахъ изъ быта мѣщанъ и крестьянъ, къ которому молодой писатель присмотрѣлся еще съ дѣтства. Очерки его обратили на себя вниманіе и ободренный Тургеневымъ, который всегда съ добрымъ чувствомъ слѣдилъ за молодыми возникающими дарованіями, г. Максимовъ предпринялъ въ 1855 году на свой страхъ литературно-этнографическую экскурсію, а именно, пѣшеходное странствіе по Владимирской губерніи, былъ потомъ въ Нижнемъ во время ярмарки и въ глухихъ мѣстахъ Вятской губерніи. Это былъ одинъ изъ первыхъ опытовъ прямого изученія народнаго быта въ молодомъ поколѣніи того времени. Мы помнимъ впечатлѣніе, какое производили тогда эти рассказы „изъ народнаго быта“ (и въ числѣ ихъ рассказы г. Максимова), которые были привѣтствованы какъ новая полоса литературныхъ интересовъ, становившихся тогда все болѣе и живыми общественными интересами: изученіе народнаго быта было на очереди, когда въ обществѣ начались оживленные толки о приближающемся освобожденіи крестьянъ. Достаточно пересмотрѣть темы, на которыхъ останавливался г. Максимовъ, чтобы составить себѣ представленіе о кругѣ народнаго быта, привлекавшемъ его наблюденія. Въ этихъ первыхъ очеркахъ, которые являлись съ пятидесятихъ годовъ въ „Библіотекѣ для чтенія“ и впослѣдствіи вошли въ отдѣльную книгу подъ названіемъ: „Лѣсная Глушь“ (Спб. 1871, два тома), передъ нами проходятъ: крестьянскія посидѣлки Костромской губерніи, извошники, швецы (т.-е. портные), сергачъ (вожакъ медвѣдя), вотяки, булыня (скупщикъ льна), Нижегородская ярмарка, маларь, колдунъ, сотскій, повитуха, знахарка, дружка, питерщикъ, пастухъ и т. д. Эти очерки изъ народнаго быта отличались отъ тѣхъ, какихъ являлось съ тѣхъ поръ и донинѣ безконечное множество, очерковъ, рассчитанныхъ на чисто литературный интересъ, на мимолетнюю картинку, не имѣющую этнографическаго значенія; въ этомъ послѣднемъ отношеніи рассказы г. Максимова ближе подходили къ подобнымъ очер-

камъ Даля, но и здѣсь была та ощутимая разница, что въ то время какъ у Даля при всемъ его народолюбіи картинка изъ народнаго быта все-таки рисовалась съ высока какъ нѣчто не столько любопытное или важное, сколько курьезное, иной разъ съ оцѣнкой народнаго смысла, а другой разъ съ великимъ пренебреженіемъ къ народной глупости, которую надо безъ церемоніи учить вразумительными для нея способамн,—у г. Максимова господствуетъ иное настроеніе, а именно желаніе понять народный бытъ какъ онъ есть, съ создававшими его условіями, понять равноправно и человѣчно, иной разъ, какъ бывало у позднѣйшихъ народниковъ, съ особеннымъ удивленіемъ на мудрости и мудрености народнаго быта, которыхъ нелегко уразумѣть не-народному человѣку; наконецъ въ описаніяхъ бывала такая точность, что рассказы приобрѣтали и значеніе этнографическое.

Имя г. Максимова было уже достаточно извѣстно, когда набирались исполнители для упомянутой экспедиціи, задуманной по мысли вед. кн. Константина Николаевича. Поприщемъ для его изученія выбранъ былъ сѣверъ. Исполняя порученіе, г. Максимовъ отправился къ Бѣлому Морю и уже по собственному желанію добрался до Ледовитаго океана и до Печоры; результатомъ былъ рядъ статей, которыя помѣщались въ „Морскомъ Сборникѣ“ и другихъ журналахъ, а затѣмъ вышли отдѣльной книгой: „Годъ на сѣверѣ“ (первое изданіе въ 1859; 3-е изданіе, 1871, двѣ части: Бѣлое Море и его побережья; поѣздка по сѣвернымъ рѣкамъ и по Печорѣ).

Работы г. Максимова на сѣверѣ имѣли большой успѣхъ въ литературѣ и, повидимому, произвели столь же пріятное впечатлѣніе въ морскомъ вѣдомствѣ, такъ что тотчасъ по окончаніи сѣверной поѣздки ему предложена была поѣздка на дальній востокъ. Это было то самое время, когда только-что приобрѣтенная Амурская область была предметомъ оживленной, даже рѣзкой полемики, которую вели въ особенности г. Романовъ съ одной стороны и Д. Завалишинъ, защитникъ и противникъ новопріобрѣтеннаго края и способовъ его колонизаціи. Путешествіе г. Максимова было предметомъ новаго ряда статей въ „Морскомъ Сборникѣ“, вышедшихъ потомъ отдѣльной книгой ¹⁾. Когда предстояло возвращеніе въ Россію, г. Максиму дано было еще на годъ новое порученіе—сдѣлать поѣздку по Сибири для обзорѣннн тюремъ и быта ссыльныхъ; книга объ этомъ предметѣ не была разрѣшена къ опубликованію предсѣдателемъ сибирскаго и кавказскаго комитетовъ Бутковымъ и она издана была только въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ (500), „секретно“, подъ названіемъ:

¹⁾ „На Востокѣ, поѣздка на Амуръ (въ 1860—1861 г.), дорожныя замѣтки и воспоминанія“. Спб. 1864; 2-е изд. 1871.

„Тюрьма и ссылки“. Впослѣдствіи отдѣльныя статьи являлись въ журналахъ („Вѣстникъ Европы“, „Отеч. Записки“) и въ цѣломъ, значительно дополненная противъ прежняго, книга явилась въ 1871 г.¹⁾ Послѣ сѣвера и востока, въ 1862—1863 годахъ г. Максимовъ сдѣлалъ еще третью поѣздку на юго-востокъ, именно на побережья Каспійскаго моря, а также на Уралъ. Изъ этой поѣздки только двѣ статьи (Съ дороги на Уралъ; Изъ Уральска) помѣщены были въ „Морскомъ Сборникѣ“; дѣло въ томъ, что въ это время программа этого журнала измѣнилась, она стала строго специальной, литературный отдѣлъ упраздненъ и г. Максимовъ долженъ былъ направить свои труды въ другія изданія. Такимъ образомъ рядъ изслѣдованій о названномъ краѣ, особливо о разныхъ формахъ мѣстнаго раскола: „Иргизскіе старцы“; „Ленкорань“; „Секта общихъ“; „Молокане — Укленны“; „Духоборы“; „Субботники“ и пр. былъ помѣщенъ въ „Отеч. Запискахъ“, „Дѣлѣ“, „Семьѣ и Школѣ“ и пр.²⁾

Въ 1865 году, по приглашенію издательской фирмы „Общественная Польза“, а потомъ въ комиссіяхъ, по устройству народныхъ чтеній въ Солянскомъ городѣ и въ министерствѣ просвѣщенія, г. Максимовъ редактировалъ книжки для народнаго чтенія и между прочимъ составилъ самъ до 18 такихъ книжекъ, особливо по описанію различныхъ краевъ Россіи въ общедоступной формѣ: „Мерзлая пустыня“; „Дремучіе лѣса“; „Степи“; „Мертвая страна“; „Соловецкій Монастырь“ и пр.

Въ 1868 году, когда въ Географическомъ Обществѣ обсуждалась этнографическая экспедиція въ западный край, именно въ губерніи сѣверо- и юго-западныхъ, бѣлорусскія и малорусскія, относительно послѣднихъ задачу экспедиціи взялъ на себя извѣстный Чубинскій, исполнившій ее вскорѣ въ извѣстныхъ замѣчательныхъ „Трудахъ“, о которыхъ скажемъ въ своемъ мѣстѣ, а обзорѣніе сѣверо-западнаго края бралъ на себя г. Максимовъ. Онъ посѣтилъ семь губерній этого края и хотя задача Географическаго Общества осталась невыполненной, г. Максимовъ воспользовался своей поѣздой для нѣкоторыхъ работъ о Бѣлоруссіи (о нихъ упомянемъ далѣе). Укажемъ далѣе книгу: „Куль хлѣба и его похождения“ (Спб. 1873; 2-е изд. 1875); книгу о нищихъ и бродягахъ³⁾.

¹⁾ „Сибирь и каторга“. Спб. 1871, въ трехъ томахъ: I) несчастные; II) преслупленія и несчастія; III) политическіе и государственные преступники.

²⁾ Еще раньше была издана имъ небольшая книжка: „Разсказы изъ исторіи старообрядства, по раскольничьимъ рукописямъ, переданные С. Максимовымъ“. Съ портретомъ инока Корнилія. Изд. Кожанчикова. Спб. 1861.

³⁾ Бродачя Русь Христа-ради: прошаки, запрощики, кубраки, лабори, нищая братья, побирушки, погорѣльцы, нищоброды, калуны, калыки, перехожіе (сѣпцы), богомольцы, скрытники и христороубы. Спб. 1877.

Далѣе, остается не собраннымъ цѣлый рядъ статей г. Максимова о различныхъ сторонахъ народнаго быта въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи. Въ своихъ путешествіяхъ онъ собралъ матеріалъ для географическихъ характеристикъ въ мѣстномъ бытѣ, преданіяхъ и т. п. Напримѣръ, статьи о казакахъ на Дону, на Уралѣ и въ Черноморьѣ, о русскихъ инородцахъ въ Сибири, въ Бѣлоруссіи; о „чудесахъ и диковинкахъ“ на русской землѣ, какъ подземныя озера, плавающие острова, чудныя и чудныя озера, падающія колокольни, подземныя города и подводныя церкви. Остается не собраннымъ рядъ статей, затерянныхъ въ газетахъ, о народныхъ праздникахъ: Христовъ день; Великодніи (въ Бѣлоруссіи); Новолѣтіе встарь; Красная горка; Петровка; Купала; Вознесеневъ день; Ильинская пятница и пр. Наконецъ одинъ изъ самыхъ любопытныхъ трудовъ г. Максимова составляетъ рядъ статей, также разсѣянныхъ по газетамъ и заключающихъ бытовое объясненіе различныхъ словъ и оборотовъ, первоначальный смыслъ которыхъ для большинства совершенно затерянъ: „Не спуста слово молвится“ и „Крылатя слова“¹⁾.

Труды Географическаго Общества и литературная экспедиція (изъ которой въ особенности г. Максимовъ вышелъ ревностнымъ дѣятелемъ въ изученіи народнаго быта) много содѣйствовали распространенію въ нашей литературѣ мѣстныхъ описаній, бытовыхъ разсказовъ и т. п. Къ чистой этнографіи присоединяется особая литературная разновидность—разсказа или очерка „изъ народнаго быта“, которые распространились у насъ до цѣлаго обширнаго отдѣла новѣйшей беллетристики. Ожиданіе крестьянской реформы въ 50-хъ годахъ дало новый толчекъ къ размноженію разсказовъ изъ народнаго быта, которые послѣ первыхъ опытовъ, указанныхъ нами у Даля, и извѣстныхъ произведеній Тургенева и Григоровича привлекаютъ силы беллетристовъ пятидесятихъ годовъ, какъ Потѣхинъ, Писемскій, Мельниковъ (Андрей Печерскій), Т. Коворевъ, потомъ шестидесятихъ, какъ Глѣбъ Успенскій, Левитовъ, Слѣпцовъ, Рѣшетниковъ, Златовратскій, Наумовъ, и т. д. до самого гр. Льва Толстого. Понятно, что эта беллетристика не давала непосредственныхъ результатовъ для этнографіи, но несомнѣнно имѣла для нея немалое косвенное значеніе—распространяя интересъ къ народному быту, раскрывая инныя его стороны, именно нравственно-бытовое настроеніе народа, такъ, какъ этого еще не сдѣлала этнографическая наука. Повѣсть, очеркъ изъ народнаго быта стали обыкновеннѣйшей формой нашей беллетристики; для нихъ окончательно завоевано лите-

¹⁾ Статьи, печатавшіяся подъ этими заглавіями въ „Новомъ Времени“ и „Новостяхъ“ за послѣдніе годы, должны теперь видѣти въ отдѣльномъ изданіи.

ратурное право, какъ, сравнительно съ прежнимъ, чрезвычайно расширена область народной стихіи въ литературномъ языкѣ. Съ другой стороны обильно размножается масса народно-бытовыхъ описаній, предпринимаемыхъ съ чисто этнографическими цѣлями; огромное количество ихъ начинаетъ появляться особливо въ издавіяхъ провинціальныхъ, какъ признакъ развивающагося мѣстнаго интереса,—что важно въ томъ отношеніи, что только на мѣстахъ можетъ быть собранъ съ достаточною полнотою матеріалъ, необходимый для этнографическихъ выводовъ и обобщеній. Съ бытовыми описаніями идетъ рядомъ усердное собираніе устныхъ памятниковъ народной словесности: былинь, пѣсенъ, сказокъ, пословиць, заговоровъ, причитаній, новѣрій, мѣстныхъ легендъ и преданій и т. д. Наличный составъ народной поэзіи и обычая является въ изобиліи, которое еще недавно было немислимо: въ шестидесятыхъ годахъ мы уже окончательно находимся въ иномъ періодѣ русской этнографіи.

Параллельно съ этимъ, въ пятидесятыхъ годахъ впервые устанавливается научное изслѣдованіе этнографическихъ данныхъ, гдѣ одна изъ главнѣйшихъ заслугъ принадлежитъ трудамъ *Θ. И. Буслаева*.

ГЛАВА Ш.

Ө. И. Буслаевъ: труды по этнографіи.

Главнымъ представителемъ новаго движенія въ нашихъ этнографическихъ изслѣдованіяхъ и первымъ начинателемъ у насъ того направленія науки, которое было создано въ Германіи въ особенности трудамъ Гримма, былъ съ пятидесятихъ годовъ или даже раньше Ө. И. Буслаевъ. Въ 1888 году (18-го августа) вспомануть былъ пятидесятилѣтній юбилей педагогической дѣятельности г. Буслаева, который почти совпадаетъ съ пятидесятилѣтіемъ его ученой дѣятельности въ области русской этнографіи. Имя г. Буслаева уже теперь становится почетнымъ историческимъ именемъ. Въ привѣтствіяхъ, какія были вручены и высказаны ему по поводу этого юбилея отъ ученыхъ учреждений, какъ Московскій и Петербургскій университеты и Академія наукъ, отозвалось то представленіе объ его ученой заслугѣ, какое внушается обзоромъ его многочисленныхъ работъ по изученію русскаго языка, старой русской письменности, народной поэзіи и наконецъ стараго русскаго искусства. Рѣдко дѣятельность ученаго бываетъ въ такой степени вся проникнута однимъ общимъ настроеніемъ, и рѣдко это настроеніе бываетъ въ такой степени одушевлено возвышеннымъ идеализмомъ, въ которомъ народолюбіе подкрѣпляется благородными внушеніями науки.

По поводу юбилея была пересказана и несложная вѣшняя біографія г. Буслаева. Онъ родился въ 1818 году въ г. Керенскѣ, пензенской губерніи, гдѣ отецъ его служилъ небольшимъ чиновникомъ. Рано потерявъ отца, онъ провелъ дѣтскіе и отроческіе годы въ Пензѣ и учился въ тамошней гимназіи, гдѣ между прочимъ одно время его учителемъ по русской словесности былъ Бѣлинскій. Кончивъ здѣсь курсъ, г. Буслаевъ поступилъ въ 1834 году въ Московскій университетъ по историко-филологическому (тогда словесному) факультету.

Уже въ это время онъ своею талантливостію и трудолюбіемъ обратилъ на себя вниманіе графа С. Г. Строгонова, въ то время попечителя Московскаго университета. Окончивъ курсъ въ 1838, г. Буслаевъ назначенъ былъ въ августъ этого года сверхштатнымъ учителемъ во вторую московскую гимназію, но уже въ половинѣ слѣдующаго года получилъ возможность отправиться за границу, въ качествѣ домашняго учителя въ семействѣ гр. Строгонова. Зависимое положеніе имѣло свои неудобства, которыя однако вознаграждались внимательнымъ отношеніемъ къ нему самаго попечителя и особливо возможностью изученія тѣхъ сокровищъ науки и искусства, какія представляла Италія, гдѣ главнымъ образомъ проведено было это время. Г. Буслаевъ пробылъ за границей два года и по возвращеніи занялъ (въ 1841 году) мѣсто учителя въ 3-й московской гимназіи, а вскорѣ вступилъ и на ученое литературное поприще. Въ 1844 году онъ издалъ книгу „О преподаваніи отечественнаго языка“, которая произвела въ свое время большое впечатлѣніе. Съ января 1847 года онъ сталъ читать въ московскомъ университетѣ въ качествѣ сторонняго преподавателя сравнительную грамматику и исторію русскаго языка, а въ 1848 защищалъ диссертацию на степень магистра: „О вліаніи христіанства на славянскій языкъ“ и назначенъ адъюнктомъ по кафедрѣ русскаго языка въ Московскомъ университетѣ. Въ 1852 году уже въ качествѣ авторитетнаго спеціалиста, онъ приглашенъ былъ (вмѣстѣ съ г. Галаховымъ) управленіемъ военно-учебныхъ заведеній для преобразованія преподаванія русскаго языка и словесности въ этихъ заведеніяхъ, составилъ съ этой цѣлью конспектъ, а затѣмъ и руководящія книги: „Историческую грамматику русскаго языка“ и „Историческую хрестоматію церковно-славянскаго и древне-русскаго языка ¹⁾“. Въ 1859 году онъ приглашенъ былъ преподавать русскій

¹⁾ На книгѣ „О преподаваніи“ мы остановимся дальше.

— „Опытъ истор. грамматики русскаго языка“, М., 1858, 2 части; со 2-го изданія, 1863, и далѣе, подъ заглавіемъ: „Историческая грамматика русскаго языка“, но безъ предисловія, гдѣ въ первомъ изданіи былъ библиографическій обзоръ пособій. Книга вызвала много разборовъ; болѣе важны: К. Аксакова, въ „Р. Бесѣдѣ“ 1859, и въ Собраніи сочин., т. II, 1875, стр. 439 — 650; П. Лавровскаго, по поводу 2-го изданія, въ „Запискахъ“ Акад. Наукъ, т. VIII, 1865; Майкова, въ „Библ. для чтенія“, 1859, № 10—12; чешскаго филолога Гаттала, въ „Часописѣ“ чешскаго Музея, 1862 и 1864; Колосова, въ „Замѣткахъ о звукахъ русскаго и старославянскаго языковъ“, Воронежъ, 1872; наконецъ въ разныхъ филологическихъ трудахъ А. А. Потебни, упомянутыхъ далѣе.

— „Историческая хрестоматія церковно-славянскаго и древне-русскаго языковъ“, М. 1861, гдѣ памятники напечатаны съ сохраненіемъ стараго правописанія и между прочимъ помѣщены памятники неизданнымъ, — но въ хронологическомъ порядкѣ рукописей. Другая книга: „Русская хрестоматія. Памятники древне-русской литера-

языкъ и литературу покойному наслѣднику цесаревичу Николаю Александровичу (съ сентября 1859 по декабрь 1860). Въ 1861 г. Вуслаевъ издалъ въ двухъ большихъ томахъ собраніе своихъ прежнихъ и новыхъ трудовъ по русской старинѣ и народности: „Историческіе очерки русской народной словесности и искусства“, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ трудовъ въ русской этнографіи и главнѣйшее произведеніе тогдашняго періода нашей науки ¹⁾. Съ шестидесятихъ годовъ г. Вуслаевъ продолжаетъ въ особенности свои работы по древнему русскому искусству, начатыя въ „Историческихъ Очеркахъ“. Таковы „Общія понятія о русской иконописи ²⁾“; таковы изданные имъ, въ Обществѣ любителей древней письменности въ Петербургѣ, образцы письма и украшеній изъ Псалтыри XV вѣка (1881), и особливо громадный трудъ по изученію лицевого, т.-е. снабженнаго картинками, стараго русскаго Апокалипсиса ³⁾. Въ 1881, г. Вуслаевъ оставилъ службу въ Московскомъ университетѣ, не прекращая, какъ сейчасъ указано, своихъ трудовъ по русской старинѣ, и въ послѣдніе годы издалъ также новыя собранія своихъ трудовъ, разбѣянныхъ по журналамъ и посвященныхъ какъ этнографіи, такъ и общимъ вопросамъ литературы и современной жизни: „Мои досуги“ (2 тома, М. 1886) и „Народная поэзія. Историческіе очерки“ (Спб. 1887).

Первая книга Ө. И. Вуслаева ⁴⁾ была первымъ русскимъ научнымъ трудомъ, построеннымъ на основаніи новѣйшаго языковѣдѣнія, и началомъ многолѣтняго поприща, о которомъ мы сейчасъ говорили. Первая часть книги посвящена дидактическимъ вопросамъ преподаванія, гдѣ авторъ желалъ освѣжить и расширить гимназическій курсъ русскаго языка указаніями филологической науки ⁵⁾. Бо-

туры и народной словесности“, М. 1870, и др. изданія, какъ и „Учебникъ русской грамматики, сближенной съ церковно-славянскою“ и пр., М. 1869, рассчитаны для цѣлей преподаванія.

¹⁾ Дальше упомянемъ о послѣдующихъ трудахъ его въ этой области. Московскій университетъ далъ тогда г. Вуслаеву степень доктора русской словесности.

²⁾ Въ „Сборникѣ Общества древне-русскаго искусства“, 1866, — гдѣ онъ былъ секретаремъ.

³⁾ Русскій лицевой Апокалипсисъ. Сводъ изображеній изъ лицевыхъ Апокалипсисовъ по русскимъ рукописямъ съ XVI вѣка по XIX, 1884, съ атласомъ изъ 308 таблицъ. Другія крупныя и мелкія работы по археологіи искусства въ „Современной Лѣтописи“, „Критическомъ Обзорѣніи“ и пр.

⁴⁾ „О преподаваніи отечественнаго языка. Сочиненіе Өедора Вуслаева, старшаго учителя 3-й московской реальной гимназіи“. М. 1844, 2 части. Второе изданіе, съ измѣненіями, М. 1867.

⁵⁾ Новѣйшіе критики находили крупныя недостатки въ этой дидактической сторовѣ книги (ст. Полевого, въ „Историч. Вѣстн.“, 1888, окт., стр. 202—204); но ошибки не такъ велики, и сущность дѣла была не въ этомъ,

лѣе любопытна и важна для исторіи нашей науки вторая часть книги, гдѣ авторъ переходитъ на филологическую почву и въ видѣ матеріаловъ для русской грамматики предлагаетъ цѣлый рядъ изслѣдованій и замѣчаній о свойствахъ, содержаніи и исторической судьбѣ русскаго языка. Сравнительное языкованіе и историческій методъ въ первый разъ примѣнены здѣсь къ русскому языку, и этимъ сдѣланъ былъ въ его изученіи шагъ впередъ, столько же важный, какъ то, что сдѣлано было въ исторіографіи трудами Кавелина и Соловьева. Въ эти годы вѣрхомъ филологическаго знанія считалась книга Павскаго („Филологическія наблюденія надъ составомъ русскаго языка“, 1841—42),—книга, дѣйствительно замѣчательная по большой наблюдательности и остроумію соображеній, но составленная по старымъ схоластико-грамматическимъ способамъ, безъ того историческаго элемента, который послѣ Гримма стаялъ неизбѣжнымъ научнымъ условіемъ въ изслѣдованіи языка. Съ появленіемъ книги г. Буслаева, „Наблюденія“ Павскаго, не говоря о другомъ грамотѣйствѣ, сразу теряли свое значеніе ¹⁾).

Г. Буслаевъ взялъ себѣ руководителемъ Гримма, и какъ замѣчаетъ онъ въ предисловіи, взялъ именно потому, что „почитаетъ его начала самыми основательными и самыми плодотворными и для науки, и для жизни“. Онъ примѣняетъ сравнительный и историческій методъ Гримма къ объясненію русскаго языка, его звуковъ и формъ, изучаетъ народную реторику и стилистику, впервые дѣлаетъ попытку „исторіи народнаго языка“ ²⁾, извлекаетъ изъ стараго и народнаго языка матеріалы для исторіи быта—военнаго, юридическаго, религіознаго, семейнаго, для опредѣленія языческаго и христіанскаго взгляда на природу; разсматриваетъ грецизмы и варваризмы въ старомъ языкѣ, наконецъ—провинціализмы или областной языкъ различныхъ краевъ Россіи.

Вторымъ замѣчательнымъ трудомъ г. Буслаева была его диссертация: „О вліяніи христіанства на славянскій языкъ“ (М. 1848). Онъ опредѣляетъ вопросъ по древнему переводу св. писанія на славянскій языкъ и по тѣмъ средствамъ, какія въ немъ употреблены для передачи неизвѣстныхъ прежде языку христіанскихъ понятій, отвлеченныхъ (религіозныхъ и нравственныхъ) и реальныхъ. Это было новое примѣненіе общихъ положеній и критическаго метода нѣмецкой науки; уже въ первомъ своемъ трудѣ авторъ показалъ близкое

¹⁾ Ср. „О прелод.“, 1-е изд. II, стр. 9.

²⁾ „Чтобы узаконить необходимость изученія народнаго языка, слѣдуетъ показать тѣсную связь нашей народной поэзіи съ древнѣйшими памятниками какъ русской литературы, такъ и прочихъ славянскихъ племенъ, и съ произведеніями новѣйшихъ писателей“. О преподаваніи, II, стр. 209—210.

знакомство съ ея литературой,—тѣмъ болѣе теперь. По сущности вопроса книга раздѣлена на двѣ части: характеристика, по языку, періода мѣологическаго, до-христіанскаго, и періода христіанскаго. Въ этомъ послѣднемъ авторъ ставитъ слѣдующіе вопросы: возведе- ніе исторіи славянскаго языка къ IV вѣку (слѣды его отыскиваются въ готскомъ переводѣ евангелія этого вѣка); отвлеченныя понятія, выраженныя славянскимъ переводомъ писанія; древнѣйшія славянскія слова, значенія чисто христіанскаго (авторъ убѣждаетъ, что еще до IX вѣка славянскій языкъ бывалъ уже органомъ понятій христіанскихъ); слова, составляющія переходъ отъ древнѣйшаго періода къ христіанскому; начало славянской грамотности, опредѣляемое готскимъ переводомъ библіи, IV вѣка; исторія понятій семейныхъ въ языкѣ; языкъ въ періодъ развитія общественныхъ отношеній изъ семейныхъ; расширение домашняго круга возрѣвній въ языкѣ; грецизмы. Сравнивая славянскій и готскій переводы писанія, г. Буслаевъ приходитъ къ выводу, что славянскій языкъ задолго до Кирилла и Меодія подвергся вліянію христіанскихъ идей; что въ то время, какъ готскій переводъ Ульфилы сохраняетъ языческія преданія для выраженія христіанскихъ идей, переводъ славянскій отличается болѣею чистотою этого выраженія вслѣдствіе отстраненія намековъ на языческій, до-христіанскій бытъ; что когда въ языкѣ готскаго перевода замѣчается болѣе развитіе государственныхъ понятій, переводъ славянскій относится къ той порѣ народной жизни, когда въ языкѣ господствовало еще во всей силѣ понятіе о семейныхъ отношеніяхъ и проч. („Положенія“). „Трудъ г. Буслаева,—писалъ послѣ Котляревскій,—имѣетъ болѣе археологически-бытовой или культурный характеръ, чѣмъ строго формально лингвистическій; нѣкоторыя стороны и вопросы его позднѣе съ болѣею точностью и опредѣлительностью разсмотрѣны Миклошичемъ (*Christliche Terminologie*), открылось много новыхъ матеріаловъ для дополненій; но въ цѣломъ изслѣдованіе г. Буслаева доселѣ не замѣнено ничѣмъ лучшимъ и остается однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ „опытовъ исторіи языка“, понимаемой не внѣшнимъ образомъ, а въ связи съ движеніемъ жизни и исторіи ¹⁾).

Общія положенія диссертациі, что исторія языка стоитъ въ тѣснѣйшей связи съ преданіями и вѣрованіями народа, что въ періодъ своего образованія языкъ носитъ на себѣ слѣды народной мѣологии, что древнѣйшія формы эпической поэзіи ведутъ начало отъ образованія самаго языка, что родство индо-европейскихъ народовъ сопро-

¹⁾ Котляревскаго, „Библиологическій опытъ о древней русской письменности“ (Изъ Филолог. Записокъ 1879—80). Воронежъ, 1881, стр. 120—124.

вождается согласіемъ ихъ повѣрій и преданій, что міеологическія преданія славянъ должны быть изучаемы въ связи съ преданіями другихъ средневѣковыхъ племенъ, особливо нѣмецкихъ, — эти положенія прямо принадлежатъ ученіямъ Гримма ¹⁾.

Диссертація г. Буслаева была въ нашей литературѣ совершенной новостью: это былъ первый опытъ примѣнить сравнительное и историческое языкованіе къ древностямъ славянскаго языка, откуда извлекалась бытовая картина такой далекой поры, на изслѣдованіе которой подобнымъ путемъ еще никогда не покушалась русская наука.

Впослѣдствіи, ученая дѣятельность г. Буслаева состояла въ дальнѣйшемъ примѣненіи этого метода къ старой русской народной словесности, быту и міеологіи. Таковы были: „Дополненія и прибавленія“ къ „Сказаніямъ“ Сахарова съ объясненіями стараго языка и народно-міеологическихъ представленій ²⁾; таковъ обширный трактатъ: „Русскія пословицы и поговорки“ ³⁾, „Русская поэзія XVII вѣка“ ⁴⁾, наконецъ, цѣлый рядъ изслѣдованій въ области русской старины, впослѣдствіи собранныхъ въ извѣстномъ изданіи ⁵⁾. Вмѣстѣ съ научнымъ методомъ, выработаннымъ по Гримму, г. Буслаевъ, по свойству своего дарованія соединилъ и другую черту, отличавшую знаменитаго нѣмецкаго ученаго: Гриммъ не только критически, но фантазіей и поэтическимъ чувствомъ возстановлялъ любимую старину; подобная черта давала привлекательность и трудамъ г. Буслаева. Онъ съ любовью раскрывалъ преданія старины, вникалъ въ ея затаенный смыслъ, собиралъ ея поэзію въ тѣхъ membra disjecta, въ которыхъ она по бѣльшей части у насъ сохранилась, и объяснял ее современному читателю.

Въ этнографическихъ изученіяхъ, совершавшихся въ послѣдніи десятилѣтія, есть одна любопытная область, по которой въ особен-

¹⁾ Въ частности, образцомъ изслѣдованія послужило (по предположенію Котлиревскаго) сочиненіе Рудольфа Раумера: *Die Einwirkung des Christenthums auf die althochdeutsche Sprache*. Stuttg. 1845, — на которое г. Буслаевъ, между прочимъ, ссылается въ своей книгѣ (стр. 124).

²⁾ „Архивъ“, Калачова. М. 1850, кн. I, отд. IV, стр. 1—48.

³⁾ „Архивъ“, II, половина вторая. М. 1854, отд. IV, стр. 1—176. Сборникъ пословицъ, здѣсь напечатанный, не былъ потомъ, къ сожалѣнію, повторенъ въ изданіи трудовъ г. Буслаева, 1861 г.

⁴⁾ „Моск. Вѣдомости“ 1852, № 52—57, и отдѣльно. М. 1852.

⁵⁾ „Историческіе очерки русской народной словесности и искусства“. Спб. 1861, 2 большихъ тома.

Отметимъ еще изъ той поры критическую статью по поводу „Филолог. наблюденій“ прот. Павскаго, въ „Отеч. Зап.“ 1852, т. LXXXI—LXXXII, двѣ статьи; объ „Извѣстіяхъ“ II Отд. Акад. и объ „Опытѣ областного великорусскаго словаря“, тамъ же, т. LXXXIII, XXXV.

ности можно судить объ успѣхѣ научнаго объясненія старины и народности, гдѣ сошлись у одной цѣли разнообразныя изслѣдованія, приведшія къ неожиданнымъ и любопытнымъ результатамъ. Это—изученіе народнаго эпоса, въ его различныхъ вѣтвяхъ и ступеняхъ.

Предметъ изученія было народное творчество, въ созданіяхъ котораго ожидали найти отголосокъ отдаленнѣйшей старины, сбереженной народною памятью до нашего времени, услѣдить формацию народнаго характера, выраженіе народнаго идеала, воплощеннаго въ образахъ эпическихъ богатырей. При нынѣшнемъ состояніи историко-филологическаго знанія, вопросъ пересталъ уже казаться столь простымъ, какъ считали прежде; его нельзя было обойти риторикой. Чтобы объяснить созданія народнаго творчества, требовались всѣ средства историко-филологической науки: нужно было исторически возстановить періодъ, въ который должно быть помѣщено содержаніе народнаго эпоса, опредѣлить источники и способы народнаго поэтическаго творчества, складъ миѳическихъ и бытовыхъ представленій, судьбу эпической пѣсни отъ ея зарожденія до позднѣйшей эпохи народной жизни. Такимъ образомъ начался пересмотръ старыхъ источниковъ, и еще болѣе раскрытіе новыхъ, указавшихъ цѣлю, прежде едва подозрѣваемую литературу нашихъ среднихъ вѣковъ; начались изслѣдованія сравнительно-филологическія, которыя впервые научно проникали въ древнѣйшія эпохи языка и быта, и давали богатые указанія о свойствахъ первобытныхъ поэтическихъ представленій; предприняты были изысканія миѳологическія; археологія должна была разъяснить черты матеріальнаго быта, формы котораго являются въ древней поэзіи; наконецъ, явилась новая теорія народнаго эпоса.

Мы видѣли выше, какъ неумѣло приступала наша старая „наука“, даже у лучшихъ ея представителей двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, къ вопросу древней народной поэзіи; какъ даже въ сороковыхъ годахъ „наука“ еще не въ силахъ была справиться съ этимъ вопросомъ и довольствовалась однимъ литературнымъ впечатлѣніемъ, не умѣя понять ни историческаго склада древняго эпоса, ни смысла его фантастическихъ созданій, ни особенностей формы. Теперь возникла для объясненія этой области цѣлая сложная наука, направленная на объясненіе древнѣйшаго періода народныхъ представленій—въ бытѣ, религіи (миѳологіи), поэзіи.

Наконецъ, давнишнее стремленіе къ уразумѣнію вопроса о народной старинѣ нашло первую прочную опору въ нѣмецкой наукѣ. Это было въ пятидесятыхъ годахъ. Съ тѣхъ поръ новое изученіе чрезвычайно расширилось и повело къ разнообразнымъ выводамъ литературнымъ, этнографическимъ и даже національно-историческимъ:

вмѣстѣ съ массой вновь открытыхъ памятниковъ народной поэзіи, явился рядъ изслѣдованій, раскрывавшихъ различныя стороны предмета и постепенно выяснявшихъ его прежде недоступныя трудности. Образовалась цѣлая литература о народномъ эпосѣ: мнѣнія распались, и возникла горячая полемика. Таковы были болѣе или менѣе извѣстные, даже въ большой публикѣ, труды: по собиранію памятниковъ народной поэзіи—Рыбникова, Гильфердинга, Якушкина, Варенцова, Безсонова, Шейна; по ея объясненію, вслѣдъ за Буслаевымъ и Аванасьевымъ, труды Ореста Миллера, Л. Майкова, Квашнина-Самарина, Стасова,—въ новѣйшее время Александра Веселовскаго, Ягича, Кирпичникова, Жданова, Колмачевскаго; наконецъ, иностранныхъ ученыхъ—Рамбо, Рольстона, Волльнера, Вестфала и проч. Вопросъ научный не преминулъ получить тенденціозную окраску. Онъ еще далеко не былъ выясненъ, однако на немъ уже строились національно-археологическія теоріи и примѣнялись къ настоящему: нашъ народный характеръ, національное предназначеніе, современныя политическія дѣла, наши общественныя направленія опредѣлялись и судились по былинамъ объ Ильѣ Муромцѣ и Добрынь Никитичѣ,—все это не безъ большихъ странностей. Наконецъ, въ популярную литературу и учебники, подъ видомъ научно несомнѣнныхъ истинъ, входили подобныя мало достовѣрныя представленія древности, окрашенные въ національно-мистическій колоритъ.

Но въ теченіе двухъ или трехъ послѣднихъ десятилѣтій въ самой наукѣ произошли однако весьма важныя перемѣны и новыя приобрѣтенія. То, что недавно принималось еще съ полной вѣрой, было значительно измѣнено, а иногда совсѣмъ подорвано новыми изслѣдованіями, — такъ что старыя положенія не могутъ быть повторены теперъ или совсѣмъ, или, по крайней мѣрѣ, безъ значительныхъ оговорокъ и исправленій. Въ этой переработкѣ прежнихъ взглядовъ наша наука сдѣлала многое самостоятельно, но не менѣе и при помощи уже не только нѣмецкой, но обще-европейской науки. Нѣмецкая школа сравнительнаго языкованія и міеологіи, на которой воспитались первые изслѣдователи нашего народнаго эпоса, въ самой Германіи развилась въ новую ступень и, въ связи съ изысканіями въ другихъ областяхъ науки, становится на иную точку зрѣнія: вопросъ о первобытныхъ временахъ изъ круга археологическаго романтизма и изъ вѣдѣнія чистой филологіи переходитъ въ область болѣе сложныхъ, нерѣдко и болѣе реальныхъ изученій, какъ антропология, исторія культурныхъ и историко-литературныхъ взаимодѣйствій. Этотъ научный переворотъ отразился и у насъ.

Въ планъ нашего труда не входитъ изложеніе частныхъ вопросовъ; мы постараемся только указать главныя направленія, въ кото-

рыхъ она двигалась, ихъ источники и параллели въ европейской наукѣ, въ которую наши изслѣдователи вносили наконецъ и свой самостоятельный вкладъ—вновь открываемаго народно-поэтического матеріала и историко-филологической критики.

Мы говорили выше, что еще съ половины сороковыхъ годовъ г. Буслаевъ принималъ ученіе Гримма, какъ руководство не только въ наукѣ, но и *въ жизни* ¹⁾. Это было чрезвычайно характерно, потому что Гриммовскій приемъ заключалъ въ себѣ не только научную теорію, но и нравственно-общественное направленіе. Замѣчаніе г. Буслаева показывало, что онъ именно понялъ или почувствовалъ это;

¹⁾ Послѣ „Историческихъ очерковъ русской народной словесности и искусства“ слѣдовалъ рядъ новыхъ статей г. Буслаева по объясненію русской народной поэзіи и по общему вопросу:

— „Русскіе духовные стихи“, по поводу сборника духовныхъ стиховъ Варенцова и „Каликъ переходихъ“ Безсонова, въ „Русской Рѣчи“, 1861, и отдельной брошюрой.

— „Русскій богатырскій эпосъ“ (по поводу изданія пѣсенъ Рыбникова, ч. 1—2, и пѣсенъ Карѣвскаго, вып. 1—4) въ „Русск. Вѣстникѣ“, 1862, № 3, 9, 10.

— „Слѣды русскаго богатырскаго эпоса въ мифическихъ представленіяхъ индо-европейскихъ племенъ“, въ Филологическихъ Запискахъ, 1862—63, вып. 2—3.

— „Сравнительное изученіе народнаго быта и поэзіи“, въ „Русск. Вѣстникѣ“, 1872, № 10; 1873, № 1, 4.

— „Догадки и мечтанія о первобытномъ человѣчествѣ“,—по поводу книги Каспари, Die Urgeschichte der Menschheit, 1873, въ „Русск. Вѣстникѣ“, 1873, № 10.

— „Клинообразныя надписи Ахеменидовъ, въ изданіи проф. К. А. Коссовича“ (1872), тамъ же, 1873, № 12.

— „Странствующіе повѣсти и рассказы“, тамъ же, 1874, № 4—5.

— Разборъ сочиненія Стасова: „Происхожденіе русскихъ былинъ“, въ Отчетѣ о 12-мъ присужденіи Уваровскихъ наградъ, 1870.

— Разборъ книги Ор. Миллера объ Ильѣ-Муромцѣ въ „Журн. Мин. Просв.“ 1871, апрѣль, и въ Отчетѣ о 14-мъ присужденіи Увар. наградъ, 1872.

— Разборъ сочиненія А. Веселовскаго, въ Отчетѣ о 16-мъ присужденіи, 1874.

— „О значеніи современнаго романа и его задачахъ“. Москва, 1877. (Изъ Газеты А. Гатцука,—брошюра).

— Разборъ книги Виоле-ле-Дюка о русскомъ искусствѣ (переведенной Н. Султановымъ, М. 1879), въ „Критическомъ Обзорѣнн“, 1879, № 2, 5.

— Изъ новѣйшихъ изданій г. Буслаева, „Моя досуги. Собранныя изъ періодическихъ изданій мелкія сочиненія“ (М. 1886, двѣ части) представляютъ собраніе статей изъ путешествій на западъ и очерковъ изъ исторіи литературы и искусства. Въ книгѣ „Народная поэзія. Историческіе очерки“ (Спб. 1887) собраны статьи, писанныя въ 1861—1871 годахъ, а именно: „Русскій богатырскій эпосъ“, 1862; „Слѣды славянскихъ эпическихъ преданій въ нѣмецкой мифологіи“, 1862; „Бытовое слои русскаго эпоса“, 1871; „Пѣсня о Роландѣ“, 1864; „Испанскій народный эпосъ о Сидѣ“, 1864; „Русскіе духовные стихи“, 1861. Статьи повторены здѣсь лишь съ небольшими измѣненіями.

и дѣйствительно, не нужно большихъ сличеній, чтобы въ томъ и другомъ увидѣть близкое согласіе обоихъ писателей. Но скажемъ впередъ, что это вовсе не было только подражаніе, повтореніе мнѣній учителя. Нашъ ученый принялъ, правда, готовыми многія изъ положеній нѣмецкаго авторитета—считая ихъ научно установленными; но часто тѣсное совпаденіе нашего изслѣдователя съ знаменитымъ дѣятелемъ германской науки имѣло болѣе глубокую причину. А именно—для нашего общественнаго образованія пришла пора переживать то настроеніе, которое выразилось въ дѣятельности научно-романтической школы Гримма и его спутниковъ. Чисто литературныя вліянія нѣмецкаго романтизма дошли до насъ гораздо раньше—со времени Жуковскаго; но собственно этнографическая наука наша съ двадцатыхъ по сороковые года едва подозрѣвала о существованіи Гриммовой школы, — уже десятками лѣтъ дѣйствовавшей въ Германіи ¹⁾; наша этнографія и народная археологія въ ту пору все еще были въ рукахъ самоучекъ, какъ Сахаровъ или Даль, и даже люди ученые, какъ Надеждинъ, Максимовичъ и пр., не проходили правильной филологической школы. Наконецъ, къ намъ стали проникать и эти изученія: школа Гримма занимала столь господствующее положеніе въ наукѣ, что миновать ее было невозможно; она должна была оказать свое дѣйствіе и у насъ. Нашей этнографической археологіи именно не доставало научнаго смысла (вспомнимъ грубыя нелѣпости Сахарова, и даже гораздо болѣе разумное эмпирическое собраніе Снегирева); а затѣмъ доставало историческаго, а также *нравственно* освѣщенія тѣхъ сочувствій къ народному преданію, которыя успѣли уже развиться въ обществѣ до сильно распространеннаго интереса къ этнографіи и археологіи. За неимѣніемъ научной и гуманитарной подкладки, это стремленіе къ народности принимало, какъ мы видѣли, самыя фальшивыя выраженія и примѣненія, начиная отъ каразинской чувствительности, соединявшей идиллію съ защитой крѣпостного права, до официальной народности, видѣвшей существо народнаго духа, между прочимъ, въ томъ же крѣпостномъ рабствѣ, до Сахаровской ненависти ко всему чужеземному, до фантазій Морозкина и Савельева-Ростиславича, до мнимо-народнаго прибаутчнаго стили въ литературѣ, до вражды къ образованію—потому что оно европейское... Писатели прогрессивнаго направленія (Бѣлинскій, Герценъ, Грановскій, Тургеневъ и пр.) отвергали это извращеніе „народности“, которое было имъ слишкомъ очевидно; но прогрессивная школа всѣ свои силы полагала на вопросы современной

¹⁾ Труды Якова Гримма начинаются еще въ первомъ десятилѣтіи нашего вѣка. Въ двадцатыхъ годахъ онъ былъ уже знаменитый ученый.

общественности и просвѣщенія: народный вопросъ былъ близокъ и дорогъ ея чувству и убѣжденію какъ вопросъ нравственно-соціальный, но къ народной старинѣ она относилась равнодушно, какъ къ пережитому прошедшему; въ современной жизни народа видѣла бѣдствія несвободы и невѣжества и искала для нея освобожденія и школы; народъ былъ для нея богатая, много общающая, но стихійная сила, ждущая сознанія,—далекое прошедшее едва ли имѣло не одну отрицательную назидательность. Съ другой стороны, славянофильство было перетоненной, полу-мистической отвлеченностью, которая бывала далека отъ непосредственной дѣйствительности и могла быть даже эксплуатируема обскурантами. Таковы были условія. Естественно было логически искать исхода изъ этихъ различно неудовлетворяющихъ точекъ зрѣнія на народность, и когда въ противоположность всѣмъ этимъ крайностямъ или недоразумѣніямъ являлась Гриммовская теорія — вооруженная научной силой, глубокимъ проникновеніемъ въ недоступныя ранѣе области старины и народной жизни, сознательнымъ возвеличеніемъ народно-поэтическаго содержанія, теплымъ отношеніемъ къ народу какъ носителю этого содержанія,—эта теорія нашла отголосокъ и въ нашей литературѣ. Она была нужна здѣсь, какъ научная основа для истолкованія народности и не могла не встрѣтить сочувствія въ людяхъ, у которыхъ научная приготовленность къ ея усвоенію соединялась съ такимъ же любящимъ отношеніемъ къ народу, съ умѣньемъ понимать и одушевленно воспроизводить поэтическія стороны народнаго преданія, часто скрытыя отъ обыкновеннаго глаза. Такой отвѣтъ съ русской стороны на ученіе Гримма и поданъ былъ всего болѣе г. Буслаевымъ.

Это была такимъ образомъ своеобразная точка зрѣнія, отличающаяся отъ обычныхъ тогдашнихъ направленій, и въ особенности совсѣмъ не похожая на мнимо-народныя тенденціи во вкусѣ „Маяка“ и официальной народности. Нечего говорить, что для ученаго, хорошо подготовленнаго, какъ г. Буслаевъ, съ чувствомъ поэческаго достоинства и изящества, не могли быть сочувственны тѣ уродливыя проявленія, какими выражалось всего чаще тогдашнее народничество,—они должны были представляться ему просто грубо фальшивыми. Но г. Буслаевъ остался чуждъ и обоимъ господствовавшимъ тогда лагерямъ. Прогрессивная школа, какъ мы сказали, видѣла народный вопросъ только съ его соціальной стороны; г. Буслаевъ, напротивъ, совсѣмъ не касавшійся этой стороны, негодовалъ на отсутствіе пониманія того нравственно-поэческаго содержанія, какимъ по его взгляду исполнена была народная старина и поэзія. По всей видимости, г. Буслаеву была и вообще чужда литературная школа

сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, главнымъ представителемъ которой былъ Тургеневъ, школа, посвящавшая свой трудъ изображенію различныхъ отношеній культурнаго „общества“ и оказавшая самому дѣлу пониманія народности несомнѣнную и великую услугу—но въ глазахъ нашего поэта-археолога виновная отсутствіемъ того идеалистическаго отношенія къ народу, какое внушала новая теорія. Это былъ цѣлый взглядъ, цѣлое направленіе вкуса, которые не ограничивались конечно одной русской литературой. Это теоретическое нерасположеніе простиралось у г. Буслаева вообще на ту новую литературу, которая съ эпохи Возрожденія порвала средневѣковую традицію, потеряла связь съ народными элементами поэзіи и, связавъ себя классическимъ преданіемъ, развивалась въ искусственныхъ формахъ: съ Петровской реформы сюда же примкнула и русская литература, черезъ край напитанная чужими вліяніями и забывшая свою старину. Столько же или, можетъ быть, еще болѣе несочувственно было г. Буслаеву другое изъ тогдашнихъ направленій: славянофильство не разъ вызывало его жесткій отпоръ; при всемъ увлеченіи народностью, онъ не дѣлилъ славянофильскихъ теорій, потому вѣроятно, что видѣлъ въ нихъ доктринерство, воспитанное опять на чужой почвѣ и навязывающее народности несвойственныя ей качества. Собственный взглядъ г. Буслаева—по спорнымъ вопросамъ подобнаго рода, волновавшимъ тогда литературу—обыкновенно высказывался только эпизодически, при случаѣ; и иной разъ бывало даже нѣсколько неясно, куда же простираются его несогласія съ направленіемъ прогрессивнымъ и гдѣ отличіе его возвеличеній народности отъ славянофильскихъ. Впослѣдствіи, эта особенность его особой точки зрѣнія стала виднѣе: г. Буслаевъ, какъ человекъ науки, не былъ врагомъ свободной критики и не былъ полу-слѣпымъ приверженцемъ московскихъ преданій; его идеаломъ была свободная жизнь народности, согрѣтая возвышеннымъ поэтическимъ преданіемъ старины.

Такимъ образомъ, ученіе, которое излагалъ у насъ г. Буслаевъ, вступало въ литературу совсѣмъ особеннымъ и исторически необходимымъ элементомъ. Для того, чтобы новѣйшія народныя стремленія приобрѣли свою логическую и нравственную полноту, нужно было, чтобы въ точкѣ зрѣнія прогрессистскаго круга, ставившей по преимуществу вопросъ только о социальномъ положеніи народа, присоединилось стремленіе проникнуть въ его внутреннюю жизнь и исторію, въ смыслъ его преданій, въ задушевныя тайны его поэзіи. Для этого послѣдняго нужны были не только средства новѣйшаго научнаго анализа, но и любящее отношеніе къ простымъ созданіямъ народа, способность поэтическаго воспроизведенія далекихъ временъ и найважнаго міросозерцанія, продолжающееся присутствіе котораго въ совре-

менномъ складѣ народныхъ понятій и есть одна изъ преградъ, дѣлающихъ народъ отъ „общества“. Въ сочиненіяхъ г. Буслаева и сказались эти черты — обладаніе приемами нѣмецкой филологической науки, помогавшими дешифровать затемнившійся и забытый смыслъ народнаго преданія, и то, совсѣмъ новое у насъ отношеніе къ народности, гдѣ не только не допускалась мысль о „снисхожденіи“ къ грубости народныхъ понятій и поэзіи, но требовалось къ нимъ высокое уваженіе, гдѣ произведенія народной поэзіи излагались и комментировались съ такимъ же признаніемъ ихъ достоинства, какое привыкли отдавать лучшимъ произведеніямъ искусственной литературы, и съ неменьшимъ, если еще (не бѣдшимъ) сочувствіемъ указывались высокія нравственныя начала, лежащія въ ихъ основѣ, и особенности ихъ поэтическаго стиля, съ живой образностью котораго искусственная поэзія не можетъ и равняться. Г. Буслаевъ умѣлъ дѣйствительно раскрывать привлекательныя стороны народно-поэтическихъ созданій, какъ до того времени не было еще дѣлано въ нашей литературѣ. Установленіе этого новаго отношенія къ народной старинѣ и поэзіи—кромѣ многихъ, въ специально-научномъ отношеніи важныхъ изслѣдованій, — составляетъ капитальную заслугу г. Буслаева, которая должна быть высоко оцѣнена въ исторіи изученій русской народности.

Въ чемъ же состояла сущность его взглядовъ на народную старину и ея отношеніе къ развитію литературы? Мы можемъ только немногими выдержками указать, или напомнить, читателю основныя мысли, внесенныя г. Буслаевымъ въ наше историко-литературное достояніе и открывавшія новый періодъ въ истолкованіи народнаго преданія.

„Въ самую раннюю эпоху своего бытія народъ имѣетъ уже *всѣ* главнѣйшія основы своей національности въ языкѣ и мѣологіи, которыя состоятъ въ тѣснѣйшей связи съ поэзіею, правомъ, съ обычаями и нравами—такъ начинается г. Буслаевъ свои „Историческіе Очерки“.—Народъ не помнитъ, чтобъ когда-нибудь изобрѣлъ онъ свою мѣологію, свой языкъ, свои законы, обычай и обряды. Всѣ эти національныя основы уже глубоко вошли въ его нравственное бытіе, какъ самая жизнь, пережитая имъ въ теченіе многихъ до-историческихъ вѣковъ, какъ прошедшее, на которомъ твердо покоится настоящій порядокъ вещей и все *будущее развитіе* жизни. Потому всѣ нравственныя идеи для народа эпохи первобытной составляютъ его священное преданіе, великую родную старину, святой завѣтъ предковъ потомкамъ.

„Слово есть главное и самое естественное орудіе преданія. Къ нему, какъ къ средоточію, сходятся всѣ тончайшія нити родной старины, все великое и святое, все, чѣмъ крѣпится нравственная жизнь народа.

„Начало поэтическаго творчества теряется въ темной, до-исторической глубинѣ, когда создается самый языкъ, и происхожденіе языка есть первая

самая рѣшительная и блистательная попытка человѣческаго творчества. Слово — не условный знакъ для выраженія мысли, но художественный образъ, вызванный живѣйшимъ ощущеніемъ, которое природа и жизнь въ человѣкѣ возбуждали. Творчество народной фантазіи непосредственно переходитъ отъ языка къ поэзіи. Религія есть та господствующая сила, которая даетъ самый рѣшительный толчекъ этому творчеству, и древнѣйшіе міеы, сопровождаемые обрядами, стоятъ на пути совиданія языка и поэзіи, объемлющей въ себѣ всѣ духовные интересы народа“... (Т. I, стр. 1—2).

„Въ образованіи и строеніи языка оказывается не личное мышленіе одного человѣка, а творчество цѣлаго народа. По мѣрѣ образованія народъ все болѣе и болѣе нарушаетъ нераздѣльное сочетаніе слова съ мыслью, становится выше слова, употребляетъ его только какъ орудіе для передачи мысли и часто придаетъ ему иное значеніе, не столько соответствующее грамматическому его корню, сколько степени умственного и нравственного образованія своего. Вся область мышленія нашихъ предковъ ограничивалась языкомъ. Онъ былъ не внѣшнимъ только выраженіемъ, а существенною составною частью той нераздѣльной нравственной дѣятельности цѣлаго народа, въ которой каждое лицо хотя и принимаетъ живое участіе, но не выступаетъ еще изъ сплошной массы цѣлаго народа. Тою же силою, какою творился языкъ, образовались и міеы народа, и его поэзія. Собственное имя города или какого-нибудь урочища приводило на память цѣлую сказку, сказка основывалась на преданіи, частью историческомъ, частью міеическомъ; міеы одѣвались въ поэтическую форму пѣсни... Все шло своимъ чередомъ, какъ заведено было испоконъ вѣку; та же рассказывалась сказка, та же пѣлась пѣсня и тѣми же словами, потому что изъ пѣсни слова не выкинешь; даже минутныя движенія сердца, радость и горе выражались не столько личнымъ порывомъ страсти, сколько обычными изліяніями чувства — на свадьбѣ въ пѣсняхъ свадебныхъ, на похоронахъ въ причитаньяхъ, однажды навсегда сложенныхъ въ старину незапамятную и всегда повторявшихся почти безъ перемѣнъ. Отдѣльной личности не было исхода изъ такого замкнутого круга.

„Языкъ такъ сильно проникнуть стариною, что даже отдѣльное реченіе могло возбуждать въ фантазіи народа цѣлый рядъ представленій, въ которыя онъ облакалъ свои понятія. Потому внѣшняя форма была существенной частью эпической мысли, съ которой стояла она въ такомъ нераздѣльномъ единствѣ, что даже возникала и образовывалась въ одно и тоже время. Составленіе отдѣльнаго слова зависѣло отъ повѣрья, и повѣрье, въ свою очередь, поддерживалось словомъ, которому оно давало первоначальное происхожденіе. Столь очевидной совершеннѣйшей гармоніи идеи съ формою исторія литературы нигдѣ болѣе указать не можеть...“ (Тамъ же, стр. 6—7).

Эта старина и привлекала автора интересомъ первобытнаго умственного и поэтическаго творчества, цѣлностью быта и общенароднаго міровоззрѣнія, выражавшейся въ той *поэзіи*, которая одна была дѣйствительно *народной*, создавалась всѣми и каждымъ, заключала общія, всѣми испытанныя и провѣренныя мысли, чувства и поэтическія представленія. Позднѣйшая письменная литература составляетъ явленіе совсѣмъ иного порядка: въ ней уже нѣтъ привлекательной цѣлности общенароднаго творчества; это уже дѣло личнаго знанія и таланта; она разнообразнѣе, но и произвольнѣе; движеніе ея слож-

нѣе,—но чтобы изучать ея развитіе и смыслъ, необходимо обращаться къ источникамъ и началамъ.

Основнымъ выраженіемъ старины было эпическое творчество. При его наблюденіи, бросалось въ глаза прежде всего совершенное различіе народнаго эпоса отъ той искусственной эпопеи, которая распространилась въ новѣйшихъ европейскихъ литературахъ вслѣдствіе псевдо-классическаго подражанія и считалась прежде настоящимъ эпосомъ: не было ничего общаго между этой искусственной формой, наполненной произволомъ личной фантазіи, и тѣмъ естественнымъ созданіемъ народа, гдѣ въ освящаемыхъ преданіемъ образахъ сложились миѳическія и героическія связанія. Этотъ народный эпосъ былъ созданіемъ долгихъ вѣковъ, созданіемъ, которое хранилось и лелѣлось цѣлымъ народомъ; въ немъ нѣтъ мѣста произволу и вмѣстѣ чему-нибудь ложному и безнравственному, что такъ легко проникаетъ въ произведенія литературы искусственной,—потому что здѣсь, въ народной поэзи, все личное и ложное отбрасывается общенароднымъ инстинктомъ добра и правды; самое зло является въ эпосѣ какъ порожденіе темныхъ силъ. Авторъ приводитъ замѣчаніе братьевъ Гриммовъ—первыхъ знатоковъ народной эпической поэзи, —что имъ не случилось въ ни одной народной пѣснѣ найти ничего ложнаго, никакого обмана ¹⁾).

Это эпическое мировоззрѣніе, и особенности эпической поэзи по содержанію и формѣ, составляли одинъ изъ любимыхъ предметовъ объясненій автора. Смыслъ этого особеннаго интереса заключался именно въ высокой оцѣнкѣ творчества всенароднаго по содержанію, всѣмъ понятнаго и близкаго, наивнаго, но нравственно чистаго и возвышеннаго, хранящаго исконное народное мировоззрѣніе и поэтическій характеръ, по формѣ богатаго непосредственными красотоми народнаго рѣчи, образностью выраженія: это было общенародное достояніе, въ которомъ былъ залогъ народнаго личнаго и единства.

По убѣжденію автора,—совершенно справедливому,—этотъ міръ народнаго творчества, до тѣхъ поръ мало или совсѣмъ не сознаваемый или грубо объясняемый, долженъ былъ наконецъ войти въ кругъ понятій общества и занять въ литературныхъ идеяхъ подобающее мѣсто. Мы приведемъ еще, изъ числа многихъ, одинъ образчикъ взглядовъ автора.

„Теоретическое изученіе литературы и искусствъ состоитъ въ тѣснѣйшей связи и во взаимномъ вліяніи не только съ практическою художественною дѣятельностію своей эпохи, но и вообще *съ господствующими идеями, со всѣмъ умственнымъ и нравственнымъ, общественнымъ и политическимъ направленіемъ*

¹⁾ Истор. Очерки, I, стр. 56 и далѣе.

и, конечно, никогда не чувствовалась эта связь так живо, какъ въ настоящее время. При благотворномъ вліаніи христіанскаго просвѣщенія, въ теченіе вѣковъ выработалось наконецъ то всеобъемлющее, безпредѣльное *чувство цело-тѣколюбія*, которое всѣмъ и каждому внушаетъ *уваженіе и любовь къ массамъ народнымъ* и на пользу этихъ послѣднихъ вызываетъ къ множеству гениальныхъ открытій и великодушныхъ предпріятій, которыми становится знаменито наше время. Этому господствующему направленію вполне соответствуетъ, въ теоретическомъ изученіи литературы и искусствъ, блистательная разработка народныхъ поэтическихъ элементовъ. Лучше всего убѣждаетъ насъ въ этомъ Германія, эта классическая страна учености. Какъ глѣтъ за двадцать пять тому назадъ теорія словесности и искусства была загромождена кучами всевозможныхъ нѣмецкихъ учебниковъ и изслѣдованій эстетическихъ, пѣтическихъ, стилистическихъ; такъ въ настоящее время непрестанно выдаются тамъ сборники народныхъ пѣсенъ, сказокъ, повѣствованій, а также памятники средневѣковой литературы, съ комментаріями и словарями, разрабатывается народная мѣология, исторія нравовъ, обычаевъ и вообще всего народнаго быта.

„Каковы бы ни были теоретическія погрѣшности курсовъ словесности, процвѣтавшихъ въ нашихъ университетахъ глѣтъ пятнадцать тому назадъ ¹⁾ и основанныхъ на Шлегелѣ, Вильменѣ, Сисмонди и на нѣкоторыхъ скудныхъ результатахъ философіи искусства,—главнѣйшій и существеннѣйшій недостатокъ этихъ курсовъ состоитъ въ томъ, что они отвлекали здоровыя и свѣжія силы учащащихся отъ благотворнаго изслѣдованія фактовъ; вмѣсто самостоятельнаго изученія предметовъ науки, давали безжизненные формулы философскія и, полагая философскими возрѣніями расширять свободный кругъ мышленія, только сковывали мысль, насильственно налагая на нее готовые формулы какой-нибудь эстетической теоріи. Но самое злое и вредное въ этихъ эстетическихъ руководствахъ было, такъ сказать *аристократическое* ихъ направленіе. Не только съ точки зрѣнія эстетической, но и исторической, изслѣдователь обращался только къ свѣтиламъ литературы и искусства, и именно къ свѣтиламъ первой величины: выставлялъ великія достоинства Данта и Шекспира, Ломоносова и Державина, и съ высоты своего эстетическаго трибунала,—воруженный мнимо безпристрастною критикою,—величаво раздавалъ мелкія награды прочимъ писателямъ, которыхъ удостоивалъ своей эстетической оцѣнки. Что за дѣло было такому выпренному критику до нашихъ народныхъ пѣсенъ, оскорблявшихъ его утонченный вкусъ, воспитанный въ аристократической обстановкѣ такъ-называемыхъ образцовыхъ академическихъ произведеній? Что за дѣло было ему до нашихъ старинныхъ сборниковъ XV, XVI и XVII в., наполненныхъ поученіями и повѣствованіями на латинскомъ болгаро-русскомъ и польско-русскомъ языкѣ, наполненныхъ сочиненіями, которыя, можетъ быть, вполне удовлетворяли нашихъ грубыхъ предковъ, но къ которымъ нельзя было приложить формулы объ отношеніи художественной идеи къ формѣ, опредѣляемой законами его эстетики? — И такіе теоретич. критики не только не хотѣли знать нашей письменной старины и народности, но и на самомъ дѣлѣ не знали ни той, ни другой, и своими выпренными взглядами, становясь будто-бы выше нашей старины и народности, только возбуждали къ той и другой презрѣніе, приведшее къ вредному предразсудку, довольно распространенному еще и теперь, будто можно составить себѣ вѣрное понятіе объ исторіи русской литературы на изученіи позднѣйшихъ писателей, начиная отъ Кантемпра или

¹⁾ Разумѣются тридцатые и сороковые года.

Ломоносова, безъ основательнаго знанія нашей древней литературы и безъ живѣйшаго сочувствія къ народной словесности.

„Между тѣмъ, изученіе собственно народной словесности, т.-е. пѣсенъ, сказокъ, народныхъ преданій и повѣстей, и другихъ такъ-называемыхъ *народныхъ книгъ*, это благотворное изученіе, которымъ современная наука преимущественно обязана энергической гениальной дѣятельности Я. Гримма и его многочисленныхъ послѣдователей, дало новое направленіе изслѣдователямъ исторіи литературы и расширило ихъ возрѣніе...

„Хотя на западѣ уже много сдѣлано для изученія старины и народности, несравненно больше чѣмъ у насъ; но постоянно открываемые и издаваемые памятники литературы и искусства въ Германіи, Франціи и другихъ европейскихъ странахъ, эта энергическая и дружно стремящаяся впередъ литературная и ученая дѣятельность къ изслѣдованію современныхъ основъ національности,—приготовляетъ блистательную будущность историческому изученію...

„Подъ кажущейся сухою положительностью этихъ непрестанныхъ изданій старинныхъ и народныхъ памятниковъ литературы и искусства, болѣе внимательный взглядъ не можетъ не замѣтить ихъ высокаго значенія для успѣховъ просвѣщенія, не можетъ не открыть зародышей для правильнаго развитія философской, эстетической мысли на твердыхъ основахъ.

„Литература и искусство служатъ только виѣшнимъ выраженіемъ духовныхъ отправленій жизни народной. Въ прежнее время, останавливаясь только на гениальныхъ личностяхъ въ исторіи художественнаго и литературнаго развитія, думали въ этихъ личностяхъ, такъ сказать, подслушать отвѣты на задуманные вопросы той эпохи, къ которой каждая изъ гениальныхъ личностей принадлежитъ. Теперь не довольствуются такимъ привилегированнымъ положеніемъ гения, отвѣтствующаго на вопросы своей эпохи; думаютъ, что трудно и даже невозможно бываетъ понять этого гениальнаго отвѣта безъ всесторонняго, подробнѣйшаго изученія самыхъ вопросовъ, которые предложены были ему эпохою. И вотъ — около прославленнаго гениальнаго имени изучаемой эпохи скопляется цѣлый рядъ произведеній, правда—не столько знаменитыхъ, не столь превознесенныхъ эстетическою критикою, но столько же исполненныхъ живнѣннаго интереса, чаяній и ожиданій, вполне характеризующихъ господствующее настроеніе дѣльхъ народныхъ массъ... Аристократизмъ гениальной личности уступаетъ мѣсто, въ своемъ нравственномъ значеніи, высокому, гуманному достоинству духовныхъ стремленій дѣлой эпохи; нечувствительно вносится онъ въ широкій потокъ духовной жизни *цѣлаго народа*; онъ низводится, такимъ образомъ, до своихъ коренныхъ, *народныхъ основъ* и, слѣдовательно, сглаживаетъ съ себя феодальный характеръ исключительнаго превосходства.

„Едва-ли нужно доказывать, какъ много обязанъ своимъ происхожденіемъ такой широкой, безпристрастный взглядъ на литературу—разработкѣ собственно такъ-называемой *народной безыскусственной словесности*, живущей въ устахъ простаго народа. Именно, эта словесность стоитъ виѣ всякой личной исключительности, есть по преимуществу слово цѣлаго народа, *мась народа*—какъ выражается известная пословица, есть *эпосъ* (то-есть, слово)—какъ она называется въ эстетикахъ, хотя и не умѣвшихъ оцѣнить великаго ея значенія“... (Т. I, стр. 401—405).

Эти народные изученія вносили въ науку новый элементъ, новую область, которой по незнанію не давала мѣста прежняя исторія литературы и эстетика; между тѣмъ значеніе этой новой области —

столь обширное и основное, что исторія литературы и теорія поэзіи и искусства теряли без нея научный смысл,—и имъ такимъ образомъ предстояло полное преобразование...

Съ такимъ широкимъ взглядомъ на предметъ г. Буслаевъ приступалъ къ объясненію народной словесности русской, и довольно припомнить характеръ нашихъ историко-литературныхъ изученій въ концу сороковыхъ и началу пятидесятихъ годовъ, чтобы видѣть, что этотъ взглядъ теперь впервые высказывался въ нашей литературѣ. Читатель замѣтилъ безъ сомнѣнія, что въ словахъ г. Буслаева относилось и къ русской исторіи литературы и эстетики того времени: это было осужденіе философскихъ эстетиковъ 30-хъ годовъ и критики Бѣлинскаго. Какъ *историческая* оцѣнка, это осужденіе не было вполне справедливо. И философія 30-хъ годовъ и въ особенности критика Бѣлинскаго были необходимымъ и благотворнымъ шагомъ впередъ въ ходѣ нашихъ общественно-литературныхъ понятій. До нихъ, въ нашей литературѣ и *совсѣмъ не было* никакихъ прочныхъ теоретическихъ понятій о значеніи поэзіи, никакого сознательнаго отношенія къ общественному смыслу литературы или (въ огромномъ большинствѣ) достаточно развитого вкуса къ ея художественнымъ достоинствамъ. Нѣтъ сомнѣнія, что безъ школы Бѣлинскаго самые взгляды г. Буслаева не имѣли бы почвы въ нашей литературѣ: въ положеніяхъ этой школы могъ быть пробѣлъ, но въ нихъ была твердая теоретическая подкладка. Новые результаты историко-филологической критики были возможны только при посредствѣ этихъ предшествовавшихъ ступеней: самая мысль о необходимости народнаго элемента въ нашей литературѣ всего больше подготовлена была внутреннимъ смысломъ критики Бѣлинскаго. Но затѣмъ взглядъ, проводимый г. Буслаевымъ, открывалъ новыя стороны вопроса и долженъ былъ многое исправить, или указать вновь въ нашей старинѣ и въ пониманіи современной народности.

Мы видѣли выше, что, начиная съ прошлаго вѣка, изученія народности съ каждымъ поколѣніемъ все возрастали въ объемѣ и важности,—такъ что новое возвеличеніе народности являлось послѣдовательнымъ завершеніемъ давнихъ стремленій. Но въ то же время это было опять однимъ изъ самыхъ яркихъ проявленій вліянія европейской, и тогда особливо нѣмецкой, науки. Въ сущности, возвеличеніе русской народной поэзіи было, въ его научной сторонѣ, прирѣненіемъ открытій германской учености. Дѣйствительно, при первомъ сличеніи не трудно увидѣть, что какъ ни глубоко былъ проникнутъ г. Буслаевъ любовью къ народному міру, сколько ни положилъ онъ внимательнаго и самостоятельнаго труда, остроумія и по-

этической отгадки на изучение русской старины, руководящая основа его изысканий лежала въ „гѣніальныхъ открытіяхъ“ Гримма.

Главные труды Гримма были совершены задолго до того, когда они стали этой оживляющей силой для русскихъ изученій¹⁾. Взгляды Гримма на народность и старину коренились въ нѣмецкомъ національномъ движеніи начала столѣтія, приготавлившемся давно и тогда особенно возбужденномъ бѣдствіями Германіи въ Наполеоновскія войны. Это была пора процвѣтанія романтизма; но въ то время какъ литературный романтизмъ, бросаясь въ средніе вѣка—„назадъ“, „домой“—превращался въ туманную мистику или даже въ узкую, крайне непривлекательную реакціонную тенденцію, Гриммъ остался вѣрнѣе лучшимъ стремленіямъ національной идеи. Взглядъ его былъ въ сущности романтической, — но, поддержанный научнымъ знаніемъ, личнымъ характеромъ и дарованіемъ, выросъ въ возвышенное поэтическое воссозданіе древности, которая представилась ему какъ пора неиспорченнаго дѣтства и отрочества народовъ, исполненная чувства природы, нравственной чистоты и непосредственности, богатаго творчества фантазій, оживленная и выраженная общенародною поэзіей. Громадная начитанность въ средневѣковыхъ памятникахъ нѣмецкаго и всѣхъ другихъ европейскихъ народовъ, историческое и сравнительно-филологическое изученіе языка дали Гримму возможность произвести грандіозную реставрацію средневѣковой старины—въ языкѣ, юридическомъ бытѣ, религіи (миѳологіи), поэзій. Средневѣковый міръ предсталъ въ его трудахъ въ яркой поэтически-окрашенной картинѣ, своеобразнымъ и величавымъ,—и это изображеніе среднихъ вѣковъ и ихъ отраженія въ бережно хранимыхъ преданіяхъ современнаго народа произвело сильное впечатлѣніе, которое отозвалось и у насъ.

¹⁾ Именно: *Kinder- und Haus-Märchen* вышли въ 1812 — 15, *Deutsche Grammatik*—1819, *Deutsche Rechtsalterthümer*—1828, *Reinhart Fuchs*—1834, *Deutsche Mythologie* — 1835 (2-е изданіе 1844), *Geschichte der deutschen Sprache* — 1848, *Deutsches Wörterbuch* (начало) — 1852. Его частныя изслѣдованія, разсыяны въ журналахъ и разныхъ изданіяхъ почти съ начала столѣтія (1807), собраны въ *Kleinere Schriften*, 1864 и слѣд.

О жизни и трудахъ Гримма: — его собственныя автобіографическія статьи: *Selbstbiographie*, *Ueber meine Entlassung*, *Rede auf Wilhelm Grimm*, *Rede über das Alter* (въ *Kleinere Schriften*, т. I); *darf*:—*Die Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm, ihr Leben und Wirken. Ein Vortrag, gehalten von Oberlehrer, Dr. B. Denhard. Hanaу, 1860*;—*Zum Gedächtniss an Jacob Grimm. Von Georg Waitz. Göttingen, 1863*;—*Les Frères Grimm, leur vie et leurs travaux, par Fréd. Baudry. Paris, 1864*;—*Die Brüder Grimm, von Julian Schmidt* (въ *Deutsche Rundschau*, 1881, Januar); — въ исторіяхъ нѣмецкой новой литературы Юл. Шмидта и Геттнера; но особенно въ *Geschichte der Germanischen Philologie*, Рудольфа Раумера, Münch. 1870 (стр. 378—452, 495—540, 632—658) и въ книжкѣ: *Jacob Grimm, von Wilh. Scherer. Berl. 1865*.

Уже при самомъ началѣ его трудовъ, при первыхъ приступахъ къ изученію народной древности и ея уцѣлѣвшихъ донинѣ остатковъ, у Гримма составилось высокое представленіе о достоинствѣ народнаго преданія. Онъ приобрѣлъ убѣжденіе о несравненномъ превосходствѣ первобытной народной поэзіи, превосходствѣ, которое могло быть ограничено только отрывочностью преданія¹⁾. Уже въ то время онъ выяснилъ себѣ понятіе о народномъ эпосѣ²⁾, вѣрно указывалъ его сущность и заложилъ прочное основаніе дальнѣйшихъ изслѣдованій, которыя были сдѣланы послѣ имъ самимъ и его школой. Гриммъ былъ увѣренъ, что народное сказаніе всегда истинно, всегда въ основѣ его лежитъ поэтическая и нравственная правда: эпосъ не есть ни чистый миѳъ, ни чистая исторія, сущность его состоитъ въ ихъ взаимномъ проникновеніи. Для возникновенія эпоса необходимъ историческій фактъ, которымъ народъ долженъ быть охваченъ такъ живо, что къ нему могъ бы пристать миѳъ. Такимъ образомъ эпосъ носить въ себѣ божественную и человѣческую долю: одна возвышаетъ его надъ исторіей, другая снова приближаетъ къ ней. Боги превращаются въ людей, и перерожденія сказаній подходятъ къ намъ все ближе и ближе. Если выдѣлить эти составныя части эпоса, то изъ него можно извлечь не мало данныхъ для миѳологіи.

У Гримма мы найдемъ уже въ полномъ развитіи возвеличеніе древняго мировоззрѣнія, когда весь бытъ отличался полной цѣлностью и единствомъ, когда была одна, обще-народная поэзія, сливавшая думы и чувства всѣхъ и каждаго, и когда всѣ проявленія жизни, бытовой и нравственной, освѣщались возвышенными и нравственно чистыми созданіями эпоса, соединявшаго божественное и человѣческое, религію и исторію.—Средина дѣятельности Гримма,—именно давшая ему славу и обширное вліяніе въ наукѣ,—занята была изслѣдованіемъ языка, который, по его представленію, самъ былъ поэтическое созданіе народа, и изслѣдованіемъ древняго права и миѳологіи.

На „Древностяхъ нѣмецкаго права“ и „Миѳологіи“ одинаково отразились и высокія достоинства теоріи Гримма, какія мы встрѣтимъ и въ ученіяхъ г. Буслаева, и недостатки, которые также отразились въ этихъ послѣднихъ. Мы упоминали прежде, что Гриммъ, въ своемъ отношеніи къ среднимъ вѣкамъ, стоитъ въ тѣсной связи съ нѣмецкой романтической школой. Въ изученіи средневѣковой поэзіи онъ имѣлъ прямыми предшественниками Шлегеля и Тика, даже Арнима и Но-

¹⁾ Scherer, J. Grimm, стр. 59.

²⁾ Gedanken über Mythos, Epos und Geschichte, 1818,—Kleinere Schriften, IV, стр. 74—85.

вались; но онъ уберется отъ тѣхъ реакціонныхъ общественно-политическихъ выводовъ, какіе дѣлали многіе романтическіе приверженцы средневѣковой старины, и изъ ея идеализаціи усвоилъ только ея гуманная и поэтическія стороны. Но это все-таки была романтическая идеализація: германская древность и средніе вѣка почти казались ему простодушной, но невинной и поэтической Аркадіей, у которой во всякомъ случаѣ многому могли учиться позднѣйшія времена. Его личная натура, увлеченіе ученаго и пристрастіе идеалиста выискивали въ этомъ мірѣ все, что было въ немъ поэтическаго, человѣчески истиннаго и достойнаго; и народный обычай и преданье, въ которыхъ онъ находилъ это, получали въ его глазахъ ореолъ высокаго достоинства.

Въ „Древностяхъ права“ Гриммъ имѣлъ много предшественниковъ, собиравшихъ факты, памятники и юридическія толкованія, но его трудъ представилъ иѣчто небывалое. Гриммъ оставилъ прежній путь объясненія официальныхъ юридическихъ источниковъ, изслѣдованія учреждений: онъ ставилъ своей задачей раскрытіе собственно народной идеи права—въ тѣхъ формахъ, въ какія облекало ее народное преданіе и поэзія, въ тѣхъ символическихъ дѣйствіяхъ, на которыя дотогѣ обращали мало вниманія и которыя именно остались слѣдомъ первобытнаго права; въ тѣхъ юридическихъ обычаяхъ, изреченіяхъ, пословицахъ, которыя сбережены въ старыхъ памятникахъ (Weisthümer) и народномъ воспоминаніи; наконецъ, въ сравненіяхъ съ подобными явленіями юридической древности у другихъ народовъ—словомъ, во всѣхъ тѣхъ проявленіяхъ, которыя несли на себѣ печать древне-народнаго міровоззрѣнія. Такого труда еще не представляла собственно-юридическая литература; онъ и не шелъ въ эту литературу, но онъ давалъ замѣчательное изображеніе древнѣшаго юридическаго быта и первый опытъ новой науки—сравнительнаго изученія права.

„Гриммъ прочно устроился въ романтическомъ туманѣ древнихъ живописныхъ учреждений,—говоритъ одинъ изъ лучшихъ его критиковъ,—и удивительно ли, что изъ-за нихъ настоящее иной разъ его не удовлетворяло? Онъ мало понималъ необходимости жизни, которыя принуждаютъ къ сухому и суровому ходу дѣлъ, и почти жалѣлъ о медлительныхъ подробностяхъ старыхъ символическихъ дѣйствій права. Здѣсь эстетическая сторона слишкомъ легко брала верхъ надъ нимъ. Онъ жалѣлъ о томъ, что развитіе своего домашняго изъ самого себя было прервано. Еслибы христіанство и римское право не вмѣшались и не нарушили этого развитія, думаетъ онъ, то только тогда мы могли бы судить о настоящемъ достоинствѣ этой образной и нравственной основы нѣмецкаго права. Даже благородная демо-

кратическая черта сочувствія къ низшимъ народнымъ классамъ, проходящая черезъ все произведеніе, могла, въ свою очередь, усиливать въ немъ эти наклонности. Въ виду положенія нынѣшнихъ фабричныхъ рабочихъ, старая крѣпостная зависимость и рабство получаютъ отъ него извѣстную похвалу. Въ виду нашихъ тюремъ старыя наказанія, соединенныя съ калѣченіемъ, кажутся ему почти мягкими. Тотъ недостатокъ новѣйшаго правового сознанія, который историческая школа унаслѣдовала отъ Мэзера, выступаетъ здѣсь снова“ и т. д. ¹⁾).

Въ ученомъ изслѣдователѣ, очевидно, сказывался романтикъ; свои богатые свѣдѣнія онъ окрашивалъ поэтической идеализаціей старины.

Тѣмъ же настроеніемъ отличается знаменитая „Миеологія“.

Съ первыхъ страницъ предисловія Гриммъ съ любовью говоритъ о національной древности и съ негодованіемъ о тѣхъ, кто не хочетъ или не умѣетъ цѣнить памятниковъ прошлой народной жизни, или видитъ въ ней одно варварство ²⁾). Книга начинается картиной распространенія въ Европѣ христіанства, передъ которымъ мало-помалу падаетъ и исчезаетъ язычество. „Христіанство не было народно. Оно пришло изъ-чужа“ и хотѣло вытѣснить старыхъ домашнихъ боговъ, которыхъ земля уважала и любила. Эти боги и служеніе имъ связаны были съ преданіями, учрежденіями и обычаями народа; ихъ имена возникли на родномъ языкѣ и освящены стариной; короли и князья вели свой родъ отъ различныхъ боговъ; лѣса, горы, озера получали отъ ихъ близости живое освященіе. Отъ всего этого народъ долженъ былъ отказаться, и то, что вообще восхваляется какъ вѣрность и приверженность, представлялось и преслѣдовалось во вѣстителями новой вѣры, какъ грѣхъ и преступленіе. Происхожденіе и мѣсто святого ученія было навсегда отодвинуто въ далекія

¹⁾ Scherer, стр. 189.

²⁾ „Мнѣ отвратителенъ тотъ спѣсивый взглядъ, что будто жизнь цѣлыхъ вѣковъ была проникнута тупымъ, безрадостнымъ варварствомъ; этому противорѣчила бы уже любвеобильная благодать Бога, который свѣтитъ всѣмъ временамъ своимъ солнцемъ и людямъ, которыхъ онъ снабдилъ дарами тѣла и души, влилъ сознаніе высшего руководящаго промысла: всѣмъ, даже самымъ обезславленнымъ вѣкамъ дано благословеніе счастья и блага, которое у благородно развившихся народовъ оберегало ихъ, обычай и ихъ право“...

„Къ народному преданью надо прикасаться и читать его цѣломудренно; кто беретъ за него грубо, передъ тѣмъ оно свернетъ свои листки и задержитъ наполняющее его благоуханіе. Въ немъ кроется такой кладъ богатаго развитія и расцвѣтанія, что онъ въ своемъ неполномъ видѣ удовлетворяетъ своей естественной красотой, но былъ бы нарушенъ и поврежденъ чужой прибавкой. Кто рѣшился бы на такую прибавку, тотъ долженъ бы быть посвященъ въ невинную природу всей народной поэзіи“, и т. д. D. Mythologie, 2-е изд., стр. VII, XII.

страны, и на родныя мѣста могла быть перенесена только производная, болѣе слабая честь.—Новая вѣра являлась въ сопровожденіи чужого языка. Обратители язычниковъ, строго благочестивые, умѣренные, убивавшіе плоть, нерѣдко мелочные, безпокойные и въ рабской зависимости отъ далекаго Рима, должны были безпрестанно оскорблять національное чувство. Имъ были ужасны не только грубыя, кровавыя жертвоприношенія, но и образная, жизненно-радостная сторона язычества. Но чего не достигали ихъ слово и ихъ чудотворство, то новообращенные христіане часто совершали огнемъ и мечомъ противъ упорныхъ язычниковъ. Побѣда христіанства была побѣда краткаго, простаго, духовнаго ученія надъ чувственнымъ, свирѣпымъ, одичавшимъ язычествомъ. За обрѣтенное спокойствіе души, за обѣщанное небо человекъ отдавалъ свои земныя радости и память о своихъ предкахъ. Многіе слѣдовали внутреннему внушенію сердца, другіе примѣру толпы, а многіе и впечатлѣнію неизбежнаго насилія.—Хотя погибающее язычество намѣренно оставляется лѣтописцами въ тѣни, однако иногда вырывается трогательная жалоба на потерю старыхъ боговъ или честное сопротивленіе насильно навязанной новизнѣ“...

Ученый не остается равнодушнымъ, напротивъ, онъ принимаетъ къ сердцу эту жалобу: язычество многіе вѣка было внутренней жизнью народа, въ немъ сложились не только черты первобытной грубости, но и лучшія нравственныя движенія народа, составившія его религію; изслѣдователь разбираетъ, что было уничтожено и что спаслось, и черезъ послѣднее реставрируетъ этотъ первобытный божественный міръ язычества. На первомъ планѣ — главныя правящія божества, богослуженіе, затѣмъ второстепенные боги и богини, низшія мифическія существа, исполины и т. д.; далѣе преданія о твореніи, о стихіяхъ и силахъ природы, о началѣ и концѣ міра; жизнь природы, съ ея мифическими вліяніями и отношеніями къ человеку — деревья и животныя, небо и звѣзды, ночь и день, солнце и зима; понятія о судьбѣ; средневѣковыя представленія о чортѣ, волшебство и т. д.; заговоры и заклятья. Словомъ, это широко задуманная и широко исполненная картина народной религіи, не только первобытнаго язычества, но и его позднѣйшихъ видоизмѣненій въ средневѣковую народно-христіанскую мифологію. На исполненіе этой картины употребленъ былъ громадный запасъ фактическаго матеріала, никогда прежде не собранный въ такомъ обиліи изъ древнихъ поэтическихъ сказаній, своихъ и чужихъ историковъ и лѣтописцевъ, изъ разнообразныхъ отголосковъ старины у новѣйшихъ писателей, изъ народныхъ обычаевъ, изъ сравненія съ мифологіей другихъ народовъ,—объясненный съ новыми средствами филологической науки.

Книга Гримма (доступная, конечно, только приготовленнымъ читателямъ) произвела сильное впечатлѣніе въ ученномъ мѣрѣ: она была принята какъ „геніальное открытіе“. На многіе годы авторитетъ Гримма былъ непререкаемый; цѣлыя группы ученыхъ направились на поиски по указанному имъ пути,—эта пора его вліянія именно и отразилась на его русскихъ продолжателяхъ,—но, наконецъ, теорія встрѣтила и серьезные возраженія и ограниченія. Развитие науки, такъ сильно имъ возбужденной, открыло новыя стороны предмета,—ислѣдованіе пошло дальше, что, не умаляя исторической заслуги Гримма, свидѣтельствовало о плодотворности его первой основной мысли.

Слѣдующее поколѣніе ученыхъ, которые воспользовались уже новыми приобрѣтеніями науки, находило, что съ одной стороны Гриммъ мало воспользовался миеологическимъ матеріаломъ національнаго эпоса, а съ другой ввелъ въ миеологію больше, чѣмъ могла допустить строгая критика,—при которой, правда, и не могла бы явиться такая одушевленная и поэтическая книга. Что же останавливало новыхъ изыскателей въ приѣмахъ и точкѣ зрѣнія Гримма? Шереръ слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ эту неудовлетворяющую сторону его труда:

„...Здѣсь принять и употребленъ въ дѣло въ качествѣ миеологическаго матеріала рядъ такихъ источниковъ, права которыхъ на это по меньшей мѣрѣ очень сомнительны. Относительно сказокъ, ихъ годность для миеологіи отпадаетъ уже вслѣдствіе открытія чужого происхожденія. Безъ сомнѣнія, много иноземнаго проскользнуло и въ эпическія сказанія (саги), и прочныя приобрѣтенія могутъ быть извлечены изъ нихъ только при величайшей осмотрительности. Поэзія XIII вѣка также откажетъ будущему ислѣдованію въ той миеической добычѣ, которую она какъ будто доставляла Якову Гримму, и олицетворенія идеала или поэзіи нельзя будетъ больше считать за отголоски Водана или сѣверной саги. Наконецъ, какъ много изъ того, что Яковъ Гриммъ считалъ и бралъ за нѣмецкое и языческое, должно быть отдано христіанской миеологіи, это уже не разъ оказалось при новѣйшихъ ислѣдованіяхъ и, быть можетъ, окажется еще во многихъ случаяхъ.—Очень рѣдко случается, чтобы у великихъ людей являлись товарищи или ученики, которые исправляли бы ихъ труды именно тамъ, гдѣ они настоятельно нуждаются въ поправкѣ, и продолжали именно тамъ, гдѣ оставленъ конецъ, къ которому можно привязать продолженіе. Гораздо чаще бываетъ наоборотъ, и примѣръ этому—судьба нѣмецкой миеологіи. Именно слабыя стороны книги оказались производительными и возбуждающими къ соревнованію. Сказки и саги вдругъ показались теперь чрезвычайно

важными, не просто какъ проявленія народнаго духа и какъ истинная поэзія, но какъ слѣды убѣгающихъ боговъ, которыхъ форму надо осторожно срисовывать и изслѣдовать съ крайней заботливостью. Начались безконечныя собранія сагъ и сказокъ. При этомъ сдѣланы были дѣйствительно цѣнныя находки старыхъ уцѣлѣвшихъ обрядовъ. Но большею частью являлось здѣсь слишкомъ много лишняго. Неумоимо записывались и все снова издавались безчисленныя варіаціи одной и той же исторіи. И этого мало: сказки и саги должны были помогать недостатку живыхъ мифовъ, который чувствовали очень вѣрно. Когда охотникъ для защиты своей всунетъ кулакъ въ пасть льва, вспоминали сѣвернаго бога войны Тора, который въ видѣ залога вкладываетъ свою руку въ пасть волка Фенрира. Когда похищаются строго оберегаемыя женщины, не могло быть сомнѣнія, что за похитителемъ скрывается богъ Фрейръ, а за похищенной — прекрасная великанша Герда. Когда убиваются какіе-нибудь великаны, то видѣли здѣсь божество грома. Чтò только есть краснаго на свѣтѣ, то тотчасъ сильно заподозрѣвалось въ таинственной связи съ рыжебороднымъ грозовникомъ. И осель, который двоякимъ способомъ выпускаетъ золото, естественно долженъ былъ происходить отъ раздавателя богатства Водана, хотя первоначально онъ есть скромная фигура изъ итальянской новеллы.—Въ послѣдніе годы усердіе смѣлыхъ открывателей нѣсколько охладѣло, и торопливая радость уступила мѣсто нѣкоторому отрезвленію. Что нѣмецкая мифологія попала на ложную дорогу, это можно утверждать теперь безъ опасенія. И остается только пожалѣть, что надобно прибавить: эту дорогу указалъ Яковъ Гриммъ¹⁾.

Изложенныя мнѣнія о трудѣ Гримма не были только личнымъ взглядомъ отдѣльнаго ученаго: наука все расширяла горизонтъ наблюденій, усиливала требованія критическія, и, наконецъ, отвлекала отъ точки зрѣнія Гримма лучшихъ и преданнѣйшихъ учениковъ.

¹⁾ Scherer, стр. 148—150. Далѣе слѣдуютъ подобныя замѣчанія о Гриммовомъ Reinhard Fuchs.—Котляревскій, въ разборѣ книги Леонасьева (Отчетъ о десятомъ присужденіи наградъ гр. Уварова. Спб. 1868), осуждаетъ этотъ отзывъ Шерера: „чтобы такой приговоръ получилъ оправданіе,—замѣчаетъ онъ,—необходимо сначала самимъ дѣломъ доказать, что мифологическая наука на другомъ пути можетъ принести по крайней мѣрѣ такіе удовлетворяющіе и обильные результаты, какіе принесла она въ школѣ Гримма и его преемниковъ“ (стр. 48). Но въ томъ и дѣло, что результаты перестали казаться удовлетворяющими. Шереръ не отвергаетъ со всѣмъ значенія труда Гримма, а только указываетъ ошибку нѣкоторыхъ его приемовъ,—ошибка не подлежитъ сомнѣнію и критика не только въ правѣ, но и должна указать замѣченный ошибочный путь, хотя бы даже не нашла еще другого. Въ разборѣ книги Леонасьева, Котляревскій дѣлаетъ самъ противъ нея нѣсколько важныхъ замѣчаній, именно въ томъ смыслѣ, какъ Шереръ противъ Гримма.

Таковъ былъ Вильгельмъ Маннгардтъ, одинъ изъ ревностиѣйшихъ изслѣдователей въ области нѣмецкой миеологiи. Приводимъ его критическія замѣчанія, чтобы выяснитъ положеніе вопроса въ самой нѣмецкой наукѣ, которое у насъ было или мало извѣстно, или мало оцѣнивалось. Нѣкогда вѣрный послѣдователь Гримма, этотъ замѣчательный ученый въ послѣдніе годы своей дѣятельности измѣнилъ направленіе своихъ трудовъ въ виду новыхъ пріобрѣтеній науки, и въ предисловіи къ своему послѣднему большому труду, излагая исторію своихъ взглядовъ наряду съ движеніемъ миеологической науки, такъ опредѣляетъ значеніе Гриммовой „Миеологiи“.

„Мастерское, фундаментальное произведеніе Гримма, какъ всѣ подобныя историческія созданія, явилось не безъ предшественниковъ. Уже со временъ реформаціи, частью для объясненія запрещенія идолопоклонства въ катехизисѣ, частью изъ гуманистическихъ или національно-антикварскихъ стремленій, люди какъ Мелеціусъ Агрикола, Портанъ, Аркиль, Делермейнъ, К. Шюцъ, Моне и Финнъ Магнусенъ признали и изучали въ отдѣльности суевѣрія, обычаи и народныя сказанія, какъ остатки языческой миеологiи.

„Геній Як. Гримма, вооруженный удивительнымъ даромъ комбинаціи, умѣвшій въ то же время дѣтски наивно чувствовать духъ древности, въ первый разъ собралъ въ самомъ грандіозномъ объемѣ подобныя источники въ одно цѣлое, связалъ ихъ съ удѣлѣвшими въ скудномъ количествѣ непосредственными свидѣтельствами о нѣмецкомъ язычествѣ и поставилъ ихъ въ связь съ языкомъ, который былъ имъ приведенъ къ историческому пониманію, съ обычаями и міровоззрѣніемъ нашей древности и съ миеологіей родственнаго сѣвера. Тогда впервые найдено было яйцо Колумба и народамъ указанъ путь, который, казалось, могъ провести ихъ черезъ обширное *Mare incognitum* въ золотую страну ихъ собственнаго дѣтства и, расширяя ихъ воспоминаніе о самихъ себѣ на далекій періодъ назадъ, могъ многое прибавить къ ихъ жизни и ихъ личности. Передъ глазами удивленныхъ современниковъ возстала картина древне-германской религiи, въ главномъ столь схожая, что она останется образцомъ, который надо будетъ развивать и совершенствовать дальнѣйшимъ изслѣдованіемъ, и вмѣстѣ такъ необычайно богатая, что она теперь почти полъ-столѣтія господствуетъ надъ наукой¹⁾. Мало-помалу она начинаетъ превращаться въ свободную духовную собственность изслѣдователей и подпадаетъ столь необходимой критической оцѣнкѣ для того, чтобы по удаленіи ея недостатковъ, выйти изъ нея въ очищенномъ и помолодѣвшемъ видѣ. Рѣдко книга пріобрѣтала

¹⁾ Писано въ 1877. Первое изданіе „Миеологiи“—1835.

такое грандіозное вліяніе, какъ эта. Стало національнымъ дѣломъ— собирать и объяснять обычаи, сказанія, сказки, суевѣрія, пѣсни, словомъ—устныя преданія всякаго рода, какъ памятники отечественной древности. Этому стремленію мы обязаны множествомъ отчасти прекрасныхъ сборниковъ. За нами стали дѣлать это другія племена Европы, и всего ревностиѣе тѣ, которыя не имѣли почти никакихъ свѣдѣній о религіи своихъ предковъ и этимъ путемъ надѣялись выяснить, какъ выражался духъ ихъ народа въ своихъ идеальнѣйшихъ представленіяхъ въ эпоху нетронутой національной жизни до введенія христіанства (напр. славяне, мадьяры). Равнодушнѣе остались другіе народы (напр. скандинавы, романскія племена), которые, обладая богатыми извѣстіями о своихъ предкахъ, не чувствовали никакого влеченія умножать это сокровище, было ли оно велико или мало, изъ новыхъ, дотошъ столь презираемыхъ рудниковъ⁴.

Авторъ замѣчаетъ, что вслѣдствіе этого тогдашняго преобладанія чисто національной тенденціи и его собственные первые труды преимущественно были посвящены живому народному преданію, „какъ мнимому главному источнику собственно нѣмецкой миеологіи“,—даже тогда, когда онъ увидѣлъ необходимость цѣльнаго историко-критическаго изслѣдованія сѣверной миеологіи; онъ надѣется, что „тѣмъ дорогого учителя“ не будетъ гнѣваться, — „если тѣ, кто стоятъ на его плечахъ, вмѣстѣ съ благодарнымъ признаніемъ полученнаго отъ него прочнаго достоянія, дадутъ теперь мѣсто и сознанію, что его величественный трудъ во многихъ отношеніяхъ остается еще неполонъ и неудовлетворителенъ, что зданіе, которое онъ возводилъ, часто имѣло въ самыхъ основаніяхъ кривое направленіе и давало поводъ къ дальнѣйшей непригодной стройкѣ“. „Критика, исключаящая все ошибочное и недоказанное, — продолжаетъ Маннгардтъ, — уменьшила бы объемъ книги Гримма, быть можетъ, не менѣе чѣмъ на половину. Здѣсь не мѣсто объяснять это подробнѣе¹⁾; я укажу только немногое. Яковъ Гриммъ сдѣлалъ великій шагъ впередъ, когда взглянулъ на миеологію не какъ на произведеніе сознательнаго умозрѣнія, но какъ на созданіе безсознательно поэтически творящаго народнаго духа, аналогичное съ языкомъ. *Этимъ онъ положилъ основаніе научному разумнѣю не только германской, но также греческой и римской и всякой другой миеологіи.* Но въ исполненіи онъ не дѣлалъ никакого строгаго различія между дѣйствительными образами народнаго міа, и часто почти до тождественности похожими на нихъ метафорами и олицетвореніями субъективныхъ поэтовъ. Онъ остался также чуждъ тому взгляду, къ которому пролагалъ путь уже

¹⁾ Онъ ссылается здѣсь и на указанія выше замѣчанія Шерера.

Гейне ¹⁾, но еще больше Давидъ Штраусъ, что мифъ утверждается на какомъ-нибудь опредѣленномъ мировоззрѣніи или способѣ мышленія, которыми всякій народъ долженъ по необходимости отличаться на извѣстныхъ ступеняхъ развитія. Этотъ способъ мышленія, при успѣхахъ образованія, остается достояніемъ отстающихъ низшихъ слоевъ народа и частію поддерживаетъ между ними, какъ убѣжденіе, умственные продукты прошедшаго, опереженнаго болѣе развитыми классами, частію низводитъ къ своему уровню идеи и созданія преобразованной или извѣтъ заимствованной высшей религіи (христіанство, исламъ, буддизмъ и т. д.) и передѣлываетъ ихъ по своимъ категоріямъ, частію продолжаетъ обнаруживаться въ нѣкоторыхъ новыхъ мифическихъ представленіяхъ различнаго матеріала. Ставъ эти различія на второй планъ, Я. Гриммъ долженъ былъ быть склоненъ — все мифическое въ народныхъ массахъ нашего времени принимать за осадокъ, за новую одежду, за ослабленную или болѣе грубую форму первобытной языческой мифологіи и притомъ за продолжающуюся по прямой линіи отголосокъ мифологіи именно того народа, у котораго найдено данное преданіе. Потому что онъ упустилъ изъ виду и то, что въ теченіе исторіи непрерывное движеніе населеній и сословій и въ низшихъ классахъ народа благопріятствовало обширному обмѣну идей и преданій даже съ чужими странами. Наконецъ, онъ слишкомъ преувеличивалъ вліяніе мифа на языкъ. Вслѣдствіе этихъ ошибокъ, Гриммъ во многихъ случаяхъ принималъ за свидѣтельства о розыскиваемой имъ нѣмецко-языческой мифологіи какъ чисто поэтическія олицетворенія средневѣковыхъ поэтовъ ²⁾, такъ и преданія, возникшія изъ христіанской символики или изъ случайныхъ тенденціозныхъ фантазій церковниковъ, также и разнообразныя общечеловѣческія или чужеземныя суевѣрія, заимствованныя въ трудно опредѣлимое время. Но въ особенности... онъ слишкомъ преувеличивалъ сходство сѣверной и нѣмецкой саги, когда, по способу старой теологіи, считалъ мифъ Эдды за цѣльное соединеніе однородныхъ воззрѣній, отпечатлѣвающихся исконную народную религію сѣверныхъ германцевъ, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности въ этихъ мифахъ надо видѣть послѣдній результатъ историческаго развитія, въ которомъ главная доля принадлежитъ послѣднимъ вѣкамъ до введенія христіанства, слѣд. послѣ отдѣленія отъ южныхъ германцевъ, и въ этомъ періодѣ — преимущественно сознательному труду поэтовъ *искусственной* литературы, все дальше развивавшихъ мысли и картины своихъ предшественниковъ. Запасъ подлинныхъ

¹⁾ Т.-е. знаменитый филологъ.

²⁾ Frau Zuht, Frau Ere, die Triuwe, Wunsch и т. д.

старыхъ народныхъ миеовъ въ Эддѣ очень незначителенъ; но часто еще можно указать ступени, которыя проходила обработка отдѣльных миеовъ подъ рукой поэтовъ. Эта миеологія въ гораздо большей степени, чѣмъ принимаютъ обыкновенно послѣ Гримма, была своеобразнымъ произведеніемъ скандинавскаго сѣвера, обусловленнымъ природой и исторіей ея родины“.

Такимъ образомъ, продолжаетъ Маннгардтъ, приходится исключить изъ нѣмецкой миеологіи цѣлый рядъ божествъ, внесенныхъ въ нее Гриммомъ по ошибкѣ метода. Его ученики въ нѣмецкой литературѣ повторяли и часто доводили до послѣдней крайности ошибки учителя. „Прочную прибыль обѣщало только такое продолженіе начатою гигантскаго труда, которое прежде всего разобралось бы въ самомъ матеріалѣ и, не обращая вниманія на прежде выставленный результатъ, съ одной стороны сравнило бы народныя преданія между собою, съ другой—съ ближайшими родственными явленіями“ и т. д. ¹⁾.

Мы съ намѣреніемъ остановились на этихъ отзывахъ, такъ какъ у насъ не довольно извѣстна дальнѣйшая судьба трудовъ Гримма въ миеологической наукѣ, и мы предпочли кромѣ того привести слова компетентныхъ ученыхъ, изъ которыхъ Маннгардтъ былъ именно одинъ изъ ревностнѣйшихъ учениковъ Гримма; наконецъ, эти отзывы исторически любопытны потому, что русская школа послѣдователей Гримма, во главѣ которой стоитъ г. Вуслаевъ, раздѣлила и достоинства и ошибки первообраза. Мы указывали выше эти достоинства—въ первой научной постановкѣ самаго вопроса, въ соединеніи массы матеріала для объясненія народной старины и поэзіи, въ любящемъ отношеніи въ предмету, хотя иногда неясномъ въ своихъ послѣднихъ историческихъ выводахъ и въ приложеніяхъ къ современной народности, но проникнутомъ несомнѣнно искренностью, наконецъ въ остроуміи многихъ объясненій и умѣннѣ воспроизводить поэтическія черты старины, какъ до тѣхъ поръ этого еще никому не удавалось. Вмѣстѣ съ тѣмъ однако, слабыя стороны ученія повторились и у русскихъ послѣдователей Гримма. Если мы читаемъ у нѣмецкихъ его критиковъ замѣчанія, что онъ употреблялъ въ качествѣ миеологическаго матеріала такіе источники, которыхъ права на это сомнительны; что онъ находилъ прямую преемственность миеологическаго преданія отъ первобытной старины до современнаго сказанья и повѣрья, когда на дѣлѣ эти эпохи раздѣлены множествомъ инородныхъ вліяній и случайностей; что при этомъ, напримѣръ, онъ сводилъ къ языческому

¹⁾ W. Mannhardt, Wald- und Feldkulte. Zweiter Teil. Berlin, 1877. V orwort стр. VIII — XIV.

мнѣю то, что было произведеніемъ средневѣкового христіанскаго преданья и церковной символики, и т. д., то всѣ эти замѣчанія приложимы и къ трудамъ нашихъ послѣдователей школы, — какъ далѣе будемъ имѣть случай видѣть.

Первое примѣненіе новаго метода къ изслѣдованію русской миеологической старины произвело у насъ впечатлѣніе, подобное тому, какое въ Германіи надолго оставила Гриммова „Миеологія“. Передъ тѣмъ о нашей миеологической древности знали только по скуднымъ сообщеніямъ лѣтописи, — церковные составители которой гнушались сказаніями язычества и упоминали о нихъ только при случаѣ, — и по современнымъ народнымъ повѣрьямъ, которыя сопоставлялись чисто внѣшнимъ образомъ. Теперь, подъ перомъ новыхъ ученыхъ, отрывался цѣлый связанный міръ преданій, которыя шли отъ древнѣйшихъ арійскихъ наслѣдій языка до современнаго народнаго преданья; въ народномъ суевѣрѣ оказывались слѣды первобытной языческой религіи; въ сказкѣ, богатырской былинѣ продолжала жить первобытная космогонія и т. д. Когда найденъ былъ впервые влючъ къ этой темной старинѣ, изслѣдователи предприняли усердное собраніе ея остатковъ и, по примѣру Гримма, находили множество ихъ и въ нынѣ извѣстной народной поэзіи, и въ старой письменности. Но при этомъ же совершена была та ошибка, къ которой увлекалъ примѣръ знаменитаго нѣмецкаго учителя. Состояніе источниковъ было далеко не таково, чтобы ихъ можно было употреблять прямо въ качествѣ миеологическаго матеріала. Они не были такъ обильны, какъ были источники нѣмецкіе, но часто были не менѣе сложнаго характера, такъ что нужно было выяснитъ ихъ раньше, чѣмъ строить на нихъ миеологическіе выводы. Письменные памятники старины были еще мало разработаны; многіе изъ нихъ именно въ эти годы впервые привлекали къ себѣ вниманіе историковъ литературы (напр. разнообразныя старинныя сборники, пален, хронографы, прологи, литература повѣствовательная, апокрифическая, травники, азбуковники и т. п.); нерѣдко отрывки изъ неизданныхъ рукописей являлись впервые въ самомъ миеологическомъ изслѣдованіи, т.-е. раньше, чѣмъ самыя памятники были изданы, подвергнуты предварительной критикѣ, объяснено ихъ происхожденіе, установлены тексты и т. д. Изъ этихъ памятниковъ, еще требовавшихъ первоначальнаго комментарія, прямо брались цитаты о русской *народной* древности — между тѣмъ какъ уже вскорѣ стало оказываться ихъ *книжное*, притомъ *иноземное* происхожденіе, т.-е. они оказывались источникомъ совсѣмъ иной категоріи, чѣмъ ихъ здѣсь принимали, и вели къ инымъ заключеніямъ и объ иной эпохѣ древности ¹⁾. Въ подобномъ же положеніи нахо-

¹⁾ Примѣры укажемъ далѣе, гл. IV.

дѣлись источники народно-поэтическіе. Они были довольно богаты; въ первыхъ шестидесятихъ годахъ ихъ извѣстный прежній запасъ умножился новыми замѣчательными собраніями (Кирѣвскаго, Рыбникова, Якушкина, Варенцова, Безсонова и т. д.). Главнѣйшее вниманіе было обращено на эпосъ: онъ представлялся единымъ, цѣльнымъ и самороднымъ созданіемъ народнаго творчества и однимъ изъ основныхъ источниковъ для системы древней языческой мѣологіи. Въ эпосѣ былиниѣ предположено было три ступени: религіозно-миѣческая, героическая (богатырская) и историческая, связанныя крѣпкой нитью непосредственнаго развитія. Былина богатырская есть только новая метаморфоза миѣческаго эпоса; за богатырями мы можемъ еще усмотрѣть тѣнь языческаго божества, и т. д. Между тѣмъ на дѣлѣ эпосъ былиниѣ былъ еще сырой матеріалъ, требовавшій обработки, и когда таковая началась (позднѣе), то въ немъ оказались прежде никакъ не ожиданныя черты новой формаціи, и именно книжныя вліянія средневѣковой христіанской легенды. Такимъ образомъ и здѣсь ближайшее изученіе давало фактамъ иное хронологическое опредѣленіе; и народное преданіе получало иное историческое значеніе.

Словомъ, нужно было еще много предварительной разработки письменныхъ и народно-поэтическихъ памятниковъ, прежде чѣмъ сдѣлать изъ нихъ мѣологическій источникъ; но примѣръ Гримма былъ поражающій, объясненіе видѣлось близко, общій характеръ эпической старины казался разъ навсегда угаданнымъ, — оставалось широко пользоваться представлявшеюся массою фактовъ. Если Гриму помогалъ рѣдкій даръ комбинаціи, чтобъ воссоздавать черты древности, то этимъ даромъ замѣчательно отличаются и построенія г. Буслаева, который раздѣлялъ съ главой школы и поэтическую вѣру въ идеаль, скрывавшійся въ начаткахъ народной жизни. Если Гриммъ, по словамъ нѣмецкаго критика, прочно устроился въ романтическомъ туманѣ древняго быта, то этотъ романтическій туманъ и подъ перомъ нашего изслѣдователя придавалъ поэтическія очертанія нашей собственной старинѣ. Изученіе исходило изъ романтической привязанности къ старинѣ, и само питало эту привязанность: при томъ настроеніи, какимъ проникался Гриммъ и его школа, древность являлась со всѣми ея привлекательными чертами. Гриммъ почти сожалѣлъ о среднихъ вѣкахъ, объ исчезновеніи многихъ обычаевъ, хотя жесткихъ и грубыхъ, но поэтически окруженныхъ. Похожее настроеніе не трудно видѣть и въ археологическихъ взглядахъ г. Буслаева: неясно высказываемые, они давали иногда поводъ къ недоразумѣніямъ, къ смѣшенію его взглядовъ съ славянофильскими стремленіями въ „дракъ временъ“. Какъ недовѣрчиво, даже недружелюбно г. Бус-

лаевъ относился къ прежней литературѣ, не знавшей этого романтическаго отношенія къ народности,—хотя эта литература имѣла несомнѣнную заслугу въ возвышеніи понятія народности,—такъ, по той же причинѣ, онъ былъ не весьма дружелюбенъ и къ новѣйшему движенію, въ которомъ интересъ народа занималъ такую большую роль и возбуждалъ такіа несомнѣнно искреннія сочувствія. Въ этомъ движеніи романтической элементъ дѣйствительно часто отсутствовалъ, поглощаемый практическими стремленіями и заботами объ общественномъ, экономическомъ подъемѣ народной массы, о народной школѣ и т. д.; и тѣмъ отрицательное отношеніе къ этой сторонѣ литературы и общественной жизни могло стать односторонностью.

Спустя четверть столѣтія г. Буслаевъ, переиздавал свои труды шестидесятихъ годовъ по предложенію русскаго отдѣленія Академіи, писалъ: „Съ тѣхъ поръ изученія народности значительно расширилось въ объемѣ и содержаніи, и соотвѣтственно съ новыми открытіями установились иныя точки зрѣнія, которыя привели ученыхъ къ новому методу въ разработкѣ матеріаловъ. Такъ-называемая Гримовская школа съ ея ученіемъ о самобытности народныхъ основъ миеологіи, обычаевъ и сказаній, которое я проводилъ въ своихъ изслѣдованіяхъ, должна была уступить мѣсто теоріи взаимнаго между народами общенія въ устныхъ и письменныхъ преданіяхъ. Многое, что признавалось тогда за наслѣдственную собственность того или другого народа, оказалось теперь случайнымъ заимствованіемъ, взятымъ извнѣ вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ, болѣе или менѣе объясняемыхъ историческими путями, по которымъ направлялись эти культурныя вліянія“¹⁾.

Рѣшаясь по упомянутому вызову напомнить о своихъ старыхъ работахъ новому поколѣнію ученыхъ, г. Буслаевъ представлялъ эти работы только въ видѣ „матеріаловъ для исторіи науки по изученію старины и народности“. Но въ данномъ случаѣ историческое значеніе есть великая историческая заслуга. Если установились новыя точки зрѣнія, которыя повели къ новому методу изслѣдованія, то остается въ высокой степени важенъ первый толчекъ и первые опыты изслѣдованія, до тѣхъ поръ въ нашей литературѣ невиданные и неизвѣстные. Въ этомъ научномъ отношеніи заслуга г. Буслаева наглядно обнаруживается чрезвычайнымъ расширеніемъ изслѣдованій по русско-старинѣ и народности частію въ томъ самомъ направленіи, частію въ направленіяхъ сосѣднихъ, гдѣ опять вліяніе его указаній

¹⁾ „Народная поэзія“. Спб. 1887, предисловіе.

и примѣра было несомнѣнно. На первый разъ существенно важно было то, что изслѣдованіе народно-поэтической старины поставлено было какъ цѣльная научная теорія: каковы бы ни были потомъ новые взгляды, изслѣдованіе уже не сходило и не могло сойти съ научнаго пути; тотъ произволь и случайность, которые въ прежнее время играли такую большую роль въ объясненіяхъ старины, уже не могли имѣть мѣста; они были осуждены впередъ. Но кромѣ научной стороны была въ трудѣ г. Буслаева другая сторона, общественно-нравственная.

Взгляды г. Буслаева въ этомъ отношеніи были нѣсколько сложны и въ нашей литературѣ были во всякомъ случаѣ оригинальною новостью. Къ нашему археологу перешла та преданная, ревнивая любовь къ народности и ея созданіямъ, какая отличала благороднаго основателя школы, то же глубокое убѣжденіе въ высокомъ нравственномъ достоинствѣ народной поэзіи; отъ него не скрываются печальныя и мрачныя стороны прошедшаго, скудость умственной жизни, грубая жестокость нравовъ; приглядываясь къ старинѣ, онъ вспоминаетъ стихъ знаменитаго поэта—*Quanto si mostra men, tanto è piu bella* ¹⁾, но въ то же время она кажется ему, какъ нѣмецкая старина Гриму, наивной, но возвышенной и поэтической Аркадіей, за которую онъ ломаетъ копыя противъ тѣхъ, кто осмѣлится ото зваться о ней неуважительно. Онъ относится враждебно къ литературѣ прогрессивной школы сороковыхъ годовъ—какъ любой славянофиль; но находить и мѣткія, суровыя слова осужденія противъ славянофильскихъ пристрастій—какъ истый западникъ... Новѣйшій интересъ литературы и общества къ народу издавна не удовлетворялъ г. Буслаева ²⁾; ему всегда была несочувственна въ новой литературѣ ея подражательность, ея заимствованія изъ Европы и вмѣстѣ забывчивость о народныхъ элементахъ; теперь ему казалось, что даже интересъ къ народности брались съ чужого примѣра, „на обумъ“ и т. д. Можно было бы многое сказать на эти осужденія, напр., что наши заимствованія европейскихъ идей представляютъ (въ особыхъ нашихъ условіяхъ) явленіе *той самой* „взаимности умственныхъ интересовъ“, какую авторъ находитъ законной и разумной въ отношеніяхъ европейскихъ литературъ ³⁾; что новое направленіе литературы отозвалось у насъ небывалою прежде массою цѣнныхъ трудовъ по всестороннему изученію народной жизни. Далѣе, авторъ не однажды вооружается противъ писателей (напр., не однажды противъ Костома-

¹⁾ Историч. Очерки, II, 90.

²⁾ См., напр., вводныя страницы къ ст. о „Русскомъ богатырскомъ эпосѣ“, въ Р. Вѣстн. 1862, № 3, стр. 14 и далѣе; и др.

³⁾ Тамъ же, стр. 6—7.

рова), находившихъ въ народно-поэтической старинѣ проявленія мало нравственной грубости. „Хвалить свое смѣшно,—говорить онъ,—потому что и безъ того извѣстно, что всякому свое мило, и такая похвальба всегда можетъ быть заподозрѣна въ пристрастіи; поносить же свою старину и народность значило бы унижать самого себя въ собственныхъ своихъ глазахъ, и въ добавокъ—быть очень невѣжливымъ къ своимъ соотечественникамъ. Очень понятно презрѣніе къ какому-нибудь современному злу родной земли, потому что преслѣдованіемъ существующаго зла можно его устранить; но смѣшно ратовать и донкихотствовать противъ пороковъ и недостатковъ, уже отжившихъ“. Авторъ, впрочемъ, и не закрываетъ старины отъ критики. „Любить родную старину и народность—не значить все видѣть въ радужномъ свѣтѣ своихъ идиллическихъ мечтаній; и наоборотъ—съ интересомъ останавливаться на темныхъ сторонахъ древне-русской жизни и въ подробности изучать ихъ, столь же безпристрастно какъ и все свѣтлое и прекрасное, завѣщанное намъ стариною—вовсе не значить быть чужду народныхъ симпатій, не любить своего, русскаго“¹⁾. Но опредѣлять разницу „изученія темныхъ сторонъ жизни“ и ея „поношенія“ можетъ иногда и очень капризный вкусъ, который можетъ отыскать послѣднее тамъ, гдѣ есть только первое, и при этомъ забыть, что у насъ осужденія старины всего чаще бывали только отвѣтомъ на ея прикрашиванье въ противномъ лагерѣ, гдѣ восхваленія старины слишкомъ часто бывали оружіемъ для защиты застоя. Оставаясь въ области теоріи и идеала, г. Буслаевъ не всегда ясно высказывалъ свои понятія о томъ, какой практической выводъ въ современной жизни должно имѣть уваженіе къ народности: не мудрено, что его взгляды подавали поводъ къ недоумѣніямъ²⁾.

Впрочемъ оставимъ эту полемическую сторону взглядовъ г. Буслаева: она занимаетъ второстепенное мѣсто въ его трудахъ. Источникъ этого полемическаго настроенія понятенъ. Долго изучая старину, ея мрачныя и свѣтлыя явленія, г. Буслаевъ вынесъ убѣжденіе въ существованіи въ этой жизни возвышенныхъ нравственныхъ идеаловъ, и онъ ревниво бережетъ это убѣжденіе, прибрѣтенное цѣной неустанныхъ изысканій; онъ не хочетъ, чтобы къ этому идеалу касалась рука непосвященныхъ... Но вопросъ народности существуетъ не только въ романтической или ученой идеализаціи, но и въ жизни. Нужна защита народности, т.-е. основныхъ интересовъ народа, среди общества еще слишкомъ грубаго, и не только въ области поэтической археологіи, но и въ насущныхъ вопросахъ народной жизни,

¹⁾ Истор. Очерки, II, 102.

²⁾ Объ этомъ см., напримѣръ, въ статьѣ г. Стасова, „Вѣстн. Евр.“ 1870, февраль, стр. 919—920, 934—935 и др.

общественной, экономической и нравственной... Какъ бы отрицательно ни относился г. Буслаевъ къ извѣстнымъ направленіямъ новѣйшей литературы, начиная съ критики Бѣлинскаго, исторія скажетъ, что онъ, проповѣдуя уваженіе къ народному преданію и народной мысли, дѣлалъ, въ существѣ своихъ трудовъ, то же самое дѣло, какъ и эта литература—защищалъ, съ своей точки зрѣнія и въ своей области, интересы народа въ канунъ освобожденія крестьянъ и послѣ реформы.

Для того, чтобы привязанность къ народному преданію не осталась одной романтической мечтательностью, она должна дать мѣсто и историческому движенію народности. Народныя массы обыкновенно хранятъ усердно старину, но эпическія времена прошли или проходятъ. „Прогрессъ совершается благодаря разуму, — читали мы недавно (1883) въ рѣчи Ренана.—Одинъ лишь образованный умъ способенъ соиздать... Образование *личности* стало настоятельной необходимостью. То, что въ прежнія времена дѣлалось съ помощью наследственности, вѣкового обычая, преданій семейныхъ и народныхъ, теперь можетъ быть достигаемо только съ помощью образованія“. Нужно, чтобы любовь къ народности не забывала этихъ новыхъ условій народной жизни и дала ей здѣсь такую же поддержку науки, какую направляла на ея старыя преданія.

ГЛАВА IV.

А. Н. АѢанасъевъ: труды по этнографіи.

Имя АѢанасьева принадлежитъ къ числу наиболѣе симпатичныхъ именъ въ исторіи русской науки, посвященной изслѣдованію русской народности и старины. Въ наше время еще многіе помнятъ этого ученаго изслѣдователя, въ которомъ глубокая любовь къ наукѣ связывалась съ живымъ интересомъ къ народной жизни, и мягкое, человѣчное чувство къ своему народному освѣщалось трудолюбивымъ изученіемъ. Александръ Николаевичъ АѢанасъевъ (род. 1826 г.) былъ уроженцемъ воронежской губерніи, гдѣ сливаются двѣ великія отрасли русскаго племени: его трудъ направился въ послѣдствіи преимущественно на изученія великорусскія, когда трудъ его старшаго земляка, Костомарова, былъ въ особенности посвященъ Малороссіи. АѢанасъевъ учился въ воронежской гимназіи и, окончивъ тамъ курсъ въ 1844 году, поступилъ въ московскій университетъ по юридическому факультету. Въ то время юристы слушали вмѣстѣ съ „словесниками“ лекціи по литературѣ и всеобщей исторіи, такъ что АѢанасъевъ на своемъ факультетѣ былъ ученикомъ Крылова, Рѣдкина, Баршева и др. въ лучшую пору ихъ дѣятельности и Кавелина, тогда только-что вступавшаго на учено-литературное поприще, а также былъ слушателемъ Шевырева и Грановскаго. „Сороковые года“ оставили на немъ печать идеализма, нравственныхъ требованій, твердой вѣры въ просвѣщеніе, которыя составляютъ столь привлекательную черту лучшихъ людей той эпохи.

Университетское образованіе АѢанасьева было такимъ образомъ собственно юридическое и его первыя литературныя работы, начатыя еще во время пребыванія въ университетѣ, носили слѣды этой спеціальности, но по преимуществу или исключительно въ историческомъ примѣненіи. Выше мы говорили, что въ то время подъ влия-

нiемъ западной науки у насъ совершался сильный поворотъ въ исторiографiи, отличительной особенностью котораго было стремленiе изслѣдовать самый генезисъ историческихъ явленiй, осмыслить факты прошедшаго указанiемъ ихъ развитiя изъ первыхъ зачатковъ до позднѣйшихъ сложныхъ формъ общественнаго быта. Къ исторической школѣ Соловьева и Кавелина достойнымъ образомъ примыкаетъ Афанасьевъ въ своихъ первыхъ работахъ по исторiи нашего юридическаго быта ¹⁾, въ рядѣ историческихъ рецензiй; наконецъ въ своихъ позднѣйшихъ работахъ по миѳологiи, этнографiи и археологiи Афанасьевъ вступилъ на дорогу, открытую передъ тѣмъ г. Буславнымъ.

По окончанiи университетскаго курса въ 1848, Афанасьевъ въ слѣдующемъ году поступилъ на службу въ московскiй Главный Архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, въ 1855 назначенъ былъ начальникомъ отдѣленiя, а затѣмъ правителемъ дѣлъ состоящей при этомъ Архивѣ Комиссiи печатанiя государственныхъ грамотъ и договоровъ и въ этой должности оставался до 1862 года. Въ этомъ году его постигла бѣда: онъ, одновременно съ А. А. Котляревскимъ, былъ привлеченъ къ слѣдствию по „политическому“ дѣлу. Все дѣло состояло въ свиданiи съ состоявшимъ тогда въ эмигрантахъ, извѣстнымъ В. Кельсиевымъ, прiѣхавшимъ въ Москву по подложному иностранному паспорту; никакихъ практическихъ результатовъ это свиданiе не имѣло и Афанасьевъ былъ освобожденъ отъ слѣдствiя, но тѣмъ не менѣе потерялъ службу, которая такъ отвѣчала направленiю его ученыхъ работъ, а со службой и средства существованiя. Начались заботы о кускѣ хлѣба для себя и для семьи; только послѣ усиленныхъ хлопотъ онъ получилъ въ Москвѣ мѣсто секретаря въ думѣ, а потомъ секретаря мирового съѣзда: существованiе его было этимъ нѣсколько обезпечено, но за то служебныя обязанности почти не оставляли досуга для тѣхъ работъ, которыя были настоящимъ дѣломъ его жизни. Въ прежнее время у него собралась замѣчательная, драгоценная библиотечка книгъ рукописей: она не помѣщалась въ тѣсной квартирѣ, была сложена въ сарай, а затѣмъ при домашнихъ недостаткахъ продана — по обыкновенiю за безцѣнокъ. Надо удивляться, какъ въ этихъ тяжелыхъ условiяхъ Афанасьевъ могъ совершить свой замѣчательный трудъ, изданный въ эти самые годы

¹⁾ Напр. „Государственное устройство при Петрѣ Великомъ“, въ „Современникѣ“, 1847, № 6—7; о „Вотчинахъ и помѣстьяхъ“, въ „Отеч. Запискахъ“, 1848, № 6—7; рядъ критическихъ разборовъ книгъ по русской исторiи, какъ напр. „Исторiя финансовыхъ учреждений“ гр. Д. Толстого, „Исторiя русской церкви“ епископа Филарета, „Дневника Гордова“ и мног. др.

и требовавшей сложных поисковъ и упорнаго вниманія: это могла сдѣлать только преданная любовь къ наукѣ и къ изучаемому народу.

Какъ мы замѣтили, Аванасьевъ еще юношей, въ концѣ сороковыхъ годовъ, выступилъ съ серьезными работами по исторіи, потомъ по исторіи литературы, особливо XVIII вѣка: въ этой послѣдней области ему принадлежитъ нѣсколько интересныхъ трудовъ ¹⁾. Уже вскорѣ однако главный научный интересъ Аванасьева обратился на другую область народной старины—на объясненіе народнаго мѣта, преданій, поэзіи и слѣдовъ древности въ современномъ бытѣ и обычаяхъ. Первая инициатива этого направленія дана была, какъ объяснено выше, въ трудахъ г. Буслаева и частію Срезневскаго; наряду съ ними Аванасьевъ явился самымъ ревностнымъ работникомъ на этомъ поприщѣ, въ то время еще совершенно новомъ въ нашей литературѣ. Переходъ отъ прежнихъ историческихъ занятій къ этой древности былъ впрочемъ естественный: археолого-этнографическія изысканія исходили изъ того же общаго историческаго интереса—стремленія объяснить генезисъ развитія. Казалось, что въ этихъ новыхъ изслѣдованіяхъ наука подойдетъ къ самымъ первымъ зачаткамъ народной жизни и мысли—миеологической и бытовой, къ исходному пункту дальнѣйшей сложной исторіи. Родоначальникомъ новой науки для нашихъ изслѣдователей былъ Яковъ Гриммъ, и какъ у него „Нѣмецкой Миеологіи“ предшествовали „Древности нѣмецкаго права“, такъ и у насъ старая народная миеологія привлекла вниманіе новыхъ изслѣдователей наряду съ древностями бытовыми. Дальнѣйшая дѣятельность Аванасьева на этомъ пути совершалась послѣ Гримма, подъ вліяніемъ Куна и Шварца, затѣмъ Макса Мюллера и Пиктѣ.

Новыми поисками были заинтересованы и тѣ историки, которые, какъ замѣчено, около того же времени обновляли и расширяли русскую исторію, ставя вопросъ о внутреннемъ ходѣ историческаго развитія, какъ Соловьевъ и Кавелинъ; послѣдній даже ранѣе, и независимо отъ филологовъ-этнографовъ, приходилъ къ подобному генетическому объясненію народнаго обычая. Съ первыхъ 1850-хъ годовъ идетъ длинный рядъ трудовъ Аванасьева въ этомъ направленіи ²⁾.

¹⁾ „Русскіе сатирическіе журналы. Эпизодъ изъ исторіи прошлаго столѣтія“. М. 1859, и нѣсколько статей по тому же предмету. „Библиографическія Записки“, 1858—59, гдѣ между прочимъ помѣщено нѣсколько его собственныхъ любопытныхъ статей о маловѣстныхъ явленіяхъ нашей литературы XVIII и XIX столѣтій,—были замѣчательнымъ предпріятіемъ для своего времени, не потерявшимъ цѣны и понынѣ.

²⁾ Въ „Архивѣ историко-юридич. свѣдѣній“ Калачова, въ „Извѣстіяхъ“ II отд. Академіи, „Отеч. Запискахъ“, „Современникѣ“, „Библ. для чтенія“, въ альманахѣ „Комета“, „Филологическихъ Запискахъ“ г. Хованскаго и др.

Кромѣ общихъ вопросовъ о началѣ и развитіи мѣа здѣсь объяснены были отдѣльныя частности древняго преданія съ его отголосками въ живомъ народномъ обычаѣ. вмѣстѣ съ тѣмъ Анансьевъ предпринялъ изданіе самыхъ памятниковъ народнаго преданія и поэзіи. Таковы были извѣстныя „Русскія народныя сказки“¹⁾, первый научно исполненный сборникъ этого рода въ нашей литературѣ, составленный въ значительной мѣрѣ по матеріаламъ Географическаго Общества: въ предисловіи Анансьевъ указывалъ значеніе сказки какъ остатка до-историческаго преданія, откуда объясняется замѣчательное сходство сказокъ у разныхъ народовъ, отмѣтилъ немногія прежнія изданія сказокъ, въ примѣчаніяхъ приводилъ параллели изъ сказокъ другихъ народовъ и изъ лубочныхъ изданій. Вторымъ замѣчательнымъ изданіемъ Анансьева было собраніе легендъ²⁾, къ сожалѣнію потомъ, и не для пользы науки, по цензурнымъ причинамъ не повторенное и ставшее библиографическою рѣдкостью.

Главнѣйшимъ трудомъ Анансьева была книга: „Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу“, о которыхъ подробно скажемъ далѣе. Это—громадная работа, гдѣ Анансьевъ, изложивъ теорію мѣа, насколько онъ выработалъ ее на основаніи изысканій, авторитетныхъ тогда въ западной наукѣ, далъ систематическій обзоръ русскихъ и славянскихъ мѣическихъ преданій; для этого онъ сопоставилъ разнообразный матеріалъ славянскій и русскій, воспользовавшись обширными, хотя отрывочными, данными въ литературѣ и особливо въ мало извѣстныхъ и мало доступныхъ провинціальныхъ изданіяхъ. Исходя изъ теорій Гримма, Шварца, Макса Мюллера и пр., Анансьевъ и въ свое время понималъ ихъ съ нѣкоторыми преувеличеніями, увѣренный въ непогрѣшимости своихъ авторитетовъ; не мудрено, что впоследствии, и даже скоро, когда въ изслѣдованіе предмета вошли новыя точки зрѣнія, какъ теорія заимствованій Бенфея и т. п., излишества прежняго приѣма становились тѣмъ ощутительнѣе,—но книга Анансьева несмотря на то остается и вѣроятно еще долго останется драгоценнымъ сборникомъ приведенныхъ въ порядокъ данныхъ, какъ опытъ цѣльнаго изложенія, какіе у насъ къ сожалѣнію слишкомъ рѣдки. Трудъ Анансьева остался недовершеннымъ: за изложеніемъ „поэтическихъ воззрѣній“ должно было слѣдовать изложеніе древностей бытовыхъ.

¹⁾ Восемь выпусковъ. М. 1855—1863. Нѣкоторые выпуски были переведаны. Изд. 2-е, 1873. Кромѣ того изданъ былъ имъ „Русскія дѣтскія сказки“, съ картинками. 2 части. М. 1870.

²⁾ Народныя русскія легенды, собранныя А. Н. Анансьевымъ. М. 1859. XXXII и 203 стр. Всего 33 номера; со стр. 115 помѣщены объяснительныя примѣчанія и варианты.

Труды Аванасьева имѣютъ также большую цѣну для русской археологіи. Онъ изучалъ мѣо и преданіе не въ одной области народной поэзіи: предполагая въ первобытныя времена повсюдное господство мѣо, какъ состоянія мысли, наполнявшаго и бытъ, Аванасьевъ слѣдилъ отраженіе и примѣненіе мѣо также во внѣшнемъ обычаѣ и обрядѣ. Въ его первыхъ работахъ уже намѣчены вопросы археологіи быта, когда онъ старался объяснить археологическое значеніе „избы славянина“ или нашего „Домостроя“, или объяснялъ смыслъ извѣстнаго обряда, символическаго дѣйствія и пр.; множество замѣтокъ подобнаго рода разсѣяно въ его главномъ трудѣ. Эта бытовая археологія, затронутая Аванасьевымъ — хотя и съ слишкомъ исключительной точки зрѣнія, до сихъ поръ еще мало разработана въ нашей наукѣ.

Такимъ образомъ дѣятельность Аванасьева касалась весьма различныхъ областей нашей старины: начавъ съ историко-юридическихъ изслѣдованій о нашемъ XVII вѣкѣ, онъ работалъ надъ исторіей литературы и нравовъ прошлаго и нынѣшняго вѣка, далъ замѣчательныя для своего времени и до сихъ поръ незамѣненные другими изданія русскихъ народныхъ сказокъ и легендъ, далѣе, сосредоточилъ свои труды на изслѣдованіи мѣологическихъ преданій русскихъ и славянскихъ, наконецъ, на археологіи быта.

Онъ умеръ 23 сентября 1871 года. Какъ личный характеръ, Аванасьевъ оставилъ по себѣ память безупречнаго человѣка, горячо преданнаго интересамъ науки, работавшаго для нея съ рѣдкимъ трудолюбіемъ, доходившимъ до самоотверженія, и вмѣстѣ принимавшаго къ сердцу живые вопросы общественной жизни. Воспитавшись въ просвѣщенномъ кругѣ сороковыхъ годовъ, Аванасьевъ сохранялъ выработавшійся въ то время складъ понятій объ общественныхъ предметахъ: труды по археологіи и этнографіи не сдѣлали его ни консерваторомъ, ни національнымъ мистикомъ; его одушевляла мысль о просвѣщеніи и общественномъ благѣ народа, и кромѣ научнаго интереса, его изученія старины проникались стремленіемъ разяснить внутреннюю жизнь народа, внушить къ ней любовь и уваженіе. То гуманно-поэтическое настроеніе, которое мы указывали у Гримма, какъ нравственное сопровожденіе научной теоріи, встрѣтилось и сошло у русскаго изслѣдователя съ его собственнымъ нравственнымъ содержаніемъ, воспитавшимся на лучшихъ стремленіяхъ нашихъ сороковыхъ годовъ ¹⁾.

¹⁾ Біографическія свидѣнія объ Аванасьевѣ и оцѣнка его трудовъ:

— Отрывокъ изъ воспоминаній Ае., въ „Р. Архивъ“ 1872, № 3 — 4 (о гимназическомъ ученіи).

Итакъ, въ своихъ трудахъ, посвященныхъ этнографіи, Аеанасьевъ остановился въ особенности на вопросахъ миеологии. Книга, въ которой онъ собралъ свои изслѣдованія, представляетъ цѣлое систематическое изложеніе предмета, охватываетъ весь горизонтъ древней миеологии. Она давала большой запасъ миеологическихъ фактовъ и объясненій и стала кодексомъ, по которому тѣ же взгляды распространялись далѣе, въ новыя изслѣдованія, въ популярныя изложенія и въ учебники ¹⁾).

Основной взглядъ Аеанасьева—тотъ же, основанный на трудахъ Гримма и его продолжателей, а именно Куна, Шварца, Маннгардта, наконецъ, Макса Мюллера.

Могущественное вліаніе Гриммовой „Миеологии“ оказалось въ явленіи многочисленной школы изыскателей, которые съ одной стороны ревностно принялись за собираніе сказокъ, преданій и т. п., —подъ руками Гримма доставлявшихъ такой благодарный матеріалъ для раскрытія миеологической древности,—съ другой развивали самый методъ изслѣдованія. Особенно важныя новыя изысканія сдѣланы были учеными, имена которыхъ мы назвали.

Гриммъ въ своей картинѣ древняго нѣмецкаго язычества и средне-вѣковой популярной религіи задавался научно-патріотической цѣлью: онъ хотѣлъ защитить старину, воссоздавая то міровоззрѣніе, въ какомъ жили отдаленнѣйшіе предки его народа, отыскать въ остаткахъ его возвышенныя и поэтическія черты, которыхъ такъ долго не замѣчали въ этой древности, указать въ нихъ то нравственное достоин-

— „Московскій университетъ въ воспоминаніяхъ А. Н. Ае., 1848—1849“. Сообщ. Е. А. Аммонъ, въ „Р. Старинѣ“, 1886, августъ.

— Перечень трудовъ Ае., имъ самимъ составленный, въ „Р. Архивѣ“, 1871, ст. 1948—55.

— Некрологъ Ае., К. Бестужева-Рюмина, въ Журн. Мин. Просв. 1871, № 10, стр. 319—321.

— „Памяти Аеанасьева“, М. Де-Пуле, Сиб. Вѣдомости, 1871, № 298.

— Краткая біографія, П. Ефремова, въ „Р. Старинѣ“ 1872, V, стр. 787—790.

— Справочный словарь, Геннади, Берлинъ, 1876, I, стр. 54—55.

— Критико-біографическій словарь, Венгерова, Сиб. 1889, I, стр. 860—870, ст. А. Киричичикова.

Разборъ „Поэтическихъ Воззрѣній“, А. Котляревскаго, въ X-мъ и XIII-мъ при-сужденіяхъ Уваровскихъ премій, 1867 и 1872 г. (Сочиненія А. А. Котляревскаго, т. II, Сиб. 1889, стр. 256—359); о „Сказкахъ“: „Извѣстія“ П отд. Акад., т. IV, вып. 7; т. V, вып. 6; статья г. Буслаева въ „Р. Вѣстникѣ“ 1856, № 2, стр. 85—94; ст. А. Котляревскаго, „Сиб. Вѣдомости“ 1864, № 94, 100, 108, и въ „Сочиненіяхъ“, т. II, стр. 27—60.

¹⁾ Поэтическія воззрѣнія Славянъ на природу. Опытъ сравнительнаго изученія славянскихъ преданій и вѣрованій, въ связи съ мненіями сказаніями другихъ родственныхъ народовъ. Три большихъ тома. Москва, 1865, 1868, 1869.

ство, съ которымъ выступилъ народъ съ первыхъ шаговъ своихъ въ исторію... Наукѣ предстояли затѣмъ другія задачи: съ одной стороны ученые старались умножить миеологическій матеріалъ, спѣша собирать его изъ устъ народа; съ другой являлась необходимость опредѣлить вопросы, не вполне выясненные Гриммомъ,—установить путь изслѣдованія, и, наконецъ, выяснить самый процессъ созданія миеологии, образованіе миеа, его возростаніе, его значеніе, какъ поэзіи и какъ религіи, его превращенія и упадокъ, и т. д. Особенно важныя изслѣдованія сдѣланы были учеными, имена которыхъ мы назвали. Большое вліяніе приобрѣли уже вскорѣ труды Адальберта Куна, одного изъ главнѣйшихъ авторитетовъ въ области сравнительнаго языкованія ¹⁾. Кунъ распространилъ методъ Гримма на область индо-европейскую, и съ одной стороны прослѣдилъ въ памятникахъ санскрита развитіе миеа, отъ старѣйшихъ представленій до цѣлой развитой системы, съ другой, указалъ возможность раскрытія того первобытнаго начала, которое лежало въ основѣ этого развитія и послужило источникомъ для образованія миеологии греческой и римской. Съ этими результатами было подорвано старое представленіе о миеологии народа какъ готовой системѣ, и задачей науки становился вопросъ объ ея *развитіи*. Изслѣдованіе нѣмецкой и вообще иной ново-европейской миеологии неразрывно связывалось съ объясненіемъ миеологии классическихъ, и вообще арійскихъ племенъ. На этой новой ступени наука охватывала все болѣе и болѣе обширный горизонтъ. Исключительно національная точка зрѣнія расширялась до изслѣдованія всей индо-европейской семьи народовъ; изслѣдованія Макса Мюллера направились на изученіе самой сущности миеа; основаніе „народной психологіи“ ставило вопросъ объ общихъ законахъ религіознаго мышленія, на общечеловѣческой почвѣ. Это широкое развитіе научныхъ изысканій о миеѣ и религіи Маннгардтъ приписываетъ именно возбужденіямъ Куна ²⁾.

Въ собираніи нѣмецкихъ народныхъ преданій, еще съ начала сороковыхъ годовъ, сотрудникомъ Куна былъ другой ученый, получившій потомъ также авторитетное имя въ миеологической наукѣ—В. Шварцъ ³⁾. Во время своихъ собирательскихъ работъ эти ученые

¹⁾ Кунъ съ 1852 издавалъ „Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung“, гдѣ помѣщено много его миеологическихъ трудовъ; вмѣстѣ съ знаменитымъ языковѣдомъ Шлейхеромъ—Beiträge zur vergl. Sprachforschung. Извѣстнѣйшій трудъ Куна есть: Herabkunft des Feuers und des Göttertranks. Berl. 1859; Entwicklungsstufen des Mythos, въ Abhandlungen берлинской академіи, 1878.

²⁾ Wald- und Feldkulte, II, стр. XVI.

³⁾ Главнѣйшіе труды его по этому предмету:—Der heutige Volksglaube und das alte Heidenthum, mit Bezug auf Norddeutschland. Berl. 1849, 2-е изд. 1862;—

обратили вниманіе на совпаденіе нѣкоторыхъ преданій съ живымъ народнымъ взглядомъ на природу: это привело Куна къ наблюденію аналогическихъ явленій въ индійскихъ Ведахъ; Шварцъ пришелъ къ выводу, что въ сказаніяхъ, живущихъ доннѣ въ народѣ, заключается такъ-называемая имъ „низшая мѣологія“, которая до настоящаго времени сохраняетъ прежнее состояніе, зачаточную форму позднѣйшихъ божествъ,—хотя бы эти послѣднія были извѣстны теперь изъ очень древнихъ историческихъ свидѣтельствъ. Такимъ образомъ, въ современномъ преданіи мы имѣемъ не ослабленные отголоски болѣе развитой первобытной мѣологіи (предполагавшейся, напр., въ Эддѣ), какъ думалъ Гриммъ, но именно древнѣйшіе мотивы, изъ которыхъ она сама нѣкогда развилась. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сдѣлалъ важное наблюденіе тѣхъ перемѣнъ, какія испытываетъ преданіе, переходя изъ устъ въ уста. Своими изслѣдованіями подобныхъ остатковъ первобытнаго, болѣе грубаго мировоззрѣнія въ мѣологіи и другихъ народовъ, Шварцъ способствовалъ дальнѣйшему развитію науки. Но въ предѣлахъ спеціально мѣологическихъ толкованій онъ не сохранилъ, однако, своихъ первыхъ болѣе широкихъ взглядовъ. Позднѣе, и именно въ главныхъ трудахъ своихъ, онъ, вмѣстѣ съ Куномъ, слишкомъ тѣсно объяснялъ самый источникъ народнаго мѣологическаго творчества.* Вся мѣологія, по этимъ толкованіямъ, состояла только въ перенесеніи на землю образовъ явленій природы и, у Шварца, спеціально явленія бури и грозы,—теорія, которая особенно понравилась нашимъ изслѣдователямъ, внесла много фантастическаго произвола въ изложеніе славяно-русской мѣологіи и много повредила замѣчательному труду Аонасьева ¹⁾).

Книга Куна о „Низведеніи огня“ вышла въ 1859; а незадолго передъ тѣмъ, въ 1856, вышли „Оксфордскія статьи“, которыми открылась плодотворная, оригинальная и вліятельная дѣятельность Макса Мюллера, знаменитаго санскритиста, сравнительнаго языковѣда и мѣолога ²⁾).

Der Ursprung der Mythologie, dargelegt an griechischer und deutscher Sage, 1860; — Sonne, Mond und Sterne. Ein Beitrag zur Mythologie und Culturgeschichte der Urzeit, 1864.

¹⁾ Хотя уже у Гримма (Mythol., 2-е изд., стр. XLVII) можно было найти предостереженіе противъ такой односторонности: „heidnische Götter darf man ausschließlich weder auf Astrologie und Calender noch auf Elementarkräfte, noch auf sittliche Gedanken, vielmehr nur auf ein beständiges unablässiges Wechselwirken dieser aller zurückbringen“—что онъ самъ и дѣлалъ.

²⁾ Максъ Мюллеръ уже съ 1840-хъ годовъ былъ извѣстенъ своими трудами въ области санскритской литературы. Промедливъ ученую школу нѣмецкую, онъ дѣйствовалъ большую часть своей жизни въ Англии; по-англійски являлись и его ученые труды:—Oxford Essays, 1856, гдѣ являлась его „Сравнительная мѣологія“, переведен-

М. Мюллеръ выступилъ съ широкой, своеобразной теоріей. Онъ принялъ въ древнѣйшей, до-исторической жизни народовъ четыре періода развитія: въ первый, „ремагическій“, періодъ совершалось образованіе корней и первоначальныхъ грамматическихъ формъ; во второй, періодъ „діалектовъ“, произошло обособленіе трехъ основныхъ семействъ языковъ—семитическаго, арійскаго и туранскаго; въ третій, періодъ „миеологическій“, происходило образованіе тѣхъ странныхъ, иногда нелѣпныхъ народныхъ разсказовъ, которые извѣстны подъ названіемъ миеовъ, и такъ какъ въ этомъ періодѣ арійское, или индо-европейское, семейство еще не разбилось на отдѣльные народы, то отсюда произошло чрезвычайное сходство, почти тождество миеовъ у народовъ этого семейства. Наконецъ, въ четвертомъ періодѣ, періодѣ „народовъ“, являются первые слѣды народныхъ языковъ и національныхъ литературъ въ Индіи, Греціи, Италиі, Германіи. Въ періодѣ созданія миеовъ, языкъ отличался чувственнымъ, нагляднымъ характеромъ, называлъ только предметы и ихъ доступныя чувствамъ состоянія; понятій и словъ отвлеченныхъ,—требующихъ сознательной работы мысли,—еще не было, и вслѣдствіе того явленія природы, годовыя и суточные перемѣны, гроза и буря были олицетворяемы. Созданіе миеовъ объясняется этимъ свойствомъ первобытнаго языка и тѣми явленіями его, которыя М. Мюллеръ называетъ полинимизмомъ и синонимизмомъ (многоименностью и соименностью). Такъ какъ предметы назывались по внѣшнимъ признакамъ, а этихъ признаковъ могло быть много, то одинъ и тотъ же предметъ могъ получать много различныхъ названій, которыя въ этомъ случаѣ бывали синонимическими. Но въ то же время одинъ признакъ могъ принадлежать многимъ предметамъ, и они по этому общему признаку могли получать одно названіе. Многія изъ этихъ названій бывали метафорическими, и когда метафоры, съ теченіемъ времени, затемнялись и измѣнялось первоначальное значеніе словъ, то въ результатъ нарицательныя слова дѣлались собственными, наприм., слово, означавшее

вая по-русски въ „Лѣтописяхъ русской литературы и древности“ Тихонравова, т. V, 1868 (французскій переводъ съ болѣе полнаго изданія: *Essais sur la mythologie comparée, les traditions et les coutumes*, Paris, 1874);—*Lectures on the science of language*, двѣ серіи, 1862—64, явились также въ нѣмецкомъ переводѣ (*Vorlesungen etc.*) и по-русски: „Чтенія по наукѣ о языкѣ“, Спб. 1866, 1-я серія, а 2-я серія, поддѣле, въ „Филологич. Запискахъ“; — *Ships from a German workshop*, 4 vol., Lond. 1867—75;—даже книга о сравнительной наукѣ религіи (нѣмецкій переводъ: *Einleitung in die vergleichende Religionswissenschaft, nebst zwei Essays „über falsche Analogien“ und „über Philosophie der Mythologie“*, Strassburg 1873) и проч.

Разборъ его теоріи въ статьѣ г. В. Плотникова: „Замѣтки о сравнительной миеологіи Макса Мюллера“, въ *Филол. Записк.* 1879, вып. 2 и 6.

„небо“, превращалось въ имя небеснаго божества. Съ этимъ начинался мифъ. Такимъ образомъ, „чтобы стать миеологическими, извѣстные слова должны были потерять свое коренное значеніе“, и слѣдовательно миеологія происходитъ отъ ненормальнаго состоянія языка. М. Мюллеръ прямо высказываетъ свое знаменитое мнѣніе, что „миеологія есть *болѣзнь* языка“.—Для анализа миеа необходимо предварительно „очистить“ его, т. е. выдѣлить его сущность отъ позднѣйшихъ приставокъ, поэтическихъ украшеній и т. п.; и затѣмъ сущность миеа выясняется или прямо изъ самаго языка того народа, которому онъ принадлежитъ (объясненіе собственнаго имени божества его нарицательнымъ значеніемъ), или, если въ самомъ языкѣ это слово затемнилось, сравненіемъ съ языками родственными. Отсюда — „сравнительная миеологія“.

Что касается объективнаго содержанія миеовъ, то М. Мюллеръ изъ своего изученія арійскихъ миеовъ пришелъ къ выводу, что въ основѣ почти всѣхъ миеовъ лежитъ представленіе о *солнцѣ*, — въ противоположность взглядамъ Куна, который, по его мнѣнію, слишкомъ исключительно привязывалъ миеы къ мимолетнымъ явленіямъ облаковъ, бури и грома.

Наконецъ, должно назвать Вильгельма Маннгардта въ числѣ миеологовъ, которыхъ часто цитировалъ Афанасьевъ. Маннгардтъ былъ однимъ изъ самыхъ талантливыхъ и трудолюбивыхъ дѣятелей въ этой области. Его первые труды ¹⁾,—одни извѣстные Афанасьеву,—были вѣрнымъ повтореніемъ идей Гримма и примѣненіемъ его метода къ массѣ новыхъ собранныхъ фактовъ. Впослѣдствіи Маннгардтъ, какъ выше упомянуто, убѣдился въ ошибкахъ метода и въ послѣднихъ трудахъ ²⁾ становился на новый путь изслѣдованія.

Афанасьевъ начинаетъ свои изысканія съ вопроса о происхожденіи миеа. методъ и средствахъ его изученія.

„Богатый и можно сказать—*единственный* источникъ разнообразныхъ миеическихъ представленій есть *живое слово* человѣческое, съ его метафорическими и созвучными выраженіями.. Въ жизни языка, относительно его организма, наука различаетъ два различныхъ періода: періодъ его образованія, постепеннаго сложенія (развитія формъ) и періодъ упадка и расчлененія (превращеній). Первый періодъ задолго предшествуетъ такъ-называемой исторической жизни народа, и единственнымъ памятникомъ отъ этой глубочайшей старины остается *слово*, запечатлѣвающее въ своихъ первоначальныхъ выраженіяхъ весь внутренній міръ человѣка. Во второй періодъ прежняя стройность языка нарушается...; этому времени по преимуществу соотвѣтствуетъ забвеніе ко-

¹⁾ Germanische Mythen. Forschungen. Berlin, 1858; Die Götterwelt der deutschen und nordischen Völker. I. Berlin, 1860; дарѣ: „Korndämonen“, „Baumkultus“ и пр.

²⁾ Wald- und Feldkulte. Mythologische Untersuchungen. 2 Teile. Berlin, 1875—77.

ренного значенія словъ. Оба періода оказываютъ весьма значительное вліяніе на созданіе баснословныхъ представленій.

„Всякій языкъ начинается съ образованія корней...; такіе корни, представляющіе собою безразличное начало и для имени и для глагола, выражали не болѣе какъ *признаки, качества, общіе* для многихъ предметовъ и потому удобноприлагаемы для обозначенія каждаго изъ нихъ. Возникавшее понятіе пластически обрисовывалось словомъ, какъ вѣрнымъ и мѣткимъ *эпитетомъ*... По разнообразію признаковъ, одному и тому же предмету или явленію придавалось по нѣскольку различныхъ названій. Предметъ обрисовывался съ разныхъ сторонъ, и только во множествѣ *синонимическихъ* выраженій получалъ свое полное опредѣленіе. Но... каждый изъ этихъ синонимовъ, обозначая извѣстное качество одного предмета, *въ то же самое время* могъ служить и для обозначенія подобнаго же качества многихъ другихъ предметовъ, и такимъ образомъ связывать ихъ между собою. Здѣсь-то именно кроется тотъ богатый родникъ *метафорическихъ* выраженій, чувствительныхъ къ самымъ тонкимъ оттѣнкамъ физическихъ явленій, который поражаетъ насъ своею силою и обиліемъ въ языкахъ древнѣйшаго образованія... (Съ теченіемъ вѣковъ первоначальное живое значеніе корней забывается; народъ стремится обратить языкъ въ простое орудіе для передачи своихъ мыслей; метафоры теряли свой поэтический смыслъ и стали обращаться въ простыя непереносныя выраженія). Вслѣдствіе такихъ вѣковыхъ утратъ языка, превращенія звуковъ и подновленія понятій, лежавшихъ въ словахъ, исходный смыслъ древнихъ реченій становился все темнѣе и загадочнѣе и начинался неизбежный процессъ *мионическихъ оболженій*, которыя тѣмъ крѣпче опутывали умъ челоѣка, что дѣйствовали на него неотразимыми убѣжденіями родного слова. Стоило только забыть, затеряться первоначальной связи понятій, чтобы метафорическое уподобленіе получило для народа все значеніе дѣйствительнаго факта и послужило поводомъ къ созданію цѣлаго ряда баснословныхъ сказаній. Свѣтила небесныя уже не только въ переносномъ, поэтическомъ смыслѣ именуется „очами неба“, но въ самомъ дѣлѣ представляются народному уму подѣ этимъ живымъ образомъ, и отсюда возникаютъ мненія о тысячеглазыхъ, неусыпномъ ночномъ стражѣ—Аргусѣ и одноглазыхъ божествѣ солнца; извилистая молнія является огненнымъ змѣемъ, быстролетныя вѣтры надѣляются крыльями, владыка гѣтнихъ грозъ—огненными стрѣлами. Въ началѣ народъ еще удерживалъ сознаніе о тождествѣ созданныхъ имъ поэтическихъ образовъ съ явленіями природы, но съ теченіемъ времени это сознаніе болѣе и болѣе ослабѣвало и, наконецъ, совершенно терялось; мионическія представленія отдѣлялись отъ своихъ стійкихъ основъ и принимались какъ вѣчто особое, независимо отъ нихъ существующее... Тамъ, гдѣ для одного естественнаго явленія существовали два, три и болѣе названій,—каждое изъ этихъ именъ давало обыкновенно поводъ къ созданію особеннаго, отдѣльнаго мионическаго лица, и обо всѣхъ этихъ лицахъ повторялись совершенно тождественныя исторіи; такъ, на примѣръ, у грековъ рядомъ съ Фебомъ находимъ Геліоса. Нерѣдко случалось, что постоянные эпитеты, соединяемые съ какимъ-нибудь словомъ, вмѣстѣ съ нимъ прилагались и къ тому предмету, для котораго означенное слово служило метафорой: солнце, будучи разъ названо *львомъ*, получало и его когти, и гриву, и удерживало эти особенности даже тогда, когда забывалось самое животненное уподобленіе. Подѣ такимъ чарующимъ водѣвствіемъ звуковъ языка слалались и религіозныя, и нравственныя убѣжденія челоѣка... Если передожить простыя, общепринятая нами выраженія о различныхъ проявленіяхъ силъ природы на языкъ

глубочайшей древности, то мы увидѣли бы себя отовсюду окруженными мифами, исполненными яркихъ противорѣчій и несообразностей: одна и та же стихійная сила представлялась существомъ и безсмертнымъ, и умирающимъ, и въ мужскомъ, и въ женскомъ полѣ, и супругомъ извѣстной богини и ея сыномъ, и такъ даѣе, смотря по тому, съ какой точки зрѣнія посмотрѣлъ на нее человекъ и какія поэтическія краски придалъ таинственной игрѣ природы... Мифъ есть древнѣйшая поэзія, и какъ свободны и разнообразны могутъ быть поэтическія воззрѣнія народа на міръ, такъ же свободны и разнообразны и созданія его фантазіи, живописующей жизнь природы въ ея ежедневныхъ и годичныхъ превращеніяхъ“ (Поэт. воззрѣнія Слав. I, стр. 5—12).

Таково основное понятіе о происхожденіи мифа. Въ его дальнѣйшемъ историческомъ развитіи Аенасъевъ отмѣчаетъ слѣдующія главные явленія: а) раздробленіе мифическихъ сказаній, — по разнымъ отраслямъ племени, по разнымъ вѣкамъ; б) низведеніе мифовъ на землю и прикрѣпленіе ихъ къ извѣстной мѣстности и историческимъ событіямъ; наконецъ, в) нравственное (этическое) мотивированіе мифическихъ сказаній.

И такъ какъ „зерно, изъ котораго выростаеъ мифическое сказаніе, кроется въ первоизданномъ словѣ“, то для изслѣдованія его необходимо содѣйствіе сравнительной филологіи. Указавъ, какъ современная наука проникаетъ уже въ глубочайшую старину арійскихъ языковъ (цитируется Пиктѣ, *les Origines indo-européennes ou les Aryas primitifs*, и Максъ Мюллеръ), Аенасъевъ повторяетъ свое заключеніе: „Изъ всего сказаннаго очевидно, что главнѣйшій источникъ для объясненія мифическихъ представленій заключается въ языкѣ. Воспользоваться его указаніями — задача широкая и нелегкая; къ допросу должны быть призваны и литературные памятники прежнихъ вѣвовъ, и современное слово, во всемъ разнообразіи его мѣстныхъ, областныхъ отличій... Просвѣщеніе, подвинутое христіанствомъ, могло одухотворить матеріальный смыслъ тѣхъ или другихъ словъ, поднять ихъ до высоты отвлеченной мысли, но не могло измѣнить ихъ внѣшняго состава; звуки остались тѣ же, и съ помощью ученаго анализа позднѣйшая мысль, наложенная на слово, можетъ быть снята и первоначальное его значеніе восстановлено. Особенною силою и свѣжестью дышетъ языкъ эпическихъ сказаній и другихъ памятниковъ устной словесности: памятники эти крѣпкими узами связаны съ умственными и нравственными интересами народа, въ нихъ запечатлѣны результаты его духовнаго развитія и заблужденій, а потому, вмѣстѣ съ живущими въ народѣ преданіями, повѣрьями и обрядами, они составляютъ самый обильный матеріалъ для мифологическихъ изслѣдованій“. Поэтому Аенасъевъ останавливается на предварительномъ объясненіи этихъ источниковъ мифологіи, какъ 1) загадки; 2) пословицы, поговорки,

присловья, прибаутки, примѣты; 3) заговоры; 4) пѣсни, напр. обрядовыя, а особливо богатырскія; 5) сказки ¹⁾).

Изъ этихъ общихъ положеній видно, что Аванасьевъ понималъ сущность и происхожденіе мѣа именно въ томъ смыслѣ, какъ они объяснялись въ нѣмецкой школѣ сравнительной мѣологии у Гримма, а затѣмъ особенно у Куна, Шварца и Макса Мюллера. Правда, Аванасьевъ самъ изучалъ внимательно предметъ; нѣкоторые его взгляды сложились раньше знакомства съ теоріями Шварца или Макса Мюллера; онъ умѣлъ обойти крайности Мюллера относительно „болѣзни языка“ ²⁾, и Маннгардтъ называлъ его „самымъ разсудительнымъ“ изъ учениковъ Шварца ³⁾; но недостатки самаго существа системы отразились и на его трудѣ.

Приводимъ опять слова Маннгардта.

„Мы охотно признаемъ, что Куну удалось рѣшить много загадокъ, во многихъ случаяхъ выиснить связь явленій. Но я не воздержусь отъ признанія, что по моему мнѣнію сравнительная индоевропейская мѣология еще не принесла тѣхъ плодовъ, которыхъ съ такими большими надеждами отъ нея ожидали. *Вѣрное* приобрѣтеніе ограничивается нѣсколькими отдѣльными фактами... Именно сравненія божествъ (у Куна), кажущіяся на первый взглядъ самыми правдоподобными, и большая доля параллелей, сдѣланныхъ въ знаменитой книгѣ о „Низведеніи огня“, по моему убѣжденію не выдерживаютъ болѣе внимательной критики; я опасуюсь, что исторія науки нѣкогда увидитъ въ нихъ скорѣе блестящую игру остроумія,

¹⁾ Книга Аванасьева обнимаетъ весь кругъ древнихъ русско-славянскихъ взглядовъ на природу, или цѣлую мѣологию.

Т. I, главы I—XIV: Происхожденіе мѣа, методъ и средства его изученія.—Свѣтъ и тьма.—Небо и земля.—Стихія свѣта въ ея поэтическихъ представленіяхъ.—Солнце и богиня весеннихъ грозъ.—Гроза, вѣтры и радуга.—Живая вода и вѣщее слово.—Ярило.—Илья-громовникъ и огненная Марія.—Баснословныя сказанія о птицахъ.—Облаво.—Баснословныя сказанія о звѣрихъ.—Небесныя стада.—Собака, волкъ и свинья.

Т. II, гл. XV—XXI: Огонь.—Вода.—Древо жизни и лѣсные духи.—Облачныя скалы и Перуновъ цвѣтъ.—Преданія о сотвореніи міра и человѣка.—Зигѣй.—Великаны и карлики.

Т. III, гл. XXII—XXVIII: Нечистая сила.—Облачныя жены и дѣвы.—Души усопшихъ.—Дѣвы судьбы.—Вѣдунъ, вѣдьма, упрны и оборотни.—Процессы о колдунахъ и вѣдьмахъ.—Народные праздники.

Аванасьевъ намѣревался закончить сочиненіе XXIX-й главой: „Очеркъ стародавнаго бита славянъ, ихъ свадебные и похоронные обряды“, затѣмъ думалъ составить изъ нея особую монографію,—но планъ остался неисполненнымъ.

²⁾ Ср. замѣчаніе Котляревскаго, въ сборѣ книгъ Аванасьева, Отчетъ о 10-мъ присужденіи наградъ гр. Уварова. Спб. 1868, стр. 48.

³⁾ Wald- und Feldkulte, II, XXV.

чѣмъ довазанные факты. Уже то обстоятельство, что они не обнаруживаютъ той *прочно* плодотворной силы, какаѣ принадлежала филологическимъ открытіямъ Гримма и Боппа, должно возбуждать недовѣріе къ ихъ истинности и внушать осторожность даже при обсужденіи очень вѣроятныхъ отождествленій... Нѣтъ сомнѣній, что въ первобытной арійской родинѣ кромѣ языка была также и общая основа религиозныхъ представленій, и Веды сохраняютъ ихъ старѣйшіе, достигшіе до насъ, отголоски; но чтобы оттуда сохранились въ европейскихъ миеологіяхъ и болѣе выработанные сложные мненія, еще остается пока открытымъ вопросомъ. Что мы еще не двинулись далѣе, въ томъ виновать не принципъ, но примѣненный методъ, основная ошибка котораго заключается въ недостаткѣ *историческаго* пониманія. Упущено было изъ виду, что миеологіи представляютъ гораздо болѣе запутанное и гораздо менѣе подчиненное правилу состояніе многоразличныхъ сложныхъ образованій, чѣмъ относительно простыхъ явленія языка; еще не было достаточно ясно понято, что духовная жизнь культурныхъ народовъ никогда не проходила по прямой линіи ничѣмъ не нарушаемаго развитія изъ національнаго зерна, что она получала много возбужденій отъ притока чужеземныхъ идей; и исслѣдователи, ставя въ непосредственную связь конечные пункты двухъ развитій, выходящихъ на значительномъ разстояніи отъ предполагаемой исходной точки, забывали прослѣдить эти развитія назадъ шагъ за шагомъ, по ихъ промежуточнымъ, и могущимъ быть открытыми, ступенямъ, до ихъ дѣйствительно достижимой, и часто недалеко за ними лежащей, основной формы. Исслѣдователи, не различая старыхъ и новѣйшихъ преданій, простыхъ подражаній, поэтическихъ изобрѣтеній, этиологическихъ толкованій и не пользуясь ими по ихъ настоящей цѣнности, растагивали европейскіе мненія на Прокрустовомъ ложѣ шаблона, составленнаго, правда, по старымъ, но уже національно-индѣйскимъ возрѣніямъ, и за этимъ забывали ихъ ближайшія историческія причины, ихъ зависимость отъ круга понятій извѣстнаго времени или писателей, ихъ нравственное содержаніе и ихъ связь съ мѣстными формами естественныхъ отношеній. При этомъ, сравненіе часто основывали на отрывкахъ, вырванныхъ изъ ихъ естественной связи, или полагали въ основаніе такія ведическія возрѣнія, значеніе которыхъ еще неясно и составляетъ предметъ разногласныхъ объясненій. Европейскіе мненія должны были быть, по выводу исслѣдователей, почти исключительно земной локализацией образнаго представленія небесныхъ явленій; а совпаденіе въ именахъ и вещахъ, между индѣйскими и греческими или германскими преданіями, приводимое въ доказательство происхожденія изъ первобытнаго арійскаго періода,

очень часто бывает обманчиво въ этимологіи или въ содержаніи, или и въ томъ, и другомъ, а вмѣстѣ съ этимъ падаетъ цѣлое“.

Относительно Макса Мюллера тотъ же критикъ высказывается еще болѣе отрицательно: если выставленный имъ принципъ (къ которому Кунъ очень приблизился въ своихъ позднѣйшихъ работахъ) имѣть вообще какую-нибудь цѣну, то весьма ограниченную. Не менѣе чѣмъ у Куна и М. Мюллера, миеологія была сведена на ошибочный путь у Шварца. „Надо очень пожалѣть, — говоритъ Маннгардтъ, — что въ своихъ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Шварцъ не пошелъ разсудительно по тому пути, который пролагала его первая работа, но запутался въ смутный фантастическій міръ, болшею частію имъ самимъ созданный. А именно, обобщивъ слишкомъ поспѣшно выводы изъ одного круга миеовъ, который онъ сначала наблюдалъ вообще правильно, Шварцъ пришелъ къ слѣдующему основному взгляду: „Исходнымъ пунктомъ и средоточіемъ всей миеологіи оказался возникшій въ самыхъ различныхъ кругахъ и вѣкахъ хаосъ вѣрующихъ представленій о существахъ и вещахъ, проявляющихъ себя въ удивительныхъ небесныхъ явленіяхъ и именно съ грозъ, представленій о нихъ, какъ о волшебномъ мірѣ, который, казалось, достигалъ въ этотъ земной міръ только своими симптомами, но который народъ или скорѣе люди съ вѣрой объясняли себѣ по аналогіи этого земного міра и котораго измѣненія стали поэтому для нихъ исторіей, аналогичной съ земными отношеніями“. Доказательство для его теоріи доставилъ Шварцу методъ, объ отношеніи котораго къ требованіямъ исторической критики надо сказать то же, что о методѣ Куна. Онъ даже еще болѣе сомнителенъ... Но съ другой стороны можно замѣтить существенную разницу въ приѣмѣ обоихъ ученыхъ. Шварцъ не сопоставляетъ другъ съ другомъ двухъ связаній въ ихъ цѣлости, причемъ ради соблюденія гармоніи часть одного нерѣдко подвергается насильственнымъ искаженіямъ, но вездѣ восходитъ къ первобытнымъ элементамъ. Но эти элементы онъ отыскиваетъ не историческимъ анализомъ, а тѣмъ, что извлекаетъ какую-нибудь отдѣльную оригинальную черту, одну нитку изъ связанной ткани сказанія и затѣмъ, не задумываясь, комбинируетъ ее съ какой-нибудь нѣсколько сходной картиной природы. Правда, ему принадлежитъ заслуга, что при этомъ онъ дѣйствительно указалъ многія народныя представленія о природѣ и ихъ согласіе съ метафорами поэтовъ; но очень многія представленія о природѣ, принятая имъ за исходный пунктъ миеовъ, существуютъ только или въ чрезвычайно плодovitомъ воображеніи автора или въ личномъ пониманіи отдѣльныхъ поэтовъ; и точно также онъ не обращаетъ вниманія на то, что не всякое образное воспріятіе явленій природы есть уже миеъ или вездѣ потому

преобразуется въ мнѣ, и потому его существованіе еще вовсе не даетъ повода думать, что оно отыщется въ мифическихъ сказаніяхъ" ¹⁾).

Система примѣнена у Аеанасьева столь послѣдовательно, что замѣчанія Маннгардта вполнѣ прилагаются и къ его миеологическимъ объясненіямъ: въ области русско-славянскаго миеа онъ пользуется тѣми самыми приѣмами, какіе у названныхъ ученыхъ примѣняются къ миеу индѣйскому, греческому, нѣмецкому. Кто знакомъ съ книгой Аеанасьева, можетъ легко вспомнить въ его изложеніи множество примѣровъ того же недостатка исторической критики, гдѣ въ толкованіи миеа минуются всѣ промежуточные ступени его развитія, тысячелѣтія исторической жизни, все отдаленіе врозь развивавшихся племенъ: кусокъ древняго индѣйскаго, греческаго, скандинавскаго сказанія, отрывочная подробность, упоманутая у древняго писателя о славянахъ, прямо ставится рядомъ съ новѣйшимъ русскимъ повѣрьемъ, хотя притомъ послѣднее бывало иногда даже и не народное, а просто вычитанное изъ книги. У русскаго исследователя также повторяется эта исключительная наклонность объяснять миеъ превращеніями языка, а его объективную основу находить въ небесныхъ явленіяхъ, и особенно отыскивать происхожденіе боговъ и корень ихъ миеологическихъ исторій въ бурѣ и грозѣ, какъ у Шварца и Куна; далѣе — та же наклонность во всякомъ народномъ представленіи о природѣ видѣть готовый миеъ, когда здѣсь бывало иногда только одно реальное наблюденіе или догадка.

Корень этой ошибки метода, отразившейся на всей постройкѣ миеологическаго зданія, у Аеанасьева, какъ и у нѣмецкихъ ученыхъ этой школы, лежалъ въ ученіи Гримма. Подъ увлекающимъ впечатлѣніемъ его книги, новому ученому поколѣнію представлялась въ высшей степени заманчивая перспектива—проникнуть въ глубочайшую старину, которая до тѣхъ поръ такъ упорно скрывала свои тайны и оставалась такъ безотвѣтна на запросы ученыхъ изыскателей и національныхъ патріотовъ; перспектива—понять и задушевную мысль современнаго народа въ его преданіяхъ и поэзіи. Ко всему этому нашлось, наконецъ, средство—сравнительное языковѣдѣніе и миеология, сопоставленіе старыхъ и новыхъ преданій, раскрытіе ихъ внутренняго миеическаго смысла и связи. Примѣръ Гримма увлекалъ его школу тѣмъ больше, что, какъ мы видѣли, въ трудѣ его къ поражающему богатству учености присоединялось великое искусство поэтической реставраціи и любящее отношеніе къ народу. Аеанасьевъ, въ русской старинѣ, собралъ также обширную массу мате-

¹⁾ Wald- und Feldkulte, II, стр. XVII—XVIII, XXIII—XXIV.

ріала, былъ одушевленъ такимъ же поэтическимъ и народолюбивымъ чувствомъ, и въ методѣ воспользовался еще трудами учениковъ и продолжателей Гримма. Это отношеніе къ старинѣ, внушаемое съ одной стороны преданностью ученаго своей задачѣ, съ другой—новѣйшими національно-общественными стремленіями, придали труду Аванасьева большую привлекательность, которою немало объясняется его вліяніе,—какъ подобнымъ образомъ объясняется и вліяніе г. Буслаева внѣ его чисто научной заслуги. Къ сожалѣнію, у дальнѣйшихъ послѣдователей школы недостатки метода становились еще болѣе вопіющими: „туча“, „гроза“ становились чуть не единственнымъ объясненіемъ миеологіи, грубо прилагаемымъ и къ народному натуралистическому повѣрью, и къ герою былины, такъ, что, наконецъ, вся миеологія какъ будто создавалась мономаномъ.

Какъ въ нѣмецкой литературѣ теорія Гримма, такъ и русскія ея примѣненія вызвали, наконецъ, и у насъ отчасти весьма самостоятельную критику. Первые работы Аванасьева по русской миеологіи уже встрѣтили отпоръ въ возраженіяхъ Кавелина; впоследствии его книга дала поводъ къ весьма замѣчательной критическимъ статьямъ Котларевскаго, гдѣ вѣрно опредѣлено отношеніе Аванасьева къ своей темѣ, неправильности въ употребленіи матеріала, чреазѣрная довѣрчивость и поспѣшность въ филологическихъ сравненіяхъ, недостатокъ вниманія къ историческому движенію миеа вообще и въ частности. Миеологическая теорія одного изъ авторитетовъ Аванасьева, Макса Мюллера, вызвала довольно обстоятельный разборъ въ упомянутой выше статьѣ „Филологическихъ Записокъ“¹⁾. Позднѣе, какъ увидимъ, изученія народной поэзіи и миеологіи освободились отъ недостатка прежней школы и приняли другое направленіе, уже вознагражденное замѣчательными научными открытіями.

Въ общемъ выводѣ, г. Буслаевъ и Аванасьевъ оказали изученіямъ русской народности великую услугу введеніемъ научнаго приема въ изслѣдованіе ея старины и современныхъ преданій и поэзіи. Ихъ заслуга тѣмъ выше, что въ специальной области ихъ изысканій они совершенно не имѣли предшественниковъ—кромѣ собирателей матеріала. Г. Буслаевъ далъ въ первый разъ примѣры примѣненія сравнительнаго языковѣдѣнія къ славяно-русскому матеріалу, твердо поставилъ вопросъ о художественныхъ свойствахъ и историческомъ значеніи народной поэзіи, въ особенности эпоса, и вопросъ о древнемъ

¹⁾ Гдѣ, между прочимъ упомянуто и объ отношеніи къ нему Аванасьева. „Фил. Записки“, 1879, вын. 6, стр. 85.

русскомъ искусствѣ въ связи съ народнымъ религіозно-поэтическимъ міровозрѣніемъ. Аеанасъевъ сдѣлалъ первое научное изданіе нашихъ народныхъ сказокъ, и въ „Поэтическихъ воззрѣніяхъ Славянъ на природу“ далъ первое систематическое собраніе обильнаго миеологическаго матеріала и предпринялъ его цѣльную разработку.

Но тою же новостію дѣла, которая возвышаетъ заслугу этихъ ученыхъ, объясняются въ большой степени и недостатки ихъ работъ, особливо значительные у Аеанасъева. Не входя въ спеціальныя подробности, сдѣлаемъ нѣсколько указаній, которыхъ будетъ достаточно для нашей цѣли.

Главнѣйшій критическій пробѣлъ въ изслѣдованіяхъ г. Буслаева, переходящій иногда въ положительную ошибку, заключается, какъ у Гримма, въ обычномъ пріемѣ непосредственнаго сравненія и отождествленія иногда самыхъ отдаленныхъ одинъ отъ другого фактовъ миеологіи, забывая необходимость ихъ предварительнаго историческаго разслѣдованія, опуская изъ виду промежуточные пункты и ступени,—между тѣмъ какъ подобная провѣрка могла иногда указать невозможность самаго сравненія. Возьмемъ примѣръ.

Въ числѣ памятниковъ старой русской письменности существуетъ очень популярная у народныхъ книжниковъ „Бесѣда трехъ святителей“, которая принадлежитъ къ разряду такъ-называемыхъ въ старину „отреченныхъ“, апокрифическихъ, книгъ, *чужою* происхожденія, и заключаетъ въ себѣ вопросы и отвѣты о разныхъ предметахъ вѣры, тайнахъ созданія и пр., въ духѣ наивнаго народнаго мистицизма и суевѣрія. „Бесѣда“ очень обжила въ народѣ и мало-по-малу приобрѣла въ изложеніи народную складку. Г. Буслаевъ нашелъ въ рукописяхъ новый *вариантъ* того же сюжета — „Повѣсть града Іерусалима“, которая отличается еще больше этимъ народнымъ складомъ и замѣчательна именно тѣмъ, что служитъ переходомъ отъ книжной „Бесѣды“ къ извѣстному стиху о „Голубиной книгѣ“, первой (т.-е. насколько пока извѣстно) ступеню въ передѣлѣ книжнаго сказанія въ поэтическое произведеніе, знаменитое и сильно распространенное въ народѣ.—Итакъ, „Повѣсть“ очень интересна какъ документальный фактъ, на которомъ мы можемъ слѣдить процессъ усвоенія народною поэзіею чужой темы и переработки ея въ „стихъ“, вполне народный. И что же при этомъ оказывается? Въ стихѣ о Голубиной книгѣ бесѣдующія лица, какъ извѣстно,—князь Владимиръ и царь Давидъ; одинъ спрашиваетъ, другой отвѣчаетъ. Но въ „Повѣсти“,—которую г. Буслаевъ считаетъ именно первообразомъ стиха,—князь Владимиръ замѣненъ какимъ-то фантастическимъ лицомъ, которое названо „Волотомъ Волотовичемъ“. Это—исходный пунктъ миеологическаго разсужденія г. Буслаева.

„Мѣсто Владимира заступаетъ лицо чисто мненческое, Волотъ Волотовичъ, новый герой русскаго миеологическаго эпоса (?). Онъ является здѣсь первообразомъ или предшественникомъ герою историческому, Владимиру Красну-Солнышеу: замѣчательный фактъ въ исторіи русской народной поэзіи, подтверждающій ту правдоподобную догадку, что именемъ князя Владимира во многихъ богатырскихъ пѣсняхъ была замѣнена и подновлена какая-нибудь древнѣйшая героическая, мненческая личность. По крайней мѣрѣ въ стихѣ о Голубиной книгѣ Владимиру предшествовалъ *Волотъ*. Какое бы ни было филологическое и историческое отношеніе *Волота* къ *Велетамъ*, *Вильцамъ* или *Волчкамъ*, и къ сѣвернымъ *Вилькинамъ*, прославленнымъ въ Вилькина-сагѣ, но во всякомъ случаѣ слово *Волотъ*, и въ древнемъ и народномъ русскомъ языкѣ, означаетъ *великана*; слѣдовательно, уже по самому значенію своему, Волотъ принимался народомъ въ смыслѣ героя, полу-бога, существа сверхъестественнаго, какими обыкновенно въ миеологіи разумѣются великаны. Прозванъ онъ Волотовичемъ по той же причинѣ, почему эпические герои очень часто называются по имени своихъ отцовъ; такъ въ польскихъ преданіяхъ и отецъ и сынъ назывался Кракомъ. Это самое обыкновенное раздвоеніе эпическаго идеала на двѣ личности. Герою хотять вымыслить отца: удобнѣе и легче всего этому послѣднему дать то же имя, какое имѣетъ и самъ герой. Такъ получилъ свое имя и Волотъ Волотовичъ“.

Автору тотчасъ припоминается въ древней Эддѣ пѣсня о Вафтруднирѣ, представляющая по основнымъ мотивамъ поразительное сходство съ нашею повѣстью,—и хотя авторъ (завѣдомо?) имѣетъ дѣло съ вариантомъ апокрифа *чужеземнаго* (византійскаго) происхожденія, онъ не усумнился заключить, что это „замѣчательное сходство (пѣсни Эдды и нашей „Повѣсти“) объясняется не позднѣйшимъ литературнымъ вліяніемъ, а *первобытнымъ средствомъ* миеологическаго эпоса *славянскаго съ немецкимъ*“¹⁾.

Въ другомъ мѣстѣ г. Буслаевъ замѣтилъ совершенно справедливо, что „собственныя имена въ народныхъ преданіяхъ часто не имѣютъ *никакаго смысла*, будучи позднѣйшею *наддачей*“²⁾; здѣсь онъ, очень было встать, припоминалъ баснословныя сказанія о Соломонѣ и, остановившись на историко-литературномъ изслѣдованіи „миеа“, могъ бы подойти къ истинѣ, — но первое впечатлѣніе преодолѣло, и авторъ радуется открытію „новаго героя русскаго миеологическаго эпоса“, и утѣрой отыскивается самая архаическая генеалогія.

¹⁾ Историч. Очерки, I, стр. 417, 455—461.

²⁾ Тамъ же, II, стр. 8.

Послѣдующія изысканія указали, въ всякаго сомнѣнія, что имя „Волота Волотовича“ есть не болѣе, какъ одинъ изъ множества примѣровъ искаженія собственныхъ именъ въ нашихъ старыхъ книжныхъ повѣстяхъ и въ народномъ эпосѣ, что происхождение этого героя не мифическое, а очень позднее, и что подъ нимъ скрывается испорченное книжное имя Птолемея,—вслѣдствіе чего все мифологическое построеніе падаетъ.

Относительно эпоса принималась вообще, какъ несомнѣнность, смѣна первобытнаго эпоса еогонического болѣе позднимъ, героическимъ. На этомъ основаніи за личностью князя Владимира „Краснаго Солнышка“ предполагался мифическій первообразъ, и съ открытіемъ былинъ о такъ-называемыхъ „старшихъ“ богатыряхъ явилась увѣренность, что передъ нами отщепляется именно часть этого древнѣйшаго эпоса, предшествующаго циклу князя Владимира; это—сказанія о „мифическомъ пахарѣ Микулѣ“, о богатырѣ Святогорѣ, „въ колоссальномъ типѣ котораго русскій эпосъ сохранилъ во всей ясности остатокъ великановъ горной породы“¹⁾ и пр. Новѣйшія, болѣе пристальныя изслѣдованія находятъ Святогору болѣе близкое, именно книжное происхождение.

У Афанасьева преувеличенія идутъ обыкновенно еще далѣе. По теоріи Куна и Шварца, онъ всюду, кстати и некстати, объяснял мифъ небесными явленіями, и особенно грозовой тучей и молніей. Какое множество сближеній сдѣлано на эту тему Афанасьевымъ, читатель можетъ видѣть по указателю (въ концѣ 3-го тома), гдѣ самая большая масса мифологическихъ сравненій сводится къ словамъ „туча“, „гроза“, „молнія“, „громъ“, „вѣтеръ“²⁾. Не мудрено, что мифологическій элементъ въ богатырской былинѣ сводится опять къ грозовой тучѣ и грому. Илья-Муромецъ, популярнѣйшее имя въ русскомъ народномъ эпосѣ, сохраняетъ въ немъ „древнія черты, принадлежащія къ области мифическихъ представленій о богѣ громовникѣ“. Въ эпоху христіанскую, „вѣрованіе въ Перуна, его воинственные атрибуты и сказанія о его битвахъ съ демонами“³⁾ были перенесены на Илью-пророка; Илья-Муромецъ, сходный съ Ильео-пророкомъ по имени и также славный святостью своей жизни (а можетъ быть—и военными доблестями) слился съ нимъ въ народныхъ сказаніяхъ въ одинъ образъ... Похожденія Ильи-Муромца съ богатыремъ Святогоромъ *цѣликомъ* принадлежатъ къ области *древнѣйшихъ* мифовъ о Перунѣ... Несмотря на легендарный тонъ, приданный раз-

¹⁾ „Р. богатырскій эпосъ“, въ Р. Вѣсти. 1862, № 3, стр. 48.

²⁾ До того, что наконецъ условная формула заговорить: „на морѣ на океанѣ на островѣ Буявѣ“ по Афанасьеву значить: „на тучѣ“. I, стр. 418.

³⁾ Проблематически доказанныя въ гл. VI.

сказу о приходѣ къ Ильѣ каликъ переходящихъ, здѣсь слишкомъ очевидно мифическая основа. Пиво, которое пьетъ Илья-Муромецъ,—старинная метафора дождя. Окованный зимнею стужей, богатырь-громовникъ сидитъ сиднемъ, безъ движенія (т.-е. не заявляя себя въ грозѣ), пока не напьется живой воды, т.-е. пока весенняя теплота не разобьетъ ледяныхъ оковъ и не претворитъ снѣжныя тучи въ дождевыя; только тогда зарождается въ немъ сила поднять волшебный мечъ "... Пржеііе враги Перуна, „демоны“, смѣняются дикими кочевниками. „Въ образѣ Соловья-разбойника народная фантазія олицетворила демона бурной, грозовой тучи. Имя Соловья дано на основаніи древнѣйшаго уподобленія свиста бури громозвучному пѣнію этой птицы... Эпитетъ „разбойника“ объясняется разрушительными свойствами бури“ и т. д. ¹⁾). Все это очень связано и искусно построено, но изъ непрочнаго матеріала ²⁾). Начать съ того, что атрибуты Перуна и его борьба съ „демонами“ выведены вовсе не на основаніи какихъ-нибудь точныхъ данныхъ, — которыхъ нѣтъ, — а только по догадкамъ, аналогіямъ и по обильнымъ предположеніямъ; въ описаніе Соловья-разбойника привлекаются книжныя повѣсти и такія мнимо-народныя пѣсни, поддѣльность которыхъ была уже раньше доказана, и т. п. Но еще страннѣе общее представленіе объ отношеніи богатырской былины къ ея предполагаемому еогоническому прототипу: Аванасевъ находитъ возможнымъ каждый шагъ богатыря, каждую подробность приурочивать къ первобытному мѣу, какъ будто переходъ отъ одной формы эпоса къ другой, т.-е. изъ одного историческаго періода въ новый періодъ, состоялъ только въ перемѣнѣ имени, причемъ сохранились бы всѣ мелкія частности. Собственно говоря, мы ничего не знаемъ о способѣ этого перехода; но если основываться на аналогіяхъ, то видимъ, что народная вариация поэтическихъ сюжетовъ, даже книжныхъ, преобразуетъ эти сюжеты иногда почти до неузнаваемости. Тѣмъ болѣе измѣненія нужно предположить здѣсь, гдѣ „вариантъ“ эпоса богатырскаго сравнительно съ еогоническимъ заключался ни болѣе ни менѣе какъ въ *цѣломъ перево-*

¹⁾ Поэтич. Возрѣнія, I, стр. 302—309.

²⁾ Котляревскій, въ упомянутомъ разборѣ, стр. 68, находитъ, что Аванасевъ— „отдѣляя древніе мотивы былины и ихъ значеніе путемъ сличенія съ родственными памятниками и преданіями другихъ народовъ, въ общемъ получаетъ *весьма твердые результаты*“. Но твердость ихъ становится сомнительной послѣ немаловажнаго замѣчанія, которое Котляревскій дѣлаетъ вслѣдъ затѣмъ: „Аванасевъ,—говоритъ онъ,— какъ кажется, даетъ уже слишкомъ много силы и крѣпости народному преданію и памяти. Онъ, повидимому, не допускаетъ въ ней почти никакихъ уклоненій въ область фантазіи и не признаетъ въ былинѣ никакихъ другихъ измѣненій, кромѣ внѣшняго историческаго наслоенія“ и пр. Развивъ болѣе это замѣчаніе, Котляревскій не только указалъ бы ошибку метода, которая была очень крупная.

ромъ народнаго міровоззрѣнія. Если Перуна замѣнялъ Илья-пророкъ, а этого библейскаго героя—Илья-Муромецъ, то вотъ уже двѣ большія ступени превращенія, и мы скорѣе могли бы ожидать, что въ послѣднемъ гораздо виднѣе отразится ближайшая предъидущая ступень, тѣмъ самый еогоническій подлинникъ, т.-е. что въ Ильѣ-Муромцѣ виднѣе будетъ Илья-пророкъ, нежели Перунъ,—между тѣмъ Афанасьевъ сличаетъ былинку прямо съ тучами и молніями. Далѣе, если эпическое творчество было несомнѣнно еще очень дѣятельно въ наши средніе вѣва и простиралось тогда не только на свои народныя темы, но охватывало и пересоздавало (какъ далѣе увидимъ) даже сравнительно позднія чужеземныя темы—напр., въ обработкѣ апокрифическихъ сюжетовъ и книжныхъ повѣстей,—то тѣмъ больше въ немъ надо предположить дѣятельной силы въ ту давнюю эпоху, которая была несравненно ближе къ періоду полной свѣжести эпоса. Между тѣмъ въ теоріи Афанасьева богатырскій эпосъ ограничивается только однимъ символическимъ копированіемъ и переименованіемъ.— Правда, богатырскій эпосъ сохраняетъ много мифическихъ *частностей*; но рядомъ съ этимъ намъ указываютъ въ немъ цѣлую бытовую картину древней княжеской Руси, и кромѣ Ильи-Муромца (предполагаемаго Перуна) цѣлый рядъ весьма реальныхъ сословныхъ лицъ и т. п.,—значить, эпическое творчество работало съ полной силой и не забыло притомъ новой исторической обстановки. Котляревскій очень вѣрно замѣчалъ, что въ *стрѣлахъ* Ильи-Муромца (которыя, по Афанасьеву, составляютъ уцѣлѣвшій остатокъ мифическаго представленія молніи) можно просто видѣть обыкновенное оружіе доогнестрѣльнаго періода, а въ *золотой казѣ* Соловья-разбойника (по Афанасьеву, метафора небесныхъ свѣтилъ, закрываемыхъ тучами)—прибавку фантазіи къ понятію о разбойникѣ, который могъ нагнать и денегъ. Критика, не увлекаемая предвзятой теоріей, должна принять эти мнимые символы за простыя реальныя вещи, а съ отсутствіемъ символовъ рухнетъ и объясненіе Афанасьева. Очевидно, процессъ образованія былинки былъ другой, хотя бы мы продолжали признавать происшедшую здѣсь смѣну еогоническаго эпоса героическимъ.

Новѣйшія изслѣдованія, какъ дальше увидимъ, нашли еще иные пути развитія народныхъ мифологическихъ преданій, и между прочимъ для былиннаго эпоса (пока для нѣкоторыхъ его частей) не подозрѣваемые прежде источники книжныя,—такъ что уже теперь процессъ эпическаго творчества представляется очень несходнымъ съ тѣмъ, какой выводился по способу Гримма и его ближайшей школы. Но пока эти новыя открытія были сдѣланы, теорія перехода еогоническаго эпоса въ героическій путемъ символическаго копиро-

ванія, объясненіе большинства мифовъ, и въ томъ числѣ главнѣйшаго героя былинъ, какъ метафорическихъ изображеній и олицетвореній тучи и грозы, получили большую популярность въ нашей литературѣ; учебники и иные высшіе курсы приняли ихъ какъ непреложную истину, и понынѣ ихъ повторяютъ — по обыкновенію учебниковъ оставаться позади науки ¹⁾).

¹⁾ Говоря о той эпохѣ, надо упомянуть еще нѣсколько именъ писателей, труды которыхъ имѣютъ нѣкоторое отношеніе къ русской этнографіи и — различное научное значеніе. Таковы книги по славянской мифологіи М. Касторскаго, 1841, и Костомарова, 1846, о которыхъ мы говоримъ въ другомъ мѣстѣ („Исторія русскаго славяновѣдѣнія“).

Въ сороковыхъ годахъ появляются труды Д. О. Шепинга, посвященные славянской и русской мифологіи: „Мненъ славянскаго язычества“, М. 1849 (разборъ этой книги въ Отеч. Зап. 1850, № 3, отд. V, стр. 17—28); статьи: объ Иванѣ Царевичѣ (въ сказкахъ и былинахъ); „Купала и Колада“; „Опытъ первоначальной исторіи земледѣлія и отношеніе его къ быту и языку русскаго народа“ (въ „Чтеніяхъ“ Моск. Общ. исторіи и древностей, 1861, кн. IV); „О древнихъ навязяхъ и вліяніи ихъ на языкъ, жизнь и отмеченныя понятія человѣка“ (въ „Архивѣ историко-юрид. свѣдѣній“ Калачова, 1861); „Русская народность въ ея повѣрьяхъ, обрядахъ и сказкахъ“ М. 1862, и мн. др. Труды Шепинга были въ числѣ первыхъ пробъ новаго мифологическаго изслѣдованія; это была какъ бы ступень между старой этнографической школой и новыми изслѣдованіями Буслаева и Аванасьева; они не были лишены своей полезности, вызывая вопросы, но недостатки метода не дали имъ большого значенія въ развитіи науки. Ср. Котляревскаго, „Старина и народность за 1861 годъ“ (Сочиненія, т. I, стр. 546—548).

Книга Д. М. Щепкина: „Объ источникахъ и формахъ русскаго баснословія“, М. 1859—1861 (2 выпуска), была чрезвычайно страннымъ примѣненіемъ той системы мифологическихъ объясненій, по которой мифологія объяснялась какъ слѣдствіе „богѣзни языка“. Не смотря на значительныя знанія, какія обнаруживаетъ первая часть книги, самыя объясненія, наполняющія вторую часть, невозможны до каррикатурности (Ср. Котляревскаго, тамъ же, стр. 581—585).

ГЛАВА V.

Новая ступень этнографическихъ изысканій.

Поворотъ въ историко-литературныхъ изученіяхъ послѣ Бѣлинскаго.—Поиски народно-поэтическихъ памятниковъ въ старой письменности.—Изданія и изслѣдованія Н. С. Тихонравова.—А. А. Котляревскій.—Изслѣдованія по языку и мѣеологіи А. А. Потебни.—Археолого-этнографическія и художественно-бытовныя разысканія В. В. Стасова.—П. А. Лавровскій.

Дѣятельность первыхъ начинателей научной этнографіи была еще въ полномъ разгарѣ, когда съ половины пятидесятихъ годовъ появляются первые опыты новаго поколѣнія изслѣдователей, съ которыми теоріи Буслаева и Афанасьева приобрѣтаютъ извѣстныя видоизмѣненія и дополненія; затѣмъ, еще съ новымъ рядомъ изысканій, прежняя точка зрѣнія сильно преобразуется, доставивъ совершенно новыя данныя для рѣшенія вопроса, хотя новѣйшая его постановка и донныѣ еще не выработала цѣльной уравновѣшенной системы.

Новое поколѣніе, начинавшее дѣйствовать съ половины пятидесятихъ годовъ, можно сказать, училось по Буслаеву, частью слѣдовало и за Афанасьевымъ; но, какъ всегда бываетъ въ дѣйствительномъ развитіи науки, эти послѣдователи не повторяли только, но и вели дальше поставленные вопросы. Новые поиски пошли въ разныхъ направленіяхъ, которыя сложились частію подъ новыми вліяніями западной этнографической науки, частію образовались въ собственныхъ условіяхъ русской литературы. Одни углубляли этнографическое знаніе изслѣдованіями въ письменной старинѣ; другіе направляли свое вниманіе на бытовую археологію; третьи ближе усвоивали новѣйшіе приемы и результаты сравнительнаго языковѣданія и мѣеологіи; наконецъ, народное русское содержаніе вводилось въ громадное цѣлое европейскаго и восточнаго преданія, и здѣсь отеры-

валясь новая крайне любопытная связь международнаго сродства и заимствованія.

Поиски въ письменной старинѣ представлялись сами собою. По взгляду Якова Гримма, народный мѣъ и сказаніе до того проникали нѣкогда жизнь и литературу, что ихъ отголоски можно было слѣдить въ самыхъ разнообразныхъ произведеніяхъ слова; наши послѣдователи школы точно также стали искать и, конечно, находили проявленія мѣа и народной поэзіи не только именно въ поэтической области, но и въ случайныхъ выраженіяхъ дѣтописи или древняго поученія, въ мотивахъ церковнаго житія и т. п. Г. Буслаевъ въ своихъ очеркахъ старой русской поэзіи представилъ уже нѣсколько любопытнѣйшихъ образцовъ этого присутствія народной поэзіи въ памятникахъ письменности, гдѣ до того времени ихъ совсѣмъ не подозрѣвали ¹⁾. Очевидно, что въ этомъ направленіи нужно было идти дальше. Въ тоже время это болѣе пристальное изученіе старой письменности исходило изъ чисто-литературныхъ мотивовъ.

Въ концѣ 1840-хъ годовъ завершилась критическая дѣятельность Бѣлинскаго: наступившая удушливая атмосфера послѣднихъ сороковыхъ и первыхъ пятидесятыхъ годовъ сдѣлала невозможнымъ дальнѣйшее продолженіе этого направленія съ его отвлеченно-художественной и отвлеченно-соціальной теоріей,—вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, чувствовалось, что критика „сороковыхъ годовъ“ сдѣлала свое дѣло и что ищутъ отвѣта новые вопросы и литературные, и общественные. Съ одной стороны возникаетъ потребность болѣе опредѣленно поставить вопросъ общественный,—и въ этомъ направленіи еще при Бѣлинскомъ начали свою дѣятельность Валеріанъ Майковъ, социалистическій кружокъ конца сороковыхъ годовъ, нѣсколько позднѣе критика „Современника“; съ другой стороны потребность историческаго выясненія литературы не удовлетворялась болѣе той исторіей литературы, какую давалъ Бѣлинскій съ чисто-художественной точки зрѣнія, притомъ совершенно не касаясь цѣлаго періода старой, до-Петровской письменности. Художественная критика сороковыхъ годовъ совсѣмъ не интересовалась этой письменностью и этимъ періодомъ, какъ эпохой грубой бессознательности; тотъ литературный кругъ совсѣмъ и не зналъ этой письменности,—хотя въ объясненіе должно сказать, что ея живого историческаго и поэтическаго интереса не знали сами тогдашніе спеціалисты, извлекавшіе изъ нея почти только церковную археологію, какъ вмѣстѣ съ тѣмъ еще не были установлены изученія народной поэзіи и преданія. Затѣмъ

¹⁾ Его разборы и толкованія смоленской легенды о св. Меркуріи, муромскаго преданія о Марѣѣ и Маріи, житій тверскихъ, новгородскихъ, и пр.

относительно самого XVIII и XIX вѣка нельзя было не видѣть, что кромѣ эстетической мѣрки къ ней можетъ, и должна, быть приложена также другая, чисто историческая мѣрка: не всѣ движенія общественной жизни достигали художественнаго выраженія, и тѣмъ не менѣе они имѣли свое жизненное, историческое значеніе; масса произведеній литературы, мимо которыхъ съ пренебреженіемъ проходить эстетическій критикъ, представляла, однако, животрепещущій интересъ для исторіи образованія, общественной жизни, нравовъ, самыхъ интимныхъ движеній развитія, и могла наконецъ выяснять самый процессъ возрастанія художественнаго чувства и пониманія. Если историкъ ищетъ въ литературѣ не только развитія художественнаго стиля, но и исторіи *сознанія*, онъ необходимо долженъ расширить объемъ своихъ изученій, обратиться къ литературѣ вообще, собрать и изслѣдовать ея детали. Очевидно также, что нѣсколько внимательное изслѣдованіе должно было разыскать и раскрыть этотъ интересъ и въ старой до-Петровской письменности и что историческое наблюденіе не могло миновать, какъ лишенные будто бы содержанія, цѣлыя вѣка народной жизни, въ которые очевидно вкладывался національный характеръ. Новая школа приходила, напротивъ, къ совсѣмъ иному впечатлѣнію: литература послѣ-Петровская, развившаяся подъ европейскими вліяніями, казалась даже совсѣмъ лишненною интереса, какъ чистое подражаніе, не выросшее изъ самобытнаго народнаго источника, и, напротивъ, исполненной интереса казалась та литература, скудная по объему, не выработанная по формѣ, наивная и первобытная, но запечатлѣнная чисто народнымъ творчествомъ, принадлежавшая всей народной массѣ, высказывавшая ея чувства и идеалы. Это была народная поэзія и народная письменность: на нихъ смотрѣли съ пренебреженіемъ приверженцы новой литературы, но до пониманія народной словесности нужно было не снизойти, а возвыситься ¹⁾. Въ старой письменности были отголоски этого народно-поэтическаго духа: ихъ надо было разыскать и объяснить.

Въ такомъ сложномъ видѣ складывались тѣ новые историко-литературные и этнографическіе интересы, въ средѣ которыхъ воспитывалось новое поколѣніе изслѣдователей, воспринявшее трудъ своихъ ближайшихъ предшественниковъ и учителей сороковыхъ годовъ. Разъ задача поставлена была такимъ образомъ, работы открывалось множество. Еслибы кто захотѣлъ наглядно представить себѣ ту громадную перемѣну, какая совершилась въ постановкѣ историко-литературнаго изслѣдованія, тотъ увидитъ ее, поставивъ рядомъ книги

¹⁾ Выше указано, что именно такъ говорилъ г. Буслаевъ.

по исторіи русской литературы, какія были еще въ ходу въ пятидесятихъ годахъ непосредственно послѣ Бѣлинскаго ¹⁾ и какія являлись въ послѣдніе годы. Въ промежуткѣ совершены были обширныя работы, направленныя съ одной стороны на то изученіе деталей новой литературы, о которомъ мы выше говорили, съ другой, на изученіе старой письменности и народной поэзіи. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи предстояло сдѣлать разысканія, которыя въ прежнее время были едва начаты: необходимо было отдать себѣ отчетъ въ цѣломъ составѣ старой письменности, опредѣлить ея инвентарь, и особенно съ той стороны, которая до тѣхъ поръ была совершенно пренебрежена—со стороны ея поэтическихъ элементовъ. До сихъ поръ изслѣдованіе старой письменности ограничивалось почти исключительно лѣтописью и церковною исторіею; не многія изъ рукописныхъ собраній были описаны и то лишь въ видѣ краткаго реестра, по которому трудно или совсѣмъ невозможно было судить о содержаніи памятниковъ: одно знаменитое „Описаніе русскихъ и словенскихъ рукописей Румянцовскаго Музеума“, Востокова (1842), впервые дало болѣе подробный раціональный каталогъ, съ краткими, но весьма цѣнными замѣтками о составѣ содержанія и извлеченіями изъ рукописей, между прочимъ изъ такихъ произведеній, на которыя прежде обращалось мало вниманія. Здѣсь были уже не маловажные намеки на то, чего слѣдовало, между прочимъ, искать въ старой письменности. Въ первыхъ трудахъ г. Буслаева, какъ выше замѣчено, сдѣланы были интересныя опыты разработки письменнаго матеріала съ цѣлью объясненія старой русской поэзіи. Поиски въ рукописномъ матеріалѣ были дѣйствительно вознаграждены замѣчательными открытіями, которыя въ концѣ концовъ совершенно измѣнили представленіе о содержаніи старой русской письменности: въ ней именно была открыта цѣлая обильная струя народно-поэтическаго содержанія, цѣлый рядъ памятниковъ книжныхъ, которые были или вполнѣ народными, или стояли въ болѣе или менѣ тѣсномъ соотношеніи съ мотивами народной поэзіи. Если прибавить, что въ тѣхъ же пятидесятихъ годахъ подготовлялись нѣвые богатые сборники живой народной поэзіи, какіе вскорѣ появились въ изданіяхъ Рыбникова, Кирѣевскаго, Шейна, Якушкина, Важенцова и т. д., гдѣ замѣчательно расширилась вся область народной поэзіи, открывавшаяся изслѣдованію; если прибавить, что въ то же время наши изслѣдованія воспользовались богатымъ сравнительнымъ матеріаломъ, который въ особенномъ изобиліи сталъ собираться тогда въ изданіяхъ и изслѣдованіяхъ западныхъ, особливо въ немецкихъ, то понятна будетъ та масса новыхъ объясненій,

¹⁾ Укажемъ, для примѣра, „Очеркъ исторіи русской поэзіи“, А. Милюкова, 1847.

какія являлись теперь для народно-поэтической письменной старины и для современной этнографіи. Между старинной и современной народной поэзіей и преданіемъ возстановлялась наглядно историческая связь, какъ возстановлялась историческая связь до-Петровской письменности и новой литературы, между которыми предполагалась прежде глубокая пропасть.

Не входя опять въ подробности новаго движенія, остановимся на его замѣчательнѣйшихъ приобретеніяхъ. Назовемъ здѣсь прежде всего труды Н. С. Тихонравова.

Николай Сав. Тихонравовъ (род. въ началѣ 1830-хъ г. въ Москвѣ) кончилъ курсъ въ одной изъ московскихъ гимназій въ томъ году, когда вслѣдствіе политическихъ волненій въ Западной Европѣ сочтено было нужнымъ, для обезпеченія политическаго спокойствія Россіи, принять строгія мѣры относительно русскихъ университетовъ и, между прочимъ, опредѣлить для cadaго университета комплектъ въ 300 человекъ,—такъ что г. Тихонравовъ поступилъ сначала въ Педагогическій институтъ въ Петербургѣ (въ 1849, во время директорства И. И. Давыдова), а черезъ годъ ему удалось перейти въ московскій университетъ, гдѣ онъ и кончилъ курсъ (въ 1853 году). Въ концѣ пятидесятихъ годовъ онъ получилъ каѳедру въ московскомъ университетѣ, гдѣ съ тѣхъ поръ и работалъ какъ профессоръ и, одно время, ректоръ.

Его первыя работы являются въ самомъ началѣ пятидесятихъ годовъ небольшими изслѣдованіями по исторіи литературы прошлаго и частію нынѣшняго вѣка въ томъ новомъ (какъ тогда выражались, „библіографическомъ“) направленіи, о которомъ мы сейчасъ говорили. Изслѣдованія относились къ подробностямъ, но тѣмъ не менѣе оказывались исторически весьма характерными для объясненія писателей и самой эпохи. Эти работы тогда же обратили на себя вниманіе замѣчательнымъ изученіемъ литературной старины. Въ концѣ пятидесятихъ годовъ г. Тихонравовъ предпринялъ изданіе историко-литературнаго сборника по тѣмъ предметамъ, которые, какъ сейчасъ указано, стали привлекать новыхъ изыскателей и на которые направлялись его собственныя изученія¹). Вопросы исторіи литературы поставлены были въ томъ широкомъ объемѣ, въ какомъ стала понимать ихъ новая школа. Здѣсь нашли мѣсто и старая и новая литература: послѣдняя—особливо со стороны ея значенія для исторіи образованности, нравовъ, общественнаго развитія; первая—по тѣмъ же отношеніямъ ея въ древности, или по ея связямъ съ вопросами этно-

¹) „Лѣтописи русской литературы и древности“, три тома въ шести книгахъ, М. 1859 — 1860; т. IV, 1862; т. V, 1863.

графіи, древняго быта и народной поэзіи. Таковы были изданія памятниковъ, относящихся къ судьбамъ древней народной жизни, какъ поученія противъ языческихъ вѣрованій и обрядовъ, какъ матеріалы для исторіи Стоглава, для исторіи раскола, историческія свѣдѣнія о Сильвестрѣ Медвѣдевѣ; въ ближайшемъ отношеніи къ этнографіи стояли памятники древней легендарной литературы, оригинальные заговоры, собранія народныхъ пѣсенъ современныхъ; затѣмъ произведенія старинной повѣсти, болѣе или менѣе связанной съ народно-поэтическими сюжетами; нѣсколько изслѣдованій, посвященныхъ народно-поэтическимъ преданіямъ стараго времени; наконецъ, и переводъ сравнительной мѣологии Макса Мюллера. Въ изданіи г. Тихонова соединились труды старшаго и новаго поколѣнія изслѣдователей: мы находимъ здѣсь труды и сообщенія О. И. Буслаева, Аванасьева, Соловьева, Костомарова, И. Е. Забѣлина, А. Е. Викторовъ, А. С. Павлова, Н. И. Субботина, К. П. Побѣдоносцева; наконецъ цѣлый рядъ работъ самого издателя.

Не касаясь статей историко-литературныхъ по XVIII и XIX вѣкамъ, укажемъ этнографическій матеріалъ, помѣщенный въ этомъ замѣчательномъ для своего времени изданіи.

Томъ I (книжки первая и вторая): Русская поэзія XI и начала XII вѣка, г. Буслаева; Русскія народныя пѣсни, собранныя П. И. Якушкинымъ, съ предисловіемъ г. Буслаева; О новгородскихъ Макарьевскихъ Четивхъ-Минеяхъ, замѣтки Макарія, еп. тамбовскаго и шацкаго; статья о *Zeitschrift für deutsches Alterthum* Морица Гаупта, А. Н. Веселовскаго; статья о книгѣ Бергмана *Les Scythes*, А. А. Котляревскаго; Николай угодникъ и Касьянъ угодникъ, народная сказка, сообщ. П. И. Якушкинымъ; статья о *Jahrbuch für romanische und englische Literatur* Эберта, г. Буслаева; Замѣтки о старинѣ и народности, г. Буслаева.

Томъ II (книжки третья и четвертая): Смоленская легенда о св. Меркуріи, г. Буслаева; Сказаніе о созданіи великія Божія церкви св. Софіи въ Константинополѣ, съ пред. К. Герца и г. Буслаева; Повѣсть града Іерусалима, г. Буслаева; статья о *Zeitschrift für Völkerpsychologie* Ладаруса и Штейн-таля, А. Дювернуа; Сказка о милосердіи купца (запис. въ Московской губерніи); разборъ книги Шапова о расколѣ, И. С. Некрасова.

Томъ III (книжки пятая и шестая): Муромское преданіе о Марѣ и Маріи, г. Буслаева; Лекціи изъ курса исторіи русской литературы, его же; Слово и откровеніе святыхъ апостолъ, съ предисловіемъ его же; Народныя стихи объ Адамѣ, о преданіи Христа Іудю, о пятницѣ, сообщ. И. Т. Глѣбовымъ; Разборъ нѣкоторыхъ филологическихъ объясненій г. Костомарова въ статьѣ: „Происхожденіе Руси“, А. Дювернуа; Запорожская пѣсня, сообщ. Н. Костомаровымъ.

Томъ IV. Мѣстныя сказы владимірскія, московскія и повгородскія. Двѣ лекціи изъ курса исторіи русской литературы, г. Буслаева; Русскія нар. пѣсни, собранныя въ Саратовской губерніи А. Н. Мордовцевой и Н. И. Костомаровымъ; Нѣкоторыя черты объ обществѣ духоборцевъ (1806 г.); О народахъ на страшномъ судѣ, по одному лицевому сборнику XVII вѣка Новгор. Софійской

библіотеки, г. Буслаева; Исторія о бѣгствующемъ священствѣ, соч. Ивана Алексѣева (1755); Нѣсколько народныхъ заговоровъ, сообщены А. Н. Аванасьевымъ.

Томъ V. Сравнительная мѣологія Макса Мюллера, пер. съ англ. И. М. Живаго; Духовные стихи раскольниковъ, сообщ. А. С. Павловымъ; Для опредѣленія иностранныхъ источниковъ повѣсти о мутьянскомъ воеводѣ Дракулѣ, г. Буслаева; Повѣсти о мудрыхъ женахъ, сообщ. А. Н. Аванасьевымъ; Повѣсть о скверномъ бѣсѣ, сообщ. А. С. Павловымъ; Заговоръ отъ укушенія змѣи, сообщ. П. П. Барсовымъ; Два раскольничьи стиха, сообщ. Н. И. С-нымъ.

Самому издателю принадлежатъ слѣдующіе тексты и изслѣдованія:

- Повѣсть объ Аполлонѣ Тирскомъ, съ предисловіемъ (I, кн. 1, стр. 1—33).
- Луцидаріусъ. Часть первая. Съ предисловіемъ (тамъ же, стр. 33—68).
- Повѣсть, какъ приходилъ греческій царь Василій подъ Вавилонъ градъ (кн. 2, стр. 161—165). Вариантъ сказки о Вавилонскомъ царствѣ.
- Повѣсть о преніи живота съ смертію (тамъ же, стр. 183—193). Текстъ и историко-литературныя сличенія.
- Стихъ о книгѣ Голубиной (II, кн. 3, стр. 64—69), по рукописи гр. Уварова (Царскаго, № 490).
- Повѣсть о Ѳеодорѣ жидовинѣ (тамъ же, стр. 69—71), по рукописи г. Тихонова.
- Разговоръ о Адамовыхъ дѣтяхъ, какъ жили (тамъ же, стр. 72), по рукописи его же.
- Повѣсть о Саввѣ Грудцывѣ (кн. 4, стр. 61—80), по рукописи Е. Д. Филимонова.
- Сказка объ Урусланѣ Залазаревичѣ (тамъ же, стр. 100—128), по рукописи Ундольскаго.
- Повѣсть о чудеси пречистыя Богородицы, о градѣ Муромѣ и епископѣ его, како приде на Рязань (тамъ же, стр. 97—99), по рукописи конца XVII в.
- Русская легенда XVII вѣка объ образѣ Богородицы (тамъ же, стр. 99—100), по рукописи гр. Уварова (Царскаго, № 440).
- Сказаніе о Индѣйскомъ царствѣ (тамъ же, стр. 100—103), по рукописи конца XVII вѣка.
- Заговоры на оружіе (тамъ же, стр. 103—105), по рукописи Е. Д. Филимонова, писанной въ 1769—74 г. въ Харьковѣ.
- Слово о вѣрѣ христіанской и жидовской (т. III, кн. 5, стр. 66—78), текстъ и предисловіе.
- Интермедія на три персони: смерть, воинъ и хлопецъ (тамъ же, стр. 78—80), изъ южнаго сборника 1788 г.
- Сказка объ Иванѣ Бѣломъ (тамъ же, стр. 8—15), изъ рукописи Е. Д. Филимонова.
- Стихъ объ Антихристѣ (тамъ же, 15—16), по рукописи новаго письма.
- Повѣсти о Вавилонскомъ царствѣ (тамъ же, стр. 20—33), еще три редакціи этого сказанія.
- Шемакинъ судъ (тамъ же, стр. 34—38), историко-литературныя сличенія.
- Пѣсня объ осадѣ Соловецкаго монастыря (кн. 6, стр. 90—91), по раскольничьей рукописи начала настоящаго столѣтія.
- Любовное заклинаніе изъ слѣдственнаго дѣла 1769 года (тамъ же, стр. 92—93).
- Новый списокъ слова о Данилѣ Заточникѣ (тамъ же, стр. 93—94).

- Повѣсти о царѣ Соломонѣ. Съ приложеніемъ шести снимковъ, по рукописамъ г. Филимонова, Забѣлина и С. Б. (т. IV, стр. 112—153).
- Слова и поученія, направленные противъ языческихъ вѣрованій и обрядовъ. Съ предисловіемъ (тамъ же, стр. 83—112).
- Исторія о вѣрѣ и челобитная о стрѣльцахъ Саввы Романова (т. V, стр. 111—148).
- Раскольниковъ сатира прошлаго вѣка (тамъ же, стр. 42—43).
- Пять древне-русскихъ поученій (тамъ же, стр. 90—103).
- Нѣсколько народныхъ заговоровъ (изъ раскольниковъ тетрадки новаго письма, тамъ же, стр. 111—112).
- Записка для исторіи Стоглава (тамъ же, стр. 137—144).
- Слово о злыхъ женахъ (тамъ же, стр. 145—147).

Сборникъ г. Тихонравова болѣе чѣмъ какое-либо другое изданіе того времени можетъ служить образчикомъ тѣхъ широкихъ историко-литературныхъ интересовъ, какіе опредѣлились въ пятидесятыхъ годахъ, съ одной стороны какъ дополненіе прежней исторіи литературы, причемъ интересъ чисто художественный восполнялся изученіемъ культурно-историческимъ, съ другой, какъ опытъ расширенія изслѣдованій народной поэзіи путемъ изученія старой письменности. Каждая книжка „Лѣтописей“ приносила новыя любопытнѣйшія данныя для исторіи народнаго или полу-народнаго поэтическаго творчества, особливо извлеченныя изъ памятниковъ старой письменности.

Въ тѣ же годы былъ изданъ г. Тихонравовымъ важный трудъ по изученію этой письменности, посвященный такъ-называемымъ „отреченнымъ“ книгамъ ¹⁾. Извѣстно значеніе этихъ книгъ: это были, во-первыхъ, болѣе или менѣе древніе переводы апокрифическихъ книгъ Ветхаго и Новаго Завѣта, житія и легенды, непризнанныя церковью, книги гадательныя, астрологическія, особыя молитвы, заговоры и т. п., наконецъ, произведенія поэтическаго характера, такъ или иначе возбуждавшія недовѣріе старинныхъ церковныхъ учителей и потому осужденныя въ качествѣ „ложныхъ“. Множество произведеній этой литературы донинѣ сохранились отчасти въ спискахъ, принадлежавшихъ къ первымъ вѣкамъ нашей письменности, но въ особенности въ рукописяхъ позднѣйшаго времени, очевидно составившихъ весьма распространенное популярное чтеніе. Въ очень старыхъ спискахъ извѣстна также весьма распространенная въ старой письменности особая статья, заключавшая въ себѣ вмѣстѣ съ указаніемъ книгъ, одобренныхъ церковью, и церковное запрещеніе книгъ ложныхъ: статья „О книгахъ истинныхъ и ложныхъ“, заимствованная первоначально изъ источника византійскаго, а потомъ обильно до-

¹⁾ Памятники отреченной русской литературы. Собраны и изданы Николаемъ Тихонравовымъ (Приложеніе къ сочиненію: „Отреченныя книги древней Россіи“). Два тома. Спб. и Москва, 1863. Общднное сочиненіе осталось неизданнымъ.

полненная по наличному составу этихъ книгъ въ литературѣ старо-славянской и въ послѣдствіи старой русской. Не смотря на запрещенія, ложныя книги были, однако, чрезвычайно распространены въ старой письменности и послѣдними отголосками доходятъ даже до нашего времени въ простонародномъ чтеніи (какъ „Бесѣда трехъ Святителей“, „Сонъ Богородицы“, „Сказаніе о добрыхъ и злыхъ дняхъ“ и т. п.). Ихъ интересъ для старинныхъ читателей заключался въ поэтическихъ добавленіяхъ къ библейской и евангельской исторіи, въ разсказѣ о событіяхъ, возбуждавшихъ любопытство и о которыхъ однакоже ничего не говорили каноническія книги, вообще въ чудесномъ и легендарномъ, къ которому было особенно склонно и жадно народное воображеніе, а также и суевѣріе. Многое изъ этихъ книгъ крѣпко запечатлѣлось въ народной памяти и фантазіи и затѣмъ отразилось въ народной поэзіи и предразсудкѣ. Понятно, что изученіе этой отреченной литературы было необходимо для объясненія извѣстныхъ явленій народной поэзіи и оно дало новыя доказательства органической связи, соединявшей старую письменность и народно-поэтическое творчество. Изданіе г. Тихонравова было самымъ обширнымъ собраніемъ памятниковъ отреченной литературы и уже не мало послужило какъ для объясненія общихъ отношеній нашей старой письменности, такъ и для объясненія многихъ явленій старой народной поэзіи.

Не перечисляя трудовъ г. Тихонравова по исторіи литературы, не имѣющихъ ближайшаго отношенія къ этнографіи, упомянемъ еще его большую работу, посвященную старой исторіи русскаго театра ¹⁾. Въ этой книгѣ впервые были собраны многочисленные тексты старинной драмы и кромѣ своего историко-литературнаго значенія книга представляетъ важный матеріалъ для исторіи книжнаго языка и для исторіи нравовъ. Въ томъ же отношеніи важны другія историко-литературныя изслѣдованія г. Тихонравова, начиная съ упомянутаго изданія древнихъ поученій противъ язычества, исторіи различныхъ эпизодовъ еретическаго движенія въ старой Россіи, и кончая важными разысканіями о писателяхъ новѣйшей литературы, какъ въ послѣднее время о Пушкинѣ и Гоголѣ. Въ изслѣдованіи памятни-

¹⁾ „Русскія драматическія произведенія 1672—1726 годовъ. Въ 200-лѣтнему юбилею русскаго театра собраны и объяснены Ник. Тихонравовымъ, проф. Московскаго Университета“. Два тома, Спб. 1874. Изд. Д. Е. Кожанчикова. Извѣстна судьба этой книги, въ свое время недопечатанной и не вышедшей въ свѣтъ вслѣдствіе банкротства издателя и явившейся въ продажѣ много лѣтъ спустя безъ участія автора. Не вошедшее въ отпечатанную книгу и имѣвшееся только въ корректурныхъ оттискахъ обширное изслѣдованіе г. Тихонравова о началѣ русскаго театра между прочимъ было утилизировано г. Морозовымъ въ его книгѣ о томъ же предметѣ, какъ о томъ было писано въ свое время.

вовъ старой письменности, имѣющихъ отношеніе къ народно-поэтическому содержанію, г. Тихонравовъ далъ любопытные образчики сравнительнаго историко-литературнаго изученія, указывая иноземные прототипы старой повѣсти и ея видоизмѣненія на русской почвѣ.

Наконецъ, въ изученіи старой письменности особый трудъ положенъ былъ г. Тихонравовымъ на самое собраніе ея памятниковъ. Съ первыхъ лѣтъ своей научной дѣятельности онъ сталъ усерднымъ собирателемъ и въ концѣ концовъ составилъ замѣчательную историко-литературную библіотеку книгъ и рукописей: собранная неутомимыми усиліями знатока эта коллекція заключаетъ, во-первыхъ, множество книжныхъ рѣдкостей прошлаго и нынѣшняго вѣка, не однихъ рѣдкостей анекдотическихкихъ, но важныхъ въ историко-литературномъ отношеніи, и во-вторыхъ, замѣчательное собраніе рукописей древнихъ и болѣе позднихъ самаго разнообразнаго содержанія, а также старыхъ лубочныхъ картинокъ, составляющихъ теперь большую рѣдкость¹⁾. Собраніе рукописей уже въ многомъ послужило и самому г. Тихонравову и другимъ изслѣдователямъ русской письменной старины и, напримѣръ, въ послѣднее время ему удалось встрѣтить замѣчательную народную редакцію рѣдкаго памятника старой русской повѣсти, извѣстнаго подъ названіемъ „Девгеніева Дѣянія“, которое до сихъ поръ было извѣстно только въ одномъ спискѣ.

Къ этому времени относятся также нѣкоторыя мои работы, касающіяся этнографіи. Это были сначала отдѣльные очерки изъ исторіи древней письменности, именно изъ исторіи книжно-народной повѣсти и апокрифическихъ сказаній въ связи ихъ съ современной народной поэзіей и преданіями:—Сказка изъ Тысячи и одной ночи, въ старомъ русскомъ переводѣ; Хожденіе Богородицы по мукамъ; Сказка о Вавилонскомъ царствѣ; Шемякинъ судъ; Рафли; Народныя пѣсни и стихи изъ старыхъ рукописей и проч.—въ „Извѣстіяхъ“ Академіи и „Отеч. Запискахъ“ 1854—1856, позднѣе въ „Архивѣ историко-практическихъ свѣдѣній о Россіи“, Калачова, и въ трудахъ Московскаго Археологическаго Общества.

Той же области старой письменности посвящена была книга, составившая магистерскую диссертацию: „Очеркъ литературной исторіи старинныхъ повѣстей и сказокъ русскихъ“. Спб. 1857 (также въ „Ученыхъ Запискахъ“ русскаго отдѣленія Академіи, т. IV). Здѣсь указана была исторія старой русской повѣсти отъ древнѣйшихъ ея произведеній, заимствованныхъ изъ византійскаго и южно-славянскаго источника, до повѣстей XVI—XVII вѣка, пришедшихъ болѣею частью изъ литературы западной черезъ польско-бѣлорусскіе переводы, и до опытовъ русской бытовой повѣсти XVII вѣка. Въ числѣ первыхъ были напр. сказанія Троянскія, Александрія, сказанія о царѣ Соломонѣ, Стефанитъ и Ихнилатъ, житіе Варлаама и Иосафата, сказаніе о премудромъ Абирѣ и пр. Между прочимъ въ одной изъ Погодинскихъ рукописей отыскалась замѣчательная византій-

¹⁾ Эта послѣдняя коллекція упомянута Д. А. Ровинскимъ: „Русскія народныя картинки“. Спб. 1881 I, предисловіе.

ская поэма, въ нашихъ рукописяхъ подъ названіемъ „Девгеніева Дѣянія“ (сказаніе о Дигенисѣ), которая находилась въ томъ погнбшемъ въ 1812 году сборникѣ, гдѣ открыто было нѣкогда Слово о Полку Игоревѣ, и которая съ тѣхъ поръ не была находима въ рукописяхъ ¹⁾. Въ приложеніяхъ надано нѣсколько текстовъ этой литературы, какъ Троянскія сказанія, Девгеніево Дѣяніе, повѣсть о Дракулѣ и пр. Этнографическій интересъ памятниковъ состоялъ въ томъ, что во многихъ случаяхъ открывалась несомнѣнная связь этой старой народной повѣсти съ удѣлѣвшими донныя памятниками народной поэзіи, и для послѣднихъ можно было во многихъ случаяхъ предположить книжное происхожденіе. Тексты изучены были здѣсь главнымъ образомъ по рукописямъ Публичной бібліотеки и въ томъ числѣ Погодинскаго древлехранилища, не задолго передъ тѣмъ прибрѣтеннаго въ Библіотеку и для котораго не имѣлось еще настоящаго каталога, а также по рукописямъ Румянцовскаго Музея, въ то время еще находившагося въ Петербургѣ; рукописи другихъ бібліотекъ, для которыхъ существовали печатные каталоги, указаны бібліографически.

Въ одномъ изъ Погодинскихъ сборниковъ XVII—XVIII вѣка найдено было мною рѣдкое произведеніе старой народной поэзіи въ письменной формѣ: „Повѣсть о горѣ-злочастіи, какъ горе-злочастіе довело молодца во иноческій чинъ“. Изданіе этого памятника было тогда предоставлено мною Н. И. Костомарову, который, занимаясь тогда же въ Публичной Библіотекѣ, пришелъ въ величайшій восторгъ отъ вновь открытаго памятника русской поэтической старины. „Повѣсть“ напечатана была тогда же съ историческими объясненіями Костомарова („Современникъ“, 1857, апрѣль); вскорѣ другое изданіе сдѣлано было Срезневскимъ въ „Извѣстіяхъ“, 1857; обширный комментарий къ этому памятнику данъ былъ г. Буславнымъ.

Въ 1861 году сдѣлано было мною изданіе „Ложныхъ и отреченныхъ книгъ русской старины“ въ сборникѣ Костомарова: „Памятники старинной Русской литературы“, гдѣ онѣ составили III томъ ²⁾. Выше, по поводу другого изданія памятниковъ этой литературы, сдѣланнаго г. Тихонравовымъ, указано значеніе этого рода произведеній для этнографіи, такъ какъ здѣсь былъ источникъ многихъ народныхъ суевѣрно-поэтическихъ представленій, повѣрій и даже эпическихъ мотивовъ въ былинѣ и такъ называемомъ духовномъ стихѣ.

Въ нѣкоторомъ отношеніи къ этнографіи находится также „Исторія славянскихъ литературъ“ (Спб. 1865, 2-е размноженное изданіе 1879—1881, 2 тома), дагѣ: „Старообрядческій Синодикъ“ и „Изъ исторіи народной повѣсти (исторія о шляхтичѣ Долторгѣ)“, изданныя Обществомъ любителей древней письменности, въ Петербургѣ, и „Для любителей книжной старины“ (Библіографическій списокъ рукописныхъ романовъ, повѣстей, сказокъ и пр., преимущественно изъ первой половины XVIII вѣка), изд. Обществомъ любителей россійской словесности, въ Москвѣ.

Въ тѣ же годы, лишь немного позднѣе, началась ученая дѣятельность А. А. Котляревскаго (1837—1881). Уроженецъ юга, онъ

¹⁾ Въ 1890 году, какъ выше упомянуто, найденъ былъ г. Тихонравовымъ второй списокъ этого сказанія, новѣйшаго простонароднаго письма, но со стараго подлинника, съ любопытными архаическими вариантами. Этотъ новый списокъ долженъ появиться въ издавіяхъ Второго отдѣленія Академіи.

²⁾ Объяснительная статья къ этимъ произведеніямъ въ „Русскомъ Словѣ“, 1862. Сводное изданіе и древнѣйшій текстъ „Статьи о книгахъ истинныхъ и ложныхъ“ были мною помѣщены въ „Лѣтописи занятій Археографической комиссіи“, 1863.

учился въ полтавской гимназіи, потомъ въ московскомъ университетѣ, гдѣ окончилъ курсъ въ 1857. Занявшись потомъ преподаваніемъ русскаго языка и словесности въ Москвѣ, въ 1862 году онъ имѣлъ несчастіе быть привлеченнымъ къ той же исторіи, которая разстроила матеріальную жизнь и ученую дѣятельность Аванасьева; на Котляревскомъ, къ сожалѣнію, это „политическое“ дѣло отразилось еще болѣе печально, такъ какъ заключеніе въ крѣпости положило начало болѣзни, сломившей впоследствии его отъ природы крѣпкую натуру. Только въ 1867 году Котляревскому вновь было разрѣшено поступить на службу по учебному вѣдомству (это право было у него отнято въ 1862 году) и именно въ дерптскомъ округѣ. Въ 1868, онъ защищалъ свою магистерскую диссертацию: „О погребальныхъ обычаяхъ языческихъ Славянъ“ и назначенъ былъ профессоромъ русскаго языка и славянскаго языковѣдѣнія въ дерптскомъ университетѣ. Онъ пробылъ здѣсь до 1872, когда разстроенное здоровье потребовало леченія за границей, гдѣ онъ и пробылъ до 1874, продолжая усиленно работать. Въ этомъ году онъ представилъ въ петербургскій университетъ свои труды, выработанные за границей и напечатанные въ Прагѣ: „Древности юридическаго быта Балтійскихъ славянъ“ и „Сказанія объ Оттонѣ Бамбергскомъ въ отношеніи славянской исторіи и древности“ для полученія степени доктора славянской филологіи, и въ концѣ того же года приглашенъ былъ на славянскую кафедру въ Кіевѣ. Онъ началъ лекціи уже только во второмъ семестрѣ 1875—1876 академическаго года и впоследствии его чтенія не разъ были прерываемы болѣзнію. Въ маѣ 1881 года онъ снова долженъ былъ отправиться, по требованію докторовъ, за границу и въ концѣ сентября этого года умеръ въ Пизѣ ¹⁾.

По своей дальнѣйшей дѣятельности и профессурѣ Котляревскій былъ преимущественно славистъ и археологъ, но съ самаго начала и до конца этнографія въ ея различныхъ областяхъ была его живѣйшимъ интересомъ. Его литературные труды начинаются въ ту самую пору (начало прошлаго царствованія), которую онъ называлъ нашей эпохой „возрожденія наукъ и искусствъ“: въ ту пору ему были одинаково близки и тѣ новые общественные интересы, когда ожи-

¹⁾ Биографическія свѣдѣнія см. въ „Помянкѣ по А. А. Котляревскомъ“. Кіевъ, 1881, повторенной въ третьей книгѣ „Чтеній въ историческомъ Обществѣ Нестора Лѣтописца“, подъ редакцію Н. П. Дашкевича. Кіевъ 1889. Въ концѣ помѣщенъ подробный библиографическій списокъ сочиненій.

— Биографическій Словарь профессоровъ и преподавателей императорскаго университета св. Владиміра“ (1884—1884). Кіевъ, 1884, стр. 808—825.

— Воспоминанія объ А. А. Котляревскомъ. Алексія Веселовскаго. Кіевъ, 1888 (изъ „Кіевской Старинки“).

— А. А. Котляревскій, А. В. Стороженка, въ „Вѣстн. Евр.“, 1890, июль.

далась реформа, долженствовавшая произвести знаменательный переломъ въ жизни народа, и интересы новой, только-что воспринимаемой у насъ науки, посвященной изслѣдованію старыхъ преданій и современнаго поэтического содержанія народной жизни. Первые труды его были посвящены съ одной стороны общимъ вопросамъ о постановкѣ нашихъ изученій народной старины и исторіи литературы ¹⁾, отчасти специальнымъ предметамъ бытовой археологіи и этнографіи ²⁾, отчасти общему вопросу сравнительнаго языковеденія ³⁾. Изученія его отличались съ самаго начала большою разносторонностью, которая была характерна по положенію самаго вопроса: какъ въ нашей общественности того времени сказались вдругъ давно таившіяся требованія общественнаго и нравственнаго быта, такъ въ изученіяхъ народности, въ новомъ поколѣніи изслѣдователей, возникалъ цѣлый рядъ вопросовъ по разнымъ отраслямъ народной археологіи, этнографіи, языковеденія, сравнительной миеологіи, къ которымъ проложенъ былъ путь предыдущимъ поколѣніемъ ученыхъ, но которыя требовали настоятельныхъ исканій, тѣмъ болѣе, что наука университетская не имѣла тогда достаточныхъ органовъ въ этомъ направленіи ⁴⁾. Не легко было овладѣть тѣмъ матеріаломъ самой русской народной старины, который долженъ былъ быть введенъ въ изслѣдованіе, и тѣмъ обширнымъ матеріаломъ богато развивавшейся тогда западной науки, который заключалъ въ себѣ существенно важныя приобрѣтенія по сравнительному языковеденію и миеологіи, нерѣдко прямо относившіяся и къ нашему содержанію, и не менѣе важныя указанія о методѣ изслѣдованія. Такимъ образомъ обширная начитанность Котляревскаго была особливою потребностью данной минуты. Основой его научныхъ понятій было ученіе Гримма; онъ внимательно изучалъ „Миеологію“ и „Древности Права“, вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдилъ за новѣйшей западной литературой по изученію на-

¹⁾ Критическія статьи о книгахъ архіеп. Филарета, Милюкова, Ор. Миллера, Шеврева, Галахова и др.; „Старина и народность“, 1862.

²⁾ „Были ли малоруссы исконными обитателями Полянской земли, или пришли изъ-за Карпатъ въ XIV вѣкѣ?“ 1862; Изображеніе калитки переходжаго въ латинской рукописи XIV вѣка, 1862; Русская народная сказка, 1864; Для исторіи русскаго народнаго театра,—Алиса воинъ и смерть, 1864; Основной элементъ русской богатырской былинны,—по поводу книги Л. Майкова, 1864; Металлы у племенъ индоевропейскихъ; Скандинавскій корабль на Руси, 1866; Славяне и Русь древнѣйшихъ арабскихъ писателей, 1868; Archäologische Späne, 1871, и др.

³⁾ Статьи въ воронежскихъ „Филолог. Запискахъ“: „Сравнительное языковеденіе“, 1862—63 и др.

⁴⁾ О состояніи университетовъ того времени ср. замѣчанія В. И. Модестова, въ книжкѣ: „Русская наука въ послѣднія двадцать пять лѣтъ“, Одесса, 1890, стр. 11. То время, до министерства Головинна, авторъ прямо считаетъ временемъ упадка университетовъ.

родной древности, не говоря о литературѣ славянской и русской. Такимъ образомъ онъ, какъ немногіе изъ тогдашняго ученаго молодого поколѣнія, знакомъ былъ съ положеніемъ вопроса въ литературѣ, и это давало ему возможность вѣрно оцѣнивать совершавшуюся тогда научную работу. Его небольшая книжка: „Старина и народность“ (за 1861), представляющая обзоръ тогдашнихъ работъ по изученію народнаго быта и поэзіи, археологіи, исторіи старой и народной литературы, и которая можетъ послужить теперь любопытнымъ историческимъ очеркомъ тогдашняго состоянія этнографической науки, эта книжка заключала въ себѣ много мѣткихъ и полезныхъ замѣчаній по поводу различныхъ тогдашнихъ трудовъ въ этой области; указывая ошибки, намѣчала правильный путь исслѣдованія и цитировалась поэтому долго послѣ своего появленія. Нѣсколько позднѣе, Котляревскій далъ любопытный разборъ „Поэтическихъ Воззрѣній“ Леонасьева, гдѣ оснаривалъ уже преувеличенія миеологическаго метода; еще позднѣе—разборъ „Исторіи русской жизни“ г. Забѣлина, и пр. Благодаря литературному опыту, Котляревскій больше чѣмъ нѣкоторые другіе изъ тогдашнихъ исслѣдователей остался свободенъ отъ филологическихъ и миеологическихъ крайностей и былъ вообще весьма остороженъ въ своихъ выводахъ, указывая необходимость всесторонняго наблюденій и критики. Его первая обширная работа: „О погребальныхъ обычаяхъ языческихъ Славянъ“, есть въ одно и то же время работа археологическая и этнографическая, какъ и вообще онъ не однажды соединялъ изученіе старины съ этнографической точкой зрѣнія. Послѣдующіе труды его были посвящены славянскимъ предметамъ; въ „Библиологическомъ опытѣ о древней русской письменности“ онъ далъ исторію русской филологіи, за которою должна была послѣдовать подобная исторія изученія русской народности, оставшаяся неисполненною. Въ параллель къ тому, что замѣчено выше о разносторонней начитанности Котляревскаго, можно прибавить, что онъ былъ также ревностный книжный собиратель, библиоманъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Библіотека его представляла замѣчательно полное, систематически подобранное собраніе книгъ по русской старинѣ—исторіи, археологіи, филологіи и этнографіи. Къ великому сожалѣнію, тяжелая болѣзнь, угнетавшая его въ послѣдніе годы жизни, не дала ему воспользоваться тѣмъ обильнымъ матеріаломъ знанія, которымъ онъ обладалъ; но рядомъ съ его изданными трудами остаются весьма характерны для той научной эпохи его коллекторскія работы и его библіотека, въ которой онъ хотѣлъ собрать наличный матеріалъ нашей археологической и этнографической науки, какъ результатъ ея прежнихъ пріобрѣтеній и путь къ новымъ разысканіямъ.

Около того же времени, съ шестидесятихъ годовъ, появляются первые труды г. Потебни, занимающаго теперь одно изъ первыхъ мѣстъ, если не первое, въ ряду русскихъ филологовъ. Александръ Аван. Потебня былъ питомцемъ харьковскаго университета. Послѣ перваго своего труда: „О нѣкоторыхъ символахъ въ славянской народной поэзи“, который былъ его магистерскою диссертациею, онъ, уже въ качествѣ адъюкта харьковскаго университета, продолжалъ свои ученныя занятія за границей (съ конца 1862 года), направивъ свои изученія на филологію и миеологию; въ Берлинѣ онъ слушалъ санскритъ у Вебера, и посѣтилъ потомъ славянскія земли ¹⁾. Съ тѣхъ поръ былъ имъ изданъ цѣлый рядъ замѣчательныхъ трудовъ, посвященныхъ частью чисто филологическому изслѣдованію русскаго языка, частью изысканіямъ по народной миеологіи на основаніи данныхъ языка. Его филологическія работы были высоко оцѣнены специалистами; двѣ книги „Изъ записокъ по русской грамматикѣ“, въ половинѣ семидесятихъ годовъ, были вознаграждены Ломоносовскою преміею и онъ избранъ былъ членомъ-корреспондентомъ въ Академію наукъ ²⁾.

Какъ замѣчалъ академическій критикъ, г. Потебня имѣлъ въ своемъ трудѣ не мало предшественниковъ, тѣмъ не менѣе задача изученія русскаго языка оставалась весьма сложной. „Кромѣ старыхъ трудовъ Востокова, Греча и другихъ,—говорилъ Срезневскій,—онъ могъ имѣть и имѣлъ подъ руками важныя труды Павскаго, Буслаева и еще нѣкоторыхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ труды Минлопича, Гаттала, Даничича и нѣкоторыхъ другихъ западныхъ славистовъ. Онъ нашелъ сдѣланнымъ многое, но многое и едва начатымъ и недооцѣненнымъ... Ни одинъ изъ славянскихъ языковъ, ни даже старо-славянскій языкъ, котораго родина и первичный строй доселѣ еще не опредѣлены окончательно, не давалъ поводовъ къ такимъ различнымъ соображеніямъ и домысламъ, какъ языкъ русскій. Изъ всего того, что есть въ виду о русскомъ языкѣ, надобно выдѣлить цѣнное, отстранивъ не подходящее подъ уровень требованій строгой науки, хотя бы и не съ разу, не безъ колебаній, хотя бы отчасти и языковзательнымъ чутьемъ. При этомъ ограничить кругозоръ своихъ наблюденій и изслѣдованій однимъ книжнымъ новымъ язы-

¹⁾ Извлеченія изъ отчетовъ лицъ, отправленныхъ министерствомъ нар. просвѣщенія за границу, для приготовленія къ профессорскому званію. Спб. 1868—1867. I, стр. 282—283; II, стр. 356.

²⁾ „Записка о трудахъ профессора А. А. Потебни, представленная во II-е отдѣленіе Академіи наукъ“, Срезневскаго. См. „Сборникъ“ второго отдѣленія Академіи. Спб. 1878, т. XVIII, стр. LXXXIX—CXVII, и тамъ же отчетъ о присужденіи Ломоносовской преміи, стр. LXXIV—LXXXVIII.

комъ, даже и съ прибавленіемъ того, что хотя и не принято въ печатной рѣчи, но принято или осталось въ устной рѣчи образованнаго общества, было бы невозможно. Какъ ни любопытно уясненіе всѣхъ явленій строя литературнаго языка сопоставленіями ихъ самихъ взаимно, оно ни на сколько не можетъ удовлетворить ищущаго его, если только не захочетъ онъ идти покойно самодовольнымъ ходомъ оправдательнаго осмысленія всѣхъ навыковъ, въ силу котораго все, что принято большинствомъ, должно считаться соответствующимъ законамъ строя языка—пока остается принятымъ. Для уясненія строя даже и этой доли русскаго языка наблюдатель-ислѣдователь долженъ раздвинуть свой кругозоръ и въ ширь—въ область языка народнаго, и въ глубь—въ область языка временъ прошедшихъ, тамъ и тамъ при помощи языковъ иностранныхъ. Но разъ вошедши въ эти области, не можетъ уже онъ (если только не по неволѣ стѣснилъ кругъ своихъ наблюдений, или не могъ побѣдить своего пристрастія къ современному литературному языку, какъ къ единственно важному въ какомъ бы то ни было отношеніи) не перемѣнить срединной точки своихъ наблюдений. Середину его кругозора, если не какъ ясно понимаемая дѣйствительность, то по крайней мѣрѣ какъ искомый образъ бывшаго и минуваго, займетъ тотъ древній языкъ, отъ котораго какъ вѣтви пошли всѣ мѣстные нарѣчія и говоры, и который во всѣхъ вѣтвяхъ своихъ перемѣнялся и самъ по себѣ и по дѣйствию разныхъ обстоятельствъ. Книжный общественный языкъ имъ будетъ уваженъ какъ самая важная изъ вѣтвей языка, какъ главная связь всѣхъ частей народа, какъ главный проводникъ и хранитель образованности народа; но все-таки какъ одна изъ вѣтвей, даже какъ вѣтвь отъ вѣтви, только берущая соки не отъ одной вѣтви, а отъ разныхъ, отъ самаго корня языка“.

Этими словами Срезневскій опредѣляетъ задачу изслѣдованія, какъ понималъ ее г. Потебня. Такова дѣйствительно была точка зрѣнія и приемъ нашего изслѣдователя. Говоря о строѣ современнаго синтаксиса русскаго языка, г. Потебня дѣлаетъ замѣчаніе, которое такимъ же образомъ прилагается къ его звукамъ и формамъ. Языкъ является намъ теперь какъ сложная, пестрая масса образованій, созданныхъ въ самые различные періоды его развитія и связанныхъ употребленіемъ въ одно цѣлое, которое кажется однороднымъ, хотя на дѣлѣ идетъ изъ разныхъ историческихъ эпохъ и составилось по различнымъ требованіямъ.

„Прежде созданное въ языкѣ,—говоритъ г. Потебня,—двоюю служить основаніемъ новому: частью оно перестраивается заново при другихъ условіяхъ и по другому началу, частью же измѣняетъ свой видъ и значеніе въ цѣломъ единственно отъ присутствія новаго.

Согласно съ этимъ поверхность языка всегда болѣе или менѣе пестрѣетъ оставшимися наружу образцами разнохарактерныхъ пластовъ. Признавая эту пестроту поверхности языка (напр., то, что обороты „онъ былъ купецъ“ и „онъ былъ купцомъ“, стоящіе рядомъ въ нынѣшнемъ языкѣ, не одновременны по происхожденію и не однородны, но построены по различнымъ планамъ), стараясь сколько-нибудь опредѣлить пропорціи, въ какихъ на обращенной къ намъ поверхности языка смѣшаны разнохарактерныя явленія, мы вмѣстѣ съ тѣмъ приходимъ къ необходимости выяснить характеръ ихъ, поставивши ихъ въ ряды другихъ, съ ними однородныхъ. Явленія, представляемыя составными членами предложенія, принадлежать къ двумъ разновременнымъ и разнохарактернымъ наслоеніямъ. Древнее наслоеніе оказывается, за немногими исключеніями, общимъ славянскому языку съ другими индоевропейскими“.

Исслѣдуя такимъ образомъ явленія языка, звуковыя, формальныя и синтаксическія, г. Потебня употребляетъ въ дѣло обширную массу фактовъ, какіе доставляло сравненіе съ языками индоевропейской семьи (особливо сравненія изъ санскрита и литовскаго языка, ближайшаго къ славянскимъ), славянскія нарѣчія, наконецъ различные историческіе періоды самого русскаго языка и его нарѣчій. Авторъ останавливается на различныхъ вопросахъ въ опредѣленіи русскаго языка: на его основныхъ особенностяхъ, на историческомъ происхожденіи и соотношеніяхъ его нарѣчій, главныхъ и второстепенныхъ, на особенностяхъ нарѣчія малорусскаго, наконецъ всего болѣе на строеніи русскаго синтаксиса, гдѣ, быть можетъ, никто изъ прежнихъ филологовъ не сдѣлалъ столько важныхъ замѣчаній и настоящихъ открытій.

Относительно историческаго развитія русскаго языка г. Потебня принимаетъ его основное дѣленіе на два нарѣчія: великорусское и малорусское. „Возводя теперешнія русскія нарѣчія къ древнѣйшимъ признакамъ,—говоритъ онъ,—находимъ, что въ основаніи этихъ нарѣчій лежитъ одинъ конкретный нераздробленный языкъ, уже отличный отъ другихъ славянскихъ“. Затѣмъ, „раздробленіе этого языка на нарѣчія началось многимъ раньше XII вѣка, потому что въ началѣ XIII в. находимъ уже несомнѣнные слѣды раздѣленія самого великорусскаго нарѣчія на сѣверное и южное, а такое раздѣленіе необходимо предполагаетъ уже и существованіе малорусскаго, которое болѣе отличается отъ каждаго изъ великорусскихъ, чѣмъ эти другъ отъ друга“. Предполагаемое обще-великорусское нарѣчіе выдѣлилось отъ древняго языка нѣкоторыми звуковыми особенностями уже въ X столѣтіи или раньше. По раздѣленіи великорусскаго нарѣчія на

сѣверное и южное, изъ послѣдняго, какъ особая вѣтвь, отдѣлилось нарѣчіе бѣлорусское.

Съ тѣхъ поръ какъ были высоко оцѣнены первые филологическіе труды г. Потебни, онъ издалъ, какъ дальше укажемъ, новый рядъ филологическихъ изслѣдованій и повторилъ въ дополненномъ видѣ изданіе своихъ „Записокъ по русской грамматикѣ“. Въ общемъ выводѣ о свойствахъ этихъ изслѣдованій можно опять привести слова Срезневскаго. „Предметомъ изслѣдованій взялъ онъ весь русскій языкъ, на сколько онъ извѣстенъ съ древнѣйшаго времени до нынѣшняго и во всѣхъ главныхъ мѣстныхъ его видоизмѣненіяхъ. Ни одинъ, сколько-нибудь важный памятникъ русскаго языка, древняго, стариннаго, новаго, сѣвернаго, южнаго, западнаго, не могъ онъ слѣдовательно оставить, какъ ненужный; ни одно явленіе строя языка какого бы ни было времени и края не должно было быть имъ опущено; ни одинъ изъ научно добытыхъ выводовъ о каждомъ изъ нихъ, сдѣланныхъ до него изслѣдователями, не могъ быть имъ оставленъ безъ вниманія... Это—шагъ новый въ наукѣ русскаго языка и вмѣстѣ съ тѣмъ тяжелый, потому что, рѣшаясь на него, изслѣдователь рѣшается на трудъ внимательнаго разсмотрѣнія огромной массы памятниковъ и ихъ объясненій, трудъ новый и тяжелый, но тѣмъ не менѣе необходимый, требуемый ходомъ науки“. Срезневскій цѣнитъ въ особенности въ трудахъ г. Потебни „выполненіе желанія по возможности цѣльно и критически представить всѣ общія явленія грамматическаго строя языка вообще, примѣнительно къ строю русскаго языка. Такого цѣльнаго филологическаго разбора строя языка у насъ еще не было“. Опредѣляя манеру нашего изслѣдователя Срезневскій говоритъ: „Нѣтъ ни суетливой поспѣшности въ присканіи исхода, ни позывовъ упорства стоять на своемъ наперекоръ даннымъ, ни щеголянья новизною. Видимъ простой, покойный трудъ ученаго, у котораго нѣтъ никакихъ заднихъ мыслей и побужденій, кромѣ желанія узнать узнаваемое какъ можно вѣрнѣе“⁴⁾.

Прежде, чѣмъ г. Потебня отдался этимъ изслѣдованіямъ языка, его первые труды были направлены на русскую мѣологію, ту, которая проникаетъ народную поэзію и преданія и истолковывается сравненіемъ народно-поэтическаго матеріала съ преданіями другихъ родственныхъ племенъ, славянскихъ и не-славянскихъ, и изслѣдованіемъ сравнительно-филологическимъ. Это было еще время полнаго господства Гримма и его школы. Гриммъ, Кунъ, Маннгардтъ, Вольфъ были авторитетами для нашихъ изыскателей, вступавшихъ

⁴⁾ Сборникъ, стр. LXXXII, СП, СVI. Прибавимъ еще въ изложеніи скатость языка, въ новѣйшихъ трудахъ приобретающую, кажется, все болѣе болѣе законизмъ.

въ область народнаго преданія, и мы видѣли уже, что иногда они слишкомъ подчинялись или довѣрялись тѣмъ положеніямъ, которыя считали тогда прочно установленными. Положеніе было однако таково, что примѣненіе однихъ и тѣхъ же приемовъ въ германской и русской мѣологіи было бы затруднено самымъ качествомъ матеріала, подлежащаго объясненію. Начать съ того, что древность оставила тамъ и здѣсь весьма различныя ступени мѣологическаго развитія: въ то время какъ германскій міръ владѣлъ цѣлымъ пантеономъ языческихъ божествъ съ опредѣленными чертами и отъ нихъ можно было вести генеалогію позднѣйшихъ народныхъ представленій, міръ славяно-русскій не имѣлъ ничего подобнаго. Историки давно должны были придти къ выводу, что за нѣкоторыми исключеніями (напр. славянство балтійское), къ эпохѣ введенія христіанства, славянскія племена не успѣли выработать опредѣленной мѣологической системы; даже тѣ языческія божества, какія названы русскою лѣтописью, сохранились почти только голыми именами, истолкованіе которыхъ до послѣдняго времени оставалось слишкомъ гадательнымъ или произвольнымъ. Въ большинствѣ случаевъ въ славянскомъ мірѣ сбереглась только такъ-называемая низшая мѣологія, сохранившаяся въ сказкѣ, пѣснѣ, повѣр'ѣ, слѣдовательно только въ народной памяти, но далѣе не развившаяся и только рѣдко и лаконично закрѣпленная письменнымъ свидѣтельствомъ старины, которое, еслибы было полнѣе, было бы чрезвычайно важно тѣмъ, что дало бы понятіе о тѣхъ посредствующихъ ступеняхъ, какими древнее преданіе дошло до нашего времени. Объясненія Гриммовой школы были у насъ непосредственно примѣнены къ сравнительно скудному матеріалу нашего преданія: такимъ образомъ приравнивались явленія, принадлежавшія различнымъ ступенямъ историческаго развитія. Съ другой стороны то, что сбережено доннѣ народною памятью, безъ сомнѣнія сбережено во-первыхъ не сполна, а во-вторыхъ, въ теченіе вѣковъ или цѣлаго тысячелѣтія, отдѣляющаго отъ насъ русскую до-христіанскую древность, къ первобытному преданію примѣшалось много новаго: въ первые вѣка нашего христіанства раздавались жалобы на *двоевѣріе*, которое, какъ можно думать даже а priori, должно было весьма существенно господствовать въ народномъ міровоззрѣніи, какъ бытовомъ, такъ и мѣологическомъ. У первыхъ нашихъ послѣдователей Гриммовой школы, рядомъ съ указаннымъ слишкомъ буквальнымъ примѣненіемъ къ русскому матеріалу метода, выработаннаго на матеріалѣ германскомъ, былъ также замѣтенъ и недостатокъ вниманія къ этому историческому элементу, который вошелъ въ народный мѣъ и сказаніе на ихъ пути отъ древнѣйшихъ временъ до настоящаго. Такъ было у Буслаева и Аванасьева; такъ въ значительной степени

повторилось и въ первоначальныхъ разысканіяхъ г. Потебни. Первая книжка его говоритъ собственно о символическомъ значеніи извѣстныхъ выраженій и оборотовъ народной поэзіи. Двѣ послѣдующія работы останавливаются опять отчасти на томъ же предметѣ, отчасти вообще на свойствахъ языка, какъ выраженія самыхъ тонкихъ движеній человѣческой мысли и воображенія, и какъ выраженія мышленія миеологическаго ¹⁾). Въ изслѣдованіи „О миеическомъ значеніи нѣкоторыхъ обрядовъ и повѣрій“, отъ объясненій символизма г. Потебни переходить прямо въ область миеологіи и съ одной стороны при помощи филологическаго толкованія словъ (названій существъ и предметовъ, прикосновенныхъ къ народному миеу), съ другой посредствомъ сравненія русскихъ преданій съ ино-славянскими, а также съ преданіями нѣмцевъ и другихъ народовъ, старается возстановить народный миеъ въ формѣ отдаленнѣйшихъ вѣковъ, предшествовавшихъ христіанству, до какихъ только полагаетъ достигать новѣйшее сравнительное языкознаніе и миеологія. Это былъ отчасти тотъ самый путь, которымъ шелъ передъ тѣмъ и въ это самое время Аванасьева; новый ученый далеко превосходилъ Аванасьева своимъ филологическимъ вооруженіемъ, но какъ первый возбуждалъ недоумѣніе и сомнѣніе въ изслѣдователяхъ старыхъ и молодыхъ, не увлеченныхъ Гриммовой школой, такъ это повторилось отчасти и на миеологическихъ трудахъ г. Потебни. Читатель, искавшій объясненія древнихъ миеовъ, встрѣчалъ такую массу разнообразныхъ сближеній, миеологическихъ истолкованій, простиравшихся между прочимъ на самыя мелкія подробности народнаго преданія или обряда; миеы такъ переплетались одинъ съ другимъ; обширная начитанность автора навопляла такое обиліе данныхъ, что не легко было разобраться во множествѣ подробностей, особливо когда онѣ оставались не сведенными въ цѣлое, гдѣ выдѣлилось бы основное и второстепенное, и когда осталась почти незатронутой упомянутая историческая сторона миеологическаго развитія. Въ этомъ смыслѣ названнаго изслѣдованія г. Потебни вызвали обширный критическій разборъ П. Лавровскаго ²⁾, гдѣ высказано было не мало справедливыхъ указаній на необходимость большей строгости въ филологическихъ толкованіяхъ и большаго вниманія къ историческому элементу преданія ³⁾. Послѣ новаго ряда замѣчательныхъ филологическихъ работъ, г. Потебня снова обра-

¹⁾ „Мысль и языкъ“, 1862.

²⁾ Въ «Чтеніяхъ» московскаго Общества исторіи и древностей, 1866.

³⁾ Отвѣвъ Срезневскаго, въ его нерѣдкой манерѣ уклончиваго, двухсторонняго языка, высказываетъ въ сущности такое же отрицательное отношеніе къ этимъ миеологическимъ объясненіямъ. См. въ упомянутыхъ академическихъ отчетгахъ, „Сборникъ“, т. XVIII, стр. XC—XCI.

тился къ народной поэзіи, поставивъ теперь цѣлью изслѣдованія „поэтическіе мотивы“, въ которыхъ, конечно, сказываются и свойства языка, и мотивы миеологическіе. Эти новые труды ученаго автора въ высокой степени цѣнны для специалистовъ громадною массою наблюдений надъ стилемъ народной пѣсни, ея метафорическими и символическими образами, миеологическими намеками, психологической подкладкой: жаль, однако, что авторъ все время остается только изслѣдователемъ-комментаторомъ, собираетъ богатый матеріалъ любопытныхъ сопоставлений и уклоняется отъ общаго вывода о стилѣ и миеологическомъ содержаніи изслѣдованныхъ имъ областей народной поэзіи,—вывода, который въ рукахъ многоопытнаго изыскателя, могъ бы быть особенно поучителенъ, между прочимъ какъ руководство для послѣдующихъ работниковъ на этомъ поприщѣ. И здѣсь, какъ прежде, историческій элементъ развитія затронуть мало, и когда къ тому же предмету обращается изслѣдователь, выходящій изъ другой точки зрѣнія и съ другимъ приѣмомъ анализа,—они какъ будто говорятъ о разныхъ предметахъ. Такъ, встрѣтились на вопросѣ о происхожденіи и содержаніи колядокъ г. Потебня и А. Н. Веселовскій ¹⁾, и нужны новыя изслѣдованія, чтобы привести ихъ заключенія къ общему знаменателю, гдѣ бы онѣ взаимно себя ограничили и дополнили ²⁾.

¹⁾ Ср. статью г. Сумцова: „Научное изученіе колядокъ и щедривокъ“, „Кіев. Старина“, 1886, февраль, стр. 237—266.

²⁾ Сочиненія А. А. Потебни:

— О нѣкоторыхъ символахъ въ славянской народной поэзіи. Харьковъ, 1860. (155 стр.).

— „Мысль и языкъ“. Рядъ статей въ Журн. Мин. Просвѣщенія, 1862.

— О связи нѣкоторыхъ представленій въ языкѣ. Воронежъ, 1864.

— О мнѣнскомъ значеніи нѣкоторыхъ обрядовъ и повѣрій. I. Рождественскіе обряды. II. Баба-Яга (стр. 85). III. Змѣй. Волкъ. Вѣдьма (стр. 233—310). Въ „Чтеніяхъ“ Моск. Общества ист. и древн. 1865, кн. 2—8, (232 стр.).

— Два изслѣдованія о звукахъ русскаго языка: I, о полногласіи; II, о звуковыхъ особенностяхъ русскіхъ нарѣчій. Воронежъ, 1866 (изъ „Филологич. Записокъ“ 1864—1865 г.; 156 стр.).

— О долѣ и сродныхъ съ нею существахъ. М. 1867, изъ „Древностей“ Моск. Археол. Общества, т. II; 44 стр.

— О купальскихъ огняхъ и сродныхъ съ ними представленіяхъ. М. 1867, изъ „Археолог. Вѣстника“ Моск. Археолог. Общества, 19 стр.

— Переправа черезъ воду, какъ представленіе брака. 1867.

— Замѣтки о малорусскомъ нарѣчій, въ „Филологич. Запискахъ“, 1870, и отдѣльно, 1871.

— Изъ Записокъ по русской грамматикѣ. I. Введеніе. Воронежъ 1874. (Изъ „Филологич. Записокъ“, 157 стр.).

— Изъ Записокъ по русской грамматикѣ. II. Составныя части предложенія и ихъ замѣны въ русскомъ языкѣ. (Изъ „Записокъ Харьковского университета“). Харьковъ, 1874. 538 стр.

Въ тѣ же годы появляются первые труды г. Стасова, имѣвшіе отношеніе къ этнографіи и бытовой археологіи. Владимиръ Вас. Стасовъ родился въ Петербургѣ въ 1824 году (2 января). Послѣ домашняго обученія онъ поступилъ въ 1836 году въ училище правовѣдѣнія и, окончивъ тамъ курсъ въ маѣ 1843, служилъ сначала въ департаментѣ герольдіи въ сенатѣ, а съ 1850 въ консулѣ при министерствѣ юстиціи. Вышедши въ 1851 году въ отставку, онъ уѣхалъ за границу, гдѣ прожилъ съ половины этого года и до марта 1854. Затѣмъ, въ концѣ 1856, онъ поступилъ на службу при баронѣ М. А. Корфѣ, въ комиссію (дѣйствовавшую специально для имп. Александра II) по собиранію матеріаловъ для исторіи царствованія Николая I; съ того же времени г. Стасовъ работалъ для Публичной бібліотеки, и окончательно перешелъ туда на службу въ 1872 году.

Такимъ образомъ школа г. Стасова была собственно юридическая съ тѣмъ общеобразовательнымъ характеромъ, какой имѣло названное учебное учрежденіе, но въ домашней средѣ онъ рано воспринялъ художественные интересы, которые заняли впоследствии такъ много мѣста въ его литературной дѣятельности. Въ той же средѣ издавна

— Къ исторіи звуковъ русскаго языка. Воронежъ, 1876. 243 стр., съ двойной пагинаціей 113—126. (Прежде печаталось въ Журн. Мин. Просв. 1873—74, и въ „Филолог. Запискахъ“ 1875).

— Малорусская народная пѣсня, по списку XVI вѣка. Текстъ и примѣчанія. Воронежъ, 1877. 53 стр. (Изъ „Филол. Записокъ“).

— Слово о полку Игоревѣ. Текстъ и примѣчанія. Воронежъ, 1878. 158 стр. (Изъ „Филолог. Записокъ“ 1877—78 г.).

— Къ исторіи звуковъ русскаго языка. Выпускъ II. Варшава, 1880. (Изъ „Р. Филологич. Вѣстника“).

— Къ исторіи звуковъ русскаго языка. III. Этимологическія и другія замѣтки. Варшава, 1881. 142 стр. (Изъ „Р. Филологич. Вѣстника“, 1880).

— Къ исторіи звуковъ русскаго языка. IV. Этимологическія и другія замѣтки. Варшава, 1883. (Изъ „Р. Филолог. Вѣстника“ 1881—82 г.). 86 и IX стр.

— Объясненія малорусскихъ и сродныхъ народныхъ пѣсень. (Изъ „Р. Филол. Вѣстника“, 1882—83 г.). Варшава, 1883. 268 и VIII стр. (Веснянки).

— Объясненія малорусскихъ и сродныхъ народныхъ пѣсень. II. Колядки и щедровки. (Изъ „Р. Филолог. Вѣстника“ съ 1884: „Обзоръ поэтическихъ мотивовъ колядокъ и щедровокъ“). Варшава, 1887. 801 стр.

— Значеніе множественнаго числа въ русскомъ языкѣ. Воронежъ, 1888.

— Изъ записокъ по русской грамматикѣ. I. Введеніе II. Составные члены предложенія и ихъ замѣны. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. Харьковъ, 1889. 585 и VI стр.

Отмѣтимъ еще:

— Разборъ „Нар. Пѣсень Галицкой и Угорской Руси“, Головацкаго, въ 21-мъ отчетѣ объ Уваровскихъ преміяхъ, „Записки“ Акад. Наукъ, т. XXXVII.

— Разборъ книги П. Жигецаго: „Обзоръ звуковой исторіи малорусскаго нарѣчія“, 1876,—въ отчетахъ объ Уваровскихъ преміяхъ, 1878.

возникъ у него интересъ къ народной жизни, къ народному разсказу, преданію и т. п. Эти разнообразныя вкусы были развиты въ послѣдствіи обширной начитанностью, для которой продолжительная служба въ Публичной библиотекѣ, гдѣ г. Стасовъ завѣдуетъ отдѣломъ художествъ, давала пищу и новыя возбужденія. Не касаясь здѣсь многочисленныхъ трудовъ его, которые специально посвящены различнымъ отраслямъ русскаго искусства, въ сопоставленіи его съ искусствомъ западнымъ, замѣтимъ только, что давнимъ и упорнымъ стремленіемъ г. Стасова было здѣсь указывать то, въ чемъ русское искусство, будетъ ли то живопись, архитектура, музыка, можетъ найти и разработать русское содержаніе, передать его не въ подражательной, чужой, а въ самобытной національной манерѣ; столь же давно и настойчиво онъ указывалъ достоинства и дѣлался ревностнымъ защитникомъ тѣхъ произведеній нашего искусства, гдѣ съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ было усвоено это національное содержаніе и манера: отсюда, работы его имѣли въ особенности критическій и полемическій характеръ. Изученіе русскаго искусства привело г. Стасова и къ изученію художественныхъ элементовъ въ современномъ народномъ быту и въ области археологій: такъ онъ дѣлался этнографомъ и бытовымъ археологомъ.

То расширеніе народныхъ изученій, которое отличаетъ 50-е года, первые годы прошлаго царствованія, завлекало г. Стасова къ новымъ работамъ въ этомъ направленіи: представлялись все новыя вопросы, затрогивались новыя предметы народнаго быта и творчества, къ которымъ впервые прилагались новѣйшіе приемы изслѣдованія—народная картинка, старая гравюра, художественныя предметы быта, орнаментъ, узоръ, археологическія слѣды русской народности, наконецъ, народный эпосъ. Г. Стасовъ всемъ этимъ былъ заинтересованъ, сообщалъ свои замѣчанія, писалъ цѣлыя трактаты, иногда парадоксальныя, иногда даже ошибочныя, но всегда оригинальныя, всегда богатые новыми ображеніями и вызывающіе на новыя изслѣдованія и провѣрку.

Предметы, на которыхъ останавливался г. Стасовъ въ трудахъ, соприкасающихся съ этнографіей и археологіей, были такимъ образомъ весьма разнообразны. Первый трудъ этого рода относится къ русской гравюрѣ, между прочимъ народной, по поводу первыхъ изслѣдованій Д. А. Ровинскаго; въ послѣдствіи г. Стасовъ возвратился къ этому предмету, когда вышло обширное изданіе народныхъ картинокъ г. Ровинскаго; далѣе, давнимъ интересомъ его былъ русскій народный орнаментъ, древняя русская одежда, русская деревянная архитектура; русскія древности, какъ онъ раскрывались въ новѣйшихъ археологическихъ изслѣдованіяхъ; курганныя раскопки на югѣ Россіи, въ которыхъ искали слѣдовъ древнѣйшаго періода русской

народности; свидѣтельства о русскомъ народѣ у древнихъ восточныхъ писателей: русская этнографія, какъ она являлась на новѣйшихъ выставкахъ и т. д. О специальномъ трудѣ г. Стасова, прямо входящемъ въ область этнографіи, его изслѣдованіи о происхожденіи русскихъ былинъ, упомянемъ особо далѣе ¹⁾).

¹⁾ Отмѣтимъ тѣ труды г. Стасова, которые имѣютъ прямое или косвенное отношеніе къ этнографіи или къ характеристикѣ русскихъ народныхъ художественныхъ элементовъ.

— 1868; въ Отчетѣ о 2-мъ присужденіи Уваровскихъ премій, о сочиненіи Д. А. Ровинскаго: „Обозрѣніе русскаго гравированія на металлѣ и на деревѣ съ 1664 до 1725 года“ (здѣсь между прочимъ рѣчь о народныхъ картинахъ „Баба-яга“ и „Миши котъ погребаютъ“).

— 1861, Извѣстія Археологическаго Общества, т. III, вып. 2-й: „Изображеніе преп. Ильи Муромца“; вып. 4-й: „Коньки на крестьянскихъ крышахъ“; вып. 5-й: „Лубочныя картинки—Баба-яга и Миши котъ погребуютъ“; вып. 6-й: „Арабскія цифры на гравюрѣ 1627 г.“.

— 1864, Сиб. Вѣдомости, № 198: „Московская картинка для народа“.

— 1866, Вѣстн. Европы, мартъ: „Археологическая замѣтка о постановкѣ Рогвѣди“.

— 1867, Сиб. Вѣдом., № 179, 182: „Наша этнографическая выставка и ея критика“.

— 1868, Извѣстія Археологич. Общества, т. VI: „Владимірскій владъ“.

— 1870, Сиб. Вѣдом., № 183, 140, 143, 167: „Художественныя замѣтки о выставкѣ въ Солянскомъ городкѣ“.

— 1871, тамъ же, № 80—40: „По поводу новой постановки Руслана“; № 88: „Лекція гр. Солюгуба о русской народной орнаментикѣ“.

— 1871 тамъ же, № 54: Новые художественныя наданія: „Изданіе русской избки въ Парижѣ. Иллюстрир. изданіе всероссійской мануфактурной выставки. 1870 г.“. (Рѣчь идетъ по поводу книги: *L'architecture des nations étrangères... à l'exposition universelle de Paris en 1867. Par Alfred Normand. P. 1870.*

— 1872, „Русскій народный орнаментъ“, съ объяснительнымъ текстомъ на русскомъ и франц. языкахъ. Изд. Общества поощренія художниковъ.

— 1873, Сиб. Вѣдом., № 222, 251, 259: „Художественныя замѣтки о Политехнической выставкѣ въ Москвѣ“.

— 1877, Русская Старина, № 4: „Дуга и причинный конекъ“.

— 1878, Пчела, № 25: „Русскія постройки на всемірной выставкѣ“.

— 1879, „Записка о поимткахъ ко введенію Грегорианскаго календаря въ странахъ православнаго исповѣданія“ (составленная для officialнаго назначенія и не вышедшая въ свѣтъ).

— 1881, Журн. Мин. Просв., № 8: „Замѣтки о Руссахъ Ибнъ-Фадлана и другихъ арабскихъ писателей“ (авторъ отвергаетъ общепринятое мнѣніе, что извѣстныя свидѣтельства арабскаго писателя относятся къ руссамъ, и доказываетъ, что у него рѣчь идетъ объ обитателяхъ сѣверныхъ финно-тюрковъ).

— 1882, Журн. Мин. Просв., № 1: „Замѣтки о древне-русской одеждѣ и вооруженіи“; № 10: „Русскія народныя картинки, собранныя и описанныя Д. А. Ровинскимъ“ (очень важное допозненіе къ историческому комментарию этой книги). Тоже, въ Отчетахъ о присужденіи Уваровскихъ премій.

— Голось, № 64: „Искусство Средней Азии, Н. Е. Симасова, сборникъ средне-

Выше мы упоминали о возраженіяхъ, сдѣланныхъ Лавровскимъ противъ мнѳологическихъ изслѣдованій г. Потебни. П. А. Лавровскій (1827—1886) былъ собственно славистъ и только немногими своими трудами касался собственно русской старины, языка, народнаго обычая и преданія. Его первая значительная работа: „О языкѣ сѣверныхъ русскихъ лѣтописей“, 1852, была примѣненіемъ историческихъ взглядовъ Срезневскаго. За ней слѣдовало нѣсколько другихъ изслѣдованій въ томъ же направленіи ¹⁾; дальнѣйшія работы его были

азиатской орнаментаціи, исполненной съ натуры. Изд. Общ. поощренія художниковъ, 1862*; № 79, 80: еще о книгѣ Ровинскаго.

— 1868, Художественныя Новости: объ изданіи Симанова „Искусство Средней Азіи“, о „Русскомъ орнаментѣ“; о книгѣ: *L'art des cuivres anciens au Cachemire et au Petit Thibet, par Ujfalvy*.

— 1864, „Картинки и композиціи, скрытыя въ заглавныхъ буквахъ древнихъ русскихъ рукописей“, въ изданіи Общества любителей древней письменности, въ Петербургѣ.

— Художественныя Новости, № 24: „Два иностранныя сочиненія о русскихъ костюмахъ“ (по поводу двухъ сочиненій: „*Le Costume Historique. 500 planches, 300 en couleurs, or et argent, 200 en samaleu. Recueil publié par M. A. Racinet, avec notices explicatives et une étude historique*“, Paris, безъ года, и: „*Trachten, Hausfeld- und Kriegsgeschäften der Völker alter und neuer Zeit. Gezeichnet und beschrieben von Friedr. Hottenroth*“. Stuttg. 1864).

— Славянскій и восточный орнаментъ по рукописямъ древнаго и новаго времени. Изд. съ Высоч. соизволенія имп. Александра II. Слб. 1864—67. Два вып. (Объ этомъ статья г. Буслаева, въ Журн. Мин. Просв. 1864, № 5, стр. 54—104).

— 1865, Вѣстникъ изящныхъ искусствъ, II: „Новыя иностранныя книги о русскомъ искусствѣ“ (Maskell, *Russian art*; Mourier, *L'art au Caucase*); VI: „Коптская и эіопская архитектура“.

— 1866, въ Отчетѣ о присужденіи премій митр. Меларія: „Русское кружево“, г-жи Давидовой.

— Журн. Мин. Просв. № 7: Армянскія рукописи и ихъ орнаментаціи.

— Вѣстникъ изящныхъ искусствъ, IV: „Русская деревянная архитектура въ Галиціи“; VI: „Тронъ хивинскихъ хановъ“.

— Художественныя Новости, № 4: „Узоры стариннаго шитья въ Россіи, собраніе кн. Шаховской“; № 19: „Индійская художественная выставка“; № 22: „Русская орнаментака во французскомъ изданіи“.

¹⁾ Напр. „Объ особенностяхъ словообразованія и значенія словъ въ древнемъ русскомъ языкѣ“ („Извѣстія 2-го отдѣленія Академіи Наукъ“. т. II, Слб. 1853).

— „Нѣсколько словъ о значеніи и происхожденіи слова кметъ“ (Москвитинскій, 1853, т. VI, № 24).

— Выборъ словъ изъ лѣтописей—новгородскихъ, исконскихъ, переславской (въ „Извѣстіяхъ“ Акад., т. IV, 1854).

— „Описаніе семи рукописей Имп. Слб. Публ. Библіотеки“, въ „Чтеніяхъ“ моск. Общ. ист. и древн., 1858, кн. IV,—съ замѣчаніями о старо-славянскомъ и старомъ русскомъ языкѣ, о словахъ, выражающихъ бытовныя и мнѳологическія понятія.

— О русскомъ полногласіи (въ „Извѣстіяхъ“, 1858, т. VII, и еще разъ тамъ же, 1860, т. VIII).

посвящены почти исключительно предметамъ славянскимъ, но нѣсколько статей относится къ бытовой археологiи и этнографiи, гдѣ онъ пользуется также средствами сравнительнаго языкованiя ¹⁾).

‡

— Записка о второмъ изданiи первой части Историч. Грамматики Ф. И. Буслева, въ „Запискахъ Ак. Наукъ“, т. VIII, Сиб. 1865.

¹⁾ Кромѣ упомянутой статьи по поводу изслѣдованiй г. Потебни, здѣсь могутъ быть названы:

— Изслѣдованiе о мненческихъ вѣрованiяхъ у славянъ въ „облако“ и „дождь“ въ связи съ другими подобными же вѣрованiями у другихъ родственннхъ народовъ (въ „Ученнхъ Запискахъ“ 2-го Отд. Акад., кн. VII, вып. 2, 1868).

— Коренное значенiе въ названiяхъ родства у славянъ (въ „Запискахъ“ Акад. Наукъ, т. XII, Сиб. 1867, и въ „Сборникѣ“ 2-го Отд., т. II).

— Памятники рус. народнаго творчества въ Олонекскомъ краѣ (по поводу Рыбникова, т. IV), въ Журн. Мин. Просв. 1868, мартъ.

— Старо-русское тайнописанiе (въ „Древностихъ“ Моск. Археологич. Общества т. III, вып. I).

ГЛАВА VI.

НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ОТНОШЕНИЮ КЪ ИЗУЧЕНИЮ НАРОДНОСТИ.

Вообще говоря, историографія во всемъ ея объемѣ служитъ къ объясненію „народности“. Давая матеріалъ и объясненіе фактовъ дѣятельной или пассивной жизни народа, создавшаго государство, она необходимо приобретаетъ обширное значеніе этнографическое,— но изъ громадной области этой науки особливо относятся къ этнографіи тѣ историческіе труды, которые ближайшимъ образомъ касаются вопросовъ о существѣ народности, ея историческихъ судьбахъ и ея пониманіи въ обществѣ новѣйшемъ. Таковы, во-первыхъ, вопросы—объ этнологическомъ происхожденіи народа, дающемъ ему племенной типъ, ту или другую способность къ культурному совершенствованію, языкъ и съ нимъ извѣстный кругъ понятій; о физической почвѣ и матеріальныхъ условіяхъ жизни народа; о древнихъ формахъ быта, налагавшихъ отпечатокъ на дальнѣйшее развитіе политическихъ учреждений; о позднѣйшемъ распредѣленіи народныхъ классовъ, ихъ взаимномъ отношеніи; о судьбѣ образованности по разнымъ слоямъ народа и т. д. То или другое рѣшеніе этихъ и подобныхъ вопросовъ принадлежитъ исторической наукѣ, и наряду съ современнымъ изученіемъ собственно этнографическимъ и экономическимъ бросаетъ свѣтъ на образованіе и характеръ народности. Вторыхъ, таковы тѣ вопросы, которые такъ тревожно, и слишкомъ часто такъ превратно, ставятся въ наше время—о роли „народныхъ началъ“ въ ходѣ національной исторіи, о степени самобытности историческаго развитія государства и народа, о положеніи народности относительно культурныхъ заимствованій у другихъ народовъ (особливо въ такъ-называемомъ „петербургскомъ періодѣ“), о томъ, что въ настоящее время должно въ нашемъ общественно-политическомъ

бытѣ и образованности считаться народнымъ или ненароднымъ, какъ достигнуть „самобытности“ и т. п.

Всѣ эти вопросы уже ставились въ нашей историографіи и раньше разсматриваемаго періода,—но никогда не разыскивались такъ настоятельно, какъ въ послѣднее время; впрочемъ, вопросы о „самобытности“ всего меньше разсматривались съ научными приѣмами, и всего больше газетно, со всѣми преувеличеніями, фантазіями и даже озабоченіемъ, внушаемымъ враждою партій.

Сравнивъ ходъ нашей историографіи за послѣднія два-три десятилѣтія и за предшествовавшій тому періодъ (отъ Карамзина до Соловьева), мы найдемъ такой же огромный успѣхъ, какой сдѣланъ былъ за это время вообще въ изученіяхъ народа и его быта. Выше мы указывали чрезвычайное расширеніе и самыхъ источниковъ и предметовъ этнографическаго изслѣдованія, и гораздо большую разносторонность и глубину изысканій, сравнительно съ прежнимъ. Подобное представляетъ историографія. Съ первыхъ опытовъ, сдѣланныхъ Кавелинымъ, Соловьевымъ и старыми славянофилами, историки съ особеннымъ вниманіемъ останавливаются на изслѣдованіи общихъ началъ, руководившихъ событіями, и общаго генетическаго развитія явленій. Рѣдкій изъ нихъ стремился быть живописателемъ событій, какъ Карамзинъ (и дѣйствительно, ни одинъ, кромѣ Костомарова, не показалъ художественнаго дарованія), но рѣдкій не искалъ именно объясненія общихъ явленій, не искалъ логической группировки событій, установленія исторической теоріи, для которой событія должны были быть матеріаломъ и оправданіемъ. Таковы были труды Кавелина, Соловьева, К. Аксакова, Ю. Самарина, Забѣлина, Павлова, Костомарова, Щапова, Бестужева-Рюмина, Ключевскаго, Сергѣевича и пр. и пр. Взгляды историковъ сталкиваются не только на частностяхъ, а на самомъ существѣ историческаго движенія—ясно, что вопросъ представалъ передъ ними (если нова и не разрѣшался) въ его научной формѣ, въ тѣсной связи многообразныхъ фактовъ прошедшаго и настоящаго. Этотъ историческій раціонализмъ, сказавшійся весьма опредѣленно еще въ предыдущемъ періодѣ, особенно подѣ дѣйствіемъ нѣмецкой исторической школы, теперь развитъ еще болѣе подѣ влияніемъ великихъ событій, совершавшихся въ самой русской жизни и возбуждавшихъ вновь историческіе запросы, и въ связи съ этимъ, подѣ влияніемъ новѣйшихъ успѣховъ европейской науки.

Мы упоминали раньше, какой оживляющей нравственно и умственно силой была крестьянская реформа. Мысль о народѣ, какъ главнѣйшемъ предметѣ историческаго интереса,—прежде теоретическая, отвлеченная, иногда почти мистическая,—получала теперь плоть и

кровь, становилась наглядной, осязательной. Ближайшимъ предметомъ, потребовавшимъ вниманія, была исторія крестьянства и вообще судьба народа въ историческомъ движеніи: и въ самомъ дѣлѣ внутренній бытъ никогда прежде не вызывалъ столько изслѣдованій, и исторія государства была все больше сопоставляема съ исторіей народа. Это стремленіе нашло себѣ большую опору въ новой европейской наукѣ, гдѣ въ послѣднее время изслѣдованія отъ исторіи государства также направились на общія явленія цивилизаціи, на изслѣдованіе первыхъ зачатковъ и хода человѣческой культуры и затѣмъ судьбы народныхъ массъ.

Старая „философія исторіи“, строившая нѣкогда утонченныя теоріи на запасѣ фактовъ, въ сущности очень скудномъ, смѣнилась разнообразными работами по исторіи „культуры“, имѣвшими то громадное превосходство, что онѣ опирались на огромный массивъ разнообразныхъ фактовъ, часто впервые теперь только собранныхъ и освѣщенныхъ. Какъ прежняя отвлеченная психологія пріобрѣтала теперь свою параллель или противовѣсъ въ изученіяхъ физиологическихъ, такъ исторія „культуры“ направлялась на изученіе реальныхъ явленій жизни — находила ея первые слѣды въ палеонтологическихъ остаткахъ древнѣйшаго человѣка, въ орудіяхъ и постройкахъ озерного и каменнаго вѣка, въ нравахъ и обычаяхъ современнаго быта дикарей; впервые открывала неподозрѣваемые ранѣе остатки древнихъ цивилизацій Египта, Ассиріи, Вавилона, изученіе которыхъ съ одной стороны бросало свѣтъ на древность библейскую, съ другой на первые зачатки греческой цивилизаціи; при помощи сравнительнаго языкознанія, углублялась въ отдаленнѣйшую пору образованія языковъ, первыхъ зачатковъ мѣта, религиозныхъ и бытовыхъ представленій, первыхъ опытовъ образованія и общественности; при помощи антропологій изучала типы племенъ, ихъ видоизмѣненія подъ различными вліяніями, ихъ смѣшеніе и т. д. Цѣлыя группы наукъ соединяли свои средства для разъясненія процессовъ развитія, проходящихъ человѣческими обществами, и въ нѣсколько послѣднихъ десятилѣтій картина древности до-исторической совершенно преобразуется. Въ исторіи ближайшихъ вѣковъ и новаго времени изслѣдованіе больше чѣмъ когда-нибудь останавливалось на судьбѣ самого народа, котораго политическіе и экономическіе интересы начинаютъ все больше получать значеніе въ жизни современнаго государства.

Въ нашей литературѣ эти новыя направленія и пріобрѣтенія исторической науки возбудили видимый интересъ: книги этого рода не ограничились кругомъ специальныхъ читателей и, напротивъ, пріобрѣтали въ переводахъ большую популярность въ массивѣ публики:

такой успѣхъ имѣли у насъ сочиненія Тэйлора, Бокля, Спенсера, Мэна, Фростель-Куланжа, Топинара, Шрадера, Пешеля и проч.

Интересъ этотъ не былъ случайный — чувствовалось, что новыя приобрѣтенія науки могутъ помочь въ объясненіи вопросовъ о народѣ, волновавшихъ общество въ эпоху реформъ.

Русская историографія и смежныя ей науки развились очень сильно и въ количественномъ отношеніи, и по объему содержанія. Не вдаваясь въ подробный обзоръ ея, не принадлежащій къ нашей задачѣ, ограничимся краткимъ указаніемъ вопросовъ, нерѣдко впервые ею затронутыхъ и которыхъ постановка вносила новыя данныя въ историческое объясненіе народности.

Такъ, впервые возникаютъ изслѣдованія о до-исторической древности той земли, на которой совершалась жизнь русскаго племени. Мы упоминали ранѣе объ археологическихъ раскопкахъ въ разныхъ концахъ Россіи, объ изслѣдованіяхъ каменнаго вѣка, о находкахъ въ скинскихъ могилахъ на югѣ Россіи: отысканное еще далеко не объяснено, и остатки каменнаго вѣка по всѣмъ вѣроятіямъ вовсе не принадлежали предкамъ велико-русскаго племени (какъ это показалось нѣкоторымъ геологамъ и антропологамъ), но здѣсь во всякомъ случаѣ кладется основаніе изслѣдованію, важному для общихъ цѣлей науки, а иногда и для раскрытія отдаленной славяно-русской древности,—какъ напр. изслѣдованія скино-сарматскія и финскія.

Начало русскаго государства снова вызвало цѣлую литературу въ трудахъ Геденова, Иловайскаго, Забѣлина, Куника, Котляревскаго, Первоульфа, Ламбина, Васильевскаго и др. Какъ бывало прежде, такъ и теперь вопросъ научный, къ которому нынѣшнія поколѣнія могли бы отнестись спокойно, возбуждалъ жаркую полемику, гдѣ одна сторона, отвергая норманское происхожденіе варяговъ, имѣла малодушіе выставлять свое собственное мнѣніе (въ очень спутанномъ, и въ сущности не очень важномъ вопросѣ) какъ патріотическую обязанность и заподозрѣвать въ неблагонадежности побужденія тѣхъ, кто продолжалъ считать варяговъ норманнами, а не славянами,—хотя бы послѣдніе могли въ защиту своей невинности сослаться на примѣры Карамзина, Соловьева и самого Погодина, заклатаго норманиста и несомнѣннѣйшаго патріота. Споръ остается нерѣшеннымъ, но и не былъ бесполезенъ: по его поводу собранъ былъ новый матеріалъ извѣстій о древнѣйшей исторической порѣ русскаго народа. Съ одной стороны здѣсь продолжалось преданіе „Маяка“ и Савельева-Ростиславича; съ другой (какъ у г. Забѣлина) было и болѣе серьезное стремленіе установить логическую связность русскаго историческаго быта и самобытность его національныхъ основаній и развитія, которыя считались нарушенными теорією призванія чужихъ людей

изъ-за моря. Но забота все-таки была преувеличена: національное достоинство не состоитъ въ полномъ отсутствіи чужеплеменныхъ элементовъ; въ европейскомъ мірѣ нѣтъ ни одного племени, „чистаго“ въ этомъ отношеніи, и напротивъ всѣ наиболѣе развитыя націи отличаются большой сложностью своего этнологическаго состава.

Въ изученіи политическаго строя древней Руси изслѣдованія сдѣлали новый шагъ послѣ теоріи родового быта. Теорія была дополнена и исправлена въ 50-хъ и 60-хъ годахъ сначала двумя новыми взглядами: во-первыхъ, Конст. Аксакова, который въ старомъ политическомъ бытѣ русскихъ княжествъ видѣлъ не родовой бытъ, а общинный,—основанный уже не на чисто первобытномъ кровномъ союзѣ, а на свободномъ соединеніи въ союзъ, опредѣленный сознательнымъ подчиненіемъ общему интересу и порядку. Другой взглядъ былъ въ особенности изложенъ и защищаемъ Костомаровымъ: въ системѣ удѣловъ онъ видѣлъ вовсе не случайное дѣленіе территоріи по родовымъ счетамъ князей, а естественное дѣленіе *земель*, племенныхъ отдѣловъ, которые съ самаго начала нашей исторіи были отмѣчены лѣтописцемъ и продолжали жить цѣлыя вѣка, даже до нашего времени, особыми вѣтвями и отѣнками русскаго народа. Распредѣленіе удѣльныхъ княжествъ отвѣчало дѣленію земель, и этотъ фактъ свидѣтельствовалъ о сохранявшейся мѣстной старинѣ и автономіи; власть князя не была исключительная власть личнаго правителя, но шла рядомъ съ властью народнаго вѣча, нѣкогда вездѣ обычнаго и иногда столько же сильнаго, какъ вообще бывало вѣче новгородское.—Эти первоначальныя политическія отношенія были потомъ еще болѣе разъяснены изслѣдованіями историковъ-юристовъ, сравненіемъ нашей старины съ древними обычаями славянскими. За послѣдніе годы новыя замѣчательныя объясненія были сдѣланы въ книгѣ г. Забѣлина, который разбираетъ древнія бытовые русскія формы въ естественныхъ условіяхъ старой жизни и видѣлъ въ народныхъ союзахъ промысловыя общины, и не родовой бытъ (давно, задолго до исторіи отжитый), а скорѣе городской—какъ въ старомъ Новгородѣ онъ видѣлъ именно типъ могущественнаго промысловаго города, и въ Кіевѣ—городъ, выросшій изъ сборища вольныхъ промышленниковъ изъ всѣхъ окрестныхъ городовъ и земель. Съ большою опредѣленностью эти старыя внутренне-политическія отношенія изложены были въ особенности г. Сергѣевичемъ.

Народная самодѣятельность была указана и съ другой стороны. То громадное распространеніе русской территоріи еще въ древности, которое прежніе историки объясняли личной завоевательной предприимчивостью князей, было дѣломъ самого народа, его энергической колонизаторской дѣятельности; именно она мало-по-малу, часто не-

видимо для исторіи, захватывала новыя области на югѣ, востокѣ и сѣверѣ, подчиняя инородческія племена или совѣмъ ассимилируя ихъ. Историческія изслѣдованія (въ трудахъ Кавелина, Ешевскаго, Бѣляева, Шапова, Фирсова и др.; въ исторіяхъ частныхъ княжествъ), хотя еще далеко не выяснили этого процесса, указали однако важный фактъ народной самодѣтельности, до тѣхъ поръ мало оцѣняемый.

Историческое значеніе татарскаго ига еще требуетъ изслѣдованій. Послѣ Карамзина, нѣкоторые историки, и особенно Соловьевъ, отвергли мысль о большомъ его вліяніи; они видѣли въ татарскомъ нашествіи великое вѣдшее бѣдствіе, но утверждали, что „ига“ не имѣло вліянія на внутреннюю жизнь народа и ничѣмъ не нарушило хода русской исторіи; но болѣе внимательное наблюденіе указывало, что вѣковое таготѣніе азіатской власти, передъ которою унижались самые правители, не могло не отразиться вредными слѣдствіями не только на жизни государства, которую оно угнетало, но и на характерѣ народа, въ которомъ—не говоря объ извращающихъ вліяніяхъ насилия—подавлялись стремленія и средства къ просвѣщенію. Татарское иго не преодолѣло народной живучести: народъ успѣлъ къ тому времени сознать свою особность и достоинство; христіанство прочно утвердилось въ немъ представленіе о превосходствѣ его надъ „погаными“ и „невѣрными“; подъ игомъ государство успѣло сплотиться до того, что, наконецъ, свергнувъ иго, само подчинило татарскія царства,—но ужъ тѣ приемы, къ какимъ должны были прибѣгать „собиратели“, тѣ страшныя, и иногда (можно думать) ненужныя жертвы, какія были принесены единовластію, могли быть прискорбнымъ наслѣдіемъ ига и надолго оставили свой отпечатокъ на внутреннемъ бытѣ государства и общества, отпечатокъ, къ сожалѣнію слишкомъ часто подновляемый позднѣйшими событіями. Одной изъ такихъ жертвъ былъ Новгородъ; его уничтоженіе было насильственнымъ истребленіемъ цѣлой области чисто народной жизни, уничтоженіемъ одного изъ путей народной самодѣтельности, промысла и просвѣщенія.

Московское политическое объединеніе и характеръ московскаго царства уже съ сороковыхъ годовъ были предметомъ спора,—онъ продолжается и донинѣ. Для однихъ (особливо славянофиловъ, въ послѣднее время и г. Забѣлина) московское царство было полнымъ воплощеніемъ русскаго народнаго духа; его исключительность казалась истиннымъ національнымъ достоинствомъ; отступленіе отъ его обычаевъ и преданій казалось намѣной народности. Болѣе спокойные изслѣдователи (въ ряду ихъ были Соловьевъ; Кавелинъ; Бестужевъ—по крайней мѣрѣ въ прежнее время) признавали великое національно-

историческое значеніе московскаго „собранія“ и частію защищали необходимость жертвъ, но находили, что въ характерѣ московскаго царства XVI—XVII вѣка отразились какъ византійскія идеи власти, внушаемыя со времени принятія христіанства и закрѣпленныя послѣ паденія Константинополя, такъ и вліянія татарскія, со временъ ига, а потомъ покоренія татарскихъ царствъ. Слѣдовательно, складъ этого быта трудно было счесть исключительно и окончательно русскимъ, трудно было увидѣть въ немъ, во-первыхъ, чисто самобытное, во-вторыхъ, вполне завершенное созданіе народнаго духа; и, напротивъ, надо было видѣть въ немъ только временную форму, сложившуюся подъ вліяніемъ вѣка, въ кругѣ его идей, въ предѣлахъ его условій, не совсѣмъ здоровыхъ, и потребностей, состоявшихъ прежде всего во внѣшней защитѣ и централизациі государства. Выработанная форма была по преимуществу московская, отразившая времена „собранія“, полу-еократическая по теоріи, полу-восточная по практическимъ приѣмамъ власти; сложившійся бытъ былъ крайне исключительный, не имѣвшій средствъ и простора для образованія, лишенный общественной жизни; историческое значеніе московскаго періода осуществлялось въ укрѣпленіи государства противъ обступившихъ его тогда опасностей, и въ томъ, что его послѣднимъ развитіемъ была Петровская реформа.

Характеръ правительственной власти московскихъ временъ вызвалъ особенно теперь внимательныя изслѣдованія (въ трудахъ Соловьева, К. Аксакова, Бѣляева, Чичерина, Ключевскаго, Костомарова, Сергѣевича, Латкина и мн. др.). По славянофильскому представленію, московскій порядокъ вещей былъ совершеннымъ, единственнымъ въ своемъ родѣ выраженіемъ идей русскаго народа о государствѣ, и дѣйствительно заключалъ въ себѣ всѣ лучшія гарантіи политическаго благоденствія: царь и земскій соборъ были практическимъ олицетвореніемъ духовнаго единства и общенія между властью и народомъ, государствомъ и землей. По этой программѣ, земскіе соборы должны были представлять учрежденіе постоянное и правильное, и съ другой стороны, исключительно русскому народу свойственное. Съ другой точки зрѣнія дѣло представлялось иначе: во-первыхъ, находили, что значеніе соборовъ, въ смыслѣ голоса „земли“, было слишкомъ случайно—какъ случайно они и собирались,—что власть нимаю не обязывалась принимать ихъ мнѣніе, т. е. голосъ „земли“ могъ быть оставляемъ безъ вниманія; во-вторыхъ, указывали, что это учрежденіе вовсе не было столь исключительно русскимъ, такъ какъ было параллельно съ тѣми западными (напр. англійскими и французскими) учрежденіями, которыя возникали въ средніе вѣка, какъ замѣна первобытныхъ народныхъ собраній—и являлись

тамъ и здѣсь въ одинаковыхъ условіяхъ, именно, когда утверженіе государства упразднило старыя народныя собранія (вѣча), уже не отвѣчавшія своей цѣли въ новыхъ, болѣе сложныхъ отношеніяхъ, и замѣняло ихъ теперь общимъ представительствомъ. Наши соборы именно отвѣчали этой второй ступени представительныхъ учреждений, съ которыми раздѣляли и недостатокъ юридической опредѣленности; но дальше этой второй ступени наши старые соборы не пошли, тогда какъ западныя учрежденія развились въ извѣстныя конституціонныя формы.

Больше чѣмъ когда-нибудь была изучаема исторія южной Руси—также одинъ изъ мало выясненныхъ пунктовъ исторіи и современныхъ отношеній. Въ нашей литературѣ бывали уже многотомныя „исторіи Малороссіи“, и притомъ написанныя малорусскими патриотами, но вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ двухъ обширныхъ отраслей русскаго племени оставался неяснымъ. Въ 40-хъ, и въ началѣ 50-хъ годовъ высказаны были двѣ весьма несходныя точки зрѣнія, представленныя въ извѣстномъ спорѣ Погодина и Максимовича. По мнѣнію перваго, южный край населяли киевскіе великороссіяне, что малорусскій характеръ его есть явленіе позднѣйшее, послѣ того, какъ страна, опустошенная татарами, была вновь заселена выходцами изъ-за Карпатъ. Въ параллель этому явились заключенія Срезневскаго объ относительной новосте малорусскаго нарѣчія. Максимовичъ, напротивъ, утверждалъ, что южная Русь искони носила на себѣ тѣ отличительныя черты быта, нравовъ, языка, поэзіи, которыя мы знаемъ теперь за малорусскія,—и приводилъ тому обильныя доказательства изъ древнихъ памятниковъ. Въ подкладкѣ спора лежали и отношенія современныя: рѣшеніемъ его въ ту или другую сторону подрѣплялись или ослаблялись права того народническаго движенія, которое въ сороковыхъ годахъ выразилось особеннымъ размноженіемъ литературы на малорусскомъ языкѣ.

У „западниковъ“ 40-хъ годовъ малорусская литература не встрѣчала въ себѣ сочувствія; съ тогдашней эстетической и социальной точки зрѣнія заботы о ней казались напрасной тратой силъ. Малорусское движеніе видимо не было сочувственно и Соловьеву: для него малорусскій народъ былъ только областное видоизмѣненіе русскаго племени, не имѣющее никакихъ особыхъ историческихъ правъ и никакого будущаго, въ сліяніи съ господствующимъ типомъ; козачество была только буйная, не дисциплинированная толпа.—Какъ противовѣсь этой племенной нетерпимости являются труды Костомарова по исторіи Малороссіи. Свою основную точку зрѣнія на эти отношенія онъ изложилъ въ извѣстной статьѣ: „Двѣ русскія народности“ и въ рядѣ историческихъ и этнографическихъ трудовъ. Со-

чиненія Костомарова обновили столкновение мнѣній; но, при всей вызванной ими враждѣ, много сдѣлали для научнаго опредѣленія вопроса. Исторически, вѣчная Русь стала видимо отличаться отъ сѣверной еще съ XII вѣка; татарскій погромъ, а затѣмъ литовское завоеваніе окончательно дали различное теченіе ихъ исторіи; новое объединеніе началось не ранѣе второй половины XVII вѣка, продолжалось потомъ въ XVIII-мъ, а старыхъ предѣловъ русской земли въ эту сторону (въ Галиціи) не достигло и по настоящее время. Съ этимъ историческимъ различіемъ соединялось этнографическое дѣленіе „двухъ русскихъ народностей“, которое историки южно-русскіе не безъ основанія возводятъ къ первымъ вѣкамъ нашей исторіи. Какъ бы то ни было, но уже въ долгіе вѣка историческаго раздѣленія обѣ части русскаго народа приобрѣли весьма различный складъ характера и быта, историческихъ преданій, народной поэзіи. Возбужденіе идеи „народности“ естественно выразилось въ Малороссіи оживленіемъ всѣхъ этихъ элементовъ, своеобразно отличавшихъ южно-русскую народность. Извѣстно, съ какою враждой встрѣчено было въ одной части нашей литературы это вновь оживившееся „украинофильство“; въ послѣднее время къ его врагамъ присоединились и тѣ, которые обыкновенно хвастаются своимъ исключительнымъ народничествомъ, но въ этомъ случаѣ являлись такими же бюрократическими притѣснителями народнаго начала (хотя первые, подлинныя славянофилы относились къ малорусскому движенію очень сочувственно).

Новѣйшая вражда къ „украинофильству“ выросла всего скорѣе изъ новѣйшихъ чисто бюрократическихъ понятій о „единообразіи“, одноформенности, водворяемой хотя бы насильственными средствами... Противники малорусскаго движенія могли бы, пожалуй, сослаться и на старую Москву: она также недовѣрчиво и недружелюбно относилась къ соединившейся съ нею Малороссіи. Московскій абсолютизмъ не мирился съ тѣнью автономіи; іерархія съ подозрѣніемъ смотрѣла на мало понятную и непривычную ей кіевскую ученость, и только по крайней необходимости ею пользовалась,—но московскія преданія пережили исторіей самого русскаго государства и общества.

Новѣйшіе историческіе труды о Малороссіи и XVII вѣкѣ успѣли отчасти выяснитъ роль старой Москвы, по обыкновенію, не стѣснавшейся средствами въ достиженіи своихъ политическихъ цѣлей; и если исторія отвергнетъ притязанія гетманщины, то должна съ другой стороны сказать слово въ защиту Малороссіи, которая съ первыхъ дѣтъ воссоединенія съ Великой Россіей оказала ей цѣнныя услуги своей кіевской школой, поставившей еще въ XVIII столѣтіи много замѣчательныхъ дѣятелей просвѣщенія, и потомъ дружно несла свою

службу государству, обществу и литературѣ, и въ защиту народа, который взаимнѣ своего стараго быта долженъ былъ испытать введеніе крѣпостного права. Наконецъ, исторія возможна только въ союзѣ съ этнографіей, а въ этой послѣдней вопросъ о степени особенности двухъ русскихъ племенъ довольно ясенъ.

Наиболѣе рѣзко встрѣчаются два разные, даже противоположные взгляда на русскую исторію и судьбы русскаго народа, на эпохѣ Петра Великаго: въ ней сводятся споры о характерѣ московской старины и о тѣхъ путяхъ, которыми должна быть направлена современная жизнь народа и общества. „Назадъ, домой!“ — восклицали эпигоны славянофильства, — т. е. прямо въ XVI—XVII вѣкѣ, какъ будто исторія громаднаго народа можетъ пойти вспять, какъ будто реставраціи подобнаго рода не бываютъ лишь самообольщеніемъ, какъ будто археологическими поддѣлками можно обмануть исторію. Славянофильскія отрицанія Петровской реформы не выросли въ доказательности съ сороковыхъ годовъ и эта школа, съ тѣхъ поръ и донинѣ, не произвела ни одного цѣльнаго научнаго труда, ни одного послѣдовательнаго, доказательнаго изложенія своего взгляда. Съ другой стороны все, что только появляется въ литературѣ объ этомъ періодѣ русской исторіи, лишь подтверждаетъ его рѣшающее значеніе въ судьбахъ русскаго народа. Изученіе Петровскаго періода все больше обогащается изданіемъ матеріаловъ и изслѣдованій; уже издана масса документовъ по разнымъ отраслямъ управленія, начато обширное изданіе писемъ Петра Великаго, которое составитъ первостепенный источникъ для его біографіи и исторіи; цѣлый рядъ капитальныхъ историческихъ трудовъ (Устрялова, Соловьева, Певарскаго, Погодина, Костомарова) все больше раскрываетъ знаменательную эпоху. Обширное умноженіе фактическаго матеріала, болѣе многосторонняя и свободная критика очень расширили знаніе Петровскаго времени, устранивъ тотъ наивно панегирической тонъ, который такъ долго господствовалъ въ описаніяхъ славнаго царствованія, и не укрывая той мрачной стороны, какую не разъ могла представить эпоха реформъ. Но отъ этого не умалилось однако высокое представленіе о значеніи Петровской реформы для всего послѣдующаго развитія; напротивъ, чѣмъ больше она выясняется не съ героической точки зрѣнія, какъ смотрѣли на нее прежде, а съ точки зрѣнія реальнаго быта націи, тѣмъ больше ея великое значеніе становится осозательнымъ. Такъ, болѣе и болѣе разъясняется существенный вопросъ въ общеніи этого времени — историческая необходимость реформы: Петровское преобразование было правильнымъ, хотя рѣзко проведеннымъ, результатомъ стремленій, заявленныхъ лучшими умами московскаго царства, съ тѣхъ самыхъ поръ, когда послѣ заботъ о внѣшнихъ дѣ-

лахъ являлась первая мысль о внутренней организаціи государственной силы и первые интересы къ научному и художественному образованію. Заботы объ усвоеніи европейскихъ знаній, искусствъ, промысловъ, даже изящныхъ искусствъ, возникаютъ явно еще съ XVI вѣка, какъ и заботы о лучшемъ устройствѣ, на европейскій ладъ, военной силы. Счастливымъ случаемъ, какіе исторія даетъ иногда въ критическіе моменты, — Петръ родился гениальнымъ умомъ и человекомъ страшной энергіи. Какъ подобаетъ истинному самодержцу, онъ отождествился съ глубочайшими потребностями и стремленіями націи и отдалъ имъ свои необычайныя силы, въ которыхъ какъ будто олицетворилъ національную даровитость, и взялся за трудъ съ такою ревностью, достигъ такихъ результатовъ, что современники и потомство сочли новую Россію его собственнымъ, личнымъ созданіемъ: въ его трудахъ долго не видѣли той самой задачи, къ которой задолго до Петра устремлялись усилія лучшихъ умовъ московской старины и усилія самой власти.

Въ глазахъ новѣйшихъ историковъ, дѣятельность Петра теряетъ такимъ образомъ характеръ переворота и получаетъ значеніе реформы. Внѣшнимъ образомъ дѣятельность Петра, правда, носила этотъ видъ переворота: массѣ бросалось въ глаза появленіе новыхъ армій, флота, сооруженій, школы, обычаевъ, одежды, печати; валежавшемуся на боку боярству и дворянству не нравилось требованіе школьнаго ученія и службы, требованіе настойчивое и строгое; московской іерархіи, которая было уже мечтала о еоократической диктатурѣ, и людямъ стараго вѣка, выросшимъ на внѣшней обрядности и религиозной нетерпимости, не нравилось устраненіе патріаршества, общеніе съ иноземцами и иновѣрцами. Могло быть, что Петръ иной разъ терялъ мѣру, безъ надобности нарушалъ старину и раздражалъ ея приверженцевъ, — но Петръ былъ дѣтищемъ своего вѣка, и жестокаго вѣка, и новѣйшіе противники реформы, при всей ненависти къ ней, не разъ проговаривались, признавая въ Петрѣ „великаго русскаго человека“ и въ тѣхъ или другихъ его дѣяніяхъ — угаданную потребность государства и народа.

Чѣмъ болѣе изучается Петровская эпоха, тѣмъ болѣе самъ Петръ является, дѣйствительно, „великимъ русскимъ человекомъ“ — и съ его достоинствами и съ недостатками, — и тѣмъ болѣе исторически характерной представляется его дѣятельность. Оставленіе Москвы давно объяснено тѣмъ, что тамъ его дѣятельность была стѣсняема оппозиціей приверженцевъ и охранителей старины, что Москва была слишкомъ далека отъ моря и европейскаго сосѣдства. Москва вообще была слишкомъ связана съ преданіями московскаго царства, и эти преданія были тѣсны для широкихъ замысловъ „имперіи“.

Новые историки указали оборотную сторону реформы и характера самого реформатора,—крайности въ нововведеніяхъ, свирѣпость въ подавленіи сопротивленія, разнузданность въ нравахъ; нѣкоторые изъ этихъ историковъ (напр. Костомаровъ), быть можетъ, слишкомъ настаивали на этой оборотной сторонѣ. Само собою разумѣется, что нѣтъ ни надобности, ни возможности скрывать отъ себя мрачныя обстоятельства многихъ актовъ реформы; но исторія требуетъ объясненія этихъ явленій, и оно находится: крайности реформы были послѣдствіемъ крайностей прежняго застоя, и личныя излишества Петра въ осмѣяніи старины, конечно, не извинительныя въ главѣ государства, понятны какъ противовѣсъ ханжеству и лицемерію; жестокость Петра была вполне наслѣдіемъ старины, и здѣсь всего меньше могли бы укорять его приверженцы московской старины, выдавшей безумныя свирѣпства Грознаго.

Въ особое преступленіе Петру и „петербургскому періоду“ ставили уничтоженіе стараго политическаго быта: съ нимъ кончились земскіе соборы. Но, какъ мы упоминали, это было учрежденіе столь мало крѣпкое, что оно и безъ того вѣроятно кончилось бы собственной смертью,—потому что громадное расширеніе государства и возросшее усложненіе его внутреннихъ и внѣшнихъ задачъ дѣлали непримѣнимою *эту* форму представительства. Чтобы самое начало могло имѣть мѣсто въ новыхъ условіяхъ государства, нужна была уже большая степень политическаго сознанія въ общественной средѣ, и болѣе настоятельная потребность общества въ этого рода самостоятельности,—между тѣмъ старая Москва развила въ такой степени безграничное самодержавіе и такое безправіе общества, что умаленіе соборнаго начала еще въ XVII вѣкѣ не было никѣмъ почувствовано. Весь распорядокъ внутренней жизни государства издавна считался „государевымъ дѣломъ“; это понятіе перешло въ XVIII-й вѣкъ совершенно опредѣлившимся и во всей силѣ; неудивительно, что мысль о какомъ-либо автономическомъ участіи общества въ правительственномъ дѣлѣ застыла, потому что уже давно застывала. Господство бюрократіи было только естественнымъ развитіемъ московскаго административнаго порядка.—Власть Петра не сдѣлала ущерба никакимъ старымъ свободамъ или, когда стѣснила ихъ, то только примѣняла готовые приемы прежняго порядка. Но едва ли когда-нибудь раньше былъ такъ высоко поставленъ принципъ и интересъ государства: трудъ, который несъ на службѣ ему самъ царь, трудъ неустанный, разумный и плодотворный, былъ и остался непримѣрнымъ; и этотъ примѣръ личной дѣятельности Петра и такой постановки идеи государства имѣлъ большую долю вліянія на развитіе общественнаго сознанія. Старая московская Россія не представляла

такихъ проявленій этого сознанія, какія въ Петровскую эпоху мы видимъ у Посошкова, а вскорѣ потомъ у Ломоносова ¹⁾).

Славянофильская вражда къ Петровской реформѣ не истощилась, и при новѣйшемъ реакціонномъ настроеніи имѣетъ даже шансы нѣ-котораго успѣха въ извѣстной долѣ общества; но то, что прежде было теоретическимъ исканіемъ идеальныхъ началъ русской жизни, теперь вырождается въ настоящій обскурантизмъ. Нельзя иначе понять того поношенія реформы, которое соединяется съ фанатическими, и все-таки не очень искренними, призывами: „назадъ, домой!“ и съ воплями противъ „интеллигенціи“, — т.-е. образованности, на дѣлѣ столь еще скудной, въ сожалѣнію, въ русскомъ обществѣ и столь ему нужной для массы всякаго рода настоятельныхъ работъ для государства и народа. Въ научномъ отношеніи эта вражда къ реформѣ осталась замѣчательно безплодна: какъ въ сороковыхъ годахъ, такъ и донинѣ эта отрицательная школа не въ состояніи была провести своего взгляда въ какомъ-либо цѣльномъ научномъ трудѣ, въ чемъ-либо кромѣ газетныхъ филиппикъ, считающихъ себя въ правѣ отдѣ-ливаться фразами отъ дѣйствительно критическаго изслѣдованія.

Особенною заслугой новѣйшей историографіи было стремленіе раскрыть народную сторону исторіи, — роль народа, его силъ и характера, въ созданіи государства, и судьбу народа въ новѣйшемъ государствѣ. Это историческое вниманіе къ народу было параллельно съ тѣмъ интересомъ, который развивался въ то же время въ обществен-ныхъ понятіяхъ подъ вліяніемъ крестьянской реформы, и поддержи-валось общимъ развитіемъ науки (успѣхи филологіи, бытовой исторіи, этнографіи и наукъ социально-экономическихъ). Больше чѣмъ когда-нибудь историческая пытливость обращалась къ тѣмъ эпохамъ и явленіямъ исторіи, гдѣ выказывалась дѣятельная роль народа: таковы были эпохи древней исторіи, время вѣчевого устройства и народоправствъ, время народной колонизаціи; далѣе—время между-царствія, когда народное сознаніе спасло государство отъ висѣвшей надъ нимъ опасности; время народныхъ волненій въ концѣ XVII вѣка, время раскола; наконецъ, новѣйшій бытъ народа подъ крѣпостнымъ правомъ, народные волненія и бунты — результатъ народныхъ тягостей; народные нравы и обычаи. Прежніе историки, занятые всего болѣе политическою исторіей и судѣбами верховной власти, мало или со-всѣмъ не замѣчали этой стороны событій, или излагали ихъ чисто-

¹⁾ Изъ новыхъ трудовъ о той эпохѣ отмѣтимъ еще книгу А. Г. Брикнера: Die Europäisierung Russlands, 1889, гдѣ собраны указанія на переходные факты быта и образованія Россіи до Петра, при немъ и послѣ.

вѣшнимъ образомъ, какъ явленія уединенныя, анекдотическія, или наконецъ не имѣли возможности на нихъ останавливаться, подъ цензурными запрещеніями. Во время господства официальной народности, особое запрещеніе легло на описаніе эпохъ народныхъ волненій,—въ томъ числѣ время междуцарствія: опекуны не догадывались, что именно эта историческая эпоха будетъ, немного времени спустя, считаться эпохой монархической и консервативной доблести русскаго народа, который, спасши государство отъ чужеземнаго нашествія и внутренняго раздора, отдалъ его судьбу въ руки династїи Романовыхъ.

Теперь эти запрещенія (по крайней мѣрѣ для старой исторїи) снялись сами собой, и новыя изслѣдованія восполняли недостатокъ пѣлой отсутствовавшей стороны исторїи. Мы называли выше труды Костомарова, Забѣлина, Бѣляева, К. Лесякова, Бестужева-Рюмина, Щапова, Аристовъ и мн. др., труды историковъ быта, историковъ крестьянства, историковъ-юристовъ, этнографовъ и проч. Въ ряду этихъ изслѣдованій особенно важное мѣсто заняли труды о расколѣ.

Мы упоминали прежде, какъ опредѣлялся расколъ у прежнихъ историковъ: было только двѣ точки зрѣнія, совершенно сходныя въ результатѣ—церковно-обличительная и полицейско-слѣдственная. Въ пятидесятихъ годахъ впервые сказались чисто-историческіе приемы въ изученїи раскола и вниманіе къ его современнымъ явленіямъ. Однимъ изъ первыхъ трудовъ, составленныхъ въ этомъ смыслѣ, была извѣстная книга Щапова (1859). Книга была не свободна отъ крупныхъ недостатковъ: составлявшаяся подъ вліяніемъ духовно-академическаго преподаванія и вмѣстѣ подъ вліяніемъ новаго духа времени, она была смѣшеніемъ двухъ взглядовъ, перемешавшихся въ понятїяхъ автора,—но несмотря на эту теоретическую неясность, авторъ былъ такъ искренно увлеченъ народной стороной раскола, заключавшимися въ немъ проявленіями свободной умственной дѣятельности и общинныхъ инстинктовъ народа, той доле правды, которая была въ протестахъ старообрядчества, что книга произвела большое впечатлѣніе и, при всей невыдержанности, имѣла немалое дѣйствіе на дальнѣйшую постановку вопроса. Съ тѣхъ поръ въ первый разъ выяснилось, что расколъ вовсе не былъ явленіемъ внезапнымъ, единственнымъ источникомъ котораго было одно грубое и упрямое непониманіе Никоновскаго исправленія церковныхъ книгъ; что, напротивъ, онъ находился въ тѣсной связи какъ съ ересями прежнихъ вѣковъ, такъ и съ современнымъ ему состояніемъ церковнаго быта; что въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ могъ не безъ основанія ссылаться на „старую вѣру“, которую хотѣлъ сохранять и защищать противъ „новшества“,—потому что, дѣйствительно, оставался во мно-

гомъ вѣренъ старому обычаю, который былъ распространенъ въ народѣ гораздо шире предѣловъ позднѣйшаго старообрядчества, и отъ котораго только отступили другіе, испуганные крутыми мѣрами церкви и свѣтской власти. Если было видно, съ другой стороны, что многія изъ первоначальныхъ, а затѣмъ и позднѣйшихъ понятій раскола были слѣдствіемъ невѣжества, то это опять была вина не одного раскола, а всей старой жизни, гдѣ не только народъ, но и высшіе классы были лишены всякой правильной школы, гдѣ было чрезвычайно распространено вѣшне-обрядовое пониманіе религіи и была, слѣдовательно, готовая почва для обрядоваго фанатизма и суевѣрія „буквалистовъ“. Неодолимое упорство раскола было именно дѣломъ фанатизма, отъ котораго несвободны были и самые обличители; суровыя полицейскія мѣры, принимавшіяся противъ раскола, только увеличивали разстояніе между двумя сторонами. Распространеніе раскола, совершавшееся наперекоръ всѣмъ гоненіямъ, объясняло, какъ онъ могъ и въ началѣ распространяться въ неудовлетворенныхъ церковью и смущенныхъ массахъ, и вмѣстѣ указывало, что и въ настоящую минуту умственная и нравственно-религіозная жизнь народа стоитъ въ очень неблагоприятныхъ условіяхъ: эти условія облегчали пропаганду и производили новыя секты, иногда крайне превратнаго свойства.

Во всякомъ случаѣ, расколъ былъ однимъ изъ наибольшихъ и печальныхъ недоразумѣній между народомъ, съ одной стороны, и государствомъ и церковью, съ другой. Въ послѣднемъ крайній расколъ относился съ полнымъ отрицаніемъ: въ нихъ онъ увидѣлъ господство антихриста. Инымъ показалось, что на этомъ основаніи расколъ не только въ XVII-XVIII-мъ вѣкахъ представлялъ собою бытовой и политическій протестъ, но и въ настоящее время есть извѣстная политическая сила, противная существующему порядку: такъ фантазировалъ въ особенности В. Кельсиевъ во время своего заграничнаго агитаторства ¹⁾.

¹⁾ Недавно, въ „Кіевской Старинѣ“ г. Лѣсковъ, сколько мы думаемъ, завелъ совершенною неблизку на покойнаго Шапова, приписавши ему—въ его отсутствіе въ семь мѣръ—едва ли существовавшія дѣянія, предусмотрѣнныя въ уголовномъ законодательствѣ. Упомянувъ о томъ, что въ прежнее, еще не очень давнее время „большинство людей, даже очень умныхъ, смотрѣли на этихъ названныхъ буквободовъ (старообрядцевъ), какъ на политическихъ злоумышленниковъ и во всякомъ случаѣ недруговъ царскихъ“,—г. Лѣсковъ продолжаетъ: „этого не избѣгали наши старинные законовѣды и новѣйшіе тенденціозные фантазеры въ родѣ Шапова, который принесъ своимъ метательными изъясненіями существенный вредъ нѣжно любимому имъ расколу“ („Кіевская Старина“, 1888, февр., стр. 267). Далѣе, авторъ опять возвращается къ „пустымъ и вреднымъ мнѣніямъ Шапова“, который будто бы „стоилъ горой“ за „политическія задачи, которыя будто бы скрытно содержитъ нашъ рус-

Первое было до известной степени справедливо: старый раскол оказывал не одно сопротивление исправленію книгъ, но и церковно-административнымъ приемамъ Никона и послѣдующихъ правителей церкви; послѣ присоединилось и недовольство правленіемъ гражданскимъ; расколъ не остался безучастенъ, въ народныхъ волненіяхъ, до Пугачевского бунта включительно; пассивное сопротивление политическому положенію вещей имѣло свою долю въ образованіи сектъ, въ родѣ бѣгуновъ. Но самостоятельной политической силы расколъ никогда не представлялъ, а въ новѣйшее время—менѣе, чѣмъ когда-нибудь.

При всѣхъ внѣшнихъ трудностяхъ изслѣдованія, новѣйшее изученіе раскола принесло уже теперь богатые результаты. Старая точка зрѣнія, обличительно-полицейская, имѣетъ еще многихъ представителей; но успѣла утвердиться и другая, внушенная тѣмъ духомъ общественной справедливости, который былъ сильно возбужденъ первыми годами прошлаго царствованія. Эта новая точка зрѣнія впервые сняла или уравнивала преувеличенныя обвиненія, и съ другой стороны обратила вниманіе на бытовые явленія раскола, въ которыхъ обнаруживались иногда замѣчательныя черты самой подлинной русской народности. Какъ обыкновенно бываетъ, подобныя черты, открываемыя въ первый разъ, нерѣдко преувеличивались; расколу

скій расколъ“, и будто бы „увѣрилъ въ томъ даже Герцена“; послѣ чего г. Лѣсковъ передаетъ какія-то темныя слѣтки о „крайней лѣвой фракціи“, объ успѣхѣ Щапова въ петербургскомъ литературномъ кругу, восхваляетъ глубокія познанія Павла Ивановича Мельникова и т. п. (тамъ же, мартъ, стр. 521—522). Сравнившись съ биографіей Щапова, написанной проф. Аристовымъ, близко его знавшимъ, мы убѣждаемся, что сказанное г. Лѣсковымъ о сношеніяхъ Щапова съ Герценомъ есть слѣтки, опровергаемая фактами (см. книгу Аристова, стр. 74, и о доносахъ Ничипоренки, стр. 95).—г. Лѣсковъ поступаетъ здѣсь на подобіе того, какъ его авторитетъ, богатый познаніями Мельниковъ, поступалъ съ Орест. Новицкимъ (см. въ книгѣ послѣдняго о духоборцахъ, над. 2-е). Успѣхъ Щапова въ литературномъ кругу былъ очень условный: въ Щаповѣ цѣнили, кромѣ большой начитанности въ русской исторической старинѣ, особенно его энтузіастическую преданность своему народному идеалу,—что не часто встрѣчалось и тогда, а теперь, когда литература все больше наполняется обскурантизмомъ и ренегатствомъ, еще рѣже и должно цѣниться тѣмъ болѣе. Что касается до самаго содержанія взглядовъ Щапова, то они съ самаго начала встрѣтились съ критикой весьма требовательной, въ разныхъ литературныхъ лагеряхъ; укажемъ разборъ книги „Расколъ старообрядства“ въ „Современникѣ“ 1859, и разборъ книжки „Земство и расколъ“, написанный Соловьевымъ, въ „Соврем. глѣтописи“ 1868, № 5. Наконецъ, что касается „существеннаго вреда“, принесеннаго расколу „мечтательными изъясненіями“ Щапова, „стоявшаго горой“ за политическія задачи раскола, это остается непостижимымъ, если, по словамъ самого Лѣскова, такого мнѣнія о расколѣ держались еще „старинные законовѣдѣи“ (да и не очень старинные, до и послѣ Щапова одинаково). Это замѣчаніе опять остается какой-то темной ниснуаціей.

приписывалось болѣе широкое содержаніе, чѣмъ онъ представлялъ въ дѣйствительности: такъ это бывало у Щапова, и у нынѣшнихъ нѣкоторыхъ писателей о расколѣ ¹⁾. Новые историки находили, что при началѣ раскола его приверженцами становились въ народной средѣ именно люди болѣе характерные, стоявшіе за свои мнѣнія, готовые выносить за нихъ всѣ гривившія тяготы; наблюдатели современнаго раскола также приходили къ убѣжденію, что въ послѣдователяхъ раскола мы имѣемъ передъ собой особенно развитую часть простого народа. Одинъ изъ этихъ наблюдателей, указавъ въ послѣднія десятилѣтія особенное движеніе въ русскомъ сектантствѣ, говорилъ (въ „Отеч. Зап.“): „Въ этомъ движеніи проявилась умственная дѣятельность русскаго народа; въ немъ обнаружилась способность русскаго народа къ творчеству новыхъ формъ жизни: въ немъ проявилась успѣшная борьба народныхъ принциповъ съ вліяніемъ капитала. Въ сектантство идутъ лучшія силы народа; сектантство подвергаетъ критическому анализу всю многообъемлющую область человѣческой жизни и отвергаетъ все, не выдерживающее критики; въ сектантствѣ идетъ непрерывная культурная работа, выражающаяся какъ въ выработкѣ новыхъ принциповъ личной жизни, такъ и въ созданіи новыхъ формъ семейнаго устройства и общественно-экономическихъ отношеній; сектантство создаетъ организацію, которая оказывается способною успѣшно вести борьбу съ все изглаживающимъ, все развращающимъ и все разлагающимъ вліяніемъ капитала; въ сектантствѣ мужикъ поднимается до пониманія явленій политической жизни, до сознанія братства всѣхъ народовъ и до уваженія въ человѣкѣ личности, къ какому бы племени онъ ни принадлежалъ и какую бы ступень въ соціальной лѣстницѣ онъ ни занималъ“. Повозительно усумниться въ критическихъ средствахъ современнаго русскаго сектантства для „анализа всей многообъемлющей области человѣческой жизни“ и еще больше усумниться во многихъ рѣшеніяхъ, въ которыхъ оно здѣсь приходитъ, — но безспорно, что въ сектантствѣ является передъ нами сильно возбужденная народная мысль, которая внушаетъ къ себѣ живѣйшій интересъ и для которой нельзя не пожелать, во многихъ случаяхъ, болѣе широкаго простора общественной дѣятельности, — и во всякомъ случаѣ — школы.

Такимъ образомъ открывалось въ расколѣ цѣлое явленіе, чрезвычайно характерное для исторіи до-Петровскаго быта, XVII — XVIII вѣва и современной народной жизни. Если гдѣ въ старину особенно рѣзко сказывалась разница или противоположность между

¹⁾ О послѣднихъ см. ст. Харламова: „Идеализаторы раскола“ („Дѣло“, 1882).

Петровской и московской Россіей, то именно въ этомъ контрастѣ реформы и раскола: здѣсь встрѣтились два опредѣленные быта, два *ученія*.

И въ раскола историка литературы указываютъ еще въ XVIII в. проявленія сочувствій, направленныхъ назадъ въ старину и почитаемыхъ за предшествованіе новѣйшаго славянофильства. Но съ другой стороны выяснялось, что реформа была безповоротнымъ національнымъ дѣломъ: не только энергія преобразователя увлекала высшіе классы на служеніе новому государственному и общественному порядку, но самая сила вещей—очевидная необходимость этого новаго порядка въ виду тѣхъ новыхъ отношеній, какія все больше окружали и охватывали государство и требовали иныхъ матеріальныхъ силъ, иного характера образованія, чѣмъ тѣ, какими владѣла до-Петровская Россія. Еще въ московской Россіи, среди полнаго ея развитія высказались самыя очевидныя стремленія къ усвоенію западныхъ знаній, искусствъ и художественныхъ развлеченій. Подъячій Котошихинъ, этотъ отрицатель традиціоннаго застоя, выросъ въ старинной московской средѣ. Въ XVIII вѣкѣ, крестьянинъ Посошковъ, стоящій одною ногою въ той же старинѣ, является, однако, рѣшительнымъ приверженцемъ реформы и приноситъ свой взглядъ на защиту новаго просвѣщенія. Великимъ дѣятелемъ просвѣщенія въ духѣ реформы сталъ другой крестьянинъ, Ломоносовъ, противъ котораго не рѣшались возставать самыя упорные враги „петербургскаго періода“.

Восемнадцатый вѣкъ и первая половина девятнадцатаго, можно сказать, впервые стали доступны исторіи съ прошлаго царствованія. До тѣхъ поръ возможна была для нихъ только исторія официальная, панегирическая, въ державинскомъ духѣ, съ громомъ побѣдъ, неизмѣнно мудрымъ, благодѣтельнымъ правленіемъ. Исторія говорила только о показныхъ фактахъ, умалчивала слишкомъ многое о дѣйствительной жизни, о положеніи народа, не касалась оборотной стороны медали, не подозрѣвала умственной жизни общества. Мы упоминали о томъ, какая перемѣна произошла въ исторической литературѣ, когда уменьшились цензурныя помѣхи къ изученію новыхъ вѣковъ: вслѣдъ за тѣмъ, какъ явилась возможность пользоваться источниками, литература наводнилась множествомъ архивныхъ документовъ и частнаго историческаго матеріала—записокъ, дневниковъ, переписки, воспоминаній, переводовъ иностранныхъ сочиненій и пр. и пр. Въ этихъ свѣдѣніяхъ раскрывались самыя равнообразныя стороны нашего прошлаго: начиная съ исторіи дворцовой, которая передъ тѣмъ была совершенно недоступна для литературы, исторія дипломатическая, административная, исторія литературы, образованія, нравовъ и т. д. Правда, за исключеніемъ „Исторіи“ Соловьева и книги

Костомарова („Жизнеописанія“), доведшіи рассказъ лишь до половины XVIII вѣка, не появилось еще ни одного цѣльнаго труда о прошломъ столѣтіи; самое сочиненіе Соловьева, какъ извѣстно, въ послѣднихъ томахъ было больше хронологическимъ сопоставленіемъ мало обработаннаго матеріала, чѣмъ исторіей; собранныя свѣдѣнія остаются еще всего чаще въ состояніи сырого матеріала, немногихъ частныхъ изслѣдованій, рассказовъ анекдотическаго свойства, — тѣмъ не менѣе въ литературное обращеніе вошло множество фактическихъ данныхъ, которыя часто сами по себѣ были уже достаточно краснорѣчивы и вообще въ первый разъ давали о нашемъ XVIII и даже XIX вѣкѣ нѣсколько отчетливое понятіе.

Къ прежней показной исторіи прибавилась теперь интимная исторія дворцовыхъ переворотовъ и правительственнаго круга, послѣ Петра и до Александровскихъ временъ: воцареніе Анны Ивановны, исторія Ивана Антоновича и его семьи; вступленіе на престолъ Екатерины II, Павла, Александра; исторія княжны Таракановой, фаворитовъ импер. Екатерины (между прочимъ въ переводѣ книги Гельбига) и т. п.; біографическія исторіи выдающихся лицъ—графовъ Разумовскихъ, Орловыхъ, Воронцовыхъ, гр. Безбородка, Вецкаго, и позднѣе Руманцова, Мордвинова, Сперанскаго, Аракчеева и т. д. Масса вновь изданныхъ мемуаровъ, начиная съ Петровскихъ временъ, какъ Неплюева, священника Лукьянова, и позднѣе—какъ записки Добрынина, Храповицкаго, кн. Дашковой, Гарновскаго, Винскаго, Болотова, Толубѣева, и еще новѣе, какъ Саблукова, Котлубицкаго, Растопчина, Чичагова, А. М. Тургенева и т. д., давала любопытныя картины отчасти придворной жизни, но особенно жизни общественной, быта и нравовъ. Изслѣдованы были съ большимъ чѣмъ прежде вниманіемъ многіе эпизоды умственной жизни общества, какъ дѣятельность Ломоносова, какъ первыя начала нашей журналистики и сатиры; въ монументальномъ изданіи „Державина“ г. Грота выяснилась дѣятельность „дѣвца Екатерины“ со множествомъ подробностей о современныхъ отношеніяхъ; впервые изучена обстоятельно дѣятельность Новикова, и по ея поводу изслѣдована исторія русскихъ масонскихъ ложъ, мистическихъ сектъ и направленій конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія; всплыла послѣ многихъ десятковъ лѣтъ молчанія, исторія Радищева и его книги; выяснился характеръ собственной литературной дѣятельности импер. Екатерины II, предпринята, наконецъ, обширная исторія ея, г. Бильбасова, и въ результатъ всего этого русская исторія прошлаго столѣтія явилась въ новыхъ чертахъ, не совсѣмъ отвѣчавшихъ старому панегирическому представленію...

Историческія работы по XVIII-му вѣку должны назваться еще только начатыми; изданный матеріалъ далеко недостаточенъ для

полной исторіи; литературныя условія все еще не даютъ мѣста вполнѣ свободной исторической критикѣ,—тѣмъ не менѣе, наличный матеріалъ даетъ возможность нѣкоторыхъ общихъ заключеній.

Эти историческія изысканія имѣютъ свой большой интересъ и для этнографіи: касаясь быта и нравовъ, онѣ разъясняютъ тотъ важный историческій моментъ, какой наступалъ для внутренняго содержанія народной жизни. Съ древнѣйшихъ временъ, русская народность испытала въ особенности два сильныхъ перелома, отразившихся на существѣ народныхъ представленій. Одинъ совершился въ эпоху двоевѣрія, когда на старую языческую подкладку легли понятія христіанскія: въ сущности, до сихъ поръ не опредѣлено такъ сказать процентное отношеніе двухъ стихій, но несомнѣнно во всякомъ случаѣ, что съ той поры первобытное содержаніе народности—какъ запаса представленій мѣологическихъ (религіозно-поэтическихъ) и бытовыхъ—не существуетъ иначе какъ въ смѣшеніи стараго и новаго, разграниченіе которыхъ остается до сихъ поръ вопросомъ для изслѣдователей. Понятно, что затѣмъ народность подвергалась и множеству другихъ воздѣйствій—сношеній междуплеменныхъ, вліаній образовательныхъ и книжныхъ, опытовъ практическо-бытовыхъ, собственнаго развитія,—видоизмѣнявшихъ медленно и постоянно ея основу, но въ главномъ, до конца XVIII-го вѣка (особливо до реформы), эта основа была тоже старое двоевѣріе. Теперь наступалъ другой переломъ. Съ реформой вступалъ въ жизнь не только государства, но общества, а въ концѣ концовъ и народа, новый порядокъ идей, вступалъ какъ *принципъ*, ранѣе не существовавшій въ такой силѣ, совершенно отличавшійся отъ традиціоннаго міровоззрѣнія и въ своихъ послѣднихъ вліаніяхъ долженствовавшій затронуть самое существо народной жизни, отразиться въ бытѣ и народныхъ представленіяхъ, что и совершается—сначала слабо, но потомъ чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе. Новыя идеи дѣйствовали прежде всего черезъ государство, на высшій служилый классъ (на народъ не обращалось вниманія), затѣмъ самъ этотъ классъ начинаетъ воспринимать образованіе и „удалаться“ отъ народа. Здѣсь прежде всего совершилось то разлагающее дѣйствіе, какое имѣлъ новый историческій принципъ,—какъ нѣкогда разлагающимъ образомъ на старое язычество дѣйствовали понятія христіанскія; но мало-по-малу это дѣйствіе стало распространяться все дальше и глубже. Для класса образованнаго старое міровоззрѣніе въ области понятій и суевѣрій о природѣ и чловѣкѣ становилось окончательно чуждымъ; но затѣмъ новыя представленія проникаютъ все сильнѣе въ массу, создавая новое смѣшеніе, какое можемъ наблюдать въ настоящую минуту: мы именно присутствуемъ при переработкѣ народнаго этнографическаго содержанія. Люди

старого вѣка, и вмѣстѣ съ ними любители и специалисты этнографіи жалуется единогласно на упадокъ старины, на изчезновеніе (все болѣе сильное) обычаевъ, пѣсенъ, сказокъ и пр.: этотъ упадокъ не подлежитъ сомнѣнію, и наиболѣе сильный толчекъ къ пронаводящему его измѣненію быта данъ былъ въ началѣ XVIII вѣка.

Историческое изученіе прошлаго к нынѣшняго столѣтія между прочимъ даетъ возможность наблюдать постепенное развитіе новыхъ общественныхъ формъ, приведшихъ, наконецъ, къ современному состоянію народнаго быта. Остановимся на нѣкоторыхъ явленіяхъ.

Противники реформы любятъ ссылаться на вѣднѣе могущество русскаго государства, — но очевидно, что уже одно распространеніе территории, совершенное съ XVIII-го вѣка, могло быть достигнуто только путемъ лучшей организаціи государственныхъ силъ, что оно никакъ не могло быть приобрѣтено тѣми средневѣковыми средствами, какія употребляла старая московская Россія. Эти противники, изображая напр. „славянскаго орла“, не отрицаются отъ завоеваній временъ Петра и Екатерины, отъ славы военныхъ подвиговъ, отъ Румянцовыхъ и Суворовыхъ, отъ славы писателей и поэтовъ, отъ Ломоносова, Державина, Новикова: но что же были всѣ эти дѣятели, какъ не продолжатели и примѣнители дѣлъ и идей реформы? Или же начинаютъ иногда упрекать нынѣшнія поколѣнія примѣрами изъ XVIII-го вѣка, но вѣдь это и былъ „петербургскій періодъ“?

Высоко поставленное понятіе о службѣ всѣхъ государству—не противорѣчило старому преданію; политическія цѣли, поставленныя Петромъ и сохраняемыя его преемниками, даже у противниковъ реформы признаются отвѣчавшими интересамъ русскаго государства. Въ особенности осуждаются средства, принятыя Петромъ и продолжавшія господствовать въ „петербургскомъ періодѣ“: подражаніе иноземнымъ формамъ управленія, перениманіе чужихъ обычаевъ и т. д. Но, не защищая крайностей Петра, надо признать, что многое было неизбежно, какъ напр., иноземное устройство войска или флота — потому что свое было негодно, и Петру некогда было придумывать русскіхъ формъ и именъ для принятыхъ нерусскихъ вещей; введеніе чужихъ обычаевъ приходило естественно какъ противорѣчь тѣмъ старымъ обычаямъ, которыхъ онъ имѣлъ основаніе не любить, какъ спутниковъ стараго застоя. „Петербургскій періодъ“ въ этомъ отношеніи усердно слѣдовалъ поданному примѣру. Иноземные обычаи продолжали распространяться и послѣ Петра, и еще въ болѣе сильной степени напр. при Елизаветѣ, которой, однако, приписывается „русское“ направленіе, и особенно при Екатеринѣ, когда не только усиливались иностранныя моды въ свѣтской жизни, но когда сама императрица распространяла моду на французскія либеральныя

идеи. Послѣ стало распространяться подражаніе нѣмецкому фронт-овому милитаризму и т. д. Подражаніе иностраннымъ обычаямъ въ высшемъ и среднемъ дворянскомъ классѣ, возводимое теперь не только въ легкомысленное заблужденіе, но въ настоящее преступленіе противъ народности, какъ извѣстно, еще съ прошлаго вѣка возбуждало строгія осужденія негодующихъ патриотовъ и вызвало цѣлую литературу „сатирическихъ“ обличеній; но старымъ и новымъ обличителямъ не приходило въ голову, что эта подражательность имѣла весьма основательную причину, а именно—отсутствіе въ старомъ быту формъ общественности: ихъ и должны были доставить ассамблеи, публичные праздники, театръ, газета и т. д., которые приходилось перенимать съ „запада“. Наше время не вправѣ осуждать старину „петербургскаго періода“, потому что продолжаетъ донинѣ брать съ запада подобныя формы общественности: новѣйшія формы театра, публичныхъ лекцій, телеграфовъ, телефоновъ, журналистики, до иллюминацій, флаговъ на домахъ и т. п. Если иностранные обычаи брали силу (какъ думаютъ, незаконную) надъ старымъ русскимъ обычаемъ, надо думать, что послѣдній самъ не имѣлъ достаточной внутренней силы и не могъ удовлетворить потребностямъ знанія и общественности, какія являлись съ ходомъ исторіи. Далѣе, если были темныя стороны въ заимствованномъ иноземномъ обычаѣ, то и обличеніе оставалось всего чаще недѣйствительнымъ, потому что или направляемо было невѣрно, не на дѣйствительную причину зла, или выставляло взаимнѣ обличаемаго что-нибудь еще болѣе слабое и странное. Такими недостатками, за немногими исключеніями, дѣйствительно отличалась правоучительная сатира прошлаго вѣка; тамъ, гдѣ она покушалась сказать правду, указать дѣйствительное зло, ей зажимали ротъ,—какъ Новикову и Радищеву, а также и фонъ-Визину. Позднѣ полемика противъ „галломаніи“ сводилась болѣею частью на пустословіе, или на лицемеріе.

Первые преемники Петра не въ силахъ были достойнымъ образомъ продолжать его дѣло; оно держалось только силой инерціи и еслибы, дѣйствительно, оно было такимъ нарушеніемъ національной сущности, какъ объ этомъ говорятъ, то при слабости преемниковъ неизбежна была бы реакція—національная старина, освободившись отъ гнета личности преобразователя, должна была бы воспрянуть, заявить свое историческое право, удалить чужеземчину, внесенную въ жизнь рукой „произвола“. Именно въ полустодлѣтіе отъ смерти Петра до воцаренія Екатерины II могла бы совершиться старомосковская реставрація ¹⁾; но она не совершилась. Во-первыхъ, слиш-

¹⁾ Любопытно, что на это, въ своихъ видахъ (именно ослабленія Россіи), рассчитывала европейская дипломатія при восшествіи на престолъ Елизаветы. Ср. Бильбасова, „Исторія Екатерины Второй“, Спб. 1890, стр. 102—104.

комъ ясно было, что все основное въ реформѣ было настоятельно нужно; во-вторыхъ, если было въ ней что-нибудь поспѣшное, излишнее или очень отзывавшееся иноземнымъ, то для переработки этого требовалось время и большая степень сознанія и въ обществѣ, и въ самой правительственной сферѣ; а вещи второстепенныя безъ особенныхъ заботъ отпадали. Въмѣсто реакціи мы наблюдаемъ въ тогдашней правительственной и общественной жизни совершенно обратное: она весьма легко воспринимала реформу; какъ правительственная власть считала долгомъ заявлять свое почтеніе къ дѣламъ Петра, такъ новыя приемы жизни крѣпко усваивались въ служебной области и нравахъ. Правда, первая наука давалась туго; тяжелое на подъемъ дворянство жаловалось, когда однихъ требовали на службу, другихъ въ науку,—но такъ бывало и въ древнемъ Кіевѣ, когда князь приказывалъ брать въ ученіе дѣтей „нарочитое чади“. Но въ школахъ и службахъ времени Петра, когда онъ самъ давалъ такой поражающій примѣръ неустаннаго труда, было столько серьезнаго дѣла, что въ умахъ осталось сильное впечатлѣніе нравственной обязанности частнаго лица къ обществу и государству. Этого настроенія нельзя не видѣть въ „слугахъ Петровыхъ“, и довольно указать на Посошкова, чтобы убѣдиться, какъ оно овладѣвало и разумными людьми, стоявшими далеко отъ всякой власти, но понимавшими значеніе своего времени. Здѣсь возникали начатки того общественнаго мнѣнія, которое медленно, но постоянно растетъ съ тѣхъ поръ, внося въ пассивное общество все болѣе дѣятельное сознаніе. Просвѣтительные элементы принимались всѣми пробужденными умами съ такимъ участіемъ, что было бы ослѣпленіемъ не видѣть въ этомъ большого историческаго факта и доказательства именно *національнаго* успѣха реформы.

Главное, что реформа внесла новаго, совсѣмъ неизвѣстнаго старой русской жизни, было признаніе значенія науки, какъ перваго свѣтскаго и независимаго знанія. При великой трудности новаго дѣла, при недостаткѣ людей въ Петровское время, а затѣмъ и впослѣдствіи, вводимыя образовательныя средства отличались скорѣе скудостью, чѣмъ излишествомъ,—въ особенности для послѣдующаго времени. Правительственная власть XVIII-го вѣка принимала вообще весьма умѣренныя средства къ распространенію просвѣщенія: со времени основанія Академіи наукъ,—влачившей въ первое время весьма жалкое существованіе, когда уже не было челоуѣка, ее задумавшаго,—только въ 1755 году основанъ былъ московскій университетъ, единственный на цѣлое столѣтіе, и также долгіе годы не бывшій въ состояніи широко работать для русскаго просвѣщенія. Если прибавить

еще двѣ духовныя академіи, въ Кіевѣ и Москвѣ, то мы назовемъ всѣ высшія ученыя и учебныя заведенія имперіи прошлаго вѣка.

Если при всемъ томъ общественная образованность дѣлала, какъ это несомнѣнно, значительныя успѣхи, они должны быть приписаны тому, что, хотя бы въ меньшинствѣ общества, интересы просвѣщенія стали жизненною потребностью. Выше мы указывали отличительную черту знанія, входившаго въ Петровскія времена: это было съ одной стороны стремленіе къ практической полезности, совершенно естественное по всему положенію вещей, съ другой раціоналистическія попытки, необходимое послѣдствіе первыхъ научныхъ понятій. Это были такимъ образомъ вполне естественное начало и завскаса, при которыхъ дальнѣйшее движеніе въ томъ же главномъ направленіи было правильнымъ развитіемъ,—хотя еще долго неровнымъ и неувѣреннымъ.

Исторія литературы прошлаго вѣка въ самомъ дѣлѣ свидѣтельствуеть о большой постепенности перехода отъ московской старины къ „петербургскому періоду“.

Начатки литературы были, дѣйствительно, грубы, неловки, неровны; предшествующая эпоха передала XVIII вѣку только ученыхъ богослововъ, ученыхъ стариннаго духовно-академическаго типа, образованныхъ на западный клерикальный образецъ — да и ихъ очень немного; образованіе другого рода едва начиналось, — между тѣмъ новый періодъ національной жизни вызывалъ очевидно новую литературу, совершенно иного склада и содержанія.

При Петрѣ въ литературѣ появляется цѣлый рядъ переводныхъ сочиненій образовательнаго характера. Литература поэтическая еще отсутствуетъ, если не считать виршей во вкусѣ XVII вѣка; и когда она появляется вскорѣ (у Кантемира, Тредьяковскаго, Ломоносова), она перенимаетъ на западѣ формы псевдо-классицизма и его условное содержаніе, перенимаетъ сначала грубо, не умѣя приладить русскаго содержанія, не умѣя справиться съ языкомъ, мѣшая русскую грамматику съ церковно-славянскою. Содержаніе стихотворства, касаясь темъ общественныхъ, до самаго Карамзина есть только полу-официальное, служебное: это — ода и панегирикъ высокимъ особамъ; но уже у Ломоносова является самостоятельная поэтическая мысль, и затѣмъ, къ концу вѣка, все больше развивается художественный инстинктъ и стремленіе выражать общественное содержаніе, насколько допускала это строгая и подозрительная опека.

Какъ взаимнѣ нѣкогда обще-народнаго мировоззрѣнія, архаическаго и полу-церковнаго, въ классѣ образованномъ стали распространяться новыя понятія, доставляемыя (въ той или другой мѣрѣ) наукой, такъ, параллельно этому, въ области поэзіи впервые — собственно

только съ начала XVIII вѣка—совершился переходъ отъ первобытно-народнаго творчества къ творчеству личному. Такой недавней въ сущности является у насъ эта эпоха перехода отъ поэзіи первобытно-народной къ поэзіи личной, эпоха, давно пережитая литературами европейскими, которыя уже въ средніе вѣка имѣли Данта и Боккаччіо, затѣмъ Рабле, Шекспира и Мольера... Мы указывали выше, что у насъ начало этнографическаго интереса во второй половинѣ прошлаго столѣтія (какъ у Чулкова и Новикова) совпадаетъ просто съ продолжающимся живымъ преданіемъ народной поэзіи. Теперь, съ распространеніемъ европейскаго образованія въ верхнемъ слоѣ, съ началомъ личнаго поэтическаго творчества, съ болѣе сознательнымъ отношеніемъ къ жизни, начинаются и новыя формы общественности и новый складъ внѣшняго существованія литературы. Впервые выдѣлялся особый кругъ, не сословный, не служило-чиновническій—такъ-называемое *общество*: его силами и для его потребностей возникла литература въ томъ смыслѣ, въ какомъ она давно уже утвердилась въ жизни европейской. Эта литература не ограничивалась по прежнему особымъ классомъ книжниковъ, обученныхъ на полу-церковный ладъ, и обращалась ко всему кругу образованныхъ людей; ея содержаніе обнимало свѣтскую мысль, науку, поэзію, общественные интересы; она должна была говорить не на старомъ славяно-русскомъ языкѣ, который велся только въ книгахъ, а на живомъ языкѣ, на которомъ всѣ говорили. Этого рода литература предполагала потребность въ знакомствѣ съ произведеніями другихъ народовъ, съ ихъ научными знаніями, болѣе развитой общественной мыслью и поэзіей, и естественно подпала ихъ влияніямъ. Съ тѣхъ поръ и долго послѣ, въ сущности и донинѣ, наша литература развивалась подѣ сильнымъ образовательнымъ воздѣйствіемъ западно-европейскимъ, — испытывая (правда, всегда въ очень сглаженной формѣ и урѣзанномъ объемѣ) многообразныя ступени, которыя переживала западная, преимущественно нѣмецкая и французская литература. Такъ проходили въ нашей литературѣ, слѣдомъ за силлабическими виршами XVII столѣтія, торжественная панегирическая ода, псевдо-классическая драма и всякія формы французскаго стихотворства половины прошлаго вѣка, потомъ мистическій піэтизмъ, сантиментальное направленіе, романтика разныхъ оттѣнковъ.

Новѣйшая историографія литературы, въ противоположность или, лучше сказать, въ дополненіе историко-эстетической критики Бѣлинскаго, обратила свои разслѣдованія именно на эти многообразныя источники литературныхъ идей, на общественно-культурную сторону ихъ содержанія, на ихъ влияніе и отраженія во внутреннемъ складѣ

общества. Правильный историческій выводъ возможенъ только послѣ анализа фактовъ и направленій жизни, и новѣйшіе историки полагаютъ свой трудъ именно на эту аналитическую работу и успѣли собрать и освѣтить много фактовъ литературы, которые были вмѣстѣ и фактами общественныхъ понятій, идеаловъ, выросавшаго въ тревожной борьбѣ сознанія. Оказывалось, разумѣется, что западныя вліянія, на которыя такъ любятъ теперь сваливать всякія бѣды русской жизни, были сильными двигателями, безъ которыхъ были бы немислимы многія замѣчательнѣйшія пріобрѣтенія русской образованности; что эти вліянія не были случайностью, не были намъ „навязаны“ западомъ, которому въ этомъ отношеніи не было до насъ никакого дѣла; не были наконецъ навлечены съ нашей стороны легкомысленнымъ произволомъ отдѣльныхъ лицъ, — но, напротивъ, были естественнымъ фактомъ нашего развитія, и призывались къ содѣйствію лучшими и просвѣщеннѣйшими умами нашего общества и самой преобладающей властью. Недаромъ случилось, что Екатерина II оказывала особенное покровительство самымъ передовымъ представителямъ французскаго свободомыслія, покровительство, какового они не видѣли ни у себя дома, ни при какомъ-либо иномъ дворѣ. Правда, Екатерина была женщина чрезвычайно расчетливаго, сухого ума, и имѣла при этомъ свои соображенія, но несомнѣнно, что идеи французскихъ свободныхъ мыслителей тѣмъ не менѣе производили на нее сильное впечатлѣніе въ ея первую свѣжую пору. Западъ былъ въ прошломъ вѣкѣ главнѣйшимъ источникомъ нашей научной образованности: онъ далъ нашей литературѣ тѣ формы, которыя были ей нужны въ ея новомъ періодѣ; онъ давалъ выработанныя философскія и общественныя понятія, — его отношеніе къ русскому движенію опредѣляется просто тѣмъ, что сама русская образованность искала себѣ въ немъ опоры, воспринимая изъ его разнообразнаго содержанія то, что указывалось потребностями русской мысли и общественности. Новыя изслѣдованія привели тому множество ясныхъ, наглядныхъ доказательствъ ¹⁾).

Изданіе множества новыхъ матеріаловъ о XVIII вѣкѣ, — особливо всѣхъ дневниковъ, переписокъ, и т. п., рисующихъ непосредственно простую домашнюю сторону жизни, — только подтверждаетъ то, что извѣстно было и раньше по преданію о нашихъ прадѣдахъ, именно, что люди „петербургскаго періода“, т.-е. тогдашній образованный болѣе или менѣе классъ, люди, будто бы „оторванные отъ почвы“

¹⁾ Факты о западныхъ литературныхъ вліяніяхъ съ конца XVII вѣка указаны въ большомъ количествѣ и часто весьма обстоятельно объяснены въ извѣстной книгѣ г. Галахова. Въ послѣднее время систематическій обзоръ исторіи „Западныхъ вліяній въ русской литературѣ“ сдѣланъ Алексѣемъ Веселовскимъ (М., 1888).

западною цивилизаціей, были въ сущности самыя русскіе люди, во всякомъ случаѣ не меньше, или даже больше русскіе, чѣмъ многіе изъ нынѣшнихъ газетныхъ „самобытниковъ“; ближе стояли къ старымъ преданьямъ, лучше, по своему времени, знали и понимали народъ и народный бытъ,—хотя и были дѣйствительно оторваны отъ него въ силу учреждений, именно въ силу крѣпостнаго права (утвердившагося вовсе не въ „петербургскій періодъ“). Прочтите напр. записки образованнаго помѣщика Болотова; записки или біографіи дѣловыхъ людей, какъ Неплюевъ, Татищевъ; ученыхъ людей, какъ Ломоносовъ, какъ многіе профессора тогдашняго единственнаго университета; прочтите даже рассказы объ иныхъ важныхъ барахъ того времени; припомните „Семейную Хронику“ и т. д., вездѣ разсыпаны черты русскаго характера, быта, обычая, даже народно-поэтическаго преданія. Бывали конечно люди, офранцузенные воспитаніемъ и вліяніями высшаго круга,—но такіе люди (которыхъ и теперь немало) принадлежали своей особой сферѣ, и остались бы чужды народу, еслибы даже говорили на чистѣйшемъ русскомъ языкѣ и соблюдали русскіе обычаи: они, дѣйствительно, были оторваны отъ русской жизни извѣстными сторонами сословнаго быта, и появленіе этого типа должно быть отнесено къ его дѣйствительнымъ причинамъ, и никакъ не можетъ быть отождествлено съ просвѣщеніемъ XVIII-го вѣка и только ему поставлено на счетъ. Истинное дѣйствіе просвѣщенія шло въ иныхъ кругахъ, и въ теченіе настоящаго нашего обзора можно было видѣть, что, напротивъ, оно именно вело къ національно-общественному сознанію и къ нравственному единенію съ народомъ.

Когда новому порядку вещей, возникшему въ XVIII вѣкѣ, ставить въ вину его разныя темныя стороны, крупныя бѣдствія и мелкія уродливыя явленія (гдѣ ихъ нѣтъ?), то обыкновенно не разбираютъ, гдѣ былъ главный корень того или другого темнаго факта, и не бывалъ ли онъ иногда плодомъ именно самой сохранившейся старины, которая въ сущности продолжала сильно господствовать и въ общемъ внѣшнемъ складѣ жизни и множествѣ ея частныхъ отношеній. Такъ, неизмѣннымъ остался общій характеръ центральной власти и быта; таковъ привычный произволъ администраціи, такова испорченность судейскихъ нравовъ. Господство крѣпостнаго права, обезпеченность и лѣнивыя досугъ значительной части дворянства, скудное образованіе, отсутствіе интересовъ и дѣятельности общественной, достаточны были, чтобы произвести тотъ типъ людей, „оторванныхъ“ отъ русской почвы—пустыхъ франтовъ и „петиметровъ“, или даже и не пустыхъ людей, „беззаботныхъ“ на счетъ русской жизни и литературы, какихъ изображала наша „сатира“ про-

лаго вѣка и до недавняго еще времени рисовали наша повѣсть и романъ. Но возводить этихъ людей въ обычное явленіе нѣтъ никакой исторической возможности, а тѣмъ менѣе видѣть въ нихъ настоящихъ представителей образованности прошлаго вѣка. Напротивъ, и въ высшихъ областяхъ образованія, и въ среднемъ обиходѣ понятій сдѣланы были важныя приобрѣтенія, которыя зарождаются именно въ томъ вѣкѣ, какъ слѣдствіе нѣкоторой образованности, и должны были возрастать съ ея успѣхами. Должно помнить, что условія были очень мало благопріятны для его развитія: старыя приемы власти, нимало не ослабѣвшіе съ XVII вѣка и только окруженные новой внѣшней обстановкой, никакъ не допускали какой-либо самобытности мыслей и дѣйствій общества; строгая опека лежала на всемъ бытѣ, матеріальномъ и нравственномъ; самое просвѣщеніе, хотя распространяемое въ весьма умѣренномъ количествѣ, было подъ неизмѣннымъ надзоромъ,—тѣмъ не менѣе общественная мысль продолжала работать при всѣхъ стѣсненіяхъ, охватывала все новыя предметы; образованіе будило инстинкты добра и справедливости, внушало возвышенные идеалы нравственнаго и общественнаго совершенствованія. Въ XVIII вѣкѣ были уже здоровые и крупныя опыты русской науки, замѣчательныя образчики новой поэзіи, начинается сознательная сатира и публицистика, которой невозможно отказать — по условіямъ времени—ни въ вѣрныхъ мысляхъ, ни въ гражданской смѣлости; возникаетъ интересъ къ изученію народной жизни, въ которомъ имѣетъ свой первый корень современное народничество.

Съ такимъ наслѣдіемъ отъ прошлаго вѣка начинается XIX столѣтіе

Стѣсненное положеніе нашей литературы и науки было таково, что только въ послѣднее двадцатипятилѣтіе началась первая дѣйствительная разработка русской новѣйшей исторіи. Должно было пройти сорокъ лѣтъ съ конца царствованія Александра I, чтобы въ нашей домашней литературѣ могли появляться на свѣтъ первые правдивые и безпристрастные рассказы и изслѣдованія о той эпохѣ, чтобы могъ быть услышанъ голосъ современника: столько событій, чрезвычайно любопытныхъ и характерныхъ, оставались закрыты отъ историческаго изслѣдованія, какъ государственная тайна. Царствованіе имп. Павла, воцареніе Александра I, первая либеральная эпоха его правленія, исторія Сперанскаго, записки Карамзина, реакція послѣ Наполеоновскихъ войнъ, личность и дѣянія Араукеева, Библейское общество, масонскія ложи, тайныя политическія общества и т. д.,— все это было недоступно для разсказа или даже для простаго упоминанія. Не воплію стала доступна вторая четверть столѣтія, сплошная эпоха консервативнаго застоя и господства милитаризма, закончившаяся трагически крымскою войной,— времена были еще слишкомъ

близки, но именно вслѣдствіе крымской войны, смыслъ исхода которой былъ всѣмъ очевиденъ, стало разъясняться въ глазахъ общества значеніе цѣлой системы, цѣлаго историческаго періода. Это критическое отношеніе къ недавнему прошедшему высказалось въ самые первые годы прошлаго царствованія, а теперь наводняющіе литературу историческіе документы разнаго рода все больше разъясняютъ эпоху, за которой слѣдовалъ періодъ преобразованій и которая сдѣлала преобразованія особенно настоятельными. Время было характеристическое; николаевская система въ свое время въ огромной массѣ общества считалась наилучшей, почти идеальной государственной системой, далеко превосходящей всякія европейскія учрежденія; на „гниющую“ Европу смотрѣли съ пренебреженіемъ,—исторія послужила повѣркой этого идеала: теперь сполна разъяснилось истинное значеніе провозглашенной тогда официальной народности. Съ новаго царствованія, съ половины пятидесятыхъ годовъ начинается небывалое прежде развитіе публицистики, поднятой въ особенности первыми заявленіями о крестьянской реформѣ; въ литературное обращеніе вошло множество разнообразныхъ и существенно важныхъ вопросовъ внутренней жизни, и въ этомъ періодѣ совершилось также наиболѣе плодотворное развитіе этнографической науки. Рядомъ съ успѣхами историческихъ изысканій вообще, никогда прежде не было посвящено столько вниманія разъясненію исторической судьбы собственно народа и описанію его современнаго состоянія. Правда, и до сихъ поръ народъ еще остается „сфинксомъ“, какъ сознавался однажды Тургеневу Ив. Аксаковъ, но наука уже начинаетъ отгадывать его загадки... Укрѣпленная больше чѣмъ когда-нибудь прежде изученіемъ прошлаго и настоящаго положенія народа, и вмѣстѣ ревностно слѣдя за открытіями европейскихъ изыскателей, наша этнографическая наука впервые пріобрѣтаетъ обширный запасъ разнообразныхъ данныхъ и становится на твердую почву метода.

Таковы были успѣхи нашего историческаго знанія за послѣдніа двадцать-пять лѣтъ. Въ немъ еще слишкомъ много едва начатаго, недодѣланнаго; много фактовъ остается собирать, критикѣ много дѣлать ихъ правильнымъ анализомъ, — тѣмъ не менѣе, оно и теперь дало богатый запасъ свѣдѣній, особливо сравнительно съ прежнимъ. Многіе, и важные, періоды и явленія нашей исторіи положительно впервые вошли въ историческую книгу, т.-е. русская научная и общественная мысль впервые знакомилась нѣсколько полно съ прошедшимъ, могла отдавать себѣ отчетъ въ смыслѣ собственной исторической жизни. Правда, много остается еще труда впереди: общее поло-

женіе науки, полу-признаваемой, не обезпеченной отъ всякихъ случайностей, связано конечно съ непривычкою къ свободной критикѣ въ самомъ обществѣ, и поученія исторіи слишкомъ часто остаются бесплодны.

Съ тѣмъ или другимъ пониманіемъ исторіи соединяются обыкновенно различные взгляды на современное положеніе вещей, и наоборотъ, на исторіографію распространяется дѣленіе общественныхъ партій. Реакціонное направленіе, которое по разнымъ причинамъ теперь особенно распространилось, изъ вражды къ просвѣщенію повторяетъ по своему старья нападенія на западъ и на Петровскую реформу — предпочтеніе старины новымъ временамъ считается признакомъ „самобытнаго“ національнаго взгляда; инымъ защитой національнаго достоинства казалось даже отрицаніе норманскаго происхожденія варяговъ. Исканіе идеаловъ повади исторіи совпадаетъ всего чаще съ современнымъ обскурантизмомъ, но, какъ и естественно, подобная точка зрѣнія до сихъ поръ не могла создать ни одного цѣльнаго произведенія, чтобы научнымъ образомъ доказать свои положенія на цѣломъ пространствѣ русской исторіи.

Если мы будемъ искать основныхъ чертъ, отличающихъ исторіографію послѣднихъ десятилѣтій, то кромѣ общаго умноженія научныхъ средствъ предмета, можно указать двѣ особенности.

Это, во-первыхъ, распространеніе реального историческаго метода. Продолжались, правда, и теперь отвлеченныя, или просто фантастическія, толки объ особенномъ „духѣ“ русскаго народа, объ его провиденціалномъ предназначеніи, и т. п., но въ научной сторонѣ дѣла все болѣе распространяется приемъ реальной критики—отъ археологическихъ изысканій о древностяхъ русской территоріи, антропологическихъ соображеній о происхожденіи и свойствахъ племени, отъ опредѣленія вліяній почвы и климата, земледѣльческаго труда и промысла, до изслѣдованій объ условіяхъ историческихъ, окружавшихъ развитіе народа и государства, о складѣ экономической жизни, объ источникахъ народнаго міровоззрѣнія и поэзіи, и т. д. Во всѣхъ этихъ изслѣдованіяхъ все болѣе усиливается стремленіе къ прочному установленію жизненнаго факта, къ всестороннему объясненію его источниковъ и послѣдствій,—единственный способъ, которымъ можетъ быть достигаемъ правильный историческій выводъ.

Другую отличительную черту новѣйшей исторіографіи, по содержанию, составляетъ усиленный интересъ къ явленіямъ внутренней жизни общества, и особенно къ жизни народной. Какъ мы уже замѣчали, судьба „народа“—въ спеціальному смыслѣ народныхъ массъ, главной основы племени, трудового крестьянства—никогда прежде не бывала предметомъ такого вниманія, какъ именно теперь. Источ-

никъ этого вниманія былъ частію общественный, но также и чисто научный: не только въ общественномъ смыслѣ можно было желать разъясненія судьбы миллионовъ народа, впервые вступавшихъ въ среду гражданского общества, желать воспользоваться и знаніемъ прошлаго для лучшаго опредѣленія его современнаго положенія, идеаловъ и потребностей; но и въ смыслѣ научномъ было необходимо изучить, наконецъ, эту забытую сторону исторіи, эту этнологическую основу, силами которой совершалось историческое движеніе. Эти два мотива дѣйствовали несходно, какъ потребность нравственная и потребность научная: одинъ легко велъ къ идеализации, къ теоретическимъ преувеличеніямъ предполагаемаго отвлеченнаго содержанія народности и ея бытовыхъ формъ; другой заставлялъ искать строгихъ фактовъ и практическихъ данныхъ. Мотивы не всегда были разъединены, напротивъ, соединялись нерѣдко, въ разныхъ степеняхъ, въ одномъ писателѣ, и общественный идеализмъ производилъ тогда особенное дѣйствіе, и вызывалъ къ дальнѣйшему изслѣдованію человѣчныхъ и возвышенныхъ сторонъ народности (напр. Герценъ — въ сочиненіяхъ, имѣющихъ отношеніе къ этому вопросу; Ёвст. Аксаковъ; Костомаровъ; въ этнографіи особливо Буслаевъ и др.), — хотя бы эти труды иногда не вполне отвѣчали требованіямъ исторической критики. Вообще, обѣ точки зрѣнія часто дѣйствовали параллельно, дополняя и поправляя другъ друга; но распространяющееся господство реального критическаго метода все болѣе удаляетъ изъ исторіографіи идеалистическій произволъ. Историческое изученіе народа и народности все усложняется вступленіемъ въ него различныхъ частныхъ изслѣдованій — историко-юридическихъ, экономическихъ, социальнo-бытовыхъ, этнографическихъ и пр.; вмѣстѣ съ тѣмъ, самая задача опредѣляется все строже. — Въ послѣдніе годы, среди общественной неурядицы средній уровень литературнаго пониманія положительно понизился; но трудно думать, чтобы научныя пріобрѣтенія послѣднихъ десятилѣтій остались надолго бездѣйственными и не внесли, наконецъ, болѣе разумнаго и высокаго пониманія исторіи и народа.

ГЛАВА VII.

Константинъ Аксаковъ: труды по русской исторіи и этнографіи.

Константинъ Аксаковъ не былъ этнографомъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, но его имя не можетъ отсутствовать въ исторіи русской этнографіи, которая должна обнять и труды, предпринятые для объясненія народности, ея исторической судьбы и нравственно-бытового содержанія. Изъ всего славянофильскаго круга онъ особенно ставилъ эти вопросы и объяснял ихъ въ духѣ школы; кромѣ того онъ предпринималъ изслѣдованія русскаго языка и частію народной поэзіи. Последнее онъ совершалъ мимо Гриммовой теоріи, вводившейся у насъ г. Буслаевымъ, и ставилъ объясненіе древняго эпоса на почву нравственно-бытового и символическаго толкованія. Въ вопросахъ собственной исторіи заслуга его была немаловажна какъ настойчивое указаніе на особенности русскаго быта, возбуждавшее къ новымъ изслѣдованіямъ; толкованія этнографическія, исходившія изъ предвзятой мысли и недоказанныя, не имѣли научнаго значенія, но тѣмъ не менѣе имѣли довольно обширное вліяніе. Аксаковъ принадлежалъ къ числу тѣхъ немногихъ лицъ въ нашей новѣйшей литературѣ, на долю которыхъ достаются не только горячія восхваленія въ своемъ лагерѣ, но и болѣе или менѣе теплое сочувствіе людей другихъ направлений. Причина этого заключается, однако, не столько въ содержаніи его идей, сколько въ личныхъ свойствахъ его дѣятельности: у насъ, къ сожалѣнію, не часто встрѣчается ни такая беззащитная убѣжденность, ни такая правдивость, которыя въ свое время умѣряли даже его крайнихъ литературныхъ противниковъ. Было и другое обстоятельство, которое закрѣпило за нимъ сочувственное отношеніе и друзей, и враговъ. Онъ умеръ сравнительно молодымъ, въ полномъ развитіи силъ—въ такое время, когда едва только выступалъ на сцену

тотъ новый порядокъ вещей, которому суждено было произвести столько добра, и столько смуты въ жизни общества и народа. Аксакову не привелось дѣйствовать въ тотъ послѣдующій періодъ времени, когда реформы, а потомъ реакція, увлекали и людей его партіи въ явныя противорѣчія съ принципами школы, и съ самими собой: онъ остался представителемъ того, такъ сказать, юношескаго идеализма, каковымъ жила русская литература въ прежнія времена, и которому еще не приходилось выступать изъ міра теорій и мечтаній и сталкиваться лицомъ къ лицу съ жестокой или дикой дѣйствительностью. Печать этого идеализма лежитъ на всѣхъ произведеніяхъ К. Аксакова и сглаживаетъ въ значительной степени впечатлѣніе тѣхъ противорѣчій, которыми отличается все ученіе, и которыя къ нашему времени достигли до такихъ рѣзкихъ и антипатичныхъ проявленій.

Мы не имѣемъ въ виду ни біографіи, ни полного разбора сочиненій Аксакова ¹⁾. Мы хотѣли указать только главныя черты его историческихъ взглядовъ, которые играли немалую роль въ развитіи

¹⁾ Подробная біографія К. Аксакова, къ сожалѣнію, до сихъ поръ не написана. Отдѣльныя біографическія свѣдѣнія и некрологи находятся въ слѣдующихъ изданіяхъ:

- „Русская Бесѣда“, 1860, кн. II, прил., ст. Погодина (нѣсколько словъ некролога).
- „Русская Рѣчь“, 1861, № 3.
- „Соврем. Лѣтопись“ Русскаго Вѣстника, 1861, № 1, стр. 23.
- „Сиб. Вѣдом.“, 1861, № 19, ст. Гильфердинга.
- „Литературныя Воспоминанія“, Панаева (первоначально въ „Современникѣ“ 1860—61). Сиб. 1876, стр. 197 и далѣе.
- „О значеніи критическихъ трудовъ К. Аксакова по русской исторіи“, Н. Костомарова, Сиб. 1861. (Изъ „Русскаго Слова“).
- Энциклопедическій Словарь, составленный русскими учеными и литераторами. Сиб. 1861, т. II, стр. 392—393 (статья М. Михайлова и К. Бестужева-Рюмина).
- „Университетскія воспоминанія“ Г. Г. „День“, 1863, № 42.
- „Портретная Галлерей“, Мюнстера, т. 2. Сиб. 1869.
- „Русскій Архивъ“, 1870, ст. 675, 678 („Воспоминанія о Герценѣ“, Свербѣева). 1875, вып. 1, стр. 69; вып. 11, стр. 373.
- „Былое и Думы“, т. 2, и „Дневникъ“ того-же автора (изд. 1875).
- „Иллюстрированная Недѣля“, 1875, № 50.
- „Вѣлискій, его жизнь и переписка“, Сиб. 1876. II, гл. VII—IX.
- „Русскій Архивъ“, 1878, вып. 2, стр. 131; вып. 5, стр. 61—64 (въ письмахъ Боданскаго къ Шевыреву); вып. 6, стр. 206—210, 215, 269.
- „Русскій Архивъ“, 1880, т. II, стр. 241—330.
- Письма Вѣлинскаго къ К. Аксакову. „Русь“, 1881, № 8.
- По поводу записки К. Аксакова, „Отголоски“, 1881, № 13.
- „Сборникъ русск. отдѣленія Акад. Наукъ“, 1883, т. XXXI (упоминанія объ Аксаковѣхъ въ письмахъ Погодина къ Максимовичу), и друг.
- Наиболее обстоятельная біографія въ „Критико-біографическомъ Словарѣ“, Венгерова, т. I, стр. 201—318. Тамъ же подробный списокъ сочиненій.

славянофильскаго ученія и частію вошли въ новѣйшую „народническую“ школу.

К. Аксаковъ (1817—1860) родился въ довольно богатой помѣщичьей семьѣ и съ дѣтства, въ деревенской жизни, встрѣчался съ тѣми впечатлѣніями народности, какія давала въ то время подобная обстановка. Наперекоръ тому, что такъ упорно повторяла впоследствии школа объ окончательной и роковой оторванности высшихъ классовъ отъ народа и отъ источниковъ русскаго духа, оказывалось, что самъ К. Аксаковъ, родившійся въ средѣ высшаго класса, не былъ оторванъ отъ этихъ источниковъ народнаго духа и впоследствии могъ ссылаться на живыя народныя преданія, запечатлѣвшіяся въ его памяти съ дѣтства, и которыя были прямымъ свидѣтельствомъ, что „оторванность“ имѣла по крайней мѣрѣ прекрасныя исключенія. Отецъ Аксакова, впоследствии патриархъ славянофильской семьи и замѣчательный писатель, самъ былъ другимъ живымъ доказательствомъ противъ этого. Послѣ появленія его охотничьихъ рассказовъ и „Семейной Хроники“ онъ былъ, какъ извѣстно, прославленъ какъ великій знатокъ русской жизни; между тѣмъ вся прежняя его дѣятельность шла въ полномъ разгарѣ старыхъ направленій, которыя обыкновенно сурово осуждались славянофильствомъ какъ фальшивыя и рабскія копіи европейскихъ образцовъ. С. Т. Аксаковъ былъ романтикъ въ старомъ вкусѣ, впоследствии, между прочимъ, великій поклонникъ Пушкина, что иногда не совсѣмъ совпадало съ тенденціями юнаго славянофильскаго поколѣнія, которое не всегда жаловало Пушкина. Его старинный романтизмъ не помѣшалъ ему позднѣе нарисовать прекрасныя картины русскаго быта, какъ только онъ взглянулъ на дѣло безъ притязаній, но съ тѣмъ реализмомъ наблюденія, къ какому именно и стремилась русская литература, проходя различныя опыты въ свои „учебныя годы“.

Въ тридцатыхъ годахъ К. Аксаковъ поступилъ въ московскій университетъ по „словесному отдѣленію“ и тогда же применилъ, какъ младшій сочленъ, къ кружку Станкевича. Аксаковъ былъ въ это время въ тѣсной дружбѣ съ Бѣлинскимъ; и какъ цѣлый кружокъ, такъ и К. Аксаковъ, былъ тогда весь погруженъ въ Гегелевскую философію. Къ ней присоединялся уже съ тѣхъ поръ особый московскій патриотизмъ, который въ ту пору не составлялъ, однако, его исключительной особенности: но когда у другихъ этотъ мѣстный патриотизмъ былъ дѣломъ юношеской восторженности и позднѣе заслоненъ болѣе разнообразными теченіями мысли; у Аксакова, оставшагося въ условіяхъ нѣсколько односторонней обстановки, онъ все болѣе развивался, былъ возведенъ въ квадратъ и сталъ непрекаемымъ принципомъ. Весьма естественно, что этотъ исключительный московскій патриотизмъ

тизмъ получилъ и философскую подкладку: Москва являлась олицетвореніемъ народнаго духа, и вѣрвать въ ея провиденціальную роль значило именно уразумѣть самую сущность національнаго начала. Отношенія съ Бѣлинскимъ удержались недолго; начавшіяся столкновенія привели наконецъ къ полному разрыву, и Аксаковъ окончательно и страстно отдался направленію, гдѣ всего больше пищи находилъ его народнической идеализмъ. Славянофильство въ началѣ сороковыхъ годовъ еще только складывалось. Такъ въ это время оно еще не достаточно выдѣлило себя отъ сосѣдней точки зрѣнія, именно официальной народности, которую тогда представлялъ между прочимъ „Москвитянинъ“. Въ первыхъ отношеніяхъ съ противной партіей, это обстоятельство имѣло немалую роль, такъ какъ „Москвитянинъ“ могъ представлять гораздо болѣе основаній для антипатіи. Въмѣстѣ съ тѣмъ, съ первыхъ поръ развивалась въ славянофильствѣ крайняя нетерпимость: оба кружка, „западный“ и славянофильскій, были оазисами въ тогдашней пустынѣ общественной мысли; они чувствовали себя носителями будущаго развитія, и славянофильство, въ самой основѣ котораго была доля мистицизма, тѣмъ болѣе приобрѣтало сектаторскій фанатизмъ.

Любопытныя подробности объ этой первой порѣ славянофильства доставляетъ изданный въ 1875 и мало у насъ извѣстный дневникъ Герцена (за 1842—45 годы), въ то время еще близкаго съ этимъ кругомъ. Именно въ это время отношенія двухъ лагерей, сначала мирныя, все болѣе обостряются, и полный разрывъ можно было предвидѣть. Въ концѣ 1842 г., авторъ „Дневника“ жалуется уже, что людямъ его круга приходится защищать существованія своихъ мнѣній не только отъ вѣшняго притѣсненія, но и отъ самой литературы, а именно, отъ славянофильства. „Славянофильство,—пишетъ онъ въ ноябрѣ 1842,—приноситъ ежедневно пышные плоды; открытая ненависть къ Западу есть открытая ненависть ко всему процессу развитія рода человѣческаго, ибо Западъ, какъ преемникъ древняго міра, какъ результатъ всего движенія и всѣхъ движеній,—все прошлое и настоящее человѣчество (ибо не арифметическая цифра, счетъ племенъ или людей — человѣчество). Въмѣстѣ съ ненавистью и пренебреженіемъ къ Западу—ненависть и пренебреженіе къ свободѣ мысли, къ праву, ко всѣмъ гарантіямъ, ко всей цивилизаціи. Такимъ образомъ, славянофилы само собою становятся со стороны вѣшняго давленія... Нѣтъ настолько образованныхъ шпионовъ, чтобъ указывать всякую мысль, сказанную изъ свободной души, чтобъ понимать въ ученой статьѣ направленіе и пр. Славянофилы взяли за это. Отвратительные доносы Булгарина не оскорбляли, потому что отъ Булгарина нечего ждать другого, но доносы „Москвитянина“ повергаютъ въ тоску. Булгаринъ работаетъ изъ одного гроша, а эти господа? Изъ убѣжденія! Каково же убѣжденіе, дозволяющее прямо дѣлать доносы на лица, подвергая ихъ всѣмъ бѣдствіямъ“... „То, чтѣ въ „Отеч. Зап.“ печатается,—замѣчаетъ онъ дальше,—то адѣсь страшно говорить при многихъ. Слава Петру, отречемуся отъ Москвы! Онъ видѣлъ въ ней змѣющіе корни узкой народности, которая будетъ противоудѣйствовать европеизму и ста-

ратся снова отторгнуть Русь от человечества". Как видим, авторъ причисляетъ здѣсь „Москвитянина“ къ славянофиламъ.

Источникомъ этого броженія авторъ „Дневника“ видѣлъ въ начинавшемся сознанин тяжелой дѣйствительности, и въ стремленіи лучшихъ людей къ выходу, къ примиренію въ какомъ-нибудь высшемъ началѣ, хотя бы наконецъ въ самообольщеніи. „Когда народъ ощущаетъ одинъ темный трепетъ призванія, одно броженіе чего-то неяснаго, но влекущаго его въ сферу шире, тогда мыслящіе, не имѣя общей связи, начинаютъ метаться во всѣ стороны. Страшное совнаніе гнусной дѣйствительности, борьбы, заставляетъ искать примиренія во что бы ни стало, примиренія во всякой нечѣстности, себя-обольщенія—лишь бы была дѣйствительность мысли, лишь бы оторваться отъ дѣйствительности и найти причину, почему она такъ гадка. Вотъ причина этого множества партій, самыхъ непонятныхъ, въ Москвѣ“.

Авторъ „Дневника“ особенно высоко ставилъ въ этомъ кружкѣ Петра Кирѣевскаго, роль котораго въ выработкѣ ученія до сихъ поръ недостаточно опредѣлена и была, повидимому, значительнѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Авторъ „Дневника“ уже въ первыхъ сороковыхъ годахъ любовитнымъ образомъ предвидѣлъ крайніе выводы славянофильства. Петръ Кирѣевскій также, конечно, дѣлилъ тѣсную вѣроисповѣдную точку зрѣнія, отвергалъ совершенно западное христіанство, не признавалъ движенія исторіи и вмѣстѣ съ тѣмъ, наконецъ, въ виду фактовъ считалъ ненормальнымъ состояніе самой восточной церковности—положеніе, влослѣдствіи развитое (больше, впрочемъ, въ заграничной печати) Хомяковымъ и Самаринымъ. По словамъ автора „Дневника“, „исторія, какъ движеніе человечества къ освобожденію и себяпознанію, къ сознательному дѣянію, для нихъ не существуетъ; ихъ взглядъ на исторію приближается ко взгляду скептицизма и матеріализма съ противоположной стороны. Вся жизнь человечества—болѣзненное, абнормальное явленіе“.

Упомянувъ объ этомъ критическомъ отношеніи Петра Кирѣевскаго къ современной восточной церкви, авторъ „Дневника“ замѣчаетъ: „Неужели христіанство, вначалѣ имѣвшее 12 апостоловъ, черезъ 1800 лѣтъ оканчивается двумя или тремя лицами, знающими какую-то подъ спудомъ хранящуюся истину въ церкви, живущей по ихъ сознанию во лжи? Дѣятельность и стремительное движеніе европейское они называютъ мелочной хлопотливостью и находятъ единымъ идеаломъ квіэтическое спокойствіе какой-то созерцательной жизни на индійскій манеръ.. Внутренній страхъ, что ихъ мысль не признана, дѣлаетъ ихъ фанатически нетерпимыми; въ нихъ, какъ во всѣхъ фанатикахъ, недостаетъ любви. Они на Западъ смотрятъ съ ненавистью. Это также пошло и нечѣпно, какъ воображать, что все наше національное грустно и отвратительно. Оттого, что Руси обще-человѣческое начало прививать неестественно, насильственно, они ополчились противъ общечеловѣческой цивилизаціи Европы, считая ее однимъ блескомъ пустыи и ложнымъ. Присутствуя при прививкѣ формъ, они проглядѣли, что долго на родной почвѣ въ этихъ формахъ обитала прекрасная сущность“.

К. Аксаковъ въ первой половинѣ сороковыхъ годовъ еще остается „полу-гегелианцемъ, полу-православнымъ“, у котораго есть общая почва съ западниками въ приемахъ разсужденія и въ общихъ положеніяхъ; но со второй половины сороковыхъ годовъ онъ уже ничѣмъ не отдѣляется отъ остальныхъ членовъ славянофильскаго кружка.

Характеристическимъ выраженіемъ этой переходной эпохи служить диссертация К. Аксакова о Ломоносовѣ (1846). Въ тогдашнемъ ученomъ вкусѣ, изслѣдованіе предмета литературнаго и филологическаго поставлено здѣсь на гегелианскую подкладку. Вопросъ о Ломоносовѣ, поставленный въ параллель съ вопросомъ о Петрѣ, понимается въ философско-историческомъ смыслѣ; то и другое лицо является олицетвореніемъ „историческаго момента“. Зная позднѣйшіе труды К. Аксакова, почти съ недоумѣніемъ встрѣчаешь въ этой книгѣ его сужденія о московскомъ царствѣ и о Петровской реформѣ: Петръ не только не является, какъ впоследствии, человѣкомъ, который съ деспотическимъ произволомъ попираетъ святыню русской народности, но, напротивъ, является необходимою силою въ дѣлѣ ея развитія; онъ есть необходимое отрицаніе той національной исключительности, въ которой старое московское царство дошло до послѣдняго предѣла и гдѣ предстояла или гибель, или выходъ изъ нея путемъ отрицанія. Въ книгѣ Аксакова явилось уже, правда, то высшее полу-мистическое представленіе о значеніи Москвы, которое впоследствии стало у него исключительнымъ, но оно все еще остается въ историческихъ предѣлахъ, и московская старина считается одно-сторонностью ¹⁾.

Въ томъ же 1846 году появился первый „Московский Сборникъ“, начало славянофильскихъ изданій, и Аксаковъ принялъ въ нихъ самое дѣятельное участіе. Съ тѣхъ поръ онъ работалъ въ особенности надъ развитіемъ историческихъ воззрѣній школы. Труды его были довольно разнообразны: онъ дѣлалъ балетристическія попытки, въ трехъ драматическихъ пьесахъ; много работалъ надъ русской грамматикой; написалъ рядъ критическихъ статей и публицистическихъ трактатовъ и, наконецъ, рядъ историческихъ изслѣдованій. Мы коснемся только тѣхъ его трудовъ, гдѣ особенно рельефно выразились его взгляды на русскую народность, исторію и современную общественность.

Основные историческія положенія Аксакова извѣстны. Довольно напомнить—отрицаніе теоріи родового быта, выставленной Соловьевымъ; утвержденіе объ общинномъ бытѣ древней Руси; совмѣстное

¹⁾ Съ диссертацией К. Аксакова случилась какая-то цензурная исторія. Книга вышла въ свѣтъ съ перепечатанными стр. 57—60, гдѣ вмѣсто первоначальнаго текста (восстановленнаго теперь въ новомъ изданіи диссертации въ „Сочиненіяхъ“, т. II, стр. 66—70), помѣщено не совсѣмъ кстати изложеніе преданій объ Ильѣ Муромцѣ, тогда какъ въ первоначальномъ текстѣ продолжалось разсужденіе о значеніи Петровской реформы и о необходимости новаго поворота къ національному направленію; это разсужденіе видимо и было поводомъ къ цензурной строгости. Сюда относится письмо Бодянского въ Шевыреву, напечатанное въ „Русскомъ Архивѣ“, 1878.

существованіе, право и дѣятельность земли и государства и любовное ихъ отношеніе; указаніе на земскіе соборы, какъ основную черту участія земли въ государственномъ дѣлѣ; нежеланіе русскаго народа „государствовать“; искаженіе русской жизни реформой Петра; осужденіе „петербургскаго періода“, какъ противонароднаго порабощенія русской жизни европейскимъ идеямъ и порядкамъ; необходимость возвращенія къ старымъ русскимъ началамъ; великое народное значеніе Москвы.

Въ извѣстной статьѣ о значеніи историческихъ трудовъ К. Аксакова, Костомаровъ указывалъ его основную и великую заслугу въ томъ, что онъ былъ въ нашей исторической наукѣ представителемъ „русскаго воззрѣнія“, и въ объясненіе проводилъ антитезу двухъ русскихъ народностей—одной, подлинной и первобытной народности огромной массы русскаго народа, долго забытой и пренебрегаемой, и другой — названной у него „народностью Евгенія Онгѣгина“, народности высшаго общества, послѣ Петровской реформы забывшаго о русскомъ народѣ. Подъ влияніемъ послѣдней, и именно въ рабскомъ подчиненіи нѣмецкой наукѣ шла, по словамъ Костомарова, и разработка русской исторіи, вслѣдствіе чего въ ней оставалась непонятой самая сущность русскаго историческаго развитія; и заслуга К. Аксакова состояла именно въ отверженіи чужой точки зрѣнія и въ примѣненіи того „русскаго воззрѣнія“, которое смотрѣло на исторію въ смыслѣ русской жизни и народности. Но дальше оказывалось по мнѣнію самого Костомарова, что „русское воззрѣніе“ этихъ цѣлей не достигало: историческія объясненія К. Аксакова не вполнѣ удовлетворяли критика, казались ему слишкомъ общими и поспѣшными. Какъ же быть съ этимъ „русскимъ воззрѣніемъ“?

Дѣло въ томъ, что все это противоположеніе Константина Аксакова съ другими нашими историками покоится на недоразумѣніи. Что славянофилы выставляли „русскія начала“ на своемъ знамени, изъ этого еще не слѣдовало, чтобы ихъ предшественники или противники въ самомъ дѣлѣ были не русскіе. Ихъ предшественники, говорятъ намъ, были подъ влияніемъ не-русской — нѣмецкой науки; но изъ исторіи самого славянофильства достаточно видно, что славянофилы самый складъ своей мысли черпали изъ той же не-русской науки. Было бы исторической ошибкой и неблагодарностью къ прежнимъ дѣятелямъ русскаго просвѣщенія забыть, что тѣ же стремленія уразумѣть русскую жизнь высказывались ими, въ понятіяхъ своего вѣка, задолго до тѣхъ, кто хотѣлъ присвоивать себѣ исключительную привилегію на „русское чувство“ и на любовь къ народу. Если что-нибудь значать имена Ломоносова, Новикова, Радищева, Грибоѣдова,

Пушкина, Гоголя,—они означаютъ исторію этой мысли о русскомъ народѣ и о защитѣ его достоинства.

Обращаясь собственно къ толкованію русской исторіи, гдѣ же, какъ не у европейской науки, мы научились самымъ приѣмамъ историческаго изслѣдованія? Можно ли выбросить изъ прошлаго нашей исторіографіи имена Шлёцера, Стритгера, Миллера, Круга, Лерберга, Френа, Эверса? Были случаи, что у иныхъ изъ этихъ нѣмцевъ выказались кое-гдѣ нѣмецкое самодовольство и задоръ, нехстати внесенный въ науку; это было нелѣпо, но столь же нелѣпо изъ-за этого отвергать сущность сдѣланнаго ими дѣла. Если они не видѣли многихъ сторонъ русской исторіи, и именно народной стороны, то въ тѣ времена вообще не видѣли этой стороны не у насъ однихъ: французы—во французской исторіи и нѣмцы—въ нѣмецкой. Вниманіе къ народной стихіи въ исторіи было результатомъ развитія самой науки; и у насъ роль народной стихіи, безъ сомнѣнія, была бы объяснена раньше, если бы этому не мѣшали слишкомъ повелительныя внѣшнія препятствія: мысль о народѣ бродила давно въ русской литературѣ; она занимала еще Болтина. Въ пятидесятыхъ годахъ, послѣ Карамзина, Погодина, послѣ первыхъ трудовъ Соловьева, послѣ изданій Археографической комиссіи, не трудно было вновь вчитываться въ лѣтописи и другіе памятники русской старины,—но справедливо ли бросать камень въ старыхъ тружениковъ, впервые расчищавшихъ почву науки, за то, что они еще не затронули вопросовъ, къ которымъ могла придти только послѣдующая эпоха нашей исторіографіи, бросать въ нихъ ключью „рабскаго подчиненія не-русской наукѣ“ и т. п.? К. Асакову ставятъ въ особую заслугу болѣе вѣрное объясненіе древнихъ формъ нашего быта; но это первый поднялъ вопросъ объ этихъ формахъ? Нѣмецкій ученый Эверсъ. Откуда понята была важность самаго изученія бытовыхъ формъ, налагающихъ печать на развитіе народной исторіи? Изъ европейской, а у насъ особенно изъ нѣмецкой, науки.

Указавъ, сколько въ мнѣніяхъ К. Асакова сдѣлано дѣйствительныхъ приобрѣтеній для нашей исторіи и что въ нихъ есть ошибочнаго и преувеличеннаго, Костомаровъ объяснялъ ошибки Асакова его крайнимъ идеализмомъ. Мысль объ элементѣ „Земли“, противоположномъ элементу „Государства“, такъ имъ овладѣла, что онъ сталъ притягивать къ ней факты, забывая обо всемъ, что къ ней не совсемъ подходило, а впоследствии построилъ на томъ же и свое представленіе о современномъ положеніи Россіи. Костомаровъ указывалъ, какъ непрочно эта теорія относительно среднихъ вѣковъ нашей исторіи, какъ ошибочно было считать добровольнымъ и любовнымъ присоединеніе русскихъ земель къ Москвѣ, какъ преувеличено было

мнѣніе К. Аксакова о значеніи земскихъ соборовъ и т. д. Факты были гораздо болѣе сложны, чѣмъ желала теорія, и чѣмъ дальше идетъ ихъ изученіе теперь, тѣмъ все меньше становится возможнымъ признавать эту теорію.

Петровская реформа, которую Аксаковъ все еще признавалъ нѣкогда какъ исторически необходимую реакцію противъ національной исключительности, теперь отвергается имъ безусловно, и его идеалистической теоріи ничего не стоитъ считать двѣсти лѣтъ исторіи огромнаго народа ошибкой, которую слѣдуетъ, и будто бы возможно, просто вычеркнуть изъ его судьбы. По его простодушному мнѣнію, Петербургу слѣдовало бы провалиться сквозь землю со всѣми его дѣлами, т.-е. со всѣми приобрѣтеніями русской жизни со времени Петровской реформы,—хотя въ то же время и онъ не отказывался гордиться громаднымъ развитіемъ русскаго народа, которое могло совершиться въ большой степени только благодаря средствамъ, даннымъ этою реформой. Костомаровъ отмѣтилъ еще одну черту историческихъ взглядовъ К. Аксакова, составляющую, впрочемъ, общую отличительную черту московскаго славянофильства, именно особый московскій патриотизмъ. Источниками его служатъ двѣ вещи: во-первыхъ, фальшивое историческое понятіе о прошломъ значеніи Москвы, и затѣмъ новѣйшій провинціализмъ, раздражаемый воспоминаніями о старомъ значеніи Москвы, какъ столицы. Нечего говорить, какъ странно вообще отождествленіе громаднаго народа съ судьбой и характеромъ какаго-нибудь одного города; еще страннѣе это отождествленіе, когда исторія этого народа въ теченіе уже двухъ сотъ лѣтъ идетъ внѣ тѣхъ мѣстныхъ вліяній, какія представляла старая столица. Эта московская исключительность существенно повредила историческимъ взглядамъ Аксакова: вмѣсто русскихъ дѣйствительныхъ началъ онъ являлся проповѣдникомъ началъ старо-московскихъ.

Костомаровъ не принадлежалъ вовсе къ тому лагерю, гдѣ могло быть унаслѣдовано враждебное отношеніе къ теоріямъ К. Аксакова; напротивъ, Костомаровъ являлся его апологетомъ и однако разошелся съ Аксаковымъ по самымъ основнымъ положеніямъ. Приведемъ еще отзывы, опять изъ совсѣмъ иного круга, по поводу записки Аксакова „о внутреннемъ состояніи Россіи“, представленной имп. Александру II въ 1855, черезъ Блудова, и изданной въ „Руси“ Ив. Аксакова въ 1881. Замѣчанія появились въ „Отголоскахъ“, издававшихся Е. Карновичемъ въ направленіи, которое можно назвать скорѣе консервативно, чѣмъ либерально-бюрократическимъ. „Отголоски“ отнеслись къ самому факту представленія записки съ бюрократической точки зрѣнія, наставительно объясняя, что „нести слово правды“ къ царямъ—подвигъ вовсе не столь легкій, какъ нѣкоторымъ представ-

ляется; но затѣмъ въ статьѣ „Отголосковъ“ находились весьма дѣльные возраженія противъ исторической теоріи, которая повторена была въ этой запискѣ К. Аксакова.

Остановившись на мнѣніи Аксакова, что русскій народъ есть народъ не-государственный, не желающій для себя политическихъ правъ и т. д., авторъ „Отголосковъ“ находитъ, что можно было бы не оспаривать этого мнѣнія, еслибы оно относилось къ настоящему, но совершенно отвергаетъ историческія ссылки К. Аксакова. Первые вѣка нашей исторіи именно опровергаютъ мнимую не-государственность русскаго народа; въ теченіе всего періода удѣловъ народъ принималъ самое дѣятельное участіе въ государственныхъ дѣлахъ, сажалъ и удалялъ князей, создавалъ чисто республиканскія формы, какъ въ Новгородѣ и на всемъ сѣверѣ Россіи до Перми, а поддѣе произвелъ козачество, стремившееся къ настоящей политической независимости. Русскій народъ принадлежитъ къ племени, которое вообще создало много различныхъ формъ государственнаго устройства: поляки создали республику аристократическую; новгородцы — торговую; малоруссы — военную; черногорцы имѣли еще недавно теократическую; у сербовъ и болгаръ сложились въ наше время конституціонныя монархіи. Москва, уже въ серединѣ нашей исторіи, создала новую форму, самодержавіе, и только съ тѣхъ поръ наша государственность развивалась безъ всякаго участія народа въ политическихъ дѣлахъ. Аксаковъ и славянофилы мечтали о присоединеніи къ Россіи славянства или главенствѣ ея надъ славянскимъ міромъ, мечтали въ то же время объ отнятіи у турокъ Константинополя и ослабленіи Австріи, какъ противницы славянства; спрашивается, согласуются ли эти мечты съ собственными стремленіями „не-государственного“ народа? Если согласуются, то русскій народъ никакъ не чуждъ политическаго властолюбія и славолюбія и притомъ даже въ самыхъ широкихъ размѣрахъ; если, напротивъ, подобныя мечты ему вовсе не свойственны, то славянофилы-народники думаютъ въ совершенную противоположность тому, что они говорятъ, и тому, что думаетъ самъ русскій народъ, не выѣшивающійся, по ихъ мнѣнію, ни въ какія политическія затѣи.

По поводу дѣленія старой русской жизни на двѣ стороны: государственную и земскую, критикъ замѣчаетъ, что это дѣленіе было совершенно произвольно и не отвѣчаетъ исторической дѣйствительности.

Петръ унаслѣдовалъ у Москвы готовую приказно-воеводскую систему, и если говорить о разрывѣ между властью и народомъ, то онъ произведенъ гораздо раньше закрѣпощеніемъ крестьянъ въ XVII столѣтіи, когда крестьяне величали своихъ господъ „государями“

и относились къ нимъ въ такихъ же униженныхъ выраженіяхъ, какъ къ самому царю. При всѣхъ этихъ условіяхъ едва ли могло существовать въ пользу народа то благодушіе, которое старается изобразить К. Аксаковъ. Дѣйствительно, уже тогда, *задолго до Петра*, народъ бѣжалъ изъ Россіи на вольныя окраины, на Уралъ и даже въ чуждую ему Литву. Вторженіе правительственной власти во всѣ условія и подробности народной жизни началось задолго до Петра Великаго; такъ, всѣ отрасли торговли были и прежде въ непосредственномъ вѣдѣніи правительства; у казны были на откупѣ: деготь, уголья, рогожи, проруби, бани, шлен и хомуты; казна брала извѣстныя отрасли торговли въ свою исключительную монополію. Казна самовластно распоряжалась трудомъ рабочихъ людей: въ 1630, правительство потребовало на свою работу всѣхъ каменщиковъ, кирпичниковъ и гончаровъ; въ 1658—по двое изъ десяти портныхъ и скорняговъ; въ 1670—каменщиковъ, съ тѣмъ, что если они будутъ укрываться, то „женъ ихъ метать въ тюрьму“. Памятники XVII вѣка, до Петра В., даютъ обильный рядъ свидѣтельствъ о притѣсненіяхъ отъ воеводъ, отъ неправедныхъ судовъ и отъ „московской волокиты“. Критикъ приводитъ убѣдительные образчики, напримѣръ, о сборѣ податей: въ 1628 году, Андрей Образцовъ, собиравшій подати на Бѣлоозерѣ, доносилъ царю: „я правилъ твои государевы доходы нещадно—побивалъ на смерть“. Вообще весь образъ дѣйствій старо-московской управы стремился къ тому, чтобъ закрѣпить челоуѣка, привязать его къ безысходному мѣстожительству и обратить его въ государственное „тягло“. Петра укоряютъ за приказъ брить бороды, и считаютъ это недозволительнымъ нарушеніемъ народной свободы; но въ старой Россіи по тому же принципу за нюханіе табаку рѣзали носы, а за продажу табаку установлена была смертная казнь.

Аксаковъ утверждаетъ, что со времени Петровской реформы въ высшихъ классахъ, оторвавшихся отъ народа, подъ вліяніемъ западныхъ идей развивается стремленіе къ власти, начинаются революціонныя попытки и „престолъ російскій дѣлается незаконнымъ игрищемъ партій“. Критикъ основательно замѣчаетъ, что дворцовые перевороты XVIII вѣка никакъ не могутъ быть приписаны вліянію запада и, напротивъ, носятъ на себѣ характеръ восточный; что К. Аксаковъ забылъ происки бояръ и служилыхъ людей въ смутное время, въ отношеніи къ польскому королю Сигизмунду и къ такъ-называемому „тушинскому вору“; что онъ забываетъ устраненіе отъ престола царя Ивана, власть царевны Софьи, злоумышленія противъ самого Петра; „историческія поученія въ такомъ смыслѣ были уже у насъ дома, а не заимствовались съ запада“. Аксаковъ называетъ пугачевщину событіемъ петербургскаго періода; критикъ на-

поминаетъ о безпрестанныхъ народныхъ волненіяхъ въ до-Петровское время въ Москвѣ, во Псковѣ и въ Новгородѣ, куда воевода князь Хованскій ходилъ „вѣшать и пластать безъ смысла и очныхъ ставовъ“; напоминаетъ о бунтѣ Стеньки Разина, имѣвшемъ чисто-революціонный характеръ; о возстаніи противъ государственной власти Соловецкаго монастыря; о знаменитомъ бунтѣ воломенскомъ. Какъ дорого до-Петровскому правительству обходилось поддержаніе народнаго спокойствія, можно судить изъ того примѣра, что во время бунта Разина въ одномъ Арзамасѣ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ было казнено 11.000 человекъ, и правительство тѣхъ временъ вообще мало разсчитывало на „нравственный союзъ“ съ управляемыми. Критикъ заключаетъ, что такое положеніе вещей вполне могло наводить Петра на мысль о другомъ устройствѣ государственнаго порядка.

Приведенныя возраженія очень просты, но и очень вѣски. Подобные аргументы были приводимы и раньше противъ славянофильской теоріи, и вообще не были ею опровергнуты. Немудрено, что натянутая историческая теорія давала и натянутые практическіе выводы. Аксаковъ говорилъ, что вся неурядица нашей жизни будетъ примирена только возвращеніемъ къ старинѣ, и именно если не земскими соборами (въ „Запискѣ“ онъ считаетъ созваніе ихъ невозможнымъ и требуетъ только въ „дополненіи“), то свободой общественнаго мнѣнія или печати (и относительно этого послѣдняго, его желанія въ „Запискѣ“ очень умеренны, а въ „дополненіи“ уже настойчивы).

Но въ московской Руси довольно трудно отыскать ту „свободу духа“ и „свободу мнѣнія“, которую создавала фантазія К. Аксакова, потому что сами земскіе соборы были дѣломъ доброй воли правительства и случая, или простой административной формальностью; во-вторыхъ, московская Русь не имѣла ни малѣйшаго понятія о свободѣ печати. К. Аксаковъ, какъ и вся школа, рѣшительно вставалъ противъ всякой мысли объ измѣненіи общественно-политическихъ формъ, какъ противъ западной выдумки, смѣялся надъ „гарантіями“ и т. п., и утверждалъ, что намъ нужно полное политическое *status quo* (т. е. отсутствіе всякихъ политическихъ правъ) и — свобода печати, какъ будто свобода печати возможна безъ политической свободы лица, безъ свободы совѣсти и безъ извѣстной общественной автономіи.

Съ такимъ же отсутствіемъ исторической оцѣнки новѣйшаго времени составлялись литературныя сужденія К. Аксакова. Онъ относился къ новѣйшей литературѣ крайне несочувственно. Это было вообще рабское подчиненіе иноземному, служившее не народу, а только оторвавшемуся отъ него верхнему классу, пустая мода, безсодержа-

тельное препровождение времени. Какъ это началось въ XVIII вѣкѣ, такъ продолжалось въ XIX: направленія смѣнялись безъ всякаго внутреннего основанія, только потому, что мѣнялась мода на западѣ, внутри оставалось тоже отчужденіе отъ народа и также бесполезность. Такимъ образомъ, вся исторія усилій русскаго общества въ стремленіи къ просвѣщенію, въ концѣ которыхъ все-таки стояло благо русскаго народа и на которыя потрачено много искреннаго чувства, умственного труда и настоящаго самоотверженія,—эта исторія превратилась въ глазахъ наблюдателя въ безразличную полосу безсодержательной суеты, для которой онъ нашелъ только квалификацію „джи“. Напрасны были всѣ изысканія историковъ общества и литературы, объяснявшія послѣдовательность явленій этого полутора-вѣкового періода, отмѣчавшія, среди подражательности, постоянное усиленіе русскихъ элементовъ, какъ въ формѣ, такъ и въ содержаніи литературы, въ результатѣ котораго являлись, наконецъ, созданія высокаго художественнаго и вмѣстѣ уже національнаго значенія. Славянофильскій историкъ не хочетъ знать ничего этого. Но, какъ ни фальшива была эта литература, она создала одно явленіе, передъ которымъ самъ К. Аксаковъ преклонялся. Это былъ Гоголь. Увлеченіе имъ вѣроятно вынесено было Аксаковымъ еще изъ кружка Станкевича: но вполне понятное тамъ, оно было у Аксакова страннымъ противорѣчіемъ. Для Бѣлинскаго Гоголь былъ именно послѣдовательно созрѣвшимъ результатомъ всѣхъ предшествовавшихъ стремленій литературы, чѣмъ и объясняется его высокая оцѣнка Гоголя; у Аксакова, которому прошедшее литературы представлялось рядомъ безразличныхъ фактовъ подражанія, не было этого объясненія. При появленіи „Мертвыхъ Душъ“ онъ, какъ извѣстно, превзошелъ своимъ энтузіазмомъ самого Бѣлинскаго: онъ проводилъ серьезно параллель между Гоголемъ и Гомеромъ и видѣлъ въ поэмѣ Гоголя настоящую эпопею ¹⁾. Это поклоненіе онъ сохранилъ навсегда, но явленіе и дѣятельность Гоголя остаются не мотивированными: Гоголь, при всемъ великомъ значеніи его дѣятельности, остается внѣ связи съ историческимъ ходомъ литературы. Въ изложеніи Аксакова, остается непонятно также и возникновеніе въ литературѣ тѣхъ стремленій въ народу, въ которыхъ самъ онъ замѣчалъ поворотъ къ лучшему. Въ самомъ дѣлѣ, какъ въ этомъ безнадежномъ источникѣ

¹⁾ Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: „Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души“. Сочиненіе Константина Аксакова. М. 1842. (Отзывъ Бѣлинскаго, въ „Отеч. Зап.“ 1842, кн. 8, или Сочин. Бѣл., т. VI, изд. 2, стр. 433—444. Отзывъ Аксакова въ „Москвитянинѣ“, 1842, кн. 9; и вторая статья Бѣлинскаго, въ „Отеч. Зап.“, кн. 11, или Сочин. VI, стр. 523—557. Отзывъ „Библиотеки для чтенія“, 1842, сентябрь: Литер. Лѣтопись, стр. 12).

рабскаго подражанія западной „модѣ“ могли зародиться тѣ произведенія (Тургенева, Григоровича), которымъ самъ Аксаковъ не могъ не отдать своего сочувствія? Одно изъ двухъ: или въ этихъ писателяхъ совершился переворотъ, или же К. Аксаковъ не видѣлъ настоящаго характера ихъ дѣятельности. Но переворота не было: Тургеневъ и прежде и теперь былъ упорнымъ „западникомъ“; ему не нужно было мѣнять направленія, чтобы вслѣдъ за первыми юношескими опытами явиться авторомъ „Записокъ Охотника“: это произведеніе было новой ступенью не въ его, вообще „западническомъ“, міровоззрѣніи, а только ступенью въ развитіи его дарованія, и самъ онъ никогда особенно не сочувствовалъ славянофиламъ.

Свои мнѣнія о новой русской литературѣ К. Аксаковъ высказалъ въ извѣстныхъ статьяхъ во второмъ „Московскомъ Сборникѣ“ (1847 г.) подъ вседонимомъ „Имрекъ“. Въ замѣткѣ къ этимъ статьямъ и въ самомъ изложеніи Москва уже противопоставляется Петербургу, точно другое государство: Петербургъ дѣлаетъ то-то, а Москва то-то; Петербургъ дѣлаетъ хуже, а Москва гораздо лучше; Петербургъ легкомысленъ, Москва серьезна; Петербургъ не русскій, Москва русская. Соотвѣтственно тому и литература дѣлится на два лагеря, и лагерь московскій изображается какъ представитель истинно-русскихъ началъ въ опроверженіе легкомысленной петербургской цивилизаціи и литературы. К. Аксаковъ довольно остроумно подсмѣивается надъ повѣстью кн. Одоевскаго: „Сиротинка“, героиня которой, взятая изъ деревни, воспитывается въ петербургскомъ дѣтскомъ пріютѣ и, вернувшись опять на родину, цивилизуетъ свою деревню—учить ребятишекъ грамотѣ, умываетъ ихъ и чешетъ, учить молиться и т. п., словомъ, преобразовываетъ ребятишекъ на удивленіе. Онъ зло подсмѣивается надъ вышедшей тогда книжкой Никитенка: „Опытъ исторіи русской литературы. Введеніе“; разбираетъ весьма справедливо первыя повѣсти Достоевскаго и т. д. Личныя антипатіи заострили его критику, которая нерѣдко удачно нападаетъ на слабыя стороны противниковъ; постоянное требованіе народной стихіи и изученія народной жизни прежде всего, очень симпатичны, но все-таки оставался невыясненнымъ существенный вопросъ — откуда же въ проклинаемой и осмѣиваемой имъ петербургской литературѣ взялось то настроеніе, которое продиктовало „Записки Охотника“ и другія произведенія, внушавшія сочувствіе самому славянофильскому критику, пробившія броню его явной вражды и недовѣрія? Онъ говоритъ „о прикосновеніи къ народу“, но откуда почувствовалась необходимость этого прикосновенія? Если бы критикъ нашелъ въ себѣ достаточно безпристрастія, онъ нашелъ бы путь къ болѣе вѣрному представленію всего положенія вещей. Къ сожалѣнію, безпристрастія

не нашлось, и съ сороковыхъ годовъ въ этомъ кружкѣ еще долго повторялись фразы о глубинахъ народнаго духа, открытыхъ славянофилами, о народной истинѣ, засѣвшей въ Москвѣ и т. п.

Московский провинціализмъ, какъ мы замѣтили, высказался столько же и въ литературныхъ, сколько въ историческихъ понятіяхъ К. Аксакова. Разница Москвы и Петербурга во многихъ отношеніяхъ не подлежитъ сомнѣнію: въ тѣ самые годы она послужила темой для извѣстной остроумной параллели,—но это разница бытовая и разница мѣстныхъ преданій, а вовсе не національнаго существа. Въ Петербургѣ нѣтъ до-Петровскихъ преданій и памятниковъ и т. п., потому что онъ выстроенъ поздне; съ другой стороны, въ Москвѣ нѣтъ тѣхъ бытовыхъ особенностей, которыя необходимо возникали въ Петербургѣ вслѣдствіе присутствія двора, высшихъ правительственныхъ учреждений, и т. д.; отъ этого присутствія правительства въ новой столицѣ (а также вслѣдствіе торговаго положенія ея на окраинѣ) въ ней всегда былъ сильнѣе притокъ иностранцевъ,—точно такъ же, какъ во времена до-Петровскія они собирались въ Москвѣ, гдѣ населили цѣлую „нѣмецкую слободу“. Все это не могло не придать Петербургу иной физиономіи; но смѣшно было бы распространять эту разницу на сущность умственной политической жизни общества, совершающейся въ Петербургѣ или въ Москвѣ: и тамъ, и здѣсь шла одна русская жизнь, съ общими чертами вѣка и общественными стремленіями.

Какъ русская исторія, идеалистически построенная К. Аксаковымъ, не сходилась съ исторіей дѣйствительной, такъ въ общихъ опредѣленіяхъ, какія даетъ Аксаковъ русской народности, и въ практическихъ примѣненіяхъ его теорій мы постоянно встрѣчаемся съ противорѣчіями. Человѣкъ кабинетный, не выходявшій изъ ближайшаго домашняго круга, не знавшій опытовъ жизни, отвыкшій встрѣчать противорѣчіе, онъ виталъ въ области теоретическихъ и поэтическихъ построеній, гдѣ, внѣ столкновеній съ дѣйствительностію, такъ легко создаются отрѣшенные отъ жизни идеалы. К. Аксаковъ дѣйствительно создалъ себѣ такіе идеалы въ русскомъ народѣ, въ его свойствахъ, въ его прошломъ, въ его будущемъ предназначеніи: на эти идеалы онъ положилъ все свое чувство, весь запасъ своихъ общественныхъ влеченій и инстинктовъ. Эти влеченія и инстинкты были глубоко благородны; ихъ цѣль была—достоинство народной жизни, свобода мысли и убѣжденія, нравственныя основы общественнаго быта. Этимъ идеаламъ К. Аксаковъ отдался со всей односторонностію теоретика и со всѣмъ фанатизмомъ аскета, удаленнаго отъ мірской суеты, а вмѣстѣ и мало знакомаго съ содержаніемъ этой суеты, составляющимъ, однако, человѣческую жизнь. Такіе люди

обыкновенно и не хотятъ знать жизни: оберегая какъ святыню свои идеалы, они сами удаляютъ факты и соображенія, которыя не складятся съ любимыми мечтами,—но устраняемые факты, однако, продолжаютъ существовать.

Остановимся на нѣсколькихъ подробностяхъ. Что касается до тѣхъ практическихъ выводовъ изъ теоріи, у К. Аксакова и другихъ славянофиловъ, которыя ставились ихъ партизанами въ особую заслугу школы,—то нельзя не видѣть, что въ самыхъ существенныхъ пунктахъ этихъ примѣненій требованія школы не были чѣмъ-нибудь специально славянофильскимъ. Такова была вообще защита народнаго интереса. Въ крестьянскомъ вопросѣ, въ вопросѣ объ общинѣ, одинаково съ славянофилами говорили и люди совершенно иного направленія. Очевидно, что взгляды, благопріятныя для народа, вовсе не были выработаны специально славянофилами, а были результатомъ развитія общественной мысли, а также и экономической науки, и частью высказывались просвѣщенными людьми стараго времени,—и утверждать, что славянофилы имѣли монополію этихъ понятій, значило забывать исторію. Подобнымъ образомъ не была специальной идеей школы защита бѣльшей свободы слова и печати—давняя мечта просвѣщеннѣйшихъ людей русскаго общества. Далѣе, то реальное, что могло заключаться въ желаніи самодѣтельности „земли“ рядомъ съ дѣятельностью „государства“ (какъ сопоставлялъ ихъ К. Аксаковъ въ древней Руси, желая того же и въ новой), это опять была давняя мысль о мѣстной самодѣтельности, о какой-либо мѣрѣ общественной автономіи, и т. д.

Подобнымъ образомъ не могло быть спора по поводу другихъ общихъ положеній, какія высказывались К. Аксаковымъ и другими славянофилами—когда они, въ лучшія минуты, отрицали національную исключительность, говорили о благахъ просвѣщенія, о народномъ достоинствѣ. Но такъ какъ этихъ положеній нельзя было выставить, безъ опасности впасть въ противорѣчіе, рядомъ съ возвеличеніемъ московской Россіи, то противорѣчіе и оказывалось. Самъ К. Аксаковъ (въ диссертациі о Ломоносовѣ, и позднѣе) высказывается противъ національной исключительности, но на дѣлѣ рѣдко можно найти болѣе категорическую исключительность этого рода, чѣмъ та, съ какой онъ говоритъ о русскомъ народѣ (дальше укажемъ примѣры). Говоря о свободѣ научнаго изслѣдованія, стали, однако, прибавлять, что наука не должна выходить за предѣлы „народнаго духа“, что она должна быть „національна“ (т.-е. уже не свободна, такъ какъ дѣйствительная наука простирается на все, что можетъ стать предметомъ анализа, не исключая самого народнаго духа). Далѣе, славянофилы провозглашали историческое и нравственное право народности,—но въ ихъ же

лагерѣ народное начало смѣнено было вѣроисповѣднымъ, и въ томъ же лагерѣ велась потомъ вражда противъ украинфильства, какъ она велась съ точки зрѣнія бюрократическаго консерватизма...

Въ одной изъ первыхъ статей, уже въ ясно славянофильскомъ направленіи („о современномъ литературномъ спорѣ“, 1847), написанной по поводу начавшейся тогда полемики съ „западниками“,— въ свое время запрещенной и напечатанной уже въ „Руси“, К. Аксаковъ по поводу „возвращенія къ прошлому“ объясняетъ, что это прошлое не прошло: „прошедшая Русь и теперь живетъ въ народѣ и хранится въ немъ“,—такъ что славянофилы хотятъ возвращенія не къ тому, что потеряло жизнь, а къ тому, что еще продолжаетъ жить и теперь, и есть *настоящее*, только лишенное мѣста въ нашей общественной жизни. Это и есть настоящая Русь, „хранящая, спасительно для всей земли, тайну русской жизни и прямо примыкающая къ Руси прошедшей“. К. Аксаковъ утверждаетъ, что „русскій крестьянинъ есть лучший человѣкъ въ русской землѣ“, и что присутствіе простого народа въ современности указываетъ, что наше прошедшее еще не прошло и возвращеніе къ нему возможно. Черезъ десять лѣтъ онъ повторяетъ тѣми же словами: „крестьянинъ въ настоящую минуту одинъ, по нашему мнѣнію, можетъ назваться вполне русскимъ человѣкомъ“¹⁾.

Но въ какомъ именно отношеніи крестьянинъ представляется „лучшимъ русскимъ человѣкомъ?“ Въ этомъ положеніи есть два смысла: во-первыхъ, предположеніе о первобытной патриархальной неспорченности простого человѣка, въ родѣ взгляда Руссо, и во-вторыхъ, представленіе о храненіи старыхъ преданій. Что касается перваго, то нѣтъ сомнѣнія, что простота, несложность быта способствуетъ простотѣ нравовъ, какъ у насъ такъ и вездѣ (и у нѣмцевъ есть свои народники въ этомъ же родѣ, какъ напр., Риль); но возможно ли сохраненіе ея тамъ, гдѣ простая обстановка сельскаго труда смѣняется чрезвычайно осложненными жизненными условіями, и можетъ ли уцѣлѣть деревенское простодушіе въ условіяхъ другого болѣе мудренаго быта? Можетъ ли это быть тамъ, гдѣ образованіе вноситъ въ первобытную среду множество новыхъ понятій научныхъ, общественныхъ, поэтическихъ, которыя неодолимо врываются въ жизнь и не могутъ быть устранены изъ нея безъ устраненія самого образованія, и гдѣ глубокія, несознаваемые крестьяниномъ, общественныя начала открыты множеству различныхъ воздѣйствій и вступаютъ

¹⁾ „Р. Бесѣда“ 1858, IV, смѣсь, стр. 144 (въ ст. о повѣсти г-жи Кокановской).

между собой въ столкновение и борьбу? Славянофилы (и позднѣйшіе народники) обыкновенно избѣгаютъ этого вопроса, такъ что остается и по сію минуту невыясненнымъ съ ихъ точки зрѣнія — можетъ ли „русскій человѣкъ“, получивъ образованіе, ведущее къ критикѣ, остаться такимъ „русскимъ“, или, какъ думалъ бы и дѣйствовалъ „лучшій русскій человѣкъ“ въ этихъ сложныхъ условіяхъ общественной и государственной жизни, въ этихъ волнующихъ насъ теоретическихъ и практическихъ спорахъ, которые въ данную минуту часто будутъ, къ сожалѣнію, даже непонятны ему? Противоположность существующаго общественнаго быта и образованности съ понятіями „лучшаго русскаго человѣка“ намъ изображаютъ въ такихъ рѣзкихъ чертахъ, что по настоящему исходъ изъ этой противоположности возможенъ только — или путемъ переворота, разрушеніемъ „ложнаго“ порядка вещей, или возрожденіемъ первой христіанской общины. Первое, конечно, не приходитъ въ голову нашимъ мечтателямъ, хотя представляется естественно изъ ихъ противоположеній. Второе сомнительно по самому положенію дѣла: „лучшій человѣкъ“ не могъ поведать уладить отношеній и въ своей собственной средѣ, — по всѣмъ отзывамъ сельскій „міръ“ очень далекъ отъ совершенства... Въ литературѣ выработалось, въ этомъ направленіи, въ сущности только одно представленіе объ отношеніи простаго русскаго человѣка къ сложной жизни общества и народа — тотъ безучастно-филантропическій и аскетическій типъ, который всего сильнѣе олицетворенъ у гр. Л. Толстого въ знаменитомъ Платонѣ Каратаевѣ, — и это представленіе подтверждено недавно лучшимъ беллетристомъ-народникомъ, Глѣбомъ Успенскимъ. Но народъ не можетъ состоять изъ однихъ Каратаевыхъ, и этотъ типъ отвѣчаетъ только на одну часть упомянутаго вопроса и, такъ сказать, отрицательно.

Относительно храненія преданій, то „прошедшее-настоящее“ продолжаетъ оставаться загадкой. Въ образчикѣ идей „лучшаго русскаго человѣка“ приводились, однако, нѣкоторыя реальныя положенія: онъ создалъ русское государство и его формы, — но эти формы существуютъ и теперь, и если въ нихъ есть несовершенства, то они указывались не только западниками, но и славянофилами; онъ — хранитель православнаго преданія и обычая, — но въ Россіи не прекращалось господство православной церкви, и если въ нашей церковности есть недостатки, то опять они указывались людьми обихъ направленій, хотя съ разныхъ сторонъ, но иногда и единогласно; наконецъ, народъ есть хранитель стараго общиннаго обычая, — но сочувствіе этому обычаю было самымъ несомнѣннымъ образомъ высказано и съ западнической стороны.

Но и эти образчики идей русскаго человѣка не могутъ быть вы-

ставлены безъ ограниченій. Русскій человѣкъ создалъ формы московскаго государства, но часто тяготился ими и бѣжалъ отъ нихъ за рубежь, въ толпы Стеньки Разина, въ простой разбой, который бывалъ такъ популяренъ, что создалъ цѣлый разбойничій эпосъ, сливающийся съ древнимъ богатырскимъ эпосомъ; кромѣ того русскій человѣкъ вовсе не отвергъ Петровской реформы—народная поэзія славить имя Петра. Русскій человѣкъ создалъ старыя формы церковности, но онъ же создалъ расколъ и множество сеетъ, которыя заявляютъ несомнѣнный протестъ противъ нѣкоторыхъ существующихъ формъ церковнаго быта. Русскій народъ создалъ общину, но вина ли новѣйшаго общества, что это начало не могло быть примѣнено въ чрезвычайно усложнившихся формахъ жизни и кромѣ того очень легко покидается людьми самого „народа“, когда представляется въ этомъ личная выгода ¹⁾).

Въ 1857, въ первую пору оживленія нашей общественности, Александровъ принималъ дѣятельное участіе въ газетѣ „Молва“; ему принадлежалъ здѣсь рядъ передовыхъ статей, гдѣ онъ излагалъ свои задушевные идеи, сосредоточенныя на русскомъ народѣ. Возьмемъ нѣсколько выдержекъ:

„Народность, это—народная личность, живая цѣльная сила, нѣчто неуловимое какъ жизнь: въ этой силѣ принимаютъ участіе и духъ, и творчество художественное, и природа человѣческая, и природа мѣстная. Народность можетъ быть исключительна—но это злоупотребленіе: „для того, чтобы избавиться отъ народной исключительности—не нужно уничтожать свою народность, а нужно признать всякую народность“. Каждый народъ пусть сохраняетъ свой народный обликъ; тогда только онъ будетъ имѣть челоѣческое выраженіе. Если отнять у челоѣчества его личныя и народныя краски, это будетъ какое-то официальное, форменное, казенное челоѣчество,—но къ счастью оно невозможно. „Нѣтъ, пусть свободно и ярко цвѣтутъ всѣ народности въ челоѣческомъ мѣрѣ; только онѣ дадутъ дѣйствительность и энергію общему труду народовъ“.—„Да здравствуетъ каждая народность!“

О провиденціальномъ назначеніи Россіи: „Имя Россіи возбуждаетъ въ нихъ (т.е. въ славянахъ и грекахъ) ничѣмъ непобѣдимое сочувствіе единовѣрія и единоплеменности и надежду на ея могущественную помощь, на то, что, въ Россіи или чрезъ Россію, рано или поздно прославить Богъ, предъ лицомъ всего свѣта, истину вѣры православной, и утвердить права племенъ славянскихъ на жизнь общечелоѣческую“.

Истинный путь принадлежалъ древней Руси; верхніе классы съ Петровской реформы потеряли его, но возвратъ возможенъ: верхняя часть Россіи, оторвавшись отъ жизни, пошла на путь отвлеченной мысли, такъ путемъ

¹⁾ Подобная мысль объ отсутствіи народнаго общиннаго начала въ жизни образованнаго общества повторяется у новѣйшихъ народниковъ, какъ новое доказательство ровни общества съ народомъ (напр., у г. Златовратскаго); но очень легко сдѣлать такое наблюденіе, и гораздо труднѣе объяснить, какимъ бы образомъ могло бы быть достигнуто противное.

отвлеченной мысли она можетъ и вернуться къ настоящей народной жизни. „Великое дѣло жизни и мысли должно быть общимъ дѣломъ не однихъ верхнихъ слоевъ, а всей Россіи.—Тогда лишь будетъ возможно въ Россіи истинное, то-есть самостоятельное просвѣщеніе“.

О Москвѣ: Москва освободила Россію отъ татаръ, соединила ее въ единое царство; Москва имѣла 1612 и 1812 годы; „въ Москвѣ преимущественно идетъ умственная работа“ и въ ней совершаются „попытки освободиться отъ умственного плѣна и возвратиться къ духовной самостоятельности“ (?). Заключение: Москва есть истинная русская столица.

Объясненіе понятія о народѣ. Простой народъ есть основаніе и матеріальнаго благосостоянія, и высшаго могущества, есть источникъ внутренней силы и жизни. Народъ вовсе не есть безсознательная масса; онъ имѣетъ свои глубокія убѣжденія, онъ хранитель преданія и обычая, но не врагъ новизны и просвѣщенія, но онъ принимаетъ ихъ осторожно и что приметъ, то усвоитъ прочно и самостоятельно. Народъ есть по преимуществу простой народъ; въ старину о немъ говорили „люди“, „крестьяне“, т.-е. христіане. „Итакъ у простого народа нѣтъ никакихъ отличій или титуловъ, кромѣ званія человѣческаго или христіанскаго. О, какъ богата эта бѣднота! и стоя на низшей ступени, какъ высоко стоитъ онъ! Нося званіе только человѣка, только христіанина, онъ съ этой стороны есть идеалъ для всего человѣческаго и христіанскаго общества“.

Приведемъ еще небольшую статью безъ подписи; по тогдашнимъ слухамъ, и по самому складу она должна принадлежать К. Аксакову. Статья называется: „Опытъ синонимовъ: публика — народъ“.

„Было время, когда у насъ не было публики.. Возможно ли это? скажутъ мнѣ. Очень возможно и совершенно вѣрно: у насъ не было *публики*, а былъ народъ. Это было еще до построенія Петербурга. Публика—явленіе чисто западное, и была заведена у насъ вмѣстѣ съ равными нововведеніями. Она образовалась очень просто: часть народа отказалась отъ русской жизни, явля и одежды, и составила публику, которая и всплыла надъ поверхностью. Она-то, публика, и составляетъ нашу постоянную связь съ Западомъ; выписываетъ оттуда всякіе, и матеріальные, и духовные наряды, преклоняется предъ нимъ, какъ предъ учителемъ, занимаетъ у него мысли и чувства, платя за это огромною цѣною: временемъ, связью съ народомъ и самою истинною мысли. Публика является надъ народомъ, какъ будто его привилегированное выраженіе, въ самомъ же дѣлѣ публика есть искаженіе идеи народа.“

„Разница между публикою и народомъ у насъ очевидна (мы говоримъ вообще, исключенія сюда нейдутъ).“

„Публика подражаетъ и не имѣетъ самостоятельности; все, что принимаетъ она чужое, — принимаетъ она наружно, становясь всякій разъ сама чужою. Народъ не подражаетъ и совершенно самостоятеленъ; а если что приметъ чужое, то сдѣлаетъ это своимъ, *усвоитъ*. У публики—свое обращается въ чужое. У народа чужое обращается въ свое. Часто, когда публика ѣдетъ на балъ, народъ идетъ ко всеобщей; когда публика танцуетъ, народъ молится. Средоточіе публики въ Москвѣ—Кузнецкій мостъ. Средоточіе народа—Кремль.“

„Публика выписываетъ изъ-за моря мысли и чувства, мазурки и польки; народъ черпаетъ жизнь изъ родного источника. Публика говоритъ по-французски, народъ—по-русски. Публика ходитъ въ нѣмецкомъ платьѣ, народъ въ русскомъ. У публики—парижскія моды. У народа свои русскіе обычаи. Пуб-

лика (большую частью по крайней мѣрѣ) ѣсть скоромное, народъ ѣсть постное. Публика спитъ, народъ давно уже уже всталъ и работаетъ. Публика работаетъ (большую частью ногами по паркету), народъ спитъ или уже встаетъ опять работать. Публика презираетъ народъ, народъ прощаетъ публикѣ. Публикѣ всего полтора ста лѣтъ, а народу годовъ не сочтешь. Публика переходяща, народъ вѣченъ. И въ публикѣ есть золото и грязь, и въ народѣ есть золото и грязь; но въ публикѣ грязь въ золотѣ; въ народѣ—золото въ грязи. У публики—свѣтъ (monde, балы и пр.); у народа—миръ (сходка). Публика и народъ имѣютъ эпитеты; публика у насъ почтеннѣйшая, а народъ—православный.

„Публика, впередъ! Народъ, назадъ!—такъ воскликнуть многозначительно одинъ хозяинъ“ („Молва“, 1857, № 36, стр. 410—411).

Къ западному человѣчеству К. Аксаковъ относится вообще съ крайней антипатіей и не ждетъ отъ него, и для него, ничего добраго. Онъ изложилъ свои взгляды на Русь и Западъ въ статьѣ „о современномъ человѣкѣ“, надъ которой долго работалъ и которая была издана только послѣ его смерти ¹⁾. Русскій народъ есть исключительный представитель идеи общины, которую народъ имѣлъ еще во времена язычества и которая была въ немъ окончательно развита и укрѣплена христіанствомъ; съ идеей общинности связана идея истинной человѣчности. Западъ, напротивъ, есть представитель начала личнаго, которое есть источникъ зла и лжи; поэтому все, создаваемое Западомъ, ложно и заключаетъ въ себѣ зародышъ зла. Этимъ зломъ заразился и верхній классъ нашего общества... „Современная жизнь западнаго человѣчества есть картина страшной болѣзни, полной нравственнаго запустѣнія“. Какое же заключеніе? Такъ ли же точно, какъ на просвѣщенный Римъ, возстануть на просвѣщенное человѣческое общество нашихъ временъ новыя дикія какіе-нибудь народы, истребятъ растлѣнное племя, и дикою, грубою правдою жизни смѣнятъ блестящую, просвѣщенную ложь? Или само это общество можетъ воскреснуть нравственно и ожить для новой жизни? Но опять: что же ему поможетъ?—„Богъ можетъ помочь, но къ Нему прибѣгаютъ всего рѣже“.

Гдѣ же искать здоровыхъ членовъ человѣчества, которые могли бы остановить и излечить заразу лжи? К. Аксаковъ напоминаетъ, какъ прежде въ „Молвѣ“, что есть человѣчество внѣ Европы—тѣ народы, которыхъ еще не коснулась западная цивилизація, народы Азии и Африки; но его пугаетъ мысль, что европейская цивилизація начинаетъ проникать и къ нимъ, и при первомъ появленіи прививаетъ имъ свою заразу, сообщая имъ свое ложное просвѣщеніе и свои общественныя формы, которыя уже тѣмъ ложны, что чужды этимъ народамъ. Европейцы своими нравственными качествами не

¹⁾ Въ сборникѣ „Братская помощь“, 1876, и потомъ въ „Руси“.

превзошли язычниковъ; они являлись среди послѣднихъ „просвѣщенными звѣрями, употреблявшими преимущества своего просвѣщенія на страшныя дѣла“; онъ указываетъ на такихъ „героевъ“, какъ Кортесъ, на американскихъ рабовладѣльцевъ и т. д. Но справедливость требовала бы припомнить, что среди эксплуатаціи дикихъ народовъ съ давнихъ поръ европейцы вносили и христіанскую проповѣдь; что въ американскомъ обществѣ рабовладѣльчество (и тогда уже, когда писалъ Аксаковъ) вызывало протесты, кончившіеся освобожденіемъ негровъ—цѣною кровопролитной междоусобной войны; наконецъ, что, къ сожалѣнію, не иначе поступалъ и русскій народъ съ инородцами, подпадавшими его власти—еще въ то время, когда онъ не былъ зараженъ Западомъ...

Не менѣе матеріальной эксплуатаціи было зло нравственнаго вліянія европейцевъ. „Дикіе и не дикіе туземные народы потеряли свой самобытный путь; подвигаясь впередъ, они перенимаютъ европейскія формы, имъ чуждыя... Они не отдѣлили въ Европѣ достоинства человѣческаго,—чѣмъ всякій можетъ воспользоваться,—отъ достоинства національнаго, чѣмъ другому народу пользоваться смѣшно и даже вредно... И что за грустно-комическое явленіе представляетъ подражательность“. (Приводятся примѣры негровъ, которые, освобождаясь, устраиваютъ у себя республиканскую конституцію на европейскій ладъ, „лучшаго, какъ видно, не бывъ въ состояніи выдумать“; полудикихъ грековъ, устроивавшихъ у себя конституцію монархическую и пр.). „Удѣлъ такого пути цивилизаціи не завиденъ. Внутреннія силы народовъ, которыя облекались въ *свои* образъ, поддерживали *свою* жизнь, вдругъ разрознены съ своею цѣлью и должны служить цѣлямъ чуждымъ, употребляясь на поддержку чуждыхъ формъ. Свои родныя народныя силы опредѣлены на питаніе чуждой земли... Всякая европейская форма, какъ бы ложна она ни была, имѣетъ для Европы ту истину, что тамъ она своя, что тамъ она результатъ предъидущихъ причинъ: тутъ есть истина историческая. Но даже и этой истины не имѣютъ народы-прихвостни. Употреблять вѣчно свои жизненныя силы на служеніе заемной жизни, всегда идти подражательнымъ, бесплоднымъ путемъ, ничего не сказать своего и быть бесполезнымъ повтореніемъ, пародією или карриатурою Европы—удѣлъ тяжкій и обидный, жалкій и презрѣнный“.

Ясно, кажется, что мораль относится не къ однимъ дикимъ народамъ и что „тяжкій и презрѣнный удѣлъ“ грозилъ и кому-то другому. Но если говорить о дикихъ народахъ, то во-первыхъ, какъ они, пока еще мало развитые, въ состояніи будутъ отдѣлять въ своихъ образцахъ „человѣческое“ отъ „національнаго“; во-вторыхъ, какъ сохранить свою самобытность рядомъ съ цивилизацією, когда ихъ

самобытность была каннибальство? „Самобытное“ не всегда непременно хорошо, и подражательность, какъ у отдѣльныхъ людей, такъ и у народовъ, имѣеть свою психологическую основу—въ подражаніи ищутъ для себя чего-нибудь лучшаго и въ немъ является работа сознанія. Вся исторія человѣческой цивилизаціи есть нескончаемый рядъ взаимодействій, фактовъ международнаго вліянія и заимствования элементовъ, перерождающихся потомъ въ новыя черты національности. Безпристрастному историку нельзя не видѣть несомнѣннаго давняго стремленія русскаго народа войти въ общее высшее теченіе человѣческой цивилизаціи; съ другой стороны боязливыя опасенія „тяжкаго и презрѣннаго удѣла“ давали бы, противъ ожиданій самого Аксакова, невысокое понятіе о внутренней силѣ народа, требующаго китайскихъ стѣнъ и охранительныхъ попеченій вмѣсто простора и широкаго просвѣщенія.

Приведемъ еще нѣсколько замѣтокъ К. Аксакова ¹⁾:

„Русская исторія имѣеть значеніе *Всемірной Исповѣди. Она можетъ читаться какъ житія святыхъ.*“

„Государство не есть проповѣдникъ истины. Западъ поэтому и развилъ законность, что чувствовалъ въ себѣ недостатокъ внутренней правды..“

„Москва выработываетъ русскую мысль.“

„Хоровое чувство земли. Личность какъ фальшивая нота въ хорѣ.“

„Петербургъ забавенъ съ своимъ патриотизмомъ. Видно, что это дѣло для него вновь, и какъ всегда бываетъ съ иностранцемъ, желающимъ показать, что онъ русской, Петербургъ пересаливаетъ... О Sanctpetersbürger'цы! вспомните ваше имя, добровольно вамъ данное, и посмотрите, не утверждаетъ ли вашъ патриотизмъ за вами значеніе не русскаго города?..“

„Въ западныхъ народахъ, на всѣхъ проявленіяхъ общественности, лежитъ печать государственности; ять простоты живни, ять свободы. Вездѣ внѣшнее, условное, искусственное..“

„*Русскій народъ не есть народъ; это—человѣчество;* народомъ является онъ отъ того, что обставленъ народами съ исключительно народнымъ смысломъ, и человѣчество является въ немъ потому народностью. Русскій народъ свободенъ, не имѣеть въ себѣ государственнаго внѣшняго элемента, не имѣеть въ себѣ ничего условнаго..“

„Все значеніе Москвы—это единство, совокупленіе, дѣлость Руси,—значеніе Москвы есть значеніе всея Руси. Отсюда многое и все существенное объясняется.“

Очевидно, мы видимъ передъ собой энтузіаста, который рѣшаетъ вопросы не доводами критики, а восторженнымъ чувствомъ. Ему хочется, чтобы было такъ, а не иначе; истолкованіе готово раньше, чѣмъ изслѣдованъ предметъ. Русскій народъ, очевидно, есть народъ избранный; онъ самъ—человѣчество.

Дальше мы скажемъ о нѣкоторыхъ трудахъ Аксакова, имѣющихъ

¹⁾ Полное собраніе сочиненій, т. I, стр. 625 (225) и д.

ближайшее отношеніе къ этнографіи; но главнымъ образомъ мы хотѣли указать общій характеръ его трудовъ, цѣлое воззрѣніе на русскую старину и народность, выражавшее взглядъ старой славянофильской школы и потомъ не разъ повторявшееся въ позднѣйшемъ народничествѣ въ разныхъ направленіяхъ. Это воззрѣніе диктовалось самыми благородными побужденіями; въ подкладѣ его лежало крайнее идеалистическое представленіе объ исторической судьбѣ и современныхъ особенностяхъ русской народности; оно имѣло значеніе въ свое время какъ рѣшительное отрицаніе того поверхностнаго и грубаго взгляда на народъ, который создавался бюрократическимъ пренебреженіемъ къ народу (Аксаковъ непременно хотѣлъ называть бюрократическое петербургскимъ). Если припомнить, что воззрѣніе Аксакова формировалось въ первыхъ сороковыхъ годахъ, въ очень трудныхъ условіяхъ русской общественности и литературы, то можно понять, почему оно сформировалось именно въ этомъ видѣ, съ крайнимъ идеализмомъ и съ крайнею нетерпимостью къ тому русскому обществу, которое смотрѣло на народъ съ высока, съ точки зрѣнія канцеляріи и крѣпостничества. Къ сожалѣнію, взглядъ Аксакова былъ съ самаго начала исполненъ преувеличеній, отъ которыхъ не избавился и до конца. Поднявши вопросъ въ чисто мистическую область, онъ говорилъ наконецъ о такихъ отвлеченностяхъ, гдѣ исчезала реальная народность, какъ напримѣръ тамъ, гдѣ онъ говоритъ о „рабствѣ“ запада и „свободѣ“ русскаго народа, двадцать милліоновъ котораго было тогда крѣпостнымъ, а остальные не имѣли понятія о какой-либо общественной самодѣятельности, а въ духовномъ и умственномъ смыслѣ состояли подъ суровой и подавляющей ферулой; „жизнь духа“ и „духъ жизни“, о которыхъ говорили славянофилы, казались странной, почти недостойной игрой словъ. Въ историческихъ изслѣдованіяхъ К. Аксаковъ имѣлъ заслугу указанія на народные элементы старой исторіи, но цѣлое построеніе нашихъ невыдерживающимъ критики даже его апологеты, какъ напр. Костомаровъ: теорія не подтверждалась даже основными господствующими фактами русской исторіи. Аксаковъ не хотѣлъ ихъ знать, отклонялъ ихъ, потому что они мѣшали стройности его идеалистическаго зданія. Мало-по-малу его мысль, развивавшаяся все въ одномъ направленіи, естественно кончалась убѣжденіемъ или точнѣе вѣрой въ настоящее избранничество русскаго народа: русскій народъ, это было само человечество, это былъ народъ по преимуществу, даже единственный христіанскій. Вѣра кончалась крайнею нетерпимостью, доходившею до фанатизма.

Немудрено, что въ работахъ этнографическихъ сказалось тоже настроеніе. Это не былъ изслѣдователь, приступающій къ анализу

съ готовностью безпристрастнаго наблюденія фактовъ; напротивъ, когда, общими силами кружка, выработана была теорія, которая возвеличивала русскую народность до провиденціального назначенія, рѣшенія даны были впередъ, и затѣмъ труды историческіе и этнографическіе должны были стать только подтвержденіемъ напередъ составленнаго идеала. Изъ предметовъ, относящихся къ этнографическимъ изученіямъ, Аксаковъ положилъ много труда на изслѣдованія о языкѣ. Послѣ первыхъ работъ, вошедшихъ въ его книгу о Ломоносовѣ, онъ издалъ въ 1855 изслѣдованіе „О русскихъ глаголахъ“; въ 1860 за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти онъ издалъ „Опытъ русской грамматики“—первый выпускъ, продолженіе котораго появилось уже въ полномъ собраніи его сочиненій (т. III, 1880). Самъ Аксаковъ въ предисловіи къ первому выпуску своей грамматики высказывалъ свой взглядъ на языкъ, какъ на явленіе мистическое ¹⁾, и русскій языкъ есть совершеннѣйшій языкъ.

Въ своихъ изслѣдованіяхъ Аксаковъ дѣйствительно старается уловлять это мистическое и таинственное; изслѣдованіе „анатомическое“, подъ которымъ подразумѣвается обыкновенная филологія, представляется ему чѣмъ-то мелкимъ и ограниченнымъ (какъ послѣ подтвердилъ г. Безсоновъ, редактировавшій изданіе его филологическихъ сочиненій). Но если бы въ самомъ дѣлѣ истинная грамматика должна была объяснить мистическое значеніе всѣхъ подробностей языка, очевидно, что достигнуть этого она могла бы только послѣ строгаго изученія внѣшнихъ формъ слова. Аксаковъ хотя самъ вдается въ „анатомію“, но какъ бы только изъ снисхожденія къ современнымъ заботамъ науки даетъ мѣсто соображеніямъ сравнительно-филологическимъ (цитируя и иногда оспаривая Боппа) или историческимъ (указывая формы старыхъ памятниковъ). Центромъ своихъ изслѣдованій онъ ставитъ русскій языкъ въ немъ самомъ, почти устраняя историческія условія его происхожденія и родства

¹⁾ „Всякая живая наука, то есть: наука, имѣющая дѣло съ живіиою, имѣетъ дѣло съ таинствомъ; такова и филологія, предметъ которой—слово, этотъ сознательный снимокъ видимаго міра, эта воплощенная мысль. Преслѣдуя жизнь въ той или другой области ея проявленія, наука доходитъ до предѣловъ таинственнаго, до тѣхъ предѣловъ, откуда внутреннее ставовится внѣшнимъ, духъ—осязательнымъ, безконечное—конечнымъ. Наука думаетъ иногда выйти изъ затрудненія, признавъ анатомическое воззрѣніе, сдѣлаться матеріальною, сказать, что нѣтъ духа и души, и недостойно успокоиться такимъ воззрѣніемъ, отрицательнымъ и тупымъ, при которомъ вовсе непонятна и жизнь, и смыслъ ея, и то, что даже просто угадываетъ вѣщца душа наша. Но, слава свѣту сознательной мысли! Разумъ самъ обличаетъ ложь всѣхъ матеріальныхъ теорій, на немъ повидимому основанныхъ, прогоняетъ ихъ тяжелую тьму, самъ низвергаетъ всякое себѣ богослуженіе, самъ знаетъ свои предѣлы и признаетъ непостижимое, открывающееся откровеніемъ духу человѣческому“.

съ нарѣчіями славянскими; г. Безсоновъ опять указываетъ, что только послѣ начала своихъ работъ, когда основная точка зрѣнія была уже опредѣлена, онъ въ видѣ уступки далъ мѣсто во второмъ выпускѣ славянскимъ нарѣчіямъ. Исслѣдованія Аксакова не показались однако убѣдительными филологамъ-спеціалистамъ: книжка о русскихъ глаголахъ вызвала довольно суровые отзывы Срезневскаго и Буслаева ¹⁾: въ исслѣдованіяхъ указано было недостаточное знакомство съ точными приемами филологической критики, ошибочные и произвольные выводы. Впослѣдствіи, г. Безсоновъ, издававшій филологическія сочиненія Аксакова, говоря о себѣ, какъ о сотоварицѣ и соучастникѣ, хотя тогда и недорослемъ въ сверстники, отнесся очень высокоумно къ критикамъ Аксакова, требовавшимъ какого-то метода, какихъ-то фактическихъ доказательствъ, отнесся высокоумно даже къ цѣлому состоянію славянской филологіи, гораздо выше котораго стоялъ К. Аксаковъ. По поводу книжки о русскихъ глаголахъ, которая должна была дать новую, русскую, не на иностраннѣй ладъ построенную филологическую теорію (потому что „особенно нѣмцамъ трудно постигнуть языкъ русскій“), Срезневскій хвалилъ книжку какъ „философскую“ и сожалѣлъ, что она не „филологическая“ ²⁾. Подобнымъ образомъ вѣжливо, но по существу язвительно Срезневскій говорилъ и объ „Опытѣ русской грамматики“: онъ давалъ понять, что выводы Аксакова не основываются на настоящемъ научномъ исслѣдованіи и отличаются произволомъ, котораго никакъ не можетъ оправдать такъ называемое чутье языка ³⁾. Г. Безсоновъ въ своемъ продолжительномъ предисловіи къ „Опыту“ не только защищаетъ Аксакова отъ этихъ обвиненій, но, какъ мы замѣтили, ставитъ Аксакова образцомъ, до котораго далеко мелкой науцѣ „посѣдѣлыхъ школьничковъ“, способной ходить только ощупью, цѣпляясь за факты и примѣры, и неспособной постигать самый „духъ“ языка. Трудъ Аксакова былъ дѣломъ творчества; Аксаковъ зналъ этотъ языкъ сполна, потому что зналъ сполна русскій народъ; онъ чувствовалъ себя въ вопросахъ языка, какъ Илья Муромецъ. „Лелѣя русскій языкъ, Аксаковъ зналъ, изучалъ и воспроизводилъ его твор-

¹⁾ Въ „Извѣстіяхъ“ Второго отдѣленія Академіи Наукъ, 1855, и въ „Отечеств. Запискахъ“, 1855, № 8.

²⁾ Онъ писалъ: „Разсужденіе г. Аксакова не филологическое, а философское; если оно пробуждаетъ мысль, то и достигаетъ своей цѣли; а едва-ли можно сказать, что оно не пробуждаетъ мысли. Нельзя впрочемъ не пожалѣть, зачѣмъ оно не филологическое, зачѣмъ авторъ не далъ мѣста разбору употребленія глаголовъ въ древнемъ славянскомъ языкѣ по нѣсколькимъ нарѣчіямъ, и между прочимъ въ памятникахъ переводныхъ, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ переводчики отступали отъ дословности перевода“.

³⁾ Ср. „Критико-біографическій Словарь“, Венгерова, т. I, стр. 265—267.

ческий образъ съ одинаковой увѣренностью—и въ историческомъ старшинствѣ его, и въ задаткахъ на грядущее богатство... Не налагая на себя въ сихъ отношеніяхъ ни подвига, ни аскетизма, ни усилій жертвы, онъ жилъ, говорилъ и дѣйствовалъ *какъ самъ народъ*—въ его теперешнемъ положеніи... Если въ какомъ лицѣ русскій народъ сознавалъ себя, вѣдалъ законы, потребности и надежды своего бытія, росъ знаніемъ и зналъ всю творческую мѣру своего возраста,—это въ Аксаковѣ... Исчерпать разъясненіемъ всѣ отношенія Аксакова къ русскому языку и народу нѣтъ никакой возможности; тутъ даже не было отношеній, какъ будто между двумя сторонами, тутъ была *общая жизнь*, какъ будто въ одномъ существѣ; а разъяснить вполне жизнь цѣльнаго существа—значило бы *прожить ею*"¹⁾. Очевидно, что это мистическое постиженіе не есть путь научнаго изслѣдованія.

Нѣсколько статей посвящено было Аксаковымъ народной поэзіи и мифологіи²⁾. Эти статьи носятъ на себѣ тотъ характеръ, какимъ отличались этнографическія разсужденія сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, когда въ изслѣдованія этого рода не вошли еще критическіе приемы новой науки, и выводы строились на общемъ историческомъ и литературномъ впечатлѣніи. Понятно, что при общемъ складѣ народно-историческихъ взглядовъ Аксакова, старый бытъ, мифологія и поэзія были уже впередъ окрашены для него въ картину патріархальной идилліи. Вотъ на примѣръ его взглядъ на древнее русское язычество:

„Вѣра русскаго народа до христіанства была неопредѣленна и не ясна, какъ и должна быть у того, кто еще не оваренъ истиной, но кому недоступна, для кого невозможно ложь, по крайней мѣрѣ ложь утвержденная, опредѣленная, давшая себѣ образъ и самостоятельность.—Русскій народъ, конечно, признавалъ невидимаго высшаго Бога, не опредѣляя его и не зная; съ другой стороны, лицомъ къ лицу съ жизнію земною, съ ея тайнами природы и человѣческой судьбы, онъ слышалъ эти тайнства, и вѣра его была постоянное признаніе этихъ тайнствъ, постоянное овященіе жизни въ ея разныхъ великихъ проявленіяхъ, постоянное возведеніе случайной преходящей минуты къ чему-то высшему. Отсюда эти игрища, на которыхъ торжествовался бракъ, отсюда тривны, отсюда и гаданья. Ни жрецовъ, ни богослуженія не было, но

¹⁾ Полное собраніе сочиненій, т. III, предисловіе, стр. XXI, XXXII.

²⁾ О древнемъ бытѣ славянъ вообще и русскихъ въ особенности, на основаніи обычаявъ, преданій и пѣсень.

— Замѣчанія на статью г. Шепинга: Купала и Колада.

— О богатыряхъ временъ Владиміра по русскимъ пѣснямъ.

— О различіи между сказками и пѣснями русскими.

— Замѣтка о значеніи Ильи Муромца. (Полное собраніе сочиненій, т. I, стр. 311—415).

были таинственные обряды, и дѣва въ глазахъ русскаго славянина было чистое и высшее существо... Вѣра въ таинства природы, во всемъ видя высшій смыслъ, славянинъ вѣрилъ въ духовъ; но еще сильнѣе и общѣе, еще чище вѣрилъ онъ въ освященіе всякаго событія. Такъ масляницу, семикъ и другія празднества онъ возводилъ въ существа фантастическія, выражая тѣмъ общій смыслъ ихъ; это не былъ опредѣленный антропоморфизмъ, это было скорѣе поэтическое олицетвореніе смысла вещи: существа эти не жили гдѣ-то постоянно, не были; это были скорѣе видѣнія, подымавшіяся и исчезающія... И такъ, язычество русскаго славянина было *самое чистое язычество*, было при вѣрованіи въ Верховное Существо, постоянное освященіе жизни на землѣ, постоянное ощущеніе общаго высшаго смысла вещей и событій. Слѣдовательно вѣрованіе темное, не ясное, готовое къ просвѣщенію и ждавшее луча истины... При своихъ вѣрованіяхъ, славяне русскіе образовали жизнь свою; они поняли значеніе общины, они ощущали чувство братства, чувство мира и кротости, и (имѣли) многія общественныя и личныя добродѣтели.—Ихъ игра: хороводъ, кругъ—образъ братской общины. Такъ жили они въ чашии христіанства... Наконецъ явился безсмертный свѣтъ Вѣры Христовой,—и язычникъ, удержавшійся отъ идолопоклонства, не загромоздившій понятіе свое опредѣленіями жи, въ награду легко и свободно принялъ христіанство, и крестился, какъ младенецъ. Въ его душѣ не было ни кумировъ, ни боговъ или языческихъ воспоминаній, не было опредѣленной, огрубѣлой жи. Но отнынѣ, узнавъ истиннаго Бога, онъ глубоко и навсегда наполнился истиной ученія Спасителя“.

Говоря о древнемъ богатырскомъ эпосѣ, Аксаковъ дѣлаетъ только самыя общія замѣчанія о его древности, о тѣхъ новыхъ чертахъ, которыя являлись въ немъ подъ вліяніемъ времени, не измѣняя его древней сущности, и опять даетъ картину патриархально величаваго быта, который изображается въ былинѣ. Имѣетъ съ тѣмъ, это—картина символическая. „Передъ нами эпопея особаго рода, согласная съ самымъ существомъ русской земли. Мы не видимъ въ ней могущественно движущагося впередъ событія, не видимъ увлекающаго хода времени: нѣтъ,—передъ нами другой образъ, образъ жизни, волнующейся сама въ себѣ и не стремящейся въ какую-нибудь одну сторону; это хороводъ, движущійся согласно и стройно,—праздничный, полный веселья, образъ русской общины.—Этимъ духомъ проникнуто, этимъ образомъ запечатлѣно все, что идетъ отъ русской земли; такова сама наша пѣсня, таковъ напѣвъ ея, таковъ строй земли нашей. Если говорить о сравненіяхъ, то не рѣка, текущая куда-нибудь въ своихъ берегахъ, можетъ служить намъ эмблемою, а волнующійся со всѣхъ сторонъ открытый, безбрежный океанъ-море. Таковъ въ особенности міръ Владиміровыхъ пѣсень; въ этомъ мірѣ играетъ и тѣшитъ себя молодая, еще никуда событиями не направленная сила. Пиръ Владиміровъ давно прошли; грознымъ испытаніемъ подверглась богатырская русская сила, но она не сокрушилась; она просторно раздвинула себѣ границы и пугаетъ нехотя своихъ сосѣдей. Широко раздолье по всей землѣ, нѣкогда сказала она, и недаромъ,—по тремъ частямъ свѣта раскинулась Россія. Но далеко еще не кончились подвиги русской силы; не только матеріальныя, но и нравственные подвиги предлежатъ ей“...

„Праздникъ, пиръ—составляетъ колоритъ Владиміровыхъ пѣсень; но этотъ пиръ, какъ и вся жизнь, имѣетъ христіанскую основу. Христіанство есть главная основа всего Владимірова міра. На этой-то христіанской основѣ является богатырская сила и удачъ молодого, могучаго народа.—Эти пиры, эта жизнь имѣетъ и Всерусское значеніе; видимъ здѣсь собранную всю Рус-

скую землю, собранную въ единое цѣлое христіанскою Вѣрою, около Великаго князя Владиміра, просвѣтителя земли Русской“.

Не совсѣмъ подходитъ къ цѣлой картинѣ княгиня Апраксѣвна: она „влюбчива и сластолюбива“, но по Аксакову—„лицо совершенно вымышленное“.

Не совсѣмъ подходитъ къ христіанству, какъ „главной основѣ всего Владимірова міра“, извѣстное обращеніе Добрыни съ его женою Мариной. „Самое названіе: Добрыня, уже обрисовываетъ нравъ этого богатыря;—и точно, прямота и добродушіе его отличительныя свойства“. Когда Добрыня принялся учить свою жену, отрубая ей сначала руку, потомъ ногу, наконецъ голову, съ соотвѣтственными приговорами, Аксаковъ замѣчаетъ: „Такая строгая казнь, совершенная съ полнымъ спокойствіемъ Добрынею, не можетъ служить опредѣленіемъ его нравственнаго образа и кидать на него тѣмъ обвиненія въ жестокости, это обычай всѣхъ богатырей того времени; будучи не личнымъ дѣломъ, а обычаемъ, подобный поступокъ лишень злобы и свирѣпости, вытекающихъ уже изъ личнаго ощущенія“.

Эти собственно этнографическіе труды К. Аксакова состоятъ, какъ мы замѣтили, только такъ сказать въ литературномъ разборѣ былинъ, въ изложеніи ихъ содержанія съ замѣтками о характерѣ богатырей и т. п.; но опъ оказалъ тѣмъ не менѣе не малое вліяніе на извѣстный кружокъ изслѣдователей, которые потомъ прилагали къ объясненію русской старины и особливо народной поэзіи то же возвеличеніе и тоже символическое толкованіе: древній эпосъ былъ не только поэтическимъ фактомъ далекихъ вѣковъ, но и своего рода прообразованіемъ; казался важнымъ не вопросъ объ его историческомъ складѣ, его составныхъ элементахъ, его развитіи и видоизмѣненіяхъ, а объ его національно-символическомъ смыслѣ; богатыри Владимірова цикла были не столько предметомъ историко-этнографическаго объясненія, сколько представителями общественно-нравственныхъ теорій въ томъ духѣ, какъ древняя народная старина была понята и объясняема К. Аксаковымъ. Изслѣдователи этого направленія опять съ пренебреженіемъ относились къ тѣмъ критическимъ розысканіямъ, которыя называли они „анатомическими“; не удостоивая обращать на нихъ вниманіе, они рѣшали вопросы прямо: они постигали самый духъ народнаго эпоса, имъ открыта была глубочайшая сущность народнаго творчества: они рисовали по своему картину древней русской жизни и поэзіи, и картина была чисто фантастическая. Въ полной мѣрѣ этотъ приемъ мы увидимъ далѣе въ трудахъ г. Безсонова; отчасти эта символическая точка зрѣнія повторяется у Ореста Миллера, какъ мысль о томъ, что русскій народъ есть человѣчество, отразилась потомъ у Достоевскаго.

Собственные труды К. Аксакова по русской старинѣ и народности, кромѣ того, что указано выше относительно старой бытовой исторіи, не имѣли значенія въ наукѣ; но за ними во всякомъ случаѣ остается высокое достоинство горячей любви къ народу, защиты его достоин-

ства въ такія времена, когда въ общественной и особливо бюрократической массѣ господствовало глубокое пренебреженіе къ народной личности и къ народному интересу. Правда, Аксаковъ часто терялъ мѣру, съ одной стороны преувеличивая свои изображенія и теряя историческую перспективу, съ другой становясь во враждебныя отношенія къ литературному движенію, защищавшему во сущности тѣ же интересы, но самая его нетерпимость (питавшаяся между прочимъ „заменутошью одиночества“, о которой говорить его панегиристъ) свидѣтельствовала объ энтузіазмѣ, и если не достигалось вліяніе научное, то дѣйствовало возбужденіе нравственное и поэтическое. Это нравственное дѣйствіе его энтузіазма къ русскому народу составляетъ главную долю въ историческомъ вліяніи дѣятельности К. Аксакова.

ГЛАВА VIII.

НОВЫЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ.—СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ О РУССКОМЪ НАРОДНОМЪ ЭПОСѢ.

Изданія памятниковъ народной поэзіи.—Пѣсни, П. В. Кирѣевскаго.—„Онежскія быliny“, Гильфердинга.—Е. В. Барсовъ.—Новыя изслѣдованія о старой письменности.—Труды Л. Н. Майкова.—О. Э. Миллеръ.—П. А. Безсоновъ.—„О происхожденіи русскихъ былинъ“, В. В. Стасова.

Мы подробно останавливались на трудахъ г. Буслаева и Аванасьева,—такъ какъ эти труды были исходной точкой новаго научнаго объясненія предмета и долго сохраняли свое вліяніе на популярныя и учебныя представленія о русской старинѣ, хотя самая наука уже вскорѣ пошла иными, болѣе сложными путями. Мы указывали затѣмъ, что уже вскорѣ послѣ первыхъ трудовъ Буслаева и Аванасьева, и особливо съ конца 1850-хъ годовъ стали расширяться сосѣднія области историко-литературныхъ изысканій, которыя оказали потомъ сильное вліяніе на объясненіе развитія древней поэзіи. Новыя приобрѣтенія науки состояли, во-первыхъ, въ отысканіи и опубликованіи дотолѣ неизвѣстныхъ остатковъ народной поэзіи; во-вторыхъ, въ отысканіи и изданіи также почти неизвѣстныхъ ранѣе памятниковъ старой народно-поэтической письменности: книгъ апокрифическихъ, повѣстей, легендарныхъ сказаній и т. п., которыя тогда же стали вызывать историко-литературныя изслѣдованія. На первыхъ порахъ новый матеріалъ устнаго эпоса и книжныхъ сказаній не измѣнилъ направленія миеологической школы: Аванасьевъ остался ей вѣренъ до конца и она прибрѣтала новыхъ послѣдователей, — но мало-по-малу размноженіе матеріала повело, вмѣстѣ съ новыми вліяніями нѣмецкой науки, къ измѣненію самаго метода изслѣдованія. Впослѣдствіи г. Буслаевъ, глава миеологической школы, во

многомъ призналъ результаты, выработанные при помощи этого новаго метода.

Выше мы говорили, какое необычайное богатство народной поэзіи, преимущественно эпоса, открылось при первыхъ поискахъ Рыбникова въ Олонецкомъ краѣ. Мы упоминали, что это необычайное богатство было такъ поразительно ¹⁾, что возбуждало даже сомнѣніе въ старыхъ этнографахъ, которые не помышляли уже о возможности такого обилія живого эпического преданія, а затѣмъ вызвало новыя изслѣдованія въ суровыхъ захолустьяхъ Олонецкой губерніи: результатомъ былъ монументальный трудъ Гильфердинга ²⁾. Короткость времени и масса собраннаго матеріала дѣлають сборникъ Гильфердинга истинно необычайнымъ явленіемъ въ области этнографическихъ изслѣдованій: освѣщенный любопытною картиною мѣстнаго быта, записанный съ гораздо большею точностію, сборникъ Гильфердинга производилъ, быть можетъ, еще болѣе сильное впечатлѣніе, нежели книга Рыбникова.

Съ 1860 года сталъ выходить въ свѣтъ знаменитый сборникъ Петра Васильевича Кирѣевского (1808—1856). Выше мы говорили объ этомъ замѣчательномъ лицѣ, біографія котораго, къ сожалѣнію, до сихъ поръ не была изложена сколько-нибудь обстоятельно. Это былъ, по отзывамъ лицъ, его знавшихъ, замѣчательный умъ и характеръ, которому принадлежала весьма крупная доля въ установленіи народно-историческихъ положеній славянофильской школы. Это былъ нашъ первый народникъ. Кирѣевскій началъ собираніе гѣсенъ еще съ 1830-хъ годовъ: но положеніе вещей было таково, что въ эпоху официальной народности Кирѣевскій не могъ издать своего сборника. Мы указывали въ другомъ мѣстѣ ³⁾, какъ тогда хлопотали объ этомъ друзья Кирѣевского, въ какомъ униженномъ положеніи оказывалась русская народная поэзія, для которой надо было добиваться права появленія въ печати, ссылаясь на примѣры Европы. Не знаемъ въ точности почему, но сборникъ остался тогда не изданнымъ, за исключеніемъ „духовныхъ стиховъ“, напечатанныхъ въ „Чтеніяхъ“ московскаго Общества исторіи и древностей, которымъ руководилъ тогда трудолюбивый и энергическій Бодянский ⁴⁾, и двухъ-трехъ гѣ-

¹⁾ Ср. рецензію первыхъ томовъ Рыбникова у Срезневскаго, въ 33 присужденіи Демидовскихъ наградъ (1864). Спб. 1865.

²⁾ Онежскія былинны, записанныя А. О. Гильфердингомъ, гѣтомъ 1871 года. Съ двумя портретами онежскихъ рапсодовъ и нагѣвами былинъ. Спб. 1873. LIV стр. и 1886 компактнхъ столбцовъ, больш. 8^о.

³⁾ Ср. Характеристики литер. мнѣній отъ 1820-хъ до 1850-хъ годовъ, изд. 2-е, стр. 263.

⁴⁾ Русскія народныя гѣсени, собранныя Петромъ Кирѣевскимъ, ч. I. Русскіе народ. стихи,—въ „Чтеніяхъ“ 1848, № 9, стр. 145—226.

сень въ одномъ изъ „московскихъ сборниковъ“. По смерти Кирѣвскаго забота объ изданіи его сборника выпала на долю московскаго Общества любителей россійской словесности, которое поручило его г. Безсонову. Отношеніе г. Безсонова къ этому дѣлу было двоякое: съ одной стороны онъ повидимому положилъ не мало труда на приведеніе въ порядокъ сборника и дополненіе его вариантами; съ другой онъ снабдилъ сборникъ множествомъ своихъ объясненій. Тѣ изъ этихъ объясненій, которыя посвящены предметамъ чисто историческимъ, напримѣръ разъясненію сюжетовъ историческихъ пѣсень, разбору прежнихъ собраній и т. п., весьма любопытны и полезны; но другія, гдѣ г. Безсоновъ хотѣлъ быть истолкователемъ древняго русскаго эпоса, быта, мѣологии и народнаго міросозерцанія, представляютъ нѣчто крайне странное и совсѣмъ не принадлежать наукѣ, какъ скажемъ далѣе.

Сборникъ Кирѣвскаго составляетъ одинъ изъ основныхъ, богатѣйшихъ памятниковъ русской этнографіи. Содержаніе его слѣдующее:

„Пѣсни, собранныя П. В. Кирѣвскимъ. Изданы Обществомъ Любителей Россійской Словесности“. М. 1860—1874. 10 выпусковъ.

I. Пѣсни былевныя. Время Владимірово. Выпускъ 1. Илья Муромецъ, богатырь крестьянинъ. Вып. 2: а) Добрыня Никитичъ, богатырь-боаринъ; б) Богатырь Алеша Поповичъ; в) Василій Казиміровичъ, богатырь-дьякъ. Вып. 3. Богатыри: Иванъ Гостиный Сынъ; Иванъ Годиновичъ; Данило Ловчанинъ; Дунай Ивановичъ; Дюкъ Степановичъ и др. Вып. 4, дополнительный. Богатыри: Илья Муромецъ, Никита Ивановичъ, богатырь Потокъ, Ставръ Годиновичъ, Соловей Будиміровичъ и др.

II. Пѣсни былевныя. Вып. 5: Новгородскія и княжескія. Вып. 6: Пѣсни былевныя, историческія. Москва. Грозный царь Иванъ Васильевичъ. Вып. 7: Москва. Отъ Грознаго до царя Петра I-го.

III. Пѣсни былевныя и историческія. Вып. 8: Русь Петровская. Государь царь Петръ Алексѣевичъ. Вып. 9: Восемнадцатый вѣкъ въ русскихъ историческихъ пѣсняхъ послѣ Петра I-го. Вып. 10: Нашъ вѣкъ въ русскихъ историческихъ пѣсняхъ.

(Рецензія Ор. Миллера въ отчетѣ о 18-мъ присужденіи Уваровскихъ награда, 1876).

Далѣе, важные труды по собиранію произведеній народной поэзіи и старой поэтической литературы принадлежатъ Елпидифору Василю Барсову. Онъ началъ ихъ въ первыхъ 1860-хъ годахъ въ Петрозаводскѣ, гдѣ онъ былъ учителемъ (окончивъ курсъ, кажется, въ петербургской духовной академіи) и гдѣ онъ познакомился съ П. Н. Рыбниковымъ. Повидимому подъ влияніемъ этого послѣдняго образовались тѣ вкусы къ изученію этнографіи, которые съ тѣхъ поръ не покидали г. Барсова. Съ начала 1860-хъ годовъ и до послѣдняго времени онъ издалъ массу отдѣльныхъ изслѣдованій и особливо матеріаловъ по русской исторіи и этнографіи: въ Олонецкомъ краѣ,

гдѣ онъ провелъ нѣсколько лѣтъ, послѣ трудовъ Рыбникова оставались еще богатые запасы народнаго творчества и г. Барсовъ, какъ послѣ Гильфердингъ, извлекли отсюда новыя изобильныя приобрѣтенія въ памятникахъ народной поэзіи; здѣсь отрывалась и другая область изученій—исторія и литература раскола. Въ 1870, г. Барсовъ приглашенъ былъ на службу въ Москву при Румянцовскомъ музеѣ: здѣсь онъ принималъ дѣятельное участіе въ работахъ московскихъ ученыхъ обществъ, былъ одно время секретаремъ Общества любителей естествознанія, антропологии и этнографіи, принималъ дѣятельное участіе въ работахъ по устройству антропологической выставки (по этнографическому отдѣлу), а впослѣдствіи избранъ былъ секретаремъ Общества исторіи и древностей, каковымъ состоялъ до послѣдняго времени. Еще въ Петрозаводскѣ онъ началъ собраніе рукописей (сначала по исторіи Олонецкаго края), которое продолжалъ и въ Москвѣ, и у него собралась, наконецъ, обширная и, какъ говорятъ, замѣчательная библіотека, гдѣ между прочимъ находится едва-ли не единственная въ своемъ родѣ коллекція раскольничьей литературы и матеріаловъ для исторіи раскола. Отсюда издано было имъ большое количество историческихъ матеріаловъ (въ особенности въ „Чтеніяхъ“ московскаго Общества исторіи и древностей). Къ сожалѣнію, рукописное собраніе, въ которомъ повидимому представлены всѣ обычные отдѣлы старой письменности, остается до сихъ поръ не описаннымъ. Не останавливаясь на чисто историческихъ и археологическихъ работахъ г. Барсова и матеріалахъ этого рода, имъ изданныхъ, укажемъ лишь то, что въ его трудахъ относится ближайшимъ образомъ къ этнографіи. Главный трудъ его въ этомъ отношеніи составляютъ „Причитанія сѣвернаго края“ (два тома, 1872—82)—первое и единственное по богатству собраніе этого рода произведеній, которое, дополняя съ новой стороны сборники Рыбникова и Гильфердинга, было опять свидѣтельствомъ свѣжаго, уцѣлѣвшаго до сихъ поръ народнаго творчества въ сѣверномъ краѣ и чрезвычайно любопытнымъ матеріаломъ для изученія природы этого творчества ¹⁾.

¹⁾ Первые труды г. Барсова, состоявшіе въ этнографическихъ описаніяхъ и матеріалахъ, помѣщались въ олонецкихъ мѣстныхъ изданіяхъ:—Петрозаводскія свадебныя пѣсни (Олонецкія губ. Вѣдомости, 1867, № 1—4); Загадки Обонежскаго народа (тамъ же, № 1); Свадебныя причитанія Каргопольскаго уѣзда (№ 3, 4, 25, 26); Свадебныя причитанія Пудожскаго уѣзда (№ 6, 9); Отдача сына въ рекруты (№ 10); Заплатка о семинаристахъ, утонувшихъ въ Онегѣ озерѣ (№ 30); Заговоры и пословицы обонежскаго народа (№ 1—32); Черты изъ жизни олонецкаго народа (№ 1); Славленіе и святочные увеселенія (№ 2); Изъ обычаевъ обонежскаго народа. Увеселенія на масляницѣ (№ 8); Изъ обычаевъ Обонежскаго народа: 1) Празднованіе Ильина дня въ Канакшанскомъ приходѣ; 2) Празднованіе Рождества Богородицы на Лешѣ; 3) Празднованіе св. Модеста и Власія и Троицына дня въ Нименскомъ приходѣ

Собираніе произведеній народной поэзіи рѣвноюто совершалось въ разныхъ направленіяхъ и въ разныхъ концахъ Россіи. Назовемъ извѣстные сборники: Варенцова (сборникъ духовныхъ стиховъ и пѣ-

4) Празднованіе Ивана Купала въ деревнѣ Остречѣ (Памятная книжка Олонецкой губерніи, 1867).

— Олонецкія былинныя и духовныя стихи (въ „Олонецк. Губ. Вѣд.“ 1867): Чурилушко Пленковичъ, Казань-городъ (№ 16); Софья, Георгій Храбрый (№ 14); Анка воинъ, Алексій Божій человекъ, Лазарь праведный (№ 12); Пустыня (№ 14); Совеь Богородицы и Страшный судъ (№ 11); О двѣнадцати пятницахъ, (1868 г., № 31).

— Преданія о панахъ: 1) Крестовый и Пелій мсы въ Онежскомъ озерѣ; 2) Преданія о чуди и ямчникахъ; 3) Паня, Литва (Памятная книжка Олон. губерніи, 1867 г.).

— Сказка объ Алешѣ Голопузкомъ, легенда объ Иванѣ купецкомъ сынѣ („Пѣсни“, Рыбникова, т. IV, стр. 209, 234).

— Олонецкія бытовыя пѣсни (Олонецкія губ. Вѣд. 1868, № 24—27, 89). Песлянды-слѣпцы (тамъ же, № 51). Погребальныи плачь на могилѣ отца (№ 45). Народныя суевѣрія и заговоры (№ 93—94). Знаменитая олонецкая вѣтница (тамъ же, 1870, № 62).

— Причитанія сѣвернаго края. Два тома, 1872—82. Томъ I: плачи погребальныя, надгробныя и надмогильныя. Т. II: плачи завоенныя, рекрутскіе и солдатскіе. Остается еще неизданнымъ третій томъ, заключающій плачи свадебныя, рукобитныя, разлучныя, бѣдныя и предвѣщныя. Первые томы были удостоены академической преміи и золотой медалы отъ Геогр. Общества.

„Причитанія“ вызвали специальное изслѣдованіе А. Веселовскаго: Die russische Todtenklagen, въ „Russische Revue“, 1873, и рецензію Л. Майкова въ Журн. мнн. проsv. 1872, декабрь; 1882, октябрь.

— Петръ Великій въ народныхъ преданіяхъ сѣвернаго края („Бесѣда“, 1872, кн. V).

— Петръ Великій въ сказкахъ сѣвернаго края (Труды Этногр. Отдѣла моск. Общества ест., антр. и этнографіи, кн. IV).

(Объ этомъ статья: La légende de Pierre le Grand dans les chants populaires et les contes de la Russie, par Alfred Rambaud, въ Revue d. d. Mondes, 1873).

— О свадебныхъ обычаяхъ въ Олонецкой губерніи („Бесѣда“, 1872, кн. VI).

— Статьи о русской народной пѣснѣ въ музыкальномъ отношеніи, по поводу первыхъ концертовъ Славянскаго въ Москвѣ („Соврем. Извѣстія“, 1872).

— Въ Трудахъ Общества естествознанія, антр. и этнографіи, по этнографическому отдѣлу: Сѣверныя сказанія о Лемболахъ и Удѣльничкахъ; Замѣтки изъ этнографіи сѣвернаго края и пѣсня о Литовскомъ погромѣ; Юрьевъ день; Обзоръ этнографическихъ данныхъ, помѣщенныхъ въ разныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1873 годъ (кн. III, вып. I). Обряды, наблюдаемые при рожденіи и крещеніи дѣтей на рѣкѣ Орели (кн. IV).

— Памятники народнаго творчества въ Олонецкой губерніи (Записки Геогр. Общ. по отдѣленію этнографіи, т. III, 1873).

— Очерки народнаго мировоззрѣнія и быта (Древняя и Новая Россія, 1876, кн. 2).

— Сѣверныя преданія о древне-русскихъ князьяхъ и царяхъ (Др. и Нов. Рос., 1877, № 9).

— Критическія замѣтки объ историческомъ и художественномъ значеніи Слова о полку Игоревѣ (Вѣстн. Евр., 1878, октябрь и ноябрь).

сенъ самарскаго края), сборники г. Безсонова, небольшіе, но цѣнные сборники Худякова ¹⁾, сборники загадокъ, заговоровъ—Саловникова, Л. Майкова; множество сборниковъ мѣстныхъ, выходявшихъ отдѣльными книжками или помѣщенныхъ въ мѣстныхъ изданіяхъ: памятныхъ книжкахъ, сборникахъ статистическихъ комитетовъ и т. д., которые будутъ указаны въ своемъ мѣстѣ:

Въ то же время размножаются труды по изученію книжной ста-

— Въ „Трудахъ“ комитета по устройству московской антропологической выставки г. Барсовымъ составленъ былъ: Программа собиранія этнографическихъ предметовъ для этнографическаго отдѣла моск. антроп. выставки, 1878, и Описание этногр. коллекцій, входившихъ въ составъ этого отдѣла выставки, 1879.

— Народная молитва архангеламъ и ангеламъ XVII вѣка („Чтенія“ моск. Общ. исторіи и древн. 1883, кн. I).

— Собственныя имена Архангельской Самояди XVII вѣка („Чтенія“, 1883, кн. II).

— Акты съ этнографическими указаніями (тамъ же, 1883, кн. I; 1884 г., кн. III—IV).

— Сказаніе XVII вѣка о владахъ въ (нижнихъ) московской и смоленской губерніяхъ („Чтенія“, 1886, кн. II).

— Словъ Богородицы въ живомъ народномъ пересказѣ; народныя молитвы, утрення и вечерня (тамъ же, кн. III).

— Народныя преданія о миротвореніи (тамъ же, кн. IV).

— Слово о полку Игоревѣ, какъ художественный памятникъ Киевской дружины Руск. Три тома, 1887—90.

— Изъ рукописей измечены слѣдующіе памятники старинной книжной повѣсти, апокрифической легенды и народного эпоса:—„Акиръ премудрый во вновь открытомъ сербскомъ спискѣ XVI вѣка, съ предисловіемъ („Чтенія“, 1886, кн. III).—О Тиверіадскомъ морѣ (тамъ же, кн. I).—Богатырское слово въ спискѣ начала XVII в. (Записки Академіи Наукъ, т. XL).

— Упомянемъ еще статьи: О воздѣйствіи апокрифовъ на церковный обрядъ и иконописи, въ „Журн. мин. просв.“, т. CCXLII, и изданія старой ученой переписки, доставляющей матеріалъ для исторіи нашей этнографіи, какъ переписка канцлера гр. Румянцова, проф. И. Д. Бѣльева съ разными учеными, достопримѣчательная переписка Бодянскаго и Максимовича (въ „Чтеніяхъ“ Моск. Общ. Истор. и древностей).

Обзоръ дѣятельности г. Б. и списокъ его сочиненій см. въ „Запискѣ объ ученыхъ трудахъ Е. В. Барсова. Составилъ Дм. Цвѣтаевъ, приватъ-доцентъ Имп. моск. университета“: М. 1887.

¹⁾ Иванъ Ал. Худяковъ былъ сыномъ смотрителя уѣзднаго училища въ Тобольскѣ, учился сначала въ тобольской гимназіи, потомъ въ 1860-хъ годахъ въ казанскомъ и московскомъ университетахъ и тогда же сталъ издавать сборники народной поэзіи—пѣсни, сказки и т. п., а также книжки для народнаго чтенія. Въ тѣ же годы онъ привлеченъ былъ къ процессу по политическому преступленію и сосланъ въ Сибирь, гдѣ и умеръ въ Иркутскѣ въ больницѣ умалишенныхъ въ 1877. Послѣднимъ трудомъ его былъ „Верхоянскій сборникъ“, изданный Восточно-сибирскимъ отдѣломъ Географическаго Общества (Иркутскъ, 1890), гдѣ въ предисловіи приведены біографическія указанія.

рины въ тѣхъ ея произведеніяхъ, которыя имѣли ближайшее отношеніе къ живому донныѣ народному преданію и вообще къ образованію народнаго міровозрѣнія. Мы видѣли, что изученія этого рода были начаты еще г. Буславевымъ, который въ своихъ трудахъ далъ множество указаній на тѣснѣйшую связь старой письменности съ различными областями народной поэзіи, впервые разработывая въ этомъ смыслѣ старыя житія (Петра и Февроніи Муромскихъ, Петра царевича ордынскаго, Меркурія Смоленскаго, житія новгородскія, владимірскія, московскія), литературу иныхъ легендарныхъ сказаній, азбуковниковъ, травниковъ и пр. Мы указывали, какое множество подобныхъ памятниковъ было издано и получало первое истолкованіе въ замѣчательныхъ изданіяхъ г. Тихонова. Съ тѣхъ поръ сдѣлано было еще нѣсколько собраній и изданій этой литературы. Такъ нѣсколько произведеній ея было издано Срезневскимъ въ его пересмотрѣ малозвѣстныхъ и неизвѣстныхъ памятниковъ старо-славянскій и русской письменности, Костомаровымъ въ его „Памятникахъ старинной русской литературы“; цѣлый рядъ ихъ явился въ изданіяхъ Общества любителей древней письменности, основаннаго княземъ П. П. Вяземскимъ, московскаго Общества исторіи и древностей. Извѣстный, рано умершій, археографъ, Андрей Никол. Поповъ, напечаталъ нѣсколько замѣчательныхъ древнихъ текстовъ подобнаго рода въ „Описаніи“ рукописной библіотеки московскаго купца Хлудова, куда между прочимъ поступили многія важныя южнославянскія рукописи изъ собранія Гильфердинга. Въ изданіи текстовъ присоединяются изслѣдованія. Таковы были въ 1860-хъ годахъ изысканія Аванасія Прок. Шапова (1830—1876): сибирякъ родомъ, сынъ бѣднаго деревенскаго дьячка въ восточной Сибири, воспитанникъ, а потомъ профессоръ казанской духовной академіи, а также университета, онъ началъ упомянутымъ выше изслѣдованіемъ о происхожденіи и значеніи русскаго старообрядства и, продолжая послѣ заниматься его исторіей, Шаповъ обращалъ въ особенности вниманіе на мало замѣчаемую прежде бытовую сторону въ русскомъ расколѣ. Хотя вслѣдствіе особеннымъ образомъ сложившихся условій его жизни, онъ не могъ дать своимъ изслѣдованіямъ достаточно выработанной формы, въ нихъ разбросано много весьма цѣнныхъ указаній, которыя и донныѣ не получили еще надлежащаго историческаго развитія въ литературѣ о расколѣ, и народномъ бытѣ вообще. Между прочимъ, въ казанской духовной академіи Шаповъ имѣлъ подъ руками перенесенную туда богатую библіотеку Соловецкаго монастыря, нѣкогда какъ и донныѣ полу-народнаго, а въ XVII вѣкѣ кромѣ того и полу-старообрядческаго, и въ рукописяхъ этой библіотеки Шаповъ между прочимъ вычиталъ массу характерныхъ произведеній полународной апокрифической ле-

генды, которыя внесъ въ свои „Очерки народнаго міросозерцанія, православнаго и старообрядческаго“, гдѣ сдѣлана попытка пѣльшей реставраціи этого міросозерцанія, остающаяся понинѣ одинокою ¹⁾. Соловецкія рукописи ²⁾ послужили основаніемъ для трудовъ другого казанскаго ученаго, г. Перфирьева, автора известной книги по исторіи русской литературы ³⁾. Назовемъ еще изслѣдованія П. А. Лавровскаго ⁴⁾, В. Сахарова, М. Альбова, Мансветова ⁵⁾. Памятники этого рода обратили на себя вниманіе и въ южной и западно-славянской литературѣ: важные матеріалы, находящіеся въ связи съ древне-русскими памятниками апокрифической легенды, изданы были Новиковичемъ, Ягичемъ (хорватскія „Starine“, „Archiv für slavische Philologie“), Калужняцкимъ и др. Дальше мы встрѣтимся съ изслѣдованіями, которыя получили богатую пищу въ этомъ матеріалѣ.

Въ 1860-хъ годахъ еще продолжаетъ господствовать мнѣологическій приемъ въ объясненіи древняго русскаго эпоса, но рядомъ съ нимъ высказываются и другія точки зрѣнія, иногда совершенно неожиданныя,—между прочимъ заявлены были сомнѣнія, которыя какъ бы указывали на необходимость новаго пересмотра прежнихъ воззрѣній.

Отмѣтимъ прежде всего точку зрѣнія, которую можно назвать исторической. Она беретъ бытныя въ ихъ прямомъ смыслѣ, не сомнѣ-

¹⁾ См. біографію, составленную Н. Я. Аристовымъ: „Аванасій Прок. Шаповъ. Жизнь и сочиненія“. Сиб. 1833 (здѣсь и подробный списокъ его сочиненій). Некрологъ, въ Вѣстн. Евр., 1876.

²⁾ Теперь выходитъ подробное „Описаніе рукописей Соловецкой бібліотеки, находящейся въ бібліотекѣ казанской духовной академіи“. Два тома. Казань 1881—85.

³⁾ Апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ. Казань, 1878.
— Апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ по рукописямъ Соловецкой бібліотеки,—въ „Сборникѣ“ II Отдѣленія Акад. т. XVII, 1877.

— „Апокрифическія молитвы по рукописямъ Соловецкой бібліотеки“, и „О Соловецкой бібліотекѣ, находящейся нинѣ въ Казанской духовной академіи“, въ Трудяхъ IV Археологическаго съѣзда въ Казани, 1878.

⁴⁾ Обзорніе ветхозавѣтныхъ апокрифовъ, въ „Духовн. Вѣстникѣ“, 1864, т. IX.

⁵⁾ Эсхатологическія сочиненія и сказанія въ древне-русской письменности и вліяніе ихъ на народныя духовныя стихи. Изслѣдованіе В. Сахарова, Тула, 1879.

— Апокрифическія и легендарныя сказанія о Пресв. Дѣвѣ Маріи, особенно распространенныя въ древней Руси. Сочиненіе Владимира Сахарова, в. 1. et a. (Изъ „Христ. Читенія“, 1888, № 11—12. Сиб. и Тула).

— Объ апокрифическихъ евангеліяхъ. Свящ. М. Альбовъ, въ Христ. Читеніи, 1872.

— Происхожденіе міра и человѣка и послѣдующая ихъ судьба по изображенію древнихъ римскихъ поетовъ: Сивиллинныя книги,—Глоріантова, въ Христ. Читеніи, 1878.

— И. Мансветовъ, Византійскій матеріалъ для сказанія о двѣнадцати трасавицахъ. Москва, 1881.

вался въ принадлежности ихъ перваго созданія той исторической порѣ, къ которой относятся ея герои, и старается объяснить, какъ историческая основа отразилась въ поэтическомъ изображеніи. Это непосредственное толкованіе представлялось вполне естественнымъ для произведеній, привязанныхъ къ историческому центру, какъ Кіевъ или Новгородъ, съ героями, группированными вокругъ историческаго князя и частію носящими имена, извѣстныя лѣтописи. Такъ смотрѣлъ на былины издатель „Древнихъ стихотвореній“ Кирши Данилова и за нимъ всѣ историки литературы до появленія мнѣологической школы (Бѣлинскій, Катывъ). Объясненіе вопроса было, однако, необходимо, и изъ новыхъ изслѣдователей его поставилъ снова г. Майковъ.

Леонидъ Нивол. Майковъ (род. 1839), питомецъ петербургскаго университета, гдѣ онъ кончилъ курсъ въ 1860, одно время работалъ въ центральномъ статистическомъ комитетѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, съ конца 1860-хъ годовъ вступилъ въ редакцію журнала министерства просвѣщенія, котораго послѣ былъ редакторомъ, а съ 1882 состоитъ помощникомъ директора Публичной Библіотеки. Послѣ магистерской диссертациі о древнемъ русскомъ эпосѣ, 1863, онъ издалъ много изслѣдованій по этнографіи, а особливо по исторіи литературы, старой и новѣйшей (здѣсь наиболѣе важнымъ было критическое изданіе Батюшкова). Издавна онъ работалъ въ Географическомъ Обществѣ, гдѣ съ 1872 до 1886 былъ предсѣдателемъ этнографическаго отдѣленія: подъ его редакціей вышли нѣсколько томовъ „Записокъ по отдѣленію этнографіи“ (т. II, III, VI), и онъ принималъ участіе въ изданіи „Географическаго Словаря“. Въ ряду трудовъ этнографическихъ особливо цѣннымъ было собраніе великорусскихъ заклинаній, частію по матеріаламъ Общества, частію по множеству небольшихъ сборниковъ, разсѣянныхъ по изданіямъ провинціальнымъ. Важны также его изслѣдованія о значеніи народной поэзіи въ средѣ самаго быта, о характерѣ народныхъ пѣвцовъ, о старыхъ записяхъ народной поэзіи (въ XVII столѣтіи), объ отношеніи старыхъ книжниковъ къ народной поэзіи и тѣхъ измѣненіяхъ, какимъ подвергались ея произведенія въ народной памяти. Работы историко-литературныя также имѣли иногда отношеніе къ этнографіи, какъ напр. его работы о старой полу-народной повѣсти ¹⁾.

¹⁾ Записка объ ученыхъ трудахъ его, г. Веселовскаго, въ „Сборникѣ“ 2 отдѣленія Академіи, т. XLVI, 1890, стр. VII—XII; біографическія свѣдѣнія въ „Нивѣ“, 1889, № 11.

Слѣдующіе труды г. Майкова имѣютъ отношеніе къ этнографіи:

— О былинахъ Владимірова цикла. Изслѣдованіе на степень магистра русской словесности. Спб. 1868.

Русскій народный эпосъ,—по выводамъ г. Майкова, — отвѣчаетъ нѣсколькимъ періодамъ исторической жизни русскаго народа и можетъ быть раздѣленъ на нѣсколько цикловъ, которые болѣе или менѣе полно отражаютъ въ себѣ бытъ и понятія даннаго періода. Былины Владимірова цикла изображаютъ кievскій удѣльный періодъ. Содержаніе ихъ выработывалось въ продолженіе X, XI и XII вѣковъ, а установилось не позднѣе XIV вѣка, когда въ народѣ была еще свѣжа память о первенствующемъ значеніи Кіева. Авторъ разсматриваетъ содержаніе былинъ по ихъ даннымъ историческимъ и бытовымъ, и опредѣляетъ ихъ какъ эпосъ дружинный. Кіевское происхожденіе былинъ и время составленія ихъ опредѣляются ближайшими реальными фактами: дѣйствіе былинъ происходитъ главнымъ образомъ въ Кіевѣ и около него; дѣйствующія лица иногда названы въ лѣтописи на пространствахъ X—XIII вѣковъ; въ былинахъ Владимірова цикла не видно какого-либо преобладанія Москвы.

Тѣ же заключенія о кievской землѣ, какъ родинѣ древнѣйшаго эпоса, повторены были въ изслѣдованіи Ор. Миллера объ Ильѣ Муромцѣ, повторены были Погодинымъ, который, признавая, что былины дошли до насъ въ самомъ поврежденномъ видѣ, не сомнѣвался, что онѣ относятся къ глубокой древности и въ томъ, что мѣстомъ ихъ созданія былъ югъ, кievская земля ¹⁾. Къ тому же вопросу о мѣстной принадлежности былинъ возвратился потомъ Н. Квашининъ-

— Разборъ IV тома „Пѣсенъ“ Рыбникова, въ Журн. мин. просв. 1868, № 5.

— Разборъ „Прочитаній Сѣвернаго края“ Барсова, тамъ же, 1872 и 1882, и въ Отчетѣ о 28 присужденіи Уваровскихъ наградъ.

— Разборъ „Онежскихъ былинъ“, Гильфердинга, въ Журн. мин. просв. 1873, № 8.

— Замѣтка о географіи древней Руси (разборъ книги Н. Барсова: Географія начальной лѣтописи), въ Журн. мин. просв. 1874, № 7.

— Пѣвецъ былинъ въ окрестностяхъ Барнаула, въ „Извѣстіяхъ“ Геогр. Общества, 1874, № 6.

— Новыя данныя русскаго эпоса въ Заснежьѣ, „Др. и Новая Россія“, 1876, № 6.

— Сборникъ великорусскихъ записаній, въ „Запискахъ Геогр. Общ. по отдѣленію этнографіи“, т. II.

— Неизвѣстная русская повѣсть Петровскаго времени, въ Журн. мин. просв. 1878, № 11, и отдѣльно, Спб. 1880 (повторено съ новыми объясненіями въ собраніи его историко-литературныхъ изслѣдованій).

— Предпринято имъ обоарвіе старинныхъ рукописныхъ сборниковъ народныхъ пѣсенъ; отсюда изданъ обзоръ пѣсенъ, записанныхъ въ XVII столѣтіи, Журн. мин. просв. 1880, № 11.

— Краткое извѣстіе о народѣ Осташковѣ, Григорія Новицкаго. Спб. 1884.

— Путешествіе по сѣверу Россіи въ 1791 г., П. И. Челышева. Спб. 1886. (Въ изданіи Общества любителей древней письменности. Объ этомъ—„Вѣстн. Евр.“, 1886).

¹⁾ Журналъ мин. просв. 1870, кн. 12, стр. 155.

Самаринъ ¹⁾. Онъ подробнѣе, нежели Майковъ, останавливается на историко-географическихъ данныхъ былинны и прибавляетъ немногія соображенія объ ея герояхъ; непосредственная связь былинны съ временами Владиміра и вообще до-татарской эпохой и для него не составляетъ никакого вопроса. Въ изслѣдованіяхъ г. Квашнина-Самарина есть любопытныя замѣчанія, — но нѣрѣдко онъ рѣшаетъ свои вопросы слишкомъ поспѣшно и произвольно ²⁾; укажемъ для примѣра его объясненія имени Добрыни, отождествленіе Рогдая съ Ильей-Муромцемъ, обыкновенно излишнее довѣріе къ данному тексту былинны, пользоваться которымъ слѣдуетъ только послѣ внимательной критической провѣрки, и т. д.

Но, хотя бы эническія сказанія и говорили по преимуществу или исключительно о Кіевѣ и сосѣднихъ ему областяхъ, тотъ фактъ, что теперь былинны сохранились только на великорусскомъ сѣверѣ и что съ теченіемъ времени несомнѣнно стерлись многія черты русскаго юга и замѣнились чертами русскаго сѣвера, приводилъ нѣкоторыхъ изслѣдователей къ заключенію, что былинны, усвоивъ нѣкоторыя преданія какъ тому, собственно говоря, были созданы на сѣверѣ. По мнѣнію Костомарова, былинны — „прозаведеніе чисто русскаго сѣвера, исключительно велико-русской вѣтви, всему малорусскому племени онѣ совершенно чужды и не знакомы... Въ нашихъ былинахъ, которыя несомнѣнно образовались въ ихъ настоящемъ видѣ только на сѣверѣ, исключительно въ великорусскомъ племени, и притомъ подъ влияніемъ (?) иноплеменныхъ населеній, воздѣйствовавшихъ на великорусское племя, одно только относится къ кіевской древности — это собственныя имена Кіева и князя Владиміра и нѣкоторыхъ его богатырей, но затѣмъ въ былинахъ собственно кіевскаго чрезвычайно мало“ ³⁾. Но это не мѣшало самому Костомарову указывать въ былинномъ эпосѣ преданія самой далекой, именно кіевской старинны: такъ онъ сравниваетъ лѣтописныя преданія объ Олегѣ съ чертами былиннаго Вольги или сказанія о Владимірѣ съ его изображеніемъ въ великорусской былинѣ ⁴⁾. Дальше мы еще встрѣтимся съ этимъ вопросомъ о сѣверномъ или южномъ происхожденіи былинны.

¹⁾ Русскія былинны въ историко-географическомъ отношеніи, — въ „Бесѣдѣ“ 1871, апрѣль, стр. 78—115; май, стр. 224—244.

— Его же: Новыя источники для изученія русскаго эпоса. Онежскія былинны, записанныя А. О. Гиллфердингомъ, — въ „Р. Вѣстникѣ“, 1874, сентябрь, стр. 5—44; октябрь, стр. 768—808.

— И его же: Очеркъ славянской мифологии, въ „Бесѣдѣ“, 1872, апрѣль.

²⁾ Это замѣтали уже г. Буслаевъ („Сравнит. изученіе нар. бытѣ и поэзіи“, „Р. Вѣстн.“ 1872, № 10, стр. 698—699; ср. стр. 670) и Личъ.

³⁾ „Р. Старина“, 1877, январь, стр. 174—175.

⁴⁾ Преданія начальной лѣтописи: „Монографія“, т. XIII, стр. 84—166. Ср. Жданова, „Пѣсни о князѣ Романѣ“, Спб. 1890, стр. 4.

Прямымъ и усерднѣйшимъ послѣдователемъ миеологической теоріи былъ Орестъ Ѡ. Миллеръ (1833—1889). Уроженецъ остзейскаго края, онъ кончилъ курсъ въ петербургскомъ университетѣ въ 1855, и въ 1858 году напечаталъ магистерскую диссертацию: „О нравственной стихіи въ поэзи на основаніи историческихъ данныхъ“, которая вызвала тогда суровыя осужденія по крайне односторонней постановкѣ вопроса: вывала большія недоумѣнія точка зрѣнія, гдѣ нравственность поэзи была смѣшана съ нравоучительностью и гдѣ именно недоставало исторической оцѣнки явленій. Миллеръ впоследствии самъ увидѣлъ теоретическую ошибку, но у него навсегда осталась манера отыскивать и разъяснять нравоучительный смыслъ поэзи, и такъ какъ съ этимъ соединялись, въ духѣ тогдашняго общественнаго настроенія и его личнаго религіозно-идеалистическаго характера, увлеченія народныя, стремленіе служить защитѣ достоинства и интересовъ народа, то изъ тогдашнихъ литературныхъ направленій онъ прикинулъ въ славянофильству. Ему казалось, что именно въ этомъ ученіи находится кодексъ тѣхъ нравственныхъ и народолюбивыхъ стремленій, которымъ онъ самъ былъ преданъ съ глубокой искренностью; кажется, однако, что уже въ то время его мысли не вполне сходились съ этимъ ученіемъ, а впоследствии ему пришлось весьма категорически расколоться съ новѣйшими послѣдователями этой школы (его столкновения въ петербургскомъ славянскомъ комитетѣ), съ которыми онъ не соглашался по нѣкоторымъ весьма существеннымъ пунктамъ, наприжѣръ не раздѣляя ихъ національной исключительности. Въ 1862—1863, Миллеръ жилъ за границей, слушалъ лекціи въ берлинскомъ университетѣ и посѣтилъ славянскія земли. По возвращеніи, онъ началъ читать лекціи въ петербургскомъ университетѣ по исторіи русской литературы. Эта профессура заняла всю его жизнь, и увольненіе отъ каедры было для него тяжелымъ нравственнымъ ударомъ. Его учено-литературные труды были направлены на изслѣдованія о народной поэзи и исторіи литературы, древней и новой, и при томъ складѣ его понятій, который мы указывали, естественно, что его работы принимали нерѣдко характеръ публицистическій. По выходѣ въ свѣтъ первыхъ томовъ собраній Рыбникова и Кирѣевскаго, Миллеръ прочелъ въ 1862-мъ году нѣсколько публичныхъ лекцій о русскихъ народныхъ пѣсняхъ, и въ эти годы предался специальному изученію древней русской литературы и народной поэзи. Основнымъ результатомъ этихъ изученій былъ, во-первыхъ, опытъ по исторіи древней русской литературы (доведенный до татаръ) и, во-вторыхъ, его докторская диссертациа объ Ильѣ Муромцѣ, составившая огромную книгу. Впоследствии Ор. Миллеръ возвращался только изрѣдка въ вопросы народной поэзи, особенно

эпоса, въ небольшихъ статьяхъ и рецензіяхъ, и работы его 1870-хъ годовъ направлены были на изученіе новѣйшей литературы и публицистику, гдѣ онъ старался развивать нравственныя начала общественности на основаніи того, что считалъ истиннымъ духомъ русскаго народа. Изученія древности (въ его диссертациі обь Ильѣ Муромцѣ) съ одной стороны были развитіемъ миеологической теоріи, особливо въ духѣ Аванасьева, а съ другой правоучительно символическимъ толкованіемъ древняго эпоса, изъ котораго онъ хотѣлъ извлекать поученія и для настоящаго времени ¹⁾).

Книга обь Ильѣ Муромцѣ представляетъ обширную разработку преданій обь этомъ былинномъ богатырѣ, гдѣ въ первый разъ собранъ большой сравнительный матеріалъ, особливо изъ нѣмецкой средневѣковой поэзіи и изъ славянскихъ эпическихъ сказаній, снабженный множествомъ миеологическихъ объясненій. Свой комментарий авторъ желалъ представить въ особенности развитіемъ славянофильскаго взгляда на русскую древность, — это послѣднее должно относиться именно къ его правоучительно-символическимъ толкованіямъ. Въ своей миеологической теоріи Ор. Миллеръ, какъ мы сказали, всего ближе продолжаетъ Аванасьева, какъ въ объясненіяхъ нравственно-національныхъ желаетъ доставить аргументы для взглядовъ славянофильскихъ. Правда, главный трудъ Аванасьева началъ выходить въ одно время съ первой книгой Миллера, но послѣдній могъ уже воспользоваться 1-мъ томомъ „Поэтическихъ Воззрѣній“ и ранѣе явившимися отдѣльными статьями Аванасьева. Видѣвъ съ нимъ, онъ беретъ своими миеологическими авторитетами Куна и Шварца, Маннгардта (перваго направленія) и Макса Мюллера, и не менѣе самого Аванасьева находитъ удивительныхъ объясненій миеа солнцемъ, тучами и громами. Миеологическая точка зрѣнія доведена здѣсь до послѣдней крайности: это—послѣдняя степень преувеличенія, до какой можно было довести солнечно-небесно-грозовую теорію. Въ „Обозрѣніи“ древней-русской словесности авторъ не знаетъ сомнѣній относительно миеическаго содержанія сказокъ и эпоса: ему извѣстна теорія Бенфея, которая объясняла значительную долю въ сходствѣ сказокъ у различнѣйшихъ народовъ путемъ внѣшняго заимствованія и могла

¹⁾ Для біографическихъ свѣдѣній см. „Очеркъ научной дѣятельности профессора О. О. Миллера. Съ приложеніемъ его портрета, факсимиле и описанія празднованія 25-лѣтняго юбилея“. Составилъ И. Ш. Спб. 1889.

— Орестъ Федоровичъ Миллеръ. Біографическій очеркъ, составленный Б. Б. Глинскимъ, съ приложеніемъ портрета. Спб. 1890. (Ср. по поводу этой книжки ст. г. Скабичевскаго, „Новости“, 1890, № 203).

— Списокъ сочиненій въ „Русской Мысли“, 1889, сентябрь, и въ „Очеркѣ“ И. Ш.

— Некрологъ, въ „Вѣстникѣ Европы“, 1889, июль.

бы умѣрить миеологическія пристрастія, но онъ не становится оттого осторожнѣе. Авторъ безстрашно проникаетъ въ отдаленнѣйшую древность, раскрывая самыя неисповѣдимыя глубины ея миеологическихъ представленій. Все изображеніе древности есть хитросплетенное построеніе изъ олицетвореній, метафоръ, символовъ,—въ которомъ весьма нелегко ориентироваться: объясненія такъ отважны, что читателю думается наконецъ, что построеніе можетъ рухнуть при неосторожномъ прикосновеніи критики. Въ самомъ дѣлѣ, рѣчь идетъ о такой отдаленной старинѣ, что для миеологической науки было бы великимъ приобрѣтеніемъ и то, если бы она смогла опредѣлить самыя общія черты, такъ сказать круглыя цифры содержанія и образованія миеа, какъ геологія круглыми цифрами опредѣляетъ наслоенія земной коры и продолжительность геологическихъ періодовъ: вмѣсто того, какъ и у Аванасьева, мы получаемъ напр. объясненіе самыхъ мелкихъ подробностей сказки — какъ будто черезъ тысячелѣтія сказка пришла къ намъ въ нетронутомъ видѣ, и какъ будто для этихъ объясненій довольно было изворотливости фантазіи. Примѣровъ сказаннаго множество—на стр. 21—196 „Историческаго Обзорнія“¹⁾.

Относительно былинны принимается за несомнѣнное и развивается до крайняго предѣла то представленіе дѣла, какое мы видѣли у г. Буслаева и Аванасьева. Считается безспорнымъ, что „старшіе богатыри“ это—„антропоморфическіе исполинскіе (?) миеы *тучь*“ (Обозр., стр. 204), что бой Ильи-Муромца съ сыномъ означаетъ то, что „богъ трюмовникъ, производа, т. е. порождая тучи, съ другой стороны ихъ же и истребляетъ“ (стр. 219); Соловей-разбойникъ—„не что иное какъ олицетворенная *бура* съ ея вѣтвистымъ деревомъ *тучь* и ея грознымъ свистаньемъ“ (стр. 221); Владимір—подлинное „Красное солнышко“; въ Добрынь—„скрывается божество, въ основѣ своей соотвѣтственное германскому Одину“, и такъ далѣе. Хотя въ самомъ заглавіи книги объ Ильѣ-Муромцѣ авторъ говоритъ о „словесомъ составѣ“ былинны, но въ изслѣдованіи это не мѣшаетъ ему брать *новѣйшіе* тексты былинны какъ основаніе для миеологическихъ толкованій: полагается, что примѣрно съ X-го вѣка въ былинѣ сохранились одни и тѣ же — не только темы и сюжеты, но самыя обороты рѣчи, слова и выраженія; полагается, что примѣрно въ продолженіе тысячи лѣтъ многочисленныя поколѣнія хранителей и передатчиковъ

¹⁾ Напр. баба яга—зимняя туча, зима (почему, неизвѣстно); жаръ-птица—„чрезмѣрность въ явленіяхъ свѣта и теплоты, которая становится уже пагубною“; норка звѣрь—живетъ въ пещерѣ, заваленной камнемъ, который „обыкновенно миеически объясняется *окаменлостію* (?) природы въ холодное зимнее время“ и т. д. Объясненіе острова Буяна и камня-алатыря въ извѣстной формулѣ заговора (стр. 78—81) есть настоящій *tour de force* миеологическаго ухищренія.

былины не внесли никакого оборота и сравненія, никакого понятія своего времени,—потому что, какъ же иначе сдѣлать выводы о „тучахъ“ и „молніяхъ“? Правда, авторъ дѣлаетъ различіа: онъ считаетъ одні подробности мифическими, другія—бытовыми, одні древними, другія новыми; но выборъ между ними часто совершенно произволенъ. Напр., въ описаніи богатырской игры оружіемъ (Илья-Мур., стр. 16—17), богатырь „наговариваетъ“ на копьѣ, — авторъ заключаетъ, что это „отзывается отдаленнѣйшею стариною“, но почему же? Заговариванье оружіа извѣстно солдатамъ и охотникамъ и по сію минуту: эта черта могла, пожалуй, быть и новымъ вариантомъ. Наговаривая такимъ образомъ, враждебный богатырь собирается „вертѣть Ильей-Муромцемъ“, какъ вертѣтъ своимъ копьемъ. По мнѣнію автора, въ этихъ словахъ „слышше уже воинское поддразниванье врага, т.-е. тутъ надобно видѣть черту уже *бытовую*, позднѣйшую“. Почему—совершенно неизвѣстно; очевидно, напротивъ, что эта подробность именно принадлежитъ къ заговору, какъ ожиданіе его исполненія; и затѣмъ, когда наговаривали на копьѣ, могли *въ то же время* дѣлать и воинское поддразниваніе. Боевая потѣха, киданье вверхъ налицы, которую богатырь потомъ ловить—есть потѣха столь обыкновенная вездѣ и всегда, гдѣ употреблялись налицы, что припоминать Тора имѣть надобности. Простое сравненіе былины, что не двѣ тучи собирались, не двѣ горы сдвигались, а сѣзжались въ чистомъ полѣ два богатыря—не проходитъ у автора даромъ: оно оказывается „едва ли не прямымъ указаніемъ на мифическое значеніе борющихся существъ“; но когда вслѣдъ затѣмъ объ Ильѣ-Муромцѣ говорится другимъ сравненіемъ, что упавши на землю онъ ворочался какъ „сѣрая утица“, авторъ не прискакалъ для утицы мнѣологическаго толкованія и рѣшилъ, что „сравненіе относится къ совершенно другому и, конечно, позднѣйшему кругу“. Камень-алатырь, который въ „Обозрѣніи“ былъ уже объясненъ какъ „солнечный камень“ (?), здѣсь объясняется вновь. Въ одномъ вариантѣ былины о боѣ Ильи-Муромца съ сыномъ, послѣдній говоритъ о своемъ происхожденіи: „отъ моря и отъ студенаго, отъ камня я отъ Латыря, отъ той отъ бабы отъ Латыгорки“, и изъ этого случайнаго сопоставленія и созвучія двухъ перепорченныхъ именъ авторъ не замедлилъ вывести, что „самое имя этой бабы указываетъ на связь ея съ Латыремъ“, и оба они видѣтъ толкуются такъ (стр. 19): „камень латырь посреди студенаго моря, это—солнце посреди зимняго неба, солнце въ его зимнемъ, невозженномъ состояніи; баба Латыгорка, это — баба-гора (горынинка), зимняя туча, залегающая камень латырь (латыгорка), пока, наконецъ, чрезъ союзъ съ мифическимъ существомъ, скрывающимся въ Ильѣ, она не становится снова плодоносною, лѣтнею бабою“ (!)...

Такого рода объясненіями исполнена у г. Миллера вся миеологія былинъ ¹⁾.

Другую сторону изслѣдованія составляютъ объясненія психологическія и моральныя. Авторъ старается опредѣлить нравственный характеръ Ильи-Муромца и другихъ героевъ былинны, какъ повидимому ни затруднительно было бы опредѣлять нравственныя свойства тучи, грозы, солнца и дождя. Въ заключеніе объясняется народно-бытовое значеніе нашего эпоса, и миеологія переходитъ въ публицистику, въ томъ нравоучительно-символическомъ направленіи, какое мы указывали. Авторъ желаетъ установить настоящую русскую точку зрѣнія, которая должна имѣть мѣсто въ нашей наукѣ и современной общественности, и изобличаетъ въ томъ и другомъ не русскія, нѣмецкія (въ дурномъ смыслѣ) поползновенія: не мудрено, что при этомъ г. Стасовъ, съ его теоріей происхожденія былинъ, оказался нѣмцемъ (стр. 674); удивительнѣе, что не вполне русскимъ является даже Стоюнинъ (стр. 813).

Въ разборахъ книги Ор. Миллера ²⁾ г. Буслаевъ, отмѣтивъ большія заслуги автора въ сложномъ изслѣдованіи—внимательномъ изученіи текстовъ, подборѣ сравнительнаго матеріала, въ стараніи установить различные элементы древняго эпоса, указалъ вмѣстѣ и недостатки, которые сводятся особливо къ недостаткамъ метода. Г. Буслаевъ не былъ особенно пораженъ упомянутыми выше миеологическими преувеличеніями; онъ признавалъ, что миеологія природы и сказочныя или эпическія формулы должны служить средствомъ объясненія, и находилъ, что въ книгѣ Миллера онѣ приводили къ „самымъ удовлетворительнымъ результатамъ“, тѣмъ не менѣе критикъ замѣтилъ, что въ изслѣдованіи элементы объясненія миеологическаго и историческаго обозначены такъ неясно, что производятъ путаницу: герои былинны являются то небесными явленіями, то историческими лицами, и именно словъ эпическаго творчества остаются не раздѣленными ³⁾. Указывая далѣе, что дѣйствующія лица въ ми-

¹⁾ Укажемъ еще лишній примѣръ, на стр. 275—277, гдѣ идетъ рѣчь о „взаимныхъ миеическихъ отношеніяхъ Ильи, Соловья и Владиміра“.

²⁾ Въ Журн. мин. просв. 1871, апрѣль, и въ отчетѣ о 14-мъ присужденіи Уваровскихъ наградъ. Спб. 1872.

³⁾ „Въ интересахъ автора,—говоритъ г. Буслаевъ,—мнѣ казалось необходимымъ прочесть и тверже установить тотъ древнѣйшій, собственно русскій слой, который наши былинны наложили на эту неустановившуюся, колеблющуюся подъ ногами изслѣдователя миеологическую массу, сложенную изъ хаотической смѣси свѣта и тьмы, тепла и холода, тучи и дождя, и прочихъ элементовъ, но рубрикамъ которыхъ миеологія природы распредѣляетъ свой матеріалъ. Каково бы ни было первоначальное миеическое значеніе горъ и рѣкъ, но онѣ уже перестали быть тучами и дождями, какъ только русскій народъ сталъ слагать свои древнѣйшія сказанія, лѣтописныя и мѣстныя“.

вахъ природы являются существами бессознательными, стоящими внѣ человѣческихъ нравственныхъ понятій, между тѣмъ они руководятся этими понятіями въ качествѣ лицъ бытовыхъ, историческихъ, и самъ Илья-Муромецъ чувствуется въ книгѣ Миллера какъ образецъ высокой нравственности, г. Буслаевъ замѣчаетъ, что „авторъ недостаточно анализировалъ эту смѣсь, и именно по той причинѣ, что не провелъ болѣе замѣтной, болѣе точной черты между ранними, миеологическими слоями и позднѣйшими, бытовыми и историческими, и между данными общесравнительными и мѣстными, національно-русскими“. Отсюда выходило нерѣдко, что авторъ находилъ миеологию тамъ, гдѣ ея совсѣмъ не было. Когда въ былинѣ Илья-Муромецъ мостилъ мосты, Ор. Миллеръ толковалъ, что эти мосты означаютъ радугу; г. Буслаевъ объясняетъ, что это просто мостовая изъ бревенъ, положенныхъ на трясину для проведенія прямоѣзжей дороги, о чемъ самая былина говоритъ совершенно отчетливо: это была существенная потребность быта, когда еще не устроены были дороги, и „мостить мосты“ стало давно эпическою формулою, напримѣръ даже въ Словѣ о полку Игоревѣ. Выше мы указывали другіе примѣры подобнаго рода.

Миллеру никакъ не хотѣлось, чтобы слово „богатырь“ было монгольскаго происхожденія, и онъ считаетъ такую этимологию какъ бы дѣломъ нѣмецкаго недоброжелательства; г. Буслаевъ подтверждаетъ, что слово взято именно у татаръ, и указываетъ притомъ, что употребленіе его въ былинѣ должно быть сопоставлено съ употребленіемъ его въ лѣтописи, гдѣ оно вошло именно въ монгольскомъ періодѣ. Г. Буслаевъ объясняетъ далѣе, что многія миеологическія толкованія гораздо проще могли быть замѣнены ближайшимъ сличеніемъ съ памятниками письменными.

Относительно общихъ выводовъ Ор. Миллера, критикъ замѣчаетъ, что указаніе „цѣльности“ нашего эпоса могло быть достигнуто только пониманіемъ его „во всей его первоначальной, органической цѣлости, какъ онъ является въ лѣтописныхъ сказкахъ, житіяхъ святыхъ, мѣстныхъ преданіяхъ, въ названіяхъ урочищъ и проч.; былинны составляютъ только часть этого *цѣлаго*, которое и должно быть собственно названо русскимъ народнымъ эпосомъ“. Критикъ отвергаетъ характеристику нашего древняго эпоса какъ „простонароднаго“; г. Буслаевъ справедливо указываетъ, что если усмотрѣть тѣсную связь нашей былинной поэзіи съ лѣтописью, легендами и другими памятниками старой письменности, то и всѣ послѣдніе пришлось бы называть простонародными: „только въ послѣднія полтора столѣтія онѣ могли внести въ свое содержаніе нѣкоторую простонародную рознь, первоначальные же онѣ были столько же *народны*,

а не простонародны⁴—какъ старыя лѣтописи и легендарныя сказанія. Наконецъ Ор. Миллеръ говорилъ о результатахъ своихъ розысканій: „мнѣ удалось убѣдиться въ томъ, что основныя заключенія о нашемъ эпосѣ нашихъ писателей народнаго направленія—вполнѣ справедливы. Я радостно признаю себя ихъ ученикомъ и желаю бы остаться ихъ вѣрнымъ послѣдователемъ и, по мѣрѣ силъ моихъ, однимъ изъ подражателей ихъ великаго дѣла“. Г. Буслаевъ замѣчаетъ: „авторъ, съ изумительною скромностію, называетъ себя ученикомъ и вѣрнымъ послѣдователемъ славянофиловъ; между тѣмъ какъ все достоинство его книги составляетъ такое дѣло, которымъ славянофилы меньше всего занимались, именно сравнительное изученіе нашего эпоса, самое обстоятельное и самое добросовѣстное“.

Ор. Миллеру тогда и впоследствии казалось, что славянофильство есть лучшее представительство и защита достоинства русскаго народа, что въ немъ заключается наилучшее пониманіе народной личности. По мнѣнію К. Аксакова, лучший русскій человекъ былъ крестьянинъ, и Ор. Миллеръ находилъ образъ этого лучшаго человека именно въ крестьянинѣ Ильѣ-Муромцѣ; крестьянство у славянофиловъ противопоставалось испорченному обществу, наилучшее народное есть крестьянское, и Ор. Миллеръ также указывалъ лишнюю похвальную черту древняго эпоса въ томъ, что это—эпосъ простонародный. Нѣтъ сомнѣнія, что для него не менѣе если не болѣе научнаго изслѣдованія важенъ былъ правоучительный выводъ, который изъ него долженъ былъ слѣдовать,—и притомъ выводъ былъ уже готовъ заранее ¹⁾.

⁴⁾ Укажемъ работы Ор. Миллера, имѣющія отношеніе къ этнографіи и къ вопросу народности:

— Статьи въ журналѣ „Учитель“, по исторіи древней русской литературы (до татаръ), которые дополнены были впоследствии нѣсколькими главами о народной поэзіи и составили книгу:

— Опытъ историческаго обозрѣнія русской словесности, ч. I, вып. 1 (отъ древнѣйшихъ временъ до татарщины). Изданіе второе, переделанное и дополненное тремя новыми главами (съ принадлежащей сюда хрестоматіей). Сиб. 1865 (на обложкѣ 1866).

— Народное направленіе въ преподаваніи и изученіи отечественнаго языка, въ газетѣ „День“, 1864 (по поводу книги Ушинскаго: „Родное Слово“).

— Русскій народный эпосъ передъ судомъ г. Соловьева, въ „Библи. для чтенія“ 1864, кн. 3-я (по поводу XIII-го тома „Исторіи Россіи“).

— Разборъ „Нар. сказокъ“ Аванасьева, въ 84-мъ присужденіи Демидовскихъ наградъ, 1865.

— Сборники по народной русской словесности за 1866 годъ, въ „Журн. мин. просв.“ 1867, кн. 1—3.

— Олоонецкія губ. Вѣдомости за 1867 годъ, въ „Журн. мин. просв.“ 1868, кн. 3-я.

Какъ мы видѣли выше, главный вѣстатель славянофильской школы, который бралъ на себя объясненіе историческихъ, гражданскихъ и нравственныхъ достоинствъ древней Руси, К. Аксаковъ, только мимоходомъ касался собственно этнографическаго объясненія народной поэзіи и въ частности эпоса. Настоящимъ истолкователемъ идей

-
- Ссора Ильи-Муромца съ княземъ Владимиромъ, въ „Зарѣ“, 1869, кн. 2-я.
 - Сравнительно-критическія наблюденія надъ слоеннымъ составомъ народнаго русскаго эпоса. Илья-Муромецъ и богатырство кievское. Спб. 1869 (на обложкѣ 1870). Больш. 8°; XXVII, 830, XXII (указатели) стр.
 - Вступительная рѣчь передъ защитой диссертациі, въ „Зарѣ“, 1870, февраль.
 - Объ изслѣдованіи Вейнберга: Русскія народныя пѣсни объ И. В. Громомъ (въ „Голосѣ“, 1872, № 97).
 - Нѣчто о русскихъ свадебныхъ пѣсняхъ, въ „Филолог. Запискахъ“, Воронежъ, 1872, кн. IV, по поводу статьи Костомарова.
 - О сборникѣ пѣсенъ Гильфердинга („Рус. Старина“, 1873, кн. 7-я).
 - Двѣ лекціи по народной словесности, въ „Филологич. Запискахъ“, 1874, кн. 1-я.
 - Къ вопросу о былинахъ и думахъ, въ „Спб. Вѣдомостяхъ“ 1874, № 265, по поводу чтенія о нихъ на Киевскомъ археологическомъ съѣздѣ, а самый рефератъ „о великорусскихъ былинахъ и малорусскихъ думахъ“ изданъ въ „Трудахъ 3-го археолог. съѣзда въ Россіи“, Киевъ, 1878, ч. II.
 - Письмо редактору „Голоса“ („Спб. Вѣдом.“ 1874, № 272; „Голосъ“ № 270) о томъ же; Последняя отвѣдь „Голосу“ („Спб. Вѣд.“ № 274); Отвѣтъ „Киевлянину“ („Киевскій Телеграфъ“ № 125).
 - Малорусскія народныя думи и кобзарь Вересай („Др. и Новая Россія“, 1875, № 4).
 - Предисловіе и примѣчаніе къ письму М. П. Драгоманова о слѣдахъ великорусскаго эпоса въ Малороссіи (тамъ же, № 9).
 - О древне-русской литературѣ по отношенію къ татарскому игу (тамъ же, 1876, № 5).
 - О воспитательномъ значеніи отечественнаго слова („Педагогическій Музей“, 1876, № 7).
 - О сборникѣ пѣсенъ Кирѣвскаго, въ XVIII-мъ присужденіи Уваровскихъ наградъ, 1876.
 - О сборникѣ пѣсенъ Шейна (тамъ же).
 - О воспитательномъ значеніи народной словесности („Педагог. Музей“, 1877, ноябрь).
 - Былины; историческія пѣсни (главы во 2-мъ изданіи „Исторія р. словесности“, Галахова).
 - Новыя домысли ученія о заимствованіяхъ, въ „Филол. Вѣстникѣ“, Колосова, 1879, кн. 4-я).
 - О былинахъ и ихъ славителяхъ, въ „Сборникѣ Археологич. Института“, 1880, ч. 3-я.
 - Славянофилы и западники въ ихъ отношеніяхъ къ малорусской народности („Извѣстія“ Слав. Общества, 1884, октябрь).
 - Оцѣнка этнографическихъ трудовъ П. В. Шейна (въ Отчетѣ Геогр. Общества за 1884 годъ).
 - О книгѣ Фаминцина: „Мифологія славянъ“ (въ Извѣстіяхъ Геогр. Общ., 1884).

школы по этимъ вопросамъ явился П. А. Безсоновъ. Трудно представить себѣ, чтобы Ор. Миллеръ могъ его считать въ числѣ тѣхъ „писателей народнаго направленія“, основныя заключенія которыхъ онъ желалъ подтвердить.

Литературная дѣятельность г. Безсонова (въ настоящее время профессора Харьковского университета, ранѣе бібліотекаря въ университетѣ Московскомъ, еще ранѣе служившаго одно время въ западномъ краѣ, послѣ усмиренія польскаго восстанія) восходитъ своимъ началомъ къ 1850-мъ годамъ; уже тогда онъ примыкалъ къ славянофильскому кругу и принималъ участіе въ „Русской Бесѣдѣ“. Труды его направлялись на изученіе русской старины, народной поэзіи, русской и славянской біографіи. Однимъ изъ первыхъ его трудовъ была біографія Калайдовича; затѣмъ имъ были отысканы и по частямъ издаваемы (въ „Русской Бесѣдѣ“ и потомъ отдѣльно) сочиненія знаменитаго нынѣ, а тогда еще совсѣмъ неизвѣстнаго Крижанича, (котораго въ первое время не умѣлъ назвать самъ г. Безсоновъ); далѣе, были изданы имъ сборники болгарскихъ пѣсенъ, по рукописямъ болгаръ, учившихся тогда въ московскомъ университетѣ; по смерти Кириѣвскаго московское Общество любителей россійской словесности поручило г. Безсонову редакцію сборника его пѣсенъ; въ то же время онъ самъ надѣлъ большой сборникъ духовныхъ стиховъ¹⁾; далѣе, небольшой сборникъ „дѣтскихъ пѣсенъ“ (М. 1868) и сборникъ пѣсенъ бѣлорусскихъ, о которомъ будемъ говорить впоследствии, и пр. Труды г. Безсонова чрезвычайно характерны, въ особенности если считать ихъ образчикомъ того „народнаго направленія“, какое разумѣлъ Ор. Миллеръ и которому они несомнѣнно принадлежать.

— И. С. Аксаковъ („Рус. Старина“, 1886, мартъ, и тоже, полнѣе, въ „Извѣстіяхъ“ Слав. Общества, 1886, февраль, также въ Сборникѣ рѣчей и статей въ память Аксакова, М. 1886).

— И. С. Аксаковъ и 19 февраля (въ „Извѣстіяхъ“ Слав. Общ. 1886, апрѣль, май).

— Мессіанизизмъ и славянофильство („Новости, 1887, 29 октября, по поводу книги Урсина).

— Еще къ вопросу о былинахъ, въ „Журн. мин. просв.“, 1888, июль, по поводу диссертациі г. Халаскаго.

— О. И. Буслаевъ, по поводу 50-лѣтняго юбилея, въ „Пантеонѣ литературы“, 1888, сентябрь.

— „Замѣчательный трудъ о народничествѣ“, въ „Рус. Курьерѣ“, 1888, № 303—304, по поводу книги г. Юзова.

1) Калѣки переходіе. Сборникъ русскихъ народныхъ стиховъ. Съ рисунками и нотами. Составилъ и издалъ П. Безсоновъ. Москва, 1861—1864. 6 выпусковъ. Рецензіи: Срезневскаго и Биларскаго, въ „Извѣстіяхъ“ Акад. т. IX, X; Тихоураова, въ 33-мъ присужденіи Демидовскихъ наградъ; статья г. Буслаева, въ „Русской Рѣчи“, 1861.

Труды г. Буслаева и Афанасьева — какъ бы ни смотрѣли на многіе ихъ выводы—дали сильный толчекъ изученію нашей народной поэзіи, и они были однимъ изъ яркѣхъ фактовъ воздѣйствія европейской, особливо нѣмецкой, науки, въ лицѣ Гримма и его школы. Славянофильство (хотя само имѣло одинъ изъ основныхъ источниковъ своихъ идей въ нѣмецкомъ философствованіи) отверщивалось отъ гнилой Европы и желало, какъ вообще, такъ и въ частномъ вопросѣ о народной поэзіи, проводить самобытную русскую мысль. Носителемъ ея являлся темеръ г. Безсоновъ. Бывши уже съ пятидесятихъ годовъ участникомъ славянофильскихъ изданій, онъ послѣ съ гордостью ссылаясь на свою близость къ главамъ славянофильства ¹⁾ и сталъ въ нѣкоторомъ родѣ довѣреннымъ ученымъ школы въ вопросахъ филологіи и народной старины: ему поручено было изданіе и комментированіе пѣсенъ Кирѣвскаго; онъ писалъ замѣчанія къ пѣснямъ Рыбникова; ему, какъ „специалисту“, поручена была редакція грамматическихъ трудовъ К. Аксакова. Работая надъ сборникомъ Кирѣвскаго, г. Безсоновъ положилъ много труда на распредѣленіе матеріала, собраніе вариантовъ ²⁾, въ своихъ примѣчаніяхъ сообщалъ не мало полезныхъ фактическихъ указаній; въ пѣсняхъ онъ сталъ большимъ начетчикомъ и умѣлъ вѣрно отличать фальшь и поддѣлку—какъ мы уже указывали по поводу изданій Сахарова (были и другіе примѣры): во всякомъ случаѣ онъ былъ горячо преданъ своему дѣлу, зналъ его, какъ издатель ³⁾, и во всемъ этомъ имѣеть безспорную заслугу;—но какъ филологъ и теоретическій истолкователь народнаго поэтическаго преданія и мифологіи, онъ съ самаго начала выступилъ съ чрезвычайно странными приѣмами, и хотя упрекалъ своихъ противниковъ повтореніемъ „нѣмецкихъ книжекъ“, самъ безъ нихъ тоже не обошелся, а тамъ, гдѣ хотѣлъ проводить самобытное „народное“ направленіе, тамъ, въ научномъ смыслѣ, становился совершенно невозможнымъ.

Свои ученые источники г. Безсоновъ указывалъ въ философіи Шеллинга ⁴⁾ и въ сравнительной филологіи,—но примѣненія того и другого такъ необычны, находятся въ такомъ полномъ подчиненіи смѣлой и плодovitой фантазіи автора, что критики рѣдко даже находили нужнымъ вступать съ нимъ въ споръ на этомъ поприщѣ.

¹⁾ См. Пѣсни Кирѣвскаго, вып. 8, стр. LVII, CXII; предисловіе къ филологическимъ сочиненіямъ К. Аксакова.

²⁾ Хотя иной разъ терялъ въ этомъ мѣру, безъ надобности растягивалъ ихъ въ печати, какъ не безъ основанія упрекали его критики, напр. Биларскій (по поводу „Калѣкъ переходящихъ“).

³⁾ Впрочемъ, г. Тихонравовъ въ разборѣ „Калѣкъ“ указывалъ неаккуратности въ передачѣ текстовъ.

⁴⁾ Пѣсни Кир., вып. 8, стр. LVI, XCVIII и др.

Къ своимъ предшественникамъ въ истолкованіи былины,—въ началѣ 60-хъ годовъ это были въ особенности Буслаевъ и Аванасевъ,—г. Безсоновъ относится очень строго. Какъ послѣдователь „Шеллинговой“ миеологіи, г. Безсоновъ считаетъ миеологію по Гриммову методу чистымъ ребячествомъ. Упомянувъ, что, по его первымъ замѣткамъ къ пѣснямъ Рыбникова и Кирѣвскаго, его заподозрили въ невниманіи къ миеологіи, г. Безсоновъ возражаетъ, что онъ не находилъ миеологіи лишь тамъ, гдѣ ея нѣтъ:

„А гдѣ есть ея слѣды,—продолжаетъ онъ,—тамъ мы предпочитаемъ итти съ осторожностію ¹⁾ и намѣренно стараемся, чтобы наши выводы не походили на разсужденія современныхъ русскихъ миеологовъ. Для нихъ безъ различія все равно въ язычествѣ, что вѣросознаніе и что народный бытъ, народное творчество, что ееологія и что отвлеченное возрѣніе или исторически сложившееся понятіе, что миеологія и что демонологія, что космогонія и что явленія внѣшней природы. Для нихъ свѣтъ, огонь, тепло, холодъ, лѣто, зима, весна, заря, ночь, солнце, мѣсяцъ, звѣзды, вѣтеръ, молнія, дымъ, конь, быкъ, и тому подобныя рѣдкія явленія природы, съ прибавкою изъ третьей руки долетѣвшихъ фразъ объ язычествѣ, о первобытномъ возрѣніи, о непосредственности бытія, о близости человѣка къ природѣ и т. п., все это дало для плодотивныхъ изслѣдователей неизсякающую и неизблемую почву для построенія самой богатой русской миеологіи... Стоитъ только чихнуть отъ насморка или промолвиться любой старушкѣ, чтобы этимъ изслѣдователямъ создать уже новое русское божество отдаленной мненческой эпохи, со всѣми атрибутами грознаго явленія, ввести его въ антагонизмъ съ христіанствомъ и съ любопытствомъ слѣдить за перипетіями отчаянной борьбы: игра, составляющая для ученыхъ такое же привлекательное занятіе, какъ ералашъ для остальнаго нашего общества...» (Пѣсни Кир., вып. 4, стр. ХСVII и д.) ²⁾.

Замѣчанія о преувеличеніяхъ миеологическихъ имѣютъ свою долю правды: къ сожалѣнію, собственныя толкованія автора не подкрѣпляютъ его полемики и еще гораздо меньше могли удовлетворить научному требованію.

Свою исходную точку и путь изслѣдованія г. Безсоновъ опредѣляетъ такимъ образомъ. Разыскивая до-историческую старину не только русскаго народа, но и славянства, мы встрѣчаемся съ огром-

¹⁾ Дальше увидимъ ея образчики.

²⁾ По поводу былины о борьбѣ Ильи-Муромца съ поганимъ Идолицемъ, г. Безсоновъ замѣчаетъ (тамъ же, стр. X): „Въ столкновеніи съ Ильей, представителемъ не одной внѣшней дѣйствительности, а вмѣстѣ и проникнувшихъ къ народу христіанскихъ началъ и возрѣній, Идолице является врагомъ христіанства, образцомъ язычества, въ сферѣ миеологической. Поразительное доказательство не однажды повтореннаго нами мѣннія объ отсутствіи въ Ильѣ-Муромцѣ началъ языческихъ и миеологическихъ, объ его *христіанскомъ* характерѣ: кто же изъ страстныхъ искателей русской миеологіи и русскаго язычества можетъ допустить, чтобы представитель язычества боролся съ язычествомъ, представитель миеологіи съ миеологіей — въ лицѣ врага Идолица?“

нымъ пробѣломъ, — именно пробѣломъ между древнѣйшими свѣдѣніями о славянскихъ и русскихъ божествахъ (Сварогъ, Дажбогъ и пр., которыхъ онъ сближаетъ съ индѣйскими) и послѣдующимъ, уже прямо *историческимъ* бытомъ.

„Затѣмъ разломъ, пропасть, и вдругъ передъ глазами готовый уже народъ, на опредѣленныхъ, историческихъ мѣстахъ жительства, сложившійся изъ родовъ въ бытъ міра, земли, общины, верви, съ началомъ положительный исторіи, съ лѣтописями и прочими памятниками, гдѣ на первый взглядъ — никакой почти повѣсти *до-исторической*, гдѣ отъ старыхъ божествъ кое-какія лишь имена, и то съ признаками старости и ветхости, десятокъ размельчавшихъ божествъ безъ энергической силы, куча существъ демоническихъ и потомъ длинный рядъ героевъ, богатырей, юнаковъ, въ образахъ творческихъ, поэтическихъ, но уже принадлежащихъ *исторіи положительной*... За исключеніемъ крайнихъ отпрысковъ западнаго славянства, болѣе опредѣлившись, вѣроятно отъ столкновеній съ западными народами и поглощенныхъ ими... нѣтъ почти никакихъ у славянъ идоловъ, языческихъ храмовъ, жрецовъ; нѣтъ даже и борьбы съ христіанствомъ, и славяне переходятъ къ нему совсѣмъ готовые, будто къ ступени самой ближайшей, и вносятъ съ собою въ жизнь христіанскую такіе мирные слѣды язычества, которые уживаются съ христіанствомъ просто какъ народность, какъ образъ и сосудъ для воплощенія новыхъ явленій бытія духовнаго, какъ слово для выраженія христіанскихъ идей; борьба, которую пронизательно усматриваютъ здѣсь наши новѣйшіе русскіе ученые, есть въ сущности не что иное, какъ борьба нѣмецкой книги, послужившей источникомъ, съ дѣйствительною русскою жизнію и здравымъ разсудкомъ. За этой интересной борьбою они не видали доселѣ той огромной пропасти, которая помянута нами выше, которая дѣйствительно существуетъ, какъ пробѣлъ для науки между первыми началами до-исторической жизни славяно-русовъ и повднѣйшимъ проявленіемъ жизни исторической, появляющейся, какъ Паллада, прямо изъ головы, безъ всякихъ замѣтныхъ переходовъ и ступеней.

„Пробѣлъ для науки: не было ли его и въ самой жизни, въ самой до-исторической дѣйствительности? Трудно повѣрить, на самый первый взглядъ. Между столпотвореніемъ, отъ котораго раздѣлились и пошли народы, а вмѣстѣ пошелъ и народъ славянскій со своимъ Дажбогомъ, до первыхъ вѣковъ по Р. Х., когда славяне упоминаются, и до IX-го вѣка, когда начинаютъ говорить о себѣ сами, на поприщѣ положительной исторіи лежало времени не мало и не могли славяне наполнить его одной праздною и бездѣйствіемъ... Въ этомъ промежуткѣ лежалъ цѣлый міръ стихій, что-нибудь творившихъ же въ сознаниі, и у стихійныхъ божествъ, до насъ уцѣлѣвшихъ лишь по имени, было, конечно, не одно имя, а подъ именемъ цѣлая исторія, полная событій, выражавшихся и въ богопоклоненіи, во внѣшнихъ обрядахъ; а послѣ стихій еще выработанныя представленія объ организмѣ, организмѣ животный и человѣческой, зооморфизмъ и антропоморфизмъ... Гдѣ все это, — не въ томъ жалкомъ безобразіи, какъ открываютъ наши ученые, а въ значеніи вѣросознанія, творившаго духъ славяно-русскаго человѣка?.. А самый духъ? Послѣ того, какъ онъ былъ задавленъ космическою силою, царствовавшей въ вѣросознаніи... до той минуты, когда славяно-русскій народъ явился какъ бы вдругъ совершенно готовымъ къ христіанству и какъ бы сразу удостоился сдѣлаться лучшимъ сосудомъ высшаго изъ христіанскихъ вѣросознаній, православія, въ этомъ

опять промежутокъ какая длинная и долгая должна была совершаться исторія! Съ разу такъ шагнуть не могъ ни одинъ народъ...

„Итакъ, наука должна искать этого искомаго. Нужно сознаться лишь, что это не такъ легко... Нашъ народъ спѣшилъ въ исторію, и въ исторіи все еще доселѣ живетъ надеждою на будущее, предвидя тамъ себѣ высшую задачу, а потому оставилъ насъ въ скудости данныхъ для уразумѣнія длинной эпохи до-исторической. Лишь языкъ даетъ здѣсь такое богатство средствъ, какое не у всѣхъ народовъ; съ него и должны всегда начинать мы. Гдѣ же добытое нами не совсѣмъ полно и ясно, такъ мы должны обращаться къ народамъ, у которыхъ всѣ пройденныя поприща развитія болѣе ясны, и хотя не всегда одинаково глубоки, но по крайности выражены нагляднѣе въ творчествѣ.

„Лучшая помощь въ этомъ дѣлѣ греки... Грекъ прошелъ всѣ пути языческаго вѣросознанія, отъ верхняго края до нижняго, отъ предѣла до предѣла; ни одинъ язычскій народъ не сравняется съ нимъ въ этой полнотѣ...

„Въ настоящемъ случаѣ, для пополненія нашего пробѣла, греческая миеологія важна тѣмъ, что послѣ кроническаго и стихійнаго періода, гдѣ у насъ ощутительный обрывъ, у грековъ вступаютъ по порядку зооморфическія представленія, переходятъ въ антропоморфическія, углубившія въ себя духъ человѣчскій выносить на сцену и свой образъ, настаетъ лучшее время сочетанію идеи и образа, всѣ прежнія божества въ вѣросознаніи перерождаются, отрывается Олимпъ съ божествами преображенными, съ царемъ Зевсомъ, и весь періодъ Зевса является новымъ, полнѣйшимъ и обильнѣйшимъ періодомъ миеологіи, творчества, искусства. Этотъ-то періодъ и долженъ для славянъ уяснить многое, пологая черты ихнихъ образовъ, подсказывая недосказанное, тѣмъ болѣе, что онъ долженъ былъ имѣть вліяніе на славянъ и по сосѣдству...

„Повторяемъ, возстановить образность и опредѣленность неясныхъ обликовъ и одинокихъ именъ славянскихъ божествъ изъ этого періода можно только посредствомъ сближеній съ миеологіей греческой. Мы думаемъ, напримѣръ, что отчасти уже достигли этого, сравнивая *Велеса* или *Волоса* съ греческимъ *Гелиосомъ*—по смыслу съ *Фебомъ* ¹⁾),—*Купалу* съ *Кувелю*, *Соботки* съ *Сабациями* и т. д. Еще больше должны мы ждать отъ періода Зевсова или Олимпійскаго“ (Пѣсни Кир., 4, стр. LXVIII—LXXV).

Такова исходная точка г. Безсонова. Онъ выставляетъ мысль, въ сущности справедливую—о необходимости изслѣдованія самаго хода миеологическаго процесса, разчлененія миеологіи по ея постепенному развитію, различенію ея на отдѣльныя формы и ступени содержанія. Онъ справедливо указываетъ недостатки миеологическаго изслѣдованія, которое не задумывалось объяснять существо древней русской миеологіи, не имѣя для этого другихъ основаній, кромѣ предвзятой теоріи, смѣло расточая миеологическія черты на каждое слово народнаго повѣрья и поэзіи, такъ что миеѣ терялъ, наконецъ, всякіе предѣлы. Далѣе, въ нашей миеологіи есть, дѣйствительно, перерывы: трудно связать напр. даже первыя историческія свѣдѣнія о русскомъ бытѣ съ миеическими чертами былинны. Въ общемъ, справедлива мысль, что при разъясненіи хода нашей миеологіи—столь бѣдной

¹⁾ Зачѣмъ только авторъ неправильно пишетъ это имя?

опредѣленными фактами—можетъ съ пользой служить аналогія. Но этимъ и кончается. Если есть въ до-историческихъ судьбахъ нашего народа и его „вѣросознанія“ *пропасть*, которую наши миеологи иногда дѣйствительно одолѣвали слишкомъ смѣлыми скачками, то самъ авторъ дѣлаетъ этотъ скачекъ совсѣмъ очертя голову, какъ настоящій *salto mortale*.

По своей собственной теоріи, авторъ дѣлаетъ ошибку въ томъ, что „періоды вѣросознанія“ не одинаковы у всѣхъ народовъ: по различнымъ историческимъ условіямъ жизни народовъ, оно развивается сильнѣе или слабѣе, въ ту или другую сторону, и въ данномъ случаѣ славяно-русская и греческая миеологія несоизмѣрима. Греческій Олимпъ образовывался рядомъ съ успѣхами цивилизаціи, съ роскошнымъ развитіемъ поэзіи, искусства, философіи; у насъ были лишь зачаточныя формы, которыя невозможно сравнивать съ формами, блестяще развитыми, сколько бы ни было общаго въ первоначальныхъ исходныхъ точкахъ обѣихъ миеологій. Что аналогіи г. Безсонова противорѣчатъ самому взгляду Шеллинга, указывалъ уже Котляревскій ¹⁾.

Точно такъ же какъ осуждаемые имъ миеологи, г. Безсоновъ беретъ матеріалъ въ сыромъ видѣ, безъ всякаго предварительнаго критическаго осмотра. Такъ, напр., онъ разыскиваетъ „духъ славяно-русскаго человѣка въ эпоху общеславянскую“ (ни болѣе, не менѣе) по сказкамъ объ Иванѣ богатырѣ—не сдѣлавши никакихъ справокъ о содержаніи этихъ сказокъ, о томъ, нѣтъ ли у нихъ параллелей или двойниковъ между сказками другихъ народовъ, т.-е. даже безъ опредѣленія того, чтó въ этихъ сказкахъ можетъ быть признано за собственно славянское и русское; при всемъ этомъ—произволь толкованій, доходящій до научной невѣроятности ²⁾). Разсужденія о камнѣ-алатырѣ ³⁾; филологическія и миеологическія разысканія о богатыряхъ Потокѣ и Чурилѣ, и отцѣ послѣдняго Пльнѣ ⁴⁾, и друг., столь необычны и странны, что останавливаться на ихъ разборѣ бесполезно. Забвеніе критической азбуки доходило до того, что авторъ подвергалъ своему филолого-мистическому истолкованію даже героевъ сказокъ, завѣдомо чужихъ, новѣйшихъ и книжныхъ, какъ, напр., богатырь Бова и Полканъ ⁵⁾).

¹⁾ Старина и народность, Москва, 1862, стр. 34.

²⁾ Пѣсни Кир., вып. 3, стр. 3, XXXV и д.

³⁾ Тамъ же, вып. 4, стр. II и слѣд.

⁴⁾ Тамъ же, вып. 4, стр. XXXI—L; стр. LVIII—XCVI.

⁵⁾ Тамъ же, вып. 3, стр. XVIII; вып. 4, стр. CLXXXIV. На это невозможное обращеніе съ чужими богатырями указывалъ въ свое время Котляревскій: Старина и народность, стр. 32 — 33. Въ то же время г. Безсоновъ страннымъ образомъ не

Но разыскивая мифическіе остатки, г. Безсоновъ, опять не въ примѣръ другимъ изслѣдователямъ, не признаетъ мифическими лицами героев былинны, какъ Илья-Муромецъ, Чурила и другіе. „Сохрани Богъ“, — восклицаетъ онъ по поводу Чурилы, въ которомъ онъ только-что передъ тѣмъ открылъ славяно-русскаго Гермеса: — „это самое живое существо, богатырь самый образный, весь плоть, безъ рефлексіи, лишь въ очертаніяхъ народнаго творчества. Сквозь образа *сквозитъ* мифъ; но самый образъ не есть мифъ, а образъ творческій, поэтическій, съ жизнью тогдашней поры, въ обстановкѣ всего тогдашняго порядка вещей“¹⁾. Эту сторону эпическихъ богатырей былинны г. Безсоновъ представляетъ какъ олицетвореніе или символъ судьбы самой русской земли и народа. Изъ „каменя-алатыря“ авторъ вывелъ особый „алатырскій періодъ“ русской первобытной древности; сказочный Иванъ-богатырь есть представитель слагавшагося народа; Кощей—представитель быта кочевого; такъ-называемые „старшіе богатыри“ вообще олицетворяютъ элементъ стихійный, титаническій, — въ сознаніи народа они отодвигаются въ даль, и когда русскій міръ вышелъ изъ эпохи стихійнаго вѣросознанія и кочевья и упрочилъ формы своей жизни христіанствомъ и политическимъ бытомъ, они являются какъ противоположность ему: богатырь Святгоръ не долущенъ новою жизнью и обреченъ на смерть. Илья-Муромецъ есть именно представитель этой новой жизни, земли и земщины; и такъ какъ новая жизнь занята прежде всего укрѣпленіемъ добытаго, упроченіемъ выработанныхъ началъ, то она не можетъ оставаться неподвижною и переходить въ дружину, которая есть „та же земля, только въ движеніи“ и т. д.²⁾ Это символическое толкованіе г. Безсоновъ примѣняетъ потомъ и къ разнымъ другимъ героямъ былинны.

Пріемъ г. Безсонова—въ объясненіи былинны — былъ уже достаточно опредѣленъ при самомъ появленіи его „замѣтокъ“ къ пѣснямъ Кирѣевскаго и Рыбникова. Котляревскій и г. Буслаевъ указывали на странность его системы филологической, опиравшейся на столпотвореніе вавилонское и на сравнительное языкованіе; указывали на удивительныя приложенія философіи миеологии Шеллинга, сравненія Геркулеса съ русскимъ „Тараваномъ“, финиійскаго божества Мель-

зналъ, что происхожденіе сказки давно объяснено изъ итальянскаго романа *Вуово d'Antona*, и утверждалъ, по Хомякову, что Бова взятъ изъ англійскаго *Bewis*, и проч.

¹⁾ Тамъ же, 4, стр. XCV.

²⁾ Отношеніе двухъ періодовъ, авторъ, по фактамъ былинны, объясняетъ очень своеобразнымъ указаніемъ на отношенія Ильи-Муромца къ бабѣ-горыничанкѣ (Пѣсни Кир. 4, стр. VII—VIII).

карта съ Морольфомъ и свазочнымъ „Маркомъ богатымъ гостемъ“, Гермеса съ Чурилой Пленковичемъ и т. д. ¹⁾).

Они указывали, далѣе, на невозможность объясненія былинны аллегоріей, которая вообще неприложима къ эпосу, — особливо, когда г. Безсоновъ, въ одно и то же время, толкуетъ былинну и ея героевъ какъ миѳъ, какъ аллегорію, и какъ реальное историческое изображеніе. Котляревскій приходилъ къ увѣренности, что въ изслѣдованіяхъ г. Безсонова нѣтъ „никакого проку для науки“; г. Буслаевъ недоумѣвалъ, какъ Общество любителей россійской словесности (издававшее пѣсни Кирѣвскаго), понимая высокую цѣну матеріаловъ Кирѣвскаго, согласилось на такую постановку „обще-національнаго дѣла“.

Едва открытая историческая область древняго русскаго эпоса представляла на дѣлѣ такое сложное явленіе, что послѣ перечисленныхъ работъ допускала еще цѣлый рядъ новыхъ толкованій. Ученые, присматриваясь ближе къ предмету, приступая къ нему по разнымъ путямъ, находили въ немъ все новыя стороны, и вопросъ опять какъ будто долженъ былъ ставиться сначала. — Выставленныя теоріи представляли еще много несовершеннаго; нныя грубыя ошибки бросались въ глаза; сантиментальность или мистическая философія видимо не шли къ существу дѣла...

Въ такихъ условіяхъ являлась новая теорія объясненія былинны, представленная г. Стасовымъ, и которая въ свое время произвела цѣлый переполохъ въ ученомъ филологическомъ мірѣ ²⁾. Г. Стасовъ, съ одной стороны недовѣрчиво смотрѣлъ на тѣ рѣшительныя выводы, которые открывали всю подноготную древней былинны, въ ея герояхъ отыскивали стихи и таинственный символъ и аллегорію; съ другой, его вниманіе остановили различныя совпаденія былинны съ восточной поэзіей. Недовѣріе было не лишено основаній, и изслѣдо-

¹⁾ Котляревскаго, Старина и народность, стр. 31 и слѣд.; Буслаева, Р. богат. эпосъ, Р. Вѣстникъ, 1862, № 9, стр. 18—19; № 10, стр. 565—571.

²⁾ „Происхожденіе русскихъ былинъ“, Вѣсти. Евр. 1868, январь, февраль, мартъ, апр., июль, июль; „Критика миѳъ критиковъ“, Вѣсти. Евр. 1870, февръ, мартъ.

Статьи г. Стасова вызвали слѣдующій рядъ обличеній:

— Буслаевъ, въ отчетѣ о 12-мъ присужденіи Уваровскихъ наградъ, Сиб. 1870; тамъ же краткая рецензія акад. Шифнера.

— Ор. Миллеръ, въ книгѣ объ Ильѣ-Муромцѣ и въ газетныхъ статьяхъ.

— Безсоновъ, въ „Пѣсняхъ Кирѣвскаго“, вып. 6.

— Гильфердингъ, въ газетѣ „Москва“.

— Ив. Некрасовъ, въ „Актѣ Новоросс. университета“, 1869.

— Всев. Миллеръ, въ „Бесѣдахъ Общества любителей рос. словесности“, вып. 3. Москва, 1871.

— А. Веселовскій, въ Журн. мин. проsv., 1868, ноябрь, — и друг.

ваніе г. Стасова являлось какъ будто примѣненіемъ стариннаго со- вѣта—*similia similibus curare*, т.-е. вышибать клинъ клиномъ. Этимъ вторымъ клиномъ должна была послужить теорія происхожденія на- шихъ былинь съ востока.

Взглядъ г. Стасова былъ таковъ, что онъ исключалъ уже всякую возможность миеологическаго или аллегорическаго, и даже историче- скаго толкованія былины, и свои новые выводы онъ именно противо- поставляетъ тѣмъ, какіе дѣлали прежде г. Буслаевъ, Аванасьевъ, Ор. Миллеръ, К. Аксаковъ, Безсоновъ. Въ противность всѣмъ мнѣ- ніямъ, что въ былинѣ мы имѣемъ самобытное національное произве- деніе, хранилище древнѣйшихъ поэтическихъ преданій, г. Стасовъ заявляетъ, что ничего этого нѣтъ, что наша былина происхожденія даже вовсе не русскаго, а заимствована цѣликомъ съ востока; что содержаніе нашихъ былинь есть только пересказъ эпическихъ про- изведеній, поэмъ и сказокъ востока, притомъ неполный, отрывочный, какъ бываетъ неточная копія, подробности которой могутъ быть по- няты лишь по сравненіи съ оригиналомъ; что сюжеты, хотя и арій- скіе (индѣйскіе) по существу, пришли къ намъ всего чаще изъ вто- рыхъ рукъ, отъ тюркскихъ народовъ и въ буддѣйской обработкѣ; что время заимствованія—скорѣе позднее, около временъ татарщины, чѣмъ раннее, въ первые вѣка нашей исторіи, въ эпоху давнихъ тор- говыхъ сношеній съ востокомъ.

Чтобы доказать свой тезисъ, г. Стасовъ дѣлаетъ множество сли- ченій нашихъ былинь и сказокъ съ восточными. Въ началѣ, онъ беретъ сюжетъ болѣе поздній—сказку объ Ерусланѣ Лазаревичѣ, во- сточное происхожденіе которой не подлежитъ сомнѣнію, и указы- ваетъ, какъ русская редакція передѣлала персидскій оригиналъ; затѣмъ подобнымъ образомъ онъ разбираетъ старья былины объ Ильѣ- Муромцѣ, Добрынѣ, Потокѣ, Садеѣ и пр., и пр., и вездѣ находитъ первообразы былины въ индѣйскихъ поэмахъ и ихъ разныхъ тюрк- скихъ повтореніяхъ,—причемъ обнаруживается, что русскій рассказъ иногда непонятенъ въ своихъ отрывочныхъ подробностяхъ безъ допол- ненія ихъ по подлиннику. Пересмотрѣвъ содержаніе цѣлаго ряда былинь и сличая ихъ съ восточными „оригиналами“, г. Стасовъ пришелъ къ заключенію, что основа и „скелетъ“ былинныхъ сюжетовъ взяты изъ восточныхъ источниковъ,—не въ томъ смыслѣ, чтобы онъ могъ именно указать тотъ или другой индѣйскій, тибетскій или киргизскій подлинникъ данной былины, а въ общемъ смыслѣ, что сходство заставляеть предполагать оригиналъ въ этомъ *кругѣ* сказаній.

Убѣдившись въ сходствѣ или тождествѣ сюжетовъ, авторъ пере- ходитъ къ частностямъ содержанія и прежде всего, сличивъ былину со сказкой, убѣждается, что между ними вовсе нѣтъ той разницы,

какую въ нихъ вообще указываютъ, видя въ сказкѣ или игру вымысла, фантазіи, или, по крайней мѣрѣ, отголосокъ отдаленнѣйшей мифической старины, а въ былины—отраженіе исторической судьбы народа. Г. Стасовъ, наоборотъ, видитъ въ обѣихъ одинъ господствующій тонъ и характеръ, одинаковыхъ богатырей, одинаковыми чудеса и приключенія и т. д., и ни въ той, ни въ другой не находитъ „былей“, т.-е. фактовъ. Авторъ, впрочемъ, предоставляетъ былинамъ называться былинами, потому что „въ общемъ употребленіи есть столько невѣрныхъ техническихъ названій, именъ и терминовъ, по всѣмъ отраслямъ знанія, что измѣнять ихъ всѣ—быть бы трудъ слишкомъ громадный и наврядъ ли исполнимый“.—Быть можетъ, однако, чужая основа была облечена самостоятельными чертами содержанія?—но въ такомъ случаѣ это надо доказать. „Еще слишкомъ мало, съ патриотическимъ, впрочемъ очень похвальнымъ, чувствомъ благоговѣть передъ *духомъ, характеромъ и оригинальными самостоятельно-національными личностями* нашихъ былинь. Надо подробнымъ разборомъ подтвердить, что этотъ духъ, этотъ характеръ, эти личности — дѣйствительно наши, что они выражаютъ духъ, характеръ и личности именно нашего, а не какого-нибудь другого народа“. Приступивъ самъ къ разбору этихъ подробностей—личнаго характера богатырей, обстановки событій, природы, быта и т. д., авторъ приходилъ вездѣ къ отрицательному выводу, а именно:

Со стороны характеровъ и изображенія личностей, былины ничего не прибавили своего и новаго къ иноземной основѣ своей. Въ князѣ Владимірѣ нашихъ былинь нечего искать дѣйствительнаго князя Владиміра, а есть въ немъ нѣчто другое, именно черты, приписываемыя царю Кейкаусу въ „Шахъ-наме“, брахману Вишну-свами у Сомадэвы, мудрецу Сандимани въ „Гариванзѣ“, князю Богдо Джангару въ „Джангаріадѣ“ и т. д.; въ книгѣ Апраксинъ повторяются персидская царица Судабэ, брахманка Каларатри; въ Добрынь живутъ вмѣстѣ Кришна, Рама, Арджуна, разные сибирскіе и кыргизскіе богатыри; въ Сады—брахманъ Джинпа-Ченпо, купецъ Пурна и т. д. Точно также, по мнѣнію автора, слѣдуетъ оставить вѣру въ значеніе географическихъ названій, встрѣчаемыхъ въ нашихъ былинахъ: эти названія имѣютъ значеніе только чего-то переводнаго или подставочнаго. На дѣлѣ, напр., „Кіевъ“ былинь былъ въ древнихъ восточныхъ оригиналахъ то столицей тагшасильскаго царства въ Индіи, то Шарра-Алтаемъ Джангара, то резиденціей царя Кейкауса; нашъ Днѣпръ, Волга, Донъ, Ирай, Сафать-рѣви оказываются то Ямуной, или иной поименованной рѣкой, то Синими, Желтыми, Бѣлыми, Черными рѣками тѣхъ же восточныхъ поэмъ; Иорданъ-рѣка нашихъ былинь есть не что иное какъ рѣка Гангъ и разные

пруды, мѣста священныхъ омовеній, и т. д. Гдѣ нашъ богатырь переѣзжаетъ черезъ горы и рѣки, тамъ навѣрное и въ восточныхъ первообразахъ говорится о томъ же; и какія горы въ русской землѣ? Такимъ образомъ, мѣстныя названія составляютъ только переводъ, и въ былинѣ нечего искать и отличать богатырей *областными* или *замскими*: „у всѣхъ у нихъ нѣтъ на самомъ дѣлѣ ничего общаго съ Россіей; они всѣ одинаково *замские* въ нашемъ отечествѣ, и существенной разницы между ними никакой нѣтъ“.—Далѣе, изъ нашей былины нельзя заключать о дѣйствительномъ состояніи нашихъ сословій въ тѣ эпохи, къ которымъ, судя по собственнымъ именамъ, относятся былины. „Если, какъ до сихъ поръ это дѣлалось, выводить изъ нашихъ былинъ заключенія о томъ, чѣмъ именно были, въ описываемый тутъ періодъ, самъ русскій князь, его дружина, княжеская и земская, русскіе богатыри, вупцы, калики, то мы никогда не выйдемъ изъ безконечной цѣпи заблужденій и самыхъ призрачныхъ фактовъ“. Далѣе, въ былинахъ вовсе нѣтъ описаній татарскаго нашествія на древнюю Русь и изображеній татарской эпохи: пѣсня о Батѣ или Калинѣ-царѣ—не картина какого-нибудь историческаго нашествія, а только вообще картина нападенія одного азіатскаго племени на другое,—„въ этомъ нашествіи на Кіевъ столько же исторической дѣйствительности, сколько въ нашествіи князя Данила Вѣлаго на столицу царя Киркоуса, въ сказкѣ о Ерусланѣ Лазаревичѣ“. Далѣе, изъ былинъ нельзя даже сдѣлать вывода о христіанскомъ элементѣ на Руси во времена Владиміра: „всѣ формы, на видъ какъ будто бы христіанскія, въ былинахъ не что иное какъ переложеніе на русскіе нравы и русскую терминологию, разсказовъ и подробностей вовсе не-христіанскихъ и не-русскихъ“. Наконецъ, вообще въ чертахъ быта, богатырскихъ обычаевъ, въ характерѣ построекъ, одежды, вооруженія и т. д., наша былина, за нѣкоторыми исключеніями, повторяетъ свои восточные оригиналы. Въ формѣ былинъ, въ ихъ изложеніи, автору бросается въ глаза отрывчатость, недостатокъ связи, свойственныя конці передъ подлинникомъ; отсутствіе побудительныхъ причинъ въ дѣйствіяхъ героевъ, и т. д. Вообще, авторъ думаетъ, что „былины наши представляютъ наиболѣе сходства съ тѣми восточными разсказами, которые менѣе древни, и притомъ съ такими, которые мы находимъ у народовъ, по географическому положенію своему ближе придвинутыхъ къ Россіи и скорѣе могшихъ имѣть непосредственное съ нею соприсношеніе“.

Ограничимся этими указаніями.

Не было, конечно, возможности выступить болѣе рѣшительно съ отрицаніемъ прежнихъ взглядовъ на былинку, какъ на замобитное русское промзведеніе, съ отрицаніемъ мифологическихъ, символиче-

скихъ и историческихъ ея толкованій. Понятно, что противъ г. Стасова былъ открытъ цѣлый походъ, въ которомъ приняли участіе почти всѣ ученые, въ то время занимавшіеся вопросомъ о былинѣ. Авторъ упорно защищалъ свое мнѣніе, и удачно находилъ слабыя стороны своихъ противниковъ. Споръ кончился, но г. Стасовъ надолго еще оставался цѣлью нападеній, между прочимъ подвергшихъ сомнѣнію его любовь къ родному, русскому,—какъ это впрочемъ случается у насъ со всѣми, кто не хочетъ вторить ходячимъ псевдопатріотическимъ фразамъ и ученымъ взглядамъ ¹⁾).

Въ концѣ концовъ, взгляды г. Стасова не были приняты наукой,—это, кажется, можно сказать положительно. Но они далеко не остались безъ результатовъ—отрицательныхъ и положительныхъ. Во-первыхъ, они несомнѣнно заставили строже оглянуться на прежнія толкованія нашего древняго эпоса, умѣрили жаръ миеологовъ и способствовали устраненію сентиментальныхъ и аллегорическихъ теорій ²⁾. Во-вторыхъ, они указали сторону дѣла, которая хотя и не была самимъ авторомъ рѣшена, но во всякомъ случаѣ требуетъ вниманія. Со времени труда г. Стасова сдѣланы были, какъ увидимъ, многія важныя научныя приобрѣтенія по этому вопросу, но въ былинѣ все еще остается много неяснаго, и именно въ ея общемъ складѣ. Настолько ли, напр., такъ-называемый „былевой эпосъ“ отличенъ отъ сказки, какъ думаютъ обыкновенно; состоитъ ли ихъ различіе (по извѣстнымъ героическимъ сюжетамъ) въ томъ, что сказка есть разрушенная былина, и, напротивъ, не входили ли, въ свою очередь, болѣе свободные сказочные мотивы въ самую былинку—минимъ чисто *былевой* эпосъ? А если такъ, то не бывала ли иногда былина открыта и тѣмъ восточнымъ вліяніямъ, на которыхъ настаивалъ авторъ, а, можетъ быть, какимъ-либо инымъ? Безъ сомнѣнія, авторъ преувеличилъ свой тезисъ до крайности,—но вопросъ все-таки не рѣшался однимъ отрицаніемъ его мнѣнія. Критика указывала ошибку въ самомъ приѣмѣ, гдѣ брались для сравненія не цѣльные сюжеты въ ихъ послѣдовательности и въ ихъ основномъ характерѣ, а отдѣльные эпизоды и подробности. Съ другой стороны, послѣду-

¹⁾ Даже противъ „В. Европа“, гдѣ печатались въ 1863 г. статьи г. Стасова о происхожденіи русскихъ былинъ, дѣланы были язвительные намеки, дававшіе понять, что только западническій недостатокъ „русскаго чувства“ могъ побудить его написать статьи г. Стасова,—хотя, впрочемъ, „В. Евр.“, давая мѣсто этимъ статьямъ, не выразилъ своего мнѣнія ни за, ни противъ: рѣшеніе подлежало суду спеціальной критики, и смѣшно было бы дѣлать изъ этого вопроса *profession de foi* журнала.

²⁾ Замѣчаніе объ этомъ мы встрѣтили и въ статьѣ г. Дашкевича „Къ вопросу о происхожденіи русскихъ былинъ“ (Кіевъ, 1883, стр. 3): онъ также находитъ, что изслѣдованія г. Стасова, хотя сами впавшія въ крайность, „нѣсколько умѣрили крайности“ его предшественниковъ, защищавшихъ миеологическую теорію.

щая критика подтверждала нѣкоторыя наблюденія и впечатлѣнїя г. Стасова, напр., объ отрывочности изложенїя, недостаткѣ мотивировки въ нѣкоторыхъ былинахъ, заимствованныхъ изъ чужого источника (хотя не восточнаго); или о невозможности считать исторически точными сословныя характеристики разныхъ богатырей быliny, и т. п. Вскорѣ предприняты были новыя, гораздо болѣе обширныя сличенїя, поставившія истолкованіе древняго эпоса на совершенно новую почву.

Дальше упомянемъ, что и вопросъ о восточномъ источникѣ нѣкоторыхъ темъ нашей быliny былъ опять поднятъ въ одной новой работѣ г. Потанина.

ГЛАВА IX.

А. Н. Веселовскій.—И. В. Ягичъ.—Новѣйшая школа.

Приступая къ изложенію современнаго состоянія изслѣдованій древняго быта и народнаго преданія, не бесполезно оглянуться назадъ на пройденный наукою путь развитія и способы работы. Этотъ путь еще не великъ: если еще съ первыхъ годовъ XVIII-го столѣтія мы могли наблюдать постоянно усиливавшееся стремленіе къ изученію Россіи и русскаго народа, могли наблюдать, какъ это стремленіе становилось наконецъ живѣйшимъ интересомъ общества и уже скоро сливалось съ гуманно-общественнымъ стремленіемъ къ улучшенію гражданскаго положенія народныхъ массъ, — то научная постановка этнографическихъ изученій восходитъ едва только къ сороковымъ годамъ, когда выросшая на домашней почвѣ любознательность примкнула къ тогдашнему движенію западной науки. Лучшія приобрѣтенія въ нашихъ изученіяхъ были плодомъ этой западной школы. Вся наша наука еще слишкомъ молода, чтобы создать самостоятельное преданіе; — такъ было и въ этнографіи. Это преданіе едва создается теперь, на нашихъ глазахъ.

Первое пробужденіе болѣе или менѣе опредѣленнаго интереса къ *народности* восходитъ у насъ ко второй половинѣ XVIII-го столѣтія, когда онъ былъ въ сущности еще непосредственнымъ продолженіемъ бытового преданія: первые сборники народныхъ пѣсенъ, которые были, напримѣръ, въ Германіи (у Гердера и его современниковъ) результатомъ сознательнаго плана, внушеннаго общественно-философскимъ развитіемъ по стопамъ Руссо,—у насъ были сначала просто изданіемъ ходячихъ рукописныхъ сборниковъ, служившихъ любителямъ народной пѣсни въ практическомъ обычаѣ. Народная поэзія еще не нуждалась въ томъ, чтобы ее разыскивали и возстановляли ея права, и хотя одинъ разрядъ образованнаго общества дѣй-

ствительно удалялся отъ стародавнихъ обычаевъ, въ другомъ они были на-лицо. Уже только позднѣе, къ началу нашего столѣтія, народная поэзія стала здѣсь забываться, и новѣйшіе собиратели должны были искать пѣсенъ, браться за дѣло уже, такъ сказать, съ ученой точки зрѣнія. На первое время ученость была очень плохая. Первые этнографы были чистыми самоучками и не имѣли понятія о научномъ обращеніи съ предметомъ: подъ вліяніемъ времени въ обществѣ пробуждались неясныя инстинкты, догадки о значеніи народности, о необходимости изучать ее и результатъ изученія прилагать къ жизни; но какъ изучать, какіе извлечь результаты, какъ примѣнить ихъ, оставалось неизвѣстно. Напр., у Сахарова эти разысканія были просто темнымъ блужданіемъ, а результатомъ,—ни мало, впрочемъ, не мотивированнымъ,—была только глухая, бѣссознательная ненависть ко всему иноземному, которое, на манеръ XVII-го столѣтія, отождествлялось съ „нѣмцами“.

Когда это стремленіе къ изученію народнаго все больше однако укрѣплялось въ литературѣ, домашнія средства изслѣдованія были крайне скудны. Чѣмъ отвѣчала на этотъ запросъ тогдашняя наука университетская? Въ то время, когда въ нѣмецкой литературѣ появились уже и оказывали свое могущественное дѣйствіе труды Гримма и новая система сравнительнаго языкознанія, у насъ едва подозрѣвали о ихъ существованіи, едва знали имена знаменитыхъ нѣмецкихъ ученыхъ. Первые опыты научной этнографіи появляются въ университетахъ только по возвращеніи изъ путешествій („командировокъ“) первыхъ нашихъ славистовъ: рѣчь о народномъ преданіи, обычаяхъ, интересѣ и способахъ ихъ изученія, ведется съ кафедръ славянскихъ нарѣчій, но объ этомъ пока еще ничего или очень мало знаетъ кафедра русской словесности. Когда г. Вуслаевъ въ половинѣ сороковыхъ годовъ заговорилъ о необходимости новыхъ изученій русскаго языка и въ первый разъ назвалъ Гримма, это обращеніе къ руководству нѣмецкой науки было его собственнымъ личнымъ дѣломъ: онъ самъ прямо черпалъ изъ нѣмецкаго источника. Когда Катковъ въ 1845 издавалъ свой опытъ по изученію языка на почвѣ сравнительной филологіи, онъ опять не имѣлъ руководства въ русской университетской наукѣ и черпалъ методъ изъ нѣмецкаго источника. Такимъ образомъ, когда изученіе нашей народности ставилось впервые на научную основу, это дѣлалось личными усиліями людей новаго ученаго поколѣнія, безъ помощи университетскаго руководства. Это руководство возникаетъ, въ московскомъ университетѣ, лишь съ тѣхъ поръ, когда кафедра русской словесности была занята г. Вуслаевымъ; въ другихъ университетахъ этого руководства не было и долго послѣ,

кромѣ тѣхъ косвенныхъ указаній, какія давались преподаваніемъ славянскихъ нарѣчій.

Съ дѣятельностью г. Буслаева этнографическія изученія, собственно говоря, въ первый разъ получали мѣсто въ университетскомъ курсѣ; онъ первый имѣлъ учениковъ, продолжавшихъ его дѣло. Другіе ученые, работавшіе въ томъ же кругѣ изслѣдованій, или бывали славистами по своей спеціальности или работали собственными средствами, какъ напр. Аванасьевъ и др. Новый рядъ изслѣдователей набирается въ молодомъ ученомъ поколѣніи шестидесятыхъ годовъ, когда совершены были новыя многочисленныя ученныя странствія за границу, и наши молодые специалисты опять получили возможность обращаться къ источникамъ западной, особливо нѣмецкой науки. Здѣсь образовалось, послѣ предварительной подготовки дома, то новое ученое поколѣніе, нѣкоторые представители котораго приобрѣли теперь руководящее значеніе въ изслѣдованіи народнаго преданія, литературы и языка. Назовемъ гг. Веселовскаго и Потемню. Къ счастью, въ нашей университетской жизни установился, кажется, прочно-обычай посылки молодыхъ ученыхъ за границу для довершенія ихъ занятій, обычай, отвѣчающій настоятельному требованію современнаго положенія науки: дѣло въ томъ, что русскіе университеты (какъ и естественно по ихъ давнему и нынѣшнему положенію) не обладаютъ настолько научными силами, чтобы удовлетворить той спеціализаціи, какая распространяется теперь въ науцѣ; необходимо знакомиться съ положеніемъ науки не только въ Германіи, но и во Франціи, иногда и въ Англіи. Университетскій уставъ 1863 г. (насколько благотворное дѣйствіе его не устранено позднѣйшей реформой) устанавливалъ нѣсколько новыхъ кафедръ (географія, антропология, исторія искусства, сравнительное языковѣдѣніе, романо-германская филологія); которыя должны были въ разныхъ отношеніяхъ способствовать изученіямъ этнографическимъ, но дѣйствіе этихъ кафедръ еще слишкомъ ново, чтобы положить прочное основаніе новымъ отраслямъ науки на русской почвѣ.

Такимъ образомъ самыя изученія русской народности, требующія нынѣ цѣлаго ряда спеціальныхъ познаній, могли быть установлены лишь на основѣ европейской науки, и доннынѣ еще находятся въ тѣсной отъ нея зависимости. Наука европейская владѣетъ такими обширными силами, что, очевидно, эта зависимость будетъ продолжаться еще долго, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока у насъ самихъ не наберется достаточный контингентъ этихъ силъ и не образуется своя научная традиція.

Александръ Никол. Веселовскій также только отчасти воспользовался домашней университетской школой и, послѣ первыхъ возбужденій

въ трудахъ и лекціяхъ г. Буслаева, съ самаго начала принялъ направление, не совсѣмъ совпадшее съ направлениемъ учителя, а вскорѣ какъ бы совсѣмъ отъ него отдалившееся. Это совершилось подъ влияніемъ новаго успѣха изслѣдованій въ самой западной, особливо нѣмецкой наукѣ. Г. Буслаевъ былъ по преимуществу, почти исключительно, послѣдователемъ Гримма; г. Веселовскій началъ свои самостоятельныя работы въ ту пору, когда ученіе Гримма, на его родинѣ, повело съ одной стороны къ утрированному развитію его миѳологическихъ идей, а съ другой — подверглось сильному ограниченію, почти отрицанію въ новыхъ теоріяхъ. Въ первомъ направленіи дѣйствовали ученые, которые оказали влияніе и у насъ, какъ напримѣръ Кунъ, Шварцъ, Вольфъ, Маннгардтъ (у Аванасьева и другихъ); въ другомъ направленіи особенно сильное впечатлѣніе произвели труды Бенфея. Въ то время какъ школа Гримма и его послѣдователей исходила изъ предположенія (которое считала аксіомой), что видимое и безконечно повторяющееся сходство преданій у разныхъ народовъ происходитъ изъ ихъ до-историческаго родства, Бенфей собралъ массу указаній, что, напротивъ, сходство преданій объясняется очень часто внѣ условій племенного родства и до-историческаго единства путемъ чисто внѣшняго, устнаго или письменнаго заимствованія. Для доказательства этого положенія требовалось обширное сличеніе преданій и разысканіе тѣхъ литературныхъ путей и международныхъ сношеній, при помощи которыхъ могла произойти передача и заимствованіе; и дѣйствительно, въ послѣдніе лѣтъ тридцать совершены были въ этомъ направленіи громадныя работы, которыя приводятъ уже теперь къ любопытнѣйшимъ результатамъ. Эти работы дѣлались опять въ особенности нѣмецкими учеными, и это весьма естественно. Едва ли какая-нибудь изъ европейскихъ литературъ была въ этомъ отношеніи вооружена столько, сколько нѣмецкая, гдѣ уже болѣе ста лѣтъ тому назадъ Гердеръ въ „*Stimmen der Völker*“ собиралъ образцы всемірной поэзіи и ставилъ нѣмецкой литературѣ задачу усвоенія величайшихъ произведеній литературы и народной поэзіи всѣхъ человѣческихъ племенъ, находя, что нѣмецкая литература уже сдѣлала, а потому и впредь способна сдѣлать въ этомъ отношеніи больше, чѣмъ какая-нибудь другая литература.

Вскорѣ уже накопился громадный запасъ изданій старыхъ памятниковъ средневѣковой литературы, западной и восточной, и запасъ изслѣдованій объ ихъ происхожденіи и связяхъ. Одновременно съ этимъ, въ два-три послѣднія десятилѣтія развился во всѣхъ европейскихъ литературахъ въ невиданныхъ прежде размѣрахъ интересъ къ народной поэтической старинѣ, преданіямъ, поэзіи, за которыми теперь все больше утверждается взятый съ англійскаго терминъ „фольк-

лора" (folklore). Въ настоящее время издается множество небольших журналовъ въ Германіи, Франціи, Италиі, Испаніи, посвященныхъ фольклору, и отдѣльныхъ, часто весьма обширныхъ сборниковъ народныхъ преданій: то и другое еще чрезвычайно умножаетъ массу матеріала народныхъ сказаній, подлежащихъ изученію и сравненію. Это движеніе направило прежнія изслѣдованія на совершенно новую дорогу. Въ прежнее время, предположеніе исконной старинны то или другого народнаго сказанія, суевѣрія и т. п. вело прямо къ заключеніямъ о древней (общей) мифологіи: на днѣ каждаго преданія видѣлся первобытный мифъ; по указаніямъ болѣе или менѣе выработанныхъ мифологій принималось какое-либо натуралистическое толкованіе мифа (напр., почитаніе солнца, олицетвореніе тучи и грозы и т. п.), и такъ какъ можно было предполагать для древнѣйшихъ стадій развитія народовъ одного племеннаго корня одни психологическія основанія мифологическаго творчества, то казалось естественнымъ объяснять содержаніе мифа по тѣмъ же основамъ, какія считались доказанными для другой, чужой мифологіи. Такъ древняя русская мифологія объяснялась на основаніи германской. Теперь оказывалось нѣчто иное. Изслѣдованіе средневѣковыхъ книжныхъ памятниковъ, въ сравненіи ихъ между собою и съ живымъ современнымъ фольклоромъ, указало вѣдъ всякаго сомнѣнія, во-первыхъ, обильные факты книжнаго заимствованія въ средніе вѣка, факты международной передачи сказаній, и во-вторыхъ, продолжающееся существованіе этихъ сказаній въ современной народной памяти, и при послѣднемъ обнаруживалось, что очень многое, что могло бы показаться чисто народнымъ мифомъ, бывало не болѣе какъ развитіемъ и видоизмѣненіемъ вычитаннаго въ книгѣ. Естественно было ожидать, что тѣ же самые потоки народныхъ сказаній, которые въ разныхъ направленіяхъ шли съ востока на западъ и обратно въ средневѣковой Европѣ, захватывали и древнюю Русь; мало того, что старая русская письменность, и современное народное преданіе могутъ разъяснить тѣ или другіе темные пункты въ исторіи средневѣковыхъ сказаній. Древняя Русь стояла въ этомъ отношеніи въ особыхъ условіяхъ. По старой исторической традиціи мы привыкли думать, что она держалась особнякомъ, мало сносилась съ другими народами, имѣла небогатую, почти только церковную письменность, рано отдѣлилась отъ католическаго запада и его литературнаго содержанія и такимъ образомъ создавъ себѣ свою исключительную область поэтическихъ сказаній; между тѣмъ, изслѣдованіе раскрывало слѣды неподозрѣваемаго ранѣе общенія, путемъ котораго приходила масса чужихъ преданій и воздѣйствій культурныхъ. Оказывалось вмѣстѣ съ тѣмъ, что прежнее построеніе мифологіи и „поэтическихъ воззрѣній“ русскаго народа было

только, или въ очень большой мѣрѣ, созданіемъ ученой фантазіи. То, въ чемъ видѣлся мнѣ, являлось нижнимъ сказаніемъ, отъ долгаго обращенія въ народѣ получившимъ внѣшнюю народную складку; что представлялось древнимъ, исключительно русскимъ, было сравнительно новымъ, весьма распространеннымъ, почти всеобщимъ достояніемъ европейскихъ среднихъ вѣковъ. Понятно, что, когда разъ найдены были такія недоразумѣнія, необходимо былъ новый пересмотръ всего состава народнаго преданія, новое указаніе своего и чужого, распредѣленіе дѣйствительно миеологическихъ и чисто поэтическихъ элементовъ, расположеніе ихъ (насколько возможно) по хронологіи народной жизни и письменности, опредѣленіе ихъ источниковъ — для того, чтобы зданіе могло быть построено вновь по болѣе правильному плану и болѣе устойчиво.

Этотъ трудъ предпринять былъ въ особенности г. Веселовскимъ. Онъ былъ питомцемъ московскаго университета. Въ началѣ 1860-хъ годовъ посланный отъ московскаго университета за границу для продолженія своихъ занятій, онъ пробылъ тамъ сверхъ своего срока еще нѣсколько лѣтъ, особенно въ Италіи, увлеченный тѣми богатыми интересами изученія, которые передъ нимъ открывались въ средне-вѣковой старинѣ и которые, въ этомъ новомъ направленіи, онъ первый вносилъ въ нашу научную литературу съ такою широтою наблюдений ¹⁾. Его официальные отчеты, небольшія корреспонденціи и статьи въ журналахъ объ итальянской жизни и литературѣ обращали на себя вниманіе обширной начитанностью и живымъ взглядомъ; въ то же время г. Веселовскій пріобрѣталъ извѣстность въ ученой итальянской литературѣ своими изслѣдованіями по итальянской книжной старинѣ съ той новой критической точки зрѣнія, которая на мѣстѣ была еще нова. Оригинальнымъ для русскаго ученаго образомъ, это были его первыя крупныя изслѣдованія ²⁾. Одно изъ этихъ итальянскихъ разысканій въ русскою обработкѣ послужило магистерской диссертацией по романо-германской филологіи ³⁾. Освоившись на специальной работѣ по первымъ источникамъ съ западнымъ средне-вѣковымъ міромъ и съ приемами изслѣдованія, какъ оно ставилось

¹⁾ Отчеты объ его занятіяхъ за границей напечатаны въ Журн. мин. просв. 1862—1864, и въ отдѣльномъ изданіи: „Извлеченія изъ отчетовъ лицъ, отправленныхъ министествомъ нар. просвѣщенія за границу, для приготовленія къ профессорскому званію. Семь частей. Слб. 1863—1867. I, 397—406; II, 22—29, 323—341; III, 181—184, 458—464.

²⁾ *Novella della figlia del re di Dacia. Testo inedito del buon secolo della lingua.* Pisa, 1866; *Il Paradiso degli Alberti e gli ultimi trecentisti. Saggio di storia letteraria italiana. Scelta di curiosità letterarie inedite o rare.* Bologna, 1867—1869.

³⁾ *Вилла Альберти. Новые матеріалы для характеристики литературнаго и общественаго перелома въ итальянской жизни XIV—XV в.* Москва, 1870.

тогда въ западной наукѣ, г. Веселовскій перешелъ къ изслѣдованіямъ въ мѣрѣ славяно-русскомъ и съ тѣхъ поръ издалъ многочисленныя изслѣдованія, которыя именно ставили связи славяно-русскія въ цѣлую связь средневѣковой поэзіи ¹⁾. Съ начала семидесятыхъ годовъ онъ сталъ профессоромъ исторіи всеобщей литературы въ петербургскомъ университетѣ; съ конца тѣхъ же годовъ — членомъ Второго отдѣленія Академіи.

Предстояла обширная задача, прежде всего особенно аналитическая, и г. Веселовскій положилъ на нее столько труда, сколько не было еще положено на это кѣмъ-либо изъ нашихъ изслѣдователей. Если при первыхъ смѣненіяхъ можно было легко разубѣдиться въ вѣрности прежнихъ мифологическихъ теорій, то предстоялъ вопросъ о новомъ свиданіи. Но сравнительно-историческому анализу предлагалъ такой обширный и запутанный лабиринтъ преданій, что нашъ изслѣдователь, послѣ множества частныхъ изслѣдованій, имъ исполненныхъ, все еще не рѣшается на это предпріятіе. Кромѣ того, что отрывалось слишкомъ много частныхъ подробностей, которыя требуютъ истолкованія прежде, чѣмъ можетъ быть построенъ планъ цѣлаго, нашъ изслѣдователь повидимому увлечается самымъ процессомъ анализа, который доставляетъ столько любопытныхъ рѣшеній на трудные вопросы и ученые загадки. Во всякомъ случаѣ уже и въ настоящемъ положеніи изслѣдованій, сдѣланныхъ г. Веселовскимъ и другими учеными этого направленія, частію его послѣдователями, множество подробностей старой народной поэзіи, современнаго преданія и самаго быта находятъ чрезвычайно интересныя разъясненія.

Приступая къ изслѣдованію русскаго содержанія, нашъ критикъ встрѣчался съ удивительнымъ совпаденіемъ многихъ мотивовъ нашего преданія съ мотивами западными и византійскими. Въ результатъ многое изъ старыхъ выводовъ устранялось, и получались новыя данныя. Какъ мы сказали, изъ мифологіи, какъ она понималась прежде, многое окончателно отпадало; не исчезало, конечно, мифологическое содержаніе, но оно представлялось уже далеко не въ томъ, столь часто произвольномъ видѣ, гдѣ отъ какой-либо формы поэтическаго выраженія или подробности обряда и суевѣрія полагалось

¹⁾ Труды его за 1866—1877 годъ перечислены были въ „Запискѣ“ объ его ученыхъ трудахъ, Срезневскаго, въ „Сборникѣ“ второго отдѣленія Академіи, т. XVIII, 1878, стр. LXVII—LXXIII; были перечислены въ моихъ статьяхъ, „Вѣсти. Евр.“ 1877, 1888; наконецъ, подробно исчислены въ книгѣ: „Указатель къ научнымъ трудамъ Александра Николаевича Веселовскаго, проф. Имп. Сиб. Унив. и академика Имп. Акад. Наукъ. 1869—1885“. Сиб. 1888. Въ послѣднее время труды его находили мѣсто почти исключительно въ „Сборникахъ“ второго отдѣленія, въ „Журналѣ мин. просвѣщенія“, и въ „Archiv für slavische Philologie“, Ягича.

возможнымъ прямо заключать о солнцѣ, явленіяхъ природы, зооморфическихъ божествахъ и т. п.; а напротивъ, являлось чрезвычайно осложненнымъ разнородными наслоеніями, которыя новому изслѣдованію нерѣдко удавалось выдѣлать съ полною точностью. Старая лѣтопись и поученіе говорятъ уже о „двоевѣрїи“, господствовавшемъ въ народѣ, принявшемъ христіанство, и это было дѣйствительно фактъ, характеристическій для тогдашняго состоянія умовъ. Мисслологи прежней школы понимали двоевѣрїе довольно механически, думали, что язычество сохранялось подъ христіанскою внѣшностью и именами, и въ народномъ преданіи, не носившемъ явно христіанскаго характера, склонны были видѣть непосредственную первобытную старину. Очевидно между тѣмъ, что если въ первое время двоевѣрїе могло быть такимъ внѣшнимъ сопоставленіемъ двухъ порядковъ мыслей, какое изобличали древніе книжники, то уже вскорѣ народное вѣрованіе должно было испытать настоящее перерожденіе: два элемента должны были подвергнуться взаимодѣйствию и была вѣроятность, что возобладаетъ тотъ, который получалъ все новыя запасы преданія и бытового значенія, т.-е. христіанскій. Дѣло въ томъ, что когда съ одной стороны несомнѣнно должна была истощаться память стараго язычества и подорванъ былъ самый источникъ его развитія, то съ другой стороны все болѣе расширялся притокъ понятій, преданій, повѣрій и суевѣрій склада христіанскаго. Если будетъ когда-нибудь написана послѣдовательная исторія народныхъ вѣрованій, она несомнѣнно должна будетъ указать постепенное возрастаніе этихъ христіанскихъ вліаній и именно въ ихъ популярной, полу-поэтической, полу-суевѣрной формѣ. Въ народѣ очевидно не проходили философско-догматическія положенія, ему недоступныя; ему понятны были и имъ усвоены только простѣйшія положенія нравственныя (спасеніе души, молитва, милостыня и проч.) имѣеть съ преувеличенной наклонностью къ обрядовой сторонѣ вѣры, и особенно также тотъ поэтическій матеріалъ, который въ изобиліи представляла церковно-популярная письменность. Историки прежняго времени, а послѣ писатели славянофильскіе настаивали на быстромъ распространеніи христіанства въ древней Руси, видѣли въ русскомъ народѣ народъ единственно христіанскій, глубоко проникнутый высокими началами христіанскаго ученія. На это весьма не были похожи упомянутыя утвержденія мисслологовъ, которые полагали, что русскій народъ крѣпко держался языческихъ преданій и весьма усѣбно сберегъ ихъ до настоящаго времени. Истина находится приблизительно на серединѣ. Христіанство, хотя воспринятое не вдругъ, тѣмъ не менѣе уже скоро становится народнымъ вѣрованіемъ; масса невѣжественная, какою она была и въ значительной долѣ остается

донныѣ, не могла уразумѣть новаго ученія во всей его возвышенности, но, сохраняя по умственной и бытовой инерціи старое преданіе, вмѣстѣ съ тѣмъ жадно ловила легендарныя сказанія всякаго рода, какія въ изобиліи сообщала церковная литература и устные рассказы. Мы не имѣемъ достаточно свѣдѣній о томъ, какъ это совершалось въ первые вѣка нашего христіанства; по тѣмъ церковнымъ и лѣтописнымъ памятникамъ, какіе сохранились, очевидно, что вліянія этого рода дѣйствовали съ самыхъ первыхъ вѣковъ: въ этихъ памятникахъ уже проглядываютъ элементы апокрифическихъ сказаній, и рано начинаются увѣщанія противъ „ложныхъ книгъ“, въ число которыхъ помѣщаются также бытовыя суевѣрія и языческія (какъ сонъ и чохъ и т. п.), и христіанскія (какъ „лживыя молитвы“, „худые помоканунцы“ и т. п.). Съ первой поры нашего христіанства возникаетъ монашество съ монастырской легендой и паломничество съ тою массою чудесныхъ повѣствованій, какими оно обыкновенно сопровождается. Едва ли сомнительно, наконецъ, что церковь у насъ, какъ то бывало и въ другихъ мѣстахъ, старалась замѣнять языческія празднества христіанскими, приурочивать церковный обрядъ къ языческимъ обыкновениямъ и т. п., такъ что старое преданіе, не исчезая, получало новое освѣщеніе. Однимъ словомъ, съ самаго начала различными путями въ популярное мировоззрѣніе входитъ все больше христіанскихъ элементовъ, которые питаютъ народную фантазію и направляютъ на новый путь народно-поэтическое творчество. Извѣстно, какую оригинальную смѣсь христіанскаго и языческаго представляетъ памятникъ, близкій къ XII вѣку— „Слово о полку Игоревѣ“, гдѣ рядомъ съ воспоминаніями о Дажьбогѣ и Велесѣ стоитъ Богородица Пирогощая. Если уже вскорѣ русскій народъ начинаетъ противопоставлять себя „поганымъ“ и невѣрнымъ, онъ очевидно дорожитъ своимъ христіанскимъ достоинствомъ, и естественно предположить, что его поэтическое творчество не останется чуждымъ этому сознанію и проявитъ свою дѣятельность въ этомъ смыслѣ. Дѣйствительно, періодъ „двоевѣрія“, а тѣмъ болѣе послѣдующее время представляютъ именно богатое развитіе христіанскихъ элементовъ въ поэзіи и бытовомъ суевѣрїи, такъ что многое, что было относимо прежде въ древнюю языческую мѣологію, должно быть съ большимъ основаніемъ разыскиваемо въ мѣологіи христіанской, и дѣйствительно разыскивается.

Отсюда должно слѣдовать, что судьба народной поэзіи была не совсѣмъ такова, какъ ее представляли прежніе изслѣдователи. Они полагали, что, напримѣръ, мы имѣемъ возможность непосредственно возводить нашъ богатырскій эпосъ къ его предшествовавшей ступени—эпосу мѣологическому; что въ немъ какъ будто произошло

только переименованіе его героевъ, что напримѣръ, за Ильей Муромцемъ можно угладѣть божество грома, или за княземъ Владиміромъ—красное солнышко. На дѣлѣ, переходъ отъ временъ языческихъ, когда можно было бы предполагать миеологическій эпосъ, во временахъ христіанскимъ составляя такой переворотъ, что въ сущности трудно даже представить пока, что могло при этомъ произойти: невозможно представить, чтобы на этомъ пространствѣ народное творчество осталось безучастно и нечувствительно къ тѣмъ новымъ стихіямъ, какія входили въ народное міровоззрѣніе изъ христіанской легенды или вообще изъ той новой массы поэтического содержанія, которое проникало къ народу въ теченіе вѣковъ. Въ самомъ дѣлѣ, новѣйшія изслѣдованія ставятъ внѣ всякаго сомнѣнія, что былина рядомъ съ своими традиціонными народными сюжетами разрабатывала и сюжеты, по своему происхожденію книжные, и разрабатывала въ томъ же самомъ стилѣ пріемовъ, стиха и языка. Такимъ образомъ о прямой преемственности, о неизмѣнномъ самостоятельномъ развитіи исконнаго содержанія не можетъ быть рѣчи; напротивъ, эпосъ свободно воспринималъ то книжное или инымъ путемъ приходившее новое содержаніе, которое отвѣчало интересамъ народной фантазіи, и включалъ это содержаніе въ свой героическій кругъ. Подобнымъ образомъ новое входило въ самую область обрядовой пѣсни, въ которой можно именно исвать отголосковъ древнѣйшей поэзіи и быта.

Такимъ образомъ, когда прежніе изслѣдователи искали, и думали находить, въ народномъ преданіи и поэзіи слѣды первобытной эпохи народной жизни, новѣйшіе изыскатели, напротивъ, останавливаясь на точномъ анализѣ данныхъ фактовъ народнаго творчества, раскрываютъ передъ нами сложное и пестрое зрѣлище той болѣе поздней двоевѣрной поры, гдѣ разнообразно перекрещиваются элементы стараго и новаго, подлинно народнаго и чужого, устнаго и письменнаго, суевѣрно-языческаго или суевѣрно-христіанскаго. Здравый критическій пріемъ состоялъ именно во всестороннемъ осмотрѣ наличныхъ данныхъ, и первое общее впечатлѣніе или первый научный результатъ заключался въ томъ наблюденіи, что наша старина и народная поэзія тѣснѣйшимъ образомъ примыкаютъ къ цѣлому составу средневѣковаго христіанскаго народнаго мышленія и легендарной поэзіи: многочисленныя сличенія подробностей приводили постоянно къ этому общему міру европейскаго средневѣковаго преданія, нерѣдко удивительнымъ образомъ совпадавшаго у самыхъ далекихъ одинъ отъ другого народовъ, въ самыхъ различныхъ эпохи, въ самыхъ различныхъ сюжетахъ. Это было впрочемъ весьма естественно: европейскіе христіанскіе народы имѣли одинъ общій источникъ легенды, суевѣрія и обычая; прежде чѣмъ совершилось раздѣленіе

церквей, успѣла уже создаться и распространиться одинаково на востокъ и западѣ масса легендарно-поэтического матеріала, который одинаково на западѣ и на востокѣ переходилъ въ народную среду и возбуждалъ въ ней самостоятельную дѣятельность въ томъ же направленіи. Естественно, что одна основная тема разбивалась, смотря по множеству мѣстныхъ условий, на разнообразныя варианты: они и застыли какъ въ литературѣ, такъ и въ народномъ преданіи у разныхъ племенъ и, встрѣчаясь съ ними, изслѣдователь имѣетъ возможность возвести ихъ къ общему источнику.

Таково было поприще, которое отрывалось передъ научнымъ анализомъ съ тѣхъ поръ, какъ понята была односторонность Гриммова метода, и съ тѣхъ поръ, какъ Бенфей выставилъ свою теорію международныхъ заимствованій. Къ тѣмъ трудамъ, которые совершены были въ европейской наукѣ для изслѣдованія новаго возникшаго вопроса, достойнымъ образомъ примыкаютъ труды нашего ученаго. Въ этой области новѣйшей науки найдется немного людей, которые овладѣли бы ея матеріаломъ въ такой степени: останавливаясь на томъ или другомъ вопросѣ, онъ привлекаетъ къ сравненію огромную литературу, восточную и западную, древнихъ и среднихъ вѣковъ и современнаго фольклора, отличаясь тѣмъ отъ своихъ западныхъ собратьевъ, что въ его распоряженіи находится также мало или совсѣмъ неизвѣстный на западѣ матеріалъ старо-славянскій, ново-славянскій и русскій, и наконецъ византийскій—въ тѣхъ рукописяхъ нашихъ библиотекъ, которыя оставались неизданы и неизвѣстны западнымъ ученымъ. Сдѣланныя имъ сличенія поражаютъ своимъ разнообразіемъ, обширностью обозрѣваемаго горизонта и часто неожиданностью. Останавливаясь на русскомъ легендарномъ преданіи, на той или другой подробности эпоса, г. Веселовскій обставляетъ ихъ множествомъ сравненій и аналогій, заимствованныхъ отовсюду: ему послужатъ древнее византийское житіе или церковные каноны, западная латинская легенда, скандинавская сага, нѣмецкая и французская средневѣковая поэма, западно-славянское преданіе, румынская или ново-греческая пѣсня, сказанія восточныхъ народовъ, преданія русскихъ полудикихъ инородцевъ, словомъ, громадный матеріалъ, раскиданный на огромномъ пространствѣ географіи и хронологіи и гдѣ однако отыскиваются общія нити народнаго міра и поэзіи. Русская тема, которая служитъ ему исходнымъ пунктомъ и предметомъ разысканія, окружена разъясняющими ее чертами чужихъ преданій и письменности, между прочимъ, такими чертами, которыя невозможно было бы объяснить какимъ-либо до-историческимъ родствомъ и наследственностью отъ одного первобытнаго источника, такъ что прежде всего эта русская тема теряетъ ту исключительность, какая за ней предполагается.

лась, и напротивъ, является только отдѣльнымъ звѣномъ въ международной цѣпи мифа и поэтическаго сказанія. Понятно, что только послѣ этого признанія ея однородности съ другими подобными можетъ быть съ успѣхомъ опредѣлена ея дѣйствительная національная особенность. Во-вторыхъ, изъ этихъ многочисленныхъ сравненій открывается единство иного рода, именно—единство цѣлаго обширнаго міра христіанско-мифологическихъ сказаній и повѣрій, господствовавшаго въ различныхъ вариантахъ во всемъ средневѣковомъ христіанствѣ и очевидно повліявшаго на міровоззрѣніе русскаго народа гораздо сильнѣе, и гораздо болѣе замѣстившаго языческое наследіе, чѣмъ предполагала прежняя мифологическая школа.

Было бы долго перечислять разнообразныя темы, на которыя направлялись изысканія г. Веселовскаго. Онѣ останавливались на древней повѣсти и сектаторской легендѣ, и на житіяхъ, и на русскомъ эпосѣ, и на обрядовой поэзіи, и на старомъ языческомъ или двоевѣрномъ обычаяхъ и т. д. Привлекая къ ихъ объясненію тотъ различный матеріалъ средневѣковыхъ сказаній, который мы сейчасъ упоминали, нашъ изслѣдователь нерѣдко достигалъ двойной цѣли: давая комментарий къ русскимъ сказаніямъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ указывалъ для сказаній западныхъ такія параллели, которыя не были принимаемы въ соображеніе западными комментаторами или вовсе не были имъ извѣстны. Былъ и третій результатъ: въ приложеніяхъ къ своимъ изслѣдованіямъ онъ издалъ не мало неизвѣстныхъ ранѣе текстовъ, напр., старыхъ русскихъ и византійскихъ. Въ послѣднее время длинная серія изслѣдованій была имъ посвящена нашимъ южно-русскимъ былинамъ и духовнымъ стихамъ. Поэтическія темы древнѣйшей русской былинны никогда еще не были представлены въ такой обстановкѣ, какую давалъ имъ г. Веселовскій. Нѣкогда, и еще весьма недавно, онѣ получали толкованіе мифологическое или символично-мистическое—въ обоихъ случаяхъ переносились въ далекую фантастическую область, куда не могло, наконецъ, слѣдовать за ними осязательное изысканіе; теперь мы видѣли ихъ въ наглядныхъ параллеляхъ изъ средневѣковой поэзіи, гдѣ ихъ подробности становились понятны въ сопровожденіи такихъ же примѣровъ поэтическаго творчества у другихъ народовъ. Вмѣстѣ съ этимъ документальнымъ истолкованіемъ древней поэзіи, реставрировалась по тѣмъ же былинамъ и другимъ смежнымъ памятникамъ сама бытовая старина.

Остановимся на нѣсколькихъ примѣрахъ этихъ изслѣдованій. Послѣ диссертациі по итальянской литературѣ и нѣсколькихъ частныхъ работъ, г. Веселовскій обратился къ вопросамъ русской письменной и народно-поэтической старины, въ изслѣдованіи, которое

сразу поставило его въ ряду наиболѣе компетентныхъ знатковъ предмета ¹⁾. Книга уже обращала на себя вниманіе обширными литературными средствами автора. Предметъ былъ взятъ изъ той старой полународной письменности, которая уже въ школѣ г. Буслаева стала привлекаться къ свидѣтельству о народной поэзіи и мифологическомъ преданіи. Но авторъ остался далеко отъ прежняго пути: господствовавшій приемъ въ объясненіи эпоса готовыми мифологическими формулами казался ему слишкомъ податливымъ личному произволу и, напротивъ, приобретенная практика въ реальномъ изслѣдованіи литературныхъ фактовъ—притомъ въ чужой литературѣ, слѣд., внѣ національно-археологическихъ пристрастій—побуждала его къ тому же и въ области древней русской литературы. Обширная начитанность въ средневѣковыхъ памятникахъ,—какою едва ли кто другой изъ русскихъ ученыхъ могъ похвалиться,—отрывала ему столько характерныхъ совпаденій и наглядныхъ образчиковъ движенія народнопоэтическихъ представленій, что все это само по себѣ привлекало къ изслѣдованію. Первый трудъ уже наводилъ на любопытныя заключенія о судьбахъ народнаго преданія и поэзіи. Правда, отъ нѣкоторыхъ выводовъ перваго труда онъ послѣ отчасти отказался или видоизмѣнилъ ихъ, но это объяснялось только тѣмъ, что въ дальнѣйшихъ изысканіяхъ авторъ овладѣвалъ все бѣльшей массой литературныхъ фактовъ, которые доставляли и новыя объясненія ²⁾; но самый путь, методъ изслѣдованія оставался неизмѣннымъ. Писатели мифологической школы причисляли г. Веселовскаго къ послѣдователямъ Бенфея (противополагавшаго ученію о до-историческомъ средствѣ мифовъ, по единству племеннаго происхожденія, теорію позднѣйшаго заимствованія путемъ международныхъ сношеній); но и безъ теоріи Бенфея, къ которому, прибавимъ, нашъ изслѣдователь относится весьма независимо, достаточно было широкаго и критически обставленнаго сличенія фактовъ, чтобы принять между народами „литературное общеніе“ и найти въ немъ источникъ многихъ эпическихъ преданій и сказаній, которыя прежде приписывались самобытному творчеству даннаго народа или сходство которыхъ у разныхъ племенъ относимо было въ отдаленныя эпохи до-историческаго единства. Теперь оказывалось, что къ этимъ ссылкамъ на до-историческія времена во многихъ случаяхъ не было никакого основанія, и

¹⁾ Изъ исторіи литературнаго общенія Востока и Запада. Славянскія сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ и западныя легенды о Морольфѣ и Мерлинѣ. Спб. 1872. Это была докторская диссертация. Разборъ книги, сдѣланный г. Буслаевымъ — въ 16-мъ присужденіи Уваровскихъ премій.

²⁾ См., напр., „Наблюденія надъ исторіей нѣкоторыхъ романтическихъ сюжетовъ средневѣковой литературы“ въ Журн. мнв. просв., 1878, февр., и друг.

что вопросъ ближе и проще рѣшался реальными фактами литературныхъ воздѣйствій и устной передачи въ христіанскія времена.

Открывъ рядъ своихъ изслѣдованій, г. Веселовскій не однажды обращался къ объясненію самаго метода. Это было необходимо, потому что неясность вопроса о методѣ была одной изъ главныхъ причинъ того произвола, какимъ исполнены были прежнія истолкованія миеологін и за нею эпоса. Этому вопросу посвящена была въ особенности статья о „Зоологической миеологін“ Анджело де-Губернатиса ¹⁾. Веселовскій относится очень недовѣрчиво къ той системѣ объясненія миеа, которую представлялъ Ад. Кунъ, Максъ Мюллеръ и ихъ многочисленныя послѣдователи и подражатели. Эта система, по словамъ его, сдѣлалась модой, польза которой очень сомнительна. „Какъ прежде наивно вѣровали въ историческую подкладку всякаго миеа, такъ теперь, увлекшись сравнительнымъ приѣмомъ, всякую обыкновенную исторію норовили обратить въ миеѣ. Стоило только отыскать, что въ той или другой лѣтописи, былинѣ, сказаніи есть общія мѣста, встрѣчающіяся въ другихъ лѣтописяхъ, сказаніяхъ, чтобы тотчасъ же заподозрить ихъ достовѣрность и выдвинуть ихъ изъ исторіи. Ихъ думали объяснить иначе—либо заимствованіемъ, перенесеніемъ нѣкоторыхъ безразличныхъ подробностей изъ одного памятника въ другой, либо миеомъ. Но заимствованіе приходилось бы доказывать для каждаго даннаго случая, а гипотеза миеа такъ удобна!.. Стоить только однажды стать на эту точку зрѣнія, а возсозданіе этого миеа и объясненіе его—дѣло легкое, при податливости матеріала, съ которымъ обращается миеологическая экзегеза. Такимъ образомъ и Роланда, сподвижника Карла Великаго и героя очень реальной *chanson de geste*, хотѣли не такъ давно обратить въ германскаго бога, потому что у того и у другого нашлись сходныя черты“.

При изученіи народныхъ вѣрованій представляются прежде всего слѣдующіе вопросы: какіе отдѣлы народно-пѣстическихъ произведеній подлежатъ миеологическому толкованію, и на чемъ основана исходная точка толкованія? Веселовскій отвѣчаетъ, что миеологъ долженъ прежде всего обратиться къ тому, что самъ народъ принимаетъ еще какъ вѣрованіе—къ обрядной пѣснѣ, къ заговору: здѣсь скорѣе всего мы найдемъ отголоски того непосредственнаго отношенія къ природѣ, какое лежало въ основѣ древнихъ народныхъ религій. Только придя къ извѣстнымъ цѣльнымъ выводамъ на основаніи такого матеріала, изслѣдователь можетъ перейти къ другимъ отдѣламъ народной поэзіи, напр., сказкамъ, отыскивая въ нихъ слѣды той же миеологической системы. Но надо помнить, что самъ народъ не видитъ въ сказкахъ

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1873, октябрь.

даже были, не только върванія, и считаетъ ее „сладкой“, даже иногда не имѣ сложенной, а откуда-то занесенной.

Объясненія мифологіи посредствомъ извѣстной облачной и солнечной теоріи кажутся автору односторонними. Дѣло въ томъ, что такіе мифы были только однимъ изъ выраженій того психическаго акта, который всю природу сознавалъ живою, дѣйствующею по законамъ личной жизни; рядомъ съ мифами небесными были мифы растеній и животныхъ. Это разные циклы мифа возникали самостоятельно, и существовали совмѣстно, хотя развивались неровно. Животныя сказки не могутъ быть вовсе привязаны къ облачному мифу (какъ это дѣлали и наши изслѣдователи), и авторъ никакъ не соглашается вѣрить, чтобы продѣлки нашей Лисы Патрикѣевны когда-либо имѣли мѣсто въ облакахъ, а не въ курятникѣ. Относительно сказокъ и эпическихъ сказаній вообще нужна также великая осторожность мифическихъ объясненій, даже въ томъ случаѣ, когда бы въ сказкѣ и собственно религіозномъ мифѣ (не только разныхъ, но *одного* народа) повторились одинаковые мотивы. Дѣло въ томъ, что если небесные мифы образовались по отношеніямъ земной жизни, то первоначально усмотрѣны были эти земныя отношенія, и раньше небесной коровы или другого мифическаго животнаго, раньше борьбы небесной, человѣкъ зналъ простыхъ земныхъ животныхъ и видѣлъ борьбу враговъ земныхъ. Мифъ, правда, закрѣплялъ обыденныя отношенія въ болѣе широкіе образы, но эти отношенія могли спастись отъ забвенія и другимъ путемъ кромѣ мифа. Народная память сохраняла рассказы о набѣгѣ одного племени на другое, о единоборствѣ двухъ витязей, о кровавой драмѣ въ семьѣ старшины, и готовъ былъ эпическій рассказъ—зародышъ народнаго эпоса. Этотъ рассказъ могъ имѣть сходныя черты съ мотивами облачнаго мифа, но это сходство могло состояться *безъ* всякой *генетической связи* между ними. И если мифъ религіозный съ теченіемъ времени обездѣвичивался и дѣлался сказкой, то могло то же самое случиться и съ реальнымъ эпическимъ рассказомъ: историческія имена забывались, мѣстныя черты отпадали, и точно также являлась сказка. Такимъ образомъ не все въ сказкѣ принадлежитъ мифу, и многое возникло изъ реальныхъ житейскихъ отношеній. Иначе придется отрицать возможность зарожденія пѣсни и эпическаго рассказа по поводу факта, случившагося на землѣ, а не на небѣ.

Въ настоящее время мы, по большей части, имѣемъ дѣло съ мифами, прошедшими дѣлую длинную исторію разъединенія, смѣшенія и осложненія подъ вліяніемъ сліянія родовъ и племенъ, измѣненія понятій и бытовыхъ отношеній. Подобныя явленія совершались и въ области эпическихъ сказаній, которыя также имѣли свою исторію и

которыя мы имѣемъ теперь передъ собою въ этомъ смѣшанномъ и осложненномъ видѣ. Какъ происходитъ это осложненіе эпическихъ мотивовъ, мы можемъ наблюдать даже и теперь. Заставьте любого сказочника или пѣвца повторить вамъ въ разное время сказку или былинку: каждый разъ, незамѣтно для себя самого, онъ прибавитъ или выпуститъ что-нибудь, измѣнитъ какую-нибудь подробность; онъ не сочиняетъ, а только путаетъ. Но и тѣ сказки, которыя намъ кажутся хорошо сохранившимися, прошли, конечно, тотъ же самый процессъ. Такимъ образомъ, и въ мифѣ, и въ эпическомъ сказаніи, двойственность мотивовъ, противорѣчивыя черты и т. п. объясняются какъ послѣдовательность превращеній и наростовъ, какихъ не миновало ни одно произведеніе народнаго слова, переходившее изъ устъ въ уста. И вопросъ толкованія состоитъ въ томъ, чтобы отличить эти позднія прибавки отъ того, что можно считать кореннымъ и не случайнымъ. Для этого нужно предварительно изучить содержаніе народныхъ сказокъ относительно ихъ *главныхъ мотивовъ*. „Чѣмъ въ болѣешемъ количествѣ сказокъ повторенъ будетъ одинъ и тотъ же мотивъ, тѣмъ ближе мы къ цѣли критики: изъ сличенія различныхъ редакцій одного и того же разсказа легко будетъ вывести заключеніе о его общихъ неизмѣняемыхъ чертахъ, и съ другой стороны о тѣхъ, которыми онъ видоизмѣнялся тамъ или здѣсь. Первые должны быть признаны принадлежащими къ основнымъ сказочнымъ типамъ, и здѣсь можетъ явиться идея сблизить ихъ съ народными мифами и даже объяснить изъ нихъ происхожденіе всей сказочной литературы. Что до вторыхъ, то подобное объясненіе касаться ихъ не должно; они принадлежатъ собственной исторіи сказки, ея стилистикѣ. Только когда это раздѣленіе будетъ сдѣлано, мифологическая эвзегеза ощутить впервые твердую почву подъ ногами“.

Ближайшимъ образомъ, Веселовскій такъ опредѣляетъ отношенія мифологии къ христіанскому мировоззрѣнію и легендѣ. „Мнѣ кажется,—говоритъ онъ,—что теоретики средневѣковой мифологии должны будутъ поступиться частью своей программы: не всегда старые боги сохранились въ полубытической памяти средневѣковаго христіанина, прикрываясь только именами новыхъ святыхъ, удерживая за собою свою власть и атрибуты. Образы и вѣрованія средневѣковаго Олимпа могли слагаться еще другимъ путемъ: ученія христіанства принимались неприготовленными къ нему умами внѣшнимъ образомъ; евангельскіе разсказы и легенды, чѣмъ далѣе шли въ народъ, тѣмъ болѣе прилаживались къ такому пониманію, искажались; обряды, мелочи церковнаго обихода производили формальное впечатлѣніе, слово принималось за дѣло, всякому движенію приписывалась особая сила, и по мѣрѣ того, какъ исчезалъ внутренній смыслъ, внѣшность да-

вала богатый материалъ для суевѣрія, заговоровъ, гаданій и т. п. Повѣсть о подвижничествѣ христіанскихъ просвѣтителей обращалась, въ фантазіи европейскихъ дикарей, въ героическую сагу, святыя становились героями и полубогами. Такимъ образомъ, долженъ былъ создаться цѣлый новый міръ фантастическихъ образовъ, въ которомъ христіанство участвовало лишь матеріалами, именами, а содержаніе и самая постройка выходили языческія. Такого рода созданіе ничуть не предполагаетъ, что на почвѣ, гдѣ оно произошло, было предварительное сильное развитіе миеологіи. Ничего такого могло и не быть, т. е. миеологіи, развившейся до олицетворенія божествъ, до признанія между ними человѣческихъ отношеній, типовъ и т. д.; достаточно было особаго склада мысли, никогда не отвлекавшейся отъ конкретныхъ формъ жизни и всякую абстракцію низводившей до ихъ уровня. Если въ такую умственную среду попадетъ остовъ какого-нибудь правоучительнаго аполога, легенда, полная самыхъ аскетическихъ порывовъ, они выйдутъ изъ нея сагой, сказкой, миеомъ; не разглядѣвъ ихъ генезиса, мы легко можемъ признать ихъ за таковые¹⁾.

Такимъ образомъ г. Веселовскій относился недовѣрчиво къ миеологической школѣ; его мнѣнія объ этомъ высказаны раньше тѣхъ отзывовъ Маннгардта, на которыхъ мы останавливались въ одной изъ предъидущихъ главъ. Начавши свои изученія въ то время, когда уже возникла реакція противъ преувеличеній Гриммовой школы, и направивъ свои изысканія на памятники средневѣковаго эпоса и легенды, онъ долженъ былъ увѣриться, что реакція имѣла свои основанія. Многое изъ того, что относилось миеологами прежней школы въ до-историческій миеъ, въ арійскую древность, оказывалось вовсе не столь глубоко миеическимъ и не столь древнимъ: мнимо до-историческое оказывалось средневѣковымъ, арійское—не арійскимъ (напр. еврейскимъ), древне-языческое — христіанскимъ. Чѣмъ дальше шли изслѣдованія, тѣмъ обильнѣе были открытія, и тѣмъ ярче выступало значеніе, во-первыхъ, того запаса восточно-эпического матеріала, который переходилъ черезъ Византію въ міръ южно-славянскій и русскій, съ другой въ западную Европу, и во-вторыхъ, христіанской легенды и апокрифическихъ сказаній. Въ европейской ученой литературѣ еще задолго до Бенфея началось изученіе странствующаго эпоса; теперь съ усилившимся собираніемъ живой народной поэзіи и бытового обряда, съ разработкой восточныхъ литературъ, съ изданіемъ и истолкованіемъ множества памятниковъ средневѣковой письменности, возросъ до громадныхъ размѣровъ запасъ матеріала и сравненій.

¹⁾ Слав. сказанія о Соломонѣ и Кытоврасѣ, стр. XII—XIV.

Нашъ ученый, широко пользуясь этимъ запасомъ, размножилъ его русско-славянскимъ и византійскимъ матеріаломъ. Передъ изслѣдователями, можно сказать, раскрылся новый литературный міръ, у насъ никогда прежде не наблюдаемый въ такомъ широкомъ объемѣ: это былъ міръ не только созданный старымъ національнымъ преданіемъ разныхъ евронейскихъ народовъ, но и тѣмъ ихъ общеніемъ съ востокомъ, которое устанавливалось историческими отношеніями культуры (политическими, бытовыми, образовательными) и въ особенности христіанствомъ.

Это особенное вниманіе къ средневѣковому христіанскому преданію было дѣйствительно необходимо. Какъ бы ни былъ живучъ древній мифъ, его господство было смѣнено многовѣковымъ господствомъ другого, столь могущественнаго круга идей, что послѣдній неизбѣжно долженъ былъ многое старое окончательно уничтожить и внести совершенно новыя представленія; новая религія смѣнила старый мифъ легендой, новой космогоніей и эсхатологіей, новымъ апокрифическимъ суевѣріемъ, особымъ направленіемъ въ работѣ фантазіи¹⁾. Этотъ новый порядокъ идей укрѣплялся всѣмъ ходомъ жизни, церковью, учрежденіями, образованіемъ, нравами; онъ самъ создавалъ свою миеологию, и вѣками своего существованія дѣйствительно создалъ ее. Странно было бы ожидать, чтобы въ новыхъ формахъ своего быта народъ внезапно лишился творчества и игры фантазіи, и только повторялъ одни старые мотивы, — чтобы онъ все еще отчетливо помнилъ только одни „тучи“ и „молніи“, на которыхъ оставалось его первобытное младенческое воображеніе. Остатки старины, конечно, хранились въ иныхъ отрывкахъ и традиціонныхъ выраженіяхъ; но несомнѣнно были и новыя, самостоятельныя формы и содержаніе. Вопросъ былъ въ томъ, насколько въ дошедшемъ до насъ матеріалѣ миеческаго преданія: насколько въ народной поэзіи надо видѣть одну перелицовку старины или же новыя образованія. Прежняя миеологическая школа предпочитала первое, новыя изслѣдованія приводили скорѣе къ послѣднему.

Изъ множества изслѣдованій г. Веселовскаго остановимся на нѣкоторыхъ примѣрахъ.

Однимъ изъ тѣхъ памятниковъ, гдѣ наши миеологи видѣли не предложенный слѣдъ до-историческаго язычества, былъ извѣстный стихъ о „Голубиной книгѣ“, — хотя имъ очень извѣстны были ея литера-

¹⁾ На этотъ вопросъ уже наводила прежняя школа, затронувъ запасы христіанской средневѣковой легенды и суевѣрія. Изъ многихъ указаній у г. Буслаева на вліянія христіанской грамотности, см. напр. „Р. богатырскій эпосъ“, Р. Вѣстн. 1862, № 10, стр. 564; въ разборѣ сочиненія Стасова, стр. 80 и друг.

турныя параллели ¹⁾. Г. Веселовскій изъ разбора этихъ параллелей пришелъ къ противоположному заключенію, что вмѣсто языческаго, „арійскаго“ мѣа, будто бы только подновленнаго христіанскимъ апокрифомъ, мы имѣемъ тутъ дѣло именно съ позднѣйшимъ литературнымъ явленіемъ, источники котораго заключаются въ преданіяхъ христіанской мѣологии, много разъ переработанныхъ въ средневѣковой книжно-народной словесности ²⁾. Выше было упомянуто, какія удивительныя толкованія получалъ знаменитый „камень алтаре“ въ прежней школѣ, у Аванасьева и Ор. Миллера, и съ другой стороны, еще замысловатѣе, у Безсонова: это—„солнечный камень“, принадлежность первобытнѣйшаго мѣа; островъ Буянъ, на которомъ онъ лежитъ, это—„туча“ и т. п. Веселовскій выходитъ прямо изъ того, что былина (о Василии Буслаевѣ) и стихъ о Голубиной книгѣ приурочиваютъ камень алтаре къ „Сіонъ-горѣ“ и „соборной церкви на Фаворѣ“; и первое объясненіе таинственнаго камня даютъ мѣстные палестинскія легенды, записанныя въ средневѣковыхъ путешествіяхъ въ Святую землю и ея описаніяхъ, между прочимъ и въ русскихъ путешествіяхъ, начиная съ Даниила Паломнича. Камень алтаре относится именно къ легендамъ объ іерусалимской святынѣ. „Преданіе о чудесномъ камнѣ, положенномъ Спасителемъ въ основаніе сіонской церкви; о камнѣ, снесенномъ (ангелами) съ Синая и положенномъ на мѣсто алтара въ той же церкви, матери всѣхъ церквей; память о трапезѣ Христа въ сіонскомъ сопасулумъ, за которымъ Спаситель возлежалъ съ апостолами, установилъ таинство евхаристіи и, наставивъ тому учениковъ, послалъ ихъ въ міръ возвѣстять новое откровеніе: таковы были матеріалы мѣстной легенды“. Принесенная на Русь первыми паломниками, легенда должна была произвести большое впечатлѣніе на полу-языческое воображеніе новообращенныхъ христіанъ: чудесный камень связанъ былъ съ дѣяніями самого Христа, съ первой церковью на землѣ, и очень естественно могъ сдѣлаться источникомъ народно-христіанскаго мѣа. Легенды собраны были въ символическій центръ, алтарный камень (въ пере.-славянскомъ: олѣтарь), изъ котораго и получился священный и волшебный камень алтаре. Можно еще быть неувереннымъ въ словопроизводствѣ самаго имени ³⁾, но объясненіе его значенія совершенно отвѣчаетъ тому представленію камня, какое находимъ въ стихѣ и въ былинѣ. Подобнымъ образомъ изъ палестинской легенды выросло мѣенческое представленіе о св. Градѣ,

¹⁾ Ср. Буслаева, Очерки, I, стр. 143, 455, 614; II, стр. 17 и друг.; Аванасьева, Поэтич. Воззрѣнія Славянъ, I, стр. 50—52.

²⁾ См. Славянскія сказанія о Соломонѣ, стр. 163, 180 и слѣд.

³⁾ Иное объясненіе слова даетъ г. Ягичъ.

развитое въ средневѣковыхъ западныхъ поэмахъ. „Образъ Граля (символической чаши),—говоритъ Веселовскій,—нашелъ условія развитія, которыя довели его до поэтической и мистической апоэозы; алатырю не посчастливилось, и отъ христіанскаго представленія онъ по немногу спускается къ фетишу. Современные русскіе заговоры расказуютъ намъ его исторію: въ началѣ онъ еще близокъ къ алатырю-алтарю, еще лежитъ на *Сіонской горѣ*, а на немъ соборная *апостольская церковь*; далѣе, онъ очутился на островѣ,—но это островъ божій, и на алатырѣ стоитъ золотая *апостольская церковь* съ золотымъ престоломъ, а на томъ златѣ престолѣ сидитъ самъ Госнодь Исусъ Христосъ, Михаилъ-архангелъ, Иванъ Богословъ и т. п. Повдѣе остается болѣе или менѣе обстановка (поле, болото, окіанъ и т. п.), но лица являются другія: Матерь Божія съ двумя сестрицами, бабушка Соломонія, царица Ирода цара—Соломія, три брата родимые, либо два орла орловича, два брата родные; невѣдомый стрѣлецъ и красная дѣвица; мужъ желѣзень царь; наконецъ—самъ Сатана; алатырь попадаетъ въ заговоръ отъ змѣйнаго укуса и въ повѣрье, что змѣи лижутъ его и отъ того бываютъ и сыты и сильны и т. д.“¹⁾

Въ числѣ памятниковъ, которые доставляли миеологической шлолѣ желанный матеріалъ для выводовъ о древнемъ язычествѣ и особливо его космогоническихъ преданіяхъ, находятся такъ-называемыя колядки, колядскія пѣсни. Веселовскій посвятилъ имъ цѣлое обширное изслѣдованіе²⁾, гдѣ собрано по обыменовенію множество историческаго и народно-поэтическаго матеріала со всѣхъ концовъ европейской литературы для объясненія различныхъ сторонъ предмета, у насъ никогда еще не разработаннаго до такой глубины. Вопросъ чрезвычайно сложенъ: такъ какъ пѣсня соединялась съ обрядами, авторъ не отвергалъ въ ней возможности миеа, но съ другой стороны видѣлъ въ ней черты иного порядка, христіанско-легендарныя и бытовныя, подлежащія не миеологии, а исторіи и этнографіи. „Обличенія древней церкви, направленныя противъ Календы (первообразъ коляды),—говоритъ авторъ,—имѣли въ виду греко-римскій фондъ вѣрованій, нашедшихъ въ нихъ выраженіе; но они оставались въ силѣ всюду, гдѣ существованіе аналогической обрядности вызывало подобный же протестъ. Оттого обличенія такъ часто повторяютъ другъ друга. Но откуда эта аналогичность обряда, замѣчательное

¹⁾ Разысканія въ области рус. духовныхъ стиховъ, III; Алатырь въ мѣстныхъ преданіяхъ Палестины и легенды о Гралѣ.

²⁾ Разысканія, VII: румынскія, славянскія и греческія коляды (1. языческой элементъ коляды; 2. святочные маски и скоморохи; 3. христіанскіе мотивы колядокъ; 4. бытовые мотивы; 5. балладные, эпическіе мотивы колядокъ), стр. 97—291.

сходство, представляемое святочными обычаями современныхъ европейскихъ народовъ? Многое можно объяснить единствомъ натуралистическихъ представлений, легшихъ въ ихъ основу; вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этомъ общемъ есть частности и совпаденія, невольно вызывающія вопросъ—о возможности *одного древняго культурчаго вліянія*, распространившагося разновременно и оставившаго слѣды въ очертаніяхъ новаго обряда. Классическій орнаментъ на скандинавскихъ подѣлкахъ древняго желѣзнаго періода указываетъ на воздѣйствіе греческихъ колоній въ Скниіи; римляне заходили въ Скандинавію, что засвидѣтельствовано недавно открытыми могилами, и т. п. Я ставлю только возможность вопроса“...

Такой осторожностью не отличалась миѳологическая школа; но въ подтвержденіе своей гипотезы авторъ собралъ множество весьма убѣдительныхъ доказательствъ. Его изслѣдованіе есть чрезвычайно любопытный опытъ проникнуть въ древѣйшія отношенія европейской, и въ томъ числѣ славянской и русской, культуры,—проникнуть не путемъ поэтической идеализаціи, а съ реальными историческими фактами въ рукахъ. И здѣсь опять приходится жалѣть, что исключительно гелертерская форма ¹⁾ дѣлаетъ эти труды мало доступными для обыкновенныхъ читателей,—слѣдствіе чего они до сихъ поръ не оказали почти никакого вліянія на популярныя и учебныя изложенія русской поэтической старины.

Далѣе, много работъ Веселовскаго было посвящено изученію собственно христіанской легенды, апокрифическаго сказанія и иноземной переводной повѣсти, гдѣ источники русскихъ книжныхъ памятниковъ были болѣе или менѣе видны и гдѣ требовалось только выяснитъ въ точности ихъ генеалогію и связь съ родственными явленіями другихъ литературъ. При этомъ получался и другой чрезвычайно важный результатъ: открывались близкія соотношенія между этими, чужими по происхожденію (особенно византійскими) произведеніями и нашимъ былиннымъ эпосомъ. Изслѣдованія, направленные въ эту сторону, убѣждали, что какъ народно-христіанская легенда отразилась въ нашей средневѣковой (и донинѣ живущей) миѳологіи, такъ и въ созданіи русскаго эпоса обильно участвовали книжные эпические элементы, которыхъ дотолѣ не подозрѣвали. Это былъ выводъ перво-степенной важности. Прежняя идеалистическая или сантиментальная апоѳеоза русскаго былиннаго эпоса, какъ воплѣ самобытнаго созданія народной поэзіи, продолжавшаго языческую эпопею миѳической космогоніи и небснаго богатырства, эта апоѳеоза блѣднѣла, но

¹⁾ Напр. слишкомъ лаконическія указанія источниковъ, не переведенныя цитаты (иногда въ двѣ-три страницы) греческія, румынскія, средне-нѣмецкія и старо-французскія и т. п.

взаимнѣ выросла болѣе научная постановка вопроса. Былинный эпосъ являлся въ новыхъ, болѣе реальныхъ историческихъ отношеніяхъ, чѣмъ „тучи“ и „молніи“.

Таковы любопытныя сближенія былинъ о Святогорѣ, пѣсенъ объ Аникѣ-воинѣ, Иванѣ гостинюмъ, или Вдовкинѣ сынѣ и пр. съ содержаніемъ византійскаго эпоса ¹⁾, какъ богатырскаго, такъ и легендарнаго. Многое, что полагалось чисто русскимъ, находитъ свои параллели и источники въ средне-греческихъ сказаніяхъ. Авторъ говоритъ объ этихъ послѣднихъ: „Это былъ міръ чудесныхъ подвиговъ, героевъ и чудовищъ, воинственныхъ дѣвъ-паленицъ, которыя связывались для грека съ его древними преданіями объ амазонкахъ. Въ пересказахъ русскихъ людей всѣ эти образы должны были отразиться съ чертами болѣе грубаго реализма, въ соотвѣтствіи съ умственнымъ развитіемъ новой среды. Когда впоследствии, въ *по-татарскую эпоху*, развился нашъ собственный земскій эпосъ съ Ильей-Муромцемъ и другими мѣстными богатырями, онъ долженъ былъ сосчитаться съ элементами *болѣе древняго*, пришлого эпоса. Онъ или устранилъ его отъ себя, удаливъ Анику-Дигениса въ небольшой цѣль пѣсенъ объ его борьбѣ со смертью, или приурочилъ его къ себѣ частями, но такъ, что слѣды сная остаются замѣтны и теперь. Наши „старшіе богатыри“ собственно не наши, это „сила нездѣшная“. Въ своей нечеловѣческой мощи они смотрятъ на земскихъ богатырей какъ на новое, имъ чуждое поволеніе, проходятъ передъ нами какъ-то таинственно-безучастно и также таинственно исчезаютъ. Другая метаморфоза постигла другой рядъ образовъ, опредѣливъ ихъ особое приуроченіе въ средѣ новаго русскаго эпоса: змѣи и змѣевичи-воители ²⁾ приняли въ нашихъ пересказахъ черты змѣевъ обрядоваго повѣрья, сдѣлались силой нечистою, отождествились съ татарщиной, когда татарщина явилась общимъ выраженіемъ всего враждаго, съ чѣмъ приходилось биться русскимъ богатырямъ. Тугаринъ дѣйствительно пріѣзжалъ изъ-за горъ, оттого его эпитетъ „загорскій“; впоследствии его заставили пріѣзжать изъ „улусовъ“ загорскихъ. Но

¹⁾ См. „Отрывки византійскаго эпоса въ русскомъ“, „Вѣстн. Евр.“ 1876, апрѣль, и въ Слав. Сборникѣ, т. III; Beiträge zur Erklärung des russischen Heldeneros въ „Архивѣ“ Ягича, т. III; Разсканія, I: Греческій апокрифъ о св. Θεодорѣ; II. Св. Георгій въ легендѣ, пѣснѣ и обрядѣ, и друг.

²⁾ Указывая на странную двойственную натуру нашихъ былинныхъ змѣевичей, которые являются то чудовищами, дышащими пламенемъ, то только могучими богатырями, авторъ вспоминаетъ, что въ Византіи „драки“ (змѣи, драконы) и „драконтоцули“ (змѣенши, змѣевичи) были съ VII-го вѣка обычнымъ названіемъ воилицы, гнѣздившейся въ горахъ Тавра. Въ византійскомъ эпосѣ являются и воинственныя дѣвы — тѣ паленицы“, о которыхъ, вѣтъ былинъ, ничего не знаетъ наша историческая древность.

другая пѣсня осталась о немъ, гдѣ онъ является цареградскимъ богатыремъ.; его мать живетъ въ Царьградѣ; онъ собирается на Кіевъ, но взятъ русскими богатырями и отвезенъ въ Владиміру“... ¹⁾).

Авторъ возвращается къ этому сближенію по поводу легендъ и пѣсенъ о св. Георгіи—какъ извѣстно, одномъ изъ любимѣйшихъ героевъ нашего народнаго преданія. „Плодотворность изученія этой легенды,—говоритъ авторъ,—стоитъ въ прямой связи съ широкой постановкой вопроса, имѣющаго обнять, вмѣстѣ съ Георгіемъ, и житія родственныхъ ему по типу святыхъ. Такимъ путемъ могутъ получиться не только обобщенія теоретическаго характера, общающія внести новый свѣтъ въ „физиологію“ и исторію народнаго міросозерцанія, но и фактическія данныя для развитія народнаго эпоса. Я разумѣю, главнымъ образомъ, русской *былинный эпосъ*, къ разработкѣ котораго (предложенныя авторомъ въ его трудѣ) разысканія въ области духовнаго стиха являются естественнымъ введеніемъ“. Авторъ сближаетъ св. Георгія и Θεодора, какъ змѣборцевъ, съ русскимъ специалистомъ въ змѣборствѣ, Добрыней, отчество послѣдняго съ эпитетомъ „аникитовъ“, какой носятъ греческіе святыя герои, и т. д.; въ народномъ обрядѣ въ день св. Георгія указываетъ взаимодѣйствіе своего и чужого преданія ²⁾. Въ другомъ случаѣ, авторъ указываетъ еще одного змѣборца, св. Михаила изъ Потуки, и обращаетъ вниманіе на совпаденіе именъ и общихъ очертаній въ легендѣ и въ русской былинѣ о богатырѣ Потокѣ ³⁾, которому прежніе комментаторы этой былины посвятили столько сложныхъ филологическихъ и мифологическихъ попеченій.

Далѣе, въ изслѣдованіи о южно-русскихъ былинахъ, Веселовскій останавливается на южно-русской легендѣ о юномъ богатырѣ Михайлѣ и кіевскихъ Золотыхъ воротахъ (или Михайлигѣ, Михайлѣ Семилѣткѣ) и сближаетъ ее съ былинной о Михайлѣ Даниловичѣ. Въ легендѣ онъ находитъ народный, приуроченный къ Кіеву, пересказъ эпизода, находящагося въ позднихъ текстахъ апокрифическихъ „Откровеній“ Меѳодія. Южная легенда и сѣверная былина въ главномъ совершенно совпадаютъ, но бытовые черты южной жизни были непонятны на сѣверѣ и потому извращены. „Отрѣзанныя отъ почвы, на которой создались былины, отдѣленные цѣлыми вѣками отъ историческихъ отношеній, которыя воплотились въ нихъ впервые, онѣ по неволѣ должны были исказить эти отношенія въ уровень съ новой исторической средой и той общественной и природной обстановкой, въ которой имъ суждено было доживать свою вѣковую жизнь.

¹⁾ „Вѣсти. Евр.“, 1875, апрѣль.

²⁾ Разансканія, II, стр. 150, 158—159.

³⁾ Разансканія, IX: Праведный Михайлѣ изъ Потуки.

Приуроченіе вышло неполное. Образы южно-русской природы обратились въ общія мѣста, не разцвѣтась новыми сѣверными красками; преувеличенію открылось широкое поле, потому что перепѣвалась не своя пѣсня, прямо вынесенная изъ жизни, изъ своего непосредственнаго прошлаго, однимъ словомъ изъ тѣхъ источниковъ, изъ которыхъ пѣвецъ могъ бы постоянно почерпать чувство мѣры и норму вѣроятія: перепѣвалась пѣсня привнесенная, которую слѣдовало истолковать и переложить на-ново, иначе она была бы непонятна... Вѣроятно, этому процессу принадлежатъ сословныя характеристики богатырей, сдѣлавшія Алешу сыномъ пона, Добрыню—боириномъ и т. д. Надо полагать, что въ древнихъ пѣсняхъ объ этихъ богатыряхъ были данныя, изъ которыхъ, при извѣстныхъ средствахъ примѣненія, могли выработаться позднѣйшіе сословные типы. Тоже можно замѣтить и объ Ильѣ-Муромцѣ. Представленіе его крестьяниномъ принадлежитъ, быть можетъ, сѣверно-русской порѣ эпоса: въ старыхъ пѣсняхъ о немъ открывались сѣвернымъ сказателямъ черты, которыя были такъ поняты или такъ истолкованы; въ богатырѣ, подвиги котораго были имъ особенно симпатичны, они увидѣли своего героя, крестьянина-богатыря. Въ XIII вѣкѣ его знали еще ярломъ-дружинникомъ¹⁾.

Далѣе, сближая былины объ Иванѣ Гостиномъ сынѣ и Чурилѣ,— котораго считаетъ франкскимъ уроженцемъ Сурожа или древней Сугдай въ Тавридѣ (нынѣ Судакъ), а имя его отца: Пленко—испорченнымъ „франкъ“,—съ византійскими эпическими сюжетами, авторъ указываетъ и здѣсь подобное видоизмѣненіе и порчу первоначальной пѣсни... „Съ одной стороны, византійская пѣсня, внесенная въ кругъ богатырскихъ былинъ кievскаго цикла (въ видѣ былины объ Иванѣ Вдовкиномъ сынѣ) должна была приладиться къ болѣе грубымъ понятіямъ и стереть религиозно-мистическій оттѣнокъ своего вступительнаго эпизода, который уже не шелъ въ богатырскую былину. Грубо нарисованная ловкость и щегольство Чурилы очень далеки отъ своего изящнаго византійскаго типа, описаніе его дворца преувеличено до уродливости, его любовныя похождения, впечатлѣніе, производимое имъ на женщинъ, изложены грубо: говорится о чувственныхъ порывахъ, о разрываньѣ одеждъ и т. д. Мать Ивана (въ былинѣ) продаетъ своего сына не для Бога (какъ въ византійскомъ оригиналѣ), а потому, что онъ сдѣлался пьяницей; но и этотъ столь извращенный эпизодъ былъ почти забытъ и долженъ былъ уступить мѣсто пѣснямъ о закладѣ. Внутренняя мотивировка вездѣ

¹⁾ Южно-русскія былины, стр. 9, 38—40. Здѣсь и объяснено, въ чемъ произошло въ данномъ случаѣ видоизмѣненіе южнаго сюжета въ сѣверной былинѣ. О богатырѣ Васильѣ-Пьяницѣ, тамъ же, стр. 50.

потеряна, что находится въ связи съ другой перемѣной, которой должно было подвергнуться византійское сказаніе, какъ скоро оно применило къ богатырскому эпосу Владиміра: оно утратило свое единство, должно было разбиться на куски, чтобы послужить высшему единству. Это высшее единство, символически представленное въ образѣ Владиміра, есть именно русскій богатырскій эпосъ: какъ византійская сказка о чудесномъ мальчикѣ, такъ и много другихъ иноземныхъ разсказовъ доставили свой матеріалъ для его построенія. Народное заключается именно въ цѣломъ, въ композиціи, а не въ составляющихъ ее элементахъ¹⁾.

Значеніе византійскихъ сказаній, только теперь—и всего болѣе трудами г. Веселовскаго—вполнѣ вводимое въ науку, представляетъ именно естественный историческій фактъ, совершенно отвѣчающій той культурной роли, какую Византія занимала къ началу и въ первые вѣка нашей исторіи. Не подлежитъ сомнѣнію, что отношенія русскихъ племенъ къ Византіи начались гораздо ранѣе историческаго основанія государства, и если потомъ Византія дала намъ церковь, ея литературу и учрежденія, если на югъ стремились военная предприимчивость князей, политическія и торговыя связи²⁾, то совершенно естественно ожидать и присутствія византійскихъ эпическихъ сказаній на русской почвѣ. Ближайшій районъ, какъ можно теперь думать, былъ особенно доступенъ этимъ вліяніямъ. „Ничего не мѣшаетъ принять,—говоритъ Веселовскій,—что греческія пѣсни проникали въ южные края нынѣшней Россіи. Греческія пѣсни противъ сыновей Романа Лакапина (945), по Ліутпранду, пѣлись не только въ Европѣ, но и въ Африкѣ и Азіи,—какъ съ другой стороны, по свидѣтельству безыменнаго автора Слова о полку Игоревѣ, славные подвиги кіевскаго князя Святослава воспѣвались у нѣмцевъ и венеціанцевъ, грековъ и мораванъ. Отрывки византійскихъ повѣстей находятъ у нѣмецкихъ шпильмановъ въ X столѣтіи византійскіе отголоски въ поэмахъ о Дитрихѣ. Поэтому греческія пѣсни въ русскомъ изложеніи не составляли бы никакого ненормальнаго явленія и должны найти мѣсто въ исторіи византійскихъ вліяній на литературы Запада“.

Въ новой серіи разсканій (гл. XI—XVII, 1889) г. Веселовскій

¹⁾ Beiträge zur Erklärung des russ. Heldenepos, стр. 567, 571, 585—587, 598. О Чурягѣ, см. также Разсканія, VI—X, стр. 289. Напомнимъ подобныя замѣчанія г. Стасова (хотя изъ совсѣмъ другого основанія) объ этой отрывочности и недостаткѣ мотивировки въ эпическомъ изложеніи нашихъ былинъ.

²⁾ Напомнимъ здѣсь, напримѣръ, тѣ новыя историческія данныя, какія приобретаются болѣе пристальнымъ изученіемъ византійцевъ въ новѣйшихъ трудахъ г. Васильевскаго, А. Павлова, Андрея Попова, Голубинскаго и друг.

останавливается еще на цѣломъ рядѣ вопросовъ, выходящихъ собственно изъ круга духовныхъ стиховъ и относящихся къ цѣлому составу средневѣкового народнаго мировоззрѣнія. Таковы, напримѣръ, дуалистическія повѣрья о сотвореніи міра, которыхъ онъ касался въ своей первой большой книгѣ о народныхъ книжныхъ сказаніяхъ. Нѣкогда, и еще недавно преданія о твореніи міра двумя силами, доброй и злой, считались ископными славянскими; Аванасьевъ, а за нимъ и другіе, давали имъ надлежащее миеологическое истолкованіе; самъ г. Веселовскій приписывалъ имъ богомилское происхожденіе; теперь онъ, параллельно съ Юліемъ Крономъ (изслѣдовавшимъ этотъ вопросъ по поводу космогоническаго миеа Калевалы) приходитъ къ мысли объ участіи въ славянскомъ дуалистическомъ миеѣ восточно-финскаго или урало-алтайскаго преданія. Онъ пересматриваетъ теперь массу преданій, повторяющихся у нашихъ сѣверныхъ финно-тюркскихъ инородцевъ и даже азіатскихъ тюрковъ на Алтаѣ: всѣ онѣ сосредоточиваются на одной общей темѣ о твореніи міра двумя разными силами, Богомъ и дьяволомъ, добрымъ и злымъ духомъ, и очевидно находятся въ какой-то не легко опредѣлимой, но несомнѣнной связи съ древними богомилскими сказаніями у южныхъ славянъ, съ галицкой колядкой о міротвореніи и съ иными обломками этого миеа, иногда потерявшими даже первоначальную дуалистическую подкладку. Если припомнить, что славянское богомилство имѣло свое продолженіе въ дуалистическихъ сектахъ сѣверной Италіи и южной Франціи, у катаровъ и альбигойцевъ, то миеъ раскидывается на громадную область, отъ Алтая и до южной Франціи. Относительно связи сказаній богомилскихъ съ преданіями нашихъ сѣверо-восточныхъ инородцевъ, г. Веселовскій дѣлаетъ такое предположеніе: „Всѣ эти преданія, записанныя среди инородческихъ элементовъ русскаго населенія, оказываются сходными, нерѣдко буквально, съ рассказами русскими и болгарскими и съ старой повѣстью о мірозданіи, распространенной въ рукописяхъ и популярной среди нашихъ раскольниковъ. Раскольничья колонизація могла занести ее на окраины русской земли, гдѣ она могла быть перенята и усвоена инородцами; но возможно и другое предположеніе, уже ранѣе намѣченное нами: что, напр., черемисская, мордовская и т. д. и южно-славянская легенды принадлежали первично одной и той же полосѣ развитія и религіознаго міросозерцанія; богомилы лишь внесли въ кругъ своихъ дуалистическихъ миеовъ, можетъ быть, не славянское преданіе, отвѣчавшее ихъ цѣлямъ, а черемисы и алтайцы получили обратно свой старый космогоническій миеъ въ освѣщеніи христіанской ереси и апокрифовъ“ (стр. 32). — Въ другомъ изслѣдованіи авторъ говоритъ о „Безразличныхъ и обоюдныхъ въ житіи Василія

Новаго и народной эсхатологіи“: это—обитатели того свѣта, которые по средневѣковому легендарному преданію не попадали ни въ рай, ни въ адъ, не получали вѣчнаго блаженства, но и не были предаваемы на вѣчную муку. Г. Веселовскій возстановляетъ это средневѣковое повѣрье по памятникамъ западнымъ, въ ряду которыхъ первое мѣсто занимаетъ поэма Данта, и восточнымъ, гдѣ тема загробнаго міра излагается въ житіяхъ, видѣніяхъ и иныхъ каноническихъ и апокрифическихъ легендахъ: однимъ изъ знаменитѣйшихъ житій этого рода было житіе Василя Новаго (десятаго вѣка), въ которомъ разсказано хожденіе Феодоры по мытарствамъ, и которое на нѣсколько вѣковъ предварило поэму Данта. Авторъ дѣлаетъ при этомъ любопытныя замѣчанія о томъ, въ какой степени распространялись въ народныхъ массахъ на западѣ и у насъ эсхатологическія повѣрья, т. е. представленія о конечныхъ судьбахъ міра и человечества, а также о загробной долѣ отдѣльнаго человѣка до послѣдняго разсчета на страшномъ судѣ.

„Всѣ эти вопросы, — говоритъ онъ, — волновавшіе средневѣковое общество, отражались въ его легендѣ и поэзи, въ которыхъ интересно подѣлать долю своего и чужого, представленія христіанства и—условія народнаго вѣрованія, сдѣлавшія возможнымъ ихъ усвоеніе. Усвоеніе это было неравномѣрное, и не трудно въ частности разгадать его причины. Вопросъ о конечныхъ судьбахъ міра могъ сложиться въ средѣ съ богатымъ историческимъ и культурнымъ прошлымъ; чѣмъ оно сложнѣе, чѣмъ больше оно поставило вопросовъ, тѣмъ страстнѣе желаніе усмотрѣть ихъ разрѣшеніе въ будущемъ. Христіанство воспринято было и окрѣпло въ такой именно средѣ, полной разочарованій и гоненій, которыхъ не вѣдали полудикіе народы сѣвера. Ихъ эсхатологія могла отвѣчать вообще на вопросъ о катастрофѣ, имѣющей постигнуть видимый міръ, но не могла имѣть исторической подкладки Апокалипсиса. Его толковали и надъ нимъ задумывались немногіе избранные; его данныя разработывали по еретическимъ и политическимъ тенденціямъ; собственно въ народѣ онъ интереса не возбуждалъ. Такъ объясняется и оправдывается мнѣніе Сахарова ¹⁾, что несмотря на распространенность въ древней Руси сочиненій и сказаній объ Антихристѣ и о концинѣ міра и видимое вліяніе ихъ на воззрѣнія русскаго народа, народныхъ стиховъ, возникшихъ подъ ихъ насилиемъ, почти нѣтъ... Къ образамъ эсхатологической борьбы фантазія не была, очевидно, приготовлена и не внесла въ нихъ ничего новаго, своего...

„То же слѣдуетъ сказать и о представленіяхъ, связанныхъ съ

¹⁾ Автора книги: „Эсхатологическія сказанія въ древне-русской письменности“.

идеей страшнаго суда, конечной участи праведныхъ и грѣшниковъ— въ рай или аду. И здѣсь фантазія европейскихъ народовъ представила, если не *tabula rasa*, то едва загрнтованное полотно, образы и краски дали христіанскія картины страшнаго суда и соотвѣтствующія легендарныя и апокрифическія статьи, въ родѣ Хожденія Богородицы по мукамъ, Видѣнія ап. Павла и популярныхъ на Руси откровеній Меодія, Слова Палладія мниха и Житія Василя Новаго. Зависимость русскихъ духовныхъ стиховъ отъ этихъ и тому подобныхъ памятниковъ не указываетъ на встрѣчную дѣятельность народнаго воображенія. Воспринявъ ихъ содержаніе, оно почти ихъ не переработало: описаніе райскихъ блаженствъ блѣдно, потому что оно блѣдно и полно общихъ декоративныхъ мѣстъ и въ ихъ христіанскихъ изображеніяхъ, напр. въ житіи Андрея Юродиваго; муки народнаго ада также однообразны... Иначе ставится вопросъ объ отношеніи своего и чужого въ народныхъ представленіяхъ о временной участи каждаго за гробомъ до наступленія послѣдняго суда. Въ этой области эсхатологическихъ интересовъ народное вѣрованіе сложилось въ опредѣленной формы быта и обряда: усопшіе, „родители“, т.-е. старшіе въ родѣ, продолжали и на томъ свѣтѣ жить прежней матеріальной жизнью; у нихъ „домовина“, ихъ кормятъ на поминкахъ, ждутъ ихъ посѣщенія и ходятъ къ нимъ на погостъ, „на гостебище“ и т. п. Это представленіе, свойственное не однимъ только индо-европейскимъ народамъ на извѣстной степени развитія, не разрывало связи между живыми и мертвыми: одинъ и тотъ же родъ жилъ на землѣ и подъ нею, отжившіе не повидали живущихъ, печлись объ нихъ, опредѣляли ихъ судьбу, то, что имъ на роду написано; они—старшіе предки, окружены въ свою очередь суевѣрнымъ культомъ потомковъ.

„Въ эту цѣльность живыхъ и мертвыхъ христіанство внесло элементъ раздвоенія—разграниченіемъ души и тѣла, идеей грѣха и воздаянія, грознымъ образомъ смерти, побѣждающей жизнь, ангеловъ, препирающихся изъ-за души съ духами тьмы. Оба круга идей сошлись въ синкретическомъ двоевѣріи, въ которомъ трудно бываетъ разглядѣть составныя части и поводы смѣшенія“ (стр. 117—120).

Такимъ образомъ, если въ нѣкоторыхъ подробностяхъ повѣрій о загробной жизни можно предполагать какую-нибудь основу древняго языческаго вѣрованія, къ которой могло примкнуть представленіе христіанское, то въ другихъ случаяхъ мы имѣемъ передъ собой представленія, христіанское происхожденіе которыхъ можетъ быть доказано документально по памятникамъ. Эти послѣднія представленія несомнѣнно были гораздо изобильнѣе, такъ что въ данномъ

вопросъ мы имѣемъ дѣло съ „двоевѣріемъ“, въ которомъ гораздо большій процентъ принадлежитъ христіанству.

Слѣдующая статья говоритъ о „Судьбѣ-Долѣ въ народныхъ представленіяхъ славянъ“. Это—предметъ, на которомъ давно уже оставались изслѣдователи народныхъ вѣрованій, съ тѣхъ поръ, какъ были открыты древнія свидѣтельства о „родѣ“ и „рожаницахъ“; сопоставленныя съ подобными западно-славянскими и южно-славянскими преданіями еще Срезневскимъ, эти вѣрованія были потомъ предметомъ изысканій Аванасьева, Потебни, Крауса, и теперь снова подвергнуты новому обстоятельному толкованію, при помощи разнообразнаго сравнительнаго матеріала славянскаго, античнаго и западно-европейскаго. Понятіе судьбы и доли г. Веселовскій ставитъ именно въ прямую связь съ родомъ и рожаницами и объясняетъ ихъ, какъ представленіе о прирожденности, выработанное въ первобытныхъ отношеніяхъ общинно-родоваго брака, въ связи съ культомъ предковъ, блюстителей домашняго очага и нарастающаго поколѣнія. Авторъ собираетъ по обыкновенію цѣлую массу свидѣтельствъ старыхъ памятниковъ и современныхъ народныхъ повѣрій русско-славянскихъ, западныхъ, инородческихъ. Онъ не отождествляетъ прямо явленій сходныхъ, но принимаетъ ихъ лишь для аналогіи и сравненія, предполагая возможность чрезвычайно разнообразнаго *послѣдующаго* развитія и дополненія первоначальнаго понятія, причемъ первобытно-грубое приобретаетъ со временемъ болѣе широкую обработку и осмысливается по новымъ опытамъ и соображеніямъ народа. Варианты одного первоначальнаго представленія доходятъ до противоположности. Такъ, авторъ находитъ подобную противоположность въ русской „долѣ“ и сербской „сречѣ“. „Это судьба прирожденная, сужденная, и судьба случайно навѣянная, встрѣченная. Второе представленіе свободнѣе перваго, первое архаистичнѣе“... (стр. 259—260).

Сравнительно съ прежними изслѣдованіями по этому вопросу, въ разысканіяхъ г. Веселовскаго важно привлеченіе новаго сравнительнаго матеріала, далеко не столь обширнаго прежде, а въ особенности введеніе соображеній объ историческомъ развитіи вѣрованія. Въ прежнихъ изысканіяхъ предполагалось всего чаще, что оно оставалось съ древнѣйшихъ временъ какъ бы неизмѣннымъ, и только затемнялось въ послѣдующее время и получало только механическія примѣсы; гораздо вѣроятнѣе исторически принять, какъ дѣлаетъ г. Веселовскій, что здѣсь напротивъ совершалось настоящее развитіе старой темы въ новыхъ условіяхъ народной жизни. „Услѣдить дальнѣйшія измѣненія понятія и соответствующаго ему образа,—говоритъ онъ,—можно только путемъ логическихъ и психологическихъ

наведеній, ибо мы имѣемъ дѣло съ народно-бытовымъ матеріаломъ, наслоившимся во времени, въ которомъ логика развитія подчинялась случайности постороннихъ вліяній, захожая, христіанская легенда даетъ формы для выраженія древнѣйшаго бытового содержанія и каждый образъ, при анализѣ, разлагается на части, принадлежащія разнымъ періодамъ мысли и вѣрованія“ (стр. 185).

Подобнымъ оригинальнымъ образомъ поставленъ далѣе вопросъ о „генварскихъ Русаліяхъ и готскихъ играхъ въ Византіи“. Ислѣдованіе касается здѣсь предмета, опять издавна занимавшаго нашихъ миеологовъ и этнографовъ и объяснявшагося почти только въ предѣлахъ русскаго народнаго преданія. Когда Миклопичъ въ первый разъ объяснялъ русалін какъ средневѣковые *dies rosae, rosalia* (перешедшіе съ латинскаго въ греческія *rusalia*), его мысль возвести славянскій, а затѣмъ и русскій народный праздникъ къ какому-то греко-римскому языческому обычаю, запрещаемому древними церковными постановленіями, была сочтена за ученую ересь. Между тѣмъ, связь того и другого не подлежала сомнѣнію. Теперь г. Веселовскій, уже прежде останавливавшійся на этомъ вопросѣ, собралъ новыя историческія свидѣтельства, новыя аналогіи и этнографическія указанія о современныхъ обрядахъ и повѣрьяхъ, относящихся сюда у балканскаго славянства, и передъ нами реставрируется древній обычай, въ очень странныхъ формахъ существующій и понынѣ въ Македоніи по новѣйшимъ этнографическимъ описаніямъ. Очевидно, что этотъ самый обычай въ какомъ-либо вариантѣ надо подразумѣвать въ тѣхъ старыхъ церковныхъ обличеньяхъ, которыя указываютъ его существованіе въ древней Руси.

Остановимся только на этихъ примѣрахъ. Изъ приведеннаго до сихъ поръ можно видѣть, какое обширное и разнообразное поле обнимали исслѣдованія г. Веселовскаго и къ какимъ любопытнымъ и нерѣдко неожиданнымъ результатамъ приводили они въ объясненіи старой письменности, вѣрованія, поэзіи и самаго быта. Цѣлый рядъ старыхъ рѣшеній подвергся радикальной переработкѣ: фактъ русскаго преданія выведенъ былъ изъ одиночества, въ какомъ онъ всего чаще объясняется былъ прежде, и поставленъ въ цѣлую обширную международную область однородныхъ явленій и разсматривался въ самой средѣ его возникновенія и развитія. Чрезвычайно цѣннымъ качествомъ исслѣдованій г. Веселовскаго является вообще стараніе разъяснить историческій генезисъ преданія съ тѣхъ его формъ, какія только возможно услѣдить или предположить въ древнѣйшую пору, и съ тѣхъ сложныхъ и запутанныхъ развитій, какія испытало оно на пространствѣ столькихъ вѣковъ, подъ вліяніемъ столькихъ новыхъ условій народной жизни и народной мысли. Оче-

видно, что только въ этомъ видѣ и можетъ быть понато соотношеніе древняго преданія и его новѣйшихъ отголосковъ. Объ этомъ догадывались прежніе изслѣдователи, но рѣдко проводили мысль историческаго развитія въ самомъ анализѣ преданія: всего чаще, увлекаемые примѣромъ Гримма, а также не владѣвшіе на первое время достаточнымъ запасомъ сравнительнаго матеріала, они слишкомъ легко переходили отъ очень древняго къ очень новому и, вообще говоря, увидали въ современномъ народномъ міровоззрѣніи гораздо больше остатковъ первобытнаго язычества, чѣмъ было ихъ на самомъ дѣлѣ. Въ разысканіяхъ г. Веселовскаго, напротивъ, едва ли не гораздо сильнѣе и вліятельнѣе въ этомъ смыслѣ является эпоха „двоевѣрія“, когда въ старое народное преданіе влился цѣлый потокъ новаго христіанскаго, и особливо популярно-христіанскаго и „отреченнаго“ міа, который чѣмъ дальше, тѣмъ больше овладѣвалъ и народной вѣрой и фантазіей. Трудамъ г. Веселовскаго въ особенности принадлежитъ заслуга разъясненія этой критической поры въ развитіи народнаго преданія: не только указано было въ нихъ обширное вліяніе популярныхъ христіанскихъ элементовъ на народное міровоззрѣніе; не только раскрыта была тѣсная связь послѣдняго съ средневѣковымъ двоевѣріемъ вообще, но, что было въ особенности любопытно и исторически важно, сдѣланы намеки на такіе примѣры международнаго культурнаго взаимодействія, о которыхъ не знаетъ писанная исторія, и которые заставляютъ угадывать цѣлую давнюю эпоху народной культурной жизни во времена почти до-историческія.

Одновременно съ г. Веселовскимъ на вопросъ объ источникахъ русскаго эпоса остановился извѣстный славистъ, филологъ и историкъ литературы, г. Ягичъ. Подробнѣе мы говоримъ о его дѣятельности въ другомъ мѣстѣ ¹⁾, и здѣсь остановимся въ особенности на его статьѣ, посвященной объясненію христіанско-миеологическаго слоя въ русскомъ народномъ эпосѣ ²⁾. Въ точкѣ зрѣнія изслѣдованіе идетъ параллельно съ критикой Веселовскаго: славянскій ученый одинаково не довѣряетъ слишкомъ смѣлымъ міеологическимъ объясненіямъ прежней школы и считаетъ необходимымъ изслѣдовать ближайшіе факты; точно также онъ видитъ въ русскомъ эпосѣ болѣе тѣсныя связи съ памятниками книжными. Названное изслѣдованіе не касается обширнаго сравнительнаго матеріала чужой поэзіи; это—чисто историко-литературный анализъ, произведенный въ границахъ

¹⁾ „Исторія русскаго славяновѣдѣнія“.

²⁾ „Die christlich-mythologische Schicht in der russischen Volksepik“,—въ „Архивъ“, имъ издаваемомъ, 1875, I, стр. 82—183. См. „Вѣсти. Евр.“ 1877, апрѣль, стр. 726—741.

русской поэзии и письменности и дающій однако замѣчательные результаты.

Давно извѣстно,—говорилъ здѣсь г. Ягичъ,—что русскій народный эпосъ вообще (былина, духовные стихи, легенда) сильно проникнутъ мотивами и сюжетами, взятыми изъ христіанско-миеологическихъ сказаній; вопросъ въ томъ, чтобы отдѣлить этотъ христіанско-миеологическій слой отъ первобытной основы. „Опредѣленіе этого вопроса принадлежитъ къ труднѣйшимъ научнымъ анализамъ, и окончательное рѣшеніе этой задачи, если только вообще достижимо, лежитъ еще далеко впереди. Но мы много выиграли уже тѣмъ, что относительно иныхъ вещей, которыя до сихъ поръ зачислялись въ рубрику національно-миеологическаго, заключающую такъ много посторонняго, мы признаемъ, что онѣ произошли, были вызваны или развиты только подъ вліяніемъ христіанско-миеологическихъ, библейско-легендарныхъ сказаній, и также относительно другихъ вещей, которыя еще недавно восхвалялись какъ самостоятельное изобрѣтеніе національнаго духа, принимаемъ ихъ за подражаніе чужимъ образцамъ, причемъ однако намъ очень часто случается еще больше удивляться творческой силѣ народнаго духа“.

Русскій эпосъ по содержанію можно, уже теперь, раздѣлить на три ступени. Къ первой г. Ягичъ относитъ пѣсни чисто библейско-легендарнаго содержанія, гдѣ заимствованіе очевидно и не отстаетъ далеко отъ подлинника. Ко второй—тѣ смѣшанныя произведенія, гдѣ заимствованный сюжетъ обработанъ уже болѣе или менѣе самостоятельно, а внѣшняя форма вполне равняется эпической формѣ быliny. Наконецъ третью ступень составляютъ „собственно національныя богатырскія пѣсни, которыя, *насколько* достигаетъ наше теперешнее знаніе, по основному содержанію считаются за подлинную національную собственность, хотя въ отдѣльныхъ эпизодахъ, выраженіяхъ, названіяхъ и т. д. ни мало не исключаютъ упомянутаго христіанскаго или какого другого вліянія“.

Памятники перваго рода вполне понятны: это такъ-называемые духовные стихи, источникъ которыхъ повидимому не требуетъ особыхъ объясненій, когда рѣчь идетъ о Лазарѣ, о прекрасномъ Іосифѣ, Алексѣѣ божіемъ челоуѣкѣ, Георгіѣ Храбромъ и т. д. Въ научномъ изслѣдованіи русскаго эпоса они важны именно какъ промежуточная ступень, доставляющая удобный случай проникнуть въ процессъ народнаго творчества: въ этихъ произведеніяхъ намъ впередъ, а ргіогі, извѣстенъ основной сюжетъ, и точный анализъ его обработки въ стихѣ даетъ возможность уловить и понять приемы народной поэзии. Авторъ приводитъ особенно въ примѣръ знаменитый стихъ о Георгіѣ Храбромъ, который пользуется большою популярностью и

въ народѣ, и между учеными. „Этотъ герой такъ идеализированъ и націонализированъ, что г. Буслаевъ въ статьѣ, писанной въ 1859 г. (и повторенной во 2-мъ томѣ его „Очерковъ“), нашелъ возможнымъ высказать слѣдующее мнѣніе:—тотъ вовсе не понималъ бы всего обаянія народной поэзіи въ этомъ стихѣ, кто рѣшился бы въ храбростъ героя видѣть святочтимато Георгія Побѣдоносца. И однакоже,—замѣчаетъ г. Ягичъ,—герой пѣсни есть не кто иной какъ св. Георгій“.

Подробно останавливается авторъ на „перлѣ“ русскихъ библейско-миеологическихъ былинъ, на стихѣ о Голубиной книгѣ. Подтверждая сличеніе этого стиха съ апокрифами, сдѣланное гг. Тихонравовымъ и Веселовскимъ, авторъ прибавляетъ новыя сравненія, которыя еще болѣе сближаютъ „Голубиную книгу“ съ „Вопросами Іоанна Божьего“, и между прочимъ останавливается на нѣкоторыхъ подробностяхъ, которыя были камнемъ претенвенія для всѣхъ нашихъ толкователей или объяснялись по обычаю произвольно миеологическимъ образомъ.

Выше было отмѣчено ¹⁾, какъ изъ русской миеологіи былъ устранилъ Волотъ, имя котораго поставлено въ одномъ пересказѣ „Голубиной книги“ вмѣсто князя Владиміра, бесѣдующаго съ царемъ Давидомъ о міровыхъ тайнахъ. Одно имя Волота (въ старомъ языкѣ это слово означало великана) соблазняло прежнихъ ученыхъ своимъ архаизмомъ и побуждало видѣть въ немъ „существо необычайное, первенствующее“, а въ самомъ духовномъ стихѣ, не смотря на его явно книжное происхожденіе, предположить „древнѣйшее, чисто русское эпическое произведеніе о царѣ Волотѣ и его великой премудрости“. Г. Ягичъ съ самаго начала отвергалъ это на томъ основаніи, что если самое содержаніе стиха состоитъ въ средневѣковой христіанской миеологіи, то и подъ Волотомъ должна скрываться книжно-легендарная личность.

Другой примѣръ произвольной миеологіи г. Ягичъ указывалъ въ толкованіи таинственнаго камня „алатыря“, который занимаетъ какое-то важное мѣсто въ народной космогоніи, и безъ котораго не обходится волшебное заклятіе и заговоръ. Г. Ягичъ въ своемъ объясненіи выходитъ опять изъ общаго положенія. „Если разъ мы знаемъ, что всѣ вопросы „Голубиной книги“ вращаются въ средѣ христіанской миеологіи, то ничто не даетъ намъ права дѣлать исключеніе для этого вопроса (какой камень всѣмъ камнямъ мать? и отвѣтъ: бѣдъ горючъ камень-алатырь), особенно, если для такого исключенія не представляется надобности. Поэтому, всѣ соображенія г. Безсонова ²⁾ я отношу въ область произвольныхъ фантазій, кото-

¹⁾ Глава IV, стр. 127—129.

²⁾ Пѣсни Кирѣвскаго, вкл. 4, приложение, стр. I—VIII.

рыми вообще необыкновенно богатъ почтенный издатель русской народной литературы ¹⁾. Камень-алатырь упоминается два раза въ стихѣ о „Голубиной книгѣ“: разъ, для ближайшаго обозначенія мѣстности, гдѣ упала на землю сама Голубиная книга, а въ другой разъ въ вопросѣ: какой камень всѣмъ камнямъ мать? Въ первомъ случаѣ мы должны помѣстить камень-алатырь на горѣ Фаворѣ, гдѣ находится также черепъ Адама и крестъ Христа: сюда упала съ неба „Голубиная книга“. Дѣло въ томъ, что, по апокрифическимъ сказаніямъ, чрезвычайно распространеннымъ во всемъ православномъ славянствѣ, а также и по вѣрованію всей христіанской церкви, могла Адама обыкновенно соединяется съ мѣстомъ крестной смерти Христа, такъ что подъ крестомъ предполагается и изображается глава Адамова. Въ стихѣ смѣшана только Голгоѳа съ горою Фаворомъ, которая играетъ роль въ „Вопросахъ I. Богослова“, послужившихъ основаніемъ „Голубиной книги“. Такимъ образомъ камень-алатырь есть прежде всего тотъ камень, lithostroton, который еще въ „Хожденіи“ игумена Данила, XII вѣка, изображается какъ основаніе креста Спасителя и мѣсто погребенія Адама. Затѣмъ, по стиху, камень-алатырь есть мать всѣмъ камнямъ по двумъ причинамъ: во-первыхъ, „на бѣломъ латырѣ на камени бесѣдовалъ да опочивъ держалъ самъ Иисусъ Христосъ, царь небесный, съ двенадцати со апостоламъ“; во-вторыхъ, „сподъ камешка сподъ бѣлаго латыря протекли рѣки, рѣки быстрыя по всей землѣ, по всей вселенной, всему міру на испѣленіе, всему міру на пропитаніе“.

Все это принадлежитъ къ области средневѣковой христіанской миеологіи, въ частности къ палестинской легендѣ; очевидно, что здѣсь и должно искать разясненія нашего преданія. „Къ сожалѣнію,—говоритъ г. Ягичъ,—многіе русскіе археологи до сихъ поръ показывали гораздо больше предпочтенія тому, что лежитъ далеко въ сторонѣ, чѣмъ тому, что прежде всего представляется научному наблюденію. Такъ случилось и съ камнемъ-алатыремъ. Не обращая вниманія на обильныя христіанско-миеологическія подробности, какими окруженъ камень-алатырь русской народной поэзіи, русскіе ученые искали въ своихъ изслѣдованіяхъ только лишеннаго всякой реальной формы „свѣта“ и „солнца“, какъ будто этимъ что-нибудь приобрѣталось! Но пусть постараются сначала объяснить себѣ то, что стоитъ ближе; потому что лишь тогда, когда будутъ должнымъ образомъ сняты верхніе, новѣйшіе слои, ясніѣ выступить то національно-миеологическое, что, быть можетъ, и дѣйствительно окажется гдѣ-либо

¹⁾ Въ такомъ же родѣ и толкованія Аванасьева, Поэт. возрѣнія Славянъ на природу, II, 142—149, 548; III, 800—801; Гильфердинга, въ „Вѣстн. Евр.“ 1868, кн. 9, стр. 212, и друг.

въ основаніи. А если такъ, то слѣдуетъ съ большимъ вниманіемъ, чѣмъ было до сихъ поръ, разработать уже изданные источники славяно-русскихъ среднихъ вѣковъ, столь богатыхъ произведеніями церковной литературы, а также сдѣлать доступными и новые источники". Затѣмъ, подобное вліяніе книжной легенды нашъ авторъ указываетъ въ другихъ произведеніяхъ нашей эпической поэзіи. Такъ, въ былинѣ о „сорока каливахъ“ очевидно повторены два эпизода изъ исторіи библейскаго Иосифа, какъ это уже давно было замѣчено, хотя до сихъ поръ факту заимствованія не дано было настоящаго значенія. Жена кн. Владимира безъ церемоніи придана роль жены Пентефрія; съ другой стороны, наоборотъ, имя развратной египтянки Амемфіи, упоминаемой въ апокрифическомъ „завѣтѣ Иосифа“, вошло обильно въ нашъ эпосъ какъ имя „честной вдовы“ Амелфы Тимоѣевны, матери Добрыни, или Василья Буслаевича, или Соловья Будимировича, и проч. Библейско-легендарный мотивъ повторяется въ былинѣ о Васильѣ Буслаевѣ, гдѣ въ эпизодѣ смерти героя является рѣка Иорданъ, голова Адамова и литостротонъ (камень алатырь), хотя въ нѣсколько неясной и закрытой формѣ.

Въ стихѣ объ Аникѣ и его спорѣ со смертью, авторъ, вполне принимая выводы г. Веселовскаго, видитъ опять любопытный примѣръ того, какъ сюжетъ, первоначально совсѣмъ чужой и мало-помалу дошедшій изъ книги къ народу, становится предметомъ народной пѣсни. Сюжетъ такъ понравился, что Аника сталъ народнымъ героемъ и, наконецъ, даже приуроченъ къ извѣстной мѣстности.

Смѣшеніе библейско-мифологическихъ сказаній съ народнымъ эпосомъ въ особенности интересно въ пѣсняхъ, которыя воспользовались сказаніями о Соломонѣ. По мнѣнію г. Ягича, распространеніе Соломоновскихъ сказаній въ народномъ эпосѣ было вообще несравненно шире, чѣмъ обыкновенно принимаютъ, и онъ узнаётъ, во-первыхъ, въ былинѣ о царѣ Васильѣ Окуловичѣ и разныхъ ея вариантахъ чистую передѣлку извѣстныхъ сказаній о Соломонѣ — о похищеніи его жены его противникомъ, о похищеніяхъ Соломона, желающаго возвратить ее, и его мщеніи противнику. Заимствованіе не подлежитъ здѣсь никакому сомнѣнію, и авторъ, не входя въ дальнѣйшія подробности, замѣчаетъ по этому поводу: — „Я хочу только указать фактъ, важный для дальнѣйшихъ изслѣдованій этого рола, что въ приведенныхъ примѣрахъ мы имѣемъ передъ собой три народные пѣсни (былины), исполненныя по всѣмъ правиламъ русскаго народнаго эпоса, и однако содержаніе ихъ не имѣетъ ровню ничего общаго съ національной жизнью, съ національными преданіями русскаго народа; это содержаніе очевидно пришло изъ-чужа, понравилось народу или, собственно говоря, носителямъ народнаго

эпоса, приобрѣло популярность и мало-по-малу получило поэтическую обработку, заимствованную изъ подлинной народной поэзіи или въ подражаніе ей. Если бы не было именъ „Соломанъ“ и „Саломанія“ (взятыхъ изъ книжнаго разсказа), то издатели не усумнились бы ни на минуту поставить упомянутыя пѣсни въ число настоящихъ былинь, и кто знаетъ, не открыли ли бы здѣсь ученые толкователи мнѣолюбиваго направленія слѣдовъ до-историческаго міа, который принесенъ былъ русскими славянами въ Европу,—пожалуй, изъ самой Индіи. Теперь этого не случилось, и мы обязаны этимъ развѣ только очень большой прозрачности содержанія. При всемъ томъ эти пѣсни остаются блестящимъ свидѣтельствомъ большой способности воспроизведенія въ русской народности относительно сюжета, первоначально совершенно чужого, и должны бы послужить краеугольнымъ камнемъ для дальнѣйшихъ научныхъ анализовъ, которые должны быть приняты въ подобномъ направленіи“.

Предположивъ большое вліяніе Соломоновскаго цикла въ нашей старой поэзіи, г. Ягичъ находитъ его въ цѣломъ рядѣ пѣсень, гдѣ еще никому не приходило въ голову отыскивать этотъ книжный источникъ. Такъ, онъ сближаетъ съ Соломоновскими легендами известную былинну о Соловьѣ Будимировичѣ, томъ богатомъ заморскомъ купцѣ, который прѣзжаетъ въ Кіевъ, чтобы жениться на Запавѣ, племянницѣ князя Владиміра, и удивляетъ всѣхъ не только своимъ богатствомъ, но и затѣйливостью, когда, напр., онъ въ одну ночь строить въ саду Запавы три чудесные терема. Сравненіе нѣкоторыхъ подробностей сближаетъ эту былинну съ упомянутой былинной о Васильѣ Окуловичѣ, такъ что обѣ вѣроятно зависѣли отъ одного общаго источника. Родины Соловьѣ Будимировича нельзя опредѣлить по былинѣ, т. е. народъ не могъ указать для него никакой исторической подкладки; но это видимо былъ не простой купецъ и за нимъ скрывается нѣчто болѣе значительное: онъ не заботится о томъ, чтобы устроить торговлю, а прямо имѣетъ виды на княжескую племянницу. Соловей и его спутники—чудесные строители, когда въ одну ночь успѣли выстроить три удивительные терема. Перенести мѣсто дѣйствія къ князю Владиміру въ Кіевъ, средоточіе эпической былины, было также возможно, какъ въ рукописныхъ сказаніяхъ на обстановку Соломона перенесены русскія бытовныя черты. Въ повѣстяхъ о Соломонѣ нѣтъ рѣчи о постройкѣ теремовъ, но г. Ягичъ думаетъ, что терема Соловьѣ Будимировича составляютъ вообще позднѣйшее украшеніе, передѣланное однако изъ мотивовъ повѣсти. Для объясненія онъ приводитъ слѣдующую параллель изъ сказанія о Соломонѣ и изъ былины о Соловьѣ Будимировичѣ:

И снаряди бояринъ корабль всякою красотою и сотвори бояринъ въ кормѣ чердакъ *это красенъ*, а въ немъ написа образъ царя своего краснаго и валичнаго; въ корабли же написа всякимъ умысломъ, сотвори *небо* подъ верхомъ корабля и сотвори *мѣсяцъ* и *звѣзды* и противу ихъ постави стекла хрустальныя.

(Лѣтоп. русск. лит. и др. IV, 148, изъ рукописи XVII в.).

На томъ соколѣ кораблѣ сдѣланъ *муравленъ чердакъ*, въ чердакѣ была бесѣда... на бесѣдѣ-то сидѣтъ... молодой Соловей...

Въ ея хорошемъ зеленомъ саду стоятъ три терема златоверховаты... на небѣ *солнце*, въ теремѣ солнце, на небѣ *мѣсяцъ*, въ теремѣ мѣсяцъ, на небѣ *звѣзды*, въ теремѣ звѣзды. (Кирша Даниловъ, № 1).

„Кромѣ Соловья Будимировича, — продолжаетъ г. Ягичъ, — въ русской народной эпонеѣ есть еще другой, гораздо болѣе знаменитый Соловей, страшный разбойникъ, покореніе котораго главнымъ героемъ русской эпической саги, Ильей Муромцемъ, составляетъ самый блистательный и безспорно самый популярный его эпизодъ. Всякій разъ, когда мнѣ встрѣчался этотъ Соловей-Разбойникъ, всегда меня приводило въ недоумѣніе такое странное, негармоническое совмѣщеніе нѣжнаго птичьяго имени „соловей“ съ тѣмъ порядочно отвратительнымъ чудовищемъ, которое русскій народный эпосъ очевидно надѣлилъ этимъ именемъ. Напрасно искалъ я въ относящейся сюда литературѣ удовлетворительнаго разрѣшенія загадки этого имени“. . . Понятно, что нашего изслѣдователя не удовлетворило миеологическое толкованіе, какъ слишкомъ произвольное и притомъ не объясняющее странныхъ свойствъ этого существа. А свойства эти дѣйствительно странныя: это — полу-звѣрь или полу-птица и полу-человѣкъ; онъ живетъ на семи дубахъ, какъ птица, но у него человѣческая семья, онъ приводится въ ряду богатырей старшаго поколѣнія и въ этомъ качествѣ является противникомъ Ильи; вмѣстѣ съ тѣмъ однако самъ Илья-Муромецъ не усумнился воспользоваться помощью Соловья, чтобы освободить обложенный вражью силою городъ Кряковъ, и пѣсня называетъ ихъ обоихъ при этомъ „добрыми молодцами“ (Кир., IV, № 1). Самъ князь Владиміръ готовъ былъ, еслибы Соловей захотѣлъ пойти къ нему въ службу, сдѣлать его кievскимъ боеводой или „строителемъ монастыря“ (Гильферд., Онеж. был., 303). Эти черты не имѣютъ вида позднѣйшихъ прибавокъ, — такія прибавки не имѣли бы смысла, еслибы птичій и человѣческо-разбойничій характеръ Соловья былъ первоначальный; но какъ черты первобытныя, онѣ очень важны. Далѣе, Соловей, какъ богатырь, не все сидѣтъ на деревьяхъ; напротивъ, у него „дворянское подворье“ — съ высокими теремами, гдѣ онъ живетъ съ женой и дѣтьми; домъ его наполненъ богатствами; Ильѣ предлагаютъ за Соловья богатый выкупъ. Даже когда плѣнный Соловей привезенъ былъ въ Кіевъ, ему оказывается

почтеніе и самъ князь Владиміръ подноситъ ему чашу вина, чтобы освѣжить горло.

По всѣмъ этимъ подробностямъ Соловей очевидно также богатырь, но отличный отъ богатырей домашнихъ, чужой имъ—вѣроятно и по происхожденію. Сближая его съ Соловьевъ Будимировичемъ, г. Ягичъ думаетъ, что въ немъ также скрывается одно изъ видоизмѣненій Соломоновскихъ сказаній, именно, какъ Соловей Будимировичъ соотвѣтствуетъ тому моменту легенды, который относится къ похищенію Соломоновой жены, такъ въ Соловьѣ-Разбойникѣ исходнымъ пунктомъ взято знанье тайнъ природы и волшебство Соломона. Въ Соловьѣ-Разбойникѣ бросается въ глаза его такъ сказать сверхъ-человѣческая природа, которая потомъ развита въ былинѣ уже подъ влияніемъ его имени: сначала же онъ, вѣроятно, имѣлъ то самое свойство, какое въ легендѣ приписывается Соломону—свойство превращаться въ яснаго сокола, въ лютаго звѣря и въ щуку; Соловей, сохраняя человѣческія черты, свищетъ по соловьиному, „зрываетъ по звѣриному“ и т. п.; его птичьи свойства развились подъ влияніемъ его имени.

Свое разысканіе г. Ягичъ кончаетъ слѣдующими замѣчаніями о методѣ своего изслѣдованія.

„Въ тѣсной рамкѣ тѣхъ пѣсень, гдѣ слѣдовало принимать влияніе христіанско-миѣологическихъ сюжетовъ, главное доказательство я старался основать на параллельности между уцѣлѣвшими еще рукописными рассказами и соотвѣтствующими имъ пѣснями. При этомъ, естественно, я долженъ былъ предполагать, что содержаніе этихъ рукописныхъ рассказовъ было извѣстно первымъ слагателямъ народныхъ пѣсень. Этимъ обуславливалось далѣе другое предположеніе, что первыми начинателями этихъ народныхъ пѣсень былъ не народъ въ обширномъ смыслѣ слова, но опредѣленная и ограниченная часть его, именно люди, хорошо знакомые съ содержаніемъ священнаго писанія, безчисленныхъ легендъ и многихъ благочестивыхъ, но апокрифическихъ сказаній, и которые приобрѣли это значеніе отчасти странствованіями и посѣщеніемъ знаменитыхъ святыхъ, отчасти прилежнымъ чтеніемъ благочестивыхъ книгъ. Этимъ великорусская эпика отличается отъ эпической поэзіи всѣхъ другихъ славянъ. Нигдѣ христіанское не соединилось съ національнымъ такъ тѣсно, какъ здѣсь. Это должно принять въ соображеніе и научное изслѣдованіе. Надо ожидать, что новыя открытія и новыя изданія средневѣковыхъ русско-славянскихъ текстовъ, въ чемъ русская славистика уже и теперь совершила замѣчательные труды, пополнять иныя пробѣлы, обнаруживать еще новыя параллельныя данныя..“

„Какъ у великихъ поэтовъ ни мало не уменьшаетъ ихъ достоин-

ства открытіе источниковъ ихъ сюжетовъ, такъ и пѣсни о Соловьѣ Будимировичѣ и о побѣдѣ Ильи Муромца надъ Соловьемъ-Разбойникомъ останутся весьма удачными, блестящими произведеніями великорусскаго народнаго эпоса, безъ всякаго ущерба ихъ достоинству, и тогда, когда было бы выяснено, что своимъ первымъ мотивомъ они обязаны не какому-нибудь первобытно-славянскому или даже первобытно-арійскому миеу, но уже христіанско-миеологическому запасу сказаній, принесенному въ страну только съ христіанствомъ и мало-по-малу проникшему въ народъ, весьма воспримчивый къ поэтической передачѣ“.

Въ болѣе или менѣе близкомъ отношеніи къ русской этнографіи находятся многіе другіе труды славянскаго ученаго, какъ напр., его труды по церковно-славянскому и русскому языку, изданія памятниковъ и комментаріи къ нимъ. Изъ послѣднихъ уважемъ, напр., чрезвычайно любопытныя объясненія къ статьѣ о книгахъ истинныхъ и ложныхъ, въ которой находятся между прочимъ указанія о предполагаемомъ главномъ распространителѣ ложныхъ книгъ, болгарскомъ попѣ Іереміи, въ то же время родоначальникѣ богомилства, указанія, приводившія въ недоумѣніе всѣхъ прежнихъ изслѣдователей. Говорилось между прочимъ, что попъ Іеремія „былъ въ навѣхъ на Верзіуловъ колу“: г. Ягичъ, на основаніи южно-славянскихъ преданій объяснилъ эти загадочныя слова такимъ образомъ, что подъ Верзіуломъ скрывается никто иной, какъ самъ Вергілій, римскій поэтъ, получившій, какъ извѣстно, въ средніе вѣка репутацію сверхъестественнаго мудреца и волшебника, репутацію, которая между прочимъ сдѣлала его руководителемъ Данта въ его странствованіяхъ въ загробномъ мірѣ; извѣстіе о попѣ Іереміи указывало, что онъ прошелъ волшебную школу у знаменитаго учителя волшебства. Богатый запасъ матеріаловъ и изслѣдованій по славянской и съ нею русской филологіи, а также этнографіи, представляетъ извѣстное ученое изданіе г. Ягича „Archiv für slavische Philologie“ (основанный въ 1875 году; нынѣ идетъ тринадцатый годъ изданія), гдѣ между прочимъ находится не мало трудовъ русскихъ ученыхъ (А. Н. Веселовскій, П. И. Житецкій, А. И. Шахматовъ, П. А. Сырку и др.) и гдѣ между прочимъ самому издателю принадлежитъ весьма обстоятельный библиографическій и критическій обзоръ новѣйшихъ явленій въ области славянской и въ томъ числѣ русской филологіи и этнографіи.

Съ новыми изслѣдованіями, главная заслуга которыхъ принадлежитъ гг. Веселовскому и Ягичу, открывался новый путь для объясненія нашей древней народной поэзіи, существенно важный тѣмъ, что въ немъ совершенно устраняется всякій произволъ и изслѣдо-

ваніе ведеться на реальної почвѣ критическаго анализа текстовъ и широко примѣненнаго сравнительнаго метода. Съ развитіемъ этихъ изслѣдованій откроется, вѣроятно, возможность рѣшенія и другихъ вопросовъ нашей народной поэзіи кромѣ опредѣленія ея содержанія. Таковъ, напр., вопросъ о хронологіи ея историческаго развитія. Кромѣ отдѣльных фактовъ, напимѣръ, доказанной по памятникамъ хронологіи нѣкоторыхъ духовныхъ стиховъ, мы до сихъ поръ остаемся при самыхъ туманныхъ представленіяхъ о томъ, когда могли появиться тѣ или другія произведенія нашей былинны, или, если для главнѣйшихъ изъ нихъ предположить дѣйствительно до-историческое происхожденіе, когда могла сложиться ихъ повѣйшая „охристіанствованная“ форма. При настоящемъ положеніи дѣла эта эпоха опредѣляется длиннымъ періодомъ нѣсколькихъ вѣковъ, гдѣ мы напрасно искали бы болѣе опредѣленныхъ точекъ опоры. Тѣ реальныя изысканія, какія предпринимаются въ послѣднее время, начинаютъ раскрывать и этотъ хронологическій вопросъ (конечно, пока только приблизительно): если сюжетъ заимствованъ, то время чуждаго книжнаго источника можетъ дать исходную точку, но и хронологія самыхъ письменныхъ источниковъ (напр., Соломоновскихъ сказаній) остается еще далеко не опредѣлена. Г. Ягичъ говоритъ о „славянскихъ среднихъ вѣкахъ“, не опредѣляя ихъ ближе; г. Веселовскій говоритъ объ „эпохѣ по-татарской“, относя въ нее образованіе былинъ о земскихъ богатыряхъ.

Цѣлая, хотя приблизительно точная картина развитія нашей народной поэзіи еще ожидаетъ своего создателя; что касается въ частности нашего народнаго эпоса, онъ въ развитіи своего содержанія представляетъ нѣсколько слоевъ, лежащихъ въ разныхъ направленіяхъ. Въ его основахъ есть, безъ сомнѣнія, слой древнѣйшихъ арійскихъ преданій, далѣе преданій европейскихъ, затѣмъ слой общеславянскій, наконецъ, слой русскій; въ предѣлахъ русской племенной особенности былъ слой языческихъ представленій и слой христіанскій; былъ слой, налегшій съ теченіемъ исторіи отъ вліянія иныхъ національностей, устныхъ преданій и связей книжно-литературныхъ. Наконецъ, внутреннее развитіе самаго эпоса, мѣшавшее вѣка, подновлявшее старину новыми бытовыми чертами. Критика должна имѣть въ виду всѣ эти пересѣкающіеся слои, чтобы не впасть въ недоразумѣнія, которыхъ бывало множество съ тѣхъ поръ, какъ началось ученое изслѣдованіе нашей эпопеи. Всѣ отдѣльныя стороны историческаго развитія, сейчасъ указанныя, были болѣе или менѣе замѣчены комментаторами, но до сихъ поръ еще не было попытки обозрѣть вполне и уравнивать эти историческія отношенія.

Общее направленіе литературно-археологическихъ изслѣдованій западной науки и въ частности ближайшее вліяніе двухъ названныхъ ученыхъ создали новое направленіе въ изслѣдованіяхъ русской поэтической и народно-бытовой старины. Можно сказать, что съ разными отбѣнками образовалась новая школа. Со второй половины 70-хъ годовъ и донныѣ она успѣла произвести цѣлый рядъ любопытнѣйшихъ изысканій, правда, почти исключительно направленныхъ только на частные вопросы, но доставляющихъ важныя данныя для будущаго объясненія нашей поэзіи, которое будетъ совершенно не похоже на прежнія. Изслѣдованія идутъ по тѣмъ приемамъ, какіе замѣчательнымъ образомъ примѣнены были у г. Веселовскаго и Ягича и направлены были на ближайшее изученіе русскихъ книжныхъ текстовъ и живого народнаго преданія съ постояннымъ вниманіемъ къ общему содержанію средневѣковой народно-христіанской миеологии и къ разысканію народно-книжныхъ вліаній византійскихъ, южно-славянскихъ и западныхъ. Труды новаго поколѣнія ученыхъ составили уже цѣлую небольшую литературу въ этомъ направленіи.

Таковы изслѣдованія А. И. Кирпичникова, питомца московскаго университета, затѣмъ профессора въ Харьковѣ и въ Одессѣ, которому принадлежитъ въ особенности важное изслѣдованіе о легендарномъ св. Георгіи. Въ послѣдніе годы г. Кирпичниковъ взялъ на себя продолженіе „Всеобщей исторіи литературы“, начатой подъ редакцію В. Θ. Корша ¹⁾.

Таковы труды Н. П. Дашкевича. Уроженецъ волынской губерніи (род. въ 1852 г.), онъ былъ воспитанникомъ кіевскаго университета, съ 1877 года доцентъ и затѣмъ профессоръ этого университета по исторіи всеобщей литературы (средневѣковой и новой); въ настоящее время предсѣдатель историческаго Общества Нестора лѣтописца. Его магистерской диссертацией была книга: „Изъ исторіи средневѣкового романтизма. Сказаніе о св. Гралѣ“ ²⁾. Къ русской этнографіи имѣютъ отношеніе нѣкоторыя историческія работы г. Дашкевича,

¹⁾ Греческіе романы въ новой литературѣ. Повѣсть о Варлаамѣ и Іоасафѣ. Харьковъ, 1876.

— Источники нѣкоторыхъ духовныхъ стиховъ, въ Журн. мин. нар. просв. 1877, октябрь.

— Св. Георгій и Егорій Храбрый. Изслѣдованіе литературной исторіи христіанской легенды. Спб. 1879. Эта книга дала поводъ къ обширному трактату Веселовскаго, въ „Разысканіяхъ въ области русскихъ духовныхъ стиховъ“ (II: Св. Георгій въ легендѣ, пѣснѣ и обрядѣ. 1880).

— Изслѣдованія легендарныхъ сказаній о пр. Богородицѣ въ Трудахъ одесскаго археологическаго съѣзда.

²⁾ Въ кіевскихъ Унив. Изв. и отдѣльно, 1876.

гдѣ затрогивается исторія русскаго племени ¹⁾, и любопытное спеціальное изслѣдованіе о русской былинѣ: „Былины объ Алешѣ Поповичѣ и о томъ, какъ не осталось на Руси богатырей“ ²⁾, гдѣ авторъ указываетъ историческія отношенія былины и между прочимъ сказаніе о погибели богатырей приурочиваетъ къ битвѣ при Балкѣ. Изслѣдованія г. Дашкевича отличаются при большой начитанности оригинальною и остроумною критикою ³⁾.

Нѣсколько весьма обстоятельныхъ работъ въ той же области древней русской поэзіи и письменности принадлежатъ г. Жданову. Воспитаникъ петербургской духовной академіи, а потомъ петербургскаго университета, Иванъ Ник. Ждановъ (род. 1846) въ 1879—1882 былъ приватъ-доцентомъ по кафедрѣ исторіи русской словесности въ кievскомъ университетѣ, а съ 1883 профессоромъ историко-филологическаго института въ Петербургѣ. Ему принадлежатъ нѣсколько работъ по исторіи русской литературы древней и новой, и первыя имѣютъ отношеніе къ этнографіи, касаясь различныхъ вопросовъ старой народной письменности и эпоса ⁴⁾.

Многочисленные труды по русской старинѣ, народной поэзіи, исторіи старой и новой литературы, наконецъ, по мѣстной (харьковской) исторіи, принадлежатъ г. Сумцову. Петербургскій уроженецъ (род. 1854), Ник. Фед. Сумцовъ учился въ Харьковѣ и по окончаніи курса въ университетѣ, въ 1876 сдѣлалъ путешествіе за границу и въ Гейдельбергскомъ университетѣ слушалъ Куно Фишера и Барча и, выдержавъ экзаменъ на магистра, назначенъ былъ приватъ-доцен-

¹⁾ Волоховская земля и ея значеніе въ русской исторіи, въ Трудахъ 8-го Археологическаго съѣзда и отдѣльно.

— Литовско-русское государство, условія его возникновенія и причины упадка. Унив. Изв. 1882 и 1883.

²⁾ Въ кievскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ и отдѣльно, 1883. Отмѣтимъ еще: Происхожденіе и развитіе эпоса о животныхъ, тамъ же, 1883. О другихъ трудахъ его, имѣющихъ отношеніе къ малорусской этнографіи, скажемъ въ своемъ мѣстѣ.

³⁾ Биографическія свидѣнія см. „Биографическій Словарь профессоровъ и преподавателей Имп. Университета Св. Владиміра“. Кіевъ. 1884, стр. 174—175.

⁴⁾ Русская поэзія въ до-монгольскую эпоху, въ кievскихъ „Университетскихъ Извѣстіяхъ“, 1879.

— Литература Слова о полку Игоревѣ; тамъ же, 1880.

— Разборъ книги В. Успенскаго; Толкованіе Палаея; тамъ же, 1881.

— Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи (магистерская диссертация) въ Унив. Изв. и отдѣльно, 1881, гдѣ разбираются сказанія о „Прѣвнѣ живота и смерти“, объ Аникѣ-воинѣ, былинны о Самсонѣ и Салтогорѣ. (Разборъ этой книги, г. Веселовскаго, въ Журн. мнн. проsv., ч. ССХХХІ, февраль).

— Пѣсни о князѣ Романѣ, въ Журн. мнн. проsv. и отдѣльно, Слб. 1890, — историческое приуроченіе извѣстныхъ былинъ.

Биографическія свидѣнія въ „Биограф. Словарѣ“ Кіевскаго университета, стр. 202.

томъ въ харьковскомъ университетѣ по исторіи русской литературы; съ 1889 года ординарный профессоръ. Этнографическіе труды его относятся частью къ общимъ вопросамъ древняго быта и частью къ собственной этнографіи, преимущественно малорусской. Еще въ университетѣ составленъ былъ имъ „Очеркъ исторіи христіанской демонологіи“, часть котораго напечатана была потомъ подъ заглавіемъ „Очеркъ исторіи колдовства въ западной Европѣ“ (1878); далѣе изслѣдованіе „О повѣрьяхъ и обрядахъ, сопровождающихъ рожденіе ребенка“ (1880); магистерской диссертациейъ была книга „О свадебныхъ обрядахъ, преимущественно русскихъ“ (Харьковъ, 1881); докторское изслѣдованіе: „Хлѣбъ въ обрядахъ и пѣсняхъ“ (Харьковъ, 1885). Отмѣтимъ еще незаконченный рядъ статей общаго культурно-этнографическаго содержанія: „Культурныя переживанія“. Труды г. Сумцова помѣщались въ „Журналъ министерства просвѣщенія“, „Русской Старинѣ“, „Кіевской Старинѣ“, „Этнографическомъ Обзорѣніи“, „Харьковскомъ сборникѣ“ и польскомъ журналѣ „Wisła“. Работы, относящіяся специально къ малорусской этнографіи, укажемъ въ своемъ мѣстѣ.

Весьма цѣнная работа о животномъ эпосѣ принадлежитъ рано умершему ученому Леонарду Зенон. Колмачевскому (1850—1889).

въ учился въ казанскомъ университетѣ и, кончивъ тамъ курсъ въ 1874 году, назначенъ былъ сначала лекторомъ нѣмецкаго языка, въ 1877 посланъ былъ отъ университета за границу и затѣмъ, послѣ защиты магистерской диссертациі въ 1882, назначенъ былъ въ 1883 на кафедрѣ исторіи всеобщей литературы въ Казани, а потомъ въ Харьковѣ, гдѣ онъ надѣялся на дѣйствіе климата противъ одолевавшей его болѣзни. Къ сожалѣнію, климатъ ему не помогъ и онъ умеръ въ чахоткѣ. Единственнымъ его большимъ трудомъ осталась книга: „Животный эпосъ на западѣ и у Славянъ“ (Казань, 1882), гдѣ критика отдавала справедливость обстоятельному сопоставленію матеріала и попыткѣ самостоятельнаго рѣшенія нѣкоторыхъ основныхъ вопросовъ народной поэзіи въ связи съ нашими формами животнаго эпоса ¹⁾).

Укажемъ еще болѣе или менѣе успѣшныя примѣненія сравни-

¹⁾ Разборъ книги у Дашкевича: „Происхожденіе и развитіе эпоса о животныхъ“, въ кіевскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ, 1883, и въ статьѣ Веселовскаго, „Literaturblatt für germanische und romanische Philologie“, 1883, № 8.

До своей диссертациі Колмаческій напечаталъ еще: „Замѣтки о Гильфагинингѣ (Gylfaginning). Отчетъ о занятіяхъ по исторіи всеобщей литературы за время заграничной командировки (1879/80 академическій годъ)“. Казань, 1881.

Некрологическая замѣтка г. Сумцова, въ „Сборникѣ харьковскаго историко-филологическаго Общества“, т. II. Харьковъ, 1890, стр. XV—XVI.

тельно-историческаго метода въ трудахъ гг. Мочульскаго, Халанскаго, Янчука, Калаша, Созоновича и др. ¹⁾). Упомянемъ наконецъ возобновленіе вопроса о восточныхъ элементахъ русскихъ былинъ. Къ этому предмету возвратился извѣстный путешественникъ и этнографъ Г. Н. Потанинъ въ статьѣ: „Монгольское сказаніе о Гесэръ-ханѣ“ ²⁾), гдѣ онъ въ особенности указываетъ замѣчательныя совпаденія этого сказанія съ былинами о Добрынѣ и дѣлаетъ любопытныя общія замѣчанія о возможныхъ путяхъ сближенія русскихъ преданій съ восточными.

Благодаря начавшимся у насъ изслѣдованіямъ нашей народной поэзіи, свѣдѣнія о ней стали проникать и въ европейскую литературу. Отмѣтимъ, во-первыхъ, внимательно составленныя книги консерватора Британскаго музея Рольстона ³⁾), главнымъ теоретическимъ руководствомъ котораго были сочиненія Буслаева и Аванасьева. Болѣе самостоятеленъ былъ трудъ Рамбо ⁴⁾): французскій ученый далъ въ своей книгѣ цѣльное изложеніе русскаго эпоса отъ древнѣйшихъ былинъ до завершенія ихъ въ историческихъ пѣсняхъ, и комментарий, составленный на основаніи всѣхъ главныхъ трудовъ, какіе представляла тогда наша литература; ему близко знакомы всѣ главные сборники и изслѣдованія Буслаева, Аванасьева, Майкова, Стасова, Шифнера, Ореста Миллера и пр. Довольно самостоятельнымъ трудомъ является небольшая книга Вольтнера ⁵⁾). Любопытный

¹⁾ Историко-литературный анализъ стиха о Голубиной книгѣ. Изслѣдованіе В. Мочульскаго, Варшава, 1887 (изъ „Рус. Филологическаго Вѣстника“).

— Великорусскія былинны Кіевскаго цѣла. М. Халанскаго, Варшава, 1895 (также изъ „Р. Ф. Вѣстника“). Разборъ этой книги, г. Веселовскаго, въ „Вѣстникѣ Европы“, 1888, июль.

Рядъ изслѣдованій принадлежитъ г. И. Созоновичу:

— Пѣсни о дѣвушкѣ-воинѣ и былина о Ставрѣ Годиновичѣ. Изслѣдованіе по исторіи развитія славяно-русскаго эпоса. Варшава, 1886.

— Очеркъ средневѣковой нѣмецкой эпической поэзіи и литературная судьба пѣсни о Нибелунгахъ. Варшава, 1889.

— Пѣсни и сказки о женихѣ-мертвецѣ. Этюдъ по сравнительному изученію народной поэзіи. Варшава, 1890 (Отзывъ о первомъ трудѣ г. Веселовскаго въ „Архивѣ“, Ягача).

О трудахъ гг. Янчука и Калаша упомянемъ при другомъ случаѣ.

²⁾ Вѣстн. Евр. 1890, сентябрь.

³⁾ W. R. S. Ralston: „the Songs of the Russian people“. London, 1872, и „Russian folk-tales“. London, 1873.

⁴⁾ La Russie épique, étude, sur les chansons heroïques de la Russie, traduites ou analysées pour la première fois par Alfred Rambaud, professeur à la faculté des lettres de Nancy, membre de plusieurs sociétés savantes de Russie. Paris, 1876.

⁵⁾ Wilhelm Wollner, Untersuchungen über die Volksepik der Grossrussen mit einem Anhang. Analyse einiger der wichtigeren grossrussischen Volksepen. A. Die älteren Helden. B. Die Helden von Kiev. Leipzig, 1879.

опытъ обобщеній вопроса о старыхъ русскихъ народно-письменныхъ сказаніяхъ представляетъ книга румынскаго ученаго Гастера ¹⁾, основанная въ особенности на изслѣдованіяхъ г. Веселовскаго.

Ученые славянскіе мало обращались къ изслѣдованіямъ по русской этнографіи. Кромѣ г. Ягича, который на половину принадлежитъ русской ученой литературѣ, назовемъ здѣсь еще замѣчательный трудъ профессора грацскаго университета, Григорія Крека: „*Einleitung in die slavische Literaturgeschichte*“: эта книга, появившаяся въ 1874 году, вышла затѣмъ въ новомъ, болѣе чѣмъ вдвое расширенномъ изданіи, представляющемъ чрезвычайно внимательно составленный и снабженный богатыми библиографическими данными обзоръ, во-первыхъ, свѣдѣній о древнѣйшей судьбѣ славянскихъ племенъ ихъ языкѣ и культурномъ состояніи, и во-вторыхъ, обзоръ народной поэзіи, преданій и мифологіи, гдѣ между прочимъ объединено и то, что сдѣлано до сихъ поръ въ этихъ отношеніяхъ относительно славянства русскаго ²⁾.

Въ молодомъ поколѣніи славянскихъ ученыхъ начинается, однако, болѣе серьезное знакомство какъ съ древней русской письменностью и этнографіей, такъ и съ трудами нашихъ изслѣдователей. Вѣроятно, это—начало, которому предстоитъ развиваться ³⁾.

Книжка Дамберга (*Damberg, Versuch einer Geschichte der russischen Ilja-Sage, Helsingfors, 1887*) можетъ быть упомянута только по ея странности. См. о ней въ статьѣ г. Веселовскаго, „Вѣстн. Евр.“ 1888, июль.

¹⁾ *Greeko-Slavonic. Ilchester lectures on greeko-slavonic literature and its relation to the folk-lore of Europe during the middle ages. With two Appendices and plates by M. Gaster, Ph. D. London, 1887.*

²⁾ *Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge von Dr. Gregor Krek. Zweite völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Graz, 1887, большой томъ, XI и 887 стр.*

³⁾ Назовемъ для примѣра труды польскаго молодого ученаго А. Брикнера, чешскаго доцента пражскаго университета, Поливки; словинскаго, г. Мурка (изслѣдованіе повѣсти о Семи Мудрецахъ) и др.

ГЛАВА X.

Общій обзоръ изученій народной жизни за послѣднiя десятилѣтiя.

Новое царствованiе. — Общее обзорiе движенiя этнографической литературы: статистическiя цифры.—Ученныя экспедици.—Статистическiя и описательныя работы.—Мѣстныя изысканiя.—Ученныя учрежденiя и общества.—Археографiя.—Общество любителей древней письменности.—Общество любителей естествознанiя, антропологии и этнографiи.—Расширенiе изслѣдованiй въ области исторiи, исторiи литературы, народно-поэтическаго творчества, быта, обычнаго права, раскола.—Результаты.

Прошлое царствованiе начиналось при особенныхъ обстоятельствахъ, отчасти напоминавшихъ водаренiе императора Александра I, когда общество точно также было исполнено радости и надеждъ на болѣе свѣтлое будущее. Шла тяжелая война, которая, однако, не только не уменьшала розовыхъ ожиданiй, но еще усиливала ихъ: война рѣзкимъ, нагляднымъ образомъ убѣждала всѣхъ, отъ государственныхъ людей до скромныхъ обывателей, никогда не разсуждавшихъ прежде о государственныхъ вопросахъ, что старая система терлитъ явное банкротство, что милитаризмъ и бюрократiя, презирающiе общественную самодѣятельность и науку, способны довести государство до самыхъ тяжелыхъ испытанiй, до серьезной опасности. Послѣ первыхъ неудачъ, указавшихъ явно упомянутое банкротство, патриотическое чувство, котораго не могла не возбуждать война, направилось—не совсѣмъ обычнымъ образомъ—не столько на ожиданiе военныхъ подвиговъ и побѣдъ, сколько на ожиданiе внутренней реформы. Старые порядки общественнаго быта въ первое время новаго царствованiя еще нимало не измѣнились, печать оставалась подъ тѣми же самыми цензурными стѣсненiями, но безъ всякаго особеннаго воздѣйствiя литературы въ обществѣ выросло то стремленiе къ реформѣ, которое на нѣсколько лѣтъ потомъ послужило

источникомъ нравственнаго возбужденія и стало исторической чертой тогдашняго времени.

Литература отразила тогда это новое настроеніе общества. Нѣсколько позднѣе, со второй половины шестидесятыхъ годовъ, и въ наше время противники реформъ и партизаны застоя всѣми средствами старались и стараются оклеветать и унижить значеніе тогдашняго настроенія; и въ то самое время были люди, которые относились къ этому настроенію недовѣрчиво съ другой, противоположной стороны, чувствуя уже тогда его слабыя стороны, мало надѣясь на его глубину и прочность въ массѣ общества и въ самой администраціи, чего и трудно было ждать, вспоминая вчерашнее прошлое этого общества и недостатокъ реальной почвы для овладѣвавшихъ имъ теперь идеалистическихъ ожиданій. Но если разсматривать это время съ нѣкотораго историческаго отдаленія, которое теперь уже наступаетъ, если принять въ расчетъ всѣ условія и обстоятельства русской общественности и сравнить то время съ предыдущимъ и послѣдующимъ, нельзя не признать въ немъ знаменательной, характеристической эпохи, выразившей, хотя частію, давно назрѣвавшія потребности и исканія лучшей части нашего общества. Это можно наглядно видѣть на литературѣ пятидесятыхъ и первыхъ шестидесятыхъ годовъ (хотя все-таки она говорила, по исконному обычаю, съ большими умолчаніями): поднялось, почти вдругъ, множество вопросовъ, о которыхъ она не могла помыслить наканунѣ, вопросовъ о различныхъ сторонахъ нашего государственнаго и общественнаго существованія — о расширеніи просвѣщенія, о самодѣятельности общества, о гласности и самоуправленіи, о преобразованіи суда и администраціи, объ интересахъ провинціи, о народной школѣ, о женскомъ образованіи, о положеніи печати и т. д. Правительственныя заявленія о предположенныхъ реформахъ чрезвычайно оживили общественныя толки и литературу.

Но главнѣйшимъ и основнымъ интересомъ времени сталъ народъ; всего обильнѣе была литература о народѣ. Никогда еще этотъ интересъ не бывалъ столь всеобщимъ, столь одушевляющимъ и волнующимъ, какъ теперь, когда могли, наконецъ, хоть въ извѣстной степени высказаться давнишнія ожиданія образованнѣйшихъ людей и когда правительство заявило свое намѣреніе рѣшить капиталнѣйшій вопросъ народной жизни. „Народъ“ съ его потребностями свободы и просвѣщенія, съ его гражданскими правами, въ которыхъ доселѣ ему отказывалось, его внутренними силами, которыя должны были найти просторъ для болѣе дѣятельнаго, не только пассивнаго, участія въ національной жизни, — только теперь переставалъ быть запретнымъ предметомъ для общественной мысли и литературы;

потому что прежняя теорія „народности“, какъ мы видѣли, давала ей только одно канцелярское опредѣленіе и не допускала другого. Оговоримся впередъ, что въ этихъ первыхъ попыткахъ общественнаго сознанія и литературы выяснить значеніе народнаго начала было не мало разнаго рода неровностей—недостаточнаго пониманія, простодушныхъ или самонадѣянныхъ преувеличеній, но въ основѣ было много самаго искреннаго убѣжденія, глубокаго и преданнаго желанія служить народному дѣлу. Дѣйствительно, для общественнаго сознанія не было интереса болѣе высокаго, болѣе необходимаго и нравственно значительнаго, и общественное настроеніе отразилось самыми благотворными вліяніями на изученіи народности: это изученіе еще никогда не распространялось въ столь разнообразныхъ направленіяхъ, не вызвало такой массы работъ, не искало въ такой степени научныхъ основаній, не связывалось такъ тѣсно съ нравственными и политическими идеями общества. Чрезвычайное различіе прошлаго царствованія съ предшествовавшимъ ему періодомъ бросается въ глаза, и если бы мы хотѣли опредѣлить преобладающую тему общественнаго интереса этого времени, мы найдемъ, что этой темой былъ народъ. О народѣ говорила литература публицистическая, гдѣ предметомъ нескончаемыхъ разсужденій, споровъ, наконецъ, ослобленной полемики послужила крестьянская реформа и множество связанныхъ съ ней вопросовъ; литература историческая пріобрѣла новые стимулы, направила свои изслѣдованія, какъ никогда ранѣе, на бытовые, народные элементы историческаго развитія; этнографія пріобрѣла новый, громадный и драгоцѣнный матеріалъ, какого и не предполагалось въ прежнее время; литература поэтическая обратилась, опять съ небывалой прежде ревностью, на изображеніе народной жизни,—развились цѣлая новеллистическая область, въ которой торазыскивалось и возводилось въ идеаль внутреннее содержаніе народнаго характера, то рисовались мрачныя картины тягостей народнаго быта, и во всякомъ случаѣ призывалось новое участіе общества къ нуждамъ и заботамъ народной массы.

Переходя къ изложенію успѣховъ изученія народности за послѣднее время, отмѣтимъ прежде всего общій фактъ—чрезвычайное, сравнительно съ прежнимъ, размноженіе литературы, посвященной вообще изученію Россіи и русскаго народа. Нѣкоторое понятіе о внѣшнемъ объемѣ этой литературы можно составить по многоразличнымъ указателямъ г. Межова, гдѣ онъ старательно собралъ крупныя и мелкія факты литературы по географіи, статистикѣ, этнографіи, исторіи, археологіи, по спеціальнымъ вопросамъ, какъ крестьянское

дѣло, земство, артель и т. д. Возьмемъ, на примѣръ, два труда г. Межова: „Литература русской географіи, статистики и этнографіи“, указатель, составлявшійся имъ ежегодно для „Извѣстій Географ. Общества“ и обнимающій теперь 1859—1880 годы, и „Литература русской исторіи за 1859—1864 г. вел.“ (Спб. 1866), и продолженіе этого указателя — „Русская историческая библиографія за 1865—1876 включительно“ (Спб. 1882—83, три большихъ тома; 36,810 названій), которая въ полномъ составѣ должна заключать семь томовъ, и до 70—75,000 названій. Любопытно было бы вывести статистическое распродѣленіе этой богатой массы литературнаго труда, но историческая библиографія не даетъ возможности для статистическихъ выводовъ, такъ какъ данныя за нѣсколько лѣтъ слиты вмѣстѣ. Но эту возможность даетъ указатель географическій, такъ какъ составлялся по отдѣльнымъ годамъ, и мы соберемъ изъ него нѣсколько цифръ.

Въ десятомъ выпускѣ „Литературы русской географіи, статистики и этнографіи“ (за 1868 г., изд. 1870) г. Межовъ самъ собралъ десятилѣтніе итоги за 1859—1868 годы. Въ предисловіи къ этому выпуску онъ справедливо указываетъ, какъ важно и поучительно было бы имѣть статистическія таблицы литературнаго движенія за болѣе или менѣе продолжительный періодъ времени: въ нихъ наглядно отражался бы ходъ образованія. Статистическое возростаніе и паденіе разныхъ отдѣловъ литературы, въ связи съ внѣшними обстоятельствами литературной жизни (съ положеніемъ общества, условіями школы и печати), весьма ясно указывали бы движеніе внутренней, умственной жизни общества. „Представить въ возможно вѣрныхъ статистическихъ таблицахъ какъ мѣрное движеніе науки и литературы, такъ и лихорадочное ея движеніе, будь это во время болѣе или менѣе продолжительныхъ потрясеній народной жизни, или въ мирное время, посредствомъ цензурныхъ стѣсненій, — представить подобное движеніе было бы весьма желательно и поучительно. На основаніи подобныхъ статистическихъ таблицъ историкъ цивилизаціи не дѣлалъ бы голословныхъ и гадательныхъ заключеній о прогрессивномъ ходѣ науки и литературы въ данной странѣ, объ упадкѣ одной отрасли ихъ и увеличеніи другой, а закрѣплялъ бы свои слова неопровержимыми фактами“. Нашъ библиографъ хорошо видѣлъ трудность составленія подобныхъ таблицъ, и замѣчаетъ, что въ приводимыхъ имъ цифрахъ очень большая доля есть чистый баласть, или весьма относительно цѣнный матеріалъ, — но статистическое изслѣдованіе тѣмъ не менѣе возможно.

Главная трудность его состоитъ въ чрезвычайной неравномѣрности значенія исчисляемыхъ литературныхъ фактовъ: въ обыкно-

венномъ библіографическомъ каталогѣ одинаково являются одной цифрой и книга, представляющая богатое собраніе матеріала, или результатъ многолѣтнихъ трудовъ первостепеннаго ученаго, или новую плодотворную для науки теорію, — и съ другой стороны ничтожная компиляція, фальшивая и ненаучная статья и т. п.; но остается статистически важная общая масса литературнаго труда, полагаемаго на извѣстный предметъ, счетъ фактовъ по рубрикамъ, наконецъ, возможна извѣстная классификація литературныхъ явленій.

Періодъ времени съ 1859 по 1868, по которому г. Межовъ свелъ итоги, при всей краткости представляетъ любопытное повышеніе въ цифрѣ сочиненій—книгъ и статей—по русской географіи, статистикѣ и этнографіи. Число всѣхъ заглавій, вошедшихъ въ указатель за десять лѣтъ, составляетъ — 22,538, и въ томъ числѣ отдѣльныхъ книгъ и брошюръ—1,665. По отдѣльнымъ годамъ, число книгъ и брошюръ возросло съ 65—въ 1859 г., до 156—въ 1868, а въ 1866 и 1867 доходило до 220 и 233; число статей въ повременныхъ изданіяхъ повысилось отъ 1,034—въ 1859 г., до 2,858—въ 1868; а всего, книгъ и статей, съ 1,099—въ 1859 г., до 3,014—въ 1868. По предметамъ изслѣдованій, общія цифры сочиненія въ тѣ же годы выросли слѣдующимъ образомъ: по географіи топографической — съ 520 на 1,122; по статистикѣ—съ 335 на 1,262; по этнографіи — съ 214 на 526.

Такимъ образомъ цифры выросли очень сильно, увеличиваясь изъ года въ годъ. Исключеніемъ въ этомъ случаѣ были годы 1862 и 1868—вслѣдствіе прекращенія въ эти годы большаго числа періодическихкихъ изданій, чѣмъ бывало въ другое время. Другая неравномѣрность въ движеніи цифръ объясняется еще тѣмъ, что въ нѣкоторые годы больше выходило мѣстныхъ „памятныхъ книжекъ“ и „сборниковъ“ съ этнографическими и статистическими свѣдѣніями.—Указывая это размноженіе трудовъ по изученію Россіи и русскаго народа, нашъ библіографъ справедливо замѣчалъ, что вся эта литература еще далеко не выполняла потребности научной и общественной, что это была только „капля въ морѣ того, что остается еще сдѣлать“. „Много сторонъ народной жизни едва только затронуто, и то въ ограниченномъ количествѣ случаевъ. Множество мѣстностей остается безъ всякаго описанія. Несмѣтныя богатства, заключающіяся въ произведеніяхъ промышленности и торговли, ждутъ еще статистическихкихъ изслѣдованій. Работы много, но рукъ и средствъ, которыя бы заставили эти руки работать, сравнительно мало“. Авторъ указывалъ, между прочимъ, слабое развитіе мѣстной литературы, которая, въ нашихъ условіяхъ, должна бы именно служить для собиранія свѣдѣній по громадному пространству нашего отечества, — и находилъ

необходимымъ большій просторъ для мѣстной инициативы. Къ сожалѣнію, выводы и пожеланія, очень вѣрныя, къ которымъ авторъ приходилъ такъ давно, остаются и донныѣ пожеланіями — внѣшнія условія продолжаютъ мало благопріятствовать и основному теченію, и мѣстному развитію народныхъ изученій.

Изъ этихъ фактовъ статистическаго возростанія г. Межовъ выводилъ, однако, предположеніе, что въ будущемъ возростаніе должно еще увеличиться. Такъ заставлялъ думать общій ростъ литературы, — снаряженіе экспедицій учеными обществами и казенными учрежденіями, — устройство статкстическихъ сѣздовъ. Экспедиціи и сѣзды уже тогда начали образовываться и должны были еще развиться и дать изученіямъ народной жизни большую правильность и систему, связывая разрозненныя умственные силы. Авторъ справедливо находилъ, что изслѣдователямъ народнаго быта собственно также не мѣшало бы устраивать періодическіе сѣзды, чтобы мѣстные собиратели яснѣе понимали и точнѣе выполняли свою задачу. Пересмотрѣвъ въ своихъ книжныхъ поискахъ массу подобныхъ статей, г. Межовъ встрѣтилъ множество такихъ, которымъ вредила именно бессистемность этнографическаго собиранія. Онъ рекомендовалъ собирателямъ, во-первыхъ, „обращать больше вниманія на тѣ особенности народнаго быта, которыя при нивелирующемъ характерѣ современной цивилизаціи грозятъ скоро *исчезнуть*“, и во-вторыхъ, на „тѣ проявленія народной жизни, которыя свойственны *одной только* описываемой *мѣстности*“, и вообще совѣтуетъ запастись систематической *программой*, — каковы, напр., программы, изданныя Географическимъ Обществомъ по обычному праву и собиранію предметовъ для этнографическаго музея, какъ программа г. Ефименка для собиранія народныхъ повѣрій и суевѣрій ¹⁾ и программа для собиранія этнографическихъ свѣдѣній объ украинскомъ народѣ (Кіевъ, 1863)...

Послѣдующіе годы за 1868-мъ, по внѣшнимъ условіямъ, были опять очень мало благопріятны для литературы и народныхъ изученій, но ожиданія нашего статистика тѣмъ не менѣе совершенно оправдались. Продолживъ на слѣдующее десятилѣтіе, 1869 — 78, сличеніе цифръ по указателямъ г. Межова ²⁾, находимъ, что цифры еще выросли по всѣмъ описываемымъ отдѣламъ, а именно:

Число *общихъ* сочиненій: періодическихъ изданій, „памятныхъ книжекъ“ и справочныхъ книгъ, библиографическихъ указателей,

¹⁾ Въ „Извѣстіяхъ“ Географ. Общества, 1866.

²⁾ Они печатались обыкновенно въ „Извѣстіяхъ“ Географическаго Общества, являясь обыкновенно черезъ два года по истеченіи описываемаго года. Послѣдній указатель вышелъ теперь за 1860 г.

изданій Географ. Общества, учебниковъ, біографій и некрологовъ,— возросло съ 90—въ 1869 г., до 497—въ 1878.

Число сочиненій по географіи топографической выросло, за то же десятилѣтіе, съ 1,216 до 1,611; по географіи математической и физической, съ 142 до 284.

Число сочиненій по статистикѣ поднялось съ 1,498—въ 1869, до 2,500—въ 1878.

По этнографіи, оно выросло, за то же десятилѣтіе, съ 467 до 920 ¹⁾.

Общій итогъ, съ 3,413 книгъ и статей— въ 1869, возросъ до 5,812—въ 1878.

Эти цифры представляютъ, конечно, только одну долю литературы, посвященной въ тѣ годы народнымъ изученіямъ, но онѣ даютъ понятіе о дѣломъ: въ отдѣлахъ исторіи, публицистики, литературы поэтической шло не менѣе оживленное движеніе, и подробное статистическое изслѣдованіе поставитъ внѣ всякаго сомнѣнія чрезвычайный ростъ литературы о народѣ. Это явленіе исполнено историческаго смысла. Одинъ этотъ фактъ постоянного, слѣдовательно органическаго возрастанія интереса къ изученію Россіи и русской народной жизни, фактъ, возникновеніе котораго совпадаетъ съ началомъ прошлаго царствованія и съ возбужденіемъ вопроса о реформахъ, особенно крестьянской,—могъ бы указать, какимъ великимъ національнымъ дѣломъ были эти реформы, отразившіяся въ обществѣ столь живымъ обращеніемъ къ изученію своего отечества и народа, и къ какому широкому развитію общественнаго и народнаго самосознанія, т.-е. къ какому внутреннему усиленію національной жизни, они должны бы были повести, еслибъ начатое дѣло продолжалось въ томъ же широкомъ смыслѣ, въ какомъ было предположено и ожидалось. Люди извѣстной партіи, охотно прирывающіеся знаменемъ народности, бросаютъ теперь камнями въ это реформаторское движеніе прошлаго царствованія; но для всякаго добросовѣстнаго наблюдателя нашей новѣйшей исторіи будетъ ясно, что это движеніе было истинно *национальнымъ*, когда оно освобождало поработанные классы народа, открывало имъ возможность самодѣтельности и просвѣщенія, и когда въ умственной жизни общества оно отразилось такимъ благодатнымъ стремленіемъ къ изученію народной жизни, въ которомъ и заключался самый вѣрный путь къ народному самосознанію.

¹⁾ Въ этой цифрѣ, какъ и въ общемъ итогѣ, мы выключали рубрику этнографическихкихъ свѣдѣній о древнихъ народахъ и новѣйшихъ, находящихся внѣ Россіи.

Обратимся въ краткому пересмотру самаго содержанія этой литературы. Мы видѣли, какъ быстро въ послѣднія два десятилѣтія разрослись статистическія цифры литературы, въ которой особенно выразалось изученіе государства и народа. Изученіе перваго десятилѣтія убѣдило нашего статистика, что впредь эта литература должна была расти не только по внѣшнему объему, но и по внутреннему достоинству произведеній. И дѣйствительно, при всѣхъ тяжелыхъ условіяхъ умственной жизни и печати содержаніе этой литературы захватываетъ все болѣе глубокіе вопросы, и въ цѣломъ историко-этнографическая дѣятельность послѣднихъ десятилѣтій составляетъ самый богатый и наиболѣе замѣчательный періодъ народныхъ изученій, каковаго еще не было въ нашей литературѣ.

Подробный, всесторонній, критически-свободный обзоръ этой литературы могъ бы послужить предметомъ труда, чрезвычайно интереснаго и поучительнаго; но для него еще не наступило время. Въ короткомъ очеркѣ трудно, конечно, обозрѣть все движеніе этой литературы, и мы ограничимся лишь общими указаніями на ея объемъ и предметы, и укажемъ сначала официальные работы и изданія правительственныхъ вѣдомствъ, земствъ, ученыхъ учрежденій и обществъ, затѣмъ развитіе литературы по разнымъ предметамъ народной жизни. Читатель обратитъ вниманіе на то, какъ настоятельныя требованія жизни возбуждали дѣятельность официальныхъ вѣдомствъ, которыя съ своей стороны предпринимали обширныя изученія народнаго быта и, покидая старое преданіе административно-канцелярской и архивной тайны, вводили свои труды въ литературу, гдѣ они доставляли поводъ для новыхъ изысканій и критической провѣрки; читатель обратитъ вниманіе на то, съ какою ревностью литература, при первой открывавшейся возможности, обращалась къ изученію народной жизни, сколько положила на это сочувствія и труда; вѣроятно замѣтитъ, насколько дѣятельность литературы могла бы быть еще шире и плодотворнѣе, еслибы встрѣчала болѣе разумнаго довѣрія...

Не будемъ останавливаться на подробностяхъ топографической географіи Россіи, для которой предпринято было въ этомъ періодѣ множество работъ, или иѣрами правительства, или инициативой ученыхъ обществъ и частныхъ лицъ. Укажемъ ихъ только вкратцѣ. Таковы были подробныя научныя изслѣдованія поверхности, занимаемой имперією, г. Стрѣльбицкаго: таковы многочисленныя экспедиціи, снаряженныя правительствомъ или, при пособіи правительства, Географическимъ Обществомъ въ различные ближніе, но особенно дальніе края Россіи и даже за ея предѣлы, — причеиъ съ задачами

собственной географіи соединялись обыкновенно различными изслѣдованіями естественно-историческія. Изъ внутреннихъ экспедицій самою замѣтательною была статистико-этнографическая экспедиція въ юго-западный край, исполненная въ началѣ семидесятыхъ годовъ П. П. Чубинскимъ и о которой скажемъ далѣе. Изъ экспедицій дальнихъ, географическихъ и естественно-научныхъ, извѣстны научныя путешествія Миддендорфа (сѣверъ и востокъ Сибири), Маава (Амуръ, долина Усури), Раде (Кавказъ), Шмидта (Сибирь), Пржевальскаго (Монголія, Тибетъ), Сѣверцова, Өедченко (Туркестанская область), Щанова (Туруханскій край), Ядринцева, Потанина (Монголія), Мушкетова (Туркестанъ) и многихъ другихъ. Новѣйшія экспедиціи Географическаго Общества простирались на отдаленнѣйшіе края Россіи и ея сосѣдства—на Новую Землю, Сахалинъ, въ Памиръ, Мервъ, на Кавказъ, Уралъ, Тибетъ и пр.; учреждено нѣсколькихъ метеорологическихъ полярныхъ станцій на сѣверѣ Россіи и Сибири, въ соучастіи въ обширномъ международномъ предпріятіи съ этой цѣлью, и т. д. ¹⁾ Труды русскихъ ученыхъ не одинъ разъ бывали здѣсь настоящими открытіями, которыя расширяли область науки и между прочимъ высоко оцѣнивались въ европейской литературѣ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти предпріятія имѣютъ и для русскаго общества отрадное нравственное значеніе, давая въ наше смутное и испорченное время примѣры самоотверженнаго, достойнаго глубокихъ сочувствій, служенія дѣлу науки (назовемъ имя безвременно погибшаго Өедченко).

Въ первые годы прошлаго царствованія, параллельно съ трудами Геогр. Общества и Академіи, предпринято было обширное описаніе Россіи, исполнявшееся офицерами генеральнаго штаба.— На ходѣ этого дѣла наглядно отразилась та нравственно-общественная переиѣна, которая наступила съ прошлымъ царствованіемъ. Первое начало этого предпріятія относится къ тридцатымъ годамъ, когда военное министерство, встрѣчая надобность въ статистическихъ описаніяхъ губерній и областей въ военномъ отношеніи, по высочайшему повелѣнію начало составлять подобныя описанія, которыя должны были заключать, во-первыхъ, общія географическо-статистическія свѣдѣнія, „изложенныя въ военномъ отношеніи“, и во-вторыхъ, свѣдѣнія спеціальныя по предметамъ вѣдомствъ генеральнаго штаба, провіантскаго и комисаріатскаго (и черезъ каждые три года должны были быть исправляемы и пополняемы). На этихъ основаніяхъ въ 1837—54 годахъ офицерами генеральнаго штаба составлены были, по свѣдѣніямъ, собраннымъ на мѣстѣ, *три изданія* военно-статисти-

¹⁾ Успѣхамъ русской географической науки въ прошлое царствованіе была посвящена рѣчь въ засѣданіи Геогр. Общества 21 февраля 1880, по случаю 25-лѣтія царствованія имп. Александра II (Привит. Вѣстникъ, 1880).

ческих обзорѣн 69 губерній и областей Россіи. Но этотъ трудъ, даже въ *общихъ* своихъ сторонахъ, разсматривался — какъ канцелярская тайна. Два изъ этихъ изданій существовали въ литографированномъ видѣ; только третье было напечатано, — но всѣ одинаково для публики были недоступны. Въ первые годы прошлаго царствованія эти работы генеральнаго штаба были возобновлены уже на новыхъ основаніяхъ. Военное министерство нашло, что „хотя эти работы и производятся собственно въ видахъ военныхъ, но тѣмъ не менѣе заключаютъ въ себѣ много свѣдѣній, любопытныхъ и полезныхъ для каждаго русскаго, и могутъ послужить хорошимъ матеріаломъ для статистики Россіи“, и въ 1857 распорядилось, чтобы на будущее время эти работы были производимы въ болѣе обширныхъ размѣрахъ и раздѣляемы были, по каждому краю, на два изданія: одна часть, общая, подъ названіемъ статистическаго описанія, назначалась для публики; другая, специальная, подъ названіемъ военнаго обзорѣнія, оставалась исключительно для употребленія военнаго министерства.

Въ 1858, эти работы производились уже въ большей части губерній и областей; въ этомъ и слѣдующемъ году были уже изданы два первыхъ описанія; затѣмъ, съ 1860, описанія стали выходить по нѣскольку томовъ въ годъ, подъ общимъ заглавіемъ „Матеріаловъ для географіи и статистики Россіи, собранныхъ офицерами генеральнаго штаба“. Къ половинѣ 1860-хъ годовъ вышло больше двадцати описаній разныхъ губерній и областей, по общему плану. Планъ заключалъ вообще: историческое введеніе; географическое и топографическое описаніе края (географическое положеніе, границы, пространство, орографія и гидрографія, пути сообщенія, климатъ, естественныя произведенія); число жителей и движеніе народонаселенія; обзорѣніе сословій и классовъ населенія; промышленность; состояніе образованности; внѣшній и внутренній бытъ (свѣдѣнія этнографическія); управленіе; свѣдѣнія о городахъ, важнѣйшихъ селеніяхъ и замѣчательныхъ мѣстностяхъ края; наконецъ карты и планы губернскаго и уѣздныхъ городовъ ¹⁾. Наконецъ, обширнѣйшимъ и замѣчательнѣйшимъ трудомъ нашихъ статистиковъ генеральнаго штаба была извѣстная книга „Россія“, изданная въ 1871, въ ряду выпусковъ „Военно-статистическаго сборника“, подъ редакціею г. Обручева ²⁾.

¹⁾ Надъ этими описаніями работали: Альфанъ, М. Барановичъ, Д. Леонасьевъ, Я. Крживоблоцкій, М. Лаптевъ, А. Орановскій, В. Михайловъ, А. Зашукъ, Н. Вильсовъ, В. Павловичъ, М. Цебриковъ, А. Корево, П. Бобровскій, А. Шмидтъ, Н. Красновъ и мн. др. Нѣкоторыя изъ описаній составляютъ цѣлыя большіе томы.

²⁾ „Военно-статистическій сборникъ. Выпускъ IV. Россія. Составлено офицерами

Другой рядъ подобныхъ описательныхъ работъ сталъ въ то же время издаваться трудами основаннаго тогда Центральнаго статистическаго комитета при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и губернскихъ статистическихъ комитетовъ.

Официальныя статистическія работы впервые начали устанавливаться съ тридцатыхъ годовъ, при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ ¹⁾. Съ конца тридцатыхъ годовъ появляются первыя немногія изданія („Статистическія таблицы о состояніи городовъ Росс. имперіи“; два тома „Матеріаловъ для статистики Росс. имперіи“, 1839—41, и др.). Съ новаго царствованія начались дѣятельныя работы Центральнаго комитета въ Петербургѣ и мѣстныхъ комитетовъ въ провинціи: „Статистическія таблицы Росс. имперіи“, далѣе „Статистическій Временникъ“ (съ 1866 г.), на которые полагали свои труды П. П. Семеновъ, А. И. Артемьевъ, А. Бушенъ, Вильсонъ, Л. Н. Майковъ, И. Кауфманъ и др.; наконецъ, „Списки населенныхъ мѣстъ имперіи“.

Описаніе земель и населенныхъ мѣстъ было, конечно, издавна необходимо для правительственныхъ и административныхъ цѣлей. Начиная съ писцовыхъ книгъ, издавна предпринимались вновь описи, иногда превращавшіяся въ географію, какъ въ „Книгѣ Большому Чертежу“. Дѣлались отдѣльныя описи и въ XVIII столѣтіи, но всегда служили только для административныхъ цѣлей, потомъ забывались въ архивахъ и иногда пропадали; такова была, напр., Румянцовская опись Малороссіи, только часть которой теперь спасена отъ гибели и приведена въ извѣстность. Составленіе полныхъ списковъ населенныхъ мѣстъ въ имперіи предпринималось, наконецъ, и въ новѣйшее время. Первыя мѣры къ этой цѣли приняты были министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ 1836, по учрежденіи статистическаго отдѣленія при совѣтѣ министерства: собраніе свѣдѣній поручено было губернскимъ статист. комитетамъ и просто исправникамъ, но собранныя свѣдѣнія остались и не разработаны, и не изданы, тѣмъ больше, что по взглядамъ самой власти не были и особенно удовлетворительны. Въ 1852 г., при Л. А. Перовскомъ, рѣшено было отправить особую экспедицію для собранія свѣдѣній по административной статистикѣ и составленію списковъ населенныхъ мѣстъ; по

генеральнаго штаба: В. Ф. де-Ливрономъ, барономъ А. Б. Вревскимъ, Н. Н. Мосоловнымъ, Э. А. Фельдманомъ, Л. Л. Лобко, П. А. Гельмерсеномъ, С. А. Выховцемъ, Г. И. Бобринковымъ и А. А. Боголюбовымъ, подъ редакцію генералъ-майора Н. Н. Обручева, управляющаго дѣлами военно-ученаго комитета и профессора военной статистики“. Спб. 1871.

¹⁾ О началѣ русской статистики см. статью А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго: „Взглядъ на исторію развитія статистики въ Россіи“ (въ Записк. Геогр. Общ., т. II, стр. 116—134).

исполненіе ограничилось только *двумя* губерніями (нижегородской и ярославской). Въ 1854, при И. Г. Бибииковѣ, статистическое отдѣленіе при совѣтѣ министерства было преобразовано въ статистическій комитетъ и снова предписано губернскимъ комитетамъ составить описанія городовъ и уѣздовъ, и опять описано было только *дѣтъ* губерніи (саратовская и подольская).

Кромѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, и другія вѣдомства предпринимали въ прежнее время подобныя описанія. Мы говорили о военно-статистическихъ описаніяхъ губерній, начатыхъ съ 1837 департаментомъ генеральнаго штаба военнаго министерства. Извѣстный академикъ П. И. Кёппенъ еще съ двадцатыхъ годовъ обращалъ вниманіе на отсутствіе списковъ населенныхъ мѣстъ, и, наконецъ, въ 1855 г. Академія Наукъ рѣшила собрать такіе списки по приходамъ, при содѣйствіи св. синода и департамента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій;—результатомъ было описаніе *одной* губерніи, составленное Кёппеномъ въ 1858 году: „Города и селенія тульской губ. въ 1857 году“. Хозяйственный департаментъ министерства внутреннихъ дѣлъ издалъ весьма обстоятельное описаніе „Городскихъ поселеній въ Россійской имперіи“. Были, наконецъ, отдѣльные труды этого рода, иногда составляемые частными лицами.

Послѣдовательное и въ обширныхъ размѣрахъ выполненіе этого давнишняго плана произведено было только въ прошлое царствованіе. Въ 1858 году, вскорѣ по учрежденіи Центрального статистическаго комитета, тогдашній министръ внутреннихъ дѣлъ, С. С. Ланской, призналъ необходимымъ составить одновременно полный списокъ всѣхъ населенныхъ мѣстъ имперіи, „въ виду предстоявшихъ преобразованій въ гражданскомъ и хозяйственномъ устройствѣ всего сельскаго населенія“,—составить ихъ, не прибѣгая къ новымъ изслѣдованіямъ, по тѣмъ свѣдѣніямъ, какія постоянно должны находиться въ распоряженіи губернскихъ и уѣздныхъ вѣдомствъ. Определена была программа свѣдѣній, какія должны были войти въ описанія, менѣе сложная чѣмъ прежнія программы, но болѣе отчетливая: описанія должны были заключать — обозначеніе всѣхъ разнородныхъ населенныхъ мѣстъ; ихъ топографическаго положенія; разстояній отъ Петербурга или отъ мѣстныхъ губернскихъ и уѣздныхъ городовъ; числа церквей, домовъ, дворовъ, жителей; статистическое распределеніе населенныхъ мѣстъ по ихъ различнымъ отношеніямъ; азбучный указатель всѣхъ мѣстностей, и наконецъ, общія вводныя свѣдѣнія о губерніи и карту. Общія свѣдѣнія должны были заключать: краткій топографическій очеркъ губерніи или области, съ указаніемъ пространствъ, по новѣйшимъ свѣдѣніямъ; свѣдѣнія объ историческомъ заселеніи описываемой мѣстности, и настоящемъ численномъ и этно-

графическомъ составѣ населенія, — эти данныя могли дополняться свѣдѣніями торгово-промышленными, сельско-хозяйственными и другими; наконецъ, прибавлялось объясненіе топографическихъ терминовъ, преимущественно употребляемыхъ въ описываемомъ краѣ. — Въ 1859 — 60 начали сходиться въ министерство провѣрочныя свѣдѣнія изъ провинціи къ прежнему матеріалу, и въ 1861 уже вышли въ свѣтъ первые выпуски „Списковъ населенныхъ мѣстъ Россійской имперіи“ (губерніи Архангельская и Астраханская, и Бессарабская область). Работа шла быстро и въ непродолжительное время было приготовлено и издано описаніе нѣсколькихъ десятковъ губерній и областей.

Очевидно, что въ этой успѣшности статистическаго труда оказалось тоже вліяніе „духа времени“. Въ прежнее время бюрократія такъ привыкла считать свои свѣдѣнія канцелярской собственностью и тайной, что изданія для публики дѣлались только въ самыхъ ничтожныхъ размѣрахъ. Теперь это бюрократическое преданіе уступило передъ практическими потребностями дѣла и общественнымъ интересомъ. „Списки населенныхъ мѣстъ“ имѣютъ не одно административное примѣненіе; въ нихъ заключается и важный научный матеріалъ: кромѣ свѣдѣній статистическихъ, важные факты для географіи (между прочимъ, исторической), для исторіи (напр., по вопросамъ о русской колонизаціи между инородцами), для этнографіи, для народнаго топографическаго словаря, и пр. ¹⁾

Къ этимъ общимъ трудамъ присоединяются многочисленныя „Памятныя книжки“ по губерніямъ, со множествомъ данныхъ статистическихъ, этнографическихъ, хозяйственныхъ, историческихъ, и такіе же „Сборники“, изданные отчасти Центральнымъ, отчасти мѣстными губернскими комитетами; наконецъ, періодически выходящіе „Труды“ и „Записки“ мѣстныхъ комитетовъ: все это составило цѣлую литературу, съ обильными свѣдѣніями о народномъ бытѣ ²⁾.

¹⁾ „Списки“ редактировались всего болѣе членами Центрального статистическаго комитета (Е. Огородниковъ, Артемьевъ, И. Вильсонъ, Н. Штигилицъ, М. Раевскій и др.); потомъ издавались также мѣстными статистическими комитетами и земствами.

²⁾ Библиографическій обзоръ этой статистической литературы до 1873 г. сдѣланъ въ особой книжкѣ г. Межова: „Библиографическія монографіи. Труды Центрального и губернскихъ статистическихъ комитетовъ. Библиографическій указатель книгъ и заключающихся въ нихъ статей, обнимающій дѣятельность статистическихъ комитетовъ съ самаго начала ихъ учрежденій вплоть до 1873 г.“ Спб. 1873 (8°. 128 стр.), — гдѣ описано сверхъ 500 книгъ и брошюръ, изъ которыхъ лишь очень немногія вышли еще въ царствованіе императора Николая. См. въ особенности очеркъ успѣховъ русской статистической науки за послѣднія 25 лѣтъ, въ рѣчи предсѣдателя статистическаго отдѣленія Географическаго Общества, И. И. Вильсона, читанной 21 февр.

Наконецъ съ основанія земскихъ учрежденій возникаетъ длинный рядъ изданій земскихъ. Приступивъ къ дѣятельности, назначенной ему учрежденіями, земство встрѣтилось съ необходимостью оглядѣться въ своихъ условіяхъ, въ положеніи вещей, и въ результатѣ явились новыя мѣстныя извученія, предметомъ которыхъ были въ особенности отношенія экономическія: земельныя, податныя, сельско-хозяйственныя, промысловыя, цифры населенія, школьное дѣло и т. д. Труды земскихъ собраній и комиссій по множеству подобныхъ вопросовъ мѣстнаго народнаго хозяйственнаго быта уже теперь собрали громадный матеріалъ, о какомъ не имѣла представленія прежняя литература ¹⁾.

Подъ вліяніемъ того общаго оживленія, какимъ было отмѣчено начало прошлаго царствованія, небывалымъ прежде образомъ расширилась литература провинціальная. Крестьянскій вопросъ, учрежденіе земства, напряженное вниманіе къ народнымъ извученіямъ въ главномъ теченіи литературы отразились и въ трудахъ мѣстныхъ любителей и изслѣдователей. Они приняли участіе въ земскихъ дѣлахъ и изданіяхъ, оживили изданія мѣстныхъ статистическихъ комитетовъ, подняли многія изъ „губернскихъ вѣдомостей“, въ прежнее время влачившихъ обыкновенно самое жалкое существованіе, наконецъ, предпринимали свои личныя работы. Многіе изъ нихъ съ большимъ успѣхомъ занимались собираніемъ этнографическихъ данныхъ, изученіемъ мѣстныхъ экономическихъ отношеній, разработкой архивныхъ матеріаловъ, и приобрѣли себѣ почетную извѣстность въ литературѣ о народномъ бытѣ и старинѣ. Такъ работали во Владимірѣ К. Н. Тихонравовъ (авторъ нѣсколькихъ цѣнныхъ монографій о владимірской старинѣ), Голышевъ, Я. П. Гарелинъ; въ Нижнемъ-Новгородѣ—А. С. Гацискій; для Перми—Н. Чупинъ, Д. Смышляевъ; въ Вяткѣ—Н. Романовъ, священникъ Блиновъ, Бехтеревъ; въ Ярославлѣ—Е. И. Якушкинъ, Посниковъ, Деруновъ, Трефолевъ; въ Новгородѣ—

1860 въ засѣданіи Общества, посвященномъ чествованію 25-лѣтія царствованія императора Александра II (Правит. Вѣстникъ, 1860).

¹⁾ Дѣятельность земства не была еще изложена вполне съ этой спеціальной стороны; но вообще, какъ извѣстно, вызвала обширную публицистическую литературу. Г. Межовъ, библиографически, собралъ эту литературу до 1871 г. въ книжкѣ: „Земскій и крестьянскій вопросъ“ (Спб. 1878). Укажемъ еще: „Земскіе итоги“, Вѣстн. Евр. 1870, № 3—4, 7—8; Изв. Андреевскаго, „О значеніи работъ русскаго земства для администраціи и экономической науки“, въ Трудахъ В. Экол. Общества, 1876, т. III, № 12; Мордошцева, „Десятилѣтіе русскаго земства“, Спб. 1877; газету г. Скалона, „Земство“, заключающую много важнаго матеріала и соображеній о дѣятельности земскихъ учрежденій; вообще о положеніи нашихъ земскихъ учрежденій ср. Градовскаго, „Начала русскаго государственнаго права“, т. III, часть 1-я, Спб. 1883, введеніе.

Н. Богословскій; въ Твери — В. И. Покровскій; въ Казани — С. М. Шпилевскій; въ Тамбовѣ — Дубасовъ; для Смоленской губерніи — И. Красноперовъ; для Олонецкаго края — Рыбниковъ, Е. В. Барсовъ, И. С. Поляковъ; въ Оренбургѣ — Н. Серѣда, В. Витевскій; въ Архангельскѣ — П. и А. Ефименко, Чубинскій; въ Витебскѣ — А. Семеновскій; въ Черниговѣ — Ефименко, Червинскій; въ Новороссійскомъ краѣ — А. Скальковскій; въ Сибири — цѣлый рядъ дѣятелей, о которыхъ подробно скажемъ въ своемъ мѣстѣ, и др. Дѣятельность этихъ лицъ часто совпадаетъ съ трудами земствъ, съ изслѣдованіемъ важнѣйшихъ вопросовъ народнаго экономическаго быта, — о которыхъ скажемъ далѣе. Труды нѣкоторыхъ земствъ въ этомъ отношеніи были серьезной заслугой въ дѣлѣ народныхъ изученій. Назовемъ труды земствъ тамбовскаго, новгородскаго, тверскаго, пермскаго, черниговскаго и другихъ, и въ особенности московскаго, въ обширныхъ изданіяхъ котораго явились образцовые труды В. Орлова, д-ра Эрисмана, д-ра Погожева, Каблукова и другихъ.

Въ цѣломъ получается масса статистическихъ свѣдѣній, собранныхъ и обработанныхъ правительственными, земскими и частными средствами, какъ по мѣстнымъ явленіямъ, такъ и по различнымъ отраслямъ общей государственной жизни, — свѣдѣній, которыми вмѣстѣ освѣщаются и условія собственно народнаго быта. Мы возвратимся далѣе къ нѣкоторымъ сторонамъ этой описательной дѣятельности, и уважемъ здѣсь общіе труды, напримѣръ, по статистическимъ вопросамъ о народонаселеніи (В. Вуняковскаго, П. Семенова), о климатѣ (К. Веселовскаго), по статистикѣ сельскаго хозяйства (Чаславскаго, А. Ермолова), финансовъ (Заблоцкаго, Безобразова, Бушена, Тимирязева), путей сообщенія (Гагемейстера, Гельмерсена, Блюха, Чупрова), хлѣбной промышленности (труды комиссіи подъ предсѣдательствомъ Г. П. Неболсина, изъ представителей нѣсколькихъ министерствъ и обществъ Вольно-Экономическаго и Географическаго, гдѣ работали Бушенъ, Тернеръ, Янсонъ, Чаславскій, Чубинскій и другіе).

Дѣятельность Географическаго Общества за этотъ періодъ также чрезвычайно расширилась: открылось нѣсколько мѣстныхъ отдѣловъ Общества, — кавказскій, западно-сибирскій (въ Омскѣ), восточно-сибирскій (въ Иркутскѣ), оренбургскій, юго-западный (въ Кіевѣ), которые предприняли работы на мѣстахъ и свои особныя изданія. Къ сожалѣнію, юго-западный отдѣлъ, только-что начавшій свои работы (два тома „Записокъ“, 1874 — 75) уже вскорѣ былъ закрытъ административнымъ путемъ, одновременно съ запретительными мѣрами противъ малорусской литературы... Дѣятельность Географическаго Общества простиралась на всѣ отрасли географіи, статистики

и этнографіи¹⁾. Раньше мы упоминали, что отдѣленіе этнографіи уже вскорѣ по основаніи Общества предприняло изданіе отдѣльнаго „Этнографическаго Сборника“ (6 томовъ, 1853 — 64); затѣмъ важнѣйшій и болѣе крупный матеріалъ и изслѣдованія этого рода издавались въ особыхъ „Запискахъ И. Р. Геогр. Общества по отдѣленію этнографіи“ (14 томовъ, 1867 — 1890). Изъ работъ географическихъ назовемъ обширные труды г. Семенова—переводъ Риттеровой „Азіи“ съ обширными дополненіями, и въ особенности замѣчательный „Географическо-статистическій Словарь Россійской имперіи“, изданіе котораго, начавшееся съ 1862 г., приведено къ концу въ 1885, въ 5 большихъ компактныхъ томахъ.

Далѣе, обильный матеріалъ для изученія народности представляли изданія другихъ ученыхъ учреждений и обществъ. Во-первыхъ — Академіи Наукъ, въ особенности Второго ея отдѣленія, посвященнаго русскому языку и словесности. Еще съ самаго начала пятидесятихъ годовъ, Русское отдѣленіе предприняло изданіе „Извѣстій“, которыя за десять лѣтъ своего существованія были богатымъ складомъ матеріала по народной словесности и старой письменности, и также филологическихъ и историко-литературныхъ изслѣдованій, особливо Срезневскаго. Тогда же начато было изданіе „Ученыхъ Записокъ“, впервые на русскомъ языкѣ; а затѣмъ Отдѣленіе соединяло труды своихъ членовъ и постороннихъ ученыхъ въ „Сборникъ“ (1867—90, за пятьдесятъ томовъ), гдѣ собрано множество важныхъ историко-литературныхъ изслѣдованій. Изъ собственно академическихъ работъ, первостепенное значеніе имѣли труды Востокова (церковно-славянскій словарь), Срезневскаго (особенно труды палеографическіе и многочисленныя изслѣдованія памятниковъ), Пекарскаго („Наука и литература при Петрѣ В.“), Я. К. Грота („Филологическія розысканія“; изданіе Державина), А. Н. Веселовскаго (изслѣдованія по средневѣковой легендарной литературѣ и народной поэзіи русской и западно-европейской), и др., М. И. Сухомлинова и Майкова (по исторіи литературы древней, новой и народной).

Московское Общество исторіи и древностей открыло усиленную дѣятельность съ 1846 года подъ вліяніемъ Бодянскаго („Чтенія“). Въ 1848, надъ Бодянскимъ страхлась исторія, на нѣсколько лѣтъ удалившая его изъ Общества. Въмѣсто „Чтеній“ стали издаваться „Временникъ“, подъ редакціей И. Д. Бѣляева; но къ концу пятидесятихъ годовъ опала съ Бодянскаго была снята, и опять возобно-

¹⁾ Очеркъ его трудовъ за прежніе годы см. въ книгахъ: „Двадцатипятилѣтіе Импер. Рус. Географ. Общества“, 13 января 1871 г. Сиб. 1872; „Обозрѣніе трудовъ Импер. Рус. Географ. Общества по исторической географіи“. Составилъ А. И. Артемьевъ. Сиб. 1873.

вышло изданіе „Чтеній“ (съ 1858). Посвященныя всего болѣе археологін, русской и славянской литературѣ, и исторіи, старой и новой, „Чтенія“ вмѣстѣ съ тѣмъ давали мѣсто матеріалу этнографическому; черезъ нихъ прошли напр. столь цѣнныя собранія, какъ „Пѣсни“ (великорусскія) Шейна, „Пѣсни галицкой и угорской Руси“ Головацкаго, огромный сборникъ „Пословицъ“ Даля и проч.

Изученіе старины, представляющей различныя стороны и ступени историческаго развитія народности, сосредоточивалось въ особенности въ трудахъ Археологическихъ Обществъ, одного въ Петербургѣ, другого въ Москвѣ, основаннаго гр. А. С. Уваровымъ, Общества древняго русскаго искусства, и въ трудахъ археологическихъ съѣздовъ, которые собирались нѣсколько разъ—въ Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ, Казани, Тифлисѣ, Одессѣ, Ярославлѣ. Отдаленнѣйшей старинѣ руссой земли, быть можетъ связанной и съ древними судьбами племени, посвящались труды Археологической Коммиссіи,—раскапывавшей и описывавшей курганныя древности, особливо въ Крыму и южной Россіи.

Собиранію и изслѣдованію собственно историческаго матеріала посвящаются труды нѣсколькихъ ученыхъ обществъ, официальныхъ и частныхъ. Мы говорили о московскомъ Обществѣ исторіи и древностей. Археографическая Коммиссія, основанная въ царствованіе Николая I, продолжала изданіе лѣтописей (между прочимъ фотографированныя изданія лѣтописей Лаврентьевской и Ипатьевской) и актовъ¹⁾; Виленская археографическая коммиссія, Кіевская коммиссія для разбора древнихъ актовъ собирали мѣстный историческій матеріалъ. Общество лѣтописца Нестора, основанное въ Кіевѣ въ 1870 годахъ, посвящало свои труды древней русской исторіи и письменности. Описаніе рукописныхъ собраній, начатое нѣкогда Востоковымъ, Калайдовичемъ, Строевымъ, продолжалось и теперь: въ послѣднія десятилѣтія явились въ этой области замѣчательные труды опытныхъ библиографовъ: Горскаго и Невоструева (описаніе рукописей московской синодальной бібліотеки), Викторова (рукописи Григоровича, Ундольскаго), Бычкова (рукописи Публичной Библіотеки), А. Попова (рукописи Хлудова), Добрянскаго (рукописи Виленскія), Петрова (рукописи Кіевской духовной академіи), описаніе рукописей Соловецкой бібліотеки, и др. Далѣе, продолжаютъ описанія книгъ старо-печатныхъ—Каратаева, Ундольскаго, Викторова, Бычкова и др. Старой литературѣ и народной поэзіи посвящались „Лѣтописи русской литературы и древности“ Н. С. Тихонравова; „Филологическія

¹⁾ Кромѣ того, Археограф. Коммиссія издавала писцовыя книги, „Историческую Библіотеку“, „Лѣтопись занятій“, описаніе ея рукописей, и началъ изданіе Маварьевскихъ Четь-Миней.

Записки“ Хованскаго, въ Воронежѣ; „Филологическій Вѣстникъ“ Колосова, потомъ Смирнова, въ Варшавѣ. Императорское русское Историческое Общество, открывшее свою дѣятельность съ 1869 г., посвящало свои изданія новой, въ особенности дипломатической исторіи XVIII—XIX вѣка (до 70 большихъ томовъ, 1869—1890). Наконецъ, много историческаго матеріала и изслѣдованій находило себѣ мѣсто въ ученыхъ „Запискахъ“, „Трудахъ“, „Извѣстіяхъ“ университетовъ—петербургскаго, кievскаго, новороссійскаго, казанскаго; въ изданіяхъ духовныхъ академій, кievской и казанской, нѣжинскаго Историко-филологическаго института, и друг. Наконецъ, частныя изданія, вызванныя сильно возбужденнымъ въ обществѣ историческимъ интересомъ и сами питавшія этотъ интересъ, внесли въ литературу огромный запасъ историческихъ свѣдѣній—изслѣдованій и особенно подлинныхъ матеріаловъ: записокъ, воспоминаній, дневниковъ, переписки и т. п. Таковы „Русскій Архивъ“ Бартенева (съ 1863 г.) и имъ же изданный „Архивъ князя Воронцова“ (1870—1883, 27 книгъ); „Русская Старина“ (съ 1870 г.), М. Семевскаго; „Древняя и Новая Россія“ (прекратившаяся); „Историческій Вѣстникъ“ (съ 1880); „Кievская Старина“ (съ 1882), посвященная южно-русской старой и новой исторіи.

Изъ вновь основавшихся обществъ особенную дѣятельность обнаружили два, одно въ Петербургѣ, другое въ Москвѣ.

Общество (впослѣдствіи императорское) любителей древней письменности, основанное въ 1877 г. извѣстнымъ любителемъ русской археологіи и археографіи, кн. Павломъ Петр. Вяземскимъ (ум. 1889) на основаніяхъ нѣсколько исключительныхъ, возбуждавшихъ нѣкоторыя недоумѣнія ¹⁾, тѣмъ не менѣе развило обширную дѣятельность, выразившуюся массою изданій. Общество предприняло изданіе памятниковъ древней письменности, самаго разнообразнаго содержанія, относящихся къ старой исторіи, литературѣ, языку, быту, искусству; иногда оно печатало только тексты, остававшіеся дотолѣ неизданными, иногда присоединялись къ нимъ историко-литературныя комментаріи. При изданіяхъ памятниковъ оно не разъ отступало отъ ученаго обычая выбирать для этого старѣйшіе списки и снабжать ихъ вариантами; Общество, или точнѣе кн. П. П. Вяземскій смотрѣлъ на дѣло иначе: съ точки зрѣнія любителя старины онъ считалъ каждый старый рукописный памятникъ за unicum, который уже тѣмъ самымъ заслуживаетъ изданія—за нимъ могутъ быть изданы и другіе тексты. Въ настоящемъ положеніи нашей науки это

¹⁾ Ср. современный отзывъ А. А. Котляревскаго, въ „Чтеніяхъ“ историческаго Общества Нестора-лѣтописца, т. II, Кievъ, 1889.

была иногда роскошь, тѣмъ болѣе, что извѣстный разрядъ изданій совсѣмъ не поступалъ въ обращеніе, такъ какъ предоставлялся только дѣйствительнымъ членамъ Общества, вносящимъ высокую годовую плату. Было также роскошью, — на этотъ разъ отвѣчавшему научному интересу, — что большая масса изданій Общества представляла литографически исполненные fac-simile рукописей. Этнографическая цѣнность трудовъ Общества заключалась въ томъ, что въ числѣ его изданій былъ цѣлый рядъ старыхъ текстовъ, имѣвшихъ значеніе для объясненія народныхъ знаній и понятій, старинныхъ повѣстей, легендъ и т. п. Въ числѣ ученыхъ сочиненій, изданныхъ Обществомъ, было также нѣсколько трудовъ, имѣющихъ болѣе или менѣе близкое отношеніе къ вопросамъ исторіи быта и этнографіи.

Укажемъ рядъ изданій Общества любителей древней письменности, имѣющихъ упомянутое отношеніе къ предметамъ этнографіи:

— Собраніе гравированныхъ изображеній иконъ Божіей Матери и сказанія о нихъ, 1878, 4°, частью современнымъ шрифтомъ, частью воспроизведены древній печатный экземпляръ и рукопись.

— Римскія дѣянія (Gesta Romanorum). Обширное изданіе, въ двухъ выпускахъ, крупнымъ славянскимъ шрифтомъ. 1877—1878.

— Азбука гражданская съ правоученіями, правлена рукою Петра Великаго, 1877, воспроизведеніе древняго печатнаго экземпляра.

— Отрывокъ изъ сборника XVIII вѣка, съ лицевыми изображеніями и съ красочными помѣтками „На рѣкахъ вавилонскихъ“, 1877. Здѣсь помѣщены: 1) Слово о премудрости царя Соломона и о Южской царицѣ; 2) Сказаніе о Египетскомъ царствѣ; 3) Пророчество Исаи о послѣднихъ дняхъ; 4) Вопросъ, на koliko сребренникъ прода Іюда Христа; 5) О снахъ царя Шигаити; 6) Сказаніе о муромскомъ чудотворномъ крестѣ; 7) О написаніи иконы Богородицы еванг. Лукою; 8) О введеніи въ церковь Богородицы; 9) О царѣ Соломонѣ и о Китоврасѣ; 10) О царѣ Влатазарѣ Вавилонскомъ. Повѣсть о винѣ и како отъ чего сперва сотворися винное сидѣніе. — Нѣсколько лицевыхъ изображеній.

— Стефанитъ и Ихнилать, въ двухъ выпускахъ, 1877—1878, 4°, съ предисловіемъ и примѣчаніями Ѳ. Булгакова. Текстъ славянскимъ шрифтомъ.

— Книга глаголемая Козмографія сирѣчь описаніе сего свѣта земель и государствъ великихъ 1670 г. Въ трехъ выпускахъ, съ предисловіемъ Чарыкова, 1878—1881, слав. шрифтомъ.

— Житіе и хожденіе Іоанна Богослова, 1878, 4°, — воспроизведеніе рукописи князя Вяземскаго.

— Исторія Семи Мудрецовъ, въ двухъ выпускахъ, съ предисловіемъ Ѳ. Булгакова, текстъ и варианты, 1878—1880.

— Сказаніе о чудесахъ Владимірской иконы Божіей Матери. 1878, 43 страницъ. Предисловіе В. О. Ключевскаго; текстъ славянскимъ шрифтомъ.

— Повѣсть о судѣ Шемяки, съ предисловіемъ Ѳ. Булгакова, 1879, 4°: факсимиле текста по рукописи XVII вѣка, факсимиле лубочныхъ иллюстрацій съ текстомъ, транскрипція текста XVII вѣка, талмудическія сказанія о праведныхъ судахъ Соломона (числомъ 4) и талмудическія сказанія о неправедныхъ судахъ Содомскихъ.

— Исторія о Мелюзинѣ, въ двухъ выпускахъ, 1879—1880, крупнымъ славянскимъ шрифтомъ.

— Сказка о Силѣ-царевнѣ и о Ивашкѣ-Бѣлой Рубашкѣ, 1880, стр. 9. Воспроизведеніе лубочнаго съ рисунками изданія.

— Русскій лицевой Апокалипсисъ. Сводъ изображеній изъ лицевыхъ Апокалипсисовъ по русскимъ рукописямъ съ XVI вѣка по XIX, составилъ Ѳеодоръ Буслаевъ. М. и Спб. 1884. (Выпусками начало выходить съ 1880 г.).

— Житіе преподобнаго Нифонта, въ трехъ выпускахъ, 1879—1885, — воспроизведеніе рукописи съ лицевыми изображениями, изъ собранія П. П. Вяземскаго.

— Александрія, въ двухъ выпускахъ, 1880—87. Воспроизведеніе рукописи съ лицевыми изображениями, изъ собранія кн. Вяземскаго.

— Стефанитъ и Ихнилать, М. 1880 — 81. Съ предисловіемъ А. Е. Викторова. Текстъ напечатанъ славянскимъ шрифтомъ по двумъ спискамъ en regard, Севастьяновскому и Синодальному XV вѣка.

— Путешествіе по сѣверу Россіи въ 1791 году. Дневникъ П. И. Челищева, изд. подъ наблюденіемъ Л. Н. Майкова. Спб. 1886.

— „Книга глаголемая Козмы Индикоплова“, изъ рукописи моск. Главнаго архива министерства иностранныхъ дѣлъ, Минея-Четія митр. Макарія (новгор. списокъ), XVI вѣка, мѣсяцъ августъ, дни 23—31, изъ собранія кн. Оболенскаго. Спб. 1886. Точное воспроизведеніе рукописи съ лицевыми изображениями; къ изданію присоединено два листа изображеній изъ собранія кн. Вяземскаго.

— Житіе Варлаама и Иоасафа, 1887, большой томъ, 9°. Воспроизведеніе рукописи изъ собранія кн. Вяземскаго, съ лицевыми изображениями.

Обществомъ изданы были также книги, составленныя Н. П. Барсуковымъ: „Жизнь и труды П. М. Строева“, Спб. 1878, и „Источники русской агиографіи“, Спб. 1882, 9°, обоимъ русскимъ святымъ, съ показаніемъ ихъ иконогонаго изображенія, списками ихъ житій, службъ и пр.

Въ другомъ разрядѣ изданій Общества, который названъ „Памятниками древней письменности и искусства“, помѣщались протоколы о дѣятельности Общества, краткія сообщенія, а наконецъ и дѣльныя старыя тексты и изслѣдованія. Отмѣтимъ здѣсь:

— Сказанія о Бовѣ. „Памятники“ за 1879 (II).

— Преніе Панагіота съ Азимитомъ, ст. кн. Вяземскаго и текстъ XVII в., тамъ же (V).

— Бесѣда трехъ святителей, ст. кн. Вяземскаго и текстъ, 1880 (VII).

— Повѣсть о вѣкомъ рыцарѣ и о женѣ его (VII).

— Повѣсть о Саввѣ Грутцкнѣ, сообщ. С. Писарева (VIII).

— Рукописный сборникъ пословицъ XVI—XVIII в., сообщ. Л. Н. Майкова, тамъ же (IX).

— Русское поученіе XI вѣка: О перенесеніи мощей Николая Чудотворца, и его отношеніе къ западнымъ источникамъ, съ факсимиле рукописи XIII—XIV вѣка. И. А. Шляпкина. 1881. (XIX). Текстъ поученія по двумъ рукописямъ en regard, славянскимъ шрифтомъ.

— Нилъ Сорскій и Вассіанъ Патрикѣевъ, ихъ литературные труды и идеи въ древней Руси, историко-литературный трудъ А. С. Архангельскаго. Часть первая: преподобный Нилъ Сорскій. Спб. 1881—1882 (XXV).

— Повѣсть о Василии Златовласомъ, королевичѣ чешской земли. Сообщеніе И. А. Шляпкина. 1882 (XXXI).

— Житіе и чудеса св. Николая Мурликійскаго и похвала ему. Изслѣдо-

ваніе двухъ памятниковъ древней русской письменности XI вѣка. Архимандрита Леонида. 1881 (1882). Текстъ житія славянскимъ шрифтомъ (XXXIV).

— Хожденіе въ Іерусалимъ и Царьградъ чернаго дьякона Троице-Сергіева монастыря Іоны, по прозвищу маленькаго, 1648—1652. Сообщ. арх. Леонидъ. 1882 (XXXV).

— Сводный старообръческій Синодикъ. Второе изданіе Синодика по четырёмъ рукописямъ XVIII—XIX в. А. П. Пыпина. 1883 (XLIV).

— Законы стиха русскаго народнаго и нашего литературнаго. Опытъ изученій П. Д. Голохвастова. 1885 (XLV).

— Любопытный памятникъ русской письменности XV вѣка. Сообщение А. С. Архангельскаго, 1884. Молитва І. Христу, архангеламъ и пресв. Богородицѣ (L).

— Ростовскіе колокола и звоны. Свящ. Аристарха Израилева, 1884, между прочимъ 4 стр. нотныхъ знаковъ и таблица расположенія колоколовъ (LI).

— Краткое описаніе о народѣ Остякомъ, сочиненное Григоріемъ Новицкимъ въ 1715 году. Издано подъ редакцію Л. Н. Майкова. 1884 (LIII).

— Повѣсть о Царьградѣ (его основаніи и взятіи турками въ 1453 году) Нестора-Исмаандера, XV вѣка. Сообщ. арх. Леонидъ. 1886. Со снимкомъ съ рукописи (LXII).

— Изъ исторіи народной повѣсти. Гисторія о гишпанскомъ шляхтичѣ Долторнѣ... Текстъ по рукописямъ XVIII вѣка и введеніе А. Н. Пыпина. 1887 (LXIV).

— Докторъ Францискъ Скоряна. Исслѣдованіе П. В. Владимірова. 1888.

— Гусли, русскій народный музыкальный инструментъ. Историческій очеркъ Ал. С. Фаминцова. 1790 (LXXXII).

Новымъ, въ послѣднее время весьма дѣятельнымъ научнымъ центромъ, гдѣ важное мѣсто заняли и работы по этнографіи, является Общество любителей естествознанія, антропологии и этнографіи при московскомъ университетѣ, основанное въ 1864 году. Оно распадается на три отдѣла по тѣмъ научнымъ отраслямъ, которымъ посвящена его дѣятельность. Этнографія поставлена здѣсь въ связь съ антропологіей и въ „Трудахъ“ Общества по отдѣламъ антропологии и этнографіи собрано много важныхъ изученій съ точки зрѣнія, которая до сихъ поръ находила еще мало мѣста въ нашей наукѣ. Упомянемъ здѣсь въ особенности труды А. П. Богданова и Д. Н. Анучина. Въ настоящее время во главѣ Общества стоитъ г. Миллеръ, много работавшій по разнымъ отраслямъ этнографіи русской и инородческой.

Всеволодъ Ѳедор. Миллеръ, сынъ извѣстнаго поэта-переводчика (род. въ Москвѣ, 1848), воспитывался сначала въ иностранномъ пансіонѣ Энеса, послѣднемъ пансіонѣ этого типа, существовавшемъ въ Москвѣ, и по окончаніи тамъ курса и затѣмъ послѣ домашней подготовки поступилъ въ московскій университетъ въ 1865. Въ университетѣ онъ занялся санскритомъ и на направленіе его научныхъ интересовъ имѣли также вліяніе лекціи Ѳ. И. Буслаева; при введеніи

дѣленія историко-филологическаго факультета на три отдѣла Миллеръ избралъ славяно-русскій и занялся сравнительнымъ языкованіемъ и у Бодянскаго славянскими нарѣчіями. По окончаніи курса въ 1870, онъ оставленъ былъ при университетѣ на два года и между прочимъ на ваканціяхъ 1871 года предпринялъ вмѣстѣ съ Ф. О. Фортунатовымъ поѣздку въ Литву (кальварійскій уѣздъ, Сувалкской губерніи), гдѣ составилъ сборникъ пѣсенъ и сказокъ на мѣстномъ нарѣчій; пѣсни были изданы при „Извѣстіяхъ“ московскаго университета въ 1873. Выдержавши экзаменъ на магистра, г. Миллеръ былъ посланъ за границу, гдѣ продолжалъ свои изученія сравнительнаго языкованія, между прочимъ подъ руководствомъ Вебера въ Берлинѣ, Людвигъ въ Прагѣ и Рота въ Тюбингенѣ. По защитѣ магистерской диссертациі въ 1876, г. Миллеръ съ осени 1877 началъ лекціи въ университетѣ о санскритѣ; въ 1879—1880 онъ издавалъ вмѣстѣ съ М. М. Ковалевскимъ извѣстный журналъ „Критическое Обзорніе“. Послѣ первой поѣздки на Кавказъ въ 1879 г. Миллеръ обратился къ сравнительно-грамматическому изученію иранскихъ языковъ Кавказа и къ кавказской этнографіи. Съ тѣхъ поръ онъ сдѣлалъ нѣсколько путешествій въ разныя области Кавказа и результатомъ его занятій былъ цѣлый рядъ сочиненій по этнографіи этого края. Съ половины 1870-хъ годовъ г. Миллеръ принялъ участіе въ трудахъ этнографическаго отдѣла Общества любителей ест., антр. и этнографіи, и въ концѣ 1881, за выходомъ предсѣдателя этого отдѣла, Н. А. Попова, избранъ былъ его предсѣдателемъ, а съ 1889 состоитъ президентомъ всего Общества. Въ то же время принявъ, съ 1884, должность хранителя Дашковскаго этнографическаго Музея, г. Миллеръ ввелъ въ немъ этнографическое распредѣленіе коллекцій вмѣсто прежняго географическаго и началъ его систематическое описаніе. Лѣтомъ 1886, по порученію московскаго Археологическаго Общества г. Миллеръ производилъ раскопки и археологическія изслѣдованія въ Крыму и на Кавказѣ (въ Чечнѣ, Осетин и Кабардѣ) и записывалъ тексты на татскомъ нарѣчій горскихъ евреевъ. Съ 1888 г. Миллеръ состоитъ ординарнымъ профессоромъ по кафедрѣ сравнительнаго языковѣдѣнія ¹⁾).

¹⁾ Изъ многочисленныхъ трудовъ В. О. Миллера укажемъ особливо имѣющее отношеніе къ этнографіи русской и инородческой:

— О сравнительномъ методѣ автора „Происхожденія русскихъ былинъ“, въ „Всѣдахъ“ Общ. любителей рос. словесности. Вып. III. М. 1871.

— Статьи и замѣтки о санскритской литературѣ и сравнительному языкованію, — въ „Отчетѣ“ моск. унив. за 1875; въ *Beiträge zur vergl. Sprachforschung*, VIII; Журн. мин. просв., ч. CLXXXV.

— Названія Днѣпровскихъ пороговъ у Константина Багрянороднаго. „Древности“ Московскаго Археол. Общества, 1875, т. V.

Дѣятельность Общества любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи была до сихъ поръ весьма разнообразная и плодотворная. Къ прежнимъ этнографическимъ интересамъ присоединились здѣсь изученія антропологическія, которыя должны бы составлять первую основу этнографіи. Антропологическій отдѣлъ ставилъ вопросы о рус-

— Очерки арійской миеологіи. I. Асвини-Диоскурн. М. 1876, — магистерская диссертация.

— О лютюмъ звѣрѣ народныхъ пѣсенъ. „Древности“, т. VII.

— Восточные и западные родичи одной русской сказки. „Труды Этногр. Отдѣла“ Общ. люб. ест., антр. и этнографіи. Книга IV. 1877.

— Значеніе собаки въ мненческихъ вѣрованіяхъ. „Древности“, т. VI. (Le rôle du chien dans les croyances mythologiques, — въ Atti del IV congresso degli orientalisti. Firenze, II).

— Взглядъ на Слово о полку Игоревѣ. М. 1877.

— Замѣтки по поводу сборника Верковича. 1, Къ вопросу о національности Болна. 2, Отголоски Александрии въ болгаро-русскихъ былинахъ. Журн. мин. проsv. 1877, октябрь. О болгарскихъ нар. пѣсняхъ Верковича, — Вѣстн. Евр., 1877 (что сборникъ Верковича, которому г. Миллеръ довѣрялъ, былъ систематической поддѣлкой, это предполагалось съ самаго его появленія; новѣйшія документальныя доказательства даетъ Константинъ Иречекъ, Cesty ro Bulharsku, Прага, 1888).

— По поводу Траяна и Болна Слова о полку Игоревѣ, — Журн. мин. проsv. 1878, декабрь.

— Разборъ сочиненій Воеводскаго, Этологическія и миеологическія замѣтки; Томсена, Der Ursprung des russ. Staates; къ вопросу о Словѣ о Полку Игоревѣ, по поводу статей Е. Барсова, — въ „Критическомъ Обзорѣнн“, 1879.

— Отголоски финскаго эпоса въ русскомъ, — Журн. мин. проsv., ч. CCVI.

— По поводу одного латовскаго преданія, „Древности“, т. VIII, 1880.

— Въ горахъ Осетии. Р. Мисль, 1881, сентябрь.

— Осетинскіе этюды. Три части. М. 1881—87.

— Черты старинныя въ сказаніяхъ и бытѣ осетинъ. Журн. мин. проsv., 1882, августъ.

— Кавказскія преданія о великанахъ, прикованныхъ къ горамъ, — тамъ же, 1883, январь.

— Рецензіи I—IX выпусковъ „Матеріаловъ для изслѣдованія мѣстностей и племенъ Кавказа, въ Журн. мин. проsv. 1883—90.

— Русская масляница и западно-европейскій карнавалъ. М. 1884.

— Къ вопросу о славянской азбукѣ, — Журн. мин. проsv., 1884, мартъ.

— Въ горскихъ обществахъ Кабарды. (Изъ путешествія Вс. Миллера и М. Ковалевскаго). Вѣстн. Евр. 1884, апрѣль.

— Замѣчанія по вопросу о народности гунновъ, въ „Трудахъ Этногр. Отдѣла“ Общ. ест. в пр., кн. VI. 1885.

— Кавказскія легенды, — тамъ же.

— Разборъ книги Фаминцина: „Божества древнихъ славянъ“, — въ Журн. мин. проsv., 1885, іюль.

— Сборникъ матеріаловъ по этнографіи, издав. при Дашковскомъ Этногр. Музеѣ (вып. I: Осетинскія сказки). М. 1885.

— Этнографическіе слѣды иранства на югѣ Россіи. Журн. мин. проsv. 1886, октябрь.

скомъ племени и инородцахъ, о бытѣ до-историческомъ и т. д. Начало этихъ изысканій, новыхъ въ нашей литературѣ, полагалось здѣсь трудами А. П. Богданова, Д. Н. Анучина, Н. Л. Гондатти, Е. А. Повровскаго, А. Н. Харузина, Н. Г. Керцелли ¹⁾ и др.

Обширное собраніе изслѣдованій представляютъ труды этнографическаго отдѣла Общества, какъ напр.: „Сборникъ антропологическихъ и этнографическихъ статей о Россіи и странахъ ей прилежащихъ“, 1868; „Народныя пѣсни латышей“, Э. Я. Трейланда (Бриземніаксъ), 1873, и его же: „Матеріалы по этнографіи латышскаго племени. Пословицы, загадки, заговоры, врачеваніе и колдовство“; „Сборникъ свѣдѣній для изученія быта крестьянскаго населенія Россіи“, 1888; „Русскіе Лопари, очерки прошлаго и современнаго быта“, Николая Харузина, 1890, гдѣ собраны существующія въ литературѣ свѣдѣнія о лопаряхъ и результаты личныхъ наблюденій въ теченіе сдѣланной по порученію Общества поѣздки, къ которой относится и книжка В. Х.: „На Сѣверѣ“, 1890; и трудъ П. Е. Ефименка

— Систематическое описаніе коллекцій Дашковскаго Этнографическаго Музея. Два выпуска. М. 1887—89.

— Разборъ книги Соколова: „Старорусскіе боги и богини“, Журн. мин. просв. 1887, декабрь.

— Археологическія экскурсіи въ Терской области (или 1-й выпускъ „Матеріаловъ по археологіи Кавказа“): М. 1888.

— Археологическія развѣдки въ Алутѣ и ея окрестностяхъ. „Древности“, т. XII, 1889.

— Иранскіе отголоски въ народныхъ сказаніяхъ Кавказа, въ „Этнографическомъ Обзорѣнн“, 1889.

— О гр. Уваровѣ и Костомаровѣ,—въ „Трудахъ Этнограф. Отдѣла“, кн. VIII.

— Кавказскія сказанія о циклопахъ,— въ „Этнограф. Обзорѣнн“, 1890.

— Матеріалы для исторіи былинныхъ сюжетовъ, тамъ же, 1890.

— Рецензія сочиненія г. Анучина: „Сани, ладыя и воня, какъ принадлежность похороннаго обряда“,—тамъ же, 1890.

— О сарматскомъ богѣ Уатафарнѣ,— въ Трудахъ восточной комиссіи Моск. Археологич. Общества, т. I, 1890.

¹⁾ А. П. Богдановъ издалъ: Общія инструкціи для антропологическихъ изслѣдованій и наблюденій Брокá, переводъ и дополненія; Матеріалы для антропологіи курганнаго періода въ Московской губерніи, 1867; Антропологическія таблицы Брокá съ объяснительною статьею.

— Е. А. Повровскому принадлежатъ книги: „Физическое воспитаніе дѣтей у разныхъ народовъ, преимущественно Россіи“, М. 1884, и „Дѣтскія игры, преимущественно русскія, въ связи съ исторіей, этнографіей, педагогіей, и гигиеной“. М. 1887.

— А. Н. Харузину принадлежатъ изслѣдованія: Киргизы Букеевской орды (вып. I), 1889; Курганы Букеевской степи, 1890; Древнія могилы Гурауфа и Гугуша (на южномъ берегу Крыма), 1890.

— Д. Н. Анучину кромѣ многихъ антропологическихъ изслѣдованій принадлежитъ любопытная книга: „Сани, ладыя и воня“ и пр. въ „Древностяхъ“ моск. Арх. Общ. и отдѣльно, 1890 (Ср. „Вѣстн. Евр.“, авг. 1890).

о русскомъ населеніи Архангельской губерніи, который упомянемъ далѣе. Наконецъ въ протоколахъ этнографическаго отдѣла и въ приложеніяхъ къ нимъ издано много небольшихъ изслѣдованій по различнымъ сторонамъ народнаго быта и поэзи, гдѣ находимъ труды А. Л. Дювернуа, Н. А. Попова, Ф. Д. Нефедова, М. М. Ковалевскаго, А. Кельсіева, Н. Л. Гондатти и пр.; о трудахъ В. Θ. Миллера, Е. В. Барсова выше упомянуто.

Съ 1889 года этнографическій отдѣлъ предпринялъ изданіе „Этнографическаго Обзорнія“, подъ редакцію секретаря отдѣла Н. А. Янчука, гдѣ кромѣ множества частныхъ матеріаловъ и изслѣдованій дается весьма обстоятельный библиографическій перечень новѣйшей этнографической литературы.

Обработка исторіи сдѣлала въ новѣйшее время большіе успѣхи въ разносторонности изслѣдованій, въ расширеніи самой ихъ области. Содержаніе историографіи выросло и фактически, и теоретически. Новые успѣхи европейской науки, антропологии и археологии поставили и у насъ вопросъ о до-историческихъ временахъ, о происхожденіи племени. Труды гр. А. С. Уварова, Иностранцева, Ивановскаго, Самоквасова, Ешевскаго, А. Богданова, И. Е. Забѣлина, Анучина, В. Б. Антоновича, труды Археологическихъ Обществъ и съѣздовъ и Имп. Археологической Комиссіи, раскопки могилъ, кургановъ и пр., открывали для изслѣдованія множество новаго, прежде очень мало извѣстнаго, или даже не подозрѣваемаго матеріала. Изслѣдованія археологовъ, въ союзѣ съ геологами, находили въ разныхъ мѣстахъ Россіи слѣды каменнаго вѣка, открывали замѣчательные остатки древняго греческаго искусства (раскопки въ Крыму, на Таманскомъ полуостровѣ, въ южной Россіи), находили скинскія царскія могилы въ южнорусскихъ курганахъ (какъ Чертомлыцкій, изслѣдованный Забѣлинымъ), слѣды финскихъ древнихъ племенъ, предшествовавшихъ русскому населенію въ средней Россіи (раскопки сѣверныхъ кургановъ, напр. извѣстнаго Ананьинскаго могильника, близъ Елабуги и др.), и т. д.,—однимъ словомъ, полагали начало первому правильному изученію древнѣйшей поры русской земли и народности¹⁾. Замѣчательный опытъ изъ исторіи древней европейской и также славянской культуры представляетъ извѣстное сочиненіе Гена²⁾. Въ послѣднее время обширный трудъ, предпринятый Н. П. Кондаковымъ и гр. И. И. Толстымъ, „Русскія древности“, обѣщаетъ дать первый

¹⁾ Свѣдѣнія объ этихъ изслѣдованіяхъ и главнѣе ихъ результаты см. въ книгѣ П. Полевого: „Очерки русской исторіи въ памятникахъ быта“. Спб. 1879—1880.

²⁾ „Культурныя растенія и домашнія животныя на ихъ переходѣ изъ Азіи въ Европу“. Спб. 1872. Нѣмецкій подлинникъ имѣлъ уже 4-е размноженное изданіе.

общій обзоръ древностей русской территоріи, которыя должны стать первой исторической почвой развитія русскаго племени и народности.

Изученіе собственно историческое представляетъ, какъ мы выше видѣли, огромное размноженіе матеріала, и вмѣстѣ съ тѣмъ продолжающееся исканіе основныхъ началъ, налагавшихъ печать на историческое развитіе русскаго народа. Прошлому царствованію принадлежатъ главная пора дѣятельности Соловьева; но въ то же время развиваются другія направленія, дополнявшія или исправлявшія его теорію. Исторически чрезвычайно любопытно, что въ то же Николаевское время, когда при всѣхъ стѣсненіяхъ общественной мысли выросталъ живѣйшій интересъ къ народу и ждалось его освобожденіе, — готовилась, съ разныхъ сторонъ, историческая точка зрѣнія, стремившаяся открыть значеніе народной стихіи въ складѣ древней политической жизни и государства, значеніе народнаго бытового преданія, доходящаго до нашихъ дней. Таковы были историческіе труды Константина Аксакова, таковъ былъ и основной смыслъ историческаго взгляда Костомарова: въ дополненіе теоріи Соловьева, К. Аксаковъ настаивалъ на значеніи „земли“ рядомъ съ государствомъ, — Костомаровъ выставлялъ участіе областного (федеративнаго) и вѣчоваго элемента въ нашей древней исторіи, и много поработавъ въ особенности для исторіи Южной Руси, уравнивалъ московскую исключительность славянофиловъ и чисто государственную точку зрѣнія Соловьева. Далѣе, труды Щапова были отчасти подготовлены тѣми же старыми стремленіями писателей сороковыхъ годовъ, Аксакова и Костомарова, отчасти вдохновлены уже той постановкой народнаго начала, какая выразилась крестьянской реформой. Щаповъ указывалъ роль именно народа въ самомъ распространеніи территоріи, на которой утвердились русская народность и государство, и слѣдилъ въ исторіи многообразныя проявленія того общиннаго, союзнаго, артельнаго духа, въ которомъ видѣлъ коренную отличительную черту русскаго народнаго характера. Параллельно съ этимъ, въ древней исторіи примѣняется мѣстное изученіе (исторія Рязанскаго княжества — Иловайскаго; Новгорода и Пскова — Костомарова. Ив. Бѣляева, Никитскаго; Мери и Ростовскаго княжества — Д. Корсакова; Твери — Борзаковскаго; Поволжья — Перетятковича; Волоховской земли — Дашкевича; земли Сѣверской — Багалѣя; сѣверо-восточныхъ инородцевъ — Ойрсова, и друг.), и въ особенности изученіе исторіи Малороссіи — въ трудахъ Костомарова, Кулиша, Иванишева, В. Антоновича, Лазаревскаго, И. Новицкаго, Н. Петрова, Дашкевича и мн. др. Бытовая сторона исторической жизни еще съ конца сороковыхъ годовъ была предметомъ изученій г. Забѣлина, который изъ сухого архивнаго матеріала, старыхъ описей и счетныхъ книгъ, извлекалъ

характерныя черты стараго московскаго быта, а въ послѣднее время предпринялъ цѣльный обширный трудъ („Исторія русской жизни“, донынѣ два тома), съ цѣлью органическаго объясненія русской исторіи изъ свойствъ природы русской земли и коренныхъ свойствъ народа.

Въ новой историографіи всплылъ и старинный вопросъ о норманскомъ началѣ русской исторіи, и вызвалъ сначала своеобразный взглядъ Костомарова (о литовскомъ происхожденіи варяговъ), далѣе тенденціозныя „Разысканія“ Иловайскаго (главная мысль которыхъ поддерживается и Забѣлинымъ), опроверженія Погодина и Куняка, и въ особенности изслѣдованія Гедеонова, собравшаго множество объяснительнаго матеріала. Вопросъ, однако, остается нерѣшеннымъ. Важнѣе были труды, направленные на объясненіе древнихъ политическихъ и бытовыхъ формъ,—гдѣ должно назвать имена Лешкова, Ив. Вѣлева, Чичерина, Хлѣбникова, Леонтовича, Никитскаго, В. Антоновича, Романовича-Славятинскаго, Владимірскаго-Буданова, Ключевскаго (Боярская дума, 1882), особливо Сергѣевича („Вѣче и князь“, 1867; „Лекціи и изслѣдованія“, 1883; „Русскія юридическія древности“, I, 1890), Загоскина, Е. А. Вѣлова и др.

Размноженіе источниковъ, болѣе глубокія изслѣдованія бытовыхъ, значительно видоизмѣнили положеніе вопросовъ о характерѣ московскаго періода, о значеніи Петровской реформы и XVIII вѣка—вопросовъ, которые еще до Карамзина и послѣ волновали ученыхъ историковъ и дѣлили ихъ на два враждебные лагеря. Для добросовѣстныхъ изслѣдователей Петровская реформа утратила окончательно тотъ характеръ внезапности, въ какомъ ее обыкновенно изображали прежде и который приводилъ за собою столько безплодныхъ споровъ объ ея народности или ненародности. Восемнадцатый вѣкъ, можно сказать, впервые открылся для изученія въ послѣднія двадцать пять лѣтъ; потребность знать свою исторію была такъ сильна, что устранила, наконецъ, значительную долю цензурныхъ препятствій, которыя до тѣхъ поръ дѣлали изъ собственной исторіи народа и общества канцелярскую тайну. Въ началѣ прошлаго царствованія, одно время, открыта была для ученыхъ и любителей возможность работать въ государственномъ архивѣ, и въ литературѣ проглянула исполненная интереса старина. Затѣмъ открылись частные архивы, и въ историческихъ журналахъ полился потокъ старыхъ и новыхъ мемуаровъ, переписки, документовъ, анекдотовъ и т. п.; чтб еще недавно передавалось только изустными преданіями, на средневѣковой манеръ, начинало входить въ исторію. Правда, обществу все еще приходилось узнавать свою исторію слишкомъ далекимъ заднимъ числомъ,—но недавно и того не было, и проникавшее теперь въ литературу

нерѣдко бывало исполнено величайшаго интереса и поучительности. Передъ обществомъ раскрывались впервые подробности великихъ и малыхъ событій, разъяснялись историческіе характеры и пройденный путь внутренняго развитія. вмѣстѣ съ тѣмъ открывалась во-очію обратная сторона медали: исторія бросила свой свѣтъ на „добрыя старыя времена“ и указала ослзательными фактами, сколько было въ нихъ прискорбнаго, зловреднаго для государства и народа, и иногда истинно ужаснаго и оскорбительнаго — каковы были напр. страшныя проявленія крѣпостного права или административнаго произвола, какъ исторія военныхъ поселеній, какъ старыя порядки канцеляріи, суда, бурсы, консисторіи и т. д. Въ ряду историческихъ источниковъ впервые сталъ замѣчательный рядъ мемуаровъ, только въ послѣднія десятилѣтія явившихся въ печати, — отъ удивительной автобіографіи ересіарха протопопа Аввакума, или курьезныхъ записокъ священника Петровскихъ временъ Лукьянова, до записокъ архимандрита Фотія, разсказовъ о гр. Аракчеевѣ, собственныхъ записокъ усмирителя польскаго возстанія, гр. Муравьева. вмѣстѣ съ исторіей двора и верхнихъ классовъ, разъяснилось многое въ судьбѣ народа и народности, — въ исторіи крѣпостного права, духовенства, раскола и т. д.

Чрезвычайное оживленіе изученій произошло и въ исторіи литературы. Опять довольно напомнить главные факты. Никогда прежде не было издано такой массы произведеній и изслѣдованій древней литературы, какъ въ послѣднія десятилѣтія. Въ этомъ періодѣ продолжали дѣйствовать ученые тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, какъ Срезневскій, Бодянский, Григоровичъ, Горскій, Буслаевъ, митрополитъ Макарій и др., и новыя дѣятели, какъ Тихомировъ, Порфирьевъ, Сухомлиновъ, Костомаровъ, Шаповъ, Е. Барсовъ, Ключевскій (замѣчательное изслѣдованіе русскихъ житій), Барсуковъ, Жмаинъ, Архангельскій, Иконниковъ, Петровъ (киевскій), и т. д. Въ то же время чрезвычайно развилось изученіе новѣйшей литературы. Передъ тѣмъ завершился трудъ Бѣлинскаго, великая заслуга котораго состояла въ установленіи художественно-историческаго значенія новой литературы, въ критическомъ доказательствѣ и укрѣпленіи литературныхъ идей, внесенныхъ Пушкинымъ и Гоголемъ. Но оставалось еще множество исторической работы надъ другими сторонами литературы, надъ опредѣленіемъ самыхъ ея фактовъ, въ ихъ связи съ многоразличными явленіями общественности и просвѣщенія. Съ конца сороковыхъ годовъ, подъ крайнимъ цензурнымъ гнетомъ того времени, изученія направились, отчасти по неволѣ, на такую разработку фактовъ литературы XVIII и XIX вѣка. Это изученіе, прозванное тогда „библиографическимъ“, иногда слишкомъ тѣсное, обратило однако вниманіе

на массу явленій, которыя оставяла въ сторонѣ эстетическая критика, но которыя были исполнены интереса для внутренней исторіи общества и тѣхъ сложныхъ путей, какими шло его самосознаніе (работы Тихонравова, Галахова, Грота, Ефремова, Сухомлинова, Лонгинова—сжегшаго потомъ изданіе сочиненій Радищева,—Аванасьева, Ешевскаго, Пекарскаго, Морозова, Незеленова, библиографовъ—Геннади, Пономарева, Неустроева, Межова и др.). Вмѣстѣ съ тѣмъ выяснилось значеніе и недавняго прошлаго литературы: критикъ „Современника“ въ пятидесятихъ годахъ далъ рядъ замѣчательныхъ статей о Гоголевскомъ періодѣ и дѣятельности Бѣлинскаго, далѣе рядъ статей о Пушкинѣ по поводу выходившаго въ тѣ годы Анненковскаго изданія; позднѣе множество свѣдѣній и матеріала по литературной исторіи приносили историческіе журналы. Литературная старина впервые возстановилась въ живыхъ обильныхъ подробностяхъ; многія произведенія явились впервые въ печати (сочиненія историка прошлаго столѣтія, кн. Щербатова; записка о древней и новой Россіи, Карамзина; многое изъ произведеній даже первостепенныхъ писателей, не находившее прежде мѣста въ печати по причинамъ цензурнымъ); впервые являются обстоятельныя біографіи (напр. Θεофана Прокоповича, Кантемира, Ломоносова, Новикова, Карамзина, Жуковскаго, Пушкина) и изданія сочиненій; наконецъ воспоминанія писателей, чрезвычайно интересныя для исторіи общества и литературы,—какъ напр., замѣчательныя записки и дневникъ А. В. Никитенка.

Изученія этнографическія приняли въ послѣднія десятилѣтія столь широкое развитіе, что равнаго обилія собраннаго матеріала не можетъ представить ни одна изъ европейскихъ литературъ, кромѣ развѣ нѣмецкой.

Прежде всего бросается въ глаза замѣчательное богатство новаго матеріала по изученію народнаго творчества, старины, современнаго и народнаго быта. Произведенія народной поэзіи, былины, пѣсни, сказки, духовные стихи, народныя картинки, обычаи, преданья, легенды, пословицы, загадки, заговоры; черты бытовныя—обряды, юридическіе обычаи, факты объ общинѣ, артели и т. д. собраны въ такой массѣ, о какой не имѣлъ понятія прежній литературный періодъ. Старшему поколѣнію любителей этнографіи еще памятно теперь то время, когда въ концѣ сороковыхъ и началѣ пятидесятихъ годовъ были авторитетными сборники Сахарова, сочиненія Снегирева и т. д. На глазахъ этого поколѣнія совершился громадный ростъ этнографическаго собиранія и изслѣдованія. До пятидесятихъ годовъ древній эпосъ былъ извѣстенъ только по старому сборнику Кирши Данилова. Въ академическихъ „Извѣстіяхъ“ тѣхъ годовъ вмѣстѣ

съ замѣчательными пѣснями Ричарда Джемса, записанными въ Москвѣ въ 1619—20 г., явились первые образчики современной живой былинны въ записяхъ свящ. Фаворскаго, С. Гуляева, Цѣвницкаго, Д. Соловьева; затѣмъ новые образчики въ Олонецкихъ губ. Вѣдомостяхъ, а вслѣдъ затѣмъ въ монументальныхъ собраніяхъ Рыбникова, Кирѣвскаго, Гильфердинга. Затѣмъ этнографическіе сборники разрослись до обширной массы, гдѣ въ особенности размножаются сборники мѣстные. Укажемъ изъ этой массы: пѣсни бытовья, лирическія и пр., собранныя въ книгахъ Шейна (1859), П. Язушкина (1865); въ сборникахъ Варенцова (пѣсни самарскаго края, 1862), А. Савельева (донскія, 1866), Лаговскаго (костромскія, вологодскія, нижегородскія и ярославскія, положенныя на ноты, 1877), Студитскаго (новгородскія, 1874), А. Можаровскаго (казанскія, 1873), В. Магнитскаго (чебоксарскія, 1877), Попова (чердынскія пѣсни) и т. д. Пѣсни сѣверо-западнаго края были собраны въ „Сборникѣ памятниковъ народнаго творчества въ сѣверо-западномъ крайѣ“ (1866), въ сборникахъ Безсонова (1871), Шейна (1874), Носовича (1874), Е. Р. Романова (1800), Зинаиды Радченко (1800) и пр. Дѣтскія пѣсни собраны Безсоновымъ (1868). Духовные стихи, послѣ Кирѣвскаго (1848), были собираемы Варенцовымъ (1860) и Безсоновымъ (1861—64). Замѣчательное собраніе „Причитаній“ сѣвернаго края сдѣлано Е. Барсовымъ (1872—82). Собранія сказокъ—Аванасьева и Худякова (1861); загадокъ—Садовникова (1876); заговоровъ и заклинаній—Л. Майкова (1869)...

Изученіе Малороссіи, малорусскаго быта и народнои поэзіи вызывало столь же ревностныя труды. Не вдаваясь въ подробности, отмѣтимъ здѣсь главное: труды кіевскаго отдѣла Географическаго Общества (два тома), сборникъ „Историческихъ пѣсенъ“ В. Антоновича и Драгоманова (1874—1875), „Малороссійскія преданія“ Драгоманова (1876), сборники И. Рудченка (Сказки, 1869—1870; Чумацкія пѣсни, 1874) и въ особенности, монументальныя „Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ западно-русскій край“, П. П. Чубинскаго (семь большихъ томовъ, 1872—78).

Наряду съ памятниками живого народно-поэтическаго творчества, вниманіе изслѣдователей направилось, особливо съ конца пятидесятихъ годовъ, на изученіе народно-поэтическихъ памятниковъ въ старой письменности. Впервые открыта была для изслѣдованія обширная литература старыхъ повѣстей, сказокъ, легендъ, апокрифическихъ сказаній и повѣрій, составлявшихъ поэтическое содержаніе старой литературы. При этомъ нашлись и замѣчательныя произведенія подлинной народнои поэзіи, какъ упомянутыя пѣсни Ричарда Джемса, какъ „Повѣсть о Горѣ-злочастіи“, какъ старинныя записи

былинъ; обширная литература старинныхъ повѣстей, приходившихъ изъ западныхъ, южныхъ и отчасти восточныхъ источниковъ, раскрывала неизвѣстныя до того литературныя связи древней русской письменности, доставляла важныя указанія вообще о средневѣковой поэзіи Византіи и европейскаго запада, наконецъ впервые выясняла соотношенія письменной повѣсти и апокрифическаго преданія съ самимъ народнымъ эпосомъ, для котораго здѣсь находились не подозрѣваемые прежде параллели и источники.

Эта вновь открытая область народно-поэтическаго творчества чрезвычайно оживила изслѣдованія миеологическія, этнографическія и народно-литературныя. Мы указывали усиленное изученіе народнаго эпоса, съ различныхъ точекъ зрѣнія, въ трудахъ гг. Буслаева, Безсонова, Ор. Миллера, Стасова, Всеv. Миллера, Н. Лавровскаго, Квашнина-Самарина, Жданова, Кирпичникова, Потемни, Тихонравова, Александра Веселовскаго, Ягича.

Эти открытія въ области народной поэзіи и старины привлекли на себя вниманіе и въ европейской литературѣ. Нѣмецкіе, англійскіе, французскіе, наконецъ итальянскіе ученые посвятили болѣе или менѣе самостоятельныя труды нашимъ народнымъ памятникамъ и нашимъ изслѣдованіямъ. Таковы сочиненія Рольстона, Рамбо, Вольнера, Р. Г. Вестфала (о русской народной поэзіи) Л. Леже (о миеологіи, старой русской литературѣ) и друг.

Изслѣдованія собственно народнаго быта тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ крестьянской реформой, въ которой коренится ихъ широкое развитіе.

Освобожденіе крестьянъ составило предметъ цѣлой обширной литературы. Работы официальныя собраны были въ обширныхъ матеріалахъ редакціонныхъ комиссій и въ изданіяхъ губернскихъ комитетовъ; съ другой стороны, оживленная дѣятельность поднялась въ обществѣ и литературѣ тотчасъ, какъ только вопросъ былъ поставленъ властью и разрѣшено было его литературное обсужденіе. Журналы наполнились статьями о разныхъ сторонахъ крестьянскаго вопроса: о землѣ, общинѣ, хозяйствѣ, школѣ и т. д.; основалось нѣсколько новыхъ изданій, посвященныхъ жгучему вопросу (Журналъ землевладѣльцевъ, Сельское благоустройство, Экономическія записки, Политико-экономическій указатель, Вѣстникъ мировыхъ учреждений, Мировой посредникъ и др.). Среди споровъ, иногда ожесточенной полемики, гдѣ противъ стремленій къ народному и государственному благу боролось раздраженное своекорыстіе, выяснялась все больше самая сущность дѣла, впервые ставшаго тогда предметомъ литературнаго изученія и объясненія. Вопросъ о „народѣ“ становился реальнымъ, осязательнымъ, необходимымъ.

Впервые возникло историческое изучение крестьянского вопроса: начала крѣпостного права, его утверждения и распространения, его экономических и общественных проявлений, наконецъ, первыхъ правительственныхъ плановъ къ его ограниченію и т. д. Кромѣ множества частныхъ изслѣдованій, являлись общіе обзоры—въ трудахъ Б. Н. Чичерина („Несвободныя состоянія въ древней Россіи“, 1856); К. П. Побѣдоносцева (статьи по исторіи крѣпостного права, 1858, 1861); Ив. Д. Бѣляева („Крестьяне на Руси“, въ Р. Бесѣдѣ 1859, и отдѣльно, 1860); Погодина и Костомарова (полемика о томъ, должно ли считать Бориса Годунова основателемъ крѣпостного права, 1858—59); Вешнякова (о разныхъ видахъ крестьянства, 1857—59); Романовича-Славатинскаго (Дворянство въ Россіи, 1870); В. Семейскаго (Крестьяне въ царствованіе имп. Екатерины II, 1881; Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половинѣ XIX вѣка, 2 т., Спб. 1888); кн. Червасскаго (въ Р. Архивѣ, 1882). По исторіи малорусскаго и юго-западнаго крестьянства—въ трудахъ А. М. Лазаревскаго (Малороссійскіе посполитые крестьяне, въ Зап. черниг. стат. комитета, 1866; обзорѣніе Румянцовской описи Малороссіи, 2 вып. 1866—67; 3-й вып. изданъ Константиновичемъ), Леонтовича (Крестьяне юго-зап. Россіи по литовскому праву XV и XVI столѣтія, 1863), В. Б. Антоновича (въ Архивѣ юго-зап. Россіи, ч. VI, II, 1870, введенеіе), Ив. Новицкаго (Очеркъ исторіи крестьянскаго сословія юго-зап. Россіи въ XV—XVIII в., 1876, въ томъ же Архивѣ, ч. VI, I). По новѣйшей исторіи вопроса—въ „Матеріалахъ для исторіи крѣп. права въ Россіи. Извлеченія изъ секретныхъ отчетовъ министерства внутреннихъ дѣлъ за 1836—56 г.“ (изд. въ Берлинѣ), и т. д. Наканунѣ освобожденія Тройницкій издалъ любопытныя статистическія изслѣдованія „о числѣ крѣпостныхъ людей въ Россіи“ (Ж. Мин. Внутр. Дѣлъ, 1858), и затѣмъ новое изслѣдованіе: „Крѣпостное населеніе въ Россіи по 10-й народной переписи“ (Спб. 1861).

Исторія самаго освобожденія изложена была, во всей подробности официального хода работъ, въ извѣстномъ трудѣ А. И. Скребицкаго („Крестьянское дѣло въ царствованіе имп. Александра II“. Пять компактныхъ томовъ. Боннъ, 1862—68), въ „Матеріалахъ для исторіи упраздненія крѣпостного состоянія помѣщичьихъ крестьянъ въ Россіи въ царствованіе имп. Александра II“ (три тома. Берлинъ, 1860—61), въ книгѣ г. Иванюкова (Роль правительства, дворянства и литературы въ крестьянской реформѣ, 1882), Энгельмана (1880—81) и др. Въ послѣднее время стали являться біографическія матеріалы и воспоминанія объ этой эпохѣ, какъ напр., записки сенатора Я. Соловьева, и друг. ¹⁾.

¹⁾ При самомъ началѣ дѣла вышелъ любопытный бібліографическій трудъ: Су-

Разрѣшеніе крестьянскаго вопроса Положеніями 19 февраля 1861 года такъ близко захватывало не только интересы двухъ словій,—изъ которыхъ одно составляло десятки милліоновъ народа, другое было вліятельнѣйшимъ и образованнѣйшимъ классомъ, — но черезъ нихъ и всей массы государства и общества, что вліяніе этого факта чувствовалось на каждомъ шагу. Послѣдовавшія реформы, судебная и земская, наконецъ, реформа въ области военной, еще разъ подняли вопросъ о народѣ въ общественномъ сознаніи, и когда вмѣстѣ съ тѣмъ раздвигались и рамки печати, понятно, что литература была надолго поглощена разъясненіемъ историческихъ фактовъ и современныхъ отношеній, и безконечной полемикой, гдѣ уже вскорѣ пришлось защищать реформы отъ реакціонеровъ, которые стали брать верхъ уже вскорѣ послѣ 19 февраля. Бывали времена, когда самая защита реформъ, составившихъ славу царствованія, становилась дѣломъ не безопаснымъ. Въ концѣ концовъ, реформы остались недовершенными, ихъ первоначальный объемъ стѣсненъ ¹⁾,—но начатія изученія продолжались, и литература, спеціально посвященная народному быту, его формамъ и современному состоянію, продолжала расти до послѣдняго времени. Эта литература касалась всѣхъ общественныхъ и экономическихъ сторонъ крестьянскаго быта и представила огромную массу свѣдѣній, въ которой изслѣдователи едва начинаютъ ориентироваться, сводить итоги и общія заключенія.

Таковъ былъ прежде всего вопросъ о поземельной собственности, съ которыми связаны и сплетены множество отношеній народнаго

systematisches Verzeichniss von Bücher, Zeitschriften, zerstreuten Abhandlungen und einzelnen Aufsätzen, betreffend die Literatur und Geschichte der Privatunterthansverhältnisse von der ältesten bis auf die neueste Zeit, so wie ihrer Aufhebung in den verschiedenen Ländern Europa's, von Dr. F. L. Boesigk. Als Manuscript gedruckt. Dresden, 1857.—Позднѣе, г. Межовъ составилъ библиографическую книгу: „Крестьянскій вопросъ въ Россіи. Полное собраніе (т.-е. вѣрнѣе, указаніе) матеріаловъ для исторіи крестьянскаго вопроса на языкахъ русскою и иностранннхъ, напечатанныхъ въ Россіи и за границею 1764—1864“. Спб. 1865; больш. 8°. 421 стр., 2800 номеровъ русскихъ и 505 иностранныхъ, — и впоследствии продолженіе этого труда: „Земскій и крестьянскій вопросы. Библиографическій указатель книгъ и статей, вышедшихъ: по первому вопросу, съ самаго начала введенія въ дѣйствіе земскихъ учреждений и ранѣе, по второму—съ 1865 вплоть до 1871“. Спб. 1873.—Академія наукъ поставила въ концѣ пятидесятыхъ годовъ задачу: „Историческія и статистическія изслѣдованія объ освобожденіи крестьянъ въ государствахъ западной Европѣ“. Премированнымъ, въ 1860 г., сочиненіемъ была изданаая потомъ книга: *Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit in Europa bis um die Mitte des XIX Jahrh.* von Samuel Sugenheim. Спб. 1861.

¹⁾ Это много разъ указывалось въ публицистикѣ; такова, между прочимъ, книга А. А. Головачова: „Десять лѣтъ реформъ. 1861—1871“. Спб. 1872.

быта, экономического, гражданского, нравственного. При самомъ началѣ реформы, еще шли споры, должно ли освобождать крестьянъ съ землей или безъ земли; реформа упразднила эти споры, крестьянство было снабжено землей, но уже вскорѣ возникли другіе вопросы: достаточны ли крестьянскіе надѣлы, какъ пользуются крестьяне землей, гдѣ источникъ упадка крестьянскаго хозяйства, который началъ обнаруживаться несомнѣнно, какъ помочь этому хозяйству, какъ организовать переселенія и т. д. По этимъ вопросамъ доставляла много указаній упомянутая прежде статистическая литература, правительственная и земская. Въ послѣдніе годы предприняты были по этому предмету новыя работы, официальныя и частныя, старавшіяся опредѣлить вопросъ въ цѣломъ его объемѣ. Таковы были: „Докладъ высочайше утвержденной комиссіи для изслѣдованія нынѣшняго положенія сельскаго хозяйства и сельской производительности въ Россіи“ (Спб. 1873, и четыре тома приложеній, f^o), и позднѣе „Матеріалы для изученія современнаго положенія землевладѣнія и сельско-хозяйственной промышленности въ Россіи“, собранныя по распоряженію министра государств. имуществъ (Спб. 1880). Труды комиссіи, дѣйствовавшей подъ предсѣдательствомъ министра государственныхъ имуществъ, по подробной программѣ, дали новый поводъ къ изученію вопроса, который въ то же время (и до сихъ поръ) разрабатывался, обыкновенно съ замѣчательнымъ вниманіемъ и точностью, въ земской статистикѣ. Другой важной официальной работой послѣдняго времени была „Статистика поземельной собственности и населенныхъ мѣстъ Европейской Россіи“, изданная Центральнымъ статистическимъ комитетомъ и составленная по даннымъ обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями министерства внутреннихъ дѣлъ (вып. 1-й: губерніи центральной земледѣльческой области; вып. 2-й: губерніи московской промышленной области; вып. 3-й: губерніи литовской и бѣлорусской группъ. Спб. 1880—82. 4^o). Въ то же время шла усиленная ученая и публицистическая разработка различныхъ сторонъ предмета, въ трудахъ земскихъ и частныхъ. Назовемъ изъ послѣднихъ въ особенности сочиненія кн. Васильчикова (Землевладѣніе и земледѣліе, 1876; 2-е изд. 1882; Сельскій бытъ и сельское хозяйство въ Россіи, 1881), Э. Янсона (Опытъ статистическаго изслѣдованія о крестьянскихъ надѣлахъ и платежахъ, 2-е изд. 1881, и Сравнительная статистика Россіи и зап. европ. государствъ, 1878—80). Обширная масса трудовъ появилась по множеству частныхъ сторонъ экономического народнаго вопроса — о землѣ, о крестьянскихъ платежахъ, поземельномъ кредитѣ, объ оцѣнкѣ земельныхъ угодій, объ отхожихъ промыслахъ, о кустарной промышленности, о переселеніяхъ и т. д.

Отмѣтимъ, напр., книгу г. Энгельгардта („Изъ деревни“, 1883), А. Яковлева (Очеркъ народнаго кредита въ зап. Европѣ и Россіи, 1869), Колюпанова и Лугинина (Практическое руководство къ учрежденію сельскихъ ремесленныхъ банковъ, 1869), кн. Васильчикова (Мелкій земельный кредитъ въ Россіи, 1876), Н. Ерошевскаго (Къ вопросу о позем. кредитѣ, 1881), Ходскаго (Поземельный кредитъ въ Россіи, 1882), литературу по учрежденному недавно поземельному крестьянскому банку, и т. д.

Съ освобожденіемъ крестьянъ должны были установиться новыя формы внутренняго сельскаго распорядка, управленія и суда. Въ замѣну прежней помѣщичьей власти, судебная реформа установила новый судъ; земская реформа ввела новыя отношенія по управленію и сборамъ. Передъ самой властью и обществомъ сталъ первостепенный вопросъ о томъ, какъ вообще сложатся эти новыя формы быта, и въ сознаніи явилась необходимость, практическая, историческая и нравственно-общественная, сообразоваться съ возрѣніями, желаніями и пользами самѣй народной массы. На первомъ планѣ сталъ вопросъ объ общинѣ. Онъ сдѣлался предметомъ оживленной литературной разработки еще въ то время, когда рѣзко стояли одна противъ другой „партіи“ западная и славянофильская; но вопросъ объ общинѣ первый спуталъ эти вѣтки. „Община“, которая, по славянофильскому понятію, представляла одно изъ главнѣйшихъ отличій русской народной жизни, непримиримыхъ съ жизнью западной, нашла въ такъ-называемомъ западномъ лагерѣ сторонниковъ, въ сущности болѣе ревностныхъ и (какъ позднѣе оказалось) болѣе искреннихъ, чѣмъ въ лагерѣ восточномъ. Герценъ, еще въ пятидесятыхъ годахъ, въ „Письмѣ къ Мишле“, указывалъ великое превосходство русскаго общиннаго начала и даже предсказывалъ ему великую роль въ будущемъ, гдѣ оно послужитъ культурнымъ вкладомъ русскаго народа въ цивилизацію самой западной Европы... Теперь мнѣнія объ этомъ предметѣ распредѣлились иначе, по другимъ общественнымъ группамъ и на основаніи практическихъ соображеній, получившихъ, однако, и теоретическую подделку.

Первое вниманіе, правительственное и литературное, направилось на общину еще съ Екатерининскаго вѣка, когда въ общественномъ мнѣніи возникало вообще не мало важныхъ внутреннихъ вопросовъ (таковы, напр., замѣчанія Болтина, 1788, и др.), — къ сожалѣнію, заглушенныхъ наступившими еще при Екатеринѣ и надолго утвердившимися потомъ реакціонными нравами. Къ нашему времени, вопросъ объ общинѣ былъ напомянутъ въ извѣстной книгѣ Гакстгаузена, и какъ только, въ началѣ прошлаго царствованія, литература получила нѣкоторую свободу дѣйствія, она посвятила тотчасъ и по-

свящаетъ донинѣ усиленные труды разъясненію этого первостепенной важности предмета. Для тѣхъ, кто хотѣлъ бы обозрѣть весь объемъ этой литературы за прошлое царствованіе, укажемъ библиографическій трудъ П. Соколовскаго¹⁾, и здѣсь назовемъ лишь нѣсколько главныхъ фактовъ.

Какъ замѣчено, въ вопросѣ объ общинѣ смѣшалось прежнее различіе литературныхъ лагерей: главнѣйшіе представители ихъ въ концѣ пятидесятихъ годовъ, „Русская Бесѣда“ и „Современникъ“, были одинаковыми партизанами общиннаго начала, съ тою разницею, что первая продолжала примѣшивать къ вопросу мотивы національно-мистическіе, второй ставилъ вопросъ съ болѣе простой, реально-экономической и общественно-нравственной точки зрѣнія²⁾. Несогласія относительно значенія общины возникли съ другой стороны, а именно, защитниками ея явились люди, ставившіе на первомъ планѣ интересы крестьянскаго быта, желавшіе сохраненія и развитія формъ, не только выработанныхъ народомъ и ему близкихъ, но и представляющихъ лучшее обезпеченіе противъ обезземеленія, батрачества и пролетаріата, наконецъ, желавшіе развитія начала самоуправленія и самодѣтельности; противниками общины выступили скрытые, а потомъ и явные противники самаго освобожденія, заботившіеся гораздо больше объ интересахъ крупнаго землевладѣнія, защищавшіе личную крестьянскую собственность—въ лучшемъ случаѣ, въ интересахъ сельскаго хозяйства, успѣхи котораго полагались невозможными при общинномъ владѣніи землей, а въ худшемъ случаѣ, защищавшіе личную крестьянскую собственность въ ожиданіи ея упадка, появленія батрачества и удешевленія рабочей силы; приверженцы административной регламентаціи, мечтавшіе о нѣкоторомъ возстановленіи старыхъ порядковъ посредствомъ патримоніальной полиціи. Этотъ послѣдній лагерь (представителемъ котораго была особенно газета „Вѣсть“) пользовался весьма разнообразными аргументами въ защиту своего взгляда—и лестно старымъ консервативнымъ наклонностямъ извѣстныхъ сферъ, и клеветами на „сенъсимонистовъ“ (такъ, между прочимъ, эта партія трактовала славянофиловъ) и рядомъ ссылками на „либеральное“ ученіе старой поли-

¹⁾ Указатель книгъ и статей о сельской поземельной общинѣ, въ „Сборникѣ матеріаловъ для изученія сельской позем. общины“. Изданіе Имп. Вольнаго Экономическаго и Р. Географическаго Общества, подъ редакціей Ф. Л. Барникова, А. В. Половцова и П. А. Соколовскаго. Т. I. Спб. 1880. Прилож., стр. 1—48, и отдѣльно.

²⁾ Статьи Ю. Самарина—въ Р. Бесѣдѣ 1857, и Сельскомъ Благоустройствѣ, 1858; Хомякова, 1857; Кошелева, въ Сел. Благ. 1858. Статьи въ „Современникѣ“: О поземельной собственности, 1857, № 9, 11; Отвѣтъ на замѣчанія провинціала, 1858, № 8; Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія, 1858, № 12; Суевѣріе и правила логики, 1859, № 10, и др.

тической экономіи о *laissez-faire*, и даже на патріархальныя добродѣтели народа, жаждущаго всюду начальственной опеки, и т. д. Теоретическія основанія въ пользу общиннаго землевладѣнія были съ самаго начала даны и защищаемы въ особенности въ „Р. Вѣстѣ“ и „Современникѣ“; съ тѣхъ поръ вопросъ вызвалъ множество историческихъ и мѣстныхъ изысканій, развивающихся особенно съ 1870-хъ годовъ. Изъ большого ряда сочиненій обоего рода, историческихъ и описательныхъ, укажемъ только главные труды, напр. Чичерина, и по его поводу, Бѣляева и Соловьева (съ 1856, и „Историческія письма“, 1859); Лешкова (Общинный бытъ древней Россіи, 1856; ст. въ Юридич. Вѣстникѣ, 1867); Иванишева (О древнихъ сельскихъ общинахъ въ юго-западной Россіи, въ „Р. Вѣстѣ“, 1857); Кавелина (въ „Атенеѣ“, 1859; „Общинное владѣніе“, въ „Недѣлѣ“, 1876; въ „Вѣстн. Европы“, 1877); Ѡ. Уманца (Сельская община въ Россіи, „Отеч. Зап.“, 1863, № 10); Гильфердинга (въ „Днѣ“, 1865); Клауса („Вѣстн. Евр.“, 1870); А. Градовскаго (Русская община, въ книгѣ: „Политика, Исторія, Администрація“, 1871); Леонтовича (Задружно-общинный характеръ политическаго быта древней Россіи, въ „Журн. мин. проsv.“, 1874); Лалоша (О сельской общинѣ въ олонецкой губ., въ „Отеч. Зап.“, 1874); А. Кошелева (Объ общинномъ землевладѣніи, Берлинъ, 1875,—разборъ мнѣнія объ общинѣ сѣвѣрической комиссіи для изслѣдованія сельскаго хозяйства); А. Посникова (Общинное землевладѣніе, два выпуска, Ярославль и Одесса, 1875—77); П. А. Соколовскаго (Очеркъ исторіи сельской общины на сѣверѣ Россіи, 1877; Экономическій бытъ сельскаго населенія Россіи и колонизація юго-восточныхъ степей предъ крѣпостнымъ правомъ, 1878); Куплева-скаго (Состояніе сельской общины въ XVII в., 1877); А. Головачова (1877, въ „Отеч. Зап.“); В. Трирогова (1878, Экономическія опыты, и собраніе статей, подъ заглавіемъ: „Община и подать“, 1882); В. Чаславскаго (1878, въ „Отеч. Зап.“); В. Орлова (Формы крест. землевладѣнія въ моск. губерніи, 1879); Кейслера (*Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russland*, 1876—83); С. Капустина (Формы землевладѣнія у русскаго народа въ зависимости отъ природы, климата и этнографическихъ особенностей, въ „Трудахъ В. Экономич. Общ.“ и отдѣльно, Спб., 1877; Что такое поземельная община, 1882).

Кромѣ исчисленнаго, появилось множество небольшихъ, болѣе или менѣе авторитетныхъ, критическихъ и фактическихъ статей по поводу литературы предмета и о различныхъ мѣстныхъ формахъ и условіяхъ общиннаго землевладѣнія, напр., статьи Чубинскаго, П. и А. Ефименко, Аристова, Щапова, Воропонова, Гордѣенка, Флеровскаго, Деммерта, Каблукова, Щербинны, Котелинскаго и проч.

Наконецъ, предпринимаются систематическія работы для изслѣдованія предмета. Въ 1877—78 г., одновременно и независимо одинъ отъ другого сдѣланы были два доклада—С. Я. Капустина въ Геогр. Обществѣ, и А. В. Половцова въ Вольномъ Экономическомъ: оба указывали на то, что, несмотря на обиліе написаннаго объ общинѣ, собственно фактическая сторона вопроса изслѣдована далеко недостаточно. Въ обоихъ Обществахъ поднятый вопросъ былъ встрѣченъ съ большимъ интересомъ; въ обоихъ коммисіи изъ специалистовъ составили программы для собиранія свѣдѣній (1878), и когда вскорѣ потребовалось новое изданіе программы В. Экономическаго Общества, оно сдѣлало изданіе вмѣстѣ съ Географическимъ, и полученные отвѣты начало издавать, опять совмѣстно съ послѣднимъ, въ „Сборникѣ матеріаловъ для изученія сельской поземельной общины“, первый томъ котораго вышелъ въ 1880 ¹⁾.

Немногіе предметы въ изученіяхъ народности привлекали такое усиленное вліяніе какъ именно община,—какъ того и слѣдовало ожидать по важности вопроса. И въ разработкѣ его, которую мы ука-

¹⁾ Мысль о необходимости систематическаго собиранія и изслѣдованія фактовъ о поземельной общинѣ была, наконецъ, такъ естественна и настоятельна, что къ ней одновременно пришли нѣсколько изслѣдователей—какъ гг. Барниковъ, Ефименко, Е. Якушнянъ, Посниковъ (см. Капустина, Формы землевладѣнія, стр. 91—92). Были выработаны и изданы нѣсколько программъ, обзорніе которыхъ интересно тѣмъ, что по нимъ, какъ по конспектамъ, можно слѣдить за установленіемъ въ наукѣ самага вопроса; онѣ дѣлаются все точнѣе и специфичнѣе по мѣрѣ того, какъ изслѣдованія опредѣляютъ матеріалъ предмета и ставятъ вопросъ о новыхъ его сторонахъ и подробностяхъ. Напримѣръ:

— Программа Ярославскаго статистическаго комитета, или программа Посникова (см. Общинное землевладѣніе. Одесса, 1877, вни. 2).

— Программа для собиранія свѣдѣній объ общинномъ землевладѣніи. Составилъ П. Ефименко. Спб. 1878 (см. журналъ „Слово“ 1878, № 6).

— Опытъ программы для изслѣдованія поземельной общины, составленныя коммисіей при Имп. Русск. Геогр. Обществѣ (въ Извѣстіяхъ Геогр. Общ. 1878, въ „Отч. Зап.“ и „Вѣстникѣ Евр.“ 1878).

— Программа для собиранія свѣдѣній о сельской поземельной общинѣ. Выработана III отдѣленіемъ Имп. В. Экон. Общества,—въ „Трудахъ“ Общества, и отдѣльно, Спб. 1878, и 2-е изданіе:

— Программа..., выаб. III отдѣленіемъ Имп. В. Экон. Общ. и принятая Имп. Р. Геогр. Обществомъ. Второе, исправленное и дополненное изданіе. Спб. 1879.

(По поводу программъ Геогр. и Экон. Общества и Ефименко, см. ст. Половцова: Первые шаги на пути фактическаго изслѣдованія сельской общины,—въ „Трудахъ“ В. Экон. Общ. Спб. 1879).

— Проектъ программы изслѣдованія русской земельной общины, В. Тригорова, въ „Отч. Зап.“ 1879, № 8, стр. 235—254.

— Программа изслѣдованія сельской общины въ Сибири. Составлена при западно-сибирскомъ отдѣлѣ Имп. Р. Геогр. Общества (Н. М. Ядринцевымъ). Омскъ, 1879.—Здѣсь во введеніи указана предъидущая литература о сибирской общинѣ.

зали сейчасъ рядомъ именъ и сочиненій, достигнутъ былъ несомнѣнный успѣхъ. Съ первыхъ слуховъ объ освобожденіи крестьянъ, съ первой возможности говорить о дѣлѣ, на немъ сосредоточились и часто совершенно сходились труды людей самыхъ несходныхъ направлений. Началось съ разъясненія главной основы общиннаго землевладѣнія, съ теоретической защиты самаго принципа, когда еще устанавливались общія основанія самой крестьянской реформы, и съ отдѣльныхъ историческихъ трудовъ, которые на первыхъ порахъ хотѣли служить (съ разныхъ точекъ зрѣнія) и этой теоретической цѣли. Далѣе, когда при освобожденіи существованіе общины было утверждено, сторонникамъ ея пришлось защищать ее отъ нападеній тѣхъ противниковъ, о которыхъ мы выше упоминали. Наконецъ, историческое изученіе стремится выяснитъ источники общиннаго начала и его проявленія въ прошедшей исторической жизни народа, а на практикѣ, въ виду его реальныхъ примѣненій въ современномъ быту, явилась потребность въ точномъ опредѣленіи тѣхъ формъ, въ которыхъ община существуетъ въ дѣйствительности. Оказалось необходимымъ подробное мѣстное изученіе, на которое и обратились ревностные труды частныхъ изслѣдователей, земствъ и статистическихъ комитетовъ. Дѣйствительность указала чрезвычайную сложность общиннаго владѣнія, въ связи съ многоразличными мѣстными условіями климата, почвы, народности, промысловъ, обычая, и проч. И конечно, только преодолѣвъ это разнообразіе формъ, наука и за нею практика (если захочетъ пользоваться выводами науки) могутъ дойти до сознательнаго пониманія вопроса и разумнаго опредѣленія его въ современномъ бытѣ народа.

Среди разработки крестьянскаго дѣла, въ связи съ общиной и новымъ судомъ, возникъ вообще вопросъ о бытовомъ и юридическомъ обычаяхъ.

Народный обычай въ обширномъ смыслѣ издавна привлекалъ вниманіе ученыхъ наблюдателей народной жизни и историковъ. Литературный матеріалъ, сюда относящійся, обилень уже въ XVIII столѣтіи. При возникновеніи научной этнографіи, большое вниманіе привлекъ и народный обычай, на первый разъ для цѣлей археологій и исторіи быта. Нынѣшнія изученія имѣли другой исходный пунктъ, а именно практически-бытовой, юридическій: какъ при началѣ реформы возникъ вопросъ о сохраненіи общины, такъ заговорили и о сохраненіи народнаго юридическаго обычая,—это была бытовая форма, привычная народу, которая могла заключать въ себѣ здравые результаты долгаго практическаго опыта народной жизни, и при ближайшемъ изслѣдованіи дѣйствительно оказала не мало замѣчательныхъ особенностей, способныхъ къ развитію и полезному примѣненію.

Исследование народного юридического обычая составило уже теперь значительную литературу. Обзор ее слѣланъ въ замѣчательномъ трудѣ г. Якушкина („Обычное право. Вып. 1. Матеріалы для библиографіи обычнаго права“. Ярославль, 1875), гдѣ она указана по систематическому плану. Первые критическіе труды по объясненію обычнаго права принадлежатъ школѣ сороковыхъ годовъ; съ точки зрѣнія древностей и символики права, коснулся его Калмыковъ въ своей книгѣ 1839 (О символизмѣ права вообще и русскаго въ особенности), съ историческо-бытовой — Кавелинъ (въ разборѣ книги Терещенка, 1848, какъ и вообще его историческій взглядъ на развитіе государства утверждался на народныхъ юридическихъ идеяхъ и развитіи родовыхъ формъ быта), впоследствии, съ практическо-бытовой — Калачовъ и другіе. Изученіе предмета было въ особенности подвинуто Географическимъ Обществомъ: этнографическое отдѣленіе его еще въ первой общей программѣ своей, 1847 года, обратило вниманіе на юридическій бытъ народа, особенно въ этнографическихъ цѣляхъ; въ 1864 году имъ издана была специальная программа для собиранія народныхъ юридическихъ обычаевъ. Съ конца пятидесятихъ годовъ, это изученіе стало жизненнымъ интересомъ народовѣдѣнія: народный обычай представлялся какъ фактъ, который долженъ былъ быть принятъ во вниманіе при новомъ устройствѣ народнаго быта, затѣмъ какъ важный предметъ культурно-историческаго изученія, и, наконецъ — для многихъ, какъ выраженіе народнаго духа, которое мы вообще должны изучать, чтобы найти истинныя основы русской національной жизни. Эта послѣдняя точка зрѣнія, съ большой долей національнаго мистицизма, проповѣдовалась особенно въ той новѣйшей вариациі славянофильства, которую стали называть „народничествомъ“. Такъ какъ прежде всего, и для цѣлей научныхъ и практическихъ, требуется привести въ извѣстность самыя факты, то главная масса нынѣшнихъ работъ по обычному праву есть описательная. Въ этнографическомъ отдѣленіи Геогр. Общества въ 1876 образовалась коммиссія, подъ предсѣдательствомъ Н. В. Калачова, которая, съ цѣлью дать изученіямъ цѣльность и систему, выработала и напечатала программу собиранія юридическихъ обычаевъ и въ 1878 издала цѣлый „Сборникъ нар. юридическихъ обычаевъ“ (т. I, подъ редакціей Матвѣева, Спб. 1878, или 8-й томъ „Записокъ по отдѣленію этнографіи“). Не исчисляя фактовъ этой литературы, упомянемъ въ особенности статьи и книги Кавелина, Аоанасьева, Калачова (статьи въ „Архивѣ“, 1859; „Объ отношеніи юридическихъ обычаевъ къ законодательству“, рѣчь на московскомъ съѣздѣ русскихъ юристовъ, 1875, въ „Запискахъ по отд. этнографіи“, т. VIII, 1878), Муллова, Чубинскаго (статьи о нар. юридическихъ обычаяхъ

въ Малороссіи, въ Запискахъ по отд. этнографіи, т. II, 1869; въ Трудахъ Экспедиціи въ юго-западный край, т. VI, 1872), Кривошапкина (Енисейскій округъ и его жизнь, 1865), П. Мельникова, П. Небольсина, С. Максимова (Годъ на сѣверѣ, 3-е изд. 1871), П. Матвѣева, И. Фойницкаго, Гр. Потанина („Никольскій уѣздъ и его жители“, въ Древней и Новой Россіи, 1876, № 10), многочисленные труды А. и П. С. Ефименко („Народные юридическіе обычаи Архангельской губерніи“, 1869; „Приданое по обычному праву крестьянъ Архангельской губерніи“, 1873; „Юридическіе знаки“ въ Журн. минист. просв. 1874; „Договоръ найма пастуховъ“, 1878, и т. д.), вн. Кострова („Юридическіе обычаи крестьянъ-старожиловъ Томской губ.“, 1879), А. Смирнова („Очерки семейныхъ отношеній по обычному праву русскаго народа“, вып. 1, 1878), Оршанскаго („Ислѣдованія по русскому праву, обычному и брачному“, 1879), С. Пахмана („Обычное гражданское право въ Россіи“, 2 тома, 1878—79) В. Сергѣевича (Опыты ислѣдованія обычнаго права, въ „Наблюдателѣ“, 1882, № 1—2) и др. Ислѣдованія по обычному праву нашихъ инородцевъ—въ сочиненіяхъ Кривошапкина, Ефименко, Самоквасова (Сборникъ обычнаго права сибирскихъ инородцевъ, 1876), вн. Кострова и проч. Относительно Сибири много важныхъ свѣдѣній—въ книгѣ Ядринцева: „Сибирь какъ колонія“, 1882 ¹⁾.

¹⁾ Какъ мы упомянули, программа по обычному праву издана была Географическимъ Обществомъ еще въ 1864 г. Вообще, въ послѣдніе годы были напечатаны слѣдующія программы:

- Проектъ программы обычнаго права. П. Музлова. Вѣст., 1862, № 15—16.
- Программа по обычному праву южно-русскаго народа (Стоянова). Киевскія губ. Вѣд. 1863.
- Программа обычнаго права. Арханг. губ. Вѣд. 1864, 1866.
- Программа для собранія нар. юридическихъ обычаевъ (Геогр. Общ.). Этнографическій Сборникъ, Слб. 1864. (Была перепечатана во многихъ губ. вѣдомостяхъ 1867—68 г.).
- Программа, касающаяся бурятъ и „степенныхъ законовъ“. Иркутск. губ. Вѣд. 1864.
- (Программа Ефименко, въ описаніи народныхъ юридич. обычаевъ Арханг. губ. 1869).
- (У Якушкина, подъ № 1480, указана программа П. А. Матвѣева, 1872; но это—таже старая программа Геогр. Общества, 1864 г. См. Слб. Вѣд. 1873, № 199).
- Программа для собранія и изученія юридич. обычаевъ и народныхъ вѣрвѣній по уголовному праву, съ предисловіемъ о методѣ собранія матеріаловъ по обычному праву. А. Θ. Кистяковского. 1874.
- Тоже, новое изданіе съ краткимъ обзоромъ новѣйшей литературы предмета. Кіевъ, 1878.

Относительно общихъ вопросовъ обычнаго права см. въ учебникахъ: Владимірскій-Будановъ, Обзоръ исторіи русскаго права, изданіе 2-е съ дополненіями, Кіевъ,

Особый рядъ изысканій посвященъ былъ русской артели. Значительный матеріалъ собранъ въ отдѣльныхъ статьяхъ и въ спеціальному „Сборникѣ“ 1873 г. ¹⁾, въ недавнихъ трудахъ А. Исаева: „Артели въ Россіи“ (Ярославль, 1881), О. Щербини: „Сольвычегодская земельная община“ (въ Отеч. Зап. 1879, № 7—8) и „Очерки южно-русскихъ артелей и общинно-артельныхъ формъ“ (Одесса, 1880).

Еще однимъ изъ предметовъ обычнаго права, важность котораго выступила настоятельно при переустройствѣ крестьянскаго быта, былъ судъ. Съ уничтоженіемъ помѣщичьей власти, судъ надо было организовать вновь, и практическій смыслъ указывалъ необходимость въ первоначальной инстанціи этого суда сохранить привычныя формы стараго сельскаго быта. Отсюда учрежденіе волостного суда, и начало изученія этого вопроса въ литературѣ. Въ изслѣдованіяхъ по обычному праву, сейчасъ указанныхъ, много мѣста занимаютъ судебныя обычаи и понятія народа. Уже вскорѣ для новаго учрежденія наступила провѣрка опыта. Правительственная власть нашла нужнымъ произвести изслѣдованіе дѣйствій волостныхъ судовъ, — результатомъ котораго были извѣстные „Труды комиссіи по преобразованію волостныхъ судовъ“ (семь томовъ, 1873—74). Въ „Трудахъ“

1888; Н. Коркуновъ, Лекціи по общей теоріи права. Изд. 2-е. Спб. 1890, стр. 266—272; В. Сергѣевичъ, Исторія русскаго права. Лекціи. Спб. 1888, стр. 6—21, и др.

— Программа для собранія нар. юридическихъ обычаевъ, В. Майнова. Знаніе, 1875, № 4.

(Кистяковскій и Майновъ руководились внешней передъ тѣмъ программой по южно-славянскому народному праву, проф. Богшича).

— Программа для собранія свѣдѣній о народныхъ юрид. обычаяхъ въ Орловской губ. 1876 (Составл. П. А. Соколовскимъ — по программѣ этнограф. отдѣленія. См. Извѣстія Геогр. Общ. 1880, т. XVI, отд. I, стр. 88—89).

— Программа для собранія народныхъ юридическихъ обычаевъ. (Составлена П. Матвѣевымъ, по гражданскому праву, и И. Фойницкимъ, по уголовному). Въ Запискахъ по отдѣленію этнографіи, т. VIII, стр. 1—76, и отдѣльно. Спб. 1878.

Новѣйшая программа этого рода составлена при моск. Обществѣ любителей ест., антроп. и этнографіи М. Н. Харузинимъ.

¹⁾ Сборникъ матеріаловъ объ артеляхъ въ Россіи. Изданіе Спб. отдѣленія (сост. при Московскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства) комитета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ. Вып. I. Спб. 1873 (статьи А. Ефименко, С. Огородникова, Н. Эдемона и др.). Для обзоръ этой литературы можетъ служить „Обичное Право“ Якушина и „Библиогр. указатель книгъ и статей, относящихся до обществъ, основанныхъ на началахъ взаимности, артелей, положенія рабочаго сословія и мелкой кустарной промышленности въ Россіи“, В. Межова. Изд. того же Спб. отдѣленія. 1872; 1-е прибавленіе къ указателю, 1873 (при „Сборникѣ“); 2-е, 1876. Изъ прежнихъ трудовъ, возбуждавшихъ вопросъ, извѣстна въ особенности книжка Калачова: „Артели въ древней Россіи“. Спб. 1864 (изъ Этногр. Сборника); объ исторіи артели см. еще въ книгѣ Дятатина: „Устройство и управленіе городовъ Россіи“. Спб. 1875, стр. 268—287.

собраны рѣшенія волостныхъ судовъ изъ пятнадцати губерній, центральныхъ, южныхъ и сѣверныхъ, опросы крестьянъ по каждой волости, выписки изъ дѣлъ губернскихъ присутствій и мировыхъ съѣздовъ, наконецъ, отзывы различныхъ мѣстъ и лицъ. Какъ мы замѣтили, большая литература объ этомъ предметѣ возникла гораздо ранѣе изслѣдованій правительственной комиссiи. Рядъ крупныхъ и мелкихъ сочиненій о волостномъ судѣ—Дугинина, Воропонова, Якушкина, Тиханова, Кроткова, Матвѣева и мн. др. идетъ съ начала шестидесятихъ годовъ. Изъ новѣйшихъ сочиненій, въ особенности на основаніи „Трудовъ“ комиссiи, укажемъ книгу М. Заруднаго (Законы и жизнь, итоги изслѣдованій крестьянскихъ судовъ, 1874), статьи Е. Якушкина (въ Вѣстникѣ яросл. земства, № 2, 9), В. Кроткова (въ Отеч. Зап. 1873, № 5, 7, 8), А. С. Ефименко (Знаніе, 1874, № 1), К. Чепурнаго (въ Кіев. Унив. Извѣстіяхъ, 1874), Оршанскаго („Народный судъ“, въ Журн. гражд. и угол. права, 1875), В. Денскаго (въ „Р. Мысли“, 1882), Е. Карцева (въ „Вѣсти. Евр.“ 1882). Наконецъ матеріалы комиссiи по отношенію къ гражданскому праву получили систематическую обработку въ названной выше книгѣ Пахмана, гдѣ, по отзывамъ специалистовъ, удачно выдѣлены и анализированы тѣ юридическія начала, которыя заключаются въ рѣшеніяхъ волостныхъ судовъ.

Предпринято было, далѣе, много другихъ спеціальныхъ изученій, предметомъ которыхъ были различныя стороны экономической жизни народа (состояніе сельскаго хозяйства, бытъ фабричный, отхожіе промыслы, кустарная промышленность и т. д.), санитарное состояніе народа и т. д. Потребности административныя и земскія, промышленныя выставки, экспедиціи, ревностная любознательность отдѣльныхъ лицъ, проникнутыхъ интересомъ къ народному дѣлу, сильно содѣйствовали расширенію свѣдѣній; то, что прежде, лѣтъ тридцать назадъ, бывало или только канцелярскимъ дѣломъ, или знакомо было отдѣльнымъ любителямъ и появлялось анекдотически, становилось теперь общимъ достояніемъ и задачей литературы, и притомъ съ гораздо большею массою и разносторонностью свѣдѣній.—Отмѣтимъ здѣсь еще одинъ существенный народный интересъ, который опять только съ крестьянской реформы всталъ передъ властью и обществомъ во всей своей настоятельности; это—народная школа. Консерваторы стариннаго стила, отвергая впередъ надобность крестьянской реформы, говорили обыкновенно, что народъ нужно „сперва образовывать“, и только потомъ дать ему свободу,—потому что иначе онъ будетъ недостойнъ свободы, не пойметъ ея, злоупотребить ею, и она станетъ лишь грубымъ своеволіемъ. Съ этимъ взглядомъ вопросъ падалъ въ безысходный кругъ, такъ какъ подъ вѣрнопостнымъ пра-

вомъ школа для крестьянъ была невозможна (вопиющее противорѣчіе между образованіемъ и крѣпостнымъ рабствомъ рѣзко было указано еще въ прошломъ столѣтіи), — и школы для крѣпостныхъ дѣйствительно не было. Обѣ задачи пришлось ставить одновременно, и какъ въ вопросѣ объ освобожденіи крестьянъ съ землей и объ общинѣ, такъ и здѣсь, оба лагеря, славянофильскій и „западническій“, были одного мнѣнія и (за нѣкоторыми только исключеніями въ средѣ славянофиловъ) горячо настаивали на необходимости народной школы; врагами этой школы являлись теперь именно тѣ же „охранители“, которые прежде требовали образованія народа раньше его освобожденія. Расширеніе средствъ образованія становилось и для самого общества дѣломъ живѣйшаго интереса; чувствовалось впередъ, и совершенно вѣрно, что для самого дворянства, мелкаго и средняго, наступало новое и нелегкое экономическое положеніе, что съ паденіемъ помѣщичьяго быта и для него явится необходимость труда, и слѣдовательно болѣе серьезнаго образованія: возникла новая педагогическая литература, пробы новыхъ формъ школы (особливо женской—откуда возникли женскія гимназіи, высшіе и медицинскіе курсы), и въ этомъ движеніи одно изъ важныхъ мѣстъ заняла также народная школа. До сихъ поръ не оцѣнено по справедливости то, что сдѣлано было въ тѣ годы инициативой частныхъ лицъ и литературы для дѣла просвѣщенія. Напомнимъ, кромѣ воскресныхъ и другихъ частныхъ бесплатныхъ школъ для народа въ Петербургѣ и иныхъ городахъ, дѣятельность комитета грамотности, раздавашаго сотни тысячъ книгъ въ бѣднѣйшія народныя школы; массу популярныхъ сочиненій для народнаго чтенія и школы; выработку упрощенныхъ приѣмовъ обученія,—наконецъ общее разъясненіе настоятельной необходимости народной школы, что оказало свое вліяніе на сильное распространеніе народныхъ школъ въ нѣкоторыхъ земствахъ и школъ народныхъ городскихъ, напр., особенно въ Петербургѣ. — Въ послѣдніе годы предприняты были полезныя работы по разбору накопившейся донинѣ педагогической и народной литературы, какъ напр. обзоръ ея, составленный при комитетѣ грамотности подъ редакціей г. Я. Михайловскаго; известная книга „Что читать народу?“ составленная кружкомъ просвѣщенныхъ женщинъ, преданныхъ дѣлу народнаго образованія, и др.

Передъ обществомъ начинается, наконецъ, выясняться сложный вопросъ крестьянскаго быта и общаго экономическаго положенія. Изъ подобныхъ трудовъ общаго свойства уважемъ еще, кромѣ многихъ названныхъ прежде, въ особенности книгу Кавелина: „Крестьянскій вопросъ“ (1882) и В. В.: „Судьбы капитализма въ Россіи“ (1882).

Наконецъ, еще одна важная сторона народной жизни, которой

изученіе, въ томъ же періодѣ, въ первый разъ стало достояніемъ общества и поставлено было съ извѣстной широтой и безпристрастіемъ. Это—расколъ. Выше мы указывали положеніе раскола въ администраціи и въ литературѣ. Съ новымъ царствованіемъ положеніе значительно измѣнилось; какъ многія другія явленія народной жизни, расколъ пересталъ быть предметомъ, закрытымъ для литературы, и въ ней высказалось совсѣмъ новое къ нему отношеніе — терпимость и болѣе свободное изученіе. Во-первыхъ, онъ вошелъ въ общее историческое изученіе, и въ его судьбахъ открыты были стороны, не замѣченныя прежними его слѣдователями, и церковными и административными. Для безпристрастныхъ историковъ выяснилась съ очевидностью тѣснѣйшая связь раскола съ общимъ состояніемъ народныхъ понятій и религіозности XVI—XVII вѣка, — такъ что расколъ несъ на себѣ незаслуженно суровую кару за преданность дѣйствительно старому религіозному и бытовому обычаю, „старой вѣрѣ“, къ которой онъ и не могъ тогда стать въ иное отношеніе по крайней скудости просвѣщенія въ массѣ: надо было признать, что при всей ошибочности понятій раскола, онъ имѣлъ въ своихъ рядахъ именно тѣхъ людей народной массы, которые искренно дорожили своимъ религіознымъ убѣжденіемъ, олицетворявшимся для нихъ въ—старомъ обрядѣ. Это историческое объясненіе удаляло изъ обсуждения вопроса ту крайнюю нетерпимость, которая отличала всѣхъ прежнихъ историковъ-обличителей раскола. Во-вторыхъ, въ новомъ отношеніи къ расколу сказалось давно созрѣвавшее чувство терпимости, внушаемое общими успѣхами просвѣщенія. Спорадически, болѣе мягкое, снисходительное отношеніе къ расколу встрѣчалось издавна со стороны самого правительства; такъ мѣры „кротости“ принимались во времена Петра III, въ первые годы и въ концѣ царствованія Екатерины II, при Александрѣ I. Это настроеніе издавна проникало и въ общество. Литература о расколѣ выросла въ послѣднее время до чрезвычайности сравнительно съ прежнимъ, доставила множество новыхъ историческихъ свѣдѣній, привела въ извѣстность литературу самаго раскола (причемъ издано было немало раскольничьихъ сочиненій стараго и новаго времени), ввела значительную (хотя часто только съ обличительными цѣлями) долю публичности въ современный бытъ раскола... Правда, въ гражданскомъ положеніи раскола измѣнилось къ лучшему только немного, отъ времени до времени повторяются по старой памяти прискорбные факты притѣсненій низшей администраціи,—но духъ терпимости дѣлаетъ успѣхи, и въ области самой полемической литературы поднимается вопросъ, касающійся самаго существа раскола—вопросъ о снятіи клятвъ, наложенныхъ соборами XVII вѣка. Не знаемъ, когда,

въ какой формѣ разрѣшится „расколъ“, уже третье столѣтіе раздѣляющій религиозную жизнь народа, но повидимому близится измѣненіе тягостнаго положенія, на которое осуждены миллионы народной массы: въ той области, о которой мы говоримъ, въ изученіяхъ и общественномъ пониманіи вопроса, достигнуты уже теперь чрезвычайно важные успѣхи. Масса старообрядства перестаетъ быть въ понятіяхъ общества лишь толпой отщепенцевъ, достойныхъ одной кары; ближайшія изслѣдованія показали, что численность раскола далеко превышаетъ официально принимавшуюся цифру и доходитъ до 11—12 миллионѣвъ—самаго подлиннаго русскаго народа, нерѣдко отличающагося своими нравственными качествами, трудолюбіемъ и честностью; общественное чувство тяготится преслѣдованіемъ людей за религиозное убѣжденіе, желаетъ введенія ихъ въ общій строй гражданской жизни, и лучшее средство къ примиренію раскола видитъ въ религиозной терпимости и образованіи. Терпимость невозможна только для тѣхъ немногихъ и малочисленныхъ уголовныхъ сектъ, которыя сохраняются еще какъ худшее послѣдствіе ненормальнаго хода народной жизни ¹⁾.

Это развитіе русской литературы о народѣ отразилось и на литературѣ иностранной о Россіи. Въ прежнее время была великой рѣдкостью иностранная книга о Россіи, не переполненная болѣе или менѣе безобразными нелѣпостями о русской жизни, и народъ трактовался какъ полудикая земледѣльческая орда,—на что и наводило отношеніе къ нему въ крѣпостныя времена. Рѣдкій иностранный наблюдатель имѣлъ понятіе о русской литературѣ, русскомъ языкѣ, русской исторіи, способенъ былъ всмотрѣться въ народный бытъ и характеръ. Теперь, въ европейской литературѣ есть уже немало писателей, которые въ состояніи были наблюдать русскую жизнь на мѣстѣ, вращаться въ народной средѣ, писателей, прекрасно знающихъ съ русскимъ языкомъ, литературой, общественными интересами; есть нѣсколько трудовъ, весьма поучительныхъ для самой русской литературы и общества. Назовемъ „*Russia*“, Макензи Уоллеса; „*L'empire des Tsars*“ Леруа-Больё (2 тома, 1881—83) и его же біографію Н. А. Милютина (*Revue d. d. Mondes*, 1881), труды Альфреда

¹⁾ Исслѣдователи раскола также пришли къ мысли о необходимости систематическаго собранія свѣдѣній по одному плану, и въ послѣднее время явилось и по этому предмету двѣ программы:

— О необходимости и способахъ всесторонняго изученія русскаго сектантства, А. Пругавина, — въ Извѣстіяхъ Географич. Общества, 1880, т. XVI (изд. 1881), стр. 275—319.

— Программа вопросовъ для собранія свѣдѣній о русскомъ сектантствѣ, Оедостѣвца, — въ „Отеч. Запискахъ“, 1881, № 4, стр. 255—280; № 5, стр. 123—162.

Рамбо; книга о русскомъ романѣ, Мельхиора Вогюэ. Изложенная нами литература о народномъ бытѣ находитъ признаніе у иностранныхъ специалистовъ ¹⁾.

Сравнительно мало изслѣдованій сдѣлано по исторіи быта и „правовъ“. Въ этомъ отношеніи предпринимаемыя и совершаемыя работы состоятъ почти исключительно въ собираніи матеріала и въ изслѣдованіи частныхъ вопросовъ. Въ основѣ должна конечно стать археологія въ связи съ изслѣдованіями культурно-историческими и антропологическими. Выше мы указали многочисленныя работы, принятыя археологическими обществами и отдѣльными специалистами археологіи. Опытъ изложенія русской археологіи въ связи съ исторіей быта начатъ былъ П. Н. Полевымъ и Е. Замысловскимъ въ „Очеркахъ русской исторіи въ памятникахъ быта“ (Спб. 1779—1880); выше мы назвали предпріятіе гр. И. И. Толстого и Н. П. Кондакова ²⁾. Любопытный опытъ воссозданія древнихъ бытовыхъ формъ и понятій, между прочимъ примѣненный къ русской бытовой древности, представляютъ труды М. И. Кулишера въ книгѣ: „Очерки сравнительной этнографіи и культуры“, Спб. 1887. Л. Ф. Воеводскій, авторъ извѣстной книги: „О каннибализмѣ въ греческихъ мифахъ“ (1874), пытался дать объясненіе нѣкоторыхъ сказочныхъ (русскихъ) мотивовъ на основаніи древнѣйшихъ ступеней дикаго быта ³⁾. Къ подобнымъ изслѣдованіямъ древнихъ ступеней быта принадлежитъ любопытная работа г. Сумцова: „Культурныя переживанія“ („Кіевская Старина“ послѣднихъ годовъ) и статьи г. Калаша (въ „Этнографическомъ Обзорѣнн“, 1889—90). Относительно древнѣйшаго періода русской жизни, кромѣ исторической литературы, отмѣтимъ въ особенности упомянутую выше „Исторію русской жизни Забѣлина“, какъ опытъ воссозданія этой исторіи изъ основныхъ особенностей самой народности; далѣе, изслѣдованія древностей бытовыхъ у Срезневскаго,

¹⁾ Въ нѣмецкой литературѣ были высоко оценены названные выше статистическіе труды московскаго вѣства, какъ труды, не имѣющіе ничего себѣ подобнаго въ западной литературѣ по способамъ собиранія свѣдѣній и богатству матеріала. Ср. статью г. Каблукова: „Русскіе изслѣдователи, какъ источники нѣмецкой учености“ (Р. Мысль, 1881, № 9). Съ другой стороны Мэкензи Уоллесъ былъ приглашенъ въ спеціальную комиссію Геогр. Общества, въ ряду знатоковъ русской сельской общины, для составленія программы ея систематическаго изученія.

²⁾ Для древнѣйшаго періода нашихъ ученыхъ предупредили нѣмецкіе: Albin Kohn und Dr. C. Mehliis, Materialien etc. Iena, 1879—83.

³⁾ Этологическія и миеологическія замѣтки. Чаши изъ человѣчьихъ череповъ и тому подобныя примѣры утилизаціи трупа,—въ XXV томѣ Записокъ Новоросс. Унив. и отдѣльно. Одесса, 1877. См. объ этомъ указанную выше замѣтку В. Ө. Миллера.

Стасова, Котляревскаго; по церковной археологіи—Солнцева, Пророва, Филимонова (церковная архитектура, иконопись), Буслаева (древняя живопись), Н. В. Покровскаго, Н. Султанова, В. Сулова, Н. П. Кондакова. По археологіи ближайшаго времени, [по изученію быта и нравовъ до-Петровской Россіи капитальнымъ трудомъ была и остается книга Забѣлина о домашнемъ бытѣ русскихъ царей и царицъ; далѣе, Костомарова „Очеркъ быта и нравовъ великорусскаго народа въ XVI и XVII столѣтіи“ (1861; 3-е изд. 1889); главы о внутреннемъ бытѣ въ „Исторіи Россіи“ Соловьева; А. Г. Брикнера: „Europäisierung Russlands“ (Gotha, 1888); о помѣщичьемъ бытѣ стараго времени въ исторіи Пугачевского бунта г. Дубровина ¹⁾], въ книгѣ г-жи Щепкиной „Старинные помѣщичьи на службѣ и дома“, 1890, и пр. Главнѣйшимъ матеріаломъ для изображенія этого быта остается масса вновь изданныхъ мемуаровъ изъ XVIII и XIX вѣка, къ числу которыхъ можетъ быть причислена и знаменитая „Семейная Хроника“ С. Т. Аксакова. Изображеніе собственно народнаго современнаго быта и нравовъ представляетъ громадную литературу отдѣльныхъ очерковъ и весьма небольшое число общихъ изложеній, начиная съ книги Терещенка „Бытъ русскаго народа“; напомнимъ въ особенности труды С. В. Максимова, П. Небольсина, Прыжова ²⁾, Селиванова (Годъ русскаго земледѣльца) и проч.

Наконецъ съ пятидесятихъ годовъ чрезвычайно развилось изученіе языка. Первые научныя изслѣдованія древняго языка сдѣланы были Востоковымъ. Началомъ этой научной въ новѣйшемъ смыслѣ разработки языка было небольшое, но знаменитое въ исторіи нашей филологіи изслѣдованіе Востокова, 1820 г., замѣчательное тѣмъ, что здѣсь, въ одно время съ „Нѣмецкой Грамматикой“ Як. Гримма, выставленъ былъ историческій принципъ объясненія формъ языка. Дальнѣйшія работы Востокова заключались въ специальномъ описаніи и филологической критикѣ памятниковъ, въ разработкѣ грамматики и особенно въ собираніи церковно-славянскаго словаря, изданнаго уже впоследствии. Но указанный Востоковымъ путь изслѣдованія, высоко оцѣненный западно-славянскими учеными, у насъ долго оставался безъ послѣдователей,—именно до новаго поколѣнія славистовъ (Прейсъ, Бодянской, Срезневскій, Григоровичъ); съ нихъ собственно

¹⁾ Ср. разборъ этой книги въ „Вѣсти. Евр.“, 1886, мартъ.

²⁾ Нищѣ на Святой Руси. Матеріалы для исторіи общественнаго и народнаго быта въ Россіи. М. 1862.

— Исторія кабаковъ въ Россіи, въ связи съ исторіей русскаго народа. Спб. 1868.

— Житіе Ивана Яковлевича, извѣстнаго пророка въ Москвѣ. Съ портретомъ. Спб. 1860.

и начинается послѣдовательное и разностороннее изученіе предмета, который понимался съ тѣхъ поръ уже въ исторической связи русскаго языка съ семьей языковъ и нарѣчій славянскихъ. До этого въ литературномъ обиходѣ пользовались не малымъ авторитетомъ грамматическія писанія Греча, основанныя на узкомъ, школьномъ эмпиризмѣ и предназначавшіяся для учебныхъ цѣлей. Труды протоіерея Павскаго, которые произвели впечатлѣніе въ свое время, при всѣхъ свѣдѣніяхъ и наблюдательности автора, грѣшили недостаткомъ настоящаго историко-филологическаго приѣма. Къ сороковымъ годамъ относятся наблюденія надъ народнымъ языкомъ Надеждина, оставшіяся впрочемъ неразвитыми далѣе... Вмѣстѣ съ изученіемъ русскаго языка въ общей семьѣ славянскихъ нарѣчій начинается изученіе сравнительное: славянскіе языки введены были въ общее изслѣдованіе индо-европейскихъ языковъ. Первые сравненія сдѣланы были уже основателемъ этой отрасли науки, знаменитымъ Боппомъ, употреблены въ дѣло Гриммомъ и, вмѣстѣ съ изученіемъ историческимъ, поведены далѣе новымъ поколѣніемъ филологовъ—Шлейхеромъ, Миклошичемъ, Ягичемъ и другими; въ настоящее время этотъ предметъ привлекаетъ и русскія научныя силы. Для исторіи русскаго языка важны въ особенности труды Срезневскаго, послѣ котораго остался между прочимъ замѣчательный словарь древняго русскаго языка, нынѣ приготовляемый къ изданію; изслѣдованія г. Грота; труды г. Буслаева, который, какъ мы видѣли, въ сущности первый въ нашей литературѣ указалъ на новую науку и далъ образчики примѣненія сравнительной филологіи къ русскому матеріалу—для исторіи самаго языка и народныхъ вѣрованій. Въ послѣдніа десятилѣтія выступилъ рядъ ученыхъ филологовъ новаго поколѣнія; между ними должны быть названы въ особенности А. А. Потебня, о трудахъ котораго говорено выше; рано умершій профессоръ варшавскаго университета Колосовъ, основатель „Русскаго Филологическаго Вѣстника“, продолжаемаго нынѣ А. И. Смирновымъ; А. Будилевичъ, П. Житецкій (по малорусскому нарѣчію), Р. Брандтъ; А. И. Соболевскій, профессоръ кievскаго, нынѣ петербургскаго, университета; Е. Карскій (по бѣлорусскому нарѣчію); А. Шахматовъ и др. Имѣетъ своихъ послѣдователей ново-грамматическая школа въ лицѣ И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, рано умершаго профессора казанскаго университета Крушевскаго и др. Выше было говорено объ изученіяхъ областного языка („Областной Словарь“ второго отдѣленія Академіи) и о трудахъ Даля; цѣлый большой словарь архангельскаго нарѣчія былъ составленъ Подвысоцкимъ ¹⁾.

¹⁾ Историко-библиографическій обзоръ изученій старо-славянскаго и русскаго языка сдѣланъ былъ Котлиревскимъ въ „Библиологическомъ опытѣ о древней русской

Рядомъ съ тѣмъ, какъ возникали научныя изслѣдованія языка, его богатство и особенности раскрывались въ другой области — въ развитіи и совершенствованіи поэтической рѣчи и языка литературнаго. Геніальная поэтическая отгадка Пушкина разбивали оковы, лежавшія на языкѣ со времени Ломоносова и поддерживаемыя школьною рутинною: стихи живой народной рѣчи проникли въ литературное выраженіе, и съ тѣхъ поръ эта новая сторона литературнаго языка пріобрѣтала все новую силу въ дальнѣйшемъ ходѣ литературы, въ произведеніяхъ Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Тургенева, Некрасова. Поэтическая литература живымъ примѣромъ узаконяла достоинство народной рѣчи, въ то время какъ сравнительное и историческое изученіе раскрывало историческую жизнь языка и впервые сознательно указывало и объясняло цѣнность народной рѣчи. Тургеневъ по опыту поэтическому приходилъ къ той восторженной оцѣнкѣ русскаго языка, которою онъ завершалъ „Стихотворенія въ прозѣ“.

Въ результатѣ всего этого движенія отиѣтимъ наконецъ, какъ черту времени, особый типъ изслѣдователей народной жизни, какихъ не знала прежняя литература. Это—этнографы-народники въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Ихъ создала эпоха освобожденія крестьянъ и другихъ реформъ; они вдохновились идеей служенія народу, которое осуществлялось для нихъ ревностнымъ изученіемъ его быта. Многимъ изъ нихъ досталась на долю тревожная личная жизнь, причина которой лежала въ юношескихъ увлеченіяхъ — этою идеей, въ порывахъ, не соразмѣренныхъ съ условіями дѣйствительной жизни; столкновеніе съ этими условіями не уменьшало ихъ ревности и въ концѣ концовъ изъ среды ихъ выработывались знатоки народнаго быта по разнымъ его отраслямъ. Ихъ отношеніе къ народу не имѣло въ себѣ ничего натянутого и искусственнаго: это было ихъ сознательный, жизненный интересъ; о бытѣ народа говорили они какъ о близкомъ ихъ сердцу дѣлѣ. Какъ мы свазали, этотъ типъ принадлежитъ періоду реформъ и освобожденія крестьянъ, но онъ родился не вдругъ и мы указывали, что первымъ народникомъ въ этомъ смыслѣ могъ бы быть названъ еще П. В. Кирѣевскій; но теперь этотъ типъ становился весьма нерѣдкимъ. Изъ людей старшаго поколѣнія подходилъ къ нему, исключая личныя угловатости, П. И. Якушкинъ; позднѣе этотъ типъ олицетворялся въ первой народнической дѣятельности Рыбникова; около того же времени съ этими чертами сложилась этнографическая дѣятельность С. В. Максимова; далѣе, какъ молодая неосторожность завела москвича Рыбникова

письменности“. Подробности нашей литературы по изученію языка будутъ указаны въ своемъ мѣстѣ.

съ его странствій на югъ Россіи въ Олонецкій край, такъ подобнымъ образомъ она же завела южанина Чубинскаго въ Архангельскъ.

Недавно рассказана была біографія одного изъ достойнѣйшихъ представителей этого новѣйшаго народовѣдѣнія, Петра Сав. Ефименка. Уроженецъ бердянскаго уѣзда таврической губерніи (род. 1835), онъ по волѣ судьбы видалъ самыя различныя края Россіи и вездѣ находилъ себѣ интересы въ изученіи народной жизни. „Съ самой ранней юности начались его странствія. Рѣдко на чью долю выпало столько перемѣнъ мѣстъ. Воспитывался онъ въ екатеринославской гимназіи, а потомъ въ харьковскомъ и московскомъ университетахъ. Началъ службу въ красноуфимскомъ ¹⁾ уѣздномъ судѣ, затѣмъ перешелъ въ онежскій ²⁾ земскій судъ, затѣмъ въ холмогорское полицейское управленіе. Пробывши дворянскимъ засѣдателемъ въ холмогорскомъ уѣздномъ судѣ, онъ получилъ мѣсто секретаря архангельск. губ. статистическаго комитета“. „Какъ ни были скромны занимаемыя имъ должности,—продолжаетъ біографъ,—какъ ни неудобны эти постоянныя переезды и пребыванія въ маленькихъ городахъ, лишенныхъ библіотекъ, интеллигентнаго общества, тѣмъ не менѣе природный сильный и глубокій умъ, экстраординарная пытливость и страстное желаніе понять народную жизнь сдѣлали изъ скромнаго засѣдателя сѣвернаго суда выдающагося изслѣдователя по обычному праву и этнографіи сѣверной Россіи. Съ изумленіемъ приходится останавливаться предъ этимъ неисчерпаемымъ запасомъ энергіи“. Біографъ замѣчаетъ, что за шесть лѣтъ, съ 1865 по 1871, онъ напечаталъ въ „Архангельскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ“ 115 статей, касающихся исторіи, этнографіи, обычнаго права и экономического быта сѣвера, кромѣ статей въ другихъ мѣстныхъ архангельскихъ изданіяхъ; въ особенности важны были „Сборникъ народныхъ юридическихъ обычаевъ Архангельской губерніи“. Московское Общество любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи издало два большихъ тома собранныхъ имъ „Матеріаловъ по этнографіи русскаго населенія Архангельской губ.“. Длинный рядъ статей г. Ефименка напечатанъ былъ въ изданіяхъ Географическаго Общества, московскаго Археологическаго Общества, въ Журналѣ министерства просвѣщенія, Юридическаго Общества и пр., и онѣ очень цѣнятся специалистами этнографіи и обычнаго права; работы его по этому послѣднему предмету заслуживаютъ тѣмъ большее вниманіе, что предметъ былъ вообще новъ въ научной литературѣ. „Но и по происхожденію, и по характеру, и по вкусамъ Петръ Саввичъ—южанинъ, и только попавши снова на югъ, въ Воронежъ, Самару, Чер-

¹⁾ Пермской губерніи.

²⁾ Архангельской губерніи.

ниговъ и наконецъ, Харьковъ, онъ почувствовалъ себя въ своей тарелкѣ“. Онъ продолжалъ работать и здѣсь по обычному праву и этнографіи, издалъ въ 1874 „Сборникъ малороссійскихъ заклинаній“, но въ особенности труды его были посвящены статистикѣ: въ Самарѣ и Харьковѣ онъ былъ секретаремъ статистическаго комитета; въ Черниговѣ участвовалъ въ работахъ по земской статистикѣ; въ Харьковѣ завѣдывалъ статистическимъ отдѣленіемъ уѣздной земской управы и нѣсколько лѣтъ издавалъ „Харьковскій Календарь“, которому придавалъ цѣну, введя въ него отдѣлъ научныхъ статей, особливо по изученію края ¹⁾. Не менѣе цѣнны труды г-жи А. Я. Ефименко: предметъ ихъ также этнографія и обычное право, и исполненіе дѣлаетъ ихъ серьезнымъ вкладомъ въ науку. Статьи, разбѣяныя по разнымъ изданіямъ, были собраны въ отдѣльную книгу ²⁾.

Назовемъ еще труды А. С. Пругавина, изслѣдовавшаго въ особенности религиозную жизнь народа; г. Абрамова, Ф. Д. Нефедова; О. М. Истомина, секретаря этнографическаго отдѣленія Географическаго Общества и неутомимаго путешественника на сѣверо-востокъ; рано умершихъ Харламова, Приклонскаго и мног. др. Многіе ревностные дѣлатели народовѣдѣнія примѣнили свой трудъ въ работахъ губернскихъ и земскихъ статистическихъ комитетовъ и имъ мы обязаны многосложными изданіями по земской статистикѣ, представляющими чрезвычайно важный матеріалъ для изученія народнаго быта.

Сравнивъ результаты указанныхъ здѣсь изученій съ тѣмъ состояніемъ понятій о народѣ, какое имъ предшествовало въ Николаевскія времена, нельзя не видѣть чрезвычайнаго успѣха литературнаго и общественнаго. Требования исторической жизни привели освобожденіе крестьянъ, и этотъ знаменательный фактъ оказалъ прямо и косвенно многообразное вліяніе: раскрылось, какъ никогда прежде, реальное состояніе народныхъ массъ; расширилось историческое, экономическое, этнографическое изученіе, причемъ цѣлыя эпохи, цѣлыя стороны народной жизни впервые дѣлались „достоинствомъ исторіи“ и предметомъ критики. Горизонтъ наблюденій увеличился, очистившись (если не вполне, то значительно) отъ многихъ предрассудковъ стараго незнанія, самохвальства и сантиментальности; вопросы народной, и съ нею общественной, жизни встали предъ обществомъ въ ихъ реальной наглядности; вмѣстѣ съ тѣмъ и общественно-по-

¹⁾ Харьковскій Сборникъ. Подъ редакціей члена секретаря В. И. Касперова. Литературно-научное приложеніе къ „Харьковскому Календарю“ на 1888 г. Выпускъ 2-й. Харьковъ, 1888. Предисловіе, стр. II—V.

²⁾ Александры Ефименко. Изслѣдованія народной жизни. Выпускъ первый. Обычное право (Бракъ. — Крестьянская женщина. — Семейные раздѣлы. — Трудовое начало. — Субъективизмъ въ обычномъ правѣ. — Землевлѣдѣніе на сѣверѣ). М. 1884.

литическіе идеалы все болѣе покидаютъ область поэтическихъ фантазій и получаютъ нѣкоторую опредѣленность.

Въ жизни народа и общества произошелъ цѣлый переворотъ. Неудивительно, что онъ сопровождался давно невиданнымъ броженіемъ умовъ, которымъ ясна была необходимость новыхъ формъ жизни взаимнѣ прежнихъ, истекавшихъ изъ крѣпостного права, но покрыты были мракомъ пути, которыми должны выработаться новыя формы. Основнымъ, или наиболѣе распространеннымъ, мотивомъ этого броженія,—при всемъ разнообразіи его проявленій, отъ революціоннаго радикализма до мистическаго квіетизма,—остается общее стремленіе идти въ союзъ съ народомъ, работать для его блага: отсюда—у всѣхъ ссылки на народъ, толки о „сближеніи“, „хождение въ народъ“, „народничество“ разнаго рода. Какъ во всѣхъ общественныхъ движеніяхъ, и здѣсь была своя доля непониманія, наивности, вкрадывалось и лицемеріе, но несомнѣнно большая доля труда была вложена искреннимъ убѣжденіемъ, безкорыстнымъ служеніемъ народному интересу, и это послѣднее есть важное историческое приобрѣтеніе общества за послѣдніе годы.

Наконецъ, все это движеніе отразилось на литературѣ поэтической. Кажется, что мы не ошибемся, сказавши, что за послѣдніе двадцать-пять лѣтъ народъ, прямо или косвенно, былъ героемъ въ большинствѣ произведеній русской поэзіи и беллетристики. Разсказъ изъ народнаго быта составляетъ такую частую форму нашей беллетристики, какъ ни въ одной изъ европейскихъ литературъ; съ конца пятидесятихъ годовъ онъ занималъ и занимаетъ всю дѣятельность [у многихъ изъ нашихъ беллетристовъ. Тотъ реализмъ, основанія котораго были положены Пушкиннымъ и утверждены Гоголемъ, нашелъ здѣсь новую пищу, и писатели достигли большого совершенства въ изображеніяхъ народной жизни, по крайней мѣрѣ по ихъ точности, если не всегда по достоинству художественному.

Оглянувшись на эту массу фактовъ, трудно не увидѣть, сколько замѣчательныхъ трудовъ уже было совершено здѣсь въ интересахъ изученія народа; сколько прекрасныхъ задатковъ было здѣсь для будущаго, если бы эти изученія встрѣтили должное признаніе; сколько возмутительной лжи заключается въ вопляхъ скрытнаго крѣпостничества объ оторванности „интеллигенція“ (подъ которую подводятся и лучшія научно-литературныя силы) отъ народа, и. т. п. Кѣмъ же совершены эти труды, проникнутые въ большинствѣ глубочайшей любовью къ народу, стремленіемъ изучить и понять его прошлое и настоящее, и работать для его блага?—Какъ осуществляются эти задатки, что станетъ дальше съ этими изученіями,—рѣшить будущее.

ГЛАВА XI.

ИЗВРАЖЕНІЯ НАРОДА ВЪ ЛИТЕРАТУРѢ.

Отношеніе новѣйшихъ изученій къ жизни.—Народные интересы у писателей сороковыхъ годовъ.—Канунъ реформы.—Взгляды старой эстетической критики на возможность художественнаго изображенія народнаго быта (Анненковъ).—Противоположный взглядъ Добролюбова.—Новѣйшій реализмъ, доходящій до отрицанія требованій искусства, у Рѣшетникова, у гр. Л. Н. Толстого.—Замѣчательные успѣхи въ самомъ изученіи быта и въ технику стили.

Масса труда положена была въ послѣднія десятилѣтія на изслѣдованія самыхъ разнообразныхъ сторонъ нашей народной жизни—ея отдаленнѣйшихъ началъ, ея исторіи древней и новой, ея современнаго состоянія экономическаго, бытового, ея этнографическаго характера и т. д. Эти изслѣдованія сами по себѣ составляютъ въ высокой степени поучительный фактъ нашей новѣйшей общественной исторіи и, — если только дальнѣйшее ихъ развитіе не нарушится условіями, какия не одинъ разъ подрывали теченіе нашей литературы и образованія,—объщаютъ свои благотворные результаты въ будущемъ. Какъ бы мы ни судили о безотносительномъ значеніи этихъ результатовъ, — оно иногда еще не велико, — не подлежитъ сомнѣнію, что многія стороны и явленія народной жизни въ первый разъ были указаны теперь въ литературѣ и въ первый разъ находили мѣсто въ общественномъ сознаніи: изслѣдованія не оставались только въ спеціальныхъ книгахъ, но проникали и въ широкое литературное обращеніе, въ популярную книгу и школу.

Таковы были разнообразныя изысканія въ области народнаго обычая, старины, поэзіи. Съ великимъ трудомъ наши изслѣдователи, при помощи европейской науки, добирались до истиннаго смысла народной старины, и въ результатъ все болѣе выяснялось ея нравственное значеніе и укрѣплялись сочувствія къ идеальному народ-

ному мировоззрѣнію. Какъ, повидимому, ни далека археологія отъ интересовъ настоящей минуты, ея изслѣдованія имѣли свое дѣйствіе. Изученіе народной старины, по замѣчанію одного нѣмецкаго ученаго, удлиняетъ на цѣлѣе вѣка національную жизнь, обогащаетъ народную память и дѣлаетъ болѣе сознательнымъ пониманіе исторіи,—и прибавимъ,—настоящаго. Наша археологія и филологія вводили русскій народъ исторически въ европейскую семью, изъ которой иные, не по разуму усердные, патриоты желали его устранить, и чѣмъ далѣе шли изученія, тѣмъ больше указывали между ними культурныхъ точекъ соприкосновенія. Міръ славяно-русскій уже въ до-историческія времена начатками своей цивилизаціи примыкаетъ къ античному наслѣдству, къ которому (хотя тѣснѣе) примыкаетъ міръ романо-германскій; эта связь продолжалась принятіемъ христіанства и византійской литературы, а въ новѣйшей исторіи — стремленіемъ, послѣ реформы, къ усвоенію западно-европейскаго или обще-человѣческаго просвѣщенія. Въ научномъ объясненіи, народная поэзія являлась обществу въ новомъ свѣтѣ: это не были только произведенія безграмотнаго люда, съ грубой фантазіей и бѣднымъ содержаніемъ, произведенія, которыя способны представить одинъ интересъ элементарнаго зачатка, давно отмѣненнаго развитіемъ просвѣщенія и литературы; напротивъ, это былъ отголосокъ юности націи, плодъ всенароднаго творчества, гдѣ велось и обновлялось исконное преданіе, гдѣ нужно только съумѣть подойти къ дѣлу съ научнымъ приѣмомъ и съ человѣчнымъ вниманіемъ, — чтобы открыть высокія красоты содержанія и выраженія. Пониманіе этой поэзіи становилось фактомъ общественнаго значенія: когда масса крѣпостнаго крестьянства возстановлялась въ своихъ человѣческихъ и гражданскихъ правахъ, это пониманіе являлось съ другой стороны уразумѣніемъ внутренней природы народа, его поэтическихъ и нравственныхъ преданій и идеаловъ. Остававшійся внѣ историческаго движенія народъ жилъ въ своемъ традиціонномъ поэтическомъ мірѣ: надо было съумѣть войти въ этотъ міръ, чтобы въ нравственной сферѣ возстановить ту связь, которая въ жизни гражданской возстановлялась отмѣной грубаго, несправедливаго учрежденія... Народная поэзія заняла съ тѣхъ поръ большое мѣсто въ исторіяхъ литературы, въ школьномъ преподаваніи и наконецъ въ воспроизведеніяхъ современной поэзіи.

Подобный смыслъ имѣли новыя изслѣдованія языка. Понятіе о языкѣ какъ органическомъ явленіи, тѣмъ самымъ устанавливало равноправность различныхъ его формъ и образованій въ историческомъ отношеніи. Языкъ народный требовалъ такого же вниманія, какъ языкъ книжный, и даже болѣе: какъ произведеніе творчества всенароднаго, онъ былъ лучшимъ выраженіемъ такъ-называемаго

„духа“ народной рѣчи, когда языкъ книжный слишкомъ подлежалъ личному произволу и, какъ дѣло меньшинства, не провѣрялся массою народа. Равноправность, доказанная въ научномъ отношеніи, была признана въ литературномъ смыслѣ: народная рѣчь — и матеріаль, и складъ ея — встрѣчали теперь гораздо менѣе препятствій, чтобы проникнуть въ книгу и общественное употребленіе, что прежде только изрѣдка дозволялось авторитетному писателю. Грамматика языка являлась уже не сборникомъ школьныхъ педантическихъ правилъ, а исторіей и физиологіей живого народнаго творчества, не потерявшаго силы и по настоящую минуту. Нѣкогда Гоголь сдѣлался предметомъ ожесточенныхъ нападеній со стороны блюстителей чистоты русскаго языка за нѣкоторые обороты рѣчи, не прописанные въ грамматикѣ Греча; съ тѣхъ поръ мы видѣли несравненно болѣе сильныя заимствованія изъ разговорнаго и народнаго языка, и онѣ уже не возбуждаютъ сомнѣній. Были и есть, конечно, преувеличенія, — грубое книжное примѣненіе народной рѣчи, безвкусная поддѣлка, — но въ цѣломъ литературный языкъ несомнѣнно обогатился.

Изученіе обычнаго права было съ одной стороны реставраціей историческаго быта, а съ другой объясненіемъ настоящаго, именно истолкованіемъ современныхъ юридическихъ представленій, которыми начинаетъ давать мѣсто самый законъ.

Но какъ ни были велики приобрѣтенія, сдѣланныя наукой, всего могущественнѣе дѣйствовала на развитіе интереса къ народному сама жизнь; возбужденія, исходившія отъ науки и успѣховъ образованія, только примыкали къ общему настроенію, какое диктовалось несознательнымъ инстинктомъ національной потребности, а затѣмъ и сознательнымъ ея уразумѣніемъ. Въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, основная мысль лучшихъ людей общества и литературы сводилась именно къ народу: таковъ былъ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ и о какой-нибудь свободѣ общественной самодѣятельности. При всей невозможности въ литературѣ правдиваго изслѣдованія и изображенія существующихъ порядковъ, жизнь дѣлала свое; впечатлѣнія ея, хотя разрозненныя и умалчиваемыя, производили свое дѣйствіе, внутренней процессъ продолжалъ совершаться. Литература, несмотря на все ея стѣсненіе, являлась отголоскомъ этой внутренней жизни.

Выше мы говорили о томъ, какъ складывалось понятіе о народности въ литературѣ художественной во времена Пушкина и послѣ, до „Записокъ Охотника“¹⁾). Послѣ Пушкинской и Лермонтовской народности особенное движеніе этой идеи относится къ послѣднимъ

¹⁾ См. т. I, глава XI.

сороковымъ годамъ—въ обоихъ тогдашнихъ литературныхъ лагеряхъ, славянофильскомъ и западническомъ. Появляются первые „Московскіе Сборники“ съ одной стороны; послѣднія статьи Бѣлинскаго, первыя произведенія Тургенева, Григоровича, Некрасова—съ другой, и возникаетъ извѣстная полемика. Славянофильскою исходною точкою зрѣнія былъ туманный національный идеализмъ, построенный при большой помощи нѣмецкой философіи, по ея приемамъ и даже съ ея терминологіей. Западническое народное направленіе, продолжая литературную традицію Пушкина и Лермонтова, было вмѣстѣ подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя (художественный реализмъ и общественная сатира), и наконецъ подъ вліяніемъ доходившихъ къ намъ отголосковъ политическаго и соціальнаго возбужденія европейскихъ обществъ передъ 1848 годомъ (и послѣ). Оба теченія отразились въ литературѣ художественной. У славянофиловъ, дѣятельность которыхъ продолжалась въ 1850-хъ годахъ, уже при новомъ царствованіи, изданіемъ „Русской Бесѣды“, эти художественныя произведенія были весьма немногочисленны: стихотворенія Хомякова, Ив. Аксакова, потомъ сочиненія С. Т. Аксакова (они были предметомъ гордости славянофиловъ, хотя принадлежать сюда весьма условно), повѣсти Кохановской, имя которой появлялось въ „Р. Бесѣдѣ“ и въ газетѣ „День“, и пр. ¹⁾ Въ другой литературной школѣ начинается дѣятельность писателей, болѣе или менѣе тѣсно связанныхъ съ Бѣлинскимъ: повѣсти изъ крестьянскаго бита, Григоровича („Деревня“, „Антонъ Горемыка“, позднѣе „Рыбаки“, и проч.), „Записки Охотника“, въ 1850-хъ годахъ первыя стихотворенія Некрасова, и проч. Намъ не разъ случалось упоминать о томъ, какой общественный смыслъ заключался въ отношеніи этихъ произведеній къ народной жизни: это было глубокое гуманитарное движеніе, канунъ крестьянской реформы, выраженіе настроенія той части общества, которая радостно привѣтствовала освобожденіе. Довольно сказать, что „Записки Охотника“ приравнивались тогда къ извѣстной книгѣ г-жи Бичеръ-Стоу (о крестьянскомъ вопросѣ говорилось какъ объ американскомъ вопросѣ освобожденія негровъ). Къ крестьянскому дѣлу одинаково относились и въ славянофильскомъ кружкѣ, и вообще во взглядѣ на тогдашній бюрократическій режимъ (говоримъ о концѣ сороковыхъ и началѣ пятидесятыхъ годовъ) обѣ литературныя партіи сходились, одинаково чувствуя на самихъ себѣ его тяготу и одинаково понимая элементарный вопросъ народной жизни. Поэтому, несмотря на раздоръ теоретическій, художественныя произведенія

¹⁾ Въ „Русской Бесѣдѣ“ явились и сочиненія г. Кулиша (напр., историческій романъ „Черная Рада“), но присутствіе ихъ здѣсь было теоретическимъ недоразумѣніемъ, какъ послѣ оказалось.

различныхъ школъ или партій находили взаимно болѣе или менѣе справедливую оцѣнку. Въ западномъ лагерѣ принимали (нѣсколько позднѣе) съ сочувствіемъ произведенія С. Т. Аксакова, считавшіяся дѣломъ славянофильскаго возрѣнія; отдавали справедливость повѣстямъ г-жи Кохановской, стихотвореніямъ Ив. Аксакова. Противная партія, не весьма сочувствовавшая Тургеневу, признавала достоинства „Записокъ Охотника“.

Современное „народничество“ считаетъ себя именно новѣйшимъ общественнымъ принципомъ, гордится собою какъ новоизобрѣтенной панацеей, между тѣмъ первые источники новѣйшаго народолюбія мы несомнѣнно найдемъ въ движеніи сороковыхъ годовъ—одну сторону, либерально-освободительную, въ идеяхъ школы Гоголя и Бѣлинскаго; другую, мистическо-сентиментальную, — въ славянофильствѣ, до „хожденія въ народъ“ и переодѣванья въ народный костюмъ. Мысль окунуться въ народъ, подслушать тайны его внутренней жизни, собрать и освѣтить плоды его поэтического творчества, — мысль, какъ мы видѣли, вообще распространявшаяся тогда въ инстинктивномъ чаяніи освобожденія крестьянъ, — возникала опять въ обѣихъ сторонахъ литературы, въ кругу ученыхъ изслѣдователей и въ кругу славянофиловъ, и у первыхъ съ такими же цѣнными результатами для научнаго объясненія, какъ у вторыхъ были цѣнны труды собирательскіе. Тотъ же интересъ внушилъ Тургеневу одинъ изъ самыхъ изящныхъ разсказовъ въ „Запискахъ Охотника“ („Пѣвцы“). Въ дѣлѣ собиранія народныхъ пѣсень уже съ тридцатыхъ годовъ явился энергическій дѣятель въ лицѣ Петра Кирѣевскаго: онъ и началъ, пожалуй, хожденіе въ народъ, не въ томъ фатальномъ смыслѣ, какой получило это слово впоследствии, но онъ дѣйствительно ходилъ въ народъ, самъ принялъ, какъ говорятъ, народную складку, и результатомъ его исканій въ средѣ народа было знаменитое собраніе пѣсень, которое г. Буслаевъ называлъ обще-національнымъ достояніемъ. Не менѣе Кирѣевскаго былъ „народникомъ“ Константинъ Аксаковъ. Искренній энтузіастъ, онъ не могъ оставаться простымъ теоретикомъ или резонеромъ на мистическо-консервативныя темы, какъ нѣкоторые изъ его собратьевъ; онъ поэтизировалъ свои принципы, искалъ примѣнить ихъ къ исторіи прошедшаго, а также и къ настоящему. Самымъ характернымъ образчикомъ его народничества была приведенная выше знаменитая въ свое время статья: „Публика и народъ“, гдѣ „публика“ (нынѣ сказали бы: „интеллигенція“) изображалась какъ противоположность народа, какъ чуждый всему существу его и паразитный элементъ. Подразумѣвалось, что „публика“, если хочетъ исправиться, должна слиться съ народомъ, — пока оставалось только неизвѣстно, какъ это сдѣлать. Можно было предполагать, что

для удаленія противорѣчiя могло послужить какое-либо освобожденiе народа, его извѣстная самодѣятельность; но это положенiе такъ и осталось неразвитымъ, а эпигоны славянофильства потеряли смыслъ его ученiя. Борьбой въ (мнимую) защиту народа была и полемика славянофиловъ противъ писателей круга Вѣдинскаго, но самое движенiе литературы указало, что противники славянофильства вовсе не были противниками народа и дѣятельность ихъ шла на ту же защиту его интереса. Народничество славянофильской школы высказалось и внѣшними символами: Хомяковъ отпустилъ себѣ бороду, но ему велѣно было ее сбрить; К. Аксаковъ одѣвался въ костюмъ мужицкаго фасона...

Такъ стояли въ концу сороковыхъ годовъ двѣ главныя литературныя партiи, обѣ одинаково преданныя народному дѣлу, хотя рѣзко различавшіяся въ исходномъ пунктѣ его пониманiя и обѣ одинаково ограниченныя тогда лишь теорiями и надеждами. Въ началѣ 50-хъ годовъ къ нимъ присоединился еще одинъ отгѣнокъ, довольно замѣтный, но и не довольно яркiй, чтобы занять самостоятельное положенiе. Это былъ рядъ писателей-народолюбцевъ, соединившихся одно время около „Москвитянина“, или собственно говоря, около „молодой редакцiи“ (Ап. Григорьевъ, Эдельсонъ, Б. Алмазовъ), которой Погодинъ предоставлялъ дѣйствовать въ своемъ журналѣ, въ то же время забавно отрекаясь отъ ея грѣховъ. Въ этомъ журналѣ стали тогда появляться новыя имена, которыя тотчасъ обратили на себя вниманiе въ литературныхъ кругахъ: Островскiй, Писемскiй, А. Потѣхинъ, Андрей Печерскiй (Мельниковъ), Коворевъ. Эти писатели не составляли солидарнаго кружка, сошлись случайно въ московскомъ журналѣ, но были извѣстныя черты, отдѣлявшiя ихъ одно время въ особую группу. Они не принадлежали къ западному кружку, не проходили того развитiя понятiй, которое шло здѣсь отъ философскихъ возбужденiй тридцатыхъ годовъ, отъ слѣдовавшихъ за ними влiянiй западно-европейской литературы, и сложилось въ извѣстное общественное воззрѣнiе; но, больше предоставленные самимъ себѣ, они воспитались однако въ традицiяхъ Пушкина и Гоголя, а затѣмъ вѣроятно не обошлось и безъ влiянiя новой послѣ-Гоголевской литературы. Они были москвичи или прошли университетъ въ Москвѣ, близко знали московскую или провинциальную жизнь. Знанiемъ быта они иногда превосходили своихъ петербургскихъ собратiй и, какъ, напр., Мельниковъ, были иногда настоящiе „бывалые“ люди, видавшiе всякихъ людей и всякiе закоулки жизни. Были въ этихъ условiяхъ ихъ личнаго положенiя свои выгоды и невыгоды: отсутствiе тѣхъ привычныхъ взглядовъ и приемовъ, какiе даются кружкомъ; могло (не говоря о собственной силѣ дарованiй) сохранять писателю

его оригинальность, расширять условныя рамки литературнаго рода; но съ другой стороны, быть можетъ, вслѣдствіе тѣхъ же условій, являлась и неровность, даже грубость работы, мной разъ и неполнота самаго пониманія наблюдаемой жизни. Тѣ или другія указанныя черты не трудно найти не только у второстепенныхъ талантовъ, но даже у такихъ крупныхъ писателей, какъ Островскій или Писемскій. Островскій послѣ перваго главнаго своего произведенія: „Свои люди сочтемся“¹⁾,—комедіи первостепеннаго достоинства, исполненной глубокаго пониманія изображаемой жизни, воздѣйствіе впадалъ иногда въ сентиментальность, вслѣдствіе которой славянофилы одно время сочли его своимъ человѣкомъ; Аполлонъ Григорьевъ видѣлъ въ его произведеніяхъ „новое слово“—въ смыслѣ той особой полуславянофильской школы, которую представлялъ собою Григорьевъ (а впослѣдствіи съ нимъ вмѣстѣ Ф. Достоевскій, г. Страховъ, и вообще журналъ „Время-Эпоха“). Писемскій прекрасно зналъ практическій бытъ, далъ нѣсколько замѣчательныхъ произведеній, но былъ очень неровень. Мельниковъ по преимуществу былъ знатокъ провинціального народнаго быта. Человѣкъ, много видѣвшій, юркій, съ такъ называемой сметкой—хотя безъ особенныхъ правильно сложенныхъ свѣдѣній—онъ имѣлъ значительный беллетристическій талантъ: его рассказы обратили на себя вниманіе именно этимъ рѣдко встрѣчающимся знаніемъ народнаго быта въ его мельчайшихъ подробностяхъ, простой и вѣрной ихъ передачей, но ему не удалось возвыситься ни до настоящаго поэтическаго творчества, ни до твердо установившагося взгляда на условія народной жизни. „Москвитянинъ“, какъ мы замѣтили, былъ случайно пріютомъ этихъ писателей на первое время: ихъ могла привлечь сюда наклонность „молодой редакціи“ къ чему-то народному, хотя самъ издатель былъ именно одинъ изъ самыхъ усердныхъ служителей народности официальной. Вскорѣ уже эти писатели покинули первое гнѣздо, и почти всѣ перешли въ петербургскія изданія, совсѣмъ не похожія на „Москвитянинъ“. Они применили къ тому движенію, главнымъ представителемъ котораго былъ тогда Тургеневъ, какъ авторъ „Записокъ Охотника“.

Владъ, сдѣланный новой повѣстью изъ народнаго быта (о ней собственно мы говоримъ), былъ довольно значителенъ. Новые повѣствователи затрогивали много новыхъ сторонъ быта, какія до тѣхъ поръ или совсѣмъ не находили мѣста въ литературѣ, или не находили такого точнаго изображенія: старинная жизнь—до воспоминаній о прошломъ вѣвѣ; купеческіе нравы; бытъ крестьянскій, рас-

¹⁾ Ему предшествовали въ послѣднихъ сороковыхъ годахъ небольшіе бытовне очерки, составлявшіе пробу пера.

вольничій и т. п.; матеріалъ литературнаго языка размножался массою новыхъ оборотовъ народной рѣчи. Но эта новая повѣсть изъ народнаго быта имѣла и свои крупныя недостатки. Дѣло въ томъ, что народъ не такъ легко поддавался изображенію. Повѣствователи такъ привыкли къ обычному складу тогдашней повѣсти и романа, что не усумнились по тому же шаблону располагать и свои новыя народныя рассказы. Форма этихъ произведеній выработалась на изображеніяхъ совсѣмъ изъ другого міра — изъ круга общественныхъ отношеній и личной жизни образованнаго класса; она требовала извѣстной завязки, обрисовки характеровъ, нравственныхъ столкновеній, психологическаго анализа, наконецъ, ландшафта, какъ фона для картины, и т. п.; въ романѣ эти требованія были еще сложнѣе, нежели въ повѣсти. Новыя повѣствователи все это по привычкѣ сохраняли и въ своихъ повѣстяхъ на народныя сюжеты. Здѣсь было все — и характеры, и внутреннія столкновенія, и тонкій психологическій анализъ, но часто не было одного — естественности. Критика встрѣтила ихъ вообще съ большими похвалами; новыя беллетристы прослѣдили знатоками и прекрасными рассказчиками изъ народнаго быта; каждое новое произведеніе ихъ встрѣчалось съ великимъ интересомъ, разбиралось и комментировалось. Но иные усумнились: имъ бросилось въ глаза, что въ новой повѣсти къ народному быту приложены въ сущности тѣ же самыя пружины, которыя примѣнялись совсѣмъ къ иному порядку жизни и здѣсь видимо не имѣли мѣста. Приведены были и вопіющіе примѣры ¹⁾. Они отысканы были у Григоровича и у Писемскаго, Потѣхина, Авдѣева и т. д. Впослѣдствіи, какъ увидимъ далѣе, Добролюбовъ относился къ этому періоду нашей народной повѣсти еще строже ²⁾.

Ложная манера, указанная этими критиками, еще рѣзче выступала у писателей второстепенныхъ и третьестепенныхъ. Сочувствіе, съ которымъ приняты были народныя повѣсти по ихъ благому намѣренію и отдѣльнымъ интереснымъ эпизодамъ (недостатки, по новости дѣла, не всѣми замѣчались), повело къ тому, что литература была наводнена рассказами изъ народнаго быта. Кромѣ названныхъ писателей, этимъ родомъ повѣсти занялись Данковскій (псевдонимъ очень извѣстнаго нынѣ дипломата), Лазаревскій, Михайловъ, Мартыновъ; Авдѣевъ написалъ своего „Огненнаго Змія“; на эту дорогу вступали извѣстные поэты — Мей, Фетъ; даже г. Майковъ, покинувъ антологическую поэзію, написалъ „Дурочку-Дуню“ и т. д. Погоня за вѣриостью крестьянскаго колорита доходила до того, что

¹⁾ Современникъ, 1854, № 2 и 8; Воспоминанія и критич. очерки, Анненкова. Спб. 1879, II, стр. 46—84.

²⁾ Сочин. Добролюбова, Спб. 1862, т. 3, стр. 229 и д.

герои повѣстей говорили „мужицкимъ“ языкомъ, изломаннымъ до непонятности; нѣкоторыхъ повѣствователей (напр., Мартынова, Давковскаго) нельзя было читать безъ „Областного Словаря“ въ рукахъ—кстати онъ былъ тогда изданъ Академіей.

Зрѣлище подобной повѣсти изъ народнаго быта подѣйствовало удручающимъ образомъ на критику, воспитанную въ прежнихъ эстетическихъ понятіяхъ. Отдавая справедливость талантамъ нѣкоторыхъ изъ авторовъ, прекраснымъ отдѣльными частностямъ и описаніямъ *отличныхъ* сторонъ быта и характеровъ, Анненковъ указывалъ въ повѣсти рядъ неестественностей и именно „литературную выдумку“, неприложимую и неидущую къ описываемому быту, и приходилъ къ заключенію о невозможности самаго предпріятія. „Многіе, и въ томъ числѣ, вѣроятно, нѣкоторые изъ писателей этого рода, думаютъ, что простонародная жизнь можетъ быть введена собственно въ литературу во всей своей подробности, безъ малѣйшаго ущерба для истины, цвѣта и значенія своего... Это — весьма важная ошибка, способная породить (и порождающая) безплодныя стремленія къ такой цѣли, которая врядъ ли можетъ быть достигнута. Литературная передача всякаго явленія имѣетъ свои неизбѣжные правила, приемы, манеру... Чтò бы ни дѣлалъ авторъ для тщательнаго сохраненія истины и оригинальности въ своихъ лицахъ, онъ *принужденъ* наложить краску искусственности на нихъ, какъ только принялся за литературное описаніе. Желаніе сохранить рядомъ другъ подлѣ друга требованія искусства съ настоящимъ, жесткимъ ходомъ жизни, произвести эстетическій эффектъ и вмѣстѣ цѣликомъ выставить бытъ, мало подчиняющійся вообще эффекту, — желаніе это кажется намъ неисполнимымъ“, и пр. ¹⁾ Этотъ приговоръ, какъ увидимъ, не былъ принятъ критикой слѣдующаго поколѣнія. Она еще сильнѣе почувствовала „литературную выдумку“, но тѣмъ не менѣе отвергла мысль о несоединимости изображеній простонароднаго быта съ требованіями искусства.

Съ началомъ прошлаго царствованія, давняя мечта просвѣщеннѣйшихъ людей русскаго общества стала опредѣленнымъ ожиданіемъ, наконецъ, — официальнымъ вопросомъ. Среди общественнаго броженія, надеждъ, одушевленія, вопросъ „народности“ впервые становится осязательнымъ. Съ первымъ, хотя еще скромнымъ, началомъ публицистики, предметъ началъ выказывать свои реальныя, жизненныя черты, мнѣнія складывались иначе, опредѣленнѣе, и становилась замѣтна историческая разница литературныхъ понятій. Упомянемъ здѣсь лишь о томъ, чтò имѣетъ отношеніе къ нашему предмету.

¹⁾ Воспом. и критич. очерки, II, стр. 47.

Во ряду многихъ поднятыхъ вопросовъ возникъ снова вопросъ объ искусствѣ. Въ данную минуту господствовалъ идеалистическій взглядъ на искусство, какъ на отвлеченное поэтическое творчество, служащее само себѣ цѣлью, свободное отъ „тенденцій“, т.-е. въ сущности отъ всякой кровной связи съ глубочайшими запросами непосредственной, владѣющей нами жизни. Этому взгляду была теперь противопоставлена точка зрѣнія, которая, исходя изъ положенія, что искусство есть именно воспроизведеніе жизни и не можетъ оставаться чуждымъ ея стремленіямъ, что абсолютное искусство, само служащее себѣ цѣлью, невозможно такъ же, какъ невозможны абсолютные, отвлеченные люди. Эту точку зрѣнія тогда, и особенно послѣ, обвиняли въ томъ, что она пренебрегаетъ законами изящнаго, требуетъ грубаго реализма и тенденціозности, хочетъ превратить поэзію въ дѣловой трактатъ, въ концѣ концовъ отрицаетъ искусство. Но—оставивъ въ сторонѣ крайности въ родѣ Писарева, которыя вовсе не выражаютъ этой точки зрѣнія — не трудно видѣть, что упомянутыя обвиненія были совершенно несправедливы. Только въ раздраженной полемикѣ можно было говорить, что эта точка зрѣнія „отрицаетъ искусство“; по примѣненіямъ новой критики къ фактамъ литературы было очевидно, что дѣло шло совсѣмъ о другомъ. У людей школы Бѣлинскаго, — нѣсколько ими позабытой, — не было уже особенно чуткаго отношенія къ жизни (назовемъ Дружинина, В. Боткина, Дудышкина и др.), не было стремленія, которое теперь нарождалось,—видѣть, наконецъ, въ искусствѣ ту подлинную, не закрытую „литературными выдумками“ дѣйствительность, гдѣ мы сами живемъ и движемся. Привычка, — между прочимъ воспитанная тѣмъ внѣшнимъ угнетеніемъ литературы, влияніе котораго они переставали сознавать,—представляла имъ поэтическое произведеніе какъ нѣчто такое, что стоитъ превыше этой дѣйствительности и, если касается ея и рѣшаетъ ея вопросы, то только въ неосязаемой, эфирной области идеала. Это была привычка къ своего рода художественному иносвязанію и загадкѣ; вмѣстѣ съ этимъ, очень естественно развилось усиленное вниманіе къ внѣшней формѣ, къ художественному выполненію. Теперь желали, напротивъ, чтобы загадка по возможности кончилась, чтобы искусство оставило условныя темы, —которыя становились, наконецъ, безразличными, — и не было только внѣшнимъ мастерствомъ; чтобы возобладалъ наконецъ тотъ здоровый реализмъ, который съ такимъ энтузіазмомъ привѣтствовали у Гоголя. Пусть лучше произведеніе будетъ менѣе совершенно по формѣ, но не лишено правдиваго содержанія; пусть оно перестанетъ быть ювелирной работой, очень иногда красивой, пріятной тому богачу, который можетъ ею владѣть и любоваться,—но станетъ и жизненно необхо-

димымъ дѣломъ, нужнымъ для общества. Новая критика бывала довольно равнодушна къ произведеніямъ, достоинство которыхъ заключалось во внѣшней виртуозности исполненія, и отдавала свое сочувствіе особенно тѣмъ, гдѣ пробивалась жизненная правда. Всего больше она, конечно, пробивалась у сильныхъ талантовъ. Добролюбовъ съ величайшимъ увлеченіемъ изучалъ выходившія тогда произведенія Тургенева, Островскаго, Гончарова, Достоевскаго, Марка Вовчка. Имъ посвящались онъ цѣлыя трактаты, въ которые вкладывалъ свою душу, объясняя ихъ достоинства и тѣ общественныя явленія, какія писатель провидѣлъ въ своемъ художественномъ откровеніи. Но Добролюбовъ былъ равнодушенъ или даже относился враждебно къ той литературѣ, которая, въ первые годы послѣ Бѣлинскаго, наполнялась безсодержательными повтореніями старыхъ сюжетовъ, притязаніями на художественность по мелкимъ поводамъ, сантиментально подкрашенными разсказами изъ народнаго быта и т. п.

Съ того перелома, который обозначался съ началомъ прошлаго царствованія, и въ самой художественной беллетристикѣ началось нѣчто новое. Возможность исторической и публицистической критики сопровождалась распространеніемъ такъ-называемой „обличительной литературы“, въ томъ числѣ повѣсти и романа. Она была весьма различнаго качества: отъ произведеній крупнаго художественнаго и общественнаго достоинства она доходила до массы заурядныхъ повѣстусшекъ, которыя обличали исправниковъ и становыхъ и уже скоро набили оскомину. Но въ ряду этой литературы явились произведенія, которыя оставили сильное впечатлѣніе: вспомнимъ „Губернскіе Очерки“ Салтыкова, „Записки изъ Мертваго Дома“ Достоевскаго, „Бурсу“ Помяловскаго, „Откупное дѣло“ Елагина, „Медвѣжій уголь“ Мельникова и пр. Въ цѣломъ это былъ большой шагъ впередъ—и не въ смыслѣ „искусства для искусства“: сила новой беллетристики была въ томъ, что картины ея носили на себѣ свѣжую, несомнѣнную печать дѣйствительности и возбуждали мысль о характерѣ жизни, порождавшей такой складъ событій и явленій. Предшествующая литература намѣчала вопросы, теперь появлялось все больше и больше матеріала для ихъ критики.

Поворотъ къ новому очевиденъ былъ и въ изображеніяхъ народнаго быта. Къ тому времени, подъ вліяніемъ гуманныхъ сторонъ произведеній Гоголя, возраставшаго ожиданія освобожденія крестьянъ, наконецъ, социалистическаго участія къ бѣдствующимъ классамъ, сложилось—въ литературѣ „западнической“—то теплое отношеніе къ народу, изящнѣйшимъ выраженіемъ котораго были „Записки Охотника“. Выросло чувство общественной справедливости къ безправному классу. Высказать это чувство въ прямой формѣ было

невозможно, и повѣсть изъ народнаго быта часто служила инска-зательнымъ его выраженіемъ. Писатель былъ доволенъ, когда успѣ-валъ возбудить „добрыя чувства“; читатель былъ удовлетворенъ, когда находилъ ихъ высказанными, или поддавался имъ, если онѣ были ему новы. Писатель отыскивалъ и рисовалъ въ народномъ бытѣ его сочувственныя стороны, какія естественно отыскивать у неспра-ведливо бѣдствующаго: рисовались человѣчныя, выдержанные харак-теры, простота быта и нравовъ, природная мягкость и великодушіе и т. п. Григоровичъ дошелъ до настоящей идилліи; Потѣхинъ — до чувствительной повѣсти; Писемскій—до сенсационной драмы.

Теперь положеніе дѣла нѣсколько измѣнилось. Во второй поло-винѣ пятидесятихъ годовъ уже не было сомнѣнія въ близости ре-формы. Не было надобности настаивать на прежнемъ тояѣ и внушать участіе, которое переходило уже въ дѣло. Публицистика занялась самымъ вопросомъ о способахъ освобожденія, о хозяйственныхъ, юридическихъ, общественныхъ сторонахъ дѣла. Не сегодня-завтра крестьянинъ становился полноправнымъ (т.-е. болѣе или менѣе) граж-даниномъ. Задача повѣствовательной литературы становилась глубже и серьезнѣе — надо было, наконецъ, познакомиться съ внутреннимъ міромъ крестьянскаго народа, съ содержаніемъ его понятій, съ его умственными и нравственными нуждами. Здѣсь уже не было мѣста для идилліи; требовалось точное наблюденіе и изображеніе нрав-ственныхъ явленій народной жизни, въ параллель къ тому, что въ то же время разъяснялось публицистикой и этнографіей. Трудъ худо-жественнаго творчества въ этой области усложнился и затруднился до чрезвычайности; прежде оно могло довольствоваться для своихъ цѣлей указаніемъ лишь немногихъ мотивовъ, теперь раскрывался передъ нимъ цѣлый бытъ, который несравненно труднѣе было свести въ художественную картину. Тургеневъ, послѣ „Записокъ Охотника“, въ новомъ наступившемъ тогда періодѣ нашей жизни уже не вос-нулъ больше этой области. Недостатки другихъ упомянутыхъ по-вѣствователей были уже почувствованы, и ихъ манера уже не удов-летворяла.—Можно было предугадывать, что народной повѣсти пред-стояла новая пора. Повѣсть должна была ближе подойти къ народу, отбросить „литературныя выдумки“, начать болѣе серьезныя изученія—какова бы ни выработалась ихъ форма, и каково бы ни было худо-жественное достоинство новыхъ произведеній.

Цѣлый рядъ вліяній, исходившихъ изъ всего склада того времени, измѣнялъ характеръ и стремленія литературы и дѣйствовалъ на ту область ея, о которой мы теперь говоримъ. Счастливая случайность, которая была, однако, въ духѣ времени и дѣйствительно была его порожденіемъ, указывала русскимъ писателямъ путь разумнаго слу-

женія народному интересу. Мы разумѣемъ упомянутую выше оригинальную экспедицію, которую задумало морское министерство въ самомъ началѣ прошлаго царствованія и въ которой приняли участіе Островскій, Писемскій, Потѣхинъ, Максимовъ, Аванасьевъ-Чужбинскій и др. Экспедиція какъ бы указывала необходимость ближайшаго реального изученія народнаго быта. Для г. Максимова этимъ опредѣлилась потомъ вся его литературная дѣятельность—этнографическаго странствователя... Журналы измѣнили свою фیزیономію: эстетическая критика, нѣкогда совмѣщавшая въ себѣ основной интересъ литературнаго міра, еще занимала свое мѣсто, но рядомъ съ ней шли экономическіе и юридическіе трактаты. Педагогическая статья Бема, знаменитые „Вопросы жизни“ Пирогова, способны были надолго занять умы и стать предметомъ оживленныхъ толковъ. Въ литературныхъ кругахъ шли рѣчи о необходимости широкой народной школы, — и въ результатѣ явилось вскорѣ основаніе комитета грамотности, возникли воскресныя школы; журналы были заинтересованы начавшимся въ тѣ же годы сильнымъ распространеніемъ обществъ трезвости (вскорѣ впрочемъ, подавленныхъ откупными управленіями); В. И. Ламанскій, уже тогда ревностный славянофилъ, печаталъ въ „Современникѣ“ (1857) прекрасный трактатъ — „О распространеніи знаний въ Россіи“, который теперь впору было бы повторить.

Мы привели эти немногіе факты, чтобы напомнить то одушевленіе, какимъ исполнялось общество во второй половинѣ 50-хъ годовъ, и довольно сравнить это время съ первыми 50-ми годами, чтобы увидать всю громадную перемѣну въ настроеніи, совершившуюся въ какіе-нибудь два-три года. Понятно, почему народная повѣсть также измѣнилась въ эти годы: она переходила отъ идеалистической отвлеченности въ простую реальную жизнь и не стала скрывать отъ себя мрачныхъ, некрасивыхъ сторонъ народнаго быта—и тѣхъ, какія приносины были тяжкимъ положеніемъ народа, и тѣхъ, какія выросли въ его собственной средѣ; съ другой стороны симпатичныя стороны этого быта рисовались уже не въ видѣ придуманной идилліи, а съ дѣйствительными чертами характеровъ и обстановки. Одно обстоятельство дѣлало большую разницу въ наблюденіи, и въ самомъ исполненіи сюжета. Преніе писатели знали народъ большею частію только издали и потому, между прочимъ, не шли дальше общей гуманной постановки соціального вопроса. Разработка частныхъ быта и самой внутренней жизни народа лежала внѣ ихъ задачи. Теперь писатели о народѣ стали появляться изъ такихъ слоевъ общества, гдѣ изученіе было близко, гдѣ писатель иногда самъ дѣлалъ этотъ бытъ и могъ говорить о вещахъ знакомыхъ по опыту. Напомнимъ Кокорева, позднѣе Рѣшетникова. — Новая бел-

летристика на народные темы уже съ этого времени начала подвергаться упреку въ недостаткѣ художественности, а иногда и упреку въ недостаткѣ деликатнаго отношенія къ народу. Дѣйствительно, за немногими исключеніями, она не могла похвалиться изяществомъ обработки. Причины этому были разныя: главною было—что роетъе *passantur*; но другая причина лежала въ самыхъ условіяхъ новой повѣсти. Происходилъ извѣстный переворотъ въ самомъ складѣ этого литературнаго рода. Онъ видимо перерождался: онъ захватывалъ все новый матеріалъ; сама народная жизнь, которая была его предметомъ, потеряла устойчивость и мѣнялась на глазахъ наблюдателя такъ, какъ передъ тѣмъ не мѣнялась цѣлую сотню лѣтъ. Не явилось первостепеннаго таланта, который схватилъ бы характеръ эпохи, и пришлось медленно, разрозненными усиліями создавать новую форму. Цѣлую художественную картину, — какія затѣвали прежніе повѣствователи (при помощи „литературной выдумки“), — смѣняетъ часто миниатюра, очеркъ, наконецъ, просто фотографія, а иногда и легкая карриатура; художественный замыселъ чередуется съ этнографіей или публицистикой.

Не останавливаясь на всѣхъ перекрестныхъ столкновеніяхъ взглядовъ, какими исполнена была литература конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, для характеристики положенія литературы о народѣ исторически важно указать въ особенности взгляды Добролюбова. Немного было писателей, болѣе страстно преданныхъ дѣлу преобразованія—одному изъ величайшихъ дѣлъ во внутренней исторіи русскаго народа, дѣлу, обѣщавшему впервые установить его гражданское бытіе. Въ этомъ вопросѣ у Добролюбова не было колебаній: всякимъ недоумѣніямъ о томъ, какъ можетъ сложиться въ будущемъ судьба народа, слишкомъ подавленнаго старой исторіей, не приготовленнаго къ гражданской жизни, невѣжественнаго и т. д., онъ противопоставлялъ глубокую увѣренность, что въ народѣ найдется достаточный запасъ ума и нравственной силы, чтобы съ достоинствомъ занять свое новое положеніе,—лишь бы данъ былъ просторъ этимъ силамъ. Его упрекали, даже безповоротно обвиняли за рѣзкость его мнѣній и приговоровъ, неуваженіе къ авторитетамъ; но теперь, на разстояніи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, всякому безпристрастному человѣку не трудно видѣть, что источникомъ его желчной страстности было именно и только то, что въ обществѣ и литературѣ онъ видѣлъ мало силъ и явленій, которыя отвѣчали бы положенію. Здѣсь и овлаđвало имъ то „отрицательное направленіе“, которое считали его единственной чертой; его мнѣнія и сочувствія были совершенно положительны вездѣ, гдѣ шла рѣчь о защитѣ нравственнаго права и достоинства народа.

Критика новаго направленія хорошо понимала измѣнившіеся условія литературы о народѣ и на первомъ планѣ ставила правдивость изображенія, относясь весьма равнодушно къ приговорахъ прежней критики, настаивавшей на исключительно эстетическихъ требованіяхъ. Приведемъ два-три примѣра.

Говоря о сочиненіяхъ И. Т. Кокорева, — молодого даровитаго писателя, автора извѣстной тогда повѣсти „Саввушка“ и рано умершаго подъ гнетомъ нужды, — Добролюбовъ такъ защищалъ его отъ упрековъ въ недостаточности художественной отдѣлки. „Люди, находившіе въ Кокоревѣ зародыши сильнаго дарованія, цѣнившіе его горячую любовь къ работающимъ бѣднякамъ нашимъ, большею частію и не предполагали тѣхъ обстоятельствъ, которыя служили у него источникомъ этой любви, но вмѣстѣ съ тѣмъ и препятствовали свободному развитію его дарованія. Строгіе эстетическіе цѣнители хотѣли, чтобы онъ дальше *вынашивалъ*¹⁾ въ душѣ свои произведенія, давалъ своимъ очеркамъ больше стройности, больше *объективировалъ*²⁾ ихъ, лучше отдѣлывалъ со стороны внѣшняго изложенія... Но цѣнители не знали, въ какомъ отношеніи находились произведенія Кокорева къ его собственной жизни. Немногимъ было извѣстно, что эти очерки, изображающіе горькую бѣдность съ честнымъ трудомъ, а подь-часъ и грязь, и забвеніе горя за чаркой, и невольное влияние изъ стороны въ сторону, что все это — воспроизведеніе того, что со всѣхъ сторонъ обхватывало и сжимало жизнь самого автора. Онъ не издали, не въ качествѣ дилеттанта народности, не въ часы досуга, не для художественнаго наслажденія наблюдалъ и изображалъ жизнь бѣдняковъ, съ горемъ, а часто и съ грѣхомъ пополамъ добывающихъ кусокъ хлѣба. Онъ самъ жилъ среди нихъ, страдалъ съ ними, былъ съ ними связанъ кровно и неразрывно. Онъ недурно изображалъ мастеровыхъ, кухарокъ и извошниковъ; не мудрено: его трудами поддерживалось существованіе стараго, больного отца — ремесленника, изъ вольноотпущенныхъ, давалась помощь его матери — кухарѣ, его брату — извошнику!.. Ему ли было отдѣляться отъ героевъ своихъ произведеній и стараться объективировать ихъ! Ему ли было заботиться о *вынашиваніи* въ душѣ своихъ образовъ, объ изящности ихъ отдѣлки! Будь какая угодно артистическая натура, но трудно усадить въ живописное положеніе больного отца, чтобы съ него нарисовать изящный портретъ нищаго старика; трудно томить его голодомъ, чтобы, смотря на его страданія, *выносить* въ душѣ образъ голодной бѣдности и потомъ съ эпическимъ снокой-

¹⁾ Одно изъ любимыхъ выраженій въ терминологіи тогдашнихъ эстетиковъ.

²⁾ Также.

ствіемъ выставить его на показъ міру. Нищета семейная, безотрадное, насущное, сосущее горе, въ какомъ проходила жизнь Кокорева, мало благоприятствуетъ ровному и спокойному теченію мыслей" ¹⁾...

Въ другой разъ Добролюбовъ обратился къ вопросу о литературныхъ изображеніяхъ народной жизни по поводу „Повѣстей и разсказовъ“ Славутинскаго ²⁾. Оспаривая упомянутыя мнѣнія прежней критики о невозможности достигать эстетическаго эффекта въ изображеніяхъ быта, мало подчиняющагося эффекту, онъ излагалъ тогдашнее положеніе этой отрасли литературы слѣдующимъ образомъ.

Въ первыхъ пятидесятихъ годахъ, наша литература была наводнена разсказами изъ народнаго быта. Кромѣ той московской группы, о которой мы говорили, явился цѣлый рядъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ разсказчиковъ. Въ тоже время высказалась и та точка зрѣнія, что истина простонароднаго быта непримирима съ „незыблемыми“ законами искусства. Добролюбовъ одинаково несочувственно относился и къ той литературѣ, еще слишкомъ поверхностно относившейся къ народу, и къ тому эстетическому взгляду. Размноженіе народныхъ разсказовъ онъ объяснялъ просто тѣмъ, что въ тѣ годы усиленнаго стѣсненія литературы это была безвредная тема. Въ тѣ годы (начало 50-хъ),—говорилъ онъ (въ 1860),—„о крестьянскомъ вопросѣ не было и помину, слѣдовательно разсказы о жизни крестьянъ (разумѣется, безъ всякаго отношенія къ ихъ юридическимъ правамъ или, правильнѣе сказать, обязанностямъ) никого не могли задѣвать за живое, никому не досаждали. А все другое въ то время казалось очень сомнительнымъ и встрѣчалось съ большимъ недоброжелательствомъ извѣстною частью публики, отъ которой преимущественно зависитъ процвѣтаніе русской литературы“ (т.-е. цензурою). Тогда обратились къ мужику. „За нѣсколькими писателями, дѣйствительно наблюдавшими народную жизнь, потянулись цѣлыя толпы такихъ сочинителей, которымъ до народа и дѣла-то никогда не было“. Но по всему тогдашнему положенію литературы, „къ мужикамъ приступали тогда съ тою же манерою, какъ и ко всѣмъ другимъ членамъ общества, т.-е. заставляли ихъ постоянно прикидываться непомятыми родства. Какъ мужикъ съ своей деревней связанъ, кѣмъ управляется, какія повинности несетъ, чей онъ и какъ съ баринотъ, съ управляющимъ, съ окружнымъ или исправникомъ вѣдается—это вы могли открыть весьма въ рѣдкихъ случаяхъ,—именно, когда попадался вамъ идеальный управляющій, какъ въ

¹⁾ Сочиненія Добролюбова, т. 2, стр. 504.

²⁾ Тамъ же, т. 3, стр. 229 и слѣд.

„Крестьянкѣ“¹⁾, или какъ въ „Лѣшемъ“²⁾, на примѣръ... Житойская сторона обыкновенно пренебрегалась тогда повѣствователями, а брались, безъ дальнихъ справокъ, сердце человеческое, а такъ какъ для него ни чиновъ, ни богатствъ не существуетъ, то и изображалась его чувствительность у крестьянъ и крестьянокъ. Обыкновенно герои и героини простонародныхъ разсказовъ сгорали отъ пламенной любви, мучились сомнѣніями, разочаровывались—совершенно такъ же, какъ „Тамаринъ“ г. Авдѣева или „Русскій Черкесъ“ г. Дружинина. Разница вся состояла въ томъ, что въсто: „я тебя страстно люблю; въ это мгновеніе я радъ отдать за тебя жизнь мою“, они говорили: „я тея страхъ какъ люблю; а таперича за тея жить готовъ отдать“. А впрочемъ, все обстояло, какъ слѣдуетъ быть въ благовоспитанномъ обществѣ: у г. Писемскаго одна Мареуша даже въ монастырь ушла отъ любви, не хуже Лизы „Дворянскаго Гнѣзда“.

Въ виду этого Добролюбовъ иронически соглашался съ мнѣніемъ эстетической критики о несоединимости истины простонароднаго быта съ требованіями искусства. „И дѣйствительно: законы искусства требуютъ, чтобы въ повѣсти или драмѣ строго и естественно развивалось содержаніе само изъ себя и представляло внутреннюю борьбу въ человѣкѣ какихъ-нибудь двухъ началъ; а жизнь нашихъ мужиковъ совершенно зависитъ отъ случайностей разнаго рода—отъ наѣзда становаго, отъ расположенія духа управляющаго, отъ болѣзни барской собаки или лошади, отъ нетрезвости земскаго и т. п., и кромѣ того—внутренней борьбы въ нихъ никакой нѣтъ, потому что они, видите ли, находятся еще въ первобытной непосредственности“. Что прикажете дѣлать искусству въ такомъ затруднительномъ случаѣ?

Но дѣло совершенно измѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ крестьяскій вопросъ былъ поставленъ правительствомъ и сталъ предметомъ серьезнаго вниманія общества.

„Крестьянскій вопросъ заставилъ всѣхъ обратить вниманіе на отношенія помѣщиковъ и крестьянъ. Литература хотѣла тотчасъ принять посильное участіе въ разрѣшеніи вопроса и, между прочимъ, принялась-было за путь беллетристической обработки существующихъ фактовъ. Но вскорѣ было соображено, что въ минуту серьезнаго и мирнаго разсужденія о дѣлѣ, не деликатно болтать о фактахъ, представляющихъ одну сторону въ нехорошемъ видѣ и могущихъ раздражать ее напоминаніями прошлаго, которое довольно скоро уже кончится. Итакъ, этотъ предметъ былъ беллетристикою оставленъ въ

¹⁾ Потѣхина.

²⁾ Писемскаго.

покоя: но не могла быть оставлена безъ вниманія жизнь крестьянъ и существующія условія ихъ быта. Разъясненіе этого дѣла стало уже не игрушкой, не литературной прихотью, а настоятельною потребностью времени. Безъ всякаго шума и грома, безъ особенныхъ новыхъ открытій, взглядъ общества на народъ сталъ серьезнѣе и осмыслился нѣсколько просто отъ предчувствія той дѣятельной роли, которая готовится народу въ весьма недалекомъ будущемъ. Въѣсть съ тѣмъ появились и рассказы изъ народнаго быта, совершенно уже въ другомъ родѣ, нежели какіе являлись прежде“.

Эти рассказы другого рода характеризуются книгой Славутинскаго. Въ этомъ авторъ Добролюбовъ не видѣлъ особенной силы художественнаго таланта: многимъ изъ прежнихъ писателей онъ очень уступаетъ въ этомъ, но имѣетъ передъ ними другое преимущество. „Онъ имѣетъ ту особенность, что говоритъ постоянно такъ, какъ взрослый человѣкъ долженъ говорить съ взрослыми людьми о серьезномъ дѣлѣ. Онъ не подлаживается ни къ читателямъ, ни къ народу, не старается, примѣняясь къ нашимъ понятіямъ, смягчить передъ нами грубый колоритъ крестьянской жизни, не усиливается непременно создавать идеальныя лица изъ простаго быта. Онъ не считаетъ нужнымъ и щегольнуть сочувствіемъ къ простому классу, которое съ такимъ самодовольствомъ старались выставить на показъ нѣкоторые изъ прежнихъ, даже талантливыхъ писателей“... Напротивъ, новый авторъ обходится съ крестьянскимъ міромъ довольно строго: онъ не щадитъ красокъ для изображенія дурныхъ сторонъ его, не прячетъ подробностей, свидѣтельствующихъ о томъ, какія грубыя и сильныя препятствія часто встрѣчаетъ въ немъ доброе намѣреніе или полезное предпріятіе. Но не смотря на то признаемся, эти рассказы гораздо болѣе возбуждаютъ въ насъ уваженіе и сочувствіе къ народу, нежели всѣ приторныя идилліи прежнихъ рассказчиковъ. Тѣ, бывало, смотря на народъ съ высоты своего величія, великодушно старались обойти его недостатки и выставить только хорошія стороны; они рассчитывали возбудить въ читателяхъ сожалѣніе, благосклонность къ низшему сословію, и трактовали его съ той обидной ласковостью, которая обыкновенно происходитъ отъ увѣренности въ неизмѣримомъ превосходствѣ собственномъ. Такъ обращаются иногда съ маленькими дѣтьми, больными, сумасшедшими... Такое обращеніе бываетъ, впрочемъ, ужасно обидно для дѣтей, начинающихъ приходить въ сознаніе, и для здоровыхъ людей, которыхъ другіе считаютъ больными или поврежденными... Не особенно пріятно было и подобное отношеніе писателей къ народу для людей, дѣйствительно сочувствовавшихъ ему и понимавшихъ его жизнь. Оттого-то и пріятно видѣть то мужественное, прямое и строгое воззрѣніе

на простой народъ, какое выражается въ этихъ рассказахъ. Авторъ говоритъ о мужикѣ просто какъ о своемъ братѣ: вотъ, говоритъ, онъ каковъ, вотъ къ чему способенъ, а вотъ чего въ немъ нѣтъ, и вотъ что съ нимъ случается, и почему. Читая такой рассказъ, и дѣйствительно становишься въ уровень съ этими людьми, входишь въ ихъ обстоятельства, начинаешь жить ихъ жизнью, понимать естественность и законность тѣхъ или другихъ поступковъ, рассказываемыхъ авторомъ. И не смотря на то, что многое признаешь въ нихъ грубымъ и неправильнымъ, все-таки начинаешь болѣе цѣнить этихъ людей, нежели по прежнимъ сахарнымъ рассказамъ: тамъ было высокомерное снисхожденіе, а здѣсь *вѣра въ народъ*“.

Эта „вѣра въ народъ“ и была именно тѣмъ господствующимъ началомъ, которое лежало въ основѣ общественныхъ и литературныхъ взглядовъ новой критики. Относительно прежней литературы о народѣ, Добролюбовъ прибавляетъ еще одно замѣчаніе: „Впрочемъ, —говорить онъ вслѣдъ за этимъ,—приторное любезничанье съ народомъ и насильная идеализація происходили у прежнихъ писателей часто и не отъ пренебреженія къ народу, а просто отъ незнанія или непониманія его. Внѣшняя обстановка быта, формальныя, обрядовыя проявленія нравовъ, обороты языка доступны были этимъ писателямъ, и многимъ давались довольно легко. Но внутренній смыслъ и строй всей крестьянской жизни, особый складъ мысли простолюдина, особенности его міросозерцанія—оставались для нихъ по большей части закрытыми. Вотъ отчего нерѣдко писатели, даже хорошо изучившіе народную жизнь, вдругъ переносили въ нее отвлеченную идею, зародившуюся въ ихъ головѣ и обязанную своимъ началомъ вовсе не народному быту, а тому кругу, въ которомъ жили сами писатели“.

Слѣдуютъ примѣры. Выходила „народность“—въ томъ родѣ, какъ нѣкогда у Нелединскаго-Мелецкаго и Дельвига; въ тогдашнихъ пѣсенкахъ рассказывалось, какъ дѣвица по цѣлымъ днямъ сидитъ въ грусти на бережку, поджидаячи милаго, а добрый молодецъ, котораго „погубили злые толки“, хочетъ отъ нихъ въ лѣсъ бѣжать. „Авторы,—говоритъ Добролюбовъ,—очевидно, не предполагали, что у красной дѣвицы есть работа дома, либо на полѣ, и что если молодецъ убѣжитъ въ лѣсъ, то его поймутъ, и съ нимъ поступлено будетъ, какъ съ бродягой“. Подобнымъ образомъ въ эпоху простонародныхъ повѣстей (въ первыхъ 50-хъ годахъ) было въ ходу „постановленіе собственнаго я въ разрѣзъ съ окружающей дѣйствительностью“, и подобная тема переносилась цѣликомъ въ крестьянскіе нравы—въ видѣ любви къ неровнѣ и т. п., и готова была романтическая исторія изъ народнаго быта. Талантливый рассказъ и вѣрно скопированныя бытовыя черты часто скрывали отъ читателя натянutosть.

самой темѣ, — но не могли все-таки дать этимъ произведеніямъ прочнаго значенія. Эта натавнутость тогдашнихъ повѣстей и романовъ изъ народнаго быта, по словамъ Добролюбова, происходила отъ двухъ причинъ —, частію отъ робости авторовъ, боявшихся выставлять цѣликомъ всю жизнь простонародья, какъ она есть, частію же прямо отъ непониманія внутренняго смысла этой жизни и ея отношеній ко всѣмъ другимъ явленіямъ русскаго быта. Поэтому, только съ обращеніемъ большаго вниманія на всѣ стороны быта низшихъ классовъ и съ уясненіемъ ихъ значенія въ государственной жизни народа возможно было ожидать болѣе полнаго и жизненнаго, естественнаго воспроизведенія народнаго быта въ литературѣ. Возвращаясь въ заключеніи статьи къ эстетическому вопросу, Добролюбовъ находилъ, что „требованія искусства“ могутъ не сходиться съ „правдой народной жизни“ только по недостатку или фальшивому употребленію таланта или по недостатку чутья къ народной жизни, а вовсе не по существу самаго дѣла, и что, „если ужъ выбирать между искусствомъ и дѣйствительностью, то пусть лучше будутъ неудовлетворяющіе эстетическимъ теоріямъ, но вѣрные смыслу дѣйствительности рассказы, нежели безукоризненные для отвлеченнаго искусства, но искажающіе жизнь и ея истинное значеніе“.

Итакъ, *вѣра въ народъ*, но и *свободное критическое изученіе* его — былъ выводъ Добролюбова ¹⁾. Онъ замѣчательнѣе исторически тѣмъ, что отмѣчаетъ дѣйствительный переломъ, который долженъ былъ начаться, и въ самомъ дѣлѣ начался, какъ въ художественномъ изображеніи народа, такъ и вообще въ отношеніи къ нему литературы. Новый взглядъ развился потомъ въ цѣлое литературное явленіе.

Въ тѣхъ мысляхъ, которыя особенно рельефно были высказаны Добролюбовымъ, заключались всѣ лучшія стороны позднѣйшаго народничества, какъ горячаго желанія узнать народъ и служить его дѣлу, и не заключались его худшія стороны, какъ напримѣръ то неразумное самоинѣніе, которое приводило многихъ „народниковъ“ къ отрицанію европейскаго просвѣщенія и гражданственности во имя мнимаго народнаго принципа.

Мы скажемъ далѣе, какъ сложилась вполнѣствіи эта послѣдняя странная точка зрѣнія, и отмѣтимъ здѣсь только дальнѣйшее развитіе собственно литературныхъ изображеній народа, развитіе литературнаго стиля. Тотъ поворотъ въ этомъ стилѣ, который наступалъ съ эпохи освобожденія и который отличался первымъ дѣйствительно-реальнымъ отношеніемъ къ народному быту, не нуждавшимся ни

¹⁾ Его понятія о народѣ изложены подробно также въ статьѣ „Черты изъ жизни русскаго простонародья“ — по поводу Марка Вовча (Сочин., т. 8, стр. 370—441), въ статьяхъ объ Островскомъ и др.

въ прикрасахъ, ни въ умолчаніяхъ, очевидно долженъ былъ съ теченіемъ времени все усиливаться. Дѣйствительно, чѣмъ дальше развивался рассказъ изъ народнаго быта, тѣмъ болѣе сказывалось въ немъ этнографическаго знанія и вмѣстѣ стремленія точнѣе передать общественныя стороны народнаго быта. У первыхъ рассказчиковъ, которые выступили въ литературѣ наканунѣ реформы (какъ Григоровичъ, Потѣхинъ, Писемскій), и новаго ряда ихъ, который началъ дѣйствовать одновременно съ нею (Слѣпцовъ, Николай Успенскій, Славутинскій и пр.), было несравненно меньше того знанія народной жизни, какое мы видимъ теперь не только у такихъ специалистовъ народной повѣсти какъ Глѣбъ Успенскій, Златовратскій, Эртель, Наумовъ и др., но даже у второстепенныхъ и третьестепенныхъ писателей этой категоріи. Вопросы о народѣ разбирались въ литературѣ такъ настойчиво, наиболѣе талантливые и наблюдательные писатели такъ раздвинули рамки и подробности картинъ, что для новыхъ дѣятелей въ этой области становилось обязательнымъ гораздо болѣе внимательное изученіе, чѣмъ дѣлалось когда-нибудь прежде. Къ движенію чисто литературному присоединилось движеніе общественнаго характера, отразившееся съ своей стороны на литературномъ изображеніи народа. Мы говоримъ о такъ называемомъ „хожденіи въ народъ“. Это явленіе, до сихъ поръ воплнѣ невыясненное, было во всякомъ случаѣ чрезвычайно любопытнымъ симптомомъ нашей общественной жизни шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ. Замѣтимъ прежде всего, что оно имѣло нѣсколько различныхъ формъ и исходило изъ различныхъ побужденій. Всего чаще полагаютъ (и это не однажды изображалось въ литературѣ, какъ напр. въ „Нови“ Тургенева), что оно имѣло политическую подкладку и имѣло въ виду цѣли революціонныя и бунтовскія. Примѣры тому дѣйствительно бывали и оказывались бесплодны и только фатальны для самихъ дѣятелей; но движеніе далеко не исчерпывается этими примѣрами и напротивъ гораздо многочисленнѣе были случаи, гдѣ „хожденіе въ народъ“ имѣло характеръ мирнаго движенія съ задачами общественными и экономическими.

Рѣшеніе крестьянскаго вопроса было столь великимъ переворотомъ, что современники не могли угадать всего объема его послѣдствій,— послѣдствій общественныхъ, когда съуживалось значеніе привилегированнаго, нѣкогда воплнѣ господствовавшаго надъ другими, сословія и получала извѣстную полноправность громадная народная масса; послѣдствій экономическихъ, когда огромное большинство мелкихъ землевладѣльцевъ, теряя даровой крестьянскій трудъ, было совершенно выбито изъ традиціонной колѣи и должно было искать себѣ новаго экономическаго поприща, какъ средства существованія; нако-

нецъ послѣдствій нравственныхъ. Тѣ прославленія, которыми сопровождалась реформа, вовсе не были только привычнымъ officialнымъ панегирикомъ, какой ведется у насъ изстари, иногда вовсе не высказывая дѣйствительнаго настроенія; напротивъ, здѣсь несомнѣнно въ большой долѣ участвовало глубокое чувство нравственнаго удовлетворенія. Понятно, что прямымъ выводомъ изъ этого настроенія для тѣхъ, у кого оно было искренно, должна была стать перемяна въ отношеніи къ народу: мѣсто прежняго высокомернаго отчужденія должно было заступить сближеніе и примиреніе, и когда притомъ положеніе значительной, даже наибольшей части прежняго землевладѣльческаго класса совершенно измѣнилось въ отношеніи общественномъ и экономическомъ, очевидно должна была наступить для нея новая форма труда, общественныхъ стремленій и самыхъ идеаловъ. Отсюда шли тѣ различныя движенія, которыми наполняются первые шестидесятые года; въ свое время большею частью не понятныя и даже оклеветанныя, онѣ однако были вполне естественнымъ результатомъ даннаго положенія и заключали въ себѣ здоровые элементы, которые имѣли все право на поддержку и обѣщали благотворные результаты въ будущемъ. Таково было основаніе воскресныхъ и бесплатныхъ школъ, которыми образованный классъ стремился помочь темнотѣ народной массы; таковы были усилія основать высшее женское образованіе: въ практическомъ смыслѣ оно должно было доставить средства къ заработку для тѣхъ женщинъ, которыя не нуждались или гораздо меньше нуждались въ немъ прежде въ среднемъ и мелкомъ дворянскомъ быту ¹⁾. Къ разряду тѣхъ же явленій принадлежало „хождение въ народъ“, которое съ одной стороны было выраженіемъ идеалистическаго стремленія сближаться съ народомъ, впервые равноправнымъ, а съ другой—и желаніемъ найти и для себя достойный трудъ въ его средѣ.

Въ послѣдніе годы одинъ изъ нашихъ критиковъ, опредѣляя источники народолюбія въ нашей литературѣ и обществѣ, приписывалъ его „расскаившемуся дворянину“. Другой критикъ, опредѣляя народолюбивыя стремленія славянофильства въ лицѣ Константина Аксакова, противопоставлялъ его народолюбію западниковъ, такимъ образомъ, что у послѣднихъ источникъ его „кроется въ чувствѣ *жалости* нравственно чуткихъ представителей русскаго культурнаго класса къ бѣдственному положенію мужика и въ чувствѣ *раскаянія*, которое испытывали „сыны народнаго бича“ при мысли о своей причастности грѣху вѣковаго угнетенія крѣпостнаго раба“, что когда

¹⁾ Статистическія цифры различныхъ высшихъ женскихъ курсовъ постоянно указывали, что огромное большинство слушательницъ бывало изъ дворянскаго сословія.

въ началѣ сороковыхъ годовъ стали приходить въ намъ „филантропическія“ идеи, т. е. идеи социальныя, пробуждавшія сильное общественное чувство, оно направилось прежде всего на низшіе угнетенные классы и народолюбіе стало „желаніемъ выяснитъ, что крѣпостной рабъ есть тоже человѣкъ и что, слѣдовательно, его страданія должны быть облегчены“; между тѣмъ источникъ народолюбія славянофильскаго былъ диаметрально противоположный. Константину Аксакову мужикъ былъ дорогъ главнымъ образомъ, какъ хранитель истинно русскихъ преданій; не потому онъ любилъ мужика, что это былъ нашъ меньшій братъ, а потому, что видѣлъ въ немъ живой обломокъ дорогого ему древне-русскаго быта. Поэтому-то Аксаковъ, „совершенно закрывая глаза на реальную дѣйствительность и на тѣ печальныя условія, среди которыхъ протекала жизнь крѣпостного мужика, изображалъ ее въ такихъ оптимистическихъ краскахъ“, въ какихъ напр. онъ изображаетъ даже положеніе крѣпостного мужика въ своей пьесѣ „Князь Луповицкій“¹⁾. Не будемъ выбирать, какая изъ двухъ точекъ зрѣнія предпочтительнѣе; не будемъ разбирать также, дѣйствительно ли только чувство жалости и раскаянія (чувства слишкомъ субъективныя) руководили народолюбіемъ круга Бѣлинскаго сороковыхъ годовъ и позднѣе, и не присоединялось ли къ этимъ чувствамъ и болѣе глубокихъ оснований въ цѣломъ общественномъ пониманіи: едва ли сомнительно, что въ общественномъ смыслѣ была дѣйствительнѣе и вліятельнѣе та точка зрѣнія, которая исходила не изъ поэтизированной археологіи, а изъ оцѣнки настоящихъ отношеній народной жизни. Эта послѣдняя оцѣнка проявлялась теперь и въ томъ взглядѣ на освобождаемую народную массу, какой мы видѣли у Добролюбова и который распространялся тогда въ значительной долѣ общества, а также молодыхъ поколѣній; но, какъ далѣе увидимъ, распространялся съ извѣстными новыми оттѣнками и взглядъ К. Аксакова или славянофильскій: отношеніе къ народу было не только идеалистическое съ реальной основой, но и съ основой мечтательной, фантастической. Это послѣднее и произвело впоследствии то, что въ тѣсномъ смыслѣ было названо „народничествомъ“.

Такъ или иначе, въ разныхъ степеняхъ и оттѣнкахъ указанныхъ здѣсь воззрѣній, интересъ къ народу въ значительной части, быть можетъ, большинства литературы становился господствующимъ, обязательно подразумеваемымъ. Когда нашелся писатель съ сильнымъ дарованіемъ, особливо способностью разнообразнаго наблюденія, онъ

¹⁾ Ник. Михайловскій и С. Венгеровъ (Критико-біографическій Словарь, стр. 289—241).

быстро сталъ популярнымъ: это былъ Глѣбъ Успенскій. Не задавали себѣ вопроса, какой собственно выводъ слѣдуетъ изъ приводимыхъ имъ картинъ; но наблюденіе было разнообразно, часто мѣтко, и этого было довольно: постоянно возбуждалось и поддерживалось вниманіе къ вопросу, который являлся основнымъ и капитальнымъ. Господство этого интереса было таково, что изъ-за него забывались самыя требованія художественности. Объ нихъ очень мало думалъ писатель, какъ Рѣшетниковъ, у котораго въ его первой и лучшей повѣсти нашлись поразительныя картины бѣдственнаго быта; объ эстетическихъ требованіяхъ мало думалъ и читатель. Это не было, конечно, правиломъ; но появлялась мысль, что забота о художественной отдѣлкѣ есть роскошь и что нужна одна только реальная правда. Такая мысль была у Рѣшетникова плодомъ нѣсколько грубаго демократизма, перенесеннаго изъ житейскихъ понятій на искусство. Любопытно, что одновременно подобная мысль возникала и въ совершенно иной сферѣ, въ понятіяхъ писателя, знаменитаго высокимъ художественнымъ достоинствомъ его произведеній, у графа Л. Н. Толстого. Какъ извѣстныя народолюбивыя идеалисты стремились „опроститься“, полагая этимъ достигнуть цѣли своихъ безпокойныхъ исканій, такъ тоже самое оказывалось въ литературѣ: одинъ изъ величайшихъ ея писателей отказывался, находя это излишнимъ, писать художественныя произведенія для развлеченія избалованныхъ и испорченныхъ читателей и рѣшался писать только для простыхъ читателей изъ народа на доступныя имъ темы и доступнымъ для нихъ языкомъ, намѣренно избѣгая того, что называютъ художествомъ, — потому что самое художество есть роскошь, а, главное, „ложь“. Это былъ крайній предѣлъ, до котораго могло дойти стремленіе сдѣлать литературу служеніемъ народу и вмѣстѣ его вѣрнымъ изображеніемъ. Каково бы ни было теоретическое достоинство разсужденія, приводившаго къ такому выводу, во всякомъ случаѣ было оригинально и невиданно пріобрѣтеніе литературнаго стиля. „Власть тьмы“, которая изумительнымъ образомъ проникла на сцену любителей въ аристократическомъ кругу, была относительно стиля высшимъ пунктомъ, до какаго достигъ народный реализмъ изображенія и языка ¹⁾.

Вслѣдъ за Л. Н. Толстымъ стала складываться группа писателей изъ народнаго быта, которая старалась примѣнить тотъ же самый пріемъ: нѣкоторыя ихъ произведенія любопытны простотой разсказа и замѣчательной точностію въ изображеніяхъ народной жизни; быть можетъ, имъ недостаетъ иногда бездѣлицы—поэтическаго интереса.

¹⁾ Ср. книжку г. Слабичевскаго: „Беллетристи-народники. Критическіе очерки“. Спб. 1888.

Но въ цѣломъ и независимо отъ этого стремленія къ фотографіи,— которая можетъ быть удачна только въ рукахъ большого таланта,— въ цѣломъ составѣ нашей литературы, какъ результатъ весьма различныхъ теченій, выработалась замѣчательная степень совершенства въ изображеніи народной жизни и въ мастерствѣ языка. Независимо отъ указанныхъ новѣйшихъ возбужденій, этимъ совершенствомъ обладаютъ и произведенія старыхъ писателей, воспитавшихся въ иную пору, подъ иными вліяніями. Назовемъ Островскаго, у котораго изображенія „Темнаго царства“ были настоящимъ литературнымъ открытіемъ; его историческія драмы были замѣчательными опытами реставраціи народной старины; въ одной изъ послѣднихъ его пьесъ („Снѣгурочка“) съ большимъ искусствомъ приведена въ дѣйствіе даже старая народная мифологія. Назовемъ наконецъ Салтыкова: эпизодическія картины народной жизни воспроизведены у него съ тѣмъ же неизмѣннымъ совершенствомъ, съ какимъ онъ передаетъ бытъ и нравы всякихъ иныхъ слоевъ общества; онъ не былъ народолюбомъ въ новѣйшемъ стилѣ, но послѣднее его произведеніе было замѣчательнѣйшей картиной стараго крѣпостного быта, какая только являлась въ нашей литературѣ и гдѣ судьбѣ подневольнаго народа посвящены многія глубокія страницы. Здѣсь, мимо новѣйшихъ народолюбивыхъ движеній, намъ вспомнится снова благородный идеализмъ сороковыхъ годовъ.

ГЛАВА XII.

Н А Р О Д Н И Ч Е С Т В О .

Реакціонный поворотъ послѣ реформъ. — Разладъ въ общественномъ мнѣніи и отраженіе его на литературѣ о народѣ. — Вопросъ о „деревнѣ“. — Теорія народничества. — Новѣйшая народническая беллетристика.

„Народничество“, о которомъ говорилось такъ много въ 1870 — 80-хъ годахъ, есть нѣчто весьма неясное, не легко опредѣлимое, произвольное; „народниками“ называютъ себя (и называются другими) люди, очень мало похожіе, даже вовсе непохожіе другъ на друга: люди съ очень опредѣленными прогрессивными мнѣніями, и люди, заявляющіе себя на каждомъ словѣ специальными друзьями народа, и, однако, проповѣдующіе нѣчто близкое къ настоящему обскурантизму. Литературная фракція, которая въ особенности приписываетъ себѣ знаніе народа и вѣрнѣйшее истолкованіе его мыслей, отличается едва ли не наибольшей спутанностью понятій. Она считаетъ свои взгляды именно самоновѣйшимъ принципомъ, разрѣшающимъ всѣ вопросы о народѣ; съ замѣчательнымъ самодовольствомъ она изобличаетъ всякія противныя мнѣнія, противопоставляя себѣ и „бюрократизмъ“, и „либерализмъ“, смѣшивая ихъ въ одну кучу, иной разъ нападаая на славянофиловъ, и рядомъ — совпадаая съ „Моск. Вѣдомостями“ (Катковскихъ временъ).

Какимъ образомъ могло произойти, что среди ревностно заявляемыхъ привязанностей къ народу могло появиться направленіе, соединяющее такія странныя свойства? Объясненія этого вопроса надобно искать во всемъ ходѣ недавней и современной общественной исторіи, которая, однако, не удобно поддается опредѣленіямъ. Не принимая на себя этой задачи, отмѣтимъ лишь нѣсколько фактовъ изъ ближайшей литературной области.

Тотъ порывъ общественнаго увлеченія, который наполнялъ первые годы прошлаго царствованія, былъ весьма непродолжителенъ. Уже тогда можно было замѣчать, сколько въ немъ непрочнога и шаткаго. Новое, повидимому, очень либеральное настроеніе тѣхъ годовъ было подготовлено слишкомъ тяжелыми годами разочарованій Крымской войны: всѣмъ, и самой власти, было тогда ясно, что прежній порядокъ вещей несостоятеленъ, что государству, какъ обществу и народу, нуженъ иной путь для того, чтобы ихъ силы стали дѣйствительными, а не предполагаемыми — даже для борьбы съ внѣшнимъ врагомъ. Затѣмъ, слухи о реформахъ, начало ихъ подготовленія, поддерживали это настроеніе, въ теченіе котораго естественно выдались въ оживившейся литературѣ именно тѣ голоса и мнѣнія, которые сочувствовали обновленію общества и еще гораздо ранѣе видѣли его необходимость. Этому настроенію подчинились — даже болѣе или менѣе искренно — и тѣ, кто, собственно говоря, былъ мало приготовленъ или расположенъ къ либеральному взгляду на вещи... Но долго подобное настроеніе удержаться не могло, особенно, когда — по совершеніи реформъ — наступило въ самой правительственной области извѣстное затишье, а затѣмъ и отступленіе. Какъ только стало оно замѣчаться, отъ новаго взгляда на общественныя дѣла отпали всѣ люди безхарактерные, неубѣжденные или неискренніе, — и напротивъ, „подняли голову“, какъ нынче говорятъ, люди, которые съ самаго начала были врагами всякихъ нововведеній, но до времени молчали... Одною изъ характерныхъ особенностей въ дѣятельности Добролюбова было именно его чуткое отношеніе къ подобнымъ проявленіямъ общественности, гдѣ его негодующее остроуміе направлялось противъ фальши, лицемерія и недодуманности, которыхъ въ самомъ началѣ было не мало въ либеральныхъ заявленіяхъ, и которыя не обѣщали ихъ прочности...

Не будемъ рассказывать, какъ мало-по-малу измѣнилось направленіе самой правительственной власти, подѣ влияніемъ внутреннихъ волненій, польскаго возстанія, а главное, подѣ влияніемъ того, что въ общей массѣ нашего гражданскаго развитія былъ еще слишкомъ не великъ запасъ просвѣщенныхъ силъ, которыя могли дать прочную основу требованіямъ реформы; донинѣ, почти черезъ тридцать лѣтъ послѣ реформы, она еще не примирила своихъ враговъ. Много ихъ было и въ пору самаго освобожденія, между прочимъ, въ средѣ лицъ съ самымъ значительнымъ положеніемъ. Ихъ влияніе не замедлило обнаружиться. Мы не станемъ перечислять фактовъ. Съ шестидесятихъ годовъ общественная жизнь испытала постепенный упадокъ настроенія, создавшаго реформы, и этотъ упадокъ уже вскорѣ отразился на самыхъ учрежденіяхъ. Напомнимъ лишь, какимъ огра-

ниченыямъ подверглись въ 60-хъ и 70-хъ годахъ не только крестьянская, но и всѣ другія реформы, судебная, земская, законъ о печати и проч., и въ частности, относительно крестьянскаго дѣла приведемъ нѣсколько словъ писателя, который самъ былъ глубоко убѣжденнымъ приверженцемъ и, частію, дѣятелемъ этой реформы, и по самой умѣренности своихъ взглядовъ, можетъ считаться компетентнымъ наблюдателемъ нашего внутренняго быта послѣднихъ десятилѣтій.

„Давно и много жалуются у насъ на недостатокъ свободы печати, который существенно мѣшаетъ правильному и здоровому росту русской мысли, литературы, науки и искусства, — говорилъ Кавелинъ. — Но ни въ чемъ этотъ недостатокъ не принесъ столько зла, какъ по крестьянскому вопросу. Благодаря невольнымъ умолчаніямъ или совершенному молчанію, у насъ до сихъ поръ нѣтъ правильного, спокойнаго, безпристрастнаго взгляда на этотъ предметъ. Полезныя, вполне безвредныя и безобидныя мысли не могли высказаться, а явно ошибочныя и пристрастныя, отвергаемыя всѣмъ ходомъ русской исторіи, наукой и опытомъ, чужимъ и нашимъ, напротивъ, пользовались въ печати совершенной свободой и высказывались подъ-часъ такъ откровенно и тержествующе, что невольно думалось, будто они пользуются, со стороны цензурнаго вѣдомства, особеннымъ благоволеніемъ и покровительствомъ. Такое предположеніе, конечно, было неосновательно, ему противорѣчило все наше законодательство, перестроившее съ 1861 года нашъ гражданскій бытъ; но разладъ между законодательною дѣятельностью и цензурными распоряженіями поддерживалъ недоумѣнія относительно истиннаго смысла и значенія крестьянскаго вопроса въ Россіи. Въ самомъ дѣлѣ, какъ было не спутаться, не сбиться съ толку, когда Положенія 1861 года 19 февраля и цѣлый рядъ послѣдующихъ преобразованій признали крестьянъ граждански свободными, а говорить въ печати съ сочувствіемъ о крестьянахъ считалось неблаговиднымъ, приводить доводы въ пользу общиннаго владѣнія, котораго великорусскіе крестьяне до сихъ поръ цѣпко держатся, было чуть-чуть не равнозначительно съ провозглашеніемъ коммунистическихъ теорій; доказывать, что крестьянскіе земельные надѣлы недостаточны, что лежащія на крестьянахъ подати и повинности обременительны, что необходимо допустить и организовать переселеніе крестьянъ изъ малоземельныхъ губерній — значило заявлять себя политически неблагонадежными..

„У огромнаго большинства владѣльцевъ, не сочувствовавшихъ отмианію крѣпостнаго права въ томъ видѣ, какъ она совершилась, и у весьма значительнаго числа административнаго персонала, все

болѣе и болѣе пополнявшася недовольными этой реформой, возродилась, благодаря этому обстоятельству, надежда, что если новыя законоположенія и не будутъ совершенно отиѣнены, то, по крайней мѣрѣ, на дѣлѣ будутъ допущены существенныя отступленія отъ ихъ духа и буквы. Горячія желанія и надежды такого рода, казалось, были не совсѣмъ напрасны. Гдѣ только можно было, Положенія 19 февраля и послѣдующія крестьянскія законоположенія примѣнялись не въ пользу крестьянъ, а въ пользу владѣльцевъ; укрѣпленіе за крестьянами земель, купленныхъ въ прежнее время на ихъ деньги, часто отклонялось подъ самыми ничтожными предлогами; надѣлы отводились, вопреки смыслу Положеній, къ невыгодѣ крестьянъ и къ выгодѣ владѣльцевъ; выкупныя платежи и оброки выскивались съ беспощадною и разорительною строгостью, причемъ не обращалось никакого вниманія на обстоятельства, дѣлавшія разсрочку или отсрочку не только справедливой, но и необходимой, въ видахъ сохраненія платежныхъ силъ крестьянъ на будущее время. Всякіе приемы, съ цѣлью обмануть крестьянъ при отводѣ имъ надѣла, по возможности стѣснить ихъ, установить экономическую ихъ зависимость отъ владѣльцевъ, не только считались позволенными, но владѣльцы и управляющіе ими гордились и хвастали. Незамѣтное, почтенное меньшинство помѣщиковъ и должностныхъ лицъ, не сочувствовавшихъ такому обороту крестьянскаго дѣла, мало-по-малу устранились или были устранены отъ всякаго въ немъ участія...

„Взглядъ на нашъ сельскій людъ какъ на простой народъ, чернь въ европейскомъ смыслѣ, имѣеть у насъ тоже своихъ энтузіастовъ. Мы слышали, что въ Европѣ чернь представляетъ безпокойную массу людей, недовольныхъ своимъ положеніемъ, готовыхъ, при малѣйшей искрѣ, обратиться въ огнедышащій вулканъ, опасный для государства и существующихъ въ немъ порядковъ; что массы народныя — элементъ вѣчнаго движенія, которому, чтобы удерживать его въ границахъ, необходимо противопоставить оплотъ консервативныхъ силъ, каковыми являются крупное землевладѣніе, капиталъ и высшая интеллигенція. Нашлись люди, которые цѣликомъ перенесли и это возрѣніе на нашъ деревенскій людъ. На этомъ возрѣніи построены, напримѣръ, удивительныя политическія комбинаціи генерала Фадѣева, въ книгѣ: „Чѣмъ намъ быть“. По его мнѣнію, наше крестьянство — влокающій кратеръ, готовый каждую минуту произвести взрывъ и разрушить нашъ политическій и государственный строй. До такихъ поразительныхъ нелѣпностей, сколько намъ извѣстно, никто еще у насъ не договаривался, за исключеніемъ сотрудниковъ и покровителей газеты „Вѣсть“. Генералу Фадѣеву принадлежитъ безспорно честь,

что онъ, изъ ошибочной предпосылки, логически вывелъ ея крайнія послѣдствія“¹⁾).

Все это отразилось и на литературѣ. Наша литература не подерживается вліяніемъ общества, другими словами, литература—въ своихъ лучшихъ силахъ и трудахъ—является выраженіемъ столь незначительной доли общества, именно болѣе просвѣщенной, что она находится вполнѣ во власти обстоятельствъ. Она можетъ оживиться, когда обстоятельства сложатся благополучно; можетъ, даже при сохраняющейся наличности своихъ обыкновенныхъ силъ, захвнуть и упасть, если время стоитъ неблагоприятное... Какъ извѣстно, со времени наступившей реакціи принималось много суровыхъ мѣръ; много изданій совсѣмъ прекратили свое существованіе, каждый разъ прерывая, на время или даже совсѣмъ, дѣятельность многихъ талантливыхъ писателей и во всякомъ случаѣ стѣсняя остальныхъ. Общественная мысль живуча,—потому что остаются неистребимыми ея источники,—но временно она можетъ быть подавлена и устранена: примѣры мы видѣли, въ послѣднія десятилѣтія, даже у народовъ, несравненно болѣе просвѣщенныхъ и граждански развитыхъ,—удивительно ли, что въ нашихъ условіяхъ устраненіе литературы и общественнаго мнѣнія могло быть весьма дѣйствительное. Вѣдшее стѣсненіе литературы отразилось ослабленіемъ именно критическаго элемента, и за его отсутствіемъ или недостаточностью начался тотъ „разбродъ“ мнѣній, который замѣтила и самая заурядная публицистика, — не постигая (или дѣлая видъ, что не постигаетъ) его причинъ и вваливая его на самую же литературу.

Но рядомъ съ этимъ происходило другое явленіе въ предѣлахъ самой литературы. Мы видѣли, что уже критика Добролюбова отмѣчала рѣзкій поворотъ въ самомъ приемѣ наблюденія народной жизни—съ тѣхъ поръ, какъ поставленъ былъ вопросъ о реформѣ. Освобожденіе крестьянъ нарушило и похоронило навсегда прежній порядокъ быта. Общественный инстинктъ вызвалъ совершенно нныя наблюденія и изображенія народной жизни, чѣмъ тѣ, какія были возможны прежде. Это не была уже мистическая или филантропическая точка зрѣнія, а желаніе узнать, какой же новый элементъ внесетъ въ судьбу цѣлой націи эта новая сила, вступающая въ гражданскую жизнь. Послѣдовала масса всевозможныхъ изслѣдованій, правительственныхъ, земскихъ, частныхъ, научныхъ, практическихъ и беллетристическихъ, надъ формами и содержаніемъ крестьянскаго быта—наконецъ, „хожденіе въ народъ“ со всякими цѣлями, и этнографическими, и практически-бытовыми, и, наконецъ, революціонными.

¹⁾ „Крестьянскій вопросъ“. К. Д. Кавелина. Спб. 1882, стр. 1—8, 10.

Естественно, что жизнь, которой было посвящено столь пристальное внимание, не могла не представить множества оригинальнѣхъ и не замѣченныхъ ранѣе сторонѣхъ. Наблюдатели официальные отмѣчали ихъ въ извѣстныхъ внѣшнихъ и сухихъ опредѣленіяхъ; отдѣльные писатели, публицисты и повѣствователи имѣли возможность, если не рѣшать, то ставить вопросы шире, вводить въ нихъ свои обобщенія и идеалы, и стремились постичь самую душу народной жизни. Очень многіе убѣдились, что постигли эту душу, находя ее напр. въ общинѣ. Интересъ вопроса былъ столь обширенъ, что писателю естественно было радоваться своимъ приобритеніямъ и видѣть въ нихъ настоящее открытіе.

Въ первый разъ „открытіе“ сдѣлано было однако довольно давно. Съ тѣхъ поръ какъ Гакстгаузенъ, путешествовавшій въ Россіи въ сороковыхъ годахъ, обратилъ вниманіе на нашу сельскую общину, о ней немало уже говорили какъ о своеобразномъ народномъ учрежденіи, которому можетъ предстать великая социально-экономическая роль въ судьбахъ русскаго народа. Въ пятидесятыхъ годахъ, при первой рѣчи о крестьянской реформѣ, когда предстояло переустройство самыхъ формъ крестьянскаго быта—съ еще неизвѣстнымъ тогда исходомъ, — община стала предметомъ одинаково ревностной защиты со стороны экономистовъ изъ двухъ противоположныхъ литературныхъ лагерей того времени. Герценъ въ письмѣ къ историкъ Мишлѣ представлялъ русскую общину, какъ новый могущественный принципъ социально-экономическаго быта, которымъ русскій народъ обновитъ европейскую жизнь. Весьма серьезныя вещи объ этомъ предметѣ были сказаны въ теченіе развитія самой реформы. Такимъ образомъ, нельзя сказать, чтобы это начало русскаго сельскаго быта не было извѣстно и достаточно оцѣнено. Тѣмъ не менѣе новѣйшіе наблюдатели, увидѣвши общину въ дѣйствиіи, снова были поражены ею. Вопросъ продолжалъ быть животрепещущимъ: въ теченіе новой организаціи быта поднималась рѣчь и въ правительственныхъ кругахъ, и въ публицистикѣ, о томъ, что предпочтительнѣе для блага сельскаго населенія—сохраненіе общины или покровительство личному владѣнію. Когда послѣ реформы стали обнаруживаться все новые вопросы народной жизни, они усилили ревность друзей народа: мы говорили, какъ размножились тогда изслѣдованія народнаго быта, но рядомъ съ этимъ у людей впечатлительныхъ стало развиваться самообольщеніе — отысканной истинной, когда она еще не была вполне отыскана или была не тамъ, гдѣ ее находили.

Дѣло въ томъ, что вопросъ былъ чрезвычайно сложенъ. Не говоря

о томъ, что громадное пространство нашего отечества создаетъ весьма различныя условія сельскаго быта, которыя не легко сводятся подъ одну формулу и, напротивъ, представляютъ множество вариантовъ,—чтобы быть достовѣрнымъ экспертомъ сельскихъ отношеній требовалось быть, кажется, гораздо болѣе вооруженнымъ въ дѣлѣ сельскаго хозяйства и политической экономіи, чѣмъ было большинство (если не всѣ) нашихъ наблюдателей народнаго быта, ставшихъ потомъ народниками. Человѣкъ, который не видитъ всего объема многосложнаго вопроса, въ своихъ сужденіяхъ о немъ нерѣдко бываетъ гораздо смѣлѣе тѣхъ, кому эта многосложность видима болѣе. Мы опасаемся, что нѣчто подобное было и здѣсь. Случалось, что наблюдатель, нерѣдко теперь соединявшій въ себѣ повѣствователя и публициста, избравъ себѣ предметомъ разысканія какой-нибудь пунктъ или даже устроивъ тамъ свою резиденцію, не только дѣлалъ изъ этого пункта общую мѣру сельскихъ отношеній (что было невозможно), но забывалъ иногда о существованіи всего остальнаго міра, кромѣ деревенскаго. Этотъ остальной міръ представлялся какъ бы совсѣмъ чуждымъ деревнѣ, всего чаще не понимающимъ ни ея значенія, ни интересовъ, и мѣшающимъ ея благодушному существованію. Понятно, что это забвеніе горизонта и перспективы не помогало правильности очертаній въ картинѣ. Дошло до страннаго злоупотребленія словами: „мужицкое царство“, какъ многіе называютъ Россію, или „деревня“,—какъ будто болѣйшій процентъ крестьянскаго населенія освобождалъ Россію отъ тѣхъ необходимостей, какія существуютъ во всякомъ и не-мужицкомъ царствѣ — тѣхъ же тратъ на администрацію и войско, тѣхъ же заботъ о просвѣщеніи, стремленій къ улучшенію гражданскаго строя и правовъ, тѣхъ же порывовъ ея талантливейшихъ и образованнѣйшихъ людей къ общечеловѣческимъ идеаламъ.

Наконецъ, на вопросъ о деревнѣ отразилось то броженіе мнѣній, какимъ вообще наполнено было то время. Напомнимъ нѣкоторыя подробности. Если въ прогрессивномъ движеніи литературы и общества въ эпоху освобожденія высказались разившіяся традиции сороковыхъ годовъ, то сказались тогда же и преданія „Москвитянина“, даже „Мааяка“. Съ такимъ характеромъ явился журналъ Достоевскаго, „Время“—„Эпоха“, съ мистической проповѣдью о „почвѣ“, съ войной противъ подчиненія европейскому „ложному“ просвѣщенію,—идеями, давно извѣстными по старому славянофильству и „Москвитянину“. Poleмика велась не столько доказательствами, сколько темными теоріями о западномъ и русскомъ человѣкѣ, и язвительными словами: тогда изобрѣтенъ былъ „кнутикъ европейскаго либерализма“, „стертый пятиалтынный“ (послѣдній долженъ былъ означать без-

личность наших послѣдователей европейской образованности) и т. п. Съ началомъ реакціонныхъ „вѣяній“, ихъ сильнѣйшимъ выраженіемъ стали „Московскія Вѣдомости“ и „Русскій Вѣстникъ“. Повидимому, „Время“ представляло нѣсколько иной оттѣнокъ, но разница была только въ тонѣ: „Время“ отличалось мечтательной восторженностью, ихъ сосѣди—характеромъ весьма положительнымъ, въ концѣ концовъ единство ихъ обнаружилось. Крѣпостническими тенденціями чистѣйшей воды отличалась „Вѣсть“, съ ея разными позднѣйшими отпрысками. Славянофильскія изданія—„Парусъ“, „День“, „Москва“, „Москвичъ“—играли роль, которая по времени казалась оппозиціонной, и наконецъ были запрещены; въ эту пору они оставались, большею частію, вѣрны старымъ правиламъ своего ученія и выказывали замѣчательную стойкость. Но во время „диктатуры сердца“, славянофильство, возродившись въ „Руси“, не только не оцѣнило настроенія, давшаго ему самому возможность общественной дѣятельности, но не выдержало самой программы старой школы. вмѣсто прежнихъ широкихъ плановъ народной автономіи, оно могло предложить только какія-то бюрократическія преобразованія „уѣзда“, впадало въ оппортунизмъ, т. е. въ уступчивость настоящей минутѣ, и потерявъ старыя преданія, самымъ недвусмысленнымъ образомъ высказывало вражду къ свободному развитію общественнаго мнѣнія. Эпоха „народной политики“, „свѣдущихъ людей“ и т. д. отозвалась въ литературѣ—славянофильской и принимавшей славянофильскія замашки—толками о „самобытности“, противопоставленіемъ „интеллигенціи“ и народа, и невѣжественными воплями противъ первой, будто бы въ пользу народа,—которому, если бы эти благодѣтели его достигли исполненія своихъ желаній, предстояло бы только настоящее превращеніе въ орду... Прибавимъ, наконецъ, извѣстную долю вліянія Достоевскаго: его сенсаціонные, истерическіе романы сопровождались въ послѣдніе годы публицистикой въ „Дневникѣ Писателя“, чрезвычайно странной, излагавшей иногда изумительныя понятія о государствѣ, обществѣ и народѣ. Достоевскій считалъ себя не только знаткомъ сердца человѣческаго, но наур., и знаткомъ финансовъ, и предлагалъ удивительные совѣты, оставшіеся, къ сожалѣнію, безъ комментарія со стороны его почитателей; но и здѣсь онъ дѣйствовалъ на нервы многихъ читателей, говоря о народѣ и ненавистномъ „либерализмѣ“.

Все это вмѣстѣ производило страшную путаницу понятій и впечатлѣній, которая сбивала съ толку многихъ людей, не умѣвшихъ разобратся въ явленіяхъ современной жизни. Господа „народники“, иногда дѣйствительно видѣвшіе народъ и условія его быта, казалось, могли бы понять причины его благосостоянія и бѣдствій, раз-

личить его друзей и враговъ, — въ нѣкоторыхъ случаяхъ присоединили свои голоса къ воплямъ противъ интеллигенціи, къ безобразному противопоставленію интересовъ народа и „культурныхъ людей“, придавая послѣднимъ, посредствомъ грубыхъ передергиваній, ненавистный характеръ, и не подозревая, какого страннаго будущаго они желаютъ своему народу.

Такимъ образомъ, влеченіе къ народу, въ сущности давнее, а теперь усиленное освобожденіемъ крестьянъ, создавало особое мировоззрѣніе, которое диктовано было сначала самыми лучшими побужденіями и между прочимъ произвело самыя благотворныя научно-практическія изученія народной жизни и замѣчательныя беллетристическія изображенія, — но, съ другой стороны, въ послѣдовавшія смутныя времена нашей общественности, будучи лишено воздѣйствія свободной критики, оно вырождалось нерѣдко въ странныя проявленія, впадало въ „самобытническій“ мистицизмъ, подкупалось мнимымъ демократизмомъ писателей, въ сущности ретроградныхъ, и рядомъ за ними приняло участіе въ безобразномъ походѣ противъ „интеллигенціи“ (т.-е. образованія) и „либерализма“, не догадываясь, что оказываетъ защищаемому имъ народу очень дурную услугу. Всѣ эти отгѣнки иногда такъ тѣсно переплетены между собою, что не легко раздѣлить писателей „народничества“ на рѣзко-опредѣленныя группы: онѣ очень близки одна къ другой и заимствуются другъ у друга.

Перебирать подробно народническія теоріи нѣтъ надобности. Въ послѣднія десятилѣтія о „самобытности“, о несходствѣ нашемъ или даже противоположности съ Европой, о необходимости нашего собственнаго національнаго развитія и устройства, — послѣ славянофиловъ говорили проповѣдники извѣстной „почвы“, въ журналѣ Достоевскаго, говорили генераль Фадѣевъ, гг. Энгельгардтъ, Кавелинъ, авторъ статей о „Деревнѣ“ въ „Недѣлѣ“; наконецъ, новѣйшіе самобытники, „народные политики“ и, собственно, „народники“ новѣйшаго времени. Вмѣстѣ съ этимъ говорилось о „розни“ между народомъ и высшими классами, о различіи и враждебности народа и „интеллигенціи“, наконецъ о желательности уменьшенія числа послѣдней. Эти „вопросы“ вызывали въ свое время жаркую полемику, но любопытно, что предметы, повидимому, столь капиталныя, не вызвали со стороны народниковъ ни одного сколько-нибудь серьезнаго труда ¹⁾, а трактовались небольшими статейками съ

¹⁾ Единственной книгой, заслуживающей подобнаго названія, была книга Н. Данилевскаго: „Россія и Европа“ (1-е отдѣльное изд. 1871), на которую возлагалъ такія надежды Достоевскій. Въ свое время она не обратила на себя особеннаго вниманія, потому была довольно забыта, даже народниками, и снова выдвинута въ по-

отрывочной и неясной мыслью, но съ большой рѣшительностью тона. Мы возьмемъ два-три образчика.

Таковы были статьи, посвященныя „Деревнѣ“ П. Ч. и въ свое время послужившія предметомъ толковъ въ литературѣ ¹⁾. Это было одно изъ самыхъ характерныхъ заявленій народничества. Мысль автора (заслуженнаго земскаго дѣятеля) была, вкратцѣ, такова. Строеіе нашего общества рѣзко отличается отъ европейскаго. Въ большей части западныхъ государствъ исторически обозначались три общественныя группы, имѣвшія подкладкой экономическіе факторы: землю, капиталъ, трудъ. Первые двѣ группы раньше явились „сознательной“ силой, и каждая отмѣтила своимъ господствомъ историческій періодъ — феодализмъ, господство буржуазіи. Третья группа теперь только готовится къ своей очереди и еще не успѣла наложить свой отпечатокъ на историческій періодъ. Въ Россіи, напротивъ, была лишь одна „серьезная“ общественная группа — крестьянство (въ экономическомъ смыслѣ): оно отлично отъ европейскаго „народа“, — послѣдній есть собственно пролетаріатъ; — притомъ наше крестьянство такъ многочисленно, что является собственно единственной общественной группой... Это вещи извѣстныя, говорить авторъ, но изъ нихъ не сдѣланы должные выводы, а именно, что „всякое *самобитное* движеніе, — умственное, политическое, нравственное — непремѣнно приурочивается къ той общественной группѣ, которая въ данное время обладаетъ наибольшей притягательной силой (?), идетъ въ духѣ и интересахъ этой группы, отъ нея получаетъ свои типическія черты — свою окраску“, — хотя бы сами лица и не принадлежали къ этой группѣ по своему происхожденію: ихъ дѣятельность принадлежитъ этой группѣ по направленію и внутреннему характеру дѣятельности, — принадлежитъ инстинктивно, часто даже наперекоръ личнымъ наклонностямъ. Авторъ заключилъ, что „какъ только (?) наше общественное движеніе изъ подражательнаго сдѣлается дѣйствительно самобитнымъ, — оно необходимо пойдетъ въ духѣ и интересахъ крестьянства“. Такое движеніе есть истинно національное; „всякія же домогательства съузятъ роль и значеніе крестьянства, какими бы мантиями онѣ ни прикрывались (англійскимъ *selfgovernment*’омъ, покровительственнымъ тарифомъ или чѣмъ инымъ), домогательства, теперь обыкновенно фигурирующія подъ громкимъ именемъ національныхъ интересовъ — я называлъ и на-

слѣднее время. Относительно ея теорія національныхъ типовъ развитія, долженствующей узаконить наше отпаденіе отъ общечеловѣческой цивилизаціи, см. статьи Вл. Соловьева, „Вѣсти. Евр.“ 1888, февр., апрѣль; Н. Карѣева, „Р. Мысль“, 1889.

¹⁾ Въ „Недѣлѣ“ конца 1875 и 1876 гг. — Возраженія г. Михайловскаго, въ „Отеч. Зап.“ 1876, и „Вѣсти. Европа“, 1876, № 1 и 8.

зываютъ наиболѣе анти-національными, какія только можно придумать“. Авторъ отмѣчалъ въ нашемъ обществѣ различные признаки всеобщаго стремленія къ самобытности; тоже онъ видѣлъ и въ отношеніи общества къ славянской войнѣ (1876 г.) — только, по его мнѣнію, „прогрессивная журналистика“ не сумѣла удержать за собой руководство обществомъ „по одному изъ самыхъ важныхъ для насъ вопросовъ“.

Отсюда важность „деревни“. Авторъ утверждалъ, что „деревня“ можетъ помочь и русской литературѣ. Наша литература останется вялой и безсильной до тѣхъ поръ, „пока ея направленія изъ жалкихъ европейскіхъ копій (?) не сдѣлаются дѣйствительно *русскими*, истекающими изъ коренныхъ основъ народнаго быта“. Коренныя основы, это — не собственно народныя понятія въ ихъ нынѣшнемъ видѣ (въ нихъ авторъ признаетъ многія несовершенства), а то психологическое зерно, изъ котораго они выросли — нравственные задатки народа. Они выше въ „деревнѣ“, чѣмъ въ цивилизованныхъ людяхъ, и послѣдніе тогда только станутъ въ нормальное отношеніе къ народу, когда „вмѣсто того, чтобы исходить изъ абстрактнаго человѣка, существующаго внѣ времени и пространства, предварительно ассимилируютъ наслѣдство русской деревни, психологически сродутся съ нимъ и уже тогда станутъ пускаться въ обобщеніе“. Это и будутъ „люди деревни“, которые одни способны оживить нашу литературу. Авторъ думаетъ, что при этихъ словахъ онъ можетъ сказать — *varienti sat*.

Но вскорѣ затѣмъ онъ нашелъ нужнымъ подробнѣе объяснять свою мысль. Дѣло въ томъ, что наша „дряхлая, бездушная интеллигенція“ находится въ самомъ жалкомъ положеніи. Въ сужденіяхъ о нашей интеллигенціи, — говоритъ авторъ, — нужно различать два элемента: умственный и нравственный. Относительно перваго элемента можно смѣло сказать, что мы „сами себѣ предки“. Дѣйствительно, — спрашиваетъ авторъ, — „какія умственныя богатства завѣщали намъ наши предки? Какой складъ возрѣній и понятій, какой характеръ мышленія?“ — Вопросъ показываетъ уже, до какого крайняго отрицанія „интеллигенціи“ доходилъ поклонникъ „деревни“. Можно было бы замѣтить, что предки оставили намъ исторію, по крайней мѣрѣ укрѣпившую государство, которое охранило самую народность; оставили кое-какую науку, надъ которой трудились между прочимъ люди „деревни“, какъ Ломоносовъ, и которая вела къ національному самосознанію и оцѣнкѣ самой „деревни“; оставили поэзію, воспитывавшую идеальныя стремленія и между прочимъ научавшую „добрымъ чувствамъ“. — Нѣтъ, отвѣчаетъ рѣшительно авторъ: „ровно никакихъ возрѣній и никакого мышленія“. Мы по-

лучаемъ только самыя элементарныя представленія и ребяческія суетнѣрія ¹⁾, „подъ защитой непроходимаго невѣжества“. И когда въ этотъ „хламъ“ проникаетъ лучъ знанія, мы, „не стѣсняемые ни традиціей, ни установившимися взглядами, ни давленіемъ авторитетовъ“, получаемъ возможность работать по всѣмъ направленіямъ, — но работать только головой. „Этимъ и объясняется характерная особенность первыхъ экскурсій нашей нарождавшейся интеллигенціи въ область мысленія и знанія, съ отчаянными скачками, съ беспощаднымъ отрицаніемъ, съ широкими порывами безъ соотвѣствующихъ результатовъ“. — Авторъ почувствовалъ, затѣмъ, что ему могутъ сдѣлать очень вѣское возраженіе, и устраняетъ его. „Намъ могутъ указать, — говоритъ онъ, — какъ и указываютъ нерѣдко, на освобожденіе крестьянъ, на судебныя и другія реформы, въ которыхъ интеллигенція принимала активное участіе, наконецъ, на то, что она же поставила въ широкой формѣ вопросъ о меньшемъ братѣ, объ его человѣческомъ достоинствѣ и человѣческихъ правахъ, и не мало изломала копій за общее благо и пр. Все это такъ, все это было. Но какіе *мотивы* руководили интеллигенціей въ этихъ случаяхъ? Были отдѣльныя личности, высоко стоявшія надъ современною имъ интеллигентною массою, для которыхъ общее благо, меньшій братъ и т. п. составляли не абстрактное представленіе, а живой, прожигающій душу фактъ. Эти люди дѣйствительно приносили себя на алтарь правды въ силу органической потребности. Но не то двигало *массу* интеллигентную. Она, пожалуй, тоже волновалась; но это волненіе было чисто *юловное*“. „Авторъ ссылается на то, какъ часто въ интеллигентномъ человѣкѣ замираютъ „головныя“ стремленія при встрѣчѣ съ дѣйствительною жизнью, какъ онъ становится равнодушнымъ къ несчастному люду, самъ дѣлается эксплуататоромъ. „Спрашивается, — мыслимы ли подобныя факты, еслибы подъ громкими фразами, которыми мы бываемъ такъ щедрны въ періодъ книжной жизни, скрывалась хоть капля настоящаго чувства, сердечнаго, а не головнаго?“

Наконецъ, перечисляя общественные классы, изъ которыхъ выходитъ наша интеллигенція, — средніе и мелкіе помѣщики (крупныхъ почему то онъ желаетъ „оставить въ сторонѣ“), средніе чиновники (а крупныя?), духовенство, купечество, — авторъ находитъ, что свойства этихъ классовъ — „мѣщанство и крѣпостничество“. „Эти продукты болѣзненныхъ (?) процессовъ въ русской исторической жизни“ именно и легли въ основу нравственныхъ инстинктовъ нашей интеллигенціи и т. д. Все это можетъ и должна исцѣлить „деревня“.

¹⁾ Которыми однако еще въ болѣе степени обладаетъ деревня.

Въ заключеніе, по удивительному собственному признанію автора, столь строго клеймившаго „жалкія европейскія копіи“, его разсужденія о типахъ развитія, слѣдовательно вся мысль его, имѣють свой корень—„въ экономическомъ ученіи нѣмецкаго еврея“.

Эти разсужденія о значеніи „деревни“ могутъ дать наглядное понятіе о томъ, какъ мыслило народничество, руководимое безъ сомнѣнія наилучшими намѣреніями, но потерявшее историческую память и чувство дѣйствительности. Читателя поражаетъ удивительная легкость, съ которой рѣшаются здѣсь и вопросы европейской исторіи, и судьба русской интеллигенціи, и провиденціальное значеніе „деревни“,—а въ концѣ концовъ въ подладеѣ указывается просто „ученіе нѣмецкаго еврея“,—хотя авторъ желаетъ явиться самостоятельнымъ защитникомъ народнѣйшаго русскаго интереса, исходящаго изъ самой „деревни“. Рѣшеніе достигается просто: авторъ беретъ теоретическія, невыясненныя понятія „общественныхъ группъ“, „типовъ развитія“, „нравственныхъ задатковъ“, прибавляетъ два-три анекдотическихкихъ примѣра (нами пропущенныхъ: какъ дѣвушка-курсистка, чуть не умирающая съ голоду, грубо говорила съ профессоромъ; какъ, напротивъ, была ласкова къ автору какая-то кухарка изъ народа, и т. п.)... Во всей русской исторіи находится одна „серьезная общественная группа“, однимъ небольшимъ недостаткомъ которой была полная политическая безсознательность и безсиліе; группа, которая въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ играла роль чисто физическаго орудія, употребляемаго или самимъ государствомъ, или тѣми, кому оно отдавало ее за разныя себѣ службы; остальные группы—мѣщанство, духовенство, помѣщичій классъ представляются автору продуктами „болѣзненныхъ процессовъ“ нашей исторіи—какъ будто этимъ эпитетомъ можно устранить ихъ историческую роль. „Общественныя группы“ приобрѣтають значеніе лишь тогда, когда проникаются общественнымъ и политическимъ сознаніемъ; о группахъ европейскихъ самъ авторъ приводитъ слова Гервинуса (или другого историка), что онѣ дѣйствовали „съ простой послѣдовательностью хорошо понятаго интереса“. Наша „единственная“ группа, какъ мы сказали, не была въ такомъ положеніи. Ея роль была пассивная, или, при нѣкоторомъ сознаніи своего рабскаго положенія, полное безсиліе ея прерывалось только вспышками—не политическаго движенія, а „бунта“... Однимъ изъ лучшихъ правъ русской „интеллигенціи“ на уваженіе была именно забота о помощи этому бѣдствовавшему классу, о поднятіи его положенія—гражданскаго и умственнаго. Поклонникъ „деревни“ не хочетъ этого знать. Государство, въ прошломъ столѣтіи, еще продолжало закрѣпощать свободныхъ людей, когда въ „интеллигенціи“ высказалась несомни-

тельно мысль о несправедливости крепостного права. Нашъ авторъ забылъ объ этомъ, и съ легкимъ сердцемъ бросаетъ лучшимъ людямъ общества упрекъ, что ихъ интересъ къ народу былъ „головной“, что они „выходили изъ абстрактнаго человѣка“¹⁾! Дѣло было совершенно просто: въ обществѣ, гдѣ нельзя было прямо говорить о политическихъ предметахъ, трудно было указывать на политическую несправедливость рабства или указывать на непосредственные жизненные примѣры; надо было говорить съ точки зрѣнія простого человѣколюбія, защищать въ рабѣ человѣка, т. е. „абстрактнаго человѣка“. Почему же эта защита могла быть напредѣнно приписана разуму, а не чувству, и что было бы дурного даже въ первомъ случаѣ? „Изъ абстрактнаго человѣка“ выходило христіанство. Изъ этого человѣка исходили глубочайшія стремленія науки; къ нему сводятся благороднѣйшія усилія, изъ всѣхъ вѣковъ и народовъ, къ защитѣ человѣческаго достоинства въ нравственной, а наконецъ и въ политической жизни. Новѣйшія государства основывались даже на провозглашеніи правъ человѣка... Именно образованіе, хотя бы исходившее изъ абстрактнаго источника, внушило лучшимъ людямъ русскаго общества стремленіе помочь „меньшему брату“ — въ то время, когда еще никто не думалъ о „нравственныхъ задаткахъ деревни“ или о „типахъ развитія“ и когда были весьма осязательны матеріальныя выгоды крепостного права для помѣщичьяго класса.

Авторъ рѣшаетъ, что „какъ только наше общественное движеніе сдѣлается изъ подражательнаго самобытнымъ, оно необходимо пойдетъ въ духѣ и интересахъ крестьянства“. Съ виду фраза — очень хорошая и народолюбивая, но въ сущности бессодержательная и даже фальшивая. Когда начнется это и чѣмъ можетъ быть приведена „самобытность общественнаго движенія“? — авторъ умалчиваетъ, всѣ свои надежды возлагая на „нравственные задатки деревни“. Но до сихъ поръ деревня была безгласна и никакимъ автономъ своей „коллективной мысли“²⁾ себя не заявила; въ дѣйствительности стремленіе общественнаго движенія къ самобытности было дѣломъ именно образованнѣйшей части общества, той самой „интеллигенціи“, въ которой народничество видитъ такъ мало проку. Только этотъ трудъ интеллигенціи, поддержанный европейскимъ знаніемъ³⁾, мысль объ „абстрактномъ человѣкѣ“, о смыслѣ общества и государства, о національномъ достоинствѣ, о значеніи низшихъ классовъ, объ обще-

¹⁾ Любопытно, что такимъ варварскимъ языкомъ говорилъ именно партизанъ „деревни“.

²⁾ О ней безпрестанно говоритъ народничество.

³⁾ Къ которому относятся и труды „вѣмцаго еврея“.

ственной справедливости и проч., развили въ обществѣ тотъ интересъ къ народу, который теперь перетолковывается вкривь и вкосъ; къ тому же вела мало-по-малу и практическая дѣйствительность, житейскій опытъ самого государства и частнаго быта. Но „деревня“ сама по себѣ въ этомъ ни мало не участвовала и даже до сихъ поръ не понимаетъ, въ громадномъ большинствѣ, сколько труда, знанія, чувства, самопожертвованія принесено на ея пользу людьми иныхъ классовъ. Что касается „подражательности“, то обыкновенно не понимаютъ, что первые ея опыты были именно первыми опытами самобытности, т.-е. первыми начатками стремленія выйти изъ состоянія безразличной толпы—къ сознательной гражданской жизни... Несправедливо или не точно, наконецъ, то, что самобытное движеніе общества пойдетъ въ духѣ и интересахъ „крестьянства“. Оно пойдетъ въ духѣ и интересахъ цѣлаго народа, націи, а не одного крестьянства. Кромѣ крестьянства и крестьянскаго быта, есть въ государствахъ разныя другія сословія и формы труда, которыя необходимы для его обихода и самаго существованія, и къ которымъ крестьянство не имѣетъ непосредственнаго отношенія. И какое подразумевается крестьянство? Если то, какое существуетъ въ данную минуту, то кто опредѣлитъ его „духъ и интересы“? Само оно ихъ формулировать не въ состояніи, не только потому, что не имѣетъ для этого внѣшней возможности, но и потому, что его „коллективная мысль“, при нынѣшней степени „народнаго просвѣщенія“, не разумѣетъ многихъ предметовъ, стоящихъ внѣ крестьянскаго обихода, и составляющихъ, однако, жизненную необходимость народнаго бытія. Таковы вопросы о высшей школѣ, о свободѣ науки и печатнаго слова: въ „духѣ и интересахъ“ *нынѣшняго* крестьянства было бы, пожалуй, совсѣмъ закрыть эти вопросы—только подобное рѣшеніе равнялось бы самоубійству народа. Или этотъ „духъ и интересы“ опредѣлитъ кто-нибудь другой?—Дѣйствительно, ихъ беретъ теперь опредѣлять всякій желающій, и достаточно извѣстно, что многіе изъ специальныхъ истолкователей народнаго духа рѣшаютъ дѣло въ откровенномъ обскурантномъ смыслѣ (народники извѣстнаго стиля говорятъ прямо объ излишествѣ у насъ высшаго образованія; другіе говорятъ о нендобности народной школы).

Наконецъ, „нравственные задатки“ составляютъ еще столь неопредѣленный и спорный вопросъ, что мные приверженцы „деревни“ находили въ основѣ нынѣшняго деревенскаго міросозерцанія полу-восточный фатализмъ, который, конечно, былъ бы весьма неудовлетворительнымъ фундаментомъ для системы общественнаго устройства и нравственности. Опѣнка народной нравственности—дѣло столь трудное, что мудрено безъ дальнихъ сиравокъ поставить „деревню“

образомъ: та же „деревня“ — наперекоръ „общинной“ правдивности, которую ставятъ въ примѣръ— неизмѣнно производить кулаковъ и мироѣдовъ. Недавно мы читали о процессѣ цѣлыхъ сорока конокрадцовъ (изъ одной мѣстности), систематически и безжалостно разорявшихъ своихъ односельчанъ; наперекоръ мнимой религіозной терпимости народа мы читаемъ объ избіеніяхъ штундистовъ — не говоримъ уже объ избіеніяхъ евреевъ, о „своихъ средствахъ“, т. е. поджогахъ, и т. д. Наконецъ, самая внутренняя жизнь общины имѣетъ свои стороны, также мало поучительныя...

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ толковъ о „деревнѣ“ явилась новая программа народничества, на этотъ разъ болѣе категорическая, хотя не болѣе ясная ¹⁾.

Книги подобнаго рода разбирать очень трудно. Авторъ относится къ своему дѣлу съ преданностью, которой нельзя не отдать справедливости. Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ авторъ и теоретически правъ ²⁾; иногда онъ вѣрно и даже смѣло защищаетъ права народа и требованія здраваго смысла ³⁾; но рядомъ съ этимъ—поистинѣ поражающая путаница понятій, извращеніе исторіи, нежеланіе видѣть вещи въ ихъ дѣйствительномъ свѣтѣ, упорное повтореніе мнѣній, совершенно фальшивыхъ и давно опровергнутыхъ, и, наконецъ, нѣкоторые взгляды и приемы, напоминающіе осужденныхъ имъ „ретроградовъ“. „Вмѣсто предисловія“, авторъ разсуждаетъ длинно и путано о какой-то „традиціи пессимизма“, которую побѣдоносно обличаетъ. „Былъ періодъ,—говоритъ онъ,—когда наши пессимисты только въ себѣ видѣли альфу и омегу русскаго прогресса... Въ сороковыхъ и пятидесятихъ годахъ пессимизмъ направлялъ свои удары по преимуществу на привилегированныя сословія. Безпощадно бичевалъ онъ дворянство, духовенство, бюрократію, купечество; народъ оставлялся въ тѣни какъ сила, не могущая играть никакой исторической роли“. Прочитавши подобную вещь, приходишь совершенно въ тупикъ: кто эти „наши пессимисты“; что такое авторъ описываетъ? гдѣ происходили подобные факты въ сороковыхъ и пятидесятихъ годахъ? Рѣчь идетъ, конечно, о литературѣ; но гдѣ же у русской литературы сороковыхъ годовъ была возможность „бичевать“, да еще „безпощадно“, привилегированныя сословія? Смѣшно читать подобныя выраженія о литературѣ сороковыхъ годовъ—такъ могъ бы говорить о ней, съ своей точки зрѣнія, развѣ только знаменитый цензоръ Красовскій или Елагинъ. Правда, тутъ же рядомъ оказы-

¹⁾ Соціологическіе очерки. Основы народничества, г. Юзова. Спб. 1882. Было съ тѣхъ поръ новое, размноженное изданіе.

²⁾ Укажемъ, напр., стр. 164 и слѣд., о славянофильствѣ.

³⁾ См. главу XII: „Кто подрываетъ религію?“

вается, что этот „безлощадный“ пессимизм был вовсе не пессимизмъ. „Этотъ юный (?) пессимизмъ заключалъ въ себѣ громадную долю оптимизма (!),—наука, просвѣщеніе, распространеніе техническихъ знаній, желѣзныя дороги, банки и т. п., служили главной опорой надеждъ для преобразованія русской общественности“. Изъ обмолвки, заключающейся въ послѣднихъ словахъ, ясно, что подъ словомъ „пессимизмъ“ авторъ понимаетъ не что иное какъ тѣ мысли о необходимости преобразованія нашей общественности, какія робко высказывались въ литературѣ сороковыхъ годовъ!.. Можно избавить себя отъ разбора исторіи, которая пишется съ такимъ изложеніемъ фактовъ. Дѣйствительно, дальше исторія „пессимизма“ становится совершенно фантастической: отдѣльный случай, отдѣльная фраза писателя превращаются безъ дальнихъ справокъ въ цѣлыя направленія, путается хронологія, потребность критики изображается какъ посягательство на народъ, и т. д.

Затѣмъ, книжка трагуетъ о множествѣ важныхъ вопросовъ, которые авторъ разрѣшаетъ предварительно для выясненія народнической теоріи: личность и общественныя формы; умъ и чувство, какъ факторы общественнаго прогресса; основы нравственности и ученіе Спенсера; объективная этика русскихъ философовъ (?); свобода воли и т. д. Дарвинъ, Спенсеръ, Марксъ, Мауреръ, Эмиль де-Лавелэ, общинное землевладѣніе, капиталистическая форма производства, борьба за существованіе, интересы науки и т. д., — все это разрѣшено категорически отъ имени „коллективной мысли народа“, которой авторъ считаетъ именно себя спеціальнымъ истолкователемъ... Совершенно также, какъ его предшественникъ П. Ч., авторъ въ своихъ разсужденіяхъ обыкновенно совсѣмъ забываетъ объ условіяхъ, въ какихъ существуютъ наше общество и литература, предъявляетъ въ послѣдней требованія, невыполнимыя не по ея волѣ, мѣшаетъ дѣйствительность съ собственными фантазіями, или же выдаетъ за открытіе азбучныя истины.

Авторъ начинаетъ главу: „Либерализмъ и народничество“, съ заявленія, что у насъ *нѣтъ* партій въ смыслѣ опредѣленныхъ общественныхъ группъ, что есть только зачатки партій, и что очень желательно, чтобы они опредѣлились—для выясненія самихъ вопросовъ (черезъ двѣ-три страницы окажется, что партіи *есть*, и авторъ опрокинется на нихъ съ своими изобличеніями). „Нѣкоторымъ кажется, что такое положеніе (неясность дѣленія партій) особенно удобно; но это доказываетъ только ихъ слабую вѣру въ себя, въ свою правоту, въ свои убѣжденія“ (не знаемъ, кто бы не желалъ имѣть возможность высказать вполне свои взгляды). „Ясное и рѣзкое выдѣленіе своихъ мнѣній и убѣжденій изъ всей остальной массы мнѣній есть

обязанность всякаго, кто вѣрнѣе въ силу и правоту своихъ мнѣній. Подобное выдѣленіе необходимо для того“ и т. д... „Свѣтильникъ долженъ стоять на виду“ и т. д... Но авторъ видитъ на этотъ разъ, что есть „внѣшнія условія“, которыя мѣшаютъ высказываться мнѣніямъ съ должною полнотою. Вслѣдствіе этого, у насъ существуетъ полный хаосъ въ наименованіи разныхъ категорій мнѣній. „Человѣкъ называетъ себя народникомъ, а по понятіямъ оказывается либераломъ, или наоборотъ; консерваторы очень часто называютъ себя то народниками, то либералами; вообще тутъ господствуетъ полная путаница“. Опасаемся, что авторъ не уменьшилъ ея.

По его объясненію, такъ-называемое у насъ „либеральное направленіе“ состоитъ главнымъ образомъ изъ двухъ элементовъ: собственно либерализма и изъ народничества. „Они *только солидарны* между собой по отношенію къ *бюрократизму*“, но въ остальномъ не имѣютъ ничего общаго. Основная идея либерализма состоитъ въ томъ, что „центръ тяжести страны лежитъ въ культурно-интеллигентныхъ классахъ и что эти классы должны оказывать, если не исключительное, то преимущественное вліяніе на ходъ соціальной жизни“ (какъ извѣстно, идея либерализма въ этомъ *не состоитъ*); по взгляду народничества, соціальная жизнь, находясь подъ вліяніемъ только культурныхъ классовъ, получаетъ уродливое, одностороннее развитіе и направляется на удовлетвореніе потребностей не всей страны, а только культурныхъ классовъ. Дальше оказывается, что „если оставить въ сторонѣ нѣкоторые *второстепенные* признаки, которыми либерализмъ отличается отъ бюрократизма, то можно сказать, что по своей сущности, и именно въ отношеніи къ массѣ народа, они вполне *однородны* между собой“. „И тотъ, и другой одинаково считаютъ необходимымъ мудрить (!) надъ народомъ, устраивать его жизнь по своему образцу (!) и *насилно* навязывать ему свои идеалы; вся разница тутъ только въ томъ, что бюрократизмъ дѣлаетъ это просто въ силу власти, а либерализмъ прикрывается знаменемъ науки и прогресса, понимаемыхъ имъ, разумѣется, на свой ладъ“. Авторъ не замѣчаетъ логической прорѣхи: какимъ образомъ либерализмъ можетъ что-нибудь *насилно* навязать народу, когда у него власти никакой нѣтъ? и перешелъ мѣру вѣроятія въ своей антипатіи къ „либерализму“—потому что дѣйствительный либерализмъ *насилно* навязывать народу ничего не желаетъ.

Чтобы яснѣе изобразить народничество, авторъ продолжаетъ, что народничество есть собственно ученіе объ обществѣ и его формахъ. „Достоинство общественной формы измѣряется не тѣмъ, насколько она приближается къ какому-то научному идеалу (?), а тѣмъ, насколько она приспособлена къ желаніямъ живыхъ личностей, состав-

ляющих данное общество. Самая прекрасная форма будет гибельна для общества, если она не соответствует желаніямъ его членовъ, ибо въ этомъ случаѣ она можетъ держаться только насиліемъ, которое представляетъ собою начало развращающее и разрушающее. Многіе ошибочно думаютъ, что уважать мысль народа значитъ подчиняться народу во всемъ, раздѣлять все его міросозерцаніе, вѣрить въ домовыхъ и лѣвшихъ и т. д... Это очевидная нелѣпость“. Народничество указываетъ и защищаетъ общественныя понятія народа, — хотя народная мысль не должна считаться несостоятельной и въ другихъ областяхъ, напр. въ агрономіи, и т. д.

Здѣсь опять найдется не мало недоумѣній. Рѣчь объ общественныхъ формахъ, навязываемыхъ народу, ведется опять противъ „либерализма“. Мы не знаемъ, какаѣ науки берутся поставять одинъ общественно-политическій идеаль для всѣхъ народовъ; обыкновенно она за это вовсе не беретъ; идеалы создаются различно въ средѣ различныхъ обществъ, потребностями дѣйствительной жизни, которыя яснѣе и раньше усматриваются просвѣщенными людьми, чѣмъ народной массой; идеалы вводятся въ жизнь, какъ скоро окрѣпнутъ въ сознаніи общества, и затѣмъ или падаютъ, если потребность народа не была угадана вѣрно, или, напротивъ, утверждаются вполне, если дѣйствительно отвѣчали этой потребности. Бѣ сожалѣнію, иногда они вводимы были и не безъ насилій, какъ у насъ Петровская реформа; но исторія зачастую оправдываетъ такіа насилія, когда они устраняли большее зло, которое могло произойти отъ застоѣ, когда народная масса не въ состояніи бывала понять сложныхъ и ей часто недоступныхъ потребностей государства.

Далѣе. „Уваженіе къ народной мысли въ области социологіи отнюдь не обуславливаетъ собою полного подчиненія большинству меньшинства. Напротивъ, всякое меньшинство должно имѣть право на самостоятельное устройство своихъ дѣлъ, насколько это не идетъ въ разрѣзъ съ справедливыми (?) требованіями большинства“. Приведемъ слѣдующаго рода примѣръ, на которомъ довольно характерно сказываются странныя практическія идеи такъ-называемаго народничества: „Нашъ народъ мало интересуется высшимъ образованіемъ и наукой; потому и рѣшеніе этихъ вопросовъ должно зависѣть не отъ него, а отъ того меньшинства, которое ими живетъ и которому они дѣроги (1), — хотя, разумется (1), при такой постановкѣ дѣла и матеріальное содержаніе высшихъ учебныхъ заведеній должно падать, главнымъ образомъ, на это же меньшинство. Вообще не о подчиненіи культурныхъ классовъ народу хлопочутъ народники, а о предоставленіи простора развитію *всѣхъ* группъ народа, насколько, конечно, это возможно при необходимомъ согласо-

ваніи интересовъ всѣхъ во имя обще-народнаго благополучія“. Не будемъ говорить о томъ, какъ авторъ распредѣляетъ отношенія „большинства“ и „меньшинства“, т. е., въ данную минуту, малосознательной массы и класса людей, гдѣ—худо ли, хорошо ли — заключены умственные силы страны, или о томъ, кто и какъ будетъ угадывать „справедливыя“ требованія большинства; остановимся только на приведенномъ примѣрѣ. Прежде всего, онъ поражаетъ простодушнымъ соображеніемъ, что высшее образованіе и наука нужны только „меньшинству“, которое-де ими „живетъ“, а что для народа они не нужны. Авторъ не имѣетъ представленія о томъ, что высшее образованіе неразрывно связано съ низшимъ, что послѣднее (его, повидимому, авторъ считаетъ не бесполезнымъ для народа) можетъ быть успешно только тогда, когда имѣетъ опору въ первомъ: хорошій учитель низшей школы учится въ средней, а средняя не можетъ существовать безъ высшей. Народъ можетъ этого не разумѣть; но авторъ книжки, который самъ, вѣроятно, все-таки прошелъ хоть среднюю школу, долженъ бы понимать, откуда можетъ выйти порядочный учитель этой школы. Кромѣ этой школьно-педагогической связи высшаго образованія съ низшимъ, авторъ не подозреваетъ связей высшаго знанія съ цѣлой народной и государственной жизнью: онъ думаетъ, что химія нужна у насъ только Менделѣеву, который ею „живетъ“, ботаника — только Бекетову, высшая математика — только Чебышеву и т. д.—и что они должны были бы добывать свои свѣдѣнія какъ хотятъ, безъ содѣйствія „большинства“, а только при помощи пріятелей изъ „меньшинства“. Если авторъ не понимаетъ *національной* важности науки и литературы вообще для развитія умственныхъ силъ націи, ему должна бы, по крайней мѣрѣ, быть понятна необходимость *для самой народной массы* прикладныхъ сторонъ высшаго образованія: народъ ѣздитъ по дорогамъ, устроеннымъ людьми, учившимся въ высшей школѣ; обращается за помощью къ врачамъ, учившимся въ высшей школѣ; въ судебныхъ дѣлахъ находитъ справедливость и защиту, благодаря судебному сословію, учившемуся въ высшей школѣ; получаетъ безопасность своего государственнаго бытія отъ внѣшнихъ враговъ или расширеніе своей страны при руководствѣ военныхъ людей, учившихся въ высшей школѣ и т. д. Наконецъ, еще одно небольшое обстоятельство. Нашъ народникъ могъ бы еще говорить о томъ, что содержаніе высшихъ учебныхъ заведеній должно, главнымъ образомъ, падать на „меньшинство“—если бы это послѣднее имѣло въ этомъ вопросѣ право голоса и инициативу, но, какъ извѣстно, этого нѣтъ, и примѣры нѣкоторыхъ высшихъ курсовъ, которые были однажды по счастливому случаю основаны частной инициативой (и служили одинаково цѣлямъ меньшин-

ства и большинства) достаточно указываютъ, какъ сомнительны шансы частной инициативы. Въ дѣйствительности, государство беретъ у насъ содержаніе высшихъ учебныхъ заведеній на себя (т.-е. на средства „большинства“), и совершенно справедливо, потому что эти заведенія служатъ не одному „меньшинству“, а пользамъ дѣлаго государства и націи, слѣдовательно, и „народу“ въ частномъ смыслѣ.

Авторъ не долженъ удивляться, что „консерваторы (даже чистые ретрограды) очень часто называютъ себя народниками“. Они находятъ у народниковъ свои мысли. Такъ ретрограды часто писали о подобномъ же ограниченіи высшихъ заведеній средствами „меньшинства“; только они видѣли вещи лучше специалистовъ „народничества“ и, зная невозможность частной инициативы, рассчитывали именно на упадокъ высшаго образованія и распространеніе невѣжества.

Не будемъ останавливаться на разборѣ существующихъ нынѣ общественныхъ направленій (авторъ указываетъ направленіе „юридическое“ и „экономическое“), такъ какъ и по его признанію онѣ не вполне высказаны „по независящимъ обстоятельствамъ“, но нельзя обойти вопроса объ „интеллигенціи“, нападки на которую въ послѣдніе годы составили одинъ изъ безобразнѣйшихъ эпизодовъ въ исторіи нашей литературы, напомнившихъ времена Магницкаго, арх. Фотія и Фаддея Булгарина, и гдѣ „народничество“, въ лицѣ автора разбираемой книжки, не усомнилось приложить и свою руку.

Трактатъ объ „интеллигенціи“ отличается опять большой развязностью, легко производимымъ искаженіемъ историческихъ и литературныхъ фактовъ, и совиданіемъ небылицъ, причемъ автора вдохновляетъ какое-то странное озлобленіе противъ „интеллигенціи“, въ которомъ опять онъ совершенно сходится съ худшими изъ ретроградовъ.

Подъ словомъ „интеллигенція“ разумѣется обыкновенно образованная часть народа, т.-е. „общество“—тою своей долей, которая отличается болѣе просвѣщеніемъ; интеллигенція (если ужъ употреблять это слово) это—та часть общества, которой принадлежать дѣятели науки и литературы, лучшіе ученые, славнѣйшіе поэты и пр. Интеллигенція страны, въ обыкновенномъ, правильномъ значеніи этого слова, это—цвѣтъ ея умственныхъ силъ; наша интеллигенція, это—Ломоносовъ, Новиковъ, Радищевъ, Карамзинъ, Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Бѣлинскій, Грановскій, Добролюбовъ, Тургеневъ, и т. д.; какъ видимъ изъ этого ряда именъ, сама интеллигенція представляетъ великое разнообразіе содержанія, по различнымъ направленіямъ мысли и общественнаго взгляда ея дѣателей. Читая нашего автора, приходишь въ положительное недоумѣніе. Та группа

людей, которая оказала русской жизни и русскому народу по-истинѣ безсмертныя услуги, въ глазахъ автора есть какая-то невѣжественная и легкомысленная компанія, которую онъ считаетъ себя въ правѣ трактовать съ нескрываемымъ озлобленіемъ и презрѣніемъ. Вникая ближе, видишь, что подъ видомъ „интеллигенціи“ онъ разумѣетъ что-то другое и что-то странное; онъ просто воюетъ иной разъ съ какимъ-нибудь газетнымъ противникомъ, съ какимъ-нибудь частнымъ, не правящимся ему мнѣніемъ,—и въ роли спеціального представителя яко-бы народной мысли, свой полемическій азартъ переноситъ съ своего противника на цѣлую русскую литературу, на все образованное общество! Сколько здѣсь правды и логики, говорить нечего. Съ другой стороны, если подъ „интеллигенціей“ понимать всю массу общества, то въ ней встрѣчается, конечно, множество людей полуобразованныхъ, или мало развитыхъ и съ совсѣмъ дикими понятіями,—но нельзя же добросовѣстно говорить, что понятія подобныхъ людей и есть понятія „интеллигенціи“.

Это смѣшеніе части съ цѣлымъ, отребья извѣстнаго класса съ цѣлымъ классомъ, Пушкина съ Тряпичкинымъ,—неприлично въ изслѣдованіи серьезнаго предмета и мало добросовѣстно въ такое время, когда обскуранты стремятся подорвать благотворное вліяніе нашего литературнаго наслѣдія; или это просто глубокое непониманіе авторомъ собственныхъ рѣчей.

По мнѣнію автора (стр. 270), „рознь между интеллигенціей и народомъ служить характерной чертой русской жизни вотъ уже почти три столѣтія“. Сколько можно понять изъ историческаго изложенія автора, эта рознь началась съ патріарха Никона, который изгналъ приходское духовенство изъ-подъ власти „міра“, откуда началось постепенное паденіе авторитета духовенства въ народѣ. Если такъ, то по крайней мѣрѣ не слѣдовало сваливать вину „розни“ на современное общество... Но далѣе, исторія свѣтской интеллигенціи ведется снова съ Петра Великаго. Интеллигенція стала тогда слугой власти, состоя изъ дворянства и чиновничества; она оторвалась отъ народа, и въ его понятіяхъ отождествилась съ понятіемъ чего-то посторонняго, „нѣмецкаго“. Такъ продолжалось до освобожденія крестьянъ, которое „можно считать поворотнымъ пунктомъ въ сближенію двухъ, разрозненныхъ исторією, силъ русской земли“. Измѣнилось и положеніе интеллигенціи: „она понадобилась не только государству, которое и теперь осталось ея главнымъ потребителемъ, но и вообще русскому обществу“ (т.-е. общество понадобилось обществу). Такимъ образомъ, „интеллигенція нѣсколько эманципировалась отъ государства... общество стало быстро развиваться..., вмѣстѣ съ обществомъ развивается интеллигенція“.. Интеллигенція, по словамъ

автора, является „самостоятельной силой“, хотя малых размѣровъ, и „сила ея растетъ не по днямъ, а по часамъ“.

Читатель ожидаетъ, что такъ какъ „сближеніе“ уже началось, то интеллигенція что-нибудь сдѣлала. Ничуть не бывало. Такъ какъ у автора видимо напередъ рѣшено, что „интеллигенція“ отъ народа оторвана, а „народничество“ имѣетъ привилегію знать народъ,—то онъ и забылъ уже объ этой уступкѣ. Интеллигенція ничего не знаетъ о народѣ. „Многимъ изъ насъ крестьянинъ представляется какимъ-то дикаремъ“; на слѣдующей страницѣ: „полтійшее незнаніе интеллигенціи (интеллигенціею?) умственныхъ и нравственныхъ качествъ своего народа“. Далѣе: „состоя на службѣ у государства, интеллигенція привыкла не обращать вниманія на мнѣнія народа... Эта привычка превратилась въ убѣжденіе, что народъ имѣетъ только предразсудки... Заимствуя свои идеалы отъ европейцевъ... интеллигенція презираетъ народъ“, и т. д., все это сбито въ одну кучу. Затѣмъ слѣдуетъ и поученіе. „Въ качествѣ независимой силы (?) русской жизни, не властвующей виѣстѣ съ тѣмъ средствами принужденія, интеллигенція, по необходимости, должна бросить прежнія привычки и заняться изученіемъ народа“. Такъ говорится на стр. 276, а на стр. 277 рассказывается примѣръ „насилія“ интеллигенціи надъ народомъ—извѣстная исторія съ мѣрами противъ дифтерита въ полтавской губерніи, гдѣ, право, не знаешь, о чемъ жалѣть: о „насиліи“, или о народной глупости, потому что дифтеритъ, сколько помнится, свирѣпствовалъ тамъ ужасно. Авторъ могъ бы прибавить другіе примѣры такихъ насилій—во время ветлянской эпидеміи, потомъ въ карантинныхъ, гдѣ въ нарушающихъ карантинныя правила даже стрѣляютъ, и т. п. Другую обиду народу отъ интеллигенціи авторъ нашелъ въ газетныхъ извѣстіяхъ о безобразныхъ случаяхъ сожженія „колдуновъ“. Авторъ говоритъ, что только благодаря смѣлости о. Беллюстія, эта сторона народной жизни была нѣсколько разъяснена, а именно, онъ объяснилъ, что колдуны очень часто похожи просто на отравителей, и, нагоняя страхъ своими „чарами“, они эксплуатируютъ народъ. „Вздумай крестьяне жаловаться,—говоритъ авторъ, —интеллигенція только обхохочетъ (?) ихъ и станетъ доказывать, что никакого колдовства не можетъ быть. Ну, и что же остается дѣлать крестьянамъ?“

Стало быть, съ „народнической“ точки зрѣнія, колдовство можетъ быть, и крестьянамъ надо предоставить жечь колдуновъ. Съ точки зрѣнія здраваго смысла, которой держится „интеллигенція“, надо объяснить народу, что колдовство есть вздоръ, а отравленіе есть отравленіе, и что на такой случай есть законы, и что судъ не похвалитъ отравителя, а также не похвалитъ и тѣхъ, кто берется самъ

сожигать отравителя. Если крестьяне этого еще не знают, это при-
скорбно, но это—всего меньше вина „интеллигенціи“.

Изъ этихъ примѣровъ можно видѣть, какъ изображаетъ вещи точка зрѣнія, называющая себя „народничествомъ“, т.-е. присвоившая себѣ исключительную привилегію знать народъ и точно истолковывать его чувства и взгляды. И что же мы видимъ? Произвольно подобранныя рубрики общественныхъ явленій, смѣшеніе вещей совершенно различныхъ, путаницу историческихъ фактовъ, и въ концѣ концовъ, обвиненіе „либерализма“ и интеллигенціи, и превознесеніе „народничества“¹⁾.

Еслибы даже понимать интеллигенцію такъ, какъ хотятъ „народники“, отчего же въ розни съ народомъ виновата только она одна? Если брать вещи огуломъ, на подобіе „народниковъ“, то основаніе въ розни интеллигенціи съ народомъ дано было самимъ государствомъ, и именно московскимъ, основавшимъ и крѣпостное право, и систему привязнаго, чиновническаго управленія²⁾ еще задолго до Петра; а такъ какъ общественныя формы (особенно чистѣйшія національныя, какими считаются до-Петровскія учрежденія) создаются духомъ самого народа, то, слѣдовательно, самъ народъ и изготовилъ всѣ условія для этой розни,—такъ что онъ всего больше и виноватъ въ ней.

И дѣйствительно, разсужденіе такого рода,—хотя въ сущности будетъ натянуто и не вполне вѣрно, потому что народъ еще въ московской Россіи протестовалъ противъ тогдашнихъ формъ управленія,—но и не совсѣмъ лишено основанія въ томъ смыслѣ, что „рознь“, если была въ иныхъ случаяхъ производима испорченностью владѣльческаго и бюрократическаго класса, всего больше происходила отъ самыхъ учреждений. Достаточно было старыхъ московскихъ порядковъ, а потомъ 250-лѣтняго существованія крѣпостнаго права, чтобы произвести „рознь“ въ наилучше организованномъ обществѣ. Но съ другой стороны исторія русскаго общества и литературы

1) Въ народнической литературѣ вошло въ постоянный обычай злоупотребленіе словами: интеллигенція, культурные люди. Эти люди только и дѣлаютъ, что дѣлаютъ своекорыстныя, народу ненужныя или вредныя. „Культурные люди“ дали крестьянамъ недостаточныя надѣлы, строили желѣзныя дороги, учреждали банки, издавали стѣснительныя для народа постановленія и т. д. Такимъ образомъ, подъ именемъ „культурныхъ людей“ смѣшивается и правительство, и разнообразнѣйшіе слои общества: чиновникъ, желѣзнодорожникъ, писатель, банковый аферистъ и т. д., и особенно писатель. Читая публицистовъ подобной манеры, не знаешь иногда, къ какой категоріи людей причислять ихъ самихъ—къ ультра-демократамъ, или къ недобросовѣстнымъ писателямъ, или къ невѣдущимъ, что творять.

2) Любопытно, что въ народномъ языкѣ „чиновникъ“ (слово послѣ-Петровское) до новѣйшаго времени называется „привязнымъ“.

говорить совсѣмъ папротивъ, что именно съ первыхъ нѣсколько самостоятельныхъ шаговъ русской образованности, въ ней возникаетъ первая сознательная мысль объ интересахъ народа, о защитѣ ихъ, о сближеніи съ народомъ, объ его освобожденіи. „Интеллигенція“ еще съ прошлаго вѣка имѣла своихъ мучениковъ за народъ и нынѣшніе мнимые представители „коллективной мысли“ народа, дурно свидѣтельствуютъ о себѣ, когда забываютъ объ этомъ.

Что касается притязанія „народничества“ знать народную мысль, и именно „коллективную“ мысль, то это притязаніе только забавно. Узнать коллективную мысль народа есть только два пути: во-первыхъ, когда народъ имѣетъ возможность высказывать ее сознательно самъ, тѣмъ или другимъ узаконеннымъ способомъ, или черезъ посредство литературы, если образование достаточно проникло въ его собственную среду; или, во-вторыхъ, путемъ многосложныхъ научныхъ изслѣдованій и публицистическаго объясненія его быта, характера и потребностей. Первый путь у насъ не существуетъ; второй только-что открывается теперь, и результаты изслѣдованій еще далеко не такъ обильны — и не такъ свободны отъ стѣсненій, чтобы можно было почерпнуть изъ нихъ сколько-нибудь полную и подлинную „коллективную“ мысль народа; наконецъ, условія нашей литературы не таковы, чтобы можно было вполне высказать и то, что уже узнано. Наоборотъ, знаніе народной мысли никакъ не доказывается одною смѣлостью притязаній какъ въ народничествѣ, такъ и въ иныхъ мистическихъ теоріяхъ.

Что же представляетъ „народничество“ въ общемъ выводѣ? Несмотря на его хвастливыя притязанія, оно, собственно говоря, не вноситъ въ литературу ничего новаго. Основная мысль, которую оно считаетъ своимъ изобрѣтеніемъ, а именно, что должно изучить особенности народнаго быта и взгляда и что онѣ должны получить свою роль въ установленіи общественныхъ отношеній, — эта мысль известна очень давно, съ тѣхъ поръ, какъ литература приобрѣла возможность говорить объ общественныхъ вопросахъ, развиваема была, особливо съ сороковыхъ годовъ, одинаково обоими лагерями тогдашней „интеллигенціи“, и славянофильствомъ, съ національно-мистической точки зрѣнія, и „либерализмомъ“ — съ точки зрѣнія общественной равноправности.

Нова здѣсь лишь фанатическая исключительность, но, въ сожалѣнію, эта ревность не по разуму влечетъ за собой и забвеніе исторіи, и путанное объясненіе современныхъ явленій.

Мы остановились на разборѣ мнѣній этого отдѣла „народничества“ не потому, чтобы онъ представлялъ самъ по себѣ вѣское содержаніе,

а потому, что въ господствующемъ разбродѣ понятій находится не мало людей, которые полагаютъ въ этомъ хвастовствѣ народничествомъ найти дѣйствительно сильный принципъ, способный отвѣтить на неудовлетворенныя потребности общества.

Въ беллетристическихъ изображеніяхъ народной жизни мы найдемъ также отголоски тѣхъ интересовъ, которые были глубоко возбуждены реформой, и, вмѣстѣ, слѣды того блужданія, какое овладѣвало общественной мыслью при оказавшемся рѣзкомъ противорѣчій возникавшихъ идеаловъ съ суровой, безпощадной дѣйствительностью. Романъ, повѣсть изъ жизни общества, — наперекоръ требованіямъ „чистаго искусства“, — стали несомнѣнно полемической ареной. Чтобы убѣдиться въ этомъ, довольно сопоставить два крайніе пункта: мистическій фанатизмъ Достоевскаго и, съ другой стороны, желчныя, часто потрясающія картины Щедрина, или болѣе спокойныя повѣствованія Тургенева. Для будущаго историка современной общественности здѣсь откроются два противоположные полюса того броженія, въ которомъ проходили послѣднія десятилѣтія, не видѣвшия, къ сожалѣнію, нормальнаго исхода глубочайшимъ нравственнымъ потребностямъ общества... Повѣсть изъ народнаго быта, повидимому, не давала такой полемической почвы; этотъ бытъ былъ слишкомъ удаленъ отъ тревоженій, которыя достигали до него только далекими волнами и въ грубо спутанномъ видѣ. Но опять наперекоръ чистому художеству, сами писатели приступали къ изображеніямъ народной жизни съ весьма различнымъ настроеніемъ, и тенденція нерѣдко проходить въ ихъ разсказахъ бѣлою ниткой, — часто вовсе не намѣренно, а просто потому, что въ обществѣ складывались два необходимыя теченія, за старый застои или за исканіе новыхъ началъ общественности.

Было бы весьма любопытнымъ этюдомъ прослѣдить въ художественной беллетристикѣ послѣднихъ десятилѣтій изображенія народа съ точки зрѣнія соціального взгляда, который въ нихъ отражался. Для нашей цѣли достаточно двухъ-трехъ примѣровъ. Возьмемъ сначала двухъ старыхъ писателей.

Въ послѣдніе годы жизни Мельниковъ-Печерскій возвратился къ народной беллетристикѣ своими разсказами: „Въ лѣсахъ“ и „На горахъ“. Оба произвели довольно большое впечатлѣніе интересомъ предмета, но было мало замѣчено отношеніе автора къ народной жизни. Разсказъ: „На горахъ“, есть на половину произведеніе съ художественными намѣреніями, на половину этнографія. Романическая исторія переплетена съ картинами купеческаго быта, нижегородской ярмарки, рыбнаго промысла, раскольничьихъ нравовъ (кромѣ старообрядцевъ изображены „божьи люди“ или хлысты), сельскаго быта

и т. д., иногда не имѣющими никакой близкой связи съ главною темой. Мельниковъ былъ, что называется, бывалый человекъ, и въ своемъ разсказѣ сложилъ запасы своего книжнаго, житейскаго и чиновничьяго опыта; нижегородскій край, гдѣ идетъ главная часть дѣйствія, былъ его родиной; расколъ онъ зналъ по книгамъ и по службѣ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ; изъ мѣстныхъ преданій онъ почерпнулъ исторію заводчиковъ Поташовыхъ (Баташевыхъ); разсказъ о хлыстахъ Луповицкихъ и Денисовѣ построенъ, большою долею, на извѣстномъ дѣлѣ Татариновой, и т. д. Нѣкоторыя подробности очень курьезны, напр., разсказъ о томъ, какъ нѣкогда нишіе плавали на старую макарьевскую ярмарку цѣлыми лодками и дощаниками, распѣвая духовные стихи (I, стр. 275); картинки кулачнаго боя (II, стр. 300), женскаго старообрядческаго скита, его разрушенія, старыхъ бурлацкихъ нравовъ и обычаевъ и т. д. Удачно нарисованы нѣкоторые характеры, напр., благочестивый выжига Смолокуровъ, раскольничьи старицы и др.; но типы „положительные“ обыкновенно натянуты и неестественны. Мельниковъ любилъ показывать свой товаръ лицомъ, т.-е. обставить свой матеріалъ повффеетнѣе, прикрасить археологическими рѣдкостями, выисканными народными выраженіями и т. п., и, дѣйствительно, этнографическая картина очень интересна. Но какое мировоззрѣніе лежитъ въ ея подкладѣ? Насколько собственныя истолкованія и комбинаціи автора объясняютъ изображаемый бытъ? Въ этомъ смыслѣ результатъ разсказовъ очень невеликъ. Взглядъ Мельникова на народную жизнь есть въ сущности тотъ же взглядъ старой официальной народности.

Во вкусѣ Сахарова и Даля, Мельниковъ выставляетъ превосходства добраго стараго времени, „истинно-русскихъ“ обычаевъ, противопологаемыхъ новѣйшей пустой образованности. Въ такомъ духѣ изображается, напр., старообрядческая семья, гдѣ двѣ дѣвицы получаютъ идеальное воспитаніе въ духѣ „коренной русской жизни“ (I, стр. 198 и д.); но воспитаніе описано только неопредѣленными чертами, и читатель недоумѣваетъ относительно его тѣмъ болѣе, что передъ тѣмъ (I, стр. 33—35) описаны раскольничьи наставницы и содержаніе ихъ ученія, которое едва ли могло приносить такіе плоды. Дѣйствіе разсказа идетъ по преимуществу въ старообрядческомъ быту; но читатель напрасно ожидалъ бы встрѣтить и въ мнѣніяхъ писателя и въ фактахъ повѣсти какое-нибудь объясненіе смысла и источника этого быта. Въ сущности, онъ объясняется такъ же, какъ нѣкогда — въ секретныхъ официальныхъ запискахъ того же автора. Описавши раскольничій споръ „отъ писанія“ о томъ, прокляты или нѣтъ дрожжи, авторъ продолжаетъ: „Таковы у раскольниковъ богословскія пренія. Только и толковъ, только и споровъ, что можно ли

квашню на хмелевыхъ дрожжахъ поставить, съ кожаной аль съ холщевой лѣстовкой слѣдуетъ Богу молиться, нужно ли ради души спасенія гуменцо на макушкѣ выстригать. А чаще и больше всего споръ ведется про антихриста, родился онъ проклятый, или еще нѣтъ, и каковъ онъ собой (и проч.)... Много такихъ споровъ, много и толковъ съиздавна идетъ на Руси среди простого народа... А сколько иногда въ тѣхъ спорахъ бываетъ ума, начитанности, ловкости въ словопреніяхъ, сколько искусства!.. И весь этотъ народный умъ дрожжами, лѣстовками да антихристомъ занятъ!..“ (II, стр. 276—277). Если прибавить къ этому, что начитанный старообрядецъ Чубаловъ въ интимной бесѣдѣ сознается, что настоящая вѣра находится въ „великороссійской“ церкви; что въ разсказѣ выведенъ деревенскій священникъ, говорящій книжно напыщенными проповѣдями (но впрочемъ скрывающій отъ властей хлыстовское гнѣздо въ его селѣ),—то этимъ ограничивается все, что въ четырехъ-томномъ разсказѣ Мельникова относится къ объясненію раскола. Однажды, впрочемъ, признано, что благочестіе возможно и въ расколѣ. Еще одинъ эпизодъ указываетъ отношеніе автора къ общинѣ — составляющей такую святыню въ глазахъ народниковъ и такой залогъ благополучія будущаго русскаго народа. Въ глазахъ Мельникова, это — великое зло. „Бывали на Горахъ крѣпостные съ милліонами,—разсказываетъ онъ.—Теперь на Горахъ не мало крестьянъ, что сотнями десятинъ владѣютъ. За то тутъ же рядомъ и бѣдность непокрытая... Такой бѣдности незамѣтно однакожь по близости рѣкъ, только въ мѣстахъ отъ нихъ удаленныхъ можно встрѣтить ее. *Общинное владѣніе землей* и частые передѣлы—вотъ гдѣ коренится причина той бѣдности. Чуть не каждый годъ мѣръ-община передѣляетъ поля, отъ того землю никто не удобряетъ, что-де за прибыль на чужихъ работать. На дворахъ навозу пролѣзтъ негдѣ, а на полѣ ни вѣза, землю выпахали, пошли недороды. Нѣтъ корысти въ передѣлахъ, толкуетъ каждый мужикъ, а община-мѣръ то-и-дѣло за передѣлъ.. И богатые, и бѣдные въ одинъ голосъ жалобятся на тѣ передѣлы, да подѣлать ничего не могутъ... Община!.. За то кому удастся выбиться изъ этой—*прахъ ее возьми*—общины, да завестись хоть невеликимъ кускомъ земли собственной, тому житье не плохое: земля на Горахъ родитъ хорошо“ (I, стр. 10). Если свести къ общему выводу отношеніе автора къ народной средѣ, то, кажется, нельзя опредѣлить его иначе, какъ отношеніемъ чиновничьимъ, въ томъ духѣ, въ какомъ относилась къ этой средѣ официальная народность тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ.

Другой тонъ господствуетъ въ произведеніяхъ писательницы, которая въ сильной степени отличается консервативными сочувствіями,

но сглаживает их мягким поэтическим чувством. Это—г-жа Кохановская. Свою литературную дѣятельность она начала въ пятидесятыхъ годахъ: повѣсть „Гайка“ доставила ей большую извѣстность, и вмѣстѣ указала манеру, которой писательница осталась вѣрна и въ своихъ послѣдующихъ трудахъ, съ примѣтами славянофильства. Это—апоѳеова добраго стараго времени и того быта, который называется у Мельникова „кореннымъ русскимъ“, но котораго онъ не сумѣлъ идеализировать. Предположенія о славянофильствѣ не были лишены основанія, потому что въ сочиненіяхъ г-жи Кохановской съ великимъ сочувствіемъ изображались именно черты русской жизни, идущей по старому преданію въ противоположности съ новыми нравами, перенятыми съ чужихъ образцовъ. Она какъ бы выполняла завѣтъ, оставленный Гоголемъ (послѣдняго періода)—изобразить свѣтлыя явленія простой русской жизни,—и писательница находитъ ихъ въ твердости религіозныхъ вѣрованій, въ любви къ преданіямъ народной поэзіи, въ крѣпкихъ нравственныхъ началахъ стараго быта, сохранившагося преимущественно въ провинціи. „Народъ собственно остается тутъ въ сторонѣ, — замѣчалъ современный критикъ: — отъ него отбираются только самыя видныя черты характера, самыя яркія качества его духовной природы, и вмѣстѣ съ творческой поэзіей, имъ созданной, разлагаются на весь міръ, безъ разбора состояній, воспитаній, привычекъ и направленій. Все становится народомъ... Холеная дочка богатаго помѣщика и бѣдная горожанка, воспитанная подъ тираннической опекой матери—одинаково отличаются у г-жи Кохановской ясностью и веселіемъ духа, одинаково заражены страстію къ русской пѣснѣ, къ русской пляскѣ, къ формамъ русскаго общежитія, которыя вгоняютъ ихъ, такъ сказать, въ ростъ героинѣ народной фантазіи... Идеалы г-жи Кохановской могутъ даже расти подъ сѣнію присутственныхъ мѣсть... Вообще надо сказать, что г-жа Кохановская мало заботится о дурной или сомнительной репутаціи, какая лежитъ на нѣкоторыхъ классахъ нашего общества и на нѣкоторыхъ эпохахъ нашей исторіи. Она останавливается только съ ироніей и нескрываемымъ презрѣніемъ предъ подражательной „образованностью“ столичныхъ людей, передъ холоднымъ изяществомъ ихъ манеръ, передъ условной моралью и началами ихъ спокойнаго, приличнаго и, въ сущности, не очень честнаго общежитія, которыми они сидятъ замѣнить крѣпкія основанія народнаго быта, утвержденныя на вѣрѣ, преданіи и поэзіи“¹⁾).

Но по замѣчанію критика, г-жа Кохановская представляетъ этотъ бытъ только съ праздничной стороны, когда онъ обнаруживаетъ только

¹⁾ Анненковъ, Восп. и крит. очерки, II, 303 и слѣд.

свои показныя черты, и оставляетъ въ туманѣ его будни, гдѣ должны были бы открыться его практическія дѣйствія и взгляды. Въ самомъ дѣлѣ, остается неизвѣстнымъ, что дѣлали эти идеальныя чиновники въ своихъ канцеляріяхъ, купцы въ своихъ лавкахъ, помѣщики въ своихъ конторахъ и т. д. Если при своемъ появленіи повѣсти г-жи Кокановской внушали это недоумѣніе, то теперь, когда для описываемаго быта наступила провѣрка двадцатилѣтняго опыта трудныхъ общественныхъ столетовеній, это недоумѣніе не уменьшилось: мы не видѣли, чтобы старыя преданія стали на уровнѣ историческаго требованія и внесли въ обращеніе тѣ крѣпкія свойства, съ какими они были возводимы въ идеаль. Произведенія г-жи Кокановской имѣли, однако, свою историческую заслугу: въ эпоху ожиданій общественнаго обновленія, онѣ были словомъ въ защиту тѣхъ забытыхъ и пренебреженныхъ классовъ, которые, хотя, быть можетъ, были отстали въ образованности, хранили, однако, преданія старины и создавали свой особый нравственный типъ, заслуживавшій уваженія. Это былъ новый вкладъ, хотя односторонне-тенденціозный, въ то возроставшее понятіе, что не довольно относиться къ народу съ одной филантропіей или сантиментальностью, но и съ изученіемъ его бытового нравственнаго склада и содержанія. Другою заслугою было замѣчательное знаніе народной рѣчи, ея тонкостей и изящества; но, какъ въ самомъ содержаніи было преувеличеніе и прикраса, такъ и это изящество языка впадаетъ въ сладкоглаголаніе, которое очень часто не совпадаетъ ни съ правдивостью, ни съ простою красотой рѣчи: Салтыковъ однажды заставилъ говорить языкомъ г-жи Кокановской одну изъ своихъ героинь, медоточивыхъ рѣчей которой не выдерживали сами „лейбъ-кампанцы“.

Третій примѣръ, опять особаго рода, мы найдемъ въ сочиненіяхъ писателя нынѣ дѣйствующаго. Въ писаніяхъ г. Лѣскова неоднократно затрогиваются или прямо народныя сюжеты или особенно бытъ классовъ, наиболѣе близкихъ къ народу, напр., бытъ духовенства. Онъ беретъ эти сюжеты вообще не спроста. Нѣкогда,—о чемъ онъ любитъ припоминать, чтобы объ этомъ какъ-нибудь не забыли,—онъ написалъ обличительный романъ противъ опасныхъ увлеченій молодого поколѣнія, а впоследствии цѣлый рядъ произведеній, которыя посвящены были „положительнымъ“ явленіямъ народнаго и полу-народнаго быта, и гдѣ обыкновенно болѣе или менѣе ясно высказывалось или подразумевалось осужденіе всякаго новѣйшаго либерализма. Однимъ изъ наиболѣе извѣстныхъ сочиненій его были „Соборяне“, картина изъ жизни провинціальнаго, именно уѣзднаго духовенства, гдѣ главное лицо—просвѣщенный протоіерей Туберововъ, истинный

христіанинъ, типъ чисто „русскій“ и вполнѣ „положительный“. Онъ пользуется великимъ уваженіемъ согражданъ, отличается благочестіемъ и благоразуміемъ, даже независимымъ взглядомъ на вещи, напр., на положеніе духовенства, на раскольничьи дѣла; отъ его вниманія не ускользнуло и новѣйшее броженіе умовъ, и на это у него есть также свой взглядъ (сходный со взглядомъ автора). Дѣйствіе разсказа начинается съ 30-хъ годовъ (протоіерей ведетъ свой дневникъ съ этихъ годовъ); въ эти старыя времена уже случаются факты, которые даютъ возможность автору заявить свои историческіе и политическіе взгляды. Напримѣръ: благочестивый протоіерей не расположенъ къ преслѣдованію раскола, но его усилія въ этомъ направленіи оказываются безплодными. Въ противность всему, что извѣстно о судьбѣ раскола, о причинахъ и ходѣ его преслѣдованія, мы узнаемъ, что здѣсь этою причиною былъ не кто иной, какъ губернаторъ — *нѣмецъ*, и правитель его канцеляріи — *полякъ* (стр. 40 — 41). Когда вслѣдствіе ихъ преслѣдованія предается разрушенію раскольничья часовня, то свалившійся крестъ убиваетъ солдата — *жида* (стр. 39). Картина, какъ видимъ, издѣлія лубочнаго, и авторъ не замѣчаетъ, что тутъ же въ „Дневникѣ“ разсказывается, какъ церковный причтъ дѣлаетъ на священника доносъ, что онъ не ходитъ съ крестомъ во дворы раскольниковъ (это нехожденіе причту невыгодно), — такъ что въ фальшивомъ и лицемерномъ отношеніи къ расколу виноваты были не одни нѣмцы, поляки и жида. Наконецъ, сама епархіальная власть мѣстной благочестиваго протоіерея не раздѣляла, какъ не приняла его разсужденій „о положеніи православнаго духовенства и о средствахъ возвысить его для пользы церкви и государства“; консисторія (въ 1837 году) привязывалась къ импровизированной проповѣди съ указаніемъ на живое лицо, что вызвало замѣтку въ дневникѣ: „ахъ, сколь у насъ вездѣ всего живого боятся!“ (стр. 51). Подъ 1841 годомъ самъ „Дневникъ“ жалуется на какую-то повѣсть, въ которой неуважительно было выведено духовное лицо (стр. 69). Сколько извѣстно, въ тѣ времена цензура едва ли могла позволить что-нибудь въ этомъ родѣ, такъ какъ и въ ближайшее къ намъ время изображеніе въ повѣстяхъ духовныхъ лицъ оставалось весьма затруднительнымъ; изображался все больше такъ называемый „батушкинъ бритъ“. На стр. 133. дѣлается нескладная инсинуація: намекъ на какой-то петербургскій либеральный журналъ. Въ другомъ мѣстѣ замѣчается, что „у насъ, въ необходимость просвѣщеннаго человѣка вмѣняется безвѣріе, издѣвка надъ родиною“ (стр. 253) и т. д. Такими и подобными подробностями авторъ изображаетъ достоинства „воренной“ русской жизни, относя къ ней всѣ добродѣтели и сваливая всякіе пороки на

новѣйшій либерализмъ, на кѣмцезъ и поляковъ. Все это, конечно, сшито бѣлыми нитками ¹⁾.

Въ другомъ произведеніи г. Лѣскова: „Мелочи изъ архіерейской жизни“, съ одобреніемъ рассказывались продѣлки одного „умнаго“ пастыря съ совершеніемъ фальшивыхъ браковъ,—продѣлки, которыя, собственно говоря, должны называться циническимъ обманомъ и кошунствомъ.

Этихъ примѣровъ довольно, чтобы видѣть отношеніе автора къ изображаемому быту. Онъ довольно приглядѣлся къ этому быту, владѣетъ внѣшней манерой занимательнаго рассказа, но поражаетъ непониманіемъ живыхъ привлекательныхъ сторонъ того самаго быта, которому отдаетъ свои сочувствія, и нескладной фальшью тѣхъ обвиненій, какія прямо или косвенно желаетъ набросить на направленія жизни, ему не сочувственныя. Можно не раздѣлять увлеченій и преувеличеній г-жи Кухановской, но нельзя не признать ея искренности, во многихъ случаяхъ дѣйствительной поэзіи, прекраснаго знанія той (хотя только лицевой) стороны быта, который ее вдохновляетъ. Ничего или очень мало подобнаго мы найдемъ у г. Лѣскова. Это дѣланы картины, едва ли достигающія поставленной въ нихъ цѣли.

Выше мы имѣли уже случай указывать ²⁾, какая громадная разница дѣлится эту беллетристику прежней школы съ новѣйшими изображеніями народнаго быта—разница и въ настроеніи писателей, и въ приемахъ изображеній. На одной сторонѣ—продолженіе „литературной выдумки“, искусственное отношеніе къ предмету, чиновническо-консервативная точка зрѣнія, или благодушный, но самообольщенный идеализмъ (какъ у г-жи Кухановской), или непониманіе, или наконецъ лицемеріе; на другой сторонѣ—быть можетъ, неровность, недостатковъ художественности (она и на другой сторонѣ не Богъ вѣсть какъ велика), и т. п., иногда свои идеалистическія преувеличенія, но всегда—полная искренность, желаніе узнать настоящую народную жизнь, и нерѣдко замѣчательное изображеніе ея, доселѣ небывалое въ нашей литературѣ. Не разъ говорили о художественныхъ недостаткахъ Гл. Успенскаго, говоря въ то же время о художественныхъ достоинствахъ Мельникова и даже г. Лѣскова; это

¹⁾ Прибавимъ еще, что авторъ, какъ и слѣдуетъ быть, старается передать и мѣстный колоритъ языка. Иногда это ему удается, а иногда несовсѣмъ: напр., онъ безъ надобности заставляетъ почтеннаго протоіерея Туберозова употреблять слова въ такой формѣ: „кокхетерія“, „Шарлотта Кордай“, „пренумеровать“ и т. п., и писать: „Аліюша“, какъ писали въ XVIII столѣтіи, вмѣсто: Алѣша. Онъ заставляетъ его писать: „съ коллегомъ своимъ“, чего не могъ сдѣлать протоіерей Туберозовъ, вѣроятно, знавшій по-латыни.

²⁾ Глава XI.

странно и вообще, а въ особенности когда говорятъ о художественности тамъ, гдѣ изображеніе бываетъ фактически невѣрно, даже намѣренно фальшиво.

Это положительно двѣ разныя школы—до и послѣ-реформенная. Мельниковъ—вполнѣ до-реформенный писатель; таковъ же, съ прибавкой новѣйшаго консерватизма, г. Лѣсковъ, который можетъ назваться въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ ученикомъ Мельникова; съ лучшей стороны, но также до-реформенными являются и произведенія г-жи Кохановской. Поворотъ къ новому направленію былъ приведенъ смѣлою историческихъ поколѣній и новыми возникшими требованіями. Въ поколѣніи, начинавшемъ свою дѣятельность подѣ влияніемъ крестьянской реформы, возобладало настроеніе, которое мы отмѣтили у Добролюбова; исполненный сочувствія интересъ къ народу, но вмѣстѣ съ тѣмъ и критическое отношеніе къ его быту. Народъ былъ великая, неизвѣстная, знаменательная загадка; по его освобожденіи, въ немъ ожидали найти новую силу, которая создастъ вскорѣ инныя, болѣе благопріятныя условія общественнаго существованія. Ожиданіе было по необходимости весьма неясное; было извѣстно еще мало данныхъ, на которыхъ можно было бы основать какія-нибудь опредѣленныя надежды, но многіе питали глубокую вѣру въ народъ, доходившую до энтузіазма, хотя уже вскорѣ явились опыты, въ которыхъ слишкомъ горячія увлеченія опровергались фактами. Но тѣ же ожиданія отъ народа побуждали вникать больше, чѣмъ когда-нибудь прежде, въ свойства народнаго быта, состояніе понятій, экономическое положеніе народа. Этимъ настроеніемъ съ самаго начала возбуждены были съ одной стороны рядъ научныхъ изслѣдованій, съ другой—художественно-публицистическія изображенія. Въ тѣхъ и другихъ подняты были многіе существенные вопросы народнаго быта—съ ихъ реальной и вмѣстѣ нравственной стороны. Таковъ былъ вопросъ объ общинѣ, гдѣ, какъ выше говорено, сходились безъ спора двѣ, раньше постоянно враждовавшія литературныя партіи; но одни видѣли въ нихъ реальную бытовую форму, подлежащую экономическому и политическому разсчету, предъ другими носилось извѣстное мистическое начало. Другой предметъ изученій являлся въ религиозныхъ движеніяхъ народа: рационалистическіе или мистическіе толки раскола вызывали оживленный интересъ—инымъ казалось, что здѣсь именно и скрыто глубочайшее содержаніе народнаго духа и т. д. Наконецъ, для народной беллетристики вообще служила предметомъ наблюденій настоящая минута народнои жизни, какъ она складывалась въ новыхъ условіяхъ. Бытовая беллетристика перемежалась съ чисто-этнографическими очерками, и иногда трудно было положить между ними грань. У новой школы писателей-народниковъ строгій

реализмъ, вѣрность изображенія стали непремѣннымъ требованіемъ. Такова была народная беллетристика шестидесятыхъ годовъ, рассказы и очерки Николая и Глѣба Успенскихъ, Левитова, Рѣшетникова, Слѣпцова и т. д., съ разными отгѣнками въ тонѣ, отъ юмора и шутки до трагедіи. За первыми беллетристами выступилъ, около начала семидесятыхъ годовъ, новый рядъ писателей-народниковъ—Нефедовъ, Наумовъ, Эртель, Вологдинъ и др., съ новыми варіаціями сюжетовъ, манеры и настроенія. Предметъ былъ неисчерпаемъ (особливо при несвободѣ разсказа), и мало-по-малу народная повѣсть получаетъ новое видоизмѣненіе. Продолжительное наблюденіе, съ одной стороны, и съ другой—разработка вопроса экономическаго въ публицистикѣ направили народниковъ-беллетристовъ въ особенности на изображеніе общественныхъ и экономическихъ отношеній народа. Типы, лица, характеры, обычаи отступаютъ на второй планъ, а на первомъ планѣ становятся общіе вопросы: жизнь крестьянина въ общинѣ, отношенія къ помещику и къ властямъ, заработка, школа, разные внутренніе распорядки, вліяющіе на складъ деревенской жизни, міръ и кулачество и т. д. „Деревня“, ставшая предметомъ настоящаго культа у одного разряда народническихъ публицистовъ, поглощала и народниковъ-повѣствователей: одни, чтобы овладѣть вполне ея содержаніемъ и „слиться“ съ народомъ, поселялись въ деревнѣ и изучали сельское хозяйство; другіе изслѣдовали сельско-хозяйственныя отношенія въ земской статистикѣ; третьи ставили своей задачей изучить деревенскую жизнь въ ея обыденныхъ случаяхъ и проявленіяхъ, отношенія крестьянина дома, съ односельчанами, на міру, на промыслахъ и т. д., изслѣдовать мужицкіе типы не по одиѣмъ чертамъ личнаго характера, а именно по хозяйственному и общественному положенію.

Понятно, что при этомъ интересъ именно къ существу „деревни“, при усиленномъ стремленіи рѣшить соціальную загадку, интересъ чисто художественный долженъ былъ отступать на второй планъ. Наблюдаемая явленія такъ захватывали писателя, что онъ забывалъ о художествѣ; онъ не думалъ о созиданіи образовъ и спѣшилъ дать исходъ своему личному, тѣмъ или иначе возбужденному чувству. Эпическое спокойствіе было невозможно—по крайней мѣрѣ для тѣхъ, которые принимали дѣло близко къ сердцу. Отсюда то смѣшеніе художественной работы съ публицистикой, какое не разъ встрѣчаемъ у новѣйшихъ писателей изъ народнаго быта: какъ видимъ, это имѣетъ свое простое, жизненное объясненіе.

Съ особенной рельефностью эта ступень народнической беллетристики выказалась въ произведеніяхъ гг. Гл. Успенскаго и Злато-

вратскаго; изъ нихъ мы возьмемъ нѣсколько примѣровъ этого склада народничества.

Когда въ литературѣ возникаетъ новое направленіе, оно обыкновенно на первыхъ порахъ впадаетъ въ преувеличеніе. Это имѣетъ часто свою долю пользы, потому что преувеличеніе рельефнѣе выражаетъ новое настроеніе и требуетъ къ нему вниманія, или ярче выдаетъ мало замѣченную раньше сторону предмета; но заключаетъ въ себѣ и долю ошибки, какъ односторонность. Подобное произошло и здѣсь. Народные повѣствователи, направившись въ „деревню“, какъ будто забыли обо всемъ остальномъ мірѣ: внѣшнія условія припоминались только тогда, когда уже слишкомъ прямо вліяли на „деревню“—и вліяли большей частью неблагопріятно. Деревенскій міръ считался какъ будто за нѣчто особое не только отъ общества, но и отъ государства; интересы его разсматривались такъ спеціально, что читатель оставался въ недоумѣніи объ отношеніяхъ деревни къ остальному міру. Возникла новая идеализація, очень не похожая на прежнюю филантропическую идиллію, — основанная теперь на знаніи внутренняго деревенскаго быта, но дѣлавшая ту ошибку, что слишкомъ выдѣляла „деревню“ изъ общаго политическаго и общественнаго быта.

Самая характерная въ этомъ отношеніи книга г. Гл. Успенскаго есть—„Власть земли“¹⁾. Основная идея статей, носящихъ это заглавіе,—великое значеніе земли и земледѣльческаго труда для деревенскаго быта и самаго народнаго характера. „Вообще, въ какой бы группѣ явленій народной жизни мы ни прикоснулись, — говоритъ авторъ,—первое, что мы замѣчаемъ и что уясняетъ намъ эту группу явленій—это земля, земледѣльческій трудъ и т. д. Мы потому такъ пристально выслѣживаемъ одну только эту черту, чтобы показать, какъ велика ломка, какъ много осложненій можетъ произойти отъ того, если эта, одна только эта, сторона народныхъ нуждъ не будетъ удовлетворена въ полной мѣрѣ. Какъ несправедливы тѣ радѣтели о народномъ благѣ, которые рѣшаются сказать, что земельные порядки, существующіе въ настоящее время въ народѣ, удовлетворительны, не требуютъ улучшеній“²⁾. Земля нужна народу не только какъ обезпеченіе его хозяйственнаго положенія, она необходима и какъ ручательство его нравственнаго равновѣсія, — потому что всѣ лучшія стороны народнаго характера привязаны къ земледѣльческому труду на глазахъ „міра“, въ извѣстной правильности этого труда и его вознагражденія, управляемыхъ самой природой. Авторъ при-

¹⁾ Ср. „Вѣстн. Евр.“ 1883, октябрь: „Лѣсная правда и высшая справедливость“, К. К. Арсеньева.

²⁾ Власть Земли. Очерки и отрывки изъ памятной книжки. М. 1883, стр. 49—50.

водитъ различные примѣры этого воздѣйствія земледѣльческаго труда на народныя нравы и нравственность. „Типическимъ лицомъ, въ которомъ наилучшимъ образомъ сосредоточена одна изъ самыхъ существенныхъ группъ характернѣйшихъ народныхъ свойствъ“, представляется автору извѣстный Платонъ Каратаевъ, изображенный гр. Толстымъ въ „Войнѣ и Мирѣ“. „Оттуда,—спрашиваетъ г. Успенскій,—какъ не изъ самыхъ нѣдръ природы, отъ вѣковѣчнаго, непрестаннаго соприкосновенія съ ней, съ ея вѣчною лаской и вѣчною враждой, могли выработаться такія типичнѣйшія черты духа?.. Мать-природа, воспитывающая миллионы нашего народа, вырабатываетъ миллионы такихъ типовъ, съ одними и тѣми же духовными свойствами. „Онъ—частица“; „онъ самъ по себѣ ничто“; „онъ любовно живетъ со всѣмъ, съ чѣмъ сталкиваетъ жизнь“, и „ни на минуту не жалѣетъ, разлучаясь“ (какъ Платонъ Каратаевъ)... Такая частица мретъ массами на Шипецѣ, въ снѣгахъ Кавказа, въ пескахъ Средней Азіи... Все можетъ сдѣлать Платонъ: „Возьми и свижи“, „возьми и развяжи“, „застрѣли“, „освободи“, „бей“, „бей сильнѣй“ или „спасай“, „бросайся въ воду, въ огонь для спасенія погибающаго!“—словомъ все, чтó даетъ жизнь, все принимается, потому что ничто не имѣетъ отдѣльнаго смысла, ни я, ни то, чтó дала жизнь... Въ Крымскую войну такихъ Платоновъ умирало безъ слѣда, безъ жалобы—тысячи, десятки тысячъ; 20 тысячъ ихъ легло на Зеленыхъ горахъ въ одинъ день... Сотни тысячъ ихъ умираетъ ежегодно по всей Россіи—безмолвно, безропотно, какъ трава, и сотни тысячъ, также какъ трава родится... Все это черты чисто *наши*, родныя, російскія—черты той страны, гдѣ десятки миллионовъ ежедневно слушаютъ мать-природу, въ которой, какъ и въ нихъ, нѣтъ исключительной любви, нѣтъ смысла въ отдѣльномъ существованіи камня, дерева, ручья... Это все—наше, но это не все“ (стр. 151—152).

Не все потому, что есть противоположный типъ — „хищникъ“... „Развѣ это не нашъ типъ? Развѣ не „ничтожество“, сознаваемое Платономъ, воспитало его, развило, раскормило, раздуло его страсть къ произволу, къ „ндраву“, до послѣднихъ размѣровъ?“—Наконецъ, авторъ прибавляетъ третій типъ, существовавшій въ старину и котораго онъ теперь не видитъ, „народную интеллигенцію“, которая указывала Платону „правду“. Это — люди старинной церкви и старинной школы (съ часословомъ и „строгостью“).

Не будемъ говорить о прекрасныхъ, по истинѣ художественныхъ изображеніяхъ частныхъ и о цѣлой картинѣ этой связи съ „землей“, владычества природы надъ земледѣльческимъ трудомъ, о тонкихъ объясненіяхъ народной психологіи, — все это давно оцѣнено читателями и критикой и составляетъ привлекательную особенность

дарованія писателя; но если мы станемъ искать цѣлой теоретической постановки вопроса, мы приходимъ въ большое недоумѣніе. Если милліоны Платоновъ составляютъ типическое произведеніе нашей „земли“ и „природы“, и если она же вскармливаетъ породу „хищниковъ“, противъ которой народъ безсиленъ и которая постоянно вырастаетъ изъ его же среды, то какое же основаніе имѣютъ эти надежды на народъ, какими народники вооружаются на своихъ противниковъ? „Платоны“—какъ растолковалъ ихъ г. Успенскій—очевидные фаталисты, люди, потерявшіе даже свой европейскій складъ мысли, воспитавшіе въ себѣ чисто пассивную полу-восточную природу.

И когда рядомъ съ этимъ, авторъ, рисуя „власть земли“ надъ русскимъ мужикомъ-земледѣльцемъ и сообщаему ею высокую нравственность, изображаетъ затѣмъ его паденіе, когда онъ выходитъ изъ-подъ этой власти, т.-е. берется за другое дѣло, особливо дающее деньги и „волю“, — является новое недоумѣніе: какъ же хрупко то разумное настроеніе, та нравственная сила, которую, по словамъ автора, сообщаетъ власть земли? Эта власть отождествляется съ властью неодолимой нужды, и человѣкъ, безъ этой веревки, оказывается неспособнымъ ни къ элементарному расчету, ни къ какой-нибудь выдержкѣ. Достаточно получить нѣсколько лишнихъ рублей и досуга, чтобы нравственные правила, внушенныя „землей“, испарились, чтобы человѣкъ сбился съ пути, и когда подобныя явленія самимъ авторомъ выдаются за обычныя и естественныя, то это не можетъ не возбуждать большого недоумѣнія о крѣпости нравственного содержанія, доставляемаго „землей“. Такія же недоумѣнія возбуждаетъ и то, что говоритъ г. Успенскій о „народной интеллигенціи“: она имѣла несомнѣнно свое историческое значеніе въ воспитаніи народнаго характера, но странно противопоставлять ее съ новѣйшей народной школой и не видѣть, что въ новыхъ условіяхъ всей народной жизни новая школа становится все болѣе необходимой. Къ сожалѣнію, и г. Успенскій не воздержался отъ упрековъ „цивилизациі“, какіе раздаются въ ультра-народническомъ лагерѣ и имѣютъ весьма двусмысленный видъ.

„Какъ же обстоятъ дѣла теперь?—спрашиваетъ авторъ.—Теперь мы видимъ только двѣ фигуры—Платона и хищника. Третьей фигуры—человѣка, который бы могъ заикнуться о той правдѣ, которую Богъ видитъ и которую говоритъ устами людей—нѣтъ и въ поминѣ. Напротивъ, все на сторонѣ хищника. На сторонѣ его земельное разстройство массъ, разстройство душевнаго удовлетворенія ихъ трудомъ; разстройство это гонитъ ихъ къ хищнику внутренно обезсиленными, сознающими свое ничтожество сильнѣе, чѣмъ сознавалъ

Каратаевъ. Цивилизація приходитъ къ намъ не та, которая бы заступалась за Каратаевыхъ (?), — она не облегчаетъ ихъ труда, не пополняетъ досуга работой мысли и пробужденіемъ духовныхъ силъ, а помогаетъ хищнику, облегчая его хищничество помощью европейскихъ (?) „оборотовъ“, съ которыми деревенскій хищникъ начинаетъ знакомиться и къ которымъ получаетъ огромный аппетитъ. Все — для него, и ничего — для Платона. Не удивляйтесь же, что человекъ къ сердца и правды, очутившись между этихъ двухъ типовъ, изъ которыхъ личность одного доведена до ничтожества, а другого — раздута до невозможныхъ размѣровъ, теряетъ голову. Не гоните же (?) изъ народной среды потребность въ божеской правдѣ между людьми, — она нужна народу такъ же, какъ и земля. Не забывайте (?), что хоть и не скоро, но Богъ непремѣнно скажетъ правду“ (стр. 153—154).

Эти слова, видимо сказанныя авторомъ съ искреннѣйшимъ доброжелательствомъ къ народу, производятъ прискорбное впечатлѣніе — по неясности самой мысли. Что собственно означаетъ упрекъ „цивилизациі“, помогающей „хищнику“? зачѣмъ надо было характеризовать „европейскими“ тѣ обороты, которыми этотъ хищникъ пользуется: куда все это адресуется и въ чьемъ выходитъ вкусъ? Намъ кажется, что именно только „цивилизациія“ (*заслуживающая* этого имени) одна и заступалась у насъ за Каратаевыхъ противъ хищника. И *кто* „гонитъ“ изъ народной среды потребность въ божеской правдѣ?

Прибавляются другія неясности. Сказать, что типъ Платона созданъ *нашей* землей и природой — это значитъ сказать нѣчто весьма неопредѣленное или даже ошибочное. Кромѣ земли, на образованіе типа дѣйствовали многообразныя и важныя условія человѣческаго общежитія. Русскій народный характеръ и въ настоящую минуту не таковъ, чтобы „Платоновъ“ можно было считать милліонами; а въ прежнее время — тѣмъ болѣе. Едва ли сомнительно, что типъ, о которомъ идетъ рѣчь, составлялся подъ огромнымъ вліяніемъ не земли (какъ земледѣльческаго труда, зависящаго отъ природы), а именно учреждений и бытовыхъ формъ, — какъ давнее притѣсненіе крестьянина-земледѣльца, какъ полное его закрѣпощеніе, приказное правленіе, безжалостное старое рекрутство и т. д. Отсюда, изъ этого полнаго подавленія личности, шла большая доля неопредѣленного добродушія, принадлежащаго Платону, это — безразличное добродушіе, свойственное несчастію, которое уже ничего не ждетъ для себя и, сохранивъ врожденные инстинкты добраго характера, впадаетъ въ полное фаталистическое отсутствіе воли.

И рядомъ съ этими теоретическими неясностями, историческими ошибками — прекрасные рассказы, удивительныя картины дѣйствительности, согрѣтыя искреннимъ чувствомъ скорбной любви къ на-

роду и исполненныя съ истинно-художественной яркостью и простотой. Гл. Успенскаго осуждали за это смѣшеніе публицистики и поэзіи. Но старыя пѣтическія и риторическія рубрики несомнѣнно перерождаются: въ повѣсть и романъ все больше и больше врывается содержаніе имъ прежде мало знакомое—дѣйствительность, все съ новыми подробностями ея жизненныхъ процессовъ, и рассказы г. Успенскаго несомнѣнно представляютъ одинъ изъ фактовъ этого перерожденія. Народная жизнь, имъ изображаемая, дѣйствительно никогда прежде не проникала въ литературу съ такими сокровенными чертами ея внутренней работы. Писателю нѣтъ времени и возможности такъ удалиться отъ этой жизни своимъ чувствомъ, чтобы стать къ ней въ отношеніе невозмутимаго зрителя, какъ спокойный эпическій пѣвецъ или „дѣякъ въ приказахъ посѣдѣлый“. Зрѣлище этой жизни захватывало и потрясало воспримчивую душу, и нѣтъ ничего удивительнаго, что за художественнымъ рассказомъ слѣдуетъ личное размышленіе автора о явленіяхъ этой жизни. Жаль только, что теоретическія размышленія иногда весьма ошибочны.

Неясности, о которыхъ мы упоминали, заключаются въ самомъ не выработавшемся взглядѣ автора и составляютъ не только его личную особенность, но черту множества людей, искренно привязанныхъ къ народному дѣлу, но смущенныхъ и сбитыхъ съ пути страшно запутаннымъ положеніемъ этого дѣла. Положеніе г. Успенскаго въ литературномъ мнѣніи до сихъ поръ нѣсколько неопредѣленно: несмотря на сильный талантъ, на множество прекрасныхъ, хотя эпизодическихъ, рассказовъ, дышущихъ истиной, на теплое, сочувственное отношеніе къ народу, его значеніе остается неустановленнымъ: новѣйшее славянофильство его почти-что ненавидѣло (потому что онъ говорилъ о настоящемъ, а не воображаемомъ народѣ); требовательные народники чуть не заподозривали въ немъ наклонностей къ старымъ крѣпостнымъ порядкамъ ¹⁾...

Очень оригинальны, въ другомъ родѣ, сочиненія г. Златовратскаго, образчикомъ которыхъ возьмемъ „Деревенскіе Будни“ (Спб. 1882). У него еще труднѣе отличить беллетриста-повѣствователя и публи-

¹⁾ Новѣйшіе критики (напр. г. Славичевскій), обозрѣвая дѣятельность Гл. Успенскаго, не причисляютъ его къ народникамъ, считая его только „наблюдателемъ“. Мы упоминали, что народничество имѣло много разныхъ оттѣнковъ и степеней. Гл. Успенскій можетъ быть отнесенъ къ нему какъ по особенному интересу его именно къ народной жизни, понятой имъ своеобразно и исключительно, такъ и по нѣкоторымъ выводамъ, совпадающимъ съ народническими.

Колебаніе его общахъ взглядовъ, движемыхъ часто именно впечатлѣніемъ данной минуты, а въ другую минуту исправляемыхъ и дополняемыхъ самимъ писателемъ, очень вѣрно указано въ характеристикѣ М. А. Протопопова, „Р. Мысль“, 1890. августъ, сентябрь.

циста. Особенная цѣль его изслѣдованія есть община, степень ея современной силы и шансы будущаго ея развитія. Онъ исповѣдуетъ глубокую вѣру въ народныя „устои“, но видитъ обступающую ихъ опасность и посвящаетъ свой трудъ на изученіе существа общины и ея нынѣшнихъ условій. Въ названной книгѣ онъ не ставитъ художественныхъ цѣлей и хочетъ просто прослѣдить жизнь деревни въ ея „будни“, войти въ ея обыденные интересы и раскрыть сущность общиннаго быта и различныя проявленія „мірскаго“ порядка. Онъ поселяется сначала въ деревнѣ Ямахъ, потомъ въ Лопухахъ (въ сѣверномъ краѣ средней Россіи), живетъ въ деревенскомъ домикѣ, знакомится съ мужиками, отправляется на сходы, идетъ смотрѣть на дѣлежъ земли (луга для сѣнокоса), заываетъ мужиковъ къ себѣ въ гости и стенографируетъ ихъ бесѣду и т. д. Деревенская жизнь проходитъ передъ нами во очію. Какое же извлекаетъ авторъ поученіе изъ своихъ наблюденій?

Мы найдемъ у него опять довольно обычную черту народнической литературы. Писатели ея вообще ставятъ дѣло такъ, какъ будто они открываютъ Америку. Авторъ не довольствуется тѣмъ, что отмѣчаетъ извѣстное явленіе крестьянскаго быта, пропущенное или невѣрно объясненное другими наблюдателями; онъ тотчасъ обобщаетъ и предаетъ этихъ наблюдателей суровому осужденію, насмѣхается надъ ними; особенно достается отъ него такъ-называемымъ „свѣжимъ людямъ“—онъ иронизируетъ надъ ними безъ конца, хотя, въ сущности, „свѣжіе люди“ сдѣлали не мало полезныхъ наблюденій, и ихъ труды не совсѣмъ лишены смысла и права на вниманіе. Объясненіе каждаго явленія крестьянской жизни авторъ представляетъ чрезвычайно труднымъ, недоступнымъ не только „свѣжему человѣку“, но на первый разъ и самому спеціалисту—автору. Онъ идетъ, напримѣръ, на деревенскій „сходъ“ и поражается совсѣмъ непонятными рѣчами: только послѣ подробныхъ объясненій своего хозяина и другихъ мужиковъ онъ уразумѣваетъ въ чемъ дѣло; на передѣлѣ луговъ онъ опять слышитъ невразумительные термины, странныя слова, и только по особымъ объясненіямъ узнаетъ обстоятельства и резоны того или другого дѣлежа. Онъ не разъ прибѣгаетъ къ этому приему озадачиванія читателя, имѣющему цѣлью показать, какъ трудно обыкновенному человѣку постигнуть внутреннія дѣла деревни и именно общины. Но читателю приходитъ въ голову, что это озадачиваніе было совершенно напрасно. Всякому человѣку, попадающему вдругъ во всякую чужую спеціальность, сначала все будетъ дико и непонятно: еслибы авторъ вмѣсто общины земледѣльцевъ попалъ въ артель плотниковъ, къ рыбнымъ промышленникамъ, къ какимъ-нибудь мастеровымъ—или, совершенно также, въ какую-нибудь учевую лабо-

раторію, словомъ, во всякое специальное рабочее и техническое дѣло, онъ на первый разъ спутался бы на неизвѣстной ему терминологіи разговоровъ, на неизвѣстныхъ ему личныхъ отношеніяхъ людей между собою и, пожалуй, также сталъ бы озадачивать читателя. Дѣло просто въ томъ, что земледѣльческій трудъ есть специальный трудъ, и „сходъ“, разсуждающій о хорошо извѣстныхъ всѣмъ его членамъ дѣлахъ какого-нибудь кума Матвѣя или бабы Гусарихи, весьма естественно будетъ непонятенъ для посторонняго, который слышитъ объ этихъ дѣлахъ въ первый разъ, и не только постороннему „интеллигентному“ человѣку, но пожалуй даже и незнакому съ ними *мужику* изъ другой деревни.

Какъ у г. Успенскаго, такъ и здѣсь, повторяется то же недо-вѣріе къ новой деревенской школѣ: авторъ разсказываетъ о ней двѣ-три подробности, дѣйствительно нелѣпыя, и затѣмъ съ сочувствіемъ говорить о самодѣльномъ деревенскомъ „перехожемъ“ учителѣ, съ которымъ ребятишки большіе друзья и который хотя, по мнѣнію самого автора, способенъ сообщить имъ не мало взлора, но въ то же время можетъ съ авторитетомъ передать и нѣчто для нихъ существенно важное. Тема очень старая и избитая, и нельзя не пожалѣть, что писатель, поставившій себѣ цѣлью столь внимательное изученіе деревни, поднимая этотъ вопросъ, оставляетъ его въ такомъ неопредѣленномъ и даже двусмысленномъ свѣтѣ. Новая деревенская школа несомнѣнно имѣетъ пока крупныя недостатки, но зависятъ ли они отъ самаго ея существа, или гораздо больше отъ внѣшнихъ условій и постороннихъ обстоятельствъ? Полагаемъ, что человѣкъ, желающій здраваго разъясненія дѣла, существенно важнаго для деревни, не можетъ обойти этого вопроса.

Не указывая другихъ случаевъ, гдѣ разсужденія автора ведутся съ такой же односторонностью, упомянемъ еще о главѣ XI, гдѣ авторъ иронизируетъ надъ „учеными людьми“, посвящавшими свои труды изученію хозяйственныхъ отношеній нашей деревни. Авторъ не соглашается съ ними, но споръ его противъ нихъ нельзя назвать правильнымъ: спокойному разсужденію съ фактами въ рукахъ должно быть противопоставлено такое же разсужденіе и такіе же факты. Быть можетъ, они въ иномъ не правы; но не думаемъ, чтобы все дѣло было объяснено наблюденіями нашего автора въ Верхнихъ и Нижнихъ Лопухахъ.

Само собою разумѣется, что мы ни мало не отвергаемъ всей великой пользы такого пристального изученія деревенскаго быта, какимъ занялся г. Златовратскій. Въ его книгѣ разсѣяно много цѣнныхъ замѣчаній; самый приѣмъ изученія, внимающаго во всѣ мелочи деревенскаго обихода, заслуживаетъ всякаго сочувствія. Иногда

авторъ приходитъ къ выводамъ, весьма неожиданнымъ для бюрократической точки зрѣнія. Укажемъ для примѣра эпизодъ, гдѣ авторъ передаетъ разговоръ съ деревенскимъ кабатчикомъ по поводу одной мѣры, придуманной въ извѣстномъ совѣщаніи свѣдущихъ людей объ уменьшеніи народнаго пьянства, а именно замѣны простыхъ кабаковъ безъ закуски бѣлыми харчевнями съ закуской. Кабатчикъ былъ въ восторгѣ отъ этого предположенія и говорилъ слѣдующее:

„Это что-жъ — дѣло весьма похвальное! Придуманно хорошо! Конечно, Петербургъ, правительственное помѣщеніе... Нельзя не похвалить!.. Потому, помилуйте, нынче у насъ въ кабакахъ такое поведеніе, что даже срамно-съ... Ни ты гостю селедочки или сырцу, или чего другого предложить не можешь, не можешь угостить его по-человѣчески!.. Не можешь никакой ему пріятности доставить! Какъ же онъ, спрошу васъ, пить будетъ? Урывкомъ, съ жадностью... Хватить косушку—и съ ногъ долой. А ежели я его съ пріятной закуской усажу, такъ онъ у меня весь день просидитъ въ пріятной бесѣдѣ, и хоша вдвое выпьетъ, все не въ опьянѣніи будетъ, а болѣе въ благородномъ мечтаніи... Понимаемъ это вполне! умно! А какъ скоро это будетъ, не слышно?“

Книга г. Златовратскаго почти уже не беллетристика, а бытовое экономическое изслѣдованіе, вложенное въ повѣствовательную рамку. Эпизодическія картинки очень интересны, но не дѣлаютъ его труда художественнымъ произведеніемъ, а съ другой стороны не составляютъ и научнаго факта. Прибавимъ, впрочемъ, что по взгляду автора деревенская жизнь представляетъ столь оригинальный міръ, что изображеніе его даже не подъ силу современному искусству.

„Есть громадная разница между отношеніемъ интеллигентнаго читателя къ воспроизведеніямъ жизни общества и къ воспроизведенію жизни народной, въ особенности у насъ“,—говоритъ авторъ.

„Въ то время, какъ интеллигентный человѣкъ смотритъ на общество изъ *среды* самого общества, непосредственно изъ *себя*, на народъ онъ не можетъ смотрѣть иначе, какъ со стороны, такъ, какъ смотритъ на дикихъ людей Америки и Африки. Отсюда вытекаетъ и громадное различіе въ отношеніяхъ читателя къ воспроизведеніямъ жизни того и другого. Критерій для оцѣнки художественнаго воспроизведенія общественной жизни читатель непосредственно находитъ въ себѣ, непосредственно ощущаетъ художественную правду и ложь, непосредственно наслаждается или не удовлетворяется.

„Другое дѣло съ воспроизведеніемъ народной жизни. Наше об-

щество читаетъ романы изъ народнаго быта съ тѣмъ же *внѣшнимъ* любопытствомъ, съ какимъ читаетъ оно романы Купера, имѣя только единственный критерій для провѣрки ихъ художественной правды: общія психологическія основы и имя автора. Но въ послѣднемъ случаѣ, оно имѣетъ то преимущество, что романы Купера или вообще воспроизведеніе жизни дивныхъ можетъ быть провѣрено имъ путемъ научныхъ данныхъ, собранныхъ путешественниками. А этого-то важнаго условія русскій читатель лишенъ относительно жизни своихъ „младшихъ братьевъ“.

„Принявъ же во вниманіе еще и то, что наблюденіе народа *со стороны* у насъ сопровождается разными побочными соображеніями—крѣпостническими, опекунскими, сантиментальными, спекуляторскими, патриотическими и проч., и проч., смотря по тому, съ *какой стороны* подходит *извне* наблюдатель—у мыслящаго читателя невольно должно зарождаться сомнѣніе въ *правдѣ* воспроизведенія народной жизни этими „сторонними наблюдателями“. И это совершенно естественно, потому что нѣтъ прочнаго критерія, нѣтъ данныхъ для оцѣнки, нѣтъ специально научной точки зрѣнія. Этотъ критерій могли бы дать мыслящему читателю или научныя изысканія въ сферѣ народнаго быта, или непосредственный народный художникъ, *мірской общинный* человѣкъ. Къ сожалѣнію, первыхъ у насъ до сего времени очень мало; второго мы не видѣли еще и, Богъ вѣсть, дождемся ли когда-нибудь“ (стр. 128—129; ср. также стр. 151—155).

Такимъ образомъ, дѣло ставится почти сверхъ обыкновеннаго человѣческаго разумѣнія—столь непостижимымъ представляется автору деревенскій міръ и въ частности актъ общаго передѣла. Нѣтъ сомнѣнія, что всякій „художникъ“ долженъ знать тотъ кругъ жизни, который онъ беретъ изображать, и неужели общинный передѣлъ есть такая многотрудная задача, которой художникъ не можетъ и постичь, если самъ не родился въ средѣ общины? Съ такимъ же правомъ и всякая другая область жизни могла бы потребовать своего спеціальнаго художника: чиновника имѣлъ бы право описывать только чиновникъ, сапожника—сапожникъ, офицера только офицеръ и т. д., и литература въ концѣ концовъ превратилась бы въ рядъ цеховыхъ областей, взаимно недоступныхъ. Но, вѣжеться, въ этомъ не предвидится надобности: бытовья формы не такъ недоступны изученію, и въ нихъ движется одна и та же человѣческая природа. Требуется только знаніе и талантъ, — какъ требовались и всегда.

Эти нѣсколько примѣровъ народничества публицистическаго и художественнаго можно было бы размножить еще многими варіаціями этого направленія до трактатовъ объ „улицѣ“, для которой также потребовано было право голоса въ литературѣ. Но приведенныхъ образчиковъ довольно, чтобы показать общій характеръ этого направленія, сильно распространившагося въ послѣдніе годы, и упорно заявляющаго притязанія на непогрѣшимость и господство. Мы видѣли, насколько эти притязанія могутъ быть допущены съ точки зрѣнія логики и исторіи.

Народничество, исполненное такого высокаго мнѣнія о себѣ и столь пренебрегаемое, напр., въ лагерѣ славянофильскихъ самобытниковъ, съ которыми въ иныхъ случаяхъ оно дѣйствительно рѣзко сталкивается (хотя въ другихъ имъ вторить), — есть во всякомъ случаѣ явленіе характерное и знаменательное. Оно думаетъ о себѣ, какъ о принципѣ совершенно новомъ; въ дѣйствительности не трудно видѣть, что оно происходитъ по прямой линіи отъ народныхъ стремленій 60-хъ годовъ—правда, съ большими измѣненіями или новыми оттѣнками. Послѣдующіе годы внесли въ общественную жизнь столько волненій, столкновеній, трагическихъ событій, разочарованій, что многіе не въ состояніи были ни сохранить вѣры въ прежніе идеалы, ни развить ихъ въ новую прочную точку зрѣнія; получилось нѣчто среднее, неопредѣленное и недодѣланное. Съ одной стороны, стремленія къ изученію народа не ослабѣвали и даже усилились, доходя до такихъ внимательныхъ изслѣдованій, примѣромъ которыхъ могутъ служить въ беллетристикѣ труды гг. Успенскаго и Златовратскаго и ихъ товарищей, а въ литературѣ научной — масса трудовъ экономическихъ, этнографическихъ и т. д. Но съ другой стороны, народническая публицистика до крайности преувеличила значеніе самой „деревни“, затерявъ при этомъ ясныя общественно-политическія понятія той школы, изъ которой сама исходила, впала въ такія неловкости, что иногда говорила въ одинъ тонъ съ злѣйшими врагами не только общественной автономіи, но и самого народа. Таковы двѣ существенныя ошибки, повторяющіяся у большинства народническихъ писателей: во-первыхъ, недостаточное вниманіе къ исторіи общества и народа, откуда происходилъ и происходитъ рядъ самыхъ грубыхъ и вредныхъ недоразумѣній; во-вторыхъ, странное представленіе объ „европейской цивилизаціи“, будто бы намъ не нужной и непригодной, въ чемъ имъ вторять, потирая руки отъ удовольствія, настоящіе обскуранты. Они доходятъ до того, что подъ „европейской цивилизаціей“ понимаютъ только какія-нибудь новѣйшія выдумки экономической эксплуатаціи, не ра-

зумѣя, что это названіе принадлежитъ, выше всего, именно тѣмъ величайшимъ созданіямъ общечеловѣческаго ума и поэтическаго творчества, подъ вліяніемъ которыхъ, въ послѣднемъ результатѣ, просвѣтилось и наше собственное общественное самосознаніе; однимъ изъ отпрысковъ его является само народничество, какъ стремленіе оградить права народной личности и привести въ полному признанію ея нравственнаго и гражданскаго достоинства.

ДОПОЛНЕНИЯ.

Глава III.—Съ октябрьской книги „Вѣстника Европы“, 1890, начато печатаніе новаго труда Ѳ. И. Буслаева: „Мои воспоминанія“, которыя представляютъ чрезвычайно любопытныя свѣдѣнія о біографіи нашего заслуженнаго ученаго.

Глава V (стр. 137).—Октября 3, 1890, праздновался 40-лѣтній юбилей ученой дѣятельности Н. С. Тихонравова, съ первой историко-литературной работы его, напечатанной въ 1850 г. Библиографическій очеркъ этой дѣятельности сдѣланъ Д. Д. Языковымъ въ „Р. Мысли“, 1890, октябрь. Извѣстія объ юбилеѣ см. въ статьѣ „Русскихъ Вѣдомостей“, 4 октября, 1890, въ „Новостяхъ“, № 282, и др. Приводимъ изъ этихъ извѣстій нѣсколько указаній о долголѣтней и плодотворной дѣятельности Н. С. Тихонравова, какъ ученаго и профессора.

„Н. С. Тихонравовъ выступилъ на поприще, доставившее ему столь почетную извѣстность, въ октябрѣ 1850 года, напечатавъ въ „Москвитянинѣ“ свой первый трудъ: „Нѣсколько словъ по поводу статьи „Современника“—Кай Валерій Катулль и его произведенія“. Н. С. былъ въ это время еще студентомъ-новичкомъ въ Главномъ Педагогическомъ институтѣ, мечтавшимъ перейти на историко-филологическій факультетъ Московскаго университета. Статья способствовала исполненію его мечты, и ко времени появленія ея въ печати приурочено и юбилейное торжество. Въ то время комплектъ университета ограничивался 300 студентами и когда молодой студентъ Педагогическаго института обратился къ М. П. Погодину съ просьбой походатайствовать о переводѣ его въ Московскій университетъ,—комплектъ былъ уже полонъ. М. П. Погодинъ посовѣтовалъ Н. С. приобрести себѣ право на сверхъ-комплектный приемъ какой-либо литературной работой. Н. С. такъ и сдѣлалъ: статья обратила на себя вниманіе и открыла молодому человѣку двери университета.

„Университетская наука не мѣшала Н. С. дѣятельно работать надъ составленіемъ историко-литературныхъ статей для „Москвитянина“, „Отечественныхъ Записокъ“ и „Московскихъ Вѣдомостей“; незадолго до окончанія курса онъ получилъ золотую медаль за сочиненіе на заданную Грановскимъ тему: „О нѣмецкихъ народныхъ преданіяхъ въ связи съ исторіей“. Затѣмъ слѣдовала педагогическая служба въ московскихъ гимназіяхъ, избраніе адъюнктомъ для чтенія лекцій по педагогикѣ въ Московскомъ университетѣ и, наконецъ, 4-го сентября 1859 года, полученіе въ этомъ же университетѣ кафедры русской литературы, на которой Н. С. достойно и плодотворно потрудился въ теченіе тридцати лѣтъ. Новые научно-литературные труды слѣдовали одинъ за другимъ; многочисленныя цѣнныя изслѣдованія Н. С. доставили ему почетный дипломъ доктора русской литературы и высшую для ученаго награду—званіе ординарнаго академика Императорской Академіи наукъ; кромѣ того, Н. С. занималъ въ теченіе шести лѣтъ по 1883 г. постъ ректора Московскаго университета, а въ настоящее время состоитъ предсѣдателемъ Общества любителей російской словесности.

„Заслуги Н. С. Тихонравова, какъ въ области университетскаго преподаванія, такъ и въ области научно-литературной очень велики. Талантливо-составленные, живые, увлекательные университетскіе курсы, обнимающіе всю исторію нашей литературы, горячее, живое отношеніе къ преподаванію, умѣлая, интересная постановка практическихъ работъ, способность возбуждать въ аудиторіи сильный и сознательный интересъ къ дѣлу,—все это вмѣстѣ оказало сильное вліяніе на научное и литературное развитіе многихъ поколѣній молодыхъ людей. Въ области научно-литературной первое мѣсто занимаетъ глубоко-научная постановка основныхъ вопросовъ русской литературы и метода ихъ разработки, данная въ академическомъ „Отчетѣ“ о 19-мъ присужденіи Уваровскихъ наградъ, подъ видомъ рецензіи на „Исторію литературы“ Галахова; затѣмъ, многочисленныя образцовыя изданія литературныхъ памятниковъ, освѣтившія почти неизвѣстную тогда картину умственной жизни народной массы; работы по исторіи русскаго театра, впервые поставившія эту отрасль исторіи на строго-научную почву, и, наконецъ, обработка новаго изданія сочиненій Гоголя, составляющая колоссальный критическій трудъ“.

Юбилей 3-го октября „былъ учено-семейный праздникъ, доказавшій, однако, юбиляру безпредѣльность уваженія, какимъ онъ пользуется въ ученомъ мірѣ и искренность симпатій къ нему, прочно сохраняющихся въ средѣ его слушателей... Юбилейный праздникъ омрачился, однако, сознаніемъ, что юбилей, въ общему сожалѣнію,

совпалъ съ окончательнымъ оставленіемъ Николаемъ Саввичемъ московской каеедры“.

Глава VIII (стр. 237). Впослѣдствіи Ор. Миллеръ не могъ не признать научнаго значенія новыхъ изслѣдованій древняго эпоса, устранявшихъ миеологическую теорію; но ему жаль было разстаться съ той манерой, гдѣ можно было, не заботясь о самомъ происхожденіи сюжета и подробностей, не заботясь о хронологіи народнаго творчества, прямо идеализировать его продукты, возводить ихъ сполна къ національному существу и духу. Въ послѣднемъ своемъ трудѣ, посвященномъ Глѣбу Успенскому, Ор. Миллеръ говоритъ по поводу былины о Святогорѣ:

„Сущность земледѣльческаго труда воспроизвелъ и самъ народъ въ той былинѣ, которую Успенскій очень мѣтко назвалъ *западкой*. Это былина о Святогорѣ богатырѣ, способномъ своротить землю и неспособномъ поднять маленькой сумочки переметной, съ которою такъ легко справляется Микулушка Селянинновичъ. Отъ этой чудной былины, какъ и отъ многихъ другихъ, ничего почти не осталось— съ тѣхъ поръ, какъ у насъ *завелась ученая теорія* о заимствованіяхъ, ведущая, въ томъ видѣ, какъ она у насъ практикуется, къ *выстриванію* изъ памятниковъ народной словесности живого смысла, живой души. Успенскій отнесся къ этой былинѣ безъ всякихъ ученостей, онъ отозвался на живую душу народной поэзіи своею живою душою“ и пр. („Г. И. Успенскій. Опытъ объяснительнаго изложенія его сочиненій“. Спб. 1889, стр. 125).

Это сожалѣніе о разлагающей силѣ анализа очень характерно для идеалиста, какимъ былъ Ор. Миллеръ, но очевидно, что идеализация, желающая обойтись безъ помощи анализа, рискуетъ быть одной фантазіей. Можно желать только, чтобы новѣйшая аналитическая критика получила наконецъ возможность приступить къ обобщенію частныхъ изслѣдованій.

Глава IX (стр. 257). Въ исторіи науки особенный интересъ представляетъ ходъ научнаго развитія ея дѣятелей (вліяній школы или независимыхъ отъ нея стремленій, какъ самостоятельное чтеніе и поиски и т. п.), особливо тѣхъ, чьи труды отмѣчены особою оригинальностью и значительностью научной заслуги; за неизмѣнимъ, во многихъ случаяхъ, данныхъ по этому вопросу въ литературѣ, мы обращались за свѣдѣніями къ самымъ лицамъ, труды которыхъ были особенно важнымъ вкладомъ въ развитіе русской этнографіи. Слѣдующія замѣтки А. Н. Веселовскаго вполне совпадаютъ съ тѣми, что было нами сказано о молодости русской науки, гдѣ еще не создалось традицій,— въ настоящемъ случаѣ между прочимъ потому, что передъ нею сразу вставалъ громадный, мало тронутый или совсѣмъ нетронутый мате-

ріаль—и гдѣ такимъ образомъ каждой новой крупной силѣ надо было самѣй прокладывать свою дорогу. Оттого особливо интересны историческія данныя о путяхъ этой науки и тѣмъ выше заслуга дѣятелей, ставившихъ новыя задачи и предпринимавшихъ громадныя работы въ области народоуздѣнія.

„Родился я—пишетъ А. Н. Веселовскій—въ 1838 году въ Москвѣ на Нѣмецкой улицѣ, на углу Коровьяго брода, гдѣ у дѣда (Лисевича, изъ Кенигсберга) былъ собственный домъ, съ большимъ садомъ и прочими угодьями... Жилось, какъ въ деревнѣ; лѣто я проводилъ либо въ деревнѣ дѣда (с. Нѣмцово, Малоарсланецкаго уѣзда; бывшее имѣніе Радищева), либо въ селѣ Коломенскомъ, гдѣ отецъ стоялъ съ своей ротой, впоследствии съ баталіономъ (онъ служилъ въ 1-мъ, потомъ въ 3-мъ кадетскомъ корпусѣ). Первоначальное воспитаніе получилъ дома. И мнѣ, какъ всѣмъ, сказывали сказки, но я не связываю съ этимъ мое позднѣйшее пристрастіе къ folklor'у; нянька у меня была древняя чистенькая старушка, никогда не ѣвшая мяса, набожная, съ раскольничьимъ пошибомъ, всегда готовившая на себя въ своей особой посудѣ. Мать и отецъ окружали ее особымъ уваженіемъ; она и скончалась у насъ, когда я уже кончалъ университетъ. Отецъ занимался со мной самъ ариѳметикой и географіей; у меня еще долго сохранялись тетрадки въ 32 долю листа, имъ лично написанныя и даже иллюстрированныя: родъ географическаго руководства, съ описаніемъ городовъ и т. п. ¹⁾ Библіотека отца плохо охранялась отъ вторженій монахъ и брата Федора, который былъ моложе меня однимъ годомъ. Читалось, что попадало подъ руку: Жуковскій, Марлинскій, Оссіанъ Кострова, Казакъ Луганскій и словарь Плюшара. Еще до поступленія въ гимназію (на 12-мъ году, въ 4-й классъ) я сталъ шалить прозой и стихами: повѣсти романтическаго стиля, съ луной и темнымъ лѣсомъ, гдѣ совершалось убійство, привидѣніями и замками—и непремѣнными иллюстраціями. Стихами я баловался и позже и на первомъ курсѣ подалъ Шевыреву отрывокъ перевода изъ „Орлеанской Дѣвы“, за что былъ призванъ и поощренъ.

„Матери я много обязанъ. Нѣмка по рожденію (она родилась въ Землѣ войска Донскаго, гдѣ ея отецъ былъ медикомъ; онъ состоялъ въ 1812 году при Платовѣ), она съумѣла обрусѣть въ мѣру: отлично говорила по-русски, ходила одинаково въ кирку и русскую церковь, любила постничать съ нянькой и слушать нѣмецкую или англійскую проповѣдь. Она хорошо знала нѣмецкій и французскій языки и занималась выборомъ гувернантокъ и учителей; впоследствии, чтобы идти въ уровень съ нами, она изучила и англійскій языкъ, а со мною

¹⁾ Некрологъ Н. А. Веселовскаго (1811—1885) см. въ „Р. Вѣдомостяхъ“, 1885, № 275. А. П.

долго переписывалась по-французски, чтобы поддержать во мнѣ практику.

„Въ гимназіи (2-й, на Разгуляѣ) я шелъ настолько ровно, что учитель математики (Новицкій) совѣтовалъ моему отцу отдать меня на математическій факультетъ. Не зналъ онъ, что математика доставалась мнѣ Sitzfleisch'емъ; я интересовался русскимъ языкомъ (Носковъ, Шевыревъ) и исторіей (Смирновъ), впрочемъ, больше второй, чѣмъ первой. Въ университетѣ, куда я поступилъ въ годъ юбилея, интересы распредѣлились такъ же: Шевыревъ никогда не увлекалъ меня...; Буслаева я еще не слышалъ, и весь отдался Кудрявцеву. Его лекціи были для меня откровеніемъ; когда вернулся изъ отпуска (кажется, изъ-за границы) Грановскій, я нивѣкъ не могъ пристать къ его покровникамъ, и отъ его лекцій (онъ читалъ у насъ не долго) мнѣ отдавало фразой. На слѣдующій годъ я увлекся чтеніемъ Леонтьева (философія міеологіи, Шеллинга), котораго напомнилъ мнѣ впоследствии Штейнталь. Къ Буслаеву я перешелъ уже послѣ этихъ вліяній. Онъ читалъ оригинально, по своему, съ нѣкоторыми скачками, связь которыхъ не легко давалась новичку: заключеніе являлось нерѣдко неожиданнымъ; чтобъ усвоить его, лекцію приходилось передумать; увлекали вѣянія Гриммовъ, откровенія народной поэзіи, главное: работа, творившаяся почти на глазахъ, орудовавшая мелочами, извлекавшая неожиданныя откровенія изъ разныхъ Цвѣтниковъ, Пчелъ и т. п. старья. Почему я тотчасъ же не записался въ школу Буслаева, а попалъ къ Бодянскому—совершенно не помню; вѣроятно, хотѣлось обставить себя понадежнѣе съ славянской стороны, ибо по европейскимъ языкамъ и литературамъ я болѣе былъ обезпеченъ: итальянскимъ языкомъ я сталъ заниматься дома; отецъ досталъ мнѣ какаго-то ломбардца—винодѣла не у дѣла,—котораго ему рекомендовалъ колбасникъ Монигетти; что онъ былъ почти безграмотенъ—это я уже понималъ и ограничилъ свои занятія тѣмъ, что болталъ съ нимъ ходя по залѣ; испанскому языку я научился по грамматикѣ; въ университетѣ слушалъ санскритъ у Петрова и курсъ сравнительной грамматики у Леонтьева. Я помню, какъ я былъ доволенъ, когда мнѣ удалось приобрести первое изданіе Боппа. Присоедините къ этому чтенія, которыми тогда увлекались въ университетскихъ кружкахъ: читали кландестинно Фейербаха, Герцена, впоследствии рвались за Боклемъ, за котораго я и впоследствии долго ломалъ копыя.

„У Бодянского я занимался сонно, не осилилъ даже грамматики Добровскаго, и когда представился случай сбѣжалъ... и перешелъ къ Буслаеву. Занимался я у него мало: помню, читалъ у него рукописный Синодикъ, дѣлалъ выписки изъ Мессіи Правдиваго; но все это

было не важно; важнѣе для меня были лекціи Буслаева и рядомъ съ ними его работы, давшія впоследствии содержаніе его „Очеркамъ“.

„Тотчасъ по выходѣ изъ университета я уѣхалъ за границу, на частное мѣсто, прямо въ Испанію, гдѣ пробылъ около года; побывалъ въ теченіе этой же поѣздки въ Италиі, во Франціи и Англіи. Кромѣ внѣшнихъ впечатлѣній и бѣльшаго ознакомленія съ испанскимъ языкомъ я изъ этого путешествія извлекъ мало: слишкомъ былъ юнъ, да и приходилось жить въ мѣстахъ, гдѣ никакого не могло быть ученаго общенія.

„Когда въ 1862 году я былъ командированъ за границу (на два года, по рекомендаціи Московскаго Университета), я былъ полонъ вождедѣній, но бѣденъ программой; въ сущности программы у меня не было никакой, да и дать было некому. Буслаевъ далъ мнѣ интересъ къ Гриммовскому направленію — въ приложеніи къ изученію русско-славянскаго матеріала; но нѣкоторыя стороны дѣла, постановка мнѣическихъ гипотезъ и „романтизмъ народности“ никогда меня не удовлетворяли и у меня немного найдется статей, въ которыхъ отразилась бы *эта* Буслаевская струя (рецензіи въ Лѣтоп. Тихонравова, *Le Tradizioni popolari nei poemi d'Antonio Pucci, Novella della figlia del re di Dacia*, Замѣтки и сомнѣнія о сравнительномъ изученіи средневѣковаго эпоса). Съ другой стороны у меня сложился интересъ къ культурно-историческимъ вопросамъ, къ *Kulturgeschichte*; было ли тутъ вліяніе Кудрявцева, моихъ чтеній — не знаю и не помню. *Il Paradiso degli Alberti* вытекъ изъ этого направленія; изученіе историческихъ отношеній ослабило вѣру въ состоятельность мнѣологическихъ гипотезъ.

„Въ Берлинѣ я занимался въ теченіе двухъ (слишкомъ, коли не ошибаюсь) семестровъ оцупью: слушалъ Нибелунги и Эдду и нѣм. метрику у Мюлленгофа; посѣщалъ лекціи Штейнтала, Гоше, Jürgen Vopa Meyer'a (психологія), и занимался на дому у Мана провансальскимъ и даже баскскимъ языкомъ. Романскихъ кафедръ въ то время въ Германіи не существовало, только въ Боннѣ читалъ Дицъ; интересъ къ романскимъ литературамъ и приложенію сравнительнаго метода къ изученію литературныхъ явленій, уже возбужденный вылазками Буслаева въ сферу Данте и Сервантеса и средневѣковой легенды, поддержалъ во мнѣ всѣмъ своимъ составомъ извѣстный журналъ Эберта, *Jahrbuch für romanische und englische Literatur* (съ 1859 года).

„Нагрузившись берлинскою мудростью, я поѣхалъ въ Прагу. Хотѣлось пополнить свои свѣдѣнія по славистикѣ. Толку отъ этого получилось немного; пребываніе въ Прагѣ затянулось почти на годъ; командировка приходила къ концу, а мнѣ мерещилась впереди

Италія: послѣ нѣмцевъ и славянъ (изъ Праги я ѣздилъ недѣли на двѣ въ австрійскую Сербію и на Фрушкую гору) хотѣлось повидать и романцевъ; командировало меня министерство Головнина на два года съ обѣщаніемъ продлить командировку, буде окажется необходимость. Я заговорилъ о томъ слишкомъ поздно, когда смѣты въ министерствѣ были уже составлены, да и Толстой явился на смѣну. Мнѣ отказали. Пришлось ѣхать въ Италію съ 2000 рублей (собственныхъ), надеждой на посильную помощь отца и на собственные литературные заработки. Въ такихъ условіяхъ я прожилъ нѣсколько лѣтъ, главнымъ образомъ во Флоренціи, кое-когда печатался у Корша (съ именемъ и безъ имени, и подъ буквами: Евр.) и принялся за работу. Затѣялъ я обширную исторію итальянскаго Возрожденія — чуть ли не съ паденія имперіи! Чтенія и выписокъ была масса; кое-что сохранилось у меня и теперь, многое унесло вѣтромъ изъ окна квартиры и я на другой день получилъ изъ лавки внизу кусочекъ масла, завернутый—въ мои надежды. Это было своего рода предупрежденіе; я впрочемъ и ранѣе того сообразилъ, что à vol d'oiseau исторіи Renaissance не напишешь, что на серьезный трудъ въ этой области уйдетъ вся жизнь. Въ это время я случайно набрелъ на памятникъ, около котораго и сгруппировалъ свою работу: Il Paradiso degli Alberti. Пока работа шла довольно одиноко и я по природной мнѣ робости ни съ кѣмъ не знакомился, когда мнѣ случилось въ русскомъ кружкѣ встрѣтиться съ De-Gubernatis'омъ. Въ его журнальчикѣ я помѣстилъ свою статейку о Пуччи. Черезъ нѣсколько дней ко мнѣ подошелъ въ бібліотекѣ проф. д'Анкона, познакомился со мною; онъ же познакомилъ меня съ Кардуччи и Компаретти. Я почувствовалъ почву подъ ногами и мнѣ стало работать легче.

„Надъ Paradiso я работалъ года три; такъ освоился въ Италіи, что о Россіи пересталъ думать: интересы у меня явились мѣстные, явилась даже идея и возможность совсѣмъ устроиться въ Италіи. Въ это время я получилъ письма отъ Буслаева и Леонтьева: звали на кафедру въ Москву, обѣщали тотчасъ же допустить меня въ чтенію съ жалованьемъ, такъ чтобы я могъ исподоволь сдать экзаменъ и передѣлать Paradiso въ „Вилла Альберти“. Я согласился и, чтобы выѣхать изъ Италіи, принялъ на себя мѣсто у в. вн. Маріи Николаевны обучать ея сына Сергѣя (убитаго въ послѣднюю турецкую войну) въ Карлсруэ, гдѣ онъ долженъ былъ провести зиму у сестры. Такъ я заработалъ деньги, на которыя съѣздивъ въ Лондонъ и вернулся въ Москву. Здѣсь меня ожидало разочарованіе: о жалованьѣ и лекціяхъ ни помину; требовали напередъ диссертациі русской и экзамена, а чтобы утѣшить меня, предлагали читать въ университетѣ частнымъ образомъ, при чемъ предоставляли мнѣ ман-

кировать, но деньги получать. Отъ этого я отказался, чтобы не связать себя; прошелъ томительный, безденежный годъ; надо было сдать экзаменъ, войти въ долги для напечатанія диссертациі, ибо денегъ, отпущенныхъ университетомъ, не хватало. Кстати О. Миллеръ далъ въ это время идею перейти въ Петербургъ на незанятую еще катедру. Дѣло устроилось быстро и я ушелъ изъ Москвы, не читавъ лекцій, а только защитивъ диссертациі (1870 г.). Юркевичъ (тогда деканъ) приходилъ уламывать меня: въ Петербургѣ-де меня увѣсятъ орденами, запрутъ въ администрацію, и работать я перестану; кажется, ничего такого не случилось.

„Въ 1872 году я напечаталъ свою работу о „Соломонѣ и Китоврасѣ“ и съ тѣхъ поръ Вы меня знаете. Направленіе этой книги, опредѣлившее и нѣкоторыя другія изъ послѣдовавшихъ моихъ работъ, нерѣдко называли Бенфеевскимъ, и я не отказываюсь отъ этого вліянія, но въ долѣ, умѣренной другою, болѣе древней зависимостью — отъ книги Денлопа-Либрехта и вашей диссертациі о русскихъ повѣстьяхъ. Когда явилась буддійская гипотеза, пути изученія, и не въ одной только области странствующихъ повѣстей, были для меня намѣчены точкой зрѣнія на историческую народность и ея творчество какъ на комплексъ вліяній, вѣяній и скрещиваній, съ которыми исследователь обязанъ сосчитаться, если хочетъ поискать за ними, гдѣ-то въ глубинѣ, народности непочатой и самобытной, и не смутится, открывъ ее не въ точкѣ отправления, а въ результатѣ историческаго процесса“.

Глава X (стр. 300). „Русская Историческая Библиографія“ г. Межова имѣла потомъ продолженіе: томы IV—VI, Спб. 1884 — 1886.

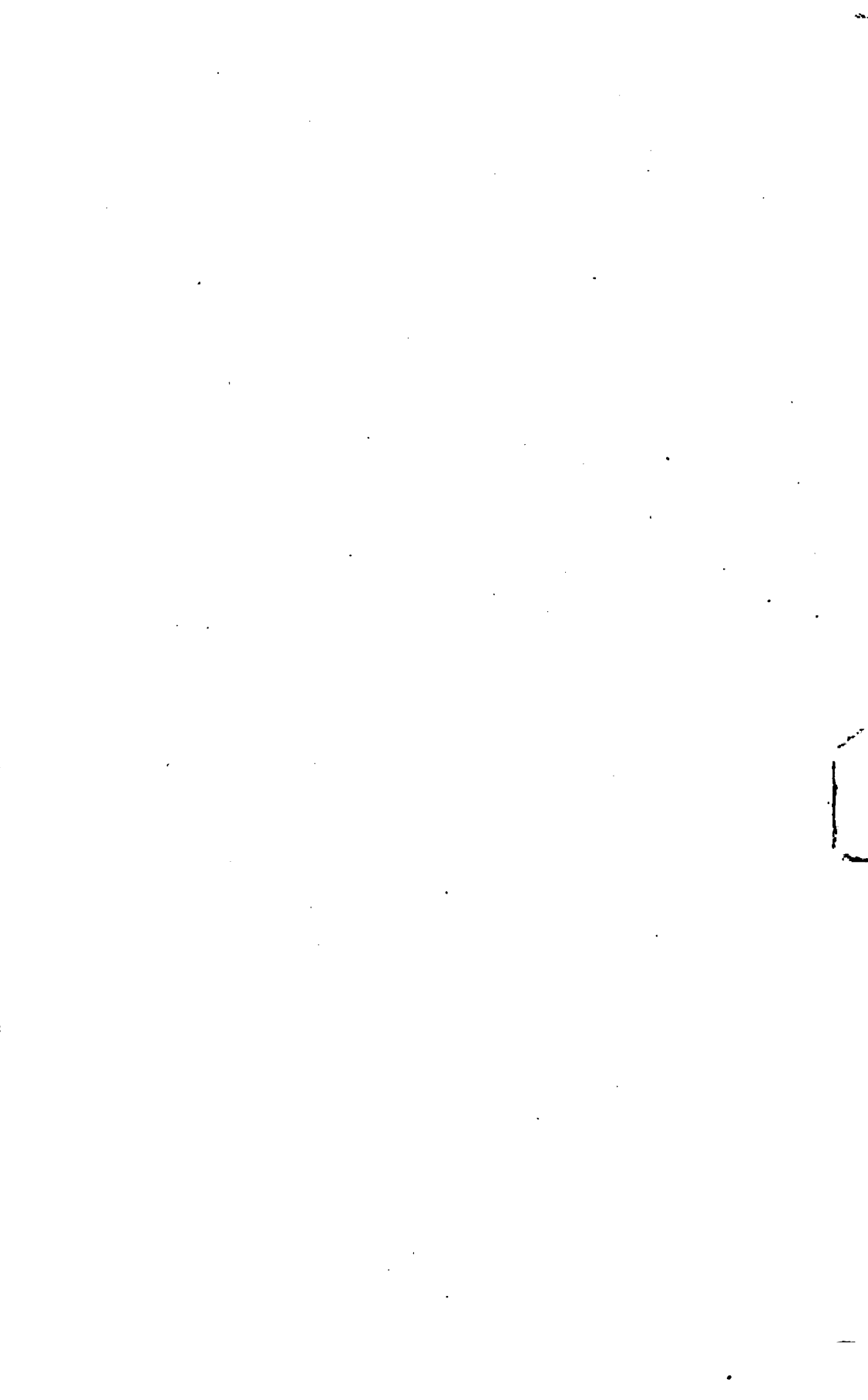
— (Стр. 346). За послѣднее время, расширеніе этнографическихъ интересовъ вызвало два новыхъ замѣчательныхъ изданія. Съ 1889 г. начало выходить въ Москвѣ „Этнографическое Обзорѣніе, періодическое изданіе Этнографическаго Отдѣла Импер. Общества любителей естествознанія, антропологии и этнографіи, состоящаго при Московскомъ Университетѣ“ (донинѣ шесть выпусковъ). Изданіе выходитъ подъ редакцію секретаря Отдѣла, Н. А. Янчука, и доставило уже множество интересныхъ работъ какъ по общимъ вопросамъ этнографіи и антропологии, такъ и по собиранію этнографическихъ данныхъ. Отмѣтимъ въ особенности труды А. Н. Веселовскаго, Э. Вольтера, В. Калаша, В. Ө. Миллера, Н. Ө. Сумцова, Н. Янчука и др. Кромѣ того въ „Обзорѣніи“ ведется весьма обстоятельная библиографія этнографической литературы.

Съ 1890 г. предпринято подобное изданіе въ Петербургѣ: „Живая Старина, періодическое изданіе Отдѣленія Этнографіи Импер. Рус-

скаго Географическаго Общества“, подъ редакціею предсѣдательствующаго въ Отдѣленіи Этнографіи В. И. Ламанскаго (выпускъ I, 1890). Это изданіе, какъ можно видѣть и по первому его выпуску, обѣщаетъ быть важнымъ органомъ этнографическихъ изслѣдованій. Оно распадается на слѣдующіе отдѣлы (послѣ общихъ свѣдѣній, относящихся къ ходу изданія): 1) Изслѣдованія, наблюденія, разсужденія; 2) Памятники языка и народной словесности; 3) Критика и библиографія; 4) Смѣсь.

Оба изданія служатъ подспорьемъ для работъ двухъ ученыхъ обществъ, и присоединя къ трудамъ послѣднихъ большую быстроту при изданіи особливо сочиненій небольшого объема, могутъ стать вообще драгоцѣннымъ пособіемъ для развитія и научнаго объединенія нашихъ этнографическихъ изученій.

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ТОМА.



Въ книжномъ складѣ М. М. Стасюлевича продаются:

Вѣдинскій. Его жизнь и переписка. Сочиненіе А. Н. Пыпина. Въ двухъ томахъ. Спб. 1876. Цѣна 4 р., въ переплетѣ 4 р. 50 к.

Исторія славянскихъ литературъ. А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Изданіе второе, вновь переработанное и дополненное. Два тома. Спб. 1879—1881. Томъ I—3 руб.; томъ II—5 руб.

Сводный старообрядческій Синодикъ. Второе изданіе Синодика по четыремъ рукописямъ XVIII—XIX в. А. Н. Пыпина. (Памятники древней письменности и искусства, издав. Императорскимъ Обществомъ любителей древней письменности). Спб. 1883. Ц. 1 р.

Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I. А. Н. Пыпина. Изданіе 2-е, пересмотрѣнное и дополненное. Спб. 1885. Ц. 4 р.

Изъ исторіи народной повѣсти. Гисторія о гишпанскомъ шлахтичѣ Долториѣ, какъ вѣроятный источникъ „Повѣсти о російскомъ матросѣ Василю“. Текстъ по рукописямъ XVIII вѣка и введеніе А. Н. Пыпина. (Въ изданіи Импер. Общества любит. древней письменности). Спб. 1887. Ц. 80 коп.

Для любителей книжной старины. Библиографическій списокъ рукописныхъ романовъ, повѣстей, сказокъ, поэмъ и пр. въ особенности изъ первой половины XVIII вѣка. А. Н. Пыпина. Изданіе Общества любителей російской словесности. Москва. 1888. Цѣна 1 рубль.

Характеристики литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятихъ годовъ. А. Н. Пыпина. Изданіе 2-е, съ исправленіями и дополненіями. Спб. 1890. Ц. 3 р. 50 к.

Исторія русской этнографіи. Томы I—II. Спб. 1890—1891.—Цѣлое сочиненіе въ четырехъ томахъ. Цѣна, съ подпискою на III—IV томы, 10 руб.

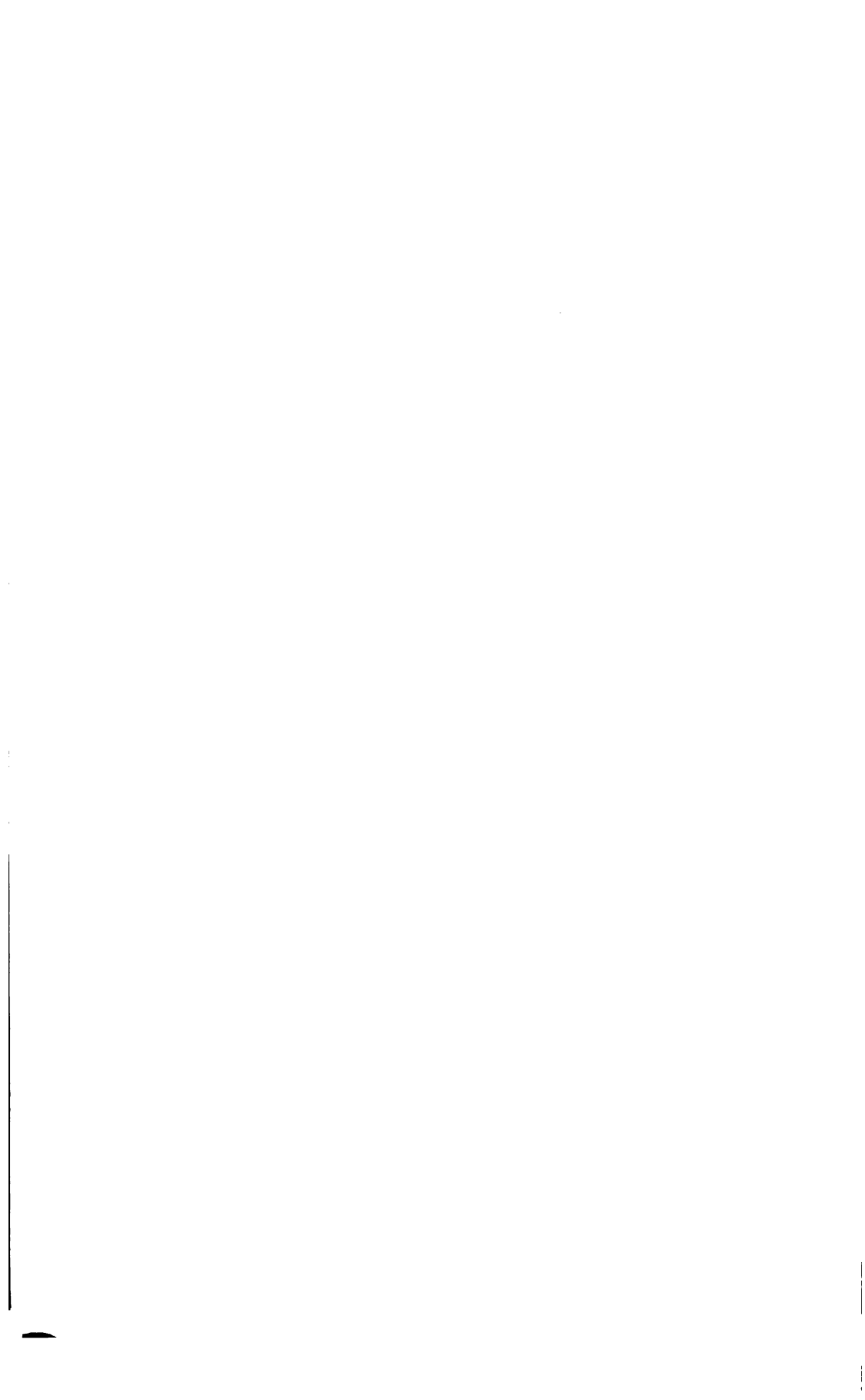
Въ печати:

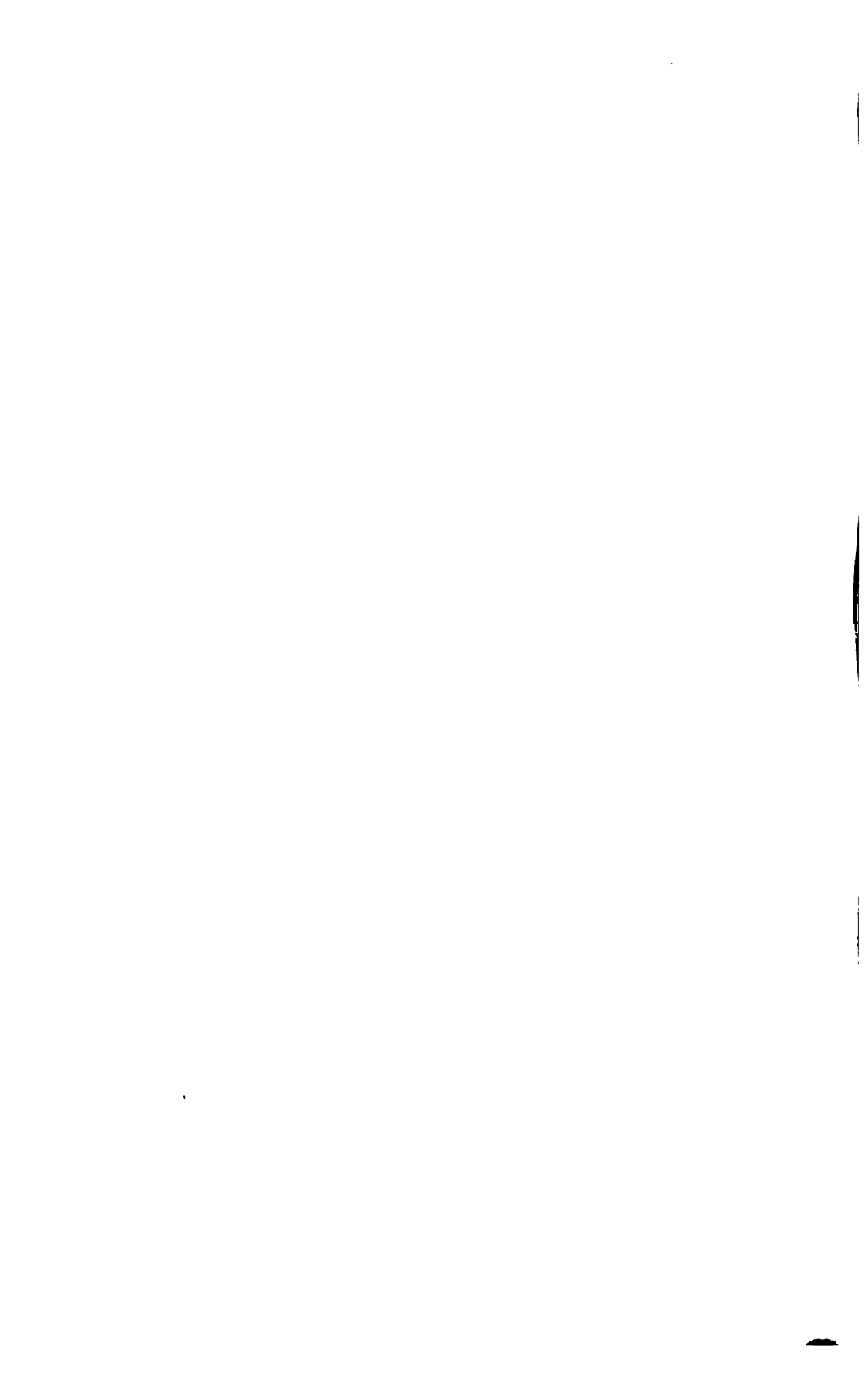
Исторія русской этнографіи, томы III (Этнографія малорусская) и IV (Бѣлоруссія и Сибири).

Готовится къ печати:

Систематическое обзорніе русской этнографической литературы (библиографическій указатель).









The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

**Harvard College Widener Library
Cambridge, MA 02138 617-495-2413**

WIDENER
WIDENER
AUG 15 2004
AUG 20 2004
CANCELLED
BOOK FINE



**Please handle with care.
Thank you for helping to preserve
library collections at Harvard.**

